

Ховард Айленд
Майкл У. Дженнингс



Беньямин
критическая жизнь



|Издательский дом ДЕЛО|



РАНХиГС
РОССИЙСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Howard Eiland,
Michael W. Jennings

Walter Benjamin

A Critical Life

THE BELKNAP PRESS OF HARVARD UNIVERSITY PRESS
CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS · LONDON, ENGLAND

2014

Ховард Айленд,
Майкл У. Дженнингс

Вальтер Беньямин

Критическая жизнь

Перевод с английского
НИКОЛАЯ ЭДЕЛЬМАНА



| Издательский дом ДЕЛО |
Москва | 2018

УДК 101.9
ББК 87.3
А11

Айленд, Ховард; Дженнингс, Майкл У.

А11 Вальтер Беньямин: критическая жизнь / Ховард Айленд, Майкл У. Дженнингс; пер. с англ. Н. Эдельмана; под науч. ред. В. Анашвили и И. Чубарова. — М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2018. — 720 с. (Интеллектуальная биография).

ISBN 978-5-7749-1291-9

Вальтер Беньямин — один из самых выдающихся и в то же время загадочных интеллектуалов XX столетия. Его работы — мозаика, включающая философию, литературную критику, марксистский анализ и синкретическую теологию, — не вписываются в простые категории. Его писательская карьера развивалась от блестящего эзотеризма ранних работ через превращение в главный голос веймарской культуры до жизни в изгнании, когда появились новаторские исследования современных средств массовой информации и возникновения городского товарного капитализма в Париже. Эта карьера развивалась в самые катастрофические десятилетия современной европейской истории: ужасы Первой мировой войны, неразбериха Веймарской республики и долгие годы фашизма. Биография, написанная двумя ведущими исследователями творчества Беньямина, выходит за рамки мозаичного и мифического, представляя эту загадочную личность во всей ее полноте.

Ховард Айленд и Майкл Дженнингс впервые делают доступным огромный массив информации, позволяющий уточнить и исправить описание жизни выдающегося философа. Они предлагают всесторонний портрет Беньямина и его эпохи, а также подробные комментарии к его известным работам, включая «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости», эссе о Бодлере и классическое исследование немецкой барочной драмы.

УДК 101.9

ББК 87.3

ISBN 978-5-7749-1291-9

Copyright © 2014 by the President and Fellows of Harvard College

Публикуется по соглашению с Harvard University Press

© ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 2018

Оглавление

- Выражение признательности · 7
Введение · 10
- Глава 1. Берлинское детство. 1892–1912 · 21
Глава 2. Метафизика молодости:
Берлин и Фрайбург. 1912–1914 · 40
Глава 3. Концепция критики:
Берлин, Мюнхен и Берн. 1915–1919 · 86
Глава 4. «Избирательное сродство»:
Берлин и Гейдельберг. 1920–1922 · 132
Глава 5. Странствующий ученый:
Франкфурт, Берлин и Капри. 1923–1925 · 192
Глава 6. Веймарский интеллектуал:
Берлин и Москва. 1925–1928 · 249
Глава 7. Деструктивный характер:
Берлин, Париж и Ибица. 1929–1932 · 328
Глава 8. Изгнание: Париж и Ибица. 1933–1934 · 409
Глава 9. Парижские пассажи:
Париж, Сан-Ремо и Скловсбостранд. 1935–1937 · 504
Глава 10. Бодлер и улицы Парижа:
Париж, Сан-Ремо и Скловсбостранд. 1938–1939 · 599
Глава 11. Ангел истории:
Париж, Невер, Марсель и Портбоу. 1939–1940 · 669
- Эпилог · 700
- Список сокращений · 703
Избранная библиография · 704

Выражение признательности

Мы выражаем особую благодарность Линдси Уотерсу, крестному отцу этой книги и человеку, заразившему издательство *Harvard University Press* непоколебимой верой в творчество Вальтера Беньямина. С подачи Эриха Хеллера и Вальтера Сокеля труды и личность Беньямина более 30 лет назад стали делом нашей жизни. Эрдмут Вицисла и персонал архива Беньямина при берлинской Академии художеств любезно помогли нам на многих этапах работы над книгой. Окончательная подготовка рукописи была осуществлена при активном содействии со стороны Шаншаны Ван из *Harvard University Press* и опытной команды из *Westchester Publishing Services*. В течение всех лет работы над книгой щедрый вклад в нее вносили многие наши друзья, специалисты и коллеги: мы обсуждали с ними различные вопросы, допытывались у них подробностей и проверяли на них наши тезисы. Мы в высшей степени благодарны Майклу Эрнеру, Александру Бову, Эдуардо Кадаве, Мэтью Чарльзу, Бо-Мо Чою, Ингрид Кристиан, Норме Коул, Стэнли Корнголду, Бриджид Доэрти, Курту Фендту, Питеру Фенвесу, Девину Фору, Хэлу Фостеру, Майклу Хамбургеру, Мартину Харрису, Роберту Кауфману, Александру Ключе, Тому Ливайну, Вивиан Лиска, Джеймсу Макфарланду, Дэниэлу Мэгилову, Кевину Маклафлину, Уинфриду Меннингхаусу, Бену Моргану, Джейн Ньюмен, Тони Фелану, Энди Рабинбаху, Герхарду Рихтеру, Эрику Сантнеру, Гэри Смиту, Уве Стейнеру, Джеффри Стакеру, Джиро Танаке, Стивену Тэпскотту, Дэвиду Торнберну, Джозефу Воглу, Арнду Ведемейеру, Дэниэлу Вейднеру, Зигрид Вейгель и Тобиасу Вилке. Наше понимание творчества Беньямина на протяжении многих лет оттачивалось благодаря пытливости обучавшихся у нас и посещавших наши семинары студентов, а также многих молодых участников конференций, которые проводит Международное общество Вальтера Беньямина. Наконец, о том безграничном вдохновении и поддержке, которыми нас оделяли Джулия Превитт Браун и Сьюзен Констант Дженнингс, не говоря уже об их терпении, большинству авторов приходится только мечтать.

*Посвящается Элизабет,
Доротее, Мэтью и Рудольфу.
А также Саре и Эндрю*

Введение

Вальтер Беньямин (1892–1940), немецкий критик и философ еврейского происхождения, в наши дни имеет репутацию одного из главных созерцателей европейского модерна. Несмотря на относительную краткость литературной карьеры Беньямина — его жизнь оборвалась на испанской границе во время бегства от нацистов, — от него остался корпус работ, поражающий своей глубиной и разнообразием. В 1920-е гг., по завершении этапа, когда Беньямин, по его собственному выражению, «стажировался в немецкой литературе» и написал не утратившие своего значения работы о романтической критике, о Гёте и о барочной драме (*Trauerspiel*), он заявил о себе как о проницательном адвокате радикальной культуры, создававшейся в Советском Союзе, и высокого модернизма, господствовавшего на парижской литературной сцене. Во второй половине 1920-х гг. он находился в центре многих процессов, известных сегодня как веймарская культура. Вместе с такими своими друзьями, как Бертольд Брехт и Ласло Мохой-Надь, он способствовал формированию нового мировоззрения — авангардного реализма, порвавшего с высоколобым модернизмом, характерным для литературы и искусства вильгельмовской Германии. В эти годы, когда труды Беньямина начинали получать признание, он питал не слишком необоснованную надежду стать «главным критиком германской литературы». В то же время он и его друг Зигфрид Кракауэр фактически открывали популярную культуру как объект серьезных исследований: Беньямин писал эссе о детской литературе, игрушках, азартных играх, графологии, порнографии, туризме, народном искусстве, искусстве таких обделенных групп, как душевнобольные, еде, а также о самых разных средствах коммуникации, включая кино, радио, фотографию и иллюстрированную периодику. В последние десять лет жизни, проведенных им преимущественно в изгнании, большинство его работ было создано в рамках проекта «Пассажи», посвященного зарождению городского товарного капитализма во Франции середины XIX в., рассматриваемому сквозь призму истории культуры. Несмотря на то что проект «Пассажи» так и остался могучей

незаконченной «болванкой», лежавшие в его основе исследования и размышления привели к появлению таких прорывных работ, как знаменитый полемический труд 1936 г. «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости» и ряд эссе о Шарле Бодлере, утвердивших этого поэта в качестве репрезентативного автора эпохи модерна. Однако Беньямин был не только превосходным критиком и автором революционных теорий: после него также остался значительный корпус произведений, сочетавших в себе художественную прозу, репортаж, культурный анализ и мемуаристику. Его «монтажная книга» 1928 г. «Улица с односторонним движением» и особенно не опубликованное при жизни «Берлинское детство на рубеже веков» входят в число шедевров современной литературы. В конечном счете многие работы Беньямина затруднительно причислить к какому-либо конкретному жанру. В число его крупных и мелких прозаических работ входят монографии, эссе, рецензии, собрания философских, историографических и автобиографических миниатюр, радиосценарии, сборники писем и других литературно-исторических документов, рассказы, диалоги и дневники. Его перу принадлежат стихотворения, переводы французской прозы и поэзии и бесчисленные фрагменты размышлений различного объема и значения.

Сконцентрированные «образные миры», рожденные на страницах этих работ, проливают свет на ряд наиболее бурных эпох XX в. Беньямин, выросший на рубеже веков в семье ассимилированных зажиточных берлинских евреев, был сыном Германской империи: его мемуары полны воспоминаний о монументальной архитектуре, которую так любил кайзер. Но в то же время он был сыном бурно развивавшегося современного городского капитализма: к 1900 г. Берлин был самым передовым городом Европы, где процветали новые технологии. В молодости Беньямин выступал против участия Германии в Первой мировой войне и по этой причине провел почти все годы войны в Швейцарии, однако в его творчестве изобилуют образы военных «ночей разрушения». За 14 лет существования Веймарской республики Беньямин сначала стал свидетелем кровавого конфликта между левыми и правыми радикалами после окончания войны, затем опустошительной гиперинфляции первых лет молодой демократии и, наконец, пагубного политического раскола конца 1920-х гг., который привел к захвату власти Гитлером и национал-социалистами в 1933 г. Подобно многим видным германским интеллектуалам той эпохи, Беньямин весной 1933 г. бежал из страны — как оказалось, навсегда. Последние семь лет жизни он провел в парижском изгнании, в условиях изоляции, бед-

ности и относительного отсутствия возможностей для публикации. Ему так и не удалось забыть, что «есть места, где можно заработать минимум средств, и места, где можно прожить на минимум средств, но нет такого места, где бы выполнялись оба этих условия». Финальный период его жизни прошел под знаком нависшей над Европой тенью грядущей войны.

Почему же труды Беньямина и через 70 лет после его смерти сохраняют свою убедительность в глазах как неискушенного читателя, так и специалиста? В первую очередь это объясняется силой его идей: его работы изменили наши представления о многих известных авторах, о возможностях самой литературы, о потенциале и опасностях технических средств коммуникации и о месте европейского модерна как исторического явления. Однако нам не удастся в полной мере оценить влияние Беньямина, если мы не уделим должного внимания средству изложения этих идей — его своеобразному стилю. Беньямин хотя бы в качестве творца сентенций достоин сравнения с самыми гибкими и пронизательными авторами его эпохи. К тому же он был новатором в области формы: в основе его самых типичных произведений лежит то, что он вслед за поэтом Штефаном Георге называл *Denkbild*, или «фигурами мысли»: афористическая прозаическая форма, путем сочетания философского анализа с конкретными образами приходящая к фирменному критическому мимесису. Даже его чисто дискурсивные эссе зачастую подспудно составлены из цепочек таких смелых «фигур мысли», организованных в соответствии с принципами авангардного монтажа. Гений Беньямина позволил ему найти формы, в рамках которых глубина и сложность вполне сопоставимы с тем, что мы видим у таких его современников, как Хайдеггер и Витгенштейн. Поэтому чтение Беньямина становится не только интеллектуальным, но и чувственным опытом. В воображении читателя расцветают полузабытые слова, подобно тому, как во рту раскрывается вкус размоченного в чае печенья. И по мере того, как фразы делятся, сцепляются и начинают вращаться друг в друга, они понемногу приходят в соответствие с выявляющейся логикой рекомбинаций, медленно обнаруживая свой деструктивный потенциал.

И все же, несмотря на очевидный блеск его произведений, Беньямин-человек остается загадкой. Его личные убеждения, подобно его многогранному творчеству, складываются в то, что он называл «противоречивым и текучим целым». Эта лаконичная формулировка, в которой слышится обращенный к читателю призыв к терпению, показательна для его изменчивого и полицентричного склада ума. Однако непости-

жимость Бенямина связана и с присущим ему сознательным стремлением сохранять вокруг себя непроницаемое пространство для экспериментов. Теодор Адорно однажды сказал о своем друге, что тот «почти никогда не раскрывал свои карты»: эта глубокая скрытность, прибегающая к целому арсеналу масок и прочих отвлекающих стратегий, была призвана охранять его истинную потайную сущность. Отсюда и отмечавшаяся всеми исключительная вежливость, в конечном счете представлявшая собой сложный механизм дистанцирования. Отсюда и весомая зрелость во внешнем облике, свойственная каждой эпохе сознательной жизни Бенямина, — серьезность, из-за которой даже в его случайных высказываниях было что-то от изречений оракула. И отсюда же проводившаяся им «политика», призванная по возможности предотвратить продолжительные контакты между его друзьями, с тем чтобы лучше сохранить каждого отдельного человека или группу в качестве резонатора его идей. В этом изменчивом рабочем пространстве Бенямин с ранних лет вел себя так, чтобы реализовать «присущие [ему] многочисленные состояния существования». Если Ницше осознавал себя как социальную структуру, состоящую из множества волей, то Бенямин видел в себе «набор чистых импровизаций, ежеминутно сменяющих друг друга». Благодаря этой обостренной внутренней диалектике полное отсутствие личного догматизма сочеталось в нем с суверенной и порой безжалостной силой суждений. Ибо подчеркнутая многогранность того феномена, которым был Вальтер Бенямин, не исключает возможности внутренней систематики или текстурной целостности, на которую указывает Адорно, ссылаясь на присущее его другу поразительное «центробежное» единство сознания — сознания, проявлявшегося в многообразии его аспектов.

Справляться с этой неподатливой сложностью характера Бенямину позволял его блестящий ум. Описания личности Бенямина, оставленные его друзьями и знакомыми, неизменно начинаются и заканчиваются ссылками на силу его интеллекта. Кроме того, в этих описаниях подчеркиваются неизменно присущий ему возвышенный образ мысли и странный потусторонний облик в глазах окружающих. Пьер Миссак, знавший Бенямина в последние годы его жизни, говорит, что тот терпеть не мог, когда кто-нибудь хотя бы из друзей клал ему руку на плечо. А его любовь, латышка Ася Лацис, как-то заметила, что он производил впечатление существа, только что прибывшего с другой планеты. Бенямин настойчиво примерял на себя образ монаха: практически во всех помещениях, в которых он жил один — как он любил говорить, в его «кельях», — висе-

ли изображения святых. Это указывает на ключевую роль созерцания в его жизни. В то же время эту видимость бестелесного блеска пронизывала мощная и порой яростная чувственность, о которой свидетельствуют эротические приключения Беньямина, его интерес к дурмящим веществам и страсть к азартным играм.

Хотя в эссе 1913 г. о нравственном образовании Беньямин утверждал, что «всякая мораль и религиозность рождаются в едине с Богом», в силу всего сказанного было бы ошибочно видеть в нем, как делают авторы некоторых влиятельных англоязычных работ, только угрюмую и изломанную фигуру. Само собой, его одолевали длительные приступы обессиливающей депрессии (черта, которую родственники отмечали и у некоторых из его предков), и не следует забывать о том, что в своих дневниках, как и в разговорах с ближайшими друзьями, он часто возвращался к мыслям о самоубийстве. Тем не менее относиться к Вальтеру Беньямину как к безнадежному меланхолику означает окарикатуривать и принижать его. Он обладал тонким, хотя порой и едким, чувством юмора и был способен предаваться глуповатым забавам. При том, что его взаимоотношения с ближайшими партнерами по интеллектуальным дискуссиям, в частности с Гершомом Шолемом, Эрнстом Блохом, Кракауэром и Адорно, нередко отличались вспыльчивостью и даже озлобленностью, он неоднократно проявлял верность и щедрость по отношению к тем, кто знал его с давних пор. Этот внутренний круг, сложившийся в его школьные годы — Альфред Кон и его сестра Юла, Фриц Радт и его сестра Грета, Эрнст Шен и Эгон Виссинг, — никогда надолго не покидал его мысли, и он немедленно и без колебаний приходил им на помощь в трудные времена, особенно тогда, когда они терпели лишения в изгнании. Хотя эти качества в наибольшей степени проявлялись в отношениях со старыми друзьями, мужество Беньямина, его великодушная терпеливость и стальная решимость перед лицом бедствий были очевидны для всех, кто знал его. В этом смысле он тоже остается противоречивой личностью. Он жаждал уединения и в то же время сетовал на одиночество, нередко искал общества и порой пытался создавать его сам, но при этом терпеть не мог брать на себя обязательства перед какой бы то ни было группой. В преддверии Великой войны проявив себя активным организатором германского молодежного движения, впоследствии он в целом избегал общественной деятельности как таковой. Единственным исключением из такого неучастия в практических делах, помимо его стараний выйти в лидеры посредством своих работ, служили три пред-

принятые им в разное время попытки основать журнал. И хотя каждый из них, так и не выйдя в свет, терпел крушение на том или ином рифе, стремление к сбору сил — к сплочению мыслителей и авторов, разделявших сходные идеи, — оставалось неизменной чертой его философских умонастроений.

Одна из сторон его личности заслуживает особого внимания. Те, кто знал Беньямина, неохотно вспоминали его внешнюю неказистость и частую неуклюжесть; в первую очередь им запомнилась его отвага. Да, он «подсел» на азартные игры, как говорят сегодня. Но в этой страсти находила законченное выражение его готовность идти на риск, бороться с условностями и занимать такие интеллектуальные позиции, которым присущи противоречия и парадоксы, балансирующие на грани абсурда. Вальтер Беньямин пытался вести жизнь литератора как раз в тот момент, когда подобный типаж уходил с европейской сцены. Он отказывался от комфорта, безопасности и почестей ради сохранения интеллектуальной свободы, а также наличия времени и пространства для того, чтобы читать, думать и писать. Подобно своему другу Кракауэру, он анализировал условия, угрожавшие существованию того самого культурного типажа, который он воплощал в себе. Таким образом, не только его методология, но и вся его жизнь как будто бы подчинялись диалектическому ритму, диктующему непрерывную игру. Его внешность и физический облик, включая экспрессивные жесты рук, прерывистую черепашую походку, певучий голос и идеально выстроенную речь, то удовольствие, которое ему доставляли физический акт письма, ожидание, а также навязчивое коллекционирование и образ жизни фланера, его превращающиеся в ритуал вкусовые пристрастия, его шарм эксцентричного горожанина — все это свидетельствовало о предрасположенности к ушедшему миру и старине, словно он явился из конца XIX в. (Мало найдется снимков Вальтера Беньямина, на которых он не выглядит как буржуазный интеллектуал в пиджаке и с галстуком.) В то же время он проявлял живой интерес к таким молодым техническим средствам коммуникации, как кино и радио, и к тогдашним авангардным течениям, включая дадаизм, конструктивизм и сюрреализм. Его радикальные умонастроения вовлекали его в диалог со сторонниками авангарда, готовыми начать с чистого листа. И соответственно, его манеры, включая пронизательную напряженность разума, ускользающий образ мысли и неизменное присутствие сумрака в его интеллектуальной жизни, не могли не исключать уют, в котором жила зажиточная буржуазия конца XIX в., и поощряли новаторство. Слова, сказанные им о Бодлере: «Шарль Бодлер был

тайным агентом — агентом тайного недовольства его класса своей собственной властью», — относились и к нему самому.

На протяжении 30 судьбоносных лет, начиная с динамичного идеализма студенческих дней Беньямина и кончая динамичным материализмом времен его зрелости и изгнания, его мыслительное искусство претерпело драматическую эволюцию в том, что касается его формы, направленности и звучания, пусть даже это не относится к его главному тону, достигнутому в итоге редкой прозрачности. В этом мышлении в каждый его момент не просто переплетаются, а сплавляются элементы литературного, философского, политического и теологического дискурса. Уникальный синтез, осуществленный Беньямином, нашел отклик в выросшей до колоссальных размеров вторичной литературе, известной отсутствием единогласия по любой конкретной теме. Прежние работы, посвященные этому автору — как биографические, так и критические, — в большинстве своем отличались относительно выборочным подходом и навязывали такой тематический порядок, который обычно исключал из рассмотрения целые сферы его штудий. В результате читатель слишком часто получал частичный или, что еще хуже, мифологизированный и искаженный портрет. Авторы настоящей биографии стремились дать более всеобъемлющую картину, придерживаясь строгого хронологического порядка, делая акцент на повседневной реальности, служившей питательной средой для произведений Беньямина, и помещая его основные работы в соответствующий интеллектуально-исторический контекст. Такой подход позволяет привлечь внимание к историчности каждого этапа в жизни Беньямина, а соответственно, и к историчности его работ — их укорененности как в конкретном историческом моменте, так и в интеллектуальных интересах самого Беньямина, — в то же время делая вполне обоснованной идею о преемственности его мышления. Неразрывность этой постоянно пересматривавшейся интеллектуальной траектории обеспечивалась фундаментальным постоянством предмета его интереса: закоренелого, теологически обусловленного чувства латентного кризиса, свойственного институтам буржуазной жизни, а также никогда не оставлявшего Беньямина осознания двусмысленности, присутствующей в самих процессах мышления. Отсюда и преобладание некоторых тонких особенностей стиля на каждом этапе его творческой карьеры, таких как постоянное стремление избегать прямолинейного нарратива, склонность к использованию метафоры и иносказания как концептуальных приемов, а также тенденция к образному мышлению. Результатом было философствование, в полной

мере отвечающее модернистскому императиву эксперимента, то есть признание того, что истина не является вневременной константой и что философия всегда, так сказать, стоит на пороге и поставлена на карту. Снова и снова мы сталкиваемся с рискованностью, присущей образу мысли Бенямина — строгого, но в высшей степени «эссеистического».

Вне зависимости от тематики или содержания произведений Бенямина в них неизменно затрагиваются три вопроса, своими корнями уходящие в проблематику традиционной философии. Бенямина с первых до последних дней интересовали опыт, историческая память и искусство как предпочтительный носитель того и другого. Эти темы, восходящие к теории восприятия, служат отсылкой к критическому идеализму Канта, в своем гибком взаимопроникновении неся на себе отпечаток Ницше с его дионисийской философией жизни; Бенямин как исследователь был поглощен обеими этими системами. Именно исходящая от Ницше критика классического принципа сущности — критика идентичности, преемственности, причинности — и его радикальный исторический эвентизм, во всех исторических интерпретациях признающий приоритет настоящего, играли роль теоретической почвы (беспочвенной почвы) для поколения, достигшего зрелости в годы художественного взрыва перед Первой мировой войной. Впоследствии Бенямин никогда не уклонялся от задачи мыслить одновременно и в рамках, и вне рамок антиномий традиционной метафизики и никогда не отказывался от интерпретации реальности как пространственно-временного моря сил с его глубинами и преобразующими течениями. Впрочем, в стремлении постичь физиогномику современного метрополиса он в итоге вступил в сферы, равно чуждые и идеалистической, и романтической философии опыта, и образ моря в его сознании временами сменялся образом лабиринтоподобной архитектуры или загадочной картинкой, подлежащей если не разгадке, то хотя бы обсуждению — в любом случае текста, требующего прочтения, многогранного языка.

Бенямина как читателя и мыслителя отличало чрезвычайно окольное применение этой многоуровневой философской перспективы к тому, что Мириам Брату Хансен называла «повседневной современностью». Вообще говоря, относительно малая часть его работ, особенно тех, которые созданы после 1924 г., походит на то, что мы обычно считаем философией. Адорно еще в 1955 г. попытался скорректировать это впечатление: он показал, что все образцы культурной критики, вышедшие из-под пера Бенямина, в то же время посвящены «философии

их объектов». Начиная с 1924 г. Беньямин подверг анализу широкий диапазон культурных объектов, не учитывая качественных различий между высоким и низким; более того, в качестве своей темы он обычно выбирал «обломки» истории, то есть оставленные без внимания и незаметные следы исчезнувших контекстов и забытых событий. Он уделял основное внимание маргиналиям, анекдотам и скрытой истории. В то же время он никогда не подвергал сомнению стандарты величия. Его первым заметным следом в европейской литературе стало эссе о Гёте, после чего он регулярно обращался к фигурам таких выдающихся современников, как Пруст, Кафка, Брехт и Поль Валери, а главной темой его многочисленных работ о Париже XIX в. стали эпохальные достижения Бодлера. Такие репрезентативные художники служили для него путеводными звездами в его микрологическом культурном анализе. Его мышление направлялось чувством целого, возникающим исключительно при погружении в силовое поле значимых деталей, при восприятии индивидуализирующих черт в качестве аллегорических.

Однако это начинание при всей его глубине и интенсивности носит откровенно политизированный характер, хотя и происходит на значительном расстоянии от партийной политики. Беньямин уже в начале своего творческого пути определял политику как искусство выбирать меньшее зло, а впоследствии подвергал сомнению само понятие политической цели. Тем не менее политический вопрос становился для него все более злободневным в последние два десятилетия его жизни, в ту пору, когда идея счастья казалась неотделимой от вопроса спасения в мире, заигрывающем со своей гибелью. Беньямин в письмах к некоторым из друзей говорил о своем «коммунизме» (к которому он пришел от прежнего «анархизма») и публично защищал права пролетариата одновременно с тем, как воспевал «истинный гуманизм» и целительный нравственный скептицизм длинного ряда буржуазных литераторов от Гёте до Готфрида Келлера. Его восторженное отношение к грандиозному социальному эксперименту, поставленному в Советской России, фактически испарилось после изгнания Троцкого, хотя он по-прежнему видел в творчестве свой революционный долг, в духе брехтовских программ ссылаясь на политические и просветительские обязанности писателя. Он не только старался исполнить их посредством своих опубликованных работ, но и пытался издавать журналы, включая тот, соредактором которого должен был стать Брехт. Марксистские взгляды Беньямина, будучи теоретическим продолжением его предвоенной студенческой активности с ее вольным кредо индивидуалистическо-

го социализма, складывались под влиянием многочисленных трудов социальных теоретиков XIX и XX вв., включая работы таких домарксистских мыслителей и агитаторов, как Фурье и Сен-Симон, Прудон и Бланки. И в начале, и в конце своего пути Беньямин был в большей степени визионером-мятежником, нежели твердолобым идеологом. Пожалуй, можно сказать, что для самого Беньямина как нонконформиста и «левака-аутсайдера» вопрос политики сводился к набору противоречий, воплощенных в отдельных личностях и в обществе. Взаимно несовместимые требования политики и теологии, нигилизма и мессианизма сами по себе не поддавались примирению. В то же время их было невозможно обойти. Существование Беньямина — как он однажды выразился, неизменно проходившее на скрещении дорог, — сводилось к постоянному колебанию между этими несоразмерностями, вечно возобновлявшейся азартной игре.

Но если суть *убеждений* Беньямина остается непостижимой, несомненно то, что после 1924 г. ему удалось примирить свои философские *обязательства* с переосмыслением марксистской традиции в том, что касалось статуса товарной культуры на Западе. Работая над книгой о барочной драме, Беньямин вступил в косвенную дискуссию с венгерским теоретиком Дьердем Лукачем, чью «Историю и классовое сознание» он прочел в 1924 г. Созданная Марксом более узкая теория товарного фетишизма в формулировке Лукача превращается в глобализованное представление об обществе как о «второй природе», раскрывающее социальный аппарат, порожденный процессом товарного обмена, но воспринимаемый людьми *как* вещь естественная и данность. Таким образом, Беньямин, еще не пользуясь марксистской риторикой, мог сказать, что его книга пусть еще не материалистическая, но уже диалектическая. Финальный шаг в развитии этой теории был сделан, когда Беньямин — а вместе с ним Адорно — расширил идею о второй природе, определив ее как «фантазмагорию», под которой в данном случае понимается оптическое устройство XVIII в. (волшебный фонарь). Согласно этой точке зрения, социальное целое представляет собой механизм для представления его собственных образов в качестве изначально осмысленных и связанных. В этом методе мышления нашли реализацию философские вопросы, вдохновлявшие Беньямина в его первых работах. Ведь в контексте современного товарного капитализма идея фантазмагории включает в себя признание принципиальной неоднозначности и неразрешимости, в то время как то, что мы понимаем под «человеком», последовательно лишается его естественных свойств. Как ука-

зывает Беньямин, если в этих условиях все еще возможны подлинный опыт и историческая память, то ключевое значение приобретают произведения искусства. Согласно его собственной радикальной терминологии, возникновение нового «пространства тела» коррелирует с созданием нового «пространства образов». Новая форма человеческого коллектива могла быть создана лишь посредством такого преобразования пространственного и временного опыта.

* * *

К моменту смерти Беньямина колоссальный корпус его работ был настолько распылен и скрыт, что значительная его часть казалась утраченной навсегда. Хотя многие его произведения были напечатаны, по меньшей мере столько же никогда не издавалось при его жизни и существовало в качестве черновиков, копий и фрагментов у его друзей в Германии, Франции, Палестине и США. На протяжении нескольких десятилетий после Второй мировой войны многие из этих работ были обнаружены, порой уже в 1980-е гг. и в самых невероятных местах: в советских архивах в Москве и в тайниках в парижской Национальной библиотеке. Благодаря публикации всеобъемлющих изданий работ Беньямина и его писем большая часть его творческого наследия в настоящее время доступна для читателя. Мы рисуем портрет Беньямина и излагаем его биографию главным образом именно на основе этих изданных работ.

Помимо этого, его друзьями и сотрудниками были опубликованы различные ретроспективные рассказы о нем самом и о его воззрениях, причем особенно плодотворными в этом плане были те, под чьим руководством готовились первые издания его избранных работ: Гершом Шодем и Теодор Адорно, хотя свое слово сказали также Ханна Арендт, Эрнст Блох, Пьер Миссак и Жан Сельц, а также некоторые другие, в большинстве своем писавшие о Беньямине на волне его посмертной славы, начавшейся лишь в 1955 г., после многих лет почти полного забвения, в котором пребывало имя Беньямина после 1933 г. Наш труд опирается на работы тысяч людей, на протяжении последних 60 лет изучавших наследие Беньямина и черпавших вдохновение в его жизни и мыслях.

Глава 1

Берлинское детство. 1892–1912

ВАЛЬТЕР БЕНЬЯМИН никогда не забывал о Берлине, городе, где он родился, даже во время длительного изгнания, начавшегося в марте 1933 г., когда Гитлер захватил власть, и завершившегося со смертью Беньямина, бежавшего от фашистов, в сентябре 1940 г. на испанской границе. Вальтер Бенедикс Шенфлис Беньямин родился 15 июля 1892 г. в городе, который лишь в 1871 г. стал столицей объединенной германской нации, однако эти 20 лет были отмечены бурным ростом численности его населения и промышленности, а также созданием современной инфраструктуры. Население Берлина в 1871 г. насчитывало 800 тыс. человек, в начале нового столетия в этом самом современном городе Европы проживало уже более 2 млн человек. Бурная модернизация по сути в значительной мере уничтожила исторически сложившийся облик величавой столицы старой Пруссии — в детские годы Беньямина город заполнился символами Германской империи: 5 декабря 1894 г. был открыт Рейхстаг, а 27 февраля 1905 г. — берлинский Собор кайзера Вильгельма. Благодаря темпу, в котором рос и обновлялся город, из окна вагона берлинской городской железной дороги, работавшей с 1882 г., можно было наблюдать настоящий коллаж строительных стилей: массивные неоготические и неороманские сооружения, любимые правителями новой империи, стояли бок о бок с изящными неоклассическими и неоренессансными зданиями, типичными для Пруссии на рубеже XVIII–XIX вв. Более того, изменения, происходившие в Берлине, не ограничивались визуальной и осязательной сферой: неторопливая, тихая жизнь улиц, заполненных конными повозками, едва ли не в одночасье сменилась лязгом трамваев, а затем и шумом города, полного автомобилей. Из-за запоздалой модернизации Германии детство Беньямина пришлось на первую эпоху современной коммерциализации города: центр Берлина стал царством универмагов, рекламы и выставленных на продажу промышленных товаров через полвека после того,

как это произошло в Париже. Первый крупный берлинский универмаг — *Wertheim* открылся в 1896 г. на площади Лейпцигерплац: в нем насчитывалось 83 эскалатора, а в центре располагался многоэтажный атриум со стеклянной крышей. Вальтер Беньямин родился почти одновременно с развитием германского городского модерна, поэтому в каком-то смысле неудивительно, что Беньямин был автором самой влиятельной в XX в. теории модерна.

Беньямин рос в полностью ассимилировавшейся еврейской семье, принадлежащей к высшей берлинской буржуазии. Будучи старшим из трех детей, он провел первые годы жизни в доме, который содержался в строгом порядке, среди многочисленной прислуги, включавшей гувернантку-француженку¹. В объемных биографических произведениях, работу над которыми Беньямин начал в 1932 г. — «Берлинской хронике» и «Берлинском детстве на рубеже веков», — он рисует яркую картину своего детства. Его окружал многогранный *Dingwelt* — мир вещей, созвучный его тщательно взлелеянному воображению и ненасытным подражательным способностям: в праздничные дни на стол выставлялись тонкий фарфор, хрусталь и столовые приборы, а во время маскарадов в дело шла старинная мебель — большие расписные шкафы и обеденные столы с резными ножками. Мы узнаем об увлеченности юного Беньямина множеством обыденных вещей, таких как принадлежавшая его матери шкатулка для шитья с полированной крышкой и темной нижней частью, фарфоровые миски и чаши на умывальнике в его спальне, по ночам преображавшиеся в лунном свете, угольную печку с маленькой дверцей в углу комнаты — зимними утрами нянька пекла в ней для него яблоки, — регулирующую конторку у окна, ставшую для него норой и убежищем. Вспоминая в 1930-е гг. свое детство, Беньямин описывал ребенка, которым он когда-то был и который для него отныне жил в образах ушедшего прошлого, как гения домашнего существования, знакомого со скрытыми уголками дома и посвященного в тайную жизнь повседневных предметов. В то же время он описывает любовь этого ребенка к путешествиям и его гордую и порой безрассудную склонность к тому, чтобы раздвигать установленные рамки и нарушать их — иными словами, его склонность к экспе-

1. Брат Беньямина Георг (1895–1942) стал врачом, в 1922 г. вступил в коммунистическую партию и умер в нацистском концлагере. Их сестра Дора (1901–1946), работавшая в социальной сфере и в 1930-е гг. серьезно заболевшая, в 1940 г. вместе с Беньямином бежала из Парижа и впоследствии жила в Швейцарии.

риментам. Эта диалектика погруженности в сокровенные переживания и широкомасштабных исследований оставалась основой личности взрослого Беньямина и его трудов.

Любовь к путешествиям, сохранявшаяся у Беньямина до конца жизни, питалась частыми семейными поездками на Северное море и на Балтику, в Шварцвальд и в Швейцарию, а также переселениями летом в соседний Потсдам и Нойбабельсберг. По сути, его детство было типичным для представителя его класса: ловля бабочек и катание на коньках, уроки плавания, танцев и езды на велосипеде. Он регулярно посещал театр, «Императорскую панораму» и Колонну победы в центре площади Кенигсплац, но в первую очередь зоопарк, куда нянька водила детей каждый день. Отец Беньямина Эмиль владел акциями Берлинского зоопарка, благодаря чему его семья могла ходить туда бесплатно. Кроме того, дети нередко навещали объездившую весь мир бабушку с материнской стороны в ее похожей на пещеру квартире, где в роскоши и с многочисленными гостями праздновалось Рождество, и тетю, которая к приходу маленького Вальтера всегда доставала большой стеклянный куб, содержащий миниатюрную действующую модель рудника, в которой трудились крохотные рабочие с крохотными инструментами. Дома устраивались вечера, на которых мать Беньямина представляла перед гостями в парадной ленте и великолепных украшениях, приветствуя общество в знакомой ему обстановке. И конечно, оставался сам город, по большей части еще запретный, но дразнящий детские чувства и манящий познать его.

Отец Беньямина Эмиль Беньямин (1856–1926), процветающий бизнесмен, родившийся в Кельне в почтенной семье рейнландских купцов, прожил несколько лет в Париже, прежде чем перебраться в Берлин в конце 1880-х гг. Своим детям он запомнился как светский и культурный человек, интересовавшийся искусством². На снимках, сделанных в годы детства Беньямина, он предстает довольно внушительным, уверенным в себе, величавым человеком, стремящимся подчеркнуть свое богатство и положение. Эмиль Беньямин принадлежал к поколению, которое в конце XIX в. пережило массовое переселение зажиточного берлинского среднего класса в западную часть города. Женившись в 1891 г. на Паулине Шенфлис, моложе его на 13 лет, Эмиль поселился сначала в респектабельном районе на западе города, где жили и его родители, и родители его жены. Вальтер Беньямин родился в большой квартире в доме на площади Маг-

2. См.: Hilde Benjamin, *Georg Benjamin*, 13–14.

дебургерплац, немного южнее Тиргартена. Этот когда-то изысканный район был, по словам Беньямина, родиной «последней подлинной элиты буржуазного Берлина». Там в атмосфере крепнущих чайний и конфликтов вильгельмовского общества «класс, объявивший его одним из своих членов, вел жизнь, состоявшую из самодовольства и обиды, которые превращали ее во что-то вроде арендуемого гетто. В любом случае он был привязан к этому богатому кварталу, не зная никаких других. Бедняки? Для богатых детей его поколения они жили где-то там, сзади» (SW, 2: 605, 600).

Словно спасаясь от приближающегося призрака городской нужды, Эмиль Беньямин с семьей несколько раз переселялся дальше на запад. Это было типично для зажиточной буржуазии того времени, так как центр города быстро расширялся в западном направлении. Бывшие жилые улицы, такие как Клейштрассе и Таунтцинштрассе, претерпевали стремительную коммерциализацию, заманивая толпы покупателей и городских гуляк на только что сооруженный «большой бульвар» Берлина — Курфюрстендамм. Сначала отец Беньямина переехал за пределы города, в Шарлоттенбург, входивший в состав новых западных кварталов, и благодаря значительно уменьшившемуся налоговому бремени смог накопить денег для последнего переселения. Поэтому школьные годы Беньямина прошли в доме на Кармерштрассе, рядом с площадью Савиньи-платц, в квартале, остающемся одной из самых оживленных и элегантных частей берлинского Вестэнда; массивное кирпичное здание школы кайзера Фридриха, в которой учился Беньямин, стоит на другой стороне площади. В 1912 г., когда Беньямину исполнилось 20 лет, его отец купил большую виллу на Дельбрюкштрассе, в только что отстроенном районе Грюневальд, откуда Беньямин мог добираться до центра города на специальном омнибусе. Вилла была разрушена во время Второй мировой войны, но на планах это массивная четырехэтажная постройка в эклектичном, историзирующем стиле. Семья жила на просторном первом этаже, совмещенном с большим солярием, а верхние этажи сдавались. Несмотря на неоднократные серьезные ссоры с родителями, Беньямин и его молодая семья нередко жили на вилле на Дельбрюкштрассе еще и в 1920-е гг.

Эмиль Беньямин, аукционист по профессии, с давних пор был партнером в аукционном доме Лепке, специализировавшемся на искусстве и антиквариате. Продав свой пай в этом процветающем бизнесе, Эмиль инвестировал капитал в другие предприятия, включая фирму, занимавшуюся поставками медикаментов, компанию по оптовой торговле вином, а в 1910 г. — в консорци-

ум по строительству крытого катка — «Ледового дворца», который также исполнял роль ночного клуба. Последний фигурирует в воспоминаниях Бенямина: одним памятным вечером отец решил взять его с собой в ночной клуб на Лютерштрассе (Беньямину в это время было около восемнадцати) и купил ему место в ложе, откуда он видел главным образом лишь проститутку в баре, одетую в тесную белую матроску: по его словам, этот образ в течение многих лет определял его эротические фантазии. Беньямин называет безрассудной эту попытку отца увязывать даже семейные развлечения с деловыми предприятиями, как он поступал в отношении и всех прочих потребностей семьи. Однако такое безрассудство, как бы тесно оно ни было связано с «предпринимательской натурой» отца, было все же достаточно редким явлением. Беньямин упоминает благопристойность, учтивость и гражданскую порядочность отца, а также его тонкий вкус: Эмиль не только разбирался в винах, но и мог, например, ступив на ковер, определить качество ворса, если был обут в ботинки с достаточно тонкими подошвами. При разговорах по телефону, который тогда уже занимал особое место в домашнем хозяйстве, отец Бенямина порой проявлял свирепость, резко контрастировавшую с его обычной вежливостью. В последние годы Беньямин мог почувствовать на себе всю мощь отцовского гнева во время типичных для интеллектуалов его поколения постоянных яростных споров по поводу пути, избранного сыном, а также по поводу его хронического нежелания содержать себя и свою молодую семью, приводившего к неоднократным требованиям о выдаче ему все более крупных сумм³.

Намеки и поучения, которые его отец делал поставщикам, вызывали в воображении молодого Бенямина образ неизвестного и немного зловещего Берлина, в некоторой степени ставивший под сомнение образ традиционного и «официального» упорядоченного торгового города, который сложился у него благодаря походам с матерью по магазинам. Паулина Шенфлис Беньямин (1869–1930), происходившая из богатой и просвещенной семьи торговцев, жившей в бранденбургском городе Ландсберг-ан-дер-Варте (в настоящее время — польский город Гожув-Великопольски), в глазах ее старшего сына также обладала властью и величием. Их воплощением служило прозвище *Näh-Frau* (Госпожа Шитье): именно так мальчик долгое время понимал невнятное *Gnädige Frau* (сударыня) в устах слу-

3. Как отмечает Ханна Арендт, в литературе того времени часто изображались конфликты между отцами и сыновьями. См. ее предисловие к: Benjamin, *Illuminations*, 26.

жанок. Такая трактовка казалась вполне уместной, так как место его матери за столом для шитья было окружено магическим ореолом, который порой мог становиться гнетущим, например, когда она заставляла мальчика стоять смирно, поправляя какую-нибудь деталь его костюма. В такие моменты он чувствовал, как в нем нарастает бунтарский дух, так же, как в том случае, если ему приходилось сопровождать мать по каким-нибудь делам в городе, он старался, выводя ее из себя, отстаивать от нее на один шаг, будто «ни за какие коврижки не [был] согласен идти с кем-то единым фронтом, хотя бы и с мамой» (SW, 3:404; БД, 115). Но иногда ее величавость наполняла его гордостью, например, когда перед вечерним приемом она приходила к нему в черной кружевной шали, чтобы поцеловать его на ночь. Он с удовольствием слушал, как она играет на фортепьяно и поет для него и как звякает по всему дому ее связка ключей. В детстве, часто болея, он был приучен к термометру и ложке: последнюю «с любовью и заботой» подносили ему ко рту, чтобы «немилосердно» вылить ему в горло горькое лекарство: в этих случаях он требовал рассказов, которые, по его выражению, зрели в ласкавшей его материнской руке.

Паулина Беньямин отличалась железной волей к поддержанию порядка в доме и умением решать практические проблемы. Беньямину казалось, что мать испытывала его практичность, заставляя почувствовать себя неуклюжим. Он обвинял ее даже в том, что из-за нее в 40-летнем возрасте был неспособен сварить себе чашку кофе. Когда он что-нибудь разбивал или ронял, она обычно говорила, подобно многим другим немецким матерям: “Ungeschickt läßt grüßen” («Раззява кланяться велел»). Эта персонификация его промахов была вполне уместной в детской одухотворенной вселенной; она соответствовала его собственному протоаллегорическому способу видеть и читать мир, посредством которого такие банальные вещи, как закатанный носок, звук, с которым по утрам выбивали ковры, дождь, снег и облака, лестница в городском читальном зале или хтонический рынок по-разному сообщали малолетнему наблюдателю о тайных событиях, пробуждая в нем пока бессознательное знание о его будущем. Этот способ восприятия особенно хорошо подходил к многогранной и многослойной жизни города с его всевозможными испытаниями на пороге жизни и тенденцией к тому, чтобы сохранять следы старых форм в рамках новых. Отчасти из-за влияния таких авторов, как Бодлер и Фридрих Шлегель, аллегорическая теория и практика, в которых внешний смысл предмета или текста сигнализирует о каком-то другом, порой совершенно ином смысле, стали для Беньями-

на определяющими, и мы можем увидеть в его взрослом «аллегорическом восприятии» остатки визионерской связи ребенка с миром вещей, в рамках которой открытие и усвоение основываются на миметическом погружении. В конце «Берлинского детства на рубеже веков» Беньямин, элегически оглядываясь на утраченный мир предметов своего детства, вызывает из прошлого внушительную фигуру «горбатого человечка», давая понять, что Раззява был всего лишь его аватаром. Этот горбатый человек, происходящий из германского фольклора, был знаком многим немецким мальчикам и девочкам, знавшим его как неуловимого бедокура: «Вот я в комнатку иду. Я бы пудинга поел! Да горбатый человек — хват! — и весь мой пудинг съел» (цит. по: SW, 3:385; БД, 99). В конечном счете главным в этом стишке, цитируемом Беньямином, является всепоглощающая сила забвения, сила рассеяния: всякий, на кого горбатый человек обратит свой взор, застынет, ошеломленный, перед грудой осколков: «Вот я в кухню иду. Я бульончик бы сварил! Да горбатый человек — бац! — кастрюльку уронил». Согласно аллегорическим воспоминаниям Беньямина, горбатый человек предшествовал ребенку, куда бы тот ни шел, как невидимый помощник, взимавший «половинную долю — дань забвению» со всякого предмета, на который ребенок обращал внимание, вследствие чего в ретроспективе тень меланхолии покрывает все прежние пространства игр, выборочно извлекаемые, сгущаемые и снова возвращаемые к жизни в тексте.

Однако эти заявления Беньямина о его непригодности при столкновениях с практическим миром, пожалуй, не вполне убедительны. Он рос в крайне вымуштрованной прусской семье, и ее нравы в течение долгого времени сказывались на Вальтере и других детях. Нам не известно, насколько аккуратным Вальтер был в детстве (за исключением его автобиографических рассказов о коллекциях, которые он собирал в юном возрасте), но мы знаем, что его брат Георг был одержим манией всяких списков: он составлял списки своих игрушек, тех мест, в которых бывал на летних каникулах, а впоследствии — списки газетных вырезок, связанных с его интересом к охране природы⁴. Подобную потребность в регистрации и каталогах можно усмотреть и в Беньямине-писателе, который, например, вел списки не только своих публикаций, но и всех прочитанных им книг или, вернее, тех, которые он прочел целиком. Эта тенденция, несомненно, имела скрытую связь с сохранявшимся у него

4. См.: Benjamin, *Georg Benjamin*, 18.

до конца жизни стремлением хранить красивые или чем-либо заинтересовавшие его вещи и накапливать архивы⁵.

Мемуары Беньямина производят впечатление ретроспективных фантазий единственного ребенка. Действительно, из-за различия в возрасте — Георг был на три года младше Вальтера, Дора — на девять — каждый из троих детей в детстве ощущал себя «единственным ребенком в семье». Впоследствии Вальтер сблизился с Георгом, когда оба учились в университете, а еще более тесная связь между братьями установилась после 1924 г., когда их сплотили разделявшие обоими левые настроения. Отношения между Дорой и Вальтером во взрослые годы, особенно после смерти их матери и разрыва между Беньямином и его женой, оставались напряженными и порождали постоянные конфликты, наладившись лишь в годы изгнания, когда они оба жили в Париже: в июне 1940 г. они вдвоем бежали из французской столицы.

Хильда Беньямин, жена брата Беньямина Георга, описывает Беньяминов как типичную либерально-буржуазную семью скорее с правым, чем с центристским уклоном⁶. Типичными для семьи были и матриархальные узы среди родственников: со своими тетями, дядями и кузенами, многие из которых являлись заметными фигурами в научной и культурной жизни Германии эпохи модерна, Беньямин поддерживал контакты через своих бабушек. Его двоюродный дед со стороны матери — Густав Хиршфельд преподавал античную археологию в Кенигсберге, а другой двоюродный дед — Артур Шенфлис был профессором математики и ректором во Франкфурте. Одна из кузин Беньямина вышла замуж за известного гамбургского профессора психологии Вильяма Штерна. Другая кузина — Гертруда Кольмар имела репутацию талантливого поэта, а еще одна — Хильда Штерн стала активисткой антифашистского сопротивления⁷.

Тяготы обучения сравнительно поздно вторглись в укромный детский мир Беньямина. Почти до девятилетнего воз-

5. Архив Вальтера Беньямина (*Walter Benjamins Archive*) был издан осенью 2006 г. одновременно с выставкой некоторых рукописей и личных предметов Беньямина в берлинской Академии художеств. Список прочитанных книг (*Verzeichnis der gelesenen Schriften*) Беньямина опубликован в GS, 7:437–476; список работ, прочитанных им до конца 1916 г., утрачен.

6. Хильда Беньямин (урожденная Ланге, 1902–1989), в 1949–1967 гг. играла ключевую роль в ходе сталинистской реорганизации восточногерманской юридической системы. Будучи судьей, она заслужила прозвище «кровавая Хильда» из-за часто выносившихся ею смертных приговоров. С 1963 по 1967 г. она была министром юстиции Германской Демократической Республики. Написанная ею биография ее покойного мужа была впервые издана в 1977 г.

7. См.: Benjamin, *Georg Benjamin*, 14–15; Brodersen, *Walter Benjamin*, 17–19.

раста он получал образование с помощью частных наставников — первоначально в маленьком кружке детей из богатых домов. Свою первую учительницу — Хелену Пуваль он с нежным юмором увековечил в «Берлинском детстве на рубеже веков», в начале главы «Два загадочных образа». В последние годы жизни Беньямин все еще хранил открытку, на которой «стояла красивая разборчивая подпись: Хелена Пуваль... „П“, первая буква ее фамилии, была та же, что в словах „правильный“, „пунктуальный“, „первый“, „в“ означала „верный“, „вежливый“, „воспитанный“, ну а „л“ в конце раскрывалась как „любящий“, „лучший“, „любезный“» (SW, 3:359; БД, 41). Диаметрально противоположные воспоминания оставил у Беньямина его наставник господин Кнохе — «господин Кость»: он предстает перед нами как архетипический садист-солдафон, оживлявший свои уроки «нередкими перерывами на порку» (SW, 2:624).

Весной 1901 г., незадолго до того, как Беньямину исполнилось 10 лет, его родители отправили его в школу кайзера Фридриха в Шарлоттенбурге — одну из лучших берлинских средних школ, в которой более трети учеников составляли евреи. Эта школа — внушительная кирпичная глыба, втиснутая за эстакадой берлинской городской железной дороги, навевала Беньямину «мысли об узкой груди и высоких плечах», словно источая «печальную чопорность старой девы» (SW, 2:626). По словам Беньямина, от этого учебного заведения у него не осталось ни единого приятного воспоминания. Внутри, соответствуя внешнему облику школы, царил унылый, в высшей степени регламентированный традиционализм. Маленького Беньямина в младших классах в порядке дисциплинарных взысканий секли розгами и оставляли после уроков в школе, и ему так и не удалось справиться со страхом и унижением, которые преследовали его в школе, где он ощущал себя узником, находящимся под непрерывным надзором школьных часов. Особенно ненавистным для него было требование обнажать голову при встрече с учителями, что приходилось делать «неустанно». Десять лет спустя, ревностно участвуя в движении за образовательную реформу, ключевым пунктом своей программы он сделал идею неиерархических отношений между преподавателями и учениками, хотя эгалитаризм всегда сосуществовал в нем с аристократическим духом.

Более того, инстинктивный элитаризм Беньямина, его надменность и высокомерие, которые в последующие годы придавали жесткость его отзывам о левой политике и массовой культуре, были заметны в нем уже на школьном дворе: сбившиеся в толпу громогласные, испускающие зловоние школьники, осо-

бенно на переполненных лестницах, были для него не менее омерзительными, чем «идиотская болтовня» учителей. Едва ли удивительно, что болезненный и близорукий мальчик в очках чувствовал себя чужаком на любых спортивных мероприятиях и школьных экскурсиях с их шумом и отчетливо милитаристским душком. Однако следует отметить, что эта школа предстанет в совершенно ином свете в комментариях друга Беньямина Гершома Шолема, который впоследствии поддерживал связи с некоторыми из бывших соучеников Беньямина. Школа имени кайзера Фридриха была «ярко выраженной реформаторской школой», и во главе ее стоял школьный реформатор; с первого класса обучение в ней велось на французском языке, с четвертого или пятого — на латыни, а с шестого или седьмого — на греческом, причем последний учили не по учебникам, а по тексту «Илиады» (см.: SF, 4; ШД, 18).

Даже Беньямин признавал наличие у школы некоторых позитивных аспектов, например ее обширную библиотеку. До поступления в школу родители поощряли в нем интерес к книгам, и вскоре он стал всеядным читателем. Отчасти его чтение было типичным для мальчика его возраста: Джеймс Фенимор Купер и его немецкий эпигон Карл Май. Кроме того, Беньямин поглощал истории про привидения, сохранив пристрастие к ним до конца жизни. Эта фантастическая литература существовала в жизни Беньямина наряду с другими его взрослыми увлечениями: он снова и снова возвращался к таким книгам, как «Призрак оперы», и к рассказам Э. Т. А. Гофмана.

Годы, проведенные в школе кайзера Фридриха, все же дали кое-какие долгосрочные плоды: у Беньямина завязалась дружба с двумя из его соучеников — Альфредом Коном и Эрнстом Шеном, сохранившаяся до конца жизни. Кроме того, впоследствии Беньямин сблизился с Шолемом, Францем Хесселем, Флоренсом Христианом Рангом и Густавом Глюком, а также с Адорно и Брехтом. Но ни одно из этих последующих знакомств не знало того доверия и близости, которые были характерны для его взрослых взаимоотношений с Коном и Шеном.

Из-за слабого здоровья — в детстве Беньямина часто одолевали продолжительные лихорадки — он по многу дней не без удовольствия пропускал школьные занятия. Обеспокоенные этими постоянными болезнями, родители Беньямина вскоре после пасхи 1904 г. забрали его из школы кайзера Фридриха, а после того, как он несколько месяцев провел дома в безделье, отправили его в *Landerziehungsheim Haubinda* — дорогую загородную школу-интернат в Тюрингии (регион в Центральной Германии) для учащихся среднего возраста. Они надеялись, что там их

сыну на пользу пойдут предусмотренные расписанием практические занятия (главным образом сводившиеся к сельскохозяйственным работам и ремеслам) и прогулки по сельской местности. Два года, проведенные Беньямином в Хаубинде, по сути, сыграли едва ли не самую важную роль в его развитии: они стали для него временем освобождения, хотя и не такого, какое имели в виду его родители.

На пологом склоне стоит дом; судя по всему, сейчас весна. Ночью шел дождь, и этим утром земля сырая, в лужах отражается белесое небо. Этот дом — Хаубинда, где живут ученики. Такие здания называются карканными; престолом ему служит невыразительный холм, с которого не окинуть взором лесистую равнину. Тропинка от двери спускается в сад, затем сворачивает налево и примыкает к черной сельской дороге, вдоль которой идет дальше. С обеих сторон дорожка обрамлена цветниками, дальше простираются бурые поля⁸.

Не укрепив здоровье Вальтера Беньямина и не привив ему более позитивного отношения к природе, Хаубинда оказала решающее влияние на формирование его интеллекта и характера.

Эта школа, основанная в 1901 г. по английскому образцу, не будучи лишена заметной шовинистической направленности в ее учебной программе, все же способствовала обмену идеями, особенно в ходе регулярных вечерних дискуссий на литературные и музыкальные темы, а ее преподавательский состав в противоположность этосу прусских государственных школ той эпохи в известной степени поощрял в учениках любознательность⁹. В 1900-е гг. по всей Германии возникали новые школы, руководившиеся идеями педагогов-реформаторов; в 1900 г. шведская суфражистка и педагог-теоретик Элен Кей провозгласила новое столетие «веком ребенка». Именно в Хаубинде Беньямин впервые встретился с педагогом-реформатором Густавом Винекеном (1875–1964), чьи радикальные методы обучения вдохновляли студенческую общественную деятельность Беньямина вплоть до начала Первой мировой войны. Ключевую роль в формировании мышления Беньямина сыграли в том числе идеи Винекена о пробуждении молодежи. Он преподавал в Хаубинде с 1903 по 1906 г., а затем был уволен после ссо-

8. Benjamin, "Die Landschaft von Haubinda" (1913–1914). См.: GS, 6:195.

9. См. анонимную юбилейную статью "Deutsche Landerziehungsheime" («Германские сельские школы-интернаты»), цитируемую в GS, 2:827–828. Как указывает Бродерсен, шовинистические тенденции вскоре дополнились «почти нескрываемым антисемитизмом» (Brodersen, *Walter Benjamin*, 25). Краткое описание «служб» в Хаубинде см.: SW, 2:322.

ры с основателем школы Германом Литцем. Вскоре после этого Винекен вместе со своим коллегой Паулем Геебом основал в Тюрингенском лесу, в Викарсдорфе, *Freie Schulgemeinde* («Свободную школьную общину»), где в течение примерно четырех лет имел более широкие возможности для воплощения своих теорий на практике¹⁰. В 1905–1906 гг. Винекен преподавал Беньямину немецкую литературу в Хаубинде. Впоследствии тот отмечал, каким образом эти уроки задали направление его интересов: «Мое пристрастие к литературе, которое до того времени находило выход в довольно беспорядочном чтении, углубилось и приобрело четкую направленность благодаря критико-эстетическим нормам, развившимся во мне в ходе этих занятий; в то же время они пробудили во мне интерес к философии» (EW, 49 [1911]). Благодаря всеобъемлющему литературно-философскому влиянию Винекена ненависть Беньямина к школам быстро преобразовалась в идеализацию школьной жизни, причем класс стал для него вероятным образцом истинной коммуны. Когда Беньямин много лет спустя в своем парижском изгнании вкратце упомянет о «педагогической теории как корне утопии» (AP, 915), в этом специфическом историческом контексте можно почувствовать те ранние влияния.

Как видно из самого значительного собрания работ Винекена данного периода — *Schule und Jugendkultur* («Школа и молодежная культура», 1913), представляющего собой одновременно и учебник по педагогике, и изложение теории культуры, он выступал в качестве своего рода популяризатора философии, проповедуя гегелевскую концепцию «объективного духа» в сочетании с более сумрачной ницшеанской философией жизни¹¹. Лейтмотивом его учения служила идея о «новой молодежи» как провозвестнике нового человечества, к которому довольно часто взывали в последующие тревожные десятилетия. Молодежь как надежда человечества — как носитель творческого потенциала сама по себе, а не только как переходное состояние, предшествующее «практическим реалиям» взрослой жизни, — остается идеалом; как отмечает Винекен, в настоящее время ни молодые люди, ни взрослые не имеют о нем никакого понятия. Задача школы (заменившей семью) как раз и состоит в том, чтобы пробудить идею молодости, и школа делает это, на-

10. См. написанное для журнала *Anfang* эссе Беньямина 1911 г. «Свободное сообщество учащихся» в: EW, 39–45.

11. См.: Wyneken, *Schule und Jugendkultur*, 5–12. Беньямин так отзывается о первом издании этой книги в письме от 23 мая 1914 г.: «Его теория по-прежнему сильно отстает от его идей» (С, 68).

саждая культуру. В этом смысле важно не накопление и упорядочение информации при всей их необходимости, а воспитание разума и чувств, *обновление* традиций; изучая иностранные культуры, мы делаем их нашей собственной культурой. Подлинное духовное и физическое бодрствование (*Wachsein*) требует как исторической — в конечном счете социологической, так и «космической» осведомленности, наивысшим выражением которой (как и в платоновской теории обучения) является понимание красоты. Живая культура опирается на искусство и философию. Таким образом, образовательная программа Винекена сводилась к слиянию учебных дисциплин в единое мировоззрение (*Weltbild*), как научное, так и поэтическое. Вслед за Ницше Винекен критикует «старый гуманитарный строй», утверждая, что тот лишился жизнеспособности, и призывает к освобождению от «релятивистского историцизма». Формирование культуры зависит от возникновения нового «неисторического» исторического сознания (эта формулировка была позаимствована из эссе Ницше 1873 г. «О пользе и вреде истории для жизни», которое займет ключевое место и в воззрениях Бенямина) — сознания, корнящегося в признании «большого культурного значения настоящего» и имеющего своей непосредственной задачей ответ на претензии «непрерывно самообновляющегося прошлого» (цит. по: EW, 40). Отказавшись от «мелкого рационализма» самодовольных буржуа, интеллектуально-эротическое сообщество учителей и учеников, относящихся друг к другу без различия пола, как к «товарищам», должно овладевать «более парадоксальным» мышлением, не изолированным от темных течений жизни и готовым, не скатываясь к сверхъестественным объяснениям, воспринимать то, что нередко представляет собой всего лишь *Aufblitzen* — внезапные проблески идей. Подобная освобожденная рефлексия, для которой характерна свобода ее задач, указывает на возможность новой критико-исторической религиозности, выходящей за пределы ненавистных церковных догм. И в свою очередь, только такое духовное преображение делает возможным существование *Kulturstaat* — государства, обеспечивающего расцвет культуры, стоящего выше эгоизма национальных государств и партийной борьбы. В настоящее же время любой новый политический союз сталкивается с громадной проблемой — несоответствием между материальным (техническим) и духовным (нравственным и юридическим) развитием.

Составной частью этого синтезирующего учения является неприкрытый элитизм: культ гениальности, концепция вождя, различие между «высшими людьми» и «сбродом», излагаемые с таким же философским пафосом, который можно най-

ти у Ницше, но без его философской иронии. Высших людей отличает проникновение в суть и поглощенность искусством и философией, согласно Винекену, порождающие скептицизм по отношению к демократизационным тенденциям, вслед за которыми к власти приходит посредственность; подлинно культурная жизнь ориентирована не на счастье, а на героизм в виде преодоления самого себя, победы над природой. Хотя идеи самого Винекена были окрашены витализмом XIX в., на который в последующие годы опиралось столько германских реакционных идеологий, Винекен предупреждает и о «внешних угрозах», порождаемых политикой правого толка, и о «внутренних угрозах», исходящих от левых. Согласно его концепции, индивидуум находит себя, подчиняясь объективному духу, чья раскрывающаяся истина стоит выше личностей, хотя и не является обезличенной. Но, несмотря на отдельные диалектические повороты в аргументации Винекена, он явно находился в оппозиции к духу индивидуализма, и эта оппозиция в итоге сделала его адептом германского национализма. Сделанное им в ноябре 1914 г. заявление о том, что молодежь обязана встать под германские боевые знамена, не слишком расходилось с его взглядами, хотя многим его последователям оно показалось отступничеством от его учения. Было бы трудно переоценить влияние учения Винекена на личность и идеи Беньямина, особенно в течение следующих семи лет, когда он заявил о себе в качестве главного рупора Германского молодежного движения, но в конечном счете и на протяжении всей его жизни.

Вернувшись весной 1907 г. в Берлин, Беньямин провел еще пять лет в школе кайзера Фридриха, на чем закончилось его среднее образование. Теперь он выбирает книги, руководствуясь появившимся у него ощущением цели: по его словам, после Хаубинды в нем шло развитие «специфически эстетических интересов», представлявшее собой «естественный синтез» его философских и литературных интересов. Кроме того, он был увлечен «теорией драмы, в первую очередь размышлениями о великих драмах Шекспира, Геббеля и Ибсена, наряду с пристальным изучением „Гамлета“ и „[Торквато] Тассо“ [Göte], а также активным чтением Гельдерлина... Более того, — отмечал Беньямин, — на меня, конечно же, повлияла озабоченность окружающих социальными вопросами, в чем сыграло свою роль и пристрастие к психологии» (EW, 50 [1911]). В стремлении углублять свои суждения по литературным вопросам он вместе со своим другом Гербертом Бельмором (Блюменталем) и другими соучениками основал еженедельно собиравшийся литературный и дискуссионный кружок, разбиравший творчество ряда современных немецких дра-

матургов (включая Герхарта Гауптмана и Франка Ведекинда), которых нельзя было изучать в школе, а также германские переводы греческих трагедий, Шекспира, Мольера и других классиков¹². Кроме того, члены кружка писали и обсуждали рецензии на просмотренные ими театральные постановки. Эти литературные вечера, которые, согласно рассказу одного из их участников, проводились с 1908 г. до начала войны, явно восходили к музыкальным и литературным «службам» в Хаубинде, пусть даже они предшествовали различным самостоятельным студенческим дискуссионным форумам, в работе которых Беньямин принимал участие в университетские годы. Судя по всему, этот литературный кружок и был тем «кружком друзей», который, как впоследствии утверждал Беньямин, он основал в школе кайзера Фридриха через год-другой после возвращения из Тюрингии с целью пропагандировать учение Винекена, чьи статьи о целях «Свободной школьной общины» в Викарсдорфе по-прежнему служили для него источником вдохновения (см.: GB, 1:70).

Винекен был вынужден уйти из Викарсдорфа в апреле 1910 г., после новых стычек с коллегами и властями. Продолжая работу по реформе школы, он впоследствии отправился в напряженное лекционное турне, в то же время продолжая издавать свои работы и руководить выпуском различных журналов. Именно в этот период окрепли его связи с Беньямином; в дневниках Винекена начиная с 1912–1913 гг. появляются многочисленные упоминания о его выдающемся юном протее, которому он читал отрывки из своих работ. Важным органом для распространения идей Винекена в то время являлся журнал *Der Anfang* («Начало»), с двумя перерывами издававшийся в Берлине в 1908–1914 гг. Редактором этого журнала, изначально имевшего подзаголовок *Zeitschrift für kommende Kunst und Literatur* («Журнал грядущего искусства и литературы») и расходившегося среди учащихся старших классов тиражом в 150 гектографированных экземпляров, был берлинский учащийся Георг Гретор, сверстник Беньямина, подписывавшийся как Жорж Барбизон — убежденный винекенианец, отец которого торговал произведениями искусства. В 1910 г. Беньямин, еще не окончивший школу, начал печатать в *Der Anfang* поэзию и прозу, скрываясь под многозначительным латинским псевдо-

12. «К школьным товарищам Беньямина... относились Эрнст Шен, Альфред Кон, Герберт Блюменталь [Бельмор], Франц Закс, Фриц Штраус, Альфред Штейнфельд и Вилли Вольфрадт... Они образовали кружок, который регулярно собирался, читая и обсуждая литературные произведения. Фриц Штраус рассказывал мне, что эта группа считала Беньямина своим руководителем. Его интеллектуальное превосходство, дескать, было очевидно всем» (SF, 4; ШД, 18–19).

нимом Ardor с тем, чтобы избежать гнева со стороны школьного начальства и властей, который, как и следовало ожидать, не замедлил последовать. Первая публикация Беньямина — стихотворение «Поэт» затрагивает тему, характерную для модного в то время неоромантизма: за одиноким поэтом подглядывают с вершин Олимпа, пока он пишет бессмертные строки на краю пропасти, устремляя взор то вглубь своей души, то на богов в вышине, то на «толпу». В 1911 г., когда журнал начал издаваться типографским способом и получил новый подзаголовок *Vereinigte Zeitschriften der Jugend* («Объединенные журналы для молодежи»), в 1913–1914 гг. превратившийся просто в *Zeitschrift der Jugend* («Журнал для молодежи»), публикации Беньямина, непосредственно затрагивавшего вопросы школьной реформы и молодежной культуры, приобрели определенно политическую и даже воинственную окраску. Первое из этой серии программных выступлений — «Спящая красавица» — отталкивалось от аллегии пробуждения Молодости — цели, заявленной Винекеном. Требование о том, чтобы новая молодежь встала во главе движения к революционным культурным изменениям, оставалось главной темой если не всех произведений Беньямина, то всех его публикаций в течение трех следующих лет.

На годы сотрудничества Беньямина с *Der Anfang* приходятся и его первые контакты с авангардистским объединением *Neue Club* (Новый клуб) — существовавшим в 1909–1914 гг. в Берлине кружком писателей-протоэкспрессионистов, презентовавших свои произведения на устраиваемых клубом вечерах *Neopathetisches Cabaret* («Неопатетическое кабаре»). Новый клуб был основан Куртом Хиллером, а в число его членов входили поэты, впоследствии внесшие важнейший вклад в германский экспрессионизм, Георг Гейм и Якоб ван Годдис (Ганс Давидсон). Беньямин был знаком с рядом активных членов клуба, таких как Симон Гутман (впоследствии работавший фоторепортером в Берлине и Лондоне), который также был активным членом группы, издававшей *Der Anfang*; кроме того, Беньямин был знаком с такими важными представителями клуба, как Роберт Йенч и Давид Баумгардт. Нам не известно, был ли Беньямин знаком с Геймом, самым одаренным поэтом в этой группе, хотя Гейм был другом Гутмана; впрочем, по словам Шолема, Беньямин наизусть читал ему стихи из сборника Гейма 1911 г. «Вечный день» — «для него дело необычное» (SF, 65–66; ШД, 115)¹³. В 1912 г. Хиллер издал первую антологию экспрессионистской поэзии *Der Kondor*.

13. См. также: Voigts, *Oskar Goldberg*, 127–128. О связях Беньямина с Хиллером, восходящих примерно к 1910 г., см.: SF, 15–16; ШД, 38.

В конце 1911 г. Бенъямин подал прошение о сдаче *Abitur* — выпускного экзамена, дававшего право на поступление в университет; при этом он столкнулся с сопротивлением со стороны отца, которому хотелось, чтобы его сын, подобно другим молодым людям его возраста, овладел какой-нибудь полезной профессией. (Эмиль Бенъямин пошел на попятный после вмешательства своей старшей сестры-интеллектуалки Фредерики Йозефи, любимой тетушки Бенъямина, которая обучила своего племянника графологии. В 1916 г. она совершила самоубийство¹⁴.) В феврале и марте следующего года Бенъямин сдал несколько письменных и устных экзаменов. Он выдержал испытание по всем предметам, кроме одного — письменного экзамена по греческому (перевод из Платона), хотя реабилитировался на устном экзамене¹⁵. Ему поставили «удовлетворительно» по математике, «хорошо» по латыни и «отлично» за сочинение на немецком на заданную тему: о Гёте и австрийском драматурге Франце Грильпарцере, отличавшееся, как отметил старший экзаменатор, углубленным проникновением в тему и изяществом стиля. Даже в этой маленькой работе заметно влияние Винекена: она строится вокруг «проблемы гения», в контексте которой упоминается шекспировский Гамлет, этот «великий мыслитель». Бенъямин утверждает, что гений «терпит крушение на жизненных рифах» (GS, 7:532–536). Незадолго до этого он писал в аналогичном ключе о Пиндаре в своем первом, согласно его «Берлинской хронике», философском эссе «Размышления о знати».

Окончив в марте школу кайзера Фридриха, Бенъямин, судя по всему, вскоре снова снискал расположение отца, поскольку во время каникул на Троицу (с 24 мая по 15 июня) ему удалось совершить продолжительное путешествие по Италии, побывав в таких городах, как Комо, Милан, Верона, Виченца, Венеция и Падуя. До этого он всегда путешествовал только с родителями. Две такие поездки в Швейцарию, летом 1910 г. и летом 1911 г., описываются Бенъямином в его первых письмах Герберту Бельмору; эти восторженные письма полны литературных пародий, а также сообщений и отзывов о прочитанных книгах — от тео-

-
14. Шолем приводит сон, приснившийся Бенъямину за три дня до самоубийства его тети: «„Я лежал в постели, в комнате был еще один человек и моя тетка, но они не общались. В окно глядели люди, проходившие мимо“. Лишь впоследствии ему стало ясно, что это было символическим известием о ее смерти» (SF, 61–62; ШД, 108). Этот сон приобретает еще одно измерение в свете самоубийства самого Бенъямина.
 15. В аттестате зрелости, выданном Бенъямину, отмечаются «отсутствие прогулов» и его «примерное поведение», а также «неудовлетворительный» почерк (см.: Brodersen, *Walter Benjamin*, 30, 32).

рии языка Фрица Маунтнера до «Анны Карениной». Теперь же, в 19-летнем возрасте, ему разрешили отправиться за границу с двумя школьными товарищами. Беньямину впервые довелось вкусить настоящей свободы от семьи и учителей. Он зафиксировал впечатления от этого «Итальянского путешествия» 1912 г., как и нескольких других поездок, предпринятых начиная с 1902 г., в путевом дневнике, превосходившем своим объемом предыдущие. В нем обращает на себя внимание то, что Беньямин относится к дневнику как к воплощению своего путешествия: «Именно исходя из этого дневника, я собираюсь писать, каким должно быть это путешествие в первую очередь. Мне хотелось бы видеть в этом дневнике развитие... безмолвного, самоочевидного синтеза, которого требует путешествие, совершаемое в учебных целях, и который составляет его сущность» (GS, 6:252). Мы видим здесь типично беньяминовскую логику: задача автора состоит в том, чтобы высвободить то, что возникает впервые, в его подлинном виде. Составление дневника путешествия по сути становится самим путешествием, учебным синтезом. Здесь уже неявно присутствует сложное понимание взаимодействия временных аспектов с формой и содержанием литературного произведения — понимание, которое предвосхищает позднейшую материалистическую концепцию «олитературирования условий жизни» и которое принесет плоды если не в самих путевых дневниках, то в амбициозных ранних эссе «Метафизика молодости» и «Два стихотворения Фридриха Гельдерлина». Между тем «Мое путешествие в Италию на Троицу 1912 г.» содержит многочисленные свидетельства о пристрастии Беньямина к путешествиям и к ведению путевых дневников, которое с течением времени будет только усиливаться.

Вскоре после сдачи *Abitur* Беньямин издал короткий «Эпиплог» к своим школьным годам. В этой маленькой заметке, анонимно опубликованной в *Bierzeitung* (Пивная газета) — юмористическом журнале, выпущенном им совместно с соучениками по школе кайзера Фридриха, он задается вопросом: «Что дала нам школа?»¹⁶. Отставив шутки в сторону, он отвечает: много

16. В письме от 6 сентября 1913 г., адресованном Зигфриду Бернфельду, соратнику по молодежному движению, Беньямин ссылается на этот школьный журнал, в котором он по случаю окончания школы опубликовал свой «Эпиплог», как на «юмористический журнал моего поколения, достойный внимания в особенности потому, что он был показан учителям. Мы составили его вместе с моими двумя друзьями втайне от класса и обнародовали на выпускном вечере к удивлению и учеников, и учителей» (GV, 1:172). Этими двумя друзьями, возможно, были Фриц Штраус и Франц Закс, хотя в выпуске журнала, по-видимому, участвовал и Эрнст Шен.

знаний, но никаких идеалов, которые бы задавали направление, никакого чувства долга, обязывающего к действиям. По его словам, школьным занятиям неизменно сопутствует мучительное ощущение произвольности и бесцельности: «Воспринимать свою работу всерьез нам удавалось не лучше, чем воспринимать всерьез самих себя» (EW, 54). Он снова призывает к открытому диалогу, открытым беседам между учителями и учениками как необходимому первому шагу к тому, чтобы воспринимать всерьез саму «молодость». Эти выпады в адрес учебных заведений, столь смело прозвучавшие из уст Бенямина в старших классах, вскоре были продолжены им гораздо более публичным образом.

Глава 2

Метафизика молодости: Берлин и Фрайбург. 1912–1914

ХОТЯ из большинства описаний трех последних предвоенных лет следует, что по всей Европе ощущалась тревога, связанная с грядущей мировой войной, первые университетские годы Вальтера Беньямина во Фрайбурге и Берлине прошли для него под знаком совсем иных забот. В эти годы он уделял в своих штудиях все больше внимания тому, что можно назвать «философией культуры». Впрочем, намного более важным, чем эти штудии, было происходившее в те годы становление Беньямина как острого критика академической жизни во всех ее аспектах. Поначалу эта критика была облачена в форму ряда блестящих, но в высшей степени эзотерических — и оставшихся в большинстве своем неопубликованными — эссе. Однако Беньямин все громче заявлял о себе в качестве вождя и глашатая различных студенческих группировок, связанных с тем, что в наши дни известно как Германское молодежное движение. Из этого страстного участия в студенческой жизни родились первые работы Беньямина, призванные оказать влияние на широкую общественность. В то же время, задумываясь о том, чтобы играть роль публичной фигуры, Беньямин впервые пришел к пониманию необходимости разобраться со своей еврейской идентичностью.

Студенческая жизнь Беньямина началась в апреле 1912 г. во Фрайбурге-им-Брайсгау, в Университете Альберта Людвига — одном из старейших и самых прославленных германских университетов. Фрайбург был небольшим, тихим городом, более известным красотой окружающих пейзажей на южных склонах Шварцвальда, чем своей культурной жизнью. Трудно представить место, более далекое от берлинской суеты, хотя Фрайбург вскоре стал центром нового феноменологического движения в философии, выросшего вокруг учения Эдмунда Гуссерля и его ученика-ниспровергателя Мартина Хайдеггера, который был старше Беньямина на три года. Чтобы продолжать свои лите-

ратурные занятия, Бенъямин поступил на филологический факультет и во время летнего семестра прослушал множество лекционных курсов — больше, чем за какой-либо из последующих семестров. В число этих курсов входили «Религиозная жизнь в поздней античности», «Средневековая немецкая литература», «Общая история XVI века» (ее читал известный историк Фридрих Мейнеке), «Мировоззрение Канта», «Философия современной культуры», «Стиль и техника в графике» и «Введение в эпистемологию и метафизику».

Последний из этих курсов читал более чем сотне студентов выдающийся философ-неокантианец Генрих Риккерт, чье учение начиналось с критики и позитивизма (идеи Конта о том, что единственным законным источником знаний является информация, которую дают человеку его чувства), и витализма (философский акцент на «жизни как таковой», проистекающий из критики рационализма, которой предавались Шопенгауэр и Ницше). Достижением самого Риккерта являлось теоретическое овладение историей и культурой. Несмотря на логически-научный стиль аргументации Риккерта, его исторически ориентированный анализ, отражавший поворот к *Problemgeschichte* (истории проблем), который служил фирменным знаком Юго-западной школы неокантианства, и его попытка теоретически преодолеть такие антиномии, как дух и естество, форма и содержание, субъект и объект, и тем самым выйти *за пределы* кантианства, оказали весьма существенное влияние на Бенъямина. Собственно, можно считать, что те философские и эстетические исследования, которыми Бенъямин занимался в течение следующего десятилетия, находились на важных узловых точках при выходе на орбиту неокантианства Риккерта и Германа Когена, профессора философии в Марбурге, и сходе с нее. В конце жизни Бенъямин даже писал Теодору Адорно (в глазах которого он всегда старался преуменьшить влияние романтизма на свое мышление), что сам он был «учеником Риккерта (как вы были учеником Корнелиуса)» (ВА, 333).

Кроме того, лекции Риккерта по эпистемологии и метафизике в 1912 г. посещал и молодой Хайдеггер, впоследствии под руководством Риккерта, до того, как тот в 1916 г. перебрался в Гейдельберг (во Фрайбурге его сменил Гуссерль), написавший свою докторскую диссертацию. Летом следующего года Хайдеггер и Бенъямин ходили на курс лекций Риккерта по логике (фактически по новой «философии жизни») и на сопутствующий ему семинар по философии Анри Бергсона, и было бы заманчиво думать, что на этом семинаре они в той или иной степени обращали друг на друга внимание. Однако, насколько нам

известно, между этими людьми, чьи работы обнаруживают много точек соприкосновения и чья жизнь сложилась совершенно по-разному, никогда не было никаких личных контактов, хотя примерно четыре года спустя Беньямин ознакомился с ранними трудами Хайдеггера, которые, вообще-то, произвели на него неблагоприятное впечатление¹.

Для Беньямина, слишком многого ожидавшего от высшего образования, первый семестр в университете стал «потопом» и «хаосом» — по крайней мере так он писал Герберту Бельмору, своему главному корреспонденту в течение первых двух университетских лет. Порой ему удавалось ускользнуть от «призрака „перенапряжения“», ясными утрами предаваясь «тихим блужданиям по городу на окраинах университета» (ГВ, 1:46); с точки зрения живописных пейзажей и солнечной погоды Юго-Западная Германия могла предложить ему больше по сравнению с тем, что он привык получать в родном Берлине. Однако чаще Беньямин был вынужден придерживаться того, что он называл «фрайбургским временем», которое отличалось тем, что в нем было прошлое и будущее, но не было настоящего. «Факт тот, — в середине мая отмечал Беньямин в письме Бельмору, — что во Фрайбурге я ощущаю способность к независимым размышлениям о научных вопросах примерно в десять раз реже, чем в Берлине» (С, 14–15).

Его решение учиться в провинциальном Фрайбурге, вероятно, было связано не столько с известностью таких преподавателей, как Риккерт и Мейнеке, сколько с тем, что Фрайбургский университет ненадолго оказался центром радикального студенческого движения. Он стал первым из ряда немецких университетов, где студенты получили разрешение воплотить на практике ключевое стратегическое предложение Густава Винкена: создать отделы по проведению учебной реформы (*Abteilungen für Schulreform*) в рамках существующих вольных студенческих союзов (*Freie Studentenschaften*). Последние на рубеже веков были организованы во многих германских университетах

1. См. главу 3. Беньямин несколько раз ссылается на Хайдеггера в проекте «Пассажи». См.: AP, папки N3,1, S1,6; С, 168, 359–360, 365, 571–572; ГВ, 4:332–333, 341; ГВ, 5:135, 156. Хайдеггер вкратце упоминает Беньямина в переписке с Ханной Арендт в связи с лекцией о Беньямине, прочитанной ею в 1967 г. во Фрайбурге, на которой присутствовал Хайдеггер. (Эта лекция легла в основу предисловия Арендт к сборнику произведений Беньямина *Illuminations*.) См.: Arendt, Heidegger, *Briefe*, 155, 321–322; Арендт, Хайдеггер, *Письма*, 164, 356. См. также: Fuld, *Walter Benjamin*, 290–292. Различие между двумя этими людьми, обусловленное их разным происхождением, сказывалось уже в их студенческие годы: Хайдеггер не проявлял интереса к молодежному движению, имевшему важное значение для Беньямина.

в противовес таким традиционным студенческим ассоциациям, как братства и дуэльные корпорации, с целью насаждения некоторых либеральных просветительских идеалов XIX в., таких как внутреннее единство академических дисциплин и раскрытие индивидуальности в рамках ученого сообщества. Вольные студенческие союзы представляли собой главный университетский орган *Jugendbewegung* — общенационального молодежного движения, истоки которого восходили к ряду небольших, но сплоченных групп ребят, любивших гулять по сельской местности вокруг Берлина². Эти группы — *Wandervögel* («Перелетные птицы») — были официально основаны в Берлин-Штеглице в 1901 г., хотя такие же группы, посвятившие себя миру природы и распространению простых привычек, развивавшихся благодаря времяпрепровождению вне дома, неформально существовали уже много лет. По мере того как молодежные группы, подражавшие *Wandervögel*, распространялись по всей Германии, на смену легкому антиинтеллектуализму и аполитичности первых из них — «этих длинноволосых, неряшливых вакхантов... бродивших по полям и лесам, брэнча на гитарах» — пришел целый спектр интересов, и прежняя конгломерация юношеских клубов превратилась в молодежное движение³. К 1912 г. «Свободная германская молодежь» (*Freideutsche Jugend*), зонтичная организация, под эгидой которой существовало это движение, включала в свой состав всевозможные элементы: от пацифистов-идеалистов, с которыми был связан Беньямин, до консерваторов, зараженных национализмом и антисемитизмом.

Винекенианцы были отнюдь не самой крупной из этих групп — в 1914 г. их, по оценкам, насчитывалось три тысячи, хотя благодаря своей антиавторитарной модели свободного школьного сообщества, созданной в Викарсдорфе, и осознанию себя в качестве авангарда они, несомненно, пользовались самой большой известностью. Они выступали в качестве сторонников научной и культурной реформы, имея в виду реформу сознания вообще и «буржуазного» сознания в частности. Такой коммунистке, как Хильда Беньямин, жена и биограф брата Беньямина Георга, молодые люди, окружавшие Винекена, представлялись «интеллектуальной элитой». Она цитирует следующий коллективный доклад об истории молодежного движения в рядах германской трудящейся молодежи:

-
2. Самым всеобъемлющим и сбалансированным описанием этого молодежного движения в англоязычной литературе остается Walter Laqueur, *Young Germany*.
 3. R. H. S. Crossman, предисловие к Laqueur, *Young Germany*, xxii.

Истоки этого оппозиционного буржуазного молодежного движения восходят к рубежу веков. Ряд учащихся старших классов, главным образом из мелкобуржуазных и буржуазных кругов, вступил в конфликт с авторитарным режимом, господствовавшим в средних школах, тон в которых по большей части задавали окостенелые педанты, требовавшие от учащихся безусловного повиновения. Подавление всякой независимой интеллектуальной инициативы, равнение учебной программы на идеологию подготовки к войне и культ монархии вступали в противоречие с гуманистическими идеалами, присущими преподаванию. Наряду с этим многие питали отвращение к буржуазной морали родительского дома, к жажде наживы и связанному с ней лицемерием, низкопоклонством и жестокостью. Многие из этих молодых людей после окончания школы шли в университеты, где оставались носителями духа *Wandervögel*. Они отвергали практику реакционных студенческих корпораций, их одержимость дуэлями и пьянством, шовинизм, надменность и презрение к народу... Нонконформизм этих молодых людей в целом порождался не существующим социальным строем, а межпоколенческим конфликтом... Они отказывались от активного участия в политических баталиях того времени. Их целью служило просвещение людей, строивших свою жизнь «согласно своим собственным принципам, на свою собственную ответственность и в соответствии с внутренней правдой»⁴.

При изучении «этической программы», которой следуют довоенные работы Беньямина, активиста студенческого движения, с их подробным осуждением бессмысленных школьных занятий и усыпляющего филистерства, порожденного сговором семьи и школы, невозможно не заметить многочисленных переключек с описываемым в этом отрывке интеллектуальным и духовным «нонконформизмом».

В итоге винекенианцы оказались меньшинством даже в рамках более консервативной части независимо настроенных студентов. Отделы по проведению учебной реформы, через которые Винекен какое-то время оказывал влияние на студенческую жизнь в университетах, были призваны дополнять то, что давали официальные лекции, и тем самым расширять учебные горизонты, выводя их за рамки узкоспециализированной профессиональной подготовки. Благодаря Фрайбургскому отделу по проведению учебной реформы, выступавшему в качестве организатора серии лекций в университете и вечер-

4. "Geschichte der deutschen Arbeiterjugend-Bewegung, 1904–1945" (1973). Цит. по: Benjamin, *Georg Benjamin*, 22–23. Закавыченная фраза в конце этого отрывка была сформулирована в октябре 1913 г. на Мейснеровском съезде молодежи (см. сноску 29).

них дискуссионных групп, Беньямин получил еще одну арену для осуществления своей миссии «по возвращению людям их молодости» (С, 24). Тем летом его статья «Учебная реформа как культурное движение» была опубликована в брошюре, изданной Фрайбургским отделом по проведению учебной реформы тиражом в 10 тыс. экземпляров и бесплатно распространявшейся в университетах по всей стране. Выступая под новым псевдонимом «Экхарт, фил.», Беньямин утверждал, что учебная реформа означает не только реформирование системы передачи ценностей, но и всеобъемлющий пересмотр самих этих ценностей. За пределами собственно институциональных рамок учебная реформа затрагивает весь образ мысли; она предполагает не столько узкую перестройку образования, сколько выполнение широкой этической программы. Но образование — это не только вопрос мышления *sub specie aeternitatis* (согласно знаменитому выражению Спинозы), это вопрос *жизни и работы* «с точки зрения вечности». Лишь расширяя личные и общественные горизонты, образование может способствовать формированию культуры, понимаемой как «естественные достижения человечества» (EW, 38). Примерно три года спустя в работе, представлявшей собой вершину его юношеской философии, — «Жизнь студентов» Беньямин более четко проведет грань между актуальной «исторической задачей» и расплывчатыми концепциями «прогресса» человечества как движения вдоль стрелы времени.

Выдвинутая Беньямином идея пробуждения молодежи, непосредственно опиравшаяся на учение Винекена, но в конечном счете восходившая к германской мысли XIX в. от Шлегеля и Новалиса до Ницше, зафиксирована не только в его письмах, но и главным образом в поразительной серии изданных и неизданных статей за период 1911–1915 гг. Эта лавина работ, представляя собой нечто большее, чем юношеское творчество, насыщена оригинальностью, которой будет отмечено практически все, что впоследствии напишет Беньямин. В его глазах проект молодежной культуры никогда не сводился к программе учебной реформы, а был направлен на революцию в сфере мышления и чувств. Значимые институциональные изменения могли состояться только вслед за трансформацией культуры. Молодость рассматривалась как авангард борьбы за «новое человечество» и «радикально новое видение» (EW, 29, 120). Она представляла собой не только культурно-политическое движение, но и философию жизни или живую философию, говоря точнее, философию исторического времени и философию религии. Для молодого Беньямина эти аспекты мышления были

тесно переплетены друг с другом в рамках очень немецкой концепции духа — *Geist*. Молодость определялась как «живое [*vibrierende*] ощущение абстрактности чистого духа» (С, 55) — так Беньямин выражался в одном из наиболее восторженных писем, которые он в 1913–1914 гг. посылал своей подруге и соратнице Карле Зелигсон, берлинской студентке-медичке, а впоследствии жене Герберта Бельмора. Практически каждое слово этой формулировки несет в себе эзотерический заряд, призванный взорвать логику отцов. Карла Зелигсон спрашивала: «Возможно ли это?» Чрезвычайно тронутый, он отвечает в откровенно мистическом духе: целью является всего лишь ощущение молодости само по себе, доступное далеко не всем, — «великая радость ее присутствия». Иными словами, цель — не в «совершенствовании», а в воплощении (*Vollendung* — ключевой термин у Риккерта), что присуще всякому индивидууму, переживающему пору молодости. Далее Беньямин пишет:

Сегодня я благоговейно ощущаю истину в словах Иисуса: вот, Царствие Божие не здесь и не там, а внутри нас. Мне бы хотелось прочесть с вами диалог Платона о любви, где это сказано более красиво и более продуманно, чем, вероятно, где-либо еще (С, 54 [15 сентября 1913 г.])⁵.

Быть молодым, считает он, означает не столько служить духу, сколько *ожидать* его пришествия. (Здесь на ум приходят идеи Гамлета о готовности, целью которой является «игра»⁶.) Эта квазитеологическая терминология указывает на то, зачем требуется «абстрактность» духа: вместо того чтобы застыть в какой-либо определенной позиции, живая, «вечно актуализирующаяся» душа молодости сохраняет свободу взгляда. Как пишет Беньямин, «это самое важное: мы не должны цепляться ни за какую конкретную идею, [даже за] идею молодежной культуры» (С, 54; о свободе см. 52). Иными словами, никаких догм и никаких конкретных, замкнутых систем, не говоря уже о какой-либо ангажированности, скорее озарение (*Erleuchtung*), в ходе которого на свет выводится «самый далекий дух». Несмотря на сходство этих идей с «наивным» романтизмом, от которого Беньямин в последующие годы в целом отрекся (см.: SW, 3:51), они указывают на господство той органической двусмысленности, с которой мы встречаемся в самых

5. Беньямин ссылается на Евангелие от Луки (17:21) и «Пир» Платона.

6. Беньямин цитирует соответствующие строки в своей рецензии 1928 г. (SW, 2:105). Он разбирает «Гамлета», «трагедию современного человека», в своем эссе 1911 г. «Спящая красавица» (EW, 26–32).

характерных его работах, — двусмысленности, выражающей его динамическую, диалектическую концепцию истины как откровения, сохраняющего веру в сокрытое. Это не истина о чем-то, а истина, содержащаяся в этом чем-то⁷.

Вопрос Карлы Зелигсон «возможно ли это?» в принципе представлял собой призыв к политическим действиям; ответ, который Беньямин дал в 1913 г., уводил призыв к действиям в сферу идей, причем очень возвышенных. В университетские годы Беньямин в своих работах лишь в очень редких случаях непосредственно затрагивал тему политики. В «Диалоге о современной религиозности», написанном осенью 1912 г., он вкратце рассуждает о «честном социализме», противопоставляя его традиционному социализму того времени (см.: EW, 71). Кроме того, в одном из своих писем он довольно небрежно сообщает своему другу-сионисту Людвигу Штраусу, что еще не сделал выбора между социал-демократической и леволиберальной ориентацией. В любом случае, добавляет он, с учетом того, что двигатель политических партий — политика, а не идеи, в конечном счете политические действия могут иметь значение только с точки зрения искусства выбирать меньшее из зол (см.: GB, 1:82–83 [7 января 1913 г.]). Тем не менее вера в образование — убеждение в том, что политика начинается в образовании, а ее плоды пожинает культура, в течение всех последующих университетских лет побуждала его ко все более заметному участию в активной организации политической жизни в своем отделении молодежного движения. В дальнейшем же она побуждала его к протестам против школы и семьи и служила неизменным образцом для его строгой, эстетически окрашенной этической программы.

Специфически этическую сторону мировоззрения Беньямина представляла собой идея дружбы, которая, подобно многому другому в реформаторском дискурсе той эпохи, имела весомый классический прецедент — в данном случае платоновскую концепцию «филии» (дружбы равных) как агонистической основы подлинного сообщества. Свою роль сыграла также выдвинутая Ницше идея государства как сочетания «сотни глубоких одиночеств», а кроме того, кантовская «необщительная общительность». Формулировка Беньямина — *eine Freundschaft der fremden Freunde*, дружба между друзьями, сохраняющими дистанцию

7. Как Беньямин напишет в 1924 г., «истина — не разоблачение, уничтожающее тайну, а откровение, подобающее ей» (OGT, 31; ПНД, 10). См. также фрагмент 1923 г. «По поводу отдельных дисциплин и философии»: «Не существует истины о предмете [*über eine Sache*]. Есть только истина в предмете» (SW, 1:404).

в своих отношениях (С, 57), — опирается на диалектику одиночества и сообщества, к которой он часто возвращается в письмах этого периода. Эта формулировка будет накладывать отпечаток на его отношения с другими людьми до конца его жизни. Одиночество следует культивировать как предпосылку подлинного сообщества, которое может быть только сообществом отдельных разумов и отдельных сознаний. В этом убеждении скрывается источник сложных стратегий дистанцирования, которыми отмечены практически все взаимоотношения в жизни Беньямина: его строго формализованные манеры, сохранение им непроницаемой стены между своими друзьями и тщательное уклонение от обсуждения личных вопросов и в беседах, и в переписке.

В то же время конструктивное или плодотворное одиночество само по себе предполагает живое сообщество:

Где в наши дни те, кто одинок? К этому, к одиночеству их могут привести только идея и единение на основе идеи. Я уверен в том, что одиноким может стать лишь человек, для которого идея (вне зависимости от того, что это за идея) стала его собственной; полагаю, что такой человек не может не быть одиноким... Глубочайшее одиночество — одиночество идеального человека по отношению к идее, которое уничтожает его человеческое начало. И такого глубочайшего одиночества мы можем ожидать только от идеального сообщества... Условия одиночества среди людей [*Einsamkeit unter Menschen*], с которыми в наши дни знакомы столь немногие, еще предстоит создать (С, 50).

Беньямин намекает на то, что он имеет в виду, ссылаясь на «условия» глубокого одиночества в сообществе, идеально-го разрушения «слишком человеческого», в другом своем письме этого времени, написанном летом 1913 г., в котором он говорит о своем чувстве, «что вся наша гуманность — жертва духу», и о том, что по этой причине не терпит никаких личных интересов, «личных чувств, личной воли и разума» (С, 35). Может показаться странным, что эти предписания, выдающие в их авторе не только носителя абстрактного юношеского энтузиазма, но и поборника строгой морали, исходят от человека, который менее чем через 10 лет ради личного удовольствия будет страстно собирать редкие книги и оригинальные произведения искусства, а также тщательно охранять свое личное пространство даже от ближайших друзей (при этом нельзя не отметить, что в то же время он напал на понятие частной собственности, буржуазное в своей основе). Но такие противоречия были типичны для его многогранного характера и соответствова-

ли тому, что он назовет «противоречивым и текучим целым», сформировавшимся на основе его убеждений (см.: BS, 108–109). В глазах Бенямина философское и политическое начала никогда не были взаимоисключающими, и он постоянно стремился стать своим человеком в группах, в которые почти всегда плохо вписывался если не по идеологическим причинам, то в силу своего темперамента. В письме от 23 июня 1913 г. он мог написать: «Искупление неискупляемого... есть провозглашаемый нами всеобщий принцип» (С, 34)⁸. В данном случае Бенямин стоит и на аристократических, и на эгалитарных позициях, так же, как и в позднейших, более выдержанных заявлениях, сделанных им в пору нищеты и жизни на чужбине.

Если в годы, предшествовавшие Первой мировой войне, классическое противоречие между *philosophia* и *politeia* было не более плодотворным в плане готовых решений, чем когда-либо прежде, то оно все же давало повод для уточнения и развития теоретических допущений. В этом отношении юношеские работы Бенямина представляют собой полигон его более поздней философии. Это особенно очевидно в том, что касается проблемы времени, над которой бился ряд лучших умов его поколения. С точки зрения осознания молодостью — молодостью как средоточием «непрерывной духовной революции» (EW, 205) — своего собственного существования принципиально важное значение имеет расширение самого понятия настоящего, понимание его как такого настоящего (*Gegenwart*), которое можно только ожидать (*erwarten*). Разумеется, понимание Бенямином истории с самого начала носило метафизический характер. Иными словами, оно выходит за пределы хронологической концепции времени, ни на мгновение не забывая о тотальности времени (см.: EW, 78; Бенямин пользуется термином *Gesamtheit*). История — это борьба между будущим и прошлым (см.: EW, 123), и динамическим локусом этой борьбы является настоящее. Ницше уже постулировал эпистемологический приоритет настоящего в своем эссе «О пользе и вреде истории для жизни», на которое Бенямин ссылается в своей статье 1913 г. для *Anfang* «Обучение и оценка». В 6-й части своего эссе Ницше формулирует закон исторической интерпретации: «В объяснении прошлого вы должны исходить из того, что составляет высшую силу современности [*Kraft der Gegenwart*]»,

8. По всей видимости, Бенямин цитирует слова из несохранившегося письма Герберта Бельмора (адресата данного послания): «Стремиться к искуплению неискупляемого — вот подлинная пытка Данаид [*das Unerlösbare erlösen zu wollen*]» (С, 34). Кому принадлежит авторство этой фразы, не ясно.

ибо «заветы прошлого суть всегда изречения оракула»⁹. Это не слишком отличается от того, что в 1797–1800 гг. писал Новалис в отрывке, посвященном Гёте: «Сильно ошибается тот, кто верит в существование „древних“. Зарождение древности начинается лишь сейчас. Она зарождается в глазах и душе художника»¹⁰. Беньямин вторит ницшеанской критике историцизма XIX в. — критике учения Ранке о том, что историк может обрести объективное знание о прошлом, «каким оно было на самом деле», в начале своего эссе «Жизнь студентов». Вместо того чтобы рассматривать историю в контексте бесконечной временной шкалы, однородного континуума событий, понимаемых как причины и следствия, он подходит к ней как к собранной и сосредоточенной в настоящем, как в «фокальной точке» (*Brennpunkt*). Вышеупомянутая критическо-историческая задача состоит не в стремлении к прогрессу и не в воссоздании прошлого, а в раскопках этого настоящего, в высвобождении его скрытой энергии. Ибо в каждом настоящем погребено «имманентное состояние совершенства» в форме «гибнущих» и наиболее «преследуемых» концепций, и именно такие глубинные деформации ускользают от внимания традиционной историографии.

Аналогичным образом идея о настоящем как о живой диалектике прошлого и будущего вдохновляла Беньямина и при работе над написанной в 1913–1914 гг. «Метафизикой молодости», пожалуй, самым значительным из его ранних неизданных эссе. В нем Беньямин говорит о настоящем как о существовавшем вечно (*die ewig gewesene Gegenwart*). Он утверждает, что наши дела и мысли наполнены существованием наших предков, которое, оставшись в прошлом, продолжается в будущем. Каждый день, подобно спящим, мы пользуемся «безграничной энергией» самообновляющегося прошлого. Иногда, проснувшись, мы помним свой сон, и его призрачная энергия остается при нас «в ярком свете дня». Таким образом бодрствование черпает силы во сне, а «редкие озарения» выхватывают из тьмы глубинные слои настоящего¹¹. Настоящее, порождая отголоски

9. Ницше, *Собрание сочинений в 5 томах*. Т. 1. С. 278–279. Это эссе представляет собой вторую часть «Несвоевременных размышлений» (*Unzeitgemässe Betrachtungen*) Ницше.

10. Novalis, *Werke in Einem Band*, 351 (первые два предложения цитируются в диссертации Беньямина 1919 г.; см.: SW, 1:182). Ср. Schlegel, *Lucinde and the Fragments*, Атенейский фрагмент № 147 о создании древности в самом себе.

11. Ср. раннее изложение теории пробуждения в стихотворении Беньямина «Увидев утренний свет», помещенное им в письме Эрнсту Шену от 10 сентября 1917 г.: «Там, где пробуждение не разлучено со сном, возникает сияние...

в истории, концентрируется в решительном моменте, посредством которого, будучи укорененным в прошлом, становится основой для будущего (см. «Религиозную позицию „Новой молодежи“» в EW, 168–170). Мотив «пробуждающейся молодости» здесь явно предвещает центральную тему его последующих размышлений, а именно диалектический образ как одномоментное сочетание исторических напряжений, как зарождающееся силовое поле, в котором осознаваемое нами настоящее пробуждается от «того сна, который мы называем прошлым», и погружается в него¹². Главным в этой исторической диалектике является «искусство воспринимать настоящее как пробуждающийся мир [*die Gegenwart als Wachwelt*]», которое Беньямин станет именовать словом «сейчас»¹³.

Эта первая волна независимых работ сопутствовала становлению Вальтера Беньямина как молодого взрослого человека. Абстрактная моральная снисходительность, заметная в этих работах, в некоторой степени была унаследовала от Винекена, но многие позиции, к которым Беньямин приходит в них, он нашел самостоятельно, и они будут составлять значительную часть его произведений в грядущие годы. В 1932 г., оглядываясь на студенческие годы с точки зрения неминуемого изгнания, Беньямин с готовностью признает, что молодежное движение было обречено на провал именно потому, что оно коренилось в жизни разума: «Это была последняя, героическая попытка изменить воззрения людей, не меняя их жизненных обстоятельств. Мы не знали, что она была обречена на провал, но даже если бы нам это было известно, то едва ли среди нас нашелся бы тот, кого это лишило бы решимости» (SW, 2:605). В тех многочисленных случаях, когда сквозь нарочито назидательный тон этих ранних текстов Беньямина виден блеск его

[Человека] будит свет старого сна» (EW, 281–282). О выдвинутой Винекеном идее пробуждения молодежи см. с. 32–33. Кроме того, Беньямин был знаком с трактатом Людвиг Клагеса *Vom Traumbewusstsein* («О сознании во сне») (1914): Klages, *Sämtliche Werke*, 3:155–238, особенно 158–189.

12. О близости предложенного Беньямином понятия «диалектического образа» к раннехристианским идеям о *kairos* (критическом моменте) см.: Agamben, *The Time That Remains*, 138–145, а в контексте, включающем «мессианское время иудаизма»; см. также: Agamben, *Infancy and History*, 105, 111–115. Представления Беньямина о раннем христианстве сложились под влиянием Толстого (см. сноску 30) и Мартина Бубера. «Три выступления на тему иудаизма» Бубера (1911), на которые Беньямин ссылается в своих письмах того периода, содержат многочисленные упоминания о «раннем христианстве» как об отдельной эпохе аутентичной еврейской религиозности. См.: Buber, *On Judaism*, 45–47 и passim.
13. О пробуждающемся мире см.: AP, папка K1, 3; о «сейчас» (*Jetztzeit*) см.: SW, 4:395–397.

последующих работ, мы можем уловить главное, чем отличался характер их автора. Беньямин с юных лет имел представление об особой природе своего таланта, и у нас есть многочисленные примеры осознания им поразительной силы своего разума. Еще в университетские годы он старался использовать свой дар для того, чтобы обеспечить себе интеллектуальное лидерство. Поскольку речь шла об интеллектуальной и языковой одаренности, он надеялся — и тогда, и в дальнейшем, — что одного лишь качества его произведений хватит, чтобы оказывать влияние на мир. Эту надежду он часто откровенно выражал своим друзьям, таким как Гершом Шолем и Гуго фон Гофмансталь. Однако после интенсивного участия Беньямина в организациях и печатных органах Германского молодежного движения его стремление к интеллектуальному лидерству *в группе* проявилось лишь во время трех серьезных попыток основать журнал, и ни одна из этих попыток не привела к успеху.

Разумеется, в то время лидерство в молодежном движении не всегда казалось столь героическим делом. Беньямин сетует буквально на все аспекты своего первого семестра во Фрайбурге. Помимо скучных занятий и неотесанных студентов его раздражал и Вольный студенческий союз, казавшийся ему «ордой эмансипированных пустословов и бездарей», хотя он все же участвовал в работе отдела по проведению учебной реформы, который в отличие от более нейтральной организации вольных студентов сохранял веру в винекенианский радикализм (см.: GB, 1:52). Единственным преимуществом учебы во Фрайбурге Беньямин считал близость этого города к Италии, где во время своего турне на Троицу он приучился ценить искусство эпохи Ренессанса. В середине июня он немного воспрянул духом, познакомившись с «молодым художником» — судя по всему, с Филиппом Келлером, который обучался во Фрайбурге медицине, а в следующем году издал роман «Смешанные чувства». В дальнейшем Беньямин сохранял довольно неоднозначные отношения с Келлером и Экспрессионистским литературным кружком, участником которого тот был¹⁴. Тем не менее к концу летнего семестра он решил покинуть Фрайбург и вернуться в Берлин, где мог посещать занятия в университете и принимать более широкое участие в молодежном движении, продолжая жить дома на Дельбрюкштрассе.

Перед началом нового семестра Беньямин вместе со своим другом по школе кайзера Фридриха Францем Заксом ез-

14. «Большое влияние», которое Филипп Келлер в свое время оказал на Беньямина, упоминается в: MD, 47; MD, 74.

дил на каникулы в Штольпмюнде (сейчас польский город Устка) на Балтике и в августе сообщал Бельмору, что его “A.N.G. (Allgemeine normale Geistigkeit)”, «нормально функционирующий интеллект», снова оказался при нем после потопа четырех предыдущих месяцев. В Штольпмюнде Закс познакомил его со старшеклассником Куртом Тухлером, основателем молодежной сионистской группы «Сине-белые», с которым Бенямин вел продолжительные беседы, а впоследствии переписку (утраченную). Эти беседы пробудили интерес Бенямина к его еврейской идентичности и впервые поставили его перед «сионизмом и сионистской активностью как возможностью, а соответственно, может быть, и как обязанностью» (С, 17). Как оказалось, слова об «обязанности» были преждевременными. До знакомства с Тухлером Бенямин обладал минимальным опытом соприкосновения с еврейской жизнью. Его мать благодаря семейным традициям (как он объясняет в «Берлинской хронике») испытывала известное чувство принадлежности к берлинской общине евреев-реформистов, в то время как воспитание, полученное отцом, делало его более склонным к ортодоксальным ритуалам, но, как мы видели, при этом семья Беняминов торжественно праздновала Рождество, а для детей устраивали охоту за пасхальными яйцами. Бенямин, выросший в полностью ассимилированной либерально-буржуазной еврейской семье, не ощущал какой-то особой привязанности к еврейским традициям вообще, а религиозные церемонии вызывали у него скуку и отвращение. Сильнейший интерес к теологии, которым с самого начала питалось его творчество, по мере его взросления все больше и больше уходивший вглубь, вступал в конфликт с любой организованной религией. Могло ли быть иначе? «Еврейство» Бенямина в практическом плане проявлялось в выборе им друзей: за очень немногими (хотя и заметными) исключениями, все мужчины и женщины, становившиеся его близкими друзьями, происходили из таких же ассимилированных еврейских семей, принадлежавших к верхушке общества, что и он сам.

Таким образом, быстро вспыхнувший конфликт Бенямина с сионизмом был обусловлен появившимся у него интересом к еврейству как к важной и исторически сложной проблеме. В письме Мартину Буберу, написанном около трех лет спустя, он отмечал: «Проблема еврейского духа — одна из самых важных и регулярных тем моих размышлений» (GB, 1:283). Ранее он изучил этот вопрос совместно с соучеником по Фрайбургу Людвигом Штраусом, с которым познакомился через Филиппа Келлера. Штраус, уже состоявшийся поэт, впоследствии, после женитьбы на дочери Бубера, ставший преподавателем ис-

тории литературы в иерусалимском Еврейском университете, входил в число участников Экспрессионистского кружка, сложившегося вокруг поэта и драматурга Вальтера Газенклевера. Беньямин поведал Штраусу, что впервые занялся вопросом еврейской идентичности среди винекенианцев, многие из которых были евреями. До этого чувство принадлежности к евреям было не более чем экзотическим «душком» в его жизни (см.: GB, 1:61–62). Пробуждение самоосознания настигло Беньямина так же, как и многих других молодых еврейских интеллектуалов той эпохи. В марте 1912 г. прежде никому не известный Мориц Гольдштейн опубликовал в художественном журнале *Der Kunstwart* статью «Германо-еврейский Парнас», вызвавший волну откликов в этом и других журналах и ставший темой бурных дебатов по всей Германии. Своей статьей Гольдштейн в суровом свете представлял проблему германо-еврейской идентичности, указывая на фактическую бездомность еврейского интеллектуала. «Мы, евреи, — писал Гольдштейн, — управляем интеллектуальной собственностью народа, который отказывает нам в праве заниматься этим... Даже если мы считаем себя немцами с ног до головы, другие считают, что в нас нет ничего немецкого». А в том случае, если еврейский интеллектуал попытается отвергнуть „германскую“ сторону своей природы, это приведет практически к тем же результатам: „Если наконец пробудившаяся мужская гордость побудит нас повернуться спиной к немецкому народу, испытывающему к нам неприязнь, перестанем ли мы от этого быть преимущественно немцами?“»¹⁵.

На волне этих дискуссий с другими студентами-евреями Беньямин пришел к мысли о еврействе как «основе его существа» (GB, 1:69). Впрочем, он тщательно отделяет вопрос еврейства от политического сионизма. Он заявлял Штраусу, что немецкие сионисты совершенно лишены сколько-нибудь развитого еврейского сознания: будучи *Halbmenschen* (наполовину евреями, наполовину немцами), «они агитируют за Палестину, а затем напиваются, как немцы» (GB, 1:72). Он допускает возможность «культурного сионизма», но в свете неприкрытых националистических тенденций, проявляемых еврейским переселенческим движением, за отсутствием иной альтернативы вынужден дистанцироваться от «практического сионизма»¹⁶.

15. Goldstein, “Deutsch-Jüdischer Parnaß”, 286ff. Отрывки из этой статьи приводятся в: Puttnies and Smith, *Benjaminiana*, 41–44.

16. Концепцию «культурного сионизма» выдвинул еврейский публицист российского происхождения Ахад Хаам (Ашер Гинзберг, 1856–1927), либеральный лидер, участник сионистского движения и его критик, призывавший к возрождению иврита и еврейской культуры как прелюдии к предполагаемому

И хотя Бенъямин сигнализировал о своей готовности сотрудничать со Штраусом при выпуске еврейского журнала, он четко дал понять, что «полноценный контакт с еврейской сферой» для него невозможен (GB, 1:77).

В конечном счете главным в проблеме еврейской идентичности, как следует из переписки с Людвигом Штраусом в сентябре 1912 г. — январе 1913 г., для Бенъямина была сама идея культуры, необходимость «сохранить идею культуры, уберечь ее от хаоса времен» (GB, 1:78). Культура всегда по сути своей является культурой *людей*. Хотя нам может показаться, что в этом вопросе Бенъямин вторит подчеркнутому космополитизму Ницше, человека, проявлявшего обостренную чувствительность к национальному характеру и в то же время объявлявшего себя «добрым европейцем», в реальности он ссылается здесь на Ницше как на представителя *опасностей*, подстерегающих идею культуры. В духе своего наставника Винекена Бенъямин признает необходимость военных действий, борьбы с близким «врагом» для создания живой, укорененной культуры; однако именно в данном случае следует особенно опасаться вульгаризации идеала, если не отказа от него. «Адепты социальной биологии в духе Ницше ловят рыбу в мутной воде», — пишет он (GB, 1:78). Далее он смело критикует «интеллектуальное филистерство» Ницше, проявляющееся не только в биологизме его учения (воля к власти), но и в низведении понятия дружбы к узко личному началу (Бенъямин имеет в виду раздел «О друге» в первой части «Так говорил Заратустра» и конкретно абзац о спящем друге, где говорящий видит в лице друга отражение собственного лица). Бенъямин, судя по всему, все еще косвенно ссылаясь на «еврейскую сферу», противопоставляет этому подходу предложенный Винекеном идеал философской дружбы, «этического союза мысли». В своих аргументах он повторяет «Диалог о современной религиозности», законченный им к середине октября 1912 г. и упомянутый в письме Штраусу. В этой полуночной беседе двух друзей, в которой Ницше (наряду с Толстым и Стриндбергом) называется пророком новой религии, поднимается вопрос о том, как вернуть «нашей социальной деятельности» утраченную ею «метафизическую серьезность» (EW, 65). При этом речь снова идет о диалектике единоличного и обще-

мому «национальному пробуждению» (см.: Puttnies and Smith, *Benjaminiana*, 60–61). В дневниковой записи 23 августа 1916 г. Шолем упоминает разговор с Бенъямином об Ахаде Хаае, отмечая (несмотря на то, что его друг открыто критиковал национализм), «как близок Бенъямин к Ахаду Хааму», имея в виду, в частности, что оба они высоко оценивали «роль „справедливости“ в иудаизме». См.: Scholem, *Tagebücher*, 386.

ственного, местного и коллективного: предпосылкой для того, чтобы повседневная жизнь имела какое-либо подлинно религиозное начало, служит не «бесплезная энергия набожности», а метафизическое и духовное «изобилие и весомость индивидуальности» — собственно говоря, «вновь обретенное непосредственное осознание личности» (EW, 75, 78, 67). Беньяминовскую религиозность от ницшеанской отличают упор на углубление социального и этического сознания (включающего «пролетарское сознание»; EW, 64; см. также: GB, 1:64) и забота об облагораживании условностей повседневной жизни. Это не отменяло важной роли, которую философия Ницше продолжала играть в размышлениях Беньямина и его способе выражения, чей парадоксальный или диалектический характер отражал произведенную Ницше деконструкцию системы противоположностей, которой подчиняются традиционная метафизика и ее логика непротиворечия. Современная культура покорила беспочвенности бытия, дионисийскому океану существования, в котором рассеиваются и подвергаются сомнению все формы идентичности, начиная с личного «я» (см.: EW, 169: «Наше собственное „я“ [неясно]»). Утверждать принцип умеренности перед лицом экзистенциальной утраты корней и почвы под ногами было характерно для Беньямина.

Обретению Беньямином метафизически ориентированного чувства общественного в некоторой степени способствовали его университетские занятия осенью и зимой 1912 г. Записавшись на философский факультет Университета Фридриха Вильгельма, где ему предстояло проучиться пять семестров (с перерывами), в октябре 1912 г. он начал посещать лекции выдающегося специалиста по философской социологии Георга Зиммеля. Тот имел статус «экстраординарного» профессора; будучи евреем, он не мог получить постоянной («ординарной») должности на факультете. Тем не менее Зиммель, пожалуй, был тогда самым популярным и влиятельным преподавателем в Берлине, и в число его учеников входили такие видные социальные и политические теоретики, как Эрнст Блох, Дьердь Лукач и Людвиг Маркузе. Согласно всем свидетельствам, он увлекательно читал лекции, не пользовался записями и, следуя «течению мысли», подходил к одной и той же теме с разных сторон: Зиммель понимал свою философскую работу как сочетание эпистемологических, художественно-исторических и социологических элементов¹⁷. Его внимание к деталям и интерес к исторически

17. Emil Ludwig, "Erinnerungen an Simmel", в: Gassen, Landmann, eds., *Buch des Dankes an Georg Simmel*, 152.

и культурно маргинальным явлениям, несомненно, импонировали Беньямину и способствовали пробуждению у него определенных наклонностей. Он во многих отношениях черпал вдохновение из новаторской работы Зиммеля 1903 г. «Метрополис и умственная жизнь» как в ходе своего последующего «социологического поворота», так и при анализе современного метрополиса, предпринятого им с Зигфридом Кракауэром в начале 1920-х гг. Несмотря на некоторые оговорки, имеющие философскую основу, Беньямин в своих работах 1930-х гг. будет цитировать места из трудов Зиммеля, касающиеся феноменологии городской жизни, и опираться на то, как Зиммель понимал опыт существования в большом городе, при разработке своей собственной поздней теории опыта. О других его берлинских преподавателях — он посещал лекции по философии (в частности, те, которые читал неокантианец Эрнст Кассирер), немецкой литературе и истории искусств — мы практически ничего от него не узнаем. Похоже, что своей независимой позицией среди них выделялся лишь специалист по истории культуры Курт Брейзиг, взявший на вооружение «универсальную историю».

Возвращение в Берлин означало возобновление контактов с *Der Anfang*, который в третий и последний раз начал выходить весной 1913 г., после подготовительного периода, в котором принял участие и Беньямин. С мая по октябрь, издаваясь и в других журналах, он опубликовал в новом *Anfang* пять подписанных псевдонимами статей о молодежи; последняя из них представляла собой небольшое эссе «Опыт», в котором в духе, предвещавшем интерес к данной теме, сохранявшийся у него до конца жизни, он нападает на филистерскую «буржуазную» концепцию опыта, понимаемого как взросление, взамен выдвигая идею более высокого и непосредственного опыта, которому известно о «неиспытываемом» (EW, 117). Ощутить атмосферу, окружавшую реорганизацию журнала (последний номер которого вышел в июле 1914 г.), позволяет изданная в 1939 г. книга Мартина Гумперта *Hölle im Paradies: Selbstdarstellung eines Arztes* («Ад в раю: воспоминания врача»), заслуживающая того, чтобы привести из нее длинную цитату.

Однажды меня пригласили на собрание, посвященное основанию нового журнала. Я оказался среди незнакомых мне молодых людей. Они не признавали причесок, носили открытые рубашки... и произносили, точнее говоря, декламировали, торжественные, высокопарные фразы об отречении от буржуазного мира и о праве молодежи на культуру, достойную такого имени... Важную роль играла концепция вождя и последователей. Мы читали Штефана Георге и суровые эпосы швейцарского поэта Карла Шпитте-

лера... В те дни жизнь протекала в мире концептуальных понятий. Я хотел подвергнуть анализу и выявить все элементы бытия, вскрыть его двойственность, его многообразность, его загадку. Не существовало ничего незначительного; каждый листик, каждый предмет помимо своего материального аспекта имел метафизическое значение, превращавшее его в космический символ... Это молодежное движение затрагивало исключительно средний класс... Осознавая этот недостаток, я составил неуклюжее заявление, указывая, что молодежи из трудящегося класса принадлежит место в наших рядах и что мы должны познакомиться с ней и привлечь ее на свою сторону. Винекен [под чьим руководством журнал выходил в 1913–1914 гг.] вернул мне статью, снабдив ее резкими отрицательными замечаниями: время еще не настало, нам следует ограничиться нашей собственной средой. Отсюда и... угроза интеллектуализма, усиливавшегося в нашем кружке... Политика считалась неинтеллектуальным и недостойным делом (цит. по: GS, 2:867–870).

Вообще юный Беньямин, которого Гумперт считал «самым одаренным» членом группы, вслед за Винекеном последовательно отвергал любые предложения об участии молодежи в существовавшей партийной политике и прилагал усилия к тому, чтобы *Der Anfang* тоже оставался «в стороне от политики». Тем не менее можно быть уверенным, что он не считал свою работу на благо молодежного движения делом аполитичным.

В то время Беньямин делал различие между политикой в узком и в широком смысле; учебная реформа соответствовала последнему. Ведь если в центр учебного процесса, начиная с самых первых классов, поставить философию, то человечество изменится, по крайней мере он утверждал так в своих выступлениях и статьях 1913–1914 гг. (они фактически резюмируются в «Жизни студентов»). Во время своего первого семестра в Университете Фридриха Вильгельма Беньямин ради претворения своих идеалов в жизнь работал сразу в нескольких направлениях, причем уровень его участия и значимости представлял собой существенный шаг вперед по сравнению с его деятельностью во Фрайбурге. Он содействовал организации Берлинского отдела по проведению учебной реформы и был избран в президиум, или руководящий комитет, Вольного студенческого союза, которому подчинялся этот отдел. Вне стен университета Беньямин работал в берлинском отделении Лиги за вольные школьные сообщества и часто встречался с Винекеном, который в качестве гостя однажды даже посетил дом Беньямина на Дельбрюкштрассе.

К 1913 и 1914 гг. относится первый и в некотором смысле единственный случай непосредственного политического уча-

ствия Бенъямина в общественной жизни. Сначала в местных группах, таких как берлинская и фрайбургская, а затем и на национальном уровне Бенъямин все активнее пытался войти в число вождей молодежного движения, стремясь продвигать свою программу реформ. Однако, как свидетельствует идеалистическая тональность его произведений, это непосредственное физическое вхождение в мир политики шло вразрез с его скрытыми наклонностями. Он был осмотрительным и чрезвычайно скрытным молодым человеком, неуютно чувствовавшим себя в коллективе и получавшим наибольшее удовольствие, оказываясь наедине со своими мыслями или с единственным партнером по диалогу. Даже на первый взгляд непосредственный обмен мнениями с одним собеседником нередко принимал форму анекдота, аналогии и намеков. Природу сохранявшейся у Бенъямина до конца жизни неприязни к группам людей, даже, а может быть, и особенно к группам его друзей, хорошо передает надпись на могиле Кьеркегора: «Этот индивидуум». Таким образом, страстная политическая активность первых университетских лет представляла собой абсолютное исключение из свойственных Бенъямину шаблонов социального поведения. Возможно, не стоит удивляться, что эта активность всегда носила конфронтационный и очень часто раскольнический характер. Тем не менее у нас имеется множество свидетельств о присущей Бенъямину личной харизме. Эрнст Йоэль говорил о «невероятной способности» Бенъямина подчинять себе людей, а Герберт Бельмор утверждал, что «скороспелый интеллект и крайняя серьезность» Бенъямина уже в старших классах производили глубокое впечатление на его друзей, которые становились «едва ли не его учениками»¹⁸.

К лету 1913 г., по завершении еще одного, судя по всему, очень напряженного семестра, Бенъямин решил вернуться во Фрайбург. Он не был переизбран в руководящий комитет берлинского Вольного студенческого союза, а Винекен хотел, чтобы он взял на себя руководство отделом по проведению учебной реформы во Фрайбурге. Кроме того, свою роль сыграла и дружба с Филиппом Келлером, которую Бенъямин считал главной причиной своего возвращения. Он снял уютную комнату около фрайбургского собора «с респектабельными святыми на стенах». На протяжении всей жизни Бенъямина — и вне зависимости от обстоятельств — для него было важно обитать в окружении образов, а изображения христианских святых являлись

18. Цит. по: Puttnies and Smith, *Benjaminiana*, 27; Belmore, "Some Recollections about Walter Benjamin", 120.

неизменным элементом его все более сложной домашней иконографии. В конце апреля он писал Бельмору из Фрайбурга: «За моим окном — соборная площадь с высоким тополем (в его зеленой листве — желтое солнце), а перед ним — старый фонтан и иссушенные солнцем стены домов: я могу смотреть на это четверть часа подряд. Потом... я ненадолго ложусь на диван и беру томик Гёте. Как только мне попадается фраза вроде “Breite der Gottheit” [«божественная ширь»], я снова теряю самообладание» (С, 18). Фрайбург показался ему изменившимся с предыдущего лета. Местный Вольный студенческий союз практически уже не существовал. «Нет ни сообщений на доске для объявлений, — писал он Карле Зелигсон, — ни организованных групп, ни лекций» (С, 21). Фрайбургский отдел по проведению учебной реформы, в котором он работал год назад, превратился в литературный кружок, насчитывавший 7–9 студентов, которые собирались вечером по вторникам для чтения и обсуждения прочитанного. Эту группу возглавлял Филипп Келлер, «деспотически властвующий и непрерывно читающий нам вслух» (С, 19). Беньямин по-прежнему высоко ценил экспрессионистские произведения Келлера (в 1929 г. в обзоре для *Die literarische Welt* («Литературный мир») он упоминает о «забытой, к несчастью», книге Келлера), но начал подкапываться под него, и отношения между ними охладели: «Я... освобождаю людей из-под власти [Келлера] после того, как сам освободился из-под нее... с тем, чтобы дать им возможность сформироваться, трезво и без сентиментальности» (С, 23–24). Невозможно более удачно сформулировать принцип, которым в то время Беньямин руководствовался в своей политической деятельности. Курт Тухлер так вспоминает о главной причине разногласий в Штольпмюнде: «Со своей стороны он пытался втянуть меня в сферу своих размышлений и прежде всего убедить в том, что мне следует забыть о моем тогдашнем намерении вступить в братство. Он призывал меня оставаться „независимым“ и держать его сторону»¹⁹. Отказ от членства в группе означал независимость, но в такой форме, которая предполагала посредничество Беньямина. Неудивительно, что к началу июня Келлер отказался от участия в дискуссионных вечерах и впоследствии на них верховодил Беньямин, знакомявший группу с произведениями швейцарского поэта Карла Шпиттелера (о котором идет речь в статье Беньямина «Спящая красавица», написанной для *Anfang*) и зачитывавший различные эссе Винекена. Кро-

19. Письмо Курта Тухлера Гершому Шолему 26 февраля 1963 г. Цит. по: Puttnies and Smith, *Benjaminiana*, 40–41.

ме того, Беньямин привлек ряд участников группы к сотрудничеству с *Anfang*.

Лично для Беньямина наибольшее значение в это время имела активная интеллектуальная дружба, завязавшаяся у него летом с одним из членов литературного кружка, угрюмым молодым поэтом Христофом Фридрихом Хайнле (1894–1914), который на зимний семестр отправился вместе с ним в Берлин. Хайнле, уроженец Ахена, обучался в Геттингене, прежде чем в летний семестр 1913 г. перевестись на филологический факультет во Фрайбург, где он участвовал в литературно-художественной группе независимых студентов. Тем летом Беньямин совместно с Хайнле работал над основанием учебного сообщества «для кое-кого и не в последнюю очередь для нас самих» (С, 67). Отношения Беньямина с Хайнле, продолжавшиеся немногим больше года, остаются одним из самых загадочных эпизодов в загадочной жизни Беньямина. Общение с Хайнле, будучи эпохальным и в то же время скрытым от чужих глаз, надолго оставило глубокий след в интеллектуальном и эмоциональном облике Беньямина.

В апреле он чередовал сражения с «Основами метафизики нравственности» Канта (цитируемые в резком и критическом эссе Беньямина «Нравственное обучение», изданном в июле) и чтение «Или — или» Кьеркегора — работы, которая впервые приобрела популярность в Европе и которая восхищала его «сильнее, чем любая другая книга»²⁰. «Вероятно, вы знаете, — писал он Карле Зелигсон, — что он требует от нас героизма, исходя из христианской этики (или, если угодно, еврейской этики), так же безжалостно, как Ницше требует этого от нас по иным соображениям, и что его психологический анализ оказывается не менее разрушительным, чем тот, который предлагает Ницше» (С, 20). Как Беньямин сообщал Бельмору, его желанию провести каникулы на Троицу «в обществе философии и дождя» помешало вмешательство «судьбы» в виде решения впервые посетить Париж. Он поехал туда вместе с Куртом Тухлером, сионистом, с которым они за десять месяцев

20. «Нравственное обучение» (EW, 107–115) — первый текст, опубликованный Беньямином под собственным именем. Он указывает в нем на «возможность нравственного обучения как неразрывного целого, хотя и без систематического вникания в детали». Ведь даже если «у нравственного обучения отсутствует система», оно способно внести вклад «в борьбу со всем, что есть в нашем обучении периферийного и несубдительного, с интеллектуальной изоляцией наших учебных заведений». Оно делает это благодаря «новому методу изучения истории», при котором сохраняет свое значение действительность, окружающая самого историка.

до этого познакомились в Штольпмюнде, и другом Тухлера Зигфридом Леманом. Оттуда Беньямин вернулся с «ощущением интенсивно прожитых двух недель, как живут только дети». Он отмечал: «Лувр и Большие бульвары показались мне едва ли не более родными местами, чем Музей кайзера Фридриха или улицы Берлина... К моменту отъезда из Парижа мне стали близки его магазины, световая реклама, люди на Больших бульварах» (С, 27). По словам Тухлера, на протяжении всего их пребывания в Париже Беньямин бродил по городу в каком-то экстазе. Этот двухнедельный визит оказался более «судьбоносным», чем в тот момент мог представить Беньямин, поскольку Париж впоследствии станет для него не только всепоглощающим предметом изучения, но и домом в годы изгнания.

Возможно, что во время этого визита в Париж 21-летний писатель впервые получил опыт сексуального контакта с женщиной, встреченной им на одной из парижских улиц²¹. Но разве не могла сексуальная инициация Беньямина произойти в 20-летнем возрасте? Судя по написанным в то время картинам Эрнста Людвиг Кирхнера и стихотворениям Георга Гейма, берлинские улицы и кафе могли предоставить молодому человеку многочисленные возможности для того, чтобы в соответствии с обычаями его класса иметь сексуальные отношения с проститутками или дамами полусвета. В главке из «Берлинского детства» «Нищие и проститутки» (она не была включена в исправленный вариант 1938 г.) Беньямин пишет, что его «с невообразимой силой тянуло заговорить с какой-нибудь уличной девкой» и это не раз повторялось с ним в молодые годы. «Часто проходили часы, прежде чем это случалось. При этом я испытывал ужас, какой охватил бы меня при виде автомата, который легко привести в действие, всего лишь задав вопрос. И вот я опустил в щель свой голос. Кровь шумела в ушах, я был не в состоянии подобрать слова, которые ярко накрашенные губы роняли на землю передо мной. Я убежал...» (SW, 3:404–405; БД, 115). Разумеется, с учетом врожденной осторожности и брезгливости Беньямина вполне возможно, что после многочисленных попыток он наконец утолил свое желание лишь в иностранной столице, вдали от глаз друзей и родственников.

Во время своего второго семестра в Университете Альберта Людвиг Беньямин продолжал заниматься философией,

21. См. письма Франца Закса и Курта Тухлера, выдержки из которых приводятся в: Puttnies and Smith, *Benjaminiana*, 135. Не исключено, что парижский опыт Беньямина отразился в написанном им примерно в 1913 г. рассказе «Авиатор» (EW, 126–127).

посещая семинар по «Критике способности суждения» Канта и эстетике Шиллера — «химически очищенным идеям», как он писал Бельмору, а также курс лекций по философии природы. На этот раз он прослушал два курса у Риккерта. Одним из них был семинар по метафизике Бергсона, на котором Беньямин «просто сидел и погружался в [свои] собственные мысли»²². (Теории Бергсона, активно обсуждавшиеся в научных кругах в предвоенные годы, впоследствии нашли значительный отклик в эссе Беньямина «Метафизика молодости».) Вторым являлся курс лекций, на которые ходил «весь литературный Фрайбург»: «... в качестве введения в свою логику [Риккерт] излагает общие принципы своей системы, закладывающей основы для совершенно новой философской дисциплины: философии совершенной жизни (и женщины как ее представителя). Интересно и в то же время спорно» (С, 31). В середине июня в письме Винекену Беньямин более критически отзывается об этом курсе с его *Wertphilosophie* (философией ценностей): «Для меня то, что он говорит, неприемлемо, поскольку он считает женщину в принципе неспособной к максимальному нравственному развитию» (GB, 1:117). В данном случае он занимал позицию, совпадавшую с мнением самого Винекена о необходимости совместного образования и освобождения женщины от «идеала домохозяйки, который с каждым днем становится все более сомнительным» (цит. по: EW, 42 [191]). В памятном письме от 23 июня 1913 г. Герберту Бельмору, писавшему о символическом значении проститутки, он еще глубже погружается в проблему «женщины»: «Ты должен понимать, что я считаю мышление категориями „мужчина“ и „женщина“ несколько примитивным для цивилизованного человечества... Европа состоит из индивидуумов (носящих в себе как мужские, так и женские элементы), а не из мужчин и женщин... Что мы в сущности знаем о женщине? Так же мало, как о молодости. Мы еще ни разу не соприкасались с женской культурой, так же, как нам не известна молодежная культура» (С, 34)²³. Что же касается

22. Курс Риккерта назывался «Изучение метафизики в связи с работами Анри Бергсона». Риккерт в конечном счете подверг критике бергсоновскую внеисторическую философию жизни, и это критическое отношение отразилось в эссе Беньямина «О некоторых мотивах у Бодлера» (SW, 4:314, 336; Озарения, 169–170, 201–202). См. также: AP, папка H1a, 5. Беньямин выступил с лекцией о Бергсоне в 1918 г. на семинаре в Берне.

23. То, что сам Беньямин не был чужд антифеминистских тенденций, видно из его рецензии 1928 г., в которой он отзывается о работе Евы Физель о лингвистической философии германского романтизма как о «*typische Frauenarbeit*» («типичной женской работе») (GS, 3:96); см. главу 6. См. также С, 133 (31 июля 1918 г.).

значения проститутки, то он упрекает Бельмора за его «мелкий эстетизм»: «Для тебя проститутка — своего рода красивая вещь. Ты уважаешь ее так же, как Мону Лизу... Но при этом тебе не приходит в голову, что ты отказываешь тысячам женщин в существовании души и отводишь им место только в художественной галерее. Как будто мы вступаем с ними в связь так изысканно! Честны ли мы, когда находим в проституции „поэзию“? Я выражаю протест от имени поэзии» (С, 35). На этом этапе для Беньямина значение проститутки (которая вновь появится как заметный типаж XIX в. в проекте «Пассажи») заключается в том факте, что «она изгоняет природу из ее последнего прибежища, сексуальности». Таким образом, проститутка символизирует «сексуализацию духа... Она представляет собой культуру в эросе: Эрос, самый мощный индивидуалист, наиболее враждебный культуре: даже его можно совратить, даже он может служить культуре» (С, 36).

Эти размышления о культурной значимости проституции тесно связаны со вступительными разделами эзотерической «Метафизики молодости» Беньямина, работу над которой он, скорее всего, начал летом 1913 г., написав два объемных рассуждения — «Разговор» и «Дневник», к которым в январе следующего года добавилась более короткая третья часть — «Бал»²⁴. В качестве метафизики молодости (типичной постницшеанской метафизики, раскрывающейся вне рамок классической идеи сущности) она составляет единое целое с «Двумя стихотворениями Фридриха Гельдерлина» и «Жизнью студентов», которые можно рассматривать как изложение соответственно эстетики и политики молодости. («Жизнь студентов» была непосредственно связана с кампанией за учебную реформу и была опубликована по причине своей актуальности, в то время как два других эссе Беньямин не писал для какой-либо конкретной аудитории, он давал их читать в рукописном виде лишь немногим друзьям и так и не опубликовал при жизни.) Метафизические размышления Беньямина, в значительной степени касающиеся проблемы восприятия в пространстве и времени, выдержаны в гномическом, высокопарном стиле, имею-

24. Согласно Шолему (SF, 59; ШД, 104), это эссе осталось незаконченным. См. также С, 71, где Беньямин пишет, что его «серию» или «цикл» (*Zykklus* — так он называет это произведение) необходимо дополнить (6–7 июля 1914 г.). В третьей лирической части «Бал» вводятся мотивы маскарада, хоровода и лишнего окон зала, в котором остановлено время, но в остальном она лишена сколько-нибудь значительного тематического развития и поэтому здесь не рассматривается.

щем сходство с визионерством экспрессионистов²⁵. В частности, вспоминаются созданные примерно в то же время сумрачные стихотворения в прозе Георга Тракля, хотя эссе Беньямина нельзя назвать мрачным или апокалиптическим. Этот крепкий и почти невозможно блистательный шедевр прокладывает путь к изложению философии в сконцентрированной образной форме. Словарь эссе строится на таких терминах, как «напряжение», «взаимопроникновение», «излучение», выражающих различные динамические или «эротические» связи, за которыми скрывается трепетная реальность. Эта динамика проникает даже в самую текстуру языка Беньямина, который в попытке передать сплетение измерений прибегает к философским каламбурам, порой граничащим с манерничаньем: “Die ewig gewesene Gegenwart wird wieder werden” («Вечно существовавшее настоящее вернется снова»; EW, 147). Этому языку было сознательно придано архаическое звучание, так же, как после Второй мировой войны поступил со своим языком Хайдеггер. В этом отношении и Беньямин, и Хайдеггер оглядываются на поэтические практики Гельдерлина (чьи прекрасные строки о молодости как о свете, пробуждающем ото сна, были использованы в качестве эпиграфа в начале «Разговора», в названии которого тоже звучит гельдерлиновский мотив).

Таким образом, метафизическое понимание «молодости» наряду с определенной темпоральностью подразумевает и определенный язык — язык, обремененный вопросами пола. В «Разговоре» после начальных абзацев о прошлом с его энергией сна Беньямин проводит различие между двумя концепциями языка: в одной из них господствует «молчание», в другой — «слова». (В эссе 1916 г. «О языке вообще и о человеческом языке» он проводит такое же различие между природой и человечеством.) Язык молчания связан с женщинами, а язык слов — с мужчинами, но здесь мы должны иметь в виду письмо Беньямина Бельмору от 23 июня, в котором утверждается, что различие между мужским и женским началом является функциональным, а не сущностным. (В противном случае такое предложение, как «Язык женщин пребывает в зачаточном состоянии», показалось бы столь же «неприемлемым», как и высказывания Риккерта по данной теме, невзирая на ссылки на Сапфо, ибо

25. В 1913–1914 гг. Беньямин опубликовал две работы («Молодость молчала» и «Эротическое обучение») в *Die Aktion* Франца Пфемферта — популярном журнале политически окрашенного экспрессионизма. В издательстве Пфемферта *Die Aktion* выпускалась третья серия *Der Anfang*. О связи Беньямина с литературным экспрессионизмом см.: SF, 65–66; ШД, 86.

беньяминовская концепция «женщины» в первой части его эссе снова носит сознательно архаический характер.) В «Разговоре» мужчина говорит, предаваясь богохульству и впадая в отчаяние, а женщина слушает, предаваясь молчанию и питая надежду²⁶. Мы читаем, что говорящий проникает в слушателя, в то время как слушатель спускает говорящего на землю. По сути, безмолвный слушатель является «неприсвоенным источником смысла» в разговоре; более того, он «защищает смысл от понимания». Выполняя все эти функции, слушатель воплощает в себе «женское прошлое» говорящего, понимаемое как резервуар энергии и «ночные» глубины, которые пронизывает говорящий, одержимый настоящим. В тишине, порожденной разговором (вспомним Пенелопу и Одиссея), энергия сна возобновляется и ночь наполняется светом. Как Беньямин сформулировал эту тему несколькими годами позже, «свет является истинным лишь там, где он преломляется в ночи» (SW, 1:52–53 [«Сократ»]). Нам снова преподносится идея об истине как о балансе откровения и тайны. Судьба разговора неотделима от судьбы молчания.

В «Дневнике» (второй и по-настоящему метафизической части эссе) параллельно этому различию между двумя состояниями языка проводится различие между двумя состояниями времени: «бессмертным временем», юным по самой своей природе, и «развивающимся временем» — временем календаря, часов и биржевых операций. Это различие во многом восходит к Бергсону: его идея продолжающейся жизни, в которой прошлое продолжается в настоящем, аналогичным образом противопоставлена абстрактному, линейному механическому времени науки и здравого смысла, которое он называет логикой монолитов. (Ср. «Trauerspiel и трагедию» 1916 г., в которой «механическое время» противопоставляется «историческому времени»; SW, 1:55–56.) Для Беньямина «чистое» время непрерывно течет внутри повседневной хронологии: «В том „я“, для которого происходят события и которое взаимодействует с людьми... бежит бессмертное время». Но это время преодолевает то, в чем оно течет, так же, как внутреннее молчание преодолевает слова; развивающееся время с его «цепью ощущений» отменяется (*aufgehoben*) распространением времени молодости, которое является временем «дневника» (*Tagebuch*). Как мы видели, ведение дневника могло быть для Беньямина серьезным литературно-философским занятием, и неудивительно, что такому ти-

26. Ср. первое предложение второй части эссе — «Дневника»: «Хотелось бы воздать должное источникам невыразимого отчаяния, пронизывающего каждую душу».

пичному для молодежи средству самовыражения суждено было выступать в качестве полноценного способа видеть и воспринимать жизнь. В «Метафизике молодости» на страницах дневника одновременно распадается и находит себя личность: отречению от личности, которая «называет меня „я“ и мучает меня своими интимными излияниями» сопутствует прорыв к «тому иному, которое как будто бы угнетает меня, но вместе с тем по сути и есть я: лучу времени». Преображенное время дневника является также и преobraженным пространством: те явления, с которыми мы сталкиваемся в его рамках, в «зачарованном мире книги», уже невозможно отделить от потока времени, как в классической метафизике, или от субъекта-наблюдателя: они сами представляют собой часть этого потока и этого сознания. Они притягиваются (*leben... dahin*) к «я», которое, в свою очередь, постигает (*widerfährt*) все явления. В рамках этих широких колебаний, углубляющих пространство времени, явления вступают в сферу человеческого восприятия, ставя «вопросы» (эта концепция принадлежит Бергсону) — призывы, на которые отзывается «я» с его памятью: «во взаимодействии таких вибраций и живет „я“ [*lebt das Ich*]»²⁷. «Вещи видят нас, — читаем мы у Беньямина поразительное предвосхищение его последующих размышлений об ауре (см.: SW, 4:338–339), — их взгляд бросает [*schwingt*] нас в будущее». Таким образом, на пути по пейзажу событий (все происходящее окружает нас в дневнике подобно пейзажу) мы «постигаем себя» — «мы, время вещей». Ритм времени, распространяясь и затягиваясь обратно, выражает взаимодействие субъекта и объекта, одновременный выход из «матки времени» и возвращение в нее. В царстве этой пространственно-временной диалектики дневник превращает события прошлого в события будущего и позволяет нам встречаться с самими собой, как с нашим самым близким врагом, как с сознанием, во «времени смерти». Именно суверенная реальность смерти, одновременно и далекой, и близкой, на долю мгновения (*Augenblick*) наделяет живущих бессмертием. Дневник, как ворота к мгновенному спасению, предопределяет судьбу в виде «воскрешения „я“». Лет пять спустя идея о жизни произведений искусства, продолжающейся и после их смерти, займет фундаментальное место в выдвинутой Беньямином концепции критики, но соответствие между философией и теоло-

27. См.: Bergson, *Matter and Memory*, 45–46; Bergson, *Creative Evolution*, 262; Бергсон, *Творческая эволюция. Материя и память*, 289, 446–447. В философии процесса Бергсона сознание и материя рассматриваются как взаимодополняющие друг друга движения.

гией (недогматической и неэсхатологической теологией) было свойственно его мышлению на всех этапах развития последнего, начиная с притчи 1910 г. «Трое, искавшие веру» и кончая текстом 1940 г. «О понимании истории».

Второй семестр Беньямина во Фрайбурге завершился 1 августа 1913 г., чему предшествовало, как он писал впоследствии, «много плохих недель» (С, 53). Впрочем, в этот период его утешала дружба с Хайнле, «вечным мечтателем и немцем до мозга костей» (С, 18). В отправленном в середине июля письме Герберту Бельмору, изучавшему дизайн интерьера в Берлине, упоминаются «несколько стихотворений Хайнле, которые могут тебя покорить», после чего Беньямин отмечает: «...возможно, мы здесь более агрессивны, более пафосны, более нетерпеливы и бездумны (в буквальном смысле слова!)... именно так мы с ним соперничаем и сочувствуем друг другу, и именно таков зачастую я сам» (С, 45). Хайнле и Беньямин совершали долгие прогулки по Шварцвальду в окрестностях Фрайбурга, беседуя о Винекене, молодежном движении и прочих важных этических вопросах. (В июльском номере *Der Anfang* Хайнле опубликовал острый прозаический текст о школьном образовании.) К концу месяца они объединили силы с еще одним молодым поэтом — Антоном Мюллером, сыном редактора ультрамонтанской католической газеты *Freiburger Boten*: «Вчера [мы трое] лазали по лесам... и говорили о первородном грехе... и о страхе. Я держался мнения о том, что страх перед природой — проверка подлинной способности чувствовать природу» (С, 48). Вскоре после знакомства с Хайнле Беньямин безуспешно пытался издать стихотворения своего нового друга в *Der Anfang*. В последующие годы он предпринял еще не одну попытку распространять и рекламировать произведения Хайнле. Своеобразную природу этой дружбы отмечали некоторые тогдашние друзья Беньямина. Все признавали необычайную красоту Хайнле — Беньямин и 10 лет спустя вспоминал о Хайнле и его брате Вольфе как о «самых красивых молодых людях, которых я когда-либо знал» (письмо Ф. Х. Рангу, 4 февраля 1923 г.). И все же Беньямин, похоже, не проводил различия между этим физическим проявлением красоты и предполагаемой мрачной красотой личности Хайнле и его поэзии. Некоторые читатели произведений Хайнле находили их незрелыми, в то время как других они очень трогали²⁸.

28. Вернер Крафт в своей автобиографии *Spiegelung der Jugend* описывает, как Беньямин в 1915 г. «экстатически» читал ему стихотворение Хайнле, и говорит об атмосфере «таинственного культа», которой Беньямин окру-

Жизнь во Фрайбурге не обходилась без развлечений. Беньямин посетил выставку искусства немецкого Ренессанса в соседнем Базеле, где увидел оригиналы рисунков, в том числе «Меланхолию» Дюрера, которые оказали влияние на создание его монументального труда о немецкой барочной драме. Кроме того, помимо чтения в рамках занятий (Кант, Гуссерль, Риккерт) Беньямин много читал в порядке самообразования, а также для собственного удовольствия: Кьеркегора, св. Бонавентуру, Стерна, Стендаля, Мопассана, Гессе и Генриха Манна. У него даже нашлось время, чтобы сочинить пару рассказов, включая изящный рассказ «Смерть отца» (см.: EW, 128–131). Со своим собственным отцом, который, по-прежнему не одобряя его «стремлений», навестил его в июле, Беньямин держался «очень дружелюбно». После завершения семестра ему было трудно покинуть Фрайбург, возможно, из-за глубокой привязанности к Хайнле: «В конце концов, здешняя жизнь с наступлением солнечной погоды к концу семестра тоже неожиданно стала красивой и летней. Последние четыре вечера мы (Хайнле и я) регулярно загуливали до полуночи и позже, главным образом в лесах» (С, 49). К началу сентября после нескольких недель, проведенных в поездке с семьей по Южному Тиролю, Беньямин вернулся в Берлин, где стал готовиться к возобновлению занятий философией в Университете Фридриха Вильгельма, а также своей работы в молодежном движении, которое после летнего затишья вступило в свою наиболее активную фазу.

В сентябре 1913 г. в Берлине начал работу так называемый *Sprechsaal* («Дискуссионный зал»). Эта организация была призвана представлять интересы старшеклассников и студентов университетов, в первую очередь тех, кто читал *Der Anfang*. Формат и тематика заседаний «Дискуссионного зала» были все теми же: вечерние лекции и дискуссии на такие темы, как молодежная культура, энергия и этика, современная лирическая поэзия, движение эсперантистов, цель которых состояла в содействии

жал все, связанное с его покойным другом. Кроме того, он упоминает о разочаровании, впоследствии испытанном Гуго фон Гофмансталем, впервые ознакомившимся с поэзией Хайнле. См. перевод стихотворения Хайнле «Портрет» в С, 30, и примеры прозаических работ Хайнле (опубликованный в *Anfang* текст *Meine Klasse* («Мой класс») и сочиненная в ноябре 1913 г. работа *Die Jugend* («Молодость»), напоминающая последнее эссе Беньямина для *Anfang* — «Опыт»), а также абсурдистское стихотворение *Urwaldgeister* («Призраки первобытного леса»), написанное в соавторстве с Беньямином, в GS, 2:859–865. См. также два эссе Вернера Крафта о Хайнле: *Über einen verschollenen Dichter* и *Friedrich C. Heinle*. Крафт приводит ряд сохранившихся стихотворений Хайнле, находит многие из них трогательными и расценивает их как наследие «возможно, великого поэта».

свободному обмену идеями. На протяжении зимнего семестра 1913/14 г. Беньямин уделял много внимания этому новому культурному форуму, выступая в качестве одного из съемщиков Дома собраний, небольшой квартиры в районе Тиргартен, его старой вотчины, где проходили заседания и «Дискуссионного зала», и Бюро Берлинской независимой студенческой ассоциации по общественной работе. Осенью 1913 г. на одном из заседаний «Дискуссионного зала» Беньямина впервые увидел Шолем: «Не глядя на присутствующих, он говорил с большой интенсивностью и всегда в готовых для публикации выражениях, уставившись при этом в верхний угол зала» (SF, 3–4; ШД, 18). Одновременно с этой деятельностью Беньямин постепенно отдалялся от *Der Anfang*, в октябрьском номере которого был опубликован последний материал за подписью Ardor. Через несколько месяцев Беньямин оказался участником конфликта, подробности которого уже невозможно восстановить, но его причиной, судя по всему, послужило решение Винекена сложить с себя обязанности главы журнала. Группа во главе с Хайнле и Симоном Гутманом, выступавшая за литературную ориентацию журнала, попыталась отобрать контроль над ним у редакторов Жоржа Барбизона и Зигфрида Бернфельда, отдававших предпочтение политической (социалистической) ориентации. Этот конфликт, нашедший отражение в бурных дебатах в «Дискуссионном зале», завершился тем, что издатель журнала Франц Пфемферт, также редактировавший *Die Aktion*, влиятельный журнал политически радикального экспрессионизма, выступил на стороне Барбизона и Бернфельда. Беньямин, безуспешно пытавшийся сыграть роль посредника, подумывал о том, чтобы написать прощальную статью с обличением тенденций, наметившихся к тому времени в *Anfang* (в номере журнала за декабрь 1913 г. отмечалось создание «арийского» *Sprechsaal* в Вене; см.: С, 73), но журнал перестал выходить прежде, чем это намерение удалось выполнить.

В октябре Беньямин впервые предстал перед большой аудиторией, приняв участие в двух многолюдных общенациональных конференциях по вопросам учебной реформы и молодежного движения. На Первой студенческой педагогической конференции, организованной группой активистов в Университете Бреслау, Беньямин выступил с речью «Цели и средства студенческих педагогических групп в германских университетах», в которой защищал «фрайбургскую», то есть откровенно винекенианскую, ориентацию, от более консервативной фракции из Бреслау. Призывая к выработке «новой философской педагогики» и насаждению «нового мировоззрения среди студен-

тов», он высказывался за «*внутренне* укорененный и вместе с тем в высшей степени общественный» студенческий активизм, избегающий партийной принадлежности (GS, 2:60–66). Обе университетские фракции смогли договориться лишь о том, чтобы держать друг друга в курсе своих дел. Из Бреслау Бенъямин отправился в центральногерманский город Кассель на Первый съезд свободной немецкой молодежи (*Erste Freideutsche Jugendtag*), проводившийся несколькими различными молодежными фракциями и студенческими группами из разных районов Германии и Австрии. Этот съезд, в настоящее время считающийся вершиной Германского молодежного движения, проходил на горе Мейснер (по этому случаю переименованной в Высокий Мейснер — и это название прижилось) и соседней горе Ханштайн 10–12 октября. Свои приветствия и пожелания съезду прислали различные светила, включая писателя Герхарда Гауптмана и философов Людвиг Клагеса и Пауля Наторпа. Это трехдневное мероприятие было отмечено как массовыми торжествами, так и глубоким расколом между его участниками. Как впоследствии выразился один из них, боннский писатель Альфред Курелла, среди собравшихся на съезд было «примерно равное число фашистов, антифашистов и апатичных обывателей»²⁹. На открытии съезда, состоявшемся дождливым пятничным вечером под открытым небом на территории разрушенного замка на вершине горы Ханштайн, произошла резкая стычка между активными сторонниками готовности к войне и «расовой гигиены» и вождями Вольного сообщества учащихся Викерсдорфа Густавом Винекеном и Мартином Лузерке. Викерсдорфцы отстаивали «независимость молодежи» перед лицом всяких «особых политических и полуполитических интересов». Они призывали не бряцать оружием, а прислушиваться к требованиям своей совести. В глазах Винекена борьба за насаждение «общего чувства в конечном счете была борьбой за сохранение истинной германской души. Его влияние сыграло решающую роль в принятии съездом заявления, вступительная фраза которого стала известна как «Мейснеровская формула»: «Свободная немецкая молодежь желает строить свою жизнь согласно своим собственным принципам, на свою собственную ответственность и в соответствии с внутренней правдой». Од-

29. Цит. по: Benjamin, *Georg Benjamin*, 23–24. Работа Мейснеровского съезда описывалась в ноябрьском номере *Der Anfang*, в статье, принадлежащей перу редактора журнала Жоржа Барбизона (Георга Гретора); см.: GS, 2:909–913. Кроме того, этому мероприятию посвящена глава “At the Hohe Meissner” в *Laqueur, Young Germany*.

нако уже после восхода солнца, когда место действия переместилось на гору Мейснер, идеологические конфликты продолжились и длились еще два дня. Присутствовавшие на съезде толпы молодежи развлекались музыкой, народными танцами, спортивными состязаниями и демонстрацией парадных костюмов, а также вели дискуссии о межрасовых отношениях, воздержании (от алкоголя и никотина) и аграрной реформе. Сам Беньямин довольно невнятно осветил ход съезда в едкой критической заметке «Молодость молчала», напечатанной им спустя неделю в *Die Aktion* (ее название служило ответом на панегирическую статью «Молодость говорит!», опубликованную ранее редактором журнала Францем Пфемфертом), но от него не укрылось то, что на съезде присутствовало нечто новое: «Нас ни в коем случае не должен лишить самообладания сам по себе *факт* съезда «Свободной немецкой молодежи». Вообще говоря, мы стали свидетелями новой реальности: собрание двух тысяч передовых молодых людей, при том, что наблюдатель видел на Высоком Мейснере новую физическую молодость, новое напряжение на лицах. Для нас это не более чем залог юного духа. Экскурсии, парадные одежды, народные танцы не представляют собой ничего нового и по-прежнему, хотя уже идет 1913 г., не несут в себе ничего духовного» (EW, 135). Особую печаль у него вызывало царившее на съезде добродушие, лишавшее молодежь «священной серьезности, с которой она прибыла на съезд». И идеология, и самодовольство стали причиной того, что «лишь немногие» осознали смысл слова «молодость» и ее истинную цель, а именно «протест против семьи и школы».

Лидерские позиции Беньямина в молодежном движении укрепились в феврале 1914 г., когда он был избран президентом Берлинской вольной студенческой ассоциации на грядущий летний семестр. Вскоре он сумел привлечь к прочтению летних лекций ряд выдающихся ораторов, включая Мартина Бубера, приглашенного рассказать о своей недавно вышедшей книге «Даниил», и Людвига Клагеса, философа-виталиста и графолога, с лекцией о двойственности духа и интеллекта. Об общих намерениях Беньямина в отношении независимого студенчества дает представление его письмо от 23 мая бывшему школьному товарищу (и будущему сотруднику по работе на радио), композитору, писателю и переводчику Эрнсту Шену: «Что мы в принципе можем, так это... вдохнуть культуру в наши собрания» (С, 67). За этой на первый взгляд скромной целью снова скрывалось создание учебного сообщества (*Erziehungsgemeinschaft*), «опирающегося исключительно на продуктивных индивидуумов, попадающих в его орбиту». Этот ин-

дивидуалистический коммунитаризм, которым были наполнены письма Бенямина к Карле Зелигсон, послужил темой речи, произнесенной им в мае по случаю вступления в должность. Большой отрывок из этой речи (все, что сохранилось) приведен в «Жизни студентов». Он начинается такими словами: «Существует очень простой и четкий критерий для того, чтобы определить ту или иную духовную ценность некой общности. Это вопросы: может ли каждый член реализоваться в ней в полной мере, должна ли общность поглотить его целиком и может ли она без него обойтись? Или каждому она нужна меньше, чем он ей?» (EW, 200; Озарения, 11). Далее Бенямин упоминает «дух толстовства», связанный с концепцией «служения бедным», как пример того, что «действительно серьезно настроенная общность» имеет в качестве своей основы «дух истинной, серьезной социальной работы»³⁰. Напротив, существующее академическое сообщество сохраняет приверженность механической, то есть филистерской, идее долга и личной заинтересованности, а попытки студентов прочувствовать дух «рабочих» и «простого народа» носят чисто абстрактный характер. Речь была принята хорошо. Одна из самых восторженных участниц кружка, Дора Софи Поллак, будущая жена Бенямина, была потрясена ею: «Выступление Бенямина... было чем-то вроде извращения. Его слушали затаив дыхание»³¹. По завершении речи Дора преподнесла оратору букет роз. «По правде говоря, — впоследствии отмечал Бенямин, — никакие цветы никогда не доставляли мне столько радости, как эти» (С, 60).

В июне он посетил 14-й съезд свободных студентов в Веймаре, где развернулись ожесточенные дебаты о политической ответственности независимого студенчества. Винекенианцы потерпели на конференции оглушительное поражение: депутаты «день за днем жестоко отклоняли» большинство их предложений (С, 69). Например, совместно предложенная берлинской и мюнхенской делегациями резолюция, в которой предлагалось защищать право старшеклассников на личные убеждения,

30. Лев Толстой к концу своей жизни пришел к христианскому анархизму, вследствие чего стал отрицать власть церкви, выступать против организованного государства и осуждать частную собственность, в то же время объявляя основой социального прогресса нравственное развитие личности. Толстовство превратилось в организованную секту, и около 1884 г. у него появились последователи. Радикальные воззрения Толстого нашли отражение в таких его произведениях, как «Исповедь» (1882), «Царство божие внутри вас» (1894) и «Закон насилия и закон любви» (1908).

31. Дора Софи Поллак Герберту Блюменталю (Бельмору), 14 марта 1914 г.; архив Шолема. Цит. по: Puttnies and Smith, *Benjaminiana*, 136.

была отвергнута 17 голосами против 5 (см.: GS, 2:877). Беньямин как председатель берлинской группы сыграл заметную роль на этом общенациональном совещании, в первый день его работы выступив с речью «Новый университет», по содержанию, очевидно, близкой его речи по случаю вступления в должность, произнесенной месяцем ранее. Имеются указания на то, что в Веймаре он не пользовался записями. Из его писем того времени следует, что его замечания основывались на лекциях Ницше и Иоганна-Готлиба Фихте³². В 1807 г. Фихте в своих «Обращениях к немецкой нации» призывал к созданию университетской системы, призванной насаждать разумную жизнь как важнейшую предпосылку для становления германской нации. Ницше в своей работе 1872 г. «О будущности наших образовательных учреждений» выступал против государственной образовательной машины, нацеленной на специализацию, за счет подлинного формирования личности под руководством учителя и в контакте с философией и искусством. В том, что касается независимых студентов, дело сводилось к «необходимости нравственного решения»³³. В сообщении о ходе конференции представитель консервативного большинства отозвался о выступлении Беньямина довольно снисходительно: «Было удивительно наблюдать, как оратор, прошедший свой собственный путь в духе своего учителя, направляет все свои мысли к единственной точке притяжения: идее о высшем образовании как формирующей силе. Вот только этот юный викарсдорфец с характерным для него высокомерием подвергает сомнению все: университеты, науку и образованность, культуру прошлого» (цит. по: GB, 1:239n). Сам Беньямин говорил о «неизменной недоброжелательности этого сборища», с которого винекенианцы, руководствуясь «известными приличиями, известной духовной выдержкой», все же сумели уйти, не утратив достоинства, и в конечном счете сберегли и свое «одинокое величие» перед лицом внешнего мира, и «боязненную почтительность к себе со стороны прочих» (С, 69). В течение некоторого времени они еще пытались воплотить в жизнь свою идею «сообщества молодых людей, основанного только на интенсивной работе души, но уже ни в коем случае не на политике» (С, 68), хотя отказ от партийной политики и конкретных политических це-

32. 29 января 1914 г. Винекен выступил в берлинском *Sprechsaal* с речью «Фихте как просветитель» (GB, 1:193n). Впоследствии Фихте было уделено значительное место в диссертации Беньямина 1919 г. о немецком романтизме (см. главу 3).

33. Из отчета Зигфрида Бернфельда о «волнующем» веймарском выступлении Беньямина, напечатанного в *Der Anfang* (частично приводится в GS, 2:877).

лей как раньше, так и теперь вовсе не исключал проектов социальных изменений и серьезной «социальной работы», а следовательно, и определенной политической ответственности.

В своем эссе «Жизнь студентов», написанном летом 1914 г. на основе речи по случаю вступления в должность и обращения к участникам веймарской конференции, Бенъямин сразу же дает понять, что это не призыв и не манифест. Мы уже разбирали многозначительный первый абзац эссе с заявленной в нем исторической задачей высвободить мессианскую энергию настоящего; обращение к историческим объектам на благо настоящего соответствует романтической традиции мысли, ведущей от Новалиса и Фридриха Шлегеля через Бодлера к Ницше. Актуальная задача заключается в размышлениях, а именно о надвигающемся «кризисе», состоящем в том, что организация жизни делает ее все более безопасной. Говоря более конкретно, в этом эссе делается попытка описать значение студенческой жизни и университета одновременно и с метафизической, и с исторической точки зрения и посредством такого акта критики (*Kritik*) «вычленив из современности то будущее, которое существует в нем в искаженной форме» (EW, 198; Озарения, 9). Подобно Винекену, Бенъямин нападает на инструментализацию образования, «искажение творческого духа и превращение его в дух профессиональный». Он выносит суровый приговор всему профессиональному «аппарату», работающему в университетах, а также некритическому и беспринципному отношению студентов к этой ситуации, пагубно воздействующей на любое подлинное стремление к обучению и преподаванию. В качестве альтернативы внешней системе обучения и сертификации он выдвигает идею о «внутреннем единстве» (эстетический аналог которой содержится в эссе о Гельдерлине, работу над которым Бенъямин начал в конце года). Как указывает Бенъямин, механизм обучения и профессиональной подготовки фактически отсекает различные дисциплины от их общего корня, содержащегося в идее о знаниях (*Idee des Wissens*), иными словами, в философии, понимаемой как «общность познающих». Таким образом, для преодоления нынешней «хаотичности представлений студентов о научной жизни» следует вернуть все дисциплины к их корням — к философскому чувству и философской практике, сделав все обучение философским в фундаментальном смысле слова.

Разумеется, Бенъямин не задается вопросом о том, каким образом можно осуществить такое преобразование научной жизни, указывая лишь, что речь идет не об обременении юристов литературными вопросами, а медиков — юридически-

ми, а о подчинении специальных областей знания идее целого, воплощенной в университете как таковом, а это, очевидно, не то же самое, что их подчинение философскому факультету. Подлинным средоточием власти является коллективность университета как воплощенного в жизнь идеала. Мы видим здесь логическое развитие: от утверждения об имманентном единстве знаний к призыву объединить учебные дисциплины, а оттуда — к требованию неиерархических отношений между преподавателями и студентами и между мужчинами и женщинами в университетском сообществе и в обществе в целом. Непрерывная «духовная революция», а также идея «радикального сомнения» диктуют студентам роль интеллектуального авангарда: они призваны обеспечивать существование пространства для вопросов и дискуссий, развивать «культуру диалога» с тем, чтобы не только предотвратить деградацию обучения и его превращение в накопление информации, но и подготовить путь для принципиальных изменений в устройстве повседневной жизни общества³⁴.

В ретроспективе июньское поражение в Веймаре представляется предвестием неизбежного распада антивоенного студенческого движения, которому в течение более четырех лет была посвящена деятельность Беньямина. В июле его еще на полгода переизбрали президентом Берлинской независимой студенческой ассоциации, но после того, как в августе началась война, он отвернулся если не от идей об образовании, то от проблем школьной реформы и даже разорвал отношения с большинством своих товарищей по молодежному движению. Из его летних писем следует, что по крайней мере в контексте его собственной повседневной жизни противостояние между одиночеством и обществом оказалось для него непреодолимым. Он говорит о своей потребности вести «строгий образ жизни» и объявляет о намерении провести каникулы «в уединенной хижине где-нибудь в лесах, где ничто не помешает его спокойствию и работе», ведь, по сути, у него никогда не было време-

34. «Жизнь студентов» при жизни Беньямина была опубликована в двух вариантах: сначала в сентябре 1915 г. в ежемесячном журнале *Der Neue Merkur*, а затем в расширенном варианте (с заключительной цитатой из Штефана Георге) — в антологии *Das Ziel* («Цель»), изданной в 1916 г. писателем и публицистом Куртом Хиллером (1885–1972) — представителем литературного экспрессионизма, в 1914 г. придумавшим термин «литературный активизм» для обозначения литературы, стоящей на службе у политики. Беньямин уже в июле 1916 г. выражал сожаление о своем участии в этой антологии, а в рецензии 1932 г. «Ошибка активизма» (GS, 3:350–352), в которой упоминаются Троцкий и Брехт, дистанцировался от рационалистической позиции Хиллера.

ни «для погружения во что-либо» (С, 73, 70). Однако на летние каникулы он отправился вовсе не в какую-нибудь глухомань, а в Баварские Альпы в обществе своей подруги Греты Радт, с которой сблизился в 1913 г., и ее брата Фрица; по возвращении в Берлин они с Гретой несколько поспешно объявили о своей помолвке³⁵. В то же время он все чаще виделся с Дорой Поллак и ее первым мужем, студентом философского факультета Максом Поллаком: они проводили долгие часы в беседах либо, рассевшись вокруг пианино, штудировали одну из книг музыкального авторитета из винекеновского кружка Августа Хальма. Дора не всегда была такой сдержанной, как хотелось бы Беньямину, однако, как он отмечал, «она обладает неизменной способностью распознавать правоту и простоту, и потому я знаю, что мы с ней мыслим одинаково» (С, 63).

Некоторые друзья Беньямина изображают Дору Поллак не в самом выгодном свете. Для Франца Закса она была «Альма Малер *en miniature*. Она всегда стремилась прибрать к рукам того из нашего дружеского круга, кто представлялся ей в тот момент будущим лидером или подающим интеллектуальные надежды, и пыталась счастья с разными людьми, по большей части не имея успеха до тех пор, пока ей не попался В. Б. и она не сделала его своим мужем. Не думаю, что в этом браке они когда-либо были счастливы»³⁶. Что же касается Герберта Бельмора, то в его глазах она была «амбициозной гусыней, всегда желавшей плавать в наиновейших интеллектуальных течениях»³⁷. Тон двух этих заявлений, сделанных двумя старейшими друзьями Беньямина, несомненно, отчасти вызван ревностью: Беньямин действительно был интеллектуальным лидером группы и его общества

35. «В июле 1914 г. они вместе [Беньямин с Гретой Радт] провели некоторое время в Баварских Альпах. В конце июля его отец прислал ему телеграмму-предупреждение "Sapientia sat" ("Умный поймет"), видимо, для того, чтобы побудить его бежать от военного призыва в Швейцарию. Однако Беньямин неправильно понял эту депешу и в ответ официально известил отца, что обручен с Гретой Радт» (SF, 12; ШД, 33). Разумеется, мы не можем быть уверены в том, что со стороны Беньямина действительно имело место недопонимание. См. GS, 2:873–874, где приведена заметка Греты Радт о берлинском *Sprechsaal*, опубликованная в *Anfang* за март 1914 г. Радт критикует самодовольное использование лозунгов вместо «извлечения из языка новых выражений» и указывает, во многом повторяя тогдашние настроения Беньямина (см.: EW, 170), что «единственное, что способна выразить молодость, — борьба (*Kampf*)». Впоследствии Грета Радт вышла замуж за еще одного близкого друга Беньямина — Альфреда Кона и поддерживала контакты с Беньямином до конца его жизни.

36. Франц Закс Гершому Шолему, 10 марта 1963 г.; архив Шолема. Цит. по: Puttnies and Smith, *Benjaminiana*, 135.

37. Belmore, "Some Recollections of Walter Benjamin", 122–123.

искали многие. Более того, Дора была «несомненно красивой, элегантной женщиной... [она] участвовала в разговорах с большим воодушевлением и даром проникновения», как писал Шолем, свидетельствуя о том, что Дора и Беньямин по крайней мере в 1916 г. испытывали «взаимную любовь» (SF, 27; ШД, 56). Дора во многих отношениях была для Беньямина идеальной парой: если он в последующие годы жил в мире своих мыслей, лишь изредка обращаясь к практическим вопросам и часто делая это неуверенно и неуклюже, то Дора при всех ее литературных и музыкальных талантах (она была дочерью венского преподавателя английского и знатока Шекспира) была способным менеджером, энергичным, прозорливым и целеустремленным, и зачастую именно эта практичность позволяла Беньямину предаваться мышлению и литературному творчеству.

На годы, проведенные в Берлине, пришлось постепенное формирование Беньямина как столичного интеллектуала. Немалую роль в этом формировании сыграла притягательность жизни в берлинских кафе. В старом кафе *West End*, штаб-квартире городской богемы, больше известной по своему прозвищу *Größenwahn* («Мания величия»), Беньямин встречался с такими видными фигурами, как поэты-экспрессионисты Эльза Ласкер-Шюлер и Роберт Йенч и издатель Виланд Херцфельде, хотя, вероятно, осознавая свою «молодость» по сравнению с этой элитой, не принадлежащей к университетским кругам, обычно дистанцировался от «пресыщенной, самоуверенной богемы» (SW, 2:607). Главной приманкой в кафе были *cocottes*, образовавшие теньевую периферию эротической жизни Беньямина; именно эта «непостижимая» эротика, вероятно, и стала причиной обращенного к Бельмору замечания, сделанного Беньямином сразу же после своего 22-го дня рождения: «Можешь больше не считать меня отдельной личностью [*nicht mehr einzeln denken*], я как будто бы только сейчас вступил в благословенный возраст, стал самим собой... Я знаю, что я ничто, но я существую в Божьем мире» (С, 73). Более чем через десять лет, сделав полусвет темой своего проекта «Пассажи», Беньямин мог описывать его, опираясь на многолетний личный опыт. Между тем учеба почти совершенно утратила в его глазах свое прежнее значение: как он выразился в письме, написанном в начале июля, «университет — просто не то место, чтобы там учиться» (С, 72).

Именно в кафе *West End* «в те дни в самом начале августа», когда Германия объявила войну России и Франции, Беньямин и некоторые его друзья решили записаться в армию — не из-за какой-то особой воинственности, как он объясняет в «Берлинской хронике», а стремясь обеспечить себе «место рядом с друзьями

после неизбежного призыва» на воинскую службу (SW, 2:607). Неудивительно, что вследствие его близорукости и общего хилого телосложения он был — на этот раз — забракован призывной комиссией. Затем 8 августа «произошло событие, надолго изгнавшее из моего сознания и город, и войну»: Фриц Хайнле и Рика Зелигсон (сестра Карлы) покончили с собой, отравившись газом в «Дискуссионном зале»³⁸. На следующее утро Бенямина разбудило срочное письмо, гласившее: «Ты найдешь наши тела в Доме собраний» (SW, 2:605). Хотя в газетах это происшествие изображалось как печальный итог несчастной любви, друзья пары увидели в нем решительнейший из антивоенных протестов. Бенямин взял на себя разбор рукописей Хайнле, собираясь обработать их и опубликовать. После долгих лет безуспешных попыток заняться этим Бенямин не взял их с собой, отправившись в 1933 г. в изгнание, и впоследствии они пропали. В память о своем покойном товарище он сочинил цикл из 50 сонетов, на протяжении лет дополняя его новыми, и читал эти тщательно проработанные и нередко пронзительные стихотворения близким друзьям (см.: GS, 7:27–64). Смерть Хайнле стала для Бенямина эмоциональной травмой, от которой он так до конца и не оправился. Хотя ни творчество Хайнле, ни различные высказывания Бенямина на данную тему практически не дают нам возможности в полной мере реконструировать значение взаимоотношений между молодыми людьми, имеется множество свидетельств о том, как потрясен был Бенямин самоубийством Хайнле. Ссылками на него (нередко зашифрованными) усеяны опубликованные работы Бенямина; кроме того, Хайнле (или, точнее, его мертвое тело) играет заметную роль на первых страницах двух важнейших произведений Бенямина: «Улица с односторонним движением» и «Берлинское детство на рубеже веков». Но самоубийство было для Бенямина не просто литературной темой; образ его покойного друга будет диктовать его собственные самоубийственные побуждения, которые значительно усилятся начиная с середины 1920-х гг.

Непосредственным итогом этого двойного самоубийства для Бенямина стал период длительного бездействия. Где-то в сентябре или октябре, согласно Шолему, ему пришлось предстать перед призывной комиссией: «он симулировал дрожательный паралич, заранее натренировавшись, и из-за этого его призыв отложили на год» (SF, 12; ШД, 32). В конце октября он написал Эрнсту Шену пылкое письмо, в котором по-

38. Третья из сестер Зелигсон — Гертруда (Трауте) совершила самоубийство вместе с Вильгельмом Каро в ноябре 1915 г. (см.: GB, 1:213n).

стулировал необходимость преобразованного радикализма: «Разумеется, все мы лелеем осознание того факта, что наш радикализм был слишком показным и что для нас должен стать аксиомой более жесткий, более чистый, более невидимый радикализм» (С, 74). Беньямин считал такую инициативу неосуществимой в «том болоте, которым ныне является университет», хотя и продолжал ходить на лекции, невзирая на подстергавшие его жестокость, эгоизм и вульгарность. «Чистый итог, подведенный мной моей застенчивости, страху, амбициям, а также, что более важно, моему безразличию, холодности и необразованности, испугал и ужаснул меня. Никто [из людей науки] не отличается терпимостью к сообществу других... Никто не оказался на высоте в этой ситуации» (С, 74–75). Разочарование, столь очевидное в этом письме, еще более явно присутствовало в его личной жизни. Потеря двух товарищей привела к внезапному затворничеству; необъяснимым для всех, кого это затрагивало, образом он порвал со всеми своими близкими друзьями из молодежного движения. Кон и Шен, никогда в нем не участвовавшие, избежали отставки. Но Беньямин фактически стал избегать Бельмора, с которым особенно сблизился в свои первые университетские годы, и их дружба, несмотря на недолгое возобновление контактов перед окончательным разрывом в 1917 г., уже никогда не была прежней.

Зимой 1914/15 г. Беньямин, оплакивавший Фрица Хайнле, сочинил первое из своих крупных литературно-философских эссе — «Два стихотворения Фридриха Гельдерлина», которое, как он мимоходом отметил много лет спустя, было написано в память о Хайнле (см.: GS, 2:921). Кроме того, это был его первый большой опыт в области литературной критики со времен старших классов. Это эссе отличается цельной критической теорией и крайне оригинальной трактовкой Гельдерлина, хотя оно обрело свою форму под давлением эстетических идей, имевших в то время хождение в окружении немецкого поэта-символиста Штефана Георге. Обращение Беньямина к творчеству Гельдерлина, высокопарного и трудного для понимания поэта-романтика, стало возможным благодаря появлению первого критическо-исторического издания произведений Гельдерлина, осуществленного учеником Георге Норбертом фон Хеллингатом, который погиб на фронте³⁹. По сути, издание Хеллин-

39. Как сообщает Шолем, в октябре 1915 г. Беньямин «говорил о Гельдерлине и дал мне — что лишь впоследствии прояснилось для меня как знак большого доверия — машинописную копию своей работы „Два стихотворения Фридриха Гельдерлина“... В этом разговоре о Гельдерлине я также впер-

грата, вышедшее в 1913 г., вызвало сенсационное возрождение интереса к этому поэту, практически забытому в ранние годы существования вильгельмовской империи. Непосредственно перед войной свойственной школе Георге сочетание эстетизма и национализма привело к приобретению Гельдерлином незаслуженной репутации барда-националиста: многие немецкие солдаты отправлялись на фронт со специальным «окопным изданием» его стихотворений в ранце.

В то время подробный разбор отдельных работ современного автора был делом необычным. Подобно своему старшему современнику Бенедетто Кроче, чья «Эстетика» (1902) открыла путь к критике отдельных произведений искусства в качестве конкретных и нередуцируемых «эстетических фактов», более или менее успешных решений той или иной «художественной проблемы», Беньямин отвергает здесь категории и классификационные принципы сравнительной филологии и традиционной эстетики. Его эссе неоднозначно и в других аспектах. В ходе кропотливого, порой мучительно кропотливого, анализа в нем выстраивается теория истины в поэзии, теория, поднимающаяся над традиционным различием между формой и содержанием путем развития концепции задачи⁴⁰. Ключевым термином для Беньямина здесь является поэтическая субстанция (*das Gedichtete* — причастие прошедшего времени от глагола *dichten* — «сочинять»). Поэтически сформированное раскрывает сферу, в которой заключена исти-

ые услышал от Беньямина ссылку на издание Гельдерлина, подготовленное Норбертом фон Хеллинградом, и узнал о его работе над переводами Гельдерлина из Пиндара, которые произвели на него глубокое впечатление» (SF, 17; ШД, 40). Хеллинград издал оды Пиндара в переводе Гельдерлина, а также свою диссертацию об этих переводах, в 1910 г. В феврале 1917 г. Беньямин писал Эрнсту Шену о Хеллинграде, с которым, возможно, познакомился в Мюнхене в 1915 г.: «Читал ли ты, что на войне погиб Норберт фон Хеллинград? Я хотел дать ему прочесть мое исследование о Гельдерлине, когда он вернется. Внешней мотивацией для моего исследования послужило то, как Хеллинград подал эту тему в своей работе о переводах из Пиндара» (С, 85). Внутренней мотивацией, судя по всему, являлось желание увековечить память о Хайнле. На вопрос о том, не восходит ли это эссе также и к «лекции о Гельдерлине», прочитанной Беньямином еще в старших классах (С, 146), дать ответ невозможно, поскольку записей этой лекции не сохранилось.

40. Беньямин вновь приходит к различию между формой и содержанием в ярком коротком фрагменте, написанном в 1919 г.: «Содержание прорывается к нам. Форма стоит на месте [*verharrt*], позволяет нам приблизиться... приводит к накоплению восприятия». В содержании проявляются «эффективные на данный момент мессианские элементы, присутствующие в произведении искусства», а в форме проявляются «отсталые элементы» (SW, 1:213). Об «отсталых» элементах см. SW, 1:172, где цитируются Фридрих Шлегель и Новалис.

на, содержащаяся в конкретном стихотворении (*Gedicht*). Здесь нет ничего статичного; истина состоит в выполнении конкретной интеллектуально-познавательной задачи, которую, можно сказать, представляет собой всякое стихотворение — в качестве *произведения* искусства. Как с самого начала отмечает Беньямин, речь идет не о том, чтобы выявить процесс создания стихотворения, поскольку «сама поэтическая задача должна быть понята через стихотворение» (EW, 171; Озарения, 20). Вместе с тем эта задача, которую следует понимать как «духовную и наглядную структуру того мира, о котором стихотворение говорит», предшествует ему. Устройство поэтической субстанции, выявляющее «пластичность временного и пространственного существования», в принципе не менее парадоксально, чем написание «дневника» в «Метафизике молодости» или несущая мессианский заряд историческая задача в «Жизни студентов». Во всех этих трех проявлениях своей юношеской философии Беньямин очерчивает привилегированную сферу восприятия, в которой классические понятия времени и пространства уступают место «пространственно-временному порядку», включающему отзвуки прошлого в настоящем, центра в окраинах — ядро своеобразной современной метафизики или теории поля, в последующих работах Беньямина лежащей в основе концепции истока (*Ursprung*) и диалектического образа.

В поэтической субстанции «жизнь определяет себя через стихотворение, задача — через решение». Очевидно, речь не может идти просто о том, что искусство копирует природу. Определение жизненного контекста в поэзии свидетельствует о «силе превращения», которая в чем-то сродни мифу, в то время как «слишком большое сходство с жизнью» характерно именно для самых слабых произведений. Хотя «в основе поэтической субстанции» лежит именно жизнь, произведение *искусства* предполагает определенные «формы восприятия и структуру духовного мира». Как выразился Беньямин в написанном в те же годы диалоге об эстетике и цвете «Радуга», художник постигает основы природы, лишь создавая и выстраивая ее (см.: EW, 215). Таким образом, поэтическая субстанция выступает — по-разному в каждом стихотворении — как способ постижения отношений между жизнью и произведением искусства, иными словами, как идея задачи, стоящей перед стихотворением. Это происходит при прочтении стихотворения. Ведь «эта сфера есть одновременно продукт [*Erzeugnis*] и предмет исследования». В возникающей при этом конфигурации духовных и наглядных элементов стихотворения выражается специфическая логика и энергия «внутренней формы» стихо-

творения (этот термин позаимствован у Гёте, но его можно найти и у Вильгельма фон Гумбольдта, чьи работы о языке Бенъямин изучал той зимой в Берлине с филологом Эрнстом Леви). Иными словами, «чистая поэтическая субстанция» сохраняет свой по сути методологический характер, оставаясь идеальной целью и представляя собой «пространственно-временное взаимопроникновение всех образов в одном духовном воплощении [*Inbegriff*], поэтической субстанции, которая идентична жизни». Концепция поэтической субстанции, заключая в себе абсолютную внутреннюю артикуляцию, к которой стихотворение стремится при прочтении, позволяет оценить стихотворение в соответствии с тем, насколько «связны и значительны его элементы» (эти критерии не могли не видоизмениться в рамках эстетики фрагмента, вдохновлявшей Бенъямин в его более поздних работах, где речь идет уже не об «организме», как у Кроче и Бергсона, а о «монаде» и где истина более четко отделяется от «связности»).

Применяя свой критический «метод», Бенъямин рассматривает два стихотворения Гельдерлина, которые можно назвать двумя редакциями одного произведения, — «Мужество поэта» (*Dichtermut*) и более позднее «Неразумие» (*Blödigkeit*). Бенъямин указывает, что Гельдерлин, создавая новую версию старого стихотворения, стремился к четкому согласованию духовных и наглядных элементов, что привело к более удачному браку образа и идеи и к углублению чувства в более смелой второй «редакции». В этой версии четче проработана идея поэтической судьбы — «жизни в песне» — как основы для жертвенной связи между поэтом и народом (или, согласно языку Молодости, между одиночеством и сообществом). Несомненно, Бенъямин делает фигуру поэта объектом культа, следуя давней традиции, которую можно найти не только у Гельдерлина, но и у длинной вереницы его последователей — от Ницше с его Заратустрой до доблестных фигур югендстиля и Штефана Георге. Однако, не желая довольствоваться высокопарными изъяснениями восторга, он также заимствует у Гельдерлина выражение *heilig-nüchtern* («священная трезвость») и подчеркивает, что «анализ великих произведений столкнется если не с самим мифом, то с единством, возникающим из мощно стремящихся навстречу друг другу мифических элементов, которые и есть собственное выражение жизни»⁴¹. Преодоление мифа — программная

41. Параллельно этому он ведет речь об опьянении (*Rausch*), сопутствующем «максимальной интеллектуальной ясности... поглощающем опьянении творчества, [которое] представляет собой сознательное творчество в рамках кано-

черта и ранних, и поздних произведений Беньямина — включает и трансформацию идеи героя. Во втором варианте «Мужества поэта» Гельдерлина такое свойство, как мужество, превращается в своеобразное «неразумие», понимаемое Беньямином как состояние «неподвижного существования, полной пассивности, которая и есть сущность мужества»⁴². Поэту, творящему в центре жизни, ничего не остается, кроме как «целиком отдаться этим связям [*Beziehung*]. Они исходят из него и возвращаются к нему». Таким образом, поэт является центром, из которого исходят связи, точкой безразличия. Новая и вместе с тем старая диалектика истечения и возвращения, с которой мы уже встречались в «Метафизике молодости» и других работах, проявляется, возможно, в самом конце эссе о Гельдерлине, когда Беньямин приводит цитату из позднего Гельдерлина: «Саги, которые отдаляются от земли... возвращаются к людям [*Menschheit*]». Таким образом, поэтическая задача в конечном счете имеет дело с самой идеей человечества, «народа» и «избранных», и с этим связано и «новое значение смерти», которое Беньямин находит во втором из двух анализируемых стихотворений — возможно, под влиянием самоубийства Хайнле. Второе стихотворение стирает традиционное «жесткое» противопоставление человека и смерти, подразумеваемое в первом стихотворении; оно свидетельствует о взаимопроникновении жизни и смерти, характерном для мира, «насыщенного опасностью». Именно здесь для Беньямина заключается источник песни, ибо «смерть... вот мир поэта»⁴³.

Примерно пятнадцать лет спустя, только что разведясь с женой и приближаясь к сорокалетию, Беньямин, решивший начать все сначала, но остро осознававший непостоянство всего сущего, оглядываясь на свои труды в годы, предшествовав-

на, в соответствии с истиной, которую мы выражаем». См.: «Радуга» (EW, 216–217).

42. В «Trauerspiel и трагедии» (1916) Беньямин говорит о «великих моментах пассивности», когда проясняется смысл трагической судьбы (EW, 242–243). Ср. идею Фридриха Шлегеля о «подлинной пассивности» в его романе «Люцинда»: Schlegel, *Lucinde and the Fragments*, 65–66 («Идиллия безделья»). Можно упомянуть и выражение Вордсворта «мудрая пассивность» (в переводе И. Меламеда — «час созерцанья и покоя». — *Примеч. пер.*) из его стихотворения «Увещеванье и ответ». Идея Беньямина о «неподвижном существовании» (*reglose Dasein*) в эссе о Гельдерлине указывает на «остановку» этого диалектического образа.
43. Теодор Адорно писал о Беньямине, что тот «смотрел на мир с точки зрения смерти». См.: “Zu Benjamins Gedächtnis” (1940) в: Adorno, *Über Walter Benjamin*, 72. «Смерть... была постоянным спутником нашего поколения» (Gumpert, *Hölle im Paradies* [1939], цит. по: GS, 2:881).

шие Первой мировой войне, со смесью гордости и сожаления: «Ведь в конце концов мне не удалось выстроить всю мою жизнь на блестящем фундаменте, заложенном мной на двадцать втором году жизни» (С, 365). Духовно-политическая закваска этой бурной эпохи, в итоге трансформировавшаяся в более неявный радикализм, отразилась на жизни и творчестве Бенямина, и, хотя романтический строй в его творчестве со временем сменился материалистическим и антропологическим, по сути своей он так и остался вечным студентом, странствующим в поисках нового начала.

Глава 3

Концепция критики: Берлин, Мюнхен и Берн. 1915–1919

ДЛЯ БЕНЬЯМИНА начало войны принесло решительный разрыв не только с молодежным движением (в его эссе 1917 г. о Достоевском все еще говорится о *духе* молодости), но и с самим Густавом Винекеном, выступившим в ноябре 1914 г. в Мюнхене с речью «Молодежь и война», в которой он призывал молодых людей вставать на защиту отечества. Беньямин дистанцировался от своего бывшего наставника по крайней мере еще с предыдущей весны, когда в *Schule und Jugendkultur* («Школа и молодежная культура») подверг резкой критике теорию «объективного духа» (С, 68)¹. Его реакция на речь Винекена о войне была недвусмысленной. В послании Гансу Рейхенбаху, студенту философии, который в феврале 1915 г. обличал Винекена в открытом письме, Беньямин назвал эту речь, текст которой он с трудом заставил себя прочесть, «беспримерным позором и безобразием» (ГВ, 1:262). В глубине души он считал, что Винекен предал свои собственные идеалы. В марте он написал Винекену, формально «отмежевавшись» от «первого человека», ознакомившего его «с духовной жизнью», — в качестве «окончательного доказательства преданности» последнему. Начав письмо на печальной ноте, Беньямин напоминает Винекену его же слова о совместном обучении и о человечестве «в благородном смысле», а заканчивает послание сурово и решительно:

Theōria внутри вас оказалась слепа. Вы совершили ужасающее, страшное предательство в отношении женщин, которых любят ваши ученики. Наконец, вы принесли молодых людей в жертву государству, отнявшему у вас все. Однако молодежь подчиняется лишь тем прозорливым людям, которые в первую очередь любят

1. Германские издатели Беньямина считают, что письмо Карле Зелигсон от 15 сентября 1913 г., в котором он пишет: «Не следует становиться рабами какой-либо конкретной идеи» (С, 54), уже указывает на некоторое отдаление от Винекена (см.: GS, 2:865).

ее и ту *idea*, которая в ней воплощена. Эта идея выскользнула из ваших неловких рук, и ей суждены невыразимые страдания. Жизнь с этой идеей — вот наследие, которое я отбираю у вас (С, 76)².

Трудно переоценить значение этого разрыва с Винекеном для молодого Вальтера Беньямина. Девять лет, прошедших с момента их знакомства в Хаубинде, Винекен оказывал решающее влияние на мысли и поступки Беньямина. Некоторые элементы мировоззрения Винекена остались у Беньямина до конца жизни: в первую очередь это относится к динамичному ницшеанству, сформировавшему его идеал «доброевропейца». Однако в большинстве отношений разрыв был полным и Беньямин больше не оглядывался назад. Довольно примечательно, что письмо к Винекену является одним из немногих дошедших до нас высказываний Беньямина о войне: Гершому Шолему запомнился один-единственный разговор на эту тему в 1915 г., когда Беньямин решительно встал «на сторону [леворадикального революционера и противника войны Карла] Либкнехта»³. Однако в то же время он отклонил предложение об участии в недолго просуществовавшем пацифистском журнале *Der Aufbruch*, выпускавшемся еще одним откровенным критиком речи Винекена, студентом-медиком Эрнстом Йоэлем, который прежде был товарищем и противником Беньямина в молодежном движении, а впоследствии, до своего самоубийства, в качестве врача контролировал его эксперименты с гашишем⁴.

Начало войны, самоубийства друзей и разрыв с наставником — все это стало мучительным испытанием для молодого Беньямина. Тем не менее перед лицом этих несчастий он нашел в себе силы продолжать свои литературные занятия, так же, как это впоследствии регулярно повторялось на протяжении всей его жизни. Той зимой наряду со статьей о Гельдерлине он обратился к творчеству автора совершенно иного толка, приступив к переводу стихотворений Шарля Бодлера⁵. Различия между двумя этими великими поэтами отражают трения в душе самого Беньямина. Высокопарности Гельдерлина противостоит ирония Бодлера — вдумчивость контрастирует с ло-

-
2. Виллем ван Рейен и Херман ван Дорн полагают, что загадочное второе предложение этого фрагмента, возможно, представляет собой намек на гомосексуальность Винекена. См.: van Reijen, van Doorn, *Aufenthalte und Passagen*, 235n.
 3. Scholem, *Tagebücher*, 133; LY, 62 (23.07.1915). Этот эпизод пересказывается и в позднейших мемуарах Шолема (см.: SF, 7; ШД, 23).
 4. См.: SW, 2:603–604.
 5. В письме Гуго фон Гофмансталу от 13 января 1924 г. Беньямин упоминает, что «прошло девять лет между моими первыми попытками перевести «Цветы зла» и изданием этой книги [в октябре 1923 г.]» (С, 229).

ском, и если рваные строки Гельдерлина предвещают некоторые течения экспрессионизма, то звучная антилирика Бодлера лежит у истоков сюрреализма. Что касается будущей карьеры Беньямина как писателя, то это рано произошедшее обращение к Бодлеру стало судьбоносным, поскольку бодлеровской *modernité* было суждено оказать решающее влияние на формальное и тематическое развитие творчества Беньямина: Бодлер во многих отношениях стал главным героем его последующих произведений. Принадлежащий Беньямину перевод «Парижских картин» Бодлера — одного из разделов «Цветов зла» в итоге был опубликован в 1923 г. в составе двуязычного издания, для которого Беньямин написал важное теоретическое введение «Задача переводчика». Таким образом, переводческая работа стала основой для исследований, которым он предавался до последних дней своей жизни. Беньямин уже в 1915 г. читал художественную критику Бодлера в связи с собственными изысканиями в области цвета⁶.

Летом 1915 г. во время своего последнего берлинского семестра Беньямин познакомился с Гершомом Шолем, который станет одним из его ближайших друзей и самых постоянных корреспондентов, а впоследствии издаст его письма и другие работы. Шолем, родившийся на шесть лет позже Беньямина, пацифист, социалист и убежденный сионист, к моменту их знакомства учился в университете на первом семестре, уделяя основное внимание математике и философии⁷. Они впервые заметили друг друга в начале июля во время обсуждения речи, произнесенной пацифистом Куртом Хиллером⁸. Несколько дней спустя увидев Шолема в университетской библиотеке, Беньямин подошел к нему, «отвесил формальный поклон и спросил, не тот ли я господин, который выступал на вечере Хиллера. Я подтвердил. Он сказал, что хотел бы поговорить на затронутые мной темы». Шолем получил приглашение в дом Беньямина на Дельбрюкштрассе, где в большом, заставленном книгами кабинете Вальтера с репродукцией «Изенгеймского

-
6. См.: С, 75. Ранние работы Беньямина об эстетике цвета, основанные на теории восприятия и смысла, опровергающей «логику твердых тел», — «Цвет глазами ребенка» (1914–1915) и «Радуга: разговор о воображении» (1915) см. в EW.
 7. О ранних математических исследованиях Шолема, в частности, связанных с философией времени, см.: Fenves, *The Messianic Reduction*, 106–117.
 8. На этом обсуждении, проходившем в Доме собраний Берлинской независимой студенческой ассоциации, присутствовал и Вернер Крафт, друживший и с Беньямином, и с Шолем. См. его автобиографию: Kraft, *Spiegelung der Jugend*, 59–69.

алтаря» Матиаса Грюневальда они вступили в беседу о природе исторического процесса (см.: SF, 5–6; ШД, 21).

Шолем впоследствии написал первое исследование о каббале и преподавал историю еврейского мистицизма в Университете в Иерусалиме, где он хранил архив работ Бенъямина. В своих мемуарах о дружбе с ним, впервые опубликованных в 1975 г., он рисует портрет 23-летнего Бенъямина, приводя ряд показательных деталей. Он говорит о «буквально завораживающем облике» Бенъямина и его «застывшем взгляде» во время выступлений перед большой аудиторией, резко контрастирующем с «его обычной оживленной манерой держаться». «У Бенъямина был красивый голос, мелодичный и западающий в память», и ему нравилось читать вслух таких поэтов, как Бодлер, Гельдерлин и Пиндар. Он «одевался с продуманной ненавязчивостью и обычно слегка сутулился. Кажется, мне никогда не приходилось видеть, чтобы он ходил выпрямившись и высоко держа голову». Шолем подробно описывает походку Бенъямина, как тот описывал походку Бодлера: «В его походке было что-то недвусмысленное, сознательное и неуверенное... Он не любил быстрой ходьбы, и мне, намного более рослому, длинноногому и делавшему большие, быстрые шаги, было нелегко приноровиться к его походке во время наших совместных прогулок. Сплошь и рядом он останавливался, продолжая говорить. Его было легко узнать со спины по причудливой походке, с годами становившейся все более своеобразной». Этот образ дополнялся его «подчеркнуто учтивыми манерами», которые «порождали естественное чувство дистанции». В разговоре Бенъямин «выражался изысканно, но не демонстративно, иногда без особого успеха и скорее подражательно, прибегая к берлинскому диалекту» (SF, 8–9; ШД, 26).

В октябре 1915 г. Бенъямин получил еще один год отсрочки от армии: ему удалось провалить медицинский осмотр после того, как он провел целую ночь в обществе Шолема и выпил огромное количество чашек черного кофе, к чему часто прибегали в то время молодые люди, пытавшиеся избежать призыва. В конце месяца он отправился из Берлина в Мюнхен, чтобы продолжить учебу в Университете Людвиг Максимилиана, куда поступила и Грета Радт. (Жительницей баварской столицы стала и другая подруга Бенъямина — скульптор Юла Кон.) Бенъямин снял маленькую комнатку на Кёнигинштрассе позади главных университетских зданий, рядом с Английским садом. «Несмотря на отсутствие особой надежды на то, что война за год закончится, — писал он Шолему, — я предполагаю, что в Мюнхене мне удастся спокойно поработать хотя бы не-

сколько месяцев» (С, 77). Оказавшись вдали от своего родного города, этого «города проклятых» (GB, 1:318), он по сути вел «относительно замкнутую жизнь». Это не мешало ему время от времени развлекаться в городе, как в тот вечер, когда в обществе Греты он отправился в художественную галерею, где Генрих Манн читал отрывки из своего нового эссе о Золя, а потом пил шампанское в баре для избранной публики. За исключением этого случая, он не мог сказать почти ничего хорошего ни о мюнхенской культурной жизни, ни о студенческой жизни в университетах; тогда, как и сейчас, молодым немцам было свойственно проводить четкое различие между беспутной, беспорядочной берлинской жизнью и более спокойной, зажиточной и традиционной атмосферой баварской столицы.

В отсутствие какой-либо организации, пригодной для проведения университетской реформы, Беньямин на какое-то время смог уделить внимание занятиям. Их результаты оказались неоднозначными. Самым большим разочарованием для него стал прославленный швейцарский историк искусства Генрих Вёльфлин, чью книгу «Классическое искусство» Беньямин прочел в 1912 г. и нашел ее очень полезной. Сам же Вёльфлин оказался ему манерным педантом, полностью лишенным способности верно воспринимать разбираемые им произведения искусства: его курс лекций был «жестоким оскорблением для слушателей» (GB, 1:289). Точно так же «никуда не годились» лекции по истории германской литературы. Несколько более интересным был семинар о Канте и Декарте, проходивший под руководством гуссерлианца Морица Гейгера, чье недавно изданное эссе об эстетическом удовольствии Беньямин изучал вместе с «Идеями к чистой феноменологии» Гуссерля. Беньямин по-своему возвращался «к самим вещам», как любили выражаться феноменологи⁹. В число действительно плодотворных, хотя и заумных, курсов, посещавшихся им в этом семестре, входили лекции об «Истории ветхозаветного искупления», на которые ходили только он и четыре монаха, а также семинары о доколумбовой культуре и языке Мексики, на которых он сидел за большим столом в элегантно обставленном частном жилище с девятью другими участниками, включая поэта Райнера Марию Рильке, который «очень сонно и ненавязчиво бросает по сторонам косые взгляды поверх печально обвисших усов» (GB, 1:291). Шо-

9. Неизданная книга, сохранившаяся в архиве Вальтера Беньямина в Берлине, свидетельствует о том, что Беньямин проявлял значительный интерес к феноменологической школе (выражаем благодарность за эти сведения Петеру Фенвесу и Юлии Нг).

лем отмечает, что Беньямин «с удивлением рассказывал о вежливости Рильке — он, чья китайская вежливость уже доходила до пределов» (SF, 33; ШД, 67).

Этот семинар вел этнолог Вальтер Леман, в то время приват-доцент, обычно проводивший занятия у себя дома. Шолему запомнилось замечание, сделанное Беньямином год спустя, когда он давал Леману рекомендацию как преподавателю: «Этому человеку очень повезло, что он не знает, сколько всего он знает. Иначе он бы давным-давно сошел с ума. Ученым его делает его незнание [*Unwissen*]»¹⁰. Другим участником семинара был высокий, светловолосый, носивший монокль человек лет тридцати, которого Беньямин часто называл «разносторонним гением». Это был Феликс Неггерат, обучавшийся философии и индоевропейской филологии; после занятий у Лемана Беньямин нередко проводил с ним долгие часы за беседами в кафе, пытаясь разобраться в вопросах сравнительной мифологии и в «концепции исторического существования», которая, по словам Беньямина, «поглощает меня и образует средоточье всех проблем, важных для нас» (GB, 1:300–301). Через Неггерата, дружившего не только с Рильке, но и со Штефаном Георге и Людвигом Клагесом, Беньямин сблизился с остатками «Швабингской богемы» — одного из главных источников германского модернизма. Длинный список писателей и художников, живших в Швабинге в первые годы нового столетия, включает много прославленных имен: члены «Синего всадника» Василий Кандинский, Габриэла Мюнтер и Франц Марк, политическое кабаре «Одиннадцать палачей» во главе с Франком Ведекиндом, «Космический кружок», существовавший при Штефане Георге и включавший философа Людвига Клагеса, художника-оформителя Мельхиора Лехтера, мистагога правого толка Альфреда Шулера и «графиню Швабингскую» Фанни цу Рефентлов, а также Томаса Манна, самого Рильке и Альфреда Кубина. Неггерат представил Беньямина философу и поэту Карлу Вольфскелю, который, несмотря на свое еврейское происхождение, играл ключевую роль в кружке Георге. Вместе с ним Вольфскель издавал журнал *Blätter für die Kunst* («Листки для искусства») с 1892 г. до его закрытия в 1919 г., а также серию поэтических антологий *Deutsche Dichtung* (1901–1903), с помощью которой Георге пытался вдохнуть новую жизнь в немецкую словесность. Хотя в 1904 г. «Космический кружок» претерпел глубокий раскол по вопросу антисемитизма, когда Георге встал на защиту Вольфскеля от Шулера

10. Scholem, "Walter Benjamin und Felix Noeggerath," 135–136.

и Клагеса, Беньямин через Неггерата и Вольфскеля познакомился не только с выдающимися представителями германского эстетизма, но и с произведениями швейцарского историка и теоретика матриархата Иоганна Якоба Бахофена: главным образом именно его трудами вдохновлялся Шулер в своих мистическо-демагогических попытках восстановить языческие ритуалы. Контакт с Вольфскелем возобновился в конце 1920-х гг. благодаря беседам и переписке: в 1929 г. Беньямин опубликовал во *Frankfurter Zeitung* статью «Карл Вольфскель. К бо-летию со дня рождения». Что касается трудов Клагеса и Бахофена, то они занимали Беньямина до конца жизни: в 1934–1935 гг. он написал эссе о Бахофене (см.: SW, 3:11–24; MB, 293–312), а в конце 1930-х гг. планировал осветить роль архетипа в творчестве Клагеса и Карла Густава Юнга. Неггерат впоследствии тоже занял важное место в жизни Беньямина: через два года после того, как в 1930 г. они возобновили общение, именно благодаря ему Беньямин впервые попал на Ибицу.

В Мюнхене у Беньямина наладился еще один контакт, сохранившийся в последующие десятилетия: он свел знакомство с писателем Эрихом Гуткингом, чей мистическо-утопический труд «Сидерическое рождение» (*Siderische Geburt*, 1910) получил большую популярность в экспрессионистских кругах Мюнхена. Беньямин до конца жизни поддерживал связи с Гуткингом и его женой Лусией, в 1920-х гг. жившей в Берлине, а в 1935 г. навсегда уехавшей в США. Кроме того, он познакомился со швейцарским писателем Максом Пульвером, разделявшим его увлечение графологией. Беньямин читал эзотерическую поэзию и эссе Пульвера в новом журнале *Das Reich* («Империя»), основанном последователями антропософа Рудольфа Штейнера; в 1931 г. Пульвер издал «Символику почерка», выдержавшую много переизданий. Пульвер привлек внимание Беньямина к философу Францу фон Баадеру, современнику первых романтиков, приверженцу традиций христианского и еврейского мистицизма; его «эксцентричный склад ума» (GS, 3:307) в высшей степени импонировал Беньямину. Вскоре он купил 16-томное издание избранных произведений Баадера — в то время в его библиотеке не было других сборников философских работ, кроме Платона, — с которым был вынужден расстаться в 1934 г., испытывая нужду в деньгах. Знакомство с Баадером способствовало не только обращению Беньямина к раннему германскому романтизму, что имело своим итогом диссертацию 1919 г., но и появлению ряда эссе по истории и языку, написанных летом и осенью 1916 г. и ознаменовавших окончательное становление Беньямина как литературного теоретика.

В апреле 1916 г., перед началом летнего семестра в Мюнхене, Бенъямин на несколько недель вернулся в Берлин, где неоднократно встречался с Шолемом. Их отношения углублялись, в частности на Шолема эти встречи производили громадное впечатление: он называл их «величайшим событием в моей жизни» (LY, 186). В дневниках Шолема за 1916–1919 гг. запечатлена настоящая буря эмоций в том, что касается Бенъямина, даже если они свидетельствуют о поразительном интеллектуальном влиянии последнего. Получив в начале марта 1916 г. известие о грядущем визите Бенъямина, Шолем писал: «Меня возбуждает мысль об общении с такой плодотворной и поразительной личностью... У него есть свой голос». Шолем почти сразу почувствовал, что Бенъямин «видит историю в новом и потрясающем свете». Однако «в большей степени, чем какие-либо из его мыслей, — писал он в августе, когда они снова встретились, — на меня оказывает неоценимое влияние его духовное существование. Вполне вероятно, что и я ему что-то даю». В сущности, главной темой, занимавшей их обоих, наряду с исторической проблематикой являлась философия языка: именно в этой сфере знакомство Шолема с еврейской традицией вдохновляло мышление Бенъямина, которое, в свою очередь, оказывало раскрепощающее влияние на его младшего товарища. В глазах Шолема Бенъямин в те годы был «человеком абсолютного и удивительного величия» (LY, 186), схожим масштабами своей личности и трудов с пророками: «Вальтер как-то раз сказал, что мессианское царство никогда не умирало, и эта идея имеет *грандиозное* значение, но лишь на том уровне, на который, думаю, не восходил никто, кроме пророков» (LY, 192)¹¹.

Одной из постоянных тем их бесед стала справедливость и ее связь с законом. В дневниковой записи за 8–9 октября 1916 г. Шолем приводит некоторые «Заметки к работе о категории справедливости», скопированные из записной книжки Бенъямина; в этом тексте содержатся решительные формулировки, предвещающие работу «К критике насилия» 1921 г.:

11. Это понимание мессианского царства оказало решающее влияние на мышление самого Шолема, о чем свидетельствуют написанные им в молодости «Замечания об иудаизме и времени», проясняющие позицию Бенъямина в любопытном ключе: «Мессианское царство — это история в настоящем времени [*die Gegenwart der Geschichte*]. Пророки могли говорить об этой идее лишь гипотетически, прибегая к образу будущего. Что означает „и в былые дни“? Если продумать все до конца, то „былые дни“ означают былые дни. Царство Божие — это *настоящее*... В религии время всегда представляет собой решение, то есть настоящее... Будущее — это *заповедь*... например... заповедь распространять святость в настоящем» (LY, 245–246 [17.06.1918]).

Всякой вещи, выделяемой в пространственно-временном порядке, соответствует характер обладания как выражение ее мимолетности. Однако обладание, имеющее такую же преходящую природу, всегда несправедливо. Таким образом, ни одна система, основанная на обладании или собственности... не может иметь своим следствием справедливость. Скорее справедливость скрывается в состоянии вещи, которая не может быть собственностью. Лишь через эту вещь перестают быть собственностью другие вещи... Колоссальная пропасть, разделяющая закон и справедливость... проявляется и в других языках¹².

Шодем сравнивал идеи Беньямина о справедливости с соответствующими идеями либерального писателя-сиониста Ахада Хаама, особенно важного для него, и вообще пытался встраивать мысли своего друга в рамки собственной иконоборческой религии. Занимаясь зимой 1917 г. в Йене, он держал у себя на столе фотографии Беньямина и Доры и вел с ними воображаемые беседы. В начале марта 1918 г. он записал в своем дневнике: «Он, и только он, составляет центр моей жизни» (LY, 261).

Эта преданность не препятствовала сложившемуся у него по крайней мере с 1917 г. мучительному осознанию «громадной пропасти, разделяющей нас» — пропасти, еще больше углубившейся после того, как Шодем лишился иллюзий в отношении личности Беньямина. Отчасти причиной этого послужило разочарование Шодема в отсутствии у Беньямина приверженности иудаизму: это различие и в дальнейшем стояло между двумя друзьями: «Приходится с досадой признать, что Вальтер — не праведный человек... Метафизика превратила его в безумца. Он воспринимает мир не как человек, а как сумасшедший в руке Божией» (LY, 244). Таким образом, источником его неодобрения служили предполагаемые *моральные* изъяны Беньямина: «Я вынужден наблюдать собственными глазами, что *единственная жизнь* в моем окружении, ведущая метафизическое существование, причем жизнь великая во всех смыслах слова, несет в себе элемент упадка, достигающий ужасающих пропорций» (LY, 261). Шодем был не единственным, кто указывал на это мнимое противоречие в характере Беньямина: другие бывшие друзья Беньямина, признавая блеск его интеллекта, считали, что его поступки порой становятся неприличными. Шодем говорит о лживости, деспотизме и низости, Вальтер и Дора не однажды обращались с ним «как с лакеем». Тем не менее разочарование и неодобрение не умаляли высокой оценки,

12. Scholem, *Tagebücher*, 401–402; LY, 142.

которую Шолем давал уникальному гению своего друга, о чем свидетельствует примечательная запись от 25 июня 1918 г., написанная примерно через три месяца после того, как Бенъямин, испытывая к Шолему «безграничное доверие» (и, очевидно, отнюдь не забывая о собственных интересах), отдал ему на хранение свои бумаги:

Внешне этот человек фанатично замкнут... В принципе он *совершенно* невидим, хотя и открылся мне в большей степени, чем кому-либо другому, знакомому с ним... Сам он не идет на контакт; он требует, чтобы все *шли* к нему, хотя сам скрывается. Его метод абсолютно уникален, поскольку — по-иному невозможно сказать — это в сущности метод откровения, которое в том, что касается его, не просто дает о себе знать на протяжении небольших промежутков времени, а *всцело* подчиняет себе сферу его существования. Несомненно, так не жил еще никто после Лао Цзы... В Вальтере есть что-то безграничное, преодолевающее любой порядок, нечто такое, что расходует все свои силы, имея целью направлять его работу. По сути, это совершенно безымянное свойство, оправдывающее труды Вальтера (LY, 255–256).

Проницательное осознание Шолемом невидимости и неопишуемости его друга — этого скрытого и безымянного свойства личности Бенъямина, которое невозможно было ни к чему свести и даже охарактеризовать, — очень быстро привело его к необходимости дистанцироваться при их взаимных «контактах». Но в дневниках Шолема за эти годы зафиксировано и его настойчивое желание, чтобы Бенъямин разделял его сионистские убеждения, хотя он с самого начала отлично понимал, что этого никогда не случится. Эту потребность усугубляла глубокая сознательная любовь Шолема к своему сложному другу, которая, несомненно, стала причиной последующих разрывов в отношениях между ними. Порой Шолем чувствовал, что играет роль отвергнутого любовника, а позже по отношению к жене Бенъямина — соперника, которого держат на расстоянии.

Именно весной 1916 г. в отношениях между Бенъямином и красивой и талантливой Дорой Поллак произошел решающий поворот. После начала войны Дора и ее богатый первый муж, журналист Макс Поллак, переехали в Зесхаупт в Баварии, где жили на вилле южнее Мюнхена, около озера Штарнберг. Оттуда в апреле 1915 г. Дора и Бенъямин отправились в Женеву навестить Герберта Бельмора. Вскоре после этого Дора решительно порвала с Бенъямином, с тем чтобы, как она выразилась в письме Карле Зелигсон, «спасти свою жизнь... Если ты любишь его, то должна знать, что его слова велики и божественны, его мысли и труды значительны, его чувства мелки и ограничены,

а его поступки находятся в полном соответствии со всем этим». Не одна лишь Дора Поллак отмечала в Беньямине отсутствие эмпатии к окружающим. Бельмор, который в те годы был ближайшим конфидентом Беньямина, впоследствии, когда тот прервал отношения между ними, писал о нем с немалой язвительностью, задним числом называя его нравственно «ограниченным» и обладателем «стерильного сердца». И Дора, и Бельмор по-своему высказывают мысль о том, что все существование Беньямина было окрашено его относительной неспособностью проникнуться чужими чувствами. По утверждению Бельмора, примерно в то время имел место следующий случай: «Однажды на студенческом собрании одна моя знакомая молодая девушка заговорила со мной „об этом глупом господине Беньямине“. Я был удивлен и поражен: „Глупый? Да он самый блестящий человек из всех, кого я знал!“ — „Конечно, он такой, — тихо ответила она, — но разве вы никогда не замечали, как он глуп?“ Она имела в виду, что Вальтер Беньямин, не вполне обделенный инстинктом и эмоциями, предпочитал взирать на жизнь и чужие поступки исключительно сквозь призму своего интеллекта»¹³.

Через несколько месяцев после переезда Беньямина в Мюнхен состоялось его примирение с Дорой, и Беньямин снова стал частым гостем на вилле у Поллаков. В течение 1916 г. его помолвка с Гретой Радт расстроилась (впоследствии она вышла замуж за его старого друга Альфреда Кона), в то время как Дора рассталась со своим мужем. В середине августа, когда бракоразводный процесс шел полным ходом, Шодем, посетивший Зесхаупт, стал свидетелем того, что Беньямин и Дора «не скрывали взаимную симпатию и считали меня своего рода соучастником заговора, хотя и не проронили ни слова об обстоятельствах их жизни» (SF, 27; ШД, 56). Это была первая встреча Шодема с Дорой, которая, как отмечал он в своем дневнике, произвела на него «очень благоприятное» впечатление. Впоследствии он узнал, что предложение остановиться у них было сделано по ее инициативе.

Во время трехдневного визита Шодема в Зесхаупт беседы по широкому кругу вопросов перемежались неторопливой игрой в шахматы (Беньямин «играл наугад» и «думал целую вечность, прежде чем сделать ход»). Вдвоем они читали речь Сократа из «Пира» Платона, а в присутствии Доры Беньямин

13. Дора Поллак Герберту Блюменталю и Карле Зелигсон, 29 июня 1915 г., архив Шодема. Цит. по: Puttnies and Smith, *Benjaminiana*, 139–140; Belmore, "Some Recollections of Walter Benjamin", 119, 122.

зачитывал отрывки из написанного им тем летом провокационного эссе «Сократ», отмечая, что Сократ был «аргументом Платона и его оплотом против мифа»¹⁴. Кроме того, он читал вслух оду Пиндара в переводе Гельдерлина и в оригинале, на греческом языке. Темой нескольких их бесед служила идеалистическая философия, в первую очередь философия Канта, Гегеля и Шеллинга. Однажды Беньямин упомянул, что он видит свое будущее в чтении лекций по философии, а в другой раз завел речь о роли призраков в его собственных снах (ему снились призраки, плавающие и танцующие в большом пустом доме, особенно в его окне, которое он расценивал как символ души). Неоднократно поднималась тема иудаизма и сионизма. Беньямин подверг критике «аграрный сионизм», за который выступал Шолем, а кроме того, резко отзывался о Мартине Бубере (заявляя, что тот находится «в постоянном трансе»), которому он только что отправил знаменательное письмо с отказом сотрудничать с *Der Jude* («Еврей») — журналом Бубера о еврейских делах. Первый номер этого журнала содержал несколько статей о европейской войне, с которыми Беньямин был в корне не согласен.

В этом письме Буберу от 17 июля 1916 г., которое Беньямин зачитал вслух Шолему и на которое так и не получил ответа, он признается в своей неспособности «сколько-нибудь ясно высказаться по проблеме иудаизма», хотя и не считает, что его убеждения «иудаизму чужды» (С, 81; УП, 29–30)¹⁵. По сути, он уходил от культурно-политического вопроса, поставив в центр внимания проблему «политически действенной» литературы. Последняя, заявлял он, делая едва скрытый упрек Буберу и его коллегам, не должна превращаться в литературу, понимаемую как инструмент действия. Он полагал, что литературное творчество эффективно лишь тогда, когда оно «основано на его (слова, языка) тайне», когда оно помещает взаимоотно-

14. В этом эссе он использовал более сложную формулировку, по сути учитывавшую сохранение мифических элементов в фигуре Сократа: «Сократ: вот фигура, в которой Платон уничтожил старый миф и получил его» (EW, 233, 236n). «Сократ» был сочинен приблизительно одновременно с несколькими другими небольшими работами: «Счастье древнего человека», «О средних веках», «Trauerspiel и трагедия», «Роль языка в Trauerspiel и трагедии». Венцом этой серии явно послужило сочиненное в ноябре эссе «О языке вообще и о человеческом языке». См.: С, 84.

15. Шолем вспоминает, что «[Бубер] при встрече в конце 1916 г. высказал о нем [сохранившемся у него письме Беньямина] злое замечание. Впрочем, позднее, если удавалось, Бубер заступался за Беньямина... однако эти двое вообще не были расположены друг к другу» (SF, 27; ШД, 56). О поддержке, оказанной Бубером Беньямину в 1926–1927 гг., см. главу 6.

шения между знаниями и действиями именно в рамки «языковой магии»:

Мое понимание предметного и вместе с тем политически важно-го стиля и письма таково: подвести к тому, в чем слову отказано; только там, где в несказанной, абсолютной ночи¹⁶ открывается эта сфера бессловесного [*Sphäre des Wortlosen*], между словом и побудительным поступком может пробежать магическая искра, там, где есть единство их, одинаково реальных. Лишь интенсивная направленность слов к средоточию внутреннего онемения достигает истинной действенности (С, 80; УП, 29).

Здесь можно почувствовать, как начинает трансформироваться словарь молодости — мотивы чистоты, молчания, непостижимого источника и света в ночи, хотя представляется, что идея Беньямина о стиле письма как явлении одновременно объективном и политизированном, в своей основе несколько отличается от программной идеи его работ об академической реформе, представляющих собой не столько прямой призыв к действию, сколько попытки переориентировать и раскрепостить общее мировоззрение читателя. Но если в письме к Буберу содержатся отголоски метафизики молодости, то одновременно оно несет в себе и указания на теорию языка, которую Беньямин разрабатывал на основе своего прочтения немецких романтиков и диалога с Шолемом.

Шолем, размышляя об их с Беньямином беседах в Зесхаупте, написал ему длинное письмо на тему о языке и математике, поднимая в нем ряд вопросов. Ответ Беньямина, к составлению которого он приступил в начале ноября, разросся до 18 страниц, прежде чем Беньямин остановился и в течение недели переделал письмо в эссе — «с тем, чтобы можно было более точно сформулировать тему». Он написал Шолему 11 ноября, сообщив, что работает над сочинением «короткого эссе» о природе языка — «О языке вообще и о человеческом языке»¹⁷. По его словам, он не смог справиться с вопросом математики, но сослался на «стремление к системе», вдохновившее его на выбор названия для эссе и лишь усилившее у него осознание «фрагментарной природы его идей» (С, 82; см. также 85). Подобно многим другим его работам, эта так и осталась неза-

16. "Nacht", а не "Macht" («сила»), как было расшифровано это место в *Briefe* (СВ, 1:327). Ср. максимум, провозглашенную в «Сократе»: «Истина может воссиять лишь там, где она преломляется в ночи» (ЕВ, 234).

17. Вручив в декабре экземпляр эссе Шолему, он упоминал, что собирается добавить к нему еще две части. См. указания на его намерение продолжить эту работу в *SW*, 1:87–91.

конченной. Но с этого момента теория языка неизменно сохраняла важность для Бенямина, выходя на первый план в таких ключевых текстах, как «Задача переводчика», «Эпистемологическое предисловие» к книге о барочной драме, «Учение о подобию» и «О миметической способности». В наше время эссе 1916 г. о языке, впервые изданное в 1955 г., получило статус классики: в качестве оригинального синтеза традиционных тем оно поднимает в фундаментальной перспективе проблематику языка, господствовавшую в мысли XX в.

Это эссе, в котором Бенямин дает отпор «буржуазному пониманию языка», то есть филистерскому инструментальному представлению о языке исключительно как о средстве передачи информации, стоит в одном ряду с более ранними критическими работами Бенямина об инструментализации времени, обучении и исторической памяти. Аутентичный подход к языку как к проблеме одновременно философской, теологической и политической позволяет преодолеть дихотомию субъекта и объекта, означающего и означаемого. Язык проявляет свою сущность не как средство, а как среда в смысле матрицы, в связи с чем Бенямин приводит слова своего друга и критика Канта И. Г. Гамана: «Язык, мать разума и откровения, их альфа и омега» (EW, 258; УП, 15). Ведь мы можем рассматривать язык только в рамках языка. По сути Бенямин возвращается к более раннему филологическому представлению о языке как о развивающемся универсальном духе, *Sprachgeist*, в противоположность позднейшей, более прагматичной точке зрения младограмматиков, из которой выросла лингвистика Соссюра. Иными словами, Бенямин, как затем и Хайдеггер, понимает под изначальной лингвистической данностью не индивидуальный речевой акт и не структуру смыслов, а существование (*Dasein*) языка, слова как несоизмеримой качественной совокупности. Все высказанное и означающее предполагает «магическую» непосредственность вразумительности: вещи должны в известном смысле говорить с нами, всякий раз уже должны быть высказаны нам в своей вразумительной непосредственности, прежде чем мы сможем говорить о них¹⁸. Как пишет Бенямин, «если лампа, гора и лисица не сообщали бы себя человеку, какое имя он должен был бы им дать?.. Лишь посредством языковой сущности вещей он может выйти из себя самого и добраться до познания их». Это следует из эпистемологических

18. О первичности слова по отношению к понятию см. SW, 2:444. О «волшебной стороне языка» и о «магическом царстве слов» см. SW, 1:424 и 2:212, а также цитировавшееся выше письмо Буберу.

соображений, уже намеченных в «Метафизике молодости», о том, что восприятие представляет собой модальность языка, своего рода прочтение; опыт как таковой получает словесное выражение (см.: SW, 1:96, 92). Выражаясь несколько по-иному, язык — это канон восприятия (см.: GS, 6:66). Опять же, мы распознаем вещи прежде всего в языке, а не посредством языка. Отсюда и следует его несоизмеримость: населяя язык, мы не в состоянии оценить его размеры; мы можем лишь осознать, что «существование языка... распространяется вообще на все». Для нас нет ничего за пределами языка¹⁹.

Тем не менее в контексте лингвистической всеобщности Беньямин проводит временное различие между лингвистическими и нелингвистическими сущностями, что не отменяет их конечную внутреннюю идентичность. Например, лампа сообщает нам не саму лампу, а духовную или интеллектуальную сущность лампы — «язык-лампу». Предмет сообщает лишь часть своего бытия, являющуюся сообщаемой, а остальное остается невыраженным, поскольку «во всяком языковом формообразовании обитает конфликт сказанного и сказываемого с несказанным и не сказанным». Ни здесь, ни в письме к Буберу Беньямин не пытается обосновать этот постулат о «невыразимом» и «несообщаемом», который имеет некоторое сходство с кантовским *ноуменом*, непознаваемой «вещью в себе», которая предположительно скрывается за всякой внешностью. Кроме того, он заставляет вспомнить и идею Бергсона о том, что восприятие относится к материальному миру как часть к целому, хотя, с точки зрения Беньямина, проблема языка не получила адекватного освещения ни у Канта, ни у Бергсона. В любом случае идея некоего сообщения (*Mitteilung* — не то же самое, что *Kommunikation* в смысле передачи информации) явно занимает ключевое место в теории Беньямина, согласно которой каждой вещи и каждому событию свойственно сообщать себя, делиться своим духовным содержимым и посредством этого участвовать в том, что у Беньямина определяется как «материальная общность вещей в их сообщении»²⁰. «Непрерывный поток этого со-

19. Много лет спустя Беньямин, возвращаясь к теме приснившихся домов, писал: «Пассажи — это дома или пассажи, вне которых ничего нет, как во сне» (AP, 406 [Lia,1]).

20. В «Московском дневнике» Беньямин формулирует проблему сообщения несколько иначе. Он говорит о том, что «всякая языковая сущность биполярна, так как является одновременно выражением и сообщением [*Mitteilung*]... ничем не ограниченное расширение функции сообщения ведет к разрушению языка. И, с другой стороны, возведение его выразительной стороны в абсолют заканчивается мистическим молчанием... Но в какой-либо

общения» пронизывает всю природу, от самых низших до самых высших своих проявлений понимаемую как многообразие переводов, «континуум превращений».

«Безымянный язык вещей» посредством перевода, представляющего собой одновременно и рецепцию, и концепцию, превращается в «человеческий язык имен», являющийся основой знания. Имена, будучи специфически человеческим наследием, включают в себя как интенсивные, так и экстенсивные тенденции языка, как сообщаемое, так и сообщающее, и в силу этого оказываются «языком языка»²¹. Чтобы проиллюстрировать функцию имени и присущее ему родство с восприятием, Бенъямин обращается к начальным главам библейской книги Бытия — не как к священной истине, а как к указанию на «основополагающие факты языка», подходя к языку в библейском смысле как к «последней, необъяснимой и мистической» действительности, «которую можно рассматривать лишь по мере ее раскрытия». Предлагаемое Бенъямином в высшей степени интуитивное прочтение истории о сотворении мира, в некоторых отношениях сопоставимое с афоризмами Кафки на библейские темы, строится на различии между словом и именем. «Всякий человеческий язык есть лишь отражение слова в имени». Бенъямин пользуется здесь словом *Reflex*: раскрывающееся творящее слово оборачивается познающим именем, проходя через завершение и разграничение — отражение. Имя получает и вбирает в себя «языки из материала», «безмолвие в сообщении», свойственное природе, через которую исходит слово Божье. Задача наименования была бы неразрешима, если бы безымянный язык и язык имен не имели родства в Боге исходя из одного и того же творящего слова. Наши знания о вещах, рождаемые в именах, посредством которых мы позволяем их языку проникнуть в нас, по сути являются творчеством, избавленным от его божественной реальности; познающий создан по образу и подобию творца. «Человек познает тот же самый язык, в котором Бог — творец»²².

Однако имени и способности воспринимать вещи свойственно «увядать». Люди отворачиваются от вещей и обращаются к царству абстракции, которое, как считает Бенъямин, коренится в «слове, вершащем суд», которое «более не покоится

форме компромисс всегда возможен» (в обратном переводе с английского — «необходим». — *Примеч. пер.*) (МД, 47; МД, 74).

21. Проводимое Бенъямином различие между intensive Totalität и extensive Totalität языка (GS, 2:145) имеет сходство с различием между интенсивными и экстенсивными бесконечностями у Риккерта.
22. Ср. мысли Бенъямина об отношении слова к искусству, истине и справедливости (С, 83 [приблизительно конец 1916 г.]; см. также с. 108 [28.02.1917]).

блаженно» в самом себе. Ибо имя — это основа конкретных элементов языка. «В... познании [добра и зла] имя выходит из самого себя», по причине чего «добро и зло как неименуемые, безымянные, находятся за пределами языка имен». Состояние абстракции, прежде ассоциировавшееся у Беньямина (под влиянием Винекена) с силой отчужденности, мотивирующей «чистый дух» молодости, теперь связывается с «опосредованием всякого сообщения». А бездна опосредования, в которой слово низводится до смысла, приобретая статус *простого* знака и превращаясь в продукт условности, влечет за собой бездну болтовни (*Geschwätz*)²³. Иными словами, фальсификация духа языка, низвержение *Spracheist* в историю равносильно «буржуазной» инструментализации языка, хотя Беньямин лишь впоследствии (в проекте «Пассажи») сошлется на марксистский вариант этой идеи, согласно которому буржуа — человек в высшей степени абстрактный. Согласно истории грехопадения в интерпретации Беньямина, абстракция как способность духа языка была заложена в людях еще тогда, когда в раю росло Древо познания. Знание добра и зла, первородный грех самоосознания, делает явным приговор, висящий над человечеством, так же, как природу в ее немоте покрывает скорбь (*Trauer*). Но «ради искупления природы в ней присутствуют жизнь и язык *человека*, а не только поэта, как обычно считается».

Лишь в прологе к книге о барочной драме, где излагается теория происхождения, и в проекте «Пассажи» с его теорией диалектического образа Беньямин добился более полной интеграции принципа языка с принципом истории. В эссе 1916 г. о языке история рассматривается только с точки зрения мифа. Однако следует заметить, что в период, предшествовавший написанию «О языке вообще...», с июня по ноябрь 1916 г., из-под пера Беньямина вышли первые эзотерические наброски к работе о германских барочных драмах («скорбных пьесах») XVII в.: «Trauerspiel и трагедия» и «Роль языка в Trauerspiel и трагедии» — короткие фрагменты, непосредственно предшествовавшие наблюдениям о «скорби» природы в конце эссе о языке. В этих набросках Беньямин проводит различие между замкнутостью трагедии и незамкнутостью жанра барочной драмы (не существует ни одной чистой барочной драмы) и прослеживает связь между историческим временем

23. В конце эссе, указав, что «язык никогда не подает *просто* знаки» (EW, 260; УП, 18), хотя «человек превращает язык в средство... и тем самым, хоть бы и в одном аспекте, в *простой* знак» (EW, 264; УП, 22), Беньямин отмечает, что «связь между языком и знаком... изначально и фундаментальна» (EW, 266; УП, 25).

и «призрачным временем» и «бесконечными отголосками» барочной драмы, языковой принцип которой — трансформирующееся слово. В «скорбной пьесе», где в конечном счете ухо слышит одни лишь причитания, «мертвые становятся призраками», а события поэтому являются «аллегорическими схемами». Анализ языка здесь неотделим от проблематики, связанной со временем.

В письме Шолему от 11 ноября 1916 г., сообщая о существовании эссе о языке, Беньямин заводит речь о недавно изданной статье молодого фрайбургского философа, которого он не называет по имени, но которого, как и его самого, занимает различие между «историческим временем» и «механическим временем». Эта статья, по словам Беньямина, как раз показывает, «как *не* следует обращаться с этой темой. Ужасная работа... то, что автор говорит об историческом времени... чепуха...[а] его утверждения о механическом времени тоже, как я подозреваю, не верны» (С, 82). Речь идет о первом издании лекции Мартина Хайдеггера «Проблема исторического времени». В последующих работах Беньямина еще не раз встретятся пренебрежительные отзывы о хайдеггеровской идее историчности, которую он считал слишком абстрактной. Между тем он упустил возможность встретиться с автором, который вскоре будет вращаться в его интеллектуальной вселенной: 10 ноября в Мюнхен прибыл Франц Кафка, чтобы выступить с чтением своего рассказа «В исправительной колонии» (см.: SF, 33–34; ШД, 67). Хотя существуют указания на то, что Беньямин впервые читал Кафку еще в 1915 г. (см.: С, 279), активный интерес к этому автору проснулся у него лишь в 1925 г.

В конце декабря Беньямин был признан берлинской призывной комиссией «ограниченно годным к несению службы», и вскоре после этого он получил повестку о призыве в армию, но не явился на призывной пункт. В короткой и, как всегда, вежливой записке от 12 января он объяснил Шолему, что страдает от тяжелого приступа ишиаса и не может никого видеть. Вскоре после этого сообщения из Зесхаупта прибыла Дора, по секрету сообщив Шолему, что симптомы, похожие на ишиас, появились у Беньямина благодаря ее гипнозу, к которому он был «восприимчив» (SF, 35–36; ШД, 70). Эти симптомы оказались достаточно убедительными для военно-медицинской комиссии, прибывшей на Дельбрюкштрассе, и Беньямин получил еще одну отсрочку. Дора поселилась у Беньяминов, и они с Вальтером в обстановке «ежедневных ссор» с его родителями строили брачные планы. Свадьба состоялась 17 апреля 1917 г. в Берлине. Из присутствовавших на церемонии единственным, кто не входил в число

родственников новобрачных, был Шолем, в качестве подарка вручивший своим друзьям утопический «астероидный роман» Пауля Шеербарта «Лезабендио» (1913), который произвел глубокое впечатление на Беньямина. Он сразу же сочинил маленькое эссе «Пауль Шеербарт: *Lesabéndio*» (GS, 2:618–620) и под различными предложениями возвращался к этой книге на протяжении последующих лет, в 1939–1940 гг. написав еще одно эссе о Шеербарте (см.: SW, 4:386–388). Через месяц после свадьбы молодожены поселились в санатории в Дахау, к северу от Мюнхена, где «ишиасом» Беньямина мог заняться специалист. Там с помощью Доры Беньямину удалось получить медицинское свидетельство, позволившее ему выехать в нейтральную Швейцарию, которая стала для него убежищем до конца войны.

К моменту прибытия в Цюрих в начале июля 1917 г. Вальтер Беньямин был женатым 25-летним человеком, строившим смутные планы относительно университетской карьеры. Как было принято во многих зажиточных семьях, его родители по-прежнему помогали сыну и невестке, пока задавая не очень много вопросов о будущем. Тем не менее два года, прожитые Беньямином в Швейцарии, стали для него сложным временем. Молодая чета жила практически в полной изоляции: война не позволяла немецким друзьям навещать их, а сами они обзавелись на новом месте лишь немногими знакомыми. Между супругами, предоставленными друг другу, начали проявляться первые признаки разлада, и Дора все чаще искала себе друзей и предавалась своим собственным развлечениям. Возможно, именно из-за этой растущей изоляции швейцарский период стал продуктивным для Беньямина, так как он был в состоянии заниматься лишь тем, что его интересовало. Характерно, что эти интересы побуждали его двигаться одновременно в разных направлениях, и он лишь изредка пытался систематизировать свое крайне разнообразное чтение.

В Цюрихе Беньямин и Дора встретились с другом Беньямина Гербертом Бельмором и его женой Карлой Зелигсон. В конце 1916 г. Беньямин и Бельмор обменялись дружескими посланиями; письму Беньямина с его высказываниями о языке, критикой и юмором — он ведет речь о Сервантесе, Стерне и Лихтенберге — свойственны те же энергия и блеск, которыми отличалась его прежняя переписка со своим старым школьным товарищем (см.: С, 83–84)²⁴. Однако в Цюрихе их дружба по неяс-

24. Это письмо с его излияниями о «ночи, несущей в себе свет», и ночи как «кро-
воточащем теле духа» имеет большое сходство с письмом Буберу от 17 июля
1916 г., обсуждавшимся выше.

ным причинам прервалась. В неподписанной записке Бельмору от 10 июля Бенъямин упоминает о «неуважении», проявленном к его жене, и о многочисленных «предательствах» (GB, 1:368)²⁵. Очевидно, что Дора и Карла не ладили друг с другом. Объяснение Шолема: «причина заключалась... в притязаниях Бенъямина на безусловное духовное лидерство по отношению к [Бельмору], которое последний должен был безоговорочно принимать. [Бельмор] же отверг притязания Бенъямина, и многолетней юношеской дружбе был положен конец» (SF, 41–42; ШД, 79–80) — явно упрощает ситуацию, хотя мы вполне можем согласиться со сделанным им в этой связи замечанием о «деспотической черте» в характере Бенъямина. С учетом последующих нелестных замечаний Бельмора о Доре — он называл ее «амбициозной гусыней» — вполне возможно, что эта дружба разбилась о нежелание Бельмора всерьез относиться к новой спутнице Бенъямина²⁶. Столкновение с Бельмором — взаимоотношения с которым, по словам Бенъямина, «исподволь затягивали меня в сеть прошлого» — вынудило Бенъяминов уехать из Цюриха: они временно поселились в Санкт-Морице. Этот зажиточный альпийский городок вернул Бенъямину чувство внутренней умиротворенности: он утверждал, что после «долгих лет борьбы» наконец-то нашел спокойное место. Он радовался своему «спасению», тому, что «усвоил посев двух предвоенных лет» и что «сбежал от демонических и призрачных влияний, которые настигали нас, где бы мы ни очутились, и от голой анархии, беззаконности страдания... после стольких лет я снова могу работать» (С, 91).

Вообще болезнь и бегство из Германии не мешали Бенъямину читать романы, в том числе «Бувар и Пекюше» Флобера и «Идиот» Достоевского. Сочтя последний великим, Бенъямин сочинил о нем тем летом короткое эссе, в котором утверждается, что фиаско, постигшее главного героя романа, похожего на Христа князя Мышкина, предвещало крах молодежного движения. «Ее жизнь [жизнь молодежи, жизнь движения] остается бессмертной, но она теряется в собственном свете». Так что в итоге это был плодотворный крах, фиаско, не ставшее концом, незабываемое фиаско, точно так же, как в «гравитационном поле» романного повествования все

25. Вместе с этой запиской сохранилась и записка Карлы Зелигсон к Бенъямину: "Lieber Walter, ich möchte Dich bitten zu mir zu kommen. Carla" («Дорогой Вальтер, зайди ко мне, пожалуйста. Карла»), очевидно, представляющая собой попытку спасти их дружбу после их последней встречи 9 июля (GB, 1:368).

26. См.: Belmore, "Some Recollections of Walter Benjamin", 123.

вещи и персонажи в конечном счете притягиваются к совершенно недостижимому центру, которым является жизнь князя: «...его жизнь источает строй, центром которого является собственное, до ничтожно малых величин зрелое одиночество». Поэтому «бессмертие» этой жизни связано не с продолжительностью, а с бесконечным движением — жизнь «бесконечно продвигает свое бессмертие... Чистым же выражением жизни в ее бессмертности является слово „молодость“»²⁷. Одновременно с этим этюдом Беньямин работал над переводами из Бодлера и размышлял о современных течениях в живописи (он отдавал предпочтение Клее, Кандинскому и Шагалу, находя Пикассо ущербным).

Кроме того, в то время он «с радостью погрузился» в изучение немецкого романтизма, читая таких авторов-эзотериков, как Баадер и Франц Йозеф Молитор, которому принадлежит работа о каббале, а также «в огромном количестве Фридриха Шлегеля и Новалиса». В письме Шолему он поднимает идею, напоминающую его юношескую концепцию духа, о том, что

ядро раннего романтизма — религия и история. Его бесконечная глубина и красота по сравнению со *всем* последующим романтизмом проистекает из следующего обстоятельства: ранние романтики не искали в религиозных и исторических фактах тесной связи между двумя этими сферами, а скорее пытались создать в своем собственном *мышлении* и жизни высшую сферу, в которой обе эти сферы не могут не слиться воедино... Романтизм... был направлен на оргиастическое раскрытие — «оргиастическое» в элевсинском смысле — всех тайных источников традиции с тем, чтобы та, не осквернившись, наполнила все человечество... романтизм стремится сделать для религии то, что Кант сделал для теоретических тем: выявить ее форму. Но есть ли у религии *форма*? Так или иначе, ранний романтизм понимал под историей что-то, аналогичное этому (С, 88–89)²⁸.

Он упорядочивал отрывки из Шлегеля и Новалиса в соответствии с их принципиальной систематической значимостью: «...я уже давно обдумывал этот замысел. Разумеется, речь идет о чистой интерпретации... Но романтизм *необходимо* интерпретировать (не забывая об осмотрительности)» (С, 88). По сути, эти собрания отрывков стали непосредственной основой для диссер-

27. В конце 1917 г. между Беньямином и Шолемом состоялся эмоциональный обмен письмами по поводу этого эссе; Шолем увидел в такой интерпретации князя Мышкина скрытые ссылки на покойного друга Беньямина Фрица Хайнле. См.: SF, 49; ШД, 90; С, 102.

28. См.: ГВ, 1:363, где приведен материал, не вошедший в *Briefe* и С.

тации Беньямина, посвященной концепции критики в раннем романтизме, но *этот* замысел начал принимать четкие очертания лишь следующей весной, после довольно неудачного обращения к поздним работам Канта об истории. Беньямин всерьез размышлял об академической карьере и пытался решить, где именно в Швейцарии можно защитить диссертацию по философии.

В начале 1917 г. он отправил Шолему из Санкт-Морица поразительное письмо о концепции «учений» (*Lehre*), которая в то время занимала ключевое место в его воззрениях. В написанном тогда же наброске «О восприятии» он говорит о «философии в целом», о ее теориях и доктринах, как об учении (см.: SW, 1:96). Его письмо Шолему опиралось на его штудии в области романтизма, а также на теорию обучения, представлявшую собой каркас его юношеской философии. Как всегда, обучение понимается им в связи с той формой, которую принимает жизнь индивидуума. Главное — не то, чтобы учитель «подавал пример», как требовал в недавно изданной статье Шолем. Более важно искусство жить — примерно так, как призывал Фридрих Шлегель: «...вести классическую жизнь и на практике воссоздавать в себе античность»²⁹. Согласно синтетической концепции Беньямина, образование представляет собой творческое возобновление традиций, возвращение к ним. Он понимает здесь традицию так же, как в предыдущем году понимал язык и как в своей диссертации будет понимать искусство: как динамическую среду — такую, в которой ученик постепенно превращается в учителя (и слово *lernen*, и слово *lehren* восходят к корню, означающему «идти по следу») ³⁰. Учитель, лишь будучи одиноким учеником, в состоянии *по-своему* охватить традицию и тем самым обновить ее, то есть сделать переданное передаваемым дальше, сообщаемым. Приобщение к традиции предполагает погружение в море учений. Ведь *Lehre*

подобны бурному морю, но волне (понимаемой как образ человеческого бытия) важно лишь подчиниться движению воды: при этом волна вздымается и разбивается в пену. Эта огромная свобода разбивающейся волны и есть обучение в истинном смыс-

29. Schlegel, *Lucinde and the Fragments*, 180 («Атенеийский фрагмент №147»).

30. В сочиненном в конце 1917 г. под влиянием Гельдерлина коротком этюде «Кентавр», посвященном «духу воды» в греческой мифологии, Беньямин называет жидкую стихию оживляющей средой, *Medium der Belebung*, которая, «будучи средой... представляла собой единство противоположностей» (EW, 283). Ср. выражение *Medium der Reflexion* в диссертации Беньямина, работа над которой началась примерно три месяца спустя.

ле... традиция, стремительно возникающая, подобно волнам, из изобилия жизни (С, 94)³¹.

Истинное обучение, основываясь на этом погружении в сущее, черпает новую жизнь из приливов и отливов учений, тем самым продолжая собой учения и язык. «Обучение — это только (духовное) обогащение теории». В традиции проявляется непрерывное противостояние прошлого и будущего, старых и новых поколений. Ведь взаимодействие поколений — это тоже волнообразное движение: «Наши наследники исходят из духа Божьего (человека); подобно волнам, они порождаются движением духа. Обучение — единственная точка свободной связи между старым и новым поколением» (С, 94). Беньямин, оригинальным образом прибегая к классическому литературно-философскому тропу океана и тем самым приводя пример повторного открытия, о котором он говорит, по сути отождествляет волну учений с волной духа, и учебный орден в его представлении оказывается тем же самым, что и «религиозный орден традиции».

Теологическая концепция учений играет определенную роль в эссе «О программе грядущей философии» (см.: SW, 1:100–110; УП, 31–51), начерно написанном 25-летним Беньямином в основном в ноябре, в разгар его изучения трудов Канта на тему истории. Беньямин, придерживаясь тенденции, характерной для Юго-западной школы неокантианства, выходцем из которой он был, считал необходимым сохранить «сущность кантовской мысли», а более конкретно — типологию его системы, считая ее сопоставимой только с платоновской: «Только в смысле Канта и Платона и, как я считаю, на пути преобразования и развития Канта философия может стать учением [*Lehre*] или по меньшей мере присоединиться к нему» (С, 97; УП, 47). Это письмо Шолему от 22 октября — типичное по широкому охвату различных тем: от прозы Канта как «лимеса литературной прозы» до спорного отношения иудаизма к откровению и проблемы связи между кубизмом и цветом — представляло собой непосредственную отправную точку его «программы» грядущей философии³².

Согласно Беньямину, пересмотр Канта должен иметь своей целью исправление важнейшего заблуждения «кантовского учения о познании». По его словам, эти ошибки восходят к относительной пустоте «просветительского понятия опыта» и к стоящей

31. Ср. с тем, что Беньямин говорит о *Theorie* как о «кипучей плодотворности нашей деятельности» в письме Фрицу Радту от 4 декабря 1915 г. (GW, 1:298–299).

32. Впервые опубликовано в 1963 г.

за ним однобокой механико-математической концепции знания, квинтэссенцией которой служит ньютоновская физика. Беньямин мимоходом ссылается на «религиозную и историческую слепоту Просвещения» как на нечто, свойственное всей современной эпохе. Не удовлетворенный аристотелевско-кантовским различием между *mathein* и *pathein* — интеллектуальным знанием и чувственным опытом, он провозглашает концепцию «высшего» опыта, выводящегося из структуры знаний. Соответственно, самой злостной становится задача правильно понять, что имеется в виду под «знаниями». Беньямин выделяет в кантовской концепции знаний две тесно связанные друг с другом проблемные области: фактически не изученное предположение об «эмпирическом сознании», то есть об «индивидуальном духовно-телесном „я“, с помощью органов чувств воспринимающем ощущения, на основании которых формируется его представление», — несмотря на давний авторитет, которым обладает эта идея, Беньямин с иронией называет ее образчиком «познавательной мифологии», а также связь этого предположения с моделью субъекта и объекта, от которой Кант в итоге так и не сумел отказаться, несмотря на проведенный им глубокий анализ структуры знаний.

Вообще такая проблема, как «психологическое понятие познания», в ее отношении к понятию «сфера чистого познания» остается нерешенной. Поднимая вопрос о субъективизме и дуализме кантовской системы, Беньямин предлагает несколько поправок, своим духом сходных с раннеромантическими ревизиями Канта. Концепция знаний должна быть раскрыта в сторону «истинно сознающей время и вечность философии», и в ней должно присутствовать осознание «языковой сущности» знаний. По сути религиозное и историческое углубление и расширение, которое постигнет идею знаний в результате этих трансформаций, влечет за собой трансформацию логики: истину следует понимать как нечто большее, чем правота (еще один момент, в котором Беньямин сходится с Хайдеггером), а функция синтеза между тезисом и антитезисом должна быть дополнена функцией «особого не-синтеза двух понятий в одном третьем». После того как сфера познания станет «автономной по отношению к субъектно-объектной терминологии» (так как все смыслы — истина, добро, красота — основываются сами на себе» [EW, 117]), опыт можно будет понимать как «систематическую спецификацию познания», когда типы познания ставятся основой для типов опыта³³. (В письме от 22 октября он говорит

33. Беньямин пользуется выражением *systematische Spezifikation der Erkenntnis*. В заметке, датируемой мартом — июнем 1888 г., Ницше в связи со своей кон-

о том, что «мы выражаем себя в опыте».) Далее Беньямин, делая кивок в сторону феноменологии, выдвигает предположение о том, что идея высшего опыта, делая возможной новую идею свободы, предполагает существование «чистого трансцендентального сознания», отличающегося от любого эмпирического сознания. Тем самым допускается, что термин «сознание», лишенный всякого субъективного содержания, все равно может быть использован в философских целях. В дополнении, написанном в марте 1918 г., Беньямин формулирует проблему субъективности опыта более радикальным образом, предлагая понимать единство опыта не как сумму опытов, а как «конкретную всеобщность опыта, то есть... *бытие* [*Dasein*]». Конкретная всеобщность есть «предмет и содержание» религиозных учений; конкретная всеобщность опыта, утверждает Беньямин, является религией. Таким образом, метафизически углубленная концепция опыта, посредством которой философия существования контактирует с религиозными учениями, подводит нас к «потенциальному единству религии и философии». Как и в хайдеггеровской интерпретации Канта, созданной в конце 1920-х гг. (которая, сплетая концепции времени и пространства с концепциями воображения и «любви к самому себе», аналогичным образом охватывает то, что осталось «несказанным» в первой «Критике» Канта), попытка обозначить субъективность, или поле сознания, вне рамок статичного атомарного «я» субъективизма дает результаты, весьма далекие от актуальной, рационалистической тенденции, свойственной кантовской мысли. Замысел «дополнить» кантовскую философию в случае Беньямина оказался непродуманным, хотя кантовский идеал критики оставался в поле его зрения на протяжении всей его творческой карьеры, сосуществуя с ницшеанским идеалом погружения³⁴.

Эссе «О программе грядущей философии» было написано в Берне, фактической столице Швейцарии, куда Беньямины переехали в октябре, с тем чтобы Вальтер мог заниматься в университете; он поступил туда 23 октября 1917 г. на первый из че-

цепцией *Kraftzentrum* (центра силы) пишет, что «...перспективизм есть только сложная форма специфичности [*Spezifität*]... каждое специфическое тело стремится к тому, чтобы овладеть всем пространством, возможно шире распространить свою силу» (Ницше, *Собрание сочинений в 5 томах*. Т. 4. С. 318 [«Воля к власти», фрагмент № 636]).

34. Намек на Канта содержится в ключевом месте проекта «Пассажи», когда Беньямин, имея в виду авторское предисловие ко второму изданию «Критики чистого разума», пишет о «коперниканской революции в историческом восприятии» (папка K1, 2).

тырех семестров. Следует сказать, что обучение в Берне почти не сказалось на интеллектуальном облике Бенъямина. В число курсов, которые он слушал в 1917–1918 гг., входили «Основные принципы философии», излагавшиеся Анной Тумаркин (вскоре после этого она издала книгу о романтическом мировоззрении), семинар по истории немецкого романтизма, проводившийся германистом Гарри Майнком, семинар Пауля Геберлина по Фрейдю (в рамках которого Бенъямин написал критику теории либидо) и курс лекций «Шарль Бодлер, поэт и критик», которые читал архиконсервативный швейцарский историк Фредерик Гонзаг де Рейнольд — к его интерпретациям Бодлера Бенъямин вернется в проекте «Пассажи». Похоже, что ни один из этих курсов не занимал его так же сильно, как самостоятельное разнообразное чтение: помимо немецких романтиков оно включало произведения Анатоля Франса, Адальберта Штифтера и Якоба Буркхардта, переписку Ницше с Францем Овербеком, а также трехтомную «Историю догмы», написанную видным либерально-протестантским теологом Адольфом фон Гарнаком, — а также охватившая его страсть к коллекционированию книг, особенно старых и редких изданий для детей.

Впрочем, самой злободневной задачей был выбор темы для диссертации. В письме Шолему от 22 октября Бенъямин упоминает о своем намерении начать зимой проработку вопроса «Кант и история», поскольку «специфические взаимоотношения философии с истинным учением», иными словами ее канонический характер, наиболее четко проявляются в противостоянии с историей (С, 98). Но не прошло и двух месяцев, как после ознакомления с «Идеей всеобщей истории во всемирно-гражданском плане» и «К вечному миру» Бенъямин решил, что Кант не оправдал его ожиданий: «Канта интересует не столько история, сколько определенные исторические коллизии, любопытные в этическом плане... Мысли Канта показались мне совершенно непригодными в качестве отправной точки отдельного трактата или в качестве его реального содержания» (С, 105). Однако этот фальстарт не обескуражил Бенъямина. На самом деле энергия кипела в нем. 23 февраля 1918 г. из курортного городка Локарно в Южной Швейцарии, куда они с Дорой отправились на несколько недель на каникулы, он писал Шолему о днях, наполненных «ярким и свободным мотивом о конце оставшейся за спиной большой эпохи в моей жизни. Шесть лет, прошедшие с тех пор, как я окончил школу, составили целую эпоху, прожитую в чудовищном темпе, [эпоху] которая для меня содержит бесконечное количество прошлого, иными словами, вечность» (С, 117). Эрнсту Шену несколько-

ко дней спустя он писал, что этой зимой перед ним раскрылись «связи, имеющие чрезвычайно далеко идущее значение», и теперь «я впервые могу сказать, что выковываю единство в своих мыслях» (С, 108)³⁵. К концу марта он уже мог объявить, чему будет посвящена его диссертация.

Я жду своего профессора, чтобы он предложил мне тему; между тем она придумалась сама. Лишь начиная с эпохи романтизма преобладающей стала следующая точка зрения: для того чтобы понять *произведение* искусства само по себе, без отсылок к каким-то теориям или морали, достаточно одного размышления, и человек, размышляющий о нем, способен оценить его по достоинству. Относительная независимость *произведения* искусства по отношению к искусству или, точнее, его *исключительно* трансцендентальная зависимость от искусства стали предпосылкой романтической художественной критики (С, 119).

Иными словами, Беньямин был убежден в том, что диссертация о романтической художественной критике даст ему возможность добиться «единства в своих мыслях», к которому он стремился. Такое единство, в рамках которого сочетались бы идеалистическая философия, изучение литературы и изобразительного искусства, рассматриваемых в качестве средства познания, теология и философия истории, стало в грядущие десятилетия отличительной чертой всех его основных работ.

Вышеупомянутым профессором был Рихард Хербертц, чьи курсы по логике, эпистемологии и истории философии Беньямин посещал во время учебы в Бернском университете. Хербертц согласился стать научным руководителем Беньямина в его работе над докторской диссертацией о философских основах романтической критики и в мае официально утвердил выбранную им тему. По словам Шолема, который вскоре присоединился к Беньямину в его швейцарской ссылке, Хербертц сочетал в себе филистерство и благородство духа, которое проявлялось в его «совершенно независтливом восхищении беньяминовским гением». На его семинаре, посвященном «Метафизике» Аристотеля, Беньямин был «неоспоримым фаворитом... Хербертц, который любил говорить тоном философского рыночного зазывалы... глубоко уважал Беньямина и уже относился

35. Письмо Шену, написанное в Локарно, датировано 28 февраля 1918 г. (GB, 1:435); оно неверно датируется в *The Correspondence of Walter Benjamin* («Переписка Вальтера Беньямина»). Именно в это время, в начале 1918 г., у Беньямина впервые обнаружилась склонность писать микроскопическим почерком. См.: SF, 45; ШД, 85, а также примечания редакторов в GS, 7:573–574.

к нему как к младшему коллеге» (SF, 57–58; ШД, 102). Беньямин полагал, что получение докторской степени в Берне откроет ему путь к «настоящим исследованиям». «С моей работой связаны все мои надежды» (С, 108, 115). Кроме того, впервые после эссе 1914–1915 гг. о Гельдерлине собственная работа Беньямина служила для него масштабным полотном, на котором он мог совместить свой интерес к эпистемологии с интересом к эстетике.

Вальтер и Дора поселились в маленькой квартирке на тихой улице рядом с университетом. За неимением контактов в обществе они жили в «полной изоляции», время от времени выбираясь на выставки и концерты. Как ни странно, чувство изоляции усугублялось открытием, что Дора беременна. В письмах к Шолему Дора призывала его присоединиться к ним в Швейцарии. Пока Беньямин ходил на занятия и работал над диссертацией, она мобилизовала собственные таланты, сумев превратить их в источник доходов: из-под ее пера выходили детективные романы, а в 1919 г. она два месяца ходила на службу в качестве переводчика с английского. (Ее отец Леон Кельнер, известный англист из Венского университета, был автором нескольких книг о Шекспире.) Впоследствии, в 1920-е гг., Дора писала для влиятельного литературного еженедельника *Die literarische Welt* и редактировала женский журнал *Die Praktische Berlinerin*. В первые годы брака с Беньямином они часто вместе читали по вечерам; весной и летом 1918 г. они выбирали для чтения стихотворения Катуллы («Нет ничего более благотворного, чем чтение античных поэтов, позволяющее избежать ошибок... современных эстетических концепций» [С, 129–130]) и «Метаморфоз растений» Гете. Но больше всех прочих совместных занятий Доре нравилось собирать их библиотеку иллюстрированных детских книг.

11 апреля 1918 г. родился их единственный сын Штефан Рафаэль. Беньямин отмечал: «...отец сразу же начинает видеть в этом маленьком человечке *личность*, причем по сравнению с этим превосходство самого отца во всех вопросах, связанных с существованием, кажется совершенно несущественным» (С, 123). Беньямина никогда нельзя было назвать внимательным отцом; его слишком поглощали собственные труды. Тем не менее в последующие годы он с большим удовольствием наблюдал за поведением и развитием маленького Штефана, особенно за тем, как он учился говорить. Вскоре после его рождения Беньямин завел блокнот под названием «*opinions et pensées*» („мнения и мысли“) моего сына» (С, 288), в который не только записывал забавные и любопытные словесные конструкции и ошибки в его речи, такие как, например, «гратофоф» вместо «фотограф» и «Аффика» вместо «Африка» (*Affe* по-немецки

«обезьяна»), но и описывал детские игры, ритуалы и поступки, а также сценки из семейной жизни³⁶. Собранный им маленький архив — его последние материалы относятся к 1932 г. — представляет собой подробное свидетельство о его давнем интересе к миру детского восприятия и подражательному гению ребенка³⁷. Однако там не содержится практически ни одного намека на разлад между отцом и сыном, вызванный длительными отлучками Беньямина из дома в пору взросления мальчика и относительно редкими встречами между ними после развода Беньямина в 1930 г.

В начале мая к супругам в Берне смог присоединиться их друг Шолем, тоже признанный негодным к военной службе; он остался в Швейцарии до осени 1919 г.³⁸ Едва оказавшись в новом окружении, Шолем смог узнать, что представляет собой бернское общество: вместе с Вальтером и Дорой он посетил концерт выдающегося пианиста и просветителя Ферручио Бузони, игравшего Дебюсси в маленьком зале. Вскоре Шолем и Беньямины переехали в соседнюю деревню Мури, где жили по соседству друг с другом три месяца, до начала августа, причем Шолем иногда сопровождал Беньямина, отправлявшегося на занятия в Берн. Шолем описывает жизнерадостную атмосферу, в которой проходили их первые беседы и прогулки, а также начавшиеся между ними трения. Поначалу, пока еще шла война, их приподнятый настрой нашел выражение в фантазиях о несуществующем «университете Мури», как выразился Беньямин, «нашей собственной академии», с сатирическими списками ее учебных предметов (например, на медицинском факультете там числился «семинар по ликвидации»), университетским уставом и обзорами новых поступлений в библиотеку³⁹. Беньямин играл роль ректора университета и занимался такими вопросами, как отсутствие кафедры демонологии или подготовка юбилей-

36. Уцелевшие страницы *Büchlein* Беньямина, посвященного «мыслям и мнениям» его сына, которые он собирался перепечатать для архива Шолема, опубликованы в *Walter Benjamin's Archive*, 109–149.

37. См. фрагмент «Как ребенок видит цвета» (1914–1915) и дискуссию о детских книжках с картинками и играх, связанных с цветом, в работе «Радуга. Беседа о воображении» (1915) в EW.

38. Шолем был призван в германскую армию весной 1917 г., но армейские врачи, которым он рассказал о своих «видениях», диагностировали у него разновидность шизофрении и отправили в лечебницу для душевнобольных, откуда он писал письма о Торе, истории и мессии. К августу 1917 г. он был комиссован и вернулся в Берлин (см.: LY, 162–163).

39. В дневнике Шолема упоминается состоявшаяся 5 мая 1918 г., на следующий день после его прибытия в Швейцарию, беседа с Беньямином, когда они говорили об «академии, в которой мы сами себе хозяева» (LY, 235).

ного сборника *Memento Muri*, а также иногда устно или письменно отчитывался перед Шолемом, выступавшим в качестве педеля школы религии и философии. Этой шуточной игре, порожденной сложным и неоднозначным отношением к реальному академическому миру, они время от времени предавались на протяжении многих лет⁴⁰. Были у них и другие развлечения. На лекциях в Берне они «часто» играли в игру, включавшую составление списков имен. «Сегодня утром на лекции Геберлина, — писал Шолем в своем дневнике 10 мая, — мы занимались тем, что вспоминали знаменитых людей, чьи имена начинаются на М. Вальтер вспомнил 64, а я — 51. Иначе мы бы умерли от скуки». В тот же вечер после обеда они втроем играли «в интеллектуальную игру на угадывание „конкретное или абстрактное“ (Вальтеру пришлось угадывать слово „духовенство“»)» (LY, 237).

Тематика их бесед в Мури снова была разнообразной. Они говорили о выдающемся старом неокантианце Германе Когене, на лекции которого иногда ходили в Берлине и чью раннюю влиятельную работу «Кантова теория познания» некоторое время ежедневно читали и разбирали вслед за недавно написанной Беньямином работой «О программе грядущей философии», в которой он пытался опровергнуть именно эту теорию опыта. «Мы оба... приступили к этому чтению с большими ожиданиями и готовностью к критическому обсуждению. Но выводы и интерпретации Когена показались нам сомнительными... Беньямин жаловался на „трансцендентальную путаницу“ рассуждений Когена... и назвал когеновскую книгу „философским осиным гнездом“» (SF, 58–60; ШД, 102–106). Хотя неустанный рационализм, строгий дуализм и викторианский оптимизм Когена были серьезными изъянами в глазах обоих молодых людей, им импонировала его антиисторическая и проблемно-историческая ориентация, и Беньямин вскоре стал часто обращаться к теории происхождения и критике мифологии, которыми вдохновлялся Коген в своем последнем значительном достижении — философской интерпретации библейского мессианизма в работе «Религия разума по источникам иудаизма» (1919)⁴¹.

40. См.: SF, 58; ШД, 103; С, 134, 222; GS, 4:441–448 (“Acta Muriensa” [1918–1923]); GB, 3:304n.

41. См.: GB, 2:107 (1920). В своих опубликованных эссе Беньямин, как правило, ссылается на Когена с уважением. См., например: SW, 1:206, 249, 304, 348, и 2:797. В письме Шолему от 22 декабря 1924 г. Беньямин пишет о «критике системы Когена», которой они по-прежнему занимались (GB, 2:512). В те же годы в прологе к книге о *Trauerspiel* он критиковал логику происхождения, которую Коген выстраивал в «Критике чистого знания», за ее недостаточный историзм, попытавшись исправить этот изъян в своей концепции проис-

Беньямин, глубоко взволнованный недавно прочитанной им перепиской Ницше и Франца Овербека, за которой последовала новая книга К. А. Бернулли на эту тему, много говорил о Ницше, особенно о последних годах его жизни, и называл его «единственным, кто в XIX в. ... узрел исторический опыт» (SF, 60; ШД, 106)⁴². Кроме того, он много говорил о Гёте — с учетом того, как он сам вел себя в этом отношении, неудивительно, что объектом его интереса в первую очередь служила ключевая роль умолчаний в «автобиографической жизни» Гёте, а также о Штефане Георге и его окружении, так как этот поэт вдохновлял своим творчеством молодежное движение и Беньямин увлекался им еще долгие годы, несмотря на реакционную культурную политику его окружения. Также Беньямин читал вслух письма и стихотворения различных авторов, в том числе свои собственные. И он, и Шолем интересовались австрийским сатириком Карлом Краусом, часто встречая в Швейцарии его журнал *Die Fackel* («Факел») и знакомясь с другими его прозаическими произведениями. Через более чем 10 лет Краус стал героем одного из главных эссе Беньямина. В начале лета они вернулись к труду «О программе грядущей философии» Беньямина и к концепции еще не когнитивного опыта. Когда Шолем в качестве примера такого опыта упомянул «мантические дисциплины», Беньямин ответил: «Не может быть истинной философия, которая не включает и не может объяснить возможность гадания *на кофейной гуще*» (SF, 59; ШД, 104). Это внимание к дару предвидения указывает на все более решительный «антропологический» поворот в мышлении Беньямина, о котором свидетельствует и рано проснувшийся в нем интерес к снам и бодрствованию, а также к мифам. В Мури он излагал теорию исторической эволюции от домифической эпохи с призраками и демонами до эпохи откровения (ср. SW, 1:203, 206). «Уже тогда, — отмечает Шолем, имея в виду последующие размышления Беньямина о подражательной способности, — его занимали мысли о восприятии как о некоем чтении конфигураций поверхности: именно так-де первобытный человек воспринимал окружающий его мир и особенно небо...

хождения конкретного явления (см.: ОГТ, 46; ПНД, 28). Примерно за то же самое он критикует Когена в SW, 4:140 и GB, 2:215n. О творческом использовании Беньямином философии религии Когена идет речь в главе 4.

42. Беньямин включил одно из писем теолога Овербека к Ницше в работу «Люди Германии» (1936); см.: SW, 3:217–219. Книга Бернулли «Франц Овербек и Фридрих Ницше» была издана в 1918 г. Впоследствии Беньямин отзывался о ней как о «науке вразнос» (С, 288). См. также его «Рецензию на „Бахофена“ Бернулли» (SW, 1:426–427).

Возникновение созвездий как конфигураций на поверхности неба, утверждал Бенъямин, является началом чтения и письма» (SF, 61; ШД, 107). С этими рассуждениями о предконцептуальной сфере ассоциаций был связан и «глубокий интерес [Бенъямина] к поглощавшему [его] миру ребенка».

Шолем приводит письма от «Штефана», посылавшиеся этим летом «дяде Герхарду»: написанные почерком Доры, они были по крайней мере отчасти сочинены в соавторстве с ее мужем. Эти «письма от младенца Штефана» среди прочего свидетельствуют о все более бурном обороте, который принимал брак Бенъямина. Более того, непосредственной причиной некоторых ссор, сотрясавших семью, были визиты Шолема. В своем дневнике он описывает, как вскоре после его приезда в Швейцарию «Дора самым нежным образом убеждала меня расслабиться. Она знает, как сильно я ее люблю» (LY, 237). Шолем явно разрывался между своими симпатиями к обоим супругам. В то время как интеллектуальные узы между ним и Бенъямином защищали его от ощущавшихся им непонятных переходов от приязни к отчуждению и обратно, его любовь к Доре с трудом выносила те черты ее характера, в которых Шолем видел цинизм, истеричность и «буржуазную натуру». Она могла быть холодна как лед, иногда отказывалась подавать ему руку или говорить с ним, а однажды посреди разговора вскочила, назвала его грубияном и заявила, что больше не желает иметь с ним дела⁴³. «За обоюдными раз-

43. В начале июня 1918 г. Шолем поделился со своим дневником сомнениями в отношении Вальтера и Доры: «Бывают мгновения — да простят меня за это Господь и они оба, — когда и они, и в особенности их поведение кажется мне абсолютно омерзительным». Две недели спустя он сетует на то, что «они врут из эстетического удовольствия... Я лишь постепенно начинаю осознавать, как лживо они живут, в том числе по отношению ко мне. Он честен лишь в своей поэзии и философии». 23 июня Шолем задается вопросом: «А Вальтер?.. Думаю, что абсолютные отношения с ним можно наладить, лишь держась от него поодаль... В его присутствии мне приходится молчать почти обо всем, что приносит мне удовлетворение... Могу лишь сказать, что не знаю, где пребывает Вальтер, но он явно не со мной (это-то понятно), даже если может возникнуть впечатление обратного». То же самое продолжалось и осенью. 7 октября Шолем пишет: «Хуже всего призрак угрозы, что я полностью утрачу веру в чистоту Вальтера в повседневной жизни. Ему нередко явно не хватает того, что называют честностью... Что самое главное, между нами стоит Дора... Она говорит, что я ее не люблю. Но в этом отношении я должен сказать, что прежде я любил ее бесконечно, безгранично. А теперь солнце зашло. Почему? Потому что я не думал, что повседневная жизнь с ними выльется во все это... Они этого не знают, но я знаю, что в течение последних трех лет я всегда делал противоположное тому, что они мне советовали». Месяцем позже: «Я опять начинаю чувствовать невыразимую любовь к Доре... Теперь мы как *одна* семья: все мои сомнения отброшены» (LY, 240, 245, 252, 268, 273–274).

очарованиями и конфликтами, о которых уже говорилось выше, стояли более глубокая горечь и потеря иллюзий в тех представлениях, которые мы составили друг о друге прежде. Конфликты разрешались под маской писем, которыми обменивались между собой грудной младенец Штефан и я, — мы подкладывали их друг другу». Так, где-то через полтора месяца после прибытия Шолема «Штефан» писал, что если бы это зависело от него, то он «бы уж не был здесь, где так скверно и где от тебя столько напастей». И далее:

По-моему, ты очень мало знаешь о моем папе. Да и мало кто о нем что-нибудь знает. Когда я еще был на небе, ты написал ему одно письмо, и мы все подумали, что ты это знаешь (С, 102 (03.12.1917), где Шолем интерпретирует эссе Беньямина о Достоевском.) Но ты, пожалуй, совсем этого не знаешь. Я думаю, такой человек приходит в мир очень редко, и тогда людям надо быть к нему добрыми, все остальное он сделает сам. А ты все еще думаешь, дорогой дядя Герхардт, что надо сделать очень много... Однако я не хочу умничать, ведь ты знаешь все лучше меня: в том-то и беда (SF, 68–69; ШД, 118–119).

Это «письмо от Штефана» говорит об узах между Дорой и Беньямином не меньше, чем об их отношении к Шолему. На протяжении этого брака с его многочисленными трениями, на протяжении его медленного распада в 1920-е гг. и в 1930-х гг., когда Дора Беньямин содержала своего нищего мужа-изгнанника, твердым основанием связей между ними оставалось их общее убеждение в том, что гениальность Вальтера Беньямина необходимо защищать любой ценой.

Трения между мужем и женой становились все более очевидны Шолему. Однажды, получив приглашение на обед, Шолем прождал два часа, пока Дора и Вальтер кричали друг на друга наверху. Они не отзывались на неоднократный стук горничной, и Шолем ушел без обеда, глубоко задетый. Несколько дней спустя они пребывали в самом жизнерадостном настроении. Шолем упоминает частую демонстрацию супругами взаимной любви, использование ими шуточного языка, непонятного для непосвященных, и те черты их характера, которые как будто бы дополняли друг друга. Дора, иногда садившаяся за пианино и певшая для обоих мужчин, проявляла «большую страстность», оттенявшую свойственную Беньямину меланхоличность, которую время от времени смягчали «шутовские выходки».

В середине августа 1918 г. Беньяminy отправились из Мури на каникулы, которые они провели на Бриенцком озере, среди роскошных альпийских пейзажей. В середине октября вер-

нувшись в Берн к началу зимнего семестра, они поселились вместе с нанятой ими няней в четырехкомнатной квартире. Их посиделки с Шолемом стали не такими частыми. В начале ноября и Дора, и Беньямин переболели относительно легкой формой испанского гриппа, который тогда свирепствовал в Европе. К концу того же месяца их навестил писатель Вернер Крафт, с которым Беньямин познакомился в 1915 г., когда тот изучал в Берлине современные языки. У них не было других гостей из Германии, которые бы останавливались у них, если не считать крайне ожесточенного поэта Вольфа Хайнле, младшего брата покойного друга Беньямина, который прожил у них целый месяц в марте, а затем отбыл, рассорившись с хозяевами (однако Беньямин продолжал помогать Хайнле всем, что было в его силах, вплоть до безвременной смерти последнего в 1923 г.). В целом той осенью, пока Беньямин готовился к написанию своей диссертации и набирался «внутренней анонимности», требовавшейся ему для работы (см.: С, 125), супруги вели весьма уединенное существование. Похоже, что в тот момент их не задела ни крах Германии и Австро-Венгрии, ни революция в России; в письмах Беньямина внутреннее положение в Германии упоминается главным образом в связи с возможностью его участия в германских книжных аукционах⁴⁴.

В начале 1919 г. Беньямин познакомился с Хуго Баллем и его подругой (а впоследствии женой) Эмми Хеннингс, жившими в соседнем доме. Балль прежде был ключевой фигурой среди цюрихских дадаистов, а стихи Хеннингс относились ко второй волне экспрессионизма, приходящейся на период после 1910 г. Хотя впоследствии Беньямин редко встречался с Баллем и Хеннингс, этот продолжительный контакт с живыми представителями уже вошедшего в историю авангарда дал импульс его выступлениям в защиту авангардной эстетики и политики, продолжавшимся до конца его жизни. Балль, работавший в Берлине и Мюнхене журналистом, а также в театре, в 1915 г. эмигрировал в Швейцарию, где немного зарабатывал как пианист и либреттист в странствующем театре варьете. В феврале 1916 г. он внезапно вырвался на европейскую сцену вместе с Гансом Арпом, Софи Таубер, Тристаном Тцарой, Марселем Янко, Ричардом Гюльзенбеком и Эмми Хеннингс, основав в Цюрихе ка-

44. «Большевистская революция и крах Германии и Австрии, а также последовавшая за этим псевдореволюция впервые с тех пор, как мы договорились, что о войне у нас единое мнение, вновь ввели в наши разговоры политические темы» (SF, 78; ШД, 132). Далее Шолем говорит, что в России они симпатизировали главным образом Партии социалистов-революционеров, которая впоследствии была ликвидирована большевиками.

баре «Вольтер». Его исполнение поэмы *Karawane* («Караван») на сцене кабаре — он был облачен в картонную конструкцию, похожую на что-то среднее между стихарем и бронированной птицей, — видело лишь несколько зрителей, но оно стало определяющим моментом в авангардном искусстве XX в. После того как цюрихские дадаисты первого призыва разбрелись по всей Европе, Балль остался в Швейцарии и нашел работу в качестве автора, а потом и редактора *Freie Zeitung* — журнала, позиционировавшего себя в качестве «независимого органа демократической политики». Он выражал точку зрения немецких пацифистов и имел откровенно анархистский оттенок: в то время на Балля оказывало большое влияние учение Бакунина⁴⁵.

Весной Балль представил Беньямина своему «утопическому другу», философу Эрнсту Блоху (1885–1977), который жил в Интерлакене на Бриенцском озере⁴⁶. Они немедленно сошлись: в их интеллектуальном формировании было много общего. Блох родился в Южном Пфальце в ассимилировавшейся еврейской семье. В 1908 г., защитив в Мюнхене докторскую диссертацию об эпистемологии учителя Беньямина Генриха Риккерта, он перебрался в Берлин, где учился вместе с Георгом Зиммелем и стал его близким другом. На частном коллоквиуме Зиммеля для его коллег и наиболее успевающих студентов Блох познакомился с молодым венгерским философом Дьердем Лукачем, подружившись с ним на всю жизнь. Впоследствии Блох и Лукач наряду с Антонио Грамши и Карлом Коршем внесли решающий вклад в обновленную марксистскую философию. В 1913 г. Блох и Лукач входили в окружение Макса Вебера в Гейдельберге: Блох проявил себя в качестве самого эксцентричного члена этой серьезной группы. В 1917 г. вместе со своей первой женой скульптором Эльзой фон Штрицки Блох отправился в Швейцарию, получив заказ от журнала Вебера *Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik* («Архив социальных наук и социальной политики»). Там Блоху предстояло провести социологическое исследование сообщества германских пацифистов в изгнании. К моменту знакомства с Беньямином он уже издал свой первый крупный труд «Дух Утопии» (1918) — очень своеобразное сочетание марксистской теории с иудеохристианским мессианизмом. В ходе нескольких продолжительных бесед между ним и Беньямином установились тесные взаимовыгодные отношения. Блох описывал тогдашнего Беньямина как человека «несколь-

45. О дебатах с участием Беньямина, Балля и Эрнста Блоха см.: Kambas, "Ball, Bloch und Benjamin".

46. См.: Ball, *Die Flucht aus der Zeit*, 201–202.

ко причудливого и эксцентричного, но плодотворно эксцентричного. Он написал пока немного, но проводил долгие вечера в разговорах»⁴⁷. Для Беньямина особенно полезным было то, как Блох постоянно нападал на «мое отрицание *всех* современных политических течений» (С, 148). К концу 1919 г. Беньямин начал работу над длинной рецензией (утраченной) на «Дух Утопии» Блоха⁴⁸. Беньямин и Блох оставались друзьями и интеллектуальными товарищами до конца жизни Беньямина. Однако они были так близки по своим интеллектуальным интересам и даже предпосылкам, на которых основывались их работы, что их взаимоотношения с первого до последнего дня были окрашены борьбой за лидерство.

Беньямин набросал черновик своей диссертации «Концепция критики в немецком романтизме» к началу апреля 1919 г. Хотя он никогда бы не взялся за этот труд без «внешнего побуждения», как он объяснял полугодом ранее своему преданному корреспонденту швейцарского периода и старому другу Эрнсту Шену, это начинание не было «пустой тратой времени». «То, что я получил от него, — отмечал Беньямин, — то есть представление о взаимосвязи между истиной и историей... едва ли в явном виде войдет в диссертацию, но, надеюсь, будет распознано проницательным читателем» (С, 135–136). Разумеется, Беньямин уже давно проявлял интерес к немецкому романтизму. В «Диалоге о современной религиозности» 1912 г. его персонаж отмечает, «что мы по-прежнему живем в гуще открытий романтизма», а в статье под названием «Романтизм», опубликованной в следующем году в *Der Anfang*, Беньямин проводит связь между «новой молодежью» и подчеркнута трезвым «романтизмом истины» (EW, 70, 105). Аналогичным образом он указывал на значение романтизма Шену: «Современная концепция критики выросла из романтической концепции». Романтики создали «новую концепцию искусства, которая во многих отношениях является *нашей* концепцией искусства» (С, 136). Сообщая в апреле о завершении первого наброска диссертации, он пишет, что она «стала тем, чем и должна была стать: указателем на истинную природу романтизма, абсолютно не отраженную во вторичной литературе» (С, 139). Тем не менее ему казалось,

47. Из интервью 1974 г. Цит. по: Brodersen, *Walter Benjamin*, 100.

48. В письмах Шолему и Эрнсту Шену, написанных в сентябре 1919 г., Беньямин упоминает идею написать рецензию на *Geist der Utopie* и говорит, что сам Блох «уже превзошел» свою книгу, став «в десять раз лучше ее», и что ей «присущи громадные недостатки... [но] тем не менее это все равно единственная книга, которую в качестве подлинно своевременного и современного высказывания я могу измерить своей меркой» (С, 146–148).

что «запутанный и традиционный» академический подход, избранный им в данном случае, не позволил ему проникнуть в «сердце романтизма», то есть в его мессианство (этот вопрос затрагивался в примечании в начале диссертации). Но этот компромисс с академическим этикетом ни в коем случае не означал недостаточной проницательности изложения: «Структура данной работы (которая переходит от эпистемологии к теории искусства) предъявляет большие требования к читателю, так же как их отчасти предъявляет и ее язык» (С, 141). Подход, применявшийся им в диссертации, едва ли можно было назвать традиционным: напротив, искусное переплетение исторической, философской и литературной точек зрения предвещало «междисциплинарные» тенденции современной науки.

Диссертация Беньямина остается серьезным вкладом в современное понимание художественной критики немецкого романтизма; кроме того, она представляет собой решающий шаг в развитии его собственной концепции критики. В своей диссертации Беньямин выдвигает три тезиса, занимающих ключевое место в его последующих работах: идею творческого разрушения или, согласно терминологии Шлегеля, уничтожения культурного объекта как предпосылки всякой критики; предположение о том, что любая серьезная критика призвана воздать должное «истине», содержащейся в произведении; понимание критической работы как независимого произведения, в полной мере соизмеримого с «изначальным» произведением искусства. Диссертация Беньямина не переходит непосредственно к рассмотрению романтической критики, она обозначает путь, который прошла критика в связи с переосмыслением кантовского идеализма последующими философами, в первую очередь Иоганном Готлибом Фихте.

В философском плане диссертация Беньямина начинается с того, чем заканчивается работа «О программе грядущей философии», — с преодоления теорией познания антитезиса субъекта и объекта. Если пересмотр Канта привел к концепции опыта (играющей важную роль в последующих работах Беньямина), то организующей идеей его диссертации служит «рефлексия», понимаемая как формативный принцип искусства. Проблема познания, проблема структуры самоосознания, соответственно, помещаются в контекст посткантовской мысли, в первую очередь выдвинутой Фихте концепции рефлексии, на рубеже XVIII и XIX вв. подхваченной и пересмотренной Фридрихом Шлегелем, Новалисом и их кружком. Разумеется, то, что мышлению присуща рефлексивная связь с самим собой, признавалось уже давно. После того как на заре современной философии Декарт

вновь поднял на щит *cogito*, то есть после того, как основой любого познания был провозглашен мыслящий субъект, проблематика самоосознания была решительно переориентирована Кантом с выведенными им категориями восприятия, диктующими необходимость связи между воспринимающим субъектом и воспринимаемыми объектами. Немецкий романтизм развивает эту связь таким образом, что различие между субъектом и объектом практически исчезает.

Беньямин старательно отделяет этот проблемно-исторический контекст от литературно-исторического⁴⁹. Излагая эпистемологические основы романтической концепции критики (*Kunstkritik* — буквально «художественная критика»), он прибегает к «философской критике», как она именуется в книге о барочной драме. Снова встает вопрос о том, что понимать под «задачей критики». Как и в эссе о Гельдерлине, концепция задачи подразумевает историческую диалектику (которая еще не носит такого названия) между произведением искусства и критической работой; в диссертации Беньямина утверждается, что критика — в романтическом смысле — представляет собой и процесс, и детище классического произведения искусства. В небольшом эссе 1917 г. «„Идиот“ Достоевского» Беньямин выражается проще: «...всякое произведение искусства... основан[о] на идее, „обладает идеалом а priori, необходимостью существования“, как говорит Новалис, и задача критики заключается в том, чтобы вскрыть именно эту необходимость» (EW, 276; ПИ, 221)⁵⁰. В диссертации Беньямина (в которой приводится эта же цитата из Новалиса) из этого тезиса следует, что функцией критики является «постижение средства рефлексии, которую представляет собой искусство» (SW, 1:151). Иными словами, задача критики в том, чтобы осознать фактическую саморефлексию произведения искусства в настоящем. Согласно словам Новалиса, которые приводит Беньямин, читатель «продолжает собой автора». В центре этой теории восприятия лежит идея «постсуществования» произведения искусства — раскрытия художествен-

49. В параграфе 10 «Бытия и времени» (1927) Хайдеггер тоже отделяет историю литературы (*Literaturgeschichte*) от истории проблем (*Probleme-geschichte*), предполагая, что первая превращается в последнюю. См.: Heidegger, *Being and Time*, 30; Хайдеггер, *Бытие и время*, 10.

50. Ср. формулировку из фрагмента «Теория критики», относящегося к 1919–1920 гг.: «В произведениях искусства проявляется идеал философской проблемы... у каждого великого произведения [искусства] имеется отражение... в сфере философии» (SW, 1:218–219). И позже: «В структуру искусства могут проникнуть лишь те философские идеи, которые связаны со смыслом существования» (SW, 1:377 [1923]).

ных возможностей, в котором определенную роль обязательно играет критика.

Беньямин понимает восприятие с точки зрения воспринимаемого объекта. Ведь, согласно философии раннего романтизма с ее откровенно мистическими тонами, наблюдать предмет означает пробудить его самоосознание посредством своего рода «эксперимента», который Новалис называет «субъективным и объективным процессом». Любые знания о предмете приходят к нам одновременно с началом существования этого предмета⁵¹. Аргументация Беньямина выстраивается следующим образом. Рефлексия, определяемая Фихте как деятельность, «возвращающаяся в саму себя» и ограниченная этой своей собственной кривизной, представляет собой разновидность мышления. Не существует такой личности, которая в какой-то момент своего существования не начала бы рефлексировать; напротив, личность существует только в рефлексии. В этом состоит «парадокс сознания» — непосредственный, ниоткуда не вытекающий, необъяснимый (подобно существованию языка). В то время как у Фихте мыслящая личность обязательно предполагает наличие «я», которому противопоставляется «не я», в романтизме в силу самой его природы «все обладает личностью... все реально существующее мыслит». Это означает, как выразился Шлегель, что «в нас есть все, [и] мы составляем лишь часть самих себя». Таким образом, в раннеромантическом смысле рефлексия — это различие принципиально важно — является не только психологическим, но и онтологическим принципом. Беньямин ссылается на фрагмент из Новалиса, в котором все земное существование интерпретируется как «рефлексия духов в самих себе», в то время как человеческое существование в этой сфере частично представляет собой «разрушение и „прорыв через эту примитивную рефлексия“». Таким образом, существует бесконечно много разных уровней рефлексии — от примитивной рефлексии вещей до более или менее возвышенной рефлексии людей. В живой рефлексии вселенной любое конкретное существо играет роль «центра рефлексии» (*Zentrum der Reflexion*). В зависимости от уровня этой силы рефлексии, представляющей собой форми-

51. Во фрагменте «По поводу отдельных дисциплин и философии» (1923) Беньямин приводит следующую формулировку: «Наш взгляд должен упасть на предмет таким образом, чтобы пробудить в нем нечто, что стремится удовлетворить намерение... Вдумчивый наблюдатель видит, как что-то бросается к нему со стороны предмета, проникает в него и овладевает им... Этот язык истины, лишенный намерения (то есть самого предмета), способен повелевать... Он возникает в результате погружения предмета в себя, спроецированного взглядом внешнего наблюдателя (SW, 1:404–405).

рующую и преобразующую силу, она может включать в состав знания о себе самой другие существа, другие центры рефлексии (*Reflexionszentren*). Это верно как для «так называемых естественных вещей», так и для личностей, которые посредством более интенсивной рефлексии способны «проецировать» свои знания о себе самих на другие существа. Таким образом непрерывно возникают новые центры рефлексии, подобно циклонам в атмосфере.

Следовательно, романтическая концепция рефлексии, как определяет ее Шлегель в своем знаменитом 116-м Атенейском фрагменте, является «прогрессивной» и «всеобщей». Это следует понимать в двух смыслах. Во-первых, рефлексия — это последовательное поглощение собой едва ли не всего, что есть на свете. И во-вторых, ей свойственно порождать новые и все более сложные центры рефлексии. Соответственно, романтики интерпретируют бесконечность рефлексии не как бесконечный и пустой регресс — нечто линейное, а как бессчетное количество взаимосвязей. Именно так они понимают абсолют: как многогранную взаимосвязанность реальных явлений с присущей им разной степенью раскрытия рефлексии и с их «опосредованным» (не сущностным) характером. «Рефлексия представляет собой абсолют, причем представляет его собой как среда... [в] среде рефлексии... предмет и познающее существо сливаются друг с другом... Каждый момент познания является имманентной взаимосвязью в абсолюте»⁵².

Согласно Бенъямину с его радикальным философским прочтением и ревизией Шлегеля и Новалиса, именно искусство становится важнейшей средой рефлексии: «Рефлексия в отсутствие „я“ — это рефлексия в абсолюте искусства». Он отмечает, что, с точки зрения романтиков, искусство особенно плодотворно выявляет рефлективную среду; рефлексия представляет собой «изначальный и конструктивный фактор [*das Ursprüngliche und Aufbauende*] в искусстве, как и во всем духовном». Эстетическая форма запечатлевает в себе рефлексия, а также несет в себе семя дальнейшей рефлексии, то есть критики, — и критическая деятельность раннего романтизма представляла собой венец творения.

52. Ср. определение опыта как «систематической спецификации познания» в работе «О программе грядущей философии». Бенъямин указывает, что Шлегель не пользовался словом «среда». Сам он прибегает к этому термину в двух своих работах данного периода: в эссе 1916 г. о языке, где этим термином обозначается «бесконечность», присущая языку, который не ограничен ничем внешним по отношению к «я», но сообщает о «я» самому «я», и в «Кентавре» (1917), где среда связывается с функциональным единством противоположностей (см. сноску 30).

Критика становится здесь завершающей точкой в произведении искусства и даже его «абсолютизацией». Беньямин вкладывает в это соображение разные смыслы, неизменно окрашенные типично романтической «химической» валентностью. С одной стороны, акт критики — деяние «разрушительное». Оно атакует ту форму, в которой подается произведение и в которой заключена рефлексия, и, изолируя ее элементы, «деконструирует» ее. (В эссе о Гельдерлине говорится об «ослаблении» функциональной связности стихотворения.) С другой стороны, оно разрушает, чтобы строить. Критика раскрывает заключенную в произведении рефлексию, выявляет «тайные тенденции» произведения и отыскивает в частностях «моменты общего». Абсолютизировать рефлексию, содержащуюся в художественных формах, означает «посредством критики высвободить сконцентрированный потенциал [*Prägnanz*] и многогранность этих форм... [выявляя] их взаимосвязанность в качестве отдельных моментов среды. Таким образом, идея искусства как среды впервые создает возможность для недогматического или свободного формализма» (SW, 1:158).

При подобной рефлексии форм конкретная форма произведения открывает путь к абсолютному «континууму художественных форм», в котором происходит взаимопроникновение форм всех произведений, вследствие чего, например, все античные стихотворения могут стать для романтиков одним стихотворением. Согласно словам Шлегеля из 116-го Атенейского фрагмента, приведенным Беньямином, романтическая поэзия стремится к единству жанров: «Она охватывает все... от величайших систем искусства, скрывающих в себе все новые и новые системы, до вздоха, до поцелуя, выдыхаемого задумчивым ребенком в безыскусной песне». Отдельное произведение как таковое растворяется в откровении «идеи искусства», парадоксальным образом демонстрирующем «неразрушимость произведения». Эстетическая форма в своей критическо-рефлексивной сути диктует «диалектику самоограничения и саморасширения», которая, в свою очередь, задает «диалектику единства и бесконечности в идее».

Иными словами, в той степени, в какой произведение может быть «критикуемым» (выбор этого слова, напоминая о «сообщаемом», предвещает «переводимое»), оно размножается через критику, порождаемую им⁵³. Как и в эссе о Гельдерлине, Беньямин понимает здесь критику как выявление связи индиви-

53. См.: Weber, *Benjamin's—abilities*.

дуального произведения с целым, имеется ли в виду образование, религия, история или искусство — любое из этих имен годится для океанского абсолюта романтизма. Согласно интерпретации Бенямина, произведение искусства, уподобленное тому, что Шлегель называет «неизмеримым целым», начинает свое постсуществование (*Überleben*). Это обновление и преобразование «существования» произведения происходит с помощью читателей (поэтов/переводчиков/критиков), «сменяющих друг друга» и совместно воплощающих различные этапы непрерывной рефлексии произведения, то есть его исторического восприятия и одобрения, ибо знакомство с произведением искусства неизбежно включает его оценку. Если не идея эстетического абсолюта как таковая, то идея о постсуществовании произведений приобретает принципиальное значение в последующих работах Бенямина — от «Задачи переводчика» и «Эпистемологического предисловия» к книге о барочной драме до проекта «Пассажи» и различных отпочковавшихся от него текстов⁵⁴. В то же время идея чтения как интимной «химической реакции», проходящей в ткани отдельного произведения, предвещает теорию критической «алхимии», обрисованную в написанном в 1921–1922 гг. эссе «„Избирательное сродство“ Гёте», где ставится вопрос о философском опыте «истины» в «реальном содержании». В литературной практике Бенямина, как и в практике раннего романтизма, критика никогда не носила «вторичного» характера по сравнению с критикуемым произведением.

Беньямин снабдил свою диссертацию «эзотерическим диалогом», в котором противопоставил романтическую идею формы и критикуемости произведений искусств представлениям Гёте об «идеальном содержании» и его убеждению в некритикуемости произведения. По сути, выявление этого контраста закладывает основу для концепции «истины», содержащейся в произведении искусства. Если романтическая идея искусства подразумевает непрерывность взаимосвязанных *форм*, то для Гёте идеалом является наличие обособленных предпочтительных *смыслов*: произведение может быть понято лишь в «ограниченном множестве чистых смыслов, на которые оно раскладывается». Этот «ограниченный, гармоничный дисконтинуум чистых смыслов» предстает перед нами как вместили-

54. О том, что Беньямин называл «постсуществованием», «выживанием» или «непрерывной жизнью» произведения искусства, см.: SW, 1:164. См. также: SW, 1:177–178, 254–256; 2:408, 410, 415, 464; OGT, 47; ПНД, 29–30; AP, 460 (№2, 3). Беньямин поднимает тему постсуществования (*Fortleben*) писем в письме Эрнсту Шену от 19 сентября 1919 г. (С, 149).

ще «истинной природы», которую не следует отождествлять непосредственно с «видимой, зримой природой мира». Речь идет об «истинной, интуитивной, прафеноменальной природе», которая проявляется, точнее говоря, «проявляется наподобие» или по типу образа (*abbildhaft sichtbar*), *только* в искусстве, оставаясь скрытой в природе мира. Такой анализ предвещает все пагубные последствия беньяминовской критики — критики, призванной ускорить распад произведений искусства на «тела», рудники для интуитивного постижения истины, доступной исключительно в произведении, рассматриваемом как предпочтительная когнитивная среда. Этот эпилог, написанный для «тех, с кем мне бы хотелось поделиться [диссертацией] как *моей* работой» (С, 141), не был предъявлен бернскому факультету, хотя Беньямин и включил его в опубликованный текст диссертации. Он был издан в 1920 г. и остался незамеченным; нераспроданные экземпляры книги погибли в октябре 1923 г. во время пожара в бернском издательстве.

Закончив работу над диссертацией, Беньямин до конца весны готовился к докторским экзаменам по философии, психологии и современной немецкой литературе. 20 июня 1919 г. Шолем отмечал в своем дневнике: «Отношение Вальтера к его экзамену просто невыносимо: он живет в беспутной и неприличной тревоге». 27 июня Шолем фиксирует результат: «Сегодня днем Вальтер сдал на „отлично“... Вечером мы собрались. Дора, расслабившись, была счастлива как ребенок... Вальтер прошел все три испытания — диссертацию, письменный экзамен и устный экзамен — с блеском. По его словам, все выказывали чрезвычайное дружелюбие и даже восторг. Что будет дальше, никто не знает. Вальтер и Дора еще не обсуждали со мной свои планы на зиму... они колеблются между тем, чтобы зарабатывать на жизнь каким угодно способом, и частными научными занятиями» (LY, 304, 306). Тем летом в течение нескольких недель Беньямин старался сделать так, чтобы вести об окончании им университета не дошли до его родителей. Целью этого «напускания тумана», очевидно, являлось продолжение финансовой поддержки с их стороны; Беньямин дошел до того, что просил Шолема, чтобы тот не делился этой новостью со своей матерью. Но, несмотря на все усилия, родители Беньямина узнали, что он защитился, и в августе неожиданно нагрянули к молодой чете, следствием чего стала ожесточенная перепалка между Беньямином и его отцом. Отношения между отцом и сыном временно улучшились осенью, когда для Беньямина в Швейцарии вроде бы открылись перспективы хабилитации, но в итоге кризис в его отношениях с родителями оказался

непреодолимым. Дело было не только в идеологических разногласиях с ними и с тем классом, выходцем из которого он был, но и в его безжалостной решимости следовать своей собственной путеводной звезде. С этой решимостью, очевидно, было связано и убеждение в том, что его родители обязаны содержать его и его семью столько, сколько будет нужно.

1 июля 1919 г. Беньямин покинул хворавших Дору и Штефана и на два месяца отправился в отпуск в Изельтвальд на Бриенцском озере, где он смог вернуться к переводам из Бодлера и знакомству с современной французской литературой. Среди прочего он прочел «Тесные врата» Андре Жида (осенью написав неопубликованную рецензию на этот роман)⁵⁵, гениальную книгу Бодлера об опьянении опиумом и гашишем «Искусственный рай» (в отношении которой он отмечал, предвосхищая проведенные через несколько лет свои собственные опыты с этими наркотиками, что этот опыт необходимо повторить независимо [С, 148]), и произведения Шарля Пегги («невероятно родственная душа», в которой он нашел «безмерную, но обузданную меланхолию» [С, 147]). Согласно Шолему, Беньямин примерно в это время читал также «Размышления о насилии» Жоржа Сореля и «Бросок игральные костей» Малларме⁵⁶. В письме Эрнсту Шену от 24 июля он рассказывает, как ему удалось погрузиться в современное французское интеллектуальное движение, не забывая о своем положении постороннего наблюдателя: «В прочитанных мной вещах для меня находятся точки соприкосновения с различными течениями „настоящего“, которых я просто не вижу ни в одной немецкой вещи» (С, 144). Прошло несколько лет, прежде чем Беньямин сумел последовать этому первому неуверенному импульсу в сторону Франции. Начиная с 1925 г. значительная часть его литературной критики будет посвящена французской литературе: в настоящее время репутация Беньямина как критика в немалой степени обязана его новаторским работам о Прусте, сюрреалистах и Бодлере.

Беньямину не мешали писать ни беспокойство за здоровье жены и сына, ни разногласия с родителями, ни неуверенность в отношении будущего. В Изельтвальде он сочинил небольшое эссе «Аналогия и родство», которое показал Шолему в конце августа, а несколько недель спустя в Лугано начерно написал предназначенную для печати статью «Судьба и характер», которую считал одной из своих лучших работ на тот момент. В этом

55. Включена в GS, 2:615–617.

56. Ср. GB, 2:101, 127, где содержатся указания на то, что Беньямин прочел книгу Сореля лишь в начале 1921 г.

эссе (впервые изданном в 1921 г.) он стремится защитить концепции судьбы и характера от субъективизма традиционной религии и этики и отдать их во власть человеческой «анонимности». Судьба и характер представляют собой своего рода контекст, и их можно постигнуть лишь через знаки, а не непосредственно. Судьба определяется здесь не в смысле характера, как обычно, а как «цепь провинностей живущего», затрагивающая не человека как субъекта, а лишь «жизнь его как таковую» (SW, 1:204; Озарения, 42). Концепция судьбы остается в силе применительно и к греческой трагедии, и к намерениям гадалки. Аналогичным образом характер определяется не в смысле «моральной сущности», а как индивидуализирующий свет «на бесцветном (анонимном) небосклоне человека». Беньямин ссылается на комедию, в частности мольеровскую, как на сферу, в которой характер выводится не ради нравственной оценки, а как «солнце индивидуума» — сияние какой-либо черты, рядом с которой меркнут все прочие. Кроме того, Беньямин упоминает и средневековое учение о темпераментах с его небольшим набором неморальных категорий как намек на постижение природы человеческого характера, ведь в том, что касается и судьбы, и характера, главным является их отношение к «сфере природы».

В начале ноября 1919 г. Беньямин покинул Берн, отправившись сначала в Вену, чтобы навестить родителей жены, а затем в соседний Брайтенштайн, где провел три с половиной месяца в санатории, принадлежавшем тетке Доры. Перед отъездом изерна он нанес визит своему научному руководителю Рихарду Гербертцу, который, к удивлению Беньямина, предложил ему поступить в Берне на постдокторантуру по философии с дальнейшей перспективой получить место адъюнкт-лектора (см.: GB, 2:51). Об *этом* Беньямин немедленно сообщил своим родителям, обрадовав их; его отец посылал ему письма, полные советов, но сразу же прекратил оказывать какую-либо финансовую поддержку. Письма самого Беньямина, написанные той зимой, свидетельствуют о его решимости получить следующую степень, которая дала бы ему право преподавать в швейцарских и германских университетах, хотя в то же время он отмечает и готовность по примеру других неимущих австрийских евреев эмигрировать в Палестину (см.: С, 150). Неизвестно, как бы отнеслась к такому шагу Дора, порвавшая с сионистским окружением, в котором она выросла⁵⁷. В Брайтенштайне у них была

57. Ее отец Леон Кельнер был близким сотрудником основателя сионизма Теодора Герцля, а ее брат Виктор впоследствии участвовал в основании деревни в Палестине.

теплая комната и няня для Штефана, и Бенъямин смог дописать «Судьбу и характер» и приступить к рецензии на «Дух Утопии» Блоха, вместе с тем делая заметки для возможной хабилюационной диссертации о связи слова с концепцией (см.: С, 156). Кроме того, он читал новую пьесу Поля Клоделя и «невероятно красивый» роман Джона Голсуорси «Патриций». В своем австрийском пристанище они пробыли до середины февраля, когда стало ясно, что при тогдашнем уровне инфляции Дора не сможет найти подходящую работу, которая бы позволила им вернуться в Швейцарию. Супругам был открыт путь лишь в Германию, истерзанную войной и политическими неурядицами.

Глава 4

«Избирательное сродство»: Берлин и Гейдельберг. 1920–1922

ПОСЛЕ возвращения из Швейцарии Бенъямин вел внешнюю и внутреннюю борьбу за то, чтобы как-то обеспечить себе доход, который позволил бы ему содержать семью и в то же время продолжить свою творческую деятельность, которую он все чаще определял как разновидность критики, построенной по образцу, заданному ранними немецкими романтиками. Его тяготило положение, в котором он оказался: в свои 28 лет он не имел ни ближайших перспектив, ни серьезных долгосрочных карьерных возможностей. Оставаясь в Берлине, в течение последующих четырех лет он решительно, хотя и спорадически, пытался наладить связи с профессорами — сначала в Гейдельберге, потом во Франкфурте, — которые могли бы обеспечить ему хабилизацию и место преподавателя. Эти годы ознаменовались для него профессиональным провалом и личными невзгодами — постепенным распадом его брака и постоянно возникавшими трениями даже с ближайшими друзьями, но именно в эти годы из-под пера Бенъямина вышли две наиболее значимые критические работы XX в.: его эссе о романе Гёте «Избирательное сродство» и монография «Происхождение немецкой барочной драмы».

Накануне отъезда Бенъямина из Берна его научный руководитель Рихард Гербертц упомянул возможность хабилизации и получения должности адъюнкт-лектора при университете. Это обрадовало Бенъямина, но он никогда не видел в этой возможности чего-то большего помимо потенциального трамплина к академической карьере в Германии. Предложение Гербертца ознаменовало начало четырехлетнего периода, в течение которого Бенъямин то энергично, то с характерной для него нерешительностью пытался найти для себя место в германской университетской системе. Предпосылкой к получению какой-либо постоянной должности при университете служило написание так называемой *Habilitationsschrift* — «второй диссертации», требовавшейся от всех германских профессоров. Первый

этап этого процесса, который Бенъямин называл «швейцарской историей», пришелся на 1920–1921 гг. В январе 1920 г. он писал Шолему, что в отношении хабилюационной диссертации у него «имеется лишь намерение разрабатывать конкретную тему, то есть исследовательский проект, попадающий в сферу более широкого вопроса о взаимоотношениях между словом и концепцией (языком и логосом)» (С, 156). Ряд неопубликованных фрагментов, относящихся к этому периоду, свидетельствует о предварительной концептуальной проработке проблем в области философии языка, очерчивающей круг исследований такого рода, которые могли бы обеспечить Бенъямину место на философском факультете. В течение года изучение лингвистических вопросов заставило его заняться схоластической философией, причем особое внимание он уделял шотландскому философу XIII в. Джону Дунсу Скоту¹. В связи с этим Бенъямин прочел хабилюационную диссертацию своего современника Мартина Хайдеггера «Учение о категориях и смысле у Дунса Скотта», поданную на философский факультет Фрайбургского университета в 1915 г. Первая реакция Бенъямина была уничтожительной: «Не могу поверить, чтобы кто-то мог претендовать на место при университете на основании такой работы. Для ее выполнения не требуется *ничего*, кроме огромного прилежания и знания схоластической латыни, и, несмотря на всю свою красивую философскую обертку, в принципе это всего лишь хороший перевод. Жалкое пресмыкательство автора у ног Риккерт и Гуссерля не делает чтение этой работы более приятным» (С, 168). Но за этими словами скрывалась не столько откровенная оценка работы Хайдеггера, сколько вызов на поединок. Ближе к концу года, по крайней мере отчасти из-за превентивного удара, нанесенного Хайдеггером (см.: С, 172), Бенъямин перестанет заниматься средневековой философией.

Импульсом для работы над хабилюационной диссертацией с самого начала служили трения, более чем характерные для Бенъямина с его складом ума, — трения, составлявшие то, что он впоследствии называл «противоречивым и текучим целым» его мысли. Обращение к такой теме, как философия языка, потребовало от него также углубленного изучения эпистемологии, теологии, истории и эстетики. То же самое наблюдалось и в период, завершившийся для Бенъямина сочинением бернской диссертации, то есть в 1916–1919 гг.: в диссертации о романтической критике и особенно в тех фрагментах и неопубли-

1. См. фрагмент «Согласно теории Дунса Скота...» в SW, 1:228.

кованных эссе, которые стали этапами работы над ней, общие утверждения в отношении эстетических форм включают в себя идеи о языке, теологии и эпистемологии. В 1920–1924 гг. Беньямин в своем творчестве следовал тому же образцу, достигнув убедительного сочетания этих интересов в своей книге «Происхождение немецкой барочной драмы», которую в 1925 г. подал в качестве хабилитационной диссертации во Франкфуртский университет. Уже в феврале 1920 г., в момент глубокого погружения в лингвистику, Беньямин мог написать Эрнсту Шену о необходимости выйти за пределы традиционных дисциплинарных границ и радикально расширить принцип литературного жанра: «Меня очень интересует принцип, лежащий в основе великих произведений литературной критики: вся область между искусством и собственно философией, под которой я имею в виду по крайней мере фактически системное мышление. Более того, в мире должен существовать абсолютно фундаментальный [*ursprünglich*] принцип литературного жанра, которому подчиняются такие великие произведения, как диалог Петрарки о презрении к миру, афоризмы Ницше или произведения Пеги... Я начинаю осознавать принципиальную правомерность моих собственных работ и ценность содержащейся в них критики. Художественная критика, основами которой я занимаюсь в настоящее время, — всего лишь одна часть этой широкой области» (С, 157–158). Такая концепция философски ориентированной критики произведений искусства или скорее философия, извлекаемая из интерпретации литературных произведений, основывается на очень специфическом понимании произведения искусства как вместилища основных истин. Эта идея о произведении искусства как когнитивной среде, а соответственно, и предпочтительной площадке для философских исследований, рассматривается во фрагменте «Истина и истины / Знания и элементы знаний», написанном, вероятно, в начале 1921 г.: «Однако истины не поддаются ни систематическому, ни концептуальному выражению — и тем более их невозможно выразить посредством познания в ходе суждений — только в искусстве. Истины следует искать в произведениях искусства... Эти абсолютные истины — не элементы, а подлинные части, куски или фрагменты истины... Знания и истина никогда не идентичны друг другу; не существует истинных знаний и познанной истины. Тем не менее без некоторых знаний не обойтись при изложении [*Darstellung*] истины» (SW, 1:278–279). Если в диссертации Беньямина признавалась построенная Фридрихом Шлегелем практическая критика, основанная на философии, то из его размышлений начала 1920-х гг. видно, что он шел к своим соб-

ственным теориям в этой сфере — теориям, которые найдут убедительное выражение в эссе «„Избирательное сродство“ Гёте» (1921–1922) и книге о барочной драме (1923–1925). Как показали последующие годы, ни один философский факультет в Германии не был готов признавать подобные работы в качестве вклада в свою дисциплину. Но Беньямин прекрасно понимал, что одной лишь хабилитационной диссертации недостаточно для того, чтобы войти в замкнутый мир немецких университетов. Закрепиться в этой системе, основанной на покровительстве, можно было, лишь наладив прочные связи с университетской профессурой.

В конце марта 1920 г., после пятимесячного пребывания в Австрии, еще раз недолго погостив у родителей Доры в Вене, Беньямины после почти трехлетнего отсутствия прибыли в Берлин. Они вернулись в город, в котором сильно ощущалась экономическая и политическая нестабильность. Прошло чуть больше года с тех пор, как левая коалиция независимых социалистов и «спартаковцев» в январе 1919 г. захватила большую часть города, вынудив правительство бежать в провинциальный саксонский городок Веймар; в марте за этими событиями последовало вооруженное восстание, организованное только что созданной Коммунистической партией Германии. В течение весны это и аналогичные восстания в Мюнхене, Дрездене, Лейпциге и Брауншвейге были потоплены в крови бесчинствующими наемными отрядами правой ориентации, известными как «фрайкор». Подписание Версальского договора 28 июня 1919 г. и состоявшееся 11 августа провозглашение Конституции новой Веймарской республики не обеспечили стабильность, но создали для нее юридические рамки. Согласно этому договору, на Германию налагались непосильные репарации, которые нередко называются главной причиной экономического кризиса, бушевавшего в республике в первые пять лет ее существования. В марте и апреле 1920 г. по Германии снова прокатилась волна вооруженных восстаний; 13 марта правые радикалы попытались свергнуть берлинское правительство. С этим Капповским путчем было покончено без пролития крови благодаря твердости, проявленной правительством и, как ни странно, поддержке, оказанной ему некоторыми военными, и к 17 марта порядок был восстановлен. Однако 14 марта рабочие-коммунисты захватили значительную часть Рура — индустриального сердца Германии; через три недели Рурское восстание было жестоко подавлено отрядами фрайкоровцев, причем при этом погибло более 3 тыс. человек.

В эти первые хаотические годы Веймарской республики материальное положение родителей Беньямина, которые

как представители крупной буржуазии (*Großbürgertum*) почти до самого конца войны не знали финансовых затруднений, быстро ухудшалось. Поэтому отец Беньямина выразил готовность оказывать сыну поддержку в его научной карьере *лишь* в том случае, если младшие Беньямины поселятся в родительском доме. Пребывание у родителей было отмечено непрерывными ссорами; впоследствии Беньямин отзывался об этом времени как о «долгой, ужасной депрессивной поре» (ГВ, 2:108). Родители требовали от него, чтобы он выбрал занятие, позволяющее зарабатывать на жизнь, и упорно отказывали сыну в финансовой поддержке, которая бы дала ему возможность жить отдельно и продолжить свои занятия и литературное творчество, руководствуясь собственными желаниями. Беньямин столь же настойчиво отказывался уступать родительским требованиям, и молодая семья вскоре была вынуждена задуматься об иных вариантах. Шолема просили узнать, во сколько обойдется проживание в Баварии. Дора подумывала найти для себя работу в Швейцарии и копить швейцарские франки с тем, чтобы защититься от продолжавшейся инфляции, которая обесценивала германскую марку; даже сам Беньямин активно пытался устроиться редактором в каком-нибудь крупном издательстве.

В мае 1920 г. Беньямин и его родители «окончательно рассорились». Его «отпустили» из родительского дома, как он объяснял Шолему в письме от 26 мая; «иными словами, я ушел, прежде чем меня выгнали». По этой причине «почти никогда в жизни все не было так скверно, как сейчас». Он сообщал Шолему, что больше не мог терпеть «шокирующего обращения», которому подвергалась Дора, и «злостного легкомыслия», с которым родители не желали обсуждать вопрос о его карьерных перспективах, хотя он и не был готов к внезапному разрыву связей с родителями «после многих лет относительного спокойствия», в течение которых эти связи как будто бы выдержали «самые суровые испытания». При отъезде ему было единовременно выплачено 30 тыс. марок в счет его наследства и еще 10 тыс. марок для обзаведения собственным жильем (до войны эти 40 тыс. марок составляли бы около 10 тыс. марок; в мае 1920 г. вследствие стремительной инфляции, обесценившей германскую валюту, эта сумма была эквивалентна менее чем 700 долларам) (см.: ГВ, 2:87; С, 163)². Беньямин и Дора, которым этих денег не хватало для жизни, приняли предло-

2. Это и последующие сопоставления валют сделаны на основе базы данных Гарольда Маркузе из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре: <http://www.history.ucsb.edu/faculty/marcuse/projects/currency.htm>.

жение своего друга Эриха Гуткинда и поселились у него в Берлине-Грюнау, на окраине города. Здесь, в маленьком живописном доме, построенном великим архитектором-модернистом Бруно Таутом, супруги сделали первые робкие попытки жить за счет собственных усилий. Дора, как и в последующие годы, взяла на себя основную ответственность за семейный доход, рассматривая свой вклад как практическую основу для интеллектуальной карьеры мужа, в которую пламенно верила. Так, она устроилась переводчицей с английского в телеграфную контору, в то время как Бенъямин подрабатывал случайными графологическими анализами.

В Эрихе Гуткинде (1877–1965) они нашли не только друга, но и родственную душу. И Бенъямин, и Гуткинд выросли в процветающих семьях берлинских евреев. Оба с ранних лет воспитывались в духе идеалистической философии, оба стремились вести жизнь независимых литераторов, оба в своих начинаниях остались без полноценной родительской поддержки, и оба глубоко погрузились в эзотерическое творчество. Шолем описывает Гуткинда как «душу, полностью настроенную на мистику и вникавшую буквально во все сферы знаний с тем, чтобы найти их тайное ядро»³. Первая книга Гуткинда *Siderische Geburt: Seraphische Wanderung vom Tode der Welt zur Taufe der Tat* («Сидерическое рождение: серафические странствия от смерти мира до крещения деяния») была издана ограниченным тиражом в 1910 г., и Гуткинд разослал ее десяткам германских интеллектуалов. Этот короткий текст, представляющий собой экзотическую прозу в духе Ницше, сочетающую в себе утопические и мистические элементы, повлиял если не на идеи, то на настроения художников и поэтов раннего экспрессионизма, включая Василия Кандинского, Габриэлу Мюнтер, Якоба ван Ходдуса и Теодора Даублера⁴. Войдя в мир раннего германского экспрессионизма, Гуткинд во время войны получил доступ в видные интеллектуальные круги. Летом 1914 г. он со своим другом голландским психологом Фредериком ван Эденом основал одну из важнейших интеллектуальных ассоциаций того времени — кружок «Форте». Эта группа, названная так по имени тосканского приморского городка Форте-деи-Марми, где должны были проходить ее встречи, первоначально замышлялась для интеллектуального обмена между единомышленниками-браминами, но вскоре она приобрела черты утопическо-

3. Scholem, *From Berlin to Jerusalem*, 80.

4. См.: Gutkind, *The Body of God*. Гуткинд переделал свое имя на английский лад, в 1933 г. эмигрировав в Америку.

го социализма и определенный эзотерический налет. Шолем, узнавший об этом кружке от Гуткинда и Мартина Бубера, называл стоявшую за ним идею «почти невероятной... кучка людей основала сообщество с тем, чтобы в течение некоего времени предаваться интеллектуальной и духовной деятельности, ведущейся с целью неограниченного участия в творческом обмене идеями; при этом они имели надежду сорвать мир с его петель (выражаясь эзотерически, но недвусмысленно)»⁵. Ядро этой группы составляли Гуткинд, ван Эден, Бубер, анархист и социалист Густав Ландауэр и консервативный христианский мыслитель Флоренс Христиан Ранг. Кружок «Форте» вел агрессивную издательскую кампанию, и его идеи вскоре привлекли к нему внимание таких интеллектуалов, как Кандинский, Эптон Синклер, Вальтер Ратенау, Райнер Мария Рильке и Ромен Роллан, в идеационном плане начавших ориентироваться на программу «Форте»⁶. Беньямин был знаком с некоторыми членами кружка помимо Гуткинда: с синологом Анри Борелем и, разумеется, самим Бубером.

Проведя много лет вдали от Берлина, Беньямины медленно восстанавливали контакты с другими старыми друзьями и начали заводить новые связи. Хотя в годы войны Беньямин порвал с большинством своих друзей по школе и из университетских кругов Берлина, Фрайбурга и Мюнхена, он по-прежнему виделся с Эрнстом Шеном и Вернером Крафтом. Кроме того, усилия Беньямина по изданию и распространению своей бернской диссертации привели к его знакомству с братом Шолема Рейнгольдом и его отцом, печатником. Кроме того, он пытался восстановить связи с Берлинским университетом, встретившись с лингвистом и адъюнкт-профессором Эрнстом Леви, чьи лекциями он восхищался в 1914–1915 гг. Примерно в конце весны Беньямин познакомился с другом Гуткинда по кружку «Форте» консервативным интеллектуалом Флоренсом Христианом Рангом, в чьем доме в Браунфельсе (Гессен) впоследствии он часто гостил во время поездок между Берлином и Франкфуртом. В это же время он встретился и с писателем Шмуэлем Йосефом Агноном в доме Лео Штрауса. Агنون, в 1966 г. получивший Нобелевскую премию по литературе, в 1912 г. приехал в Берлин из Палестины. Впоследствии его произведения временами сильно занимали мысли Беньямина и неоднократно фигурировали в его дискуссиях с Шолемом.

5. Scholem, *From Berlin to Jerusalem*, 81.

6. Заслуживающее доверия описание кружка «Форте» и его публикаций см. в: Faber and Holste, eds., *Potsdamer Forte-Kreis*.

Чтение Беньямина той весной в основном составляли романы. Наряду с невероятным количеством детективных романов он прочел «Пармскую обитель» Стендаля, «Мартина Заландера» Готфрида Келлера, «Сентиментальное путешествие» Лоренса Стерна и «Левану» Жана Поля — книгу, впоследствии вдохновившую его на ряд замечаний о воспитании детей. Кроме того, он стремился более тщательно изучить экспрессионистскую теорию, чему, несомненно, способствовали беседы с Эрихом Гуткингом, который мог опираться на личный опыт, рассказывая о том, как в Мюнхене вокруг Кандинского сложилась группа «Синий всадник». Из того, что Беньямин читал в этой области, на него произвело впечатление лишь «О духовном в искусстве» Кандинского: он называл эту работу, «возможно, единственной книгой об экспрессионизме, свободной от лицемерия» (С, 156). Даже среди семейных ссор, финансовых забот и вызванной этим депрессии, навалившейся на него в первые месяцы 1920 г., Беньямин продолжал писать и строить планы дальнейшего творчества. Летом он ускорил работу над переводами из Бодлера и начал поиски издателя. Кроме того, по мере чтения Шарля Пеги, ученика Бергсона, убежденного дрейфусара и патриотически настроенного социалиста, у него родился замысел перевести эссе Пеги и написать к ним предисловие. Беньямин пытался заинтересовать этим проектом таких видных издателей, как Самуэль Фишер и Курт Вольф, но не добился успеха. Впрочем, из печати вышла его собственная диссертация. В августе отец Шолема изготовил экземпляры, требовавшиеся для университета, а бернское издательство *Francke* выпустило диссертацию в виде книги.

Несмотря на то что содержание семьи требовало все более строгой экономии, Беньямин продолжал не только читать, но и собирать книги. В некоторых из его писем друзьям встречаются горькие сетования на полную безнадежность его финансовой ситуации, а несколькими абзацами ниже сообщается о новых важных приобретениях: только в марте он купил первые издания стихотворений Бодлера и переписки Гёте. Вернер Крафт вспоминает, как во время визита к родителям Беньямина, после того, как малыша, игравшего на ковре, забрала мать, Беньямин с любовью продемонстрировал несколько последних редких приобретений⁷. Наряду с книгами по литературе и философии Беньямин вместе с Дорой продолжал коллекционировать детские книги, в итоге собрав более 200 экземпляров,

7. См.: Kraft, *Spiegelung der Jugend*, 63.

главным образом изданных в XIX в. Финансовые затруднения, испытываемые Беньяминами, не мешали им собирать и произведения искусства. В июле, в день рождения Вальтера, Дора преподнесла ему первую в его собрании работу Пауля Клее *Die Vorführung des Wunders* («Демонстрация чуда», 1916), которая сейчас находится в Музее современного искусства в Нью-Йорке.

В июне, понукаемый письмом Шолема, Беньямин сделал первую попытку приступить к изучению иврита, занимаясь с Гуткингом, который сам обучался у Шолема. Тот полагал, что положение, в котором находился Беньямин в Германии, делало его в то время особенно податливым к аргументам в пользу «интенсивных занятий еврейством» (SF, 91; ШД, 152). Хотя эти уроки так и не вышли за пределы самых элементарных сведений, Беньямин ухватился за них как за предлог для активной покупки книг: «Иврита» Фюрста и халдейского словаря еврейской Библии, нескольких книг по мидрашу, двуязычного издания книг пророков и работы Арона Маркуса о хасидизме. Неоднозначное отношение к иудаизму, впервые озвученное Беньямином в 1912–1913 гг. в письмах к Людвигу Штраусу, оставалось источником трений в его дружбе с Шоломом.

К осени Беньямины снова переехали, приняв решение не пользоваться ресурсами родительского дома с его угнетающей атмосферой. Они поселились сначала в пансионе — это был пансион «Бисмарк» на Хубертусаллее, в нескольких кварталах от виллы родителей Беньямина на Дельбрюкштрассе, а затем в октябре ненадолго обзавелись собственной квартирой. Осенью Беньямин снова попытался учить иврит — теперь уже в университете, но и на этот раз его хватило всего на несколько недель. Беньямин счел необходимым объяснить Шолому свой выбор в письме, отправленном ему в начале декабря, сославшись на несовместимость работы над кандидатской диссертацией с серьезными занятиями ивритом. Шолом ответил ему не сразу. В своем следующем письме от 29 декабря Беньямин писал, что догадывается о причине «долгого» молчания друга, и повторял доводы, которые только что привел Гуткингам в ответ на их «упреки» за его решение прекратить изучение иврита. В письме Гуткингам (утраченном) он утверждал, что «не способен в полной мере предаваться всему, что связано с евреями, пока не удалось извлечь из [своего] европейского образования того, что может дать по крайней мере какой-то шанс на более мирное будущее, возможность содержать семью и т. д.» (С, 169–170), то есть получить должность при университете.

Красноречивый контраст с решениями Беньямина составляют решения, принятые в то время его младшим братом Ге-

оргом. Отслужив в армии все четыре военных года, Георг вернулся в университет и без колебаний предался напряженным занятиям, которые должны были сделать его врачом. Осенью 1920 г., несмотря на скудные студенческие доходы, он переселился из виллы на Дельбрюкштрассе в маленькую меблированную комнату в пролетарском квартале на востоке города. Если Вальтер оставался зависимым от своих родителей и ссорился с ними, то Георг порвал с родителями финансово, но поддерживал с ними гармоничные личные отношения, приезжая в Грюневальд по воскресеньям и праздникам⁸. Их сестра Дора, в это время учившаяся в университете, тоже жила в родительском доме, но она часто конфликтовала с братом, и ее имя не упоминается в письмах Беньямина того периода.

В декабре Беньямины молчаливо признали поражение и вернулись к родителям Вальтера в Грюневальд. Любопытно, что возвращение в родительский дом совпало с окончанием длительной депрессии. Хотя Беньямин упоминал о случайных и не таких долгих приступах депрессии, настигавших его в университетские годы, продолжительные периоды депрессии начали преследовать его ближе к 30-летнему возрасту и не прекращались до конца его жизни. Кузен Беньямина Эрвин Леви считал этот недуг типичным для родственников Вальтера по отцовской линии, в которой случались самоубийства⁹.

Каким бы досадным ни было возвращение на Дельбрюкштрассе, для Беньямина тем не менее начался необычайно продуктивный период. После диссертации он ничего не издал, но в декабре ему пришлось править гранки эссе «Судьба и характер» (написанного в конце 1919 г.) и «„Идиот“ Достоевского» (1917) для публикации в журнале *Die Argonauten* («Аргонавты»), редактировавшемся Эрнстом Блассом и выходившем в маленьком гейдельбергском издательстве, которым заведовал Ричард Вайсбах. В то же время Беньямин смело погрузился в работу над основанной на философии «Политикой», замысел которой зародился у него после разговоров с Эрнстом Блохом в Швейцарии. Беньямин неоднократно утверждал, что его политическая теория никак не связана ни с какими-либо политическими движениями, ни даже с текущими событиями: он говорил, что «отвергает все современные политические тенденции» (С, 148), но бурные события первых лет существования Веймарской республики не могли не сказаться на проходившей в 1919–1921 гг. в несколько этапов его работе над полити-

8. См.: Benjamin, *Georg Benjamin*, 45–46.

9. Эрвин Леви Гэри Смиты. Цит. по: Puttnies and Smith, *Benjaminiana*, 23.

ческой теорией, сочетавшей интерес Беньямина к философии, теологии и эстетике.

Какими были политические симпатии Беньямина до 1924 г., когда состоялось его неформальное обручение с марксизмом, вопрос спорный. Знакомство Беньямина с германской философской и литературной традицией, так же, как и у его современников Дьердя Лукача и Эрнста Блоха, ставших видными теоретиками левого толка, происходило, согласно знаменитому определению Лукача, в атмосфере «романтического антикапитализма», представлявшего собой пьянящую смесь нестрогой политической теории, строгой философии и высокой литературы. Беньямин, одобрительно читавший Бакунина и Розу Люксембург — он был «глубоко тронут невероятной красотой и значимостью» писем Люксембург из тюрьмы (С, 171), — в то же время мог вступать в тесные интеллектуальные отношения с консервативным Флоренсом Христианом Рангом и время от времени выписывать роялистскую, реакционную и антисемитскую газету *Action Française* («Французское действие»). Шолем определял политические взгляды, разделявшиеся им с Беньямином примерно в то время (в 1919 г.), метким парадоксальным термином «теократический анархизм», который в том, что касалось самого Беньямина, вероятно, следовало понимать в антиклерикальном толстовском смысле, наподобие взглядов, провозглашавшихся в «Жизни студентов»: «Мы говорили о политике и социализме, относительно которого у нас были большие опасения, как и относительно положения человека при его возможном установлении. Мы по-прежнему приходили к теократическому анархизму как к наиболее осмысленной реакции на политику» (SF, 84; ШД, 141).

К концу 1920 г. Беньямин сформулировал весьма своеобразный план трехчастного изложения своих теорий¹⁰. Первая часть должна была называться «Истинный политик»; вторая часть, временно озаглавленная «Истинная политика», включала два раздела: «Деконструкция [*Abbau*] насилия» (возможно, совпадавший с реальным эссе «К критике насилия», написанным в 1921 г.) и «Бесцельная телеология» (считается утраченным). Предполагалось, что третья часть будет представлять собой критику утопического романа Пауля Шеербарта «Лезабендио» (о котором Беньямин уже отзывался в неопубликованном эту-

10. См.: СВ, 2:108–109. Слово «третья» в этом письме вызывает споры. Шолем прочел его как «первая» и связывал с двучастной политической схемой; издатели собрания писем Беньямина убедительно говорят о трехчастной схеме (111п).

де 1919 г.). Конкретный характер этого плана и быстрое сочинение «К критике насилия» в конце года стали возможны благодаря тому, что Бенъямин обдумывал этот проект и подбирался к нему в своих работах еще с тех пор, как начал писать рецензию на «Дух Утопии» Блоха. Уже в Брайтенштайне он замыслил эссе, которое, очевидно, так и осталось незавершенным, носившее временное название «Не бывает работников умственного труда» и представлявшее собой резкий ответ на выдвинутую левым писателем Куртом Хиллером концепцию активизма, а в более общем плане — на широко распространенные (и безуспешные) попытки буржуазных авторов отождествлять себя с советами рабочих и солдатских депутатов, спонтанно возникших в 1918 г. и вызвавших отречение кайзера, и подражать этим советам (см.: С, 160). Примерно в это же время Бенъямин закончил и рецензию на книгу Блоха. «Чрезвычайно интенсивная» работа над этой рецензией была вызвана отнюдь не только желанием привлечь внимание к публикации друга, но и стремлением обозначить свои собственные политические убеждения. Беседы с Блохом в Швейцарии уже побудили Бенъямина обосновать свое уклонение от текущих политических тенденций. Теперь же, в 1920 г., причудливое сочетание марксизма и мессианизма в «Духе Утопии» вызвало со стороны Бенъямина неоднозначную реакцию. Он считал, что книга Блоха «не лишена достоинств», но находил ее «поверхностной и чрезмерной» (С, 159–160). Рецензия представляла собой «только подробное и по возможности хвалебное эссе, посвященное отдельным идеям», но в заключение в ней также приводилось написанное эзотерическим языком «опровержение» «немыслимой христологии» Блоха и его гностической эпистемологии (которая в той степени, в какой в ней шла речь о «темной комнате проживаемого момента» и «еще не сознательном» аспекте опыта, оставила отпечаток на мышлении Бенъямина). Хотя Бенъямин пытался где-нибудь издать свою рецензию, предложив ее в том числе в известный философский журнал *Kant Studien*, она осталась неопубликованной и в настоящее время считается утраченной.

Примерно в то же время был написан и «Теолого-политический фрагмент», один из самых насыщенных небольших текстов Бенъямина, на что указывает предпринятая в нем попытка вкратце сформулировать теологическую политику¹¹. Он начина-

11. См.: SW, 3:305–306; УП, 235–236. Указание на спорность датировки этого текста см.: SW, 306п1. В настоящее время он обычно датируется 1920 или 1921 г. Обосновывая свое несогласие с политическим оправданием теократии, Бенъямин ссылается на *Geist der Utopie* («Дух Утопии», 1918) Блоха.

ется с заявления о том, что теократия не имеет политического смысла, а имеет лишь религиозный, поскольку «ничто историческое не может само по себе из себя относиться к мессианскому». Иными словами, «мессианское» не может быть целью истории. «С исторической точки зрения» оно представляется концом истории, определенной экзистенциальной глубиной, лежащей за рамками хронологического исчисления. Акцент на существовании непреодолимой пропасти между исторической жизнью и подлинно религиозной стороной предполагает важные созвучия между теологическими элементами в мышлении Беньямина и ключевыми положениями «диалектической теологии», особенно утверждением Карла Барта об абсолютной инаковости Бога, прозвучавшим во втором издании его «Послания к римлянам», вышедшем в 1921 г. В данном фрагменте Беньямин предлагает следующую иллюстрацию к парадоксальной связи с мессианским:

Если одна стрела указывает на цель, в направлении которой действует сила мирского, другая же — в направлении мессианского усилия, то свободное человечество в поисках счастья, конечно же, устремляется прочь от этого мессианского направления, но, подобно тому как сила на своем пути может поспособствовать силе, чей путь направлен в противоположную сторону, так и мирской порядок мирского — пришествию мессианского Царства. Следовательно, хотя мирское — это не категория царства, но категория, причем одна из наиболее подходящих, незаметнейшего его приближения.

«Вечной гибели» в одновременно священном и мирском «ритме» существования соответствует мирское восстановление, счастье в гибели. «Ибо мессианской может быть природа только в вечной своей и тотальной преходящести». Как заключает Беньямин, стремиться к вечной изменчивости, к преходящести «даже на тех стадиях человека, которые суть природа» — вот задача мировой политики, метод которой поэтому должен быть назван нигилизмом¹². Скрытый нигилизм, названный здесь своим именем, будет время от времени всплывать на разных этапах творческой карьеры Беньямина, занимая главное место в одних текстах, таких, например, как «Деструктивный характер» (1931), и придавая особый колорит другим, например работе «Задача переводчика» (1923).

Возвращение весной Беньямина в Берлин в точности совпало с самым опасным кризисом, через который прошла за-

12. О «вечной преходящести» см.: SW, 1:281 (1920–1921); AP, 348, 917 (1935); SW, 4:407 (1940).

рождавшаяся германская демократия, — Капповским путчем. 13 марта высокопоставленный немецкий военачальник Вальтер фон Лютвиц при поддержке бригады морской пехоты и военизированного фрайкора захватил правительственный квартал в Берлине, объявил о низвержении социал-демократического правительства и назначил новым канцлером правого политика Вольфганга Каппа. Социал-демократический канцлер Вольфганг Бауэр, федеральный президент Фридрих Эберт и большинство членов правительства бежали из города. Правительство, лишившись поддержки значительной части армии, ответило единственным доступным ему способом — призывом к всеобщей забастовке. Этот шаг наряду с отказом большей части госслужащих выполнять приказы Каппа, привел к краху путча: 17 марта бежать из города пришлось уже Каппу и Лютвицу. В переписке Бенямина не содержится ни единого упоминания о крайне напряженной атмосфере, в которой они с Дорой оказались по возвращении. Однако начиная с этого момента работа над «Политикой» ускорилась. В апреле 1920 г. Бенямин набросал ныне утраченную заметку «Жизнь и насилие» (см.: С, 162). Осенью из-под его пера вышла «Фантазия о путешествии в „Дух Утопии“», тоже не дошедшая до нас. Он по-прежнему много читал, продолжая знакомиться не только с политической теорией, но и со смежными областями. Его письма этого времени полны замечаний на такие разнообразные темы, как эпистемология биологии и идея красноречия; последняя тема была поднята им в связи с трактатом о риторике политэкономиста-романтика Адама Мюллера¹³. Но главным итогом этих продолжительных размышлений о политике стало эссе «К критике насилия», написанное им в декабре 1920 г. — январе 1921 г.

В эссе Бенямина изучается связь насилия с законом и правосудием, в частности роль насилия — применения силы — в традициях как естественного, так и позитивного права. Хотя первые страницы эссе занимает довольно абстрактный и осторожный анализ своевременного вопроса юриспруденции — понимания насилия в рамках связи между целями и средствами, мы вновь начинаем слышать голос Бенямина, когда речь заходит о функции насилия при институционализации и охране права и правоустанавливающих органов: «Любое насилие как средство являет-

13. Бенямин находил *Zwölf Reden über die Beredsamkeit und ihren Verfall in Deutschland* («Двенадцать речей о красноречии и его упадке в Германии», 1816) Мюллера довольно бессистемной, но очень пронизательной книгой; он отмечал, что надеется использовать ее при сочинении эссе «об истинном политике» (GB, 2:141). Эта книга упоминается в фрагменте 1921 г. «Капитализм как религия» (SW, 1:288–291; УП, 100–108).

ся либо правоустанавливающим, либо правоподдерживающим» (SW, 1:243; УП, 79). Как признает сам Беньямин, эти замечания в конце 1920 г. были в высшей степени злободневными. «Когда... сознание о латентном присутствии насилия в некоем институте права теряется, то последний распадается. В настоящее время парламенты являют тому хороший пример: они представляют собой до боли знакомое жалкое зрелище, поскольку не сохранили сознание того, что обязаны своим существованием революционным силам». Само собой, именно революционным силам, пробудившимся в ноябре 1918 г., было обязано своим существованием веймарское Национальное собрание. Как полемически указывает Беньямин, его упадок как института стал очевидным к 1920 г., когда оно прибегло к насилию для подавления левацких восстаний, охвативших весной этого года Рур, и утратило контакт с креативным потенциалом к новому законотворчеству. Впрочем, Беньямин выносит суровый вердикт не только тогдашнему германскому правительству: он обращается к более общему вопросу о функции всеобщей забастовки в любых обществах, причем его замечания основываются не только на работе синдикалиста Жоржа Сореля *Réflexions sur la violence* («Размышления о насилии», 1908), но и на широком анализе анархизма и насилия. Осенью Беньямин обратился к Максу Неттлау, ведущему европейскому авторитету по анархизму и знакомому Бакунина, спрашивая у него совета в отношении важнейших источников. Опираясь на проводимое Сорелем различие между «всеобщей политической забастовкой» и «пролетарской забастовкой», он цитирует отрывки из «Размышлений о насилии» с тем, чтобы заклеить обращение социал-демократов к всеобщей забастовке, вызванное стремлением сохранить власть в момент Капповского путча: «Всеобщая политическая забастовка... демонстрирует, что государство ничего не потеряет от своей силы, что власть всегда переходит от привилегированных к привилегированным». В цитате из Сореля, превозносящего всеобщую пролетарскую забастовку, в которой «революция предстает как ясный, простой бунт», содержится одно из первых и наиболее прямых указаний на ключевой постулат политической философии самого Беньямина. С его точки зрения, подобное «революционное движение» отвергает «все виды программ, утопий... Этой глубокой, нравственной и по-настоящему революционной концепции не может также быть противопоставлено никакое соображение, которое бы имело своей целью заклеить подобную всеобщую забастовку... как насилие». Этот отказ считается с последствиями очистительной революции более красноречив, чем нередко провозглашавшаяся

Беньямином приверженность к *Bilderverbot* — еврейскому запрету на изображения искупленной жизни, и служит косвенным выражением его нигилизма. Подобно Д. Г. Лоуренсу, Беньямин любил представлять себе, как традиционное мироустройство делает «хлоп» — и внезапно исчезает.

Соответственно, значительная часть этого эссе представляет собой вторжение в тогдашние юридические дебаты по вопросу о государственной власти и допустимости сопротивления ей. Однако во второй части эссе Беньямин возвращается к вопросам, которые были подняты в эссе «Судьба и характер» и займут ключевое место в главном произведении ранней мысли Беньямина — работе «„Избирательное сродство“ Гёте»: к судьбе как таковой, вине, порожденной причастностью к «голой естественной жизни», мифу и «уничтожающему насилию» божественного вмешательства в дела мира. Откликаясь на аргументы, приведенные Германом Когеном в «Этике чистой воли» (1904) и «Религии разума по источникам иудаизма» (1919)¹⁴, Беньямин впервые проводит здесь различие между мифом, основанным на политеизме и «голой жизни», и более благородной духовной силой монотеизма: «...мифу противостоит Бог... Если мифическое насилие правоустанавливающее, то божественное — правоуничтожающее... Но при этом сам суд являет себя как раз в насилии искупительном... Мифическое насилие является кровавым насилием над голой жизнью во имя самой жизни, божественное же чистое насилие над всей жизнью является насилием ради живущего». Некоторые комментаторы утверждают, что в «Критике насилия» Беньямин проводит связь между божественным насилием и пролетарской революцией. Но, как четко показывают заключительные фразы эссе, Беньямин был еще не в состоянии полностью примирить друг с другом свои политические и теологические идеи: «Предосудительным... является любое правоустанавливающее мифическое насилие, которое можно назвать распорядительным. Предосудительно также правоподдерживающее, управляемое насилие, которое служит первому. Божественное же насилие, которое является знаком и печатью, но никогда средством священной кары, можно назвать властвующим»¹⁵. В эссе Беньямина подчеркивается эрозия

14. См. письмо Шолему от 1 декабря 1920 г. (GV 2, 107), свидетельствующее о первом недолгом, но благоприятном впечатлении Беньямина от недавно изданной «Религии разума».

15. Одним из проявлений этого божественного насилия (*göttliche Gewalt*) служит «воспитательное насилие [*erzieherische Gewalt*], которое в своей законченной форме находится вне права. Итак, формы проявления божественного насилия определяются... моментами бескровного, разящего, искупительного

всех текущих разновидностей государственной власти и самого государства; однако, не считая идеи ненасильственной всеобщей забастовки, в связи с этой божественной эрозией «средств» в нем не указываются какие-либо конкретные революционные практики. Концепция революции как проводника и выражения мессианского события в более явном виде оформится лишь в 1930-х гг. Первоначально Беньямин предложил эссе «К критике насилия» престижному культурному журналу *Die weissen Blätter* («Белые листы»), редактором которого был Рене Шикеле. Член редколлегии журнала Эмиль Ледерер, прочитав «К критике насилия», счел это эссе «слишком длинным и слишком сложным» для аудитории журнала, но взял его для издания в научном журнале *Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik*, редактором которого он стал после смерти Макса Вебера.

Некоторые из наиболее эзотерических рассуждений в «Критике насилия» были вдохновлены книгой Унгера *Politik und Metaphysik* («Политика и метафизика»), вышедшей в январе 1921 г. В тот момент Беньямин испытывал безграничный восторг в отношении Унгера и его работы; он называл «Политику и метафизику» «самым значительным современным произведением о политике» (С, 172). Эрих Унгер (1887–1950), как и Беньямин, вырос в Берлине в ассимилированной еврейской семье. Но в отличие от Беньямина, чье раннее развитие происходило под влиянием контактов с Винекеном и молодежным движением, Унгер с юных лет вращался в неоортодоксальных кругах. Он изучал Талмуд под руководством Оскара Гольдберга, своего соученика по фридриховской гимназии, и его религиозная философия никогда не теряла связи с этими начинаниями. Неприкрытая религиозность работы Унгера резко контрастирует с практиками самого Беньямина. Подобно горбатуму карлику, спрятанному под столом и приводящему в действие шахматный автомат, в знаменитой аллегории, с которой начинается последняя известная нам работа Беньямина «О понимании истории» (1940), теологические аспекты произведений Беньямина, созданных после Первой мировой войны, обычно находятся на глубинных или даже скрытых уровнях. Тем не менее основой для положительного восприятия Беньямином работ Унгера служило согласие с ним по ряду важных положений. Как выразилась Маргарете Коленбах, Беньямин и Унгер разделяли убеждение в том, что «назна-

исполнения его. И наконец, путем отсутствия какого бы то ни было право-установления». Ибо в праве есть «нечто гнилое» (SW, 1:250, 242; УП, 91, 77). Сорель говорит о «воспитательном значении» всеобщей забастовки в конце раздела 2 главы 4 «Пролетарская забастовка» в «Размышлениях о насилии».

чение философской мысли — выявление условий, при которых человек на основании объективного опыта может осознать истинность того, во что в современной религии в лучшем случае верят или каким-либо образом ощущают»¹⁶. Оба они были уверены в том, что подобная философская мысль обязана выйти за рамки кантовской модели, которая в их глазах основывалась на неадекватном понимании человеческого опыта и знаний. Таким образом, в *Politik und Metaphysik* Унгера политика понимается как деятельность, чья главная задача состоит в обеспечении арены для получения психофизического опыта, *возможно*, «соответствующего постижению божественной реальности»¹⁷.

Привлекательность мыслей Унгера для Бенямина была лишь самым очевидным признаком его наблюдавшегося в начале 1920-х гг. увлечения еврейским интеллектуальным окружением, сложившимся при Оскаре Гольдберге (1887–1951). Гольдберг, игравший ведущую роль в раннеэкспрессионистских *Neopathetisches Cabaret* и *Neue Club*, к концу мировой войны начал пропагандировать эзотерическое иудаистское «учение», в котором, как отмечал Шолем, присутствовало и демоническое измерение. Убеждение Гольдберга в наличии у евреев особой связи с Богом, изначально основывавшейся на магической практике, привело его к выводу о том, что современный иудаизм удалился от этого древнего магического габраизма. Для Гольдберга и членов его кружка, в принципе выступавших против эмпирического сионизма, это учение о «действительности евреев», которое Шолем называет «своего рода биологической каббалой», служило единственной предпосылкой к тому, что ученик Гольдберга Унгер в прочитанной в феврале 1922 г. лекции, на которой присутствовал Бенямин, назвал «безгосударственным основанием еврейского народа» (SF, 96–97; ШД, 161–162). Гольдберг, обладавший поразительным персональным магнетизмом, по сути деспотически властвовал в своем кружке и оказывал на интеллектуалов Веймарской республики влияние, значительно превышавшее степень проницательности его идей. Томас Манн отчасти запечатлел это пагубное влияние в своем романе «Доктор Фаустус» (1947), в котором Гольдберг выведен как метафизик профашистского толка, доктор Хаим Брейзахер. Бенямин и Дора познакомились и с Гольдбергом, и с Унгером в доме подруги Доры Элизабет Рихтер-Габо, первой жены авангардного кинематографиста Ганса Рихтера. Сам Гольдберг вызывал у Бенямина брезгливость. «Вообще говоря, я почти ничего не знаю о нем,

16. Kohlenbach, "Religion, Experience, Politics", 65.

17. Ibid., 78.

но окружающая его нечистая аура вызывает у меня решительное отвращение всякий раз, как я вынужден с ним встречаться, настолько сильное, что я не могу себя заставить пожать ему руку» (С, 173). Несмотря на эту неприязнь, Беньямин продолжал постепенно сближаться с его окружением, но лишь по одной причине: с тем, чтобы поддерживать контакты с Унгером, чья личность и работы по-прежнему влекли его к себе.

В январе 1921 г. затишье в военных действиях между Беньямином и его отцом сделало пребывание в родительском доме более терпимым. Явно предчувствуя долгое проживание под его крышей, Беньямин заказал новые книжные полки и расставил на них свои книги, что всегда служило для него источником глубокого удовлетворения. Было взято напрокат пианино, и Дора снова смогла музицировать; Шолем вспоминает вечера, наполненные музыкой Моцарта, Бетховена и Шуберта (см.: SF, 91). Ближе к лету супруги даже решили возобновить занятия любительским театром, попытавшись получить роли в скетче на балу, который устраивался в Школе декоративных искусств. По словам Беньямина, Дора была убеждена в том, что смогла бы стать «великой актрисой», если бы всерьез приложила к этому усилия, но в этом дебюте ей было отказано из-за «некомпетентности» режиссера (см.: GB, 2:146). Куда сложнее точно воссоздать ту роль, которую в семейной жизни Беньяминов играл их маленький сын Штефан. В одном из немногих писем этого периода, в которых он упоминается, описывается его первый визит в зоопарк: его отца восхитило замешательство сына при виде ламы, слона, горного козла и обезьяны. В записной книжке, в которую Беньямин записывал «мысли и мнения» своего сына, примерно в этот период появились записи, затрагивающие тему «тишины», которые свидетельствуют о приоритетах, установленных в доме Беньямина, и реакции его сына на их соблюдение: «После того как я зашел в комнату и приказал ему вести себя тихо, он громко сказал мне вслед: „Опять эта птица (или медведь) вошла в комнату. Ей нельзя сюда входить. Это моя комната. Теперь в комнате станет гадко. Тут стало гадко. Меня тоже нельзя беспокоить, мне тоже надо работать“»¹⁸.

Комфортабельный дом давал супругам возможность принимать посетителей и приглашать погостить в Грюневальде друзей и родственников. Одним из первых такое приглашение получил Эрнст Блох, чья жена Эльза фон Штрицки только что умерла в Мюнхене после продолжительной болезни.

18. *Walter Benjamin's Archive*, 124.

Неудачным оказался визит старого друга Бенямина Вернера Крафта (1896–1991). Бенямин познакомился с ним в 1915 г., когда оба они учились в университете. Несмотря на то что более практичный Крафт собирался стать библиотекарем (он работал в известных библиотеках в Лейпциге и Ганновере до своей вынужденной отставки и отъезда в Палестину в 1934 г.), в первую очередь он считал себя литературным критиком. С первых встреч Бенямин считал Крафта равным себе и конкурентом в сфере критики философского толка. Во время этого последнего визита между ними что-то произошло, потому что вскоре Бенямин написал Крафту о том, что разрывает их отношения. Черновик этого письма — Крафту был отослан намного менее резкий вариант — демонстрирует не только присущее Бенямину чувство дружбы и его полную преданность интеллектуальному диалогу, но и укоренившуюся в нем властность: «Контакты и беседы с моими друзьями относятся к самым серьезным и наиболее тщательно контролируемым сторонам моей жизни... Лично я привык мысленно проследивать следствия, вытекающие из каждого произнесенного слова, и точно этого же я ожидаю и от других... С кем бы человек ни вел беседу, он обязан самым бесповоротным образом — и особенно в тех случаях, когда имеют место расхождения во взглядах, — никогда не выражать такие взгляды, не пытаясь их обосновать, и в первую очередь человек никогда не должен выносить свои мысли на суд со стороны других, если не имеет серьезного намерения выслушивать критику в свой адрес» (GB, 2:142). В ответ на это послание Крафт вернул все письма, полученные им от Бенямина, после чего Бенямин попенял ему на то, что он послал их не заказной почтой! Отношения между ними возобновились после случайной встречи в парижской Национальной библиотеке в конце 1933 г., но затем были окончательно и очень эффектно разорваны в конце 1930-х гг., когда они в последний раз столкнулись друг с другом: каждый именно себе приписывал честь открытия немецкого писателя XIX в. Карла Густава Йохмана.

Бенямин имел талант к дружбе определенного типа: блеск ума и его энергия привлекали к нему один выдающийся ум за другим. Однако развитие завязавшейся дружбы никогда не было гладким: Бенямин дистанцировался даже от ближайших друзей, сохраняя за собой право на абсолютную приватность. Кроме того, как вспоминает Шолем, он прикладывал усилия к тому, чтобы различные группы его друзей не общались друг с другом, фактически возведя эту практику в ранг закона социального взаимодействия. Несмотря на эти обычаи, которые, вероятно, делали общение с Бенямином на любые обыденные

темы весьма щекотливым занятием, его письма более чем убедительно свидетельствуют о его непоколебимой преданности нескольким близким друзьям. И Теодор Адорно, и Вернер Крафт отмечали его щедрость и склонность делать подарки. Крафт, приглашенный к нему на обед в начале 1920-х гг., обнаружил, что в его салфетку завернуто первое издание пьесы австрийского драматурга Франца Грильпарцера «Сон — жизнь» (*Der Traum ein Leben*). Шарлотта Вольф, с которой Беньямин познакомился через Юлу Кон, вспоминает о том, какие усилия прилагал Беньямин, в частности они вместе специально ездили в Дрезден с тем, чтобы убедить ее родителей позволить ей обучаться медицине, несмотря на связанные с этим реальные финансовые трудности¹⁹.

В первые месяцы 1921 г. Беньямин большую часть своего времени уделял переводу раздела *Tableaux parisiens* («Парижские картины») из «Цветов зла» Бодлера. Беньямин начал переводить Бодлера еще в 1914 г., но сейчас его подхлестывала возможность книжного издания. Через Юлу Кон у него завязались контакты с Эрнстом Блассом — поэтом, редактировавшим журнал *Die Argonauten* для издателя Ричарда Вайсбаха. (Именно в этом журнале в этом же году были опубликованы «Судьба и характер» и «„Идиот“ Достоевского».) Бласс передал Вайсбаху образцы переводов Беньямина из Бодлера в конце 1920 г. Теперь Вайсбах обещал 1000 марок за издание-люкс и 15 процентов от продаж обычного издания, и Беньямин подписал и переслал ему контракт в начале февраля. К этому моменту он завершил перевод всех стихотворений этого цикла, кроме «Лебедя»; он сообщил Вайсбаху, что намерен снабдить издание предисловием в форме общих рассуждений о проблеме перевода. Впрочем, подписание контракта означало не окончание работы над переводом, а лишь начало мучительного и для Беньямина чрезвычайно досадного пути к изданию книги, состоявшемуся через более чем три года.

Помимо Бодлера у Беньямина в то время имелись и другие литературные увлечения. В начале 1921 г. в Берлине прочел четыре лекции великий австрийский писатель и журналист Карл Краус, и можно предположить, что Беньямин посетил их: Краус вызывал у него интерес до конца жизни. Кроме того, Беньямин по-прежнему читал и размышлял о немецких романтиках. Он с энтузиазмом вернулся к Гёте — по его словам, ему доставляло большое удовольствие перечитывать любимую из новелл Гёте — «Новая Мелюзина», — и убеждал Вайсбаха выпустить но-

19. См.: Kraft, *Spiegelung der Jugend*, 65; Wolff, *Hindsight*, 67–68.

вое издание драмы Фридриха Шлегеля «Аларкос», благодаря Гёте включенной в репертуар театра в Веймаре в начале XIX в., но не переиздававшейся с 1809 г.

В годы, последовавшие за завершением диссертации, усилилось и увлечение Беньямина современным изобразительным искусством. В марте он посетил выставку живописи Августа Маке, погибшего на Западном фронте в 1914 г. «Короткое эссе», написанное, по его словам, об этих картинах, до нас не дошло. Кроме того, он упоминает картину Шагала «Суббота» — она понравилась ему, но он считал, что ей недоставало совершенства: «Я все больше и больше прихожу к пониманию того, что могу заочно одобрять лишь живопись Клее, Маке и, может быть, Кандинского. Все прочие художники имеют недостатки, вынуждающие соблюдать осторожность. Естественно, у тех трех тоже есть слабые картины, но я вижу, что они слабы» (С, 178). В апреле Беньямин побывал на выставке Клее, а в конце весны во время поездки в Мюнхен приобрел за 1000 марок (14 долларов) небольшую акварель Клее *Angelus Novus*, написанную в 1920 г. Хотя у нас не имеется никаких свидетельств о первой встрече Беньямина с этой небольшой работой, воспоминания Шарлотты Вольф о том, как он обрадовался этому неожиданному открытию, дают некоторое представление об оживлении, иногда находившем на этого «неловкого и замкнутого человека»: он «реагировал так, словно ему дали что-то чудесное»²⁰. *Angelus Novus* стал самым ценным имуществом Беньямина. Картина, после приобретения некоторое время висевшая в мюнхенской квартире Шолема, играла роль особого звена, связывавшего обоих друзей спустя долгое время после отъезда Шолема в Палестину. Шолем уже в 1921 г. прислал Беньямину в качестве подарка на день рождения поэтические размышления об этом образе:

Поздравления от «Анжелюса» в день 15 июля

Я горделиво вишу на стене,
Ни на кого не глядя.
Я — посланец небес,
Я — человек-ангел.

20. Wolff, *Hindsight*, 68. Вольф так описывает расположение акварели Клее в грюневальдском кабинете Беньямина: «Мы с Вальтером сидели напротив друга за длинным дубовым столом, заваленным его рукописями. Стены комнаты были совершенно скрыты за рядами книг, выстроившимися от пола до потолка. Однако на дальней стене было оставлено место для любимой картины Вальтера — *Angelus Novus* Пауля Клее. Он питал к ней личную привязанность, словно она составляла часть его сознания... Со временем я поняла, что в ней воплощались ясность композиции и „стиль“» (р. 67).

Жилец моей комнаты — человек хороший,
И он мне безразличен.
Меня волнуют лишь высокие материи,
И мне не нужно лицо.

Мир, из которого я прибыл,
Измерен, глубок и чист;
То, что привязывает меня к нему,
Отсюда кажется чудесным.

В своем сердце я храню город,
В который Господь послал меня,
Но он не трогает ангела,
Отмеченного этой печатью.

Сейчас мои крылья взмахнут.
Я рад вернуться,
Ведь даже если бы я пробыл здесь всю жизнь,
То все равно не знал бы удачи.

Мой глаз черен и глубок,
Мой взгляд никогда не пуст.
Я знаю, что я должен возвестить,
И знаю многое иное.

Во мне нет ничего символического,
Я значу лишь то, что я есть.
Не стоит вертеть магический перстень,
Поскольку у меня нет смысла (цит. по: GB, 2:175n).

Angelus Novus Клее не только побудил Беньямина к тому, чтобы избрать такое же название для первого журнала, который он пытался основать, но и фигурировал в загадочном автобиографическом отрывке, сочиненном Беньямином на острове Ибица в 1933 г. («Агесилай Сантандер»), а ближе к концу жизни Беньямина вдохновил его на сочинение едва ли не самых известных его строк: речь идет о размышлениях об ангеле истории в «О понимании истории».

Несмотря на эти разносторонние интересы, мысли Беньямина в первую очередь были обращены к работе над реабилитационной диссертацией. Ряд фрагментов, написанных в конце 1920 — начале 1921 г. и связанных с продолжавшимся поиском темы, указывают на постепенное изменение в его мыслях. Первоначальный упор на чистую лингвистику сменился охватом ряда теологических проблем. «Наброски к реабилитационной диссертации» (см.: SW, 1:269–271) свидетельствуют о том,

что в качестве ее темы в какой-то момент предполагалось рассмотрение проблемы теологического символа. Впрочем, так же, как в ходе работы над докторской диссертацией, интерес Бенямина постепенно смещался из лингвистической области в эпистемологическую и эстетическую. «Подобно любым историческим исследованиям, — писал он Шолему в феврале, — филология обещает те же удовольствия, которые неоплатоники ищут в созерцательном аскетизме, но доведенные до крайности. Совершенство вместо завершенности, гарантированное угасание морали (но не ее огня). Она представляет собой ту сторону истории или, точнее, тот слой исторического, к которому человек в состоянии применить регулятивные, методологические, а также конститутивные концепции элементарной логики, хотя и не способен выявить связи между ними. Я определяю филологию не как науку или историю языка, а скорее как *историю терминологии* на ее глубочайшем уровне» (С, 175–176). Хотя такое использование терминов «филология» и «терминология», возможно, указывает на то, что мысль Бенямина не вышла за пределы лингвистической сферы, это важное заявление фактически свидетельствует об окончательном повороте от философской лингвистики к литературным и эстетическим дисциплинам. В это время Бенямин прилежно изучал золотой век немецкой филологии, который можно определить как период от Фридриха Шлегеля до Ницше, и эта филологическая традиция основывалась на интерпретации литературных текстов.

Спокойное и непоколебимое выполнение Бенямином исследовательской программы в рамках работы над реабилитационной диссертацией проходило в условиях бушевавших дома и в стране бурь. Заголовки в общенациональных газетах с самого начала 1921 г. рисуют картину политических и экономических потрясений: правые радикалы ополчились против левых радикалов, а левоцентристская коалиция продолжала свои попытки узаконить молодую Веймарскую республику. Многим возмутительным акциям ультраправых — убийствам, попыткам переворота, подстрекательским публикациям — молчаливо потворствовала судебная система, так и не избавленная от наиболее консервативных имперских элементов. А экономические бедствия послевоенных лет усугублялись непомерными репарационными требованиями, предъявленными Антантой германскому правительству: в течение 42 лет ему следовало выплатить 226 млрд золотых марок. После провала переговоров в Лондоне, на которых обсуждался график выплаты репараций, французские войска оккупировали Рурскую область — сердце германской промышленности. Бенямин никак не отзывался на эти

события, как и не сообщал почти никому, кроме ближайших друзей, о домашнем кризисе: его брак трещал по всем швам.

За годы, прошедшие с тех пор, как кончилась относительно спокойная жизнь в Швейцарии, трения в отношениях между Дорой и Беньямином лишь усилились. Живя в условиях постоянных финансовых неурядиц и под крышей дома, все время напоминавшего не только о зависимости от родителей Беньямина, но и о враждебности в его отношениях с отцом, супруги к весне 1921 г. настолько отделились друг от друга, что могли влюбиться в кого-нибудь на стороне, причем практически одновременно. В апреле чету навестила старая знакомая Беньямина еще со времен молодежного движения, скульптор Юла Кон, и во время ее визита Беньямин понял, что испытывает глубокую любовь к этой женщине, которую не видел пять лет. Ее подруге Шарлотте Вольф Юла, какой она была в то время, запомнилась несколько эксцентричным существом: «Она была миниатюрной и... двигалась тихо и осторожно и в буквальном, и в символическом смысле. Она рассматривала своих посетителей и все прочее в лорнет с длинной ручкой из слоновой кости... Ее голова была слишком большой для ее хрупкого тела и привлекала к себе все внимание». Вольф вспоминает благоговение, окружавшее Юлу, и ее «„дар“ восприимчивости, привлекавший к ней интеллектуалов и художников»²¹. Нам в точности не известно, как именно Юла Кон реагировала на ухаживания Беньямина. Но ему, должно быть, очень быстро стало понятно, что женщина, которую он представлял себе в роли своей новой жены, не в состоянии ответить ему такой же страстной любовью. По крайней мере в этом состоит суть наполненного тихим страданием письма, в мае отправленного Дорой Шолему: «Прежде всего я беспокоюсь за Вальтера. Ю.[ла Кон] не дала ему ответа, он хочет порвать с ней и не может этого сделать и, более того, не знает, должен ли он требовать этого от себя. Я знаю, что она не любит его и никогда не полюбит. Она слишком честна для того, чтобы обманываться, и слишком наивна, поскольку никогда не была влюблена, для того, чтобы ясно понимать это. С любовью дело обстоит так же, как и с верой: человек понятия не имеет о том, что это такое, пока не испытает сам... Он спрашивал меня сегодня, нужно ли ему порвать с ней... Если в глубине души он примирился с тем, что безнадежно влюблен, то пусть будет так, у него нет выбора — и тем хуже для нас. Мы добры друг к другу, и мне хотелось бы стать еще добрее, но многие вещи для меня

21. Wolff, *Hindsight*, 64–65.

все равно мучительны»²². Долгая и в итоге оставшаяся безответной любовью Бенямина к Юле Кон оставила заметный след в его личной жизни в начале 1920-х гг. В конце концов Юла в 1925 г. вышла замуж за химика Фрица Радта, брата бывшей невесты Бенямина Греты Радт, но прежде она уничтожила все письма, которые получила от Бенямина. (Другим событием в этой запутанной системе взаимоотношений стала состоявшаяся в конце 1921 г. женитьба брата Юлы Альфреда Кона, который был близким другом Бенямина со времен учебы в школе кайзера Фридриха, на Грете Радт.)

По сути, Бенямин, отражающийся в зеркале различных женщин, с которыми он имел отношения на протяжении своей жизни, во многом соответствует Бенямину, чей голос звучит со страниц его писем, эссе и книг. Во всех описаниях его личности, сделанных очевидцами, повторяется один аспект: относительное отсутствие, а может быть, и интроверсия телесно-эротического элемента. Шолем пересказывает разговор с их общей знакомой, утверждавшей, что «для нее и для ее подруг [Бенямин] даже не существовал как мужчина и что им никогда даже не приходило в голову, что у него есть и такая сторона. „Вальтер был, так сказать, бесплотным“». В начале 1920-х гг. Дора тоже открыто говорила Шолему о физических проблемах, осложнявших их брак; в качестве причины она ссылалась на чрезмерную интеллектуальность Бенямина, «подавляющую его либидо» (согласно Шолему, она прибегала к подобной психоаналитической терминологии в попытке понять своего мужа и утверждала, что он страдает еще и от «невроза навязчивых состояний»)²³. В чем-то сходную тенденцию отмечали и другие наблюдатели: безграничная сдержанность, которой подчинялись все взаимоотношения Бенямина, в эротическом плане проявлялась как определенная терпимость и неспешность. Шарлотту Вольф поражала способность Бенямина «отказаться от капиталистической собственнической любви», которая, казалось, избавляла его от ревности даже во время длительного романа Доры

22. Дора Бенямин Гершому Шолему. Цит. по: GB, 2:154п.

23. SF, 95; ШД, 159. В связи с этим Шолем задается вопросом: «Была ли причиной [„бестелесности“] некая нехватка витальности у Бенямина, как это многим казалось, или скрещение витального — а оно в те годы часто проявлялось — с его совершенно метафизической ориентацией, которая принесла ему славу отрешенного?» Ср. с письмом Теодора Адорно Бенямину от 6 сентября 1936 г., в котором Адорно усматривает «исток наших споров» в своем несогласии с беняминовской «недиалектической онтологией тела»: «Для вас человеческое тело словно служит мерилом всякой конкретности [*Maß der Konkretion*]» (BA, 146).

с его другом Эрнстом Шеном. «Интимные отношения между его женой и его другом не нарушали его спокойствия: наоборот, они способствовали сближению обоих мужчин... Вальтер напоминал мне... Райнера Марию Рильке, для которого тоска по любимой была желательнее ее присутствия, слишком часто становившегося для него обузой, а не удовольствием. Мне стало ясно, что Беньямин не выносил сколько-нибудь протяженной физической любви»²⁴. Но если Беньямин и «страдал» от чего-то подобного, то только от ницшеанского требования выстраивать себя в качестве бесконечного набора импровизаций или масок, которые Ницше называл «внешними истинами и перспективными оценками», ставками, определяющими жизнь (ср.: SW, 2:271). Беньямин расходовал на свою работу интеллектуальную и эротическую энергию, и за это приходилось платить. Вольф с ее пронизательным и в высшей степени благожелательным отношением к Беньямину полагает, что ценой этого были тоска и безысходность, пронизывавшие его личную жизнь: «Всем своим „я“ он был погружен в работу, получая вдохновение от людей, к которым испытывал безответную любовь»²⁵.

Ухаживания Беньямина за Юлой Кон происходили на фоне романа самой Доры с одним из старейших и ближайших друзей Беньямина, музыкантом, композитором и музыковедом Эрнстом Шеном (1894–1960). Шен, первоначально входивший в кружок Беньямина в берлинской школе кайзера Фридриха, наряду с Альфредом Коном остался единственным из тех друзей детства Беньямина, с которыми он сохранял тесные контакты. Шен был во многих отношениях выдающимся человеком. Его биограф Сабина Шиллер-Лерг указывает на его «изящную сдержанность и скромность, тихое благородство»²⁶. Адорно, познакомившийся с ним позже, вспоминал Шена как «одно-

24. Wolff, *Hindsight*, 69.

25. SW, 70. Этим Вальтер Беньямин напоминает еще одного в высшей степени ницшеанского персонажа, барона Клаппика из «Удела человеческого» Андре Мальро. Эротические неудачи Клаппика вполне сопоставимы с неудачами Беньямина: «Он был опьянен своей ложью, этим жаром, творившимся им несуществующим миром. Говоря, что убьет себя, он не верил своим словам, но, поскольку этому верила она, он вступал в мир, в котором больше не было правды. Это не было ни правдой, ни ложью, а реальностью. А поскольку ни его прошлого, только что им сочиненного, ни ничтожного шага, как будто бы столь малого, на котором строились его отношения с этой женщиной, — поскольку ничего из этого не существовало, то и ничего не существовало. Мир перестал обременять его» (Malraux, *Man's Fate*, 246–247). Подобно Клаппику в Шанхае, Вальтер Беньямин, возможно, был единственным в Берлине абсолютно не существовавшим человеком.

26. Schiller-Lerg, “Ernst Schoen”, 983.

го из тех глубоко уверенных в себе людей, которые любят отступать в тень — без малейшей обиды и доходя до самоумаления»²⁷. Они не виделись в годы войны, когда Шен стал самым важным партнером по переписке для уехавшего в Швейцарию Беньямина. В первые послевоенные годы Шен словно бы плыл по течению, будучи не в состоянии выбрать сферу профессиональной деятельности. В Берлине он обучался игре на фортепьяно у Ферручио Бузони и композиции у Эдгара Вареза, кроме того, учился в нескольких университетах, однако непонятно, получил ли он в итоге диплом²⁸. Впоследствии он стал художественным руководителем Юго-Западного германского радио во Франкфурте и в конце 1920-х гг. приобщил Беньямина к этому новому средству коммуникации. Вернувшись из Швейцарии, Беньямины восстановили контакты с Шеном, и к зиме 1920–1921 гг. Дора влюбилась в него. Она активно предавалась фантазиям о разрыве брака с Беньямином и новой жизни с Шеном. В конце апреля она раскрыла Шолему масштабы бедствия: «Сегодня Вальтер сообщил мне, что Юла рассказала своим родственникам — этим буржуа — все, все об Э.[рнсте Шене] и мне, и он пребывает в таком же ужасе, что и я... но не сказала ничего о себе самой и Вальтере, и мы попробуем спасти все, что можно. Грядет катастрофа — в этом нет сомнений»²⁹. Дора не упоминает в этом письме, что сама Юла была влюблена в Шена, но, судя по всему, знала об этом.

Если Дора писала об этом кризисе друзьям, то Беньямин в типичной для него манере писал самому себе. Его записные книжки начала 1920-х гг. полны размышлений как на животрепещущие темы — о браке, сексуальности, стыде, — так и на темы, относящиеся к философской этике. Утверждая, что «двое супругов — стихийные силы, а два друга — вожди сообщества», Беньямин в то же время испытывал мучения из-за особых требований, предъявляемых браком: «В рамках таинства брака Господь сделал любовь защитой и от угрозы со стороны сексуальности, и от угрозы со стороны смерти»³⁰. Возможно, самым трогательным свидетельством того, что от Беньямина не укрылись ни семейные неурядицы, ни то, как они отражались на маленьком Штефане, служит сонет «6 января 1922 г.», записанный Беньямином в той записной книжке, в которой содержалось постоянно пополнявшееся собрание детских высказываний Штефана:

27. Adorno, "Benjamin the Letter Writer" (C, xxi).

28. См.: Schiller-Lerg, "Ernst Schoen".

29. Дора Беньямин Гершому Шолему. Цит. по: GB, 2:153–154п.

30. Benjamin, "Zwei Gatten sind Elemente..." и "Über die Ehe", GS, 6:68.

Кто этот гость, перед которым — хоть он разрушил
Семейный очаг хозяйки и принес ей несчастье —
Двери все же открываются так же быстро,
Как легкие врата распахиваются под напором ветра?

Его имя — разлад, который возвращается
Даже после того, как он опустошил стол и комнаты.
Одной лишь душе хранит верность
Ее тройная свита: сон, слезы и ребенок.

И все же яркий, как меч, снап каждого дня
Бередит старые раны проснувшихся,
И прежде, чем утешение снова погрузит их в сон,

Словно бы источник их слез давно иссяк,
Одна лишь улыбка ребенка и его знакомые привычки
Способны вернуть в дом надежду (GS, 7:64).

Шолем усматривал противоречие между «сияющей моральной аурой», окружавшей мысли Беньямина, и беспринципностью и аморальностью «в отношениях Беньямина к повседневным вещам» (SF, 53–54; ШД, 95–96). Но этот первый глубокий кризис в семейной жизни Беньямина требует менее однозначной оценки: идеи, содержащиеся в черновиках эссе и фрагментах данного периода, в лучшем случае представляют собой отражение его поступков и, может быть, попытку сдержать их, но не антитезу им.

Упорная взаимная верность идее брака помогла чете пережить и этот кризис, и ряд дальнейших кризисов 1920-х гг., и только к концу десятилетия сам Беньямин наконец принял решение разорвать их союз. Как вспоминает Шолем, первый этап распада этого брака начался весной 1921 г. и продолжался два года. «Временами Вальтер с Дорой возобновляли супружеские отношения, пока эти отношения окончательно не превратились в 1923 году в дружественное совместное проживание, прежде всего ради Штефана, в воспитании которого Вальтер принимал существенное участие, но еще и по финансовым соображениям» (SF, 94; ШД, 158). Возможно, самым поразительным аспектом этой новой фазы в их отношениях было продолжавшееся и полное вовлечение Доры в интеллектуальную жизнь Беньямина. Она по-прежнему читала все, что он писал, и все, что вызывало у него глубокий интерес, а он по-прежнему выказывал полное нежелание к дальнейшему продвижению вперед в какой бы то ни было сфере до тех пор, пока они с Дорой не приходили к интеллектуальному согласию. Если Дора легко могла представить себе жизнь, не предполагавшую физической

близости с мужем, то ей оказалось гораздо сложнее преодолеть магнетическую притягательность его ума.

В начале июня 1921 г. Беньямины разъехались в разные стороны. Дора вместе с Эрнстом Шеном сначала отправилась в Мюнхен навестить Шолема, а затем в Австрию, в санаторий своей тети в Брайтенштайне, где у нее были выявлены серьезные проблемы с легкими. Беньямин, чувствуя себя виноватым, поделился с Шолемом уверенностью в том, что болезнь Доры была вызвана семейным кризисом. Две последние недели июня Беньямин гостил у Доры в Австрии, а затем, пробыв несколько дней в Мюнхене у Шолема и его невесты Эльзы Буркхардт, отправился в Гейдельберг и жил там до середины августа. Сначала он снимал номер в отеле, но вскоре перебрался на улицу Шлоссберг, 7а, к Лео Левенталю, который впоследствии стал одним из главных сотрудников Адорно и Хоркхаймера в Институте социальных исследований. Хотя внешним предлогом для этого продолжительного визита являлось дальнейшее изучение возможностей для защиты хабилитационной диссертации в Гейдельберге, имелась и другая причина: там находилась Юла Кон, входившая в число людей, окружавших литературоведа Фридриха Гундольфа. После бурных весенних месяцев в Берлине Беньямин наслаждался в летнем Гейдельберге спокойствием, и его не огорчало даже то, что Юла не собиралась поддаваться его ухаживаниям. Кроме того, теперь, возможно, единственный раз за всю свою взрослую жизнь Беньямин видел себя членом научного сообщества.

В начале 1920-х гг. Гейдельбергский университет имел репутацию одного из самых выдающихся центров по производству интеллектуальной продукции в Германии. Первые послевоенные годы были отмечены не только политическими и экономическими неурядицами, но и общенациональным поиском ценностей и вождей, требовавшихся эпохе, как будто бы оставшейся без принципов и не знающей, куда ей идти. Это придавало университетским занятиям особую остроту. В начале 1920-х гг. Гундольф был не только самым влиятельным представителем научного мира в окружении поэта-символиста и националиста Штефана Георге, но и признанным в масштабах нации авторитетом в области культуры³¹. Густав Реглер так вспоминает атмосферу, царившую на лекциях Гундольфа в послевоенные годы: «На скамьях было негде приткнуться. Такую

31. О Георге и его окружении см.: Norton, *Secret Germany*; Маяцкий, *Спор о Платоне. Круг Штефана Георге и немецкий университет* (М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012).

аудиторию можно увидеть лишь в кризисные времена». Беньямин, возможно, еще в 1917 г. набросал крайне полемичный критический отзыв на монументальную работу Гундольфа о Гёте. Сейчас же он посетил несколько его лекций, но отмечал: Гундольф «показался мне ужасно жалким и беззащитным в смысле производимого им личного впечатления, весьма отличающегося от того впечатления, которое остается от его книг» (С, 182). Беньямин был не одинок в этом мнении: за спиной Гундольфа стоял Георге, покоровивший Реглера и многих других людей науки своими идеями о том, что Германия возродится, обратившись к своему предмодерному наследию. «[Георге] вызывал из небытия призраки забытых монархов, таких, как Гогенштауфены, [и воспевал] размах и величие их замыслов. В Гейдельберге зарождалась новая мечта, и великая надежда на объединение Востока и Запада уже не казалась несбыточной»³². Несколько лет спустя Беньямин так описывал свои встречи с Георге в коротком эссе для *Literarische Welt*: «Часы летели быстро, когда я сидел на скамье в гейдельбергском Заковом парке и читал в ожидании момента, когда он пройдет мимо. Однажды он медленно приблизился ко мне, разговаривая с младшим спутником. Время от времени я видел его, когда он сидел на скамье во дворе замка. Но все это происходило спустя много времени после того, как я ощутил убедительный трепет, исходивший из его работ... Однако, где бы я ни сталкивался с его учениями, они не пробуждали во мне ничего, кроме недоверия и несогласия»³³. То, что в этом отрывке Беньямин противопоставляет не оставлявшее его восхищение жизнью и поэтическим творчеством поэта давно произошедшему отторжению от его учений, возможно, не итог встречи с Георге, а предвестие нового амбициозного литературного проекта. Некоторые жизненные обстоятельства — запутанные сердечные дела Доры и самого Беньямина, в его случае нашедшие весьма конкретное воплощение в лице Юлы Кон; активное чтение Гёте на протяжении всего года, в частности его романа *Die Wahlverwandtschaften* («Избирательное сродство», 1809), в котором идет речь о фатальных последствиях двух параллельных любовных увлечений; личная встреча с Гундольфом, которого Беньямин мечтал подвергнуть «юридически обязывающему осуждению и казни» (С, 196); постоянно маячившая тень Георге — все это стало катализатором для одного из наиболее значительных и сложных произведений Беньямина «„Избира-

32. Regler, *The Owl of Minerva*, 103–104.

33. Benjamin, “Über Stefan George”, GS, 2:622–623.

тельное сродство “Гёте», работа над которым началась в Гейдельберге.

Проживание Бенямина в Гейдельберге было отмечено многочисленными личными контактами. Помимо занятий у Гундольфа он также посещал лекции Карла Ясперса, самого влиятельного после Хайдеггера немецкого философа середины XX в., а также лекции своего старого учителя Генриха Риккерта. Бенямин отзывался о Ясперсе почти теми же словами, что и о Гундольфе, но издевательски вывернутыми наизнанку: «жалкий и беззащитный в своих мыслях, но лично весьма примечательный и почти симпатичный человек»; вместе с тем ему показалось, что Риккерт стал «серым и противным» (С, 182–183). Возможно, наибольшее удовольствие ему доставляло общение с участниками ряда «социологических дискуссионных вечеров», проводившихся в доме у Марианны Вебер, теоретика феминизма, политика, вдовы великого социолога Макса Вебера. Бенямин выделялся в этом кружке своим активным участием в его работе, в частности заранее подготовленным выступлением с нападками на психоанализ, которое, по его словам, сопровождалось постоянными восклицаниями «Браво!», исходившими от Альфреда Вебера, младшего брата Макса Вебера. Альфред Вебер был видным либеральным социологом, который, как и его брат, основывал свои идеи на экономическом анализе; в то время он, несомненно, был самым влиятельным профессором общественных наук в Гейдельберге. Именно в эти месяцы, когда Бенямин контактировал с Альфредом и Марианной Веберами и был увлечен социоэкономическими вопросами, он написал один из самых ярких своих многочисленных коротких текстов, оставшихся незаконченными и не издававшимися при его жизни.

Эта работа — «Капитализм как религия» отсылает читателя к принципиальной идее Макса Вебера о религиозной природе капиталистической трудовой этики, но существенно то, что уже в 1921 г. Бенямин в своей аргументации опирался не на Вебера и даже не на научный марксизм, а на анализ фетишистского характера капиталистического товара в «Капитале» Маркса. Бенямин утверждает, что капитализм — возможно, наиболее экстремальный из всех религиозных культов в силу того, что он основан на чисто психологической связи с фетишизируемыми объектами. Этот культ, лишенный учения или теологии, существует исключительно благодаря непрерывному исполнению своих ритуалов — покупке товаров и их потреблению. И, с точки зрения Бенямина, это отношение к времени как к бесконечному пиршеству порождает по иронии судьбы

самое пагубное последствие капитализма: «этот культ наделяет виной»³⁴. Такое насаждение задолженности-вины завершается не «преобразованием бытия»: его сопровождает «превращение в руины, разрастание отчаяния до уровня религиозного состояния мира». Мы еще не вправе говорить о марксизме Беньямина, но этот последний всплеск романтического антикапитализма, характерного для первых десятилетий века, остается одной из самых интригующих работ Беньямина. Значительная часть этого фрагмента и сопровождающие его примечания выдержаны в научном стиле; возможно, этот небольшой текст замыслился как набросок к статье, которая могла бы привлечь внимание Вебера. Соответственно, Беньямин в августе покинул Гейдельберг в убеждении, что при университете обеспечено место для него самого и для хабилитационной работы; он писал Шолему, что «обладатели докторской степени, уже год просидевшие на семинарах у Риккерта, спрашивают меня, каким образом люди получают хабилитацию» (ГВ, 2:176). В данном случае, как с ним случится еще не раз в ближайшие годы, у него сложилось ложное представление и о самом учреждении, и о том, насколько он там нужен.

Даже с учетом вернувшейся к нему надежды на академическую карьеру самой многообещающей из его встреч в Гейдельберге, несомненно, была встреча с Рихардом Вайсбахом, готовившим к публикации переводы Беньямина из Бодлера. Беньямин произвел на Вайсбаха достаточно сильное впечатление для того, чтобы тот предложил ему должность редактора в своем журнале *Die Argonauten*. После того как Беньямин отказался, Вайсбах заговорил о возможности создать для него отдельный журнал, в котором тот был бы полновластным хозяином, и Беньямин с восторгом откликнулся на это предложение. Оставшаяся часть года была в значительной степени посвящена подготовке к изданию предполагаемого журнала и в первую очередь поиску подходящих авторов. В конечном счете из этой идеи ничего не вышло, кроме короткого текста «Анонс журнала *Angelus Novus*», при жизни Беньямина тоже оставшегося неопубликованным. Однако название, выбранное для журнала, в какой-то степени выдает то значение, которое Беньямин приписывал этому проекту: он надеялся, что его личный новый ангел, подобно колоритному глашатаю Клее, провозгласит ни много ни мало «дух эпохи». По замыслу Беньямина в его журнале оригинальные литературные произведения, представляющие собой

34. SW, 1:288–291; УП, 100–108. В оригинале употреблено слово *Verschulden*, означающее и «иметь задолженность», и «быть виноватым».

«важнейшие заявления» о «судьбе немецкого языка», должны были соседствовать с образцами «убийственной» критики, которой отводилась роль «стража дома», и с переводами, являющимися «суровой и незаменимой школой языка в процессе его становления». Как и в эссе 1918 г. «О программе грядущей философии» и в «Диалоге о современной религиозности» (1912), Беньямин видит в сочетании философии и теологии ключ к тому, что «актуально в наше время»: «Универсальная состоятельность духовных высказываний должна быть увязана с вопросом о том, могут ли они претендовать на место в будущих религиозных орденах» (SW, 1:294). В глазах Беньямина только неприкрытая духовная жизнь самого человеческого языка, философские поиски историко-семантического аспекта, скрывающегося за его поверхностью, выложенной концепциями, могли гарантировать такую универсальную состоятельность. В памятном письме Гуго фон Гофмансталу от 13 января 1924 г. он утверждал, что «для всякой истины в языке найдется ее жилище, ее прародительский дворец, что этот дворец выстроен из древнейших *logoi* и что в сравнении с истиной, имеющей такое основание, достижения отдельных дисциплин будут сохранять вторичный характер до тех пор, пока они будут беспорядочно блуждать по сфере языка, побираясь то тут, то там... Напротив, философия пользуется благословенной действенностью порядка, благодаря которому ее выводы всегда выражаются в очень особых словах, чья поверхность, усеянная концепциями, растворяется, соприкасаясь с магнетической силой этого порядка, обнажая формы лингвистической жизни, сокрытые внутри» (С, 228–229). *Angelus Novus* с самого начала замышлялся в качестве платформы для этого «магнетического» высвобождения прародительских истин, скрывающихся в языке.

Возможно, самой поразительной в плане Беньямина была его установка, чтобы успех журнала у читателей зависел исключительно от того, как ими будет восприниматься язык отдельных авторов. В начале 1920-х гг. появилось множество новых журналов, хотя большинство тогдашних «журналистчиков» выпускались самозванными авангардными группами или сообществами. Например, в 1922 г. в Праге начал выходить *Devětsil* («Девять сил»), в Веймаре — *Mécano* (1922–1923), в Белграде и Загребе — *Zenit* (1922–1926). В том же году Эль Лисицкий и Илья Эренбург издали в Берлине всего два номера журнала *Вещь Objekt Gegenstand* с параллельными текстами на русском, французском и немецком языках. В 1923 г. в Праге были основаны еще два журнала: *Disk* и *Život* («Жизнь»), причем с обоими сотрудничал Карел Тейге. В Москве под редакцией Владимира Маяковского

издавался журнал «Левый фронт искусств», известный как ЛЕФ (1923–1925). Тогда же в Берлине вышли первые номера *G: Material zur elementaren Gestaltung* (1923–1926) и *Broom* (1923–1924). В то время как цель этих журналов, как правило, заключалась во возвращении осведомленной аудитории, Беньямин ополчился именно на эту цель. Утверждая, что «авторов не связывает друг с другом ничего, кроме их собственной воли и сознания», он не желал создавать именно «атмосферу взаимного понимания и общности... Через взаимную отчужденность своих авторов журнал должен показывать, что в наш век ни одно сообщество не в состоянии иметь собственный голос» (SW, 1:292–296). Это одно из первых изъятий принципа, которым в дальнейшем будет руководствоваться Беньямин. В своих произведениях 1919–1922 гг. он прежде всего стремится выявить, каким образом настоящее преломляется сквозь призму мифа: в эссе «Судьба и характер», «К критике насилия» и «„Избирательное сродство“ Гёте» миф фигурирует в качестве силы, господствующей в человеческих взаимоотношениях и дезориентирующей их. Таким образом, в «Анонсе» Беньямина утверждается, что в том, что касается современности, такие категории, как контекст, связность и общий смысл, в принципе являются ложными, и в своих работах этого периода он избегает всяких стратегий изложения, которые бы наделяли исторический момент ложной преемственностью и однородностью.

Это нежелание признавать за каким-либо из существующих сообществ возможность самовыражения не только бросало вызов практикам и целям различных европейских авангардных групп того времени, но и противоречило взглядам тогдашних ближайших друзей и интеллектуальных сотрудников Беньямина. И Гуткинд, и Ранг пытались всеми возможными способами создать интеллектуальное сообщество, которое бы основывалось на общих убеждениях и продолжало дело кружка «Форте». Мысли Гуткинда неоднократно возвращались к представлявшемуся ему идеалом кругу друзей, совместно проживающих в изоляции от внешнего мира; он представлял себе некий «центр, монастырь»: «Если бы могли пожить где-нибудь в другом месте! И в конце концов создать убежище для выдающихся умов — новый остров. Не настало ли для этого время?»³⁵. Хотя Беньямин в 1924 г. с готовностью присоединился к Гуткинду и Рангу в путешествии в такое уединенное место — на остров Капри, он никогда не разделял их веру в сообщество. «Анонс» и пер-

35. Гуткинд ван Эдену, 10 и 30 мая 1920 г., архив ван Эдена, Амстердам. Цит. по: Jäger, *Messianische Kritik*, 76.

вые страницы эссе «Задача переводчика» являются его декларацией веры в один только язык, то есть в философию и искусство. Стоит ли говорить, что если бы *Angelus Novus* когда-нибудь вышел в свет, то подобная идеология лишила бы его практически всякой аудитории, за исключением немногих избранных высоколобых, способных воспринимать нередко абстрактные и эзотерические произведения и, очевидно, разделяющих убеждения Беньямина в отношении языка. По сути, он замыслил «журнал, совсем не предназначенный для публики, способной платить» (GB, 2:182), и в этом заявлении слышится отзвук герметической независимости, которую он ближе к концу года поднимет на щит в эссе «Задача переводчика».

Похоже, что перспектива выпуска независимого журнала разбудила в Беньяmine такой пыл, какого он не испытывал со времен участия в молодежном движении и сотрудничества с *Der Anfang*. Даже после того, как стало ясно, что из этих планов не выйдет ничего конкретного, его не оставляло интеллектуальное возбуждение, вызванное этой идеей. Стремление к интеллектуальному превосходству, часто дававшее о себе знать в личных отношениях Беньямина, проявилось здесь в еще большем масштабе как желание стать интеллектуальным лидером. Беньямина на протяжении всей его жизни тянуло к небольшим группам мыслителей и художников, разделявших его идеи, и в большинстве случаев он становился вождем или по крайней мере ведущим интеллектуалом в таких группах; исключением являются только его взаимоотношения с Бертольдом Брехтом в 1930-е гг., в период изгнания. Редакторский контроль над журналом, разумеется, служил одним из самых ярких проявлений этого стремления, а *Angelus Novus* был лишь первым из нескольких журнальных проектов Беньямина. Другой главной чертой, объединявшей эти проекты, было то, что все они потерпели крах.

Если пребывание в Гейдельберге стало для Беньямина периодом определенного спокойствия, то возвращение в Берлин к жене возвестило начало сложной эпохи в его жизни. На состоянии Беньямина, несомненно, сказался неудачный роман с Юлой Кон; после его завершения он часто жаловался на депрессию. Кроме того, давали о себе знать усилия по основанию журнала и сопутствовавшие им попытки сколотить группу, состоящую из интеллектуалов самого разного склада, и руководить ею: тяга Беньямина к самоутверждению привела осенью к разрыву с несколькими друзьями и сотрудниками. Несмотря на это, последние месяцы 1921 г. оказались для него продуктивным периодом. Шарлотта Вольф оставила нам замечательный портрет Беньямина, каким он был в то время, — портрет, в ко-

тором ярко проступают противоречия, проявлявшиеся в этом интеллектуале, достигшем 30-летия: «Он был лишен мужественности, свойственной этому поколению. В нем проявлялись неуместные черты, не сочетавшиеся с его личностью. Детские розовые щеки, курчавые черные волосы и красивый лоб вызывали симпатию, но порой в его глазах мелькала искра цинизма. Неожиданной чертой, плохо вязавшейся со всем остальным, были и его толстые чувственные губы, едва прикрытые усами. Его поза и жесты были скованными, и им не хватало естественности, за исключением тех моментов, когда он говорил о вещах, волновавших его, и о людях, которых он любил... Его ноги-спички оставляли досадное впечатление атрофированных мышц. Он почти не жестикулировал, старательно прижимая руки к груди»³⁶.

После короткой поездки к Шолему в Карлсруэ Беньямин в конце августа сел на поезд, чтобы навестить Дору в санатории, где она медленно и мучительно оправлялась от своей легочной болезни. Но мысли Беньямина витали в каких-то других областях. Он по-прежнему строил лихорадочные планы, касавшиеся *Angelus Novus*, и 4 сентября отправился в Мюнхен, чтобы совместно с Эрнстом Леви и Шолемом определить линию будущего журнала и забрать рукописи у его потенциальных авторов. Эти нередко ожесточенные диспуты касались литературы (затрагивались такие фигуры, как Генрих Гейне, Карл Краус и ныне забытый Вальтер Кале) и философии языка (Лазарус Гейгер, Хаим Штейнталь, Фриц Маутнер) (SF, 106–107; ШД, 177–178). Во время пребывания в Мюнхене Беньямин начал получать сигналы от Леви и его жены, подтвердившиеся после его возвращения в Берлин: они наотрез отказались от какого-либо сотрудничества с *Angelus Novus*. Вспыхнувшая между ними ссора вскоре вошла в более цивилизованные рамки благодаря вмешательству Доры и Шолема, но отношения между Беньямином и Леви еще много лет оставались напряженными.

Перед возвращением в Берлин Беньямин сделал еще одну остановку, также с целью поиска авторов для журнала. С 7 по 12 сентября он жил в Браунфельсе у Флоренса Христиана Ранга (*ibid*; там же). Деятельная жизнь Ранга, родившегося в 1864 г., уже подходила к концу, когда Беньямин впервые встретился с ним в 1920 г. в Берлине, в доме Эриха Гуткинда. Получив юридическое образование, Ранг до 1895 г. работал администратором в государственных учреждениях, а затем вер-

36. Wolff, *Hindsight*, 68–69.

нулся в университет изучать теологию. С 1898 по 1904 г. он был пастором, после чего вернулся на государственную службу. В 1917 г. Ранг подал в отставку и занял должность генерального директора в берлинском обществе *Raiffeisen* (общества и банки *Raiffeisen*, существующие и по сей день, выросли из ряда общественных организаций взаимопомощи, обслуживавших рабочих и фермеров и созданных в конце XIX в. Вильгельмом Райффайзенем). Незадолго до визита Бенямина в Браунфельс Ранг удалился на покой — и постепенно переходил с националистических и консервативных позиций, которые он занимал во время Первой мировой войны, к более умеренному консерватизму. Хотя сегодня о Ранге мало кто помнит, у современников он пользовался большим уважением. Мартин Бубер называл его «одним из достойнейших немцев нашего времени», а Гуго фон Гофмансталь причислял его к ведущим интеллектуалам той эпохи³⁷. На протяжении трех следующих лет Ранг оставался главным интеллектуальным партнером Бенямина: он впоследствии отмечал, что со смертью Ранга лишился «идеального читателя» своей книги о барочной драме³⁸.

К середине сентября и Бенямин, и Дора вернулись в Берлин, и на них почти сразу же посыпались неприятности. Доре пришлось сделать операцию на легких, и она снова поправлялась медленно и не могла обойтись без сиделки. Слег и отец Бенямина, хотя его болезнь не называется ни в одном источнике. В сентябре Бенямин писал, что отец умирает, хотя тот вскоре выздоровел и снова был на ногах. Брак самого Бенямина кое-как продолжал держаться исключительно на одном взаимном уважении. В записке, вложенной в письмо Бенямина от 4 октября, Дора сообщала Шолему, что Вальтер снова «очень мил и добр ко мне. Я нездорова и физически, и психологически, но надеюсь на улучшение. Все могло бы сложиться гораздо хуже» (GB, 2:198). Шолем вспоминает хрупкое внимание супругов друг к другу, служившее непрочной опорой для их брака: «Каждый боялся обидеть другого, и демон, временами вселявшийся в Вальтера, проявляясь в деспотизме и требовательности, казалось, совсем его оставил» (SF, 94–95; ШД, 158).

После дезертирства Леви у Бенямина появилась идея привлечь к изданию *Angelus Novus* в качестве главного автора Эриха

37. Слова Бубера содержатся в неопубликованной заметке и цитируются по: Jäger, *Messianische Kritik*, 1.

38. GB, 3:16. Самой проникательной работой, посвященной сотрудничеству Ранга и Бенямина, остается Steiner, *Die Geburt der Kritik*. См. также: Jäger, *Messianische Kritik*.

Унгера. Однако на пути у этих планов стоял постепенный отход Беньямина от окружения Оскара Гольдберга, продолжавшийся несмотря на непрерывные попытки вовлечь в это окружение и его, и Шолема. Отношение Беньямина к Гольдбергу и его окружению проявляется в описании им лекции, прочитанной частным образом прибалтийским немцем Гуго Ликом: «Помимо нескольких непременных представителей буржуазии в состав нелепой аудитории входили прежде всего Эрнст Блох, Альфред Деблин, Мартин Гумперт и несколько молодых дам с берлинского дикого запада. Г-н Лик, бесспорно, талантливый шизофреник, известен (среди тех, кто, в свою очередь, таковыми не являются) как абсолютно эзотерическая личность, переполненная знаниями, общающаяся с духами, объездившая свет и причастная ко всем тайнам... Его религия, происхождение и доход еще не выяснены, а я сведущ в этих вопросах». Тем не менее далее Беньямин отзывается о том, что сказал Лик, как о «вполне достойном внимания, порой безусловно верном и крайне существенном даже в тех случаях, когда он был не прав». Почему же Беньямин внезапно воспылал симпатией к такому сомнительному персонажу? Потому что, по его словам, он увидел в Лике «изначальный источник» главных теорий Оскара Гольдберга и его кружка (см.: GB, 2:224–225)³⁹. С учетом такой позиции нас не должно удивлять, что в начале октября против Беньямина ополчился сам Унгер, осведомившись у него, что он имеет против Гольдберга. Беньямин почти не пытался скрыть свою неприязнь, и дело шло к полному разрыву. Но дипломатический талант Доры снова спас положение. Понимая, что в данном случае на карту поставлен авторитет обоих мужчин, она отвела Унгера в сторону и в ходе «дьявольски хитроумной беседы» объяснила ему, что антипатия ее мужа в данном случае проистекает исключительно из «личных особенностей характера» (С, 188).

К разрыву с Леви и едва не случившемуся разрыву с Унгером следует добавить охлаждение отношений между Беньями-

39. Егер трактует этот случай более прямолинейно, указывая на интерес Беньямина к эзотерическим теориям языка и к творчеству душевнобольных (Jäger, *Messianische Kritik*, 95). Почти с такой же иронией, что и Беньямин, к Ликю относился и монархист Ганс Блюхер, в то время друживший с Рангом: «Когда Лик впадал в экзотическое состояние, которое греки называли манией, он мог говорить о птице Рок и о Грифе и об исходящей из них преобразующей силе, а затем, не говоря этого в открытую, давал ясный намек на то, что он сам становится такой легендарной царь-птицей, когда возвращается туда, откуда он родом». См.: Hans Blüher, *Werke und Tage* (1953), 23. Цит. по: Jäger, *Messianische Kritik*, 95.

ном и Эрнстом Блохом. Немногие фигуры в жизни Беньямина вызывали у него столь сложную реакцию. С первых дней их знакомства Беньямина привлекали дух воззрений Блоха и особенно их неустанная политическая направленность. Тем не менее его реакция на то, что писал Блох, обычно находилась в диапазоне от безразличия до откровенного несогласия. Прочитав черновой вариант книги Блоха, посвященной Томасу Мюнцеру, теологу и революционеру времен Реформации, Беньямин заявил, что это «Макс Вебер, вещающий языком [комедиографа Карла] Штернхайма» (ГВ, 2:226). Беспримесный энтузиазм наподобие того, с каким Беньямин в сентябре встретил рецензию Блоха на книгу Дьердя Лукача «История и классовое сознание», был для него редкостью. А теперь под угрозой оказались и его личные отношения с Блохом, доселе остававшиеся неизменно сердечными. Не навестив Беньяминов, Блох послал им письмо, в котором оправдывался тем, что не в состоянии выносить никого, кроме «самых простых» людей. Далее, согласно Беньямину, он объяснял, почему сам Беньямин не входит в эту категорию. Беньямин ответил на это мнимое неуважение язвительными замечаниями о Блохе, адресованными друзьям: в начале 1921 г. он отмечал, что Блох ищет себе жену «по всей Германии». Это был особенно грубый выпад, поскольку уже много лет ходили слухи о том, что в первый раз Блох женился, положив глаз на тогда еще значительное состояние своей жены. В данном случае о том, чтобы дружба между Беньямином и Блохом не пошла прахом, опять позаботилась Дора: Беньямин писал, что она «по-макиавеллиевски» сыграла роль посредника (см.: ГВ, 2:205). Навещал Беньямина и Вольф Хайнле, с которым всегда было нелегко. Беньямин по-прежнему ощущал особую ответственность за брата своего друга, которого все сильнее окутывал покров мифов. Хайнле зарабатывал на жизнь носильщиком в Госларе и писал короткую прозу. Беньямин демонстрировал сохранявшуюся у него непоколебимую веру в братьев Хайнле как в литераторов: он предполагал опубликовать в первом номере *Angelus Novus* подборку сонетов Фрица и рассказов Вольфа.

В последние месяцы 1921 г. Беньямин наконец-то закончил работу над текстом, первоначально замышлявшимся в качестве предисловия к книге переводов Бодлера, а теперь предназначенным для первого номера *Angelus Novus* в качестве его личного вклада: речь идет об эссе «Задача переводчика». Его можно назвать чем угодно, но только не пособием для переводчиков: с самого начала Беньямин видел в нем ступень на пути к глобальной теории художественной критики. Он отлично понимал значение этого эссе с точки зрения развития своих идей.

Как он писал в марте Шолему, «на кону стоит столь важная для меня тема, что я до сих пор не знаю, хватит ли мне свободы для того, чтобы раскрыть ее, с учетом нынешнего этапа моих размышлений — в предположении, что мне вообще удастся ее осветить» (С, 177). Это эссе начинается с решительного утверждения, на которое были тесно завязаны все замыслы Беньямина, касавшиеся журнала: идеи об относительной независимости произведения искусства от его аудитории: «...ни одно стихотворение не предназначено читателю, ни одна картина — зрителю, ни одна симфония — слушателю» (SW, 1:253; УП, 254). Этим заявлением Беньямин стремится опровергнуть традиционное понимание перевода как моста между оригинальным произведением и аудиторией. Как он уже утверждал в своем эссе 1916 г. о языке, никакая серьезная лингвистическая практика не может иметь своей целью всего лишь передачу «смысла»; это особенно верно в отношении литературных переводов, функция которых заключается не просто в донесении до читателя того, что «говорит» или «сообщает» оригинал. Для Беньямина перевод — по сути, раскрытие чего-то, присущего оригиналу, и не просто присущего, а такого, что может быть раскрыто *только* в случае, если оригинал поддается переводу: «заклученный в оригинале глубинный смысл выражается в своей переводимости». Если в диссертации 1919 г. о немецком романтизме Беньямин уже развенчал законченное произведение искусства, поставив под сомнение его привилегированный статус и объявив его частью континуума, включающего и его дальнейшую критику, то в данном случае он доводит эту идею до логического и радикального завершения: перевод наряду с критикой не только является важнейшим элементом «постсуществования» произведения, но и фактически *предшествует* жизни оригинала. «Жизнь оригинала каждый раз достигает в них [в переводах] еще более полного расцвета».

Что же в таком случае раскрывает перевод, если не смысл оригинала? Беньямин говорит о «языке истины», «который в тишине и спокойствии хранит все высшие тайны, над раскрытием которых бьется мысль». «И именно он, язык, в предсказании и описании которого заключено то единственное совершенство, на которое может надеяться философ, именно он в концентрированной форме сокрыт в переводе». В своей теории критики, пытаясь выявить практики, способные создать предпосылки для того, чтобы в падшем мире раскрылась истина, Беньямин сначала подвергает рассмотрению природу истины, сокрытой во всяком сущем. В эссе 1914–1915 гг. «Жизнь студентов» Беньямин понимал истину как «элементы этого ко-

нечного состояния», в эссе 1916 г. о языке — как «творческий мир», а в послесловии к своей диссертации 1919 г. — как «истинную сущность». Сейчас, в контексте теории перевода, истина определяется им как «ядро чистого языка». Более того, «Задача переводчика» придает новую динамику бенъяминовской теории языка. Если в эссе «О языке вообще и о человеческом языке» логический приоритет слова, имманентность языка всей природе провозглашается в отрыве от исторического развития, то это сияющее «ядро» истины, как нечто «символизирующее» и «символизируемое», теперь подается как элемент, доступный лишь в качестве составной части исторического процесса — благодаря языковым изменениям. «Пусть скрыто или фрагментарно, оно тем не менее активно присутствует в жизни как само символизируемое, но в языковых произведениях живет лишь как нечто символизирующее. В то время как эта конечная суть — чистый язык — связана в языках только с собственно языковыми элементами и их изменением, в произведениях она обременена тяжелым и чуждым смыслом. Разрешить ее от этого бремени, превратить символизирующее в само символизируемое, вновь обрести чистый язык... такова насильственная и единственная способность перевода». За этим поворотом в понимании истины — в послесловии к диссертации Бенъямин определял ее как «ограниченный, гармоничный дисконтинуум чистых смыслов», а теперь под ней имелся в виду «не имеющий выражения» элемент бесконечного процесса — отчасти стоял пробуждавшийся у Бенъямина интерес к конкретным историческим вопросам, иными словами, этот поворот был связан с его политическим проектом.

Особый статус перевода в историческом процессе, посредством которого может быть выявлена истина, заключается в его способности вскрывать «теснейшее соотношение языков»: «в основе каждого в целом лежит одно и то же означаемое». Это одно и то же — «чистый язык»; оно «недоступно ни одному из них по отдельности, но может быть реализовано лишь всей совокупностью их взаимно дополняющих интенций». Бенъямин предполагает, что «способ производства значения», присущий каждому языку, находится в гармонии с принципиальными «способами производства значения» во всех прочих языках и таким образом приводит нас к «языку как таковому». Соответственно, задача переводчика состоит в том, чтобы способствовать этому выявлению чистого языка, скрывающегося во взаимодействии двух разных языков: этот чистый язык «больше ничего не означает и не выражает, но является тем не имеющим выражения, созидательным словом, что слу-

жит означаемым всех языков». Вместо того чтобы как-то обосновать это утверждение, Беньямин ограничивается ссылкой на конкретный пример перевода: примечательные переводы Фридриха Гельдерлина из античных греческих авторов. В этих переводах стремление к буквальности перевода выходит за все общепринятые пределы, верность Гельдерлина греческому синтаксису и морфологии приводит к тому, что в его переводах нарушаются все правила немецкого языка. После этой ссылки на переводческие приемы Гельдерлина Беньямин отказывается от дальнейшей концептуальной аргументации, и его эссе разваливается на ряд выразительных, но разрозненных образных цепочек. Первый метафорический ряд извлекается из святой святых: языки развиваются «до мессианского завершения своей истории», вдохновляясь переводом, который подвергает испытанию «их священный рост» и «возгорается от вечно-го продолжения жизни произведения». Второй посредством серии биологических и топографических метафор иллюстрирует высвобождение истины из ее материального узилища. Если оригинальные произведения находятся в «чаще самого языка», то перевод пребывает снаружи, «на опушке»: «Не входя в лес, он шлет туда клик оригиналу, стараясь докричаться до того единственного места, где эхо родного переводу языка рождает отзвук чужого». Таким образом, «семя чистого языка» не может созреть в языковой чаще, если только его не пробудит к жизни далекий отзвук. В-третьих, Беньямин обращается к позаимствованному из еврейского мистицизма понятию «тиккун» — представлению о священных сосудах (интерпретируемых как истина или искупление), которые разбились в начале исторического времени, но могут быть склеены: «Подобно тому как для сочленения черепков сосуда нужно, чтобы их последовательность была соблюдена до мельчайшей детали, притом что сами они необязательно должны походить друг на друга, так и перевод вместо того, чтобы добиваться смысловой схожести с оригиналом, должен любовно и скрупулезно создавать свою форму на родном языке в соответствии со способом производства значения оригинала, дабы оба они были узнаваемы обломками некоего большего языка». В-четвертых, поразительным образом предвосхищая важнейший образ своего позднего шедевра — проекта «Пассажи», Беньямин указывает на прозрачность, в конечном счете присущую переводу, на его способность добиться того, чтобы на оригинал излился свет чистого языка: «если предложение — стена перед языком оригинала», то дословность — пассаж. И наконец, ближе к концу эссе Беньямин призывает к освобождению чистого языка, пользуясь языком

социальной революции: задача переводчика состоит в том, чтобы сломать «прогнившие барьеры» своего языка. Эти цепочки метафор выстраиваются без всякой попытки иерархизировать или систематизировать их; все они — лишь принимающее разные формы указание на то, что для Бенямина останется не-квантифицируемой лингвистической природой всякой истины.

К концу года Бенямин продолжил работу над рядом проектов, включая эссе об «Избирательном сродстве» Гёте, предисловие к сборнику стихотворений Фрица Хайнле и, разумеется, *Angelus Novus*. Состав первого номера журнала определился к декабрю: стихотворения Фрица Хайнле, «драматические поэмы» Вольфа Хайнле, два рассказа Агнона — «Новая синагога» и «Взлет и падение», эссе Ранга «Историческая психология карнавала», работа Шолема о *Klagelied* («Жалобной песне») и «Задача переводчика» Бенямина (см.: GB, 2:218). Как и материалы для *Der Anfang*, материалы Бенямина для его собственного журнала должны были печататься под псевдонимом Й. Б. Ньеман или Ян Бейм. 21 января 1922 г. он отправил Вайсбаху полную рукопись первого номера. Но представление рукописи едва ли достигло намеченной цели: Вайсбах явно тянул время в попытках вовлечь Бенямина во множество побочных проектов — он спрашивал его совета по иллюстрациям к детским книгам, изданиям Гёте и книгам второстепенных авторов. Конечно, и сам Бенямин был мастером тонких уверток: в его ответах льстивый тон нередко сочетался с искусным отклонением идей Вайсбаха. Тем не менее на протяжении весны в их отношениях стали преобладать разногласия и негодование.

Проблемы с Вайсбахом, а соответственно, и неопределенность, окружавшая журнал, усугублялись необходимостью заканчивать работу над эссе «„Избирательное сродство“ Гёте», которая велась с декабря 1921 г. по февраль 1922 г. Бенямин сетовал на то, что к нему вернулся «шумовой психоз», нередко сопровождавший интенсивный умственный труд, и что он вынужден работать по ночам — нередко при свете свечи, поскольку забастовки и местные волнения оставались обычным явлением в Берлине. «„Избирательное сродство“ Гёте» — во многих отношениях венец раннего творчества Бенямина. В этом эссе содержится не только пронизательная критика мрачного романа нравов Гёте: Бенямин предпринял в нем самую бескомпромиссную попытку привести в порядок свою теорию критики. Как он писал Шолему, это эссе замышлялось не только как «образец критики», но и как пролегомены к «некоторым чисто философским положениям», а «в промежутке лежит то, что у меня есть сказать о Гёте» (С, 194). Таким образом, эссе представляет

собой первую попытку применить критический метод, разработанный Беньямином после 1915 г., к крупному литературному произведению. Развивая критические принципы, намеченные в его ранних эссе и в диссертации о романтической художественной критике, Беньямин демонстрирует применимость высоких метафизических идей в сфере прикладной критики.

Немногие прочтения крупных литературных произведений оказались столь авторитетными и столь спорными. Роман Гёте по самой своей природе неоднозначен. Он начинается как комедия нравов и заканчивается как трагедия. В загородном поместье графа Эдуарда и его жены Шарлотты прибытие двух гостей — капитана, друга Эдуарда, и Оттилии, племянницы Шарлотты, вызывает цепочку «химических» реакций, которые и объясняют название романа: Эдуард влюбляется в воспитанницу Шарлотты Оттилию, а Шарлотту и капитана влечет друг к другу. Вследствие ночных утех у Шарлотты и Эдуарда рождается ребенок, но он похож не столько на биологических родителей, сколько на их возлюбленных, о которых Эдуард и Шарлотта мечтали, когда лежали в объятиях друг друга. Роман приобретает мрачный оттенок после того, как по недосмотру Оттилии, в сумерках переплывавшей с ребенком озеро, тот вываливается из лодки и тонет. Несмотря на несколько двусмысленные утешения со стороны трех других персонажей, Оттилия впадает в молчаливый ступор и в конце концов умирает по неизвестной причине. Само сжатое изложение этого сюжета позволяет пролить яркий свет на одну из основных мотиваций, которыми руководствовался Беньямин при написании этого эссе: изображенное в романе Гёте вторжение двух новых фигур в гармоничный на первый взгляд брак в точности соответствует четырехугольнику Вальтер — Дора — Эрнст — Юла, который привел к таким пагубным последствиям в жизни самого Беньямина. Поэтому нас не должно удивлять, что Беньямин в разговоре о романе поднимает вопрос нравственности. Однако этот разговор решительно утрачивает автобиографический характер, когда Беньямин заявляет, что истинная нравственность может проявиться лишь в использовании языка или в случае Оттилии в отказе от языка. По сути фигура Оттилии становится у него ключом к пониманию романа. Каким бы сильным нравственным превосходством над другими главными персонажами она ни обладала благодаря своему молчанию и мнимой чистоте, для Беньямина ее «внутреннее» решение, так и не будучи оглашенным, то есть выраженным в словах, остается неправдоподобным или, согласно языку самого эссе, ограничено пределами «мифа», а соответственно, и мира природы.

Структура эссе тщательно продумана и играет важную роль. Эссе делится на три главы, и каждая из них, в свою очередь, имеет три части: вступительные размышления о теории критики в ее отношении к философии, интерпретация того или иного аспекта романа и биографические заметки о самом Гёте. Несмотря на эту диалектическую структуру, аргументы Бенямина носят здесь в большей степени дуалистический, нежели диалектический, характер. Он стремится показать, как глубоко элемент мифа вплетен в жизнь персонажей, а также в антураж и атмосферу романа и в то же время как неустанно миф восстает против истины — понимать ли ее как откровение или как свободу. Хотя Бенямин не дает четкого определения мифа, этот термин постоянно всплывает при разговоре об отношениях между людьми и природой, и в рамках этих отношений природа оказывает на людей преимущественно пагубное воздействие⁴⁰. «Заряженная сверхчеловеческими силами, как это свойственно мифической природе, она угрожающе вступает в игру» (SW, 1:303; Озарения, 64). В эссе Бенямина слышится тихий голос, читающий авторитетную философскую интерпретацию изречений еврейских пророков из «Религии разума по источникам иудаизма» Германа Когена. Главное различие, которое проводится в этой работе, — между монотеизмом, понимаемым как любовь к Богу, и язычеством, коренящимся в мифе. Коген начинает с утверждения об абсолютной инаковости Бога, уникальность которого не позволяет ему стать объектом познания (эта идея повлияла на таких разных мыслителей, как Франц Розенцвейг и Карл Барт). Постулируя уникальность божества, монотеизм преодолевает идолопоклонство природы. Работа Когена в ее этическом рационализме обнаруживает некую дозу неприязни (порой находившей отклик у Бенямина) к проявлениям природы и к естественным, чувственным аспектам человеческой жизни. Природа рассматривается Когеном как «ничто в себе», а чувственность — как «животный эгоизм»⁴¹. Таким образом, для Когена, как и для Бенямина в данном эссе, миф обозначает коварное влияние на человеческий дух чего-то принципиально сомнительного. Бенямин выражал глубоко ощущавшийся им «ужас перед природой» уже в своих произведениях перио-

40. Бенямин определяет сущность мифа с помощью намеков: «"Вечное возвращение" выступает как *принципиальная* форма... мифического сознания. (Мифического, потому что оно не предается рефлексии...) Сущность мифического события — возвращение» (АР, Д10,3). В эссе 1921–1922 гг. о Гёте он выражается аналогичным образом: «Всякое мифическое значение стремится к тайне [*Geheimnis*]» (SW, 1:314; Озарения, 76).

41. Cohen, *Religion of Reason*, 46–48, 6.

да молодежного движения⁴². Сейчас, когда ему было почти тридцать, тому же самому ужасу перед лицом «естественного» нашлось место в его эссе, но лучше всего он выражен в следующем отрывке из его «монтажной книги» «Улица с односторонним движением» (1928), работу над которой он начал вскоре после завершения эссе о Гёте. В главке с многозначительным названием «Перчатки» Беньямин пишет:

Тот, кто испытывает отвращение перед животными, больше всего боится, что в прикосновении они признают его своим. В глубине души человеку внушает ужас смутное сознание: в нем живет нечто, столь мало чуждое отвратительному животному, что может быть им признано. Всякое отвращение изначально есть отвращение перед прикосновением... Ему нельзя отречься от своего звериного родства с той тварью, зов которой рождает в нем отвращение, — он должен сделаться ее господином (SW, 1:448; УОД, 20–21)⁴³.

В «„Избирательном сродстве“ Гёте» показывается, что мифическая природа оказывала разрушительное воздействие не только на персонажей — в названии романа отражается бытовавшая в начале XIX в. идея о том, что некоторые химические элементы обладают естественным сродством друг к другу, с которой сопоставляется предполагаемое сродство между каждым персонажем и той или иной чертой природы, — но и на самого Гёте, а также на возможное существование истины в литературном тексте. Беньямин усматривает в сродстве персонажей с поведением природных элементов самый тотальный признак нравственного упадка человечества; это сродство влечет за собой все более решительное вторжение тварных побуждений в этические решения. В глазах Беньямина сам Гёте пал жертвой природного начала: он подчинил свое искусство природе как единственному адекватному образцу. Отметим, что в оригинале эссе Беньямина называется «Избирательное сродство Гёте», а не «„Изби-

42. В «Диалоге о современной религиозности» (1912) главный персонаж говорит: «У нас был романтизм, и мы глубоко обязаны его проницательному проникновению в ночную сторону естественного. В глубине своей естественное не хорошо, будучи чужеродным, ужасающим, пугающим, отвратительным, грубым. Но мы живем так, как будто романтизма никогда не существовало» (EW, 68). См. также письмо Герберту Бельмору от 30.07.1913: «Я полагал, что проверкой подлинного отношения к природе служит страх перед ней. Тот, кто не испытывает страха перед природой, не имеет представления о том, как строить свое отношение к ней» (С, 48).

43. В этом контексте следует заметить, что «Улица с односторонним движением» завершается ссылкой на зарождающийся *physis* — «новую плоть» (SW, 1:487; УОД, 112).

рательное сродство“ Гёте». Как и его персонажей, самого Гёте влечет к себе соответствующий природный элемент. Таким образом, Беньямин подвергает трезвой критике основной троп всего романтизма — символ с его претензией на то, что сквозь него просвечивает «намек на аморальность». Гёте, считая, что в любых вообразимых природных явлениях ему доступны проявления сверхъестественного, оказался в плену у «хаоса символов» (SW, 1:315; Озарения, 78). Для Беньямина знаменитая уверенность Гёте в своей принадлежности к олимпийцам по сути представляет собой не что иное, как необузданный пантеизм — «нечто чудовищное»⁴⁴.

Если прочтение Беньямином персонажей и самого автора романа непросто для понимания — «„Избирательное сродство“ Гёте» представляет собой один из самых непроницаемых критических текстов XX в., то ситуацию еще больше усугубляет теория критики, из которой исходил Беньямин. В «эзотерическом послесловии» к своей диссертации он приписывал Гёте идею о том, что одно лишь искусство способно уловить разрозненные образы «истинной природы», когда-то присутствовавшие в безгрешном мире, но с тех пор затерявшиеся и раздробившиеся: «ограниченный, гармоничный дисконтинуум», как выражается Беньямин (SW, 1:179). Сейчас же в эссе об «Избирательном сродстве» Беньямин определяет «истину», содержащуюся в литературном произведении, как функцию определенных лингвистических элементов текста, в концентрированном виде содержащую в себе истину более общего плана. Беньямин определяет и задачу самой критики: наша последняя надежда на познание природы, а соответственно, и познание нас самих заключается в выделении определенных фрагментов произведения искусства, которые несут в себе некий намек на более всеобъемлющие знания. Однако предлагаемая Беньямином концепция произведения искусства зависит от его идеи об истине только в ограниченной степени. Истина (*Wahrheitsgehalt*), содержащаяся в литературном произведении, представляет собой лишь небольшую долю всех работающих элементов текста. Остаток, определяемый Беньямином как «реальное содержание» (*Sachgehalt*), не имеет отношения к языку в его чисто познавательном виде, то есть к языку имен, описанному им в эссе 1916 г. о языке. На-

44. Ср. критику «болезни пантеизма» у Когена: Cohen, *Religion of Reason*, 33, 45, и *passim*. Беньямин анализирует достоинства пантеизма в связи с Гёте в «Диалоге о современной религиозности» (EW, 66–69). О различиях между концепциями мифа в понимании Беньямина и Когена см.: Menninghaus, “Walter Benjamin’s Theory of Myth”, 299–300.

против, произведения вербального искусства, подобно другим творениям человека, создаются по аналогии с природными объектами. В зависимости от лингвистических форм, выделенных историей, литературные тексты в своей совокупности представляют собой архив «естественной истории»; в таком качестве они подражают природе, какой ее познают люди, — природе, окутанной подобием и мифом.

Миф — это ловушка, в которую всегда попадалась истина. Текст — поле, на котором идет борьба между возникающей и пропадающей истиной и теми элементами с преобладанием мифа, которые сами по себе неоднозначны, не являясь ни истиной, ни ложью: «Это взаимоисключающее соотношение. Нет истины, потому что нет однозначности и, значит, ошибок в мифе». И все же «там, где может присутствовать истина, это бывает только при условии постижения мифа, то есть постижения его уничтожающего равнодушия к истине» (SW, 1:325–326; Озарения, 89). Изображение Беньямином этой антиномии — и сознательное вторжение в нее — во многих отношениях остается ключевой темой его работ. Хотя он во все большей степени рассматривает сам миф как разновидность знаний (как это делают также Адорно и Хоркхаймер в «Диалектике просвещения»), он также приходит к пониманию мифа как формы, в которой капиталистический мир доступен для восприятия — в качестве естественного, единственного возможного мира. Как гласит популярный отрывок из «Пассажей», незаконченной работы Беньямина о различных культурных проявлениях городского товарного капитализма в Париже середины XIX в.: «Культивировать те сферы, в которых вплоть до недавнего времени царил лишь безумие. Идти напролом с заточенным мечом разума в руке, не глядя ни направо, ни налево, чтобы не поддаться страху, манящему из глубин первобытного леса. Каждая делянка в тот или иной момент должна быть сделана пригодной для ее вспашки разумом, очищена от зарослей заблуждений и мифа. Эту задачу следовало выполнить здесь, чтобы освободить место для XIX в.» (AP, N1, 4).

Итак, задача критики состоит в отделении истины от мифа или скорее в очищении и выявлении мифических элементов с тем, чтобы дать представление об истине. Критика Беньямина никогда не носила чисто интерпретационного или оценочного характера, будучи в большей мере искупительной: она «уничтожает» свой объект ради того, чтобы добраться до истины, которую тот может содержать. Это стремление к разрушению неизменно: им отмечены и самые ранние, и самые поздние высказывания Беньямина в отношении критики. В письме, напи-

санном в 1916 г., он предлагает несколько метафор для «критики духовных вещей», стремящейся «отличить подлинное от неподлинного» именно путем устранения «ночи», с которой она борется, с тем чтобы пролить *свой* свет. Критика — своего рода свет, сжигающий и поглощающий произведение, химическое вещество, «которое вступает в реакцию с другим только в том смысле, что, разлагая его, выявляет его внутреннюю природу» (С, 84). А в сочиненных в конце 1930-х гг. заметках для «Пассажей» отмечается, что «„создание“ предполагает „разрушение“» и что «деструктивный или критический импульс материалистической историографии наблюдается в том взрыве исторической преемственности, посредством которого исторический объект впервые создает себя» (АР, N7, 6 и N10a, 1).

Таким образом, Беньямин был тверд в своем убеждении, что можно разработать критический метод, позволяющий отличить истину от мифа. Он подходит вплотную к формулированию критического кредо на первой странице эссе о Гёте:

Критика интересуется истина в произведении, комментатора — его реальное содержание. Соотношение того и другого определяет основной закон писательства, согласно которому чем более значительным является содержание истины в произведении, тем более неприметно и интимно оно связано с его реальным содержанием. Если, таким образом, наиболее долголетними оказываются именно те произведения, истина которых глубоко погружена в их реальное содержание, то на протяжении этого существования реальности [*die Realien*] в произведении предстают перед взором читателя тем яснее, чем больше они отмирают в действительной жизни. Тем самым, однако, реальное содержание и содержание истины, которые в начале существования произведения были едины с протяженностью его жизни, затем расходятся, поскольку содержание истины сначала кажется скрытым тогда, как реальное содержание выступает на первый план. Поэтому для позднейшего критика трактовка того, что бросается в глаза и представляется странным, то есть реального содержания, становится первым условием (SW, 1:297; Озарения, 58).

Необходимые и развивающиеся взаимоотношения между истинной и реальным содержанием — первая в конечном счете предстает перед нами, когда улечивается последнее по мере того, как из явного исторического содержания текста извлекается его философское значение, — указывают на радикальную мутацию традиционного метафизического дуализма в воззрениях Беньямина. Реальное содержание, на которое приходится подавляющая часть текста, с течением времени формирует щит, через который должен прорваться критик, если он хочет выявить

и высвободить все более скрытую истину, содержащуюся в произведении. Беньямин сравнивает отношения между скрытой истиной и явным содержанием с палимпсестом, «поверх поблекшего текста которого четко нанесены знаки другого шрифта, относящего к нему же» (SW, 1:298; Озарения, 58–59). Таким образом, предварительная задача критика состоит в том, чтобы прорваться сквозь реальное содержание. Беньямин выделяет два разнонаправленных типа критики: комментарий, имеющий дело с реальным содержанием текста, и собственно критику, занятую поиском истины. Комментарий на самом элементарном уровне представляет собой филологическую черновую работу, в ходе которой устанавливаются временные пограничные столбы, определяются элементы и выдвигаются концепции. Однако помимо объяснения некоторых явных элементов текста комментарий должен истолковать и сделать прозрачными те явные элементы, которые затевают и скрывают содержащуюся в тексте истину. Это подготовительная работа в том смысле, что она подготавливает произведение искусства к более фундаментальной критической обработке — к раскрытию и применению его истины: «Если метафорически сравнить растущее произведение с пылающим костром, то комментатор стоит перед ним как химик, а критик похож на алхимика. Предметами анализа для первого остаются только дерево и пепел, тогда как для второго загадку составляет лишь пламя, загадку живущего. Так критик спрашивает об истине, живое пламя которой продолжает гореть под горами погибшего прошлого и легким пеплом пережитого» (SW, 1:298; Озарения, 59). Здесь речь идет об откомментированном произведении; оно превращается в обломки по мере того, как критик в своей функции комментатора разлагает его, подобно химику, на отдельные компоненты, а то, что не является в нем существенным, становится при этом пеплом. Критику как специалисту по критике остается засвидетельствовать неизреченную истину, освобожденную — собственно говоря, *исходящую* — из того, что прежде ее скрывало. Уже прошедшая история и исторический опыт, его бездонное влияние на настоящее ввергаются в живое пламя произведения искусства и поглощаются им, в то время как суть более чистого опыта, отраженная в языке текста, высвобождается из опутывающего ее реального содержания текста, как из хтонической стихии. Комментарий высвобождает истину, содержащуюся в литературе, не только путем истолкования, но и путем уничтожения того, что держит ее в плену и скрывает от читателя; при этом насильственном освобождении истины от «неблагородных металлов» происходит искупление павшего языка. В книге о ба-

рочной драме, написанной Беньямином два года спустя, эта метафорическая модель взаимоотношений между истиной и реальным содержанием получает дальнейшее развитие, а критика изображается как «умерщвление произведений». Превращение текста в руину, в «тело символа», неизбежно предшествует раскрытию истины: «Дело исторической критики обнаружить, что функция художественной формы как раз в этом и состоит: превращать исторические элементы содержания, лежащие в основе всякого значимого произведения, в содержательные элементы философской истины. Это преобразование предметности в истинность превращает угасание действительности, когда от десятилетия к десятилетию очарование прежних прелестей ослабевает, в основание нового рождения, в котором вся эфемерная красота полностью исчезает, а произведение утверждается как руина» (ОГТ, 182; ПНД, 190–191). Только «уничтожающая критика» (SW, 1:293), обеспечивающая глубокое преобразование ее объекта и посредством умерщвления его устаревшего исторического содержания возвращающая ему первоначальный вид, только такая философская деконструкция функции формы, устраняющая внешний лоск, способна проникнуть к истине.

Идея очищения — расчистки, взрыва, сожжения — играет ведущую роль в критике Беньямина. Он последовательно сочетает поиск истины со стремлением к устранению и покорению банального и тварного. Шолем первый указал на зловещие деструктивные тенденции в творчестве Беньямина, убедительно увязывая их с революционным мессианизмом своего друга. Мысль Беньямина с самого начала была нигилистической в ницшеанском смысле «божественного нигилизма» (представлявшего собой творческий аспект). Однако концепция разрушения вытекает здесь не только из теологических источников: нужно учитывать еще и враждебность Беньямина к буржуазному обществу, развившуюся в нем более чем за десять лет до его обращения в марксизм. Если буржуазное самопонимание выстраивается вокруг ряда культурно обусловленных образов (самой буржуазии и ее отношений с окружающим миром), то для реальных политических изменений, по мнению Беньямина, необходимо устранение и постепенное уничтожение этих икон.

После завершения эссе о Гёте — Беньямин надеялся опубликовать его во втором номере *Angelus Novus* — весной 1922 г. он обратился к другим замыслам. Он неоднократно утверждал, что самой важной из его работ того периода остается предисловие к произведениям Фрица Хайнле (его текст не дошел до нас). Беньямин даже заявлял, что «увлечение поэзией Хайнле и его жизнью» еще некоторое время будет «главным» из всех его на-

чинаний. Например, он прилежно старался поместить поэзию Хайнле в контекст, простиравшийся от классической лирики до теории матриархата, выдвигавшейся работавшим в то время философом-виталистом Людвигом Клагесом. До наших дней дошла лишь небольшая часть поэтического наследия Хайнле, и, как мы уже отмечали, вопрос о его достоинствах остается открытым. Единственное полное собрание поэзии Хайнле находилось у Беньямина, и оно пропало вместе с рядом работ самого Беньямина, когда содержимое его берлинской квартиры было конфисковано гестапо. Другие друзья и современники мало чем могут помочь, поскольку Беньямин окружил эти стихотворения покровом тайны, похожим на культ. Вернер Крафт вспоминает проведенный в начале 1920-х гг. вечер в Грюневальде, когда Беньямин «экстатически» прочитал несколько сонетов Хайнле, но при такой манере чтения было невозможно вникнуть в их содержание. Крафт справедливо воспринял такое причащение к святым святых как знак особого уважения и доверия, но, когда он попросил Беньямина дать ему эти стихотворения, чтобы прочесть их самому, тот ответил решительным отказом⁴⁵.

Кроме того, Беньямин уделял самое скрупулезное внимание изданию переводов Бодлера, делая бесчисленные предложения по поводу выбора типографии, макета и переплета и неоднократно призывая Вайсбаха обеспечить книге широкую рекламу. В рамках рекламной кампании, предшествовавшей выходу книги из печати, 15 марта 1922 г. Беньямин принял участие в вечере, посвященном Бодлеру, в книжном магазине *Reuss und Pollack* на берлинской Курфюрстендамм, выступив с речью о поэте и прочитав кое-что из своих переводов. Хотя он, по-видимому, говорил по памяти или руководствовался заметками, значительно позже среди его бумаг были найдены два коротких текста «Бодлер II» и «Бодлер III» (см.: SW, 1:361–362), вероятно, представляющих собой предварительные версии его заметок. В этих текстах речь идет о бинарных взаимоотношениях между произведениями Бодлера и его «точкой зрения». Значительная часть «Бодлера III» посвящена хиастическим взаимоотношениям между понятиями, ключевыми для Бодлера, — «сплин» и «идеал». Беньямин указывает, что сплин ни в коем случае не является усредненной меланхолией — его источник скрывается в «обреченном на крах, погибельном полете к идеалу», в то время как идеал, в свою очередь, вырастает из сплина: «Это меланхолические образы, от которых особенно ярко вспыхивает духовное начало». Эта перестановка,

45. См.: Kraft, *Spiegelung der Jugend*, 64.

старательно подчеркивает Беньямин, происходит не в сфере морали, а в сфере восприятия: «Нам в его поэзии близок не предосудительный хаос в [моральных] суждениях, а допустимый переворот в восприятии». Если ключевые мотивы такого прочтения все равно опираются на категории, через которые традиционно воспринимается Бодлер, то «Бодлер II» выходит на новый уровень и предвещает главные мотивы творчества Беньямина в 1930-е гг. В этом коротком тексте он изображает Бодлера как привилегированного читателя особого корпуса фотографических работ: само время подается как фотограф, запечатлевающий на фотопластинке «суть вещей». Разумеется, эти пластинки — негативы, а «негатив не позволяет никому выявить... подлинную сущность вещей, какими они являются». В примечательной попытке показать оригинальность достижений Бодлера Беньямин приписывает ему не способность проявлять такой негатив, а скорее «предчувствие реального изображения. И уже это предчувствие наделяет голосом негатив сущности во всех его стихах». Так, взгляд Бодлера проникает глубоко в природу вещей в таком его стихотворении, как «Солнце», его представление об истории как о многократной экспозиции отражается в «Лебеде», а присущее ему ощущение негатива как явления преходящего и всегда необратимого — в «Падали». Кроме того, Беньямин находит у Бодлера способность, аналогичную той, которую он приписывает Кафке в посвященном ему эссе, написанном в 1934 г.: глубокое понимание «мифической предыстории» души. Именно благодаря опыту знания как первородного греха Бодлер в ходе «бесконечных умственных усилий» постигает природу негатива и обретает несравненное понимание искупления.

В этот период, примечательный скудостью уцелевшей переписки, практически единственным прямым указанием на то, чем занимался Беньямин в Берлине в первой половине 1922 г., служат письма Вайсбаху, то настойчивые, то обиженные. Однако косвенные указания поражают воображение. Беньямин, в принципе еще опирающийся на мир романтиков, начинает дышать воздухом во многом иного мира — мира европейского авангарда. В Швейцарии Хуго Балль познакомил его с кинематографистом Гансом Рихтером, а Дора Беньямин и первая жена Рихтера Элизабет Рихтер-Габо стали близкими подругами. Рихтер, который прежде был маргинальной фигурой в среде цюрихских дадаистов, к концу 1921 г. стал играть роль катализатора новых направлений в берлинском передовом искусстве. В течение следующего года Беньямин при посредстве Рихтера постепенно свел знакомство с примечательной группой художников, в то время активно действовавшей в городе. В этот рыхлый интернационал входили

бывшие дадаисты Рихтер, Ханна Хёх и Рауль Хаусман, конструктивисты Ласло Мохой-Надь и Эль Лисицкий, молодые архитекторы Мис ван дер Роэ и Людвиг Гильберсаймер и такие местные художники, как Герт Каден, Эрих Буххольц и Вернер Граефф. К ним часто присоединялись Тео ван Дусбург, знакомивший их с идеями голландской группы «Де Стейл», Тристан Тцара, Ганс Арп и Курт Швиттерс. Группа часто собиралась — главным образом в студии Рихтера на Эшенстрассе, 7, в Берлине-Фриденау, а также в студиях Кадена и Мохой-Надя и в некоторых берлинских кафе, и среди ее участников ежедневно разгорались споры о том, в каком направлении должно двигаться новое европейское искусство, и о новых социальных формах, основывающихся на этом искусстве. В конце 1921 г. Мохой-Надь, Хаусман и Арп совместно с русским художником Иваном Пуни опубликовали «Призыв к элементаристскому искусству» — манифест нового искусства, вырастающего не из творческого гения отдельных индивидуумов, а из возможностей, присущих художественным материалам и процедурам. Исходя из этой основы, берлинская группа постепенно пришла к согласию в отношении ряда общих принципов. Ключевые идеи группы, выдвигавшиеся Рихтером, Лисицким, ван Дусбургом и Мохой-Надем, дошли до нас в описании Герта Кадена: «Нашей целью служит вовсе не личная „линия“ — то, что всякий может субъективно интерпретировать, а работа с объективными элементами: кругом, конусом, сферой, кубом, цилиндром и т. д. Эти элементы не поддаются дальнейшей объективации... Так в пространстве создается динамически-конструктивная система сил, система, которой присущи глубинная законность и величайшие напряжения»⁴⁶. В июле 1922 г. Мохой-Надь выступил с этапным эссе «Производство-Воспроизводство» в журнале *De Stijl*; в этом эссе исследуются взаимосвязи между новым искусством, новым аппаратом чувственного восприятия, который может развиваться у людей благодаря контакту с ним, и новым, свободным обществом, которое называлось конечной целью культурного производства. Выработав единую позицию, Рихтер, ван Дусбург, Хаусман, Мохой-Надь, Швиттерс, Граефф и Лисицкий 25 сентября 1922 г. на встрече в Веймаре заявили об основании Конструктивистского интернационала. Судя по всему, на этой встрече разгорелись яростные споры по поводу политической ориентации нового объединения. Мохой-Надь при поддержке своих венгерских коллег Аль-

46. Герт Каден Альфреду Хиршбреку, без даты; см.: Sächsische Landesbibliothek, Dresden, Handschriftensammlung, Nachlaß Caden. Цит. по: Finkeldey, "Hans Richter and the Constructivist International", 105.

фреда Кемени и Эрно Каллаи выступал за коммунистическую линию, требовавшую, чтобы художник в конечном счете сохранял верность пролетариату. Столкнувшись с непреодолимым противодействием, Мохой-Надь и его сторонники порвали отношения с основной группой. Мохой-Надь вскоре перебрался в Веймар и перестал принимать участие в берлинских дискуссиях. Однако Рихтер при значительном содействии Лисицкого, Граеффа и Миса ван дер Роэ основал журнал *G*: «Журнал для элементарного дизайна» (*Zeitschrift für elementare Gestaltung*), один из множества мелких журналов наряду с «Новым духом» (*Esprit Nouveau*) Корбюзье, «Стилем» (*De Stijl*) ван Дусбурга и «Вещью» Лисицкого, которые пытались определить новое направление, в данном случае представлявшее собой слияние дадаизма и протосюрреализма в жестких рамках, задававшихся конструктивизмом. После начала выхода *G* в 1923 г. группа художников, собиравшихся в Берлине в начале 1920-х гг. и задавших это направление, задним числом стала известна как Группа *G*⁴⁷.

На многих из этих дискуссий присутствовали Вальтер Беньямин и Эрнст Шен; надо полагать, что они больше слушали и запоминали, чем участвовали в выработке идей, которые наверняка по большей части казались им новыми и противоречили их инстинктам. После начала издания *G* и Шен, и Дора Беньямин значились в нем как авторы и редакторы, а сам Беньямин перевел для журнала эссе Тцары «Снимок с оборотной стороны». Трудно переоценить значение этой встречи с авангардом для последующих воззрений и произведений Вальтера Беньямина. Деятельность Группы *G* не нашла немедленного отзвука в его работе, но, начиная с первых заметок для его «монтажной книги» «Улица с односторонним движением», появившихся в 1923 г., в его творчестве все более отчетливым становится переосмысление ключевых принципов Группы *G*. Многие из его самых знаменитых выступлений 1930-х гг., в частности эссе «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости», представляют собой запоздалые проявления интереса к технике и к историчности человеческих чувств, начавшего складываться в 1922 г.⁴⁸

47. Факсимильный перевод журнала *G* и ряда опубликованных в нем в то время статей см. в: Mertins and Jennings, eds., *G: An Avant-Garde Journal of Art, Architecture, Design, and Film*.

48. Ключевой фигурой этого течения, безусловно, следует считать Мохой-Надя. Хотя до нас дошли лишь скудные свидетельства о его дружбе с Беньямином, существенно, что на диаграмме, изображающей связи Беньямина с другими людьми, «напоминающей ряд генеалогических деревьев» и составленной в качестве приложения к его «Берлинской хронике», именем Мохой-Надя кончается целая ветвь диаграммы. См.: SW, 2:614; GS, 6:804.

К началу лета 1922 г. Беньямину не терпелось получить от Вайсбаха какой-нибудь знак о том, что *Angelus Novus* выйдет в свет. В конце июня он попросил Вайсбаха «отметить запланированный день рождения» *Angelus Novus* путем выплаты ему годового редакторского оклада в 3200 марок; не получив ответа, 21 июля он отправился в Гейдельберг — по крайней мере отчасти ради личной встречи с издателем. Несколько недель спустя вернувшись в Берлин, он написал Шолему и Рангу, оповещая их об агонии *Angelus Novus*, чья «жизнь на земле подходит к концу». Вайсбах снова объявил о «временном» прекращении всякой работы над данным проектом, но сейчас Беньямину стало очевидно, что журнал никогда не выйдет. Однако он постарался сделать хорошую мину, сообщив обоим своим корреспондентам, что это решение вернуло ему «прежнюю свободу выбора» и более четко раскрыло перед ним возможные академические перспективы (С, 200).

Осенью 1922 г. внимание Беньямина и его друзей все чаще обращалось к стремительному ухудшению экономической ситуации в Германии. Эрих Гуткинд был вынужден уйти в коммивояжеры и разъезжать по стране, сбывая маргарин. Беньямин снова начал мучительные переговоры с отцом в отношении финансового вспомоществования. Кроме того, он усиленно пытался заработать на жизнь путем спекуляций на букинистическом рынке, дешево покупая книги в одном месте — нередко на северных окраинах города — и с прибылью перепродавая их во все еще относительно процветающей западной части Берлина. Он сообщал Шолему, что в Гейдельберге купил одну книжку за 35 марок и перепродал ее в Берлине за 600 марок. Однако к ноябрю трения в отношениях с родителями стали невыносимыми: «Я намерен положить конец моей зависимости от родителей, чего бы это мне ни стоило. Из-за их ярко выраженной мелочности и властолюбия она превратилась в мучение, пожирающее всю энергию, необходимую мне для работы, и всю радость жизни» (С, 201–202). Ситуация настолько обострилась, что в Берлин из Вены приехал отец Доры с намерением сыграть роль посредника. В ходе ожесточенных перепалок отец Беньямина требовал от сына, чтобы тот пошел служить в банк. При всей несимпатичности такой фигуры, как 31-летний муж и отец, находящийся в почти тотальной финансовой зависимости от своих пожилых родителей, идея о том, чтобы Вальтер Беньямин стал банковским клерком, не может не вызвать сомнений в способности Эмиля Беньямина оценить своего сына. Дело не только в том, что таланты Беньямина оказались бы растрочены впустую, но и в том, что Беньямин, несомненно, был неспособен

трудиться в высшей степени регламентированном и замкнутом мире финансового учреждения. Он продемонстрировал полное отсутствие делового чутья во время переговоров с родителями, объявив их финансовое состояние «очень хорошим», в то время как германская экономика стремительно скатывалась в гиперинфляцию 1923 г. Обменный курс, сразу же после войны составлявший 14 марок за доллар, к июлю 1921 г. постепенно упал до 77 марок за доллар, а 1922 г. был отмечен рядом еще более резких падений: в январе за доллар давали 191 марку, в середине лета — 493 марки, а в январе 1923 г. — 17972 марки⁴⁹. Более конкретным критерием может служить цена буханки хлеба: 2,80 марки в декабре 1919 г., 163 марки в декабре 1922 г., 69 тыс. марок в августе 1923 г. и 399 млрд марок в разгар гиперинфляции в декабре 1923 г.

Нельзя сказать, что Беньямин на этих переговорах вел себя совсем несговорчиво; он заявил, что не отказывается от профессиональной карьеры, но лишь от такой, которая бы не положила конец его ученым амбициям. Родители Доры были готовы дать молодой чете денег на основание букинистического магазина — незадолго до этого именно так поступил Эрих Гуткинд, получив от родителей некоторую сумму, — но карьера книготорговца казалась старшим Беньяминам неприемлемой. Сделанное в ноябре «окончательное» предложение Эмиля Беньямина — выдавать 8 тыс. марок в месяц (что составляло бы около 1,25 доллара в 1922 г.) — было решительно отвергнуто, что привело к резкому разрыву с родителями. Беньямин оказался в ситуации, которую можно назвать отчаянной. Он был неприкаемым интеллектуалом, не имевшим конкретных перспектив работы, в то время как экономика страны находилась на грани хаоса. Вообще говоря, он мечтал стать ведущим критиком, но к концу 1922 г. все его публикации, появившиеся за последние восемь лет, со времен молодежного движения, сводились всего к трем небольшим статьям, не считая диссертации, издание которой было обязательно, а судьба его самых последних замыслов, включая журнал и переводы из Бодлера, оставалась крайне неопределенной.

Эта стрессовая ситуация сказалась на здоровье Доры. В конце ноября, забрав с собой Штефана, она покинула виллу на Дельбрюкштрассе, отправившись сначала к родителям в Вену, а затем опять в Брайтенштайн, в санаторий своей тетки. Между тем Беньямин в безумном декабре отбыл на запад,

49. См.: Craig, *Germany*, 450.

в Гейдельберг. Он посетил также Вольфа Хайнле в Геттингене и Флоренса Христиана Ранга в Браунфельсе. Два эти визита, несомненно, симптоматичны. Посещая брата своего покойного друга, Беньямин пытался сохранить один из немногих оставшихся у него человеческих контактов с друзьями по молодежному движению — к началу 1920-х гг. Беньямин поддерживал связь только с Хайнле, Эрнстом Йозелем и Альфредом Куреллой. Однако Вольф Хайнле стремительно терял здоровье. Несмотря на горькие сетования, которыми осыпал его Хайнле, Беньямин посоветовался с врачом, лечившим молодого человека, и навел справки о возможности отправить его в санаторий в Давосе; в последующие месяцы он пытался собрать среди друзей Хайнле деньги на его лечение. Не менее значимым был и визит к Рангу: он стал самым важным из его партнеров по интеллектуальным дискуссиям. Не исключено, что зависимость Беньямина от немолодого Ранга была следствием определенной интеллектуальной изоляции Беньямина в Берлине. Шолем вспоминал Ранга как «неугомонного, буйного и вспыльчивого» человека. Однако диалог и переписка между Беньямином и Рангом, легко переходивших от политических проблем к драматургии, литературной критике и религии, своим размахом и глубиной вполне совместимы с итогами длительного общения Беньямина с Шолемом и Адорно. Как первым указал Шолем, Беньямин в начале 1920-х гг. «находил — что удивительно, по ту сторону всех различий в религиозных и метафизических взглядах — глубокое взаимопонимание с Рангом на высочайшем политическом уровне» (SF, 116; ШД, 192).

Итак, в конце 1922 г. Беньямин еще раз побывал в Гейдельберге — не столько в последней попытке найти для себя место в академических кругах, сколько для того, чтобы убедиться, что после многих лет усилий такого места для него там так и не нашлось. Прибыв в Гейдельберг в начале декабря, он снял комнату и продолжил работу над эссе о лирической поэзии, которое должно было служить предисловием к наследию Хайнле. Но даже это оказалось для него мучением, поскольку ему постоянно мешали шумные дети, игравшие за стеной. Он поспешил возобновить контакт с экономистом Эмилем Ледерером, издавшим «К критике насилия» в *Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik*, надеясь через него выйти напрямую на Ясперса. Однако после выступления на семинаре Ледерера Беньямина туда больше не приглашали. Кроме того, он возобновил посещение социологических вечеров в доме Марианны Вебер. Получив предложение выступить там с докладом, он оказался в сложном положении. У него не было никаких подходящих ма-

териалов, и потому он избрал для выступления «наиболее пригодную тему»: устный вариант своего эссе о лирической поэзии. Хотя его ожидал самый жалкий провал, это уже не имело значения. Беньямин узнал, что Альфред Вебер уже выбрал кандидата для хабилитации. «Еврея, — писал он Шолему, — по фамилии Мангейм». Беньямин познакомился с Карлом Мангеймом, найдя его «приятным молодым человеком», через Блоха. Мангейму еще предстояла стать одной из крупнейших фигур в социологии: с 1926 по 1930 г. он работал в Гейдельберге ассистентом преподавателя, затем получил место во Франкфурте, а после 1933 г., находясь в изгнании в Англии, преподавал в Лондонской школе экономики. Инстинкт не подвел Бенямина, и Гейдельберг можно было считать пройденным этапом в его жизни.

Глава 5

Странствующий ученый: Франкфурт, Берлин и Капри. 1923–1925

КНАЧАЛУ 1923 г. Бенъямин мог надеяться на академическую карьеру лишь во Франкфурте, где он встретил новый год. В начале 1920-х гг. Франкфуртский университет был широко известен в качестве нового и экспериментального учебного заведения. Все без исключения университеты, в которых прежде обучался Бенъямин, были почтенными учреждениями, в некоторых случаях весьма древними. Университет в Гейдельберге был основан в 1386 г., во Фрайбурге — в 1457 г., в Мюнхене — в 1472 г. (первоначально в маленьком баварском городке Ингольштадте, в Мюнхен университет был переведен по воле баварского монарха в 1810 г.). Даже Берлинский университет, основанный Вильгельмом фон Гумбольдтом в соответствии с идеями Фридриха Шлейермахера, был создан в 1810 г. А Франкфуртский университет открыл свои двери лишь в 1914 г. И в отличие от других университетов, учреждавшихся царствующими династиями на подвластных им землях и впоследствии финансирувавшихся государством, Университет во Франкфурте работал благодаря пожертвованиям и вкладам от частных лиц и корпораций. Такое пересечение финансового и интеллектуального миров было невозможно найти ни в одном другом месте Германии, но оно было типично для Франкфурта. Зигфрид Кракауэр в своем автобиографическом романе «Дрок» (1928) описывал свой родной город как «метрополис на реке среди высоких холмов. Подобно другим городам, он эксплуатировал свое прошлое ради привлечения туристов. В его стенах, на месте которых уже давно были разбиты парки, происходили коронавания императоров, международные конгрессы и общенемецкие состязания стрелков... Некоторые христианские и еврейские семьи могли проследить свое происхождение вплоть до прародителей. Но даже семьи, не имевшие почтенной родословной, становились банкирами со связями в Париже, Лондоне и Нью-Йорке. Культурные учреждения и биржу отделяло друг от друга только простран-

ство»¹. Хотя финансирование университета сильно сократилось из-за экономического упадка после окончания мировой войны, город и земля Гессен взяли на себя это бремя, и в 1920-е гг. Франкфуртский университет имел общепризнанную репутацию самого динамичного и новаторского высшего учебного заведения в Германии. Бенъямин не имел контактов с учеными ни в одной из дисциплин, в рамках которых могли бы получить признание его труды, однако у него имелись связи с некоторыми учеными, работавшими в других областях. Во Франкфурте жил его двоюродный дед, заслуженный профессор математики Артур Мориц Шенфлис; в 1920 и 1921 гг. он был ректором университета и даже теперь, выйдя в отставку, оставался влиятельной фигурой. Но поддержку Бенъямину неожиданно оказал совсем другой человек — Гофрид Саломон-Делатур, социолог и ассистент преподавателя в университете, с которым Бенъямин, возможно, познакомился через Эриха и Люси Гуткиндов. Саломон-Делатур был учеником Георга Зиммеля и защитил диссертацию под его руководством. При их посредстве Бенъямин надеялся устроиться на факультете эстетики, считая его самым подходящим местом для прохождения хабилитации. Эта попытка тоже сопровождалась непониманием и путаницей: Саломон передал образцы трудов Бенъямина — эссе о Гёте и «К критике насилия» не профессору эстетики Гансу Корнелиусу, а Францу Шульцу (1877–1950), возглавлявшему кафедру истории немецкой литературы. Саломон, будучи социологом, не имел с Шульцем ни профессиональных, ни личных связей; судя по всему, он просто счел профессора, отвечавшего за преподавание истории немецкой литературы, тем человеком, которому работы Бенъямина были бы особенно близки. В последующие месяцы Бенъямин неоднократно пытался обратиться к Шульцу, который делал все, что было в его силах, дабы не подпускать Бенъямина к себе.

Во время своего недолгого пребывания во Франкфурте Бенъямин посетил выдающегося религиозного философа Франца Розенцвейга (1886–1929), основавшего и возглавлявшего знаменитый *Freies Jüdisches Lehrhaus* (Свободный еврейский дом знаний) — учебное заведение для взрослых евреев, в котором читали лекции и преподавали многие видные интеллектуалы. В начале 1922 г. у Розенцвейга обнаружили первые симптомы бокового амиотрофического склероза — болезни, от которой он в итоге умер. К моменту визита Бенъямина Розенцвейг страдал от бы-

1. Kracauer, *Ginster*. См.: Kracauer, *Werke*, 7:22.

стро развивавшегося паралича и мог изъясняться лишь «обрывками речи», понятными для его жены. Главной темой разговора стал капитальный труд Розенцвейга «Звезда искупления», изданный в 1921 г. и прочитанный Беньямином во время его работы над эссе о Гёте. Книга Розенцвейга погрузила Беньямина в ту внутреннюю борьбу, которая нередко сопровождала восприятие им влиятельных идей. После прочтения «Звезды искупления» он писал: «Я... [понимаю], что эта книга не может не подвергнуть беспристрастного читателя опасности переоценить ее в смысле ее структуры. Или только я один такой?». Впоследствии он отмечал, что книга Розенцвейга какое-то время вызывала у него «восхищенный интерес» (С, 194, 494). Несмотря на значительное сходство между онтологическими теориями языка, разработанными Беньямином и Розенцвейгом, самое глубокое впечатление на Беньямина произвела прозвучавшая у Розенцвейга критика претензий на всеобщность, свойственных идеалистической философии вообще и Гегелю в частности. В глазах Розенцвейга уникальность взаимоотношений между Богом и индивидуумом берет верх над притязаниями каких-либо более крупных объединений. И философия этого не понимала. «Философия должна избавить мир от того, что является уникальным, и ликвидация этого Ничто служит также причиной, почему ей приходится быть идеалистической. Ибо именно идеализм с его отрицанием всего, что отличает уникальное от общего, представляет собой орудие философского ремесла»². Несмотря на сочувственное отношение к этой полемике и к экзистенциальной злободневности представлений Розенцвейга, Беньямин явно испытывал некоторые сомнения в отношении его работы, «опасности» которой, возможно, ассоциировались в его уме с почти вагнеровским звучанием ее аргументации и философским обоснованием обедни и «кровного сообщества»³. Тем не менее в письме Шолему (антимилитаризм которого подвергся несколько загадочным нападкам со стороны Розенцвейга в конце его беседы с Беньямином) он отмечал, что, «несмотря ни на что, в самом деле хотел бы снова повидаться с Розенцвейгом» (С, 205).

Когда Беньямин уже собирался уходить, к Розенцвейгу пришел его друг, историк права Ойген Розеншток-Хюсси; то, что тот оказался в одной комнате с Розенцвейгом, вполне могло ужаснуть Беньямина, так как они могли заговорить о про-

2. Rosenzweig, *The Star of Redemption*, 4. О «языке как органе откровения» см. 110, 295 и *passim*.

3. О Розенцвейге см.: SW, 2:573 («Привилегированное мышление», 1932) и SW, 2:687 (заметка 1931–1932 гг.).

блеме обращения. Пока оба они находились на фронте во время Первой мировой войны, Розеншток-Хюсси, перешедший в христианство, обменялся с Розенцвейгом серией широко обсуждавшихся писем о понимании между христианами и евреями. Сам Розенцвейг стоял на пороге обращения в 1913 г., хотя и отказался от него вследствие систематического изучения иудаизма, предпринятого им с целью прояснить и обосновать свою позицию. Однако их обоих продолжали связывать с Патмосским кружком — группой авторов, публиковавшихся в вюрцбургском издательстве *Patmos Verlag*, среди которых видное место занимали обращенные евреи (см.: GB, 2:301n). Судя по всему, Бенъямин испытывал к религиозному обращению так же мало симпатии, как и к любому другому проявлению организованной религии. Дора вспоминала его сдержанную реакцию на статью Карла Крауса (опубликованную в его журнале *Die Fackel* за ноябрь 1922 г.), в которой Краус анализировал свое обращение в католицизм, произошедшее в 1911 г., и последующее отречение от него. Бенъямин воскликнул, что «надо было быть Краусом и не сделать этого с тем, чтобы что-нибудь сказать на этот счет» (цит. по: GB, 2:302n).

Когда Бенъямин вернулся в Берлин, там бушевал самый страшный кризис из всех, какие случились в Германии после окончания мировой войны. Французы и бельгийцы продолжали оккупировать Рур, промышленное ядро Германии, оправдывая эту меру нежеланием Германии выплачивать репарации. Берлинское правительство призвало к всеобщей забастовке, и это в сочетании с уже произошедшим резким сокращением производства в регионе привело к глубокому экономическому кризису. Бенъямин был задет этим в достаточной степени для того, чтобы сделать несколько из своих самых решительных политических заявлений 1920-х гг. Он рассматривал Рурский кризис не просто как «ужасающую экономическую ситуацию», но и как «духовную инфекцию» (GB, 2:305). По примеру Ранга, энергично сочинявшего статьи и воззвания в поддержку германского правительства и требовавшего этого от других, Бенъямин призывал друзей и знакомых к публичным выступлениям и сплочению интеллектуальных кругов. Несмотря на свое недоверие к парламентской демократии, он отлично понимал, что Германии нужны такие граждане, как Ранг, которые, как писал сам Ранг, «не позволяют замутить свою точку зрения на глубины политики и сохраняют спокойствие, не становясь *Realpolitiker*» (GB, 2:305).

Социальные волнения в сочетании с профессиональной неопределенностью в первые месяцы 1923 г. погрузили Бенъямина

в глубокую депрессию. В первых числах января он воссоединился с семьей в санатории в Брайтенштайне, где он, Дора и четырехлетний Штефан почти полтора месяца прожили в одной комнате. Его письма, написанные в эти дни, отмечены безнадежностью и ощущением изоляции, которое усугубляли бесконечные снегопады: «Я в самом деле не могу сообщить о себе ничего хорошего... Я все же напишу реабилитационную диссертацию, а затем после дальнейших тщетных усилий взвалю на себя обузу карьеры не в журналистике и не в науке» (С, 205–206). Его оценки собственного положения едва ли становились более оптимистичными из-за сообщений о быстром ухудшении здоровья Вольфа Хайнле. Беньямин продолжал собирать деньги на оплату пребывания Хайнле в швейцарском санатории, хотя и знал о том, что ситуация «безнадежна» (ГВ, 2:309). Вольф Хайнле умер 1 февраля от осложнений, вызванных запущенным туберкулезом, что ввергло Беньямина в еще большее отчаяние и уныние, сходное с тем, которое он ощущал после самоубийства Фрица Хайнле в 1914 г. Беньямин вспоминал обоих братьев как «самых красивых молодых людей, которых [он] когда-либо знал», и воспринимал их утрату как утрату «критериев, по которым оцениваешь свою собственную жизнь». Ему казалось, что при наличии потребности в «мышлении, свободном от софистики, в произведениях, не являющихся воспроизведением, в поступках без расчета» образцом всего этого могли служить братья Хайнле (С, 206–207). Ощущение потери усугублялось и все более вероятным отбытием Шолема в Палестину.

Как часто случалось в жизни Беньямина, из самых глубин охватившей его депрессии — «несчастья... осаждают меня со всех сторон, подобно волкам, и я не знаю, как от них отбиться», — выросла одна из лучших его работ. В своих странствиях по Германии, писал он Рангу, ему пришлось столкнуться с национальной «судьбой, которая сейчас дает о себе знать особенно сокрушительным и пагубным образом. Само собой, эти последние дни поездок по Германии снова привели меня на грань отчаяния, и я смог бросить взгляд в пропасть» (С, 206–207). Открытой им в себе готовности выступать на злободневные социальные, политические и экономические темы — эта смена настроений в значительной степени произошла под влиянием Зигфрида Кракауэра, с которым Беньямин познакомился в конце 1922 г. или в 1923 г. (см.: ГВ, 2:386п), — сопутствовала новая программа чтения с особым упором на сборники афоризмов. Беньямин перечитал афоризмы Ницше и впервые ознакомился с *Buch der Freunde* («Книгой друзей», 1922) Гуго фон Гофманстля. Используя описания кризиса, сделанные им самим в своих

письмах, Беньямин в течение года сделал первые наброски к серии коротких прозаических отрывков, которые впоследствии были включены в его новаторскую «монтажную книгу» «Улица с односторонним движением». Первый такой цикл коротких фрагментов представлял собой анализ того, как экономический кризис повлиял на людей, и носил рабочее название «Путешествие по германской инфляции». Ближе к концу года Беньямин торжественно презентовал этот цикл в виде свитка в качестве прощального подарка Шолему, уезжавшему в Палестину, что позволяет судить о значении, придававшемся этим первым попыткам освоить короткую прозаическую форму, которую Беньямин вслед за Штефаном Георге, ранее уже применявшим это выражение⁴, будет называть «фигурами мысли» (*Denkbild*). Короткое, но поразительно многогранное «Путешествие по германской инфляции» было опубликовано в 1928 г. в книге «Улица с односторонним движением» под названием «Императорская панорама». Что характерно для Беньямина, в основу этого анализа экономической ситуации и ее политических последствий положена не экономика и не политика, а влияние этой ситуации на восприятие людей и на их когнитивные способности: состояние «неприкрытой нищеты» само по себе сопротивляется попыткам людей осознать его. «...Массовые инстинкты сейчас, как никогда, искажены, безумны и чужды жизни... люди настолько закоснели в своей привязанности к знакомой, привычной, но теперь уже давно утраченной жизни, что даже в критической ситуации собственно человеческие качества их — опора на интеллект, предвидение будущего — не срабатывают... Люди, запертые в пространстве этой страны, утратили способность видеть очертания человеческой личности. Каждый свободный человек предстает перед ними чудачком... Всякая вещь... теряет свою сущность, и на место подлинности приходит двусмысленность» (SW, 1:451–454; УОД, 28–36). Разумеется, «Императорская панорама» предвосхищает активное увлечение Беньямина марксизмом, но в ней уже просматриваются контуры принципиальной позиции, присутствующей в его воззрениях более позднего периода: убеждения в том, что социальные изменения должны основываться на росте осознания реально существующих условий. Более того, Беньямин был убежден в том, что эти условия в данный момент могли восприниматься лишь в искаженном, завуалированном виде⁵. Как указывалось

4. См.: Adorno, *Notes to Literature*, 2:322 (“Benjamin’s *Einbahnstraße*”, 1955).

5. Эта позиция Беньямина уже предчувствуется в первом абзаце его эссе 1915 г. «Жизнь студентов» (см. главу 2).

в фрагменте 1921 г. «Капитализм как религия», капитал сохраняет свою власть благодаря подавлению сенсорных и когнитивных способностей человека, представляющему собой одну из ее отличительных черт.

В середине февраля Беньямин в одиночестве вернулся из Брайтенштайна в Берлин, по пути заехав в Гейдельберг, чтобы забрать у Ричарда Вайсбаха рукопись *Angelus Novus*. Этим кончилась первая попытка Беньямина основать журнал; он не пытался найти другого издателя для *Angelus Novus*: на это решение, несомненно, повлияла отчаянная экономическая ситуация 1923 г. После того как карьера редактора и возможность заработка оказались для Беньямина закрытой темой, он с тоской отмечал, что Гуткинды имеют возможность существовать на доходы от своего книжного магазина. Он тоже мечтал «увидеть terra firma» (GB, 2:320), получить надежную опору, которая позволила бы ему реализовать его «сокровеннейшее желание»: «отказаться от квартиры в родительском доме» (С, 206). А в начале 1923 г. единственной опорой, которую Беньямин представлял себе, был университет. В начале марта он вернулся во Франкфурт, где с необычайной прилежностью следил за академическими маневрами, неизбежно сопровождавшими попытку хабилизации. По сути, разделавшись с эссе о Гёте, Беньямин уже приступил к широкомасштабной программе изысканий в рамках своего следующего замысла — работы о барочной драматической форме, известной как *Trauerspiel* («барочная драма»). Этот жанр, зародившийся в XVI в., пережил расцвет в Германии XVII в.; в число его основных авторов входили Андреас Грифиус и Даниэль Каспер фон Лознштайн. Хотя барочная драма имеет отдаленное родство с классической трагедией, гибель ее героя сопровождается не возвышенным пафосом его борьбы со своей судьбой, а чем-то вроде демонстрации скорби. Беньямин впоследствии описывал барочную драму как «спектакль, разыгрываемый перед скорбящими». На данном этапе проекта Беньямин не мог точно сказать, работает ли он над хабилизационной диссертацией или проводит отдельное исследование: он все еще питал надежду на то, что Шульц согласится принять от него в качестве диссертации эссе о Гёте. Но, судя по всему, именно Шульц первый предложил, чтобы Беньямин в полную силу занялся барочной драмой⁶. Хотя в начале 1920-х гг. намечались признаки пробуждения интереса к барочной драме, в то время

6. См. недатированный черновик письма Шульцу, относящийся примерно к осени 1923 г., в котором Беньямин пишет, что Шульц «настаивает» на этой теме (GB, 2:354).

к ней в целом по-прежнему относились пренебрежительно, считая ее низким, эстетически вульгарным жанром. С учетом тяги Бенямина к маргинальным и, по всей видимости, незначительным явлениям, не говоря уже о том, что несколькими годами ранее он уже подступался к этому барочному жанру⁷, барочная драма была приманкой, на которую он не мог не клюнуть. Соответственно, многое из того, что он читал в первые месяцы года, было связано с его студиями в сфере барочной драмы и представляло собой обычную для него смесь художественной литературы, философии, теологии и политики. Помимо активного ознакомления с собственно барочной драмой он изучил широко известный трактат специалиста по античной филологии Германа Узенера об именах богов, новый перевод Нового Завета, выполненный Леандером и Карлом фон Эссом, «Политическую теологию», написанную консервативным политическим теоретиком Карлом Шмиттом, и исторический роман писателя-реалиста XIX в. Карла Фердинанда Мейера «Юрг Йенах», главный герой которого был списан с жившего в XVI в. пастора и политика, носившего такое же имя. К середине апреля Бенямин мог сообщить, что он «определился» с ключевыми положениями своего анализа барочной драмы.

После недели визитов и бесед со своими союзниками и предполагаемыми советниками во Франкфурте Бенямин по приглашению Ранга отправился в городок Гиссен в северной части земли Гессен. 12 марта он присутствовал там на первом заседании Франкфуртского кружка — межконфессиональной группы, собранной Рангом и Мартином Бубером и включавшей евреев, католиков и протестантов разных направлений — от квакеров до лютеран. Темой дискуссий в Гиссене был вопрос о том, возможно ли в текущих обстоятельствах политическое возрождение на основе религиозных принципов⁸. Рангу, очевидно, было важно свести на этой встрече Бенямина и Бубера; согласно воспоминаниям Шолема, две эти фигуры, относившиеся друг к другу с осторожностью, которая иногда сменялась подозрительностью, в глазах Ранга служили «воплощениями подлинного еврейского духа» (SF, 116; ШД, 192). На Бенямина это собрание произвело глубокое впечатление: «Германия предстала перед моими глазами с неожиданной стороны» (GB, 2:322). Даже если сделать скидку на то, что адресатом этих восторгов являлся Ранг, организатор встречи, к присутствию Бенямина

7. В 1916 г. Бенямин сочинил короткие эссе «Trauerspiel и трагедия» и «Роль языка в Trauerspiel и трагедии».

8. О Франкфуртском кружке см.: Jäger, *Messianische Kritik*, 183.

в Гиссене тем не менее следует отнестись серьезно. Теологическая политика Вальтера Беньямина так или иначе делала его ключевой фигурой религиозного возрождения, охватившего Германию после Первой мировой войны. Более того, его восхищение усилиями Ранга, Бубера, Розенцвейга и других деятелей, пытавшихся построить новое германское общество, замышлявшееся как толерантное сосуществование разных религий, несомненно, отразилось на его собственной политизации, усилившейся в начале 1920-х гг. Франкфуртский кружок едва ли был первой из подобных групп, к которым был причастен Беньямин: от Эриха Гуткинда он знал о деятельности кружка «Форте», а его замечания в отношении Розенштока-Хюсси указывают на то, что он был своим человеком в Патмосском кружке. Однако самым убедительным доказательством его сопричастности служит его «Ответ» на призыв Ранга к возобновлению диалога между Францией, Бельгией и Германией, помещенный в его брошюре *Deutsche Bauhütte: Ein Wort an uns Deutsche über mögliche Gerechtigkeit gegen Belgien und Frankreich und zur Philosophie der Politik* («Немецкая масонская ложа: обращение к нам, немцам, о возможности справедливости в отношении Бельгии и Франции и о философии политики»). Помимо Беньямина и Бубера на этот призыв откликнулись баптистский журналист, романист и драматург Альфонс Паке, предлагавший пацифистской Германии сыграть роль посредника между востоком и западом, и католический религиозный философ и психотерапевт Эрнст Михель. После некоторых наблюдений о форме «ответа», для которых характерна постановка проблемы жанра политического памфлета как такового — и этим они напоминают первые страницы «„Избирательного сродства“ Гёте», — Беньямин в своем «Ответе» усматривает в выступлении Ранга потенциальное откровение: «Ведь этот текст признает существование интеллектуальных барьеров между людьми в той же степени, в какой осуждает их возведение... [Эти границы] подтверждают, что истина, даже в политике, недвусмысленна, но непроста [*eindeutig... aber nicht einfach*]». По мере дальнейших размышлений Беньямина о функции истины в политике в них все ярче проявляется связь между его философско-литературной критикой и стремлением к участию в политике, получившем новую цель: он утверждает — в выражениях, отражающих его *собственные* принципы, — что принципы Ранга вытекают из «взаимопроникновения идей», и выделяет «идеи справедливости, права, политики, вражды и лжи. Но не существует более великой лжи, чем упрямое молчание» (ГВ, 2:374). Эту последнюю мысль он развивает в сделанных им примерно тогда же заметках к работе,

посвященной лжи: «Ложь связана с речью конститутивными взаимоотношениями (в силу чего лгать посредством молчания аморально)» (GS, 6:64). Молчание Оттилии истолковывается в эссе о Гёте в качестве аморального отказа от самого языка как единственного вместилища истины; сейчас, в 1923 г., молчание во время политического кризиса снова воспринимается им не просто как этический проступок, но и как стремление избежать слова как посредника и его посреднических возможностей. В глазах Бенямина драма религиозного возрождения разыгрывалась не на широкой политической арене, а на арене языка, лишь по видимости имеющей пределы.

Зигфрид Кракауэр в 1922 г. позитивно оценивал неожиданное массовое возникновение новых разновидностей союзов в ответ на послевоенный кризис: «Всякий, кто жил в это время и не оставался слеп и глух, в глубинах своего существа чувствует, что для германского духа настал час подведения итогов. Бессонными ночами, когда напряжены слух и ожидание, горячее дыхание этого духа можно ощутить совсем рядом. Сейчас, когда уже не снятся эти ложные сны о власти, когда нужда и страдания прорвали панцири, которые пытались задушить этот дух, он рвется к своему воплощению, ужасая нас демонстрацией своей силы... Почти все бесчисленные движения, вызывающие дрожь по всей Германии и сотрясающие ее до самых основ, свидетельствуют о желаниях и природе этого духа, несмотря на их различную на первый взгляд направленность. Молодежные группы — носители обобщенных человеческих идеалов или идей немецких братств; коммунары, чьи ценности связаны с коммунизмом изначального христианства; ассоциации единомышленников, ставящие своей целью внутреннее обновление; межконфессиональные религиозные группы; демократическо-пацифистские союзы; различные попытки нести в народ образование — все эти движения добиваются одного и того же, а именно освободиться от абстрактных идей, привязанных к эго, и прийти к конкретным общинным формам»⁹. Неудивительно, что 10 лет спустя в эссе «Опыт и скудость» (1933) Бенямин изображал это явление по-иному: «Поколение, добравшееся в школу на конке, стояло под открытым небом среди ландшафта, в котором ничего не изменилось, кроме облаков, а в центре в силовом поле разрушительных потоков и взрывов хрупкое человеческое тело. Новые несчастья принесло человечеству чу-

9. Kracauer, "Deutscher Geist und deutsche Wirklichkeit" («Немецкий дух и немецкая реальность»). См.: Kracauer, *Schriften*, 5:151; впервые опубликовано в *Die Rheinlande* 32, Nr 1 (1922).

довещное развитие техники. И одним из самых больших было удручающее идейное богатство, которое распространилось среди людей или, точнее, нахлынуло на них в виде возрождения астрологии и учений йоги, христианской науки и хиромантии, вегетарианства и гнозиса, схоластики и спиритизма — это оборотная сторона. Потому что здесь происходило не подлинное возрождение, а гальванизация» (SW, 2:732; Озарения, 263–264). Если Кракауэр придерживается идеалистического убеждения в возможности возникновения «конкретных общинных форм» как отражения идей, порождаемых обобщенным национальным духом, то Беньямин полагает, что это непрерывно множасьщееся «идейное богатство» в реальности «нахлынуло» на людей, накрыв их с головой, и что единственной подобающей реакцией на сложившееся положение может служить скудость опыта или созидательное разоблачение.

Чувствуя, что во Франкфурте, по крайней мере в данный момент, ему больше делать нечего, Беньямин в начале апреля вернулся в Берлин, где его ожидал приятный сюрприз: гранки его сборника переводов из Бодлера. Хотя он по-прежнему боялся, что книга будет издана лишь «в соответствии с трансцендентальным графиком», он все же немедленно сочинил объявление, призванное служить для нее дополнительной рекламой: «В настоящий цикл стихотворений из *Les fleurs du mal* («Цветы зла») включен ряд стихотворений, впервые издаваемых на немецком языке. Этим переводам обеспечена долгая жизнь благодаря двум обстоятельствам. Во-первых, в них самым добросовестным образом соблюдается требование верности, безоговорочно провозглашенное переводчиком в предисловии. И во-вторых, поэтический элемент в произведениях Бодлера передается убедительным образом. Всем поклонникам великого поэта особое удовольствие доставит то, что параллельно с каждым переводом приводится текст оригинала, причем это первое филологически выверенное издание оригинальных текстов Бодлера в Германии» (GB, 2:358). Впрочем, не все вести с литературного фронта были хорошими: издатель Пауль Кассирер, выразивший восхищение «„Избирательным сродством“ Гёте», тем не менее отказался его издавать. Беньямин сразу же предложил свое эссе в известный научный журнал *Deutsche Vierteljahresschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte* («Немецкий ежеквартальный журнал литературоведения и истории идей»), редактировавшийся Эрихом Ротакером, с которым он познакомился в Гейдельберге, и Паулем Клюкхоном; он надеялся, что, издавшись у Ротакера, не только получит площадку для последующих публикаций, но и поднимется в глазах его франкфуртско-

го коллеги, профессора Шульца. Хотя Ротакер написал ему, что эссе произвело на него «сильное и значительное впечатление», тем не менее он был готов напечатать только его первую часть, и то в сокращенном виде, поскольку ему казалось, что эта работа страдает от юношеской чрезмерности. Указывая на принципиальную невразумительность эссе и свойственную ему «избыточность рефлексии», Ротакер первым наметил ту линию критики, которой в дальнейшем следовали многие, впервые ознакомившиеся с «„Избирательным сродством“ Гёте» (цит. по: GB, 2:332n). Бенъямин, регулярно сталкивавшийся с непониманием со стороны академических кругов, наверняка бы смирился с прямым отказом, но он не имел желания уродовать свой труд, о чем и уведомил Ротакера. Однако вместо того, чтобы сразу же покончить с этим делом, Ротакер покровительственно пообещал призвать на помощь Шульца с тем, чтобы тот «обработал» Бенъямина и добился от него согласия на частичную публикацию эссе. Должно быть, это стало для Бенъямина последней каплей: он забрал эссе из журнала и обратился к Рангу, чтобы тот помог ему выйти на великого австрийского писателя Гуго фон Гофманстала. В его лице Бенъямин вступал в контакт с одним из немногих интеллектуалов в германоязычном мире, чьи взаимоотношения с другими людьми в целом носили еще более формальный и сложный характер, чем у него самого. Не питая антипатии по отношению к Бенъямину, Гофмансталь тем не менее захотел, чтобы Ранг и дальше играл роль посредника между ними, написав ему: «Даже в этих вопросах каждый жест, как и при физическом контакте, исполнен смысла, а нам не нужно ничего „упрощать“ или сводить к „норме“» (Гофмансталь Рангу, цит. по: GB, 2:341–342n).

В начале мая Бенъямин вернулся во Франкфурт, приготовившись к долгому пребыванию в этом городе и к последней скоординированной попытке закрепиться при университете: он оценивал свои шансы на это как не «вполне безнадежные», но признавался, что не может подкрепить эту оценку конкретными фактами. Сначала он остановился у своего дяди Шенфлиса на Грильпарцерштрассе, 59, но вскоре снял отдельную комнату. Его и без того напряженные финансовые обстоятельства усугублялись франкфуртскими ценами: «Жить по-студенчески в таком дорогом городе, как Франкфурт, — не шутка в наши дни» (GB, 2:334). Бенъямин никогда не чувствовал себя уютно в городе на Майне, но последующие месяцы оказались насыщенными и продуктивными. Он часто виделся с Шолемом, который приехал во Франкфурт с целью воспользоваться обширным собранием материалов по иудаизму в городской библиотеке. От-

ношения между двумя старыми друзьями никогда не были простыми на протяжении тех восьми лет, что прошли с момента их первой встречи в Берлине; периоды реальной близости и активного интеллектуального диалога сменялись периодами молчания и даже неприязни, причиной которых обычно служило неуважение, почудившееся той или иной из этих двух обидчивых личностей. Во Франкфурте все было точно так же. Более того, их отношения дополнительно осложнила очередная бурная сцена с участием Шолема и Доры, произошедшая в апреле в Берлине, — одно из последних проявлений этого очень своеобразного треугольника¹⁰. Сейчас во Франкфурте между ними бывали размолвки, вызванные пропущенными или отложенными встречами, к которым примешивались серьезные разногласия, связанные с перспективами эмиграции в Палестину. Тем не менее они часто совершали совместные вылазки в новый интеллектуальный мир, открывшийся им во Франкфурте. При поддержке Шолема Беньямин возобновил свои контакты при еврейском *Lehrhaus* и стал завсегдатаем в колонии еврейских писателей и интеллектуалов, сложившейся вокруг Агнона в Бад-Хомбурге, расположенном неподалеку от Франкфурта у подножья гор Таунус.

Но две самые важные встречи во Франкфурте состоялись без Шолема. Летом Беньямин начал общаться с двумя молодыми людьми, впоследствии остававшимися в числе его ближайших интеллектуальных партнеров: Кракауэром, с которым он, возможно, познакомился несколькими месяцами ранее, и Теодором Адорно. После нескольких лет архитектурной практики Зигфрид Кракауэр (1889–1966) в 1921 г. получил работу в *Frankfurter Zeitung*, одной из влиятельнейших немецких газет, в качестве репортера, освещавшего такие местные и региональные события, как выставки, конференции и торговые ярмарки. К моменту встречи с Беньямином — возможно, их познакомил Эрнст Блох — Кракауэр зарекомендовал себя как главный автор *Frankfurter Zeitung* по такой теме, как роль немецкого интеллектуала в период культурного кризиса. Эссе, опубликованные Кракауэром в 1922–1923 гг., посвящены двум вопросам: во-первых, роли классического немецкого гуманизма — не-

10. Сцена с участием Доры упоминается Шолемом, не приводящим никаких подробностей, в письме, отправленном им 9 июля 1923 г. из Франкфурта своей невесте Эльзе Буркхардт; в этом письме он описывает яростную стычку с самим Беньямином по поводу телефонного разговора, в ходе которого Беньямин запретил Шолему приводить к нему своего кузена Гейнца Пфлаума (впоследствии тот стал профессором романтизма в Иерусалиме) (GB, 2:337–340n).

мецкого «идеала гуманности», проповедовавшегося немецкой идеалистической философией от Канта до Гегеля, — в условиях модернизации и, во-вторых, экуменическому религиозному возрождению послевоенных лет. В таких эссе, как «Те, кто ждет», «Группа как носитель идей» и «Кризис науки», Кракауэр изображал стремительное погружение культурной и философской традиции в пучину кризиса и опасность, которой подвергались ее общие ценности. На кону в данном случае находились как положение немецкого интеллектуала вообще, так и приверженность самого Кракауэра ценностям гуманистической традиции, но в 1923 г. он не имел ни малейшего представления о том, как можно выйти из кризиса. Теодор Визенгрунд Адорно (1903–1969) в 1923 г. обучался философии и социологии во Франкфуртском университете. Кракауэра познакомили с ним в последние годы войны, когда Адорно еще учился в старших классах. Хотя Кракауэр был на 14 лет старше него, между ними завязалась глубокая дружба с гомоэротическим оттенком; оба молодых человека вместе читали Канта и регулярно беседовали о философии и музыке. Первую встречу Бенямина с Адорно, несомненно, организовал Кракауэр, но вместе с тем Адорно посещал семинары, проводившиеся в 1923 г. Корнелиусом и Саломоном-Делатуром, и на них ближе сошелся с Бенямином.

Контакты со старыми и новыми друзьями в конечном счете служили недостаточной компенсацией за все более тщетные попытки Бенямина укрепить свои позиции в академической сфере. Он посещал семинары и пытался стать своим человеком в студенческих кружках, сложившихся вокруг Ганса Корнелиуса и Франца Шульца. Корнелиус, профессор философии, получил скорее местную, нежели общенациональную известность благодаря своим работам в области неокантианской философии, но, как вспоминал Адорно, который впоследствии писал диссертацию под научным руководством Корнелиуса, его вряд ли можно было назвать зашоренным провинциалом. Он был художником, скульптором, пианистом и мыслителем, придерживавшимся весьма неортодоксальных взглядов¹¹. Несмотря на это, Корнелиус недвусмысленно отказался брать шефство над Бенямином в процессе его хабилитации. Тогда Бенямин обратил свои взоры на Германа Августа Корфа. Защитив во Франкфурте хабилитационную диссертацию, Корф приобрел серьезную репутацию специалиста по немецкой литературе XVIII в., проявлявшего особый интерес к Гёте; в 1923 г. вышел первый том

11. См.: Müller-Doohm, *Adorno*, 108.

его многотомного труда «Дух эпохи Гёте», благодаря которому он вскоре стал считаться ведущим авторитетом по немецкому литературному классицизму. В университете подумывали о том, чтобы зачислить Корфа в штат, и Беньямин позволил себе предаться фантазиям о том, что Корфф благодаря своему интересу к Гёте без всяких возражений примет у него «„Избирательное сродство“ Гёте» в качестве хабилюационной диссертации. Однако летом Корфф получил место при Гиссенском университете. Как прекрасно понимал Беньямин, в результате ему оставалось надеяться только на Шульца. А тот ясно дал понять Беньямину, что единственный путь к хабилюации для него заключается в подаче работы, специально написанной в качестве диссертации. Само по себе это было неплохим знаком: Беньямин понимал, что Шульц просто не хотел никому давать повод думать, будто он делает исключение для студента, с которым прежде не имел никаких отношений. Соответственно, в августе, когда кончался семестр, Беньямин вернулся в Берлин, ничуть не продвинув дело со своей хабилюацией по сравнению с концом 1922 г. Вообще дверь в научные круги чуть-чуть приоткрылась, но для того, чтобы войти в нее, судя по всему, требовалось сочинить революционную литературоведческую работу.

К лету 1923 г. хаос в германской денежной системе привел к катастрофическим последствиям в повседневной жизни. В начале августа Беньямин писал из Берлина, что «здесь все производит самое жалкое впечатление. Нехватку продуктов можно сравнить с тем, что наблюдалось во время войны». Трамваи ходили кое-как, магазины и мелкие предприятия исчезали в одночасье, а столкновения между левыми и правыми непрерывно грозили выплеснуться на улицы. Единственным лучом надежды для Беньямина служило то, что Дора получила место личного секретаря при Карле фон Виганде, корреспонденте по Германии от синдиката Херста; ее заработок был не только регулярным, но и выплачивался в долларах, в 1923 г. еще не затронутых инфляцией. Впрочем, верность Беньямина семье оставалась такой же непрочной, как и прежде. После шестимесячного отсутствия он обнаружил, что его пятилетний сын «сильно изменился, но ведет себя вполне послушно» (ГВ, 2:346). Он прожил более трех месяцев вместе с Дорой и Штефаном в их квартире в родительском доме на Дельбрюкштрассе, но затем один переселился в комнату в маленьком садовом домике на Мейероттоштрассе, 6, в фешенебельной части города к югу от Курфюрстендамм.

Осенью он с некоторым отчаянием работал над своим исследованием о барочной драме, подхлестываемый экономическим

кризисом и ощущением, что дверь во Франкфурт может захлопнуться в любой момент: «Я до сих пор не знаю, удастся ли мне это. Как бы то ни было, я намерен завершить рукопись. Лучше быть изгнанным с позором, чем отступить». Даже для Бенямина материал, с которым он работал — не только сами драмы, но и теоретический аппарат, развивавшийся им параллельно с его интерпретациями, — был необычайно сложным, и он понимал, что ему нужно найти верный баланс между «запихиванием» упрямого материала в аргументацию и необходимостью сделать эту аргументацию достаточно тонкой (см.: С, 209). Как он писал Рангу 9 декабря, из многих проблем, встававших при изучении такой заумной формы, как барочная драма,

больше всего меня занимает вопрос о взаимоотношении между произведениями искусства и исторической жизнью. В этом смысле я пришел к неизбежному выводу о том, что не существует такой вещи, как история искусства. Например, временная последовательность событий включает не только те явления, которые каузально значимы для человеческой жизни. Скорее в отсутствие такой последовательности, которая включала бы взросление, зрелость, смерть и прочие аналогичные категории, человеческая жизнь в принципе вообще бы не существовала. Но в том, что касается произведения искусства, мы имеем принципиально иную ситуацию. В смысле своей сущности оно внеисторично [*geschichtslos*]. Попытка поместить произведение искусства в контекст исторической жизни не открывает перспектив, которые привели бы нас к его сердцевине... Существенные взаимоотношения между произведениями искусства остаются интенсивными... специфическая историчность произведений искусства может быть выявлена не в рамках «истории искусства», а только в интерпретациях. Ведь в интерпретациях проявляются такие взаимосвязи между произведениями искусства, которые являются вневременными [*zeitlos*], но при этом не лишены исторической значимости. Иными словами, те же силы, которые взрывообразно и самым широким образом приобретают временной характер в мире откровения (а именно таковой представляется история), предстают сконцентрированными [*intensiv*] в безмолвном мире (каким является мир природы и произведений искусства)... Таким образом, произведения искусства определяются как модели природы, которая не ждет дня, а посему не ждет и судного дня; они определяются как модель природы, которая не служит ни ареной для истории, ни человеческим жилищем (С, 224).

Это первая целенаправленная попытка определить методологию, на которую будет опираться книга о барочной драме: речь идет о критике, призванной вскрыть сердцевину произведений искусства, где в концентрированном виде предстают те аспекты, которые «взрывообразно и самым широким образом при-

обретают временной характер» в истории, и, соответственно, не столько показать принадлежность произведения искусства к конкретному историческому моменту, сколько построить этот момент во всей «его нынешней узнаваемости».

В отношении другой его работы он почти не получал хороших вестей, которые бы облегчили его личное положение и изучение барочной драмы. Имея на руках гранки переводов из Бодлера, Беньямин понимал, что эта книга может оказаться одним из последних плодов германского издательского дела, «истекавшего кровью». Другие эссе, поданные на рассмотрение редакторам, лежали без движения. Судьба эссе о романе Гёте была неопределенной, а Ранг тем временем вел аккуратные подготовительные маневры, обхаживая Гофманстала. В связи с этим Беньямин отправил Рангу для передачи Гофмансталу толстую папку с «„Избирательным сродством“ Гёте», «К критике насилия», подборкой переводов из Бодлера, опубликованных в журнале *Argonaut*, и избранными произведениями братьев Хайнле. А эссе «Настоящий политик», которое Беньямин передал Буберу для издания в составе антологии, снова оказалось непристроенным, поскольку Бубер не сумел найти для своего проекта издателя; теперь Беньямин надеялся поместить эссе в сборник, выпускавшийся по случаю ухода Саломона в отставку. Наконец, вопреки всем ожиданиям в октябре Вайсбах издал «Парижские картины» из «Цветов зла» в переводе Беньямина, а вместе с ними и эссе «Задача переводчика». У Беньямина появилась надежда, что это издание позволит ему заявить о себе на германской интеллектуальной сцене. Однако книга вышла, практически никем не замеченная: ей были посвящены всего две рецензии, причем автор одной из них, во *Frankfurter Zeitung*, оценивал книгу очень невысоко. Это был особенно тяжелый удар, поскольку редактором в этой газете был Зигфрид Кракауэр. Был ли всеобщий вердикт — молчание и свирепая критика — оправданным? Вернер Фульд убедительно указывает, что переводы Беньямина из Бодлера так и не сумели избавиться от влияния Штефана Георге с его собственными сильными переводами этих стихотворений. Шолем, которому Беньямин в 1915 г. зачитал четыре своих перевода, сначала принял их за переводы Георге¹². Молчание, которым было встречен выход книги, пожалуй, сложнее истолковать. «Задача переводчика» остается одним из самых оригинальных высказываний по теме перевода; наряду с написанной в 1919 г. диссертацией она пред-

12. См.: Fuld, *Walter Benjamin*, 129–130; SF, 14; ШД, 36.

ставляла собой первое изложение созданной Беньямином новаторской теории критики, предназначенное для (потенциально) широкой аудитории.

Какие бы надежды Беньямин ни возлагал на такой рискованный шаг, как продолжение творческой деятельности, они фактически гасились пессимизмом, с которым он оценивал свое положение в целом. Он ясно видел, что его попытка начать научную карьеру провалилась не только из-за отсутствия спонсора, но и по причине «проявлений упадка», заметных по всей университетской системе. Газеты сообщали о дискуссиях в прусском министерстве финансов, на которых обсуждались предложения о полном закрытии пяти университетов, включая Франкфуртский и Марбахский, из-за экономического кризиса. И хотя протесты в парламенте и на улице привели к отказу от данного плана, Беньямин, читая эти репортажи, задавался вопросом о том, как он представляет себе карьеру интеллектуала при такой «деградации форм и условий жизни?» (С, 212). В последние месяцы 1923 г. сама Веймарская республика находилась в опасной близости от полного хаоса. Инфляция вышла из-под контроля, цены на продовольствие выросли до невообразимого уровня, и общественное недовольство выплеснулось из кухонь на улицу. 5 ноября в Берлине антисемитские банды нападали на евреев и грабили дома и предприятия. А всего через три дня, вечером 8 ноября, Адольф Гитлер вывел около 600 штурмовиков из пивной *Bürgerbräukeller* на мюнхенскую площадь Одеонсплатц, намереваясь сначала низложить баварское правительство, а затем пойти маршем на Берлин. То, что этот «пивной путч» провалился, а Гитлер попал за решетку, свидетельствовало о растущей поддержке республики даже в консервативной Баварии, но в то же время эти события выявили так и не преодоленную хрупкость новой Германии и уязвимость ее еврейских граждан.

Несколько ближайших друзей Беньямина уже покинули страну, каким бы безнадежным шагом это ни казалось, а в середине сентября Шолем приступил к реализации своего замысла эмигрировать в Палестину. Беньямина и его ближайшее окружение снова охватили мысли об эмиграции: «Идея о том, чтобы спасти независимую и частную сущность моего существования, составляющую мою неотъемлемую часть, и бежать от этих деморализующих связей, пустых, никчемных и жестоких, постепенно становится в моих глазах самоочевидной» (С, 212). Дора подумывала о жизни в Америке, в то время как Гуткинды снова настаивали на переезде в Палестину. Таким образом, Беньямин укрепился в мысли о возможности покинуть страну. В том

случае, если бы последняя попытка навести мосты с университетским сообществом провалилась, он намеревался спастись «вплывь, то есть каким-то образом перебраться за границу, ибо ни Дора, ни я больше не способны вынести эту медленную деградацию всей нашей жизнестойкости и земных благ» (С, 209). Сама по себе жизнь за рубежом не представляла проблемы для Беньямина, но перспектива изоляции от европейского интеллектуального сообщества приводила его в ужас. Беньямин прекрасно осознавал опасности, которые в то время несло с собой участие в общественной интеллектуальной жизни для немецких евреев: «Лишь те, кто принадлежит к тому или иному народу, получают право голоса в самые ужасающие моменты его истории... Евреям, безусловно, следует молчать» (С, 215). Почему же, четко осознавая, что для германо-еврейских интеллектуалов ситуация становится все более невыносимой, он так и не уехал? Почему он не видел «ни практической возможности, ни теоретической необходимости» в том, чтобы обменять Германию на Палестину? В 1923 г. и на протяжении последующего десятилетия в переписке с Шолемом он неоднократно постулировал свою принципиальную идентификацию не с немецкой нацией или немецким народом, а с немецкой культурой. Он признавался Рангу не только в том, что Гуткинд, готовый к эмиграции, никогда не ощущал «того положительного, что содержится в феномене Германии», но и в том, что лично для него «ключевую роль всегда играли черты, определяющие принадлежность к нации: немецкой или французской. Я никогда не забуду о том, что привязан к первой, и о том, насколько глубока эта привязанность» (С, 214). Эмиграция и фактический разрыв связей с немецкой культурой оставались для него невыносимыми. Впрочем, вместе с Гуткингом и Рангом он замыслил временное бегство на юг. Он не был готов и не желал навсегда покинуть Германию, но, несомненно, стремился отдохнуть от экономических, политических и профессиональных тягот того года.

Однажды той осенью Беньямин познакомился с работавшим в Прусской государственной библиотеке молодым человеком, родившимся в один год с ним, — это был Эрих Ауэрбах, который наряду с Беньямином впоследствии стал одним из самых влиятельных литературоведов XX в. Ауэрбах тоже родился в семье берлинских евреев, получил степень доктора права, а затем обратился к литературоведению, получив в 1921 г. вторую докторскую степень за диссертацию о французской и итальянской новелле раннего Ренессанса. В дальнейшем он переработал это исследование в свою самую известную работу — «Миме-

сис», написанную в Стамбуле в 1942–1945 гг. Они с Беньямином так и не стали близкими друзьями, но их объединяли явные интеллектуальные связи, а переписка между ними не прерывалась даже в самые страшные дни 1930-х гг.

Только к концу года перед Беньямином открылись более обнадеживающие перспективы. В конце ноября ему представилась возможность прочесть и скопировать часть письма Гофмансталя Рангу, содержащую самый обнадеживающий отзыв на его работу из всех, какие он когда-либо получал:

Прошу вас, не ждите от меня, что я с большей полнотой выскажусь по поводу абсолютно несравненного эссе Беньямина, которое вы мне любезно доверили. Могу лишь сказать, что оно стало эпохальным событием в моей внутренней жизни и что в той мере, в какой моя собственная работа позволяла уделить ему внимание, я едва был в состоянии мысленно оторваться от него. Поразительная красота изложения в сочетании с таким бесподобным проникновением в скрытое кажется мне — если говорить о видимостях — чудесной, а ее источником выступает абсолютно надежная и чистая мысль, почти не знающая себе равных. Если этот человек моложе или тем более сильно моложе меня, то меня решительно поражает его зрелость (Гофмансталь Рангу, 20 ноября 1923 г.; цит. по: GB, 2:379–380n).

Таким образом, эссе Беньямина было опубликовано в журнале Гофмансталя *Neue Deutsche Beiträge* в номерах за апрель 1924 г. и январь 1925 г. Признание Гофмансталем его таланта еще много лет сохраняло большое значение для Беньямина как в психологическом, так и в материальном плане (он ссылался на Гофмансталя, налаживая связи с издательствами и журналами и рекомендуясь коллегам по литературной деятельности). Слова одобрения, которые Беньямин услышал от Гофмансталя как читателя его труда, в точности соответствовали тем качествам, которые в его глазах отличали Гофмансталя как писателя, в частности его восприимчивости к тайной жизни языка. Как мы уже упоминали, в январе 1924 г. Беньямин писал своему «новому покровителю»: «Для меня очень важно, что вы так четко подчеркнули убеждение, руководившее мной в моих литературных начинаниях, и что, если я верно вас понял, вы разделяете это убеждение. Речь идет об убеждении в том, что для всякой истины в языке найдется ее жилище, ее прародительский дворец, [и] что этот дворец выстроен из древнейших *logoi*» (С, 228).

Поддержка со стороны такой влиятельной фигуры вернула Беньямину уверенность в самых разных областях, включая и надежды на хабилитацию; он даже сумел добиться от родителей небольшого ежегодного пособия, показав им копию письма

Гофмансталя. И даже известие о том, что склад его швейцарского издателя сгорел дотла, а с ним почти все экземпляры его диссертации, как будто бы не слишком его опечалило (впоследствии он даже в шутку советовал Шолему скупить оставшиеся 37 экземпляров и тем самым захватить будущий рынок). Первые месяцы 1924 г. были посвящены интенсивной работе над исследованием о барочной драме. Признаваясь Рангу, что текстуальная основа его труда «поразительно — и даже сверхъестественно — узка», Беньямин тем не менее подходил к имевшемуся у него материалу с «эксцентричной тщательностью», отобрав и упорядочив более 600 цитат из одних лишь первичных источников. А круг его чтения далеко выходил за рамки XVII в. Он консультировался с Рангом по поводу теории аттической трагедии, вернулся к «Рождению трагедии» Ницше, погрузился в «Фрагменты, оставленные молодым физиком» раннеромантического исследователя и философа Иоганна Вильгельма Риттера, в которых нашел подтверждение своего убеждения в том, что элементы откровения содержатся не только в человеческом слове, но и в начертании самих букв, и продолжал изучать протестантскую теологию и политическую теорию. В первой из двух этих сфер он руководствовался трехтомной историей христианской догматики Адольфа фон Гарнака, но интертекстом к барочной драме, косвенно повлияв на то, как Беньямин понимал самостоятельное, «экзистенциальное» значение Реформации, скорее стал комментарием Карла Барта «Послание к римлянам», второе, более радикальное издание которого вышло в 1922 г.¹³ В области политической теории он пополнил свои знания об анархизме и иудеохристианской политической теологии, перечитав «Политическую теологию» Карла Шмитта. К февралю он составил изложение всей работы, к сожалению, утраченное. А к марту он планировал начать книгу с амбициозного теоретического введения, за которым должны были последовать три главы: «Об истории в зеркале барочной драмы», «Об оккультной концепции меланхолии в XVI и XVII вв.» и «О природе аллегории и аллегорических художественных форм» (С, 238).

С наступлением весны работа замедлилась; эти дни были для Беньямина заполнены ожиданием поездки на юг. Он был намерен бежать от «пагубного влияния здешней атмосферы»

13. Беньямин утверждал, что на самом деле никогда не читал этого эпохального комментария Барта к «Посланию к римлянам» (С, 606), но идеи Барта в 1920-е гг. носились в воздухе, и сходство между его образом мысли и образом мысли Беньямина не осталось незамеченным. См.: Taubes, *The Political Theology of Paul*, 75–76, 130. Осознать теологическую ситуацию в эпоху религиозных войн Беньямину также значительно помогли дискуссии с Рангом.

и тех «препятствий», которые оно создавало (С, 236); возможно, самым серьезным признаком его решимости служила готовность Бенъямина пожертвовать частью своей библиотеки, чтобы добыть денег на дорогу. Приготовления к путешествию и к тем внешним и внутренним изменениям, которые оно могло принести, вызывали у него что-то вроде «экзальтации», и при содействии Доры он установил режим, включавший пост и физические упражнения (С, 257). Поездку на остров Капри Бенъямин и Эрих Гуткинд начали планировать еще поздней осенью 1923 г., и к началу 1924 г. для участия в этом начинании уже собралась небольшая группа: Бенъямин, Эмма и Флоренс Христиан Ранги, Луси и Эрих Гуткинды, а также их учитель иврита Дов Флаттау. По мере того как их планы приобретали все более четкие очертания, в письмах Бенъямина обозначился поворот к теме «юга», представлявшей собой ключевой элемент германского культурного наследия по крайней мере начиная с XVIII в. Италия воплощала в себе то, что как будто бы отсутствовало в Германии: если она была серой, дождливой и угнетенной страной, то в Италии правили бал солнце, гедонизм и свобода. В XVIII в. в справочнике по Италии, который брали с собой в *Bildungsreise* (познавательное путешествие) многие немцы из зажиточного среднего класса, эта южная страна описывалась такими восторженными словами: «Путешественник, вполне чувствительный для того, чтобы быть тронутым красотами, на которые столь богата итальянская природа — они намного превосходят красоты искусства, — встретит здесь много пейзажей самого разнообразного вида»¹⁴. Сущность этой идеи о свободной естественной красоте, которую можно привести в соответствие с внутренним миром человека, уловил в следующих (как и во многих других) строках Гёте:

Ты знаешь край лимонных рощ в цвету,
 Где пурпур королька прильнул к листу,
 Где негой Юга дышит небосклон,
 Где дремлет мирт, где лавр заморожен?
 Ты там бывал?
 Туда, туда,
 Возлюбленный, нам скрыться б навсегда
 (перевод Б. Пастернака).

Впрочем, Италия играла более сложную роль в германском воображении, чем можно вывести из этого апофеоза природы;

14. Volkmann, *Historisch-Kritische Nachrichten aus Italien*.

после издания в 1764 г. «Истории античного искусства» Иоганна Иоахима Винкельмана непосредственное знакомство с классической культурой и искусством Ренессанса стало считаться практически обязательным для культурной прослойки среднего класса. Именно это сочетание идеализированной природы и заново открытой кульминации искусства составляет фон «Итальянского путешествия» Гёте — самого знаменитого описания душевных переживаний, которые вызывала Италия. Этот текст, изданный в 1816–1817 гг., через 30 лет после того, как состоялось само это путешествие, воссоздает опыт пребывания в Италии по письмам и дневниковым записям, причем воссоздает его как возрождение, поворотный момент, когда Гёте впервые ощутил в себе согласие с глубинами своего «я». «Вот я и добрался до сей столицы мира!» — писал он в Риме 1 ноября 1786 г. «...Вот я здесь, я успокоился и, как мне кажется, успокоился до конца своих дней. Ибо смело можно сказать — жизнь начинается сызнова, когда твой взор объемлет целое, доселе известное тебе лишь по частям»¹⁵. Еще до отбытия на Капри Беньямин уже нарисовал это место в своем воображении. Бегство на остров было для него «жизненно важным» делом; он мечтал о «более просторном и свободном окружении» (С, 236). И потому нас не должно удивлять, что после пребывания на Капри он считал себя полностью преобразенным. Вспоминая в декабре 1924 г. свою поездку, он отмечал: «...здесь, в Берлине, сходятся на том, что я очень сильно изменился» (С, 257).

Беньямин первым из этой маленькой компании прибыл на Капри, по пути останавливаясь в Генуе, Пизе и Неаполе. Много лет спустя, в 1931 г., он вспоминал панику, охватившую его при мысли о том, что его не выпустят из Германии. В апреле 1924 г., проходя по Унтер-ден-Линден, он увидел заголовок в вечерней газете: «Запрет на зарубежные поездки». Правительство объявило, что в порядке борьбы с продолжающимся валютным кризисом немцев будут выпускать за границу лишь в том случае, если они оставят крупный залог, который получат обратно по возвращении. Этот запрет вводился в действие через три дня, и Беньямину, неспособному собрать требуемый залог, осталось только побросать вещи в чемодан и немедленно отбыть, не дожидаясь друзей и не имея на руках всей суммы, которой, как он надеялся, должно было хватить для покрытия расходов¹⁶. 9 или 10 апреля он прибыл на Капри и поселился

15. Гёте, *Из «Итальянского путешествия»*, в: Гёте, *Собрание сочинений*. Т. 9. С. 65.

16. См.: Benjamin, "Mai-Juni 1931", GS, 6:424.

в пансионе «Гуадеамус», где к нему присоединились друзья. Вскоре вся компания перебралась на верхний этаж частного дома на Виа Сопрамонте, 18, неподалеку от Ла-Пьяццетты — маленькой площади, служившей социальным центром деревни Капри. В этой квартире имелся «великолепный балкон с видом на море, выходящий на юг, а главное — променад на крыше, в котором, с точки зрения еврея-горожанина, было что-то от крупного загородного имения» (GB, 2:456).

Беньямин был моментально покорен «непомерной красотой» острова, «несравненной пышностью» его растительности и видом белых вилл на фоне невероятно лазурного моря; он с его страхом перед природой неоднократно говорил о «целительной силе загородной жизни» (GB, 2:446, 449, 462). Капри представлял собой популярный курорт еще с римских времен, но репутацию пристанища для европейских интеллектуалов он приобрел после издания книги «Открытие Голубого грота на острове Капри» немецкого художника и писателя Августа Копиша, заново открывшего Голубой грот в 1826 г. В XX в. на Капри имели собственные дома и Грэм Грин, и Максим Горький, и Норман Дуглас. Впрочем, в 1924 г. остров буквально кишел немецкими интеллектуалами, которых Беньямин назвал «странствующим интеллектуальным пролетариатом» (GS, 3:133). Одновременно с ним на острове находились Бертольд и Марианна Брехты, двое друзей Брехта — театральный художник Каспар Неер и режиссер Бернхард Райх, дизайнер и иллюстратор книг Штефана Георге Мельхиор Лехтер и ненавистный Беньямину Фридрих Гундольф.

Некоторые стороны жизни Беньямина не претерпели изменений. Он почти сразу же оказался на финансовой мели, несмотря на то, что на Капри его расходы на жизнь резко сократились. В конце апреля он отправил Вайсбаху призыв о помощи, и на этот раз его издатель дал быстрый и положительный ответ. Кроме того, даже в далекой Италии Беньямин столкнулся с вещами, укреплявшими его неуверенность и трепет перед университетской карьерой. Он присутствовал на Международном философском конгрессе, проводившемся по случаю 500-летия Университета Неаполя. На улицах университетского квартала стоял шум и гам, производимый веселящимися студентами, но в тех аудиториях, где заседал конгресс, царили пустота и отчужденность. «В том, что касается меня, — писал Беньямин Шолему, — всего этого совсем не требовалось, чтобы убедить меня в том, что философам платят хуже всего, потому что они — самые ненужные лакеи международной буржуазии. Раньше мне не приходилось видеть, чтобы они повсюду демонстрирова-

ли свою второсортность, так величаво рядясь в свои обноски». Ведущий итальянский философ Бенедетто Кроче, состоявший при Университете Неаполя, «откровенно дистанцировался» от конгресса (С, 240). Сам Беньямин выдержал там один день, а затем сбежал — сначала на Везувий и в Помпеи, а затем в первый, но далеко не в последний раз отправившись в Национальный музей Неаполя с его несравненной коллекцией древностей. Улицы и районы города — «ритм его жизни» — снова и снова покоряли Беньямина, так же, как и предшествовавшие ему многие поколения посетителей.

К началу мая Беньямин в достаточной мере обжился на Капри для того, чтобы всерьез приступить к своей работе о барочной драме. Он надеялся, что благодаря упорядоченному собранию цитат быстро напишет ее, но в реальности дело продвигалось медленно, порой мучительно медленно. Во-первых, приходилось думать не только о хабилитационной диссертации: нужно было как-то зарабатывать на хлеб, а новые берлинские знакомства начали обеспечивать его работой. В частности, благодаря дружбе с Шарлоттой Вольф он познакомился с ее другом Францем Хесселем (1880–1941), который был на 20 лет старше Беньямина, но происходил из очень похожей среды. В начале 1920-х гг. жизнь Хесселя как обеспеченного литератора кончилась так же, как и у Беньямина: во время экономической катастрофы его семья лишилась большей части своего значительного состояния, и Хессель был вынужден сам зарабатывать средства на жизнь. Он начал писать комментарии к культурной жизни для разделов фельетонов в германских газетах, а примерно в 1923 г. стал редактором в издательстве *Rowohlt Verlag*, где работал внутренним рецензентом с 1919 г. В августе 1924 г. он опубликовал четыре перевода Беньямина из Бодлера в редактировавшемся им журнале Ровольта *Vers und Prosa*¹⁷ («Стихотворение и проза»). Одним из первых крупных дел, порученных ему этим издателем, стала подготовка полного собрания сочинений Бальзака в 44 томах; перевод романа «Урсула Мируэ» для этого издания он поручил Беньямину. Эта работа отняла у Беньямина немало времени, прожитого им на Капри.

Несмотря на необходимость работать, в глазах Беньямина Капри был идиллическим местом, полным *luxe, calme, et volupté* (роскоши, покоя и наслаждения). Прошли целые века

17. Хессель опубликовал переведенные Беньямином «Предисловие» к «Цветам зла» и стихотворения «Веселый мертвец», «Часы» и «Мадонне» из входящей в их состав книги «Сплин и идеал».

с тех пор, как он наслаждался таким спокойствием: сравнить с ним можно было лишь первые дни его пребывания в Швейцарии. Впервые за многие годы он смог удовлетворить свое ненасытное стремление к путешествиям, чередуя дни, проведенные на острове, и исследуя материковую Италию. Его маленькая компания совершила несколько вылазок на материк, а сам он пользовался любой возможностью для того, чтобы сопровождать гостей — Альфреда Зона-Ретеля, Саломона-Делатура с женой, а уже летом и Блохов — в поездках по окрестностям Неаполя, включая Помпеи, Салерно, Равелло, Поццуоли и все Амальфитанское побережье. Из множества встреч с классической древностью, состоявшихся в эти месяцы, сам он выделял визит в Пестум с его «непревзойденными» храмами: «Я был один, когда увидел их в августовский день в малярийный сезон, когда люди избегают этих мест. Штамп, связывавшийся в моем сознании со словами „греческий храм“ на основе изображений, которые мне случалось видеть, далек от реальности... Неподалеку от храмов видна узкая, пылающая синяя полоска моря... Всем трем... даже сейчас присущи почти вопиющие, осязаемые различия вследствие их витальности» (С, 249–250). Находясь на острове, он мог ежедневно уделять несколько часов тому, чтобы читать, писать и общаться с другими посетителями в местной таверне *Zum Kater Hidigeigei* («У кота Хидигайгай»), не находя в ней ничего неприятного, «кроме ее названия» (С, 242). На острове было так много немецких интеллектуалов, что там ему всегда было с кем поговорить. В число его собеседников входили самые разные люди — от левака Райха до консерватора Лехтера.

В середине июня произошло событие, которому было суждено изменить жизнь Бенямина. Он познакомился с Асей Лацис (1891–1979), латышкой, которая училась в Москве и Петербурге, затем основала в Орле театр для детей рабочих, а впоследствии ставила пьесы в пролетарском театре в Риге. В 1922 г. в Берлине она завязала связи в окружении Брехта и сошлась с режиссером и театральным критиком Бернхардом Райхом. Осенью 1923 г. Райх и Лацис вслед за Брехтом отправились в Мюнхен, где Лацис работала ассистентом режиссера, когда Брехт ставил в театре *Kammerspiele* свою пьесу «Жизнь Эдуарда II Английского»¹⁸. На пасху 1924 г. после премьеры пьесы Лацис вместе с Райхом повезла свою малолетнюю дочь Дагу на Капри, чтобы она оправилась там от легочного заболевания; вскоре после прибытия

18. Tiedemann, Gödde, and Lönitz, "Walter Benjamin", 161.

Беньямина Райх уехал в Париж, где его ждала работа. В мемуарах, написанных много лет спустя, Лацис так описывает свою первую встречу с Беньямином:

Мы с Дагой часто ходили по лавкам вокруг Пьяццы. Однажды мне захотелось купить в лавке миндаля; я не знала, как сказать «миндаль» по-итальянски, а лавочник не понимал, чего я от него добивалась. Рядом со мной стоял господин, который сказал: «Сударыня, я могу вам помочь?». «Да, пожалуйста», — ответила я. Купив миндаль, я вышла со своими свертками на Пьяццу. Тот господин вышел вслед за мной и спросил: «Можно проводить вас и понести ваши свертки?». В ответ на мой взгляд он продолжил: «Позвольте представиться: доктор Вальтер Беньямин»... Мое первое впечатление: очки, горевшие светом, подобно двум небольшим фарам, густые темные волосы, тонкий нос и неуклюжие руки — он уронил мои свертки. В целом солидный интеллеktуал — из числа преуспевающих. Он проводил меня до дома и попросил разрешения навестить меня¹⁹.

Он пришел на следующий день и признался, что наблюдает за ними уже две недели. Если все началось с простого увлечения, то вскоре Ася стала играть в жизни Беньямина намного более важную роль: он немедленно и безнадежно влюбился и всюду следовал за объектом своей любви на протяжении 1920-х гг. В начале июля он очень осторожно намекал о своем романе в письме Шолему: «Тут случилось многое из того, о чем можно поведать лишь с глазу на глаз... То, что произошло, отнюдь не способствовало моей работе, которая опасным образом прерывалась, как не способствовало, пожалуй, и моему буржуазному ритму жизни, без которого страдают все мои замыслы... Я познакомился с русской революционеркой из Риги, одной из самых изумительных женщин, которых я когда-либо знал» (С, 245). Как вспоминает Ася, Беньямин сразу же подружился с ее дочерью, как впоследствии подружится с двумя детьми Брехта. Беньямин поместил в высшей степени завуалированное воспоминание о Даге в главку «Китайские товары» в книге «Улица с односторонним движением»: «Ребенка в ночной рубашке невозможно заставить выйти и поприветствовать гостей. Окружающие тщетно взывают к высокой морали, уговаривают его, пытаясь побороть в нем упрямство. Через несколько минут он выходит к гостю, теперь уже совершенно голый. За это время он умылся» (SW, 1:447; УОД, 19).

Месяцы, проведенные на Капри, ознаменовались тектоническим сдвигом в политической ориентации Беньямина и его

19. Laciс, *Revolutionär im Beruf*, 45–46.

общем мировоззрении. Вполне очевидно, что его новая любовь дала ему освобождение от жизненных побуждений, которого ему не хватало в Берлине. Однако Ася Лацис оказывала на него влияние и в иных, на первый взгляд менее очевидных отношениях. В первую очередь она служила для Беньямина окном в советскую культуру, недолгое время манившую его, когда он водил знакомство с Группой G, и в частности с Лисицким и Мохой-Надем. В разговорах с Асей Беньямин расспрашивал ее о современном советском искусстве и художниках. Они говорили о театре, литературной сцене, произведениях Либединского, Бабеля, Леонова, Катаева, Серафимовича, Маяковского, Гастева, Кириллова, Герасимова, Коллонтай и Ларисы Рейснер. Вместе с тем Беньямин проникался страстью к своим новым открытиям во французской культуре: не только к Жиду и Прусту, но и к Вильдраку, Дюамелю, Радиге и Жироду. До знакомства с Асей он уже подумывал о том, чтобы сделать в своей работе акцент на Францию; Ася с ее связями в Москве дала Беньямину еще одну точку притяжения. Вскоре в своих письмах он стал сообщать о планах издаваться в Москве: они включали длинный отчет о «новых экстремистских буржуазных идеологиях в Германии» для газеты и русский перевод «Дескриптивного анализа германского упадка» — текста, включавшего 10-й и отчасти 11-й параграфы главки «Императорская панорама», который в итоге был опубликован в 1928 г. в книге «Улица с односторонним движением». Из этих планов в итоге ничего не вышло, но это были первые ростки многостороннего увлечения Беньямина советской культурой, которые ознаменовали поворот от того, что он называл своей «стажировкой в немецкой литературе», то есть от увлечения немецкой литературой XVII, XVIII и начала XIX вв., к современной культуре.

До 1924 г. Беньямин написал всего две работы о современной культуре: неопубликованное эссе о Пауле Шеербарте (1917–1919) и эссе о Герхарте Гауптмане для *Der Anfang* (1913). Начиная с 1924 г. он нашел радикально новые направления для своего творчества: современную культуру с упором на ее массовые формы и на то, что получило название «современность повседневного», и особенно после окончательного краха его попыток добиться хабилитации карьеру журналиста и культурного критика с широким кругом интересов. Сначала неуверенно, а затем начиная с 1926 г. решительно Вальтер Беньямин обратил свое внимание на современную Европу, на модернистскую и авангардную культуру, существующую во Франции и в Советском Союзе, и особенно на массовую культуру и СМИ, в которых она фигурировала, — на те сферы, которые в известной степени были открыты

Беньямином и Зигфридом Кракауэром в качестве предмета серьезных исследований. Кругозор Беньямина в эти годы поражает воображение. С 1924 по 1931 г. он писал эссе на всевозможные темы — от детской литературы и детского театра как педагогических моделей до азартных игр и порнографии, а также о самых разных средствах коммуникации, включая кино, радио и фотографию. В конце 1920-х гг., работая на ряд самых известных немецких еженедельных и ежемесячных изданий, он приобрел репутацию видного и влиятельного знатока вопросов культуры.

Однако вовсе не вопросы культуры обсуждались во время бурных дискуссий с Асей Лацис, а политика. Вскоре после знакомства с Асей он мог написать Шолему, что вместе с «активным проникновением в реалии радикального коммунизма» к нему пришло «насущное освобождение». Это сразу же прозвучало для его друга «тревожным звонком» (GB, 2:473, 481). По воспоминаниям Лацис, она призывала Беньямина учесть в своей работе о барочной драме вопрос классовых интересов²⁰. Вскоре Беньямин уже мог утверждать, что он увидел «политическую практику коммунизма (не как теоретическую проблему, а главным образом как обязывающую установку) в ином свете, чем когда-либо прежде», и говорить, что этой сменой представлений он был обязан Асе (С, 248).

Впрочем, в конечном счете такое слияние эроса и политики не может служить достаточным объяснением этого общепризнанного поворота Беньямина влево. На самом деле встреча с Асей совпала с другим важным событием: знакомством с работой венгерского политического философа Дьердя Лукача «История и классовое сознание», изданной в 1923 г. Лукач, родившийся в семье богатых будапештских евреев, учился в Будапештском и Берлинском университетах. В Берлинском университете в 1909–1910 гг. он входил в окружение Георга Зиммеля. Именно там он подружился с Эрнстом Блохом; в 1913 г. оба они оказались в Гейдельберге, где стали участниками кружка Макса Вебера. Первые работы Лукача — «Душа и форма» (1910) и «Теория романа» (1916) в равной мере были вдохновлены как эстетическими, так и философскими интересами. Впоследствии он описывал эти работы термином «романтический антикапитализм». В 1918 г. Лукач резко поменял свои политические предпочтения и вместо прежней ориентации на социалистические и анархосиндикалистские круги Будапешта вступил в молодую Венгерскую коммунистическую партию. В следующем году он стал пар-

20. См.: Lacis, *Revolutionar im Beruf*, 48.

тийным чиновником — народным комиссаром по образованию и культуре в недолго просуществовавшей Венгерской социалистической республике. После того как венгерская Красная армия была разбита чехами и румынами, Лукач бежал в Вену, где начал работать над серией эссе, которые были призваны составить философскую основу ленинизма. Эти эссе, опубликованные в 1923 г. под названием «История и классовое сознание», заложили фундамент того, что сейчас принято называть западным марксизмом. Разумеется, Беньямин уже много слышал о Лукаче от Блоха. Но в том июне на Капри он впервые обратил внимание на труды Лукача благодаря рецензии Блоха на «Историю и классовое сознание», вышедшую в свежем номере *Der neue Merkur* («Новый Меркурий»). К сентябрю Беньямин впервые ознакомился и с самой книгой. Описание его реакции заслуживает того, чтобы привести это место из его переписки целиком:

Начиная с политических соображений, Лукач приходит к принципам, которые, по крайней мере отчасти, носят эпистемологический характер и, возможно, не настолько всеохватны, как мне сначала показалось. Эта книга поразила меня, потому что эти принципы созвучны моим мыслям или подтверждают их... Мне хочется поскорее вникнуть в книгу Лукача, и я буду удивлен, если основы моего нигилизма не обозначатся в антагонистическом столкновении с концепциями и утверждениями гегелевской диалектики, направленной против коммунизма (С, 248).

Чего Беньямин не пишет здесь, но что, судя по всему, было причиной его бурной реакции, это то, что он обнаружил поразительное созвучие между ключевыми идеями книги Лукача (особенно идеями из главы «Представление и пролетарское сознание») и теми концепциями, которые возникли у него при работе над книгой о барочной драме.

Наконец, был еще один фактор, объяснявший неожиданно вспыхнувший у Беньямина интерес к политике, а именно то, что он жил не в полном вакууме. Каким бы изолированным местом ни казался Капри, отголоски «большого мира» нередко вторгались на остров. Атмосфера на острове была пропитана духом левизны. Беньямин знал, что Максим Горький основал на Капри «революционную академию» и что здесь бывал сам Ленин. Однако память об этом не смогла уберечь остров от волны фашизма, затопившей Италию в начале 1920-х гг. 16 сентября Беньямин сообщал:

Сегодня в полдень на остров ступила нога Муссолини. Но при всей роскоши праздничного убранства ни от кого не могло укрыться то безразличие, с которым люди встречали проис-

ходящее. Все удивляются, что он побывал на Сицилии — должно быть, для этого у него имелись веские причины, — и рассказывают друг другу, что в Неаполе его окружали шесть тысяч тайных агентов, призванных охранять его. Он не похож на того покорителя женских сердец, каким его изображают открытки: порочный, вялый и такой надменный, как будто его щедро помазали прогорклым маслом. Его тело своей пухлостью и невыразительностью похоже на кулак жирного лавочника (С, 246).

Хотя Беньямин напрямую не проводит такой связи, ему, разумеется, было очевидно, что в мире, в котором крупная европейская страна могла оказаться под властью фашизма, необходима какая-либо политическая позиция. Как он писал в «Императорской панораме», «кто не боится увидеть вокруг упадок, тот немедленно начинает подыскивать какое-нибудь особое оправдание своей медлительности, своим действиям и своей причастности к этому хаосу... Слепая воля — скорее сохранить престиж своего личного существования, чем, мужественно признав собственное бессилие и растерянность, освободиться хотя бы от всеобщего ослепления, — проявляется почти во всем... [атмосфера] так насыщена... миражами, иллюзиями цветущей культуры будущего, которое приходит внезапно и вопреки всему, что каждый полагается на собственную обособленную перспективу, создающую оптический обман» (SW, 1:453; УОД, 33).

Отчасти благодаря этим значительным изменениям в своем мировоззрении, а отчасти благодаря живой атмосфере острова Беньямин задержался на Капри намного дольше, чем первоначально планировал, и намного дольше своих друзей. Ранги пробыли на острове всего месяц, а Гуткинды — менее семи недель, но Беньямин не уехал вместе с ними, удивляясь самому себе. «Сейчас, утром, когда небо покрыто облаками, а с моря дует ветер, я сижу на балконе, одном из самых высоких на всем Капри, и вижу с него весь городок и морские просторы. Между прочим, поразительно, как часто люди, приехавшие сюда ненадолго, не могут решиться на отъезд. Самый известный и древний из подобных случаев связан с именем Тиберия, который трижды отправлялся отсюда в Рим, но всякий раз, не доехав до него, возвращался» (С, 243). В последующие месяцы Беньямин неоднократно и с удовольствием повторял своим друзьям слова Марии Кюри, объяснявшей магическую притягательность Капри тем, что воздуху на этом острове свойственна особая радиоактивность, действовавшая на тех, кто жил здесь. Оглядываясь на время, проведенное на Капри, из 1931 г., Беньямин вспоминал, что готов был «примириться со всем, лишь бы не покидать остров. Я даже совершенно серьезно подумывал

о том, чтобы поселиться в одной из больших пещер, и те образы, которые до сих пор пробуждают во мне эта мысль, столь живы, что сейчас я уже не знаю, были ли они просто фантазиями или основывались на одном из авантюрных сюжетов, которыми изобилует этот остров» (SW, 2:471).

Впрочем, его устраивало не все, что с ним случилось за эти пять с половиной месяцев, проведенных на Капри. Писалось ему мучительно тяжело. А необходимость торопиться с работой вызывала в нем знакомый набор симптомов: гомон, наполнявший улицы оживленного городка, вынуждал его писать по ночам, но его отвлекали и ночные звуки, включая шум, который производил местный скот, по ночам перегоняемый по улицам. Вторая половина пребывания на острове была омрачена для Бенямина рядом недомоганий: в начале июля он страдал от проблем с желудком, а в конце месяца — от заражения крови, которое давало о себе знать до конца лета. Кроме того, приезд подруги Флаттау — Евы Гельблум внесло ноту раздора в маленькую компанию, обитавшую на Виа Сопрамонте, хотя Бенямин мог наблюдать все это с безопасного расстояния. Особенно были недовольны Гуткинды: сопровождавшая молодую женщину атмосфера распущенности вполне могла ускорить их отъезд. Однако самым неприятным стал выход очередного номера *Frankfurter Zeitung* с давно ожидавшейся рецензией на издание переводов Бенямина из Бодлера. Возможно, вследствие политических интриг в редакции журнала Кракауэр не смог помешать тому, чтобы заказ на рецензию получил австрийский писатель Стефан Цвейг. За плечами у Цвейга, в наши дни более известного как автора биографий, в 1924 г. была успешная карьера образцового поэта, прозаика и эссеиста из рядов высшей буржуазии. В начале века он издал небольшой том собственных переводов из Бодлера (который, как с усмешкой отмечает Бенямин в письме, в его дни было невозможно найти почти нигде, кроме «такого шкафчика с ядами, как моя собственная библиотека») и сейчас был полон решимости сровнять нового конкурента с землей. Бенямин отчетливо осознавал и вероятный итог рецензирования, порученного такому тузу — все «могло бы быть хуже, но не могло бы причинить больше вреда», — и то, что очень мало тех, кому известно, что автором рецензии был его конкурент — «сердитый переводчик Бодлера». Не имея возможности нанести контрудар, Бенямин был вынужден обрушить свой гнев на голову своего мнимого друга, «редакционного вышибалы» Кракауэра: «Да хранит меня Господь от моих друзей, а о своих врагах я и сам способен позаботиться» (GB, 2:459, 461).

В начале июля Беньямин переселился в новую комнату на вилле «Дана» — очевидно, с целью экономии. Теперь он занимал не целый этаж дома, а всего одну комнату, в какой ему, по его словам, пожалуй, еще не доводилось работать. Беньямин писал: «С точки зрения ее размеров она оснащена всеми монастырскими удобствами и окном, выходящим на самый красивый сад на Капри, который к тому же находится в моем полном распоряжении. Спать в этой комнате кажется делом противоземным: она словно создана для ночной работы. Помимо всего прочего, я в этой комнате первый жилец — по крайней мере на протяжении долгого времени, но все-таки думаю, что я самый первый. Раньше тут была кладовая или прачечная. Беленые стены, на которых не висит никаких картинок, как будет и впредь» (С, 246). Ася Лацис в своих мемуарах вспоминает и то, что Беньямин был необычайно доволен своим новым обиталищем, и то изумление, которое охватило ее при первом посещении этого жилья, «похожего на пещеру в джунглях из виноградных плетей и диких роз»²¹.

Ася и Дага стали самыми частыми спутниками Беньямина в его экскурсиях по Неаполю и окрестностям. После одной из таких прогулок Беньямин подал идею совместно написать эссе об этом самом полнокровном из всех городов мира. Сам он во время своих поездок в Неаполь собрал «огромное количество материала — занятных и важных наблюдений» и сейчас предлагал пустить этот материал в ход (GB, 2:486). В «Неаполе» — первом из написанных Беньямином незабываемых «городских портретов» — ему удалось нарисовать яркую картину города и в то же время освободить его от многочисленных мифов и украшательств. Как впоследствии выразился Беньямин в острой рецензии на очередное описание Неаполя, «все, что довелось испытать в первый день, показывает, как немногочисленны те, кто способен увидеть неискаженный образ этой жизни — существование, лишённое неподвижности и оттенков. Тот, в ком все, что имеет отношение к комфорту, не умирает при соприкосновении с этой землей, может рассчитывать на безнадежную борьбу. Однако для других, тех, кому открылся грязнейший, но вместе с тем и самый страстный и испуганный облик, из которого когда-либо на освобождение изливался свет нищеты, для них память об этом городе находит воплощение в каморре»²². Соответственно, в «Неаполе» он проявляет сверхъестественную чувствительность и к убожеству города,

21. Lacis, *Revolutionar im Beruf*, 47.

22. Рецензия на книгу Jakob Job, *Neapel: Reisebilder und Skizzen* (1928), GS, 3:132.

и к его славе. Беньямин и Лацис обращают внимание читателя на фанатичный католицизм, прощающий собственные излишества и в то же время уравнивающий порочную и кровавую власть каморры, на то, какое удовольствие доставляет нищим и увечным потрясение, охватывающее увидевших их туристов, на непроницаемость городского духа, на его зависимость от иллюзий и театральности и на поразительную расточительность перед лицом ошеломляющей нищеты. Впрочем, определяющим в данном тексте является используемое авторами понятие пористости — и соответствующей неопределенности — как основной черты города.

Помимо камня пористость присуща и архитектуре города. Постройки и жизнь проникают друг в друга во дворах, в пассажах и на лестницах. Во всем сохраняется размах, чтобы стать театром для новых, непредвиденных спектаклей. Всячески избегается печать определенности. Ни одна ситуация не кажется предначертанной на века, ни одна цифра не утверждает своего «только так и не иначе»... Столь же рассеянна, пориста и перемешана частная жизнь города. Неаполь отличает от других больших городов черта, роднящая его с африканским краалем: каждую частную позу и действие пронизывают течения общественной жизни. Существование — для жителя Северной Европы самое частное из всех дел — здесь, как и в краале, является делом коллективным... Так же, как на улице обосновывается жилая комната с ее стульями, камином и алтарем, так и — только намного более громко — улица проникает в жилую комнату. Даже в самом бедном жилье так же много восковых свечей, печенья в виде святых, пачек фотоснимков на стене и железных кроватей, как на улице — экипажей, людей и фонарей. Бедность вызывает сдвиг всех границ, отражающий самую блистательную свободу мысли (SW, 1:416, 419–420).

Подобно отсутствию сомнений в том, что эссе в некотором смысле является плодом соавторства, также несомненно и то, что немецкий язык, на котором оно написано, — язык Беньямина и только его одного²³.

«Неаполь» — важный текст не только в том, что касается многогранности взгляда на легендарный город: здесь впервые присутствует та прозаическая форма, которую Беньямин использовал и оттачивал на протяжении следующих 15 лет, — *Denkbild*,

23. Адорно утверждает, что этот текст написан только Беньямином: «Нет особых сомнений в том, что эта работа представляет собой плод усилий одного Беньямина». Это суждение соответствует свойственной друзьям и читателям Беньямина общей тенденции игнорировать Асю Лацис и ее роль в его жизни. Такому подходу противопоставляется работа Ingram, “The Writings of Asja Lacis”.

или «фигура мысли». В «Неаполе» не содержится дискурсивной сквозной аргументации. Вместо этого наблюдения и размышления подаются здесь сгустками мысли размером в абзац, вращающимися вокруг центральной идеи. Эти центральные идеи регулярно появляются на протяжении эссе, предлагая читателю отказываться от конструктов, основанных на линейном нарративе, ради *созвездий* литературных фигур и идей. В этом отношении Беньямин опирался на двух мастеров германского прозаического стиля — Георга Кристофа Лихтенберга (1742–1799) и Фридриха Ницше. Лихтенберг, математик и физик-экспериментатор, записывал короткие тексты — случайные мысли, меткие наблюдения и итоги экспериментов — в записные книжки, которые с самоиронией называл своими *Sudelbücher* (черновыми тетрадами или, как выражался сам Лихтенберг, «книжками для мусора»). Многие из этих небольших текстов отличаются афористической компактностью: «Когда при столкновении головы с книгой возникает гулкий звук, всегда ли причина этого — содержимое книги?». Беньямин был большим поклонником Лихтенберга и время от времени писал о нем²⁴. Вместе с тем с произведениями Ницше его связывали всесторонние и глубокие отношения. Обращение к афоризмам в философских целях, характерное для таких книг зрелого Ницше, как «По ту сторону добра и зла», служило для Беньямина важным прецедентом, как и структурная и стратегическая работа Ницше с афоризмами, из которых складывалась прерывистая сеть смысловых узлов с тонкими взаимосвязями между ними, приходящая на смену великой философской системе и тем самым подрывавшая саму возможность ее существования. Использование этой формы самим Беньямином в ряде ключевых отношений носило более литературный характер, чем у Лихтенберга и Ницше и даже чем у таких романтиков, изъяснявшихся афоризмами, как Шлегель и Новалис. Конфигурации, складывающиеся в его «фигурах мысли», являются функцией словесных созвучий, перекличек и перемещений в той же мере, что и разветвляющихся идей.

В октябре Беньямин и Лацис отправили свое эссе в латвийские и немецкие журналы, оно было напечатано в августе 1925 г. в *Frankfurter Zeitung*. Эссе «Неаполь» в настоящее время является важнейшей из литературных работ того периода, свидетельствующих об «интеллектуальной оккупации» Капри немцами из окружения Беньямина. Эрнст Блох, позаимствовав из эссе Беньямина его ключевой мотив, в июне 1926 г. опубликовал

24. См., например, радиопьесу «Лихтенберг» (1932–1933) в: GS, 4:696–720.

в *Die Weltbühne* свое собственное эссе «Италия и пористость»; гейдельбергский знакомый Беньямина, молодой экономист Альфред Зон-Ретель, в марте 1926 г. издал в *Frankfurter Zeitung* небольшую работу под замечательным названием «Идеал поломки» (*Das Ideal des Kaputten*), в котором утверждал, что «*капут* является принципиальным состоянием технических устройств... Для неаполитанцев работа начинается лишь тогда, когда чему-либо наступит *капут*»²⁵.

Последние недели на Капри оказались для Беньямина очень напряженными. В начале сентября на остров прибыли Эрнст и Линда Блохи, и Беньямин снова взял на себя роль экскурсовода по острову и материку. Впоследствии он запечатлел на бумаге волшебную ночь, проведенную им на улицах Позитано в обществе Блоха и Зона-Ретеля. Покинув своих спутников, Беньямин двинулся вверх, в манивший его безлюдный квартал:

Я чувствовал, как ускользаю от тех, кто остался подо мной, не смотря на то, что в мыслях легко преодолевал разделявшее нас небольшое расстояние, позволявшее мне видеть их и слышать. Меня окружала тишина, одиночество, полное событий. Физически я с каждым шагом все глубже проникал в событие, которое не мог себе ни представить, ни вообразить, в событие, не желавшее меня терпеть. Внезапно я застыл между стенами и пустыми окнами в гуще лунных теней... И здесь, под взглядом спутников, которых уносило в нереальность, я осознал, что значит вступить в зачарованное пространство [*Bannkreis*]. И я повернул назад²⁶.

Несмотря на то что Беньямин критически относился к своему философствующему другу — у него вошло в привычку подвергать критике все, связанное с Блохом: от его сентиментальной склонности к еврейскому юмору до готовности публиковать наряду с важными работами и «безответственное, святотатственное пустословие», — он сообщал Шолему, что Блох «впервые за долгое время демонстрирует более дружелюбную, и даже абсолютно блестящую и более праведную сторону своей личности, а беседы с ним иногда бывают реально полезными» (GV, 2:481). Эти последние недели на Капри ознаменовались новыми интеллектуальными и культурными контактами, из которых одним из наиболее памятных было чаепитие с итальянскими футуристами — Филиппо Томмазо Маринетти, Руджеро Вазари и Энрико Прампolini. Маринетти «чрезвычайно виртуозно» исполнил шумовую поэму, содержавшую «ржание лошадей, грохот

25. Bloch, "Italien und die Porosität", in *Werkausgabe*, 9:508–515.

26. Беньямин. Рецензия на книгу Job, *Neapel* (GS, 3:133).

пушек, перестук вагонов и пулеметную стрельбу» (GB, 2:493). При всякой возможности Беньямин продолжал собирать книги, в том числе добыв несколько раритетов для своей коллекции детских книг. Жертвой этой лихорадочной деятельности стала его хабилитационная диссертация. Работа над книгой о барочной драме продвигалась еле-еле, прерываемая не только поездками и общением, но и рецидивами нездоровья (которые он теперь приписывал плохому питанию), а также случавшимися время от времени приступами депрессии, по своей силе превосходившими все прошлые. Впрочем, к середине сентября он закончил предисловие, а также первую и частично вторую из замышлявшихся им трех главных частей своей книги о барочной драме.

Долгое пребывание на Капри оставило неизгладимый отпечаток на творчестве Беньямина: до конца жизни он не оставлял попыток облачить полученные там впечатления в литературную форму. Каприйские мотивы стали темой ряда самых выдающихся из его «фигур мысли». Сон о переправе с Капри в Позитано он включил в сборник «Короткие тени», опубликованный в феврале 1932 г. в *Kölnische Zeitung*. Кроме того, Капри занимает важное место в зарисовке «Лоджии», которой начинается работа «Берлинское детство на рубеже веков» в редакции 1938 г.: Беньямин называл ее «самым точным портретом, какой мне было дано списать с себя» (С, 424). Вспоминая странные обещания, витавшие в атмосфере берлинских дворов, в которых он вырос, Беньямин пишет, что «легкое дыхание этого воздуха проносилось даже над виноградниками на Капри, укрывавшими меня, когда я сжимал в объятиях возлюбленную» (SW, 3:345; БД, 11). Однако, пожалуй, то значение, которое сохранял для него остров, ему лучше всего удалось выразить в дневниковой записи за 1931 г.: «Я убежден, что долгое проживание на Капри по своим итогам равнозначно далекому путешествию: так велика уверенность всякого долго прожившего там человека в том, что он держит все нити в руках и что в нужный момент к нему придет все, в чем он нуждается» (SW, 2:471).

В конце концов Беньямин сумел вырваться с Капри 10 октября 1924 г. Перед отъездом он узнал, что 7 октября умер Флоренс Христиан Ранг. Друг Беньямина заболел вскоре после своего возвращения с Капри. Первоначально поставленный ему диагноз — ревматизм по мере ухудшения его состояния был заменен на «воспаление нервов»; в последние дни Ранг страдал от почти полного паралича. Беньямин перестал писать ему в начале сентября, когда узнал, что Ранг не в состоянии читать письма.

В том, как Беньямин рассказывает Шолему о получении известия о смерти Ранга в последний день пребывания на острове, слышится и заметная отстраненность, и эмоциональная острота: «...известие, к которому я готовил себя в течение последних двух недель, но которое только сейчас постепенно начинает доходить до меня» (С, 252). В последующие годы ему станет ясно, что он лишился своего рода пробного камня — критерия, позволявшего ему оценивать свое собственное существование (такое же, каким он однажды назвал Фрица Хайнле). Беньямин уже давно признался себе и своему другу, что Ранг в его глазах является воплощением «подлинного немца» (ГВ, 2:368). Кроме того, он полагал, что некоторые аспекты его собственной работы в первой половине 1920-х гг. в полной мере мог понять лишь Ранг: как он впоследствии отмечал, со смертью Ранга книга о барочной драме лишилась того, «кому она предназначалась» (ГВ, 3:16). Как сообщал Беньямин Шолему, он написал Эмме Ранг о том, что обязан ее мужу «всеми усвоенными мной важнейшими элементами германской культуры». Разумеется, самому Шолему он нарисовал более уравновешенную картину: «[Жизнь, обитающая в этих великих темах для размышлений,] вырывалась из него, приобретая особую вулканическую мощь тогда, когда она была парализована, придавленная тяжестью остальной Германии. Мне представилась... возможность, гарантированная и не дающая скидок, испытать свои силы на неприступной, суровой глыбе его мыслей. Нередко я взбирался на вершину, позволявшую окинуть широким взором сферу моих собственных неисследованных идей. Его дух, подобно трещинам в глыбе, прорезало безумие. Но благодаря его нравственности безумие не могло одержать победу над этим человеком. Разумеется, я был знаком с удивительно гуманным климатом его интеллектуального ландшафта, с присущей ему неизменной свежестью рассвета» (С, 252). В глазах Беньямина величие Ранга — он служил не только образцом интеллекта, но и образцом нравственности — было неразрывно связано с его личностью. И потому Беньямина серьезно беспокоило, что теперь, когда об этом человеке можно было судить только на основании его произведений, его значение будет недооценено. Он опасался, что «интеллектуальный ландшафт» Ранга покажется «окаменелым... после захода солнца» (С, 252). Сам Ранг явно разделял эти опасения: он назвал Беньямина своим литературным душеприказчиком, которым молодому человеку никогда прежде не приходилось быть. Мы не знаем, сам ли он в итоге отказался от этой роли или исполнить волю покойного ему помешала семья Ранга. Он увековечил память своего друга в начале кни-

ги «Улица с односторонним движением», в главках «Флаг...» и «...приспущен». В первой речь идет об отъезде Ранга с Капри, во второй — о его смерти:

Флаг...

Насколько же легче любить того, кто прощается! Ибо страсть к тому, кто удаляется, разгорается ярче, поддерживаемая мимолетным движением полоски ткани, которой машут нам с корабля или из окна поезда. Расстояние проникает исчезающего человека, как краска, и наполняет его мягким светом.

...приспущен

Когда мы теряем очень близкого человека, то среди событий последующих месяцев появляются такие, которые, как нам кажется, могли произойти лишь благодаря его отсутствию, как бы мы ни хотели ими с ним поделиться. Мы передаем ему последний привет на языке, которого он уже не понимает (SW, 1:450; УОД, 25–26).

Беньямин не спешил возвращаться в Берлин. Проведя несколько дней в Неаполе и Позитано, он остановился на неделю в Риме и на более короткие сроки — в Пизе, Флоренции, Перудже, Орвието и Ассизи. Многие из этих дней были посвящены созерцанию итальянского искусства: Беньямин посетил галерею Боргезе и музеи Ватикана в Риме, соборы в Пизе и Орвието и монастырь Святого Франциска в Ассизи. В первую очередь его интересовало кватроченто, о котором, согласно его собственному признанию, он относительно мало знал; изучение археологических следов античности также велось им «согласно правилам» (GB, 2:501). Но при всем неудовлетворении, которое он мог испытывать из-за недостатка знаний, оно заслонялось «гармоничным союзом» хронически пасмурной и дождливой погоды с глубоким чувством одиночества — Ася Лацис вернулась к Бернхарду Райху, и Беньямину стало ясно, что теперь он не увидит ее много лет, — и вездесущим фашизмом. Беньямин постоянно сталкивался с тем, что его перемещения мешали фашистские спектакли, собиравшие толпы людей, и он, сам не зная, что было тому причиной — «то ли чувство возмущения, то ли стремление вырваться на свободу», — неоднократно протискивался в первые ряды толпы, что давало ему возможность бросить взгляд на короля, политиков-фашистов и шествия фашистской молодежи и фашистской милиции. «Я не мог бы поступить иначе, даже если бы был итальянским корреспондентом *Action française*, а не просто ее читателем» (С, 255).

В середине ноября Беньямин вернулся в Берлин, в дом своих родителей на Дельбрюкштрассе, где воссоединился с Дорой и Штефаном. К 22 ноября он смог сообщить Шолему, что сделал беловую копию законченных разделов книги о барочной драме или по крайней мере той ее части, которую он намеревался представить во Франкфурт. Он был уверен, что нашел для нее правильное название — «Происхождение немецкой барочной драмы». Более того, он сократил первоначально замышлявшиеся три части книги до двух частей с тремя разделами в каждой. Несмотря на остававшиеся у него сомнения в том, что ему удалось успешно показать ключевую роль аллегии в барочной драме — он надеялся, что этот тезис «окажется очевиден во всей своей полноте», он испытывал заметную гордость в отношении своей стратегии письма — создания текста, составленного «почти полностью из цитат... самая безумная из техник мозаики, какую только можно себе представить» (С, 256). Впрочем, как ни доволен был Беньямин своим замыслом и его интеллектуальным значением, мысль о подаче хабилитационной диссертации вызывала у него неоднозначные чувства: «Но этот проект означает для меня конец, и ни за какие деньги в мире ему не стать началом... Меня страшит едва ли не любой итог положительной реакции на все это: больше всего я боюсь Франкfurта, затем лекций, студентов и т. д.: всего того, что отнимает убийственно много времени, тем более что экономное использование времени — не моя сильная сторона» (С, 261). Несмотря на то что поставленная им цель сейчас казалась столь близкой, он все равно был неспособен представить себя профессором.

По сути, после Капри и поворота к современной культуре перед Беньямином забрезжили контуры жизни вне академической сферы: «Уже какое-то время я пытаюсь поймать в свои паруса господствующие ветры, дующие из всех направлений» (GB, 3:15). Он вернулся на литературный рынок с удвоенной решимостью. В конце 1924 — начале 1925 г. он написал два эссе-рецензии о коллекционировании детских книг, возвращаясь к разным главам текста, который в итоге будет опубликован под названием «Улица с односторонним движением», но пока носил рабочее название «Плакетка для друзей», и начал работу над рядом новых эссе. Этот период активного творчества стал прелюдией к состоявшемуся в 1926 г. становлению Беньямина как одного из наиболее ярких культурных критиков в Германии. Мысленно он проводил тесную связь между этим всплеском культурной активности и поворотом в своих политических предпочтениях. Что характерно, в письме Шолему, чью реак-

цию было легко предвидеть, он сформулировал эту смену ориентации как можно более провокационно: «Надеюсь, что однажды коммунистические сигналы дойдут до тебя более четко, чем они приходили с Капри. Сначала они указывали на перемену, пробудившую во мне стремление не скрывать по-старо-франконски, как я это делал прежде, злободневные и политические элементы моих идей, а развивать их, для чего требовалось экспериментировать и идти на крайние меры. Это, разумеется, означает, что литературная экзегеза немецкой литературы отступает на задний план» (С, 257–258). Он отмечает, как удивило его самого наличие у него «различных точек пересечения с радикальной большевистской теорией», и высказывает сожаление по поводу того, что в данный момент он не в состоянии ни сделать «связное письменное заявление по этим вопросам», ни найти возможности «для личного разговора», поскольку «в том, что касается этой конкретной темы, в моем распоряжении нет никаких иных средств самовыражения» (С, 258).

Из двух эссе о детских книгах большее значение имеет эссе «Старые забытые детские книги»: основой для него послужила не только коллекция, с любовью собранная Беньямином и Дорой за долгие годы, но и давний интерес Беньямина к детскому восприятию и воображению. Как мы уже отмечали, он еще в Швейцарии завел записную книжку, в которую записывал «мысли и мнения» своего сына Штефана, и с тех пор он с особым вниманием относился к детским играм и игрушкам. Кроме того, это маленькое эссе служит вехой, от которой ведет отсчет ряд новых начинаний Беньямина: это не только его первая изданная работа, обращаясь к вопросам популярной культуры, но и первая попытка набросать портрет коллекционера — фигуры, которой он уделял большое внимание в 1930-х гг. Он признавал возможное присутствие «надменности, одиночества, ожесточенности — этих темных сторон многих высокообразованных и удовлетворенных коллекционеров», но в то же время указывал, что каждый серьезный коллекционер детских книг должен «радоваться им, как ребенок». Беньямин восхищался таким же, как он, коллекционером Карлом Хобрекером, с которым был знаком, и называл его (в письме Шолему) «настоящим знатоком в этой сфере, бескорыстно рекламирующим мою собственную коллекцию». Но в то же время тот составлял ему конкуренцию и, как вспоминал Беньямин, издатель Хобрекера, «узнав о моей коллекции и о том, что я вложил в нее всю свою душу, очень горевал о том, что не дал мне этот заказ». Он говорил друзьям о том, что очерк старого господина написан стилем «старого дядюшки», с тем «степенным юмором, ко-

торый иногда похож на непропеченный пудинг» (С, 250–251). Беньямин проявлял активный интерес к истории педагогики в Германии, и в его маленьком эссе содержится краткий анализ роли детских книг в развитии этой науки — первый из числа тех, что были порождены рано проснувшимся в нем вниманием к теории и практике образования. Но пожалуй, самым важным в этом эссе является проведенное в нем различие между тем, как ребенок реагирует на цветные иллюстрации и на гравюры. Как Беньямин предполагал в нескольких работах, написанных начиная с 1914 г., цветные иллюстрации связаны с развитием внутреннего мира ребенка²⁷. «В конце концов роль детских книг состоит не в том, чтобы непосредственно привести их читателей в мир предметов, животных и людей, иными словами, в так называемую жизнь. Смысл этих вещей мало-помалу раскрывается во внешнем мире, но лишь в той степени, в какой ребенок видит соответствие между ними и тем, что уже существует у него в душе. Внутренняя природа этого способа восприятия скрывается в цвете, и именно там проистекает та смутная жизнь, которую ведут предметы в уме у ребенка. Яркие цвета служат для него источником познания. Ведь цвет — самая подходящая среда для чувственного созерцания, свободного от ностальгии» (SW, 1:410). Гравюра же служит «диаметрально противоположным дополнением» к цветной иллюстрации, которая «погружает воображение ребенка в мечтательное состояние внутри самого себя. Черно-белая гравюра, будучи простым прозаическим изображением, заставляет его покинуть себя. Убедительное приглашение к описанию, присутствующее в таких изображениях, пробуждает в ребенке желание выразить себя в словах. А описывая эти изображения словами, он воплощает их и в своих поступках. Они становятся для ребенка домом». При всей прямолинейности дихотомии между смутным, текучим внутренним миром и активным присутствием во внешнем мире, на которую как будто бы указывает это различие, Беньямина интересует не столько она сама, сколько скрытый потенциал, который может способствовать объединению двух этих полюсов. «Воплощая» в своих поступках изображения, дети «описывают их своими идеями и в более буквальном смысле: они рисуют на них каракули. Обучаясь языку, в то же время они учатся писать: они обучаются иероглифам» (SW, 1:411). Таким образом, эссе Беньямина о детских книгах становится первым публичным свидетельством его возвращения, произошедшего во время

27. См., например: «Как ребенок видит цвет» (1914–1915) и «Радуга: беседа о воображении» (1915) в EW, 211–223.

работы над книгой о барочной драме, к его языковым теориям 1916 г. с их строгой дихотомией между инструментальным языком, служащим для передачи информации, и райским языком, ничего не передающим, но воплощающим в себе собственную языковую сущность. Детские каракули — это бессознательная демонстрация теории шрифта, которую разрабатывал Беньямин. Сформулированная здесь идея «иероглифики», исходившая из его интереса к графологии, претендующей на способность выявить внутренний мир исходя из рисунка индивидуального почерка, станет ключевой чертой анализа такой формы, как барочная драма.

Наряду с этой и другими попытками заявить о себе как о критике, работающем в сфере современной культуры, Беньямин также активно пытался устроиться на постоянную должность в германском литературном мире. Пожалуй, наиболее многообещающим было полученное им предложение стать редактором в новом издательстве, основанном молодым человеком по фамилии Литтауэр (*Litthauer* или, согласно Шолему, *Littauer*). За эту работу Беньямину не полагалось оклада, но он мог бы регулярно писать для издательства статьи и путевые очерки и получать за них гонорар. Исходя из этого предложения, он начал обдумывать те возможности, которые дал бы ему прямой доступ к издателю, включая идею о новом журнале и план издать книгу о барочной драме именно там (см.: GB, 2:515n, 3:19n). Несмотря на то что германская экономика вступила на путь стабилизации, основание издательства по-прежнему было очень рискованным делом: *Litthauer Verlag* закрылось весной, не издав ни одной книги. Кроме того, Беньямин начал переговоры о том, чтобы стать редактором еженедельного культурного приложения к радиожурналу франкфуртской радиостанции *Südwestdeutschen Rundfunkdienst*. Директором вещания там был его друг Эрнст Шен, и шансы на получение этой должности сначала казались весьма высокими, до тех пор, пока камнем преткновения на переговорах не стали чрезмерные финансовые требования Беньямина. Такой неразумный шаг со стороны человека, не имеющего иных доходов, кроме сильно сократившегося пособия от родителей, представлял собой характерную черту Беньямина: по мере того как его финансовое положение становилось все более безнадежным, возрастала непреклонность его притязаний на денежную компенсацию, отвечающую его достижениям.

Словно неясности перспектив на профессиональную карьеру было недостаточно для того, чтобы держать Беньямина в подвешенном состоянии, он продолжал осложнять свою личную жизнь тем, что часто виделся с Асей Лацис, в конце октя-

бря вернувшейся в Берлин с Бернхардом Райхом и своей дочерью Дагой. Контакты между обеими семьями не могли не быть чреваты многочисленными трениями. По предложению Беньямина Штефан часто сопровождал Дагу на ее занятия по ритмической гимнастике; по воспоминаниям Аси, Штефан в этих случаях вел себя как настоящий «маленький кавалер, учтивый и изящный»²⁸. В Берлине, как и в Неаполе, Беньямин взял на себя роль гида для Аси, знакомя ее не только с вопиющими городскими контрастами, например, между богатым районом на западе города, где жили его родители, и такими пролетарскими кварталами, как Веддинг и Моабит на севере, но и со своей откровенно буржуазной склонностью к изысканным ресторанам и тщательно соблюдаемой культуре стола. Несмотря на углубляющуюся левую политическую ориентацию, классовые привычки Беньямина оставались неизменными — и неизменяемыми. Разумеется, Вальтер Беньямин едва ли был одинок в качестве подобного воплощения классовых противоречий; конец 1920-х гг. был временем ожесточенных дискуссий в левых писательских кругах: усиление требований о солидаризации с пролетариатом постепенно отталкивало от левого движения буржуазных интеллектуалов, возвращавшихся в стан социал-демократов. Беньямин был всего лишь одним из наиболее заметных представителей этих интеллектуалов, решительно стоявших на радикальных *интеллектуальных* позициях, но сохранявших приверженность буржуазному образу жизни даже в условиях всеобщей бедности.

Ася стремилась познакомиться с братом Беньямина Георгом, который к тому времени стал убежденным коммунистом и активным общественным деятелем, но Беньямин препятствовал этому, оставаясь верным своему давнему принципу полностью изолировать друг от друга людей, занимавших заметное место в его жизни. Но если он не допускал свою латышскую подругу ко многим своим делам, то сам горел желанием при ее содействии войти в мир, о котором почти ничего не знал: в мир современного театра. Осенью 1924 г. свое согласие на встречу с ним дал Бертольд Брехт, активно избегавший знакомства с Беньямином на Капри; по воспоминаниям Аси, первое их свидание оказалось неудачным и Брехт свел свои контакты с Беньямином к минимуму²⁹. Интерес к Брехту показывает, как сильно изменились представления Беньямина об открытых перед ним

28. Laci, *Revolutionär im Beruf*, 53.

29. См.: Wiziśla, *Walter Benjamin and Bertolt Brecht*, 25–31; Вицисла, *Беньямин и Брехт*, 59–69.

возможностях. Хотя он поддерживал связи с немногими близкими друзьями студенческих времен, включая Эрнста Шена, Юлу Радт-Кон с ее мужем Фрицем и Альфреда Кона, и по-прежнему живо интересовался эзотерической мыслью и мыслителями-эзотериками (он пытался напечатать рецензию на новую книгу Эриха Унгера *Gegen die Dichtung* («Против поэзии»)), после возвращения с Капри он начал сближаться с несколько иными кругами. К концу года в квартире младших Беньяминов в родительском доме установилось что-то вроде домашнего мира. На хануку Штефан получил в подарок не только железную дорожку, но и «великолепный индейский костюм, одну из самых красивых игрушек, какие попадали на рынок за долгие годы: красочный головной убор из перьев, топоры, цепочки. Кто-то еще вручил ему африканскую маску... и в то утро я увидел его, танцующего передо мной в грандиозном наряде» (С, 258).

К февралю 1925 г. книга о барочной драме приобрела свою окончательную форму: две главные части плюс теоретическое введение. Беньямин все еще вносил поправки во вторую часть (на основе почти законченной рукописи), но введение и первая часть уже были завершены. Шолему он описывал введение как «откровенное нахальство, иными словами, не более и не менее как пролегомены к эпистемологии, что-то вроде второго этапа моей старой работы о языке... подаваемого как теория идей» (С, 261). Ни давно запланированная третья часть исследования, ни краткое теоретическое заключение, призванное уравновесить предисловие, так и не были написаны. Наконец, после упорной работы, растянувшейся более чем на год, Беньямин отослал вторую, «более скромную» половину введения и первую часть своему научному руководителю Шульцу с тем, чтобы тот, как он надеялся, инициировал сложный процесс, который привел бы к получению Беньямином *venia legendi* или права занимать профессорскую должность в университете. Он считал, что его шансы «не слишком неблагоприятны», поскольку Шульц был деканом философского факультета и это могло облегчить путь к заветной цели. Кроме того, Беньямин обратился к Саломону-Делатуру с просьбой подыскать ему «образованную женщину, которая в состоянии уделить мне неделю напряженного труда» (GB, 3:9), то есть записать под его диктовку окончательный вариант второй части и введения. Такой метод финальной отделки впоследствии применялся им при работе над каждым крупным произведением: имея законченный рукописный вариант, Беньямин надиктовывал его стенографистке, одновременно внося в него небольшие исправления, и получал окончательную версию, предназначенную для печати.

13 февраля, как всегда, со смешанными чувствами он отбыл во Франкфурт, чтобы начать предпоследний, как он надеялся, этап на пути к хабилитации. По мере того как тянулись недели, он впадал во все большее уныние. Последние, технические мелочи работы над хабилитационной диссертацией — «такой механический труд, как диктовка и составление библиографии» — стали для него тяжелым бременем. Что касается самого Франкфурта, то по сравнению с Берлином или Италией в его глазах этот город был отмечен «запустением и негостеприимностью»: Беньямину были ненавистны и его «повседневная жизнь, и его вид» (С, 261, 263). При этом сам он находился в плохой эмоциональной форме. По-прежнему не испытывая энтузиазма в отношении даже самого успешного результата своих усилий, он все отчетливее понимал, что оказался в безвыходной ситуации. Шульц, возглавлявший кафедру истории литературы, в 1923 г. внушил Беньямину самые серьезные надежды на то, что он поддержит его работу и его кандидатуру; в конце концов именно Шульц предложил Беньямину такую тему. Как указывал Буркхардт Линднер, Шульц был амбициозным ученым, который не побоялся бы связать свое имя со студентом, чьи труды получили широкое признание³⁰. Но когда весной Беньямин встретился с Шульцем с тем, чтобы передать ему оставшуюся часть текста, тот вел себя «холодно и мелко и к тому же, судя по всему, был плохо осведомлен. Он явно проявил интерес только к введению, наименее доступной части всей работы» (С, 263). Шульц, даже не ознакомившись со второй частью, немедленно заявил Беньямину, что собирается сложить с себя обязанности его научного руководителя, и рекомендовал ему защитить хабилитационную диссертацию по эстетике под научным руководством Ганса Корнелиуса. Из этого предложения вытекал ряд следствий. Во-первых, было ясно, что Шульц хочет отделаться от Беньямина. Во-вторых, это означало, что Беньямин сумеет получить хабилитацию (если это вообще случится) в совершенно иной и с чисто профессиональной точки зрения намного менее привлекательной области. В тех немецких университетах, где вообще преподавали эстетику, она была лишь подразделением философии или истории искусства. Наконец — и это, должно быть, больше всего раздражало Беньямина, — задолго до того, как выбрать в качестве своей темы барочную драму, он уже обращался к Корнелиусу по поводу возможности защитить хабилитационную диссертацию по философии, и тот

30. Lindner, "Habilitationssakte Benjamin", 150.

не пожелал иметь с ним дела. «Надежда очень быстро покидает меня: вопрос о том, кто замолвит за меня слово, оказался слишком сложным. Два года назад такое состояние вещей привело бы меня в самое бурное моральное негодование. Сейчас же я слишком хорошо разбираюсь в механизмах этого учреждения для того, чтобы быть способным на такое» (С, 268).

Разумеется, Беньямин мог бы настаивать на своем, но он был достаточно умудрен в академической политике и понимал, что сумеет добиться желаемого в сфере истории литературы лишь в том случае, если бы Шульц поддержал его «самым энергичным образом» (С, 264). Беньямин прекрасно осознавал, что из-за отступничества Шульца оказался на научной ничейной земле. В немецком университетском мире многое зависело и продолжает зависеть от личных связей: лучшие места — по сути, большинство мест — достаются претендентам, у которых есть сильные покровители, а они поддерживают лишь претендентов, сумевших доказать, что долго будут их верными адептами. Беньямин же был чужаком, не имевшим серьезных связей ни с Франкфуртским университетом, ни с Шульцем и никогда не претендовавшим на что-то большее. «Я в состоянии назвать на факультете несколько господ, сохраняющих благожелательный нейтралитет, но не знаю никого, кто бы реально протянул мне руку» (С, 266). И потому он едва ли был удивлен, когда Саломон-Делатур передал ему слова Шульца о том, что «он не имеет ничего против меня, за исключением того, что я не его студент» (С, 264).

Беньямин долго держал при себе свою оценку Шульца, но сейчас он описывал его Шолему более откровенно: «Этот профессор Шульц — малозначительный ученый и искусственный космополит, вероятно, имеющий более верный нюх в некоторых литературных вопросах, чем юные завсегдатаи кофеен. Но помимо этой похвалы мишурному блеску его интеллектуализма больше сказать о нем в сущности нечего. Во всех прочих отношениях он посредственность, а те дипломатические навыки, которые у него имеются, парализуются трусостью, рядящейся в одежды пунктуального формализма» (С, 263). Работы самого Шульца характеризуют его как ученого, не обладающего ни аналитическими, ни риторическими талантами, и потому едва ли удивительно, что он оказался неспособен ни вникнуть в труд Беньямина, ни выступить в его защиту. Мы не располагаем соответствующими серьезными сведениями, но не исключено, что свою роль могли сыграть и такие факторы, как предвзятость и политические разногласия: по словам одного свидетеля, Шульц принимал участие в сожжении книг на главной площа-

ди Франкфурта в 1933 г., в тот момент, когда самый выдающийся литературный критик еврейского происхождения в Веймарской республике был вынужден отправиться в изгнание³¹.

Несмотря на крепнувшие и вполне обоснованные предчувствия, Бенъямин официально представил «Происхождение немецкой барочной драмы» в качестве своей хабилитационной диссертации 12 марта 1925 г. Она обращала на себя внимание своей темой — забытой драматургической формой, хотя рост интереса к литературе германского барокко наблюдался еще с конца XIX в. В начале XX в. широкое распространение получил термин «Вторая силезская школа», которым обозначали группу поэтов и драматургов, следовавших барочному стилю Даниэля Каспера фон Лоэнштейна и Христиана Гофмана фон Гофмансвальдау. Эти авторы, работавшие в XVII в., — Андреас Грифиус, Иоганн Христиан Халльман и ряд анонимных драматургов никогда не входили в состав какой-либо организованной «школы». Но ряд влиятельных литературных критиков XIX в., включая Георга Готфрида Гервинуса (которого Бенъямин избрал для себя в качестве образца), выявили некоторые различные формальные и тематические моменты, общие для широкого круга их произведений. Таким был литературно-исторический контекст, в котором Бенъямин достаточно рано (уже в 1916 г.) обратил свое внимание на драматургическую форму, известную как драма скорби, *Trauerspiel* (буквально — «скорбная пьеса»).

Книга о барочной драме в некоторых отношениях является ключевой на творческом пути Вальтера Бенъямина. Она представляет собой первый полноценный, исторически ориентированный анализ модерна. Будучи посвящена литературному жанру былых дней, она находится в одном ряду с литературной критикой, вышедшей из-под пера Бенъямина до 1924 г. Однако в отличие от других работ, написанных им до того момента, в исследовании о барочной драме он откровенно ставит перед собой двойную цель. В предпоследнем разделе «Эпистемологического предисловия» к книге Бенъямин проводит широкие параллели между языком и жанром барочной драмы и языком и жанром современной ему экспрессионистской драмы. «Ведь, подобно экспрессионизму, барокко — эпоха не определенной ху-

31. Первым об участии Шульца в сожжении книг заявил Вернер Фульд в Fuld, *Walter Benjamin: Zwischen den Stühlen*, 161. Буркхардт Линднер в Lindner, "Habilitationssakte Benjamin", 152, добавляет, что Фульд в частном разговоре обосновал свое заявление ссылкой на свидетельство Вернера Фрицемайера, который в то время учился во Франкфуртском университете.

дожественной практики, а скорее неукротимого художественного воления [*Kunstwollen*]. Так всегда обстоит дело с так называемыми эпохами упадка... В подобном смятении [*Zerrissenheit*] современность подобна определенным сторонам барочного духовного строя вплоть до деталей художественной практики» (ОГТ, 55; ПНД, 39–40). Иными словами, некоторые черты модерна можно выявить *лишь посредством* анализа оклеветанной, давно прошедшей эпохи. Согласно неявно присутствующему здесь утверждению, которое в явном виде будет сформулировано в конце 1920-х гг. в проекте «Пассажи», определенные моменты времени находятся друг с другом в синхронистических отношениях, в отношениях соответствия, или, как Беньямин выразился в более поздней работе, существует «исторический принцип», согласно которому характер конкретной эпохи иногда можно понять, лишь сопоставив ее с какой-либо иной отдаленной эпохой. Эта тема — существование такой глубинной исторической структуры — сама по себе ни разу не затрагивается в двух главных частях книги: Беньямин опирается на свою трактовку барочной драмы и на убедительность своего изложения с тем, чтобы высветить характерные черты своей эпохи в их «текущей узнаваемости». И точно так же, как в книге переплетены друг с другом тенденции, свойственные XVII и XX вв., в ней проводится связь между теорией литературной критики, разработанной Беньямином в 1914–1924 гг., и марксистской литературной теорией, начало которой положил Лукач. Книга Беньямина с ее акцентом на «вещном характере» барочной драмы расчищает путь для его последующих изысканий, посвященных фетишизации товара и ее глобальному последствию — «фантазмагории». Так, оглядываясь назад из 1931 г., он мог написать, что книга о *Trauerspiel* была «если и не материалистической, то уже диалектической» (GB, 4:18).

Использование в предисловии термина «художественное воление» [*Kunstwollen*] говорит о переосмыслении Беньямином модели культурной истории, предложенной Алоисом Риглем. Подход Ригля к произведениям искусства предполагает, что некоторые эпохи в истории искусства по своей природе не способны на создание «удачных отдельных произведений». Подобные эпохи — позднеримская «индустрия искусства», барокко, докапиталистический модерн вместо этого порождают несовершенные или ущербные произведения, в которых находит выражение не менее значимое художественное воление. Делая такой же акцент на членении и распаде, Беньямин в своем понимании раннего модерна отталкивается не только от экспрессионистской традиции, но и от знаменитой концепции «современной

красоты», выдвинутой Бодлером, — эстетики жестокого и уродливого, которой он вдохновляется во многих своих стихотворениях. Таким образом, ставя в центр внимания ряд барочных драм, в большей степени отличающихся экстремальностью своих формальных и стилистических приемов, чем какими-либо эстетическими удачами в традиционном смысле, Беньямин стремится выявить художественное воление той эпохи, а соответственно, и само ее духовное строение. Более того, исторический опыт, полученный такими эпохами, может быть раскрыт только *через* подобные ущербные произведения: «Историческая жизнь, как она представлялась той эпохой, вот... содержание [барочной драмы], ее истинный предмет» (ОГТ, 62; ПНД, 48).

В глазах Беньямина история, составляющая «содержание» этих пьес, — неудержимое сползание к катастрофе. В первой части книги «Драма и трагедия» на основе обширных цитат из пьес выстраивается широкая интеллектуальная история той эпохи. В центр этой истории Беньямин ставит лютеранское опустошение смысла повседневной жизни: «...в той чрезмерной реакции, которая в конце концов отринула добрые дела вообще, а не только их принадлежность к заслугам и покаяниям... Человеческие поступки были лишены всякой ценности. Возникло нечто новое: опустошенный мир» (ОГТ, 138–139; ПНД, 139–140). Традиционное прочтение таких эпох, как барокко, акцентирует их тягу к трансценденции и соответствующую эсхатологическую окраску, которую приобретают человеческие деяния. Напротив, Беньямин полагает, что определяющей чертой немецкого барокко являлось именно *отсутствии* традиционной эсхатологии: «Религиозный человек барокко настолько привязан к миру потому, что чувствует, как его вместе с миром несет к водопаду. Барочной эсхатологии не существует, и именно отсюда механизм, который собирает и экзальтирует все земное, прежде чем его настигнет конец». Барокко отбирает у этого опустошенного мира «множество вещей», «выводя их на свет... в грубом виде». Движущей силой этого грубого выявления является не какой-либо князь, теолог или восставший крестьянин, а сама драматическая форма барочной драмы. Беньямин приписывает произведению искусства не только разоблачительные, но и разрушительные способности, нигилистическую силу: сцена, полная случайных вещей, «обычно не поддающихся какой бы то ни было артикуляции», открывает «последние небеса», делая их «способными однажды с катастрофической силой поглотить землю» (ОГТ, 66; ПНД, 52). Здесь, как и во многих других моментах при изучении барокко, вся мощь трактовки, предлагаемой Беньямином, раскрывается лишь при од-

новременном прочтении книги о барочной драме и «Улицы с односторонним движением», важнейшие главы которой писались в то же самое время. Очистительное насилие, приписываемое барочной драме, реализуется, например, в последней главке книги «Улица с односторонним движением» — «К планетарию»: «Смертельными ночами недавней войны ощущение, походившее на радость эпилептика, потрясло все устои человечества. И последовавшие за ним мятежи были первой попыткой овладеть новой плотью» (SW, 1:487; УОД, 112). Таким образом, термин «барочная драма» относится и к специфическому литературному жанру, и к тенденции, присущей самой современной истории. Именно по этой причине Беньямин считает барочную драму «морально ответственной» формой, отказывая в таком свойстве эстетически более совершенным драмам той эпохи, например драмам Кальдерона.

Значительная часть раздела «Драма и трагедия» посвящена формальному анализу этих неровных, невразумительных пьес и особенно отношениям, устанавливающимся между сценическими персонажами и зрителем. Фигуры барочной сцены, отнюдь не отличаясь ни натурализмом, ни психологической достоверностью, представляют собой негибкие, неуклюжие конструкты. Разве может быть иначе, вопрошает Беньямин, если они призваны иллюстрировать течение ущербной, безнадежной истории? За их неловкими, деревянными движениями стоят не чувства или мысли, а «жесткие физические побуждения», в то время как их напыщенная, нередко иератическая речь подчеркивает их отчуждение и от природы, и от благодати. Однако в центре анализа у Беньямина находятся не столько сами персонажи, сколько вышеупомянутые взаимоотношения между сценой и зрителем. Последний видит на сцене — в «совершенно не связанном с космосом внутреннем пространстве чувств» — морально поучительное отражение своего положения в мире. Таким образом, барочные драмы — «не столько пьесы, от которых становится печально, сколько такие, в которых скорбь находит свое удовлетворение: пьесы для печальных» (ОГТ, 119; ПНД, 116).

Во второй части книги «Аллегория и драма» Беньямин убедительно выступает за возвращение аллегории в качестве основополагающего тропа не только барокко, но и самого модерна. Аллегория, понимаемая как нарративная связь между символическими элементами, в XVIII в. оказалась в опале; однако, согласно трактовке Беньямина, реабилитирующей аллегорию, троп не имеет особого отношения к нарративному и репрезентационному аспектам данного жанра. Аллегория выступа-

ет у Бенямина в качестве строго кодифицированного набора знаков, не *обязательно* связанных с тем, что они символизируют. Согласно наиболее популярной цитате из данной книги, «любая персона, любая вещь, любое обстоятельство могут служить обозначением чего угодно». Гораздо реже цитируется следующее предложение, обозначающее аллегорию в качестве исторической практики: «Эта возможность выносит профанному миру уничтожающий и все же справедливый приговор: он характеризуется как мир, в котором детали не имеют особого значения» (ОГТ, 175; ПНД, 181). Бенямин приписывает аллегории уникальные разоблачительные способности: она в состоянии показать бездну, скрывающуюся за каждым аспектом повседневной жизни. По мере того как аллегория перестает производить смысл, ее сменяет «естественная история» смысла (ОГТ, 166; ПНД, 171): инертные, опустошенные фигуры на сцене, окруженные вещами, лишенными свойственного им значения, отражают историю, уже неотличимую от непрерывной гибели и разрушения самой природы. «Здесь сердцевина аллегорического взгляда, барочного, светского представления истории как истории всемирных страданий; значимым оно оказывается лишь в точках упадка» (ОГТ, 166; ПНД, 172).

В барочной драме эта «естественная история» «бродит по сцене» в виде реквизита, знаков и обезличенных, зашифрованных человеческих фигур. Эти вещи и люди, подобные вещам, могут не иметь имманентного отношения к значимому настоящему или к истории спасения; вместо этого аллегорист наделяет их скрытым и абсолютно греховным смыслом: «Ведь любая истина меланхолика подвластна глубинам, ее добывают погружением в жизнь тварных вещей, а из звуков откровения до нее ничего не доносится» (ОГТ, 152; ПНД, 155). Здесь видны переключки между книгой о барочной драме и «„Избирательным сродством“ Гёте»: аллегорист, подобно Гёте, путает «мудрость», порожденную преклонением перед природой и прославлением тварного начала, с высшим смыслом, скрытым от него. Таким образом, меланхолик предает себя и мир ради таинственного и, по-видимому, глубокого знания. В этом заключается парадокс барочной драмы: аллегорист, со скрытым умыслом размещая на сцене безжизненные вещи, стремится реабилитировать эти мирские предметы. Однако именно за этими действиями скрывается *уничтожение* опустошенного мира. На сцене барочной драмы аллегорические предметы предстают в виде руин и обломков и тем самым разворачивают перед зрителем историю, с которой сорван ложный блеск таких категорий, как целостность, связность и прогресс. «Образ в сфере аллегорической

интуиции — фрагмент, руина... Ложная видимость целостности исчезает. Эйдос меркнет, сравнение чахнет, космическое биение замирает» (ОГТ, 176; ПНД, 183). Если это знание *потенциально* доступно печальному зрителю самих барочных драм, в том, что касается современного читателя, Беньямин выражает надежду на более непосредственное восприятие идеологических конструкций истории. Как он впоследствии выразится в отношении кино и фотографии, а также величайшего современного аллегориста — Бодлера, аллегорические произведения наделяют наблюдателя возможностью достичь некоего «продуктивного самоотчуждения». И в эпоху барокко, и в эпоху модерна людям позволено *увидеть* свое собственное отчуждение и, соответственно, прикоснуться к расколотому, угнетающему характеру истории.

Наконец, барочная аллегория вдохновляет зрителя не только на «постижение бренности вещей», но и на «стремление спасти их для вечности» (ОГТ, 223; ПНД, 237). Речь идет о спасении в грехопадении. Как и в эссе об «„Избирательном сродстве“ Гёте», Беньямин намерен здесь вынести аллегористу моральный вердикт. Именно в силу своей претенциозности и нарочитости барочная драма становится жертвой не только почитания мирского и тварного и не только иллюзии искупительной силы, но и искушения, скрывающегося в знании добра и зла. Аллегорист в своих трудах мотивируется «сатанинскими обещаниями»: «Что манит, так это кажимость свободы — во вкушении запретного; кажимость самостоятельности — в отпадении от общности благочестивых; кажимость бесконечности — в зияющей пустотой бездне зла» (ОГТ, 230; ПНД, 245). Таким образом, при всей своей изломанности эти аллегорические произведения несут в себе *потенциальную* очистительную силу. Но для того, чтобы актуализовать этот потенциал, им нужна уничтожающая сила критики, над которой Беньямин работал на протяжении только что миновавшего десятилетия. И ближе к концу хабилитационной диссертации Беньямин помещает концентрированное изложение принципов этой самой критики:

С самого начала они настроены на то критическое расчленение, которому подвергает их течение времени... [Окружающий барочную драму] ореол кажимости, видимости улетучился, потому что был самого грубого свойства. Что осталось, так это странная деталь аллегорических намеков: предмет знания, гнездящийся в продуманных руинах. Критика — умерщвление произведений... не пробуждение — в романтическом духе — сознания в живых, а заселение знания в тех самых, умерщвленных произведениях... Дело исторической критики обнаружить, что функция художе-

ственной формы как раз в этом и состоит: превращать исторические элементы содержания, лежащие в основе всякого значимого произведения, в содержательные элементы философской истины. Это преобразование предметности в истинность превращает угасание действительности, когда от десятилетия к десятилетию очарование прежних прелестей ослабевает, в основание нового рождения, в котором вся эфемерная красота полностью исчезает, а произведение утверждается как руина. В аллегорическом строении барочной драмы подобные руинные формы спасенного произведения искусства ясно проступают с самого начала (ОГТ, 181–182; ПНД, 190–191).

Что же выявляет это умерщвленное, разрушенное произведение? Согласно последним фразам книги, «руины великих зданий несут идею их проекта с большей выразительностью, чем постройки невзрачные, как бы хорошо они ни сохранились» (ОГТ, 235; ПНД, 251). То, что проступает из руин этой стародавней формы, и есть ее «идея». Тем самым Беньямин завершает свое исследование — и 10 лет жизни, отданных созданию крайне эзотерической теории критики, — ссылкой на текст, недоступный его читателям: ту часть «Эпистемологического предисловия», которую он не представил в 1924 г. и опубликовал только в 1928 г.

Само по себе это предисловие представляет собой попытку сформулировать теорию познания — учение об идеях, но в то же время в нем критикуются сами положения любой подобной теории. Таким образом, оно служит комментарием и к идеальному состоянию, которое Бернд Витте назвал «познавательной утопией» и в котором человеческое понимание может достичь истины, и к реально существующим в мире условиям познания, делающим такое понимание невозможным³². Его основу составляет эзотерическая, религиозно обусловленная теория построения идей. Идеи Беньямина не являются ни регулятивными концепциями понимания в кантовском смысле, ни единичными сущностями в платоновском смысле. Они лишь реструктурируют некоторые элементы мира: «Идеи относятся к вещам так же, как созвездия — к звездам» (ОГТ, 34; ПНД, 14). Созданная Беньямином теория языка получает здесь временное решение. Идеи, по сути, состоят из «спасенных» элементов языка — тех элементов, светский смысл которых подвергся преобразению и которые лишились всякой случайности, элементов, в отношении которых возвращен «примат символическому характеру слова» (ОГТ, 36; ПНД, 16). И в этом смысле цель «Происхождения не-

32. См.: Witte, *Walter Benjamin*, 128.

мецкой барочной драмы» сводится к выявлению «идеи» одного понятия: собственно барочной драмы.

Получив работу Беньямина, философский факультет должным образом назначил комиссию для ее рассмотрения, и задача дать диссертации предварительную оценку была поручена Гансу Корнелиусу, возглавлявшему кафедру эстетики и теории искусства. Бегло ознакомившись с текстом Беньямина, Корнелиус пошел на крайне необычный шаг. Он написал Беньямину письмо с просьбой представить ему краткое резюме хабилитационной диссертации, и Беньямин оперативно удовлетворил эту просьбу. Но и это не помогло: Корнелиус вынес работе однозначно негативную оценку. Он объявил, что диссертация Беньямина «исключительно трудна для понимания», с чем, без сомнения, соглашались все дальнейшие ее читатели. Кроме того, Корнелиус утверждал: «Я был не в состоянии, несмотря на неоднократные и упорные попытки, извлечь внятный смысл из этих [художественно-исторических наблюдений]... В этих обстоятельствах я не имею возможности рекомендовать факультету принять работу д-ра Беньямина в качестве хабилитационной диссертации по истории искусств. Ибо я не могу... игнорировать предчувствие, что автор с его малопонятным способом самовыражения, который следует интерпретировать как признак отсутствия научной ясности, не способен стать для студентов проводником в этой области»³³. Вынося такую оценку, Корнелиус ухитрился не предъявить Беньямину ни одной конкретной претензии и в то же время создать впечатление, что соискатель — невежда, представивший путаную и хаотичную работу, и что она представляет собой творение заблуждающегося и, может быть, неуравновешенного ума, в силу чего ее автора нельзя допускать к преподаванию³⁴. Эта оценка сделала свое дело. Несмотря на то что отзыв Корнелиуса подчеркнуто назывался предварительным, больше диссертацию Беньямина никому на отзыв не давали, и 13 июля 1925 г., всего через неде-

33. Cornelius, "Habilitationen-Akte Benjamin". Цит. по: Lindner, "Habilitationenakte Benjamin", 155–156.

34. Буркхардт Линднер в своем исследовании 1984 г., посвященном истории безуспешного соискательства Беньямина, приводит ироническую сноску ко всем этим грустным событиям. Корнелиус не только попросил Беньямина представить резюме диссертации, но и отдал ее на оценку двум своим ассистентам. Одним из них был Макс Хоркхаймер, вскоре получивший кафедру во Франкфурте и возглавивший Институт социальных исследований, а впоследствии ставший главным финансовым спонсором Беньямина, обеспечившим ему возможность издавать работы, написанные в изгнании. Тот же самый Хоркхаймер, согласно отзыву Корнелиуса, сообщил, что «не сумел понять» диссертацию Беньямина.

лю с небольшим после получения ответа от Корнелиуса, философский факультет проголосовал за то, чтобы отвергнуть заявку Бенямина. Точнее, он большинством голосов рекомендовал «д-ру Бенямину» отозвать свою заявку и тем самым избавить себя и факультет от неприятной необходимости формального отказа.

К концу июля Бенямин еще не получил никаких официальных извещений, но до него начали доходить сигналы о том, что его попытка провалилась. Друг родителей Доры, имевший связи во Франкфурте, донес до них весть о «полной безнадежности» заявки Бенямина. Шульц как декан не спешил уведомлять его о том, чем кончилось дело. Он написал Бенямину лишь в конце июня: «После получения первого отзыва на вашу хабилюционную диссертацию факультет поручил мне дать вам совет отозвать вашу заявку на соискание хабилюционной степени. Выполняя это поручение, беру на себя смелость уведомить вас, что остаюсь в вашем распоряжении до 6 августа, и на протяжении этого срока вы можете смело обращаться ко мне в любой момент»³⁵. Как указывает Линднер, Шульц пытался укрыться за этими формальными выражениями, но не смог выдать из себя даже слов «к сожалению». Бенямин первоначально не был склонен ни посещать Шульца, ни отзываться заявку, предпочитая взвалить «риск отрицательного решения исключительно на совет факультета» (С, 276). Однако в итоге он поступил иначе и отозвал заявку, после чего осенью исправно получил назад свои материалы. Свое возмущение он выразил в письме Саломону-Делатуре от 5 августа:

Вы поймете, почему я так долго молчал. Разумеется, отчасти дело в вашем последнем письме: оно было таким похоронным и тягостным, в то время как мне было бы легче услышать чертыхания. Ведь если бы внутренние причины не превратили для меня эту историю с университетом в нечто несущественное, то прием, который мне там оказали, произвел бы на меня долговременное и пагубное воздействие. Если бы моя самооценка хоть в малейшей степени зависела от этих мнений, то безответственность и небрежность, с которыми решалось мое дело, стали бы для меня таким ударом, от которого моя производительность оправилась бы очень нескоро. То, что все обстоит совсем не так и, в сущности, ровно наоборот, должно остаться между мной и вами (GB, 3:73).

Бенямин до конца жизни раскаивался в своем решении последовать совету факультетского начальства и молча забрать

35. Goethe-Universität, "Habilitationssakte Benjamin". Цит. по: Lindner, "Habilitationssakte", 157.

свою заявку: чем дальше, тем сильнее ему казалось, что тем самым он лишился шанса выявить всю степень педантизма, мелочности и предубеждения, из-за которых он остался без степени. По этой причине он осенью начал сочинять «предисловие в десять строк к книге о барочной драме, которую я написал с тем, чтобы попытаться счастья во Франкфуртском университете, и которую я считаю одной из моих наиболее удачных работ» (С, 293). Это язвительное «Предисловие к книге о барочной драме» было вложено в письмо Шолему от 29 мая 1926 г.:

Мне бы хотелось заново рассказать сказку о Спящей красавице. Она спала за колючей изгородью. Затем, спустя годы, она проснулась.

Но не от поцелуя счастливого принца.

Ее разбудил повар, давший мальчишке-подручному такую затрещину, которая гуляла по дворцу эхом, год от года звучащим все громче и громче.

За колючей изгородью на следующих страницах спит прелестная девочка.

Да не приблизится к ней счастливчик-принц в сияющих доспехах науки. Ибо на поцелуй любви она ответит укусом.

И потому роль старшего повара, чтобы разбудить ее, автор оставил за собой. Давно настало время для затрещины, которая эхом пронесется по научным чертогам.

Потому что она разбудит еще и бедную истину, которая укулолась старомодным веретеном, когда вопреки запрету пыталась связать для себя в маленькой дальней комнате профессорскую мантию (СВ, 3:164).

При чтении этой современной сказки нельзя не услышать звонкой пощечины, которой она стала для немецкой высшей школы и ее профессоров. Отвергнув заявку Беньямина, философский факультет Франкфуртского университета покрыл себя скандальной славой, от которой не до конца отчистился и по сей день. Да, «Происхождение немецкой барочной драмы» и особенно ее «Эпистемологическое предисловие» трудны для понимания, хотя в этом отношении им не сравниться с загадками «„Избирательного сродства“ Гёте». Тем не менее эта книга, представляя собой непрезойденный анализ исторического значения полузабытого художественного жанра, до сегодняшнего дня остается одним из знаменательных достижений литературной критики XX в.

Глава 6

Веймарский интеллеktуал: Берлин и Москва. 1925–1928

ПРЕДПРИНЯТАЯ Беньямином весной и летом 1925 г. неудачная попытка найти пристанище для книги о барочной драме в научных кругах подвела черту под долгим периодом в его жизни, когда он пытался закрепиться в германской университетской системе. Теперь перед ним стояла двойная дилемма: выбрать новый путь к признанию и найти способ содержать себя и свою семью. До этого момента семью кое-как удавалось содержать благодаря работе Доры и бесплатному проживанию в доме у родителей. Но сейчас Дора потеряла вторую работу, служившую для Беньяминов значительным подспорьем, и это случилось сразу после краха издательства Литтауэра, на которое Беньямин возлагал большие надежды. Он не мог скрыть своей горечи, видя, как молодой богатый издатель растратил более 55 тыс. марок на «автомобильные поездки, обеды, чаевые, проценты и т. п. Сейчас этот человек очертя голову несется, как и положено таким людям, в лечебницу» (GB, 3:31). Это многообещающее начинание в итоге не дало Беньямину ничего, кроме воспоминаний о непривлекательном сочетании разгульной жизни и идеализма.

В итоге Беньямин предпринял новые усилия по поиску своей ниши в немецком издательском мире. К счастью, его попытки вывести свои произведения на публичную арену совпали с расцветом СМИ в Веймарской республике. После стабилизации валюты средний класс вновь стал располагать стабильным доходом, и это привело к стремительному размножению печатных изданий, стремившихся воспользоваться новой ситуацией. Вскоре Берлин приобрел репутацию «газетной столицы мира»: ежемесячно на полках его книжных магазинов и новостных агентств появлялось более 2 тыс. периодических изданий.

Благодаря Кракауэру Беньямин уже получил доступ к фельетонным полосам *Frankfurter Zeitung*. Эта старейшая и самая

массовая из всех леволиберальных немецких газет была основана в 1856 г. под названием *Frankfurter Geschäftsbericht* («Франкфуртский деловой вестник») и в 1866 г. была переименована в *Frankfurter Zeitung*. С самого момента основания находясь на леводемократических позициях, после 1871 г., в первые годы существования Германской империи, она являлась главным оппозиционным органом страны; в 1871–1879 гг. ее редакторы нередко попадали за решетку, отказываясь раскрывать источники материалов для статей газеты. В первые годы Веймарской республики читателями *Frankfurter Zeitung* главным образом были либеральные предприниматели и лица свободных профессий; по мере того как авторами ее фельетонов становились все более выдающиеся деятели, эти полосы газеты становились для широкого читателя более привлекательными, чем политические и финансовые новости. В число постоянных авторов газеты входили Брехт, Альфред Деблин, Герман Гессе, Генрих и Томас Манны и др. На страницах *Frankfurter Zeitung* 16 августа 1925 г. состоялся дебют Беньямина в прессе, опубликовавшего заметку «Собрание стихов франкфуртских детей», за которой в последующие годы были напечатаны еще десятки других его статей и заметок.

Вместе с тем в мае он наладил важные связи еще с одним изданием — журналом *Die literarische Welt*, который редактировался Вилли Хаасом (1891–1973) и выпускался издательством *Rowohlt Verlag*. Хаас вырос в еврейской общине Праги, и его литературные интересы складывались среди окружения Франца Верфеля и Франца Кафки, собиравшегося в кафе «Арко». После войны перебравшись в Берлин, он добывал средства к существованию тем, что сочинял сценарии, в том числе к таким известным фильмам, как «Безрадостный переулочек», и писал кинокритику для журнала *Film-Kurier*. Впоследствии он издал «Письма к Милене» Кафки, а в 1934 г. Беньямин ссылался на его интерпретацию Кафки. Сейчас же Хаас поручил Беньямину написать серию очерков о новейших течениях во французской культуре, и тот с готовностью взялся за дело. Сохраняя прежний интерес к Жиду и Жироду, Беньямин вместе с тем погрузился в изучение «спорных книг сюрреалистов», имея в виду написать статью для журнала; он прочел «Манифест сюрреализма» Андре Бретона и ознакомился с «Волной грез» Луи Арагона, с чего началось его длительное увлечение этим автором. Беньямин поведал Шолему свою идею печатать в *Die literarische Welt* и регулярные репортажи о состоянии дел в Мури (придуманном ими университете), но из этой затеи ничего не вышло, кроме единственного сатирического отчета о последних поступлениях в университет-

скую библиотеку¹. Впрочем, несмотря на первоначальный энтузиазм, отношение Беньямина к журналу Хааса вскоре стало более осторожным, а в кругу близких людей и вовсе критическим. Он признавался Гофмансталу, поддерживавшему журнал уже на ранних этапах его существования, что считает Хааса слишком нерешительным и к тому же рабом тиражей. «Первоначально я встретил появление этого журнала с большой радостью, полностью проникнувшись духом ваших замечаний, но вскоре понял, что в целом он не предназначен для серьезной критики. Я не глух к реалиям редакционного и журналистского дела, вынуждающим помещать в таком еженедельнике легкие и легчайшие материалы. Но именно по этой причине к солидным статьям должны предъявляться удвоенные требования — и не только в смысле их объема» (GB, 3:116). Эти претензии дают представление о том, как слеп был Беньямин по отношению к финансовой стороне журналистского дела. Вместе с тем сам Хаас сохранял непоколебимую лояльность Беньямину: «Из всех тех, кто почтил мой еженедельный журнал *Die literarische Welt* регулярным сотрудничеством с ним, я ни к кому не испытывал большего уважения, чем к Вальтеру Беньямину. Он представлял собой полную противоположность простому эрудиту — несмотря на свои обширные познания. Устно или письменно затрагивая какую-либо тему, он никогда не прибегал к аналогиям, метафорам и определениям: всякий раз казалось, что он кропотливо докапывается до самой сути вопроса, подобно гному, спрятавшему свои сокровища в шахте, вход в которую завален»².

Помимо того что Беньямин регулярно печатался в *Frankfurter Zeitung* и *Die literarische Welt*, он получал все больше возможностей для публикации и в других, широко известных изданиях. В *Vossische Zeitung* он опубликовал немного ироничную статью о применении ядовитых газов на войне³. Также постепенно начали появляться в печати тексты, которые впоследствии были собраны в книге «Улица с односторонним движением». В *Berliner Tageblatt*, самой популярной леволиберальной газете наряду с *Frankfurter Zeitung*, 10 июля вышли «Тринадцать тезисов против снобов». В следующем году для Беньямина открылся еще один важный канал для выступлений в печати: голландский

1. См.: "Büchereinlauf" (1925), в: GS, 4:1017–1018.

2. Haas, "Hinweis auf Walter Benjamin", *Die Welt*, 9 октября 1955 г.. Цит. по: Brodersen, *Walter Benjamin*, 175.

3. Авторство статьи «Оружие завтрашнего дня» остается под вопросом. Она подписана инициалами Доры — DSB, но содержится в списке опубликованных статей, который вел Беньямин. Язык, которым она написана, как будто бы указывает на авторство Вальтера Беньямина.

авангардный журнал *110*, основанный в 1926 г. Артуром Ленингом. Эрнст Блох познакомился с ним, отдыхая на юге Франции, и вскоре представил ему Беньямина как потенциального автора. Хотя этот журнал выходил всего лишь год, он до сих пор известен в качестве одного из важнейших «малых журналов» европейского авангарда. Ленинг имел возможность печатать работы некоторых наиболее передовых художников и писателей; одного лишь повышенного внимания к фотографии и кино ему хватило для того, чтобы сделать свой журнал непохожим на другие. Дополнительным стимулом к сотрудничеству с *110* для Беньямина служил тот факт, что редактором всех материалов о фотографии и кино там служил Мохой-Надь.

Весной и летом 1925 г. у Беньямина появилось еще несколько скромных источников дополнительного дохода. Беньямин получил несколько заказов на редактирование и перевод. Самым сложным и отнявшим у него много времени, а в итоге самым прибыльным из этих начинаний стало для него погружение в мир Марселя Пруста. Он взялся за перевод трехтомного романа «Содом и Гоморра», входящего в цикл «В поисках утраченного времени», несмотря на то, что гонорар, по его мнению, был «очень невысок, но для меня он достаточен для того, чтобы считать, что я не мог не взяться за эту колоссальную задачу» (С, 278). В итоге он получил за эту работу 2300 марок (около 550 долларов в 1925 г.), которые, согласно договору, выплачивались ему небольшими суммами на протяжении периода до марта 1926 г. Кроме того, он получил более скромный, но не менее сложный заказ на перевод прозаической поэмы «Анабасис» французского дипломата и писателя Сен-Жона Перса (псевдоним Алексиса Леже). Беньямин считал это произведение «незначительным», но взялся за его перевод не только из-за относительно щедрого гонорара, но и из-за того, каким путем он получил этот заказ: первоначально переводчиком согласился стать Рильке, но затем он предложил написать к поэме предисловие и устроить ее публикацию в издательстве *Insel Verlag*, с которым он давно сотрудничал, при условии, что перевод будет выполнен Беньямином, которого снова рекомендовали Гофмансталь и издатель Танкмар фон Мюнхгаузен. Беньямин закончил перевод к концу лета и отправил его Рильке и Гофмансталью, но при его жизни перевод так и остался неопубликованным⁴. Кроме того, он на-

4. История перевода «Анабасиса» на немецкий довольно любопытна. Второй перевод был сделан Бернхардом Гретхейзенем в 1929 г., но и он остался неопубликованным. Когда в 1950 г. в журнале *Das Lot* наконец был напечатан перевод Герберта Штайнера, редакция снабдила его примечанием

чал работу над сборником текстов Вильгельма фон Гумбольдта, лингвиста-теоретика и просветителя-реформатора XIX в. Гофмансталь рекомендовал Беньямину Вилли Виганда, руководителя *Bremer Presse* (издательского дома, связанного с журналом Гофмансталя *Neue Deutsche Beiträge*). После краха надежд на научную карьеру Беньямин принял этот заказ в большей степени для того, чтобы не подводить Гофмансталя, чем из-за возможности для заработка. Книга в итоге так и не была издана, но Беньямин обобщил предварительные исследования по данному проекту в небольшом тексте «Размышления о Гумбольдте». Откровенно негативный характер его замечаний (он уличает Гумбольдта в неспособности прочувствовать «магическую сторону языка — его антропологический аспект, особенно в патологическом смысле», и в соответствующем стремлении понимать язык в гегелевском смысле, как «часть объективного духа»), возможно, объясняет его незначительный интерес к данному проекту (см.: SW, 1:424–425). Самый важный из этих заказов был окончательно получен только в августе. В тот самый день, когда Беньямин отправлялся в длительную поездку, он подписал генеральный договор с *Rowohlt Verlag*, предусматривавший получение им небольших фиксированных сумм на протяжении 1926 г. и гарантированное издание трех его произведений: «Происхождение немецкой барочной драмы», «Плакетки для друзей» (рабочее название текста, который будет опубликован как «Улица с односторонним движением») и «„Избирательное сродство“ Гёте».

Лихорадочная энергия, с которой Беньямин искал возможности для издания, дополнялась не менее амбициозной программой чтения. Несколько книг произвели на него глубокое впечатление, а некоторые стали сюрпризом: главным образом это касается вышедшего в 1924 г. эпического романа Томаса Манна «Волшебная гора». «Не очень даже и знаю, как сообщить тебе, — писал он 6 апреля Шолему, — что этот человек, которого я ненавидел, как немногих из публикующихся литераторов, стал очень близок мне благодаря его последнему великому роману... [Это] книга, в которой содержится что-то односторонне важное — что-то, что трогает и всегда трогало меня... раскрывалось передо мной... Вероятно, автора во время работы над книгой постигла внутренняя перемена. Собственно, я уверен, что так оно и было» (С, 265). Беньямину импонировало

о том, что он основывается на предыдущем переводе Беньямина и Гретхейзена, которые, насколько известно, никогда не были соавторами ни этого, ни какого-либо другого перевода. Перевод Беньямина сохранился в архиве Рильке и был впервые издан в GS, Приложение 1 (1999), 56–81.

в романе не только широкое и дотошное изображение основных интеллектуальных течений начала XX в.; как следует из его письма, свою роль сыграло впечатление, что Томас Манн преодолел ницшеанский консерватизм своих молодых лет, придя к новому и более диалектическому, пусть все еще пессимистическому и несущему в себе мифический заряд дионисийскому гуманизму (увековеченному в рассуждениях героя романа в главе «Снег»). Беньямин в своем письме задается вопросом, попадалось ли Манну его эссе об «Избирательном сродстве» Гёте; через более чем 10 лет он напечатает отрывки из своего «Берлинского детства на рубеже веков» в журнале *Maß und Wert* («Мера и ценность»), который Манн издавал в изгнании, а Манн будет вспоминать Беньямина как автора «на редкость остроумной и глубокой книги о „немецкой барочной драме“, по сути целую историю и философию аллегории»⁵. Кроме того, роман Манна дает нам одну из редких возможностей увидеть жизнь обитателей виллы на Дельбрюкштрассе. В один из осенних дней в 1925 г. Хильда Ланге, подруга сестры Вальтера Доры, вернувшись с прогулки, обнаружила, что вся семья Беньяминов — и родители, и трое детей — поглощены дискуссией о «Волшебной горе». Письма Беньямина оставляют впечатление его отчужденности от родных, но из данного свидетельства видно, что даже в этот период у членов большой семьи Беньяминов все же находились точки соприкосновения⁶.

В эти месяцы произошло и первое серьезное знакомство Беньямина с произведениями Франца Кафки (умершего в 1924 г.). Беньямин прочел фрагмент «Перед судом» (отрывок из «Процесса») и объявил его «одним из лучших немецких рассказов» (С, 279). Кроме того, продолжалось и его приобщение к левой политике. Уже в мае он задумывался над тем, чтобы связать с ней свою профессиональную деятельность. «Коли уж мне не везет [в издательском мире], — писал он Шолему, — то я, вероятно, приму более активное участие в марксистской политике и вступлю в партию — с прицелом на то, чтобы в обозримом будущем попасть в Москву, хотя бы на временной основе» (С, 268). Его брат Георг, уже давно состоявший в Коммунистической партии Германии, на 33-летие Вальтера подарил ему сборник работ Ленина. Шолем тоже послал ему восхититель-

5. Mann, "Die Entstehung des *Doktor Faustus*", 708; Манн, *История «Доктора Фаустуса»*, 228. Томас Манн упоминается в написанном Беньямином в 1912 г. «Диалоге о современной религиозности», причем это упоминание наводит на мысль, что Беньямин не всегда «ненавидел» его (EW, 72–73).

6. См.: Benjamin, *Georg Benjamin*, 176.

ный подарок: первое издание *Jerusalem, oder Über religiöse Macht und Judenthum* («Иерусалим, или О силе религии и иудаизме») Мозеса Мендельсона, а также первую работу о Прусте Жака Ривьера 1924 г. (творчество Ривьера стало одним из важных источников для проекта «Пассажи»).

На протяжении долгих месяцев, полных неуверенности и опасений, а в итоге завершившихся крахом надежд, связанных с Франкфуртом, Беньямин время от времени предавался своей любимой психологической «отраве» — мыслям о путешествиях. Его смутное стремление бежать от своих проблем понемногу приобретало конкретные очертания в виде планов совершить плавание на борту грузового судна, совершающего рейс по Средиземному морю с заходом в различные порты. Беньямин надеялся убедить Асю Лацис присоединиться к нему, но ему удалось только соблазнить ее стать его спутницей в плавании на барже из Берлина в Гамбург, где ему предстояло пересечь на торговое судно⁷. 19 августа судно вышло из Гамбурга, увозя с собой Беньямина, пребывавшего в необычайно приподнятом настроении. Хотя его тревожило возможное отсутствие комфорта, связанное с таким самым дешевым способом путешествовать, вскоре он уже не только успокоился, но и восторгался: «Это плавание на так называемом товарняке — одна сплошная ария самых комфортабельных ситуаций в жизни. В каждом чужеземном городе у тебя есть своя комната, даже не комната, а твое собственное маленькое... странствующее жилье, и тебе не приходится иметь дело с гостиницами, комнатами и сожителями. Сейчас я лежу на палубе, у меня перед глазами вечерняя Генуя, а вокруг меня современной „музыкой мира“ раздаются звуки, с которыми разгружаются грузовые суда» (GB, 3:81). К концу месяца ему удалось пробыть на берегу больше времени и изучить «захватывающе экзотические» окрестности Севильи и Кордовы — на ужасающей жаре (по его словам, на солнце температура была около 50 градусов), вымотавшей его до крайности. В Кордове он видел не только грандиозную мечеть, но и работы испанского барочного живописца Хуана де Вальдеса Леаля с его «мощью Гойи, проникновенностью Ропса и сюжетами Виртца» (С, 283). Яркое впечатление произвела на Беньямина Барселона: он был поражен сходством между Рамблей и парижскими бульварами, но не остался равнодушным и к более мрачным, неприглядным сторонам города. Он изучал потайные уголки Барселоны в обществе капитана судна и его помощников.

7. См.: Lasis, *Revolutionar im Beruf*, 52–53. Лацис путает годы, датируя отплытие Беньямина из Гамбурга осенью 1924 г., а не августом 1925 г.

«Только с этими людьми я и могу поговорить. Они не получили образования, но не лишены независимых суждений. Кроме того, у них есть то, что непросто найти на суше: умение отличить хорошие манеры от плохих» (С, 283). Как бы ни было сложно представить себе Беньямина, откровенно разговаривающего с командой торгового судна, очевидно, что она считала его своим и даже выказывала ему некое уважение. В конце плавания Беньямин пообещал капитану прислать ему роман Бальзака в своем переводе.

После продолжительной остановки в Генуе, во время которой Беньямин побывал на Ривьере и прошел пешком знаменитый участок побережья от Рапалло до Портофино, судно на несколько дней пришвартовалось в Пизе, и Беньямин впервые смог посетить окруженную стенами Лукку. В этом городе он застал обычный рыночный день, ставший источником впечатлений для одной из самых запоминающихся «фигур мысли» в «Улице с односторонним движением» — «Не для продажи» (в главке «Игрушки»). Беньямин описывает «механический кабинет» в «длинной, симметрично разделенной палатке»; когда посетитель проходит между столами, с тиканьем пробуждаются к жизни механические куклы, разыгрывающие перед зрителем сложную историческую и религиозную аллегория в помещении, облик которого определяют «кривые зеркала» на стенах. «Не для продажи» — одна из первых попыток Беньямина запечатлеть в образах то, как история искажает саму себя, отражаясь в конструктах сознания. При этом Беньямину, пожалуй особенно на этом раннем этапе его увлечения марксизмом, был свойствен однозначный оптимизм в отношении последствий этого искажения: «Через правое отверстие в палатку заходят, а через левое покидают ее» (SW, 1:474–475; УОД, 82–83). Беньямин расстался с судном и друзьями из его команды в Неаполе, где сразу же осознал, что «город немедленно заполнил все то место в моем сердце, которое он занимал в прошлом году» (С, 284). В Неаполе он встретил знакомых — путешествовавших вместе Адорно и Кракауэра и вызвался свозить их вместе с Альфредом Зон-Ретелем (который по-прежнему жил в Позитано) на экскурсию на Капри — место, где «между двумя ударами сердца может пройти неделя» (GB, 3:80). Ему даже удалось снова восстановить более или менее тесные контакты с Юлой Радт-Кон, путешествовавшей по Италии со своим мужем Фрицем. Мысли о Юле будут долго преследовать его в следующем году.

С Капри Беньямин отправился в Ригу, столицу Латвии на берегу Балтийского моря, и прибыл туда в первые дни ноя-

бря. Он хотел навестить Асю Лацис, но была ли эта поездка спланирована заранее или такое намерение спонтанно зародилось в нем под воздействием воспоминаний о прошлом лете, проведенном ими вместе, нам неизвестно. О месте, которое Ася занимала в то время в его жизни, и о том, с каким лихорадочным нетерпением он ожидал момента, когда окажется у нее дома, некоторое представление дает глава «Оружие и амуниция» из книги «Улица с односторонним движением»:

Я приехал в Ригу, чтобы навестить подругу. Ее дом, город, язык были мне незнакомы. Меня никто не ждал, я ни с кем не был знаком. Два часа бродил в одиночестве по улицам. Такими я их больше никогда не видел. Из всех дверей вырывалось пламя, каждый камень высекал искры, и каждый трамвай казался пожарной машиной. Ведь она могла выйти за дверь, появиться из-за угла или сидеть в трамвае. Но из нас двоих первым увидеть другого должен был я, любой ценой. Ведь если бы она заложила фитиль, бросив на меня взгляд, я бы взлетел на воздух, словно склад с боеприпасами (SW, 1:461; УОД, 52).

Сама Ася и представить себе не могла, что Бенъямин появится у нее на пороге. Она участвовала в ряде коммунистических театральных проектов, включая создание театра для детей рабочих, и латвийское правительство грозило арестовать ее за подрывную деятельность. Явление ее «курортного любовника» стало для нее неприятным шоком. «Это было за день до премьеры. Я отправилась на репетицию с головой, полной неотложных забот, и тут передо мной возник... Вальтер Бенъямин. Он любил делать сюрпризы, но этот его сюрприз меня совсем не обрадовал. Он прибыл с другой планеты, и у меня не было на него времени»⁸. Бенъямин, брошенный, все же задержался в Риге; в любом месте города его, казалось, вновь настигали суровый упрек Аси и вызванная им у него меланхолия. В «Стереоскопе» (одной из частей главы «Игрушки» в «Улице с односторонним движением») он описывает Ригу как один огромный рынок, «плотно застроенный город с низкими деревянными лачугами», вытянувшимися вдоль мола, к которому «около чернеющего города гномов» пришвартовались маленькие пароходы. «Кое-где на углах... стоят весь год мещанки с цветными бумажными розгами, которые на Западе появляются только в канун Рождества. Пожурить любящим голосом — вот назначение этих розог» (SW, 1:474; УОД, 80–81). Размолвка с Асей имела следствием обычные для него физические недуги: он сооб-

8. Lacis, *Revolutionar im Beruf*, 56.

щал Саломону, что его общее самочувствие «оставляет желать лучшего» (ГВ, 3:100). Хотя этот визит не стал для него источником радости, на которую он надеялся, ему было позволено приходить в театр и время от времени видаться с Асей. Ему случилось присутствовать на спектакле, бросавшем открытый вызов солидному буржуазному правительству страны, там он попал в страшную давку и оказался прижат к дверному косяку; с большим трудом ему удалось вырваться и залезть на подоконник, где его в раздавленной шляпе, с растерзанным пиджаком и воротником рубашки и нашла Ася. По ее воспоминаниям, ему в спектакле понравилась лишь одна мизансцена, в которой господин в цилиндре разговаривает с рабочим под зонтиком; о том, что именно вызвало у Беньямина положительную оценку этого эпизода, остается только гадать⁹.

В начале декабря Беньямин вернулся в Берлин, на виллу на Дельбрюкштрассе, где жил с Дорой, Штефаном и Гретой Ребейн, няней Штефана. По всей видимости примирившись с тем, что ему не быть вместе с Асей, он погрузился в семейную жизнь и стал проводить больше времени со Штефаном, которому было уже семь с половиной лет. По несколько часов в неделю Беньямин читал ему вслух, «бесцельно блуждая по сказочному хаосу, царящему... на книжных полках» (С, 287). В преддверии хануки Беньямин отыскал свой собственный кукольный театр, которым развлекался в детстве, и с помощью двух друзей поставил для Штефана и его друзей «эффектную» сказочную пьесу популярного австрийского драматурга Фердинанда Раймунда (С, 288). Он вновь начал записывать детские изречения сына, которые спорадически собирал еще с 1918 г. Этот архив лингвистического мира ребенка весьма показателен в плане того, как Беньямин воспринимал своего сына и собственное положение в семье, но в основном он представляет собой собрание прелестных детских неологизмов: неправильно понятых и недорасслышанных слов, оригинальных гибридов и забавных фразочек. Мыслитель, подобный Беньямину, видит в ребенке настоящую лабораторию, в которой можно непосредственно наблюдать зарождение человеческого языка, и высказывания юного Штефана продолжали занимать важное место в творчестве Беньямина до конца его жизни. Но вместе с тем ясно и то, что Беньямин находил в своем сыне именно те мотивы и практики, которые он и искал: исходящие из мира его собственных интересов или питающие его — телепатические явления, сомати-

9. Ibid, 57.

ческое подражание неодушевленным предметам и проявления бессознательного. Эта записная книжка также служит документом лингвистической социологии: мы видим, как под воздействием семейной жизни формируется язык — а в данном случае семейная жизнь вращалась вокруг работы Вальтера. Он вспоминал, что первым словом, произнесенным Штефаном, было слово «тихо»: несомненно, именно это слово он чаще всего слышал от матери, когда папа читал или писал. Показателен следующий случай, о котором, судя по всему, поведала Грета Ребейн, няня Штефана:

Нас не было дома — причем перед этим я несколько дней подряд требовал, чтобы в квартире не шумели, потому что мне нужно было писать, — а он был на кухне вдвоем с Гретой. Она слышит от него: «Грета, не шуметь! Ему надо работать. Нельзя шуметь!». После этого он поднимается по темной лестнице, открывает обе двери и заходит в свою темную комнату. Грета догоняет его через несколько секунд и видит, что он неподвижно стоит в темноте. А он говорит: «Грета, не надо ему мешать! Ему взаправду нужно работать»¹⁰.

Здесь переплетается сразу несколько мотивов: ролевая игра ребенка, компенсирующая ему отсутствующего отца; подчинение всех аспектов семейной жизни работе отца; наконец, представление ребенка о работе как пребывании в темноте и в полном одиночестве. Возможно, здесь также можно почувствовать нотки неоднозначного отношения со стороны отца к сыну. С одной стороны, Бенъямин так высоко ценил лингвистические таланты своего сына (или как минимум собранный им материал сам по себе), что подумывал перепечатать записную книжку и показывать эти записи друзьям; он дал ей название «Мысли и мнения Штефана», шутливо намекавшее на давнюю традицию писательских записных книжек. Эрнст Шен, нанесший Бенъяминам визит на Рождество, и вовсе пророчил мальчику большое будущее. С другой стороны, Бенъямин мог лаконично отмечать, что его сын перешел в следующий класс со «сплошь посредственными» оценками (GB, 3:131). Подобное прохладное отношение со стороны отца не осталось незамеченным. Дочь Штефана Мона Джин Бенъямин впоследствии вспоминала, что ее отец — эрудированный лондонский книготорговец крайне неохотно рассказывал о своем собственном отце. «Ему было очень трудно говорить о человеке, который для него никогда не был подлинным отцом, оставаясь скорее интеллектуальной фигу-

10. *Walter Benjamin's Archive*, 123.

рой — личностью очень далекой и такой, какая запомнилась ему человеком, привозившим ему игрушки из других стран»¹¹.

Этот период стал для Беньямина и временем более тесных связей с родными. Его сестра Дора по-прежнему жила в том же доме, и потому ежедневные контакты с ней были неизбежными. Что касается брата Беньямина Георга, то у него была своя квартира, но он часто посещал виллу на Дельбрюкштрассе. Дора закончила Бисмарк-Лицеум — школу для девочек в Грюневальде, неподалеку от родительского дома. Однако в таких школах не выдавались дипломы, требовавшиеся для поступления в университет, и, хотя прусское государство в 1908 г. издало закон, по которому девочкам предоставлялись те же возможности для образования, которые имелись у мальчиков, в 1918 г. во всей Пруссии насчитывалось всего 45 женских школ, выдававших *Abitur* — диплом, дававший право обучаться в университете¹². Поэтому Дора была вынуждена посещать частные курсы, готовившие женщин к поступлению в университет. В 1919 г. прусское правительство уступило и разрешило девочкам обучаться в мужских гимназиях. Дора немедленно воспользовалась этой возможностью и поступила в Грюневальдскую реальную гимназию, которую окончил ее брат Георг в 1914 г. С 1921 г. после завершения учебы в гимназии она изучала экономику в университетах Берлина, Гейдельберга, Йены и, наконец, Грайфсвальда, где в 1924 г. получила докторскую степень за диссертацию о том, как надомный труд женщин, занятых в швейной промышленности, отражается на уходе за детьми¹³. В 1920-е гг. она издала свою переработанную диссертацию в виде книги, а также опубликовала несколько статей на аналогичные темы в журнале *Soziale Praxis*, получив репутацию признанного авторитета в области сложных проблем, связанных с работой и семейной жизнью в пролетарской среде. Ее работа, а также тесная дружба с будущей невесткой Хильдой Беньямин способствовали ее сближению с братом Георгом. Последний, будучи на три года младше Вальтера, был вынужден прервать учебу из-за войны и лишь в 1923 г. получил степень доктора медицины, к тому времени уже успев присоединиться в 1920 г. к Независимым социал-демократам, а в 1922 г. вступив Коммунистическую партию Германии. Хотя отношения Беньямина с сестрой оставались сложными еще и в начале 1930-х гг., братья часто виделись

11. Jay and Smith, "A Talk with Mona Jean Benjamin, Kim Yvon Benjamin and Michael Benjamin", 114.

12. См.: Schöck-Quinteros, "Dora Benjamin", 75.

13. Ibid., 79.

друг с другом, и между ними, особенно после того, как началось сближение Вальтера с леворадикальными кругами, установились более тесные взаимоотношения. В начале 1926 г. Георг женился на Хильде Ланге; Беньямин отмечал, что Георг «воспитывал» Хильду как коммунистку и что ее родителям-христианам по этой причине пришлось «проглотить вдвойне горькую пилюлю» (С, 288). Ни то, ни другое заявление не подтверждается фактами. Хотя Георг познакомился с Хильдой Ланге, когда она навещала его сестру Дору, Ланге сама по себе пришла в левую политику и нашла в Георге родственную душу. На протяжении 1920-х гг. и Георг, и Хильда становились все более заметными людьми в коммунистической партии. Георг в 1925 г. получил место врача муниципальной школы в Берлине-Веддинге; работу с детьми трудящихся он дополнял регулярным изданием статей, как научных, так и популярных, по вопросам социальной гигиены. Хильда, имевшая диплом юриста, продолжала профессиональную подготовку и в итоге в 1929 г. была принята в адвокатуру. В 1950-е гг., уже будучи судьей, она прославилась своей суровостью к противникам коммунистического режима, а с 1963 по 1967 г. была министром юстиции Германской Демократической Республики. А в 1926 г. их крохотная квартира в Веддинге играла роль салона, в котором встречались коммунистические и левые буржуазные интеллектуалы.

У Вальтера Беньямина впервые с 1917 г. не имелось никаких крупных замыслов (помимо перевода Пруста, за который он взялся скорее по финансовым причинам, нежели из-за интеллектуальной потребности), если под крупным замыслом понимать работу над книгой. Но в то же время он начинал осознавать, что сможет зарезервировать для себя нишу в германском издательском мире, если заявит о себе как о знатоке современной серьезной французской литературы; его непосредственное знакомство с Францией способствовало его решимости «вплести этот жалкий факт в плотный контекст». В конце 1925 — начале 1926 г. он относительно мало писал, зато «постыдно много читал», и в основном это была французская литература (С, 288). Но на выбор книг для чтения влияли и другие его интересы: он читал работы Троцкого о политике (а также дискуссию по поводу теории всемирной истории, предложенной Лукачем и Бухариним; GB, 3:133) и книгу Людвиг Клагеса и Карла Альбрехта Бернулли о швейцарском правоведе, историке и теоретике матриархата Иоганне Якобе Бахофене. Беньямин заявил Шолему (и впоследствии с некоторыми изменениями повторял эти слова на протяжении 1930-х гг.), что «спор между Бахофеном и Клагесом неизбежен и многое указывает на то,

что строгое ведение этого спора возможно лишь с точки зрения еврейской теологии. Разумеется, именно там эти крупные ученые чувят присутствие своего архиврага — и не без причины» (С, 288). На протяжении следующих 15 лет Беньямин неоднократно возвращался к этому спору, но так и не сумел написать задуманную им наиболее полную работу о Бахофене и Клагесе. Как всегда, он также поглощал множество детективных романов. Только сейчас в переписке с Кракауэром он начал намечать путь, который мог бы превратить такие его личные пристрастия, как детективные романы, в темы для серьезного изучения. Так, Беньямин, возможно, был единственным, кто когда-либо подходил к истории детективного жанра с точки зрения теории о темпераментах: он указывал Кракауэру, что фигура детектива «с удивительным дискомфортом» вписывается в эту старую схему, но при этом несет в себе черты не только меланхолика, но и флегматика (см.: GB, 3:147).

В то же время Беньямина никогда не оставляли мысли о переводе Пруста, независимо от того, занимался он этой работой или отлынивал от нее. Отчасти дело было в осознании того, насколько «философская точка зрения» Пруста близка его собственной: «Когда бы мне ни приходилось читать написанное им, я всегда ощущал родство наших душ» (С, 278). Издательство *Die Schmiede* приобрело права на эпопею Пруста у *Gallimard* в 1925 г., и в том же году был издан первый том в переводе писателя Рудольфа Шоттлендера. Это первое издание великого творения Пруста на немецком языке было встречено уничижительными отзывами. Эрнст Роберт Курциус, молодой специалист по романским языкам, только что приступивший к изданию работы, которая сделала его ведущим интерпретатором латинского Средневековья, заклеил этот перевод, сочтя его не только нудным, но и полным ошибок. Рецензия Курциуса так встревожила редакторов Пруста в *Gallimard*, что они убедили французского посла воздействовать на *Die Schmiede*. К осени 1926 г. Беньямин и его друг Франц Хессель обсуждали с издателями планы по переводу всей эпопеи, включая новый перевод уже изданных двух томов (первого и третьего). К августу того года они с Хесселем закончили первый том своего перевода (второй том эпопеи); в итоге они перевели три тома и частично четвертый. Том «Под сенью девушек в цвету» был издан *Die Schmiede* на немецком в 1927 г., а после банкротства *Die Schmiede* том «У Германтов» вышел в 1930 г. в издательстве *Piper Verlag*. Сделанный Беньямином полный перевод «Содома и Гоморры» — итог лихорадочной работы на Капри летом 1924 г. — так и не был издан, а его рукопись затерялась. Хессель

и Бенъямин разорвали сотрудничество, не успев закончить перевод «Пленницы». «Может быть, тебе не удастся зайти далеко при чтении моего перевода Пруста, — писал Бенъямин Шолему. — Для того чтобы он стал читаемым, должно случиться настоящее чудо. Эта вещь чрезвычайно трудная, а я по множеству причин не могу уделять ей много времени» (С, 289). Не последней из этих причин был относительно малый гонорар. Что касается стилистического плана, то здесь Бенъямин столкнулся с непереводаемостью цветастых, длинных предложений Пруста, которые никак не могут закончиться и потому «противоречат духу французского языка вообще и... в значительной мере диктуют характер оригинала»: немецкие фразы невозможно сделать такими же «иносказательными и неожиданными» (С, 290). Впрочем, мучения Бенъямина с переводом привели его к ряду крайне оригинальных и неожиданных высказываний в отношении великого французского романиста: «Самая сомнительная сторона его гения — полное отсутствие этической позиции, превосходно сочетающееся с чрезвычайной тонкостью его наблюдений и в физической, и в духовной сфере. Возможно, это — отчасти — следует понимать как „экспериментальную процедуру“ в этой гигантской лаборатории, где посредством тысяч зеркал, дающих выпуклые и вогнутые отражения, проводятся эксперименты с самим временем» (С, 290–291). Это замечание развивается и уточняется в эссе Бенъямина «К портрету Пруста», опубликованном в 1929 г. и представляющем собой одну из первых высоких оценок самого романиста и его произведения.

Кроме того, Бенъямин, вероятно, при посредничестве Бернхарда Райха, получил заказ на 300 строк о Гёте для новой «Большой советской энциклопедии». Хотя это эссе было издано лишь в 1928 г. и в сильно выхолощенном виде, Бенъямин взялся за эту задачу с большим увлечением и вложил в нее немалую иронию. «Меня покорило божественное бесстыдство, без которого невозможно взяться за подобную работу, — писал он, — и думаю, что мне удастся состряпать что-нибудь подходящее» (С, 294). Он принял участие в нескольких оживленных дискуссиях о роли Гёте в современной левой культуре с Георгом и Хильдой Бенъяминами и их друзьями в Веддинге; эти дискуссии, а также обширные познания в сфере истории литературы XIX в. натолкнули Бенъямина на идею о том, что марксистская точка зрения на Гёте дает возможность спустить эту олимпийскую фигуру на землю и рассмотреть ее в историческом контексте, как часть истории литературы, достойной такого названия.

Я был в немалой степени изумлен, узнав, как писалась история литературы еще в середине прошлого столетия и насколько мощна трехтомная *Geschichte der deutschen Literatur seit Lessings Tod* [«История немецкой литературы с момента смерти Лессинга»] Юлиана Шмидта: своими четкими контурами она подобна красиво вылепленному фризу. Становится понятно, чего мы лишились, когда в книгах такого рода стали видеть справочные издания, и становится понятно, что требования (о безукоризненности), предъявляемые к более новым исследовательским приемам, несовместимы с достижением *eidos*, яркого изображения жизни. Поразительно и то, как объективность мышления этого упрямого летописца увеличивается по мере роста исторической дистанции, в то время как продуманный и прохладный метод вынесения суждений, типичный для последующих историков литературы, неизбежно воспринимается как пресное и равнодушное отражение современных вкусов — именно потому, что ему не хватает личного элемента, на который можно было бы сделать поправку (С, 308).

Трудясь над рецензией на позднюю драму Гофмансталя «Башня», Беньямин остро осознал, сколь многим он обязан пожилому писателю, и собирался написать что-нибудь похвальное, но был полон дурных предчувствий в отношении пьесы Гофмансталя и его попытки выжать из своего увлечения пьесой Кальдерона «Жизнь есть сон» современную барочную драму. Еще не приступив к работе, он сообщал Шолему, что еще не читал пьесу, но «уже вынес четкое частное суждение, как и уравновешивающее его публичное» (GB, 3:27).

По мере того как долгая берлинская зима приближалась к концу, Беньямина, как и в прежние годы, стала посещать мысль о бегстве. В качестве предлога он мог сослаться на необходимость изучать на месте современную французскую культуру; требовался лишь некий импульс для того, чтобы сесть на поезд, идущий за границу. На этот раз этим импульсом стало полученное от Франца и Хелен Хесселей приглашение пожить у них в городке Фонтене-о-Роз, южном пригороде Парижа, где они продолжали трудиться над переводом Пруста. Беньямин принял приглашение, но вместо того, чтобы поселиться у Хесселей, предпочел «вкусить удовольствие в кои-то веки пожить в отеле» (С, 293). 16 марта он занял номер в *Hôtel du Midi* около площади Данфер-Рошро на Монпарнасе. Помимо ускорения работы над переводом (что ускорило бы и получение соответствующего гонорара) он надеялся предпринять реальные шаги к тому, чтобы стать ведущим немецким обозревателем французской культуры. Он понимал, что для этого ему требуется совершенствоваться в устном и письменном французском: умение чувствовать «темп и температуру» живого языка

помогло бы ему наладить серьезные связи с ведущими французскими писателями и интеллектуалами (С, 302). Но для приезда в Париж имелись и иные причины. Его финансовое положение оставалось чрезвычайно непрочным, и он полагал, что проживание во Франции обойдется ему вдвое или даже втрое дешевле, чем в Германии. Кроме того, в Париже помимо Хесселей жила и Юла Радт-Кон, а его по-прежнему тянуло к ней.

Парижская весна в какой-то мере пробудила в Беньямине то размашистое жизнелюбие, которое проявилось в нем на Капри. «Я наблюдаю не что иное, как террористическую атаку весны на город: за одну или две ночи в самых разных частях города произошел настоящий взрыв зелени» (GB, 3:141–142). Предаваясь бесцельным прогулкам, он бродил по набережным с книжными лотками, по Большим бульварам и отдаленным рабочим кварталам. Как и в Берлине, он стал завсегдатаем парижских кафе, предпочитая всем остальным *Café du Dôme*. Стараясь не пропускать рестораны, где его могли бы вкусно и недорого накормить, он с восторгом сообщал, что нашел рядом со своим отелем трактир для извозчиков, где подавали дешевые комплексные обеды. Кроме того, он получил возможность лучше ознакомиться с современным искусством, посетив крупные выставки работ Сезанна и Энсора. Радость, которую ему доставляла новая среда обитания, вылилась в повышенную производительность. «Я обнаружил режим, который магическим образом вызывает мне на помощь домовых. Утром со сна следует сразу же сесть за работу, не одеваясь, не увлажнив рук и тела ни единой каплей воды и даже не утолив жажду. И я ничем не занимаюсь, не говоря уже о том, чтобы съесть завтрак, до тех пор, пока не выполню урок, который назначил себе на день. Это вызывает самые странные побочные эффекты, какие только можно себе представить. Затем во второй половине дня я могу делать все что пожелаю или просто бродить по улицам» (С, 297).

Но Беньямин развлекался не только дневными прогулками. Еще в начале своего пребывания во Франции он сообщал Юле Радт-Кон, что испытывает прилив необычайной трудоспособности, вызванной тем, что он проводит многие вечера, наполняясь «Парижем до самых кончиков пальцев» (С, 292). Некоторые из этих вечеров подпитывали его интерес к массовой культуре: он побывал в Зимнем цирке и увидел знаменитых клоунов Фрателлини, которых нашел «намного более красивыми, чем можно было себе представить; слава, которой они пользуются у публики, вдвойне ценна тем, что среди их номеров есть старые и злободневные, но нет ни одного „современно-го“» (GB, 3:172). В *Die literarische Welt* он опубликовал репортаж

о вечере сюрреалистического фарса в частной студии; по-прежнему относясь к сюрреалистическому искусству с глубоким сомнением, он счел это представление «жалким». Совершенно иной эффект на него производила изнанка парижской массовой культуры: в своих письмах он с упоением описывал неизведанные *bals musettes* и посещавшиеся им вульгарные дансинги. Более стыдливими были упоминания о вылазках в мир продажной любви, нередко совершавшиеся в компании Франца Хесселя, Танкмара фон Мюнхгаузена или их обоих. Беньямин никогда не раскрывал, к чему именно сводилось их исследование парижского полусвета. Он вспоминал «последние несколько ночей странствий, под очень надежным руководством, по этим чудесным складкам поношенного каменного пальто города» (ГВ, 3:166). В какой-то мере этот пробел заполняет Дора: в ходе бракоразводного процесса, состоявшегося в конце десятилетия, она утверждала, что Хессель на протяжении всех 1920-х гг. представлял Беньямину молодых женщин легкого поведения.

Два этих друга Беньямина знали окружающий мир намного лучше, чем он сам. Писатель и издатель Танкмар фон Мюнхгаузен (1893–1979) познакомился с Хесселями в 1912 г. в Париже, где он вращался в тех же самых кругах художников на Монпарнасе. В 1914 г. у него начался длительный роман с Хелен Хессель, пока Хессель был в армии (с него списан Фортуньо — персонаж фильма Трюффо «Жюль и Джим»), а после войны сошелся с Мари Лорансен. Подобно Хесселю и Беньямину, в этот период он зарабатывал на жизнь журналистикой и переводами. Общество Мюнхгаузена служило для Беньямина не только интеллектуальным стимулом: его друга, похоже, все время сопровождали привлекательные женщины и он часто находил для Беньямина подходящую для него спутницу. Однажды они совершили однодневную поездку в Шантийи и Санлис, где у Мюнхгаузена была «местная зазноба» — «не страшно значительная, но совсем не утомительная художница, чей муж самым неопишым образом растворяется на заднем плане»; Беньямин не дает никакого намека на то, какая женщина составляла ему компанию, но в письме Юле Радт-Кон он сообщает: «Похоже, что сейчас мой удел — шикарные гойки. Всегда было приятнее, когда у каждого из нас была пара» (С, 296).

На протяжении 1920-х гг. Франц Хессель оставался одним из ближайших друзей Беньямина. Хессель уже в Мюнхене в свои студенческие годы был одной из главных фигур «Швабингской богемы» — с 1903 по 1906 г. он жил в знаменитом «Эккхаузе» на Каульбахштрассе, 63, с обедневшей графиней Фанни цу Ревентлов и несколькими ее другими любовниками, включая

Людвига Клагеса и Карла Вольфскеля. Этот опыт «коммунистической жизни» сблизил Хесселя не только с «Космическим кружком», но и с ведущими фигурами самого передового оплота модернизма в Германии: Райнером Мария Рильке, Алексеем фон Явленским, Франком Ведекиндом, Оскаром Паниццей и др.¹⁴ Бросив учебу и порвав с графиней Ревентлов, Хессель перебрался в Париж, где стал видной фигурой среди монпарнасских художников. В *Café du Dôme* он познакомился со своей будущей женой, юной студенткой Хелен Грюнд, а также с лекционером и арт-агентом Анри-Пьером Роше. Через него Хессель сблизился с некоторыми ключевыми фигурами парижского модернизма, включая Пабло Пикассо, Гертруду Стайн, Макса Жакоба, Франсиса Пикаба и Марселя Дюшана. После войны Хессель уединенно жил с Хелен в Шефтларне — деревне к югу от Мюнхена. Хессели были действующими лицами различных любовных треугольников с участием Роше, а также сестры Хелен Иоганны и ее мужа Альфреда, брата Хесселя. Вплоть до недавнего времени Франц Хессель был в первую очередь известен своей ролью в этих треугольниках: фильм Трюффо «Жюль и Джим» снят по одноименному автобиографическому роману, опубликованному Роше в 1953 г. Франц и Хелен Хессель расторгли брак после активного участия в *ménage à trois*, изображенном в «Жюле и Джиме», но снова поженились в 1922 г. и теперь жили в Париже, предоставив друг другу полную свободу: Хелен могла назвать не менее шести молодых женщин, с которыми у Франца была продолжительная связь. Хессель продолжал выполнять крупные заказы для *Rowohlt Verlag*, переводя Пруста и работая над своим третьим романом *Heimliches Berlin* («Потайной Берлин»). Подобно Беньямину (которому он помог начать его проект «Пассажи»), Хессель слабо разбирался в прагматике повседневной жизни и так же, как и он, был человеком невзрачным. Его сыну Штефану он запомнился «почти лысым, низкорослым и довольно корпулентным. Его лицо и жесты оставляли впечатление мягкости; для нас он был несколько отрешенным мудрецом, жившим своей внутренней жизнью и не имевшим почти ничего общего [со своими детьми]. Не будучи особенно разговорчивым, он тщательно подбирал выражения и получал игривое удовольствие от правильной расстановки слов»¹⁵.

Отношения между Беньямином и Хелен Хессель были сложными. Он не выносил тех ее поступков, в которых усматривал

14. Reventlow, *Tagebuch*. Цит. по: Wichner and Wiesner, *Franz Hessel*, 17.

15. Hessel, *Tanz mit dem Jahrhundert*, 14. Цит. по: Nieradka, *Der Meister der leisen Töne*, 75.

намерения вовлечь его в свои «социальные маневры», но в то же время ее попытки флиртовать с ним, а также его собственное стремление укрепить свою «решимость не отвечать ей тем же самым» доставляли ему немалое удовольствие (С, 296). У Хелен имелись различные причины для жизни в Париже. Она начала приобретать серьезную репутацию знатока моды и писала заметки о мире моды для *Frankfurter Zeitung*. (Впоследствии Беньямин ссылался на ее репортажи в главе проекта «Пассажи», посвященной моде.) Немалое значение имел и тот факт, что эта работа еще больше сближала Хелен с ее любовником Роше.

Было бы трудно переоценить значение долгих прогулок Беньямина с Хесселем по Берлину и Парижу 1920-х гг. Хессель бродил по городским джунглям, в полной мере осознавая, что это занятие бросает вызов инструментальности, заложенной в модернизации: он называл бесцельную ходьбу по улицам «абсолютно бесполезным удовольствием». «Не знающее себе равных по восхитительности свойство этих блужданий заключается в том, что они освобождают тебя от более или менее жалкого частного существования. Тебя окружают и вступают с тобой в контакт всевозможные чужие жизни и судьбы. Настоящий бродяга осознает это благодаря удивительному страху, охватывающему его, когда он случайно встречается со знакомыми в призрачном городе его *flânerie* и без всяких хитростей одним махом вновь превращается в целеустремленного индивидуума»¹⁶. В последующие годы Беньямин помимо ознакомления с современной французской культурой в рамках исследования, носившего рабочее название «Проект „Пассажи“», изучавший различные культурные проявления городского товарного капитализма, складывавшегося в течение XIX в., стал видеть в фигуре парижского фланера, известной нам главным образом благодаря поэзии Бодлера и картинам импрессионистов, не более и не менее как архетип современного сознания. А Франц Хессель с присущей ему сдержанностью, отрешенностью мудреца и сильно развитыми вуайеристическими наклонностями превосходным образом воплощал в себе современного фланера. Во время их прогулок по улицам столичного города Беньямина, должно быть, впервые посетили проблески идей, впоследствии давших плоды в виде самого пронизательного анализа современности из всех, осуществленных в XX в.

Если Хессель и *flânerie* приобщили Беньямина к перипатетическому способу наблюдений за современной жизнью, то кон-

16. Hessel, "Die schwierige Kunst spazieren zu gehen", 434.

такты с Зигфридом Кракауэром помогли найти ему свою собственную характерную тематику исследований. И если Хессель делал упор на то, чтобы под знаком спонтанности проникать взглядом в те или иные аспекты городской жизни, то Зигфрид Кракауэр в таких работах данного периода, как «Две плоскости», «Анализ плана города» и «В холле отеля», подчеркивал материальность и открытость города, типичные для него объекты, текстуры и поверхностные структуры. Во время пребывания Беньямина в Париже его переписка с Кракауэром стала особенно активной: они начали обмениваться друг с другом своими неопубликованными работами. Публикацией эссе «Путешествие и танец» в *Frankfurter Zeitung* от 15 марта 1925 г. Кракауэр указал путь к методу культурного анализа, соизмеримого с новыми социальными формами капиталистического модерна. Темой этого эссе служат популярные практики — путешествия и танцы как «пространственно-временные страсти», которые, согласно Кракауэру, превратились в способ справляться со скукой и однообразием жизни в современном обществе: путешествия сводятся к чистому ощущению пространства, «не столь убийственно знакомого», нежели повседневная среда обитания, в то время как танцы, будучи «воплощением ритма», переключают внимание с хронологической последовательности на созерцание времени как такового¹⁷. «Путешествие и танец» — эссе, в ряде отношений ключевое для Кракауэра. В нем он обращается к формам и артефактам повседневного модерна как выразителям характера целой исторической эпохи. В последующие годы из-под пера Кракауэра вышли эссе «Культ развлечений», «Анализ плана города», «Ситцевый мир» и «Маленькие продавщицы идут в кино», представлявшие собой блестящий анализ и критику современной культуры. Особое внимание он уделял берлинскому миру развлечений с его разнообразием и лихорадочной активностью: шоу с участием девушек Тиллера, кино, магазинам, бестселлерам. Возможно, знаковым достижением этих эссе было привлечение внимания веймарских критиков к внешним явлениям, от которых в традиционной культуре отмахивались как от преходящих и в общем поверхностных.

Беньямин часто контактировал с Кракауэром в пору поворота своего творчества не только к Франции и Советскому Союзу, но и к явлениям популярной культуры и повседневности. Проницательный и порой дотошный физиогномический подход Кракауэра к городской жизни привнес фундаментальные

17. См.: Kracauer, "Travel and Dance", 65, 66.

изменения в труды его младшего друга. Беньямин неоднократно указывал на «сближение» своего взгляда на мир со взглядом Кракауэра. Похвалив эссе Кракауэра *Das Mittelgebirge* («Среднегерманское нагорье»), он писал: «Думаю, что по мере дальнейшей охоты за штампами мелкобуржуазного воплощения мечтаний и желаний вас ждут замечательные открытия, и мы, возможно, встретимся в той точке, к которой я со всей своей энергией стремился в прошлом году... [речь идет о] почтовой открытке. Может быть, когда-нибудь вы напишете то оправдание коллекционирования марок, которого я так долго ждал, не осмеливаясь взяться за него собственноручно» (GB, 3:177). Описывая Кракауэру свои парижские приключения, Беньямин особо подчеркивает свою попытку сначала изучить город с его «внешней стороны» — его планировку, систему городского транспорта, кафе и газеты. Таким образом, именно Кракауэр показал Беньямину, каким образом теория, по всей видимости пригодная только для изучения неподатливых объектов высококолобой культурной элиты, может быть применена ко всему окружающему миру.

Для обоих авторов, особенно для Беньямина, обращение к популярной культуре сопровождалось переосмыслением того, как именно следует писать критические работы, ответственные в политическом и историческом плане. То, что Беньямин осознавал необходимость в доселе неизвестной целенаправленности и прозрачности, подтверждает его письмо Кракауэру, отправленное в 1926 г. из Парижа: «В моих работах чем дальше, тем яснее проступает суть. По сути, для писателя нет ничего более важного и актуального» (GB, 3:180). К счастью, у нас имеется документ, в котором точно зафиксировано постепенное изменение стиля Беньямина и того, как он расставлял акценты: «монтажная книга» «Улица с односторонним движением», сочиненная в 1923–1926 гг., представляет собой не только образец новой прозаической формы, которая будет господствовать в критических работах Беньямина веймарского периода, — *Denkbild*, или «фигуры мысли», но и настоящее руководство по использованию нового критического метода. Эта книга, впервые опубликованная в 1928 г., состоит из 60 коротких прозаических фрагментов, значительно отличающихся друг от друга в смысле жанра, стиля и содержания. Среди них попадаются афоризмы, анекдоты и пересказы снов. Встречаются и фрагменты описательного характера: городские панорамы, пейзажи, записи мыслей. Также Беньямин предлагает читателю фрагменты пособий по технике письма, хлесткие размышления о современной политике, проницательные истолкования детской психологии,

поведения и настроения, расшифровку буржуазных мод, образа жизни и ритуалов ухаживания, предвещающую «Мифологию» Ролана Барта, — и все это снова и снова перемежается поразительными экскурсами в суть повседневных вещей — «изучением души товара», как впоследствии называл это Беньямин.

Многие фрагменты, вошедшие в книгу «Улица с односторонним движением», впервые были напечатаны в газетах и журналах в качестве фельетонов, и этот жанр сыграл решающую роль в выработке прозаической формы, положенной в основу данной книги. Фельетон появился в XIX в. во французских политических газетах и журналах. Хотя в некотором смысле он служил предшественником разделов искусства и досуга в современных газетах, имелись и важные различия: вместо отдельного раздела фельетоны занимали нижнюю треть большинства полос газеты, отделенную чертой (в Германии о фельетонах обычно говорили как о материалах, напечатанных *unter dem Strich*, «под чертой»); их содержание в основном составляли культурная критика и печатавшиеся по частям длинные литературные тексты, к которым добавлялось довольно много других материалов, включая сплетни, описания мод, а также мелочи — афоризмы, эпиграммы, короткие сообщения о явлениях и проблемах культуры, нередко носившие название «заметки на полях». На протяжении 1920-х гг. ряд известных авторов приспособил свои приемы письма к требованиям, предъявлявшимся фельетоном; сложившаяся в итоге *kleine Form* («малая форма») вскоре получила статус главного типа комментариев к явлениям культуры или их критики в Веймарской республике. Писатель Эрнст Пенцольдт следующим образом определял тематику «малой формы»: «...поэтические наблюдения из жизни малого и большого мира, повседневное существование во всем его очаровании, приятные прогулки, любопытные встречи, настроения, сентиментальная болтовня, заметки на полях и прочее в том же роде»¹⁸. В последние годы Веймарской республики «малая форма» получила такое распространение, что стала восприниматься в качестве символа столичного модерна. В вышедшем в 1931 г. романе Габриэлы Тергит «Кезебир покоряет Курфюрстендамм» издатель берлинской газеты предоставляет писателю Ламбеку возможность вести регулярную колонку о Берлине. «Предложение было заманчивым. Было бы приятно в кои-то веки донести до кого-нибудь свой опыт, принявший обличье изящной прозы, вместо того, чтобы

18. Ernst Penzoldt, "Lob der kleinen Form". Цит. по: Köhn, *Straßenrausch*, 9.

просто хранить его в себе... Ламбек сказал: „Позвольте мне тщательно обдумать ваше предложение, я просто не знаю, годится мне малая форма или нет“¹⁹.

Вальтеру Беньямину эта форма, безусловно, годилась. Призыв брать малую форму на вооружение звучит уже в первой главке «Улицы с односторонним движением» «Заправочная станция»: «Значимая литературная работа может состояться лишь при постоянной смене письма и делания; надо совершенствовать неказистые формы, благодаря которым воздействие ее в деятельных сообществах гораздо сильнее, чем у претенциозного универсального жеста книги, — ее место в листовках, брошюрах, журнальных статьях и плакатах. Похоже, лишь этот точный язык и в самом деле соответствует моменту» (SW, 1:444; УОД, 11–12). На следующих страницах Беньямин торопится отдать предпочтение фрагменту перед законченной работой («Произведение — это посмертная маска замысла»), импровизации перед «компетентностью» («Все решающие удары наносят левой рукой») и отбросам и обломкам перед изделиями умелого мастера (дети находят «новые, неожиданные отношения между материалами самого разного рода») (SW, 1:459, 447, 450; УОД, 46, 18, 24). Согласно Беньямину, традиционные литературные формы просто не способны выжить в капиталистическом модерне, не говоря уж о том, чтобы стать рамками для серьезного изучения его структуры, функционирования и последствий: «Реклама безжалостно вытаскивает письмо, нашедшее убежище в печатной книге, где оно вело автономное существование, на улицу и отдает его во власть жестокой гетерономии экономического хаоса» (SW, 1:456; УОД, 40). Судя по этим противопоставлениям, Беньямин был убежден в том, что любая критика, достойная такого имени, вдохновляется «моральным вопросом»: «Критик — это стратег в литературной борьбе» (SW, 1:460; УОД, 49).

Такое новое понимание своего творчества формировалось у Беньямина под влиянием развивавшегося у него классового сознания. Принципиальное изложение позиции, занятой им в ответ на ситуацию, сложившуюся в Европе, содержится в письме Шолему от 29 мая 1926 г.: «Любой представитель нашего поколения, чувствующий и понимающий исторический момент, в который он существует в этом мире, не просто как слова, а как битву, не может отказаться от изучения механизма, посредством которого предметы (и ситуации) взаимодействуют с массами, и овладения им». Разумеется, Беньямин знал, какой реак-

19. Tergit, *Käsebir erobert den Kurfürstendamm*, 35. Цит. по: Köhn, *Straßenrausch*, 7.

ции на это письмо следует ожидать от своего друга: Шодем уже обвинял его в том, что он предал свои прежние труды и убеждения. Это письмо интересно предпринятой в нем попыткой истолковать коммунистическую политику с точки зрения религиозного ритуала: «Я не готов признать существование различия между [религиозным и политическим ритуалом] в смысле их основополагающей сущности. Но в то же время я не готов признать и возможность посредничества между ними»²⁰. Вместо такого посредничества Беньямин признает лишь «парадоксальное превращение» одного в другое — «безжалостное и радикальное» превращение, имеющее целью «не решать раз и навсегда, а решать постоянно... Если я когда-нибудь вступлю в коммунистическую партию... то намереваюсь в отношении самых важных вещей всегда действовать радикально и не думать о последствиях». Кредо Беньямина завершается зашифрованным одобрением идей, к которым он пришел во время чтения «Метафизики и политики» Унгера. Он считает «„цели“ коммунизма чепухой и пустой выдумкой», но «это ни на йоту не уменьшает ценности коммунистических деяний, потому что они вносят коррективы в его цели и потому что не существует осмысленных *политических* целей» (С, 300–301). Политические деяния, как анархические, так и коммунистические, приносят пользу лишь в той степени, в какой они расчищают пространство для осмысленного религиозного опыта.

Хотя Хессели открыли перед Беньямином вход в ряд французских и германских эмигрантских интеллектуальных кругов — в их доме он познакомился не только с Франсисом и Габриэль Пикабиа, но и с писателем и переводчиком Пьером Клоссовски (младшим братом художника Бальтуса) и фотографом Гизелой Фройнд (оба они в 1930-е гг. стали его близкими друзьями), — Беньямин все равно остро осознавал свой маргинальный статус в Париже и то, как сложно будет малоизвестному немецкому интеллектуалу вжиться в ткань французской культуры. К услугам Беньямина было «столько людей, сколько можно пожелать для того, чтобы приятно пообщаться четверть часа, но никого, кто бы горел желанием сделать для тебя что-нибудь еще» (С, 301). Его решение заключалось в «настойчивых ухаживаниях» за городом. В этом ему помогал могучий союзник — время. Беньямин не имел никаких обязательств и находил в этой ситуации источник неизвестного доселе терпения. Находясь в Париже, он встретился с Жаном Кокто (на премьере

20. Беньямин занимает здесь такую же позицию, как и в «Теолого-политическом фрагменте» (SW 3:305–306; УП, 235–236).

его «чрезвычайно интересного» «Орфея» (GV, 3:182)), побывал на лекции Поля Валери и свел знакомство с Жаном Поланом, главным редактором *Nouvelle Revue Française*. Кроме того, он начал претворять в жизнь своего рода прустовские фантазии: получив рекомендации от Мюнхгаузена, он попытался сблизиться с теми кругами культурной парижской аристократии, которые «хранили верность старому правилу покровительствовать художникам» (GV, 3:130). Беньямин посещал лекции в салоне графа де Пурталеса, обставленном «дорогой мебелью и украшенном присутствием горстки дам и господ с самыми порочными физиономиями, какие можно найти только у Пруста». Еще его пригласили на завтрак, который давала княгиня ди Бассиано в лучшем ресторане: «Он начался с огромных порций икры и продолжался в том же духе. Блюда готовили на очаге в центре помещения и демонстрировали гостям, прежде чем подавать на стол» (С, 296). Такое времяпрепровождение нередко нагоняло на него скуку, а также вызывало отвращение своей пустотой и претензиями на высокую культуру, но порой в подобных случаях он чувствовал себя в положении восхищенного бедного выскочки.

Хотя попытки Беньямина добиться признания у парижской интеллигенции имели лишь ограниченный успех, его жизнь в Париже оживляли, зачастую становясь источником раздражения, многочисленные друзья и новые знакомые. Он изо всех сил пытался познакомиться с австрийским романистом и журналистом Йозефом Ротом, описавшим в своей семейной саге 1932 г. «Марш Радецкого» упадок и крах Австро-Венгерской империи. С 1923 по 1933 г. Рот служил штатным автором при *Frankfurter Zeitung*; пока он находился в Париже, Беньямин по предложению Кракауэра обратился к нему с предложением написать для этой газеты серию фельетонов. Хотя между обоими писателями так и не завязалось тесной дружбы, они периодически встречались и в Берлине, и в Париже вплоть до смерти Рота в 1939 г. В последующие месяцы Беньямин не менее часто, чем с Хесселями, виделся с Эрнстом Блохом. Однако Беньямину так и не удалось до конца избавиться от критического отношения к своему другу, как и от подозрения, что Блох крадет у него идеи. «Блох — поразительный индивидуум, — писал он Юле Радт-Кон, — и я преклоняюсь перед ним как перед величайшим ценителем моих сочинений (он понимает, о чем они, гораздо лучше меня самого благодаря тому, что уже много лет уделяет самое пристальное внимание не только всему, что я когда-либо писал, но и каждому произнесенному мной слову)» (С, 299). Узнав в апреле, что произведения Блоха ста-

ли модными в Иерусалиме, он насмешливо писал Шолему, что «это свидетельствует о значительном ослаблении инстинктов» (GB, 3:135).

Несмотря на то что привлекательность Парижа для Бенъямина отчасти заключалась в присутствии Юлы Радт-Кон, она уехала вскоре после его приезда, и его дальнейшая жизнь в Париже была омрачена тоской по ней, что отразилось в ряде все более доверительных писем. Бенъямин часто упоминал изваянный ею его портрет, получивший широкую известность. «Я часто думаю о тебе, — писал он 30 апреля, — и нередко больше всего на свете мечтаю о том, чтобы ты оказалась в моей комнате. Она совсем не похожа на комнату на Капри, но тебе бы она показалась вполне подходящей, а мне *очень подходящим* показалось бы твое присутствие в ней... Надеюсь, ты заметила, что ты очень дорога мне, особенно сейчас, когда я пишу эти строки, и что я последователен не больше, чем ласкающая рука» (С, 298; GB, 3:151). Ему не хватило духа прямо призвать ее бросить мужа (Юла вышла замуж за его старого друга Фрица Радта в декабре 1925 г.), но он настаивал, чтобы она приехала в Париж одна: «Если ты приедешь, то мы впервые собственными усилиями создадим ситуацию, в которой не все будет случайностью. И мы уже достаточно стары для этого: нам это пойдет на пользу» (GB, 3:171). Письма, которые Бенъямин в эти годы отправлял Юле, создают впечатление, что между ними наверняка и неоднократно бывала физическая близость, и это тщательно скрывалось ими от Фрица Радта. Кроме того, в Париже вскоре после прибытия Бенъямина был проездом и Саломон-Делатур, но Бенъямин отмечал угасание прежних тесных отношений между ними, упомянув, что его франкфуртский союзник и наперсник «прибыл незаметно и отбыл беззвучно» (GB, 3:157). Май был отмечен визитом Эрнста Шена с женой, которых сопровождал русский фотограф-эмигрант Саша Стоун — Бенъямин знал его по Группе G; впоследствии Стоун сделал обложку-коллаж для «Улицы с односторонним движением».

Пребывание в Париже было прервано печальным событием: 18 июля скоростижно скончался отец Бенъямина, и ему пришлось на месяц вернуться в Берлин. Его отношения с отцом еще с момента женитьбы Бенъямина омрачались постоянными ссорами, вызванными его упрямым убеждением в том, что отец обязан поддерживать своего отпрыска в его интеллектуальных начинаниях и попытках сделать литературную карьеру. Тем не менее большую часть времени они прожили под одной крышей, и через ожесточение иногда пробивались проблески тесных родственных связей между отцом и сыном.

В серии автобиографических заметок, которые Беньямин писал с начала 1930-х гг., он изображает отца человеком порой отчужденным и властным, но безусловно заботливым. И эта утрата стала для Беньямина ударом, от которого он не сразу оправился. На протяжении большей части жизни в Париже его одолевала так хорошо знакомая ему глубокая депрессия. После яркого описания радостных дней в Париже он призывал Юлу «помнить о том, что такое жаркое воскресное солнце светит на меня не каждый день» (С, 297). Однако, возвратившись в Париж после смерти отца, он начал ощущать новые и гораздо более сильные симптомы депрессии. Эрнст Блох подмечал в своем старом друге суицидальные наклонности, а после того, как Беньямин вернулся в Берлин, сообщал друзьям, что тот пережил «нервный срыв».

Борьба с депрессией и нервными недугами не помешала Беньямину пуститься в новое интеллектуальное приключение. В последние недели пребывания в Париже к нему присоединились Блох и Кракауэр, тоже поселившиеся в *Hôtel du Midi*; друзья Беньямина сразу же переняли его парижские привычки, и все трое гуляли и говорили до поздней ночи. Блох много лет враждовал с Кракауэром после убийственной рецензии на его книгу 1921 г. «Томас Мюнцер как теолог революции», напечатанной в *Frankfurter Zeitung*; тем не менее, встретив Кракауэра в конце августа 1926 г. в кафе на площади Одеон, он тут же направился к нему и поздоровался с ним. Как рассказывал Блох, «Кракауэр потерял дар речи, когда после таких нападков на меня и моей реакции на них... я подошел к нему и протянул руку»²¹. Трое друзей, живя рядом друг с другом, вновь познали чувство интеллектуальной солидарности. Блох пытался заручиться сотрудничеством Беньямина в попытках сформулировать «материалистическую систему», но для Беньямина интеллектуальная солидарность имела свои пределы. С ним, безусловно, было нелегко водить дружбу, особенно изо дня в день, как прежде неоднократно приходилось осознавать Шолему. Сейчас Блох время от времени пытался избавить Беньямина от меланхолии и заразить его, как он выражался, «воинствующим оптимизмом». Но Беньямин оставался верен своей «пессимистической организации». Как он впоследствии выразился в своем великом эссе 1929 г. о сюрреализме, «пессимизм по всему фронту. Исключительно и только он один. Неверие в литературу, неверие в свободу, неверие в население Европы, но прежде всего неверие,

21. Bloch, *Tagträume*, 47. Цит. по: Münster, *Ernst Bloch*, 137.

неверие и неверие в любое согласие: классов, народов, индивидов. И неограниченная вера в „ИГ Фарбен“ и в мирное усовершенствование военной авиации. И что же теперь, что дальше?» (SW, 2:216–217; MB, 280). Впоследствии Блох писал, что жизнь в отеле с Беньямином была омрачена «окопной болезнью»²².

Возможно, в попытке избавиться от депрессии и нервов Беньямин отправился с Блохом на юг: 7 сентября они прибыли в Марсель. Кракауэр со своей подругой (впоследствии женой) Элизабет (Лили) Эренрейх опередили их, и Беньямин поселился в отеле «Регина» на площади Сади Карно, рядом с *Grand Hôtel de Paris*, в котором остановился Кракауэр. Из писем Беньямина, отправленных им в эти недели, видно, что его состояние немного улучшилось; он сообщал Мюнхгаузену, что его преследовал один нервный срыв за другим и что «спокойные периоды в промежутках между ними в итоге лишь ухудшали ситуацию» (GB, 3:188). Шолему он вообще писал о том, что «перспективы на излечение сомнительные». Отчасти его беспокойство было связано с работой над Прустом: «Можно многое сказать о том, чем я реально занимаюсь. Позволю себе добавить... что в некотором смысле от этой работы мне становится плохо. Непродуктивная сопричастность к трудам автора, столь блестяще преследующего цели, очень близкие по крайней мере к тем целям, которые у меня были раньше, время от времени вызывает у меня что-то вроде симптомов кишечного отравления» (С, 305). Беньямин дошел до того, что вопреки своим обычным склонностям и привычкам почти не видел провансальских пейзажей. Исключением была однодневная поездка с Кракауэром в Экс-ан-Прованс, «несказанно красивый город, застывший во времени». Они побывали на корриде около городских ворот: Беньямин счел ее «неуместным» и «жалким» зрелищем, но Кракауэра она вдохновила на сочинение небольшого эссе «Парень и бык»²³. Недолгое пребывание в Марселе имело один положительный результат: Беньямин познакомился с Жаном Балларом, редактором *Cahiers du Sud*, и уговорил его взять еще не написанное эссе о Прусте; в грядущие годы изгнания Баллар нередко доказывал свою неизменную верность дружбе с Беньямином.

Как и во время пребывания в Неаполе, Беньямин приступил к описанию города. Это эссе, дописанное только в 1928 г. и опубликованное в 1929 г. под названием «Марсель» в *Neue schweizer Rundschau*, вызывает в сознании образ неприглядного,

22. Bloch, "Recollections of Walter Benjamin" (1966), в: Smith, ed., *On Walter Benjamin*, 339.

23. Kracauer, "Lad and Bull", 307.

скверного портового города: Марсель изображается Беньямином как «испещренная желтым тюленья морда с соленой водой, вытекающей сквозь зубы. Когда эта глотка открывается, чтобы схватить черные и смуглые пролетарские тела, бросаемые ей судходными компаниями... из нее разит нефтью, мочой и типографской краской». И все же Беньямин утверждает, что даже самые никчемные, жалкие кварталы, такие как квартал проституток, до сих пор несут на себе след *genius loci* античной эпохи, характерный для всего Средиземноморья. «Грудастые нимфы, увитые змеиными кольцами головы Медуз над обшарпанными дверными проемами только сейчас стали недвусмысленным признаком профессиональной принадлежности». Эта ссылка на дух города по сути задает симфоническую структуру эссе: в его десяти частях Беньямин пытается описать Марсель так, как он воспринимается каждым из пяти органов чувств. Так же, как при изучении Парижа XIX в. в проекте «Пассажи», его особенно интересуют эти маргинальные районы города, окраины, отделяющие Марсель от сельского Прованса: он называет их «городским ЧП, ареной, на которой неустанно кипит великая решительная битва между городом и селом» (SW, 2:232–233, 235). Как и на Капри, картина, нарисованная Беньямином, возникла из явно плодотворного диалога с Кракауэром, чьи этюды «Две плоскости» и «Стоячие бары на юге» также восходят к их путешествию в эти края. «Две плоскости» интересно сопоставить с «Марселем». Если Беньямин попытался уловить дух места, конкретный набор ощущений, порождаемый данным городом, то Кракауэр в своем этюде активно исследует его геометрию. Гость Марселя оказывается пленником этой геометрии, метаясь между похожей на сон путаницей его переулков и холодной рациональностью городских площадей.

Беньямин покинул Марсель всего через неделю, на какое-то время устроившись в деревушке Агэ под Сан-Рафаэлем, где находились на отдыхе Юла и Фриц Радт. Не считая нескольких встреч с ними, Беньямин прошел в Агэ трехнедельный курс лечения изоляцией, не имея иного общества, помимо «Тристрама Шенди» Лоренса Стерна, которого он читал в немецком переводе XVIII в. и находил захватывающим. В начале октября он вернулся в Берлин, по-прежнему преследуемый нервными расстройствами, прогнавшими его из Парижа. Он намеревался пробыть в Берлине до Рождества, а затем возобновить свой «эллиптический» образ жизни, перебираясь то в Париж, то в Берлин и продолжая переводить Пруста. Сейчас родной город не обладал для него особой притягательностью, но он нашел пристанище среди своих книг и даже предпринял «полную ре-

организацию» своей библиотеки, включая обновление каталога, содержавшегося им в образцовом порядке. Мы не знаем, в чем именно заключалась эта реорганизация, но перед ее началом он заявил, что собирается избавиться от многих книг и «ограничиться немецкой литературой (в которой в последнее время наметился определенный крен к барокко, порождающий большие проблемы вследствие моего финансового состояния), французской литературой, религиозными работами, сказками и детскими книгами» (С, 306–307).

По возвращении в Берлин Беньямин с тревогой узнал, что Ровольт с момента его отъезда не предпринял никаких шагов к выполнению своих обязательств и изданию его работ. Ни книга о барочной драме, ни «Улица с односторонним движением» еще не были набраны, и издательство не спешило называть даже новые сроки. Беньямин знал, что вход в академический мир для него окончательно закрыт, но он все же надеялся, что исследование о барочной драме может открыть перед ним иные возможности. Одной из них служило вхождение в гамбургский кружок Аби Варбурга. В принципе эта надежда имела некоторые интеллектуальные основания. На работу о барочной драме оказали глубокое влияние труды первой Венской школы истории искусства, особенно Алоиза Ригля; первые работы самого Варбурга создавались в контакте с процессами, происходившими в Вене и параллельно им. Книга Беньямина о барочной драме, в которой он пытался рассмотреть конкретный литературный жанр в силовом поле исторических и социальных векторов, делала его естественным союзником школы Варбурга.

Кроме того, он старался поддерживать связи с берлинским литературным сообществом, имевшим левые взгляды. Беньямин присутствовал на «поистине причудливом» заседании Группы-1925, принявшем облик судебного разбирательства по поводу последней книги писателя левого толка Иоганнеса Р. Бехера *Levisite oder der einzig gerechte Krieg* («Люизит, или Единственная справедливая война»), запрещенной вскоре ее публикации в 1925 г.; Альфред Деблин исполнял роль прокурора, а звезда журналистики Эгон Эрвин Киш — защитника. Эта группа представляла собой странное сочетание бывших экспрессионистов (Альфред Эренштайн, Вальтер Хазенклевер, Эрнст Толлер), бывших дадаистов (Георг Гросс, Эрвин Пиксатор) и писателей-реалистов, чьи имена сейчас ассоциируются с движением *Neue Sachlichkeit* («Новая вещественность») (Бехер, Деблин, Курт Тухольский). Беньямин был знаком со многими членами этой группы, включая Блоха, Брехта, Деблина и Рота; с другими,

в том числе с великим австрийским романистом Робертом Музилем, его пути неоднократно пересекались в 1930-х гг.

В ноябре Беньямин узнал, что у Аси Лацис в Москве случился нервный срыв: неясно, был ли он вызван расстройством психологического или неврологического толка. Беньямин поспешил к ней и 6 декабря прибыл в Москву. Хотя болезнь Аси послужила для него непосредственной причиной отъезда, в конечном счете Беньямин отправился в Россию также и по другим причинам — личного, политического и профессионального характера. Погоня за неуловимой Асей — обезкураживающая и в то же время многообещающая²⁴ — служила зеркальным отражением попыток закрепиться на стремительно менявшейся и неисследованной культурной территории, а также конкретной попытки запечатлеть средствами литературы технологично-первобытную жизнь в Москве, которую он сравнивал с лабиринтом, крепостью и больницей под открытым небом.

По прибытии в Москву Беньямина встретил Асин спутник жизни Бернхард Райх; не тратя времени, они вместе, как часто будут делать и в последующие недели, отправились к Асе, которая ждала их на улице рядом с санаторием Ротта, где проходила курс лечения. Беньямину показалось, что она выглядела «диковато в русской меховой шапке, лицо от долгого лежания несколько расплылось» (МД, 9; МД, 15). В последующие дни Райх постоянно сопровождал Беньямина в прогулках по городу и исполнял для него роль гида, показав ему не только Кремль и прочие главные достопримечательности, но и ряд важнейших советских культурных учреждений. Вскоре Беньямин по примеру Райха стал частым посетителем Дома Герцена, где располагалась Всероссийская ассоциация пролетарских писателей (ВАПП).

Беньямин в своем дневнике пишет о колоссальных трудностях, с которыми он столкнулся в Москве. Московская зима с ее свирепым холодом лишала его сил, а планировка города сбивала с толку. Он был не в состоянии передвигаться по сплошь обледеневшим узким тротуарам, а когда же наконец стал чувствовать себя достаточно уверенно для того, чтобы оглянуться по сторонам, то увидел столицу мирового масштаба, которая в то же время была маленьким городком с двухэтажными домами: на улицах этой «импровизированной метрополии, роль которой на нее свалилась совершенно внезапно», сани и конные экипажи не уступали по численности автомобилям (МД, 31; МД, 47). Москва создавала у него впечатление боль-

24. Эта амбивалентность выражалась и в том, что они никак не могли решить, обращаться ли им друг к другу на формальное «вы» или неформальное «ты».

шого и аморфного, но в то же время многолюдного города. Его жители — монголы, казаки, буддийские монахи, православные священники и всевозможные уличные торговцы по берлинским меркам были невообразимо экзотичными. К тому же, почти совершенно не зная русского, он существовал в полной изоляции и во всем зависел от Райха и Аси, а впоследствии и от Николауса Бассехеса, австрийского журналиста и сына австрийского генерального консула, родившегося в Москве и работавшего в Австрийском посольстве. Бенъямин мог часами сидеть и слушать разговоры, в которых понимал лишь отдельные слова; при просмотре фильмов и театральных постановок ему приходилось полагаться на торопливый перевод; наконец, несмотря на все свои усилия стать знатоком новейших течений в советской литературе, он так и не сумел прочесть по-русски ни слова.

Отношения между Бенъямином и Бернхардом Райхом на протяжении этих недель оставались очень запутанными. Райх, особенно в первые недели, щедро уделял Бенъямину свое время и делился с ним связями с советскими чиновниками, занимавшимися вопросами культуры. Мужчины заметно сблизились, и, когда Райх был вынужден съехать со своей квартиры, он часто ночевал у Бенъямина в его гостиничном номере. Но в то же время они соперничали из-за женщины, хотя ни тот, ни другой, судя по всему, никогда в открытую не признавали этого факта в силу своих свободных взглядов. Напряженность в их отношениях наконец проявилась 10 января, когда между ними разгорелась ожесточенная перепалка, по-видимому, из-за отзыва о постановке Мейерхольда, напечатанного Бенъямином в *Die literarische Welt*, но на самом деле, как прекрасно понимал Бенъямин, из-за Аси. Однако она полностью контролировала ситуацию. Бенъямин порой удостаивался многообещающего взгляда, а то и поцелуя или объятий; впрочем, намного чаще ему приходилось довольствоваться несколькими минутами, проведенными наедине с ней. Во время одного из этих интимных моментов он сказал, что хочет иметь от нее ребенка; она на это ответила, что если бы не он, то они могли бы жить на «пустынном острове» с двумя детьми, и подсчитала, сколько раз он пренебрегал ею или сбегал от нее. Асе явно доставляли удовольствие знаки внимания, которые она получала от обоих мужчин. Когда Бенъямин выразил неудовольствие тем, что за ней ухаживает «красный генерал», она презрительно ответила, что Бенъямин состоит при ней в качестве «друга дома» [*Hausfreund*, как по-немецки называют любовника хозяйки дома, постоянно состоящего при ней]: «Если он будет так же глуп, как Райх, и не вышвырнет тебя[,] я ничего не имею против. А если он тебя вышвырнет,

то я тоже не против» (MD, 108; МД, 171). В итоге их отношения снова переходили из крайности в крайность, как уже не раз бывало с момента их встречи на Капри: в нем перемежались «раздражение и любовь», которые он не мог не ощущать «при ее, несмотря на все очарование, бессердечии» (MD, 34–35; МД, 54). Беньямин оказался впутан в новый треугольник, носивший явное сходство с мучительной порой в 1921 г., когда его брак чуть не распался из-за охватившего его влечения к Юле Радт-Кон. И потому едва ли удивительно, что после ссоры с Райхом он отправил Юле еще одно интимное послание: «Тебе надо постараться время от времени избавляться по вечерам от Фрица. Иначе после моего возвращения начнутся „мучения“, которые не нужны ни тебе, ни мне. Не говоря уже о том, что (по мере того, как я старею) мой талант к ним идет на убыль. Кажется, расстояние между Берлином и Москвой все же позволяет мне высказать это, питая надежду на твой ответ... Два поцелуя. После того как ты их вытрешь, пожалуйста, немедленно порви это письмо» (GB, 3:227).

Недели, проведенные в Москве, с их характерным для Беньямина переплетением эротики и политики, стали повторением жизни на Капри еще в одном отношении. Писательская активность Беньямина переживала критический этап: чувствуя отчужденность от своего поколения в Германии, он искал в России — собственно, как и другие представители его поколения из Германии — вдохновение, которое бы позволило преодолеть «чувство кризиса», угрожающего «судьбе интеллигенции в буржуазном обществе» (MD, 47; МД, 74; С, 315; SW, 2:20–21). Именно по причине этого чувства кризиса, которое невозможно понять без учета классовых интересов и социального заказа, статус независимого писателя и оказался под вопросом. Снова говоря о своем поколении, Беньямин отмечал, что история Германии в период после Первой мировой войны отчасти представляла собой историю революционного обучения левобуржуазного крыла интеллигенции — радикализации, вызванной не столько самой войной, сколько капитуляцией революции 1918 г. перед «мелкобуржуазным, вульгарным духом германской социал-демократии» (SW, 2:20). В этом контексте Советская Россия представляла собой всемирно-исторический эксперимент «пролетарского правления», включая регламентированное освобождение от традиционной классовой иерархии и ее стирание, вследствие чего жизнь рабочего и жизнь интеллектуала становились взаимовыраженными в соответствии с «новым ритмом» коллективного существования под влиянием «новой оптики».

Беньямин, ежедневно чувствовавший этот ритм, поражался контрасту между высокоразвитым политическим сознанием советского народа и его относительно примитивной социальной организацией. Сама многочисленность населения «находит несомненное выражение в чрезвычайно мощном динамическом факторе, но с точки зрения культуры это стихийная сила, с которой едва ли удастся справиться» (GB, 3:218). Он полагал, что эта структурная неоднозначность символически отражается в интерьере жилища. В противоположность уютному буржуазному интерьеру западных квартир, которому, однако, свойственно «бездушное великолепие домашней обстановки» с ее «огромными, пышно украшенными резьбой буфетами, сумрачными углами, где стоит пальма» (как описывается в главке «Роскошно меблированная десятикомнатная квартира» в «Улице с односторонним движением»), русские квартиры практически голые. «[Нищие] — единственная постоянная структура московской жизни, потому что все прочее здесь пребывает под знаком ремонта. В холодных комнатах еженедельно переставляют мебель — это единственная роскошь, которую можно себе позволить, и в то же время радикальное средство избавления от „уюта“ и меланхолии, которой приходится его оплачивать» (MD, 36; MD, 56). Посетив фабрику, Беньямин отметил не только наличие «ленинского уголка», но и то, что рядом друг с другом ведется и ручное, и машинное производство одних и тех же предметов.

Во время своего визита Беньямин наблюдал начало сталинизации в советской культурной политике. В письме Юле Радт-Кон, отправленном из Москвы 26 декабря 1926 г., он отмечал наличие «конфликтов в общественной жизни, в значительной степени носящих едва ли не теологический характер и настолько сильных, что они создают невообразимые препятствия для какой-либо частной жизни» (С, 310) (речь идет о том, что ему почти никогда не удавалось побыть наедине с Асей). А в эссе «Москва», в основу которого были положены дневниковые записи, сделанные во время его поездки, он прямо утверждал, что «большевизм ликвидировал частную жизнь» (SW, 2:30; ПИ, 178). Русские ведут отчужденное существование в своих квартирах, одновременно играющих роль и конторы, и клуба, и улицы. Времяпрепровождение в кафе здесь такая же редкость, как художественные училища и кружки. Самодовольство буржуазного существования и фетишизм потребительства были ликвидированы за счет самого свободного интеллекта, исчезнувшего вместе со свободной торговлей.

Соответственно, в тот момент — почти через три года после смерти Ленина — положение русского писателя отличалось

от положения его европейских коллег «абсолютно публичным» характером его деятельности, обеспечивающим и более широкие возможности для работы, и более значительный внешний контроль (согласно анализу, проведенному Беньямином в «Политических группировках русских писателей» [SW, 2:6]). В теории вся интеллектуальная жизнь в новой России обслуживала общенациональные политические дискуссии, для которых зимой 1926/27 г. в атмосфере послереволюционной реконструкции все еще была характерна конкуренция между различными политическими группировками, хотя бесспорной доминирующей силой оставалась коммунистическая партия, чьи часто пересматривавшиеся директивы не мог игнорировать ни один интеллектуал, так же как в прежние времена он не мог игнорировать точку зрения покровителя-аристократа.

Хотя тональность нескольких репортажей Беньямина о советском обществе и культуре (см.: SW, 2:6–49) несколько варьируется в зависимости от тональности конкретного издания — репортажи, которые были напечатаны в *Die literarische Welt*, в целом выдержаны в более радикальном ключе, чем, скажем, эссе «Москва», написанное для журнала Бубера *Die Kreatur*, — их общей чертой остается внимание к «частной жизни», являющееся принципиальной чертой его творчества и в других отношениях (о чем свидетельствует обращение к фигуре фланера). Вообще именно частная жизнь, вдохновляющаяся ответственностью перед целым и философской критикой атомизированной субъективности, иными словами, фактический идеал, совместимый с концепцией коллективного одиночества, занимал ключевое место в юношеской философии Беньямина. Настоящий индивидуум, как писал Маркс в 1844 г., не может не быть «представителем вида» (цит. по: SW, 2:454). С этой планетарной точки зрения, указывал Беньямин, конфликты, свойственные общественной жизни, обязательно находят выражение в самой частной жизни. Насаждение частной жизни в планетарной перспективе представляет собой неотъемлемую часть и защиты бедных и традиционно бесправных, и сохранения интеллектуальной свободы: свободы не соглашаться и свободы заниматься произведениями прошлых времен. Именно подавление этой свободы и служит источником сатирических ноток в ряде репортажей Беньямина, написанных в духе особенно воинствующего сочувствия, например, когда он описывает противоречие между старым русским типом угнетенного мечтателя и новым человеком революции, «интеллектуальным снайпером», натасканным на выполнение политических приказов: в уничтожении этого асоциального типажа России «чудится призрак ее собственного

прошлого, призрак, преграждающий путь к новому машинному раю» (SW, 2:8–9). Подлинная объективность, как утверждается в этом сатирическом анализе, зависит от диалектики субъекта и объекта, индивидуального и коллективного; постижение фактов предполагает определенную убежденность.

В поворотный момент исторических событий если не определяемый, то означенный фактом «Советская Россия», совершенно невозможно обсуждать, какая действительность лучше или же чья воля направлена в лучшую сторону. Речь может быть только о том, какая действительность внутренне конвергентна правде? Какая правда внутренне готова сойтись с действительностью? Только тот, кто даст на это ясный ответ, «объективен». Не по отношению к своим современникам... а по отношению к событиям... Постигнуть конкретное может лишь тот, кто в решении заключил с миром диалектический мирный договор. Однако тот, кто хочет решиться, «опираясь на факты», поддержки у фактов не найдет (SW, 2:22; ПИ, 163–164).

Описывая Москву Буберу, Беньямин именно в духе этой диалектической объективности цитирует знаменитое изречение Гёте: «Все фактическое уже есть теория» (С, 313).

Таким образом, Беньямин не занимал конкретной «позиции» по русскому вопросу, по крайней мере публично. Но в дневнике, который он вел во время своего двухмесячного пребывания в Москве, он выражается более откровенно: «Мне все больше становится ясно, что в дальнейшем мне требуется твердая опора для моей работы. Переводческая работа, конечно, в качестве такой опоры совершенно не годится. Необходимым предварительным условием является открытое выражение своей позиции. Что удерживает меня от вступления в КПГ, так это исключительно внешние обстоятельства» (MD, 72; МД, 117). Подобные соображения подвели его к вопросу о том, не получится ли «в деловом и экономическом отношении» укрепить свой статус «левого индивидуалиста», который бы позволил ему работать в привычной для него области. Роль интеллектуального лидера (*Schrittmacher-Position*) казалась ему соблазнительной, «если бы не наличие коллег, чьи действия... демонстрируют... сомнительность этого положения» (MD, 73; МД, 118). Имеет ли смысл «нераскрытое инкогнито среди буржуазных авторов»? Мог ли он сохранять «независимое положение», не переходя на сторону буржуазии и не нанося ущерба работе? Не пора ли вступить в партию, тем более что для него это вступление наверняка окажется «экспериментальным»; такой шаг обеспечил бы ему «мандат» и дал бы возможность встать на сторону

угнетенных. Беньямин учитывает и личные преимущества, которые ему принес бы официальный статус его работы: он чувствовал, что Райху хватает терпения мириться с выходками Аси, от которых он сам сошел бы с ума, и «если только [Райх] не подает виду, то это уже очень много». Вместе с тем быть, подобно Райху, коммунистом в государстве господствующего пролетариата означает «полностью отказаться от личной независимости». При этом риску подвергалась, в частности, научная работа Беньямина «с ее формальными и метафизическими основаниями» — работа, которая сама по себе, как он отмечает, могла бы принести пользу для революции, особенно с точки зрения формы. Он задается вопросом, не будет ли полезным ради этой специализированной работы «избегать некоторых крайностей „материализма“» или же вместо этого следует «разобраться с ними» в порядке внутривнутрипартийной дискуссии. Что случится со всеми мысленными «ограничениями», предполагаемыми его работой, в обществе, требующем, как он выразился, только «банальной ясности» (SW, 2:39; ПИ, 196)? Возвращаясь к ключевому вопросу частной жизни, он подводит довольно решительный итог своим дневниковым размышлениям: «...пока я путешествую, о вступлении в партию вряд ли может идти речь». В грядущие годы он предполагал оставаться свободным литератором, «вне партии и должностей» (MD, 60; МД, 99).

Итак, несмотря на сознательно неоднозначное отношение к коммунистической партии и явную неприязнь к первым признакам сталинизма, в Москве Беньямин получил разнообразные впечатления, вполне отвечавшие его принципу многомерного познания: «Место по-настоящему знаешь только тогда, когда пройдешь его в как можно большем количестве направлений» (MD, 25; МД, 37). Наряду с культурной и политической жизнью города он старался изучать и его повседневную жизнь во всем ее разнообразии. В страшный мороз он ходил и боролся «с внешним морозом и внутренним огнем» (MD, 128; МД, 211). Беньямин изучал магазины (получая особое удовольствие от магазинов игрушек и кондитерских), рестораны, кабаки, музеи, конторы (в которых сталкивался с «большевистской бюрократией»), побывал на фабрике, где производили игрушки для рождественских елок, в детской больнице и знаменитом монастыре, а также осмотрел такие туристические достопримечательности, как Кремль и собор Василия Блаженного. Его взгляд подмечал нищих, беспризорных детей, уличных торговцев, разнообразие товаров, вывесок и плакатов, относительное отсутствие автомобилей и колокольного звона, характерную одежду москвичей и их «азиатское» чувство времени, вежливую давку

в трамваях, сани, быстро и плавно проносящиеся мимо пешеходов, и то, как искрится снег. Каждый день он ходил на спектакли, в кино или на балет. Он посмотрел такие новые фильмы, как «Потемкин» Эйзенштейна, «Мать» Пудовкина, «По закону» Кулешова и «Шестую часть мира» Вертова. Ему довелось побывать на балете «Петрушка», поставленном на музыку Стравинского, на спектакле «Ревизор» Гоголя в постановке Всеволода Мейерхольда (в сокращенном варианте, который все равно продолжался больше четырех часов) — экстравагантную сценографию этого спектакля, включая серию жанровых картин, он сравнивал с архитектурой московского торта, а также на пьесе «Дни Турбиных» Михаила Булгакова: по его словам, это была «совершеннейшая подрывная провокация» (МД, 25; МД, 36). Он присутствовал в театре Мейерхольда на многолюдном публичном диспуте с участием Владимира Маяковского, Андрея Белого, Анатолия Луначарского и самого Мейерхольда. В качестве специалиста по литературе и изящным искусствам он дал интервью для газеты «Вечерняя Москва»²⁵. Наконец, он использовал всякую возможность, чтобы ознакомиться с замечательными московскими собраниями живописи. Он был потрясен при виде «Танца» и «Музыки» Матисса, висевших над парадной лестницей в галерее Щукина. Когда Беньямин стоял перед Сезанном, ему в голову пришла мысль, которая вдохновила его на написание нескольких самых известных его эссе: «Перед необычайно красивой картиной Сезанна я подумал, насколько неуместны разговоры о „вчувствовании“ уже с языковой точки зрения. Мне показалось, что, созерцая картину, вовсе не погружаешься в ее пространство, скорее напротив, это пространство атакует тебя в различных местах. Оно открывается нам в уголках, где, как нам кажется, находятся очень

25. См.: Dewey, "Walter Benjamins Interview", где содержится немецкий перевод короткого интервью, взятого у Беньямина 18 декабря 1926 г. в помещении Всероссийской ассоциации пролетарских писателей и опубликованного 14 января 1927 г. См. также: МД, 86; МД, 47–48. В этом интервью, отметив, что итальянский футуризм зашел в тупик, Беньямин упоминает о «стагнации» немецкого искусства после упадка экспрессионизма и называет Пауля Шеербарта в качестве не самого известного, но наиболее интересного представителя немецкой литературы, произведения которого полны «технического пафоса» и «машинного пафоса», что было тогда новым словом в литературе. Строительство машин у Шеербарта «важно не по экономическим соображениям, а в качестве демонстрации некоторых идеальных истин» (судя по всему, это утверждение вызвало крайнее недовольство со стороны Райха и Лацис). Далее Беньямин заявил, что Советская Россия была единственной на тот момент страной, в которой искусство развивалось и приобретало «органический характер».

важные воспоминания; в этих местах появляется нечто необъяснимо знакомое» (МД, 42; МД, 64). Это ощущение осаждения времени в пространстве, порождающее странные отзвуки в знакомых вещах, ляжет в основу не только «Краткой истории фотографии» (1930), но и размышлений в проекте «Пассажи», из которых в 1935 г. вырастет «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости». В атмосфере политического и культурного возбуждения, повсюду царившего в Москве, настоящее (*Gegenwart*) приобретало исключительное значение, как выразился Беньямин в письме Юле Радт-Кон, в котором речь идет о теологических конфликтах, сотрясавших общественную жизнь в России.

Что касалось будущей работы Беньямина, одним из самых важных итогов посещения России стало то, что оно направило его мысли в сторону жанра кино. В двух заметках для *Die literarische Welt* — «О положении русского киноискусства» и «Ответ Оскару А. Х. Шмитцу», напечатанных в марте 1927 г., он поднимает тему русского кино той эпохи, ведя речь главным образом о Вертове и Эйзенштейне, и обрисовывает контуры киноэстетики, которая делит ряд характерных черт с его теорией литературной критики. Позиция Беньямина в отношении кино, как и массовой культуры вообще, аналогична позиции его коллеги Зигфрида Кракауэра в той степени, в какой Беньямин рассматривал этот жанр как важнейший инструмент для изучения социальной среды. Те аспекты, которые он называет «принципами кино как жанра», играют важнейшую роль при выявлении скрытых особенностей определенного места. Новый ритм и новый взгляд, определяющие, по его мнению, лицо русских будней, находят в этом потенциально освобождающем жанре искусства свой художественный аналог. Более того, «кино открывает перед нами новую сферу сознания»:

Если говорить кратко, кино — это призма, в которой раскрываются непосредственно окружающие нас пространства... Сами по себе эти конторы, меблированные комнаты, салоны, улицы больших городов, железнодорожные вокзалы и заводы [были] безобразны, непостижимы и безнадежно грустны... Затем кино взорвало весь этот мир-тюрьму динамитом своих долей секунды, и теперь мы можем совершать долгие увлекательные путешествия по грудам их обломков. Окрестности дома или комнаты могут включать десятки самых неожиданных остановок (SW, 2:17).

В этом пронизательном фрагменте, в несколько измененном виде включенном Беньямином в эссе «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости» (см.: SW, 3:117;

ПИ, 53), повторяется несколько характерных моментов. Кино, преломляя, как в призме, окружающую среду, порождает новые образные миры, одновременно деконструируя пространство, которое, «взорвавшись», разрывает традиционные материальные узы и оставляет «груды обломков». Тем самым производится критическое и креативное «умерщвление» окружения, как любил выражаться Беньямин. Далее его раскапывают подобно археологическому объекту, вскрывая скрытые социально-исторические слои. Кино, обнаруживая «неожиданные остановки» среди материальной повседневности, выявляет окружение, «сопротивлявшееся всем попыткам раскрыть его секреты». Инструментальную роль в этом процессе проникновения играет внезапная смена мест и точек зрения (*sprunghafte Wechsel des Standorts*), осуществляемая при помощи монтажа, в котором Беньямин, как и Брехт, всегда видел диалектический механизм, позволяющий одновременно и изолировать, и объединять составные части. «Склейка» в фильме — и прерывание действия, и точка сопряжения при проговаривании эпизода. Этой диалектической логике подчиняются эксперименты Беньямина в том, что он называл литературным монтажом, и прежде всего эпический монтаж проекта «Пассажи» (который с учетом различия в масштабах можно сравнить с «городскими симфониями», снятыми Вертовым и Руттманом). Кинематографический характер этих текстов обусловлен не только их значительно локализованными мизансценами и ритмом членений, но и осуществляемым в них многоплановым раскрытием «коллективных пространств» и «коллектива в движении».

Выявив уникальный потенциал жанра кино в плане его топологических тенденций, Беньямин ставит принципиальный, хотя обычно и остающийся незадаанным, вопрос о специфическом киносюжете. Присвоение жилого пространства фильмом, обусловленное возможностями киноаппарата, доказывает, что достижения в искусстве зависят не от новой формы или нового содержания, а от технических инноваций в данной сфере. По сути, техническая революция в кино не сумела раскрыть «[ни] форму, [ни] подобающее ей содержание». Там, где идеология не диктует тему и подход к ней, проблема «осмысленного киносюжета» не может иметь какого-либо общего решения. В том, что касалось, в частности, судьбы русского кино, для которого в постреволюционную эпоху было характерно строго архитектурное изображение классового движения, Беньямин усматривал необходимость создания «новой „социальной комедии“» с «типичными ситуациями» и насаждения неизвестных большевистским технократам «иронии и скептицизма в вопро-

сах техники». Русские, отмечает Беньямин, совершенно некритически воспринимают те фильмы, которые они смотрят. Из-за того, что в страну редко ввозятся хорошие зарубежные фильмы (Чаплин там по большей части не известен), отсутствует возможность сравнения с европейскими стандартами. Более того, вопрос о кино как об искусстве там в некотором смысле снят с повестки дня. Кино в Советской России, будучи жестко регулируемой формой политического дискурса, то есть социалистической пропагандой, в первую очередь представляет собой сложное учебное пособие (хотя роль источника информации у него вскоре отберет радио). Когда примерно восемь лет спустя Беньямин вернется к проблеме жанра кино в эссе «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости», он тоже будет рассматривать фильм с его просветительской, критически-агитационной функцией как учебное пособие (*Übungsinstrument*) для новой апперцепции, сформированной шоком, и для выявления «визуально-бессознательного» в вещах, которые нам встречаются. Эстетика кино в изложении Беньямина с самого начала сводилась к новому способу видеть²⁶. Нужно только вспомнить то значение, которое придавалось преобразованию сознания и новому восприятию пространства и времени в юношеских философских текстах Беньямина, написанных десятью годами ранее, чтобы еще раз оценить преемственность тематики в его мысли, несмотря на все разнообразие ее форм и акцентов.

Вернувшись в Берлин в начале февраля 1927 г., Беньямин занялся заметками о русском кино и русской литературе для *Die literarische Welt* и готовился писать «Москву» для *Die Kreatur*. Этот текст принял облик «коротких разрозненных заметок», позволяющих «тварному» «говорить от своего имени» и «по большей части предоставляющих [читателя]... самому себе» (MD, 129, 132)²⁷. Кроме того, он начал работу над статьей о Гёте для «Большой советской энциклопедии», хотя от Рай-

26. С точки зрения Беньямина, кино раскрывает «все формы восприятия, темпы и ритмы, которые уже заложены в нынешних машинах, в силу чего все проблемы современного искусства могут быть окончательно сформулированы лишь в контексте кино» (AP, папка K3,3). Об эстетике кино см. также K3a,1-2; Q1a,8; Y1,4; H°,16; M°,4; O°,10.

27. Впоследствии Беньямин поделился с Бубером (который помог найти ему средства для поездки в Москву) надеждой на то, что некоторые читатели сумеют разглядеть «идейные рамки», в которые заключены «эти визуальные [*optischen*] описания» (C, 316), в то время как другому своему корреспонденту он тогда же писал, что, не состоя в партии и не зная языка, он охватил своим эссе все, что только удалось охватить — очевидно, не слишком многое (GB, 3:275; ср. 252).

ха ему стало известно, что редакционная коллегия забраковала его синопсис, который, по его предположению, оказался для нее слишком «радикальным» (С, 312). Наконец, беседы с Райхом и другими московскими литераторами обеспечили его материалом для дебюта на радиостанции, состоявшегося 23 марта: его выступление называлось «Молодые русские писатели», очевидно, представляя собой вариант эссе «Современная литература России», опубликованного весной или летом того же года в *Internationale Revue 110*, издававшемся Ленингом. Регулярная работа Беньямина на радио началась два года спустя: с 1929 по 1932 г. он более 80 раз выступал на франкфуртских и берлинских радиостанциях, обычно зачитывая собственноручно написанные тексты или импровизируя. Однако одно из его главных занятий в Москве принесло незначительные результаты. Он неоднократно посещал московский Музей игрушки и заплатил за ряд снимков наиболее интересных экспонатов, а также купил огромное количество игрушек в магазинах, на рынках и у бродячих торговцев. Но написанная им на основе этих материалов иллюстрированная статья «Русские игрушки» так и не попала в приложение к *Frankfurter Zeitung*, для которого предназначалась; в 1930 г. она была опубликована в сокращенном виде в *Südwestdeutschen Rundfunkzeitung*. Оригинальная, существенно более объемная рукопись утрачена. В Москве его застало еще одно издание, доставившее ему особое удовольствие: *Die literarische Welt* выпустил настенный календарь с карикатурами Рудольфа Гроссмана на постоянных авторов журнала, и каждая из них сопровождалась коротеньким стишком, которые сочинил сам Беньямин.

В то же время наряду с его репортажами о новой России и в промежутках между приступами «полного безделья» Беньямин все шире освещал современную французскую литературу, начав эту работу в августе предыдущего года с заметки о Поле Валери и символизме для *Die literarische Welt*. Более того, в январе вышел его перевод «Под сенью девушек в цвету» Пруста, выполненный в сотрудничестве с Францем Хесселем и в целом получивший благоприятные отзывы, в том числе от союзников Беньямина во Франкфурте и в Берлине. Рецензия в *Frankfurter Zeitung* хвалила перевод за его утонченность и «микроскопическую» точность, а автор письма в редакцию *Die literarische Welt* превозносил взаимодополняющие сильные стороны Беньямина и Хесселя как переводчиков²⁸. В последующие годы Беньямин

28. Фрагменты обеих рецензий см. в: ГВ, 3:249–250; Brodersen, *Walter Benjamin*, 169.

переводил некоторых других современных французских авторов, включая Луи Арагона, Марсея Жуандо, Леона Блуа и Адриенну Монье.

Но в том, что касалось более близких для него материй, источником беспокойства по-прежнему служило невыполнение Ровольтом своих обязательств по изданию «Улицы с односторонним движением» и книги о барочной драме. Ровольт постоянно откладывал их долгожданный выход в свет, и Беньямин в итоге пришел в такое негодование, что отказывался возвращать просмотренные гранки книги о барочной драме, пока не получил определенных гарантий, что будут изданы также сборник афоризмов и книжный вариант исследования об «Избирательном сродстве» Гёте.

После двух непривычно тихих месяцев в Берлине, где Беньямин жил с Дорой и восьмилетним Штефаном на вилле его родителей в Грюневальде, он снова отправился в путь: стремясь следить за тенденциями во французской литературе и ощущая жажду странствий, 1 апреля он отбыл в Париж, чтобы во второй раз надолго обосноваться во французской столице. Первоначально он планировал пробыть там два-три месяца, но этот визит в итоге растянулся на восемь месяцев и включал вылазки на Лазурный Берег и в долину Луары. К его удовольствию, он сумел снова получить свой прежний номер в *Hôtel du Midi*, хранивший память о тесном интеллектуальном сотрудничестве с Блохом и Кракауэром. В течение первых нескольких недель Беньямин в основном лишь читал Пруста. В конце апреля в Париже на несколько дней задержался Шолем, направлявшийся в Лондон для изучения каббалистических рукописей, и они с Беньямином встретились впервые за четыре года. Шолем нашел своего старого друга необычайно расслабленным и в то же время полным интеллектуальных замыслов. Беньямин говорил о своем желании насовсем поселиться в Париже и жить в стимулирующей «атмосфере» этого города, но в то же время признавался, что это почти невозможно из-за проблематичности наладить тесные связи с французами. «Крайне редко удается, — писал он Гофмансталу, — достичь в отношениях с французом такого духовного сродства, которое бы позволило беседовать с ним больше четверти часа» (С, 315). Единственный надежный контакт ему на тот момент удалось установить лишь с другом Гофмансталя и Блоха романистом и критиком Марселем Брионом, редактировавшим *Cahiers du Sud*. Беньямин высоко ценил его и представил его Шолему. В марте в *Die literarische Welt* вышла рецензия Беньямина на *Cahiers du Sud*. В этом известном французском журнале, в котором Брион в конце 1926 г. дал

высокую оценку переводам Беньямина из Бодлера, в 1930-е гг., в период парижского изгнания Беньямина, когда окрепла его дружба с Брионом, был опубликован ряд работ Беньямина в переводе на французский.

В середине мая, вскоре после отъезда Шолема в Англию, Беньямина навестили Дора со Штефаном. Беньямин несколько дней водил Дору по Парижу, а затем маленькая семья на пятидесятницу отправилась на Ривьеру. В конце июня Беньямин выиграл в игорных домах Монте-Карло достаточно денег для того, чтобы неделю в одиночестве отдохнуть на Корсике. Его пристрастие к азартным играм (содержавшее в себе нечто «достоевское» и, несомненно, связанное с общей склонностью Беньямина к «экспериментам»), в частности увлечение рулеткой, отразилось в некоторых фрагментах «Пассажей». В ранних черновиках этой работы Адорно особо выделял «блестящий отрывок об игроке» (имеется в виду $g^0,1$), содержащий в себе и теологические, и мирские мотивы²⁹. Более того, «Игрок» долгое время оставался одним из излюбленных псевдонимов Беньямина, и не только в том смысле, что он испытывал неодолимое влечение к приманкам и опасностям игорных столов, и даже не потому, что он считал азартные игры, как и употребление гашиша, социально и метафизически заманчивым занятием, особенно в смысле вызываемых им странных отношений со временем. Беньямин во всех своих работах шел на риск с точки зрения как выбранной темы, так и формы и стиля текста. Во многом подобно тому, как игрок продолжает делать ставки, хотя фортуна как будто отвернулась от него, так и Беньямин сам был творцом своей удачи. С Корсики он вернулся в Антиб самолетом, «изведав новейшее средство перемещения». Именно во время этой поездки на Корсику он потерял «стопку незаменимых рукописей», включая «многолетние наброски к „Политике“»³⁰.

В начале июня Беньямин писал Гофмансталю из Пардигона под Тулоном, описывая свои текущие замыслы, которые были «главным образом посвящены укреплению [его] позиции в Париже» (С, 315). Чувствуя себя «совершенно изолированным» от других представителей своего поколения в Германии, он обратился к Франции, где ощущал духовное сродство с сюрреалистическим движением и с отдельными авторами («особенно Арагоном»): «По мере течения времени я испытывал все большее искушение сблизиться с французским духом в его современ-

29. См.: ВА, 106, и АР, папка О, «Проституция, азартные игры».

30. SF, 132; ШД, 218. О замыслах Беньямина написать эссе о политике в трех частях см. главу 4.

ном виде... абсолютно помимо неустанного интереса, который вызывает во мне его историческое обличье». Под этим обличьем Беньямин имел в виду не что иное, как французскую классическую драму: он замышлял написать книгу о Расине, Корнеле и Мольере как своего рода противовес книге о барочной драме. Впрочем, подобно многим другим его замыслам, этот тоже остался невоплощенным. Возможно, из солидарности с вновь проснувшимся в нем интересом к истории он отверг предложение Кракауэра купить пишущую машинку:

Видю, что вы приобрели такую машинку, и в то же время вижу, что я по-прежнему прав, обходясь без нее. Убеждение в этом совсем недавно только окрепло у меня благодаря франко-американскому теннисному турниру. Да, это так! Во время этого турнира я потерял свою авторучку. Или, точнее, в толчее я сумел избавиться от этого ужасного и уже невыносимого тирафа, которому я подчинялся весь прошлый год. Я решил найти ему первую же дешевую замену, какая подвернется, и остановился перед стойкой прямо на многолюдной парижской улице. Солидные граждане останавливаются здесь в лучшем случае для того, чтобы заправить ручку свежими чернилами. И там я нашел самое прелестное современное создание, отвечающее всем моим мечтам и позволившее мне работать так продуктивно, как не удавалось в дни правления прежней ручки (GB, 3:262).

Этот маленький этюд, написанный в тот же день, что и письмо Гофмансталу, в сжатом виде демонстрирует гибкость — и хитроумие — интеллектуального метода Беньямина: даже фетишизируя сами орудия этого метода, он ухитряется подать их в аллегорической форме и тем самым иронизирует над собой.

В Пардигоне он также работал над давно замышлявшимся эссе о швейцарском поэте и романисте Готфриде Келлере. Как указывается в письмах Беньямина, задача этой статьи, дополнявшая его работы о французской литературе, состояла в том, чтобы опровергнуть мещанские представления о Келлере как о благодушном провинциальном писателе, выделив «явно сюрреалистические черты» его личности. Работа над эссе «Готфрид Келлер» затянулась до середины июля, а в августе оно вышло в *Die literarische Welt*, положив начало ряду крупных эссе об известных литераторах, написанных Беньямином для немецких газет в последние годы существования Веймарской республики. В эссе о Келлере получил отражение представительный набор тем, начиная с призыва «подвергнуть XIX в. переоценке» (SW, 2:51–61). Конкретно речь идет об идеологическом разрыве в истории немецкой буржуазии, нашедшем выражение в основании Германского рейха в 1871 г. Произведения Келлера с их

любовью к деревне, противопоставляемой националистическому духу, и с их страстным, несентиментальным либерализмом, далеким от его современной разновидности, оставались связанными с «доимпериалистическим» этапом буржуазии. В творчестве Келлера скептицизм соседствует с вдохновенной мечтой о счастье, и это принципиальное противоречие вносит вклад в характерный юмор этого автора, неотделимый от его меланхолии и желчности. Келлер возвышается над пространством «античности XIX в.» наравне с Бодлером. Это античность, оцениваемая в соответствии с формальным законом «сжатия» (*Schrumpfung*), — античность, втиснутая в пейзаж и предметы беспокойной эпохи самого Келлера³¹. Эти вещи для него подобны «засохшему старому плоду, морщинистым лицам стариков». В зеркальном мире его описаний, где самая крохотная ячейка реальности обладает бесконечной плотностью, «предмет возвращает взгляд наблюдателя». В течение следующего десятилетия Беньямин будет развивать эти темы в своем творчестве.

В середине августа Беньямин совершил пятидневную поездку в Орлеан, Блуа и Тур, где осматривал соборы и замки, вдохновляясь словами Шарля Пеги о Викторе Гюго. В путевом дневнике этого путешествия на Луару (см.: SW, 2:62–65) Беньямин фиксировал свои яркие впечатления от местных достопримечательностей, таких как окна-розы над главным порталом собора в Туре, в котором он увидел символ «церковного образа мысли: снаружи все сланцевое, чешуйчатое, едва ли не запаршивевшее; изнутри все цветущее, опьяняющее и золотое». Этот дневник также отражает охватившее его уныние: «Все, каждая банальная мелочь в этом путешествии вызывает у меня желание залиться слезами». Это вызвано отсутствием взаимности со стороны парижанки, в которую он влюбился несколькими неделями ранее, «что в те годы случалось с ним довольно легко и часто» (SF, 133; ШД, 218). В данном случае утешение ему принесли уют роскошного номера в отеле, а также спокойствие и «чувство тесной сопричастности», охватившие его при созерцании великих архитектурных шедевров. Он понял, что его «парижская роза» «чудесным образом выросла» в промежутке между двумя соборами — Шартрским, который он посетил месяцем ранее, и нынешним знакомством с собором св. Гатьена в Туре. Беньямин надеялся опубликовать описание своей поездки во *Frankfurter Zeitung*, но это предложение не получило поддержки со стороны Кракауэра и других редакторов.

31. О принципе «сжатия» в критике см.: SW, 2:408, 415–416.

16 августа Беньямин вернулся в Париж, а на следующий день туда прибыл Шолем с намерением несколько недель поработать в Национальной библиотеке. Они провели вдвоем много вечеров, встречаясь преимущественно в разных кафе в окрестностях бульвара Монпарнас. Однажды Шолем с женой зашли к Беньямину в его «убогую, крохотную и плохо обставленную комнатку, в которой помещались только железная кровать и кое-какие пожитки» (SF, 133; ШД, 220). Несколько раз они ходили в кино (Беньямин особенно восхищался американским актером Адольфом Менжу), а Шолем познакомился с другом и сотрудником Беньямина Францем Хесселем и его женой Хелен, которые тем летом тоже жили в Париже. Вечером 23 августа Шолем вместе с Беньямином (надевшим красный галстук) направились на северные бульвары, где проходила массовая демонстрация против казни Сакко и Ванцетти, состоявшейся той ночью в Бостоне; друзьям едва удалось вырваться из свалки, начавшейся, когда на демонстрантов набросилась конная полиция. На вопросы Шолема о том, не собирается ли Беньямин брать на вооружение марксистские идеи и методы, тот отвечал лишь, что не видит причин для неизбежного конфликта между радикально-революционной позицией и своей собственной работой, разве что в плане диалектического преобразования (см.: SF, 135; ШД, 223–224). Гораздо охотнее он говорил о сюрреализме и творчестве Поля Валери, а также о своих (в итоге так и не осуществленных) планах составить антологию работ Вильгельма фон Гумбольдта о философии языка.

Визит Шолема снова заставил Беньямина всерьез задуматься о переезде в Палестину. При Еврейском университете в Иерусалиме была создана новая Гуманитарная школа, и Шолем выдвинул идею о том, чтобы Беньямин поступил туда преподавателем французской и немецкой литературы — но для этой должности требовалось знание иврита. Когда Беньямин восторженно отозвался на это предложение и объявил о своей готовности выучить иврит, Шолем устроил ему встречу с канцлером Еврейского университета рабби Иудой Л. Магнесом, который тогда находился в Париже. Во время двухчасового разговора Магнес — американец, четверть века назад учившийся в Берлине и Гейдельберге, — взволнованно выслушивал хорошо подготовившегося к этой беседе Беньямина, который описывал свою творческую карьеру в сфере философии языка и ссылался на свои работы о немецком романтизме, Гельдерлине, Гёте и немецкой барочной драме, а также упомянул свое увлечение Бодлером и Прустом. Он подчеркивал, что работы в области перевода послужили для него стимулом к философским и тео-

логическим размышлениям. По его словам, это все более четко заставляло его осознавать свою еврейскую идентичность. Он утверждал, что «как комментатор значительных немецких текстов... он достиг своего потолка», но «его позиция не находит в Германии отклика». Поэтому он намеревался обратиться к еврейскому языку и литературе как перспективной теме для своих исследований (см.: SF, 137–138; ШД, 227). В результате этого разговора Магнес запросил рекомендательные письма в качестве первого шага к рассмотрению вопроса о предоставлении Бенъямину места преподавателя в Иерусалиме. Достать такие письма от известных ученых было непростой задачей для Бенъямина, сжегшего за собой столько мостов. Значительную часть осени он провел в поисках возможных рекомендателей, в том числе вновь попытавшись наладить связи с окружением Варбурга. Весной Магнес получил рекомендательные письма (от Гофманстала и от Вальтера Брехта, ординарного профессора немецкой литературы в Мюнхене) и объявил их превосходными. Кроме того, Бенъямин отправил ему экземпляры некоторых своих изданий. Он объявил Магнесу и Шолему о своей солидарности с работой по возрождению Палестины, проводя различие между этой работой и политическим сионизмом. Шолем сухо отмечает: «Никогда прежде Бенъямин не был настроен столь решительно в этой связи, и никогда впоследствии это не повторилось... Ретроспективно эта встреча [с Магнесом] видится еще фантастичнее, чем казалось тогда» (SF, 138–139; ШД, 228–229). Невозможно сказать, насколько серьезно Бенъямин относился к переезду в Иерусалим. Из его переписки двух последующих лет с такими людьми, как Брион и Гофмансталь, следует, что он всерьез задумывался об этом; другие же его высказывания указывают, что он лишь надеялся получить краткосрочную стипендию для изучения иврита или других интересовавших его предметов. В конце концов он получил лишь одноразовую выплату от Магнеса, что поздней весной 1929 г. подвигло его на то, чтобы брать ежедневные уроки у доктора Макса Майера, редактора *Jüdische Rundschau*. Они продолжались менее месяца, сначала прервавшись из-за отъезда Майера на воды, а затем и вовсе прекратились, когда Бенъямина осенью 1929 г. поглотил бракоразводный процесс.

Шолем вернулся в Иерусалим примерно в конце сентября. Это была их предпоследняя встреча с Бенъямином — последняя состоялась в 1938 г., снова в Париже. Во время недель, проведенных ими вместе в 1927 г., Бенъямин зачитывал вслух отрывки из своей новой работы о парижских пассажах, в то время предполагая, что это будет эссе объемом примерно в 50 стра-

ниц, и планируя дописать его в течение следующих нескольких месяцев. Едва ли он мог себе представить, что эта работа, опубликованная посмертно в виде тома объемом в тысячу страниц под названием «Проект „Пассажи“» (*Das Passagen-Werk*), вскоре перерастет первоначальные замыслы и станет играть роль *magnum opus* и реального интеллектуального источника последних лет его жизни — непрерывно разраставшегося философско-исторического исследования, с которым будет связано большинство его крупных и небольших работ 1927–1940 гг. В известном письме от 20 января 1930 г. Беньямин называет проект «Пассажи» «театром всех моих стараний и всех моих идей» (С, 359). Первоначально летом или осенью 1927 г. он собирался всего лишь написать статью для берлинского журнала *Der Querschnitt*, в котором печатался и раньше³². Статью предполагалось сочинить в Париже вместе с Францем Хесселем. В книге самого Хесселя о *flânerie* — *Spazieren in Berlin* («Пешком по Берлину») современный город рассматривается вслед за Луи Арагоном с его *Paysan de Paris* («Парижский крестьянин», 1926) как мнемоническая система; эта книга вышла в 1929 г. и была отрецензирована Беньямином. Не исключено, что в соавторстве с его другом было написано короткое эссе «Пассажи» — фантазмагорический репортаж, выросший из многочисленных бесед с Хесселем на тему пассажей. Беньямин, вероятно, рассматривал его как черновой вариант более длинной статьи, оставшейся ненаписанной³³.

После того как Беньямин отказался от написания газетной статьи в сотрудничестве с Хесселем, исследование о пассажах, все еще рассматриваемое как будущее эссе, некоторое время вызревало на этом этапе, в конце января 1928 г., нося название «Парижские пассажи: диалектическая волшебная страна», причем последнее определение — *Féerie* представляло также отсылку к популярному во Франции XIX в. театральному жанру с аллегорическими персонажами и фантастическими декорациями. Еще с середины 1927 г., когда началась работа над этим проектом, Беньямин записывал более или менее краткие размышления о роли пассажей и создаваемой ими среды (эти первые наброски опубликованы как *Paris Arcades I* в АР). Как они опи-

32. См. письмо Кракауэру от 5 июня 1927 г. (ГВ, 3:263), в котором содержится, возможно, первое письменное упоминание о проекте «Пассажи». Первое однозначное упоминание об этом проекте было сделано в письме от 16 октября (292–293).

33. См.: «Пассажи» в АР, 871–872 («Ранние наброски»); см. также 919–925 («Материалы для „Пассажей“»). Ван Рейен и ван Дорн приводят доказательства, что это эссе было сочинено в середине июля 1927 г. (van Reijen, van Doorn, *Aufenthalte und Passagen*, 95, 237n86).

сывались в путеводителе XIX в., на который впоследствии ссылался Бенъямин, «эти торговые пассажи, недавнее изобретение промышленной роскоши, — крытые стеклом и выложенные мрамором коридоры, идущие насквозь через целые кварталы зданий, владельцы которых объединились для такого предприятия. Вдоль этих коридоров, освещающихся через потолок, выстроились самые элегантные магазины, вследствие чего *passage* превращается в город, мир в миниатюре». Даже на этом раннем этапе проекта пассажи привлекали интерес Бенъямина не только потому, что они служили выразительным символом новых стратегий рекламы и торговли, связанных с городским товарным капитализмом, но и вследствие свойственной им двусмысленности: в качестве мира в миниатюре пассаж в одно и то же время является и улицей, и помещением, и публичным, и частным пространством.

На данном этапе Бенъямин видел в этой работе своего рода парижский аналог «Улицы с односторонним движением» — «монтажный текст», сочетающий в себе афоризмы и зарисовки о парижском обществе и культуре середины XIX в. На протяжении 1928 и, возможно, 1929 гг. в связи с замышлявшимся эссе он написал ряд чуть более длинных и тщательнее отделанных черновиков (*Paris Arcades II*), вскоре снабдив рукопись огромным количеством цитат, примечаний и библиографических ссылок. Этот конгломерат размышлений и цитат образует ядро главного раздела проекта «Пассажи» — 36 обозначенных буквами алфавита папок (немецкий издатель назвал их *Aufzeichnungen und Materialien* («Заметки и материалы»)), которые Бенъямин начал собирать осенью или зимой 1928 г. В итоге эти цитаты, взятые из всевозможных французских и немецких источников XIX и XX вв., намного превзошли своим объемом комментарии и размышления, хотя вопреки мнению Адорно сомнительно, чтобы Бенъямин когда-либо подходил к исследованию о пассажах исключительно как к образцу *Zitatenkritik* («цитатная критика»), к которой он призывает в своих заметках 1929 или 1930 г. к ненаписанной работе о теории литературной критики³⁴.

Работа над статьями о пассажах, в число которых вскоре вошло еще одно короткое эссе — «Кольцо Сатурна, или Неко-

34. См.: «Программа литературной критики», SW, 2:290. Заявление Адорно о том, что исследование о пассажах замышлялось Бенъямином в качестве чисто «*schockhafte Montage des Materials*» («состоящего из одних цитат»), оспариваемое Рольфом Тидеманом, редактором *Passagen-Werk*, см. в GS, 5:1072–1073. См. также предисловие Тидемана к *Passagen-Werk* «Диалектика в тупике» (перепечатано в переводе на английский в AP, 930–931, 1013n6).

торые замечания о железных постройках», возможно, предназначавшаяся для радиопередачи или для публикации в газете, продолжалась в конце 1929 или начале 1930 г., после чего прервалась примерно на четыре года, вероятно, вследствие теоретических апорий, возникших при попытке согласовать откровенно сюрреалистический источник вдохновения с требованиями исторического материализма. Беньямин возобновил эту работу в начале 1934 г., вооружившись «новым пронизательным социологическим подходом», благодаря которому проект, теперь уже принимавший облик книги, приобрел «новое лицо» (С, 490; СВ, 4:375). Этот последний этап продолжался до весны 1940 г., когда Беньямин был вынужден бежать из Парижа с его Национальной библиотекой. На этом этапе разрастания замыслов и новой расстановки акцентов, охватившем середину и конец 1930-х гг., к проекту были добавлены два крайне насыщенных синопсиса (“*exposés*”), написанных на немецком (1935) и французском (1939) языках, после чего общее число текстов, входящих в состав проекта, достигло семи. Перед бегством из Парижа Беньямин отдал «Заметки и материалы» на сохранение коллеге-писателю Жоржу Батаю, который спрятал их в одном из хранилищ Национальной библиотеки, где в то время работал библиотекарем. После войны рукопись была извлечена из тайника и в 1947 г. доставлена в Нью-Йорк лично Теодору Адорно, поскольку на этом этапе работа над рукописью велась под эгидой Института социальных исследований³⁵. *Das Passagen-Werk*, незавершенное и в принципе не подлежащее завершению собрание «пассажей», впервые было издано в 1982 г. под редакцией ученика Адорно Рольфа Тидемана³⁶.

Несмотря на то что в своих письмах 1930-х гг. Беньямин неоднократно заявлял о намерении упорядочить эту сложно организованную систему материалов и в самом деле написать книгу о пассажах, можно сказать, что на протяжении этого рокового десятилетия исследовательский проект Беньямина стал для него самоцелью. Традиционное различие между исследо-

35. Подробнее о том, как рукопись была передана Адорно, см.: GS, 5:1067–1073. Первые наброски и ранние черновики были в 1941 г. переправлены в США для Адорно Дорой Беньямин, сестрой Беньямина. Оба синопсиса были написаны для Института социальных исследований, куда они были отосланы Беньямино. Дополнительные материалы, связанные с принципами организации материала для «Пассажей», были обнаружены в 1981 г. итальянским философом и издателем Беньямина Джорджио Агамбеном среди рукописей, переданных в Национальную библиотеку женой Батая.

36. Тидеман выбрал такое название исходя из того, что Беньямин в своей переписке обычно давал своему проекту такие определения, как *Passagenarbeit*, *Passagenwerk*, *Passagenpapieren* и *Passagen-Studien*.

ванием и изложением (*Forschung* и *Darstellung*), на которое порой указывал сам Беньямин, постепенно перестало действовать в случае этой уникальной работы³⁷. Проект «Пассажи» в том виде, в каком он издается сегодня, де-факто представляет собой текст, аналогичный записным книжкам Жубера, Бодлера или Ницше. Эту книгу можно даже читать от начала до конца как энциклопедический рассказ о повседневной жизни Парижа в середине XIX в., хотя метод чтения, более близкий к блужданиям фланера, воспринимающего город как что-то вроде исторического палимпсеста, безусловно, более предпочтителен. Какие бы планы ни строил Беньямин по поводу превращения своего проекта в книгу, представляется вполне вероятным, что его основная цель, как выражается Тидеман, заключалась в том, чтобы «по-новому сочетать теорию и материалы, цитаты и их интерпретацию по сравнению с методами изложения, принятыми в то время» (АР, 931).

Сам Беньямин определял текстовый формат исследования о пассажах термином «литературный монтаж» (АР, N1a,8) при том, что монтаж как метод организации художественного материала был, как известно, очень моден в 1920-е гг. (в этом отношении достаточно сослаться на имена Мохой-Надя, Хартфилда, Эйзенштейна и Брехта). Беньямин впервые широко использовал метод монтажа в «Улице с односторонним движением», собрав в этой книге по образцу пестрой картины, которую представляет собой уличная жизнь в большом городе, множество коротких, афористичных отрывков, не объединенных какими-либо специальными переходами между ними. В «Пассажах», где «мирские мотивы „Улицы с односторонним движением“ будут... адски усилены» (как сообщал Беньямин Шолему в письме от 30 января 1928 г.), этот эффект полифонии и множества точек зрения звучит еще громче благодаря многочисленным цитатам, комментариям и размышлениям, которые предположительно как-то связаны с тематикой работы и потому в контексте собранной Беньямином запутанной коллекции явлений, имеющих отношение к пассажам, играют роль чрезвычайно сконцентрированной «волшебной энциклопедии» рассматриваемой исторической эпохи (см.: АР, N2,7; N2a,1). Каждый пронумерованный отрывок в этом гигантском текстовом пассаже служит мостом между XIX и XX вв.; каждый, по крайней мере в теории, представляет собой порог и коридор, ведущий в прошлое — в зафиксированную историю и в диктующую

37. Различие между *Forschung* и *Darstellung* проводится в АР, папка N4a,5 (цитата из Маркса); см. также: BS, 100.

ее праисторию (*Urgeschichte*), а соответственно, и в настоящее³⁸. Каждый фрагмент в «Пассажах», отражая фактическое соответствие между отдельными моментами времени и в типичном для Беньямина духе между «предысторией» и «постисторией» конкретных исторических явлений (например, предысторией Бодлера служила средневековая аллегория, а постисторией — югендстиль), выводит на свет настоящего — во вспышке четкости — «диалектический образ», в одно и то же время носящий и документальный, и метафизический характер.

Мы уже подчеркивали, что эту ключевую концепцию исторического материализма Беньямина, а именно диалектический образ, уже предвещали идеи его юношеской философии 1912–1919 гг., корни которой восходили к ницшеанской критике историцизма XIX в. с его убеждением в том, что он способен на научное постижение прошлого, «каким оно было на самом деле». Конкретно в концепции Беньямина ключевое место занимает идея о многообразной имманентности прошлого в настоящем и о решающей роли настоящего при интерпретации прошлого, а также идея о «постсуществовании» произведений искусства как основы того, что называется традицией. В соответствии с таким динамическим пониманием исторического восприятия, имеющим ряд заметных общих черт с сюрреалистическим представлением о предметах и архитектурных постройках, преследуемых руинами прошлого, теория диалектического образа выстраивается на понятии «текущей узнаваемости»³⁹. Исторический объект раскрывается перед настоящим, обладающим уникальной способностью узнать его. Как Беньямин понимал эту проблему, снова исходя из идей своей ранней философии, момент из прошлого пробуждается к настоящему, которому он снится, в то время как текущий момент, осознавая сон о прошлом, пробуждается от этого сна и возвращается к самому себе. Этот метод размышлений — чтения — опирается на искусство восприятия:

Новый, диалектический метод сотворения истории находит выражение в виде искусства воспринимать настоящее как пробуждающийся мир [*die Kunst, die Gegenwart als Wachwelt zu erfahren*], мир, к которому на самом деле обращен тот сон, который мы называем прошлым. Прорваться и удержать при себе *то, что со-*

38. Об *Urgeschichte* как «праистории» см.: SW, 2:33; МВ, 291 («Жюльен Грин» [1930]). Ср. AP, папка Dю,3 и далее и папка N2а,2.

39. Это выражение — *Jetzt der Erkennbarkeit* — восходит к 1920–1921 гг. (см.: SW, 1:276–277). Концепция диалектического образа как образа, запечатленного в памяти, также многим обязана Прусту, как указано далее в этой главе.

держалось в памяти обо сне! Следовательно, воспоминание и пробуждение связаны самым тесным образом. Пробуждение — это именно диалектическая, коперниканская сторона воспоминания [*Eingedenken*] (АР, К1,3)⁴⁰.

В обоснование своей эзотерической теории об историческом сне и историческом пробуждении Беньямин цитирует и Маркса («Реформа сознания сводится *исключительно* к... тому, чтобы пробудить мир от его сна о самом себе»), и Жюлья Мишле («Каждой эпохе снится та, которая идет ей на смену»)⁴¹. Эта эзотерическая концепция была особенно важна на первом продолжительном этапе работы над проектом «Пассажи» в конце 1920-х гг., когда на Беньямина оказывали непосредственное влияние исторические фантазмагории сюрреализма (критика со стороны Адорно, прозвучавшая в августе 1935 г. (см.: SW, 3:54–56), в итоге заставила Беньямина отчасти отступить от этого шаблона и сделать упор на социологическом аспекте). То, что он в какой-то момент называет «совокупностью пробуждений», используя формулировку, подспудно носящую теологический характер, влечет за собой *выстроенное* пробуждение «от существования наших родителей» (АР, 907–908; N1,9), пробуждение, которое — диалектическим образом — осуществляется посредством возвращения ко сну, то есть к «историческим снам коллектива» в предыдущем веке, и посредством критического проникновения сквозь более или менее углубленные слои-сновидения прошлого. Отсюда и вытекает свойственное проекту «Пассажи» внимание к мелким деталям: изучение исторических «обломков», найденных и собранных в самых дальних и незаметных уголках жизни XIX в., где сохраняются тайные истории и коллективные сны. Они включают рекламу (пива, лосьонов для кожи, дамских шляпок), уличные вывески, деловые проспекты, полицейские донесения, архитектурные

40. Говоря о «коперниканской революции в историческом восприятии» (папка К1,2), Беньямин ссылается на предисловие Канта ко второму изданию «Критики чистого разума» (в xvi–xvii). Точно так же, как для Канта объект восприятия находится в соответствии со способностями воспринимающего субъекта, так и для Беньямина исторический объект находится в соответствии с проблемами живого настоящего.

41. Беньямин также мог бы процитировать предисловие к «По ту сторону добра и зла» (1886), в котором Ницше, подобно Марксу и Мишле, историцизирует старую мессианскую тему пробуждения, ссылаясь на всех тех «добрых европейцев», которые, как и он сам, пробудились от кошмара философского догматизма и «задача которых заключается в бдении [*Wachsein*]» (Ницше, *Собрание сочинений*. Т. 3. С. 306). Эта идея отражена также в «Улиссе» Джойса, в главе «Нестор», где Стивен Дедал говорит мистеру Диззи, что «История... это кошмар, от которого я пытаюсь проснуться» (Джойс, *Улисс*. С. 36).

планы, театральные афиши, политические памфлеты, каталоги выставок, книги о «физиологии» парижской социальной жизни середины века, мемуары, письма, путевые дневники, гравюры, книжные иллюстрации и плакаты, а также всевозможные давно забытые исследования различных аспектов жизни в городе на Сене (таких, как проституция, азартные игры, улицы и кварталы, биржа, популярные песни, богема, преступный мир и т. д.).

Таким образом, эта «диалектика пробуждения» нуждается в теории и практике цитирования⁴². Хотя слово *Zitieren* восходит к латинскому *citare*, первоначально означавшему «приводить в движение», «созывать», концепция Беньямина преодолевает классическое различие между движением и покоем. В «Пассажах» цитировать означает одновременно и взрывать, и спасать: освобождать исторический объект, вырывая его из овеществленного, однородного континуума прагматической историографии, и возвращать к жизни те или иные части былого путем их интеграции в новосозданный контекст коллекционирования, преобразующий и актуализирующий объект в «силовом поле» — колеблющемся покое (*Stillstand*) — диалектического образа. Спасение прошлого в сочетании с новым, предвещающее в языке «зародыш времени, скрытый и в знающем, и в знаниях» (AP, №3,2), происходит в «скрещенном времени» (*verschränkte Zeit*), как назовет его Беньямин в своем эссе 1929 г. «К портрету Пруста»⁴³. Это темпоральность монтажа. Посредством цитат и комментариев — «детальной интерпретации» — принцип монтажа делает возможной новую конкретность, «повышенную наглядность» при прочтении истории и ее написании:

Первый этап этого начинания [сочетание повышенной наглядности с (марксистским) пониманием истории] должен начаться с привнесения в историю принципа монтажа. Иными словами, с того, чтобы собирать большие конструкции из мельчайших и аккуратнейшим образом вырезанных деталей. Собственно говоря, с того, чтобы в ходе анализа мелких отдельных моментов выявить кристалл события в целом. И тем самым покончить с вульгарным

-
42. Для Беньямина цитирование — не просто критический метод, а итеративный или миметический процесс, происходящий в самой истории: так, французская революция цитирует Древний Рим («О понимании истории»; SW, 4:395; Озарения, 234). См. также о цитировании как миметическом (*mimisch*) разоблачении в работе «Карл Краус» (SW, 2:442; Озарения, 327).
43. См.: SW, 2:244; Озарения, 309. Беньямин говорит здесь об «универсуме скрещений». Таким образом, речь идет о *пространственно-временной* концепции. Ср. К1,4, где пространство-время (*Zeitraum*) XIX в. понимается как время-сон (*Zeit-traum*).

историческим материализмом. Постичь строение истории как таковой. В структуре комментариев. Обломков истории (АР, N2,6; см. также N2,1).

В другом месте текста Беньямин называет мелкие отдельные моменты «монадами», выходя за рамки классической идеи о субстанции и применяя этот термин Лейбница к философскому эвентизму⁴⁴. «Совокупность пробуждений» выступает признаком модернистской монадологии.

Беньямин, ссылаясь на марксистское понимание истории, как он делает в только что процитированном отрывке из папки (Convolute) N, в первую очередь имеет в виду двойной процесс технологизации и товаризации вещей, в широких масштабах впервые давший о себе знать в XIX в. Применительно к исследованию о пассажах в целом эти тенденции ставили под вопрос «судьбу искусства в XIX в.» (С, 509), представляющую собой общую тему *Passagenwerk* Беньямина. Вопрос выживания искусства и того, в каком направлении оно развивается, становится все более актуальным по мере того, как этот двойной процесс не только ускоряется с течением времени, но и, в частности, закрывает вопрос об искусстве. Беньямин ставит в центр внимания эстетическое движение, известное как «югендстиль», с тем, чтобы выявить все более безнадежные метания искусства, стремящегося подняться над рынком и над техникой, но при этом теряющего связь с жизнью «народа». В «Пассажах» этому безнадежному идеализму противопоставляется детальное изучение народной и индустриальной культуры XIX в. и то, как она снова и снова выслеживает — в рамках различных аспектов буржуазного существования — изменчивый призрак «абстрактного человека», для которого все вещи оцениваются и стандартизируются в качестве предметов, имеющих цену. Иными словами, Беньямин выступает против эстетизма и против вульгарного материализма. Уравнительным и разрушительным тенденциям, присущим капитализму, проект «Пассажи» противопоставляет, с одной стороны, анamnстические практики коллекционера, взявшегося за «такой сизифов труд, как освобождение вещей от их товарного характера» (АР, 9), а с другой стороны, в частности, утопическую теорию Шарля Фурье, видевшего в материальных предметах дары, а не товары и мечтавшего о принципиально ином и более гуманном (при всей его фантастичности) использовании техники. Согласно Беньямину, «преобразование вещей, начавшееся около 1800 г.» повлекло за собой но-

44. См., например, N10,3; N11,4; J38a,7. См. также: ОГТ, 47–48; ПНД, 30.

вый темп производства, открывший путь к господству моды во всех сферах и изменивший традиционные взаимоотношения между искусством и техникой, в результате чего искусству становится все более и более сложно приспособляться к техническим достижениям (см.: АР, G1,1; см. также F3,3). В то же время это изменение природы вещей делает возможным новые типы жилья (основанные на принципах прозрачности и пористости) и новые типы связи и самовыражения (в этой области ключевыми словами служат «одновременность» и «взаимопроникновение»). В частности, в сфере искусства XIX в. — с «пропнувшимся [у него] чувством созидания» (АР, F6,2) — раскрывает перед людьми перспективы своеобразной «современной красоты», согласно знаменитому выражению Бодлера, красоты, связанной со скоростью, многообразностью и диссонансами современного существования, особенно существования в современных городах, которое тем не менее раскрывается как эхо древности (см.: АР, 22–23).

Калейдоскопический текст «Пассажей» сам по себе служит примером такого конструктивного диссонанса. Как мы уже видели, он отражает взаимопроникающую и многослойную прозрачность мира фланера и в то же время насквозь пронизан «принципиальной неоднозначностью» самих пассажей как явления (АР, Q2,2), например, по отношению к моде, которая объявляется союзницей смерти и запланированного устаревания, но при этом торжествует над смертью, оживляя былое (те или иные устаревшие устройства) в модных новинках, и выступает как неутомимая движущая сила «ложного сознания», хотя и несет в себе благодаря своей способности цитировать прошлое революционный потенциал (см.: АР, 11, 894; SW, 4:395). То же самое можно сказать и об интерьере жилища, рекламе, машинах, музеях, массовой печати. По отношению ко всем этим явлениям, одушевленным их взаимным «тайным сродством», а также предчувствиями и отголосками, звучащими в их объективно построенном историческом раскрытии, Беньямин проявляет характерную для него амбивалентность, отсутствие сомнений в раздвоенности буржуазного мира в целом. Здесь, как и в его поздних работах, вопрос об отношении искусства к товару остается открытым.

21 октября Беньямин вернулся в Берлин. Перед отъездом из Парижа он посетил международную фотовыставку, на которой, по его мнению, люди толпились перед снимками сомнительной ценности. Его разочаровала даже подборка старых снимков Парижа. В письме Альфреду и Грете Конам от 16 октября он отмечал, что старые фотографии людей явно несут в себе

больше смысла, чем старые фотографии тех или иных мест, потому что мода в одежде служит надежным указателем на дату съемки: эта идея была позаимствована им непосредственно с первых страниц авторитетного эссе его коллеги Зигфрида Кракауэра «Фотография», прочитанного Беньямином в рукописи. Беньямин отмечает, что фотография «в одночасье стала чрезвычайно актуальной темой» (GB, 3:291)⁴⁵. Месяц спустя он пел дифирамбы Саше Стоуну, родившемуся в России художнику и фотографу, связанному с группой, сложившейся вокруг журнала *G*; созданный Стоуном коллаж вскоре украсил обложку книги «Улица с односторонним движением», изданной Ровольтом: как восторгался Беньямин, «одну из самых эффектных обложек в истории» (GB, 3:303). Ближе к концу года он затронул тему фотомонтажа в рецензии на роман своего друга Хесселя *Heimliches Berlin* («Неизвестный Берлин»): «Эта книга в формальном плане близка к фотомонтажу: ее населяют домашние хозяйки, художники, модницы, дельцы и ученые, контрастируя с туманными очертаниями платоновских и комических масок» (SW, 2:70). Его идеи о фотографии нашли выражение прежде всего в «Краткой истории фотографии», опубликованной двумя частями в *Die literarische Welt* в 1931 г., и в папке Y («Фотография») из проекта «Пассажи».

В Париже Беньямину попало «Воспитание чувств» Флобера, в котором описываются события 1848 г., рассматриваемые в «Пассажах», и эта книга, как он сообщал Конам, настолько захватила его, что он был не в состоянии заниматься современной французской литературой: «Вернувшись в Берлин, я, вероятно, возьмусь за другие книги Флобера, если вообще буду в состоянии что-либо читать» (GB, 3:291–292). Вышло так, что недели через три после возвращения в Берлин он заболел желтухой, и, чтобы скрасить постельный режим, выбрал не Флобера, а Кафку, чей посмертно изданный роман «Процесс» произвел на него не менее глубокое впечатление. Собственно говоря, он дочитывал роман Кафки в состоянии, близком к агонии, «настолько грандиозна непретенциозная содержательность этой книги» (GB, 3:312). Завороженный «Процессом», он сочинил короткий аллегорический этюд «Идея тайны», который вложил в письмо Шолему от 18 ноября (см.: SW, 2:68). Этот маленький текст, рассматривающий историю как судебный процесс о неявке обещанного мессии, озаменовал начало

45. Эссе Кракауэра было опубликовано в *Frankfurter Zeitung* 28 октября 1927 г. См.: Krasauer, "Photography". Беньямин упоминает «мощное эссе» Кракауэра в своих письмах Конам.

активного увлечения художественной прозой Кафки, не оставившего Беньямина до конца его жизни и нашедшего воплощение в ряде важных комментариев, имевших форму опубликованного эссе, выступления на радио и различных случайных заметок (см.: SW, 2:494–500, 794–818; SW, 3:322–329; SW, 4:407). В глазах Беньямина Кафка представлял собой своеобразного современного рассказчика, вернувшегося к жанру притчи, придавшей сверхъестественную конкретность суровой и комичной ситуации упадка и забвения той самой традиции, которую притча в принципе признана укреплять, и выводящей на свет непостижимые доисторические силы, тварное существование, диктующее образ жизни современного горожанина.

Как Беньямин сообщал Шолему, желтуха помешала ему выбираться из дома именно тогда, когда ему бы хотелось заняться рекламой двух своих книг: «Улица с односторонним движением» и «Происхождение немецкой барочной драмы», наконец-то выпущенных издательством *Rowohlt Verlag* в начале 1928 г. Кроме того, Беньямин хотел посетить лекцию Эриха Унгера: он писал Шолему, что и Гольдберг, и Унгер, «эти антиномичные господа», возобновили попытки предать гласности последние теологические начинания Гольдберга. «Разумеется, — добавлял он, — еще более почетно, когда тебе самому наносят визит» (GB, 3:302). Он имел в виду визит, которым его удостоил во время его болезни поэт и философ Карл Вольфскель, друг Хесселя и соратник Штефана Георге и Людвига Клагеса по мюнхенской «Швабингской богеме». «Хорошо, что я не прочел у него почти ни одной строки, — отмечал Беньямин в письме Альфреду Кону, — это позволило мне выслушивать его чудесные речи без всяких угрызений совести» (GB, 3:312). Он сообщал, что Вольфскель прочел ему вслух стихотворение лирического поэта XIX в. Николауса Ленау в манере, которую совершенно невозможно забыть. Сделанное Беньямином описание этого визита было напечатано в 1929 г. в *Die literarische Welt*. В том же году Вольфскель опубликовал в *Frankfurter Zeitung* статью *Lebensluft* («Воздух жизни»), которая оказала влияние на беньяминовскую концепцию ауры (от греческого слова, означающего «дуновение воздуха», «дыхание»), как сам Беньямин указывает в письме Вольфскелю (GB, 3:474–475). Последний, в свою очередь, восторженно отзывался об эссе Беньямина 1929 г. о сюрреализме (см.: GB, 3:460). Вольфскель был не единственным гостем виллы на Дельбрюкштрассе. Туда часто заходил Хессель, а кроме того, Беньямин мог вволю обсуждать свои московские впечатления со своим братом Георгом, к тому времени активно участвовавшим в деятельности комму-

нистической партии и в обеспечении берлинской бедноты адекватной медицинской помощью.

В ноябре и декабре Беньямин с удвоенным усердием возобновил свои попытки войти в ближний круг немецкого историка искусства Аби Варбурга, с творчеством которого он ощущал сильное сродство. В противоположность узкоформальной или эстетизирующей истории искусства Варбург рассматривал произведение искусства как функцию социальной памяти. Ключевое место в его воззрениях, как и в воззрениях Беньямина, занимала концепция постсуществования (*Nachleben*) культурной старины, то есть представление о культурной рецепции или, точнее, конфронтации как одновременном сохранении и преобразовании. Как и у Беньямина, применявшийся Варбургом глобальный, но при этом крайне обстоятельный подход к произведениям искусства включал преодоление традиционной оппозиции между формой и содержанием, как и преодоление традиционных границ между научными дисциплинами (такими, как история, антропология, психология и филология). В письме Шолему, отправленном в начале 1925 г., Беньямин призывал обратить внимание на изданное в 1923 г. Институтом Варбурга исследование Эрвина Панофски и Фрица Закля о гравюре Дюрера «Меланхолия», в основе которого лежала интерпретация Дюрера Варбургом. Беньямин был уверен в том, как впоследствии он говорил Гофмансталью, что его собственные труды будут благосклонно приняты Панофски (см.: GB, 3:17, 308). По просьбе Беньямина Гофмансталь в августе 1927 г. послал в Гамбург Панофски номер своего журнала *Neue Deutsche Beiträge*, в котором был напечатан отрывок о меланхолии из готовившейся к изданию книги Беньямина о барочной драме (см.: OGT, 138–158; ПНД, 139–162), и рекомендательное письмо. Ответ Панофски, который Гофмансталь переслал Беньямину в декабре или январе, утрачен; Беньямин отзывается о нем как о «холодном и полном негодования». Ему ничего не оставалось, как извиниться перед Гофмансталем за свою «неуместную просьбу» (GB, 3:325, 332). Более обнадеживающим было дошедшее до него следующим летом известие о том, что Закль нашел его книгу о барочной драме «очень интересной» и выражал желание встретиться с ее автором (см.: GB, 3:407–408n). Впрочем, в конечном счете Беньямин так и не сумел наладить контакты со школой Варбурга, что не пошло на пользу ни ей, ни Беньямину.

В конце 1927 г. он согласился принять участие в эксперименте по приему наркотиков; это было первое из семи подобных испытаний, в которых он участвовал на протяжении следую-

щих более чем семи лет. По большей части он экспериментировал с гашишем, принимая его орально под нестрогим контролем со стороны двух друживших с ним врачей: Эрнста Йоэля, его бывшего противника по берлинскому молодежному движению 1913–1914 гг. (см.: SW, 2:603–604), и Фрица Френкеля. И тот, и другой изучали наркотики и рекрутировали Беньямина в качестве подопытного лица. Впоследствии он принимал гашиш по своей воле, оставив описание наркотического вечера в Марселе в 1928 г. Кроме того, время от времени он курил опиум и соглашался на инъекции мескалина и такого опиата, как эвдокал. Он принимал эти наркотики, к которым относился как к «яду» (как называл гашиш и опиум в своих произведениях Бодлер), ради опыта, который при этом приобретался. По крайней мере так он утверждал. Беньямин относился к опьянению гашишем как к необычайно интенсивному исследованию, опасному и в то же время захватывающему — одновременной концентрации силы восприятия и расширению его границ. Эти опыты имели своеобразную связь с фигурой фланера из «Пассажей» — гуляки XIX в., по мысли Беньямина, ощущавшего уникальное опьянение фантазмагорией жизни в большом городе. Уже в 1919 г. в письме, написанном им после того, как он дочитал «Искусственный рай» Бодлера, он упоминает о попытке поэта «отслеживать» явления, связанные с опьянением наркотиками, на предмет того, «чему они могут научить нас в философском плане», и говорит о необходимости независимого повторения этого эксперимента (см.: С, 148). Свою роль в этом предприятии сыграло и влияние сюрреалистов, по сути отражая экспериментальный характер интеллектуального проекта Беньямина в целом. В своем эссе 1929 г. «Сюрреализм» он подчеркивает пропедевтическую роль опьяняющих веществ при достижении «мирского озарения» о революционной энергии, дремлющей в мире повседневных вещей, и ссылается на диалектику опьянения. Подобное философское оправдание применения наркотиков содержится в письме от 30 января 1928 г., в котором Беньямин с немалой скрытностью сообщает Шолему о своей недавней вылазке в «царство гашиша»: «Сделанные мной заметки [о первых двух экспериментах в декабре и январе]... вполне могут оказаться очень ценным добавлением к моим философским наблюдениям, с которыми они связаны самым тесным образом, как в известной степени связаны даже мои ощущения под воздействием наркотика» (С, 323).

Результаты экспериментов фиксировались Беньямином и другими участниками (в первой паре сессий принимал участие его друг Эрнст Блох) в виде письменных протоколов.

Некоторые из них были записаны в состоянии опьянения, в то время как другие, по-видимому, составлены задним числом на основе заметок и личных воспоминаний. Беньямин частично использовал эти протоколы — и составленные им самим, и составленные коллегами, описывавшими его поведение и цитировавшими его слова, — при сочинении двух заметок-фельетонов, напечатанных в начале 1930-х гг.: «Гашиш в Марселе» и «Мысловице — Брауншвейг — Марсель». Материал из протоколов был позаимствован и для тех разделов проекта «Пассажи», которые посвящены фланерам, интерьеру жилищ XIX в. и явлениям отражения и наложения в пассажах. Беньямин упоминал в письмах идею о том, чтобы на основе своих мыслей о гашише написать книгу, но так и не приступил к реализации этого проекта и, более того, включил его в число своих «крупных поражений» (С, 396). Вероятно, книга о гашише отличалась бы от текста, посмертно изданного в 1972 г. в *Suhrkamp Verlag* под названием *Über Haschisch* и содержащего сохранившиеся протоколы тех опытов, в которых участвовал Беньямин, а также два вышеупомянутых фельетона⁴⁶. Тем не менее эти протоколы, несмотря на их характер разрозненных заметок, дают представление о тональности размышлений Беньямина на тему опьянения (термин *Rausch* занимает ключевое место в поздней философии Ницше)⁴⁷. Кроме того, они позволяют увидеть Вальтера Беньямина таким, каким он был на самом деле — с его тревогами и бесстрашием, с его чувствительностью и властностью, с его пылом, сдержанностью и чувством юмора, — в закатные годы Веймарской республики, в тот период его жизни, когда перед ним ярко расцвели перспективы регулярной работы в качестве критика и рецензента и тут же померкли, не оправдавшись, в те дни, когда он все сильнее ощущал «распад», угрожающий его мышлению (см.: С, 396), и когда и публичную, и частную сферы переполняла демоническая энергия.

Вообще интерес Беньямина к наркотикам ни в коем случае не означал однозначного перехода на сторону иррационального. Беньямин стремился вовсе не к символистской запутанности ощущений, а к трансформации разума с его принципом

46. Этот текст перепечатан с некоторыми исправлениями и добавлениями в GS, vol. 6 (1985) и переведен на английский как ОН. «Гашиш в Марселе» см. в: Озарения, 292–298.

47. Ницшеанская идея о творческом опьянении нашла отражение в диалоге Беньямина 1915 г. об эстетике и цвете «Радуга: разговор о воображении» (EW, 215–216). Помимо «Искусственного рая» Бодлера Беньямин упоминает и роман Германа Гессе «Степной волк» (1927), имеющий важное значение с точки зрения его мыслей о гашише.

идентичности и законом непротиворечивости. В число главных мотивов его произведений о наркотиках входит размножение точек зрения, связанное с ускорением мыслительного процесса: под воздействием наркотиков у человека возникает чувство, что он одновременно находится сразу в нескольких местах или одновременно смотрит на один и тот же предмет с разных сторон. «Курильщик опиума или едок гашиша ощущает способность взгляда превращать одно место в сотню разных» (ОН, 85). Тем самым принцип идентичности претерпевает изменения под воздействием ощущения «мультивалентности»⁴⁸. Под влиянием гашиша, примерно как в анимистическом мире волшебных сказок, все воспринимаемые объекты приобретают лица или, точнее, носят маски — маски под масками; опьяненный человек, подобно фланеру или играющему ребенку, становится физиономистом, для которого все самое важное скрывается в нюансах. Для того чтобы описать это чувство многогранного маскарада в мире вещей, Беньямин пользуется формулировкой «феномен пространства вразнос», а в «Пассажах» объявляется, что это странное явление лежит в основе всех ощущений фланера с происходящим в его чувствах взаимопроникновением далеких эпох и мест в окружающий пейзаж и в настоящее⁴⁹. Подобными средствами опьянение ослабляет (но не уничтожает) нить умозаключений, способствуя необходимости косвенного подхода, и овеществляет мысль, погружая ее в текучее, но прерывистое и четко очерченное образное пространство, сцену, на которой происходит «балет разума». Вместе с тем это «расшатывание „я“ на путях опьянения» (SW, 2:208; MB, 265), эта способность к освобождению, которую Беньямин во втором протоколе о приеме наркотиков связывает с двусмысленной нирваной (что буквально означает «затухание»), ускоряет эмпатию с любимыми вещами, особенно с самыми ничтожными. Такая «нежность к вещам» (и к словам как к вещам) необходима для восприятия изменчивой, многоцветной ауры, исходящей из всех предметов, как отмечается

48. Ср. из «Московского дневника»: «Место по-настоящему знаешь только тогда, когда пройдешь его в как можно большем количестве направлений» (MD, 25; MD, 37). Ср. также «призматическую» способность кино выявлять «неожиданные остановки» в знакомом окружении (SW, 2:17).

49. См. AP, папка M2.4. Далее в этом фрагменте описывается когда-то пользовавшаяся популярностью «механическая картина» с ее сложной образностью как пример «иллюстрации вразнос». Согласно Беньямину, точная связь между торговлей вразнос, которую вели странствующие продавцы книг, белья, мелкой галантереи и других товаров во Франции XVIII и XIX вв., и «феноменом пространства вразнос» нуждается в объяснении (AP, M1a,3).

в протоколе, составленном в марте 1930 г.⁵⁰ Будучи катализатором более многослойного восприятия, «более богатого на пространства», наркотик, как полагает Беньямин в «Сюрреализме», делает возможным просвещенное опьянение, ведущее к более глубокой трезвости, возможно, порождаемой близостью к смерти. Таким образом, диалектика опьянения повторяет диалектику пробуждения из «Пассажей», где пробуждение означает творческое переосмысление сна, то есть сон о прошлом. Прозвучавшие в эссе о сюрреализме слова об опьянении как освобождающей силе, вероятно, следует понимать в контексте этой психоисторической диалектики.

Первые месяцы 1928 г. стали горячей порой для Беньямина. В начале января в издательстве *Rowohlt Verlag* наконец-то вышли две его книги — «Улица с односторонним движением» и «Происхождение немецкой барочной драмы». Среди многочисленных рецензий, появившихся в Германии, Швейцарии, Франции, Голландии, Венгрии, Англии и США, самыми важными для Беньямина были написанные его друзьями и коллегами: эссе-рецензия Кракауэра «Произведения Вальтера Беньямина» в *Frankfurter Zeitung*, подробная рецензия Вилли Хааса на книгу о барочной драме на первой полосе *Die literarische Welt*, памятная статья Блоха об «Улице с односторонним движением» «Философия в форме ревью» в *Vossische Zeitung*, рецензия Хесселя на «Улицу с односторонним движением» в *Das Tagebuch* и статья Марселя Бриона «Две книги Вальтера Беньямина» в *Les nouvelles littéraires*. Кроме того, Беньямин счел достойным внимания, что Герман Гессе, впоследствии пытавшийся заинтересовать немецких издателей его «Берлинским детством на рубеже веков», по собственному почину написал Ровольту письмо, в котором хвалил «Улицу с односторонним движением» (письмо не сохранилось). Ближе к концу года Беньямин с удовлетворением отмечал напечатанную в венской газете «очень длинную и одобрительную рецензию на мои вещи» авторства Отто Штесля, одного из ближайших соратников Карла Крауса. Наряду с этим Беньямин упоминает и «очень злобную» рецензию в *Berliner Tageblatt*, ведущей либеральной газете в Берлине (см.: СВ, 3:426). Автором этого резко критического отзыва был Вернер Мильх (после Второй мировой войны преподававший в Марбурге романтизм), который наряду с довольно едкими замечаниями о двух книгах Беньямина вполне справедливо указывал, что, несмотря на резкие различия в том, что касается направленности и темы обеих

50. Об ауре см.: ОН, 58, 163п2. См. также эссе 1931 г. «Краткая история фотографии» (СВ, 2:515–519; ПИ, 66–91), рассматриваемое в главе 7.

книг, основным импульсом для них послужила раннеромантическая теория и практика фрагмента⁵¹. В дополнение к благоприятным в целом отзывам в газетах и вопреки последующим заявлениям Беньямина на этот счет (см.: С, 372) книга о барочной драме удостоилась нескольких разборов, порой весьма обстоятельных, в различных научных журналах и монографиях, представляющих такие сферы, как философия, история искусства, немецкая литература, социология и психоанализ⁵².

Об укреплении репутации Беньямина как литератора свидетельствует и следующий эпизод. Андре Жид, прибывший в Берлин в конце января, дал Беньямину двухчасовое интервью, кроме него не пожелав разговаривать ни с одним представителем немецкой журналистики. Итогом этой встречи, которую Беньямин назвал «чрезвычайно интересной» и «восхитительной», стали две статьи о Жиде, вскоре после этого вышедшие в *Deutsche allgemeine Zeitung* («Немецкая всеобщая газета») и *Die literarische Welt* («Литературный мир»)⁵³. В феврале он писал Гофмансталью о Жиде, называя его обладателем «насквозь диалектической натуры, для которой характерно изобилие оговорок и нагромождений, в которых непросто разобраться. Личный разговор с ним порой усиливает это впечатление, по-своему уже присутствующее в его произведениях и порой придающее им то величественность, то невразумительность» (С, 326; 324). Беньямин говорит об этом, не смягчая выражений, в статье для *Die literarische Welt* «Беседа с Андре Жидом», в которой подчеркивает «диалектическую пронизательность» этого человека, называя его самым тонким из живших в то время писателей: «Этот принципиальный отказ от какой-либо золотой середины, эта приверженность крайностям — что это, как не диалектика:

-
51. См.: Puttnies and Smith, *Benjaminiana*, 113–114. Рецензии Кракауэра, Блоха, Хесселя, Бриона, Штесля и Мильха приведены в конце 8-го тома *Werke und Nachlaß*. См. также: SF, 154; ШД, 251. Отзывы ярлыка «аутсайдерство», которым Мильх награждает Беньямина, слышны в письме кенигсбергского профессора Ганса Шедера Гофмансталью, цитируемом в SF, 147–149; ШД, 240–242. Шедер пишет о «совершенно индивидуальной и до непонятности затемненной схоластике... [которая] не может привести никуда, кроме духовного солипсизма».
52. См.: Newman, *Benjamin's Library*, 195–197. Рецензия на книгу о барочной драме была напечатана в 1930 г. в весеннем выпуске *Modern Language Review* за подписанием «R.P.» Этот краткий, но в целом положительный отзыв представлял собой первое упоминание Беньямина и единственную рецензию на его произведения, появившуюся при его жизни в американских журналах (см.: Fenves, «Benjamin's Early Reception in the United States»).
53. См.: GS, 4:497–502, 502–509 (английский перевод в: SW, 2:80–84, 91–97). См. также описание этой встречи по-французски, сделанное присутствовавшим на ней Пьером Берто (о котором Беньямин не упоминает), в GS, 7:617–624.

не интеллектуальный метод, а дыхание жизни и страстность»⁵⁴. Такая установка влечет за собой решительный космополитизм: Жид — «человек, отказывающийся смиряться с претензиями бескомпромиссного национализма и признающий французскую национальную идентичность лишь в том случае, если ее составной частью является полная конфликтов сфера европейской истории и европейской семьи народов» (SW, 2:94, 95, 96)⁵⁵.

В отношениях Бенямина с братьями по перу происходили и другие события. В середине февраля 1928 г. он встретился с преподававшим в то время в Гейдельберге литературным критиком Эрнстом Робертом Курциусом (1886–1956), чьи эссе о современных французских романистах он впервые читал в 1919 г.; в 1948 г. Курциус издаст свой влиятельный труд «Европейская литература и латинское Средневековье». Кроме того, тогда же состоялись первые личные встречи Бенямина с Гофмансталем, которому он послал две свои книги. Книга о барочной драме была снабжена посвящением: «Гуго фон Гофмансталю, расчистившему путь для этой книги, с благодарностями. 1 февраля 1928, В. Б.» (GB, 3:333n), смысл которого раскрывает замечание Бенямина Бриону о том, что Гофмансталь был первым читателем этого труда (см.: GB, 3:336). Разговор с Гофмансталем, посетившим Бенямина в его квартире на вилле в Грюневальде, касался его отношения к собственному еврейству, а также зарождавшихся у него идей по поводу исследования о пассажах. Эта встреча была для Бенямина непростой. Он осознавал, что проявлял «непреодолимую сдержанность... невзирая на все мое восхищение им» и невзирая на «все проявленное им подлинное понимание и доброжелательство». Шолему он писал, что Гофмансталь порой «едва ли не впадает в детство» и «не видит со стороны окружающих ни капли понимания» (С, 327–328). В следующем месяце Бенямин напечатал рецензию на театральную премьеру барочной драмы Гофмансталя (как определил ее он сам) *Der Turm* («Башня»), хотя

54. Ср. сделанные в связи с графологией и физиогномикой замечания Бенямина о «непрерывно возобновляемой диалектической настройке [*Ausgleich*]», какой не бывает при следовании принципу «золотой середины» (SW, 2:133).

55. В статье «Андре Жид и Германия», напечатанной (по просьбе Жида) в более консервативной *Deutsche allgemeine Zeitung*, делается несколько иная, хотя и не менее диалектическая, расстановка акцентов: «Сообщество наций может быть построено лишь тогда, когда национальные характеры достигнут своих наивысших, наиболее четких форм, а кроме того, пройдут самое суровое духовное очищение. Никто не понимает этого лучше, чем человек, много лет назад написавший: „Единственные произведения, признаваемые нами в качестве ценных, — те, которые в своих глубинах содержат откровения породивших их почвы и крови“» (SW, 2:83).

в своих письмах Беньямин упоминал об очень неоднозначном впечатлении, которая произвела на него эта пьеса, и сравнивал ее в своей рецензии с «миром христианских страданий, изображенных в „Гамлете“» (см.: SW, 2:105).

В феврале Беньямин ближе познакомился и с Теодором Визенгрундом Адорно, прибывшим на несколько недель в Берлин, что дало возможность продолжить дискуссии, начатые ими во Франкфурте в 1923 г. В середине февраля Беньямин сообщал Кракауэру (который первым представил их друг другу), что «мы с Визенгрундом часто видимся — к взаимной пользе. Теперь он познакомился и с Эрнстом Блохом» (ГВ, 3:334). Беньямин снова встретился с Адорно в начале июня в Кенигштайне под Франкфуртом, где Адорно учился в докторантуре, а еще месяц спустя они начали вошедшую в историю двенадцатилетнюю переписку, позволяющую проследить развитие их «философской дружбы»⁵⁶. (Однако называть друг друга по имени они начали лишь осенью 1936 г., после визита Адорно в Париж, и в их переписке никогда не было той фамильярности, которую Беньямин позволял себе в отношении таких старых друзей, как Шолем, Эрнст Шен и Альфред Кон; тем не менее последнее письмо Беньямина, продиктованное им перед смертью, было адресовано Адорно.) В тот момент связи между ними еще сильнее скрепляло нежное отношение Беньямина к Маргарете (Гретель) Карплус (1902–1993), впоследствии вышедшей замуж за Адорно, с которой Беньямин познакомился в начале года и которой он в первые годы своей эмиграции писал теплые и игривые письма, полные пронизательных наблюдений на самые разные темы. В свою очередь, Гретель Карплус щедро делилась своим временем и деньгами — в середине 1930-х гг. она руководила компанией по изготовлению перчаток, — разными способами помогая Беньямину после его бегства из Берлина в марте 1933 г.

Хотя Дора много трудилась, переводя детективный роман Г. К. Честертона, читая по радио лекции о детском образовании, сочиняя книжные рецензии для *Die literarische Welt* (в том числе рецензию на «недописанные» «Поминки по Финнегану» Джойса) и работая редактором в журнале *Die praktische Berlinerin*, в марте Беньямин называл Шолему положение семьи «мрачным» (ГВ, 3:348). Несомненно, отчасти это был намек на обещанную стипендию из Иерусалима. Однако, какими бы мрачными ни были их финансовые перспективы, Беньямин тем не менее нашел время и деньги для того, чтобы в январе со-

56. Адорно называл ее “philosophischen Freundschaft”, почти повторяя определение Беньямина “philosophische Kameradschaft” (ВА, 108, 10).

вершить блиц-визит в известное казино в Сопоте, входившее в состав вольного города Данцига. Что касается его литературных перспектив, то они, в сущности, улучшились по сравнению с прежними днями. Беньямин регулярно писал рецензии и фельетоны для *Die literarische Welt* и *Frankfurter Zeitung*, а время от времени и для других журналов, включая *Neue schweizer Rundschau* и *Internationale Revue* ио. Беньямин получил предложение стать постоянным автором популярного журнала *Das Tagebuch* от его издателя Стефана Гроссмана. Более того, Ровольт предложил продлить контракт с Беньямином и дополнить его ежемесячной стипендией, а от издательства *Hegner Verlag* поступило встречное предложение, хотя в итоге Беньямин отклонил и то, и другое: условия, предложенные Ровольтом, он счел оскорбительными, а *Hegner Verlag* вызывало у него подозрения своей «католической ориентацией» (С, 322).

Многочисленные издатели Беньямина получали с виллы на Дельбрюкштрассе один текст за другим. Помимо двух описаний беседы с Жидом весной были изданы три статьи Беньямина о детских игрушках, в которых он ведет речь о культурной истории игрушек и подступает к «философской классификации игрушек», рассматривая мир игр не с точки зрения детского сознания, то есть психологии индивидуума, а с точки зрения теории игры⁵⁷. Кроме того, он писал о публичной читке Карлом Краусом «Парижской жизни» Оффенбаха, выставке уникальных акварельных диапозитивов XIX в., графологии, книгах, написанных душевнобольными, Берлинской продовольственной выставке, «Париже как богине», а к концу года к этим текстам добавились статьи о романисте Жюльене Грине, «пути к успеху в 13 тезисах» (наброски теории азартных игр), книге ботанических фотографий Карла Блоссфельдта, открывшего ими «новые образные миры», и о Гёте в Веймаре. Многие из этих текстов посвящены темам, затронутым в проекте «Пассажи». Вместе с тем статьи о Гёте и Веймаре стали побочным результатом работы Беньямина над энциклопедической статьей о Гёте, заказанной годом ранее для Большой советской энциклопедии; сама эта статья была написана в 1928 г. Во время июньского посещения Дома Гёте в Веймаре, предпринятого ради сверки источников, Беньямин был неожиданно на 20 минут предоставлен самому себе в кабинете великого писателя, и поблизости не маячило даже тени зрителя. «В жизни бывает так, — отмечал он,

57. Эти три статьи об игрушках см. в переводе на английский в SW, 2:98–102, 113–116, 117–121. См. также письмо Беньямина Кракауэру от 21 декабря 1927 г. в GB, 3:315–316.

пересказывая свои ощущения Альфреду и Грете Кон, — что чем хладнокровнее ты относишься к вещам, тем теплее они порой отзываются в ответ» (GB, 3:386).

Среди статей и рецензий, напечатанных Беньямином в начале 1928 г., своими нетипично грубыми для него инвективами выделяется одна короткая рецензия, малозначительная сама по себе. Речь идет о рецензии на книгу Евы Физель *Die Sprachphilosophie der deutschen Romantik* («Философия языка немецкого романтизма», 1927), изданной в феврале в *Frankfurter Zeitung* и ставшей причиной для раздраженного письма автора книги в газету. Кракауэр, редактировавший фельетонный раздел газеты, ответил письмом Еве Физель, в котором выступал в поддержку рецензии Беньямина. (Ни одно из этих писем не сохранилось.) В письме Кракауэру от 10 марта Беньямин благодарит его за эту демонстрацию солидарности и воздает должное «замечательно точному схицству», с которым Кракауэр встал на его защиту от «ученой дамочки с револьвером [*Revolverheldin*]. Из такого же теста слеплены фурии» (GB, 3:341, 343). Далее он шутит о том, что ему потребуется телохранилитель на случай дальнейших нападков со стороны читателей рецензий. В письме Шолему он упоминает, что «ненормальная баба» (*törichte Frauenzimmer*) в своем «бесстыжем» письме в *Frankfurter Zeitung* ссылалась на ряд важных персон, якобы поддерживавших ее труд, включая Генриха Вельфлина и Эрнста Кассирера (см.: GB, 3:346).

В своей рецензии Беньямин писал, что книга Физель «скорее всего [написана как] диссертация» (что было не так), и ставил ее «намного выше средней докторской диссертации в немецкой филологии». К этому он добавлял: «Это следует заявить с самого начала с тем, чтобы предотвратить какие-либо недоразумения в отношении второго утверждения: перед нами — типичный образчик женского ученого труда. Иными словами, высокая профессиональная компетентность и уровень эрудиции ее автора совершенно не соответствуют низкой степени внутренней независимости и подлинного владения заявленной темой» (GS, 3:96). Далее он упрекает этот труд (прибегая к формулировке, напоминающей о Ницше) за его «недостойный историцизм», которому не хватает реального понимания теории языка, заложенной в романтическом мышлении⁵⁸: «Ведь конкретные контексты могут быть уверенно выявлены только на основе [интеллектуальных] центров, остававшихся недоступными [самому этому мышлению]». Кроме того, он устраивает

58. Ср. «О понимании истории», раздел XVI (SW 4:396; Озарения, 235).

автору выволочку за ее «неподобающее» невнимание к вторичной литературе и скудость библиографии.

Похоже, Беньямин читал эту книгу не слишком внимательно — он относит ее к разряду той прагматичной научной лингвистики, которая открыто подвергается критике в конце книги, — и не удосужился узнать что-либо об авторе книги. На самом деле она была написана человеком, специализирующимся в первую очередь в другой области, а именно в античной филологии. Ева Физель в конце 1920-х гг. получила международное признание в качестве авторитета по грамматике этрусского языка. Из-за принятых в 1933 г. антисемитских законов она лишилась места преподавателя в Мюнхене, несмотря на формальное заступничество со стороны своих коллег и студентов, и в 1934 г. эмигрировала в США, где впоследствии преподавала в Йеле и в колледже Брин-Мор⁵⁹. Довольно одиозная тональность рецензии Беньямина несколько озадачивает. Он не позволял себе ничего подобного в более чем десятке своих рецензий на другие книги, написанные женщинами. Если ему и были свойственны какие-либо антифеминистские настроения, то они никак не мешали ему проявлять уважение к таким женщинам, с которыми он дружил, как Ханна Арендт, Адриенна Монье, Гизела Фройнд, Элизабет Гауптман, Анна Зегерс и др.⁶⁰ Разумеется, вполне возможно, что в данном случае сработала защитная реакция на то, что он счел пусть тонко организованным, но недостойным посягательством на свою собственную интеллектуальную территорию, которое вдобавок не воздавало должного его прошлому вкладу в этой области («Концепция критики в немецком романтизме»). Нападки сопоставимого накала вновь прозвучат лишь в неопубликованной рецензии Беньямина 1938 г. на книгу Макса Брода о Кафке (см.: SW, 3:317–321).

Впервые за время своей профессиональной карьеры Беньямин имел возможность более разборчиво выбирать книги для рецензий, и он постарался уделять основное внимание работам, имеющим отношение к его проекту «Пассажи». В нача-

59. См.: Häntzschel, “Die Philologin Eva Fiesel”. Решение не помещать библиографию в книгу, рецензировавшуюся Беньямином, очевидно, было принято издателем. Книга Физель была переиздана в 1973 г.

60. Ср. письмо от 31 июля 1918 г. Эрнсту Шену, в котором Беньямин отмечает по поводу книги Луизы Цурлинден *Gedanken Platons in der deutschen Romantik* (1910): «Невозможно описать ужас, охватывающий тебя, когда женщины стремятся играть ключевую роль при обсуждении подобных предметов. Эта работа поистине позорна» (С, 133). В этом же письме звучит слово «бесстыдство». Эти настроения не вполне соответствуют заявлениям, сделанным им пятью годами ранее по поводу необходимости подняться над различием между «мужчиной» и «женщиной» (см. главу 2).

ле года он признавался Альфреду Кону: «Мне нужно заняться чем-то новым, чем-то совершенно иным. Меня связывает журналистско-дипломатическая писанина» (GB, 3:321). В том, что касается исследования о пассажижах, Беньямин, по его собственным словам, вступил на неизведанную территорию. «Труд о парижских пассажижах, — сообщал он Шолему в письме от 24 мая, — приобретает все больше таинственности и требовательности, а по ночам воеет, словно маленький зверь, которого днем я забыл напоить водой из самых далеких источников. Один Бог знает, что случится... когда я выпущу его на волю. Но это произойдет еще очень не скоро, и, хотя сам я могу постоянно всматриваться в глубины клетки, в которой он живет своей жизнью, едва ли я позволю заглянуть туда кому-либо другому» (С, 335). В число всевозможных источников, изучавшихся им в то время, входил и «скудный материал», связанный с философским описанием моды, «этого естественного и совершенно иррационального временного критерия исторического процесса» (С, 329), служащего темой папки В проекта «Пассажи».

Несмотря на работу, не отпускавшую Беньямина из-за стола, время от времени он совершал вылазки в берлинскую интеллектуальную жизнь. Брат Шолема Эрих пригласил его на ежегодный торжественный обед берлинских библиофилов. Там гостям были вручены экземпляры любопытной книжки *Amtliches Lehrgedicht der Philosophischen Fakultät der Haupt- und Staats- Universität Muri* («Официальная дидактическая поэма философского факультета университета Мури»), автором которой был Гершом Шолем, «педель кафедры философии религии», посвятивший свой труд «Его Великолепию Вальтеру Беньямину, ректору университета Мури». Двое друзей сочинили это собрание шуток и сатир на ученую среду, когда в 1918 г. жили в швейцарской деревне Мури, и теперь брат Шолема издал его ограниченным тиражом в 250 экземпляров. А в конце марта Беньямин присутствовал на последнем из четырех выступлений Карла Крауса, на которых этот великий сатирик под аккомпанемент фортепьяно читал отрывки из оперетт Оффенбаха. Должно быть, это выступление было упомогачительным: Беньямин сообщал Альфреду Кону, что по его окончании у него в голове творился такой сумбур, что он был не в состоянии разобраться в своих мыслях.

В апреле, спасаясь от ремонта в стенах виллы на Дельбрюкштрассе с его шумом и пылью, Беньямин перебрался в новую комнату, находившуюся «в глубинах Тиргартена, в самой забытой его части», где «в мои два окна не заглядывает ничего, кроме деревьев» (С, 335). В течение двух месяцев, которые Беньямин провел в этом жилье, прежде чем уступить его Эрнсту Блоху,

он пользовался соседством с Прусской государственной библиотекой и вел там исследования, связанные с пассажирами. Поддерживать это начинание на плаву ему помог аванс, полученный от Ровольта за «предполагаемую книгу о Кафке, Прусте и т. д.» (С, 335–336). Сама эта запланированная книга — *Gesammelte Essays zur Literatur* так и не вышла из стадии замыслов, хотя два года спустя договор на нее был расширен и перезаключен.

Наряду с литературными трудами Беньямин уделял много времени и сил попыткам помочь двум своим друзьям. Он делал все возможное для того, чтобы найти в Германии финансирование для журнала Артура Ленинга *110*, столкнувшегося с серьезными денежными затруднениями. По его настоянию Кракауэр обратился к правлению *Frankfurter Zeitung*, а сам он писал друзьям и знакомым в издательском мире в поисках поддержки. Из этих усилий ничего не вышло, и журнал Ленинга закрылся к концу своего первого года издания. Кроме того, без работы остался Альфред Кон, и Беньямин усердно пытался найти для него что-нибудь подходящее. Впоследствии в том же году он познакомился с Густавом Глюком, берлинским банковским служащим и человеком высокой культуры, входившим в окружение Карла Крауса, и оба они нашли друг у друга удивительно много общего. Хотя Глюк в итоге послужил моделью для знаменитого провокационного портрета Беньямина «Деструктивный характер», в 1928 г. тот обратился к Глюку за практическим советом в связи с ситуацией, в которой находился Альфред Кон. Кроме того, он искал содействия и у своей новой знакомой Гретель Карплус, руководившей семейной перчаточной фабрикой в Берлине. Не сумев изыскать никаких возможностей в пределах германской экономики, которая к середине 1929 г. скатилась в кризис, Беньямин в конце концов предложил начитанному Кону попробовать свои силы в журналистике и даже сосватал несколько его рецензий в *Frankfurter Zeitung* и *Die literarische Welt*.

В письме Шолему от 24 мая Беньямин возвещал о своем неминуемом приезде в Иерусалим и в то же время делился экономическими соображениями: «Я однозначно поставил в свое расписание на этот год осенний визит в Палестину. Надеюсь, что до этого времени мы с Магнесом придем к соглашению относительно финансовых условий моей учебы» (С, 335). Несколькими неделями позже он встретился с Магнесом в Берлине, и канцлер университета «сам и без дальнейших понуканий обещал» обеспечить его стипендией на изучение иврита (С, 338). На протяжении следующих двух лет Беньямин откладывал поездку в Иерусалим не менее семи раз, придумывая самые разные оправдания (такие, как необходимость закончить исследование о пассажирах,

необходимость быть рядом с больной матерью, необходимость быть с Асей Лацис или необходимость присутствовать на бракоразводном процессе) и в конце концов признавшись в «поистине патологической склонности тянуть с этим делом» (С, 350). Так и не добравшись до Иерусалима, в октябре он все же получил от Магнеса чек на 3642 марки (около 900 долларов в ценах 1928 г.). Беньямин выразил благодарность за эти деньги лишь восемь месяцев спустя, когда наконец приступил к изучению иврита. Как мы уже видели, эти уроки прекратились всего через несколько недель. Шолем полагает, что Беньямин с самого начала обманывал себя мыслью о смещении акцента с европейской на еврейскую литературу и не сразу осознал этого, «по возможности избегая „очной ставки“ с ситуацией» (SF, 149; ШД, 244). Тогдашние письма Беньямина, адресованные Бриону, Гофмансталю, Вольфскелю и другим, в которых он говорит о своем плане посетить Палестину и разведать обстановку, подтверждают предположения Шолема. Вместе с тем Беньямин никогда не относился к изучению иврита всерьез и явно не ощущал необходимости возместить выплаченную ему стипендию. Когда впоследствии вопрос о ее возмещении поднимался в переписке с Шолемом и в разговоре с женой Шолема в Берлине, он уклонялся от этой темы, в силу чего складывалось впечатление, что в истории со стипендией он с самого начала вел себя недобросовестно.

Конец весны обернулся двойным несчастьем. В начале мая мать Беньямина перенесла серьезный удар, от которого так до конца и не оправилась; она по-прежнему жила на вилле, но требовала все большего ухода за собой. В противоположность реакции на внезапную смерть отца Беньямин в своих письмах почти не касается этого события, упоминая его только мимоходом. А в конце мая он отправился во Франкфурт на похороны своего двоюродного деда Артура Шенфлиса, преподававшего математику во Франкфуртском университете и некоторое время занимавшего должность ректора, человека, в котором, по мнению Беньямина, своеобразно переплелись черты еврейской и христианской культуры (что он мог бы сказать и о самом себе). Во время продолжительных попыток устроиться при Франкфуртском университете Беньямин часто останавливался в доме у двоюродного деда, что способствовало их сближению. Вернувшись в Берлин, где его жильем снова стала семейная вилла, Беньямин должен был срочно написать ряд коротких и длинных статей, включая «несколько объемных статей о течениях в современной французской литературе» (С, 335). Эти статьи в итоге были опубликованы четырьмя выпусками под названием «Парижский дневник» в *Die literari-*

sche Welt в апреле — июне 1930 г. В июне и июле 1928 г. Беньямин и Франц Хессель были втянуты в длительные и в конечном счете бесплодные переговоры о передаче прав на перевод Пруста издательству *Piper Verlag*. Дело кончилось тем, что и Беньямин, и Хессель совсем отказались от дальнейшего участия в этом полузаконченном начинании, оказавшем такое «сильное влияние на творчество [Беньямина]» (С, 340). В июле Беньямин напечатал короткий полуавтобиографический этюд о Штефане Георге, заказанный *Die literarische Welt* для юбилейного номера, посвященного 60-летию поэта; среди других авторов этого номера значились Мартин Бубер и Бертольд Брехт. В следующем году у последнего установились с Беньямином тесные личные отношения, сыгравшие судьбоносную роль в его жизни.

Летом 1928 г. Беньямин в привычной для него манере начал подумывать о смене обстановки, хотя ни у него, ни у Доры не было никакого постоянного дохода: «Я сижу, как пингвин, на голых скалах моих 37 лет [ему только что исполнилось 36] и размышляю о возможности отправиться одному в круиз по Скандинавии. Но, вероятно, в этом году уже слишком поздно» (ГВ, 3:399, Альфреду Кону). С реализацией этого плана пришлось ждать до лета 1930 г., но финансовая неопределенность не стала препятствием для более коротких поездок на юг. В июле Беньямин отправился в Мюнхен, представший его глазам как «ужасающе красивый труп, такой красивый, что трудно поверить в его безжизненность» (ГВ, 3:402). А в сентябре в Лугано (Швейцария) он встретил своих друзей Юлу и Фрица Радт. Из своего орлиного гнезда рядом с озером он писал Шолему о том, как ему не терпится вновь взяться за исследование о пассажирах и за такую работу, которая не была бы связана ни с какими практическими соображениями. «Было бы прекрасно, — уныло отмечал он, — если бы та постыдная писанина, которой я занимаюсь ради денег, не отнимала у меня столько сил и потому не вызывала у меня отвращения. Не могу сказать, чтобы у меня не хватало возможностей для издания дряни. Чего мне никогда не хватало вопреки всему, так это лишь смелости для того, чтобы сочинять ее» (ГВ, 3:414). К концу месяца он поехал в Геную, а оттуда — в Марсель, где в одиночку пробовал гашиш. Еще одним плодом его нового визита в этот французский портовый город стал набор ярких зарисовок под названием «Марсель», напечатанных в апреле следующего года в *Neue schweizer Rundschau* («Новое швейцарское обозрение») (см.: SW, 2:232–236); их ближайшим аналогом в англоязычной литературе, вероятно, является сочиненное Джеймсом Эйджи в конце 1930-х гг. описание Бруклина. Сам Беньямин сравнивал «Марсель» с написанным

им в начале года текстом о Веймаре, хотя и отмечал, что ни один город не оказывал такого упорного сопротивления предпринятым им попыткам изобразить его, как Марсель (см.: С, 352).

Самым важным из текстов, написанных Беньямином той осенью и зимой «ради денег», было эссе «Сюрреализм», опубликованное тремя выпусками в *Die literarische Welt* в феврале (см.: SW, 2:207–221; МВ, 263–282). Восемью месяцами ранее в этой газете был напечатан сделанный Беньямином перевод отрывков из сюрреалистического путеводителя Луи Арагона «Парижский крестьянин». Интерес Беньямина к сюрреализму восходит по крайней мере к 1925 г., когда он написал небольшой текст под названием «Сон-китч». По мере более близкого знакомства с этим движением росли и его подозрения, хотя сюрреалистический ход мысли оставался определяющей чертой исследования о пассажах, которое, согласно первоначальным замыслам Беньямина, должно было вступить во владение «наследием сюрреализма» — издавека (С, 342). Беньямин определял эссе о сюрреализме как «непрозрачную ширму, поставленную перед „Пассажами“» (С, 347). Эссе начинается и заканчивается образами техники или, точнее говоря, взаимопроникновением сил человеческого тела и технических сил в рамках по-новому организованной природы (*physis*). Беньямин выступает в качестве наблюдателя, удаленного от источника потока и со своей наблюдательной точки, роль которой играет его критическая электростанция в долине, пытающегося «оценить энергию движения», уже миновавшего свою «героическую фазу», которую он также называет «изначальным движением». Это движение по-прежнему занимает крайне уязвимую позицию, располагающуюся «между анархистской фрондой [агрессивной политической оппозицией] и революционной дисциплиной». Оно пытается прийти к решению перед лицом конкурирующих политических и эстетических императивов. Согласно Беньямину, сюрреализм знаменует собой кризис искусства и кризис интеллигенции вообще, кризис «гуманистической концепции свободы». Так же, как электромагнитная теория материи покончила с классическим представлением о материи как об элементарном веществе, так и идея о сущности и идентичности человека претерпевает изменения в рамках нового динамичного фюзиса⁶¹. Вместо атомистических

61. Ср. последнюю главу «Улицы с односторонним движением» «К планетарию», в которой речь идет об овладении «новой плотью» и о новом *фюзисе* с его беспрецедентными скоростями и ритмами, задаваемыми современной техникой, и со складывающейся благодаря этому новой политической расстановкой сил (см.: SW, 1:486–487; УОД, 109–112).

субъекта и объекта классической эпистемологии Беньямин обращается здесь к категориям образного пространства (*Bildraum*) и телесного пространства (*Leibraum*) для того, чтобы дать определение новой событийной ткани реальности и ее волновому действию или «иннервации». Эта взвесь того, что Бергсон называл «логикой твердых тел», влечет за собой глубокие последствия для акта чтения. Сюрреалистические тексты подчеркнуто не являются «литературой», хотя при взгляде с иного угла они представляют собой «первобытный всплеск эзотерической поэзии». Беньямин писал в своем «Парижском дневнике» 1930 г.:

В тот момент, когда идея *poésie pure* рискует задохнуться в стерильном академизме, сюрреализм делает на ней демагогический, почти политический упор. Он вновь открывает великую традицию эзотерической поэзии, которая на самом деле весьма далека от *l'art pour l'art*, и для поэзии это оказывается такой секретной, целительной практикой (SW, 2:350).

Сюрреалисты взрывают сферу поэзии изнутри, доводя идею «поэтической жизни» до предела. Свидетельство тому — их увлечение всевозможной стариной: первыми стальными конструкциями, первыми фабричными зданиями, первыми фотоснимками, вещами, покидающими этот мир, огромными роялями, одеждой пятилетней давности, встреча с которыми порождает образы первоизданной интенсивности. Конечно же, здесь просматривается одна из главных связей с «Пассажами», в рамках которых придается не меньшее значение доведению «колоссальных „атмосферных“ сил, скрывающихся в этих [устаревших или древних] вещах до точки взрыва». (Эта формулировка заставляет вспомнить и «призматические» способности кино, о которых шла речь выше.) Такая мобилизация энергии старины для ее использования в текущих целях — прием, сознательно применяемый Беньямином еще с самых ранних своих работ⁶², — задает основу для возможности если не революционного действия, то хотя бы революционного опыта и революционного нигилизма. Суть революции в первую очередь заключается в ее отношении к тому, что называется обыденным — «мы проникаем в тайну лишь в той мере, в какой распознаем ее в повседневном мире», — хотя Бень-

62. «Метафизика молодости» (1913–1914) начинается словами: «Каждый день, подобно спящим, мы пользуемся непомерными источниками энергии. Все, что мы делаем и думаем, заполнено существованием наших отцов и предков». В «Жизни студентов» (1915) сразу же делается аналогичное заявление: «Элементы этого конечного состояния... глубоко вошли в каждую эпоху как творения и мысли, со всех сторон подверженные опасностям, опороченные и осмеянные» (EW, 144; Озарения, 9).

ямин оставляет открытым «кардинальный вопрос» о том, складывается ли революционная ситуация при изменении установок или при изменении внешних обстоятельств. По его словам, этот вопрос определяет отношения между политикой и моралью. «Мирское озарение» мира вещей, вскрывающее тайное сродство между всевозможными явлениями, выявляет в пространстве политических действий — в рамках того, что он называет «телесной иннервацией коллектива», — образное пространство, в котором перестают действовать одни только силы созерцания. Здесь действие предлагает собственный образ и является этим образом. В примечательном последнем абзаце эссе о сюрреализме, заставляющем вспомнить «Манифест Коммунистической партии», Беньямин ведет речь о «том самом образном пространстве, которое мы обживаем при помощи мирского озарения», и изображает это образное пространство, обвенчанное с телесным пространством, как «мир всеобщей и целостной реальности» — к этому определению он еще вернется в конце своего творческого пути, при работе над эссе «О понимании истории»⁶³. Тема свободы, когда-то вдохновлявшая юношеский радикализм, сейчас возвращается в полноте «сюрреалистического опыта» с его раскрепощением «я» и размеренным стиранием грани, отделяющей мир сна от мира яви. Такая «радикальная интеллектуальная свобода», обуздываемая «контролируемым пессимизмом», сделает возможной ту целостную реальность, посредством которой реальность, как мы читаем в конце эссе, преодолевает саму себя. Объясняя эту способность к освобождению, Беньямин дает понять, что сами сюрреалисты не всегда оказывались на высоте задачи мирского высвечивания, вытекающей из революционной поэтической жизни, так как в своем саботаже либерально-гуманистического рационализма и в своих «разгоряченных фантазиях» они порой испытывали влечение к недialeктической концепции мифа, сна и бессознательного⁶⁴.

Изучать следствия концепций, столь кратко очерченных в эссе о сюрреализме, выпало на долю самого Беньямина; его мысли о политике отныне подчинялись представлению о коллективе как о «телесном пространстве», сформированном «образным пространством» и существующем в его пределах. Значительную часть его творчества 1930-х гг., посвященного эстетике

63. «Мессианский мир есть мир всеобщей и целостной реальности. Только в мессианском царстве существует всеобщая история. Не как письменная история, а как празднично воплощаемая история. Этот праздник очищен от всякой торжественности... Его язык — освобожденная проза» (SW, 4:404).

64. В 1932 г. Беньямин будет говорить о «реакционном пути» сюрреалистов (SW, 2:599).

средств коммуникации, можно, по сути, рассматривать как раскрытие этих концепций и уточнение отношений между ними. Конечная цель — формирование и трансформация коллектива — происходит посредством иннервации, которую Мириам Брату Хансен называла «неразрушающим, миметическим объединением мира»⁶⁵. А как утверждает Беньямин в своем эссе 1936 г. о произведении искусства, искусство представляет собой незаменимое средство этого объединения: «Кино позволяет приучать людей к новым апперцепциям и реакциям, которых требует взаимодействие с техникой, чья роль в их жизни усиливается день ото дня. Сделать этот колоссальный технический аппарат нашей эпохи объектом человеческой иннервации — вот историческая задача, при решении которой кино находит свой истинный смысл»⁶⁶.

Если в середине 1925 г. профессиональная карьера Беньямина едва теплилась, то в течение трех следующих лет он поразительным образом завоевал себе место на немецкой культурной сцене конца 1920-х гг. Задним числом ясно, что это достижение в значительной степени было обязано не только блеску его пера и необыкновенной оригинальности его анализа, но и несравненной многогранности его творчества. Беньямин мог выработать журналистский стиль, созвучный преобладающим тенденциям эпохи и особенно течению «Новая вещественность», быстро вытеснявшему проявления самодовольной имперской культуры, долго продержавшейся и в Веймарской республике. Но творчество Беньямина далеко выходило за пределы «Новой вещественности». Благодаря тому, с чем он столкнулся в Советском Союзе, и все более тесным контактам с Брехтом левая позиция, часто диктовавшая его подход, принципиально отличалась от леволиберальной ориентации большинства деятелей «Новой вещественности». И ключевые моменты этого творчества дополнительно расцветивала растущая осведомленность Беньямина в сфере массовой культуры, особенно его углубленное и личное знакомство с европейскими авангардными течениями. В итоге созданный Беньямином корпус работ завоевал ему стремительно укрепляющуюся репутацию и доступ ко все более широкому спектру издательских каналов. «Стажировка в области немецкой литературы» закончилась, и перед Вальтером Беньямином открылся путь к позиции самого значительно немецкого культурного критика тех дней.

65. Hansen, "Room for Play", 7.

66. Benjamin, "The Work of Art in the Age of Its Technological Reproducibility" (first version), 19.

Глава 7

Деструктивный характер: Берлин, Париж и Ибица. 1929–1932

В 1929 г. эротические увлечения Беньямина снова вызвали в его жизни смятение, какого он не знал с 1921 г., когда его брак впервые дал трещину. В один из летних месяцев 1928 г. до Беньямина дошло известие о том, что Асю Лацис командируют в советское посольство в Берлине, где она должна была работать торговым представителем советского кинематографа. Она прибыла в Берлин в ноябре в обществе Бернхарда Райха, который, впрочем, собирался пробыть в городе недолго, до тех пор, пока Брехт не завершит работу над «Трехгрошовой оперой». (Лацис и Райх работали с Брехтом с 1923 г., и впоследствии Брехт присутствовал на некоторых из тех кинопросмотров, которые Ася устраивала в советском посольстве.) В отсутствие Райха Беньямин и Ася два месяца, с декабря 1928 г. по январь 1929 г., прожили вдвоем в квартире на Дюссельдорферштрассе, 42, откуда не было и двух миль до виллы родителей Беньямина, где Дора и 10-летний Штефан жили с больной матерью Беньямина. Однако к февралю Беньямин вернулся в родительский дом на Дельбрюкштрассе. Хотя он, очевидно, съехал с квартиры, которую они делили с Асей, по ее просьбе, она по-прежнему играла важную роль в его жизни, и многие вылазки в берлинскую культурную жизнь предпринимались им в ее обществе. Кроме того, Беньямин возобновил общение с Бернхардом Райхом, когда его друг и Асин спутник жизни вернулся в Берлин, следствием чего, несомненно, стало продолжение того неуклюжего танца, который они вели вокруг Аси в Москве. О поразительной широте того, что позволяли себе эти люди в своих отношениях друг с другом, дает представление присутствие в январе Беньямина, все еще жившего с Асей, на празднике в честь дня рождения Доры.

Впрочем, весной после нескольких бурных сцен он попросил у жены развода, с тем чтобы жениться на своей латышской подруге, хотя ничуть не ясно, хотела ли Ася выходить замуж за него. Прошло уже семь лет с тех пор, как влечение Беньямина

к Юле Кон и влечение Доры к Эрнсту Шену привели к прекращению супружеских отношений между мужем и женой. Эти семь лет были отмечены поразительной лояльностью, которую Дора выказывала по отношению к мужу, порой соглашаясь на унижительную работу, чтобы добывать для него средства к существованию, и по-прежнему играя роль первого слушателя его творений. Не менее удивительным было и упорство, с которым маленькая семья продолжала жить под одной крышей, несмотря на частые и продолжительные отлучки Беньямина и его минимальный интерес к семейной жизни. Однако теперь Беньямин решил покончить с этим, и 29 июня начался бракоразводный процесс, сопровождавшийся резкими обвинениями с обеих сторон. Он затянулся до 27 марта 1930 г., когда наконец состоялся развод. Беньямин, начавший процесс путем обвинения жены в неверности, столкнулся с противодействием в лице «одного из самых хитроумных и опасных адвокатов в Германии» (ГВ, 3:489), который без труда опроверг все его аргументы. В итоге процесс закончился для Беньямина полным поражением. Судьи отвергли его доводы в свете того факта, что он неоднократно предоставлял Доре — и устно, и письменно — ту же свободу в сексуальной сфере, которой много лет добивался для себя, и в то же время регулярно жил на журналистские заработки жены. В дальнейшем же он наотрез отказывался давать деньги на содержание сына. Неудивительно, что суд обязал его выплатить Доре 40 тыс. марок, которые он был ей должен, а это означало, что ему приходилось расстаться со всем своим наследством, включая свою заветную коллекцию детских книг и долю в вилле на Дельбрюкштрассе¹.

Вскоре после начала судебного процесса Беньямин писал с Дельбрюкштрассе Гофмансталу, упоминая о своем плане «ликвидировать [свою] берлинскую ситуацию» к началу августа (ГВ, 3:473). Примерно тогда же, 27 июня 1929 г., Дора отправила из английского графства Суррей куда более печальное послание Шолему. Ее письмо служит весьма красноречивым свидетельством о характере этого брака и о более приземленных сторонах личности Беньямина, не говоря уже о щедрой натуре самой Доры, и стоит того, чтобы привести из него длинную цитату:

Дорогой Герхард, с Вальтером все обстоит очень плохо. Мне стоит большого труда сообщать тебе об этом, ибо у меня разрывается сердце. Он полностью подпал под влияние Аси и делает такое, о чем я едва нахожу в себе силы писать, — такое, после чего

1. Дора оставила себе дом, а после того, как в 1934 г. покинула Германию, жила на средства, вырученные от его продажи. См.: Jay and Smith, "A Talk with Mona Jean Benjamin, Kim Yvon Benjamin, and Michael Benjamin", 114.

я вряд ли перемолвлюсь с ним хоть словом до конца жизни. Все, что он сейчас, — это мозги и секс, всего прочего не существует. А ты знаешь или вполне можешь себе представить, что в таких случаях мозги отказывают очень быстро. Это всегда представляло для него большую опасность... У Аси истек вид на жительство, и он хотел поскорее жениться на ней, чтобы она получила германское гражданство. Хотя он никогда не оставлял ни пфеннига ни для Штефана, ни для меня, он попросил меня — и я дала ему согласие — одолжить ему половину наследства, которое я должна получить от тетки. Я отдала ему все книги, а на следующий день он попросил в придачу еще и коллекцию детских книг. Зимой он месяцами жил со мной, ни за что не платя, обошелся мне в сотни марок и в то же время тратил сотни марок на Асю. Когда же я сказала ему, что у меня кончаются деньги, он предложил развод. Сейчас он задолжал мне более 200 марок за два месяца содержания, телефон и прочие вещи, хотя получил несколько тысяч марок от [Вильгельма] Шпайера за помощь в сочинении пьесы и романа (у меня есть письменное подтверждение этому). В течение последних восьми лет мы предоставляли друг другу полную свободу: он сообщал мне все о своих грязных романах и сотни раз угрожал меня «завести себе друга», и последние шесть лет мы жили порознь. И теперь он выдвигает против меня обвинения! Неожиданно оказалось, что гнусные законы нашей страны его вполне устраивают. Конечно же, за его спиной стоит абсолютно бессовестная Ася, которая, как он сам не один раз говорил мне, не любит его и просто его использует. Я понимаю, что все это похоже на плохой роман, но это правда... Он сказал, что если я порву брачный договор, то он заплатит свой долг. Я обещала аннулировать договор, но он ведь ничего не делает — ни для Штефана, ни в отношении тех денег, которые мне должен. Он даже не желает оставлять мне квартиру, которую я сама покрасила и за сьем которой, как и за отопление, я плачу уже годами... Я исполняла все его просьбы до тех пор, пока не поняла, что он из числа людей, которые не держат своего слова и постоянно требуют чего-то нового. Какая участь ждет меня и Штефана, его совершенно не волнует, словно мы для него совсем чужие люди. И при всем этом он ужасно страдает. Я слышала от разных очевидцев — заметь, его друзей, — что они двое живут как кошка с собакой. Она снимает квартиру, за которую он платит и в которой он жил до тех пор, пока она его не выгнала. Тогда-то он и вернулся ко мне. Он потребовал, чтобы я позволила ей жить здесь со мной, о чем я, само собой, не желала и слышать после того, как несколько лет назад она так ужасно поступила со мной. И теперь он мстит мне².

Примечательно, что Дора, выставляя Беньямина безответственным и беспринципным человеком и подчеркивая, как дурно он обошелся с ней и с их сыном, тем не менее отчасти снима-

2. Puttnies and Smith, *Benjaminiana*, 144–147.

ет с него ответственность, изображая его жертвой собственного сексуального опьянения и мнимых махинаций со стороны Аси. Несомненно, благодаря такой интерпретации ей было легче простить его, что она и сделала через год после того, как судьи вынесли окончательный вердикт по этому делу³. Кроме того, ее слова демонстрируют всю степень ее преданности — не столько мужу, сколько предначертанной ему творческой карьере. С его стороны развод был отчаянным шагом, эротическим и финансовым гамбитом с высокими ставками. Он не повлиял на восхищение Доры интеллектом мужа, хотя ее сочувствие никогда не переходило в идеализацию супруга.

Несмотря на бури, бушевавшие в повседневной жизни Беньямина, продуктивность его творчества в 1929 г. достигла максимальной отметки, свидетельствуя о его способности концентрироваться и о том, что Шодем называл присущим ему «запасом глубокого покоя, плохо отражаемого словом „стоицизм“» (SF, 159; ШД, 259). В том году Беньямин написал больше текстов, включая множество газетных рецензий, а также эссе, радиосценарии, рассказы и переводы, чем когда-либо до или после, и в то же время продолжал работу над исследованием о пассажах, набрасывая блестящие короткие философско-исторические фрагменты, такие как «Парижские пассажи», и собирая цитаты. В рамках исследования о пассажах он изучал художественное течение конца XIX в., известное как югендстиль, развивал свои идеи о торговле вразнос и о китче (отразившиеся в изданном фрагменте «Романы горничных прошлого века»; SW, 2:225–231) и активно изучал парижскую архитектуру XIX в. В связи с этим он прочел в феврале *Bauen in Frankreich* («Архитектура во Франции», 1928) Зигфрида Гидиона. В письме автору этой книги, швейцарскому историку искусства, он говорил, что книга «электризовала» его, и описывал ее «радикальную информативность» фразой, передающей суть его собственного творчества: «...вы способны высветить традицию — или, вернее, обнаружить ее — в ткани самой современности» (GB, 3:444). Как он писал Шодему в марте, в подобных исследованиях для него главным были попытки «добиться максимальной конкретизации данной эпохи, время от времени проявляющей себя в детских играх, в архитектуре или в конкретных ситуациях.

3. См.: GB, 4:47, и Puttnies and Smith, *Benjaminiana*, 166 (письмо Доры Шодему от 15 августа 1931 г.). По словам Моны Джин Беньямин (внучки Беньямина), Штефан Беньямин считал, что его мать так и не избавилась от любви к его отцу. После того как супруги расстались, Штефан навещал отца каждую неделю (см.: Jay and Smith, “A Talk with Mona Jean Benjamin, Kim Yvon Benjamin, and Michael Benjamin”, 114).

Опасное, захватывающее предприятие» (С, 348). Это предприятие, начавшееся уже в «Улице с односторонним движением», было продолжено сочинением его фирменных «фигур мысли», философских миниатюр типа тех, из которых состояли «Короткие тени I» (опубликованные в ноябре в *Neue schweizer Rundschau*), и впоследствии все более широко применявшихся им в таких автобиографических текстах, как «Берлинская хроника» и «Берлинское детство на рубеже веков».

1929 г. был важен еще и в том отношении, что именно тогда в творчестве Беньямина проявились более явные марксистские тенденции. Первым эту перемену подметил Шолем, называя этот год «поворотным пунктом в его [Беньямина] духовной жизни и апогеем интенсивной деятельности в литературе и философии. Это был поворотный пункт в сфере видимого, который не исключал непрерывности его мышления... что теперь заметно отчетливее, чем тогда» (SF, 159; ШД, 259). В какой-то степени этот поворот, несомненно, был связан с присутствием Аси Лацис в Берлине — так же, как первыми шагами на своем пути к марксистской мысли Беньямин был обязан пребыванию Аси на Капри. В 1929 г. Ася водила его на встречи с революционными пролетарскими писателями в рабочих клубах и на выступления пролетарских театральных трупп. Вероятно, уже именно во время их двухмесячного сожительства зимой 1928/29 г. и, очевидно, по просьбе Аси Беньямин набросал своего рода педагогический манифест, в котором отражался ее десятилетний опыт знакомства с детским театром в Советской России⁴. Эта Программа пролетарского детского театра, оставшаяся не опубликованной при его жизни (см.: SW, 2:201–206), свидетельствует о том, что его все так же интересовали как значение детства в жизни человека, так и вытекающий отсюда старый, но в то же время и вечно новый вопрос образования⁵. Как пишет Беньямин, каждый поступок ребенка — «сигнал из другого мира, в котором

4. См.: GS, 2:1495, где приводится длинная цитата из *Revolutionär im Beruf* Лацис. По ее словам, ее тезисы в изложении Беньямина показались ей слишком запутанными и невозможными для использования, и она попросила его переписать их.

5. Ср. “Curriculum Vitae (III)” начала 1928 г., где Беньямин говорит о своей «программной попытке обеспечить единство учебного процесса, при котором все сильнее будет размываться жесткое членение на дисциплины, характеризующее представления XIX века о науках, и идти к этому посредством анализа произведений искусства» (SW, 2:78). Идея интеграции академических дисциплин занимала ключевое место в ранних работах Беньямина на тему образования, особенно в «Жизни студентов» (см. главу 2). К теме детства он будет возвращаться начиная с 1932 г. в различных автобиографических произведениях.

ребенок живет и властвует». Учителя обязаны не уничтожать мир детства, подчиняя детей классовым интересам (как пытается делать «буржуазное» образование — и не в последнюю очередь вивекенианская молодежная культура сама по себе), а приучать детей к серьезности, предоставляя их детству полную свободу игр при условии, что эти игры в той или иной форме необходимы для обучения, а также для реализации детства. «Обучение ребенка должно наполнять всю его жизнь», — пишет он, и ключом к этой гуманной педагогике служит метод импровизации, возвращаемый в театральные мастерские. (Такие мастерские можно найти и в утопических планах Шарля Фурье, социального теоретика XIX в., часто упоминаемого в проекте «Пассажи».) Детский театр, представляя собой «диалектическое место обучения», внедряет «умение наблюдать... в сердце несентиментальной любви», тем самым обеспечивая слияние игры с реальностью. Цель детских достижений — не «вечность» итогов, а «„момент“ жеста»⁶. Такой момент обладает собственной будущностью и порождает собственные отзвуки: «Подлинно революционным является *тайный знак* о грядущем, подаваемый жестом ребенка». Перед тем как в 1930 г. вернуться в Москву, Ася пыталась организовать переезд Беньямина в Советский Союз, еще раз тщетно попробовав найти там для своего друга какое-нибудь дело (по ее собственным словам, она отговаривала Беньямина от эмиграции в Палестину)⁷. После углубления их интимных отношений в конце 1920-х гг. они уже больше никогда не встречались, хотя их переписка продолжалась до 1936 г., когда Асю на 10 лет отправили в лагерь в Казахстане, в то время как Райха неоднократно арестовывали и ссылали.

Если подмеченный Шолемом «усилившийся марксистский акцент» отчасти был итогом влияния со стороны Аси, а отчасти служил результатом происходившего в то время углубления интеллектуальных связей Беньямина с Адорно и Хоркхаймером, то важнейшим катализатором этого процесса, несомненно, являлась крепнущая дружба между Беньямином и Бертольдом Брехтом, зародившаяся в мае 1929 г.⁸ Хотя Беньямин в наши

6. Ср. различие между первой и второй технологией во втором варианте «Произведения искусства в эпоху его технической воспроизводимости» (SW, 3:107).

7. См.: Lacin, *Revolutionär im Beruf*, 49. См. также: SF, 155; ШД, 252.

8. Ася Лацис сообщает, что она впервые представила Беньямина Брехту в ноябре 1924 г. в Берлине, но Брехт был не очень любезен, и это знакомство в тот момент не получило дальнейшего развития (Lacin, *Revolutionär im Beruf*, 53). Ее слова подтверждает Эрдмут Визисла, приводящий свидетельства о других встречах Беньямина и Брехта в 1924–1929 гг. См.: Wizisla, *Walter Benjamin and Bertolt Brecht*, 25–31; Вицисла, *Беньямин и Брехт*, 59–69.

дни более всего известен своими работами середины 1930-х гг., можно сказать, что основа его зрелой интеллектуальной позиции была заложена уже к 1929 г. благодаря укреплению дружбы с Брехтом. Радикальные левые взгляды, синкретические теологические интересы, опиравшиеся на вольную трактовку теологуменов иудаизма и христианства, углубленное знакомство с немецкой философской традицией и культурная теория, соответствующая разнообразию ее объектов в быстро меняющемся современном мире, — отныне все это станет характерными чертами творчества Беньямина. Однако он был обречен на то, что ни один из его друзей и интеллектуальных партнеров, не говоря уже о его противниках, никогда не был в состоянии понять это «противоречивое и подвижное целое» во всей его полноте или хотя бы относиться к нему терпимо. Письмо его глубоко уязвленной жены Шолему демонстрирует, что эта изменчивость интеллектуальной позиции Беньямина и ее внешне сомнительные ответвления могли немилосердно трактоваться как оппортунизм:

С тех пор он всегда заключал пакты: с большевизмом, от которого он никогда не желал отречься, чтобы не лишиться последнего предлога (ведь, если он когда-нибудь порвет с ним, ему придется признать, что его с этой женщиной связывают не ее возвышенные принципы, а только сексуальные матери); с сионизмом — частично ради тебя, а частично (не злись, это его собственные слова) «потому, что дом везде, где кто-нибудь даст ему возможность тратить деньги»; с философией (ибо как его идеи о теократии и Граде Божьем или его идеи о насилии могут сочетаться с этим салонным большевизмом?); с литературной жизнью (не литературой), поскольку он, само собой, стыдится признаваться в этих сионистских заскоках Хесселю и тем дамочкам, которых приводит к нему Хессель в паузах его романа с Асей⁹.

В некотором смысле Беньямин сам давал повод для таких обвинений, не желая полностью и безоговорочно посвятить себя какому-либо из этих «пактов». Его позиция, сохранявшая последовательность в отношении любых устоявшихся учений и систем представлений, заключалась в том, чтобы подойти к системе достаточно близко и иметь возможность использовать

9. Puttnies and Smith, *Benjaminiana*, 150–151 (письмо от 24 июля 1929 г.). См. также р. 148, где цитируется запись из дневника Франца Хесселя от 21 июня 1929 г. с описанием того, как Беньямин «неуклюже» танцует с одной из этих «дамочек». См. также «Берлинскую хронику» (SW, 2:599) и сноску 62 о «Зеленом луге».

некоторые ее элементы, но не более того. И это была не просто склонность к бриколажу. Подобно чрезвычайной учтивости Беньямина и его попыткам изолировать своих друзей друг от друга, речь шла о стратегии, призванной оградить его интеллектуальную независимость.

При зарождении дружбы с Брехтом Беньямину было почти 37 лет, Брехту — 31. Даже те друзья Беньямина, которые скептически относились к влиянию Брехта, признавали значение этих отношений. Шолем полагал, что Брехт привнес в «жизнь [Беньямина] совершенно новый элемент — стихийную силу в подлиннейшем смысле этого слова». Ханна Арендт впоследствии отмечала, что дружба с Брехтом была для Беньямина чрезвычайно большой удачей¹⁰. Сегодня понятно, что это был союз между первым немецким поэтом и первым литературным критиком того времени. Они оба часто встречались в квартире Брехта поблизости от зоопарка, где вели долгие беседы, и Беньямин вскоре стал общепризнанным членом узкого круга ближайших приближенных драматурга. Темы их бесед были самыми разными: от необходимости переманить мелкую буржуазию на сторону левых прежде, чем ее подчинит себе Гитлер¹¹, до поучительного примера Чарли Чаплина, чей новый фильм «Цирк» с блестящей сценой в комнате смеха произвел впечатление на них обоих¹², и о котором Беньямин только что опубликовал небольшую заметку, вдохновляясь статьей о «Маленьком бродяге» французского поэта Филиппа Супо (см.: SW, 2:199–200, 222–224). Судя по всему, Брехт, только что поставивший радиопьесу о Линдберге, поощрял работу Беньямина на радио, и он же познакомил Беньямина с такими интеллектуалами-марксистами, как Карл Корш, автор книги *Marxismus und Philosophie* («Марксизм и философия», 1923), редактор «Капитала» и бывший депутат рейхстага от коммунистов; по сути, Корш был для Беньямина одним из главных источников сведений о марксизме, и Беньямин часто ссылается на него в «Пассажах»¹³. 24 июня Беньямин писал Шолему: «Тебе будет интересно, что в последнее время у меня с Бертом Брехтом установились очень дружеские отношения, и зиждутся они не столько на том, что он сделал и из чего я знаю только „Трехгрошовую оперу“ и „Баллады“, сколько на обосно-

10. См.: Hannah Arendt, предисловие к Benjamin, *Illuminations*, 14–15.

11. См.: Laciš, *Revolutionär im Beruf*, 64.

12. По приглашению Брехта Бернхард Райх и Ася Лацис посмотрели в его обществе «Цирк», берлинская премьера которого состоялась в начале 1929 г. См.: Reich, *Im Wettlauf mit der Zeit*, 305 (цит. по: Fuld, *Zwischen den Stühlen*, 215).

13. Однако Беньямин критически относился к «Марксизму и философии» Корша. См.: GB, 3:552.

ванном интересе к его сегодняшним планам» (SF, 159; ШД, 260). Со временем Брехт стал одним из главных персонажей Беньямина: за состоявшейся в июне 1930 г. радиопередачей «Берт Брехт» в течение десятилетия последовали более 10 работ об эпическом театре Брехта, его поэзии и художественной прозе и о беседах с ним. Предложенная Брехтом теория монтажа с ее акцентом на жесте, цитировании и диалектике прошлого и будущего, его иконоборческое «суровое мышление», хитроумное использование притчи в его творчестве, его сатира и неприкрытый гуманизм, а особенно его своеобразный голос, сочетавший в себе видимость простоты и даже грубости с чрезвычайной тонкостью, — все это было важно для литературной практики самого Беньямина, как бы сильно в конечном счете она ни отличалась от практики этого баварца с изжеванной сигарой во рту, про себя считавшего Беньямина более или менее мистиком¹⁴. Дом Брехта под Свеннборгом на датском острове Фюн стал одним из немногих прибежищ для Беньямина в годы его изгнания, а в обществе Брехта он возобновил своего рода личную конфронтацию с немецким образом мысли, которой прежде наслаждался в обществе Фрица Хайнле и Флоренса Христиана Ранга.

Оживленное общение с Брехтом и его кружком составляло лишь одну из сторон бурной интеллектуальной атмосферы, в которой Беньямин вращался в Берлине в конце 1920-х гг., в том Берлине, который будущими поколениями стал восприниматься как средоточие веймарской культуры как таковой. Беньямин по-прежнему часто виделся со своими старыми друзьями, особенно с Хесселем и его женой Хелен Грунд, а также с Кракауэром, Блохом, Вилли Хаасом и Вильгельмом Шпайером. При этом он все еще совершал осторожные вылазки — иногда в сопровождении Эриха Гуткинда — в окружение Оскара Гольдберга, хотя бы для того, чтобы докладывать Шолему о его махинациях: Гольдберг и Унгер проводили еженедельные дискуссионные вечера под вывеской «Философская группа». Среди интеллектуальных связей Беньямина этого периода одно из главных мест занимали возобновившиеся отношения с художником Ласло Мохой-Надем, с которым Беньямин познакомился, когда участвовал в работе Группы G. Что касается долгосрочного влияния на его воззрения, то общение с Мохой-Надем в этом смысле почти не уступало общению с Брехтом. Контакты между Беньямином и Мохой-Надем практически прекратились в 1923–1928 гг., когда Мохой-Надъ

14. См.: Brecht, *Arbeitsjournal*, 1:15, запись от 25 июля 1938 г. (цит. по: Brodersen, *Walter Benjamin*, 313n88). См. также: SF, 176; ШД, 286.

был одним из магистров Баухауза, сначала в Веймаре, а затем в Дессау. Снова их свело сотрудничество с журналом Артура Ленинга *110*, в котором Мохой-Надь работал фоторедактором. Их дискуссии 1929 г. о фотографии, кино и прочих современных средствах коммуникации имели принципиальное значение для взглядов Бенямина, выраженных в таких его работах, как «Краткая история фотографии», «Пассажи» и «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости». Кроме того, через Мохой-Надь, работавшего над декорациями для постановки «Сказок Гофмана» Оффенбаха в опере Кролля, Бенямин попытался завязать связи с берлинским музыкальным миром, подружившись с дирижером Отто Клемперером. Хотя в число ближайших друзей Бенямина входили увлеченные музыканты и композиторы, в первую очередь Эрнст Шен и Теодор Адорно, сам Бенямин неоднократно утверждал о своей почти абсолютной безграмотности в вопросах музыки.

Были у него и другие новые знакомства. Бенямин виделся с молодым политическим философом Лео Штраусом, который впоследствии стал влиятельной фигурой в США, а в то время был связан с Еврейской академией (*Akademie für die Wissenschaft des Judentums*) в Берлине, где только что дописал книгу о Спинозе. Бенямин писал Шолему о Штраусе: «Не стану отрицать, что он пробуждает во мне доверие и что я нахожу его симпатичным» (С, 347). Кроме того, через Хесселей Бенямин познакомился с венским писателем и театральным критиком Альфредом Польшаром, чье общество доставляло ему немалое удовольствие. Летом Бенямин свел личное знакомство с родившимся в Америке французским романистом Жюльеном Грином, произведения которого рекомендовал своим друзьям с необычайным энтузиазмом и на роман которого *Adrienne Mesurat* («Адриен Месура», 1927) только что написал рецензию. В середине августа Бенямин вел радиопередачу о Грине, а после того, как снова встретился с ним в Париже, в апреле следующего года напечатал в *Neue schweizer Rundschau* восторженное эссе «Жюльен Грин». В нем содержатся важные утверждения на тему о «праистории» (*Urgeschichte*), влияющей на образ существования людей, в романах Грина, полных древней магии и жути, поскольку его персонажи делят жилье с призраками своих предков. «Дом предков... обнаруживает череду сводов, комнат и галерей, теряющихся в доисторическом времени человечества» (SW, 2:335; МВ, 291). Картина жилых пространств, населенных формами жизни как из недавнего, так и из далекого прошлого, картина одновременно историческая и праисторическая, станет характерной чертой и в последующих работах самого Бенямина.

В свете того успеха, которым пользовались его рецензии на произведения французских авторов, их истолкования и комментарии к ним, едва ли удивительно, что весной он уделял современной французской литературе все больше и больше внимания. Даже продолжая изыскания в области французской культуры XIX в. в рамках исследования о пассажижах, Беньямин осознал, что все чаще натывается «у молодых французских авторов на такие фрагменты, которые, следуя их собственному ходу мыслей, обнаруживают побочные пути, порожденные влиянием северного магнитного полюса, отклоняющего стрелку их компаса. Я же держу курс прямо на него» (С, 340). Вслед за эссе о сюрреализме — собственно говоря, как «сопутствующий текст» (С, 352) — в марте—июне 1929 г. было сочинено мастерское эссе «К портрету Пруста», напечатанное в июньском и июльском номерах *Die literarische Welt* (SW, 2:237–247; Озарения, 301–312). Беньямин уже давно ощущал сродство с «философским образом мысли» Пруста (С, 278); будучи в Москве, он начал выявлять соответствия между романом Пруста и своей собственной книгой о барочной драме. Он считал, что «необузданный нигилизм» сцены лесбийской любви из книги «По направлению к Свану» показателен в плане того, как Пруст «врывается в аккуратно обставленный кабинет в душе обывателя, на котором висит табличка „Садизм“, и все безжалостно разносит вдребезги, так что от блестящей, упорядоченной концепции греховности не остается ничего, более того, на всех разломах зло слишком ясно обнаруживает „человечность“, даже „доброту“, свою истинную основу». По его мнению, то же он сам «пытался выразить понятием аллегории» в своей книге о барочной драме (MD, 94–95; МД, 153). Примерно тогда же, то есть в начале 1926 г., у него возник замысел эссе о переводе Пруста. В начале 1929 г. он писал Максу Рихнеру, чей журнал *Neue schweizer Rundschau* был лидером по части публикации статей о Прусте в немецкоязычных изданиях (в частности, в нем была напечатана статья Э. Р. Курциуса о перспективизме Пруста), что он недостаточно отделился от прустовского текста, чтобы писать о нем, но что «немецкая литература о Прусте, несомненно, смотрит на него под иным углом, нежели французская. В Прусте есть много... более важного, помимо „психологии“, которая, насколько мне известно, служит почти единственной темой разговора во Франции» (С, 344). В марте он сообщал Шолему, что «выскакивает кое-какие арабески о Прусте» (С, 349), а в мае — что работает над «очень предварительным, но хитрым эссе о Прусте», «начинающимся с тысячи и одного аспекта, но с еще не сложившейся центральной частью» (GB, 3:462).

Эти замечания указывают на характерный для Беньямина многосторонний подход к огромной эпопее Пруста, его «делу жизни» в подлиннейшем смысле этого слова, которое Беньямин считал (по правде говоря, толком не имея представления об «Улиссе» Джойса) «выдающимся литературным достижением тех дней»¹⁵.

Он затрагивает многие аспекты романа, включая «растительное существование образов Пруста, которые остаются связанными со своим социальным источником», подрывную комедию нравов и дегламуризацию своего «я», любви и нравов, анализ снобизма и физиологию праздной болтовни, внимание к предметам повседневного быта и акцент на том, что Беньямин называет обыденностью, страстный культ сходства, растянувшийся на большие промежутки времени, последовательное превращение существования в хранилище памяти с центром в водовороте одиночества, историческую конкретность повествования во всей его неуловимости, непроницаемости и безутешной ностальгии и, наконец, то, как во фразах Пруста, в которых отражается «игра мускулов интеллигентного тела», находят словесное выражение потоки произвольных воспоминаний. Но в основе эссе Беньямина, по сути, освещающего тему, интерес к которой восходит еще к его студенческим дням, когда он читал Ницше и Бергсона, и предвосхищает его исторический материализм 1930-х гг., лежит разговор о «скрещенном времени» (*verschränkte Zeit*). В одном из своих писем Беньямин уже указывал, что Пруст предлагает «совершенно новое изображение жизни» в том смысле, в каком он объявляет ее критерием ход времени (С, 290). В эссе о Прусте он пишет по поводу идеалистической интерпретации прустовской *thème de l'éternité*: у Пруста «вечность вовсе не платоническая, вовсе не утопическая, а наркотическая [*rauschhaft*]... хотя у Пруста и есть рудименты сохраняющегося идеализма... не они обусловили значительность его произведений. Вечность, в которой Пруст открывает аспекты, — это по-разному скрещенное, но не беспредельное время. Его действительный интерес относится к ходу времени в его реальном, то есть скрещенном, виде». Таким образом, ключевое место в этом романе с его навязчивым стремлением к счастью занимает игра «отражений старения и воспоминания». «Универсум... скрещений» у Пруста открывается в момент актуа-

15. Судя по всему, у Беньямина имелся экземпляр «Улисса» в немецком переводе. См.: ВГ, 16 (недатированный список книг, принадлежавших Беньямину, возможно, составленный в 1933 г. Гретель Карплус). «Улисс» был впервые переведен на немецкий в 1927 г.

лизации (имеющий близкое родство с «моментом узнавания», фигурирующим в «Пассажах» и других текстах), когда *былое* возникает в ослепительной вспышке осознания, подобно тому как давно забытое прошлое впервые возвращается к Марселю со вкусом печенья «Мадлен». Момент произвольного воспоминания — это «шок омоложения», посредством которого пробуждается и собирается в образ некое прежнее существование с его различными слоями. Эта концентрация и кристаллизация хода времени в мгновение осознания «соответствий» и составляет наркотическую вечность, и в первую очередь именно здесь, в феномене *Rausch*, то есть экстатического самообладания, видна связь с сюрреализмом.

К концу июня, вскоре после того, как начался бракоразводный процесс, Беньямин совершил двухдневную автомобильную поездку со своим старым другом времен учебы в Хаубинде, плодовитым и утонченным романистом и драматургом Вильгельмом Шпайером (1887–1952), в соавторстве с которым он писал детективную пьесу. По двум наиболее популярным романам Шпайера — *Charlott etwas verrückt* («Шарлотта слегка помешалась», 1927) и *Der Kampf der Tertia* («Битва школьников», 1928) только что были сняты немые фильмы, и в феврале Беньямин напечатал в *Die literarische Welt* положительную рецензию на второй из них (речь в нем идет о попытке группы старшеклассников спасти от уничтожения стаю собак и кошек). Несомненно, Беньямин с удовольствием согласился составить компанию старому другу; в начале мая у него начались ежедневные занятия ивритом, и он явно был рад получить предлог для того, чтобы сделать перерыв. Из французского местечка Бансен Беньямин писал Шолему о том, что доволен своими текущими литературными связями (в роттердамской газете только что появилась статья, посвященная «Улице с односторонним движением») и о разочаровании своим старым другом Эрнстом Блохом. Еще в феврале он снова сетовал Шолему на то, что Блох исподтишка, но бесстыдно ворует у него идеи и терминологию; теперь же он сообщал об издании «двух новых книг Блоха — „Следы“ и „Эссе“, в которых до сведения потомства доводится существенная доля моих бессмертных творений, отчасти несколько искаженных» (GB, 3:469).

В июле состоялось более длительное путешествие в обществе Шпайера с остановками в Сан-Джиминьяно, Вольтерре и Сиене. Письма Беньямина полны восторгов по поводу тосканских пейзажей, как и прелестный маленький очерк «Сан-Джиминьяно», опубликованный в августе во *Frankfurter Zeitung*. «Как бывает сложно, — так начинается этот очерк, — найти сло-

ва для того, что предстает твоим глазам. А когда слова все же приходят, они бьют крохотными молоточками по реальности, как по медной пластине, до тех пор, пока не выковывают из нее образ. „По вечерам женщины собираются у фонтана перед городскими воротами, чтобы набрать воды в большие кувшины“. Лишь после того как я нашел эти слова, из слишком ошеломляющих ощущений вырос и образ — неровный и в глубоких тенях». Далее он описывает, как на рассвете над Сан-Джиминьяно встает солнце подобно сияющему камню над горным хребтом, и отмечает, что «прежние поколения, должно быть, владели искусством хранить этот камень подобно талисману и тем самым превращать время в благо» (GS, 4:364–365). В не меньшей степени его очаровала и Вольтерра с ее грандиозными собраниями этрусского искусства: он нашел этот город «великолепным, лежащим в центре своего рода бесснежного, африканского Энгадина — с его гигантскими пустошами и четкими контурами голых горных вершин» (GB, 3:477). Очерк «Сан-Джиминьяно» посвящен памяти Гуго фон Гофманстала, умершего 15 июля, в день рождения Бенямина. В письме от 27 июля, отправленном из Вольтерры, он пишет Шолему, как опечалила его эта новость и каким возмутительным ему показался бесстыдный тон немецких некрологов.

В этом же письме он упоминает о том, что в «саду Георге» наткнулся на цветок удивительной красоты, а именно на изданную в 1928 г. книгу биографий Гёте, Шиллера, Гельдерлина и других авторов «Поэт как вождь немецкого классицизма», написанную Максом Коммерелем, историком литературы, входившим в окружение Штефана Георге. Год спустя в *Die literarische Welt* вышла рецензия-эссе Бенямина «Против шедевра», работу над которой он начал в Сан-Джиминьяно. В ней он подчеркивает «величие» этой книги, «физиогномический и — в самом строгом смысле слова — непсихологический подход», свойственный ее «плутарховскому стилю», «обилие аутентичных антропологических идей» на ее страницах, но в то же время и подвергает ее решительной критике:

Вне зависимости от облика, [который принимает современность,] наша задача состоит в том, чтобы схватить его за рога и получить возможность вопрошать прошлое. Это бык, чья кровь должна наполнить яму, чтобы на ее краю появились духи ушедших. И именно этого смертоносного напора идей не хватает в работах, созданных в окружении Георге. Вместо того чтобы приносить настоящему жертвы, они избегают их... [тем самым лишая] литературу тех интерпретаций, которые они ей задолжали, и ее права на рост (SW, 2:383).

Этот ключевой герменевтический принцип, а именно движущая сила («кровь жизни») настоящего во всех интерпретациях прошлого или в обращенных к нему вопросах¹⁶ нашел отражение в «философии фланера», ставшей основой «Пассажей» и в то же время поставленной в центр рецензии Беньямина на книгу Франца Хесселя «Пешком по Берлину», свидетельствующую об интеллектуальном родстве их обоих. Рецензия Беньямина «Возвращение фланера», напечатанная в октябре 1929 г. в *Die literarische Welt*, содержит множество отрывков из «Пассажей». Беньямин причисляет неспешный, элегический текст Хесселя, называемый «египетской книгой снов для тех, кто не спит», к традиции Бодлера, Аполлинера и Леото, этих классиков *flânerie*, и так пишет об авторе: «Только человек, в котором о своем присутствии уже объявила — пусть очень тихо — современность, способен окинуть столь оригинальным и „свежим“ взглядом то, что только что стало старым» (SW, 2:264). В июле и августе Беньямин работал над рядом других статей, включая «враждебное эссе» о швейцарском прозаике Роберте Вальзере (С, 357). В сущности это эссе, опубликованное в сентябре в *Das Tagebuch*, не содержит признаков откровенно враждебного отношения к этому автору, который, как отмечает Беньямин, был любимым писателем Кафки, хотя, возможно, намек на такое отношение содержится в словах о мнимом невнимании Вальзера к стилю, принимающему облик «целомудренной искусственной неуклюжести», и в упоминании о детском благородстве персонажей изящных жутковатых сказок Вальзера, аналогичном благородству героев волшебных сказок, «которые точно так же порождены ночью и безумием» (SW, 2:258–259).

В конце августа Беньямин опубликовал в *Die literarische Welt* текст под названием «Беседа с Эрнстом Шеном», в котором он и композитор Шен, один из его старейших и ближайших друзей, незадолго до того получивший влиятельную должность художественного руководителя на франкфуртской радиостанции *Südwestdeutscher Rundfunk*, обсуждают просветительско-политические возможности радио и телевидения, которым, согласно их общему мнению, не следует ни заниматься насаждением культуры с большой буквы К, ни выполнять чисто репортерскую функцию. С того момента как Германия в 1923 г. начала приобщаться к радио, стало ясно, что это новое СМИ может полити-

16. См. в главе 2 о том, что корни этого интерпретационного принципа восходили к Ницше и ранним романтикам. Краткая формулировка этого принципа приводится в работе 1932 г. «Раскопки и память» (SW, 2:576; см. также 611).

зироваться, лишь удовлетворяя желание аудитории «развлечься», хотя такая направленность радиопрограмм, указывали оба собеседника, не обязательно исключает различные художественные достижения (в частности, упоминались трансляции «Полета Линдбергов» в постановке Брехта, Вайля и Хиндемита и кантаты Эйслера) и даже передачи об экспериментальных произведениях (см.: GS, 4:548–551)¹⁷. Из бесед Беньямина с Шеном в следующем году возникли планы написать статью о политических аспектах радио; эта статья так и не была написана, но в письме Шену Беньямин отмечает несколько сфер, которые он собирался осветить. Они включали тривиализацию радио как следствие, в частности, недееспособности либеральной и демагогической печати, а также недееспособности вильгельмовских министров, контроль профсоюзов над радио, безразличие радио к литературе и коррупцию в отношениях между радио и печатью (см.: GB, 3:515–517). В маленькой статье о Шене нашли отражение две темы, в наибольшей степени волновавшие Беньямина в 1920-х гг.: в ней рассматриваются вопросы дидактики и образования вообще, изучаемые сквозь призму современных средств коммуникации, включая печать, радио, фотографию и кино. Эта ключевая тенденция творчества Беньямина 1920-х гг., выросшая из размышлений, связанных с коллекцией детских книг, собранной им с Дорой, а возможно, более косвенным образом также из наблюдений Беньямина за развитием его сына, почти незаметна в его главных эссе этого периода; его идеи об образовании и средствах коммуникации, не образуя связной теории, разбросаны по множеству небольших текстов, опубликованных в немецкой печати в самое разное время и в самых разных изданиях.

Конец 1920-х гг. дал повод к размышлениям не только о новых средствах коммуникации. Эрнст Шен открыл дверь к регулярной работе на радио и для самого Беньямина, который во второй половине 1929 г. часто вел передачи на франкфуртском и берлинском радио. С августа 1929 г. по весну 1932 г. он выступал у микрофона более 80 раз, в самых разных форматах. Они включали всевозможные передачи для детей («Берлинский уличный мальчишка», «Суды над ведьмами», «Банды грабителей в старой Германии», «Бастилия», «Доктор Фауст», «Бутлеггеры», «Лиссабонское землетрясение»), лекции по литературе («Детская литература», «Книги Торнтон Уайлдера

17. Об использовании развлечений в учебных целях ср. AP, папка Kза,1, и «Теорию развлечений» в SW, 3:141–142. См. также: «Zweierlei Volkstümlichkeit» (1932) в GS, 4:671–673, и финал эссе 1932 г. «Театр и радио» в SW, 2:585.

и Эрнеста Хемингуэя», «Берт Брехт», «Франц Кафка: „Великая китайская стена“», «По следу старых писем»), радиопостановки (остроумные и ученые беседы под такими названиями, как «Что читают немцы, пока их авторы-классики пишут» и «Лихтенберг», и такие пьесы для детей, как «Суматоха вокруг Каспера») и, наконец, «радиомодели» (дидактические драматизации — с примерами и контрпримерами — типичных этических проблем повседневной жизни, с основным вниманием к ситуациям дома, в школе и на службе)¹⁸. Для своих выступлений он обычно пользовался собственным сценарием, время от времени пускаясь в импровизации, а при сочинении радиопьес часто сотрудничал с другими авторами. Беньямин умело пользовался материалом из своих газетных статей, адаптируя его к более специфической аудитории и несколько упрощая язык. В своих письмах он порой пренебрежительно отзывается о своей деятельности на радио как о пустяковой *Brotarbeit* — поденной работе, которой занимаются только ради денег, однако в соответствии с выдвинутым им годом ранее принципом о необходимости не опускаться ниже «определенного уровня» и в работе исключительно ради заработка те радиосценарии Беньямина, которые нам известны, тщательно выстроены и написаны с воодушевлением, свидетельствуя о большой искусственности их автора и его интеллектуальном обаянии.

В начале августа 1929 г., вскоре после того, как Беньямин вернулся автобусом из Италии, он в последний раз съехал с семейной виллы на Дельбрюкштрассе — «моего обиталища на протяжении 10 или 20 лет», как он с печалью выразился в кратком послании Шолему (С, 355). Он надеялся смягчить этот удар, добившись приглашения от профессора и журналиста Поля Дежардена на его «Декады в Понтины» — проводившиеся в бывшем цистерцианском монастыре Понтины ежегодные встречи виднейших французских художников, писателей и интеллектуалов; Беньямин сообщал Шолему, что туда приглашались только «приезжие» иностранцы (см.: GB, 3:428). В 1929 г. он не смог присутствовать там по «техническим», как он выразился, причинам, но ровно 10 лет спустя, в 1939 г., его пригласили пожить в монастыре и воспользоваться его знаменитой библиотекой. Оставшись в Берлине без дома, Беньямин следующие несколь-

18. См.: GS, 7:68–294 (“*Rundfunkgeschichten für Kinder*” и “*Literarische Rundfunkvorträge*”), и GS, 4:629–720 (“*Hörmodelle*,” куда включены две *Hörspiele*). О работе Беньямина на радио см.: Schiller-Lerg, *Walter Benjamin und der Rundfunk*. О работе с участием Шена см.: Schiller-Lerg, “*Ernst Schoen*”. Не известно ни одной сохранившейся записи голоса Беньямина.

ко месяцев прожил у Хесселей на Фридрих-Вильгельм-Штрассе в Шёнеберге, старом западном районе Берлина. В октябре вышла его рецензия на книгу Хесселя о Берлине, и на повестку дня был поставлен вопрос о возможной совместной работе над радиопьесой, судя по всему, заказанной Эрнстом Шеном Хесселю, хотя в итоге Хессель отверг эту идею, поскольку, как он сетовал Шену, Беньямину свойственно «все усложнять»¹⁹. Шен со своей стороны во всем обвинял Хесселя, указывая на его «безумное упрямство»; он дошел до того, что предлагал Беньямину, который, кажется, и организовал этот заказ для Хесселя, воспользоваться револьвером. Поскольку речь шла о гонораре в тысячу марок, сам Беньямин был «очень раздосадован» отказом Хесселя от сотрудничества (см.: GB, 3: 517).

У Аси Лацис, готовившейся к отъезду в Москву, случился нервный срыв наподобие того, который в 1926 г. привел ее в московский санаторий. Беньямин посадил ее на поезд во Франкфурт: она направлялась к неврологу, у которого там была клиника²⁰. Во время нескольких визитов Беньямина во Франкфурт в сентябре и октябре, когда он не только навещал Асю, но и несколько раз выступил по радио, заметно активизировалось и его интеллектуальное общение с Адорно. Ключевое место в их беседах занимало исследование о пассажирах. В Кенигштайне, курортном городе в горах Таунус, вокруг Беньямина и Адорно вскоре сложился небольшой кружок. Сидя за столом в *Schweizerhäuschen*, Беньямин, Ася Лацис, Адорно, Гретель Карплус и Макс Хоркхаймер вели дискуссии, касавшиеся таких ключевых концепций в творчестве Беньямина, как «диалектический образ»²¹. Беньямин зачитывал вслух отрывки из первых набросков к «Пассажам» и, очевидно, вызвал сенсацию своей теорией игрока. Эти «кенигштайнские беседы» повлияли на мышление всех их участников и способствовали формированию того, что впоследствии стало известно как Франкфуртская школа теории культуры. В часто цитируемом письме от 31 мая 1935 г., адресованном Адорно, Беньямин упоминает разговоры во Франкфурте и Кенигштайне как новый этап в развитии его собственной мысли, в первую очередь ознаменовавший поворот от «беспечно-архаического» романтического метода философствования, все еще «находящегося в плену у природы», и от «рапсодическо-

19. Цитата в письме Эрнста Шена Беньямину от 10 апреля 1930 г. (GS, 2:1504).

20. См.: Lacin, *Revolutionär im Beruf*, 68, где Ася упоминает о своем удивлении тем, что Беньямин на этот раз решил не сопровождать ее во Франкфурт.

21. Снимок домика в швейцарском стиле, в котором они собирались — судя по всему, ресторана или гостиницы, — содержится в van Reijen, van Doorn, *Aufenthalte und Passagen*, 116.

го» способа изложения; по его словам, подобный образ мысли и литературный метод стали казаться ему наивными и устаревшими (см.: SW, 3:51). Разумеется, постромантическая и антиромантическая переориентация, сопутствовавшая обращению к жанру фельетона, может быть распознана уже в композиции и тональности «Улицы с односторонним движением», произведения, в немалой степени вдохновлявшегося городскими студиями Кракауэра. Однако к 1935 г. роль Кракауэра в обеспечении Беньямина возможностями для издания перешла к Адорно и Хоркхаймеру.

Той осенью бракоразводный процесс принял неожиданно «жестокий» оборот и, по словам Беньямина, начал сказываться на его состоянии. К концу октября, когда рухнул американский фондовый рынок, он был сражен десятидневным припадком, во время которого не мог ни с кем говорить и никому звонить, не говоря уже о том, чтобы писать письма (см.: GB, 3:489, 491). 1929 г., принесший Беньямину множество успехов и в некотором отношении ставший пиком его карьеры как веймарского литературного критика, завершился для него глубокой депрессией. Несмотря на все гордые заявления о том, что развод сделал его свободным, следующие два года были для него отмечены величайшим эмоциональным потрясением в его жизни, вызванным изгнанием из родительского дома и из собственной семьи.

Новый, 1930 г. принес с собой хроническую нестабильность во внешних обстоятельствах жизни Беньямина. Хотя работа для газет и на радио более или менее поддерживала его на плаву в течение следующих нескольких лет, вплоть до захвата власти нацистами, покончившего с его карьерой немецкого литератора, теперь перед ним встала угроза экономического кризиса — в марте число безработных в стране достигло 3 млн, — с которой он не сталкивался со времен гиперинфляции в начале 1920-х. А развод, на который Беньямин пошел довольно безрассудно, угрожал лишить его всего наследства. Несмотря на это, он утверждал, что ни о чем не жалеет. Наоборот, Беньямин был намерен извлечь некоторые интеллектуальные выгоды из своего «импровизированного существования» и непреодолимого ощущения «временности» всего, что составляло его повседневную жизнь. В письме Шолему от 25 апреля, написанном на следующий день после судебного решения о расторжении брака, он сообщал, что «ушел с головой в это новое начало, включающее смену места жительства [и] способ зарабатывать на жизнь» (С, 365).

Это состояние внутренней решительности перед лицом внешней неопределенности отразилось в «чрезвычайно личном»,

как выразился Шолем, письме, написанном несколько недель спустя и свидетельствующем о «меняющихся изо дня в день конstellляциях, в которых я пребываю уже несколько месяцев» (цит. по: SF, 162; ШД, 266). Письмо, о котором идет речь, касается семьи и брака Беньямина, в его изложении принимающих облик темных сил наподобие тех, которые действуют в романах Жюльена Грина: «Мою сестру можно поставить в ряд с наиболее неприятными женскими образами Грина». Отношения между Беньямином и его сестрой, и прежде не особенно сердечные, еще больше ухудшились. Его теперь уже бывшая жена впоследствии говорила Шолему, что сестра Беньямина «эксплуатировала его самым ужасающим образом». Судя по всему, речь шла о разделе наследства, оставленного старшими Беньяминами²². И все же сестра была не единственным препятствием, с которым он столкнулся. «А какую борьбу мне пришлось вести против этой власти не только там, где она противостояла мне в ней... но и во мне самом!» (цит. по: SF, 162; ШД, 266). Эта борьба, согласно часто цитируемому отрывку из его письма Шолему, велась с запозданием и в катастрофических обстоятельствах:

Сомневаюсь, что у тебя сложилось более верное, более положительное представление о моем браке, чем у меня самого, даже сегодня, а значит, надолго. Не оскорбляя этот образ, скажу тебе... что в последнее время они (я говорю о годах) превратились в экспоненты этой власти. Я очень, очень долго полагал, что у меня никогда больше не хватит собственной силы выйти из-под этой власти, и когда она вдруг — посреди глубочайшей боли и полнейшего одиночества — пришла ко мне, конечно, я в нее вцепился. Поскольку трудности, проистекающие из этого шага, в настоящий момент являются определяющими для моего внешнего бытия — ведь на пороге сорока жить без имущества и положения, без жилья и состояния, — сам этот шаг является основой моего бытия внутреннего, фундаментом, на котором чувствуешь себя тяжело, но в котором нет места для демонов (цит. по: SF, 162; ШД, 265–266).

В своих мемуарах Шолем подчеркивает «серьезный кризис и перемены», произошедшие в этот период в жизни Беньямина, и в связи с этим приводит замечание американского автора исторических романов Джозефа Хергсхаймера, с которым Беньямин познакомился в начале 1930-х гг.: Беньямин произвел на него впечатление «человека, который только что сошел с одного креста и собирается взойти на новый» (цит. по: SF, 164;

22. См.: Puttnies and Smith, *Benjaminiana*, 166.

ШД, 268). Сама Дора, присутствовавшая на кремации матери Беньямина в ноябре 1930 г., была потрясена тем, как «ужасно» он выглядел; она сообщала Шолему, что испытывала к своему бывшему мужу жалость. «В интеллектуальном плане он остается для меня большим авторитетом, точно так же, как и прежде, хотя я чувствую себя более независимой. Я прекрасно понимаю, что больше он не испытывает ко мне никаких чувств: он всего лишь благодарен мне за мое достойное поведение, и с меня это го довольно»²³.

Перед лицом всех этих бедствий Беньямин прибег к испытанному средству — странствиям. Время с конца декабря 1929 г. по конец февраля 1930 г. он провел в Париже, остановившись в *Hôtel de l'Aiglon* на бульваре Распай, 232, в районе Монпарнаса. «Оказавшись в этом городе, — писал он в «Парижском дневнике», широко обзоре текущей французской литературы, печатавшемся четырьмя частями в *Die literarische Welt* с апреля по июнь 1930 г., — сразу же чувствуешь себя вознагражденным» (SW, 2:337). Однако пребывание в Париже омрачалось финансовыми проблемами. Беньямин пытался достать немного денег, добываясь возврата средств, которые он ссужал таким столь же безденежным друзьям, как Мюнхгаузен, и совершая из Парижа «радиопоездки» во Франкфурт. Но даже при наличии подобной ненадежной основы он активно старался расширить свои литературные связи во французской столице. В первые дни после прибытия в Париж он встречался со знакомыми по своим прошлым визитам, включая поэтов Луи Арагона и Робера Десноса и критика Леона-Пьера Кента. Несколько раз он виделся и с Жюльеном Грином. Они договорились о том, что Беньямин переведет его следующую книгу — впрочем, этот проект остался неосуществленным. Во время долгого вечера в ночном клубе *Le Bateau Ivre* его потчевал рассказами о Прусте Леон-Поль Фарг, которого Беньямин считал «величайшим из живых французских поэтов». Украшением этих рассказов была история о знаменитой неудачной встрече Пруста и Джойса за обедом, который давал Фарг²⁴. Из числа новых знакомых наибольшее впечатление на Беньямина произвели Марсель Жуандо и Эмманюэль Берль. Он был поражен глубиной проникновения католического интеллектуала Жуандо в «хитросплетения набожности и греха» в его этюдах из провинциальной жизни, а в еврейском интеллектуале Берле его привлекала «редкая критическая хватка». Беньямин даже заявлял о «поразительном» сходстве между точкой зрения Бер-

23. Ibid., 166, 164. Слова Хергсхаймера приводятся на p. 166.

24. О встрече Пруста и Джойса см.: Ellman, *James Joyce*, 523–524.

ля и своей собственной (С, 360). Впрочем, еще более памятным, чем эти встречи, стало для него знакомство с «месье Альбером», который, по мнению Беньямина, послужил образцом для Альбертины из прустовского «В поисках утраченного времени»²⁵. Впервые он увидел Альбера за стойкой в «маленькой бане для гомосексуалистов», которую тот содержал на улице Сен-Лазар, и зафиксировал их дальнейшую беседу в небольшом тексте «Вечер с месье Альбером», вложенном в письмо Шолему. Но самым важным из этих новых контактов была встреча с Адриенной Монье (1892–1955), владелицей знаменитого книжного магазина *La Maison des Amis des Livres* на улице Одеон, 7, напротив магазина «Шекспир и компания» Сильвии Бич. В начале февраля Беньямин вошел в магазин Монье, испытывая «мимолетное, поверхностное ожидание встречи с хорошенькой молодой девушкой». Но вместо нее он увидел «флегматичную светловолосую женщину с очень ясными серо-голубыми глазами, одетую в платье из грубой серой шерсти строгого, почти монашеского покроя». Он сразу же почувствовал, что она входит в «число тех людей, которым невозможно оказать все подобающее им уважение и которые, ничем не показывая, что ожидают какого-либо подобного уважения, в то же время не отказываются от него ни словом, ни делом» (SW, 2:346–347). Магазин Монье служил местом встречи и лекционным залом для парижских писателей и художников модернистского направления; в последующие годы Беньямин встречался там с такими фигурами, как Валери и Жид. А сама Монье, издававшая стихотворения и прозу под псевдонимом Л. М. С., после изгнания Беньямина из Германии в 1930-е гг. оказалась одним из его самых верных друзей и спонсоров.

Во время одного из приездов Беньямина из Парижа во Франкфурт он получил просьбу написать эссе-некролог для сборника в память о Франце Розенцвейге, в декабре 1929 г. умершем от бокового амиотрофического склероза. Беньямин сообщал Шолему, что отверг это предложение, просто потому что слишком удалился от своеобразного мира мыслей Розенцвейга — мира, которому он отдавался с такой страстью в начале 1920-х гг. Именно осознание этой интеллектуальной дистанции, пройденной Беньямином с тех дней, позволило подвести итог последних нескольких лет, каким тот виделся ему из Парижа. В письме Шолему, написанном по-французски, он выделяет два момента из этого периода. Во-первых, он признает укрепление своей репутации в Герма-

25. Более вероятно, что месье Альбер был прототипом Жюльена. См. текст Беньямина "Abend mit Monsieur Albert", явно не предназначенный для публикации, в GS, 4:587–591.

нии и заявляет о своей амбиции получить признание в качестве «главного критика немецкой литературы» (С, 359). Разумеется, он сразу же оговаривается, что литературная критика более полувека не считалась в Германии серьезным жанром, и всякий, желающий составить себе имя в сфере критики, должен сперва изменить ее как жанр — эту цель он тоже поставил себе, надеясь достичь ее при помощи сборника своих литературных эссе, на издание которого был заключен договор с Ровольтом. Кроме того, Беньямин отмечает в качестве своего второго крупного достижения постепенную реализацию проекта «Парижские пассажи», теперь принимавшего в его мыслях форму книги. В провидческом комментарии, предугадывающем содержание папки N проекта «Пассажи», он отмечает, что эта книга потребует эпистемологического введения наподобие того, что прилагалось к книге о барочной драме, и констатирует свое намерение приняться в рамках этой задачи за изучение Гегеля и Маркса.

После возвращения из Парижа в конце февраля 1930 г. Беньямин вновь поселился у Хесселей, но одновременно искал для себя жилье. В начале апреля он снова переехал, заняв квартиру в садовом домике на участке по адресу Мейнекештрассе, 9, чуть южнее Курфюрстендамм в Шарлоттенбурге. Именно там 24 апреля он узнал об окончательном расторжении своего брака — событии, вызвавшем появление на свет ретроспективного письма Шолему, с которым Беньямин по-прежнему делился своими самыми интимными переживаниями. В этом письме он сетует на то, что «в итоге оказался неспособен выстроить свою жизнь на превосходном фундаменте», заложенном им «на 22-м году жизни» (С, 365). На этом 22-м году, пришедшемся на 1913 и 1914 гг., он написал «Метафизику молодости», за которой вскоре последовали «Два стихотворения Фридриха Гельдерлина». Не то что бы Беньямину сейчас казалось, что за прошедшие с тех пор 16 лет он не сочинил ничего более выдающегося, но он считал, что на протяжении этих лет перед лицом финансовых и прочих практических соображений все чаще и чаще шел на компромисс, жертвуя своей независимой позицией, которую так высоко ценил.

В феврале, в разгар личного кризиса, переживавшегося Беньямином, Шолем потребовал от своего друга представить четкое изложение его отношений с иудаизмом. Он напомнил Беньямину, что ходатайствовал за него перед Магнесом и Еврейским университетом, потому что сам Беньямин заявлял о своем стремлении к «продуктивной конфронтации с иудаизмом», и отмечал, что невыполнение Беньямином своих обязательств поставило его в очень сложное положение. Шолем

объявлял о своей готовности примириться с любым решением Беньямина, если только оно будет абсолютно чистосердечным, даже если это решение будет означать, что Беньямин уже не сможет «в этой жизни рассчитывать на подлинную конфронтацию с иудаизмом, в которой наша дружба не станет посредником» (С, 362–363). Беньямин игнорировал этот вопрос на протяжении более двух месяцев и наконец 25 апреля дал ответ Шолему, признав, что не сталкивался «с живым иудаизмом в каком-либо ином виде, кроме тебя» (С, 364). Жена Шолема Эша в июне 1930 г. нанесла визит Беньямину в Берлине и, выступая в качестве посланца Шолема, прямо поставила вопрос о приверженности Беньямина иудаизму, о его планировавшейся поездке в Палестину и о деньгах, которые он был должен Магнесу. Беньямин уклонился от ответа на все эти вопросы. Когда же ему был задан вопрос о том, как следует понимать прямое выражение им своего «коммунистического уклона», он ответил: «У нас с Герхардом всегда было так, что мы убеждали друг друга» — более ловкую увертку трудно себе представить (SF, 162–164; ШД, 265–267). Эти переговоры фактически положили конец попыткам Шолема склонить Беньямина к сионизму или вообще к какой-либо разновидности иудаизма.

Весной 1930 г. было положено начало амбициозной программе написания или, выражаясь на материалистическом и брехтовском жаргоне, производства серии эссе, призванных вывести Беньямина на современную культурно-политическую арену. По сути, Беньямин так рьяно отдался этой работе, что мы сравнительно немного знаем о событиях в его жизни, происходивших на протяжении следующего года за пределами его кабинета. В «Улице с односторонним движением» он вполне по-брехтовски заявил, что критик — «стратег в литературной борьбе» (SW, 1:460; УОД, 49). Согласно этой точке зрения, критика — это в первую очередь вопрос морали, и критик должен стремиться к «подлинной полемике», ведущейся на языке художников. На протяжении следующих двух лет Беньямин пытался реализовать это представление о литературной полемике в ряде эссе-рецензий, многие из которых были напечатаны в социал-демократическом издании *Die Gesellschaft* («Общество»). Он метил как в правых консерваторов и фашистов, так и в умеренных, либеральных левых, ставя себя в положение левого аутсайдера, находящегося вне традиционных антиномий, и в то же время имея в виду идею истинного гуманизма, очищенного от сантиментов того и другого толка. В своей рецензии на книгу Коммереля о немецком классицизме Беньямин попытался найти сбалансированный тон, несмотря на свое

отвращение к правившему бал культурному консерватизму с его культом тевтонства, таким его «опасным анахронизмом», как сектантский язык, и навязчивым стремлением подменять исторические события мифологическим силовым полем, роль которого в данном случае играла «история спасения». Намного менее уважительной получилась его объемная рецензия на сборник эссе «Война и войны», составленный романистом и эссеистом Эрнстом Юнгером, возможно, ведущим глашатаям праворадикальных интеллектуальных кругов Веймарской республики. В рецензии «Теории немецкого фашизма» Беньямин стремится выявить стратегии, применяемые в военном мистицизме, абстрактном, мужском, «нечестивом», Юнгера и его окружения. В их идее об «имперском» воителе он усматривал новое воплощение послевоенных немецких наемников-фрайковцев, этих серо-стальных «боевых механиков правящего класса», фактически дополняющих «управленцев-бюрократов в их визитках»; в их представлениях о «нации» он выявлял апологию правящего класса, опирающегося на касту воинов — правящего класса, презирующего международное право, никому (включая в первую очередь самого себя) не подотчетного и «принявшего облик сфинкса — производителя товаров, [который намеревается] в скором времени стать их единственным потребителем» (SW, 2:319; MB, 372). Авторы эссе из этого сборника, отмечает Беньямин, не способны называть вещи своими именами и вместо этого предпочитают наделять все, имеющее отношение к войне, героическими чертами немецкого идеализма. Точно так же, как несколькими годами позже в эссе «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости», он будет ссылаться на прославление войны у Маринетти как на пример фашистской эстетизации политики, так и здесь культ войны называется переводом принципа *l'art pour l'art*. Как утверждает Беньямин, последний — это именно утонченное нисхождение к культу стоимости в искусстве, негативная теология, шарахающаяся от социальных функций и объективного содержания, отчаянная попытка не замечать кризиса в искусстве, вызванного техническими достижениями (фотография) и всеобщей коммодификацией. Реальной проблемой послевоенной «тотальной мобилизации», о которой говорит Юнгер, служит возникновение техники планетарного масштаба и конкретно ее использование в деструктивных целях. «Социальная действительность, — пишет Беньямин в начале рецензии (и этого тезиса он придерживался на протяжении всех 1930-х гг.), — не созрела еще для того, чтобы подчинить себе технику, ... [а] техника, в свою очередь, недостаточно еще сильна, чтобы возобладать

над стихийными силами общества». Для этого зловещего апофеоза воителя симптоматично то, что ему не свойственно хоть сколько-нибудь ценить мир. Отсюда вытекает и решительный полемический выпад: «Не будем все же доверять тому, кто рассуждает о войне, не зная ничего другого, кроме этой войны... Откуда вы? Что вам известно о мирной жизни? Приходилось ли вам когда-нибудь в ребенке, дереве, животном замечать эту жизнь точно так же, как вы замечали форпосты на войне?»

Если в своей критике культуры правого толка Беньямин обычно взывает к здравому смыслу и трезвому взгляду на окружающую действительность, то при нападках на леволиберальных интеллектуалов он бескомпромиссно размахивает знаменем революции. В подобных случаях он способен прибегать к разгромному тону, каким написана, например, «Левая меланхолия», отвергнутая *Frankfurter Zeitung* и в итоге напечатанная в 1931 г. в *Die Gesellschaft*. В этой статье, формально представляющей собой рецензию на книгу стихов такого уважаемого автора, как Эрих Кестнер (сегодня он в первую очередь известен как автор детской книги «Эмиль и сыщики»), Беньямин прослеживает развитие немецкой леворадикальной интеллигенции, понимаемое как явление «буржуазного распада», на протяжении предшествовавших 15 лет, от активизма через экспрессионизм к «Новой вещественности» (течению, с которым был связан Кестнер)²⁶. По его словам, политическая значимость этого процесса «исчерпала себя, когда революционные призывы, насколько они имели место в буржуазной среде, превратились в предметы отдыха и развлечения, доступные широкому потребителю» (SW, 2:424; MB, 379; однозначно негативное отношение к «способам развлечься» выдает здесь влияние Брехта). Беньямин противопоставляет коммодифицированную меланхолию и псевдонигилизм, свойственные этой культурной тенденции, скрывающей свое принципиальное самодовольство под личной отчаяния, «подлинно политической поэзии» таких поэтов-предэкспрессионистов, как Георг Гейм и Альфред Лихтенштейн, и таких современных поэтов, как Брехт. Он приходит к выводу о том, что леволиберальная идея гуманизма, выстроенная вокруг попытки отождествить профессиональную жизнь с частной жизнью, имеет не менее чем «животную» природу, поскольку в текущих обстоятельствах аутентичный гуманизм способен вырасти лишь из *конфликта* между двумя этими полюсами человеческого существования.

26. Об активизме см. главу 2. Об экспрессионизме и «Новой вещественности» см. также: SW, 2:293–294, 405–407, 417–418, 454.

Стихотворения Кестнера, «утратившие дар вызывать отвращение», обращены не к обездоленным и не к богатым промышленникам, а к средней прослойке — посредникам, журналистам и начальникам департаментов, чье существование, вполне дисциплинированное, «нравственно розовое», обильное ограничениями и иллюзиями, было проанализировано Зигфридом Кракауэром в его книге 1930 г. «Белые воротнички», рецензии на которую Беньямин в том году опубликовал и в *Die literarische Welt*, и в *Die Gesellschaft*. Мы уже говорили об интеллектуальном и личном долге Беньямина Кракауэру, восходящем к началу 1920-х гг. Свою книгу об офисных служащих Кракауэр написал с позиции осведомленного аутсайдера, которой придерживался и Беньямин²⁷. В качестве «революционного автора из рядов буржуазии» этот аутсайдер и «оппозиционер» объявляет своим главным делом политизацию своего собственного класса; он знает, что пролетаризация интеллектуала едва ли способна превратить его в пролетария и что влияние со стороны интеллектуала может быть лишь косвенным. В противоположность модному радикализму он не обслуживает запросы снобов, нуждающихся в сенсациях, однако в качестве физиономиста и толкователя снов подмечает яркие и неяркие детали жилых пространств, трудовых привычек, платья и мебелировки, повсеместно относясь к различным аспектам социальной реальности как к сложным образам на загадочной картинке, на которой следует выявить подлинную сущность среди фантазмагорий:

Порождения ложного сознания напоминают загадочные картинки, на которых истинный изображаемый объект едва просматривается среди облаков, листья и тени. Автор даже обратился к рекламным разделам газет для «белых воротничков» с целью найти те истинные объекты, которые скрываются подобно загадкам в фантазмагории блеска и молодости, образования и индивидуальности... Но высшая реальность не способна удовлетворяться фантастическим существованием, и потому ее присутствие ощущается в повседневной жизни в виде загадочных картинок, так же как яркий свет развлечений не способен скрыть нищеты (SW, 2:308–309; см. также 356)²⁸.

Истинным объектом этих городских мозаик, по сути, намекающих на абсолютно упорядоченное и изолированное существова-

27. См. короткую политическую аллегорию *Möwen* («Чайки»), входящую в цикл *Nordische See* («Северное море») и опубликованную в сентябре 1930 г. в *Frankfurter Zeitung* (GS, 4:385–386).

28. О загадочных картинках, или ребусах (*Vexierbild*), ср. «Сон-китч» (SW, 2:4) и AP, папка G1,2; I1,3; J60,4.

ние, деполитизированное вездесущими «развлечениями» и внутренне регламентированное рамками готовых «ценностей», служат материализация отношений между людьми и свойственное им отчуждение: «Сегодня не найдется такого класса, чьи мысли и чувства были бы сильнее отчуждены от конкретной реальности их повседневного существования, чем класс офисных служащих». Перед лицом этой коллективной адаптации к негуманной стороне современного социального строя автор выражает презрение к случайным наблюдениям и грубой фактографии «репортажа», этого отпрыска «Новой вещественности», и вместо этого «диалектически вторгается» в изучаемые им жизни, овладевая языком этого класса и тем самым раскрывая его идеологическую основу перед своим сатирическим взглядом. Подобно старьевщику (типично бодлеровский мотив), он бродит до самого рассвета в задумчивой отрешенности, подбирая «обрывки речи» и порой упуская «тот или иной из этих выцветших лохмотьев — „гуманность“, „сущность“, „поглощенность“, насмешливо трепыхающихся на ветерке».

Таким образом, признаком «серьезной буржуазной литературы» служит серьезная поглощенность пристальным чтением и лингвистическими раскопками, которой учит школа подражания. Эта поглощенность находит образцовое выражение в «принципиальной публичности частной жизни — полемическом всеприсутствии... практикуемом сюрреалистами во Франции и Карлом Краусом в Германии» (SW, 2:407). Подобная литературно-полемическая ангажированность, отличающаяся как от журналистского «мнения», так и от практической партийной политики, фактически стирает различие между политической и неполитической литературой, в то время как грань между радикальной и оппортунистической литературой выделяется более четко. По крайней мере именно такая цель ставилась перед полемикой, начатой в 1930–1931 гг. Беньямин стремился дополнить эти откровенно политические эссе изданием запланированного сборника литературной критики, на который в апреле 1930 г. заключил новый договор с Ровольтом взамен старого договора 1928 г. В первые месяцы года он напряженно работал над предисловием к этому сборнику, которое носило временное название «Задача критика» и должно было состоять из трех главных частей: задача и техника критики, упадок критики и эстетики и постсуществование произведений искусства (см.: GS, 6:735; см. также: SW, 2:416). В состав сборника предполагалось включить ранее изданные эссе Беньямина о Келлере, Гебеле, Хесселе, Вальзере, Грине, Прусте, Жиде, сюрреализме и задаче переводчика, а также большое эссе о Карле Краусе,

к написанию которого он приступил в марте 1930 г., и два еще не написанных эссе — «Романист и рассказчик» и «О югендсти-ле» (см.: GB, 3:525n)²⁹. Однако из-за произошедшего год спустя банкротства *Rowohlt Verlag* этим планам Беньямина тоже не было суждено осуществиться.

1930–1931 гг. не только стали для Беньямина периодом необычайно высокой продуктивности в сфере критики: с них началась эпоха его непрерывных размышлений о сущности критики наподобие тех, которым он предавался в начале 1920-х гг. В своих заметках о теории литературной критики, относящихся ко второму из этих периодов, он указывает на «упадок литературной критики со времен романтизма» (SW, 2:291) и вину за это отчасти возлагает на журналистику. По его мнению, в основе последней лежат «тесные взаимоотношения между дилетантизмом и коррупцией» («Парижский дневник», SW, 2:350). В частности, посредством жанра рецензий как такового со свойственной ему бессистемностью и общей нехваткой интеллектуального авторитета (иными словами, отсутствием теоретических основ) «журналистика убила критику» (SW, 2:406)³⁰. Вообще говоря, время эстетики в ее традиционной внеисторической форме прошло, и теперь в свете атомизации современной критики требуется «маневр через материалистическую эстетику, которая позволит поместить книги в контекст их эпохи. Такая критика приведет нас к новой, динамичной, диалектической эстетике», образцом для которой может послужить правильная *кинокритика* (SW, 2:292, 294)³¹. Развод критики и истории литературы следует аннулировать, с тем чтобы первая могла стать основой для второй, ее «фундаментальной дисциплины» (SW, 2:415). Эта трансформация истории литературы включает и слияние комментариев с полемикой, то есть экзегетического и стратегического, происходящих в произве-

29. Относительно двух последних названий см. «Рассказчик» (SW, 3:143–166; Озарения, 345–365) и AP, папка S. Этот сборник эссе по литературной критике так никогда и не был издан.

30. В дневниковой записи, сделанной в августе 1931 г., Беньямин выдвигает предположение о том, что по мере «литературизации условий существования», посредством которой произведение обретает свой голос, газета могла бы стать основой для возрождения печатного слова, упадку которого она сама же прежде способствовала (см.: SW, 2:504–505; ср. 527, 741–742). Об идее Брехта о «полностью литературизованной жизни» см.: Wizisla, *Walter Benjamin and Bertolt Brecht*, 206; см. также ниже в данной главе об эссе Беньямина 1931 г. «Карл Краус».

31. В своем жизнеописании, составленном в начале 1928 г., Беньямин аналогичным образом говорит о произведении искусства как об «обобщенном выражении религиозных, метафизических, политических и экономических тенденций своей эпохи» (SW, 2:78). О предложенной Беньямином теории кино см. главу 6.

дении событий и суждений о них, в критике, «чья единственная среда — жизнь, продолжающаяся жизнь самих произведений» (SW, 2:372). В этой формулировке Беньямин опирается на один из своих ключевых литературно-исторических принципов — принцип постсуществования произведений, впервые провозглашенный в его диссертации 1919 г. о концепции критики в немецком романтизме (где традиционная история литературы отстает перед историей проблем). В то же время он возвращается к категориям «реального содержания» и «истинного содержания», тесно связанным с концепциями «комментария» и «критики», как объясняется в его эссе 1921–1922 гг. «„Избирательное сродство“ Гёте». Он обращается к обеим этим идеям, предъявляя к критике требование «научиться смотреть изнутри произведения», то есть выявлять в произведении скрытые взаимосвязи. Ведь осветить произведение изнутри означает изложить, «каким образом в произведении осуществляется взаимопроникновение истинного содержания и реального содержания» (SW, 2:407–408). Беньямин добавляет, что именно этого проникновения вглубь произведения не хватает почти ничему из того, что называется марксистской критикой. Внутри произведения такие традиционные эстетические апории, как спор по поводу формы и содержания, перестают существовать, и сама по себе сфера искусства остается за спиной.

В этом контексте Беньямин пользуется своеобразным термином, который встречается и у Адорно: «сжатие» (*Schrumpfung*)³². Утверждается, что сжатие — закон, управляющий движением вещей во времени; точнее говоря, он определяет «вхождение истинного содержания в реальное содержание» (SW, 2:408, 415–416). В этой связи Беньямин указывает на двоякий процесс: с одной стороны, ход времени превращает произведение в «руины», а с другой стороны, его «деконструирует» критика. Как Беньямин указывал в эссе о Гёте, реальное содержание и истинное содержание, изначально объединенные в произведении искусства, с течением времени оказываются разделенными, и крити-

32. Беньямин ссылается на эссе Адорно 1930 г. «Новые ритмы». См.: Adorno, *Night Music*, 104–117, особенно 106–107: «Произведения сжимаются и сокращаются с течением времени [*schrumpfen in der Zeit ein*]; их различные элементы приближаются друг к другу». См. также: “Arnold Schoenberg, 1874–1951”, in Adorno, *Prisms*, 171, об «усыхающем языке» (*geschrumpften Diktion*) Шенберга. Беньямин использовал этот термин уже в эссе 1927 г. о Готфриде Келлере (которое рассматривается в главе 6) и в протоколе 1928 г. об употреблении гашиша (ОН, 53). Впоследствии этот мотив фигурирует в «Горбате чловеке» (ВС, 121; БД, 99). Ср. также *Walter Benjamin's Archive*, 49: «Память... уменьшает вещи, сжимает их» (из ранее не опубликованной рукописи) и «Берлинскую хронику» (SW, 2:597).

ческое прочтение должно извлечь истину из подробностей реального содержания, ставших непонятными. В более поздних заметках о теории критики Беньямин обозначает деконструкцию текста словом *Abmontieren*, буквально означающим «раззять, разделить на части»³³. (Это брехтовский термин, родственные терминам *Demontierung* — «разборка» и *Ummontierung* — «обратная сборка», используемым в связи с преобразующей критической функцией произведений Брехта; см. SW, 2:559, 369–370, по поводу Карла Крауса: 436, 439). В одно и то же время и деструктивная и конструктивная сила критики, дополняющая силу времени, сжимает произведение искусства и упаковывает его в «микрoзон — в высшей степени сконцентрированное, но многогранное отражение исторической эпохи, рождающееся в ней вместе с той эпохой, в которой оно было воспринято и возрождено»³⁴. Это отнюдь не то же самое, что сведение произведения искусства к историческим фактам, свойственное марксистской критике. Беньямин имеет в виду внутреннее преобразование произведения, осуществляемое при его прочтении. Главная проблематика восприятия — вопрос существования и воздействия (*Wirkung*) произведений, их репутация, их перевод, их участь — получает убедительную формулировку в конце относительно малоизвестного эссе «Литературная история и изучение литературы», опубликованного Беньямином в апреле 1931 г. в *Die literarische Welt*, примерно за три года до начала работы над более известным манифестом материалистической эстетики «Эдуард Фукс, коллекционер и историк». В своем эссе об истории литературы Беньямин утверждает, что история восприятия произведения составляет одно целое с историей его сочинения, потому что воспринимаемое произведение «внутренне превращается в микрокосм или, собственно говоря, в микрoзон». Таким образом оно может превратиться в «органон истории»:

Ведь речь идет не о том, чтобы представлять произведения литературы в связи с их временем, а о том, чтобы в том времени, в которое они возникли, представлять то самое время, которое

-
33. Не следует путать *Abmontieren* с термином *Abbau*, которым пользуются Гуссерль и Хайдеггер, хотя он тоже переводится как «деконструкция». О беньяминовском *Abbau der Gewalt* («деконструкция насилия») см.: GS, 2:943 (1919–1920), и С, 169. См. также: GS, 1:1240 (1940), о беньяминовском *Abbau der Universalgeschichte* («деконструкция всемирной истории»).
34. Ср. об объекте коллекционирования как «магической энциклопедии» и о пассаже как «мире в миниатюре» в AP, 207, 3. Подобные явления исторической инкапсуляции в данном тексте и в других работах Беньямина подпадают под общую рубрику «монадологии». См. также: EW, 197 (1915) о «фокальной точке» и SW, 1:225 (1919–1920) о «мельчайшей всеобщности».

их стремится познать, то есть наше время. Тем самым литература становится органом истории, и сделать ее таковым, а не превращать литературу в материальную область истории и есть задача истории литературы (SW, 2:464; MB, 428).

В глазах Вальтера Беньямина и прочих левых интеллектуалов кризис в критике и изящной словесности — позже Беньямин говорил о «кризисе в науке и искусстве» (С, 370) — представлял собой одну из сторон общего кризиса социальной жизни.

Летом 1930 г. перед Беньямином маячила возможность обратиться свои размышления о критике в нечто осязаемое: они с Брехтом договорились о совместном основании журнала, который должен был называться *Krisis und Kritik*. Идея такого журнала, выросшего из неугасающей веры в то, что литература пусть косвенно, но способна сыграть свою роль в «изменении мира», восходила к беседам Беньямина и Брехта, начавшимся весной 1929 г. Летом 1930 г., когда Беньямин выступил на радио с передачей «Берт Брехт» и издал во *Frankfurter Zeitung* свой первый комментарий к Брехту — об отрывках из *Versuche* («Опыты»), при Брехте и Беньямине сложился «очень тесный критико-читательский кружок», чья повестка дня включала «уничтожение» Хайдеггера, в 1927 г. издавшего книгу «Бытие и время»³⁵. В этом контексте план по основанию журнала стал обретать более конкретные очертания. К сентябрю Беньямин добился от своего издателя Эрнста Ровольта согласия стать издателем их журнала, и в редсовете издательства прошли формальные дискуссии (с присутствием стенографиста) с целью создания организационных рамок и выработки реальной программы журнала. Ровольт принял решение о том, чтобы редактором журнала стал театральный критик и драматург Герберт Ихеринг, а соредакторами — Беньямин, Брехт и Бернхард фон Брентано, друг Брехта и берлинский корреспондент *Frankfurter Zeitung*³⁶.

В начале октября в письме Шолему Беньямин изображает себя ключевой фигурой на переговорах по изданию нового жур-

35. См.: С, 365; см. также: 359–360, где Хайдеггер упоминается в связи с «теорией исторических знаний». Этот читательский кружок, по-видимому, распался, прежде чем успел взяться за Хайдеггера. Текст радиопередачи Беньямина о Брехте см.: SW, 2:365–371; его первый брехтовский комментарий: 374–377.

36. О неудачной попытке основания журнала в 1930–1931 гг. см. главу 3 («Krise und Kritik») в Wizisla, *Walter Benjamin and Bertolt Brecht*, 66–97; Вицисла, *Беньямин и Брехт*, 135–198. В ее названии используется более популярная форма “Krise” (вместо “Krisis”), которой явно отдавал предпочтение издатель Ровольт. О протоколах дискуссий в редсовете (всего были запотоколированы пять из них) см.: Wizisla, *Walter Benjamin and Bertolt Brecht*, 190–203 и 69п; Вицисла, *Беньямин и Брехт*, 382–405 и примечание на с. 144–145.

нала, причем с характерным для него уважением к прозорливости своего друга утверждает, что принял участие в этом проекте с опаской, памятуя о случившейся девятью годами ранее неудаче с его первым журнальным проектом *Angelus Novus*:

Я расчистил путь к одобрению плана издателем Ровольтом, объявив себя представителем журнала с точки зрения его организационной стороны и содержания, определившихся в ходе долгих бесед с Брехтом. Формально это будет не журналистика, а научное и даже академическое издание, называющееся *Krisis und Kritik*. Итак, я добился от Ровольта полного согласия с этим планом; теперь встает серьезный вопрос, удастся ли объединить людей, которым есть что сказать... Помимо этого, предстоит затруднения, неизбежные при сотрудничестве с Брехтом. Разумеется, я полагаю, что если кто-либо и способен [воздействовать] на него, так только я один (С, 368).

В придачу Ровольт потребовал, чтобы материалы для журнала имели «ярко выраженную левую» ориентацию (как будто ему нужно было об этом беспокоиться!). В рамках своих организаторских инициатив Беньямин в октябре-ноябре 1930 г. составил программный «Меморандум по поводу журнала *Krisis und Kritik*», в котором перечисляет 26 потенциальных авторов, включая Адорно, Кракауэра, Карла Корша, Дьердя Лукача, Роберта Музиля, Альфреда Деблина, Зигфрида Гедиона, Пауля Хиндемита, Курта Вайля, Эрвина Пиксатора и Златана Дудова. Он даже внес в этот список имена Готфрида Бенна и Фридриха Гундольфа, которых едва ли можно было назвать образцами прогрессивного мышления³⁷. Несомненно, этот проект черпал импульс из одновременных политических успехов национал-социалистов, в частности их неожиданного успеха на выборах в германский рейхстаг в середине сентября. Было необходимо что-то противопоставить влиянию таких организаций, как союз *Kampfbund für deutsche Kultur* («Союз борьбы за немецкую культуру»), созданный в 1928 г. Альфредом Розенбергом, Генрихом Гиммлером и Георгом Штрассером для борьбы с «культурным большевизмом» и художественным авангардом (частым нападкам со стороны этого союза подвергались Ле Корбюзье и Бау-

37. Меморандум Беньямина напечатан в GS, 6:619–621; см. также 827, где приводится список авторов. Имена Деблина, Хиндемита, Музиля и кинорежиссера Дудова впоследствии были вычеркнуты, а у имени Кракауэра был поставлен знак вопроса. Кракауэр присутствовал на собрании редколлегии журнала в ноябре, и, как он впоследствии писал Адорно, уровень дискуссии показался ему «дилетантским» (цит. по: Wizisla, *Walter Benjamin and Bertolt Brecht*, 90; Вицисла, *Беньямин и Брехт*, 192).

хауз). Осенью Беньямин даже отправился на собрание штрассеровских штурмовиков, входивших в состав оппозиционной национал-социалистической фракции, руководство которой было уничтожено Гитлером в июне 1934 г. во время «Ночи длинных ножей»; в октябре он сообщал Brentano, что на этом собрании стал свидетелем «дебатов, в какой-то степени захватывающих» (GB, 3:546–547).

В своем меморандуме по поводу *Krisis und Kritik* Беньямин выступает за то — и эта позиция по сути совпадала с его юношескими философскими взглядами 16-летней давности: чтобы журнал носил «политический характер... но не партийный политический характер». Производство интеллектуальной продукции в данный момент неотделимо от концепции классово-борьбы, но интеллект и искусство не следует ставить на службу узким политическим целям³⁸. Критическая деятельность журнала должна быть привязана к четкому осознанию «критической ситуации, в которой оказались основы современного общества». Эта оговорка указывает на этимологически обусловленное понимание терминов «кризис» и «критика»: во главу угла была поставлена идея о критической, или решающей, поворотной точке, подобно тому, как говорят о кризисе в ходе болезни. В этот момент требовалась *мыслительная* интервенция — стратегия, посредством которой буржуазная интеллигенция могла дать себе самой отчет (журнал подчеркнуто не назывался «органом пролетариата»). В ходе редакционных дискуссий, проходивших осенью 1930 г., Беньямин говорил о необходимости в «перечислительном стиле письма», который в противоположность беллетристике и журналистике воплощал бы в себе дух опыта распознавания и оценки³⁹. Единственной работой самого Беньямина для журнала поначалу должно было стать эссе о романисте Томасе Манне, видевшем в себе представителя буржуазии авторе «Волшебной горы», которая пятью годами ранее неожиданно произвела на Беньямина ошеломляющее впечатление.

В конце июля, после того как предварительные дискуссии по поводу журнала завершились, Беньямин отправился в про-

38. В письме, отправленном в феврале 1931 г. Брехту, Беньямин выражается несколько иными словами: «Цель журнала — вносить вклад в пропаганду диалектического материализма, рассматривая с его точки зрения те вопросы, которые буржуазная интеллигенция вынуждена признать как вопросы, наиболее типичные для нее самой» (С, 370). О неоднозначном отношении Беньямина к коммунистической партии см. главу 6.

39. См.: Wizisla, *Walter Benjamin and Bertolt Brecht*, 206. В ходе той же самой дискуссии Беньямин поставил цель, достижимую только посредством революции, «полной литературизации жизни» (р. 206).

должительный морской круиз по Скандинавии, выполняя желание, высказанное им два года назад. Он пересек Северный полярный круг и добрался до Северной Финляндии, а на обратном пути встретился со своими старыми друзьями Фрицем и Юлой Радт в польском курортном городке Сопот, где находилось одно из его любимых казино. На борту судна он написал короткий прозаический цикл «Северное море», переводил Марселя Жуандо и читал первый том «Разума как противника души» Людвиг Клагеса, сочтя эту книгу «великой философской работой», несмотря на «неуклюжий метафизический дуализм» Клагеса и его подозрительные политические наклонности (С, 366)⁴⁰. Пожалуй, самым многообещающим из того, что случилось в этом круизе, было начало переписки Беньямина с Гретель Карплус (впоследствии вышедшей замуж за Адорно). Из норвежского Тронхейма Беньямин послал ей открытку с куртуазным посланием, характерным для первых лет их дружбы: «Как только Берлин остался позади, мир стал просторным и красивым, и в нем на пароходе в две тысячи тонн, кишашем разномастными туристами, даже нашлась каюта для вашего тихо радующегося слуги. Прямо сейчас он может любоваться чудной пожилой дамой с усиками, которая загорает в шезлонге на корабельной террасе — ведь это, конечно же, терраса, пусть даже здесь фьорд, а не бульвар, — поставив рядом с собой чашку кофе и занимаясь своим рукоделием. Так примите эту простую вышивку, предназначенную нам в качестве салфеточки на нашу дружбу, этот знак старой привязанности со стороны неустрашимого путешественника» (GB, 3:534–535). Однако впоследствии он признавался Шолему, что ему в этом плавании было слишком одиноко и приходилось слишком много работать, вследствие чего круиз не доставил ему большого удовольствия.

Вернувшись ранней осенью в Берлин, Беньямин поселился в квартире на Принцрегентенштрассе, 66, которую снял у писательницы и художницы Евы Бой, полагая, что это жилье станет для него еще одним временным пристанищем. Однако в итоге вышло так, что эта новая квартира на южной окраине Баварского квартала, где обитали некоторые из наиболее известных еврейских семей Берлина, стала для Беньямина последним берлинским адресом. Он был приятно удивлен плюсами своего но-

40. Во время этого круиза Беньямин, возможно, работал над переводом рассказа Жуандо *La Bergère 'Nanou'* («Пастушка Нану») из книги *Prudence Hautechautte* (1927) — этот перевод в апреле 1932 г. был опубликован в *Die literarische Welt*. «Северное море» было напечатано в сентябре 1930 г. в *Frankfurter Zeitung* (GS, 4:383–387).

вого жилища — двумя тихими комнатами в том же коридоре, где жили его кузен по материнской линии Эгон Виссинг и его жена Герт. В последние годы перед тем, как им всем пришлось бежать из своей родной страны, Беньямин очень сблизился с Виссингами. Они принимали участие в ряде опытов с наркотиками (см.: ОН, 57–70), а Беньямин, похоже, некоторое время был увлечен Герт Виссинг, которая в ноябре 1933 г. умерла в Париже от пневмонии (см.: ГВ, 4:309). В этой квартире на пятом этаже дома на Принцрегентенштрассе, 66, имелся кабинет, выходивший окнами на заливавшийся зимой каток и достаточно просторный для того, чтобы там поместилась вся библиотека Беньямина в 2 тыс. книг, которую осенял акварельный *Angelus Novus* Клее. Беньямин даже собирал коллекцию пластинок для подаренного кем-то граммофона, доставлявшего ему большое удовольствие. Как отмечает Шолем, «это было в последний раз, когда ему удалось собрать все вместе» (SF, 178; ШД, 290). Решив вопрос с жильем, Беньямин наконец нашел возможность чаще видеться со своим 12-летним сыном Штефаном. Он сообщал Шолему о том, как они вместе с сыном слушали пластинку, на которой пел сам Брехт, и что сказал мальчик по поводу колючего брехтовского стиля мышления и речи (см.: ГВ, 3:542).

Той осенью и зимой Беньямин был очень занят рецензиями и радиопередачами — «дел очень много», писал он Адорно, — в дополнение к работе над замышлявшимся журналом и планировавшимся сборником эссе. Помимо двух этих проектов Ровольта, в итоге оставшихся нереализованными, невоплощенным остался еще один проект: Беньямин, понукаемый Адорно и Максом Хоркхаймером, планировал прочесть лекцию «Философия литературной критики» (такое название предложил Адорно) во франкфуртском *Institut für Sozialforschung* (Институте социальных исследований), директором которого в октябре стал Хоркхаймер. Однако в начале ноября смерть матери вынудила Беньямина отложить эту лекцию, и она так и осталась непрочитанной. В это время он также работал внутренним рецензентом у Ровольта, играя роль консультанта на последних этапах рецензирования рукописей, а в издательстве *Piper Verlag* наконец выходил сделанный им и Хесселем перевод романа Пруста «У Германтов», третьей части цикла «В поисках утраченного времени».

Смерть матери, случившаяся 2 ноября, судя по всему, не стала для Беньямина серьезным потрясением, особенно в сравнении с психологической бурей, которую четыре года назад вызвала в его душе смерть отца. Однако это событие сильно сказалось на его финансовой стабильности. В 1926 г. после смер-

ти отца Беньямин получил значительное наследство: каждому из трех детей Эмиля Беньямина досталось по 16 805 рейхсмарок, или около 4 тыс. долларов в ценах 1930 г. Кроме того, Беньямин получил разовую выплату в 13 тыс. рейхсмарок в обмен на отказ от своей доли, которая не должна была превышать определенную сумму, в случае продажи виллы на Дельбрюкштрассе. Развод вызвал дальнейшие осложнения: Беньямин был вынужден заложить свою долю виллы за 40 тыс. марок с тем, чтобы заплатить долг жене. (В конце концов его бывшая жена на полученную ею львиную долю наследства Беньямина выкупила дом у его брата и сестры, и вилла оставалась в ее владении и в начале 1930-х гг.)

Несмотря на свою крепнущую репутацию в качестве критика и заключение союзов с такими новыми партнерами, как Брехт, Беньямин по-прежнему стремился к новым интеллектуальным связям, которые могли бы пригодиться ему при его разнообразных интересах. В декабре он послал свою книгу о барочной драме консервативному политическому философу Карлу Шмитту, чей трактат «Политическая теология. Четыре главы о концепции суверенитета» (1922) стал для него важным источником, и приложил к этой посылке короткое письмо, в котором говорилось: «Вы быстро поймете, сколь многим эта книга с помещенным в ней изложением представлений XVII в. о суверенитете обязана вам» (GB, 3:558; см. также: SW, 2:78). В порядке обоснования своей собственной работы в сфере философии искусства он ссылаясь на более свежую работу Шмитта, посвященную политической философии. Хотя нам неизвестно, что ответил Шмитт, в его библиотеке после его смерти был найден экземпляр книги Беньямина с многочисленными пометками; Шмитт несколько формально пользуется идеями из книги Беньямина в своей работе 1956 г. «Гамлет или Гекуба»⁴¹.

Сам Беньямин только что получил книгу избранных произведений венского архитектора-протомодерниста Адольфа Лооса, отправленную ему ее составителем, историком искусства Францем Глюком, братом Густава Глюка, близкого друга Беньямина. В середине декабря в благодарственном письме Францу Глюку Беньямин указывал на значение воззрений и творчества Лооса для своей нынешней работы (см.: GB, 3:559). Лоос был другом и «товарищем по оружию» (как называет его Беньямин) венского сатирика Карла Крауса (1874–1936); его сло-

41. См.: Schmitt, *Hamlet or Hecuba*, 59–65 (приложение 2). Шмитт вопреки Беньямину утверждает, что «Гамлет» Шекспира не является христианским произведением ни в каком конкретном смысле.

ва приводятся в ключевых местах мощного эссе о Краусе, работа над которым, начатая Беньямином в марте предыдущего года, затянулась почти на год. Это эссе, в марте 1931 г. напечатанное четырьмя выпусками в *Frankfurter Zeitung*, посвящено Густаву Глюку (до 1938 г. — директору зарубежного отдела Имперского кредитного банка в Берлине), в некоторых отношениях послужившему образцом для «Деструктивного характера» Беньямина, написанного ближе к концу того года, и коренному венцу, который был вхож в окружение Карла Крауса и, возможно, представил ему Беньямина⁴². Беньямин читал прозу и поэзию Крауса, первоначально публиковавшуюся в его журнале *Die Fackel* («Факел») по крайней мере с 1918 г.; он смотрел и слушал пользовавшиеся популярностью выступления Крауса на сцене и по радио, когда тот читал свои собственные произведения или отрывки из Шекспира, Гёте или из либретто оперетт Оффенбаха, и напечатал четыре короткие заметки о Краусе⁴³. Нарисованный им портрет этого человека и его «эксцентричного отражения» не соответствует образу Крауса, поднимавшемуся на щит его почитателями, — образу «этической личности», хотя в целом в изображении Беньямина он предстает образцом более истинного гуманизма.

В глазах Беньямина Краус служил воплощением стихийных сил — названия частей его эссе говорят сами за себя: «Всечеловек» (*Allmensch*), «Демон», «Недочеловек» (*Unmensch*), а деятельность Крауса в сфере критики представлялась Беньямину разновидностью «каннибализма», уничтожающего различие между личным и объективным. Иными словами, Краус, пользуясь своим «миметическим гением», подражает предметам своей сатирической критики с тем, чтобы разоблачить их, овладеть ими изнутри и тем самым поглотить их. Он «разбирает» ситуацию для того, чтобы вскрыть тот вопрос, который действительно ставит ситуация. (Мы встречаем эту терминологию и в других литературно-критических проектах Беньямина того времени, в частности, в его работах о Кракауэре и Брехте.) Беньямин рисует яркую картину выступления Крауса — его яростные жесты, напоминающие жесты ярмарочного зазывалы, его «ошелом-

42. Шолем описывает Густава Глюка как «человека необычайно благородного характера, глубокой образованности, но при этом — что до некоторой степени необычно в таких кругах — у него отсутствовали литературные амбиции и он был совершенно свободен от тщеславия» (SF, 180; ШД, 293).

43. См.: SW, 1:469; УОД, 69–70; SW, 2:110 («Карл Краус читает Оффенбаха», 1928); SW, 2:194–195 («Карл Краус (Фрагмент)», 1928); GS, 4:552–554 (рецензия на драму Крауса «Непобедимый», 1929). Эссе 1931 г. «Карл Краус» см.: SW, 2:433–458; Озарения, 317–344.

ляющий взгляд сводника, наполовину тупой, наполовину ослепительный», который внезапно падает на пораженную аудиторию, «приглашая ее на проклятую свадьбу с масками, в которых она не узнает сама себя». Тем самым выявление испорченности и фальши венского общества одновременно становится миметической само(де)маскировкой, парадоксальным процессом, в котором задействована вся личность сатирика и в ходе которого раскрывается его подлинное лицо, вернее, его «подлинная маска». Родство полемического искусства Крауса с доведенным венским экспрессионизмом — Краус родился в один год с Арнольдом Шенбергом — проявляется в его нарочито демонических инструментовках «идиосинкразии», представляющей собой его «основной критический орган». Прежде чем экспрессионизм вошел в моду, говорит Беньямин, он оставался последним историческим прибежищем для личности.

«То, насколько личное и деловое» совпадает в Краусе, видно из того, каким образом он делает свое собственное частное существование, в первую очередь его первобытно-тварные и плотские аспекты, достоянием общности; меланхолическому гедонизму противопоставляется поглощающая его космополитическая прямота. В этом заключается секрет его личного полемического авторитета, неизменно опирающегося на глубокое внимание к поднятой теме. Историческая память искупает частную совесть в полубезумном радостном причитании. Несомненно, эти парадоксы до крайности обострила извечная борьба Крауса с прессой, поскольку здесь шла речь об осуждении журналистики, выходящей из-под пера «великих журналистов»: «Только Бодлер ненавидел, как Краус, самодовольство человеческого здравого смысла и компромисс, который заключали с ним люди духа, стремясь найти в журнализме источник существования. Журнализм — это предательство литератора, духа и демона» (SW 2:446; Озарения, 331–332).

Беньямин в своей собственной критике печати явно был многим обязан Краусу с его расчленением «пустой фразы» — орудия, посредством которого журналистика перерабатывает реальность и обесценивается язык эпохи массовой коммуникации. Деспотическая актуальность коммерческого газетного мира парализует историческое воображение, лишая общественность способности к вынесению суждений, и тем более к сожалениям. Краус, яростно критикуя «ложную субъективность», особенно осуждает такие тенденции, как «фельетонизм» (восходящий к Гейне) и «эссеизм» (восходящий к Ницше), — тенденции, к которым был явно причастен и он сам. Однако «глубокое взаимопонимание между его слушателями и моделями»

никогда не впускалось им в свои слова, хотя время от времени, отмечает Беньямин, оно прорывается в его улыбке и в тварном «гудении», в которое превращается сама его речь во время выступлений.

Краус истребляет противника, цитируя его. В своих статьях, стихотворениях и пьесах он предстает как мастер цитирования — искусства, которое практиковал сам Беньямин, используя кавычки и обходясь без них, в литературном монтаже проекта «Пассажи». Краус «даже газету» делает «подходящим источником цитат». Цитирование как важнейшая полемическая процедура, никогда не являющаяся у Крауса второстепенной функцией, служит одной из точек соприкосновения между ним и Брехтом. В цитировании сплетаются создание и разрушение. Иными словами, цитируемые слова изымаются или вырываются из первоначального контекста, извлекаются, подобно коллекционируемому предмету, и возрождаются в матрице нового текста, становясь при этом материалом для импровизации подобно тому, как старая мода становится материалом для новой⁴⁴. Цитируемый материал не просто призывается на службу, так сказать, «пробуждается к жизни» и сохраняется, но и оценивается, и благодаря этому скорому суду вся история способна отразиться в единственной новости, в единственной фразе, в единственном объявлении. В подобных эфемеридях Краус высматривает образ человечества, при всем его нравственном банкротстве. Он постоянно ссылается на классический гуманизм с его представлениями о природе и о естественном человеке и осуществляет свою миссию разрушения, служа более двусмысленному, лишенному корней, космополитическому гуманизму, тому, который обуздывает демона. Согласно знаменитой формулировке Беньямина, «недочеловек стоит [среди нас] как вестник реального гуманизма». Так называемым материалистическим гуманизмом (*der reale Humanismus*) навеяны слова Маркса, процитированные в конце эссе о Краусе, слова, в которых идея о планетарной индивидуальности преодолевает буржуазное противопоставление публичного частному: «Только тогда, когда действительный индивидуальный человек... в своей эмпирической жизни, в своем индивидуальном труде, в своих индивидуальных обстоятельствах становится представителем вида... только тогда осуществляется человеческая эмансипация». Такая эмансипация — и здесь мы снова встречаемся с мотивами юношеской философии Беньямина, так гром-

44. См. в главе 6 о цитатах в проекте «Пассажи».

ко заявляющими о себе в конце второй части эссе, — означает конец права и рождение справедливости в состоянии «анархии», когда отсутствует какая-либо внешняя власть: «Анархия как единственно моральное, единственно достойное человека мировоззрение».

К сожалению, реакция Карла Крауса на эссе Беньямина в точности соответствовала нарисованному им персонажу — жестокому и даже деспотичному сатирику. В середине мая 1931 г. в *Die Fackel* Краус мимоходом упомянул это эссе: «Все, что я на самом деле понял в этой работе, несомненно доброжелательной, а также, по-видимому, тщательно продуманной, — то, что в ней говорится обо мне и что ее автор, судя по всему, знает обо мне много такого, о чем я прежде не подозревал, такого, что я не вполне понимаю даже сейчас; остается лишь надеяться на то, что другие читатели окажутся понятливее меня. (Не исключено, что тут замешан психоанализ.)» Последнее замечание, возможно, представляющее собой отсылку к знаменитому изречению Крауса «Психоанализ — симптом болезни, лекарством от которой он якобы является», выглядит легкомысленным, если не беспричинно злобным, и наверняка Беньямину было особенно больно его читать. В июне он писал Шолему, который первым указал ему на эти слова из *Die Fackel*: «Как бы там ни было — от реакции Крауса неразумно было бы ожидать ничего, кроме того, что есть; надеюсь, что и моя реакция окажется в сфере разумно предсказуемого: а именно, я никогда больше о нем писать не буду» (цит. по: SF, 175; ШД, 285). И он сдержал свое слово.

Первую половину января 1931 г. Беньямин провел там же, где и год назад: в Париже, где он продолжал укреплять свои контакты с французскими писателями. После возвращения в Берлин он сразу же оказался втянут в конфликт, разгоревшийся в связи с *Krisis und Kritik*. Внутренние разногласия и внешние проблемы начали преследовать этот проект еще до того, как Беньямин отбыл в Париж. Они с Брехтом предвидели, как сложно будет объединить разнородную группу мыслителей и художников, но питали надежду на то, что их собственные аргументы возьмут верх. Но в итоге попытка навести мосты между всеохватной «буржуазной» концепцией и односторонней «пролетарской» концепцией оказалась тщетной. Вопреки стремлению Беньямина и Брехта к тому, чтобы объявлять художника в первую очередь *социально* ответственным за техническо-конструктивный аспект искусства, другие члены редсовета, включая журналиста Альфреда Куреллу (прежде вместе с Беньямином участвовавшего в молодежном движении во Фрайбурге, а теперь функцио-

нера коммунистической партии), выступали за строго идеологический подход. Дело дошло до того, что в декабре 1930 г. в разговоре с Брехтом Беньямин выразил намерение выйти из редколлегии журнала⁴⁵. По возвращении из Парижа, обнаружив, что ситуация не улучшилась, в феврале 1931 г. он написал Брехту о том, что отказывается от должности соредактора журнала. Ни одна из трех статей, предназначавшихся для первого номера — их авторами были Brentano, Курелла и покойный Георгий Плеханов, — не могла быть отнесена к числу тех «фундаментальных работ», для публикации которых, по представлениям Беньямина, и создавался журнал; эти статьи, не лишённые достоинств, все же в большей степени отвечали «требованиям журналистской реальности», чем требованиям научного анализа. Если в журнале будут публиковаться такие эссе, писал Беньямин, то «мое участие в его редактировании будет равнозначно подписанию прокламации. Но я никогда не имел в виду ничего подобного». Однако он по-прежнему желал сотрудничать с журналом и был готов написать что-нибудь для первого номера, если Брехт будет нуждаться в материале (С, 370–371; GB, 4:16). Но включение его имени в список редакторов, по его мнению, было несовместимо с его интеллектуальной добросовестностью. После дезертирства Беньямина проект журнала держался на плаву еще несколько месяцев, пока неожиданное банкротство *Rowohlt Verlag* не положило конец всем разговорам о *Krisis und Kritik*.

Крах журнального проекта никак не отразился на политических мнениях Беньямина. По сути, в первую очередь его занимал вопрос не о том, какой политической позиции требует момент, а о том, как обеспечить соответствие между этой позицией и своим творчеством. Увидев в начале марта рецензию Макса Рихнера на книгу Бернарда фон Brentano *Kapitalismus und schöne Literatur*, он поспешил отправить Рихнеру самое откровенное изложение своей новой политической платформы, какое когда-либо выходило из-под его пера (С, 371–373). Это письмо, копия которого в тот же день была отправлена Шолему, наводит мост (*Vermittlung*) — вообще говоря, весьма сомнительный — между занимаемой Беньямином «очень конкретной позицией по отношению к философии языка» и «тем, как смотрит на мир диалектический материализм». Он утверждал, что этот поворот

45. Беньямин упоминает этот разговор в письме Брехту, написанном в феврале 1931 г. (С, 370), но из письма Шолему от 5 февраля следует, что по крайней мере в течение месяца после разговора с Брехтом Беньямин не исключал своего участия в редактировании журнала (см.: GB, 4:11).

к материалистическому способу восприятия произошел у него не под влиянием «коммунистических брошюр», а скорее из-за раздражения, которое вызывало у него самодовольство некоторых «„представительных“ работ, порожденных буржуазией за последние 20 лет» (в этом контексте он упоминает Хайдеггера). И именно в этой связи он делает заявление о том, что книга о барочной драме, написанная еще не с материалистических позиций, тем не менее уже придерживалась диалектического подхода. Таким образом, говоря о «материалистических размышлениях», Беньямин имел в виду не какие-либо определенные догмы или мировоззрение, а скорее позицию (*Haltung*), точку зрения — тяготение мышления к «тем объектам, в которых истина каждый раз выступает на передний план в наиболее концентрированном виде». Как выражается здесь Беньямин, законность таких объективных взглядов проистекает из возможности постижения «истинных условий нашего нынешнего существования», благодаря чему каждый подлинный контакт познающего с философско-историческими знаниями превращается в самопознание. Эта характерная аргументация только что прозвучала в эссе о Краусе, на которое Беньямин ссылается в письме Рихнеру. Это ощущение плотности истины, того, что смысл материи распадается на множество иерархических уровней, составляет связь между материализмом и теологией:

Материалистическая *позиция* с научной и человеческой точки зрения представляется более продуктивной по отношению ко всему, что волнует нас, чем позиция идеалиста. Попытаюсь выразить это вкратце: я никогда не был в состоянии проводить исследования и думать в каком-либо ином смысле, помимо, если угодно, теологического, а именно в соответствии с талмудическим учением о 49 уровнях смысла в каждом фрагменте Торы. А судя по моему опыту, в самой избитой из коммунистических банальностей содержится больше *иерархических смыслов*, чем в современном буржуазном глубокомыслии.

В письме Рихнеру Беньямин отвечает на то, в чем он явно видел не более чем «несложный вызов». Однако, отправляя письмо Шолему, он совершенно сознательно подливал масла в огонь. Шолем уже выражал свое недовольство «материалистической» точкой зрения Беньямина в эссе о Краусе; как минимум он не разделял идею о том, что классовая борьба дает ключ к пониманию истории. В письме от 30 марта 1931 г. из Иерихона он превосходит обычную прямоту своих посланий Беньямину (который неоднократно пытался успокоить разгневанного друга своими ответами) и дает полную волю своему раздражению личным,

политическим и религиозным поведением Беньямина. Шолем обвиняет его ни много ни мало как в самообмане и предательстве своих собственных взглядов: «Я вижу досадное расхождение и несоответствие между твоим *истинным* и *мнимым* образом мысли... Твои собственные солидные познания растут из... метафизики языка... Но твоя упрямая попытка втиснуть [эти знания] в рамки, в которых [они неожиданно объявляют себя] плодом материалистических соображений... оставляет на твоём творчестве печать авантюренности, двусмысленности, а в некоторых случаях даже неискренности» (С, 374). Разумеется, для Беньямина двусмысленность никогда не была признаком путаницы и тем более безответственности, представляя собой скорее фактическое условие для занятий философией в современном мире. Невозможно встретив фронтальную атаку со стороны Шолема, он воздержался от «политических высказываний», которые надеялся спровоцировать его друг, отметив только, что шолемовские аргументы *ad hominem* по сути затрагивают ту самую проблематику, которая в данный момент занимала его и других. К этому он добавлял — отчасти примирительно (он все еще принадлежит к буржуазии), отчасти с вызовом (он не сионист), — что не питает иллюзий в отношении местоположения своей производственной базы в берлинском Вильмерсдорф-Весте: «Самая передовая цивилизация и самая „современная“ культура — не только важные стороны моего личного комфорта, но и в какой-то мере попросту мои средства производства» (С, 377).

Поздней весной 1931 г. Беньямина снова охватила жажда странствий. Дни с 4 мая по 21 июня он провел во Франции, на этот раз на Ривьере, в обществе своих друзей Шпайеров и родственников Виссингов; они останавливались в Жуан-ле-Пэн, Сен-Поль-де-Ванс, Санари, Марселе и Ле-Лаванду. В последнем из этих мест в начале июня они встретили Брехта и его свиту друзей и сотрудников: Каролу Неер, Эмиля Гессе-Бурри, Элизабет Гауптман, Марию Гроссман и Бернарда и Марго фон Брентано. Как будто окружение Брехта было недостаточно многолюдным, вскоре поблизости поселились Курт Вайль и Лотте Ленья. Эта поездка, южный воздух и безбрежное небо над головой в какой-то мере вернули Беньямину экспансивность, которая ранее посещала его на Капри. В путевом дневнике «Май-июнь 1931 г.» (SW, 2:469–485) зафиксированы его мысли на различные темы, от литературного стиля Хемингуэя и современного стиля интерьеров до способности изображения остановить то, что вечно пребывает в движении; в этом дневнике, явно не предназначенном для посторонних глаз, Беньямин отмечал и такие вещи, как визит в казино в Ницце и то, как в су-

мерки он шел по горной дороге вслед за симпатичной девушкой, то и дело нагибавшейся, чтобы сорвать цветок. Новообретенная экспансивность порой подталкивала его к откровенности: он рассказывал Герт и Эгону Виссингам о том, что в его жизни были «три большие любви» (Дора, Юла Кон и Ася Лацис), пробуждавшие в нем «трех разных людей», ибо, как он отмечал, истинная любовь делает его в чем-то *похожим* на свою возлюбленную.

Некоторые дневниковые записи того времени указывают на то, что эта открытость была очень далека от простой жизнерадостности или беззаботности. Чувство свободы и даже возбуждения, ненадолго посетившее его год назад при известии о расторжении брака, сменилось хронической депрессией, и его часто посещали мысли о самоубийстве. Порой остается в тени тот факт, что время с весны 1931 г. по лето 1932 г., когда Беньямин часто думал покончить с собой, совпало с периодом самого глубокого отчуждения в отношениях между ним и его бывшей женой. Потребовать развода его побудила не только надежда жениться на Асе Лацис, но и ужас перед «демоническими» силами, управляющими его браком. Тем не менее разрыв с Дорой лишил Беньямина единственного надежного источника стабильности и поддержки — как эмоциональной, так и интеллектуальной. В отсутствие балласта, роль которого с самого начала выполняла Дора, Беньямина тянули на дно его собственные уязвимые места.

Однако, как ни странно, недовольство своей жизнью и отношениями с окружающим миром — в контексте и «борьбы за деньги», и безнадежной культурно-политической ситуации в Германии, — сосуществовало с чувством выполнения его самых заветных желаний. Шолем отмечает, что письма Беньямина того времени свидетельствуют о его внутреннем спокойствии перед лицом внешних проблем. На этой сложной ноте открывается и дневник «Май-июнь 1931 г.». Беньямин чувствует усталость от той борьбы, которую ему приходится вести, и в то же время не испытывает сомнений в отношении своей участи:

Неудовлетворение [своей жизнью] включает растущее отвращение, так же как и недостаток доверия к тем методам, которые на моих глазах выбирают в подобной ситуации люди моего типа, чтобы одержать верх над безнадежной ситуацией в германской культурной политике... И с тем, чтобы в полной мере дать представление об идеях и побуждениях, заставивших меня вести этот дневник, мне достаточно лишь намекнуть на растущее во мне желание расстаться с жизнью. Это желание порождено не приступом паники, но при всей глубине его связи с моей усталостью от борьбы на экономическом фронте оно было бы немислимо,

если бы не чувство того, что я прожил жизнь, в которой уже исполнились мои наизветнейшие мечты — мечты, которые, следует признать, я лишь сейчас начал осознавать как изначальный текст на странице, впоследствии покрытой письменами моей судьбы [*Schriftzügen meines Schicksals*] (SW, 2:469–470).

Далее следует короткое рассуждение о желаниях (которое вскоре после этого будет воспроизведено в биографических произведениях Беньямина более формального характера), но к вопросу самоубийства он в этом дневнике больше не возвращается.

На этом мрачном горизонте выделяются проходившие в Ле-Лаванду разговоры Беньямина с Брехтом, который то флиртовал, то бушевал. Как обычно, они обсуждали самых разных авторов — Шекспира, Шиллера, Пруста, Троцкого, а также касались предмета, который Беньямин называл «своей излюбленной темой»: жилища (*das Wohnen*). Но самый большой вызов был брошен Беньямину рядом дискуссий о Кафке: он как раз читал недавно изданный посмертный сборник рассказов Кафки, готовясь к передаче, которая должна была состояться 3 июля на франкфуртском радио. Собственно, эта передача — *Franz Kafka: Beim Bau der Chinesischen Mauer* («Франц Кафка: как строилась Китайская стена») (SW, 2:494–500), во многом основывалась на спорах, проходивших в Ле-Лаванду. Хотя Беньямин и не повторяет заявление Брехта о том, что Кафка — единственный настоящий большевистский писатель, он, похоже, берет на вооружение и интерпретирует некоторые идеи Брехта о Кафке, в частности идею о том, что «единственной темой» у Кафки служило изумление новым мироустройством, в котором он не чувствовал себя как дома. В мире Кафки, — пишет Беньямин, — современный человек обитает в своем теле так же, как К., главный персонаж «Замка», живет в деревне: «как чужак, изгой, не ведающий о законах, соединяющих его тело с высшими и более обширными структурами». Замечание Беньямина о том, что рассказы Кафки «беременны моралью, которая так и не рождается на свет», и что эта неспособность Закона возникнуть в качестве такового неотделима от проявлений милосердия в прозе Кафки, предвещает аргументацию великого эссе о Кафке 1934 г., как и дальнейшие высказывания Беньямина о творчестве этого автора⁴⁶.

46. Ср. точку зрения Беньямина в *Kavaliersmoral* (сентябрь 1929 г.), его первом опубликованном тексте о Кафке: «Творчество Кафки, исследующее самые темные стороны человеческой жизни... скрывает в своих глубинах эту теологическую загадку, внешне производя впечатление простоты, безыскусности и скромности. Столь же скромным было и само существование Кафки» (GS, 4:467).

Беньямин без колебаний заимствовал у Брехта все, в чем испытывал потребность, а тот, в свою очередь, как будто бы не имел ничего против; в конце концов «плагиат», например у Шекспира и Марло, являлся составной частью брехтовской драматургии. Но когда Адорно в своей лекции «Актуальность философии», прочитанной 2 мая во Франкфурте по случаю его вступления в должность, воспользовался идеей из книги о барочной драме, а именно «безынтенционным» характером реальности как объектом философии, и не указал автора, Беньямин заявил решительный протест. По сути, научная карьера Адорно поначалу опиралась на сознательные заимствования из работ Беньямина. Прямая отсылка к книге о барочной драме едва ли была единичным случаем: вся эта лекция явно была многим обязана творчеству Беньямина, как и важное раннее эссе Адорно «Идея о естественной истории», а из его хабилитационной диссертации «Кьеркегор: создание эстетики» видно, что автор находился в процессе поиска собственного голоса и в то же время продолжал пользоваться интеллектуальными принципами своего друга. Следует сказать, что Адорно не пытался отрицать свой долг: темой его первого семинара во Франкфурте стала книга Беньямина о барочной драме. Как вспоминал Эгон Виссинг после смерти Беньямина, его кузен однажды сказал: «Адорно был моим единственным учеником»⁴⁷. Адорно и Беньямин встретились во Франкфурте где-то в начале июля, по-видимому, тогда, когда Беньямин прибыл туда, чтобы вести радиопередачу о Кафке, и они говорили о лекции Адорно, экземпляры которой тот послал Беньямину, Кракауэру и Блоху. В тот момент Беньямин не считал, что Адорно был обязан сослаться на книгу о барочной драме.

Однако, вернувшись в середине июля в Берлин, он более внимательно ознакомился с текстом лекции и, поговорив с Блохом, который все-таки был признанным специалистом по использованию идей Беньямина, изменил свою позицию. 17 июля он отправил Адорно письмо, процитировав в нем тот отрывок из его лекции, в котором утверждается, что задача философии состоит в интерпретации безынтенционной реальности посредством создания фигур или образов из отдельных элементов реальности, и отметив:

Я подписываюсь под этим предложением. Но я не мог бы написать его, не сославшись на введение к книге о барочной драме,

47. Цит. по недатированной открытке из собрания Мартина Харриеса, подписанной одной лишь буквой Э. и сообщающей о преждевременном отбытии «Лотте». Ее автор — несомненно, Виссинг; Лотте — Лизелотте Карплус, сестра Гретель Карплус Адорно и вторая жена Виссинга.

где впервые была высказана эта абсолютно уникальная и — в том относительном и скромном смысле, в каком можно утверждать подобное, — новая идея. Что касается меня, то я был бы не в состоянии обойтись в этом месте без какой-либо ссылки на книгу о барочной драме. Нужно ли добавлять, что если бы я был на вашем месте, то это было бы тем более справедливо (ВА, 9).

Незамедлительный ответ Адорно не сохранился, но о его тональности можно судить по заключительным словам следующего письма Беньямина к Адорно: «Я не испытываю какого-либо возмущения или чего-либо хотя бы отдаленно подобного, как вы, возможно, опасались, и... в личном плане и по существу дела ваше последнее письмо дало полный ответ на все возможные вопросы». Хотя этот мелкий эпизод вскоре был предан забвению, он дает представление о напряжении, с самых первых дней скрывавшемся под поверхностью их взаимоотношений — даже в тот момент, когда поток идей между Беньямином и Адорно однозначно представлял собой улицу с односторонним движением.

Лето в Берлине неожиданно принесло с собой попытку примирения между Беньямином и его бывшей женой — к большому удовольствию Штефана. Начало этому было положено неожиданным приглашением на ланч на Дельбрюкштрассе, где присутствовал также их общий знакомый, американский писатель Джозеф Хергсхаймер, чей роман «Горная кровь» Доре предстояло переводить в следующем году и которого она должна была сопровождать в рекламной поездке. Хергсхаймер был автором известных рассказов и романов, включая книги «Кроткий Дэвид» (1917) и «Мыс Ява» (1919), и Беньямин испытывал к нему глубокое уважение. Это осторожное возобновление контактов с семьей в последующие годы обернулось для Беньямина очень существенными материальными последствиями. Кроме того, тем же летом перед Беньямином неожиданно забрезжила надежда устроиться при университете: друг Адорно, музыкант и писатель Герман Граб, весьма проникшийся творчеством Беньямина, запросил и получил представительную подборку его произведений. Граб передал ее Герберту Цисаржу, специалисту по барокко, неоднократно цитируемому в книге о барочной драме, с тем, чтобы тот по возможности подыскал Беньямину место при Карловом университете в Праге. О реакции Цисаржа нам ничего не известно, однако эта, как и все предыдущие и последующие попытки устроить Беньямина в университетском мире, окончилась ничем.

Даже такие позитивные события не могли вернуть Беньямину эмоционального равновесия. В августе он вел дневник,

озаглавленный «Дневник с 7 августа 1931 г. по день моей смерти». Подобно дневнику за май и июнь, он начинается с упоминания о замысле самоубийства (хотя после первого абзаца больше об этом не говорится ни слова):

Едва ли этот дневник окажется очень длинным. Сегодня пришел отрицательный ответ от Киппенберга [главы издательства *Insel*, в отношении которого Беньямин надеялся, что здесь будет издана его книга, посвященная столетию смерти Гёте], и это придает моему плану актуальность, которую может гарантировать лишь тщета усилий... Но если что-либо способно укрепить решимость — и даже спокойствие, с которым я думаю о своем намерении, то лишь прозорливое, достойное применение, найденное последним дням или неделям моей жизни. Только что прошедшие недели в этом отношении оставляют желать лучшего. Не будучи способен ничем заняться, я лишь лежу на диване и читаю. Я часто впадаю в такую глубокую задумчивость к концу страницы, что забываю переворачивать ее. Мои мысли почти всецело заняты моим планом — я размышляю о том, насколько он неизбежен, где его лучше осуществить — здесь, в кабинете, или в отеле, — и т. д. (SW, 2:501).

Судя по всему, эта, как он выражался, «растущая готовность» к самоубийству представляла собой новое явление в его жизни, хотя можно сказать, что идея покончить с собой не оставляла его по меньшей мере с момента самоубийства его друзей Фрица Хайнле и Рики Зелигсон в августе 1914 г.⁴⁸ Их смерть оставила неизгладимый отпечаток на его воображении, нашедший непосредственное выражение в цикле сонетов, написанных им в память о юном поэте. В памяти у Беньямина сохранилась картина похожего на мавзолей *Sprechsaal* с лежащим в нем телом Хайнле. Попытка самоубийства представляется тем «секретом», который стоял за предложенным Беньямином истолкованием «Избирательного сродства» Гёте; в той главке «Улицы с односторонним движением», которая называется «Цоколь», речь идет о трупе «этого человека, который был замурован там и должен был показать: кто бы здесь ни жил, не должен быть на него похож»; а в первой главке «Берлинского детства на рубеже веков» ребенок «чувствует себя на своей лоджии... словно в заранее сооруженном для него мавзолее» (SW, 1:445; 3:346;

48. Однако см. трогательное письмо от 15 июля 1941 г., написанное по-английски бывшей женой Беньямина Дорой Шолему, в котором указывается, что Беньямин испытывал суицидальные побуждения по крайней мере еще в 1917 г. Это письмо частично приводится в главе 11, а полностью — в Garber, "Zum Briefwechsel", 1843. О проявлениях подобных настроений в июне и июле 1932 г. речь идет далее в этой главе.

УОД, 14; БД, 14). На протяжении следующего десятилетия идея самоубийства стала играть определяющую роль в теории модерна, развиваемой в «Пассажах» и в работах Беньямина о Бодлере (где говорится, что модернизм существует под знаком самоубийства). Что же касается «плана», придуманного летом 1931 г. и следующим летом едва не осуществленного в номере отеля в Ницце, то он воплотился в жизнь лишь в 1940 г., когда Беньямин чувствовал за спиной дыхание гестапо и *физические* обстоятельства существования сделались настолько отчаянными, что вопрос уже заключался не в исполнении плана, а в выходе из чрезвычайной ситуации. Возможно, наилучшим показателем того, как Беньямин в 1931 г. относился к вопросу о самоубийстве, служит заключительная фраза из «Деструктивного характера», опубликованного в ноябре во *Frankfurter Zeitung*. Будучи тем, кто пользуется пространством, но не обладает им и всегда стоит на распутье, «деструктивный характер живет не потому, что жизнь стоит того, а потому, что на самоубийство жалко усилий» (SW, 2:542; Озарения, 262).

Несмотря на это, Беньямин активно работал. С апреля 1931 г. по май 1932 г. он издал во *Frankfurter Zeitung* серию из 27 отобранных им писем за 1783–1883 гг., на которые пришлась эпоха расцвета европейского буржуазного класса. Беньямин написал к ним короткие вступительные комментарии, но под этими публикациями не стояло его имени. Эта серия, будучи плодом его давнего интереса к буржуазному письму как литературному жанру, легла в основу книги *Deutsche Menschen* («Люди Германии»), в 1936 г. изданной Беньямином под псевдонимом в Швейцарии. В связи с газетной публикацией писем Беньямин написал для радио выступление «По следу старых писем», в котором в характерном для него духе утверждается, что разница между живым человеком и автором, личностью и содержанием, частным и объективным с течением времени постепенно теряет значимость и потому воздать должное единственному важному письму означает проникнуть в самую душу его автора, причем речь идет отнюдь не о его психологии: «чем глубже историк погружается в прошлое, тем сильнее психология, характерная для... поверхностных и дешевых персонажей, подвергается девальвации, и тем решительнее выходят на передний план вещи, даты и имена» (SW, 2:557). Вопрос снова сводится к передаче «живой традиции».

В число других заметных публикаций лета и осени 1931 г. входили эссе «Я распаковываю свою библиотеку», изданное в *Die literarische Welt* в июле, и статья «Поль Валери. К 60-летию со дня рождения», напечатанная в той же газете в ок-

тябре (см.: SW, 2:486–493, 531–535; МВ, 433–444, 235–242). Первая из них, подобно изданной годом ранее «Еде», представляющая собой хороший пример большого таланта Беньямина как эссеиста, включает фрагменты из «Пассажей» (папка Н), в которых рисуется портрет коллекционера почти вымершего типа, чьи тесные отношения со своими сокровищами выходят за рамки товарного обмена и который, подобно физиономусту в мире вещей, исследует «хаос воспоминаний», пробуждаемых предметами из его коллекции. Во второй, в которой Валери при всем его отрицании пафосного «человеческого начала» изображается представителем передового этапа старого европейского гуманизма, содержатся любопытные размышления о концепции *poésie pure*, поэзии, в которой идеи вырастают из музыки голоса подобно тому, как из моря вырастают острова. Еще один текст, первый вариант статьи «Что есть эпический театр? Этюд о Брехте», осенью был отвергнут *Frankfurter Zeitung* после нескольких месяцев редакционных проволочек вследствие вмешательства со стороны работавшего в газете правого театрального критика Бернхарда Дибольда; эта работа при жизни Беньямина осталась неопубликованной. Но еще более досадной неприятностью было банкротство *Rowohlt Verlag*, объявленное в начале лета 1931 г. и похоронившее запланированный сборник литературных эссе, на который Беньямин возлагал столько надежд.

Самой удачной из публикаций Беньямина того сезона была восходящая к работам о русском кино и предвещающая ключевые положения эссе 1935–1936 гг. «Произведение искусства...»⁴⁹ «Краткая история фотографии», напечатанная тремя выпусками в *Die literarische Welt* в сентябре и октябре (см.: SW, 2:507–530; ПИ, 66–91). Давний интерес Беньямина к фотографии двумя годами ранее получил новый импульс благодаря возобновлению контактов с Ласло Мохой-Надем, а также дружбе с фотографами Сашей Стоуном в Берлине и Жерменой Круль в Париже. Эта статья выдвинула Беньямина на лидирующие позиции среди ранних теоретиков фотографии, обозначив в качестве предмета его интереса «философские вопросы, поднятые взлетом и падением фотографии». По его мнению, расцвет фотографии пришелся на ее доиндустриальную фазу, а точнее — на первое десятилетие, и такие последующие мастера, как Эжен Атже, Август Зандер и Мохой-Надь, лишь сознательно обновляли и пе-

49. Фрагменты о разных видах природы и об «оптически-бессознательном» (SW, 2:510, 512; ПИ, 71), а также об ауре как о «странном сплетении места и времени» (SW, 2:518–519; ПИ, 81) практически дословно воспроизводятся в эссе «Произведение искусства...».

реосмыслили традиции Надара, Джулии Маргарет Камерон и Дэвида Октавиуса Хилла. Прослеживая корни традиций в фотографии, Беньямин не только воздавал им должное, но и бросал вызов распространенному мнению о том, что течение «Новый взгляд», широко представленное на грандиозной выставке Немецкого веркбунда *Film und Foto*, проводившейся в 1929 г. в Штутгарте, представляло собой решительный разрыв с традиционными практиками.

В качестве отправной точки для своего анализа Беньямин выбирает таинственное очарование ранней фотографии, особенно групповых и индивидуальных портретов, этих «прекрасных и недоступных» образов человеческих ликов, дошедших из той эпохи, когда фотографии все еще была присуща атмосфера безмолвия. Источником «ауры» ранних фотографий служит именно эта атмосфера — Беньямин пользуется здесь термином *Hauchkreis*, напоминая о первоначальном смысле греческого слова *aura* («дыхание»), — окружающая фотографируемых персонажей. Людей на ранних снимках «окружала аура, среда, которая придавала их взгляду, проходящему сквозь нее, полноту и уверенность». Своим существованием эта аура была обязана не только длительной экспозиции, которая придавала запечатленным лицам обобщенное выражение, более характерное для живописи, но и резким светотеням на изображении, проявляющимся «в абсолютной непрерывности перехода от самого яркого света до самой темной тени», которая сообщает этим фотографическим инкунабулам физиогномическое своеобразие, глубину и изысканность, сопоставимые лишь с теми, какие присущи персонажам и их окружению в фильмах Эйзенштейна и Пудовкина. Однако расцвет коммерческой фотографии и создание более светосильных объективов привели к «вытеснению тени» на снимке, и эта аура исчезла со снимков «точно так же, как аура исчезла из жизни с вырождением империалистической буржуазии». Эта теория «упадка ауры» в грядущие годы будет играть все более заметную роль во взглядах Беньямина на искусство.

Именно такие свойства, зависящие от техники съемки, как аура, способны активировать восприятие новых «изобразительных миров», скрытых в фотоснимках. «Магическая сила» старых снимков порождает «неудержимое влечение, принуждающее его искать в таком изображении мельчайшую искорку случая, здесь и сейчас, которым действительность словно прожгла характер изображения, найти то неприметное место, в котором в так-бытии [*Sosein*] той давно прошедшей минуты будущее продолжает таиться и сейчас, и при том так красно-

речиво, что мы, оглядываясь назад, можем его обнаружить»⁵⁰. Эта идея, согласно которой толчком к углубленным познавательным способностям может стать что-то неприметное и второстепенное, идет ли речь о тексте или об изображении, восходит к ранним произведениям Беньямина. Она присутствует уже в эссе 1914–1915 гг. «Жизнь студентов», где мы читаем, что история «сконцентрирована в фокусе» и что «элементы этого конечного состояния [*Endzustand*]... глубоко вошли в каждую эпоху как творения и мысли, со всех сторон подверженные опасностям, опороченные и осмеянные» (EW, 197; Озарения, 9), и легла в основу такой фундаментальной концепции, выдвинутой в его последующих работах, как «истинное содержание» произведения искусства. В 1931 г. эта принципиальная тенденция, присущая воззрениям Беньямина, привела его к идее об «оптически-бессознательном», то есть о том, что «природа, обращенная к камере, — это не та природа, что обращена к глазу; различие прежде всего в том, что место пространства, освоенного человеческим сознанием, занимает пространство, освоенное бессознательным». То «образное пространство», о котором впервые заходит речь в эссе о сюрреализме, здесь начинает принимать конкретные очертания. Это пространство не способно существовать в образном режиме, порождаемом капиталистическим социальным механизмом; если мы хотим перестроить коллектив, то восприятие новых образных миров должно происходить в рамках новых гибких возможностей для того, чтобы видеть и делать, создаваемых такими современными техническими средствами, как фотография и кино.

Отчасти именно в качестве ответа на эту «удушающую» атмосферу, сложившуюся в конце XIX в. в традиционной коммерческой фотографии с ее персонажами, тщательно составленными среди колонн и драпировок, сумрачным тоном и искусственной аурой, Атже и разработал свой метод конструктивного разоблачения и дезинфицирования, посредством которого «снял грим» с действительности. Отвернувшись от достопримечательностей и знаменитых панорам города, он подробно запечатлевал безыскусную повседневность — «его интересовало забытое и брошенное», так же, как будет делать сам Беньямин, редактируя собственные снимки «исторических обломков» в «Пассажах». Точно так же представитель следующего поколения Зандер в своих работах избегает приукрашивания и показывает типичное лицо времени (*Anlitz der Zeit* — так назы-

50. Benjamin, *The Work of Art in the Age of Its Technological Reproducibility*, 276–277; ПИ, 70–71.

вался изданный в 1929 г. альбом снятых Зандером портретов, имеющих социологическую направленность). Подобное чистое, холодное, микрологическое изображение, предшествующее «целительному отчуждению», которого добивается сюрреалистическая фотография, обеспечивает «освобождение объекта от ауры, которая составляла несомненное достоинство наиболее ранней фотографической школы». Этот незаметный поворот в аргументации, влекущий за собой неоднозначное отношение к такому феномену, как «аура», снова встретится в эссе более программного характера — «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости». Фотография и содействует материализации отношений между людьми, и разрушает ее, уничтожая уникальность и в то же время вскрывая тайное и мимолетное, способствуя становлению того, что Бодлер называл «современной красотой»⁵¹.

В начале октября 1931 г. будущее казалось очень мрачным — и не только для Бенямина. «Основа германского экономического строя, — писал он Шолему, — надежна не более, чем бурные волны столкновений между стихиями и чрезвычайными указами. Безработица готова сделать революционные программы столь же отставшими от жизни, как от нее уже отстали экономические и политические программы. По всей видимости, безработные массы избрали в качестве своих представителей национал-социалистов; коммунисты еще не наладили необходимых контактов... Всякий, кто еще имеет работу, в силу одного этого факта уже принадлежит к рядам рабочей аристократии. Громадный класс живущих на пособия... возникает среди безработных — пассивный мелкобуржуазный класс, среда которого — азартные игры и безделье» (С, 382). Он сухо отмечает, что его собственная профессия имеет тот плюс, что работа есть всегда, даже если тебе не платят. Не имея ни малейших финансовых резервов, ему до сих пор удавалось перебиваться изо дня в день. И если ему удалось произвести на свет пару крупных эссе, требовавших предварительных исследований, то это произошло благодаря не только его суровой целеустремленности, но и помощи со стороны друзей, «снова и снова делающих все, что в их силах» (GB, 4:53). В тот момент он занимал небольшую комнату в пансионе «Батавия» на Мейнекештрассе, поскольку Ева Бой вернулась из Мюнхена и ей на несколько недель понадобилась ее квартира. Помимо визитов Штефана в его жизни

51. См.: AP, 22, где говорится, что на понятии «современной красоты» держится вся бодлеровская теория искусства, и 671–692 (папка Y, «Фотография»), где собраны материалы о Надаре и фотографии XIX в.

«нет ничего приятного»: «Мне становится все труднее переносить сжатие пространства, в котором я живу и пишу (не говоря уже о пространстве для размышлений). Долгосрочные планы абсолютно невозможны... и бывают дни и даже недели, когда я не имею ни малейшего понятия, как же мне быть» (С, 384). Его настроение не могли поднять даже случайные и скромные дополнительные источники заработка, такие как предложение составить опись крупнейшей частной книжной коллекции, принадлежавшей одному из его любимых авторов — Георгу Кристофу Лихтенбергу.

Однако в конце месяца он вернулся в квартиру на Принцрегентенштрассе — его «коммунистическую ячейку», где он любил работать лежа на диване в окружении 2 тыс. книг его библиотеки и стен, украшенных «только изображениями святых». Тональность его переписки с Шолемом становится более жизнерадостной: «Хотя я не имею ни малейшего представления о том, „что нас ждет“, у меня все отлично. Можно сказать — и, несомненно, отчасти в этом повинны мои материальные затруднения, — что я впервые в своей жизни ощущаю себя взрослым [ему в то время было 39]. Не просто уже не юным, а выросшим в том смысле, что я почти реализовал один из множества присущих мне способов существования» (С, 385). Он подчеркивал эту ницшеанскую тему изменчивого «я» в одной из «фигур мысли» из «Коротких теней I»: «...так называемый внутренний образ собственного существа, который мы носим в себе, меняется от минуты к минуте, как чистая импровизация» (SW, 2:271; Озарения, 271). Портрет Беньямина — или по крайней мере одну из его импровизаций — в тот период его жизни нам оставил Макс Рихнер, редактор *Neue schweizer Rundschau*, обедавший с ним в ноябре 1931 г.: «Я смотрел на массивную голову сидящего напротив меня человека и никак не мог отвести взгляда — ни от его глаз, едва заметных, спрятавшихся за стеклами очков и то и дело словно бы пробуждавшихся, ни от его усов, призванных отрицать молодость лица и похожих на два флажка какой-то страны, которую я не мог опознать»⁵².

Как обычно, Беньямин работал над несколькими проектами одновременно: над серией писем для *Frankfurter Zeitung*, статьей «Некоторые интересные для человечества вещи о великом Канте», опубликованной в декабре в *Die literarische Welt*, и над изданным в той же газете в январе текстом «Привилегированное мышление», представлявшим собой разгромную рецензию

52. Puttnies and Smith, *Benjaminiana*, 33.

на книгу Теодора Геккера о Вергилии — традиционное христианское истолкование творчества этого поэта, тщательно избегавшее принципиального вопроса, встающего перед всеми современными интерпретаторами античных текстов: возможен ли в нашу эпоху гуманизм? (см.: SW, 2:574). Кроме того, Бенъямин в качестве судьи участвовал в открытом конкурсе на сценарий для звукового кино, прочитывая и оценивая, как он сообщал Шолему, примерно по 120 сценариев в неделю. По его представлениям, те немногочисленные журналы и второстепенные газеты, в которых публиковались его работы, представляли собой «анархическую структуру частного издательства», и далее в полупародийном ключе он похвалялся тем, что главная задача его «рекламной стратегии», состоявшая в том, чтобы издавать все им написанное, за исключением некоторых дневниковых записей, успешно выполнялась на протяжении «примерно четырех или пяти лет» (участь первого варианта эссе «Что есть эпический театр?» в тот момент еще не была решена). Но печальные настроения не замедлили вернуться. Когда Шолем отметил, что «Краткая история фотографии» родилась из пролегоменов к исследованию о пассажах, Бенъямин согласился с этим, философски пожав плечами: «Собственно... что еще бывает на свете, кроме пролегоменов и паралипоменов?».

В конце февраля 1932 г. Бенъямин писал Шолему о том, что работоспособность его не оставляет — «такая деятельность в десяти направлениях», — и о своем желании избавиться от того, что в своем следующем письме другу он называет «бесславной берлинской суетой» (цит. по: SF, 180; ШД, 294; С, 390). Он несколько облегчил себе жизнь, организовав разделение труда между сочиняющей «рукой» и «фонографом»: «...я все больше научаюсь беречь перо и руку для наиболее важных предметов, а все текущее для радио и газеты набалтываю в фонограф» (цит. по: SF, 180; ШД, 294). Некоторые материалы для газет все же были достойны написания вручную — об этом свидетельствует его замечание о том, что анонимные предисловия к письмам, опубликованным во *Frankfurter Zeitung*, были «написаны». С февраля по май помимо эссе-рецензии «Привилегированное мышление» он издал ряд других работ, включая две статьи о драматургическо-просветительских принципах брехтовского «Эпического театра», статью об архиве Ницше, собранном сестрой философа (два года спустя эта тема отчасти отразилась в фантастических и сатирических видениях мескалинового эксперимента [ОН, 94]), рецензию на драму Жида 1931 г. «Эдип» и плод сотрудничества с Вилли Хаасом, редактором *Die literarische Welt*, — «От гражданина мира к Haut-Bourgeois», снабженную

краткими комментариями подборку отрывков на политические темы из произведений писателей классической буржуазной эпохи, представлявшую собой своего рода приложение к серии писем. Кроме того, в эти месяцы Беньямин выступил на радио с несколькими передачами, свидетельствующими о том, что энергия его не оставляла, и написал и поставил несколько успешных радиопьес.

В январе и феврале в свободное время или урывками между другими занятиями он работал над записями, касавшимися его «жизни в Берлине» (цит. по: SF, 180; ШД, 294) и предназначенными для издания четырьмя выпусками в *Die literarische Welt* согласно договору, заключенному в октябре. Из этого скромного начала выросла не только самая обширная из его автобиографий — «Берлинская хроника», но и шедевр поздних лет его жизни — «Берлинское детство на рубеже веков». «Берлинская хроника» даже в черновом виде, в каком она дошла до нас, следует законам журналистики: она была в целом закончена к лету 1932 г. Вместе с тем история сочинения «Берлинского детства» была почти такой же длинной и запутанной, как и история проекта «Пассажи»: Беньямин продолжал работать над этим текстом до конца жизни, добавляя и редактируя те или иные главы и изменяя их порядок. Но зимой 1932 г. эта работа не мешала ему сетовать на упущенную, по его мнению, возможность: начинался столетний юбилей Гёте, «и я как один из двух-трех людей, которые как-то разбираются в предмете, конечно, не получил никаких заказов» (цит. по: SF, 181; ШД, 295). Косвенно намекая на возможность встретиться с Шолемом во время его грядущего пятимесячного визита в Европу, он заключает: «Планов я строить не могу. Если бы у меня были деньги, я бы удрал отсюда лучше сегодня, чем завтра». В итоге ему все-таки предложили внести свой вклад в юбилейные торжества: он получил заказ на две статьи: аннотированную библиографию важнейших работ о Гёте начиная с эпохи поэта и до нынешнего времени и эссе-рецензию на недавние работы о «Фаусте» — для специального номера *Frankfurter Zeitung*, посвященного Гёте.

Этот заказ принес ему достаточно денег для того, чтобы сбежать из Берлина. От своего старого друга Феликса Неггерата, «разностороннего гения», с которым Беньямин познакомился в 1915 г. в Мюнхенском университете, он услышал об уникальном курортном местечке на Балеарском архипелаге у восточного побережья Испании, девственном острове, обещающем нечто абсолютно противоположное его нынешнему существованию в столичном городе, и шанс жить практически даром. Возобновление контактов с Неггератом было лишь одним из неожи-

данных поворотов, случившихся в то время в жизни Беньямина. Оба они уже долгие годы жили в Берлине, но совершенно выпали из поля зрения друг друга; сейчас же хватило одного упоминания Неггерата об Ибице, чтобы Беньямин собрался и покинул Берлин ради первого из двух продолжительных визитов на этот испанский остров.

17 апреля он отплыл из Гамбурга в Барселону на торговом судне «Катания», которое почти сразу же попало в «очень бурную» погоду. Во время десятидневного плавания Беньямин открыл в себе «новую страсть», как он отмечает в посмертно опубликованных записках «Испания, 1932 г.». Это была страсть к собиранию «всяких фактов и сюжетов, какие только попадутся», с тем, чтобы понять, что можно из них извлечь, если «очистить их от всех смутных впечатлений» (SW, 2:645–646) — начинание, сопоставимое с интересом к анекдотам и тайнам в рамках исследования о пассажирах. Беньямин сблизился с капитаном и командой судна и за чашкой кофе или вангутеновского какао вытягивал из них самые разные сюжеты — от истории судходной компании, на которую они работали, до того, по каким учебникам готовятся к сдаче экзамена на рулевого, — и слушал матросские байки, записывая некоторые из них в блокнот. На Ибице он тоже выслушивал рассказы разных жителей острова и использовал некоторые из них в своих собственных текстах⁵³. Двумя такими текстами, созданными на основе рассказов, услышанных в море и на острове, являются «Носовой платок» и «Накануне отбытия» (см.: SW, 2:658–661, 680–683). Первый из этих текстов, опубликованный в ноябре во *Frankfurter Zeitung* и имеющий в качестве одной из своих тем «упадок устного рассказа» и отношения, в известной степени связывающие искусство рассказа не только с праздностью, но и с мудростью и «наставлениями» (в отличие от «объяснений»), непосредственно предшествует знаменитому эссе 1936 г. «Рассказчик».

Из Барселоны Беньямин переправился паромом на остров Ибица, самый маленький и (в то время) наименее посещаемый туристами из всех Балеарских островов, и там по прибытии в город Ибицу — столицу и главный порт острова, узнал от Неггерата, что они оба стали жертвами обмана. Неггерат не только навел Беньямина на мысль отправиться на Ибицу, но и, судя по всему, нашел способ, позволявший продлить его пребывание на острове, порекомендовав ему человека, обещавшего во время отлучки Беньямина снимать его берлинскую квартиру; этот же

53. См.: Valero, *Der Erzähler*, 36–58. Это издание представляет собой перевод работы *Experiencia y pobreza: Walter Benjamin en Ibiza, 1932–1933* (2001).

человек сдал Неггератам дом на Ибице, и те щедро пообещали Беньямину комнату. Беньямин немедленно согласился на эти условия и рассчитывал на получение ежемесячной суммы, которая позволила бы оплатить его жизнь в Испании. Однако его арендатор и домовладелец Неггерата оказался мошенником. Он прожил неделю в квартире Беньямина, а затем сбежал, скрываясь от полиции, которая арестовала его тем же летом. Помимо того что Беньямин остался без дохода, дом, который этот обманщик сдал Неггератам, вовсе не был его собственностью. После того как мошенничество раскрылось, Неггерат получил разрешение на то, чтобы в течение года жить бесплатно в запущенном каменном сельском доме на окраине деревни Сан-Антонио в обмен на обещание за свой счет привести это жилье в порядок, а Беньямин нашел квартиру с пансионом за 1,80 марки в день в «маленьком крестьянском доме в бухте Сан-Антонио. Он называется домом Фраскито и окружен фиговыми деревьями, а перед ним стоит мельница с поломанными крыльями»⁵⁴. Хотя ему пришлось смириться с «отсутствием какого-либо комфорта», а также по-прежнему платить за аренду своей берлинской квартиры, на Ибице ему было хорошо.

Примерно в середине мая Беньямин переселился к Неггератам, которым удалось приспособить для жилья старый сельский дом, много лет пребывавший в запустении. Этот маленький дом, называвшийся *Ses Casetes*, стоял на утесе, известном как Са-Пунта-дес-Моли, над бухтой Сан-Антонио. Дом состоял всего лишь из главной комнаты, или *porxo*, двух спален и кухни, и его обитателям — Неггерату, его жене Мариэтте, их взрослому сыну Гансу Якобу (студенту-филологу, писавшему диссертацию о диалекте жителей Ибицы) и самому Беньямину — было очень тесно в его стенах. Но Беньямину все это казалось идиллией: «Прекраснейшие виды открываются из моего окна, выходящего на море и на скалистый островок, чей маяк освещает мою комнату по ночам» (С, 392). Хотя на острове не было никаких современных удобств, таких как «электричество и масло, алкоголь и вода из крана, флирт и газеты» (С, 393), жизнь Беньямина вскоре подчинилась примерно такому же ритму, как и во время его долгого пребывания на Капри. Пейзажи на Ибице смутно напоминали каприйские и в то же время неуловимо отличались от них: белые дома и горные склоны, заросшие оливами, миндалем и фиговыми деревьями, были здесь почти такими же, как на Капри. Однако, как указывает Висенте Валеро, в 1932 г. поездка на Иби-

54. Selz, "Benjamin in Ibiza", 355.

цу для тех немногих иностранцев, которые добирались до этого острова, становилась путешествием в прошлое. Капри притягивал курортников по крайней мере еще с римских времен, и потому его повседневная культура, по крайней мере отчасти, диктовалась «чужестранцами»; Ибица же оставалась отрезанной от большинства модернизационных процессов, и примитивная экономика острова, основанная на разведении коз, не знала сельскохозяйственных машин. Как отмечал Беньямин в фельетоне «На солнце», опубликованном в декабре в *Kölnische Zeitung*, «там не проложено ни шоссейных, ни почтовых дорог, но нет вместо них и звериных троп. Здесь на сельских просторах пересекаются тропинки, по которым крестьяне, их жены, дети и стада столетиями ходят с одного поля на другое» (SW, 2:664).

Среди этих более или менее первозданных сельских пейзажей Беньямин обрел «внутреннее спокойствие» и встретил «красивых и безмятежных людей» (С, 390). Более того, прозаический этюд «Под солнцем» как будто бы отмечает начало нового этапа в отношениях Беньямина с миром природы. Его чувства пронизывает прежний ужас, причем даже более сокровенный, чем ранее, но теперь ему сопутствует нечто однозначно «южное», ощущение столь рассудочно личное и телесное, какой никогда не была возвышенная юношеская метафизика, и в полной мере воздающее должное непосредственным переживаниям самим способом описания — одновременно чувственным и медитативным, принимающим вид аллегорического репортажа. Запомнившийся Беньямину пейзаж с его обилием проявлений стихии полон символов и исторических свидетельств. Подобно столичным улицам, по которым любил бродить Беньямин, «земля здесь гулко звучит... [и] отзывается на каждый шаг». Соответственно, даже на первобытной Ибице Беньямин не покидает своего собственного естественно-исторического образного мира: «Вещи изменяются и переходят с места на место; ничто не сохраняется и ничто не исчезает. Однако из всего этого движения внезапно возникают имена; они безмолвно проникают в разум прохожего, и он распознает их, когда они обретают форму у него на губах. Они всплывают на поверхность. И для чего еще ему может быть нужен этот пейзаж?». Таким образом, рассказчик в итоге приводит читателя обратно к примечательному началу этого небольшого текста, в котором природа принимает облик зарождающегося шифра, слияния имен:

Говорят, на этом острове растет 17 видов фиг. Нужно узнать, говорит себе человек, идущий под солнцем, как они называются. Более того, нужно не только изучить травы и животных, придающих

острову его вид, его звучание и его запах; не только изучить горные слои и различные виды земли — от пыльно-желтой до фиолетово-бурой, с широкими алыми пятнами между ними; прежде всего нужно узнать их названия. Ведь разве не властвует в каждой местности уникальная совокупность растений и животных и разве каждое местное название — не шифр, за которым в первый и последний раз встречаются флора и фауна? (SW, 2: 662)

Тем не менее и этот тихий уголок средиземноморского мира (в деревне Сан-Антонио, отделенной от дома Неггератов бухтой, насчитывалось всего 700 жителей) уже был затронут волной модернизации: в портовом городке Ибиза, находившемся отсюда в 15 километрах, строился отель (см.: С, 390).

День Беньямина начинался в семь часов утра с купания в море, где «на всем протяжении берега не видно ни одного человека — в крайнем случае лишь парусная лодка на уровне глаз, над самым горизонтом» (С, 392). Покинув роскошное безлюдье пляжа, он располагался в лесу на поваленном дереве, чтобы принять солнечную ванну, или бродил без рубашки вдоль берега и по островной глубинке; он писал Гретель Карплус, что «ведет такой образ жизни, который столетние старцы объявляют репортерам секретом своего долголетия» (С, 392). Француз Жан Сельц, занимавший заметное место среди тех, с кем он познакомился на Ибизе, так вспоминал Беньямина с его своеобразной походкой во время этих прогулок по острову: «Коренастая фигура Беньямина и присущая ему известная германская тяжеловесность составляли разительный контраст с живостью его ума, которая так часто вызывала блеск в его глазах за стеклами очков... Беньямин передвигался не без труда; он не мог ходить быстро, зато был в состоянии ходить долго. Наши длинные прогулки по холмистой местности... еще больше удлинялись из-за наших разговоров, которые постоянно заставляли его останавливаться. Он признавался, что пешая ходьба мешает ему собраться с мыслями. Всякий раз, когда что-нибудь вызывало его интерес, он восклицал: "Tiens, tiens!" Это был сигнал о том, что он хочет подумать и нужно остановиться»⁵⁵. "Tiens-tiens" стало прозвищем берлинского философа среди небольшой колонии более юных немцев, гостивших в то время на острове. Местные жители за глаза называли его еще и "el miserable" («бедолага») по причине его откровенной бедности и печального облика»⁵⁶.

Помимо Неггератов и Жана Сельца с женой Беньямин на Ибизе почти ни с кем не общался. В Санта-Эулалии, на дру-

55. Selz, "Benjamin in Ibiza", 355–356.

56. См.: Valero, *Der Erzähler*, 119, 155.

гой стороне острова, жило несколько американцев, включая писателя Элиота Пола, разделявшего интерес Беньямина к авангардному искусству и бывшего соредактором важного парижского литературного журнала *transition*, но Беньямин держался от них на расстоянии. Время от времени он контактировал с несколькими немецкими эмигрантами, включая странную личность из Штутгарта по имени Йокиш, который приехал на Ибицу в конце 1920-х гг. и прежде жил в том самом домике на Са-Пунта-дес-Моли, который теперь занимали Неггераты и Беньямин, а теперь обитал в обществе двух женщин в горной деревушке Сан-Хосе на юго-востоке острова. Йокиш зарабатывал на жизнь рыбной ловлей, а также некоторое время занимался контрабандным вывозом ящериц, водившихся только в этой части Ибицы; кроме того, не исключено, что он работал на немецкую разведку — в любом случае, он был активным сторонником нацистов⁵⁷. Некоторыми эксцентричными чертами его личности Беньямин наделил ирландца О'Брайена в своем рассказе «Изгородь из кактусов» (см.: GS, 4:748–754). Более того, Беньямин получил представление об устных традициях островных крестьян, их сказках, легендах, песнях и поговорках, знакомясь с ними в пересказе сына Неггератов Ганса Якоба (которого звали Жан-Жак).

Другим плодом пребывания Беньямина на острове стал фрагментарный пролегомен, как он выражался, к «рациональной астрологии», предшествовавший его известной работе о миметических способностях, созданной в следующем году. В этом маленьком произведении он пишет о «лунных южных ночах», когда человек чувствует, как в нем оживают миметические силы, давно считавшиеся умершими. Подобные силы, по его мнению, были присущи былому авторитету астрологии, которая представляла собой физиогномику конфигураций небесных светил. Созвездия, выделявшиеся на ночном небе, являлись частью «мира подобий», и в древности отдельные люди и группы в принципе могли подражать небесным событиям. Эта древняя наука или техника подражаний свидетельствует о наличии «активной миметической силы, однозначно присутствующей в вещах», а также «миметических центров, возможно, в большом количестве имеющих в каждом существе». Должно быть, именно эта идея о первобытной миметической силе и «миметическом способе видения», тесно связанная с концепцией опыта как «живого подобия», сформулированной пример-

57. Ibid., 83–94.

но в то же время (см.: SW, 2:553), явилась Беньямину в 1932 г. среди безмятежных пейзажей Ибицы.

«Я упорно трудился в эти последние несколько недель», — писал он Шолему в письме от 25 июня, отправленном из Сан-Антонио (BS, 10). В отсутствие электрического света и пишущей машинки он пытался сохранять высокую работоспособность, чтобы как можно дольше продлить свое пребывание на острове и в то же время по-прежнему платить за берлинскую квартиру. Кроме того, он, как всегда, много читал: от «Пармской обители» Стендаля до автобиографии Троцкого и написанной им же истории Февральской революции (при чтении Троцкого у него «от возбуждения перехватывало дыхание»; С, 393), от «Буvara и Пекюше» Флобера и «Штехлина» Теодора Фонтане до *Épaves* («Обломков») Жюльена Грина и немецкого перевода романа Теодора Уайлдера «Каббала», от марксистского труда «Ленин и философия» до истории протестантских сект в эпоху Реформации и работы о различиях между католической и протестантской догматикой. Некоторые из этих текстов уже были ему знакомы. Кроме того, тем летом, продолжая работать над короткими фрагментами, касающимися истории его взаимоотношений с Берлином, он также стал перечитывать Пруста. В июне Беньямин получил только что изданную книгу *Fableaux* («Сказки») Адриенны Монье, с которой, как уже упоминалось, он в 1930 г. познакомился в ее парижском книжном магазине и у которой брал интервью для своего «Парижского дневника» того же года. Сейчас он направил ей восторженный ответ, в котором просил разрешения на перевод одной или двух сказок; его перевод сказки *Vierge sage* («Мудрая дева») вышел в ноябре в *Kölnische Zeitung*.

Тем не менее последние недели первого пребывания Беньямина на Ибике выдались беспокойными. С родины приходили все более тревожные известия. Весной национал-социалисты добились первой крупной победы на выборах в Баварии, Пруссии, Гамбурге и Вюртемберге, и многие немецкие города стали ареной непрерывных столкновений между военизированными группировками нацистов и все более беззащитными коммунистами и социалистами. У Беньямина имелась и другая, очень специфическая причина для тревоги: он ничего не знал о судьбе своих материалов по пассажам, которые остались в берлинской квартире и потому могли оказаться в распоряжении мошенника, прожившего там неделю. Поэтому стремление вернуться в Берлин росло изо дня в день, несмотря на желание Беньямина избежать присутствия при «церемониях по случаю рождения Третьего рейха», как он писал 10 мая 1932 г. Шолему (см.: GB, 4:91). Кроме того, существовал еще и личный повод

для беспокойства. В июне Беньямин провел много времени в обществе женщины русско-немецкого происхождения Ольги Парем, приехавшей на Ибицу навестить его. Шодем впоследствии приложил немало усилий к тому, чтобы встретиться с этой женщиной и лично убедиться в том, что он слышал о ней от Доры Кельнер и Эрнста Шена; он вспоминает о ней как об «очень привлекательной и жизнерадостной» особе. Судя по всему, Ольга и Беньямин дружили с тех пор, как их в 1928 г. познакомил Франц Хессель. Впоследствии она рассказывала Шодему, какое удовольствие ей доставляли интеллект Беньямина и его шарм: «У него был очаровательный смех; когда он смеялся, словно раскрывался целый мир». Согласно ее рассказу в изложении Шодема, «Вальтер в эти годы влюблялся во многих женщин, у него и в Барселоне была „красавица подруга“, разведенная жена берлинского врача». Сейчас, на острове, Ольга жила с Беньямином и Неггератами в *Ses Casetes*, и Беньямин договорился со своим соседом Томасом Варо, зятем его нынешнего домовладельца и рыбаком, известным всей деревне под прозвищем Фраскито, чтобы тот каждый вечер перед заходом солнца вывозил их в залив в своей маленькой лодке с латинским парусом. Где-то в середине июня Беньямин неожиданно сделал Ольге Парем предложение — и получил отказ⁵⁸.

Несмотря на все эти волнения, а может быть, из-за них, Беньямин сумел продлить свое пребывание на Ибике еще на неделю и 15 июля даже принял участие в импровизированных торжествах по случаю его 40-го дня рождения. В эти последние недели он по большей части проводил время в обществе Жана Сельца и его жены Гийе, пригласивших его пожить в их доме *La Casita* в бухте Сан-Антонио. Племянница Сельца, художница Дороте Сельц, описывала его как «элегантного, очень утонченного, замкнутого, сдержанного и чрезвычайно скромного человека»: все эти свойства заслужили ему доверие со стороны других обитателей острова. Специальностью Жана Сельца было европейское народное искусство, и он был знаком с современной художественной сценой Парижа. Они с женой впервые прибыли на Ибицу весной 1932 г. и сыграли ключевую роль в возвращении Беньямина на Ибицу в следующем году⁵⁹. В 1932 г. они не расставались с ним до того момента, когда ко-

58. См.: SF, 188–189; ШД, 307. Как впоследствии Ольга рассказывала Шодему, ее отказ настолько обидел Беньямина, что он «больше никогда не спрашивал о ней у Филиппа Шея, за которого она позднее вышла замуж, хотя тот вращался в том же кругу Брехта, и с которым Беньямин еще долго после этого встречался в Париже». См. также: Valero, *Der Erzähler*, 98–99.

59. См.: Valero, *Der Erzähler*, 130.

рабль, на котором он покинул Ибицу, в полночь 17 июля отплыл на Майорку. Беньямин так описывал эту сцену в письме Шолему:

Время в их обществе летело так незаметно... что когда мы наконец прибыли на причал, сходни были убраны и судно уже уходило от берега. Разумеется, свой багаж я отправил на борт заранее. Спокойно обменявшись со спутниками рукопожатиями, я вскарабкался на борт отплывающего судна и при помощи встревоженных островитян сумел успешно перебраться через леер (BS, 13).

Он направлялся в итальянский городок Поверомо (что буквально означает «бедный человек») к северу от Пизы, где его ожидала очередная совместная работа с Вильгельмом Шпайером, сочинявшим новую детективную пьесу, в итоге получившую название «Пальто, шляпа, перчатка», и обещавшим пусть не сразу, но щедро оплатить помощь Беньямина⁶⁰. Меньше чем через неделю после отбытия с Ибицы тот по пути в Тоскану остановился в Ницце, где снял номер в отеле *Petit Parc*, на который набрел годом ранее, когда Шпайеру чинили машину в гараже напротив этого отеля, в глазах Беньямина обладавшего «какой-то очень странной привлекательностью». В письме Шолему от 25 июня он сообщал, что, может быть, отметит свой день рождения в Ницце и выпьет бокал «праздничного вина» с «довольно эксцентричным типом [*skurrilen Burschen*], чей путь часто пересекался с моим во время моих всевозможных странствий» — недвусмысленно указывая на возвращение суицидальных настроений. 26 июля в «относительно спокойном» настроении он писал Шолему о неважных перспективах литературной работы и о нарастающем у него чувстве зря прожитой жизни:

Литературные формы выражения, которые выковала для себя моя мысль на протяжении последнего десятилетия, полностью обусловлены превентивными мерами и противоядиями, которые я вынужден противопоставлять распаду, постоянно угрожающему моей мысли вследствие подобных случайностей. И хотя многие из моих работ — или их осязаемое число — стали небольшими победами, они уравниваются крупными поражениями. Я не хочу говорить о замыслах, которые обречены остаться незавершенными и даже неначатыми, и лишь назову здесь четыре книги, отмечающие реальную территорию краха или катастрофы,

60. Дружба Беньямина с Вильгельмом Шпайером прервалась полтора года спустя, после того как тот так и не заплатил Беньямину за сотрудничество. См.: BG, 74–76, 80.

будущие границы которой я все равно не способен определить, когда пытаюсь окинуть взглядом следующие несколько лет моей жизни (BS, 14–15).

«Четыре книги», о которых идет речь, — это посмертно опубликованный проект «Пассажи», так и не изданный Роволтом сборник эссе о литературе, собрание немецких писем, вышедшее в 1936 г. под названием *Deutsche Menschen*, и «поистине исключительная книга о гашише». На следующий день после того, как было сочинено это избыточно пессимистическое письмо Шолему, Беньямин начал подготовку к самоубийству.

Причины для этого шага, от которого, как и от своего «плана», принятого предыдущим летом, Беньямин в последний момент отказался, остаются неясными. Шолем не склонен объяснять это ухудшением политической ситуации. 20 июля реакционер Франц фон Папен, только что назначенный канцлером, распустил прусское правительство, возглавлявшееся социал-демократами, что вызвало по всей стране волну политического террора и насилия и расчистило Гитлеру путь к захвату власти. Все эти события, бесспорно, сказались на материальном положении Беньямина как еврея. Через несколько дней после переворота, осуществленного фон Папеном, который объявил себя «рейхс-комиссаром Пруссии», *Frankfurter Zeitung* сообщила о намерении правительства привести радиовещание в соответствие с его программой правой пропаганды, и в течение следующих нескольких недель были уволены известные своими левыми взглядами директора берлинской и франкфуртской радиостанций, дававшие Беньямину заказы, от которых зависела значительная часть его дохода. Вместе с тем письма и рукописи, посылавшиеся Беньямином во *Frankfurter Zeitung*, оставались без ответа (хотя публикация его произведений в этой газете продолжалась — по большей части под псевдонимом — еще пару лет). Более того, в своем письме от 26 июля Беньямин сообщал Шолему, что соответствующие берлинские власти потребовали от него покинуть его квартиру якобы из-за нарушения им правил проживания.

Каковы бы ни были причины для нового раунда заигрываний с самоубийством (Шолем называет в качестве одного из факторов отказ Ольги Парем выйти за него замуж), 27 июля Беньямин начерно составил завещание и четыре прощальных письма — Францу Хесселю, Юле Радт-Кон, Эрнсту Шену и Эгону и Герт Виссингам⁶¹. Особенно ярко иллюстрируют тогдашнее состояние его рассудка письма Хесселю и Юле Кон:

61. Эти четыре письма приведены в: GB, 4:115–120.

Дорогой Хессель!

Тупик с *vue sur le parc* — разве не чудо, что именно здесь оказалась расположена камера смертника?⁶² Один джентльмен, преисполненный самых благих побуждений, однажды сделал мне комплимент, назвав меня художником жизни. Надеюсь, что я воздал ему должное таким выбором места для своего ухода. В число тех, кто мог бы сделать этот уход сложным — если бы мое сердце не билось так быстро при мысли о небытии, — входишь и ты. Пусть все то счастье, которое сейчас, когда я пишу эти строки, обещает эта прекрасная, по-утреннему свежая комната, достанется твоей комнате с Зеленой кроватью, и пусть оно упокоится там так же легко, как, смею надеяться, вскоре упокоюсь и я.

Твой

Вальтер Беньямин

Дорогая Юла!

Ты знаешь, что когда-то я очень сильно любил тебя. И даже сейчас, когда я готов умереть, в моей жизни нет более драгоценных даров, чем те, что были принесены мне минутами страданий из-за тебя. И потому этих приветственных слов будет достаточно.

Твой

Вальтер

Не менее трогательно и письмо Эгону и Герт Виссингам, полное нежных чувств к кузену и его жене, хотя оно более длинное и обстоятельное, поскольку Беньямин включил в него инструкции о том, как выполнить его последнюю волю. Из него становится ясно, что Беньямин в тот день еще не вполне решился покончить с собой: «еще не имею абсолютной уверенности в том, что приведу мой план в действие». Своим горестным тоном это письмо напоминает сетования Беньямина, прозвучавшие предыдущим летом, хотя он говорит и о том, что смирился с мыслью о смерти, и о чувстве *geborgen*, убежища и защищенности, которое он теперь испытывает (это выражение играет заметную роль в его произведениях о детстве, наполненных мыслями об изгнании и смерти). Он пишет о своей «глубокой усталости» и о желании обрести «целительный» покой: «Номер, который я снял

62. Беньямин, несомненно, обыгрывает здесь адрес отеля *Petit Parc* с его «видом на парк»: *6 Impasse Villermont*: «Тупик Вийермон, 6». Под «Зеленым лугом», о котором идет речь ниже, имеется в виду кровать. Она запечатлена как место сексуальных приключений в «Берлинской хронике» Беньямина: «„Зеленый луг“ — кровать, все так же возвышающаяся над разбросанными вокруг койками; на ней мы сочинили маленький, обходительный, по-восточному бледный эпилог тех великих постельных праздников, на которых сюрреалисты в Париже несколькими годами ранее неволью возвестили о начале своей реакционной карьеры... На этот луг мы укладывали таких женщин, какие по-прежнему развлекают нас на родине, но их было мало» (SW, 2:599).

за 10 франков в день, смотрит на сквер, в котором играют дети, и шум авеню Гамбетта доходит до меня, приглушенный листвою и пальмами. Этот номер можно назвать приемной — скромной и вдохновляющей доверие, из которой, думаю, великий врач вскоре вызовет меня в свой кабинет небытия». Далее он отмечает, что для писателя с такими же, как у него, наклонностями и принадлежащего к такой же школе, в Германии скоро не останется никаких возможностей. «Только жизнь в обществе женщины или при наличии какой-либо конкретной работы» могла бы побудить его примириться со все более многочисленными проблемами, но у него «нет ни того, ни другого». В послании своему старому другу Шену Беньямин ограничился всего лишь такими словами: «Дорогой Эрнст, я знаю, что ты будешь вспоминать обо мне с дружескими чувствами и не слишком редко. Спасибо тебе за это. Твой Вальтер». Беньямин так и не отправил этих писем, но сохранил их вместе со своим завещанием.

В самом этом завещании Беньямин назначает Шолема доверенным собственником всех оставшихся от него рукописей и предписывает ему в случае посмертной публикации каких-либо из своих произведений удерживать от 40 до 60 процентов чистой выручки для Штефана⁶³. Всю свою библиотеку он отдаст Штефану с условием, чтобы Эгон Виссинг, Шолем и Густав Глюк могли взять из нее по 10 книг на общую сумму, не превышающую 100 марок. Кроме того, он завещает отдельные картины и другие ценные вещи ряду друзей, включая Эрнста Блоха, Асю Лацис, Альфреда Кона, Гретель Карплус, Герт Виссинг, Юлу Радт-Кон, Вильгельма Шпайера и Элизабет Гауптман. В письме Виссингам он назначает дополнительное наследство своей бывшей жене Доре.

Из Ниццы Беньямин отправился в Италию (где пробыл около трех месяцев), чтобы приступить к совместной работе со Шпайером. 7 августа он в спокойном тоне писал Шолему с виллы «Ирен», пансиона в Поверомо: «Поверомо оправдывает свое название: это приморский курорт для бедняков или по крайней мере для многодетных семей с ограниченными средствами — семей из Голландии, Швейцарии, Франции и Италии. Я живу вдали от всей этой суеты, в простой, но вполне приемлемой комнате и более или менее доволен жизнью в той мере, в какой мне это позволяют ситуация и перспективы» (BS, 16). Он рассчитывал на получение до 5 тыс. марок (10 процентов от театральных сборов) за свои советы и помощь при сочине-

63. Завещание Беньямина *Mein Testament* полностью напечатано в: GB, 4:121–122n, и частично опубликовано в переводе на английский в: SF, 187–188; ШД, 305.

нии пьесы Шпайера, но в тот момент остался почти без гроша. «Я стараюсь обойтись небольшим авансом, полученным от Шпайера, а в остальных отношениях живу в кредит» — речь идет о «довольно длинной кредитной линии», открытой ему в пансионе, где он жил. Сотрудничество со Шпайером, казавшееся Беньямину очень занимательным, оставляло ему много свободного времени, и, невзирая на свои экономические затруднения, он получил возможность собраться с силами и «впервые за бог знает какое время» посвятить себя единственному, четко определенному проекту.

Этим проектом было «Берлинское детство на рубеже веков», работу над которым Беньямин начал в Поверомо. Первоначально он предполагал лишь заново оформить и дополнить материалы о своем раннем детстве, вошедшие в его «Берлинскую хронику» — объемное автобиографическое произведение, которое он писал по договору с *Die literarische Welt*, заключенному почти год назад. «Берлинскую хронику» Беньямин писал главным образом на Ибнице, где начал перечитывать Пруста, но в Поверомо бросил эту заказную работу, чтобы отдать все силы выросшему из нее новому проекту в надежде среди прочего и на то, что он окажется более успешным в коммерческом плане. Преобразование автобиографической хроники, имеющей традиционную дискурсивную структуру, в более поэтично-философскую форму подачи материала, предвестником которой выступала монтажная конструкция «Улицы с односторонним движением», шло быстрыми темпами: «Я пишу весь день и порой до глубокой ночи»⁶⁴. К 26 сентября он мог объявить Шолему (как выяснилось, несколько преждевременно), что новый текст, составленный из на первый взгляд разнородных «мысленных образов», «в целом закончен»:

Он... написан в виде небольших главок: к такой форме я был неоднократно вынужден обратиться, во-первых, вследствие материально не обеспеченной, ненадежной природы моего творчества и, во-вторых, с точки зрения коммерческих перспектив. Более того, мне представлялось, что такую форму решительно диктует сама избранная тема. Короче говоря, я работаю над серией набросков, которая получит название *Berliner Kindheit um 1900* (BS, 19)⁶⁵.

-
64. Кроме того, Беньямин включил в «Берлинское детство на рубеже веков» главку «Крупным планом» из «Улицы с односторонним движением» (см.: SW, 1:463–466; УОД, 56–62), внося в нее различные изменения.
65. Ср. формулировку, прозвучавшую в письме Жану Сельцу от 21 сентября: «une série de notes» (GB, 4:132). Далее в этом письме говорится: «Это что-то вроде воспоминаний о детстве, но лишенных каких-либо личных или семейных черт. Своего рода tête-à-tête ребенка с городом Берлином на рубеже веков».

Работа над «Берлинским детством» продолжилась и после возвращения Беньямина в Германию в середине ноября; некоторые из главок были переписаны по семь-восемь раз. По пути из Италии в Берлин Беньямин заехал во Франкфурт и прочитал Адорно значительную часть рукописи. Последний сообщал о своем впечатлении в письме Кракауэру от 21 ноября: «Мне эта вещь показалась чудесной и совершенно оригинальной; она даже представляет собой большой шаг вперед по сравнению с „Улицей с односторонним движением“ в том отношении, что здесь полностью устранена вся архаическая мифология и поиск мифического в каждом случае ведется лишь в рамках самого злободневного — в „современном“» (цит. по: ВА, 20п). Возможно, Адорно имел в виду то, какими в тексте Беньямина предстают разные стороны большого города, увиденные глазами ребенка, особенно такие хтонические или подземные места, как закрытый плавательный бассейн, рынок, тротуары с решетками, за которыми открываются окна подвальных жилых помещений, или прудик с выдрами в зоопарке. Кроме того, в Берлине Беньямин читал отрывки из своего текста Гретель Карплус, и ее отзыв доставил ему удовольствие.

Хотя Беньямин на протяжении следующих двух лет пополнял текст новыми главками, в середине декабря 1932 г. он мог послать Шолему предварительную рукопись того, что назвал своей «новой книгой», характеризуя ее, несмотря на стремительно сгущавшиеся тучи на горизонте, как отражение своей «относительно самой солнечной стороны», хотя и делая оговорку о том, что «эпитет „солнечный“ на самом деле неприменим к содержанию [книги] в каком-либо строгом смысле». К этому он добавлял, что из всего, написанного им, «у этой работы, возможно, больше всего шансов остаться непонятой» (BS, 23–24). Публикация ее отдельных главок началась 24 декабря, когда в почтенной берлинской газете *Vossische Zeitung* был напечатан «Рождественский ангел». С декабря 1932 г. по сентябрь 1935 г. в газетах, главным образом во *Frankfurter Zeitung* и *Vossische Zeitung*, было напечатано 26 отрывков из «Берлинского детства на рубеже веков», по большей части под псевдонимом (Детлеф Хольц или К. Конрад), или после апреля 1933 г. анонимно. В 1938 г. Беньямин напечатал семь дополнительных фрагментов в одном из номеров *Maß und Wert*, выходившего раз в два месяца эмигрантского журнала, издававшегося Томасом Манном. Весной того года была написана насыщенная вступительная глава, а остальная часть рукописи подверглась полному пересмотру и была сокращена (Беньямин полностью выбросил из нее девять главок, а оставшийся текст сократил более чем

на треть) в рамках очередной из начавшейся в 1933 г. серии попыток Беньямина издать это собрание прозаических миниатюр в виде книги. По причине своей сложности оно было отклонено не менее чем тремя издателями в Германии и Швейцарии и было опубликовано одной книгой лишь после смерти Беньямина⁶⁶. Сегодня оно имеет репутацию одного из малоизвестных классических образцов прозы XX в.

Впервые описывая свой труд Шолему, Беньямин отмечал, что «эти детские воспоминания... представляют собой не рассказы в виде хроники, а скорее... отдельные вылазки в глубины памяти» (BS, 19). Речь здесь идет скорее об онтологической, а не чисто психологической памяти — о концепции, имеющей сходство с идеей Бергсона о памяти как о жизни образов прошлого, без которой невозможны ни восприятие мира, ни какая-либо человеческая деятельность; о памяти как стихии, а не просто способности. Такая концепция используется уже в «Берлинской хронике», один фрагмент из которой был переделан в короткий текст «Раскопки и память» (см.: SW, 2:576, 611). В этих лаконичных размышлениях, отталкивающихся от природы языка, Беньямин утверждает, что память — это прежде всего инструмент для изучения прошлого, а не просто устройство для фиксации воспоминаний и их склад. Память воспринимается им как театр (*Schauplatz*) прошлого, как проницаемая среда прежнего опыта (*Medium des Erlebten*), «так же, как земля — среда, в которой погребены древние города. Тот, кто стремится обрести свое собственное погребенное прошлое, должен вести себя подобно землекопу». То, что называется воспоминанием, представляет собой актуализацию ушедшего момента во всей его многозначной глубине, его смысла. Ведь вполне может быть, что «действительность создается лишь в памяти», как рассу-

66. *Berliner Kindheit um Neunzehnhundert* впервые было издано в виде книги в 1950 г. под редакцией Адорно, определившего ее состав и взаимное расположение главок. На этой основе было составлено издание Адорно — Рексрота 1972 г. (см.: GS, 4:235–304). Только после того, как в Париже в 1981 г. была найдена рукопись исправленного варианта 1938 г., так называемой последней версии (“*Fassung letzter Hand*”), опубликованной в 1989 г. (см.: GS, 7:385–433), нам стало известно, в каком порядке сам Беньямин расположил главки книги, хотя и этот вариант нельзя считать однозначным вследствие того, что текст 1932–1934 гг. был резко сокращен Беньямином. Подробнее об истории издания «Берлинского детства», о различиях между дошедшими до нас вариантами и об исправлениях, внесенных в текст Беньямином, см.: GS, 7:691–705, 715–716, 721–723, а также предисловие переводчика в ВС. Незаконченный черновик «Берлинской хроники» был впервые опубликован в 1970 г. и переиздан в отредактированном виде в 1985 г. в GS, 6:465–519 (см. перевод на английский в: SW, 2:595–637).

ждает Пруст в романе «По направлению к Свану». Как выразился Беньямин в своем эссе 1929 г. «К портрету Пруста», исходя в этой формулировке из своей современной монадологии, «вспоминаемое не знает предела, потому что оно только ключ ко всему тому, что было до него, и к тому, что наступило после». Раскопки глубинного временного слоя, предпринятые в 1932 г., привели к извлечению на свет кубышки с образами (а не мира персонажей, как у Пруста) — образами, которые в качестве осадков прежнего опыта являются «сокровищами в трезвых залах наших последующих идей, подобно торсам в скульптурной галерее».

Не менее важным, чем терпеливое проникновение во все более глубокие слои прошлого, является поиск «точного местонахождения древних сокровищ в *современной почве*» (курсив наш. — *Авт.*), потому что живое настоящее — тоже среда, в которой образы прошлого обретают форму и прозрачность и в которой проявляются и контуры будущего: «Эта среда — то настоящее, в котором живет писатель. И, обитая в ней, он делает очередной срез при помощи последовательности своих переживаний». В «Берлинском детстве» представление о памяти и, следовательно, об опыте как о палимпсесте — «скрещенное время», как говорится в эссе о Прусте, — влечет за собой такой способ наложения образов, пространственно-временного наслаивания, которое превращает текст в виртуальный палимпсест⁶⁷. Подобно тому как фланер в своем пьяном беспамятстве находит следы городского прошлого, запечатленные в его современных чертах, так и в трезвых и лирических воспоминаниях Беньямина о ранних годах своей жизни присутствует своего рода вертикальный монтаж мест и вещей: припоминаемые ощущения, подчиняясь принципу подобия, порождают многочисленные переключки, включающие не только другие ощущения (формы, цветов, запахов), но и детские мечты, фантазии и прочитанные тексты. Так, построенный из песчаника фасад Штеттинского вокзала навевает образ песчаных дюн, к которым мальчик и его семья гото-

67. О палимпсестной структуре памяти см. раздел «Палимпсест» к конце «Искусственного рая» Бодлера (Бодлер и др., *Искусственный рай*. С. 180–181) — текста, впервые прочитанного Беньямином в 1919 г. (материал, о котором идет речь, восходит к Де Куинси). В 1921 г. Беньямин писал: «Со времен Средневековья мы утратили представление о сложной слоистой структуре мира» (SW, 1:284). Ср. примечание Адорно о том, что Беньямин сам «погружался в реальность как в палимпсест» (Adorno, «Introduction to Benjamin's *Schriften*» [1955], in Smith, *On Walter Benjamin*, 8). Наложение (*Überblendung*) прошлого и настоящего играет важную роль в проекте «Пассажи», как указывается в главе 6, и в концепции аллегории, выдвинутой Беньямином в его произведениях о Бодлере (см., например: SW, 4:54; GB, 6:65).

вы отправиться на поезде; сырой, холодный запах лестничной клетки у входа в городской читальный зал содержит и запах чужуной галереи в этом зале; в обстановке дома, где живет мальчик — в обоях, плите камина, облицованного плиткой, в кожаном кресле отца, — ему видятся «роскошные ловушки», какие можно встретить в приключенческих романах, а дубовый книжный шкаф с застекленными дверцами, искушающий мальчика и вызывающий у него благоговение, несет в себе образ волшебных чертогов, сулящих неземное наслаждение, которые, в свою очередь, навевают мысли о старом крестьянском жилище, где сказки когда-то сопровождали ритму работы по дому. Помимо этого, нехронологическое, прерывистое повествование само по себе содержит множество отсылок, посредством которых настоящее, в котором живет разочарованный автор, постоянно наслаивается на его прошлое, полное очарования, и потому мертвый и воскрешенный мир игры неизменно подается в перспективе изгнания, и везде чувствуется, что взрослому человеку предшествует ребенок, чьи еще бессознательные знания, погруженные в мир вещей, оцениваются с точки зрения философско-исторического баланса, подобно сну, запомнившемуся до мельчайших подробностей. Слой авторского настоящего, прорываемый и сделанный прозрачным, становится окном к вспоминаемым переживаниям, которые определяют его и в то же время нуждаются в нем для реализации своего скрытого смысла. Ибо предысторию можно распознать лишь посредством постистории.

Как и в проекте «Пассажи», посвященном копаниям в ушедшей исторической эпохе, в нарисованной Беньямином картине его детства особенно подробно раскрывается, как он выражался в своем дневнике за 1931 г., его «излюбленная тема — жилище»⁶⁸. Эта картина писалась в то время, когда он оказался на грани бездомного существования. В предыдущие месяцы 1932 г. в «Мыслях, пришедших в Ибиче» он писал о человеке, научившемся строить себе жилье среди руин: «За какое бы дело он ни брался, оно превращалось для него в домик, как во время детской игры» (SW, 2:591). Сами дети залезают во внезапно обнаруженные ими карманы этого мира-вещи, получая возможность на мгновение надежно спрятаться в них. В «Берлинском детстве» такая «подземная» жизнь (в некоторых отношениях

68. См.: SW, 2:479. Тема «жительства» (*Wohnen*) после Второй мировой войны приобрела принципиальное значение и для Хайдеггера. См., в частности, его эссе «Строить, жить, мыслить» начала 1950-х гг. в: Heidegger, *Poetry, Language, Thought*, 141–159.

сопоставимая с систематическим замыканием человека-футляра из «Пассажей» в самом себе) изучается с точки зрения детского миметического таланта — способности ребенка к подражанию и его умения замаскироваться при помощи разнообразных обыденных вещей (дверей, столов, шкафчиков, штор, фарфоровых статуэток), а затем взирать на мир из их глубин и из самой материальности их существования. Для ребенка дом — это «арсенал масок», так же, как различные станции в окружающем его современном городе — уличные углы, парки, дворы, стоянки такси — представляются ему обнажениями древних слов, лазейками в опасный мир, которому он с готовностью дает себя поглотить, как и старого китайского художника из главы «Обормотя» (1933) поглощает нарисованный им пейзаж. Философское погружение самого автора соотносится с погружением, которому отдается ребенок, так же, как бодрствование со сном. Благодаря всевозможным рамкам, позволяющим увязать друг с другом различные временные плоскости, нерелективное мифическое пространство детства растворяется в пространстве истории, как чувство безопасности, которое ребенок воспринимает как должное, растворяется в ощущении кризиса, не покидающем взрослого. Тем не менее социально невосполнимый мир детства порождает остаточный образ, а демифологизирующая физиогномика повышает конкретность исторической памяти и делает ее более интимной⁶⁹.

Можно взять, например, описание зимнего утра в одноименном разделе с его почти неощутимым слиянием пространства и времени в последовательности ожиданий и переходов, которые тихо преодолевает мальчик, пока ждет у себя в комнате печеное яблоко на завтрак или, точнее, пока яблоко ждет его:

Так всегда бывало в этот утренний час, лишь голос няни портил церемониал, в котором зимнее утро обручало меня со всеми вещами в моей комнате. Жалюзи были еще не подняты, когда в первый раз приоткрывал печную дверцу — посмотреть, как там яблоко? Случалось, его вкусный запах был еще совсем слабым. И я терпеливо ждал, пока ноздри не начинал щекотать воздушный аромат, струившийся словно из каких-то более глубоких и уединенных покоев зимнего дня, чем даже те, откуда в рождественский вечер изливалось благоухание елки. Темный и теплый, лежал передо мной плод, яблоко, оно было и знакомым, и все же

69. В предисловии к этому тексту, написанному в 1938 г., Беньямин отмечает, что речь в нем «идет не о случайной — биографической, но о необходимой — социальной невозвратимости прошлого» (ВС, 37; БД, 9).

изменившимся, как старый приятель, который долго-долго странствовал и вот явился ко мне. А странствовало оно в стране темной и знойной и напиталось в печи ароматами всего, что приготовил для меня новый день (В С, 62; БД, 35–36).

Такой трезвый, реалистичный взгляд раскрывает перед нами изменяющийся и искажающийся мир, мир пространственной и временной пластичности, подобный тому, который управляет событиями в волшебных сказках — этих прежних эманациях сферы домашней жизни. Печь с огнем в темной топке, фигурирующая здесь как источник «аромата», обладает и документальной значимостью, будучи отражением конкретной исторической эпохи и социально-технического габитуса, а также сказочно-метафорической силой внушения, функционирующей в пределах сплетения мотивов. Подобная диалектическая экономика обуславливает характерную тональность творчества Беньямина на всех страницах этой самой законченной из его работ. Как подчеркивает Адорно в своем послесловии к ней, «солнечность» повествования неизменно затеняется в ней меланхолией, так же, как беглые знания мальчика затеняются невыразимыми известиями, приходящими из всех уголков этого населенного мифами, всеохватывающего мира вещей⁷⁰.

На протяжении лета 1932 г. Адорно посылал Беньямину отчеты о семинаре по современным течениям в эстетике, которые он как 28-летний приват-доцент вел во Франкфурте для избранной группы студентов⁷¹. Семинар проводился в течение двух семестров, и значительное внимание на нем уделялось книге Беньямина о барочной драме. Беньямин не воспользовался приглашением Адорно посетить его семинар после возвращения в Германию, хотя и выразил интерес к этой идее в одном из своих писем. Сегодня такое изысканное обращение науки к книге Беньямина в стенах того самого учреждения, где она была фактически отвергнута в качестве хабилизационной диссертации, предстает не только в ироническом, но и в пророческом свете. Беньямин сообщал об этом семинаре Шолему, сдержанно относившемуся к Адорно, но выбрал такие слова, которые могли лишь укрепить в его адресате скрытое предубе-

70. См.: "Nachwort zur *Berliner Kindheit um Neunzehnhundert*" (1950), in Adorno, ed., *Über Walter Benjamin*, 74–77.

71. См.: Brodersen, *Walter Benjamin*, 198–200, где приводятся имена нескольких участников этого семинара, впоследствии ставших германистами, социологами, историками искусства и журналистами, а также выдержки из уцелевших протоколов семинара за летний семестр 1932 г., опубликованных в: *Adorno Blätter* IV (Munich, 1995), 52–57. Протоколов семинара за следующий зимний семестр не сохранилось.

ждение: «Мне стало известно, что он уже второй семестр подряд использует на своем семинаре мою книгу о барочной драме, не упоминая ее в списке литературы, — вот тебе немного пищи для размышлений, и хватит пока об этом» (BS, 26).

В ноябре и декабре, снова вернувшись в Берлин, Беньямин прочел гранки первой книги Адорно «Кьеркегор: создание эстетики», сделав паузу для того, чтобы похвалить автора за его «первопроходческий анализ» буржуазного интерьера (представлявшего собой часть образного мира Кьеркегора) как социально и исторически обусловленной модели метафизической замкнутости: «С момента прочтения последних стихов Бретона (из его *Union libre*) я ни разу не ощущал себя настолько погруженным в свою собственную сферу, как сейчас, при ознакомлении с вашим экскурсом в ту страну замкнутости, из чьих пределов так и не вернулся ваш герой. Значит, в мире все-таки существует такая вещь, как совместные труды» (BA, 20–21). Беньямин договорился о том, что напишет рецензию на книгу Адорно для *Vossische Zeitung* — газеты, в которой в следующем году будет опубликовано несколько отрывков из «Берлинского детства». В этой короткой рецензии, изданной в апреле, внимание читателя привлекалось к тому, как Адорно избегает разговора об уже ставшем стереотипом экзистенциально-теологическом учении Кьеркегора и вместо этого ставит в центр внимания «несущественные с виду мелочи... его образы, сравнения и аллегории» (SW, 2:704). Этот подход соответствовал методологическим размышлениям самого Беньямина, обрисованным в другой рецензии, написанной в это время — «Скрупулезное изучение искусства» — и под псевдонимом Детлеф Хольц изданной в июле во *Frankfurter Zeitung* после внесения требуемых поправок⁷². В этой работе Беньямин ведет речь об австрийце Алоизе Ригле как об искусствоведе нового типа, который чувствует себя как дома на неисследованных маргинальных территориях и для которого отдельные произведения искусства — в первую очередь в их очевидной материальности — воплощают в себе происходящие с течением времени изменения в сфере восприятия. Такой подход выдает сосредоточенность критика на своей собственной деятельности, служащей для него импульсом к кропотливым исследованиям. Упор на маргинальные образцы и непримечательные моменты, составляющий пару с методом критического отслеживания и «вынюхивания», носит явное сходство с исследовательской программой, заявленной в исследовании о пассажах (тоже посвященном

72. См. относящиеся к этому периоду письма Карлу Линфурту в: GB, vol. 4. Первый вариант этой рецензии см. в переводе на английский в: SW, 2:666–672.

изучению буржуазного интерьера XIX в.), и с его историко-материалистической теорией чтения, что, в свою очередь, указывает на связь между «Пассажами» и книгой о барочной драме, содержащей открытые ссылки на Ригля.

Из Поверомо в Берлин Беньямина довез на своей машине в середине ноября Вильгельм Шпайер. Последние недели 1932 г. Беньямин провел в попытках восстановить связи со своими двумя главными заказчиками — газетами *Frankfurter Zeitung* и *Die literarische Welt*. *Frankfurter Zeitung* перестала издавать его еще с середины августа, а редактор *Die literarische Welt*, бывший сотрудник Беньямина и коллега критик Вилли Хаас написал ему в Поверомо о том, что его газета в настоящее время не в состоянии принимать к рассмотрению поступающие от него новые материалы. В письме Шолему Беньямин так уничижительно отзывался о Хаасе, с которым еще будет поддерживать отношения и чью работу будет цитировать и обсуждать в своем эссе 1934 г. о Кафке: «„Интеллектуалы“ из числа наших „единоверцев“ первыми спешат порадовать угнетателей гекатомбой в своем собственном окружении, чтобы уцелеть самим» (BS, 23). Его хлопоты не остались без ответа, особенно во *Frankfurter Zeitung*, где он снова начал печататься в ноябре: «Чтобы прекратить объявленный мне бойкот, хватило одного личного визита. Но о том, хватит ли всей потраченной мной в эти первые несколько недель энергии для того, чтобы предотвратить худшее, пока еще рано судить» (BS, 23). Кроме того, он искал новых заказчиков. Самым важным из них наряду с *Vossische Zeitung* был *Zeitschrift für Sozialforschung*, недавно основанный журнал Института социальных исследований, в феврале перебравшегося из Франкфурта в Женеву. Беньямин познакомился с Максом Хоркхаймером, с 1931 г. возглавлявшим институт, во время своей ноябрьской остановки во Франкфурте, и, вероятно, именно тогда Хоркхаймер заказал ему первую из серии критических статей, которые Беньямин писал для этого журнала вплоть до 1940 г., когда вышел последний его номер на немецком языке. Его эссе «О современном социальном положении французского писателя», написанное в основном поздней весной 1933 г., было издано в первом номере журнала за 1934 г. При его сочинении, как Беньямин признавался Шолему, не обошлось без «халтуры» (*Hochstapelei*), в первую очередь, несомненно, речь шла о недостаточной информированности (см.: BS, 41). Хотя Беньямин уверял Адорно в значимости их «совместных трудов», у Шолема возникло впечатление, что иногда Беньямин поступался своими убеждениями, чтобы не противоречить проводившейся институтом социологической линии, так же, как порой он шел против себя, чтобы заслужить

одобрение со стороны Шолема. Основную роль при этом должны были играть экономические соображения: через несколько лет институт стал, по сути, главным работодателем Бенямина и спонсором возобновленного исследования о пассажирах. Хотя темы некоторых заказанных Хоркхаймером статей, в частности эссе о Эдуарде Фуксе, начатого в 1934 г. и законченного лишь двумя годами позже, вызывали у Бенямина глухое недовольство, равенение на институтскую программу социальных исследований никогда не могло надолго отвлечь Бенямина от его собственных изысканий, не вписывавшихся в то, что он называл «новой системой координат» (SF, 197; ШД, 322).

К концу 1932 г. у Бенямина накопился еще ряд замыслов. В их число входили несколько фантастическая радиопьеса, заказанная Берлинским радио, но так и не поставленная им, о немецком писателе и ученом XVIII в. Георге Кристофе Лихтенберге, чьи афоризмы Бенямин издавна ценил, эссе-рецензия на Кафку, из-за отсутствия заказчика так и оставшееся ненаписанным, и несколько новых главок для «Берлинского детства»⁷³. В связи с работой над «Обормотей», одной из новых главок для «Берлинского детства», в январе или феврале 1933 г. Бенямин набросал краткое изложение своих мыслей о сходстве и раздражительном поведении, которые незадолго до того получили отражение в неопубликованных текстах «Об астрологии» и «Лампа» и занимали малозаметное, но важное место в концепции «тайного сродства» в проекте «Пассажи» (см. папку R2,3)⁷⁴. Копируя поздним летом 1933 г. свою новую работу «Учение о подобии» для архива Шолема, Бенямин фактически переписал ее, сделав ряд поправок и дополнений и параллельно сочинив еще более компактный близкородственный текст «О миметической способности», законченный в сентябре⁷⁵.

73. Работа *Lichtenberg: Ein Querschnitt* («Лихтенберг в профиль») была закончена в конце февраля или начале марта 1933 г., незадолго до бегства Бенямина из Германии, и опубликована посмертно в: GS, 4:696–720. Предварительные наброски для радиопьесы, включавшие элементы, заимствованные из «Лезабендио» Пауля Шеербарта, см. в: GS, 7:837–845. См. также: С, 391, 383 и 84 (1916); СВ, 4:87п, 59–60п. Письмо Лихтенберга включено в подборку «Люди Германии» (SW, 3:168–170).

74. Глава «Обормотя» была опубликована в мае 1933 г. в *Vossische Zeitung*. См.: ВС, 131; БД, 72–73.

75. См.: SW, 2:694–698, 720–722; УП, 164–171, 171–187. См. также фрагментарные заметки примерно 1933–1935 гг. о миметической способности в: GS, 2:955–958. На мысли Бенямина о подобии в языке оказала влияние «ономатопоэтическая теория слова» Рудольфа Леонхарда, изложенная в его книге *Das Wort* (1931), цитаты из которой Бенямин приводит в своих двух новых текстах; см. его письмо от 25 октября 1932 г. (BS, 22).

Он ссылался на два этих текста, оставшихся не опубликованными при его жизни, как на «заметки» о философии языка. Шолему, который по просьбе Беньямина прислал ему копию его эссе 1916 г. «О языке вообще и о человеческом языке», нужную ему для работы, он называл свой новый текст всего лишь глоссой, или дополнением к этому старому эссе, вещью откровенно «неавторитетной», что было намеком. Его темой служило не что иное, как «новый аспект нашей старой склонности указывать способы, которыми была побеждена магия» (BS, 61, 76).

Переживание подобия — как чувственное (например, подобие лиц), так и нечувственное (подобие между человеком и звездами) — имеет свою историю: такова была отправная точка. Беньямин не упоминает греческое изречение «подобное познается подобным», но применяет здесь, как и в других работах, концепцию мимесиса в рамках этиологии восприятия. Можно предположить, что в давние времена подражательный дар играл заметную роль в том, что мы сегодня понимаем под восприятием, и то, что мы считаем объективными естественными процессами, в принципе поддавалось имитации. Беньямин полагает, что былая витальная энергия «миметического порождения и восприятия», энергия, задействованная в первобытных практиках магии и ясновидения (таких, как танцы), предшествовавших становлению религий, целиком перешла в язык: именно языку в форме письма и речи «с течением времени ясновидение передало свои древние силы». Речь идет об энергии чтения, пробужденной сначала «миметическим характером» таких объектов, как внутренности, звезды, совпадения, а затем и более формализованными письменами, например рунами. При любом акте чтения или письма сходство улавливается лишь в критические моменты, когда оно будет «мимолетно проблескивать из потока вещей». При «профанном чтении» в не меньшей степени, чем при «магическом чтении», существует необходимый темп, меняющаяся скорость, с которой миметическое сливается с семиотическим, поскольку в языке миметическое проявляется лишь через материальное средоточие смысла, выраженное в сочетании звуков или письменных символов. Тем не менее очевидно, что язык — не просто система знаков. В более принципиальном плане он представляет собой живой «медиум» — Беньямин издавна любил этот термин, — в котором взаимодействуют друг с другом значения предметов, так сказать, «их сущности, их мимолетнейшие и тончайшие субстанции, даже ароматы»⁷⁶. В ка-

76. Об использовании термина «медиум» см., например, об эссе 1916 г. «О языке вообще и о человеческом языке» (EW, 253–255, 267; УП, 7–26) в главе 3.

честве вместилища древних сил ассимиляции, язык, и письмо в частности, представляет собой «наиболее полный архив нечувственных подобий». Соответственно, концепция нечувственных подобий играла ключевую роль в этом «новом обращении» Беньямина к теории языка, поскольку если подобие вообще представляет собой органон опыта (АР, 868), то именно нечувственное подобие «создает натяжение не только между произнесенным и подразумеваемым, но и между написанным и подразумеваемым и точно так же между произнесенным и написанным» — и всякий раз, добавляет Беньямин, совершенно по-новому. Здесь просматривается очевидная связь с теорией диалектического образа, который есть образ если не буквально увиденный, то *прочитанный*, историческая совокупность, внезапной вспышкой возникающая в языке посредством соответствия моментов.

В «Пассажах» в том месте, где речь идет о физическом присутствии духа у игрока, делающего ставку, Беньямин говорит о таком чтении, которое в каждом случае приобретает характер гадания (папка О13,3), и показывает далее, что гадательное отношение к вещам было характерно в XIX в. и для фланера, и для коллекционера, каждого из которых по-своему преследовали подобия. Более того, в «Обормоте» и других главках «Берлинского детства» изображается ребенок, обитающий во вселенной магических соответствий и воплощающий в пространстве своих игр бесконечно продуктивный миметический гений. Судя по всему, именно пример, который дают такие неутилитарные и даже в чем-то невольные занятия, как азартные игры, фланерство, коллекционирование и детские игры, отражающие разные стороны личности самого Беньямина, и дает возможность говорить о том, что всякий процесс чтения включает в себя не только способность к приобретению сходства, но и нечувственное подобие. Ибо «в нашем наличном бытии больше не обнаруживается то, что когда-то привело к возможности говорить о таком подобии и прежде всего пробуждать его».

В последние годы существования Веймарской республики был издан ряд эссе Беньямина, в наше время ставших классическими: «Сюрреализм», «Карл Краус», «К портрету Пруста», «Краткая история фотографии». А его небольшие работы, написанные для немецких газет и журналов, были полны блестящих идей на всевозможные темы, разнообразие которых поражает воображение: городской пейзаж, французская, немецкая и русская литература, педагогика, кино, театр, живопись и графика, современная политическая культура, современные СМИ. Но не меньшее значение имели и произведения, оставшиеся в те

годы неопубликованными и даже незаконченными: в частности, именно тогда было положено начало исследованию о пассажирах и «Берлинскому детству на рубеже веков» — двум проектам, вокруг которых будет строиться буквально все творчество Беньямина в течение ожидавших его долгих лет изгнания.

Глава 8

Изгнание: Париж и Ибица. 1933–1934

ВБИОГРАФИИ, составленной в июне 1940 г. для получения выездной визы из Франции, Бенъямин писал: «Для меня межвоенные годы естественным образом разделяются на два периода — до и после 1933 г.»¹. 28 января 1933 г. Курт фон Шлейхер, менее двух месяцев занимавший должность германского канцлера, подал в отставку, фактически доверив назначение нового рейхсканцлера президенту страны Паулю фон Гинденбургу, а не парламенту. Какое-либо подобие парламентской демократии, по сути, отсутствовало в немецкой политике по крайней мере еще с 1930 г., когда рейхсканцлер Генрих фон Брюнинг в отчаянной попытке удержать Германию от сползания в хаос начал управлять страной при помощи чрезвычайных указов. Сейчас, 30 января, Гинденбург назначил очередным рейхсканцлером Адольфа Гитлера, после чего 1 февраля распустил парламент. Прежде чем в начале марта были проведены новые выборы, в ночь с 27 на 28 февраля сгорел Рейхстаг, который, возможно, был подожжен самими национал-социалистами. Немедленно воспользовавшись ситуацией, Гитлер своими указами наделил правительство рядом чрезвычайных полномочий и тем самым создал условия, которые стали прямой причиной того, что в стране на протяжении следующих полутора лет было построено тоталитарное полицейское государство. Оппозиционные партии были запрещены, а противников режима бросали в тюрьмы, где многие из них были зверски убиты. Сразу же после пожара Рейхстага страну покинули ряд друзей Бенъямина, включая Брехта, Блоха, Кракауэра, Вильгельма Шпайера, Бернарда фон Brentano и Карла Вольфскеля. Другие, в том числе Эрнст Шен и Фриц Френкель, были арестованы и отправлены в поспешно организованные концентрационные лагеря. (Шен, в марте лишивший

1. "Curriculum Vitae (VI): Dr. Walter Benjamin" (SW, 4:382).

ся должности художественного руководителя Франкфуртской радиостанции, был повторно арестован в апреле, после чего ему удалось бежать в Лондон; Френкель в том же году эмигрировал в Париж, где в 1938–1940 гг. жил в одном доме с Беньямином.) Сам Беньямин в те дни едва осмеливался выходить на улицу². Как выразился Жан-Мишель Пальмие, «всего за несколько месяцев Германия лишилась своих писателей, поэтов и артистов, своих художников, архитекторов, режиссеров и профессоров. Никогда прежде ни одна страна не сталкивалась с аналогичным кровопусканием в своей культурной жизни»³. И эти интеллектуалы составляли всего несколько тысяч среди более чем сотни тысяч жителей Германии — каждый второй из них был евреем, — бежавших из рейха в 1933–1935 гг.⁴

В письме Шолему от 28 февраля Беньямин приводит выразительное описание безнадежности ситуации: «То ничтожное самообладание, которое людям в моем окружении удавалось выказать перед лицом нового режима, быстро улетучилось, и обнаружилось, что воздух здесь едва ли пригоден для дыхания, что, разумеется, потеряет значение после того, как тебя задушат... Прежде всего экономически» (BS, 27). Далее он задается вопросом о том, как ему пережить грядущие месяцы либо в Германии, либо за ее пределами: «Есть места, где я могу заработать минимум средств, и места, где я могу прожить на минимум средств, но нет такого места, где бы выполнялись оба этих условия».

Смутное желание покинуть Германию, не раз посещавшее его на протяжении последнего десятилетия, становилось все более актуальным по мере того, как страна весной 1933 г. погружалась во власть не слишком неожиданного, но беспрецедентного террора. Как Беньямин сообщал Шолему, людей посреди ночи вытаскивали из постелей, пытали и убивали. Печать и эфир в Германии фактически находились в руках нацистов, и до бойкота еврейских предприятий и костров из книг осталось совсем немного. Гнетущая атмосфера ощущалась повсюду: «Терроризируется всякая точка зрения или способ выражения, не вполне соответствующие официальной линии... Атмосфера в Германии, когда приходится сначала смотреть людям на лацканы, а после этого обычно уже не хочется смотреть им в лицо, невыносима» (BS, 34). Впрочем, в качестве причи-

2. См.: Selz, "Benjamin in Ibiza", 360, где цитируется отправленное в марте 1933 г. письмо Сельцу от Феликса Неггерата, которому Беньямин писал перед отъездом из Берлина с просьбой подыскать для него место жительства на Ибисе.

3. Palmier, *Weimar in Exile*, 2.

4. Оценки точного числа беженцев варьируют в пределах 10 тыс. человек. Ibid., 685n153.

ны для того, чтобы как можно скорее покинуть страну, Беньямин в характерной для него манере называет не страх за свою жизнь, а утрату всяких возможностей для новых публикаций и интеллектуальной жизни вообще: «Скорее дело в почти математической одновременности, с которой все, какие только можно себе представить, конторы стали возвращать рукописи, прерывать переговоры, уже начавшиеся либо близкие к завершению, и оставлять запросы без ответа... В таких условиях крайняя политическая осторожность, которую я соблюдаю уже давно и не без причины, может уберечь человека от систематических гонений, но не от голодной смерти». Горестный рассказ Беньямина о своем вынужденном бегстве из родной страны перекликается со многими другими подобными историями. Изгнанникам приходилось срочно справляться с проблемами материального плана — утратой профессии, аудитории, жилья и имущества, но в большинстве случаев психологический удар оказывался еще более тяжелым.

В начале марта Беньямина по просьбе Шолема навестила в Берлине Китти Маркс, дружившая с ним молодая женщина из Кенигсберга, вскоре отбывавшая в Иерусалим, где той весной ей предстояло выйти замуж за друга Шолема Карла Штайншайдера. Китти сразу же очаровала Беньямина, а он, в свою очередь, очень понравился ей. Он одолжил ей несколько книг, включая «Человека без свойств» Музиля и гранки новой дидактической пьесы Брехта «Мать»⁵. Посредством переписки, полной учтивой иронии, Беньямин поддерживал с Китти теплую дружбу на протяжении следующих пяти лет. По словам Шолема, в эту пору коллективного кризиса Беньямин показался Китти удивительно хладнокровным человеком, не поддавшимся панике, которая охватила многих других. Она была впечатлена поразительной выдержкой, с которой он держался в этой ситуации. Эта выдержка, как отмечает Шолем, возможно, проистекала из едва не осуществленного им годом ранее намерения покончить с собой; так или иначе, она «сильнее проявлялась в его поведении с другими людьми, нежели в его корреспонденции, свидетельствующей о [его] тревоге» (SF, 195; ШД, 317).

Беньямин покинул Берлин вечером 17 марта, задолго до первой волны «юридического» отлучения евреев от германской жизни. 1 апреля был объявлен первый всеобщий бойкот еврейских предприятий, а в течение последующих месяцев при-

5. Впоследствии он писал Шолему о романе Музиля: «Я потерял к нему вкус и утратил интерес к его автору, придя к выводу, что слишком много ума не идет ему на пользу» (BS, 52).

нимались меры к изгнанию евреев с государственных должностей и из свободных профессий. Сев на парижский поезд, Беньямин без всяких происшествий выехал за пределы родной страны. 18 марта во время остановки в Кельне он встретился с историком искусства Карлом Линфертом, редактором и корреспондентом *Frankfurter Zeitung*, становившимся для Беньямина все более важным интеллектуальным партнером, в то время как его произведения играли все более заметную роль в творчестве самого Беньямина. Эссе Линферта об архитектурном рисунке XVIII в. разбирается в финале статьи Беньямина «Скрупулезное изучение искусства» и цитируется в «Пассажах». Перед отъездом из Берлина Беньямин написал Феликсу Неггерату и Жану Сельцу, подтверждая свое намерение снова надолго приехать на Ибицу — на этот раз на пять месяцев. Более далеко идущих планов он на тот момент не строил. Как он отмечал в письме Шолему, едва ли кто-нибудь, находящийся в его положении, способен заглядывать так далеко в будущее. Прибыв 19 марта в Париж, он поселился в отеле «Истрия» на улице Кампань-Премьер на Монпарнасе, где прожил до 5 апреля, после чего отправился в Испанию. Не исключено, что Беньямин остановил свой выбор на этом отеле из-за того, что с ним было связано много имен из мира искусства. В частности, это заведение пользовалось успехом у сюрреалистов: здесь останавливались Пикабия, Дюшан, Ман Рэй, Тцара, Арагон и Кики де Монпарнас (а также Рильке, Маяковский и Сати). Луи Арагон даже посвятил этому маленькому отелю стихи:

Ne s'éteint que ce qui brilla...
 Lorsque tu descendais de l'hôtel Istria,
 Tout était différent Rue Campagne Première,
 En mil neuf cent vingt neuf, vers l'heure de midi...⁶

Как Беньямин сообщал Танкмару фон Мюнхгаузену, во время этого двухнедельного пребывания в Париже он только и делал, что сидел и курил трубку *à la terrasse*, качая головой над газетами. Но помимо этого, его взгляд был устремлен в будущее, каким бы мрачным оно ни казалось: он объявил Шолему, что в их переписке открывается «новая глава». Кроме того, в отличие от некоторых изгнанников, видевших в нацизме не более чем очередную короткую главу в бурном потоке новейшей германской истории, Беньямин отлично понимал, что он вступает в новую главу и в своей жизни. По этой причине он подал проше-

6. Только то, что ярко горело, погасло, / Когда ты спустился к отелю «Истрия»; / Все было иначе на улице Кампань, 1 / В 1929-м, около полудня.

ние о получении французского *carte d'identité* и начал осторожно изучать возможности для издания своих работ. Он встретился со своим старым другом времен молодежного движения и *Der Anfang* Альфредом Куреллой, который в тот момент входил в окружение Брехта; Курелла был включен в редколлегию так и не состоявшегося журнала *Krisis und Kritik*, а вскоре ему предстояло стать редактором французской коммунистической газеты *Monde*. И хотя Беньямин в полной мере отдавал себе отчет в том, что бегство из Германии будет иметь катастрофические последствия для его работы, а соответственно, и для его способности зарабатывать на жизнь, ему удалось, несмотря на кризис, на несколько месяцев вперед обеспечить себе небольшой, но постоянный доход: он сдал свою берлинскую квартиру «надежному человеку» по имени фон Шеллер, который в итоге снимал ее до 1938 г. «Посредством сложных договоренностей» Беньямин сумел дополнить этот доход еще несколькими сотнями марок, рассчитывая, что этого ему хватит для нескольких месяцев жизни на Ибнице. Наконец, в Берлине у него остались друзья, в первую очередь Гретель Карплус и Танкмар фон Мюнхгаузен, готовые помогать ему в практических вопросах, связанных, в частности, с его квартирой, и распорядиться его бумагами, книгами и прочим имуществом, которое он не забрал с собой.

Серьезным источником беспокойства служило то, что Дора и Штефан все еще находились в Берлине. «Все это... было бы переносимо, если бы не нынешнее местонахождение Штефана» (BS, 36). В конце марта Беньямин написал Доре из Парижа, предлагая отправить Штефана в Палестину, где брат Доры Виктор участвовал в основании деревни, но его бывшая жена отвергла это предложение, не желая расставаться с сыном. В апреле Дора потеряла работу, после чего они вместе с 15-летним Штефаном начали учить итальянский в надежде найти безопасное пристанище на юге. Впоследствии осенью 1934 г. Дора купила и начала содержать пансион в Сан-Ремо, курортном городке на Лигурийском море в Северо-Западной Италии, откуда сразу же отправила Беньямину искреннее приглашение приехать и стать ее гостем — что он и сделал⁷. В течение года, прожитого в нацистской Германии, Дора тщетно пыталась найти для своего бывшего мужа издателей. Штефан, считавший себя человеком строго левых взглядов, пробыл в Германии до лета 1935 г., посещая гимназию и пытаясь вести какое-то подобие нормальной подростковой жизни. В сентябре того же года он воссоеди-

7. См. письмо Доры от 15 июля 1934 г. с поздравлениями по случаю дня рождения, частично приведенное в: GB, 4:476–477п.

нился с матерью в Сан-Ремо, поступив там в местный лицей, а впоследствии продолжив обучение в Вене (где жили родители Доры) и в Лондоне. Дора предоставила ему полную свободу во всем, что касалось его жизни, объясняя это его отцу тем, что «он очень рассудителен».

В начале апреля Беньямин отправился на Ибицу в обществе Сельцев, задержавшись на несколько дней в Барселоне, где жили его старые друзья Альфред и Грета Кон. Кроме того, возможно, он собирался навестить там свою «красавицу-подругу», ту самую разведенную жену берлинского врача, о которой говорила Шолему Ольга Парем⁸. Прожив несколько дней в доме у Сельца в городке Ибике, 13 апреля Беньямин прибыл в деревню Сан-Антонио. Оказалось, что это место за год резко изменилось. Сам остров из прежнего первозданного тихого уголка превратился в оживленное курортное местечко, куда на лето приезжали преимущественно немцы, включая и немало нацистов. Как выразился Жан Сельц, «волшебная атмосфера определенно была осквернена»⁹. Сан-Антонио заполнял грохот новой стройки: жители острова спешили извлечь выгоду из наплыва пришельцев: сначала туристов, а теперь и изгнанников; нажиться на ситуации удавалось даже нескольким иностранцам, включая и Неггератов. Они сдали в аренду свой дом на Са-Пунта-дес-Моли, над бухтой Сан-Антонио, и к моменту прибытия Беньямина собирались переезжать в новый дом, построенный местным врачом на противоположной стороне бухты в самой деревне Сан-Антонио. Беньямину были гарантированы два месяца жизни у Неггератов, и он предвкушал возвращение в комнату, в которой жил предыдущим летом, наслаждаясь прогулками в соседней роще. Новое место жительства показалось ему намного менее привлекательным. Помимо того что новый дом оказался скучным в архитектурном плане и был неудобно расположен, из-за тонких, как бумага, стен по нему из комнаты в комнату свободно гуляли звуки, а с ними и порывы холодного ветра: лето в том году припозднилось. Имелись там и некоторые плюсы: Беньямину досталась большая комната, при которой имелось даже что-то вроде гардеробной и ванна с горячей водой, но к нему так и не вернулось ощущение жизни в приятном месте, которое он испытывал в прошлом году. Изменился и сам Неггерат, казавшийся теперь более сдержанным и переставший

8. См. краткий рассказ Сельца об их вечерах в богемном барселонском квартале красных фонарей Баррио-Чино в: Selz, "Benjamin in Ibiza", 361. См. также: СВ, 4:244, и SF, 189; ШД, 318.

9. Selz, "Benjamin in Ibiza", 362.

быть тем «разносторонним гением», которого Бенъямин знал в студенческие годы. Но самым тревожным был рост цен, вследствие чего даже после частичной продажи своей коллекции монет (о чем позаботился в Берлине Танкмар фон Мюнхгаузен) Бенъямин был вынужден существовать на свой «европейский минимум», составлявший 60–70 марок в месяц. Он проводил дни в своем «прошломгоднем лесу» и часто отправлялся в портовый городок Ибицу, чтобы посетить Сельцев и посидеть в кафе (городской кинотеатр казался ему слишком грязным), где он отдыхал от «атмосферы колонии... самой ненавистной из всех атмосфер», окутавшей Сан-Антонио. «Мое давнее недоверие ко всяким строительным предприятиям... нашло здесь даже слишком резкое подтверждение» (С, 415–416, 419).

Его сетования на то, что остров изменился, разумеется, усугублялись темными тучами, нависшими над всей Европой вследствие германского кризиса. В этом отношении Бенъямин сохранял верность своему давнему принципу — избегать комментариев о политической ситуации в своих письмах и отказываться обсуждать такие вопросы в личных разговорах. Вместо этого он старался привнести в свою отныне бродячую жизнь какой-то продуктивный режим и заново изучал знакомые места. Там, где не были слышны ни «грохот и удары молота», ни сплетни и споры «ограниченных лавочников и курортников», к нему в какой-то мере возвращались «прежняя красота и безлюдье этих мест» (С, 415–416, 408). Вооружившись шезлонгом, одеялом, термосом и прочими припасами, он, как и в прошлом году, устроил себе кабинет в укромном лесном уголке. Поначалу холодные ветры делали практически невозможной всякую работу на открытом воздухе, и единственной «компенсацией» за дневные лишения для Бенъямина служила эмалированная ванна с горячей водой у Неггератов, в те дни представлявшая собой относительную роскошь на Ибице. Позже Бенъямин получил возможность ранним утром отправляться на любимый склон холма, где он доставал из кустов спрятанный там шезлонг, раскладывал свои книги и бумаги и мог читать и писать без всяких помех. Он описывал свой дневной распорядок в Сан-Антонио в письме, адресованном Гретель Карплус (см.: ГВ, 4:207–208) — одним из нескольких отправленных ей тем летом длинных писем, в которых он впервые называет ее придуманным им для нее прозвищем Фелицитас¹⁰ и подписывается одним из своих тогдашних

10. Такое имя носила одна из героинь пьесы Вильгельма Шпайера *Ein Mantel, ein Hut, ein Handschuh* («Пальто, шляпа, перчатка»), написанной им предыдущим летом в сотрудничестве с Бенъямином. См.: ВГ, 6п5.

псевдонимов — Детлеф или Детлеф Хольц (кроме того, он называет себя ее «приемным ребенком» в отличие от Адорно, ее «трудного ребенка»). Обычно он вставал в шесть или в полседьмого, затем ходил к морю искупаться и поплавать и к семи был в своем лесном убежище; там он в течение часа читал Лукреция. В восемь утра, открыв термос и позавтракав, он работал, подкрепив свои силы стоицизмом и скромной трапезой, до часу дня, нередко делая около полудня паузу для недолгой прогулки по лесу. Около двух он обедал в городке за длинным столом, где тщательно соблюдал местный этикет, а после обеда любил читать или что-нибудь «царапать», сидя под соседним фиговым деревом. Из-за отсутствия шахматных партнеров он порой проводил вечера за игрой в карты или в домино (хотя его противники, по большей части не занятые никаким умственным трудом, играли «чересчур всерьез») или за разговорами в кафе. Вернувшись в свою комнату, которую с ним делили «три сотни мух», он ложился в кровать в девять или в полдесятого и при свете свечи читал детективный роман Сименона.

По мере дальнейшей жизни на острове даже такой режим перестал в должной мере приносить ему избавление от шума и пыли Сан-Антонио, и Беньямин стал то и дело совершать экскурсии во внутренние части острова. Во время одной из таких вылазок, предпринятых в обществе нового знакомого, он ознакомился с «одним из самых красивых и удаленных уголков острова». Его спутником был 22-летний датский гравер Поль Гоген, внук знаменитого художника, живший в глубине острова, в горной деревушке, где он был единственным иностранцем. В пять утра выйдя в море с ловцом омаров, Беньямин и Гоген, человек «такой же нецивилизованный и такой же чрезвычайно изысканный», как и пейзажи в этих краях, провели три часа с ним на лодке, знакомясь с его ремеслом, после чего высадились на берег в укромной бухте. Там им открылось «зрелище, столь совершенное в своей непреложности... что оно балансировало на самой грани невидимости». Их глазам предстало несколько собравшихся около рыбацких лодок женщин, одетых во все черное, — непокрытыми оставались только их «серьезные и застывшие» лица. Смысл этой картины оставался для Беньямина неясен до тех пор, пока спустя час они не повстречали на горной тропе, ведущей к деревне, «шедшего нам навстречу человека, который нес под мышкой крохотный белый детский гробик». Женщины у моря были плакальщицами, пришедшими на похороны ребенка, но не пожелавшими пропускать редкостное событие — прибытие с моря моторной лодки. «Чтобы оценить поразительность этого зрелища, — отмечает Бенья-

мин, — нужно было сначала понять его». Он подозревал, что Гогену смысл происходящего был ясен с самого начала, но «он человек очень неразговорчивый» (С, 419–421).

Очарование Средиземноморья время от времени по-прежнему производило на Беньямина магическое воздействие. Он завершает письмо Гретель Адорно идиллическим описанием панорамы, открывающейся с его места на высокой террасе: «Подомной лежит городок; шум кузницы или стройки проникает снизу вверх подобно дыханию земли, начинающейся прямо у подножия моего бастиона — так невелика эта полоска города. Справа от домов я вижу море, а за домами очень плавно поднимается остров, с тем чтобы за цепочкой холмов, терпеливо тянущихся вдоль горизонта, снова погрузиться в море» (ГВ, 4:209). Яркие впечатления он выносил и из длительных прогулок по островной глубинке. «В горах находятся едва ли не самые окультуренные и плодородные места на острове. Землю пересекают глубокие каналы, которые, однако, настолько узки, что нередко долго тянутся невидимыми в густой траве насыщеннейшего зеленого цвета. Шум воды в этих каналах похож на журчание. Склоны поросли рожковыми деревьями, миндалем, оливами и хвойными породами, а долины заняты посевами кукурузы и бобовых. На фоне скал выстроились цветущие олеандры» (ГВ, 4:231–232).

Хотя Беньямин изо всех сил старался максимально сократить свой круг общения, например активно избегая бывшего дадаиста Рауля Османа, жившего неподалеку от Сан-Антонио, тем не менее он пользовался некоторыми преимуществами сложившейся на острове новой социальной ситуации. Например, он стал завсегдатаем в баре «Мигхорн» (что означает «Южный ветер»), который принадлежал Ги, брату Жана Сельца. Он оставался частым гостем и в доме Сельцев на Калье-де-ла-Конкиста в Ибице, где Жан и его жена Гийе регулярно устраивали приемы для группы писателей и художников. Беньямин даже пытался учить испанский, собрав, как он поступал всякий раз, когда вспоминал о своем обещании выучить иврит, настоящий арсенал методик, включая традиционное изучение грамматики, частотный словарь и новомодный «суггестивный» подход. Итоги всех этих трудов были аналогичны успехам в изучении иврита: по его собственному признанию, по-настоящему языком он так и не овладел.

Последнюю неделю мая Беньямин провел у Сельцев в Ибице; он нуждался в относительной тишине их дома с его цветником и видом на бухту и далекие горы с тем, чтобы закончить доставившую ему много хлопот работу о современной французской словесности, предназначавшуюся для его дебюта в новом журнале Хоркхаймера. Своим хозяевам он читал отрывки

из «Берлинского детства на рубеже веков», переводя их на лету, и затруднения, с которыми он столкнулся при изложении некоторых пассажей по-французски, вдохновили Сельца на перевод этого труда. Хотя, по словам Беньямина, Сельц не знал немецкого, работа над переводом продвигалась, приняв форму тесного сотрудничества — «мы часами обсуждали мельчайшие моменты», — и Беньямин объявил, что окончательный результат его более чем устраивает¹¹. Именно во время этого пребывания в старом городке Ибица в конце мая они с Сельцем вместе курили опиум, выполняя желание, впервые выраженное Беньямином годом ранее. Впечатления от этого опыта подробно описаны Сельцем в его эссе *Une expérience de Walter Benjamin*¹², и более лаконично — самим Беньямином в письме Гретель Карплус:

К потолку не поднималось почти никаких клубов [опиумного дыма], так глубоко я осознал, как вдыхать их в себя через длинную бамбуковую трубку... Когда вечер начался, я чувствовал себя очень печально. Но я осознал то редкое состояние, в котором внутренние и внешние тревоги очень точно уравнивают друг друга, порождая, возможно, единственное настроение, в котором в самом деле ощущаешь утешение. Мы решили, что это... знак, и, призвав на подмогу все те маленькие хитрости, которые избавляют от необходимости двигаться в течение ночи, около двух часов принялись за дело... Роль помощника, требующую большой тщательности, мы разделили между собой таким образом, чтобы каждый из нас в одно и то же время был и слугой, и получателем услуги, и акты содействия сплетались с нашей беседой так же, как нити гобелена, окрашенные в цвет неба, сплетаются с битвой, изображенной на переднем плане... Сегодня важные результаты дало изучение штор — штора отделяла нас от балкона, выходящего на город и на море (ОН, 14–15).

Сельц упоминает забавный неологизм Беньямина *rideaulogie* — «наука о шторах», а сам Беньямин в записях своих размышлений об опиуме «Глиняные заметки» (ОН, 81–85) отмечает, что шторы «переводят для нас язык ветра». В «Глиняных заметках», а впоследствии и в «Пассажах» Беньямин проводит идею о том, что если мы хотим оценить всеприсутствие и многозначность узора в современном мире, то эта задача требует особого подхода, ощущения многообразной интерпретируемости. Подобно гашишу, опиум — они обозначали его кодовым словом «глина» — выявляет «мир поверхностей», скрытый в повседневном

11. См.: Selz, “Benjamin in Ibiza”, 361. В итоге они перевели на французский пять главок (GS, 4:979–986), прежде чем их дружба к концу лета подостыла. См.: GB, 4:374–375, 393–394.

12. В переводе Марии Луизы Ашер опубликовано в: ОН, 147–155.

существовании: «Курильщик опиума или едок гашиша ощущает способность высасывать взглядом сотню мест из одного места»¹³.

Разумеется, «внутренние и внешние тревоги» невозможно было надолго разогнать подобными средствами. «Большой мир» вторгался на маленький остров самыми непредвиденными способами: 6 мая Ибицу в связи со своими обязанностями командующего, отвечающего за Балеарские острова, посетил генерал Франсиско Франко, и этот визит стал для Беньямина нежелательным напоминанием о подъеме праворадикальных сил по всей Европе. В начале мая он получил известие, что его брат Георг, который с 1922 г. был активным членом Коммунистической партии Германии, схвачен штурмовиками. Согласно первым сообщением, он подвергся пыткам и потерял один глаз, но это оказалось преувеличением. Беньямин говорил по телефону со своим младшим братом перед отъездом из Берлина, и уже тогда ходили слухи о его смерти. Георг был арестован в апреле людьми в форме и в штатском и посажен в полицейский «следственный изолятор» в Берлине. Летом его перевели в концентрационный лагерь Зонненбург (который охраняли штурмовики и части СС), но к Рождеству освободили. Впоследствии, как и предвидел Беньямин, он возобновил нелегальную деятельность и сотрудничал с подпольной печатью, переводя статьи с английского, французского и русского и редактируя информационный бюллетень. Его снова арестовали в 1936 г. и приговорили к шести годам тюремного заключения, а после его окончания отправили в концентрационный лагерь Маутхаузен, где он умер в 1942 г.¹⁴ Естественно, что известие об аресте брата — аналогичная участь, между прочим, постигла и брата Шолема Вернера — усилило опасения Беньямина за судьбу сына. Однако он не мог напрямую писать об этом Доре, не подставив под удар ее и Штефана: «Шпики сейчас повсюду» (BS, 47). Он смог чуть свободнее вздохнуть в июле, узнав, что она с сыном совершает автомобильную поездку по Центральной Европе. Но к концу мая начал ощущаться шок изгнания, и Беньямин мог писать Шолему: «Я в плохой форме. Полная невозможность обрести какую-либо надежду в долгосрочном плане угрожает внутреннему равновесию человека, даже привыкшего, подобно мне, не иметь почвы под ногами и ничего не ждать от будущего» (BS, 51).

13. ОН, 85. Об опытах Беньямина с гашишем см. главу 6.

14. См. изложение этих событий женой Георга Хильдой Беньямин, утверждающей, что он был убит в Маутхаузене, в: *Georg Benjamin*, 207–291. Резюме соответствующих материалов приводится в: *Brodersen, Walter Benjamin*, 208–209. Сестра Беньямина Дора в то время тоже еще оставалась в Германии, но 1934–1935 гг. она провела в Париже (где снова стала поддерживать контакты с Вальтером), а затем бежала в Швейцарию, где и умерла в 1946 г.

К концу весны Беньямин подумывал о том, чтобы покинуть остров, но у него не было ни денег, ни каких-либо серьезных перспектив (см.: VG, 23). В мае он сообщал друзьям, что его уже приводят в ужас мысли о «мрачной зиме», ожидающей его в Париже, словно бы на смену временам года навсегда пришло состояние холода и смерти. К середине июля у него, как и следовало ожидать, исчерпались средства: он не имел никаких надежных источников дохода, кроме нескольких марок, которые получал от своего берлинского квартиросъемщика. Не представляя, каким образом обеспечить себе в ближайшее время какой-либо заработок, он все больше и больше полагался на милость тех немногих друзей, которые были в состоянии время от времени подбросить ему немного денег. Именно в этих обстоятельствах Беньямин сочинил свои «Грустные стихи»:

Ты сидишь в кресле и пишешь,
И все сильнее, и сильнее, и сильнее устаешь.
Ты вовремя ложишься в постель,
Ты вовремя ешь,
У тебя есть деньги —
Посланные милосердным Господом.
Жизнь чудесна!
Твое сердце бьется все громче, и громче, и громче,
Море все больше, и больше, и больше успокаивается
До самых своих основ (GS, 6:520).

Разумеется, в печальной атмосфере этого стихотворения слышатся нотки ироничного веселья, по крайней мере до заключительного трехстишия, представляющего собой своего рода конец света в миниатюре. Имеет смысл сравнить «Грустные стихи» с самым известным из всех стихотворений, сочиненных немецкими изгнанниками, — со стихотворением «К потомкам» Бертольда Брехта (1938). В то время как Беньямин описывает ощущения индивидуума, погружающегося в глубины истории, Брехт обращает свой взор к временам, когда само это погружение станет историей:

О вы, которые выплывете из потока,
Поглотившего нас,
Помните,
Говоря про слабости наши,
И о тех мрачных временах,
Которых вы избежали¹⁵.

15. Перевод Е. Эткинда.

В итоге Беньямин мог находить парадоксальное утешение в дождливой погоде, преобладавшей на острове тем летом, невзирая на свою привычку работать на свежем воздухе. Как он писал Гретель Карплус, «я люблю пасмурные дни — не только на севере, но и на юге» (GB, 4:249). И все же его несчастья и нужда были неподдельными. Мы уже упоминали сообщение Висенте Валеро, в 1990-е гг. опросившего многих старейших жителей острова; по его словам, островитяне, от которых не могли укрыться бедность и одиночество этого человека во все более поношенной одежде и с шаркающей походкой, называли Беньямина “el miserable”¹⁶. Уже первые три месяца, проведенные им на острове, резко контрастировали с тем восторгом, который вызывало у него идиллическое существование на лоне природы и окружающее первобытное общество в 1932 г.; последние же три месяца окончательно ввергли его в отчаяние. На протяжении этих месяцев Беньямин постепенно отдалился даже от своих островных друзей, будучи вынужден неоднократно менять жилье. Его и без того скудный рацион перестал отвечать минимальным физиологическим потребностям организма, и это недоедание в сочетании с его душевным состоянием стало причиной ряда изнурительных болезней.

Однако у Беньямина еще сохранились кое-какие связи с литературным миром. Он упорно поддерживал контакты с несколькими газетными корреспондентами и редакторами журналов, включая Карла Линферта, Макса Рихнера и Альфреда Куреллу. Последний переселился в Париж и явно подумывал о посещении Ибицы; в июне Беньямин отправил ему письмо с описанием условий жизни на острове и двух его главных городов. Он писал Курелле, который в то время был секретарем французского отделения Коминтерна, что очень рад получить от него известие: «Вы находитесь в центре, я же в лучшем случае двигаюсь по касательной» (GB, 4:224). И все же эта касательная при всей ее ненадежности продолжала обеспечивать его работой: в середине июня он сообщал из Сан-Антонио о том, что из Германии по-прежнему приходят «заказы на статьи», включая и заказы «из контор, прежде не проявлявших ко мне большого интереса» (BS, 59)¹⁷. В среднем ему удавалось заработать примерно по 100 марок в месяц, в то время как прожиточный минимум на острове составлял 70–80 марок

16. Valero, *Der Erzähler*, 119–120.

17. Он упоминает *Europäische Revue*, в котором той весной и летом публиковал музыкальную критику Адорно. Он тщетно пытался рекомендовать Беньямина редактору этого журнала Иоахиму Морасу. См.: GB, 4:196n, 211n.

в месяц. И на его производительность никак не повлияли ненадежные обстоятельства его повседневного существования. Наоборот, именно в этот начальный период изгнания он написал ряд самых замечательных главок «Берлинского детства», включая «Луну», «Горбатого человечка» и свой «автопортрет» «Лоджии». Как Беньямин писал Гретель Карплус, «завеса секретности», за которой он работал, а также неудача, которой окончились все попытки найти издателя для книжного варианта «Берлинского детства» — отдельные фрагменты из этой серии продолжили выходить в газетах под псевдонимами и анонимно, — позволили ему справиться с искушением завершить этот труд (см.: С, 427–428). Эти новые главки «Берлинского детства» писались в паузах между работой над заказными материалами. 30 мая Беньямин сумел закончить самый срочный из этих заказов — эссе «О современном социальном положении французского писателя».

Предпринятый Беньямином широкий обзор французской литературной сцены опирался на чрезвычайно шаткое материальное основание — библиотеку Неггерата, 30–40 книг, оставленных Беньямином на Ибнице в предыдущем году, и несколько книг, присланных ему Хоркхаймером из Женевы, — и Беньямин остро осознавал, в какое тяжелое положение его ставит это обстоятельство. «Это эссе, в любом случае представляющее собой полную халтуру, — писал он Шолему 19 апреля, — приобретает более или менее магический облик вследствие того факта, что мне приходится писать его здесь, не имея практически никаких источников. Оно смело проявит себя в таком качестве в Женеве, но воздержится от этого в твоём присутствии» (BS, 41). Несмотря на все сложности, Беньямин сумел — и впоследствии это стало для него типичным — в итоге получить удовлетворение от работы, доставившей ему столько хлопот: «У меня не было возможности написать что-либо определенное. Тем не менее я надеюсь, что читатель получит представление о связях, ранее никем не выявлявшихся с такой же четкостью» (BS, 54).

В этом эссе (SW, 2:744–767) Беньямин прослеживает историю текущего социального кризиса французской интеллектуальной жизни вплоть до его первых проявлений в произведениях Аполлинера. На следующих страницах он сначала излагает позицию правых католиков. Творчество «романтического нигилиста» Мориса Барре с его требованием союза между «католическими чувствами и духом почвы» сыграло роль трамплина для более известного заявления Жюльена Бенды о «предательстве интеллектуалов». Из всех правых авторов Беньямин наиболее объективно говорит о Шарле Пеги, что едва ли удивительно

с учетом его давнего интереса к этому поэту. Беньямин выделяет либертарианские, анархистские и популистские элементы в мистическом национализме Пеги, называя эти элементы истинными останками Французской революции. Анализ популизма Пеги выводит на авансцену ряд писателей, вслед за Золя пробывавших свои силы в *roman populiste*, и в первую очередь Луи-Фердинанда Селина с его первым громким романом «Путешествие на край ночи» (1932). Если Беньямин сохраняет предсказуемый скептицизм в отношении достижений Селина, то он все же отдает предпочтение холодному взгляду, насквозь пронзающему предреволюционные массы — и вскрывающему «их трусость, охвативший их панический ужас, их желания, их кровожадность», — перед сентиментальной кашей либеральных писателей, воспевающих гимны простоте и нравственной чистоте простого народа. Соответственно, Беньямин воздает должное Селину за его сопротивление конформизму — готовности принимать все черты современной Франции как данность, — выносящее приговор почти всей современной литературе.

Идея конформизма играет роль перехода к анализу четырех авторов, сумевших преодолеть это состояние: Жюльена Грина, Марселя Пруста, Поля Валери и Андре Жида. Романы Грина представляются Беньямину «живописными и страстными ноктюрнами», темными мирами, взрывающими условности психологического романа. И все же Беньямин усматривает в глубинах произведений Грина противоречие — между формальными инновациями и устаревшим подходом к раскрытию темы. Такое же противоречие, только поднятое на более высокий уровень, в его глазах характерно и для великого романа Пруста.

По этой причине имеет смысл задаться вопросом, каковы достижения романа последнего десятилетия с точки зрения свободы. Трудно себе представить иной ответ, кроме указания на то, что именно Пруст первым встал на защиту гомосексуализма. Однако, хотя такое замечание и воздает должное скромным революционным плодам литературы, им ни в коем случае не исчерпывается значение той роли, которую гомосексуализм играет в цикле «В поисках утраченного времени». Напротив, гомосексуализм появляется у Пруста потому, что из мира, с которым он имеет дело, изгнаны и самые давние, и самые примитивные воспоминания о производительных силах природы. Пруст исключает из описываемого им мира все, имеющее отношение к производству (SW, 2:755).

Это противоречие между формальными новшествами и замшелой тематикой будет занимать Беньямина в течение всего следующего года, побудив его к размышлениям об «отношениях

между формой и содержанием» в прогрессивной литературе, — речь идет об эссе «Автор как производитель». Статья о французских писателях заложит основы и для последующей работы еще в одной области. В ходе разговора о Валери Беньямин заостряет внимание на том, как писатель понимает свое творчество и как относится к нему. Валери выделяется среди современных авторов высоким техническим совершенством своих произведений; согласно Беньямину, для него сочинительство — это в первую очередь техника. А для Беньямина, как и для Валери, прогресс возможен лишь в сфере техники, но не в сфере идей. Таким образом, произведение искусства в идеале представляет собой «не продукт творчества: это некая конструкция, главную роль в которой играют анализ, расчет и планирование» (SW, 2:757; MB, 241). Однако Валери с его концепцией человека как темы для разговора, интеллектуала как частного лица не в состоянии переступить через «исторический порог», отделяющий «гармонично образованного, самодостаточного индивидуума» от технолога и специалиста, «готового стать участником намного более обширного проекта». И это приводит Беньямина к Андре Жиду.

Согласно трактовке Беньямина, сам герой романа Жида «Подземелья Ватикана» — не более чем машина, постройка, на что указывает знаменитый «бескорыстный поступок» этого персонажа, выбросившего из вагона поезда другого пассажира, который разбивается насмерть. Беньямин прослеживает прямую связь между этим поступком и поступками сюрреалистов. «Ибо сюрреалисты выказывали все большую готовность приводить деяния, изначально носившие характер игры либо совершавшиеся из любопытства, в соответствие с лозунгами Коммунистического интернационала. И если после этого все равно еще могут оставаться какие-то сомнения в отношении смысла крайнего индивидуализма, под знаменем которого Жид приступил к работе над своей книгой, то они лишаются всяких оснований в свете его последних заявлений. Ведь из них четко вытекает, что после того, как этот крайний индивидуализм испытал себя в окружающем мире, он неизбежно превращается в коммунизм» (SW, 2:759). Тем самым эссе переходит от великих либерально-буржуазных авторов к признанным левым: самим сюрреалистам и Андре Мальро (раздел о Мальро был добавлен в январе 1934 г.). Беньямин считает его роман «Удел человеческий» (*La condition humaine*), в котором речь идет о сопротивлении коммунистов националистическим силам Чан Кайши, не столько громким призывом к революции, сколько свидетельством о текущих умонастроениях западной левой бур-

жуазии: «Атмосфера и проблемы гражданской войны вызывают у западной литературной интеллигенции больший интерес, чем весомые факты социалистической реконструкции в Советской России» (SW, 2:761). Отсюда вытекает, что одни лишь сюрреалисты в состоянии ответить на вопрос, может ли существовать недидактическая революционная литература. В данном эссе, предназначенном для *Zeitschrift für Sozialforschung*, Беньямин обходит этот вопрос молчанием, уже дав на него решительный ответ в своем значительном эссе 1929 г. о сюрреализме. Здесь же он только указывает, что сюрреализм «поставил силы опьянения на службу революции», то есть связал литературу с психозом и тем самым сделал ее опасной. Эссе «О современном социальном положении французского писателя» не принадлежит к числу главных эссе Беньямина: в этой статье он слишком осторожен, слишком сильно учитывает точку зрения заказчика, слишком боится переступить черту. Тем не менее в качестве тщательно продуманного обзора состояния французской словесности в кризисный момент эта работа имеет намного большую ценность, чем придавал ей сам Беньямин. Она была восторженно встречена в Институте социальных исследований, и вскоре после нее Беньямин получил еще два заказа — на статью об историке искусства Эдуарде Фуксе и на обзор последних публикаций по философии и социологии языка. Но Беньямин смог начать работу над ними лишь после возвращения в Париж.

Рассмотрев положение современного французского писателя и интеллектуала, Беньямин вернулся к культурной сцене в Германии, где свое 65-летие отмечал Штефан Георге. Две новые рецензируемые книги этого поэта, служившего иконой культурного консерватизма, ставили Беньямина перед «неприятной необходимостью говорить о Штефане Георге именно сейчас и именно перед немецкой аудиторией» (BS, 58–59). Его авторитетная и рассудительная рецензия «Штефан Георге в ретроспективе», вышедшая 12 июля во *Frankfurter Zeitung* под псевдонимом К. А. Штемпфлингер, стала последним публичным сведением счетов с автором, творчество которого вызывало живой интерес у него в молодости и чей голос, как Беньямин отмечает в самом начале рецензии, с течением времени стал звучать для него по-иному (см.: SW, 2:706–711). Речь шла о том, чтобы дать Георге зрелую оценку как художнику югендстиля. Для Беньямина Георге остается великой и даже пророческой фигурой, которая в своем восстании против природы и со своей непримиримой позой «стоит последней в том интеллектуальном ряду, который начинается с Бодлера» (чьи стихотворения

Георге переводил еще до Беньямина)¹⁸. Но четверть века спустя становится ясно, что «духовное движение», связанное с его именем, представляло собой финальную, трагическую конвульсию декадентского движения. Несмотря на всю строгость и благородство поэтических методов Георге, его доверие к символам и «тайным знакам» в отсутствие живой традиции выдает оборонительную позу и скрытое отчаяние, главным симптомом которого служит преобладание чистого «стиля» над смыслом: «Речь идет об югендстиле, иными словами, о стиле, которым старая буржуазия маскирует предчувствие своего бессилия, предаваясь полетам поэтической фантазии в космических масштабах [*indem es kosmisch in alle Sphären schwärmt*]

Югендстиль, немецкий вариант *art nouveau*, названный так по образцу популярного журнала *Die Jugend* («Молодость»), со своим «вымученным украшательством», отражающим решимость перевести зарождающиеся новые тектонические формы обратно на язык искусств и ремесел и тем самым скрыть современность с ее техникой под изобильными образами органического мира, представлял собой «великий и вполне сознательный акт регресса». Несмотря на свои дионисийские фантазии о будущем, пропуском в которое станет слово «молодость», он оставался «„духовным движением“, поставившим своей целью обновление человеческого существования в полном отрыве от политики». Отчаянный регресс, которому предавался югендстиль, привел к тому, что даже образ молодости «высох» и стал «мумией». Эти заключительные слова рецензии служили сардоническим намеком на увлечение Георге культом покойного юного красавца Максимина, но Беньямин думал и о своих собственных мертвых, хотя и не то что бы обожаемых, друзей юности (Фрице Хайнле, Рике Зелигсон, Вольфе Хайнле), и об атрофии идеализма в его поколении. Ибо именно они — бескомпромиссные меланхолические романтики предвоенного молодежного движения, как он выразился, «жили в этих стихотворениях», найдя там убежище и утешение в канун «всемирной ночи». Георге был великим «менестрелем», воспевавшим переживания этого «обреченного» поколения. Таким образом, истинное историческое значение его личности и твор-

18. Беньямин едко отмечает в письме Шолему: «Если Бог когда-либо уничтожил пророка, исполнив его пророчества, то именно это случилось с Георге» (BS, 59). Несмотря на свой авторитарный консерватизм, Георге решительно выступал против нацизма; он отказался от денег и почестей, предложенных ему нацистским правительством, и под конец своей жизни, в 1933 г., отправился в изгнание. Граф фон Штауффенберг, в июле 1944 г. организовавший покушение на Гитлера, был его поклонником.

чества было раскрыто миру не теми, кто устроился на университетских кафедрах или во имя своего учителя поднялся к вершинам власти, а «теми, по крайней мере лучшими из тех, кто может выступить в роли свидетелей перед судом истории, потому что они мертвы».

Сразу же после статьи о Георге от *Frankfurter Zeitung* поступил еще один заказ на мемориальную рецензию, на этот раз в связи с 200-летием со дня смерти Кристофа Мартина Виланда, немецкого поэта, романиста и переводчика эпохи Просвещения, чье творчество, как признавался Беньямин Шолему, было ему почти неизвестно. Впрочем, при помощи статей из юбилейного сборника и вышедшего в издательстве *Reclam* сборника произведений Виланда он сумел сочинить текст биографического характера (в основном посвященный дружбе Виланда с Гёте), вышедший в сентябре. Весной и летом он восторженно изучал недавно переведенные романы Арнольда Беннетта. В конце мая во *Frankfurter Zeitung* вышла его рецензия на немецкий перевод «Повести старых жен» Беннетта (1908). В этой рецензии, носящей название *Am Kamin* («У камина»), развивается метафора, впервые прозвучавшая из уст Беньямина годом ранее в обществе Жана Сельца и впоследствии использованная в знаменитом эссе 1936 г. «Рассказчик»: а именно сравнение того, как разворачивается сюжет в романе, с тем, как горит огонь в камине¹⁹. Рекомендуя роман Беннетта «Клеэхангер» Юле Радт-Кон, как он рекомендовал его и другим своим друзьям, Беньямин сопровождает свой совет памятными словами об ощущаемом им личном сродстве с этим выдающимся романистом и критиком эдвардианской эпохи:

[Арнольда Беннетта] я все сильнее воспринимаю как человека, чья позиция имеет очень много сходства с моей нынешней позицией и который оправдывает ее своими делами: иными словами, человека, для которого далеко идущее отсутствие иллюзий²⁰ и принципиальное недоверие к направлению, в котором движется мир, не ведет ни к нравственному фанатизму, ни к ожесточен-

19. См.: Selz, "Benjamin in Ibiza", 359–360. Эссе «У камина», первоначально изданное под псевдонимом Детлеф Хольц, напечатано в GS, 3:388–392. См. также раздел XV «Рассказчика»: «Читатель романа... поглощает материал, как огонь в камине уничтожает поленья. Напряжение, пронизывающее роман, очень напоминает сквозняк, который раздувает пламя в камине и заставляет его играть» (SW, 3:156; Озарения, 358). Беньямин писал Шолему, что в «У камина» содержится «теория романа, не имеющая никакого сходства с теорией Лукача» (BS, 48).

20. Ср. с формулировкой, использованной в эссе «Опыт и скудость» (1933), которое разбирается ниже в этой главе.

ности, а к чрезвычайно хитрому, продуманному и тонкому искусству жить. Это позволяет ему извлечь из своего собственного невезения шансы на удачу, а из собственной испорченности — те немногие почтенные способы прилично вести себя, которые равносильны человеческой жизни (С, 423).

Помимо книг Беннетта с бесконечно подробным описанием английской провинциальной жизни и случайных детективных романов Беньямин читал немецкий перевод второго тома «Истории русской революции» Троцкого, о котором писал Гретель Карплус условными выражениями, с тем чтобы обмануть берлинских цензоров: «Сейчас я читаю „Октябрь“, последний том этого изумительного романа о крестьянской жизни, за который я взялся здесь прошлым летом, — этот том Критроц написал, пожалуй, с еще большим мастерством, чем первый» (GB, 4:187). Далее последовал «Доктор Джекил и мистер Хайд» Роберта Луиса Стивенсона в немецком переводе. Ближе к концу лета он «читал что попало. Даже теологию, за отсутствием приемлемых детективных романов». Здесь он ссылаясь на три свежие работы: книгу об истории и догме, книгу об Иисусе как исторической личности и *Un destin: Martin Luther* Люсьена Февра. После прочтения этого труда он писал Шолему (когда-то обучавшемуся математике), подпустив в свои слова каплю теологического юмора: «Сейчас я в пятый или в шестой раз в своей жизни понял, что означает оправдание верой. Но здесь у меня возникает та же проблема, что и с бесконечно малыми величинами: как только я на несколько часов обретаю понимание, оно снова пропадает на столько же лет» (BS, 76–77).

Каким бы непоседливым бродягой Беньямин ни стал в свои взрослые годы, он оставался все тем же берлинцем, чье благосостояние зависело от множества друзей, знакомых, а также интеллектуальных союзников и противников. Если первое пребывание на Ибице стало для Беньямина долгожданным отдыхом от столичного существования, то в течение второго он познакомился с личной и интеллектуальной изоляцией, которую впоследствии ощущал в течение почти всей оставшейся жизни. На протяжении месяцев, проведенных на Ибице в 1933 г., его единственными регулярными корреспондентами были лишь Шолем, Гретель Карплус и Китти Маркс-Штайншнайдер. Вскоре после того, как в апреле Беньямин прибыл на остров, он отправил открытку Зигфриду Кракауэру с вопросом о том, что происходит в эмигрантских кругах. Кракауэр, 28 февраля бежавший с женой во Францию, теперь был парижским корреспондентом *Frankfurter Zeitung*, в которой Беньямин только

что прочел его статью о швейцарском поэте и художнике пост-югендстиля Аугусто Джакометти (двоюродном брате Альберто Джакометти). Тем летом Беньямин не получил в ответ от Кракауэра ни слова, судя по тому, что он писал около четырех месяцев спустя Гретель Карплус в связи с заявлением об отсутствии у него иллюзий в отношении шансов найти в Париже реальное понимание своего творчества: «Не удивительно, что я слышал о делах Крака только в пересказе; не исключено, что в его случае дело особенно осложняется... этими свойственными ему глубоко укоренившимися иллюзиями» (GB, 4:277). Письма от Шолема приходили той весной и на протяжении большей части лета раз в две-три недели, за что Беньямин был ему признателен. В их переписке снова была поднята тема переселения или по крайней мере визита Беньямина в Палестину. «Вопрос о том, а) смог бы ты и б) стоит ли тебе жить здесь, часто обсуждался в кругу твоих поклонников мужского и женского пола», — писал ему Шолем в начале мая, приглашая его лично принять участие в этой дискуссии. Еще до этого Китти Маркс-Штайншнайдер приглашала Беньямина посетить ее и ее мужа в их новом доме в Реховоте под Яффой и предлагала оплатить ему дорогу. Как вспоминает Шолем, Беньямин очень позитивно реагировал на такие предложения, но «всегда находил причины удержаться или отложить поездку» (SF, 197; ШД, 322). Сейчас мы знаем, что Шолем в своих письмах нарисовал не слишком многообещающую картину перспектив трудоустройства, ожидавших в Палестине авторов такого типа, как Беньямин. Уже в марте того года Шолем писал о «полной невозможности того, что тебе удастся заработать здесь на жизнь», а в июле недвусмысленно констатировал: «Мы не видим никаких шансов на то, что ты найдешь здесь занятие, которое бы устраивало тебя хотя бы наполовину» (BS, 31, 65). Иерусалимский университет, в основном существовавший на деньги американских спонсоров, не имел средств для найма сотрудников, и, хотя суда из Европы ежедневно доставляли все новых и новых работников, «мест для ученых здесь раз-два и обчелся» (BS, 33). 16 июня Беньямин в порядке участия в дискуссии о его переселении в Палестину писал: «У меня ничего нет, и я ни к чему не привязан». По его словам, он был бы «рад и полностью готов приехать в Палестину», если бы мог быть уверен в том, что там по сравнению с Европой будет больше пространства для «того, что я знаю и что могу делать... Там, где его [пространства] не станет больше, его станет меньше... Если бы я смог увеличить свои знания и свои способности, не отказываясь от уже достигнутого, то пошел бы на этот шаг без малейших колебаний» (BS, 59–60). От-

вет Шолема фактически подвел черту под этими неуверенными рассуждениями. Иерусалим не входит в число городов, где можно просто жить и работать. «В долгосрочном плане здесь способны жить лишь те люди, которые, несмотря на все проблемы... чувствуют свое полное сродство с этой страной и с делом иудаизма, а новоприбывшим, особенно стоящим на интеллектуально прогрессивных позициях, здесь бывает очень нелегко... Я в состоянии жить здесь... только потому, что ощущаю в себе преданность этому делу, даже перед лицом отчаяния и краха. В противном случае сомнительная сущность возрождения, проявляющегося главным образом в виде гордыни и лингвистического упадка, давно бы растерзала меня в клочья» (BS, 66). В ответ Беньямин с несколько оправдательной интонацией писал, что ни на секунду не считал Палестину «всего лишь очередным — более или менее удобным — местом для жительства». Однако, добавлял он без всяких уверток, «очевидно, что никто из нас не готов проверять мою „солидарность с делом сионизма“... Итог этой проверки может быть только полностью отрицательным» (BS, 71)²¹. За вниманием, проявляемом обоими адресатами друг к другу, просматривается вполне явное возмущение, которое, впрочем, не смогло нанести серьезного ущерба их дружбе. В сентябре Шолем предложил взять на хранение такую часть имущества Беньямина, которую тот сможет переслать ему, а его архив произведений Беньямина продолжал пополняться.

В дополнение ко всем этим сиюминутным причинам для беспокойства — отсутствию денег, отсутствию перспектив, отсутствию жилья — перед Беньямином встала еще одна очень реальная проблема: подходил к концу срок действия его германского паспорта. 1 июля он отбыл на Майорку, крупнейший из Балеарских островов, чтобы подать в германское консульство заявку на получение нового паспорта. Беньямин знал, что для немецких евреев, бежавших из страны, попытка получить новые документы порой заканчивалась плачевно: ему приходилось слышать, что служащие консульств под тем или иным предлогом требуют сдавать им паспорта, а потом отказываются возвращать их, — и потому он принял небольшую предосторожность и заявил, что его старый паспорт потерян, с тем чтобы даже в худшем случае у него остался хоть какой-то документ. Впрочем, вопреки его опасениям новый паспорт был выдан ему

21. Точно так же Шолем не одобрял и идею о том, чтобы отправить в Палестину сына Беньямина Штефана, отличавшегося ярко выраженными левыми наклонностями. См.: BS, 49.

без задержек. Перед возвращением на Ибицу он два дня изучал Майорку пешком и на автомобиле, знакомясь с ее пейзажами, которые показались ему не столь роскошными и таинственными, как на Ибице. Он повидал горные деревушки Дея, «где плодоносят лимонные и апельсиновые сады», и Вальдемоссы, «где в картезианском монастыре разыгралась история любви Жорж Санд и Шопена», а также «дворцы на утесах, в которых 40 лет назад жил австрийский эрцгерцог, писавший очень обстоятельные, но поразительно безосновательные книги о местной майорканской истории» (ГВ, 4:257). Кроме того, он посетил нескольких знакомых, включая своего бывшего коллегу из *Die literarische Welt* Фридриха Буршеля и австрийского романиста и драматурга Франца Бляя, в колонии немецких писателей в майорканской деревне Кала-Ратхада. Но, несмотря на такое искушение, как возможность свободного доступа к знаменитой библиотеке Бляя (Беньямин упоминает ее в письме), он был полон решимости вернуться на Ибицу.

В июле, августе и сентябре — последние месяцы пребывания Беньямина на Ибице — его раздирали противоречивые эмоции. Бедность, бродячий образ жизни и хроническое нездоровье ставили его на грань отчаяния. Однако, как и во многих других случаях, это отчаяние оказалось плодотворным: его итогом стало одно из самых важных эссе Беньямина «Опыт и скудость», написанное в те летние дни. Два абзаца в начале этого эссе, впоследствии позаимствованные для знаменитого начального раздела эссе «Рассказчик», содержат диагноз текущего состояния культуры, каким оно представлялось с точки зрения «поколения, которому в 1914–1918 гг. пришлось пережить самый чудовищный опыт мировой истории». И этот диагноз не оставляет надежды: мы стали беднее в том, что касается передаваемого опыта, того опыта, который прежде переходил от поколения к поколению и составлял основу наследия. Человечество оскудело если не материально, то духовно. «Мы отдали человеческое наследие по кускам один за другим, заложили в ломбард зачастую за сотую долю цены, чтобы получить в обмен мелкую монетку „актуальности“. В дверях стоит экономический кризис, за ним, как тень, грядущая война»²². Внешние признаки этого банкротства и скудости опыта по иронии судьбы свидетельству-

22. Ср. АР, 388: «Пруст мог явиться в качестве беспрецедентного феномена лишь в том поколении, которое утратило все телесные и естественные опоры памяти и, став беднее, чем прежде, оказалось предоставлено самому себе, сохранив лишь отдельные, изолированные и патологические возможности обладать мирами детства» (папка К1,1).

ют о беспрецедентном развитии техники и средств связи за последнюю сотню лет. Беньямин указывает на «чудовищное смешение стилей и мировоззрений в прошлом веке», на все так же затопляющий нас избыток информации и идей и на становление культуры, отлученной от опыта или такой, в которой «опыт только имитируют или присваивают себе».

Первые страницы этого эссе можно читать как либеральный вариант критики современности, вышедший из-под пера представителей «консервативной революции» 1910–1920-х гг. Впрочем, в этот момент автор выворачивает свои аргументы наизнанку и формулирует заявление, сделавшее это эссе знаменитым: новая бедность порождает не отчаяние, а новое варварство. Это новое варварство со своим опытом скудости вырастает с нуля и, представляя собой контрмеру против бесплодия и порчи, выстраивается на минимальной основе. «Среди великих творцов всегда были непримиримые, которые хотели сначала покончить с тем, что было раньше... Таким конструктором был Декарт... Эйнштейн тоже был таким...». Многие «лучшие умы» из числа современных художников в поисках вдохновения тоже обратились «к голому образу современника, который кричит как новорожденный, лежа в грязных пеленках эпохи». В этой связи Беньямин упоминает писателей Брехта, Шеербарта и Жида, живописца Клее и архитекторов Лооса и Ле Корбюзье. Все эти очень разные художники подходят к современному миру с полным отсутствием «каких-либо иллюзий касательно эпохи», но в то же время им свойственно «безусловное признание ее». Встав на сторону принципиальной новизны, они готовы при необходимости «пережить культуру» — и сделать это со смехом. Этот смех станет подтверждением их варварства, но в то же время и их человечности. Эта человечность неизбежно станет «бесчеловечной», такой, которая в лице таких странно и тонко устроенных фигур, как Клее или Шеербарт, отказалась от «традиционного, торжественного, благородного, украшенного всеми жертвенными дарами прошлого образа человека». Новый минималистский образ человечества, вырастающий где-то за рамками традиционного различия между трагедией и комедией, основывается на пронизательности и отсутствии претензий, а также на духе игры. Подобный этос в принципе отличается от этоса тех немногих властителей, которые ни от чего не отказываются и которые «более варвары, но не в хорошем смысле».

Это эссе полно перекличек с другими работами Беньямина, написанными и до, и после «Опыта и скудости»; можно заметить, что в его размышлениях о новой жизни среди стекла,

о рассказчике, о коллективной мечте собраны ключевые мотивы «Улицы с односторонним движением», а также статей о Брехте, Краусе, Шеербарте, югендстиле и буржуазном интерьере XIX в. На протяжении всего нескольких страниц Беньямин использует все эти разнообразные источники — и, наконец, даже интерпретацию Микки-Мауса как мечты, в которой преодолено текущее состояние, — с тем чтобы нарисовать образ новой культуры и очертить новые формы опыта, которые могут вырасти из нового варварства²³:

Природа и техника, примитив и комфорт здесь полностью слились, и людям, уставшим от бесконечных сложностей повседневной жизни, цель, которая появляется для них лишь как далекая точка назначения бегства в бесконечной перспективе средств, это существование кажется спасением, в каждом своем повороте оно просто, удобно и самодостаточно, машина весит не больше, чем соломенная шляпа, плоды на деревьях округляются так быстро, как надувается воздушный шарик.

«Опыт и скудость» — одно из самых убедительных изображений сомнительной траектории современности, принадлежащих Беньямину. К тому же это эссе было написано в окружении, ценившимся им именно из-за его архаичности. Можно себе представить, как он сидит в шезлонге посреди леса на горном склоне, овеваемом ветрами Ибицы, и под его пером рождается утопическая притча об обществе, которое когда-нибудь вырастет на руинах постфашистской Европы.

Эти месяцы привели Беньямина на грань нищеты, но вместе с тем, как ни странно, они подарили ему самые интенсивные эротические переживания с тех времен, как он расстался с Асей Лацис. После отъезда Аси из Берлина Беньямин жил отнюдь не в изоляции, но ни одна из его связей — как с женщинами из его же класса, так и с юными демимонденками, о которых говорила Дора во время бракоразводного процесса, — не вылилась во что-либо «серьезное». Вполне возможно, что у него была и связь с Гретель Карплус. Хотя все участники этих событий делали вид, что у Гретель не было иных связей, помимо связи с Адорно, в письмах, которыми обменивались Гретель и Беньямин в течение нескольких месяцев после его бегства

23. Что касается темы «нового», ср. AP, II (Синописис 1935 г., часть V), где цитируется последняя строка из «Путешествия» Бодлера: "Au fond de l'Inconnu pour trouver du nouveau!" («Мы новый мир найдем в безвестной глубине!» [перевод Эллиса]). Отзвук этих слов слышится в конце «Опыта и скудости», во фразе *das von Grund auf Neue* (буквально — «новое из-под земли»). Это то место, где Беньямин говорит об «ориентации на новое».

из Берлина, порой можно усмотреть намеки на интимные отношения, в которых они находились еще в Германии. Никто из них не заводил речи о том, что Гретель могла бы порвать с Адорно, но сложные механизмы, к которым они прибегали, чтобы скрыть некоторые фрагменты своей переписки от Тедди, свидетельствуют о желании обеих сторон сохранять интимный характер своей дружбы. Само собой, это была предпочтительная для Беньямина форма эротических отношений: запутанный треугольник, а также по возможности прочная связь объекта любви с другим человеком. И время, проведенное на Ибнице, дало ему шанс обогатиться новым опытом в этой области.

На протяжении первых месяцев, проведенных вдали от Берлина, Беньямину было особенно одиноко. В конце июня он писал Инге Бухгольц, с которой, по-видимому, познакомился в Берлине в 1930 г. и о которой мы не знаем практически ничего, в том числе и ее девичью фамилию, предлагая ей на какое-то время или навсегда порвать с мужчиной, за которого она собиралась замуж, и приехать на Ибницу, чтобы жить здесь с ним за его счет (см.: GB, 4:242–245; SF, 196; ШД, 318). Нет никаких свидетельств, что она приняла его предложение. Но примерно в то же время он встретил 31-летнюю голландскую художницу Анну-Марию Блаупот тен Кате, которой его представил сын Неггератов Жан-Жак²⁴. Блаупот тен Кате прибыла на остров в конце июня или начале июля, после того, как 10 мая стала в Берлине свидетельницей сожжения книг. Хорошее представление о том, какие чувства Беньямин испытывал к этой молодой женщине, дает составленный в середине августа черновик любовного письма (очевидно, не отправленного по адресу в таком виде):

Милая, я только что провел целый час на террасе, думая о тебе. Я ничего не выяснил и ничего не узнал, но очень много думал и понял, что ты целиком заполняешь тьму и что ты снова была там, среди огней Сан-Антонио (о звездах мы говорить не будем). В прошлом, когда я был влюблен, женщина, с которой я чувствовал себя связанным, была... единственной женщиной на моем горизонте... Теперь все по-иному. Ты для меня — все, что я когда-либо мог любить в женщине... Из твоих черт вырастает все, что превращает женщину в стража, в мать, в шлюху. Ты превращаешь одно в другое и придаешь каждому тысячу форм. В твоих объятьях судьба навсегда перестанет преследовать меня. Она больше не сможет ошарашить меня страхом или счастьем. Гро-

24. Краткую биографию Анны-Марии Блаупот тен Кате см. в: van Gerwen, "Angela Nova", 107–111.

мадное спокойствие, окружающее тебя, дает понять, как далека ты от всего, что претендует на тебя день ото дня. И именно в этом спокойствии и происходит превращение одной формы в другую... Они перетекают друг в друга подобно волнам (ГВ, 4:278–279).

Беньямин придумал для Блаупот тен Кате прозвище Тет, что означает «лицо», а также «десерт» или «услада»²⁵. Вдобавок, возможно, к удивлению Беньямина, она ответила на его чувства. «Мне бы хотелось часто бывать с вами, — писала она ему в июне 1934 г., — и тихо говорить с вами, не тратя много слов, а еще я уверена, что теперь мы станем друг для друга в чем-то иными, чем были раньше... Вы для меня больше, намного больше, чем добрый друг, и вы тоже должны это знать. Может быть, больше, чем был для меня прежде какой-либо человек»²⁶. Как указывает Валеро, Беньямин перестал поддерживать все прочие контакты — и со все более малочисленным кругом своих друзей на острове, и с такими своими традиционными корреспондентами, как Шодем и Гретель Адорно, и на протяжении всего августа был полностью поглощен своей новой любовью. Эта любовь, вырвав его из глубин безнадежности, которую он ощущал в июле, вдохновила его на новый приступ творческой активности. Тем летом он написал не менее двух стихотворений, адресованных Блаупот тен Кате. Помимо этого, он замышлял целый цикл посвященных ей произведений, временно озаглавленный «История любви в трех этапах» (GS, 6:815). В связи с этим планом он написал два текста: рассказ «Свет», в итоге включенный им в свои (оставшиеся неопубликованными) «Истории из Одиночества»²⁷, и одно из самых необычных из когда-либо сочиненных им произведений, квазибиографические, в высшей степени эзотерические размышления «Агесилай Сантандер» существую-

25. См. van Gerwen, "Walter Benjamin auf Ibiza", 2:981 (цит. по: ГВ, 4:504n). Ван Гервен, интервьюировавший Блаупот тен Кате и Жана Сельца, предполагает, что Беньямин преподнес один экземпляр своего «Агесилая Сантандера» (о котором идет речь ниже в этой главе) Блаупот тен Кате 13 августа 1933 г., когда ей исполнился 31 год (именно в тот день был сочинен второй вариант этого текста). Ван Гервен приводит цитату из ее письма Беньямину, относящегося к июню 1934 г., в котором она пишет: «Вы [Sie] для меня намного больше, чем добрый друг... Вы безусловно понимаете меня, вот в чем дело», но затем спрашивает в связи с отношениями между ними: «Почему вы порой желаете того, что не существует и чего не может быть, и почему вы не видите, каким замечательным и прекрасным может быть то, что уже существует?» (van Gerwen, "Walter Benjamin auf Ibiza", 971–972). Два стихотворения Беньямина, написанные летом 1933 г. и посвященные Блаупот тен Кате, приводятся в: GS, 6:810–811.

26. Цит. по: *Global Benjamin*, 972 (Valero, *Der Erzähler*, 182–183).

27. Три «Истории из Одиночества» (*Geschichten aus der Einsamkeit*) см.: GS, 4:755–757.

шие в двух вариантах, написанных на Ибике в течение двух дней подряд в середине августа (см.: SW, 2:712–716).

Странное название этого текста содержит отсылки и к древнему спартанскому царю Агесилаю II, упоминаемому Ксенофонтom и Плутархом и фигурирующему в трагедии Корнеля, и к портовому городу Сантандеру в Северной Испании. Согласно Шолему, который после смерти Беньямина обнаружил этот текст, издал его и посвятил ему подробный комментарий (хотя текст, вероятно, не предназначался для публикации), его название — *Agésilau Santander* в первую очередь представляет собой анаграмму слов “*Der Angelus Satanas*” («Ангел Сатана») с лишней буквой *i*, которая, согласно недавней догадке, означает «Ибика»²⁸. Ангел из «Агесилая Сантандера» — фигура, недвусмысленно восходящая к *Angelus Novus* Клее — акварели, приобретенной Беньямином в 1921 г. Шолем первый подметил сходство между этим ангелом, который в заключительном образе текста «неумолимо» и внезапными рывками уходит в будущее, из которого явился, и знаменитым аллегорическим «ангелом истории» из раздела IX последней подписанной работы Беньямина «О понимании истории». В обоих опубликованных вариантах «Агесилая Сантандера» этот новый ангел является автору, будучи вызван его «тайным именем», которое, как фантазирует Беньямин, было дано ему при рождении родителями, с тем чтобы, если ему было бы суждено стать писателем, оно не выдавало бы его еврейского происхождения (как выдавало его в Европе имя Вальтер Беньямин). Это тайное имя, играя роль оберега, является средоточием жизненных сил и служит защитой от непосвященных. (По иронии судьбы едва ли не самой ужасной во всей биографии Беньямина, недоразумение по поводу его имени впоследствии позволило похоронить его в Испании, на освященной земле — и дело было не в каком-либо «секретном» имени, а просто в том, что чиновники в Портбоу перепутали его имя и фамилию, зарегистрировав смерть человека по имени Беньямин Вальтер.)

В «Агесилае Сантандере» ангел, лишенный всяких человеческих черт, по сути, возникает из имени, покрытый броней и идущий в атаку. В тот момент, когда эссе достигает эзотерической кульминации, Беньямин пишет, что ангел «вдогонку за своим мужским аспектом, изображенным на картине, посылает женский аспект». Эта концепция соответствует заявлению, сделанному 1 сентября в письме Шолему (который, поми-

28. См.: Scholem, “Walter Benjamin and His Angel”. Именно в составе этого эссе впервые были опубликованы оба варианта «Агесилая Сантандера». См. также: van Reijen, van Doorn, *Aufenthalte und Passagen*, 139.

мо этой туманной иллюзии, ничего не знал о Блаупот тен Кате): «Я встретил здесь женщину, которая является его [Ангелюса] женским двойником» (BS, 72–73). Но это нападение, будучи даром, лишь выявляет силу автора, а именно его терпение, которое, подобно крыльям ангела, поддерживает его, пока он воспекает женщину. Имея в виду себя, он говорит, что всякий раз, как его сердце покоряла какая-либо женщина, «он сразу же принимал решение устроить засаду на ее жизненном пути и ждать, когда она упадет в его руки, больная, постаревшая и одетая в лохмотья. Короче говоря, ничто не могло одолеть мужского терпения». Но речь идет вовсе не о завоевании. Ибо «ангел напоминает все, с чем мне пришлось расстаться: людей и особенно вещи». Этот ангел живет в утраченных вещах подобно тайному имени и «делает их прозрачными». Но при этом он не выпускает автора из виду — сам же автор играет роль дарителя, «который уходит с пустыми руками», — и забирает его с собой, когда ретроспективно отбывает в будущее. В ходе этой погони, которая есть отступление, ангел стремится лишь к счастью. Второй, более развернутый вариант текста кончается такими словами:

Он хочет счастья, иными словами, конфликта, в ходе которого восторг перед уникальным, новым, еще не рожденным сочетается со счастьем еще раз испытать нечто, снова вступить в обладание или прожить жизнь. Именно поэтому он не встретит никакой новой надежды ни на одном пути, кроме пути домой, когда он возьмет с собой кого-то нового. Например, меня: ибо едва я увидел тебя впервые, как сразу же вернулся с тобой туда, откуда я пришел.

Если Бенъямин писал об «отсутствии иллюзий», объединявшем его с Арнольдом Беннеттом, то в «Агесилае Сантандере» присутствует более сложная точка зрения на эту жизненную ситуацию: несмотря на постоянную необходимость отступить и отказываться, для него все еще возможна встреча со значимыми вещами, с некоторыми людьми и с определенными видами опыта, хотя бы вследствие случайности или даже несчастья. В Тет Блаупот тен Кате Бенъямин ощущал присутствие всего, что он прежде любил в женщинах. В явлении нового и уникального скрывались возвращение к истокам, путь обратно, хотя и не обязательно домой. «Счастье», что было характерно для Бенъямина, заключалось в ожидании, будучи понимаемо им как нечто вроде вихря во времени и в пространстве²⁹.

29. О мотиве ожидания женщины ср. BS, 72–73, и AP, 855 (M^o,15). Ожидание является ключевой темой в последнем из этих текстов, где, будучи перенесено из древнего теологического контекста, оно связывается с такими тема-

Блаупот тен Кате вскоре вышла замуж за француза Луи Селье, вместе с которым она в 1934 г. перевела незадолго до того изданное эссе Беньямина «Гашиш в Марселе»³⁰. Кроме того, она безуспешно пыталась найти работу для своего безденежного поклонника на голландском радио. Беньямин навестил чету в Париже, где они некоторое время жили в 1934 г., и поддерживал контакты с Тет на протяжении следующего года. В ноябре 1935 г. отношения между ними, очевидно, прервались, хотя Беньямин не удержался от искушения написать 24 ноября в Париже последнее, возможно, оставшееся неотправленным письмо, начав его с признания в невозможности смириться с тем, что они так и не будут ничего не знать друг о друге (см.: GB, 5:198). Таким образом, его отношения с Инге Букхольц и Блаупот тен Кате, как и отношения с Гретель Карплус, соответствуют шаблону неудачных попыток добиться взаимности в рамках любовного треугольника, отчетливо просматривающегося также в романах Беньямина с Асей Лацис (сожительствовавшей с Бернхардом Райхом) и Юлой Кон (когда сам Беньямин жил с Дорой). Более того, все эти неудачные романы оставили свой след в редко кем замечаемой сексуальной тематике его творчества. Когда в «Пассажах» и в «Центральном парке», отчасти представляющем собой острую сатирическую аллегоризацию личных привычек Бодлера, Беньямин говорит о “Via Dolorosa” мужской сексуальности, он косвенно указывает на характер своих собственных эротических переживаний — и не в последнюю очередь на «этапы», упоминаемые в цикле стихов для Тет, на его собственные профанные «крест» и «страсти»³¹.

Даже во время романа с Тет, разворачивавшегося летом 1933 г., Беньямин перебирался из одного импровизированного обиталища в другое в несколько тщетной попытке отыскать на Ибисе приемлемые условия для жизни и работы и в первую очередь уменьшить свои расходы до посильного минимума. К концу июня ему наконец удалось поменять дом Неггератов, полный шума и сквозняков, на самый дешевый и убогий номер в отеле, какой только можно было себе представить (Беньямин

ми, как скука, фланерство, сны, гашиш и «паразитические элементы» города. Даже товары ждут, когда их продадут (O°, 45). В одном месте Беньямин говорит о потребности в «метафизике ожидания» (O°, 26). Ср. EW, 7–8 (1913). См. также: Krasauer, “Those Who Wait” (1922).

30. Беньямин договорился о публикации этого перевода в *Cahiers du Sud* в 1935 г., несмотря на серьезные опасения в отношении его качества (см.: GB, 4:414–415).

31. См.: AP, 331, 342 (папка J56a,8 [Kalvarienberg]; J57,1 [Opfergang]; J64,1 [Passionsweg]), и SW, 4:167 («Центральный парк», часть 10).

платил за него одну песету в день; как он писал, «цена дает представление о том, как выглядит этот номер»), а затем на комнату на другой стороне бухты в Сан-Антонио — менее застроенной стороне, где он жил год назад и где мог работать (в шезлонге, установленном в прилегающей роще) вдали от строительного шума. По договоренности с владельцем недостроенного здания он бесплатно поселился в уже готовой комнате, где хранилась кое-какая мебель. В этом здании, в течение нескольких недель не имевшем иных жильцов, кроме него, не было ни стекол в окнах, ни водопровода, но оно было расположено в трех минутах ходьбы от берега. Собственно, оно стояло рядом с *La Casita* — домом, который снимали в 1932 г. Жан и Гийе Сельцы. «Переехав в эту квартиру, — писал Бенъямин Юле Радт-Кон, — я сократил стоимость жизни и свои расходы до чистого минимума, ниже которых их уже вряд ли удастся уменьшить. Самое удивительное, что здесь вполне можно жить, и если я в чем-либо и нуждаюсь, то это сильнее ощущается в сфере человеческих отношений, чем в сфере комфорта» (С, 423). Нехватку общения несколько восполнял лишь его сосед, «очень приятный молодой человек, который... стал моим секретарем» (ГВ, 4:247).

Благодаря изысканиям Валеро нам стала известна эта любопытная сторона пребывания Бенъямина на Ибике, касающаяся этого явно умного молодого человека, немца по имени Максимилиан Фершполь. Бенъямин познакомился с ним еще в 1932 г., во время первого посещения острова, более того, в тот раз они вдвоем ненадолго покинули остров и провели два дня в Пальма-де-Майорке (см.: ГВ, 4:132). В конце весны 1933 г. Фершполь вернулся на Ибицу из Гамбурга с несколькими друзьями и въехал в «Ла-Казиту», с которой соседствовал строящийся дом, где поселился Бенъямин. Тот вскоре начал общаться с 24-летним Фершполем и его друзьями, часто обедал в «Ла-Казите» и принимал участие в еженедельных прогулках под парусом. И Фершполь в эти месяцы действительно выполнял при Бенъямине обязанности «секретаря»: у него имелась пишущая машинка, и он печатал на ней не только эссе и рецензии, написанные Бенъямином для немецких журналов, но и другие его произведения, которые были отосланы Шолему и заняли место в его разраставшемся архиве. Казалось бы, ничего лучшего Бенъямин не мог пожелать, но следует иметь в виду ходившие по островам упорные слухи о том, что среди новоприбывших присутствовали нацистские сторонники и даже шпионы. Фершполь на Ибике говорил о себе, что готовится изучать право в университете; однако, вернувшись в Гамбург в конце 1933 г., он сразу же получил звание шарфюрера СС. Бенъямин же не только доверил

свои произведения, но и раскрыл ряд своих псевдонимов, призванных скрыть его идентичность, немцу, симпатизировавшему нацистам и, судя по всему, имевшему солидные связи в партийном аппарате. Обычно Беньямин заводил новые знакомства с очень большой оглядкой. То, что он ослабил свою бдительность так быстро и на таком широком фронте, выдав не только себя, но и свою интеллектуальную продукцию, возможно, следует рассматривать как следствие тех потрясений, которые выпали на его долю в предыдущие месяцы.

Впрочем, такое дружеское, хотя и неосторожное, общение с живущими по соседству молодыми немцами было для него нетипично. На протяжении летних месяцев Беньямин начал разрывать связи даже со своими немногими близкими друзьями на острове. Как мы уже видели, отношения между ним и Феликсом Неггератом начали портиться еще весной, вскоре после прибытия Беньямина на Ибицу. Сейчас же, в последние месяцы пребывания на острове, Беньямин начал отдаляться и от Жана Сельца. Впоследствии тот связывал охлаждение в их отношениях с конкретным случаем. Посещая портовый городок Ибицу, Беньямин часто заходил в «Мигхорн» — бар, принадлежавший Ги, брату Жана Сельца. Однажды Беньямин, что было для него крайне необычно, заказал сложный «черный коктейль» и осушил высокий бокал с большим апломбом. Затем он принял вызов какой-то польки и по ее примеру выпил одну за другой две стопки 74-градусного джина. Ему еще хватило сил с бесстрастным лицом выйти из бара, но снаружи он рухнул на тротуар, с которого его вскоре с немалым трудом поднял Жан Сельц. Хотя Беньямин заявил, что желает немедленно идти домой, Сельц убедил его в том, что тот не в состоянии пройти пешком девять миль до служившего ему жильем недостроенного дома в Сан-Антонио. В итоге Сельц провел всю ночь в попытках уложить Беньямина в постель в доме Сельцев, стоявшем на вершине крутого холма на улице Конкиста. Когда Сельц проснулся к полудню, Беньямин уже ушел, оставив записку с извинениями и благодарностями. И хотя они время от времени продолжали работать над французским переводом «Берлинского детства», прежних отношений было уже не вернуть. «Увидев его снова, я почувствовал в нем какое-то изменение. Он не мог простить себя за то, что устроил такую сцену, из-за которой, несомненно, чувствовал настоящее унижение и за которую, как ни странно, явно упрекал меня»³². Унижение, несомненно, сыграло здесь

32. Selz, "Benjamin in Ibiza", 364.

свою роль. Но, судя по всему, в еще большей степени, чем эту брешь в тщательно возводившейся им защитной стене учтивости, он не мог себе простить того, что пусть на мгновение дал увидеть что-то вроде своего внутреннего отчаяния.

Через несколько недель после поездки на Майорку здоровье Бенямина стало ухудшаться. Его недуги начались с «очень неприятных» болей в его правой ноге. К счастью для Бенямина, эта проблема дала о себе знать в момент, когда он на несколько часов пришел в город Ибицу, где в то время находился немецкий врач, осмотревший Бенямина в его гостиничном номере и с удовольствием «ежедневно расписывавший мои шансы на кончину в случае возникновения осложнений» (BS, 69). Бенямин был в состоянии передвигаться по городу ради неотложных дел, но вообще застрял там до конца июля без книг и бумаг, оставшихся в Сан-Антонио. Впрочем, он воспользовался ситуацией и продолжил перевод «Берлинского детства» с Сельцем, который каждый день приходил к нему со своей улицы Конкиста. Примерно в первой неделе августа Бенямину удалось вернуться в Сан-Антонио, но 22 августа он снова был в Ибице, где нашел бесплатное жилье: к этому времени помимо воспаления ноги он страдал от зубной боли, истощения и лихорадки, вызвавшей у него сильный жар (по поводу которого он ранее шутил в письме Шолему, упоминая об «августовском безумии», часто поражающем прибывших на остров иностранцев). К этому «ансамблю мучений» прибавилась потеря его любимого инструмента для письма — авторучки привычной для него марки, к которой он испытывал пристрастие, граничившее с манией, — причинившая ему все те «неудобства, которые наступают меня вместе с новым, дешевым и непригодным пишущим приспособлением» (GB, 4:280). Кроме того, Бенямина угнетала тревога за судьбу его библиотеки, оставшейся в Берлине. В начале лета Гретель Карплус организовала переправку в Париж «архива» его рукописей из его берлинской квартиры³³. Но у Бенямина просто не было денег на то, чтобы упаковать свои книги и доставить их в Париж.

В начале сентября воспаление ноги снова приковало его к постели. «Я живу в совершенной глубинке, в 30 минутах... от деревни Сан-Антонио. В этих первобытных условиях тот

33. В марте 1934 г. пять-шесть ящиков с наиболее важными из книг Бенямина прибыли в Сквосбостранд (местечко в Дании, где проживал Брехт), но сегодня лишь незначительные остатки библиотеки Бенямина сохранились в Москве. Было утрачено и собрание рукописей братьев Хайнле, составлявшее часть его берлинского архива. См.: BS, 72, 82–83, 102, и GB, 4:298n. См. также: *Walter Benjamin's Archive*, 4.

факт, что ты едва стоишь на ногах, едва говоришь на местном языке, а в придачу к этому еще и должен работать, делает твое существование почти невыносимым. Как только мое здоровье восстановится, я вернусь в Париж» (BS, 72). Он был лишен медицинской помощи, его питание было «скудным», было трудно достать воду, его жилище было полно мух, а лежать ему приходилось на «самом ужасном матрасе в мире» (BS, 76–77). Но он продолжал работать. Как Беньямин сообщал Гретель Карплус, вследствие своего нездоровья он потерял не менее двух недель рабочего времени, но в августе и начале сентября он все же дописал несколько текстов, включая «О миметической способности», «Луну», статью о Виланде для *Frankfurter Zeitung* и «Агесилай Сантандер». Как видно из этого списка, уже первые месяцы жизни Беньямина в изгнании ясно показали, что его ждет дальше: будучи отрезан от своего обычного окружения и от возможностей для издания, он был вынужден браться практически за любые поступавшие ему заказы. Статья о французских авторах и текст о Виланде во многих отношениях были высосаны из пальца, а кроме того, Беньямин остро осознавал, что они отнимают у него время, необходимое для работы над его главными замыслами. Вместе с тем с учетом всех неудобств, вызванных изгнанием, не может не вызывать изумления его способность сочинять такие тексты глубоко личного и даже эзотерического характера, как «О миметической способности», «Агесилай Сантандер» и ключевые главы «Берлинского детства», не говоря уже о весомых соображениях по поводу современности, прозвучавших в «Опыте и скудости». Несомненно, именно осознанием очень неровного качества этой продукции впоследствии были вызваны его слова о «блестке и убожестве этого последнего лета на Ибице» (BS, 140).

Его манил свет Парижа, каким бы тусклым и неясным этот свет ни был. В конце июля Беньямин получил послание от *Comité d'aide et d'accueil aux victimes de l'antisémitisme en Allemagne* — организации, основанной в прошлом апреле в Париже под патронажем Исаэля Леви, главного французского раввина, барона Эдмона де Ротшильда и др. Это письмо, как сообщает Беньямин Шолему, было «официальным» приглашением с «обещанием бесплатного проживания в доме, выделенном в Париже баронессой Гольдшмидт-Ротшильд для еврейских интеллектуалов в изгнании» (BS, 68). Судя по всему, своими связями с финансовым миром воспользовался его друг и сотрудник Вильгельм Шпайер, крещеный, но происходивший из семьи франкфуртских евреев-банкиров, и Беньямин рассматривал это приглашение как «несомненный» намек на «более или менее

многообещающее вступление», хотя и не думал, чтобы в экономическом плане оно сулило нечто большее, чем «простую передышку». 8 августа он направил в комитет формальную заявку, в которой упоминалось дошедшее до него известие о том, что парижский дом будет готов к середине сентября, и содержалась просьба известить его о принятом решении до конца месяца (см.: GB, 4:272–273). 1 сентября он писал Шолему о том, что «относится к [своему] пребыванию в Париже чрезвычайно сдержанно. Парижане говорят: “*Les émigrés sont pires que les boches*” [«Эмигранты хуже немчуры»]» (BS, 72). А в письме Китти Маркс-Штайншнайдер он впоследствии отмечал: «То, что делается здесь евреями и для евреев, пожалуй, лучше всего описать словами „небрежное милосердие“. Оно сочетает в себе обещание вспомоществования, лишь изредка воплощающееся в жизнь, с высочайшей степенью унижения» (С, 431). Как выяснилось, жилье, предоставляемое баронессой, было отнюдь не бесплатным, и запутанная серия «упущений и задержек» фактически поставила крест на этих скромных ожиданиях.

Беньямин прибыл в Париж 6 октября, будучи серьезно больным и не имея непосредственных перспектив на получение работы. В день его отбытия с Ибицы, 25 или 26 сентября, он слег с тяжелой лихорадкой, и переезд во Францию проходил в «невообразимых условиях». После того как он поселился в дешевом отеле *Regina de Passy* на улице де ла Тур в дорогом в других отношениях 16-м округе Парижа, ему диагностировали малярию и прописали курс лечения хинином, который прочистил ему голову, хотя и не избавил от сильной слабости. 16 октября после 10 дней, во время которых Беньямин почти не вставал с постели, он писал Шолему: «Передо мной здесь встает столько же вопросительных знаков, сколько углов насчитывается на парижских улицах. Ясно лишь то, что... попытка зарабатывать во Франции на жизнь литературным творчеством... быстро лишит меня последних остатков моей далеко не безграничной инициативности. Я бы предпочел любое занятие... пустой трате времени в редакционных приемных уличных таблоидов» (BS, 82). Тем не менее к концу месяца он начал нащупывать местные контакты; так, он нанес визит Леону Пьеру-Куану, биографу Пруста и Жида, и ушел от него с проблеском надежды на то, что этот контакт в итоге может оказаться полезным. «Я избегаю встреч с немцами, — писал он Китти Маркс-Штайншнайдер, — и по-прежнему предпочитаю говорить с французами, которые, конечно, почти не способны и не желают что-либо делать, но покоряют тебя тем, что не заводят разговоров о своей участи» (С, 431).

Ему хватало беспокойства и о собственной участи. Он оценивал свою ситуацию — особенно в связи со своими первоначальными неудачами хоть как-то закрепить в Париже — как «отчаянную». В глазах человека, даже в лучшие времена преследуемого серьезной меланхолией, те приступы депрессии, которые одолевали его теперь, были «глубокими и вполне обоснованными»; они ввергали его в состояние нерешительности, нередко граничившее со ступором. Это чувство потерянности и изоляции обернулось преждевременным кризисом в начале ноября, когда в Париже умерла Герт Виссинг, жена его кузена Эгона. Виссинги принимали участие в ряде берлинских опытов Бенъямина с гашишем (см. описание танца Герт в ОН, 63), и он считал их своими ближайшими друзьями. В смерти Герт Бенъямин усматривал предвестье других смертей, включая, может быть, и свою собственную: «Она будет первой из тех, кого мы похороним в Париже, но едва ли последней» (ГВ, 4:309).

Его финансовое положение лишь ухудшилось по сравнению с летом, хотя бы потому, что стоимость жизни в Париже была на порядок выше, чем на Ибнице. Полученный в начале ноября денежный перевод на 300 франков от Гретель Карплус ненадолго унял «тревоги, в последние дни, несмотря на все мои попытки справиться с ними, ввергавшие меня в ступор» (ГВ, 4:309). Предполагалось, что эти деньги являются авансом за продажу в Берлине некоторых книг Бенъямина — дело, которым щедрая и тактичная Фелицитас лично занималась ради своего друга. В начале лета она отправила ему телеграфный перевод, чтобы он смог заплатить портному за новый костюм, и его благодарность была трогательно облачена в форму пожелания повидаться с ней в Париже: «Ты знаешь, что я нахожусь перед тобой в таком долгу, что это письмо было бы трудно начать, если бы я первым делом приступил к изъявлению благодарностей... Надеюсь, что вместо этого я смогу ошарашить тебя своей благодарностью где-нибудь в уютном парижском бистро, когда ты меньше всего будешь этого ожидать. Тогда я позабочусь о том, чтобы на мне не был надет тот самый костюм, который ты мне подарила и благодаря которому мне будет проще получить возможность заниматься многими иными делами, помимо выражения этой благодарности» (С, 427). Эта игривая ирония не в состоянии полностью скрыть подавленность и унижение, выпавшие на долю независимой личности, вынужденной едва сводить концы с концами и жить на те крохи, которые могли присылать друзья. Жан-Мишель Пальмье, рисуя положение, в котором находились изгнанники, подчеркивает угнетающие условия жизни, с которыми они сталкивались изо дня в день:

Этим людям, лишенным друзей, документов и виз, в отсутствие видов на жительство и разрешений на работу приходилось заново постигать науку жизни. В мире, нередко казавшимся чужим и враждебным, они чувствовали себя беспомощными детьми. Неспособные заработать на жизнь, беззащитные перед бюрократическим крючкотворством, они были вынуждены добиваться милостей от комитетов по оказанию помощи, там, где те имелись, осаждать стойки учреждений в надежде на получение субсидий, документов, сведений и советов, просиживать часы или целые дни в консульствах, комиссариатах и полицейских префектурах, пытаться распутать те юридические хитросплетения, которые создавало само их существование³⁴.

При помощи своих друзей Бенъямин 26 октября переехал в несколько более приличный отель под названием *Palace* на улице Дюфур, совсем рядом с бульваром Сен-Жермен и буквально в двух шагах от литературных кафе *Flore* и *Deux Magots*, которые он посещал в более благополучные времена. Из своего окна он мог видеть одну из двух башен церкви Сен-Сюльпис, «над которой и за которой погода привычно ведет разговор на своем собственном языке» (GB, 4:340). Он прожил в этом отеле до 24 марта и начал по крайней мере спорадически возвращаться к работе. Его эмоциональное состояние не помешало ему дописать еще одну (не выяснено, какую именно) главку «Берлинского детства», а также договориться о публикации с Вилли Хаасом, бывшим редактором *Die literarische Welt*, который теперь издавал в Праге литературный еженедельник *Die Welt im Wort*, оказавшийся недолговечным. 7 декабря в этом эмигрантском журнале был издано эссе «Опыт и скудость», за которым через неделю последовала содержательная заметка — собственно, ответ на анкету — о популярном произведении великого моралиста и юмориста времен Гёте «„Сокровищница друга рейнландской семьи“ И. П. Гебеля» (последняя изданная работа Бенъямина о Гебеле; GS, 2:628). Ни за ту, ни за другую публикацию Бенъямин так и не получил никаких денег, чего он и опасался с того самого момента, как получил оба заказа. В середине ноября два текста Бенъямина вышли под псевдонимом во *Frankfurter Zeitung* — последнем немецком издании, которое продолжало его публиковать. (В последний раз его напечатали в этой газете в июне 1935 г.) Первым из них была рецензия на немецкоязычную антологию немецкой литературы для норвежских средних школ «Германия в Норвегии» (см.: GS, 3:404–407); в этой рецензии Бенъямин — без оглядки на возможные политические

34. Palmier, *Weimar in Exile*, 228.

последствия издания подобной книги (имевшей подзаголовок *Die Meister* («Мастера», а также «Хозяева»)) — подчеркивает значение безыскусной массовой культуры народа как основы, из которой вырастает классическое искусство. Спустя три дня за этой рецензией последовал фельетон «Фигуры мысли», написанный в фирменном беньяминовском формате внешне разрозненных созерцательных миниатюр (см.: SW, 2:723–727).

Относясь к непрерывному поиску даже малейших возможностей для занятия журналистикой как к неизбежному следствию жизни в изгнании, Беньямин в то же время знал, что эти начинания в лучшем случае способны обеспечить его лишь карманными деньгами. Именно по этой причине ряд встреч с Максом Хоркхаймером, состоявшихся той осенью в Париже, мог стать ключом к его дальнейшему существованию на чужбине. На этих встречах была четко обозначена позиция Беньямина как главного поставщика материалов для Института социальных исследований. Этот институт был основан в 1923 г. при Университете им. Иоганна Вольфганга Гёте во Франкфурте благодаря жертвованию со стороны бизнесменов Германа и Феликса Вайлей³⁵. Первый директор института Карл Грюнберг был австромарксистом, то есть марксистом, понимавшим, что революционные изменения в структуре общества возможны лишь после завоевания абсолютного большинства в рамках парламентской демократии³⁶. При Грюнберге институт и его сотрудники вели исследования на ортодоксальные марксистские темы: история социализма и пролетарского движения. После того как Грюнберг в 1928 г. перенес удар, исполняющим обязанности директора стал его главный помощник Фридрих Поллок. В 1931 г. директором института был назначен Хоркхаймер, который одновременно возглавил кафедру социальной философии, финансируемую Феликсом Вайлем. Макс Хоркхаймер (1895–1973) родился в семье богатых еврейских промышленников в Цуффенхаузене, под Штутгартом. В отличие от большинства друзей и коллег Беньямина, имевших аналогичное происхождение, Хоркхаймер преждевременно покинул среднюю школу, чтобы заняться семейным бизнесом. Пройдя практику на заводе своего отца и стажировку в родственной фирме в Брюсселе, в 1914 г. он стал заместителем директора на семейном предприятии. После недолгой службы в армии в конце Первой мировой войны он ушел из фирмы, быстро

35. Подробную историю Института социальных исследований см. в: Jay, *The Dialectical Imagination*; Wiggershaus, *The Frankfurt School*.

36. Лучшей работой, посвященной австромарксизму, остается Rabinbach, *The Crisis of Austrian Socialism*.

окончил гимназический курс обучения и университетскую программу по психологии и философии во Франкфурте и в 1922 г. защитил докторскую диссертацию по философии, носившую название «Антиномия телеологического суждения». К тому времени Хоркхаймер был любимым учеником Ганса Корнелиуса, ординарного профессора философии во Франкфурте, и стал его ассистентом — в немецких университетах эта должность соответствует чему-то среднему между доцентом и магистром. Именно в этом качестве Хоркхаймер в 1924 г. прочел хабилитационную диссертацию Бенъямина о барочной драме, представленную Корнелиусу, и внес свой вклад в ее отклонение. В 1925 г. Хоркхаймер успешно защитил собственную хабилитационную диссертацию («„Критика способности суждения“ Канта как связующее звено между теоретической и практической философией»).

Став в 1931 г. директором Института социальных исследований, Хоркхаймер уже имел сложившуюся программу исследований. В своей вступительной речи он подчеркнул, что под его руководством институт сменит направление своей деятельности. Он был намерен использовать серьезный исследовательский и издательский потенциал института в целях содействия междисциплинарному изучению взаимоотношений между экономикой, психологией, социологией, историей и культурой. В 1932 г. в качестве главного печатного органа этой новой исследовательской работы был основан журнал *Zeitschrift für Sozialforschung*. Хоркхаймер собрал вокруг журнала группу молодых интеллектуалов, включая Адорно, социолога литературы Лео Левенталя, специалиста по социальной психологии Эриха Фромма и философа и историка литературы Герберта Маркузе — имена, которые сегодня ассоциируются у нас с Франкфуртской школой. В том же 1932 г. Хоркхаймер основал и филиал института в Женеве с тем, чтобы получить доступ к обширному статистическому архиву (в основном занимавшемуся рыночной экономикой индустриализованного мира) Международного бюро труда. Как впоследствии признавался Хоркхаймер, этот филиал создавался еще и в качестве «своего рода запасной штаб-квартиры и убежища в соседней стране, где все еще сохранялась власть закона»³⁷. Дальновидность Хоркхаймера позволила институту избежать каких-либо серьезных потрясений и возобновить работу после того, как и он, и Адорно в 1933 г. лишились преподавательских должностей во Франкфурте, и его эмиграции в Нью-Йорк в мае следующего года.

37. Kluge, "Das Institut für Sozialforschung", 422–423.

В грядущие годы, помимо того, что Беньямину удалось укрепить свое положение в качестве одного из главных поставщиков материала по вопросам культуры для института, на смену заказываемым ему статьям, например о французских писателях или об ученом-социалисте и коллекционере произведений искусства Эдуарде Фуксе, постепенно пришли тексты, которые предлагал сам Беньямин. К моменту его встреч с Хоркхаймером он еще не приступил к написанию ожидавшегося от него эссе об Эдуарде Фуксе, но встретился с самим Фуксом (который эмигрировал в Париж в 1933 г.), и эта встреча произвела на него сильное впечатление: «Он — поразительный человек, внушающий чувство почтения и дающий возможность представить себе, какими были социал-демократы времен антисоциалистических законов [то есть в 1878–1890 гг.]» (BS, 90). Работа над еще одной статьей, заказанной Хоркхаймером, была начата в декабре и завершена в первую неделю апреля: это была обзорная статья о последних достижениях в области философии языка, вышедшая в начале 1935 г. в *Zeitschrift für Sozialforschung* под заголовком «Проблемы социологии языка». В этой статье Беньямин дал обзор последних достижений во французской и немецкой лингвистике, остановившись, как он пишет в своих письмах, ровно в той точке, где начиналась его собственная теория, то есть на проблеме «физиогномики языка» — явления, основанного на миметических способностях живого организма; поднимая эту тему, он фактически отказывался от модели языка как инструмента. Хотя это эссе долго считалось довольно нейтральным и поверхностным обзором тогдашних течений в сфере социологии языка, более свежие изыскания позволили обнаружить связь между работой некоторых упомянутых там лингвистов и соображениями самого Беньямина на эту тему³⁸. Возможно, во время этих встреч с Хоркхаймером Беньямину было также заказано несколько более коротких рецензий.

По наводке от своей бывшей жены Доры, с которой Беньямин теперь регулярно переписывался, он направил Шолему запрос в отношении нового издательства, основанного в Тель-Авиве российской уроженкой Шошаной Персиц. Однако Шолем отговорил его от попыток писать ей: «Перевод твоих статей [на иврит]... не заинтересует те читательские круги, о которых идет речь, поскольку [эти статьи] будут для них чересчур передовыми... Если ты когда-нибудь захочешь писать для таких читателей, то тебе придется избрать совершенно иную форму

38. См.: Ogden, "Benjamin, Wittgenstein, and Philosophical Anthropology"; Gess, "Schöpferische Innervation der Hand".

самовыражения, которая может оказаться очень продуктивной» (BS, 87). Вне зависимости от того, насколько продуктивными были бы радикальное упрощение произведений Бенямина и смена их тематики, подобные заявления, несомненно, убеждали его в том, что в Палестине для него нет будущего. Тем не менее он отнесся к этому совету добродушно и поблагодарил друга за то, что тот избавил его от ненужных хлопот.

Первый заказ от французской газеты — коммунистического еженедельника *Monde* поступил Бенямину в конце 1933 г., судя по всему, при посредничестве Альфреда Куреллы, входившего в редколлегию газеты. Темой заказанной статьи был барон Осман, префект департамента Сена при Наполеоне III и главный организатор радикальной перестройки и «стратегического украшения» Парижа в середине XIX в. Курелла ушел из *Monde* в январе 1934 г., после чего заказанная статья, очевидно, оказалась никому не нужна, потому что она так и не была написана (см.: С, 437). Однако с этого времени Осман никогда надолго не покидал мыслей Бенямина: он занимает важное место в проекте «Пассажи» (папка E), а кроме того, ему была посвящена короткая рецензия, написанная Бенямином для *Zeitschrift für Sozialforschung* в 1934 г. Изыскания Бенямина об Османе и о недавних достижениях в социолингвистике снова привели его во внушительное здание Национальной библиотеки, где он работал в знаменитом читальном зале «как среди оперных декораций» (GB, 4:365). В грядущие годы Национальная библиотека стала истинным средоточием его работы в Париже. «Меня поразило, — писал он 7 декабря, — как быстро мне удалось заново освоить запутанный каталог в Национальной библиотеке» (BS, 90). Именно изыскания об Османе в начале 1934 г. дали старт второму этапу работы над проектом «Пассажи»: этот этап с его упором на социологию продолжался вплоть до бегства Бенямина из Парижа в июне 1940 г. (см.: GB, 4:330). Впрочем, Бенямин, что было для него характерно, чувствовал себя не в состоянии продолжать работу над «объемной и подробной рукописью» до тех пор, пока Гретель Карплус не прислала ему несколько пачек такой же бумаги для заметок, какой он пользовался на первом этапе проекта; только при таком условии он был способен «обеспечить внешнее единообразие» своего труда.

Бенямин старательно избегал контактов со всеми парижскими немцами, кроме нескольких избранных. И дело было вовсе не в отсутствии возможностей для общения. За годы его изгнания в Париже возник ряд неформальных центров интеллектуального обмена между немецкими интеллектуалами-эмигрантами, включая кафе «Матье», кафе «Мефисто» на бульва-

ре Сен-Жермен и Немецкий клуб, завсегдатаями которых были Генрих Манн, Герман Кестен, Брехт, Йозеф Рот, Клаус Манн, Альфред Деблин и Лион Фейхтвангер. Однако Беньямина отделяла от них его антипатия к социал-демократической позиции некоторых из этих авторов, а еще сильнее — его предпочтение к диалогу один на один с небольшой группой избранных: Брехтом, Кракауэром, Адорно, а также (теперь уже все реже) с Эрнстом Блохом.

После того как в Париж в конце октября или начале ноября прибыл Брехт со своей сотрудницей Маргарете Штеффин, ситуация несколько изменилась. Брехт и Штеффин (которые были любовниками) поселились в том же отеле *Palace*, где жил Беньямин, и в течение следующих семи недель между обоими мужчинами происходило регулярное и оживленное общение. 8 ноября Беньямин писал Гретель Карплус, используя условные обозначения, необходимые в письмах, отправлявшихся в Германию: «Бертольд, которого я вижу ежедневно, нередко проводя с ним много времени, пытается найти для меня издателей. Вчера рядом с ним неожиданно объявились Лотте [Ленья] и ее муж [Курт Вайль]» (СВ, 4:309). В обширный круг общения интеллектуально ненасытного «Бертольда» вскоре вошли и другие эмигранты из Германии, прибывшие в ноябре и декабре: Зигфрид Кракауэр, Клаус Манн, драматург и романист Герман Кестен и сотрудничавшая с Брехтом Элизабет Гауптман, едва вырвавшаяся из Германии после того, как ее задержало и неделю допрашивало гестапо. Брехт и Штеффин работали над «Трехгрошовым романом» (издан в 1934 г.), рукопись которого они давали читать Беньямину³⁹. Кроме того, у Штеффин нашлось время, чтобы помочь Беньямину с составлением подборки писем, опубликованной как *Deutsche Menschen* («Люди Германии»). Брехт выражал решительную поддержку изысканиям Беньямина о бароне Османе. Кроме того, Беньямин и Брехт вернулись к своему плану написать детективный роман и делали к нему предварительные заметки и наброски, хотя эта работа так и не вышла из стадии замыслов⁴⁰.

Вскоре после прибытия Брехта в Париж Беньямин писал: «...мое согласие с творчеством Брехта представляет собой один

39. Его комментарий «„Трехгрошовый роман“ Брехта» (SW, 3:3–10), написанный в январе-феврале 1935 г., остался не опубликованным при его жизни.

40. См. некоторые замечания о сюжете ненаписанного романа и его основных мотивах в: Wiziśla, *Walter Benjamin and Bertolt Brecht*, 49–51; Вицисла, *Беньямин и Брехт*, 105–108. Речь в нем шла о шантаже и, хотя этот роман замышлялся как своего рода литературная игра, на его страницах авторы собирались вскрыть механизмы, лежащие в основе буржуазного общества.

из самых важных и самых крепких пунктов всей моей позиции» (С, 430). Он никогда не изменял этой точке зрения, хотя вслед за Гретель Карплус был вполне готов признать «большую угрозу», скрывавшуюся во влиянии, которое оказывал на него поэт; опасения Карплус в еще большей мере разделяли Адорно и Шолем. Друзей Бенямина беспокоило — в силу совершенно разных причин — воздействие того, что сам Брехт называл своими «грубыми мыслями» (*plumpes Denken*), на хитросплетения идей Бенямина и его творчества. Не учитывая чрезвычайной глубины произведений Брехта, в совокупности оказавших большее влияние на немецкий язык, чем творчество какого-либо другого автора после Гёте, друзья Бенямина опасались, что утонченность его собственных работ будет принесена в жертву ортодоксальному, ангажированному марксизму. Эти открытые нападки на предпочтения Бенямина в смысле выбора друзей вызвали показательную реакцию с его стороны: «В экономике моего существования лишь очень немногие знакомства занимают полюс, противоположный полюсу моего начального бытия». И эти знакомства он называет чрезвычайно «плодотворными». Далее Бенямин в этом письме, сочиненном в июне 1934 г., успокаивает Гретель Карплус: «Тебе, в частности, превосходно известно, что в своей жизни я в не меньшей степени, чем в своих мыслях, склонен к крайностям. Тот размах, который при этом достигается, и свобода противопоставлять друг другу вещи и идеи, считающиеся несовместимыми, зависят в своих конкретных проявлениях от опасности. И эта опасность как в общем плане, так и в глазах моих друзей проявляется только в форме этих „опасных“ отношений» (ГВ, 4:440–441). Бенямин был в той же мере готов к противопоставлению «крайних позиций» в своих мыслях, в какой его друзья были к этому не готовы. В частности, именно эта нестабильность, это сопротивление всему устоявшемуся и доктринерскому и придает его работам то поразительное, «живое» качество, которым восхищается уже не первое поколение читателей.

Стремление окружающих управлять его привязанностями не представляло для Бенямина ничего нового. Его бывшая жена и ряд его близких друзей усматривали аналогичную опасность в его подверженности влиянию со стороны Фрица Хайнле и Симона Гутмана и пытались раскрыть Бенямину глаза на эту мнимую угрозу. Его друзья ясно распознавали в Бенямине стремление к отождествлению, готовность к определенному слиянию собственной личности и мыслительных шаблонов с чужими. Именно эта миметическая способность и сознательное принятие «опасности», отнюдь не являясь недостатком, по-

зволили Беньямину написать многие из его величайших работ: отважное отождествление себя с Гёте, Кафкой, а затем и Бодлером привело его к идеям, которые в ином случае могли бы не родиться на свет.

Когда Брехт и Маргарете Штеффин 19 декабря отбыли в Данию, пригласив своего друга последовать за ними, Беньямина охватило глубокое уныние:

Теперь, когда Брехт уехал, город кажется мне вымершим. Брехт хотел, чтобы я отправился с ним в Данию. Считается, что жизнь там дешева. Но меня отпугивают зима, путевые издержки и мысль о том, чтобы оказаться в зависимости от него и только от него. И все же очередное решение, которое я способен заставить себя сделать, приведет меня туда. Жизнь среди эмигрантов невыносима, жизнь в одиночку не более выносима, а жизнь среди французов невозможна. Таким образом, остается только работа, но ничто не угрожает ей в большей степени, чем осознание того, что она со всей очевидностью осталась последним внутренним мысленным ресурсом (он уже перестал быть внешним) (BS, 93–94).

Хотя на этот раз пребывание Брехта в Париже было относительно недолгим, оно обеспечило Беньямина обширными контактами — в основном с коммунистами. Ряд новых знакомств, например с советским журналистом и киносценаристом Мишей Чесно-Хеллем, обернулся лишь спорадическими контактами; с другими, включая Курта Клебера, Беньямин был знаком еще в Берлине. В годы Веймарской республики Клебер входил в редколлегию влиятельного левого журнала *Die Linkskurve* («Левый уклон»); весной 1933 г. он вместе с Брехтом и Бернардом фон Brentано пытался основать колонию левых художников в швейцарском кантоне Тичино. Кроме того, возобновление контактов с Брехтом пробудило у Беньямина надежду на то, что некоторые из его работ удастся напечатать в коммунистических журналах. Элизабет Гауптман полагала, что эссе о французских писателях станет ценным дополнением для материалов журнала *Littérature et Revolution*, выходившего на французском, немецком, английском и русском языках; Беньямин призывал Брехта обсудить этот вопрос с его другом Михаилом Кольцовым, журналистом и редактором, занимавшим важные позиции в партийной издательской сфере. Но подобно многим другим попыткам Беньямина печататься в России, эта окончилась ничем. В середине декабря его ожидал новый удар на литературном фронте: 14 декабря в Третьем рейхе вступил в силу новый закон о журналистике, ставший формальной основой для деятельности созданной в ноябре *Reichsschriftumskam-*

mer — государственной «палаты», в которую должны были вступить все немецкие писатели. В последующие месяцы Бенъямин взвесил все плюсы (потенциальный доступ к издателям) и минусы (чреватое опасностью раскрытие своего местонахождения) вступления в этот союз писателей и в итоге решил отказаться от членства в нем. Сейчас же он опасался, что создание этого учреждения еще сильнее сократит имевшиеся у него возможности для публикаций.

По мере того как год шел к концу, Бенъямин все более четко осознавал, что Париж сам по себе создает проблемы, решения которых у него не было. Его образ жизни в этом городе прежде в значительной степени определялся присутствием таких друзей, как Хессель и Мюнхгаузен, и наличием достаточных средств, дававших ему доступ не только к культурной жизни Парижа, но и к его полусвету. Положение Бенъямина в начале 1934 г. едва ли могло сильнее отличаться от этой ситуации. Резкие изменения претерпел и сам Париж. Во Франции все больше опасались войны с Германией, которая активно выражала нежелание соблюдать ограничения, наложенные на нее после Первой мировой войны. К тому же Париж был потрясен внезапным наплывом эмигрантов из Германии, включая многих лиц свободных профессий и интеллектуалов, искавших работу наряду с французскими гражданами и даже вытеснявших их. Первая волна изгнанников состояла главным образом из интеллектуалов и левых противников гитлеровского режима. По оценкам создававшихся в то время комитетов по оказанию помощи, во Францию к маю 1933 г. прибыло до 7300 беженцев, а к 1939 г. их число достигло 30 тыс. Как выразился Манес Шпербер, «мне нравился этот город, чьи жители выказывали добродушие в своих песнях и уличных возгласах, хотя в то же самое время они испытывали поразительную гордость за свой откровенный антисемитизм»⁴¹. Более того, сама Франция отнюдь не имела иммунитета к радикальному сползанию Европы вправо. На этот счет Бенъямин получил недвусмысленное доказательство вечером 4 февраля. Из своего окна в отеле *Palace* он видел на бульваре Сен-Жермен яростные стычки между полицией и группами вооруженных демонстрантов из различных правых организаций — *Action Française* («Французское действие»), *Croix-de-feu* («Огненные кресты») и *Jeunesses Patriotes* («Молодые патриоты»), пытавшихся помешать формированию леволиберального правительства во главе с Даладье.

41. Цит. по: Palmier, *Weimar in Exile*, 184.

Само собой, большинство друзей и родственников Беньямина тоже сталкивались в изгнании с различными несчастьями. Вильгельм Шпайер находился в Швейцарии, но Беньямин собирался порвать с ним, оскорбившись нежеланием или неспособностью Шпайера выплатить ему долю выручки от детективной пьесы, совместно написанной ими в Поверомо. Зигфрид Кракауэр и Эрнст Шен находились в несколько лучшем положении, поскольку обоим удалось обеспечить себе пусть минимальный, но стабильный доход: Кракауэр числился парижским корреспондентом *Frankfurter Zeitung*, Шен писал для Би-би-си, хотя это была лишь временная работа. Эгон Виссинг вернулся в Берлин, горюя о покойной жене и страдая от пристрастия к морфию, которое он разделял с ней. Другие, включая жившего в Барселоне Альфреда Кона, сумели вывезти из Германии небольшой капитал. Были и те, кто, как Эрнст Блох, просто пропали; Беньямин ничего не слышал о нем в течение нескольких месяцев после прихода Гитлера к власти, когда Блох и его третья жена скрывались в Швейцарии. Наконец, были еще Гретель Карплус, бывшая жена Беньямина Дора, его сын Штефан, брат Георг и прочие, казалось, запертые в Германии, как в ловушке. Гретель Карплус не имела возможности получить паспорт после издания в июле 1933 г. ряда указов, согласно которым она и ее семья попали в разряд «восточных евреев». «Несмотря на то, что папа, — писала она Беньямину, — 47 лет прожил [в Берлине] на Принценаллее, а его отец был крупным венским промышленником!» (GB, 4:331n). Брат Беньямина Георг был выпущен из концентрационного лагеря Зонненбург, но отказался покидать Германию, и Беньямин отлично понимал, что вскоре тот возобновит свою нелегальную партийную работу. «Просто ужасно, — писал Беньямин весной Гретель Адорно, — как всех нас разбросало по миру» (GB, 4:433).

В итоге у Беньямина в Париже не осталось ни одного близкого друга. «Едва ли я когда-либо был настолько одинок, как здесь, — писал он Шолему в январе. — Если бы я искал возможностей посидеть в кафе с эмигрантами, то их было бы найти несложно. Но я их избегаю» (С, 434). Интеллектуальная изоляция и материальные лишения стали лейтмотивом его жизни в Париже. Этот город был слишком дорогим для человека, вынужденного жить на незначительные деньги, которые приносила литературная деятельность, и на небольшое вспомоществование от друзей. Адорно, Карплус и Шолем без устали пытались найти для него покровителей и другие источники поддержки, но эти усилия обычно оставались бесплодными. Безденежные изгнанники были слишком многочисленными, и источников дохо-

да не хватало на всех. И Бенъямин был вынужден переселяться во все более дешевые отели и питаться во все более дешевых ресторанах, постоянно преследуемый призраком недоедания и сопутствующих болезней, которые привели его к почти полной беспомощности на Ибнице. Но ему было некуда деваться. Кроме того, в отличие от некоторых эмигрантов он не питал иллюзий в отношении устойчивости нацистского режима: он знал, что существование на чужбине затянется надолго, если не навсегда. И в самом деле, начавшееся парижское изгнание продлилось с несколькими перерывами до самого конца его жизни.

В отсутствие друзей и денег Бенъямин боролся с искушением отдаться на милость депрессии и запереться у себя в номере, но ему не всегда это удавалось. Он сообщал, что целыми днями лежит в кровати «просто для того, чтобы ни в чем не нуждаться и никого не видеть», но в то же время работает, насколько хватает сил (GB, 4:355). В лучшие дни он добредал до книжного магазина Сильвии Бич и медитировал над портретами и автографами британских и американских писателей; он изучал лотки букинистов на набережной Сены и был в состоянии время от времени вернуться к прежним привычкам, таким старым, что они вспоминались ему «смутно», и купить особенно примечательную книгу; он блуждал по бульварам как современный фланер и мечтал о теплой весенней погоде, надеясь, что вместе с ней к нему вернутся «невозмутимость и здоровье», которые позволят ему гулять «в обществе моих привычных мыслей и наблюдений в Люксембургском саду» (GB, 4:340). Если день становился для него ловушкой, то ночью его воображение находило свободу в снах, имевших смутный политический смысл. «В эту пору, когда мое воображение от рассвета до заката занимают самые ничтожные проблемы, ночью я все чаще и чаще испытываю освобождение во снах, которые почти всегда имеют политический сюжет... [Эти сны] складываются в живописный атлас тайной истории национал-социализма» (BS, 100).

Заслуживает внимания то, что, несмотря на депрессию, ввергавшую его в ступор, он не оставлял попыток закрепиться во французском интеллектуальном мире. При этом, по его словам, обращенным к Шолему, он ни в коем случае не забывал о настроениях, выраженных в одном из мест в «Максимах и размышлениях» Гете: «Ребенок, обжегшись, сторонится огня; старик, часто обжигавшийся, боится даже согреться» (GB, 4:344). Вместе с тем он начал возлагать надежды даже на малейшие возможности, открывавшиеся ему во Франции. Не пристроив еще ни одной статьи ни в один французский журнал, он заручился со стороны переводчика Жака Бенуа-Мешена согласием переводить его тексты,

когда в этом возникнет нужда. В своих письмах, относящихся к началу весны 1934 г., он непрерывно строит планы о чтении по-французски лекций о новейших достижениях немецкой литературы — предполагалось, что эти лекции будут проводиться по подписке в доме у известного гинеколога коммуниста Жана Дальзаса. С их помощью Беньямин надеялся не только подзаработать, но и наладить связи с французскими интеллектуалами. В их состав должны были войти вступительная лекция о немецкой читающей публике и отдельные лекции о Кафке, Блохе, Брехте и Краусе. Беньямин погрузился в изыскания и подготовку текстов лекций, в своих письмах друзьям непрерывно требуя от них присылать материал. Предполагалось, что вступительная лекция будет содержать не только замечания об антифашистских тенденциях, но и едкую критику позиции, которую занял крупный писатель-экспрессионист Готфрид Бенн. После захвата власти нацистами Бенн стал выполнять обязанности главы Прусской академии художеств — эта должность осталась вакантной после стремительного бегства Генриха Манна из Германии; вскоре членам академии было предъявлено требование присягнуть новому государству. Хотя отношение Бенна к Гитлеру и нацизму, судя по имеющимся фактам, было неоднозначным, он тем не менее напечатал ряд статей в поддержку режима, начиная с печально известного заявления «Новое государство и интеллектуалы». Незадолго до начала лекций Беньямина были разосланы напечатанные приглашения, но лекции так и не состоялись. Дальзас серьезно заболел и был вынужден все отменить.

Кроме того, Беньямин лично обращался к ряду ведущих интеллектуалов. Он нанес визит Жану Полану, редактору *Nouvelle Revue Française* («Новое французское обозрение»), и предложил написать по-французски о теориях матриархата, принадлежавших швейцарскому антропологу и юристу Иоганну Якобу Бахофену (1815–1887). Интерес, проявленный Поланом к предложенной теме, повлек за собой обширные изыскания, написание статьи... и вежливый, но твердый отказ. Этот эпизод свидетельствует о росте доверия Беньямина к своему письменному французскому. Еще в начале того года он сообщал Гретель Карплус, что закончил свою первую франкоязычную статью (ныне утраченную) и что она, по словам коренного француза, содержала всего одну языковую ошибку. Другие обращения — к профессору немецкой литературы Эрнесту Тоннела, к эссеисту и критику Шарлю Дюбо и к редактору новой французской энциклопедии — не дали вообще ничего определенного, хотя бы отказ. Подобные трудности с внедрением во французские интеллектуальные круги были типичны для немецких изгнанников-интел-

лектуалов. В целом они встречали сочувствие со стороны своих французских коллег, особенно тех авторов, которые были известны как *Rive Gauche*: Жида, Мальро, Анри Барбюса, Поля Низана, Жана Геенно и др.⁴² Но даже они дистанцировались от немцев, общаясь с ними в кафе и на встречах в книжных магазинах, но почти никогда не приглашая их к себе домой.

Разочарованием завершались и попытки Бенямина найти возможности для издания своих работ за пределами Франции. За ряд текстов ему еще не заплатили, а другие, попав в немецкие издательства, так и застряли там, и больше их никто не видел. Даже друзья Бенямина не выполняли своих обязательств: Вилли Хаас в Праге так и не заплатил ему за статьи для *Die Welt im Wort*, закрывшегося и обанкротившегося, а Вильгельм Шпайер не спешил пересылать авторские отчисления за детективную пьесу, написанную им совместно с Бенямином в 1932 г. О том, какими лишениями сопровождалась жизнь в изгнании, можно судить по тому, что Бенямин подумывал о судебной тяжбе со своим старым другом уже из-за этой относительно небольшой суммы — 10 процентов суммы, полученной за эту лишь умеренно успешную пьесу. Примечательный проект, предназначавшийся для *Zeitschrift für Sozialforschung*, пал жертвой не редакционного отказа, а нежелания Бенямина доводить эту работу до конца. Речь идет о «ретроспективном обзоре культурной политики *Die neue Zeit* — газеты, являвшейся идеологическим органом германской Социал-демократической партии (см.: BS, 139). Бенямин потратил не один месяц на подготовку к этой работе, надеясь «наконец-то показать, что коллективное литературное творчество представляет собой особенно подходящий материал для материалистического разбора и анализа и, более того, может получить рациональную оценку лишь в рамках такого подхода» (С, 456). Он упоминал о запланированной статье едва ли не в каждом письме, сочиненном им в конце лета и начале осени, но в итоге просто утратил интерес к этому замыслу. По настоянию Бенямина Шолем обратился к Морицу Шпитцеру, редактору «Шокеновской библиотеки» (серии небольших, довольно популярных книг, издававшихся в основном для немецко-еврейской аудитории), с просьбой заказать Бенямину «одну или несколько книжечек» (BS, 106). Из этого плана тоже ничего не вышло, поскольку германское ведомство по обмену валюты вскоре прекратило все платежи авторам Шокеновской библиотеки, живущим за границей.

42. См.: Lottmann, *Rive Gauche* (Paris, 1981). Цит. по: Palmier, *Weimar in Exile*, 190.

В особенное отчаяние Беньямина приводили продолжающиеся попытки найти издателя для «Берлинского детства на рубеже веков». В начале года Клаус Манн подумывал напечатать несколько главок из «Берлинского детства» в издававшемся им в изгнании журнале *Die Sammlung*, но дело кончилось ничем. У Беньямина промелькнул луч надежды, когда он получил восторженный отзыв о рукописи от Германа Гессе. Однако тот не был уверен в своей способности чем-либо помочь: «Судьба уберегла меня от сожжений книг и проч. и проч., и я — швейцарский гражданин; никто не предпринимал против меня ничего, кроме частных устных оскорблений, но мои книги все дальше и дальше отступают в глубины забвения и покрываются пылью, и я смирился с тем фактом, что это, несомненно, кончится очень скоро. И все же я получаю письма, свидетельствующие о том, что у таких, как мы с вами, все еще существует тонкая прослойка читателей» (цит. по: GB, 4:364n). В попытках куда-нибудь пристроить «Берлинское детство» Гессе обращался к двум издателям — С. Фишеру и Альберту Лангену. Его усилия в итоге оказались бесплодными, но Беньямин был благодарен знаменитому романисту за поддержку. Еще одна попытка устроить издание «Берлинского детства» привела к новой размолвке с Шоломом. Адорно рекомендовал «Берлинское детство» Эриху Рейсу, берлинскому издателю, работавшему на еврейскую аудиторию. Это побудило Беньямина отправить Шолому просьбу о своего рода рекомендательном письме с объяснением «еврейских аспектов» книги (BS, 102). Естественно, что при этом он затрагивал самое болезненное место их дружбы — свое отношение к иудаизму и потому получил от Шолома, как и следовало ожидать, колючий и укоризненный ответ:

Я ненавижу г-на Рейса, жирного з.[ападно]-берлинского еврея, полуспекулянта, полусноба, и твоя просьба о том, чтобы я обратился к нему, не привела меня в особый восторг. В то же время мне не ясно и то, читал ли он твою книгу или же все это только идея г-на Визенгрунда. То, что Рейс энергично эксплуатирует подъем сионизма, хорошо известно... Мне совершенно неясно, как ты мог вообразить, чтобы я, выполняя роль «эксперта», смог отыскать в твоей книге элементы сионизма: для этого тебе придется очень сильно помочь мне, прислав список намеков. Единственное «еврейское» место в твоей рукописи — то, которое я в свое время настойчиво просил тебя выбросить⁴³, и я не знаю, какой, по твоему мнению, должна быть эта процедура, если ты не в состоянии

43. Шолом имеет в виду главку «Пробуждение пола» (BS, 123–124; БД, 132–133). См. об их переписке по этому поводу, относящейся к началу 1933 г., в BS, 25.

добавить главы, которые бы имели *содержание*, непосредственно связанное с данной темой, а не просто были бы вдохновлены какой-либо метафизической *позицией*, которая, несомненно, не вызовет у г-на Рейса ни малейшего интереса. К сожалению, ты также серьезно преувеличиваешь мою мудрость, если предполагаешь, что я мог бы прояснить для издателя «еврейский аспект» твоей книги, совершенно неясный мне самому. И между прочим, я не знаком с г-ном Рейсом лично. Стоит ли говорить, что, если это издательство обратится ко мне *по своей собственной инициативе*, я сделаю ради тебя все, что только возможно — в этом ты можешь быть уверен, — но я должен с определенной долей скепсиса просить тебя еще раз подумать, вправду ли ты считаешь разумным выдвигать меня на роль предполагаемого «авторитета» (BS, 106–107).

Хотя Шолом в годы изгнничества Беньямина снова и снова выказывал себя в качестве верного друга, он последовательно отказывался делать что-либо, что могло скомпрометировать его собственные позиции по отношению к другим еврейским интеллектуалам — даже в такой безобидной ситуации, как эта, когда он не питал никакого уважения к получателю его возможного письма. Таким образом, и из этой попытки издать книгу Беньямина тоже ничего не вышло.

Впрочем, не все литературные начинания Беньямина окончились крахом. Он дописал начатую им на Ибнице большую статью «Проблемы социологии языка» для *Zeitschrift für Sozialforschung* и получил за нее скромный гонорар. Кроме того, он напечатал несколько коротких текстов — некоторые из них вышли под псевдонимом К. А. Штемпфлингер — во *Frankfurter Zeitung*: рецензию на книгу Макса Коммереля о Жане Поле, рецензию на две книги И. А. Бунина и написанную в соавторстве рецензию на новую работу о Гёте. Наконец, весной 1934 г. он написал два из своих важнейших эссе: «Автор как производитель» и «Франц Кафка». Работа «Автор как производитель» была впервые издана через 26 лет после смерти Беньямина; в рукописи имеются указания на то, что 27 апреля она была прочитана в качестве лекции в парижском Институте по изучению фашизма. Этот институт, членами которого являлись Артур Кестлер и Манес Шпербер, был основан в конце 1933 г. Ото Бихальи-Мерином и Гансом Майнсом. В качестве исследовательской группы, подчинявшейся Коминтерну, но финансирувавшейся французскими трудящимися и интеллектуалами, институт занимался сбором и распространением информации и документов о фашизме. Речь Беньямина, представлявшая собой чрезвычайно проницательный анализ взаимоотношений между литературной формой

и политикой, хорошо укладывалась в эту программу, но состоялось ли это выступление на самом деле, неизвестно.

В работе «Автор как производитель» разбираются взаимоотношения между политическими тенденциями литературного произведения и его эстетическим качеством; мнение о том, что политическая тенденциозность ограничивает эстетическое качество произведения, сложилось очень давно. Однако Беньямин начинает с предположения о том, что «произведению, которое обнаруживает правильную [политическую] тенденцию, не нужно более никакое иное качество». В своем эссе, отнюдь не являющемся доктринерским призывом к полной политизации литературы, Беньямин призывает подходить к вопросу о политической тенденциозности произведения с точки зрения его литературного качества: «Я хочу вам показать, что тенденция в поэтическом, литературном произведении может быть верна политически только тогда, когда она также верна литературно. То есть что политически верная тенденция включает в себя литературную тенденцию. И сразу же добавлю: эта литературная тенденция, которая имплицитно или эксплицитно содержится в каждой *верной* политической тенденции, — она, и ничто иное, составляет качество произведения» (SW, 2:769; УП, 135). Беньямин выворачивает идею тенденциозности наизнанку, переосмысляя формальные качества произведения — его «литературную технику» — с точки зрения их взаимосвязей с преобладающими социальными производственными отношениями. Таким образом, вопрос о правильной «тенденции» ставится в зависимость от позиции произведения с точки зрения «литературных производственных отношений эпохи»: представляет ли собой техника произведения прогресс или регресс? Беньямин думает здесь не столько об индивидуальной технике в рамках жанра, скажем модернистских манипуляциях нарративной перспективой, сколько о полном пересмотре всего института литературы, включая ее жанры и формы, ее пригодность для перевода и комментирования и даже такие на первый взгляд маргинальные аспекты, как ее уязвимость для плагиата.

Ключевое место в этом эссе занимает длинная цитата, не вполне являющаяся плагиатом: Беньямин цитирует самого себя в качестве автора «из левых». Речь в цитате идет о ежедневной газете как о самом подходящем примере, подтверждающем эту точку зрения. Согласно данной трактовке, буржуазная печать реагирует на ненасытную, нетерпеливую потребность читателя в информации, предоставляя в его распоряжение все больше и больше каналов, позволяющих ему высказаться на беспокоящие его темы: речь идет о письмах в редакцию, авторских статьях, пись-

мах протеста. Тем самым читатели становятся сотрудниками и, по крайней мере в советской печати, производителями: «Человек читающий готов там в любое время стать пишущим человеком, то есть описывающим или даже предписывающим. Он получает доступ к авторству как эксперт — пусть даже не по специальности, а скорее только по должности, которую исполняет. Сам труд обретает дар слова» (SW, 2:771; УП, 139). Возвращаясь к вопросам, рассмотренным им еще в середине 1920-х гг. в «Улице с односторонним движением», Беньямин утверждает, что «литературная компетенция» скорее основывается на «политехническом образовании», чем на какой-либо литературной специализации. Газета — эта «арена безудержного унижения слова» парадоксальным образом становится ареной, на которой происходит «литературизация жизненных условий». Это одна из самых загадочных формулировок Беньямина. Она заключает в себе сложную идею о том, что современная жизнь подвластна анализу, а в конечном счете и изменениям, лишь будучи представленной в очень специфических текстуальных формах. Если Беньямин в «Улице с односторонним движением» призывал к «точному языку», который только и может соответствовать моменту, то здесь он призывает к гораздо более обширному пересмотру всех форм литературного творчества — как производства. Только такой революционный шаг, восходящий к международному конструктивизму, с которым Беньямин сталкивался в начале 1920-х гг., способен взять верх над «иначе неразрешимыми антиномиями».

Заложив эту теоретическую основу, Беньямин возвращается к ключевой проблеме взаимоотношений между классовой принадлежностью и литературным производством — проблеме, вызывавшей в Веймарской республике яростные дебаты. В эссе «Автор как производитель» Беньямин рассматривает эту проблему посредством критического уничтожения «так называемой левой интеллигенции». Он решительно отвергает компромиссы, на которые шли такие писатели, как Деблин и Генрих Манн, считавшие, что социализм — это «свобода, спонтанная сплоченность людей... человечность, толерантность, мирный настрой». Их политика, представлявшая собой немногим большее, чем едва замаскированный гуманистический идеализм, не смогла обеспечить сопротивление фашизму; найдя себе место рядом с пролетариатом, они не более чем оказывали ему скромную моральную поддержку. Подобная «политическая тенденция, сколь бы революционной она ни казалась, действует в то же время контрреволюционно, когда писатель следует только своим убеждениям, но как производитель не испытывает солидарности с пролетариатом». Далее Беньямин возвра-

щается к *bête noire*, ранее уже фигурировавшему в «Краткой истории фотографии», — фотографу Альберту Ренгер-Пацшу, чей фотоальбом *Die Welt ist schön* («Мир прекрасен») в 1928 г. совершил переворот в этом жанре. Согласно трактовке Беньямина, Ренгер-Пацшу на своих снимках не удается воспроизвести жилой дом или свалку, не «преобразив» их. Вопиющая нищета превращается в источник эстетического удовольствия. И потому по всей видимости прогрессивная фотографическая практика служит лишь для того, чтобы «обновлять мир как он есть, изнутри, иными словами, с помощью моды».

В эссе Беньямина положительным примером эффективной художественной практики служит Брехт, в частности предложенное им понятие «рефункционационирования», или функциональной трансформации (*Umfunktio-nierung*): идея о том, что культурные материалы и практики, прежде обслуживавшие статус-кво, могут подвергнуться «рефункционационированию», в результате которого они станут не снабжать, а фактически изменять производственный аппарат. Призыву Беньямина к общему преодолению специализации была уподоблена и брехтовская практика. Подобно тому как читатель, пишущий письма в газету, становится автором, так и к писателям обращен призыв заняться фотографией. «Только преодоление... компетенций в процессе духовного производства... делает это производство политически значимым»⁴⁴. Речь Беньямина, в которой он защищал практику авангарда, его зарождающийся популизм и его брехтовский материализм, решительно бросала вызов тогдашней советской культурной политике. Социалистический реализм стал в СССР государственной политикой в 1932 г., после принятия постановления «О перестройке литературно-художественных организаций»; в августе 1934 г. состоялся Первый съезд советских писателей, который формально признал метод социалистического реализма и призвал к безусловной политизации литературы и искусства. Если лекция Беньямина была действительно прочитана в институте, финансировавшемся Коминтерном, то она наверняка вызвала яростную дискуссию.

Благодаря состоявшемуся тем же летом разговору с Брехтом эссе Беньямина обогатилось важным дополнением:

Долгий разговор в комнате больного Брехта... [мы] все время возвращались к моей статье «Автор как производитель». Изложенную в ней теорию о том, что решающий критерий революционной

44. О преодолении специализации ср. EW, 204; Озарения, 15 («Жизнь студентов») и SW, 2:78 (“Curriculum Vitae [111]”).

функции литературы заключается в степени технических успехов, которые направлены на функциональное изменение форм искусства, а тем самым и духовных средств производства, Брехт соглашался считать применимой лишь для одного-единственного типа писателя — для представителя крупной буржуазии, к каковому он причислял и самого себя. «Этот тип, говорил он, фактически солидарен с интересами пролетариата в одном пункте: в отношении к развитию его средств производства. Поскольку же он солидарен с ними лишь в одном этом пункте, именно в этом пункте он — как производитель — пролетаризовался, и притом без остатка. И эта полная пролетаризация лишь в одном пункте делает его солидарным с пролетариатом по всей линии» (SW, 2:783; УП, 157).

Пятью годами позже заявление Брехта о возможной пролетаризации буржуазного писателя попадет — почти дословно — в книгу Беньямина о Бодлере.

Первые письма Беньямина, отправленные им в новом году, свидетельствуют о возрастании у него интереса к творчеству Франца Кафки. В переписке с Шолем Беньямин выражал надежду, что когда-нибудь ему удастся выступить с лекцией о Кафке и Ш. Й. Агноне — еврейском писателе, чей рассказ «Большая синагога» должен был в 1921 г. занять важное место в первом номере несостоявшегося журнала Беньямина *Angelus Novus*. Дискуссии о Кафке играли серьезную роль и в осторожных попытках Беньямина наладить отношения со своим старым другом Вернером Крафтом, с которым он порвал в 1921 г. До 1933 г. Крафт работал библиотекарем в Ганновере; теперь же он жил в изгнании, испытывая те же проблемы, с которыми сталкивались и другие эмигранты-интеллектуалы. Былая дружба между Беньямином и Крафтом так и не восстановилась, но в эту пору парижской жизни они возобновили контакты, и Беньямин прочел ряд эссе Крафта, включая две работы о Кафке и одну о Карле Краусе, с «полным согласием и уважением» (GB, 4:344).

Письмо Шолема от 19 апреля наконец расчистило путь к работе над тем, что с самого начала замышлялось как важное высказывание относительно Кафки. Шолем обратился к Роберту Вельчу, редактору *Jüdische Rundschau*, самого популярного еврейского издания, все еще разрешенного в Германии, с запросом о возможности напечатать эссе Беньямина о Кафке. Когда Вельч подкрепил предложение Шолема приглашением, Беньямин 9 мая с готовностью принял его, вместе с тем предупредив Вельча, что его статья не будет соответствовать «прямолинейному теологическому истолкованию Кафки» (C, 442). В эссе Беньямина, частично напечатанном в *Jüdische Rundschau* ближе к концу года, отвергается не только прямолинейное религиоз-

ное прочтение рассказов Кафки, но и все догматически-аллегорические интерпретации, стремящиеся закрепить их смысл, придавая раз и навсегда заданное значение различным элементам повествования: отцы и чиновники в таких произведениях, как «Приговор» или «Замок», согласно таким интерпретациям являются либо Богом, либо психическими факторами, либо политическим государством. Беньямин недвусмысленно отвергает традиционные теологические, политические и психоаналитические истолкования, настаивая на том, что эти тексты в конечном счете не поддаются расшифровке, и на их открытости для интерпретаций и загадочности: «У Кафки был редкостной силы дар сочинять иносказания. Тем не менее никакое толкование никогда его иносказания до конца не исчерпывает, а сам он предпринимает все возможные ухищрения, дабы однозначности толкования воспрепятствовать» (SW, 2:804; ФК, 69). Однако трактовка Беньямина подчиняется определенной ориентации: «вопрос организации жизни и труда в человеческом сообществе. Вопрос этот занимал Кафку тем настоятельнее, чем непостижимее казался ответ на него». Если в «Опыте и скудости» Беньямин разбирает эти вопросы, которые связаны с природой человеческого опыта, изучая последствия стремительно ускоряющейся технологизации, то во «Франце Кафке» он рассматривает их сквозь объектив мифа. Персонажи Кафки — от Георга Бендемманна из «Приговора» до Йозефа К. из «Процесса», К. из «Замка» и зверей из его поздних рассказов — населяют мир затхлых, темных комнат, какова бы ни была окружающая их общая институциональная структура: семья, суд или замок. Эти персонажи не в состоянии ни распознать те силы, которые задают облик их мира, ни занять по отношению к ним какую-либо позицию. Согласно известным словам Беньямина по поводу детского снимка Кафки, «безмерно печальные глаза» мальчика на этом снимке глядят на мир, который никогда не станет для него домом. Что препятствует надежному обретению этого дома и делает всякое существование неустойчивым? Беньямин полагает, что Кафка был склонен мыслить «историческими эпохами», вследствие чего изображаемый им мир — это мир запоздалый, потревоженный вторжением элементов, принадлежащих, как выражается Беньямин, к «прабытию» (*Vorwelt*). Персонажи Кафки обитают в какой-то трясине, которую оживляет подавляемая память об этом прабытии; хтонические силы утверждают свою власть над современностью, насаждая в ней забвение. Один неверный шаг — и персонаж снова оказывается в этой трясине, в первобытном и дочеловеческом, тварном мире. «Превращение» — не просто название самого из-

вестного рассказа Кафки: оно обозначает конкретную угрозу, нависшую над персонажами Кафки, угрозу вновь стать носителем чужеродных жизненных форм. Даже если персонажи Кафки не совершили никаких ошибок, они все равно чувствуют воздействие этой угрозы — в виде стыда. Они ощущают стыд еще до того, как их тварное начало, деформированное и униженное им, согнется под его бременем подобно осужденным людям перед судьями. Все персонажи Кафки в том или в ином смысле ожидают приговора, будучи обреченными даже в случае надежды на оправдание. И, как кажется Беньямину, в этой «бесмыслице» присутствует некий отблеск красоты.

Подобно тому как «„Избирательное сродство“ Гёте» замышлялось как опровержение биографической интерпретации биографическими средствами, во «Франце Кафке» происходит опровержение теологической интерпретации средствами теологии. Оба текста строятся на сопоставимых трактовках мифа, в чем-то схожих с осторожным ужасом, внушаемым Герману Когену одухотворенным предрациональным миром, который продолжает жить, угрожая таким традиционно приписываемым человеку свойствам, как способность к рассуждениям и к нравственным поступкам. Беньямин указывает на это ощущение духовного кризиса, ссылаясь на дошедшие до нас в передаче Макса Брода слова Кафки, предположившего, что люди — «нигилистические, а может, даже самоубийственные мысли, рождающиеся в голове Бога» (SW, 2:798; ФК, 55). В ответ Брод задал Кафке знаменитый вопрос о том, существует ли в мире надежда. «Бесконечно много надежды, — ответил Кафка, — но только не для нас». Для кого же в таком случае? Беньямин выделяет тех немногочисленных, одиноких персонажей, которых надежда словно бы обвивает так, как обвивают обрывки ниток миниатюрного Одрадека («Забота главы семейства»), — таких персонажей, как помощники из «Замка»: как будто бы лишь эти существа в своей невозмутимости и неуловимости избежали семейной трясины. Но в то же время Беньямин указывает и на те моменты у Кафки, которые намекают на возможность продуктивно использовать даже наше отчуждение и безобразие; тем самым эссе о Кафке оказывается связано у Беньямина с анализом современности. Работа над эссе о Кафке велась тем летом в датском местечке Сковсбостранд, где жил Брехт, и на ней, несомненно, отразились разговоры Беньямина с драматургом, причем это влияние нигде не просматривается с такой же очевидностью, как в дискуссии о жесте — ключевом элементе брехтовской драматургии. В соответствующем великолепном фрагменте Беньямин вскрывает функцию жеста у Кафки, сперва

продемонстрировав чрезвычайную проблематичность даже простейшего жеста в столь обремененном мире. Жесты не имеют в нем какого-либо заложенного в них смысла, хотя они могут оказаться частью того, что Беньямин называет процедурой испытания (*Versuchsanordnung*). Тем самым он очень тонко применяет категории, разработанные в его «Краткой истории фотографии» и связанные с «оптически-бессознательным». Подобно фотографическому изображению, жест делает человека подопытным существом, отчужденным от вида его собственной походки на снимке или от звука его собственного голоса в граммофоне⁴⁵. Подобные жесты способны выявить скрытые фрагменты нашего существования, подземные факторы, извлекаемые на свет лишь в ходе опыта. Беньямин называет такое обнаружение затухающего жеста «учением»: «забвение насыщает на нас бурю. А учение — это отважный бросок верхом на коне навстречу буре» (SW, 2:814; ФК, 92).

Беньямин воссоздает этот мир Кафки посредством блестящих ссылок и параллелей, приглашая на сцену не только ряд самых запоминающихся персонажей писателя — Одрадека, Санчо Пансу, мышиную певицу Жозефину, охотника Гракха, но и множество других типажей: от Потемкина, сановника Екатерины Великой, до героев сказок братьев Grimm. Таким образом, основная стратегия этого эссе состоит в том, чтобы заменить какое-либо прочтение сюжетов их пересказом. Этот пересказ и наш опыт пересказа составляет для Беньямина часть процесса прочтения Кафки и суда над ним. «В зеркале, которое прабытие держало перед ним в образе вины, он [Кафка] сумел только разглядеть грядущее в образе суда». Таким образом, сам по себе судебный процесс уже является вердиктом. Как и в случае «Тысячи и одной ночи», рассказ рисует контуры настоящего в свете грядущего. Таково неизбежное бремя отрицания догматической экзегезы, предпринимаемого Беньямином. Он сохраняет верность представлению Кафки о том, что сочинительство и чтение — не более и не менее как дистилляция мирового процесса, этого бесконечного суда и единственной надежды. Соответственно, начало и конец эссе о Кафке выдержаны в автобиографическом ключе. Оно начинается с анекдотической истории о визите мелкого чиновника Шувалкина к Потемкину, обездвиженному

45. Здесь, как и во многих других местах, Беньямин использует элементы, позаимствованные им в других книгах: ключевым моментом в романе Мальро «Удел человеческий», который Беньямин читал в январе 1934 г., служит сцена самоотчуждения главного героя романа Кио, не узнавшего свой собственный голос на граммофонной пластинке.

тяжелой депрессией. Ступор, вызванный депрессией, постоянно угрожал Беньямину на протяжении последнего десятилетия, а сейчас в Париже стал его постоянным спутником. Из эссе о Кафке следует, что единственная надежда на «спасение» лежит для нас в самой безнадежности; рано или поздно эта надежда может проснуться и выйти в мир сквозь крохотный, маловероятный портал бессознательного и, более того, «бессмысленного» жеста (BS, 135)⁴⁶. В конце лета Беньямин писал Шолему, что изучение Кафки «идеально подходит на роль перекрестка, где пересекаются различные пути моих мыслей» (BS, 139).

При всей этой плотной литературной работе Беньямин по-прежнему был не в состоянии покрыть хотя бы долю своих расходов на жизнь. До того момента он мог существовать в Париже благодаря небольшим денежным пожертвованиям от друзей. На протяжении весны 1934 г. нерегулярные доходы Беньямина постепенно начали дополняться стипендиями от различных организаций и поступлениями от продажи его книг. Той весной в течение четырех месяцев Беньямин при посредничестве Сильвена Леви, индолога из Коллеж де Франс и бывшего дрейфусара, получал ежемесячную стипендию 700 франков от *Israélite Alliance Universelle* (Всемирный еврейский союз). Примерно в то же время по предложению Хоркхаймера Институт социальных исследований начал выплачивать Беньямину по 100 франков в месяц — эти выплаты продолжались, постепенно возрастая, на протяжении всех 1930-х гг. Кроме того, в конце концов принесло плоды и заступничество Адорно: его тетка, пианистка Агата Кавелли-Адорно, убедила оказать поддержку Беньямину богатую предпринимательницу из Нойн-кирхена Эльфриду Херцбергер, дружившую с семьей Адорно. Первый чек на 450 франков был совместно прислан Адорно, его теткой и Эльзой Херцбергер; к лету последняя стала выплачивать Беньямину более или менее регулярную, хотя и более скромную, стипендию.

Об отчаянности ситуации, в которой находился Беньямин, свидетельствует то, что даже эти новые источники дохода не могли предотвратить дальнейшего ухудшения его финансового положения; к концу марта он был вынужден выехать из своего дешевого отеля в 6-м округе, заложив свои пожитки, чтобы оплатить счет. К счастью для него, к тому времени в Париж перебралась его сестра Дора. Отношения Беньямина с сестрой уже

46. Ср. у Германа Когена: «Спасение... скрывается в каждом моменте страданий и в каждый момент страданий составляет момент спасения» (Cohen, *Religion of Reason*, 235). Ср. также о «спасении неспасаемого» (С, 34 [1913]).

давно были сложными, но сейчас она проявила готовность оказывать помощь брату, хотя бы временно. Беньямин поселился в ее маленькой квартире на улице Жасмэн, 16, в 16-м округе. Такое соседство после многих лет прохладных отношений было нелегким делом и для брата, и для сестры; Беньямин заявлял, что «этой песни мне в колыбели не пели» (BS, 101). Он прожил там две или три недели, до тех пор, пока не вернулся человек, постоянно снимавший у Доры часть квартиры, а затем переехал в еще более дешевый отель *Floridor* на площади Данфер-Рошро в 14-м округе. Между тем его личные отношения пребывали в почти полном расстройстве. После нескольких встреч со своим другом по Ибике Жаном Сельцем (который продолжал переводить отдельные главки из «Берлинского детства») Беньямин неожиданно прервал с ним все контакты, в начале апреля отменив последнюю встречу под откровенно надуманным предлогом. Он продолжал видеться со своим кузеном Эгоном Виссингом и оказывать ему моральную поддержку, но это общение создавало новые проблемы. Когда в начале года Виссинг был в Берлине, Гретель Карплус была так потрясена его состоянием и поведением, что отказалась доверить ему несколько книг, которые требовалось передать Беньямину, и серьезно усомнилась в способности Виссинга организовать переправку библиотеки Беньямина в Данию. Виссинг вернулся в Париж «потрепанным» и сильно изменившимся после лечения от морфинизма (см.: GB, 4:361). Тем не менее для Беньямина он оставался человеком, который когда-то был ему «очень близок и, может быть, снова станет очень близким»; Беньямин признавался в глубокой вере в его «личность и нравственный склад» (GB, 4:378). Источником беспокойства по-прежнему служило и положение семьи Беньямина в Германии. Дора и Штефан оставались в Берлине, и туда же после поездки по Швейцарии и Италии вернулся выпущенный из тюрьмы брат Беньямина Георг, чтобы, как и догадывался Беньямин, немедленно возобновить свою подпольную политическую деятельность.

Даже переписка Беньямина, обычно служившая для него источником отдохновения от тревог, доказывает, как далек он был от безмятежности в эти месяцы. В конце февраля он отправил Адорно очень колкий критический отзыв на его водевиль «Сокровище индейца Джо», основанный на сценах из «Приключений Тома Сойера» Марка Твена. Адорно написал это либретто в ноябре 1932 — августе 1933 г. и к некоторым его частям написал музыку, в итоге так и не доведя это дело до конца. Беньямин получил один экземпляр либретто в начале осени, но не торопился с отзывом до конца января: верный признак разлада между

этими двумя неукротимыми интеллектуалами. Когда же он наконец дал ответ, то составил его в очень осторожных выражениях, хотя их хватило для того, чтобы его возражения против этого начинания в целом предстали перед Адорно во всей очевидности. Должно быть, Беньямин чувствовал себя вправе нападать на творчество Адорно там, где оно вступало в сферу, в которой он считал себя специалистом: речь идет о культуре, создаваемой для детей. Называя либретто Адорно словом *Kindermodell*, очевидно, представлявшим собой аллюзию и на жанр радиопередач *Hörmodell*, в котором он работал сам, и на некоторые пьесы Брехта, замышлявшиеся в качестве образца и для их аудитории, и для других авторов, Беньямин возражал против невыносимо идиллического изображения места действия — сельской Америки и указывал на то, что автору не удался призрак смерти, который должен был присутствовать в этой маленькой опере. Адорно в особенности наверняка задело заявление о том, что его произведение не дотягивает до уровня поистине «страшного» романа Жана Кокто 1929 г. «Ужасные дети» (см.: ВА, 23–24).

Больше огорчений доставила Беньямину весенняя переписка с Шолемом: в ней снова был поднят вопрос о политической ориентации Беньямина и ее влиянии на его творчество. Кроме того, важное письмо Шолема привело к возобновлению между друзьями старой и неприятной дискуссии о политике Беньямина. Ознакомившись с относительно умеренным и прямолинейным эссе «О современном социальном положении французского писателя», Шолем заявил, что не смог его понять, и спрашивал у Беньямина, не служит ли этот текст его «коммунистическим кредо» (BS, 107). Шолем хотел знать, какова позиция Беньямина, и напоминал ему, что в прошлом тот не желал давать четкий ответ на этот вопрос. Письмо Шолема побудило Беньямина к сочинению в высшей степени красноречивого ответа. Его черновик, впоследствии найденный в Восточном Берлине, гласит: «Я всегда писал в соответствии со своими убеждениями — возможно, за несколькими незначительными исключениями, — но никогда не пытался выразить то противоречивое и подвижное целое, которое представляют собой мои убеждения в их многогранности, за исключением самых чрезвычайных случаев, и то лишь в устной форме» (BS, 108–109). В окончательном варианте письма он определял свой коммунизм как «абсолютно не что иное, как выражение определенного опыта, полученного мной в ходе моих размышлений и моей жизни... это резкое и отнюдь не бесплодное выражение того факта, что в нынешней интеллектуальной индустрии не нашлось места для моих воз-

зрений, так же, как нынешний экономический строй не позволяет мне устроить свою жизнь... оно представляет собой очевидную, обдуманную попытку со стороны человека, полностью или почти полностью лишенного каких-либо средств производства, заявить о своем праве иметь их — как в своих воззрениях, так и в жизни... Неужели я в самом деле должен излагать тебе все это?» (BS, 110). Далее Беньямин посвящает часть письма Брехту, и это указывает на то, что он отлично понимал, о чем на самом деле идет речь: Шолем возражал против брехтовской ангажированной политики, которой Беньямин предавался наряду со своими теологическими наклонностями и тщательно сформулированными левыми социальными взглядами, делавшими его союзником Института социальных исследований. В письме, написанном летом, Беньямин вернулся к этому спору, в то же время утверждая, что не может послать Шолему свое намного более провокационное эссе «Автор как производитель», потому что не удалось размножить его в достаточном количестве (см.: BS, 113); когда же Шолем в 1938 г. сам попросил прислать ему экземпляр, Беньямин ответил откровенным: «Думаю, не дам я тебе его читать» (SF, 201; ШД, 328).

Лучом света среди этого мрака стало дополнительное содействие, оказанное ему в середине марта Институтом социальных исследований (в лице Фридриха Поллока) при завершившейся успехом переправке «примерно половины библиотеки, но более важной половины» из берлинской квартиры Беньямина в дом Брехта в Дании (С, 437). Беньямин надеялся переправить библиотеку целиком, но его берлинский квартиросъемщик фон Шеллер, оказавшийся человеком очень любезным и надежным, не хотел, чтобы квартира полностью лишилась наиболее заметной части своей обстановки и тем самым «полностью утратила свой характер»⁴⁷. Книги, упакованные в пять или шесть больших ящиков, благополучно прибыли в Данию. Благодаря этой операции Беньямин получил возможность не только пользоваться своей библиотекой для работы, но и распродавать ее по мере надобности; особенно важной стала продажа полного собрания сочинений Франца фон Баадера библиотеке Еврейского университета в Иерусалиме, состоявшаяся в июле после мучительных переговоров. Таким образом, книги и мысли о книгах по-прежнему давали ему спасение от ужасов повседневной жизни в изгнании. В январе Беньямин прочел новый роман Андре Мальро «Удел человеческий» (*La condition humaine*) и нашел

47. Письмо Густава Глюка Беньямину от 22 декабря 1933 г. Цит. по: ГВ, 4:298п.

это чтение, как он писал Гретель Карплус, «интересным и даже, пожалуй, захватывающим, но в итоге не слишком продуктивным» (GB, 4:341). Впрочем, именно тогда он дополнил разделом о Мальро свое эссе «О современном социальном положении французского писателя», опубликованное весной. Кроме того, он продолжал поглощать детективные романы, почти никогда не исчезающие с его прикроватного столика. Он прочел несколько книг Сомерсета Моэма в переводе на французский, включая роман «Эшенден, или Британский агент», и горячо рекомендовал их Гретель Карплус.

Впрочем, по большей части его чтение было посвящено изысканиям по теме парижских пассажей и проходило в Национальной библиотеке. На протяжении 1930-х гг. в условиях непрерывных переездов из квартиры в квартиру и даже из одной страны в другую Национальная библиотека оставалась для Бенямина путеводной звездой, единственным оплотом, на который он мог полагаться. Другой данностью служила его одержимость письменными материалами: его письма усеяны обращениями к друзьям просьбами достать для него ту бумагу и блокноты, которыми он пользовался многие годы. И все это связывалось воедино убеждением в том, что исследование о пассажах станет самой главной его работой. «Труд о пассажах в те дни был *tertius gaudens* между судьбой и мной. В последнее время я смог не только произвести гораздо больше изысканий, но и впервые за долгий срок представить себе, каким образом этим изысканиям можно найти применение. Вполне понятно, что эти представления сильно ушли от первых, начальных» (BS, 100). Так, он проштудировал четырехтомную историю французских рабочих ассоциаций Зигмунда Энглендера, несколько выдержек из которой вошло в проект «Пассажи». К концу весны Бенямин смог сделать предварительный обзор массы материалов, собранных для исследования о Париже, и упорядочить их. Теперь его исследование получило рабочее название «Париж, столица XIX столетия» и должно было иметь пять главных частей: Фурье, или пассажи; Дагер, или панорама; Луи-Филипп, или интерьер; Гранвиль, или Всемирная выставка; и Осман, или украшение Парижа (см.: AP, 914). Эта реорганизация проекта произошла в ключевой момент, когда самые первые этапы проекта с их ориентацией на сюрреализм и коллективный социальный психоанализ вошли в противоречие с более исторической и социологической ориентацией, характерной для творчества Бенямина после 1934 г. Письмо Вернеру Крафту, отправленное из Дании ближе к концу того лета, дает понять, что Бенямин в то время осознавал нали-

чие связи между политикой и психологией масс: «Вы признаете, что в обозримом будущем не желаете видеть в коммунизме „решение, в котором нуждается человечество“. Но проблема, конечно же, состоит именно в том, чтобы разоблачить непродуктивные претензии на знание решений, в которых нуждается человечество, посредством реалистичных достижений самой этой системы; более того, полностью отказаться от нескромной перспективы, которую нам сулят «тотальные» системы, и по крайней мере попытаться построить дни жизни человечества так же вольготно, как начинает свой день хорошо выпавший рационально мыслящий человек» (С, 452).

Возможно, имея в виду именно такие психополитические соображения, Беньямин продолжил свои эксперименты с галлюциногенами. Незадолго до отъезда из Парижа в Данию он принимал мескалин, подкожную инъекцию которого ему сделал Фриц Френкель, эмигрировавший во Францию в 1933 г. В сумбуре порожденных в ходе этого ночного эксперимента идей, включающих размышления о «бездельничанье», поведении детей и том удовольствии, которое доставляет кататония, особо выделяется выдержанное в духе мрачной фантастики описание дома Ницше в Веймаре, превращенного сестрой философа, придерживавшейся протофашистских взглядов, в святилище (см.: ОН, 94, 96).

В начале лета 1934 г. Беньямин наконец неохотно принял приглашение Брехта и отправился в Данию. Он просто не мог себе больше позволить жизнь в Париже, и гостеприимство Брехта представлялось единственной альтернативой. Это был первый из трех таких же продолжительных летних визитов — два других состоялись в 1936 и 1938 гг. Брехт и Хелене Вейгель жили со своими детьми Стефаном и Барбарой в стоявшем на отшибе крестьянском доме в деревне Сковсбостранд, поблизости от городка Свеннборг. В XIX в. он обзавелся кое-какой промышленностью, но так и остался небольшим форпостом среди окружающей сельской местности. К югу от Сковсбостранда, расположенного на южном берегу острова Фюн — третьего по величине из островов, составляющих значительную часть Дании, по другую сторону пролива находился небольшой остров Тосинге. Этот «южный кончик» Фюна показался Беньямину «одним из самых глухих мест, какие только можно было себе представить», а «неисследованность» этого уголка и отсутствие связей с современным миром пришлось ему не вполне по душе. Сам городок почти ничего не мог предложить в плане развлечений: вскоре Беньямин бросил ходить даже в местный кинотеатр, сочтя его репертуар невыносимым. Похоже, что читал он в основ-

ном лишь то, что имело непосредственное отношение к его работе: этот короткий список открывали *Vu par un écrivain d'URSS* Ильи Эренбурга (по отзыву Беньямина, «самые интересные страницы у этого автора, который сам по себе неприятен») и «Кухина Бетта» Бальзака. Еще больше Беньямин страдал без вылазок на природу, занимавших такое важное место в его жизни на Ибице. Он неоднократно сетовал на то, что среди здешних полей и вдоль берега почти нет тропинок и что местные пляжи при их изобилии плохие и каменистые. Беньямин снял комнату в деревенском доме в нескольких минутах ходьбы от владений Брехта; наличие отдельной комнаты давало Беньямину возможность уединиться, но в то же время оно ограничивало его общение с Брехтом, Хелене и постоянно сменявшимися друг друга персонажами, окружавшими харизматичного драматурга. Это имело как плюсы, так и минусы. С одной стороны, Беньямин вел себя осторожно по отношению к переменчивому Брехту, опасаясь подвергнуть риску их взаимоотношения и стараясь не злоупотреблять гостеприимством своего хозяина. По сути, отношения Беньямина с Брехтом качественно отличались от отношений со всеми прочими его современниками, содержа в себе элемент благоговения и даже раболепия, во всех иных случаях совершенно несвойственных Беньямину. Но, с другой стороны, углублялась и его неподдельная дружба с Брехтом, как и с Хелене и их детьми, с которыми он сблизился. Беньямин, ощущая в Дании еще большую изоляцию, чем во Франции, с настоящим нетерпением ожидал вечеров в большом доме Брехта: регулярные шахматные матчи с Брехтом, игра в «Шестьдесят шесть» (карточная игра для двоих участников) с Хелене и совместно прослушивавшиеся радиопередачи в течение многих недель были для него единственным источником общения.

Так начался период интенсивного интеллектуального диалога, а время от времени и творческого сотрудничества между двумя из самых влиятельных интеллектуалов XX в. Хотя Брехт и Беньямин резко отличались друг от друга характерами, это не мешало их дружбе. Как вспоминала Рут Берлау, входившая в окружение Брехта, «всякий раз, как Беньямин и Брехт вместе находились в Дании, между ними немедленно устанавливалась атмосфера полного доверия. Беньямин чрезвычайно нравился Брехту, по сути, тот любил его. Думаю, что они понимали друг друга без всяких слов. Они молча играли в шахматы, а когда прекращали, то не могли обойтись без беседы»⁴⁸.

48. Ruth Berlau, *Brechts Lai-tu* (Darmstadt, 1985). Цит. по: Brodersen, *Spinne im eigenen Netz*, 233.

Похоже, что эти дискуссии всегда велись только в доме у Брехта и никогда — у Беньямина. Соответственно, они проходили под определенным знаком и в определенной атмосфере. Беньямин отмечал две детали в кабинете у Брехта. На балке, поддерживавшей потолок, Брехт вывел краской слова: «Истина — бетон». А на шее у маленького деревянного ослика, стоявшего на подоконнике, висела табличка, на которой Брехт написал: «Даже я должен это понимать».

Разумеется, их дискуссии в основном вращались вокруг пьес Брехта и его представлений о театре. Еще до того, как уехать из Парижа в Данию, Беньямин писал об этом Брехту, подчеркивая роль «чрезвычайно легкой и уверенной руки» драматурга и выдвинув предположение о существовании сходства между его пьесами и древней китайской настольной игрой го, заключающейся в том, что на изначально пустой доске игроки особым образом не передвигают, а расставляют шашки. «Ты ставишь все свои фигуры и формулировки на те места, где они, ничего не делая, сами по себе способны исполнить свое стратегическое предназначение» (С, 443). Теперь же в доме Брехта в Скловбостранде вечерами они часто говорили о литературе, искусстве, обществе и политике. До нас дошла только одна сделанная Беньямином запись этих бесед, и в ней приводятся главным образом только мнения Брехта, и потому о роли самого Беньямина в этом диалоге остается только догадываться. Их дискуссии часто возвращались к теме жеста; под влиянием разговоров на эту и родственные темы Беньямин решил переделать свое эссе о Кафке, чем он и занялся тем летом. Чтобы подчеркнуть значение жеста, Брехт ссылаясь на дидактическое стихотворение, сочиненное им для актрисы Каролы Неер, которая сыграла главные роли в пьесах Брехта *Happy End* и «Святая Иоанна скотобоев», а также роль Полли в экранизации «Трехгрошовой оперы». «Я многому научил Каролу Неер, — говорил Брехт. — Она научилась не только играть, но и, например, мыться. Прежде она мылась только для того, чтобы не быть грязной. Но совсем не это было мне нужно. Я научил ее, как мыть лицо. И она достигла в этом деле такого мастерства, что я хотел снять фильм о том, как она это делает. Но из этого ничего не вышло, потому что я в то время не снимал, а она не хотела, чтобы ее снимал кто-то другой. Эти дидактические стихи были образцом» (SW, 2:783).

В те тревожные дни их дискуссии, само собой, нередко касались роли искусства в обществе. Брехт проводил неожиданное различие между «серьезными» и «несерьезными» авторами: «Допустим, ты читаешь превосходный политический роман

и впоследствии узнаешь, что его написал Ленин. Ты изменишь свое мнение и о Ленине, и о романе: оба они упадут в твоих глазах» (SW, 2:784). Брехт, разумеется, считал себя «несерьезным» человеком. По его словам, он часто воображал себя стоящим перед судом. Судьи задают ему вопрос о том, серьезны ли его ответы, и он вынужден признать, что они не вполне серьезны. Брехт словно бы предвидел, как в октябре 1947 г. его будет допрашивать Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности — его блестящая уклончивость во время этого допроса вошла в легенду. Таких авторов, как Кафка, Генрих фон Клейст и Георг Бюхнер, Брехт не относил ни к той, ни к другой группе, выделяя их в отдельную третью категорию. Этих писателей он называл неудачниками. Предметом этих обширных дискуссий становилась вся западная литература, включая произведения Рембо и Иоганнеса Р. Бехера, Конфуция и Еврипида, Герхарта Гауптмана и Достоевского.

Но если вечера часто бывали оживленными и воодушевляющими, то дни проходили для Беньямина в одиночестве и изоляции. Он сумел сделать многое, но особенно с учетом того, что впервые за полтора года вновь получил доступ к своей библиотеке, удивительно, что за время пребывания в Дании Беньямин так и не написал ни одного крупного текста. Большая часть лета ушла у него на осуществление двух замыслов: эссе о культурной политике немецких социал-демократов и переработку эссе о Кафке. У Брехта имелась полная подшивка партийного журнала *Die neue Zeit*, и на протяжении лета Беньямин собрал большой архив выписок. Как он сообщал Хоркхаймеру, это эссе, согласно его расчетам, должно было представлять собой материалистический анализ «коллективного литературного творчества». Беньямин спокойно признавался Хоркхаймеру в том, что выбрал эту тему ради «достижения целей, стоящих перед Институтом социальных исследований», имея в виду давнюю тематику института — историю рабочего движения и социал-демократии (С, 456). То, что Беньямин так и не справился с этим эссе, несмотря на то что посвятил работе над ним не один месяц, едва ли удивительно: эта тема слабо соответствовала его талантам и интересам, и с течением времени он вошел в конфликт с ортодоксальными представлениями, заложенными в собранных им материалах. В октябре он мог признаться в письме Альфреду Кону, что тема эссе «не отражает моего свободного выбора, пусть она и предложена мной самим» (GB, 4:508).

Совсем иным делом была переработка эссе о Кафке: в ее основе лежали не только новые идеи Беньямина, но и его дискуссии с Брехтом и содержательная переписка с Шолемом.

Так развернулся странный трехсторонний диалог на эту тему: содержание эссе определялось историцистскими и материалистическими взглядами Брехта, теологической точкой зрения Шолема и более опосредованной и своеобразной позицией самого Беньямина, причем и то, и другое, и третье было завязано на функцию иносказания у Кафки. Отношение Брехта к Кафке было определенно амбивалентным, и эссе Беньямина не смогло поколебать его взглядов. По сути, реакция Брехта на это эссе, которое он какое-то время отказывался обсуждать, а затем критиковал его «дневниковую форму в стиле Ницше», была в какой-то мере раздраженной. В глазах Брехта творчество Кафки было обусловлено его пражским окружением, тон в котором задавали плохие журналисты и претенциозные типы из литературных кругов. В этих досадных обстоятельствах литература стала для Кафки главной, если не единственной реальностью. Брехт был жесток — и, возможно, сознательно немного эпатажен — в своем суждении: он признавал наличие у Кафки реальных художественных достоинств, но не находил у него ничего полезного. Он считал Кафку великим писателем и в то же время неудачником — «жалкой, непривлекательной фигурой, пузырем на радужной поверхности пражского культурного болота, и более ничем» (SW, 2:786). Месяцем ранее он ставил вопрос по-иному, утверждая, что Кафке в первую очередь мешала «организационная» проблема. «Его воображение, — отмечал Брехт, — было сковано его страхом перед муравьиным обществом: тем, как формы совместной жизни людей отчуждают их друг от друга» (SW, 2:785). Таким образом, вследствие сознательной двусмысленности Кафки и даже его обскурантизма, в глазах Брехта представлявшего собой неосознанное потворство «еврейскому фашизму» (SW, 2:787), задача состояла в том, чтобы «прояснить» Кафку, выделив «практические предложения», скрытые в его сюжетах⁴⁹. Поэтому Брехт был готов признать «Процесс» пророческой книгой: «На примере гестапо видно, во что могла превратиться [советская] ЧК». И все же Кафка оказывает слишком мало противодействия самой типичной разновидности современной мелкой буржуазии, то есть фашистам. Точка зрения Кафки — это точка зрения «человека, угодившего под колеса», и потому он может противопоставить мнимому «героизму» фашизма только вопросы, и в первую очередь вопрос о гарантиях своей собственной позиции. «Не каф-

49. Термин «еврейский фашизм» имел хождение в Германии с конца 1920-х гг., нередко в связи с нападками на сионизм. См.: Wlzlsl, *Walter Benjamin and Bertolt Brecht*, 166n; Вицисла, *Беньямин и Брехт*, примечание на с. 303–304.

кианская ли это ирония: страхового агент, по всей видимости ни в чем так не уверенный, как в бессмысленности любых гарантий» (SW, 2:787).

Если Брехт с подозрением относился к солидарности Беньямина с нерешительностью Кафки, то Шолем скептически оценивал теологические аспекты работы о Кафке. Ключевые заявления, прозвучавшие в его переписке с Беньямином, достойны того, чтобы привести их целиком. Шолем писал:

Присутствующее у тебя изображение преданимистической эпохи как видимого настоящего у Кафки — если я понял тебя верно — весьма проницательно и превосходно. Ничтожность этого настоящего представляется мне очень сомнительной, сомнительной в плане тех финальных моментов, которые тоже имеют здесь решающее значение. Мне бы хотелось сказать, что на 98 процентов все это разумно, но отсутствует завершающий штрих, что ты, кажется, почувствовал сам, так как ты со своей интерпретацией стыда (здесь ты определенно попал в точку) и Закона (а здесь у тебя начались проблемы!) ушел с этого уровня. Существование секретного закона опровергает твою интерпретацию: он не может существовать в предмифическом мире химерического сумбура, не говоря уже о том очень своеобразном способе, которым ты объявляешь о его существовании. Ты зашел здесь слишком далеко в своем отрицании теологии, выплеснув вместе с водой и ребенка (BS, 122–123).

В ответе Беньямина не слышно оправдательного тона, с которым он иногда реагировал на слова своего друга, критиковавшего Беньямина за его недостаточный иудаизм. В своих размышлениях по поводу вопроса о том, каким образом воспринимать «в духе Кафки проекцию Страшного суда на всемирную историю», Беньямин подчеркивал неспособность Кафки дать ответы, проистекавшую из пустоты, которую он ощущал вместо спасения. «Я ставил своей целью показать, как Кафка пытался — на нижней стороне этой „пустоты“, так сказать, под ее подкладкой, — прийти к спасению. Из этого следует, что любая победа над этой пустотой... была бы для него отвратительна» (BS, 129).

В качестве своего рода ответа и с тем, чтобы целенаправленно скорректировать круг чтения Беньямина, Шолем послал ему длинное стихотворение, так же, как поступил в ходе дискуссий об *Angelus Novus*. Обращение Шолема к поэзии в обоих случаях могло быть сознательной провокацией, бросающей вызов воззрениям первого литературного критика той эпохи посредством откровенно плохих стихов. Ответ Беньямина привязан к ключевым идеям стихотворения Шолема, обходя молчанием его эстетические достоинства:

1. Я бы хотел осторожно охарактеризовать взаимоотношения между моим эссе и твоим стихотворением следующим образом: ты берешь «пустоту откровения» в качестве своей отправной точки... испугательно-исторической перспективы сложившихся судьбных процедур. Я же беру в качестве отправной точки слабую, абсурдную надежду, а также тех существ, для которых эта надежда предназначается и в которых же вместе с тем отражается эта абсурдность.

2. Если я объявляю стыд самой мощной реакцией со стороны Кафки, то это ни в коем случае не противоречит моей интерпретации в целом. Напротив, изначальный мир, тайное настоящее Кафки, является исторически-философским указателем, выводящим эту реакцию за рамки частной сферы. Ибо было сорвано — если придерживаться изложения Кафки — действие Торы.

3. Именно в этом контексте встает проблема Писания. Потеряли его ученики или же они оказались неспособны расшифровать его, приводит к одному и тому же итогу, поскольку Писание в отсутствие прилагающегося к нему ключа — это не Писание, а жизнь. Жизнь, идущая в деревне у подножия холма, на котором стоит замок. Именно в этой попытке превратить жизнь в Писание я усматриваю смысл «разворота», который является целью многих иносказаний Кафки — в качестве примеров можно привести «Соседнюю деревню» и «Верхом на ведре». Образцовым является и существование Санчо Пансы [из «Правды о Санчо Пансе»], поскольку оно фактически сводится к перечитыванию своего собственного существования, каким бы шутовским и донкихотским оно ни было.

4. Я с самого начала подчеркивал, что ученики, «потерявшие Писание», не принадлежат к гетерическому миру, потому что я причисляю их к помощникам тех существ, для которых, по словам Кафки, имеется «бесконечно много надежды».

5. То, что я не отрицаю присутствия в творчестве Кафки компонента откровения, вытекает уже из моей оценки его мессианского аспекта, выражающейся в объявлении его произведений «искаженными». Мессианской категорией у Кафки служит «разворот» или «изучение». Ты верно полагаешь, что я хочу изменить не путь, которым идет теологическая интерпретация сама по себе — я сам пользуюсь этим путем, — а только ту надменную и легкомысленную его разновидность, которая порождена Прагой [то есть Максом Бродом] (BS, 134–135).

Точно так же, как и великое эссе о Карле Краусе, эссе о Кафке отмечает точку кристаллизации в беньяминовской мысли. «Эта работа, — писал Беньямин осенью Вернеру Крафту, — привела меня на перекресток моих мыслей и рассуждений. Дополнительные размышления сулят мне то же самое, что сулит путнику компас в неизведанной местности» (С, 462). Но в то же время он верно оценивал свои шансы на то, чтобы зарабатывать на жизнь работами о немецкоязычной литературе в новом

мире изгнания. «Думаю, что статьей о Кафке я закрыл серию моих литературных эссе. В течение какого-то времени у меня не будет пространства для подобной работы. Возможно, легче пристроить книгу, чем найти дом для подобных текстов, и потому я намерен обратиться — в той степени, в какой я вообще могу что-то планировать, — к более масштабным начинаниям. Впрочем, исходя из того, в какой степени мне доступно подобное, не следует слишком глубоко вдаваться в это» (GB, 4:509).

Но даже работая над этими более масштабными проектами, Беньямин продолжал регулярно отправлять в Германию небольшие тексты. Во *Frankfurter Zeitung* были изданы рецензии на книги о Шиллере и о средневековом *Minnesang*, критика на работу швейцарского психоаналитика и психолога-экзистенциалиста Людвиг Бинсвангера и две главки из «Берлинского детства» («Общество» и «Цветочный двор»). Другие издательские каналы упорно не желали открываться. Беньямин ответил на приглашение Морица Шпитцера прислать что-нибудь для очередного альманаха издательства *Schocken Verlag*, предложив часть эссе о Кафке, но узнал, что Макс Брод установил «монополию на интерпретацию» творчества Кафки. Из этой коллизии родилась диатриба против редакторов, в которой повторяется знаменитое восклицание Гете «Боже, покарай издателей!». Она была адресована Вернеру Крафту, тоже написавшему работу о Кафке, которую постигла аналогичная участь: «Поскольку я еще не нашел ни одного редактора, который бы не попытался компенсировать полное отсутствие влияния на издателя посредством высокомерного обращения с авторами, это меня совсем не удивляет» (GB, 4:466). При этом Беньямин сам устроил так, чтобы другие издания, включая *Die Sammlung* Клауса Манна, никогда не брали его текстов. Даже вопиющая нищета Беньямина не могла перевесить его враждебности к легковесному либерализму, характерному для журнала Манна. Так, он ответил на предложение Манна числиться автором его журнала, заявив, что согласится на это лишь в том случае, если его действительно станут регулярно печатать. Это требование выглядит достаточно разумным, если только не учитывать одну тонкость: Беньямин предложил, чтобы Манн учредил в журнале раздел, зарезервированный для заметок (*Glossen*), которые представляли бы собой комментарии к серии книг авторов-коммунистов.

Тщетные в большинстве своем попытки печататься заставили Беньямина предвзято относиться к успехам некоторых его друзей, особенно Блоха, часто становившегося мишенью саркастических шуток, которыми обменивались Беньямин, Адорно и Шолем. Беньямин сообщал Шолему, что «серия об Арсене

Люпене — ты, конечно, знаешь этого знаменитого джентльмена-*cambricoleur* — вскоре пополнится продолжением в виде новой книги Эрнста Блоха „Наследие нашей эпохи“. Я горю от нетерпения ознакомиться с ней, во-первых, будучи любопытным от природы, а во-вторых, из желания узнать, что я, будучи сыном нашей эпохи, могу унаследовать из своих собственных работ» (BS, 145). Но ни эти насмешки, ни постоянные обвинения в изощренном литературном воровстве не помешали Беньямину добавить, что он надеется вскоре вновь увидеть Блоха.

Некоторые из этих усилий приносили толику денег: так, Юла Радт-Кон получила 4 марки, гонорар за «Горбатого человечка» (из «Берлинского детства»), который в июле вышел в *Magdeburgische Zeitung*. Хотя Беньямин пришел в ярость из-за того, что Вельч был готов заплатить за его эссе о Кафке всего 60 марок, в тот момент он был не в таком положении, чтобы отказываться от этой суммы. Беньямин прибыл в Данию почти без гроша, израсходовав последние сбережения на переправку своего имущества в Скювсбостранд с тем, чтобы сэкономить на стоимости его хранения в Париже. Считая, что его обычные источники дохода при всей их минимальности все же останутся доступными, Беньямин взял займы у Брехта достаточно денег для того, чтобы продержаться несколько первых недель. Сразу же после прибытия он обратился за пособием в *Danske Komité til Støtte for landsfl ygtige Aandsarbejdere* (Датский комитет помощи беженцам — работникам умственного труда). Свое положение он обрисовал следующим образом: «Я был вынужден покинуть Германию в марте 1933 г.; я имею немецкое гражданство в течение более 40 лет. Будучи независимым исследователем и писателем, вследствие политического переворота я не только был разом лишен средств к существованию, но и не мог, даже являясь инакомыслящим и не принадлежа ни к одной политической партии, быть уверен в сохранении личной свободы. Мой брат в том же месяце стал жертвой жестокого произвола и с Рождества содержится в концентрационном лагере» (GB, 4:448–449). Далее он упоминает свои тексты об авторах, наверняка известных этому комитету (Гофмансталь, Пруст и Бодлер), ссылаясь на свои основные публикации и упоминает о сохраняющихся взаимоотношениях с *Frankfurter Zeitung*. Судя по всему, это обращение осталось без ответа. После того как в июле не пришел чек от Херцбергеров (Эльзы и ее брата Альфонса), по-видимому, вследствие политической ситуации в Германии, Беньямин, впавший в полную нужду, воззвал о помощи к последнему источнику, на который почти всегда мог рассчитывать: Гретель Карплус. Этот худший из выпавших на его долю в последнее

время кризисов завершился лишь в середине сентября после прибытия чека от Еврейского университета, оплатившего покупку у Бенямина ценного 16-томного собрания произведений Франца фон Баадера.

Вообще говоря, мировая политика все время присутствовала в Сковсбостранде, где Брехт и его окружение регулярно собирались у радио. «Так, я получил возможность прослушать выступление Гитлера в Рейхстаге, а так как я слышал его впервые в жизни, можешь себе представить произведенное на меня впечатление» (BS, 130). Впрочем, еще более шокирующим было известие о расправе Гитлера с Эрнстом Ремом и его штурмовиками-«коричневорубашечниками» (СА) во время так называемой Ночи длинных ножей. Эта нацистская милиция с ее склонностью к необузданному насилию вызывала страх и презрение у регулярной армии. Гитлер долгое время терпел отряды СА, без которых он не смог бы прийти к власти, но теперь он усматривал угрозу своему правлению в непрекращающемся насилии — и в амбициях Рема. 30 июня и 1 июля части СС и гестапо арестовали Рема и ряд ключевых фигур из командования СА, убили многих других на месте, а кроме того, уже расправившись с коммунистами и социал-демократами, воспользовались пропагандистским зонтиком, поспешно возведенным Геббельсом, и устранили сторонников вице-канцлера Франца фон Папена и ряд консервативных и центристских политиков, на чью лояльность не мог рассчитывать Гитлер. Было убито не менее 85 человек (включая Рема), а общее число погибших могло достигать нескольких сотен. Это серьезное сотрясение партийной структуры пробудило искру надежды даже у смирившегося Бенямина; однако Гитлер, почти немедленно вновь ставший хозяином ситуации, тут же погасил ее.

Предметом еще большего беспокойства стали события в Австрии — так называемый Июльский путч, начавшийся 25 июля. В тот день эсэсовцы, одетые как австрийские солдаты и полицейские, ворвались в штаб-квартиру федерального канцлера Энгельберта Дольфюса, убили канцлера и захватили венскую студию главной австрийской радиовещательной корпорации, передав ложный экстренный выпуск новостей, который должен был послужить сигналом к общему нацистскому восстанию. И хотя большая часть австрийцев сохраняла спокойствие, произошедшие в нескольких землях кровавые стычки между нацистами и силами армии и полиции, сохранявшими верность республике, унесли не менее 200 жизней. В итоге путч провалился — как вследствие недостаточной организованности нацистов, так и из-за сопротивления, оказанного им силами правопоряд-

ка. Но эта первая попытка расширить пределы нацистской Германии стала потрясением для Европы. Беньямин внимательно следил за ходом путча по радио — для него это стало «действительно памятным переживанием» (ГВ, 4:500). Впрочем, у этих событий имелся один аспект, вызвавший беспокойство лично у него. Вскоре ему стало известно о том, что Карл Краус, один из очень немногих еще живых европейцев, к которым он мог испытывать благоговение, выразил свою поддержку Дольфюсу в крайне сомнительных выражениях: «[Австрийские евреи] считают австрийский национал-социализм не меньшим, а большим злом, „абсолютным ужасом“ и поэтому хотели бы, чтобы социал-демократы относились к гаранту — при всей его интеллектуальной чужеродности и антипатичности — как к меньшему злу. Что касается нас самих, никогда не являвшихся „попутчиками“, особенно попутчиками лжи, мы больше ничего не можем поделать с этой концепцией. Мы считаем политику Дольфюса большим благом по сравнению с политикой социал-демократов и считаем политику последних в лучшем случае меньшим злом по сравнению с национал-социализмом»⁵⁰. Дольфюс был легитимным канцлером, но он воспользовался процедурным кризисом в австрийском законодательном органе для того, чтобы ввести чрезвычайное положение, и фактически правил страной как диктатор, не обращая внимания на парламент. Отвергая германский нацизм, он в то же время стремился перестроить австрийское государство по образцу фашистского режима в Италии. И потому Беньямин был встревожен этой «капитуляцией» Крауса перед «австрофашизмом». Это заставило его задаться вопросом: «Остался ли еще кто-нибудь, кто тоже способен поддаться?» (С, 458).

К сентябрю Беньямин был готов покинуть Сквобостранд. Дело было не в его взаимоотношениях с Брехтом — они оставались сердечными и продуктивными. Но он чувствовал себя одиноко. Хелене с детьми бежали с Фюна из-за вспышки полиомиелита, а переписка с внешним миром, от которой зависел Беньямин, сократилась до размеров ручейка. Погода летом стояла скверная, вследствие чего и без того скудные возможности для прогулок и купания сократились почти до нуля. К тому же, несмотря на благодарность, которую Беньямин испытывал к Брехту и Хелене, их дом и царившая в нем атмосфера в конечном счете не пришлись ему по вкусу. Присутствие Маргарете Штеффин делало атмосферу в доме гнетущей. Брехт пытал-

50. Karl Kraus, "Warum die Fackel nicht erscheint" in *Die Fackel*, Heft Nr. 890–905 (июль 1934), 224. Цит. по: ГВ, 4:469.

ся держать свою любовницу в отдалении от семьи, и потому она пропадала на целые дни, но все же ревность между ней и Хелене нагоняла на всех остальных нервозность. Даже более жизне-радостные дни в доме у Брехта не всегда устраивали Бенямина; порой в комнате находилось разом по десятку человек, и далеко не с каждым из них было приятно общаться. Дни, проводившиеся им в одиночестве у себя в крестьянском доме, как он общал Хоркхаймеру, способствовали работе, но не той работе, которой он хотел бы заниматься, а именно изысканиями, связанными с пассажами. Для этого нужно было находиться в Париже. Хотя во время первого пребывания в Дании Бенямин ни разу не упоминал о преследовавшей его глубокой депрессии, он писал ближайшим друзьям о неважном психологическом самочувствии, отмечая часто «обнажающееся внутреннее состояние» (BS, 138).

Поэтому он нуждался в каких-нибудь развлечениях, которые нарушили бы монотонный распорядок жизни, и не мог удержаться от того, чтобы сравнить свое положение в Дании с воспоминаниями об Ибнице. 19 августа в черновике письма, адресованного Блаупот тен Кате, он писал:

Видите ли, даже нынешнее лето представляет собой серьезный контраст по сравнению с прошлым годом. Тогда я не мог заставить себя рано вставать — а это обычно свидетельствует о полноценном существовании. Сейчас же я не то что бы дольше сплю, но мои дни омрачены снами, постоянно возвращающимися ко мне. Последние несколько дней мне снились удивительные и прекрасные архитектурные сооружения: так, я видел Б.[рехта] и Вейгель в образе двух башен или сооружений вроде ворот, ковляющих через город. Потоку этого сна, так яростно разбивавшегося о день — подобно волнам моря, взбудораженного притяжением луны, — передавалась мощь вашего образа. Мне не хватает вашего присутствия сильнее, чем я в состоянии выразить и, более того, сильнее, чем я мог себе представить (GB, 4:482).

Образ Блаупот тен Кате (в обращении к которой он теперь использует формальное «вы» [“Sie”]) затмил здесь все воспоминания о бедности, нездоровье и отчаянии последних дней на Ибнице, превратив их в идиллию, по сравнению с которой жизнь в Дании действительно должна была казаться унылой и одинокой.

Вообще Бенямин в своем одиночестве часто утешался воспоминаниями о своих романах — даже тех, которые так и не состоялись. Прочитированный выше черновик продолжается так: «Время и расстояние и мне показали с большей силой и ясностью, от чего зависит моя привязанность к вам. Меня перепол-

няет потребность в том, чтобы вы были рядом; ожидание этого момента задает ритм моих дней и моих мыслей. Я не мог бы подобным образом ощущать ваше пребывание рядом со мной, если бы в нем не жила частица вас. Сейчас я понимаю это лучше, чем год назад». Следует напомнить, что Анна Мария Блаупот тен Кате к тому времени вышла замуж за француза Луи Селье, и Беньямин видел их обоих той зимой в Париже. Это была не единственная его попытка разжечь прежнее пламя. В августе он снова писал Инге Букхольц, заявив, что «год не играет для меня роли. В то же время я кладу на чашу весов наши четыре года, и они оказываются легкими» (GB, 4:477). Нам известно, что это письмо дошло до адресата. Инге Букхольц ответила, что сожгла все письма Беньямина и более недоступна ни по одному из имеющихся у него адресов (GB, 4:477n). Лишь в конце сентября попытки Беньямина наладить любовную переписку дали какой-то результат.

18 сентября Беньямин ненадолго покинул Сквобостранд, чтобы присоединиться к Брехтам в Драгере — маленьком прелестном приморском городке всего в нескольких милях от Копенгагена, куда Хелене Вейгель увезла детей. Беньямин получил возможность провести несколько приятных часов у моря и упиваться в Копенгагене жизнью большого города, которой ему не хватало. Многочасовые прогулки по улицам, а также покупка набора диапозитивов у «мастера по татуировкам» в чрезвычайной степени подняли его настроение. «Я только что вернулся из Копенгагена, — источал он восторги в письме Альфреду Кону пару недель спустя, — где получил возможность пополнить несколькими очень милыми образцами единственную коллекцию, о продолжении которой я могу подумывать в беззаботные мгновения, а именно коллекцию цветных диапозитивов. Мне удалось купить у специалиста по татуировкам несколько образцов, нарисованных им самим, сняв их со стены его маленькой каморки, расположенной позади ремесленной мастерской на канале в Копенгагене» (GB, 4:508). Эти диапозитивы станут едва ли не самым ценным из всего имущества, какое сохранится у Беньямина в изгнании, и в грядущие годы будут украшать стены многих его номеров в отелях и квартир. Кроме того, однажды в Драгере он завернул за угол и столкнулся со своим берлинским другом Виландом Херцфельде (1896–1988), братом Джона Хартфилда и владельцем издательства *Malik Verlag*. Наряду с Гарри Графом Кеслером, Георгом Гроссом и Эльзой Ласкер-Шюлер Беньямин одним из первых поддержал это издательство, основанное в 1917 г. В то время именно в *Malik Verlag* выходило большинство журналов берлинских дадаистов;

после 1920 г. оно занялось выпуском книг. В число его авторов входили Курт Тухольский, Эптон Синклер, Джон Дос Пассос, Максим Горький, Владимир Маяковский и Оскар Мария Граф. Херцфельде с его откровенно левой ориентацией едва избежал застенков гестапо и весной 1933 г. бежал в Прагу, бросив библиотеку более чем в 40 тыс. книг, которая стала топливом для костров во время нацистских сожжений книг. Сейчас же, увидев своего старого друга, Херцфельде воскликнул: «Надо же, Бенъямин! Надо думать, вы тоже принадлежите к поколению 1892 года? Несомненно, нам предстоит видеться время от времени. Ведь, знаете ли, с этим поколением дело обстоит так: самые нежные пропали еще до 1914 года; глупые пропали в 1914–1918 годах; а те, кто остался, еще какое-то время продержатся» (С, 478). Бенъямин, несомненно, вполне понял жизнерадостное предсказание Херцфельде как указание на то, что тот едва ли понимает его положение.

В Драгере Бенъямин застал Брехта в нетипичном для него состоянии нерешительности. Сам Брехт объяснял это непривычное для него состояние теми преимуществами, которые имелись у него по сравнению с большинством других эмигрантов. Как выразился Бенъямин в своих «Записках из Свеннборга», «поскольку в целом он не склонен видеть в эмиграции серьезную основу для планов и начинаний, похоже, что *a fortiori* это не имеет для него никакого значения» (SW, 2:788). Впрочем, нерешительность Брехта не помешала ему привлечь Бенъямина к литературному сотрудничеству. В первые дни своего пребывания в Драгере Бенъямин совместно с Брехтом и выдающимся философом-марксистом Карлом Коршем (1886–1961) работал над сатирой на Гитлера «в стиле ренессансной историографии» — прозаическим произведением, носившим рабочее название «История Джакомо Уи» (SW, 2:788). Корш активно участвовал в германской революции 1918–1919 гг. на стороне левых сил, в то же время занимаясь передовыми исследованиями в области права. В 1923 г. он получил должность профессора права в Йенском университете, и в том же году вышел его *magnus opus* «Марксизм и философия». Эта книга наряду с трудами Дьердя Лукача и Антонио Грамши представляет собой важнейший теоретический вклад XX в. в критический марксизм. Кроме того, в 1920-е гг. Корш выделялся в политической сфере своей оппозицией сталинизму, и эта позиция в 1926 г. привела к его изгнанию из коммунистической партии. Лишившись в 1933 г. профессорской должности, Корш сначала ушел в подполье, а затем эмигрировал в Данию, Великобританию и, наконец, в 1936 г. в США, после того как бывшие товарищи по партии объявили

его «троцкистско-гитлеровским агентом». Знакомство Беньямина с Коршем стало для первого поворотным пунктом: Беньямин, никогда не проявлявший особого интереса к произведениям самого Маркса, благодаря чтению Корша приобщился к передовому истолкованию марксизма. «Марксизм и философия» — одна из книг, на которые Беньямин чаще всего ссылается в «Пассажах»; кроме того, она вообще оказала значительное влияние на политическую позицию Беньямина, хотя не следует забывать и того, что после первого прочтения этой работы в 1930 г. он писал Адорно: «Довольно неуверенные шаги — по крайней мере так мне показалось — в правильном направлении» (ВА, 7).

Прежде чем сотрудничество с Брехтом и Коршем успело принести реальные плоды, Беньямин слег в постель с приступом нефрита. Его очень медленное и мучительное выздоровление протекало в уголке маленького дома — жилье, которое даже он, закаленный лишениями, называл «не устраивающим меня» и «временным». Единственной компенсацией за все это стало то, что он впервые прочел «Преступление и наказание» — Брехт откликнулся на это событие шуткой о том, что болезнь Беньямина была вызвана именно этим романом. «Достоевский, конечно же, великий мастер, — писал в то время Беньямин Вернеру Крафту, — но тот сумбур, который царит в душе у главного героя, в итоге передается и самому автору... и этот сумбур безграничен» (ГВ, 4:506). Болезнь Беньямина вынудила его пробыть в Драгере на неделю дольше, чем он планировал. К 28 сентября он был уже достаточно здоров для того, чтобы перебраться в Гесер, самый южный датский город, расположенный на острове Фальстер, откуда на пароме было рукой подать до Ростока. Мы ничего не знаем об этих выходных днях, проведенных в Гесере, кроме того, что Беньямин провел их в обществе Гретель Карплус. И судя по той завесе молчания, которой они оба окружили это свидание, оно имело интимный и, возможно, сексуальный характер. Так или иначе, 2 октября Беньямин уже снова был в Сквобостранде — и горел еще большим нетерпением покинуть Данию, что бы ни ждало его в будущем.

В начале октября он уже готовил почву для возвращения в Париж. Беньямину не терпелось продолжить свои изыскания о пассажах, но на его пути стояли серьезные препятствия. Во-первых, необходимо было вновь ознакомиться с обширным материалом, собранным в рамках этого проекта; для этого требовалось время и относительное терпение, но лихорадочные поиски источников поддержки делали наличие того и другого проблематичным. Более того, Беньямин мог проводить свои изыскания лишь в Париже, точнее, в Национальной библиоте-

ке, но жизнь в Париже в тот момент была ему просто не по карману (см.: BS, 144). Его неопределенным финансовым перспективам нанесло еще один удар известие о том, что Институт социальных исследований — его единственный институциональный источник поддержки — переезжает в Америку. «Следствием этого вполне может стать разрыв или как минимум ослабление моих связей с его руководством. Не стану говорить, что это может означать» (BS, 144). Пытаясь как-то упрочить свою финансовую ситуацию, Беньямин послал письма Леону Пьеру-Куану и Марселю Бриону, объявляя о своей готовности заняться любыми аспектами французского литературного мира.

Беньямин покинул Данию в конце октября, намереваясь добраться до итальянской Ривьеры, где его бывшая жена открыла в Сан-Ремо маленький пансион «Вилла Верде». Брехт уже уехал в Лондон, где вместе с Хансом Эйслером работал над новым мюзиклом и где собирался вести переговоры об условиях предстоящей постановки «Святой Иоанны скотобоен» и «Круглоголовых и остроголовых». Таким образом, почти ничего не удерживало Беньямина в Дании, и полученный за несколько дней до его запланированного отъезда чек от *Frankfurter Zeitung*, которым газета расплачивалась с ним за его летнюю работу, лишь укрепил в намерении покинуть эту страну. Оставаясь в душе путешественником, Беньямин на день задержался в Антверпене, где он никогда не был, и решил, что этот город способен завладеть душой «пассажира старого судна и портового завсегдатая» (GB, 4:556).

24 или 25 октября он прибыл в Париж и поселился в очередном дешевом отеле — это был отель *Littré* в 6-м округе. Там Беньямин пробыл всего несколько дней, но успел за это время повидаться с Кракауэром, обсудив с ним его недавно законченный роман «Георг», и с Жаном Поланом, руководителем *Nouvelle Revue Française*, который дал понять, что, возможно, сумеет напечатать эссе Беньямина о Бахофене. Уже перед отбытием из Парижа Беньямин получил письмо от Хоркхаймера, которое, несомненно, потрясло его до глубины души. Хоркхаймер завел речь о возможности того, что институту удастся забрать с собой в Америку еще одного своего автора — он подчеркивал, что это маловероятно, но не невозможно, — и выплачивать ему стипендию, достаточную для проживания. Готов ли Беньямин получать такую стипендию, которая будет выплачиваться на протяжении одного года или двух лет?⁵¹ Беньямин ответил без колебаний:

51. См.: Horkheimer, *Briefwechsel 1913–1936*, 246.

«Я был бы в высшей мере признателен за возможность работать в Америке, вне зависимости от того, буду ли я заниматься исследованиями для вашего института или для института, связанного с вашим. Более того, позволю себе добавить, что заранее согласен на любые условия, которые будут для вас приемлемыми» (С, 460). К сожалению, вопрос о стипендии в итоге отпал, но Америка с этого момента всегда маячила перед Беньямином в качестве отдаленной перспективы.

По пути в Сан-Ремо Беньямин ненадолго остановился в Марселе, чтобы встретиться с Жаном Балларом, редактором *Cahiers du Sud*, и обсудить с ним возможность напечатать в его журнале эссе. К началу ноября Беньямин был в Сан-Ремо, где почувствовал, что наконец-то обрел безопасную гавань «в самом подходящем месте для зимнего сезона на Ривьере» (GB, 4:531). Этот большой город на средиземноморском побережье в Западной Лигурии стал туристическим центром еще в середине XVIII в., когда был построен первый из здешних гранд-отелей. Тобайас Смоллетт в своих «Путешествиях по Франции и Италии» 1766 г. описывает его такими словами: «Сан-Ремо — приятный немаловажный городок, удачно выстроенный на склоне плавно поднимающегося холма, где имеется гавань, способная принимать небольшие суда, немалое число коих строится на пляже; однако сколько-нибудь крупным судам приходится вставать на якорь в заливе, который отнюдь не безопасен... В этой округе не найти почти ни одного клочка ровной земли; впрочем, холмы покрыты апельсиновыми, лимонными, гранатовыми и оливковыми рощами, которые обеспечивают обширный вывоз изысканных фруктов и превосходного масла. Женщины в Сан-Ремо намного более красивы и обладают намного более хорошими манерами, чем в Провансе»⁵². Положение Сан-Ремо на склоне Приморских Альп, спускающихся прямо в море, и его необычайно стабильный микроклимат весеннего типа еще с конца XIX в. привлекали сюда многих важных персон, включая русских цариц, османских султанов и персидских шахов. Дора Софи Беньямин надеялась, что туризм, столь прочно укоренившийся в этих краях, сумеет уцелеть и в Европе, охваченной фашизмом.

За годы, прошедшие со времени ожесточенного бракоразводного процесса, отношения между Дорой и Вальтером постепенно улучшились. Пока Дора еще жила в Берлине, она активно искала для Беньямина издателей, а теперь предложила

52. Smollett, *Travels through France and Italy*, 188–189.

ему в Италии кров и пропитание, причем не в последний раз. Дора переехала в Сан-Ремо летом, временно устроившись работать на кухне отеля *Miramare*, с тем чтобы покрыть свои расходы и расходы Штефана. В июле она сообщала, что рада оказаться в Италии, где чувствует себя «здоровой и жизнерадостной впервые за долгие годы». Хотя Штефан летом сопровождал мать в Италию, он настоял на том, чтобы вернуться в свою берлинскую школу вместо того, чтобы начинать учебный год в местном *liceo* в Сан-Ремо, и, как мы уже отмечали, Дора не препятствовала ему в этом. Осенью ей удалось купить пансион «Вилла Верде» — отчасти на деньги, полученные ею при разводе, — и войти в число отельеров Сан-Ремо. Как можно себе представить, Беньямин остро осознавал двусмысленность положения, в которое он попадал, пользуясь гостеприимством Доры. В момент задумчивого самокопания он задавался вопросом:

Что мне ответить человеку, который скажет, что мне повезло получить возможность гулять, писать и предаваться размышлениям, не беспокоясь о средствах к существованию и живя среди самых прекрасных пейзажей на земле, а Сан-Ремо в самом деле исключительно красивое место? И если кто-либо еще предстанет передо мной и скажет мне в лицо, что жалок и достоин презрения тот, кто, по сути, свил гнездо на руинах собственного прошлого, вдали от всех дел, друзей и средств производства, — услышав все это, я, скорее всего, буду ввергнут в смущенное молчание (С, 465).

Оказавшись в итальянской провинции с ее относительным спокойствием и безопасностью, Беньямин возобновил свою привычку долгих прогулок; кроме того, он много читал и много писал. Благодаря стоявшей в начале декабря почти летней погоде он забирался на высокие холмы вокруг Сан-Ремо и посетил горные городки Буссана-Веккья и Таджа, славящиеся великолепными видами на Средиземное море. Окружающая местность производила на него такое воздействие, что в какой-то момент он попытался заманить в Сан-Ремо Кракауэра, во время их октябрьской встречи в Париже пребывавшего в унынии. Хотя Беньямин не мог обещать ему теплой погоды, он надеялся, что толика уюта Кракауэру не помешает: «Когда становится прохладно... можно устроиться у камина — предмета, к которому я испытываю нежную любовь и который, как вы, может быть, помните, лег в основу всей моей „Теории романа“» (ГВ, 4:538)⁵³. Да и цены здесь были несопоставимы с парижскими; по мне-

53. Беньямин имеет в виду рецензию 1933 г. *Am Kamip*.

нию Беньямина, Дора могла бы предоставить кров и Кракауэру по цене самого дешевого пансиона в городе — за 20 лир в день.

Но по мере того как продолжалась зима, к Беньямину снова вернулись чувства отчаяния и депрессии. Сама жизнь в пансионе оказалась более трудной, чем он предполагал: едва он поселился у Доры, как явились рабочие. Шум, производимый каменщиками и водопроводчиками, навевал ему воспоминания о недостроенном доме на Ибице. «Иногда я спрашиваю себя, — писал он 25 ноября Гретель Адорно, — не предназначено ли мне судьбой или звездами проводить свои дни на стройке» (BG, 124). Впрочем, невращение была самой незначительной из его проблем. Беньямин был ежедневно окружен иностранными туристами и приехавшими на воды курортниками, которых он называл тупицами, считая, что «едва ли я могу ожидать от них чего-либо стоящего» (BS, 149), но рядом не было никого, с кем бы он мог делиться идеями. Так получилось, что во всей округе единственными немцами, имеющими склонность к интеллектуальным занятиям, были Оскар Гольдберг и члены его кружка. «Я угодил прямо в логово настоящих Еврейских Магов. Ибо здесь обосновался Гольдберг, который отрядил своего ученика [Адольфа] Каспари в местные кафе, пристроил *Wirklichkeit der Hebräer* [«Еврейская реальность»] (1925), одна из главных работ Гольдберга] в местный газетный киоск, а сам — кто знает? — вероятно, проводит время в казино, где проверяет истинность своей нумерологии» (BS, 148). Слишком хорошо помня свой опыт общения с Гольдбергом в начале 1920-х гг., Беньямин избегал всяких контактов с его гостями и шел на все, чтобы только не здороваться с ними. Даже городские кафе, обычно служившие для него прибежищем в подобных ситуациях, не могли ничем ему помочь, потому что он находил их «еще более мерзкими, чем кафе в самых крохотных итальянских орлиных гнездах» (BA, 59). В Сквобстранде он был лишен элементарных возможностей для проведения изысканий; теперь же, в Сан-Ремо, интеллектуальная изоляция оказала на его работоспособность еще более катастрофическое воздействие. «Хуже всего то, — писал он Шолему к концу года, — что во мне нарастает усталость. А ее непосредственной причиной служит не столько уязвимость моего существования, сколько изоляция, в которой я то и дело оказываюсь из-за превратностей судьбы» (BS, 149).

В итоге, как и во многих других подобных случаях, его охватило отчаянное желание оказаться где угодно, но только не здесь. Беньямин все еще надеялся, что Хоркхаймер позовет его в Америку, но понимал, что это маловероятно. И когда Шолем, оставивший все надежды на то, что Беньямина удастся пре-

вратить в убежденного приверженца иудаизма, в конце ноября предложил ему совершить короткий, трех- или четырехнедельный вояж в Палестину, который можно было бы финансировать за счет чтения лекций или каким-либо подобным образом, Беньямин откликнулся с той же готовностью, с которой он ответил на вопрос Хоркхаймера о посещении Америки. В начале 1935 г., когда эти планы стали принимать более определенные очертания, Шолем предложил на выбор Беньямину весенний или зимний визит. Беньямин выбрал зимний вариант, подчеркивая, что не сможет вырваться раньше, так как опасался подвергнуть риску свои связи с институтом, вступившие в критический этап. «Как я уже писал тебе раньше, женевский институт, среди стропил которого, как ты знаешь, теряется крайне потрепанная нить моей жизни, переезжает в Америку. Поскольку мне необходимо любой ценой поддерживать личные контакты с его руководством, возможная европейская поездка одного или двух его наиболее влиятельных представителей, с которыми я там поддерживаю контакт — речь идет о директорах или как минимум членах администрации, — является событием, которое я просто не могу игнорировать» (BS, 153). Шолем воспринял это письмо как неожиданно откровенное выражение сомнений Беньямина, связанных с институтом; в любом случае ссылка на «Процесс» Кафки (упоминание о стропилах и нити) указывала на психологическую дистанцированность Беньямина от Хоркхаймера и его коллег, а также на неясность поступков и мотивов этой группы, по крайней мере в том, что касалось него (BS, 153n1).

Беньямин, как часто с ним бывало, находил убежище от своих несчастий в снах. Он рассказывал Кракауэру о сне, в котором его «ангел-хранитель» привел его к Бальзаку. «Нам пришлось долго идти прямо по сочным зеленым лугам, сквозь ясеневые и ольховые рощи; все деревья указывали в том направлении, куда я должен был идти, и, наконец, в беседке, увитой листвой и зеленью, я увидел Бальзака, который сидел за столом, курил сигару и писал один из своих романов. Его достижения при всем их величии мгновенно сделались для меня более понятными, когда я подметил неопишемую тишину, окружавшую его в этом зеленом уединении» (GB, 5:27). В начале 1920-х гг., когда Беньямин активно пытался получить университетскую должность, ему приснилось, как он встретился с Гёте в кабинете у поэта (см.: SW, 1:445–446); сейчас же, в своем собственном уединении среди зелени Сан-Ремо, Беньямин повстречал Бальзака (с сигарой, напоминавшей о Брехте), работающего примерно в тех же условиях, которые он сам находил столь продуктивными на Ибнице. Этот сон о великом произведении,

рождающемся среди тишины, красноречиво говорит об амбициях Беньямина, подрывавшихся его неспособностью найти место, которое бы «благоприятствовало если не моим взорам, то моим трудам и душевному состоянию» (GB, 4:543).

Сам пансион тоже оказался далеко не таким удобным пристанищем, как он поначалу представлял. Спасаясь от других гостей и от вечернего холода, Беньямин был вынужден ложиться в постель уже в девять вечера. Поэтому он был несколько не ограничен во времени для того, чтобы развлекаться снами. Это же относилось и к чтению. Он вернулся к своей привычке поглощать один за другим детективные романы, выбирая книги Сомерсета Моэма, неизменного Сименона, Агаты Кристи (чью «Тайну „Голубого экспресса“» он счел переоцененной) и Пьера Веры. Пожалуй, особенно удивителен был восторг, вызванный у него «Владельцем Баллантрэ» Роберта Луиса Стивенсона — книгой, которую он рекомендовал своим тогдашним корреспондентам; Беньямин ставил ее «выше почти всех великих романов, сразу за „Пармской обителью“» (С, 464). Однако он читал не только ради удовольствия. Он все еще надеялся на публикацию коротких рецензий на книги советских авторов и потому прочел сатирический роман «Золотой теленок» Ильфа и Петрова. Хоркхаймер, восхищенный обзором современной французской литературы, сделанным Беньямином, просил его прислать серию более неформальных «писем из Парижа». Хотя Беньямин сочинил первое из них только в 1937 г., эта идея послужила для него достаточным стимулом к тому, чтобы следить за авторами, которых он рецензировал (он прочел последнюю книгу Жюльена Грина «Провидец», и она его очень разочаровала), а также открывать для себя новые книги и авторов: «Комедию Шарлеруа» Пьера Дрие ла Рошеля, «Холостяков» Анри де Монтерлана и автобиографический «Дневник сорокалетнего человека» Жана Геенно.

В те дни одна книга произвела на Беньямина сильное впечатление; точнее говоря, она пробудила в нем воспоминания о покойном друге. Проживавший в изгнании немецкий историк и теолог Карл Тиме (1902–1963) прислал Беньямину экземпляр своего изданного в 1934 г. труда *Das alte Wahre: Eine Bildungsgeschichte des Abendlandes* («Старые истины: история формирования личности на Западе»), и Беньямин набросился на содержащуюся в нем критику *devotio moderna*, потому что она стала для него живым напоминанием о Флоренсе Христиане Ранге и своеобразном «мире теологического мышления», с которым тот познакомил Беньямина. С момента кончины Ранга прошло десять лет, и Беньямин по-прежнему остро осознавал значение воззре-

ний Ранга и свойственного ему ощущения, что «вся западная культура по-прежнему кормится содержанием иудео-христианского откровения и его историей» (С, 466–467). Он признавался Карлу Линферту, что не может закрывать глаза на принципиальные различия между собственной позицией и позицией Тиме — различия, явственно проступающие на каждой странице книги последнего, но тем не менее подтверждал «бесспорное значение» его работы (ГВ, 4:559).

В декабре одолевавшее Беньямина чувство изоляции развеял визит Штефана, которого он не видел почти два года. 16-летний сын показался Беньямину сдержанным, уверенным в себе и независимым. Но Беньямин сетовал на неспособность развлечь молодого человека чем-либо, кроме «серьезных» разговоров, что, возможно, являлось следствием растущей в Штефане неприязни к своему слишком часто отсутствующему отцу. Штефан намеревался вернуться в Берлин и продолжить там обучение — по крайней мере до весны, когда можно будет зарегистрироваться в итальянской школьной системе. Больше у Беньямина почти не было гостей из внешнего мира; в конце февраля приезжал Эгон Виссинг, и примерно в то же время краткий визит нанесли Фриц Радт и его жена Юла Кон, но отъезд этих дорогих друзей лишь усилил в Беньямине чувство изоляции. Ему начинало казаться, что жизнь — даже если это всего лишь жизнь в изгнании — проходит в каких-то других краях. Центром притяжения для многих его друзей становился Лондон; там по крайней мере временно обосновался Эрнст Шен, у Адорно имелась сеть контактов там и в Оксфорде, и о Лондоне же как месте жительства подумывали Юла и Фриц Радт. Мысли Беньямина часто обращались к Ибице, «контуры [которой] так глубоко отпечатались во мне», и к тамошнему маленькому сообществу. Он был опечален, узнав о внезапной смерти юного Жан-Жака Неггерата от тифа; Альфред Кон сообщал, что его кончину оплакивал весь остров. Как Беньямин писал Кону, эта смерть произвела на него большее впечатление, чем можно было бы ожидать с учетом довольно случайного характера их знакомства, ибо «так случилось, что нить его жизни пересеклась с узлом моей жизни» (С, 465). Регулярное обращение Беньямина к метафоре «нить жизни» свидетельствовало о его все более фаталистическом отношении к своему собственному существованию, хотя можно сказать, что ему всегда было свойственно ощущение своего предназначения. Разумеется, Беньямин был не единственным страдальцем из представителей своего окружения. Шен впадал в отчаяние из-за неспособности найти постоянную работу; Адорно сообщал, что пребывает в «ужасном» состоянии.

А в письмах Гретель Карплус, обычно поднимавших Беньямину настроение, отражались проблемы, возникшие в ее отношениях с Адорно. Нездоровая и несчастная, она просила Адорно приехать в Берлин и откровенно обсудить их совместное будущее.

Невзирая на неизменную угрозу психологического ступора и даже кататонического паралича — в письме Шолему Беньямин говорит о «дымном мареве едва ли не постоянно приступа депрессии», — он продолжал писать и даже получал заказы от французской и немецкой эмигрантской прессы (см.: BS, 154). Многие из этих начинаний представляли собой неизбежное зло. Благодаря щедрости Доры стоимость жизни в Сан-Ремо была для него, разумеется, почти нулевой, но он знал, что не сможет оставаться там вечно, даже если бы хотел этого. В конце января Беньямин получил от института чек на щедрую сумму 700 франков, а в феврале — еще 500 франков, что позволило ему накопить скромный резерв на несколько месяцев жизни после отъезда из Сан-Ремо. И тот, и другой платеж он считал гонораром за свое эссе о социологии языка. По этой причине он по-прежнему писал маленькие тексты, не занимаясь крупными проектами, к которым мечтал вернуться. Как он сообщал Альфреду Кону (занимавшемуся бизнесом в Барселоне), «я ограничиваюсь тем, что клепаю один текст за другим, не слишком торопясь и в полукустарной манере» (С, 476). В январе Беньямин закончил свою первую пространную работу на французском — эссе о Иоганне Якобе Бахофене, которое с подачи Жана Полана писал для *Nouvelle Revue Française* (опубликовано в SW, 3:11–24; MB, 293–312). Все еще не питая абсолютной уверенности в своем французском, в начале февраля он отправился в Ниццу, чтобы обсудить предпоследнюю версию этого текста с Марселем Брионом. Цель эссе заключалась в том, чтобы познакомить французскую общественность с малоизвестной в то время во Франции фигурой — ученым XIX в., чьи изыскания в сфере древней погребальной символики привели к открытию доисторического «матриархата», дионисийской гинекократии, в которой смерть служила ключом ко всякому знанию и в которой образ являлся «посланием из страны мертвых». Беньямин с давних пор интересовался Бахофеном; этот интерес проснулся в нем в его студенческие дни в Мюнхене, когда он впервые вошел в контакт с кружком Людвиг Клагеса. Весной эссе в итоге было отвергнуто редакцией *Nouvelle Revue Française*. Хотя Жан Полан отправил его для рассмотрения в престижный журнал *Mercure de France* («Французский Меркурий»), при жизни Беньямина оно так и не было издано, несмотря на то что в 1940 г. дружившая с Беньями-

ном хозяйка книжного магазина Адриенна Монье предложила напечатать его в своей *Gazette des amis des livres* («Вестник друзей книги»). Аналогичная участь постигла и другую заказную статью, над которой Беньямин трудился в начале 1935 г.: рецензию на «Трехгрошовый роман» Брехта. Этот роман неожиданно захватил Беньямина, писавшего всем друзьям с требованием прочесть его и просившего их сообщать ему все, что им известно о том, как этот роман был принят. Собственно говоря, Беньямин уже нашел издателя для этой рецензии, но ее публикации помешали его натянутые отношения с Клаусом Манном. После того как Беньямин написал Манну, требуя, чтобы за эту публикацию в издававшемся в Амстердаме журнале *Die Sammlung* ему заплатили 250 французских франков, а не 150, как предлагал Манн, тот вернул ему рукопись на 12 страницах без всяких комментариев, хотя рецензия уже пошла в набор. «Конечно же, я бы проглотил наглость Манна, если бы предвидел результат», — писал Беньямин Брехту и добавлял, видоизменив строчку из «Песни о тщете человеческих усилий» из его «Трехгрошовой оперы»: «Запас ума оказался во мне скуден» (С, 484). Узнав о неприятности, постигшей Беньямина, Вернер Крафт счел себя обязанным преподать ему урок политики в среде изгнанников: «Возможно, вам стоило бы учитывать следующее: в будущем следует всегда заранее смириться с меньшей суммой, поскольку даже более крупная так мала, что разница едва ли имеет значение, когда речь идет о выживании». Крафт разделял, специально подчеркивая это, его мнение о том, что подобные журналы держат своих авторов в рабстве, делая это «из здорового классового инстинкта» (цит. по: GB, 5:92n). Третье беллетристическое начинание, которым Беньямин занимался в то время, эссе об Андре Жиде под названием «Письмо из Парижа», заказанное только что основанным московским органом Народного фронта *Das Wort* («Слово»), в итоге вышло в ноябре 1936 г. Редколлегия журнала (в состав которой входил и Брехт) заказала Беньямину и следующую работу из этой серии, посвященную живописи и фотографии, но та так и не была напечатана. По иронии судьбы именно эта публикация в *Das Wort* впоследствии послужила основанием для официального лишения Беньямина гражданства, осуществленного в феврале 1939 г. по требованию гестапо.

Помимо работы над этими заказными статьями Беньямин пересматривал и дополнял эссе о Кафке, в декабре напечатанное в сокращенном виде в *Jüdische Rundschau*. Беньямин занялся очередной переделкой этого эссе с необычайным энтузиазмом, который подстегивала перспектива издать полноценную книгу

о Кафке у Шокена. Свою роль здесь сыграли и другие факторы. После того как был дописан окончательный вариант «Франца Кафки», вышел первый том собрания сочинений Кафки. Кроме того, Беньямин получил обширный, очень позитивный отзыв на свое эссе от Адорно, по его прочтении поспешившего выразить «незамедлительное и, более того, громадное чувство благодарности». «Наше согласие в том, что касается философских основ, — далее писал Адорно, — никогда не представляло перед моим сознанием более четко, чем здесь» (ВА, 66). По сути, Адорно оказался идеальным первым читателем эссе. Он понимал попытку Беньямина извлечь из иносказаний Кафки то, что сам он называл «теологией „наизнанку“»; он понимал имманентность мифа и архаичного по отношению к структуре современности; и он лучше других (Шолема, Крафта или Брехта) понимал аллегорическую функцию «почерка» — письма, графического представления языка, текста — в эссе Беньямина. В начале 1935 г. Беньямин существенно переписал и расширил вторую часть эссе и планировал еще более серьезно переделать четвертую и последнюю части. Но договор с Шокеном так и не состоялся, и результатом этих замыслов стала лишь серия любопытнейших дополнений⁵⁴. По предложению Вернера Крафта Беньямин послал рукопись всего эссе французскому критику Шарлю Дюбо в надежде, что он предложит ее какому-нибудь французскому издателю, но и эта попытка тоже окончилась ничем.

На протяжении месяцев, проведенных в Сан-Ремо, Беньямин продолжал работать над более короткими текстами. Почетное место среди них занимало никак не отпускаящее его «Берлинское детство на рубеже веков». Беньямин сочинил предварительный черновик главки под названием «Цвета» и дописал еще одну главку, которая называлась «Галленские ворота» и в итоге превратилась в «Зимний вечер». Кроме того, Беньямин закончил два из своих самых прелестных рассказов. В начале декабря во *Frankfurter Zeitung* был напечатан рассказ «До минуты». В этом полуавтобиографическом тексте описывается беспокойство, которое испытывает человек, выступающий перед студийным микрофоном и обращающийся к живой аудитории: оратор теряет всякое чувство времени, его охватывает паника при мысли, что не получится уложиться в отведенный срок, он поспешно закругляется... и выясняется, что у него осталось еще несколько минут эфирного времени, а сказать ему боль-

54. Заметки Беньямина к предполагаемой новой редакции эссе о Кафке опубликованы в: GS, 2:1248–1264.

ше нечего. А в марте во *Frankfurter Zeitung* вышел (под псевдонимом, как и рассказ «До минуты») рассказ «Разговор над Корсо», представлявший собой художественное изложение некоторых переживаний Беньямина, включая отдельные моменты его пребывания на Ибнице и впечатления от традиционного карнавала в Ницце, на котором Беньямин побывал в конце февраля 1935 г. (найдя его «намного более симпатичным, чем говорят снобы»; ГВ, 5:57–58). Все эти эпизоды, собранные в рассказе, переплетаются с размышлениями о культурных явлениях, связанных с такими «исключительными состояниями», как карнавал. Несмотря на самоуничижительные комментарии, содержащиеся в письмах Беньямина (он сравнивал «Разговор» с одним из «тех снимков борцов, застывших в живописных позах»; ВА, 77), этот рассказ обращает на себя внимание тем мастерством, с которым случайные наблюдения сочетаются в нем с глубокими раздумьями, что вообще характерно для короткой прозы Беньямина⁵⁵.

Письмо Адорно об эссе о Кафке напомнило Беньямину о том, над чем он действительно хотел работать: об исследовании о парижских пассажах. После их бесед, проходивших в конце 1920-х гг. в горах Таунус, Адорно превратился в защитника этого проекта перед самим Беньямином. 6 ноября 1934 г. Адорно отправил ему примечательное письмо, представлявшее собой совместную заявку на территорию, которую Беньямин застолбил для себя одного, и даже содержавшее указания на то, какие подходы стоит испробовать, а каких следует избегать:

Ваши слова о том, что вы прекращаете заниматься эссеистикой и наконец возвращаетесь к пассажам, по сути, стали самой светлой новостью, какую я получал от вас за много лет. Вам отлично известно, что я действительно считаю эту работу составной частью того вклада, который нам суждено внести в *prima philosophia*, и что нет ничего, чего я желал бы сильнее, чем видеть, что после всех этих долгих и мучительных колебаний вы наконец нашли в себе силы довести это дело до завершения, которое бы действительно оправдывало грандиозность затронутой вами темы. И если бы я мог вложить в этот труд какие-либо собственные ожидания так, чтобы вы не сочли это нескромным предложением, то они будут следующими: эту работу следует без всяких колебаний довести до полной реализации всего ее теологического содержания и ее самых смелых претензий во всей их буквальности, всего, что изначально было в нее заложено (иными словами, без всяких колебаний относительно каких-либо возражений, вытекающих из того брехтовского атеизма, который, возможно,

55. *Auf die Minute* см. в: GS, 4:761–763; «Разговор над Корсо» (в переводе на английский) см. в: SW, 3:25–31.

нам когда-нибудь придется спасать в качестве своего рода теологии наоборот, но который мы, безусловно, не должны дублировать!); более того, избранный вами самими подход требует, чтобы вы решительно воздерживались от попыток каким-либо внешним образом увязать ваши мысли с социальной теорией. Ведь мне действительно кажется, что здесь, где речь идет об абсолютнейшим образом решающих и принципиальных вопросах, нужно говорить громко и ясно и тем самым раскрыть все ту же категориальную глубину вопроса, не пренебрегая теологией; а затем на этом решающем уровне нам будет, как мне кажется, тем проще воспользоваться теорией Маркса именно потому, что никто нас не вынуждал внешне обращаться к ней на подобострастный манер: «эстетический» аспект будет здесь способен вмещаться в реальность несоизмеримо более глубоким и революционным образом, чем это в состоянии сделать классовая теория, понимаемая как своего рода “*deus ex machina*”. Поэтому мне представляется обязательным, чтобы именно самые отдаленные темы — тема «вечно того же самого» и тема преисподней — были выражены не менее сильно и чтобы концепция «диалектического образа» была раскрыта с максимально возможной ясностью. Никто отчетливее меня не осознает, что каждое отдельное предложение здесь заряжено и должно быть заряжено политическим динамитом; но чем глубже этот динамит закопан, тем большей будет сила его взрыва. Я бы не осмелился давать вам «советы» по этим вопросам — я всего лишь пытаюсь уберечь вас в качестве почти что представителя ваших собственных намерений от определенной тирании, которую, как вы однажды сделали в случае Крауса, нужно только назвать таковой, чтобы избавиться от нее (ВА, 53–54).

Это активное содействие, пусть даже скрывающее в себе непрощеную претензию на соучастие, сразу же прозвучало для Беньямина поощрительным сигналом. Однако в последующие годы все более диктаторское отношение Адорно в отношении того, что можно и чего нельзя говорить о пассажах, намного более пагубным образом сказалось на самой работе и на том, как она была принята, не говоря уже об умонастроениях Беньямина.

Тогда, в декабре 1934 г., Адорно, прочитав эссе о Кафке, разглядел контуры пассажей, маячившие на его заднем плане. Он ухватился за проводившееся Беньямином в этом эссе различие между концепциями «исторической эпохи» (*Zeitalter*) и монументальной «мировой эпохи» (*Weltalter*), требуя, чтобы в исследовании о пассажах Беньямин обратился к ключевой организующей исторической концепции — взаимоотношениям между «праисторией и современностью». «Для нас концепция исторической эпохи просто не существует... и мы можем понять мировую эпоху только как экстраполяцию, выведенную из буквально окаменевшего настоящего» (ВА, 68). Это сделан-

ное Адорно напоминание о ключевой роли философии истории в дальнейшем оказало глубокое влияние на труды Бенямина, когда в 1935 г. он вернулся к исследованию о пассажах. Если первый этап этого проекта, приходившийся на 1927–1930 гг., в основном сводился к всевозможным заметкам и наброскам, отражавшим влияние сюрреализма и того, что можно назвать «социальным психоанализом» с акцентом на идее «спящего коллектива», то в начале 1934 г., вновь принявшись за этот проект, Бенямин стал в большей степени ориентироваться на социологию и историю, побуждаемый к этому замыслом большого эссе о бароне Османе и предпринятой им крупномасштабной перестройки Парижа, включавшей снос многих старых кварталов и многих пассажей. Письмо Адорно укрепило его мнение о том, что история Парижа в XIX в. сама по себе являлась зарождавшимся «историческим объектом», за которым стояло продолжавшееся идеологическое строительство или, как выражался Адорно, который представлял собой «экстраполяцию, выведенную из буквального окаменевшего настоящего». Задача, которую поставил себе Бенямин, заключалась в том, чтобы раскрыть те аспекты «праистории», которые были погребены и искажены традиционной историографией; предполагалось, что итогом этих многогранных раскопок станет создание контр-истории. Тогда в Сан-Ремо Бенямин начал просматривать заметки, сделанные на первом этапе проекта, с точки зрения этой новой перспективы. Вернувшись весной в Париж, он вплотную взялся за обширные изыскания, связанные с пассажами. Впрочем, он понимал, что серьезная работа над этим проектом станет возможна лишь при наличии крупномасштабной поддержки со стороны института. А институту нужно было издавать журнал. К концу пребывания Бенямина в Италии все более безотлагательной становилась работа над эссе об Эдуарде Фуксе, которую Хоркхаймер «срочно требовал» для *Zeitschrift*. Это было задание во всех смыслах слова, от которого Бенямин уже долго уклонялся при помощи «хитроумных отговорок». Однако, как он признавался в феврале Шолему, продолжать увливать было нельзя.

Адорно был не единственным другом Бенямина, с которым он боролся за интеллектуальное превосходство. Свою новую книгу «Наследие нашей эпохи» только что издал Эрнст Блох, и до Бенямина доходили слухи о том, что Блох ссылался на него и на его творчество как на одну из составных частей модернистского пейзажа 1920-х гг. Собственно говоря, Бенямин намеревался восстановить отношения с Блохом, которого он не видел с момента бегства из Берлина и который, по его

мнению, уже многие годы нередко «воровал» у него идеи. Еще до того как Беньямин достал экземпляр новой книги Блоха, он написал черновик профилактического письма своему старому другу (это одно из всего двух уцелевших писем Беньямина Блоху), в котором предлагал встретиться и уладить все недоразумения. «Я полагаю, что с момента нашего последнего разговора было пролито уже достаточно крови и слез для того, чтобы мы смогли продолжить обмен идеями, который мог бы подбросить материала нам обоим. А теперь перехожу ко второму пункту: если мы можем сказать друг другу что-то новое, это не означает, что мы вправе забыть старое» (GB, 4:554). Оставшаяся часть письма занимает объяснение, судя по всему, адресованное не только Блоху, но и самому Беньямину, его необычайной чувствительности к восприятию его творчества Блохом. Каким бы оборонительным ни был тон этого письма, оно тем не менее ясно показывало, что Беньямин изо всех сил стремится не допустить, чтобы их взаимоотношения пали жертвой спекуляций и слухов.

После того как Беньямин в середине января наконец прочел книгу Блоха, он поделился своей откровенно пренебрежительной, но в то же время сдержанной и тонкой оценкой этого труда с Кракауэром, призывая последнего к конфиденциальности в этом деле, поскольку «Блох, возможно, уже прибыл в Париж» (GB, 5:27). Сравнив книгу Блоха с «величественным раскатом грома, которому предшествуют мимолетные предвестья, подобные молнии», Беньямин пишет, что этот гром порождает собственные «неподдельные отголоски», которые разносятся в «пустоте». Здесь он ссылается на ключевую концепцию книги Блоха — концепцию «искр в пустоте [*Hohlraum*]», к чему якобы сводится и, видимо, еще долго будет сводиться «наше состояние»⁵⁶. Утверждается, что литературной формой, уместной в таких обстоятельствах, является монтаж, взятый на вооружение в 1920-е гг. во всех видах искусства. Монтаж, или «философский монтаж», представляет собой метод этой книги и ее главную тему. «В настоящее время, — пишет Блох в разделе, посвященном «театру монтажа», — не существует ничего, кроме трещин, сдвигов... руин, пересечений и пустоты». «У поздней буржуазии монтаж — пустота ее мира, заполненная искра-

56. Первое издание книги Блоха *Erbschaft dieser Zeit* (Zurich, 1935) вышло в конце 1934 г. Дополненный вариант, вышедший в 1962 г., был издан на английском под названием *Heritage of Our Times*. Здесь цитируется это издание (р. 8, 221, 207–208, 339, 346). Критические замечания Адорно о книге Блоха (из утраченного письма 1935 г.) см. в: VG, 129–130, 134.

ми и пересечениями „истории внешнего облика“». Ход этой неброской истории с ее «взаимным наложением исторических лиц» приводит Блоха к «иероглифам XIX века», и, в частности, именно здесь читатель встречается с целым набором беньяминовских мотивов, включая торговлю вразнос, газовое освещение, всемирные выставки, плюшевую мебель, детективный роман, югендстиль и т. д. Блох не только блестяще использует то, что в своей рецензии 1928 г. на «Улицу с односторонним движением» называет «философией в форме ревью», но и со знанием дела заимствует из исследования о пассажах (не без великодушной ссылки на Беньямина) его тематику и совокупность используемых в нем методов, о которых он мог получить представление в ходе берлинских бесед конца 1920-х гг. и всевозможные отголоски которых имеющий уши мог расслышать в фельетонах Беньямина. В свою очередь, Беньямин считал, что тому, как Блох подает его материал, не хватает «сконцентрированности» — того самого заряда, который будет найден в «Пассажах» после их издания.

Вместо четкого раскрытия поставленной темы мы снова видим старую философскую процедуру, состоящую в том, что автор «занимает позицию» по всем уже отжившим свое вопросам. Тема была достаточно очевидна, и в главах, посвященных неодновременности, она время от времени освещается с большой точностью... Предметы, о которых здесь идет речь, не поддаются исправлению и починке в пустом пространстве: они требуют форума. Я усматриваю большую слабость этой книги в том, что она избегает этого форума, а соответственно, и судебных улик, виднейшим примером которых является *corpus delicti* выхолощенной германской интеллигенции. Если бы усилия автора увенчались успехом, его книга стала бы одной из самых важных из написанных за последние тридцать или даже сто лет (ГВ, 5:28).

Беньямин был менее сдержан — и еще более ироничен — в своем отзыве об этой книге, помещенном в письме Альфреду Кону от 6 февраля. Наряду с нарочитым калейдоскопическим стилем книги он не одобряет «чрезмерных притязаний» ее автора:

Она ни в коем случае не соответствует тем обстоятельствам, в которых была написана. Напротив, она так же неуместна, как щеголь, который, прибыв с инспекционной целью в район, разрушенный землетрясением, не нашел ничего более неотложного, как немедленно расстелить персидские ковры, привезенные его слугами и, между прочим, уже несколько поеденные молью, расставить на них уже несколько потускневшие золотые и серебряные сосуды и облачиться в уже несколько потускневшие одеяния из парчи и дамаста. Блох, очевидно, имел самые похвальные на-

мерения и высказывает ценные мысли. Но он не в состоянии продуманно распорядиться ими так, чтобы они заработали... В такой ситуации — среди руин — щеголю ничего не остается, как пустить свои персидские ковры на одеяла, нашить из парчи плащей и отдать роскошные сосуды в переплавку (С, 478).

Пытаясь побороть уныние, одолевавшее Беньямина в Сан-Ре-мо, он взял себе за правило как можно чаще ездить в соседнюю Ниццу. «Не то что бы там у меня было много знакомых, но все же один-два найдутся. А в придачу к ним — пристойные кафе, книжные лавки, газетные киоски с хорошим ассортиментом: короче говоря, все то, что абсолютно невозможно найти здесь. Помимо этого, я пополняю там свой запас детективных романов. А мне их нужно много, поскольку ночь для меня обычно начинается здесь примерно в полдевятого» (С, 477). В число тех, с кем Беньямин мог встречаться в Ницце, входил его друг Марсель Брион (1895–1984), французский романист и критик, связанный с литературным журналом *Cahiers du Sud*. Брион рецензировал книгу Беньямина о немецкой барочной драме сразу после ее выхода в 1928 г., и в основном именно с его подачи в январском номере *Cahiers du Sud* за 1935 г. был напечатан «Гашиш в Марселе» Беньямина, для чего Бриону пришлось изрядно потрудиться над неуверенным языком перевода на французский, сделанного Блаупот тен Кате. Его последующие попытки организовать перевод эссе Беньямина «Марсель» остались бесплодными, хотя Брион продолжал теми или иными способами пропагандировать творчество Беньямина.

К концу февраля Беньямин был вынужден покинуть свое «пристанище в Сан-Ре-мо» (С, 480), где он планировал пробыть до мая, из-за неожиданного прибытия бывшей тещи. Месяцы, проведенные в Сан-Ре-мо, дались Беньямину не легче, чем проживание в Свеннборге. Незадолго до отъезда он послал Гретель Адорно весьма мрачный итоговый отчет:

Моя дорогая Фелицитас, поскольку ты так часто слышишь от меня о моих материальных затруднениях, было бы понятно — и, может быть, даже желательно, — если бы ты полагала, что «в остальных отношениях» у меня все хорошо. Я бы поступил по-дружески, если бы не стал опровергать это предположение. В то же время бывают моменты, когда молчание становится ядом, и, поскольку я вынужден говорить, по крайней мере в той мере, в какой мне хватит голоса, ты тоже услышишь это и не пожелаешь уклоняться от этого знания. Я провожу часы и дни в сильнейших мучениях — кажется, ничего подобного мне не доводилось испытывать уже многие годы. Это не те страдания, которые выпадают человеку, довольному жизнью, — мои

страдания полны горечи, утекающей в пустоту и подпитываемой пустяками. Мне совершенно ясно, что решающей причиной служит мое положение здесь, моя невообразимая изоляция. Я отрезан не только от людей, но и от книг, а в конечном счете — когда погода совсем ухудшается — и от природы. Каждый вечер я ложусь в постель еще до девяти, каждый день хожу по одним и тем же местам, заранее зная, что никого не встречу, каждый день предаюсь одним и тем же унылым размышлениям о будущем: в этих обстоятельствах даже самый крепкий душевный склад, обладателем которого я всегда считал себя, в итоге не может не обернуться тяжелым кризисом. Самое странное при этом, что условия, которые в наибольшей степени должны были меня укрепить — я имею в виду свою работу, — лишь усилили кризис. Я закончил две крупные работы — «Бахофена» и рецензию на роман Бертольда, а мое внутреннее бремя ничуть не уменьшилось. И тут ничего не поделаешь; так или иначе мое пребывание здесь на днях завершится (сюда приезжает моя бывшая теща), но я не могу даже радоваться этому. Есть лишь одно, что может помочь: наше свидание. Если бы я только мог без условно рассчитывать на это! (BG, 132).

Несомненно, самым коварным из многочисленных несчастий Бенямина было опасение, что его работа больше не сможет поддерживать его на плаву. 22 февраля он писал Шолему как своему архивисту, сетуя на «нынешний отрезок истории и течение моей жизни, из-за которых составление полного собрания моих бесконечно рассеянных трудов становится более сомнительным, если не сказать прямо — более маловероятным, чем когда-либо прежде» (BS, 153). И он не видел этому конца; не недооценивая устойчивости гитлеровского режима, он в то же время недооценивал его жестокость⁵⁷. Отмечая поразительную стабилизацию положения в Германии после расправы над Ремом, в письме Альфреду Кону он предсказывал, что в стране может установиться что-то вроде режима Брюнинга, при котором управление государством производится при помощи чрезвычайных указов, а про парламент никто не вспоминает (см.: С, 476). Сам Брюнинг, занимавший должность канцлера с 1930 по 1932 г., называл свой режим «авторитарной демократией». Тот, кто заводил речь о чем-то подобном в начале 1935 г., несомненно, недооценивал те меры, посредством которых нацисты установили контроль над Германией, и фактически закрывал глаза на разворачивавшийся там крупномасштабный террор.

57. Об этом свидетельствует написанный примерно в августе 1934 г. фрагмент «Гитлеру не хватает мужественности» (SW, 2:792–793), в котором за шесть лет до выхода фильма Чаплина «Великий диктатор» Гитлер сравнивается с «женственным обликом маленького бродяги».

Глава 9

Парижские пассажи: Париж, Сан-Ремо и Сковсбостранд. 1935–1937

ПЕРВЫЕ два года изгнания привнесли в жизнь Бенъямина невыразимый хаос, как и в жизнь практически каждого немецкого изгнанника. Однако 1935–1937 гг. стали временем определенной непрочной стабильности. В эти годы постепенно выросла стипендия, которую Бенъямин получал от Института социальных исследований, а сам он был уверен в получении регулярных заказов от *Zeitschrift für Sozialforschung*, которые дополнялись иной, более случайной журналистской работой; в то же время незначительно улучшилось и его положение на парижской интеллектуальной сцене. Из этого не следует, что жизнь в изгнании стала легче и что на горизонте наметился какой-то просвет, но все же ужасы прошедших лет сменились несколько более предсказуемой ситуацией. В этих обстоятельствах Бенъямин мог более серьезно задуматься о своем главном труде. Исследование о пассажирах продвинулось далеко вперед благодаря тому, что у Бенъямина впервые появилась возможность представить плоды своих изысканий в компактном виде: в течение 1935 г. он составил то, что называл синопсисом данного проекта, отражавшим его текущее состояние. Чтобы составить этот проспект, Бенъямин вновь изучил обширные материалы, накопленные за предыдущие семь лет, и на этой основе пересмотрел теоретический каркас проекта. В результате на свет появился лаконичный текст, известный под названием «Париж, столица XIX столетия». Итогом этой обзорной работы с материалом стало еще одно эссе — «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости». Этот труд был задуман и написан в качестве современного приложения к «Пассажам», а содержащийся в нем анализ кинокультуры дополнял исследование состояния изобразительного искусства в середине XIX в., предпринятое в рамках проекта в целом. Кроме того, в 1935–1939 гг. Вальтер Бенъямин создал одну из самых убедительных теорий современности, выдержавшую испытание временем; начало этой ра-

боте было положено на протяжении девяти месяцев с мая 1935 г. по февраль 1936 г.

Впрочем, в первые дни 1935 г. главным для Беньямина стало бегство от бывшей тещи, собиравшейся приехать в Сан-Ремо. Беньямин поспешно перебрался из скромного пансиона Доры в более роскошный отель «Марсель» в Монако, где ему случалось останавливаться в прежние годы, когда, по его словам, он «все еще был членом правящего класса» (GB, 5:68). О чем Беньямин умалчивает и здесь, и где бы то ни было еще, а если и раскрывает, то лишь иносказательным образом (папка О из проекта «Пассажи»), так это о причине, привлекавшей его в Монако: здешнем казино. Письмо от его сестры, отправленное в марте 1935 г. явно в ответ на отчаянную просьбу о помощи, содержит первое открытое упоминание о мании, издавна преследовавшей Беньямина и ставшей причиной того, что отныне его обращения за поддержкой к тем, кто хорошо знал его, не будут услышаны. Дора Беньямин объявляла о своем нежелании оказывать помощь брату, поскольку была уверена, что он снова проиграет все свои деньги. А Дора Софи, его бывшая жена, в майском письме сообщала ему о дошедших до нее слухах о том, что в казино Монако он проиграл «крупную сумму» в рулетку¹. Шолем в своих мемуарах тоже лаконично отмечает, что часто не был готов помогать Беньямину по той же причине. Таким образом, отчаянные мольбы, которыми наполнены многие письма Беньямина, сочиненные им в изгнании, следует воспринимать именно в этом контексте, не делаящем ему честь: сравнивая приводимые им цифры расходов на жизнь с цифрами, сообщаемыми другими изгнанниками, приходишь к заключению, что он порой сильно преувеличивал, чтобы раздобыть средства на игру и на женщин. Например, в то время, когда Беньямин просил у сестры денег, он ежемесячно получал по 500 франков от Института социальных исследований (100 франков в швейцарских деньгах), плюс плату за берлинскую квартиру, плюс небольшие гонорары за свои произведения. При этом его сестра зарабатывала 250 франков в месяц, работая няней, и к этой сумме прибавлялось еще немного, когда ей удавалось сдать часть своей маленькой квартиры. Но, несмотря на это маниакальное прожигание жизни в парижском полусвете, едва ли мы вправе усомниться в том, каким ужасом было

1. Дора Беньямин Вальтеру Беньямину, 28 марта 1935 г. (Walter Benjamin Archiv 015: Dora Benjamin 1935–1937, 1935/3); Дора Софи Беньямин Вальтеру Беньямину, 29 мая 1935 г. (Walter Benjamin Archiv 017: Dora Sophie Benjamin 1933–1936, 1935/5).

для Беньямина существование в изгнании. В любом случае сама неприглядность этих аспектов его жизни, пожалуй, служит наилучшим показателем его отчаяния. Чтобы взглянуть на его поведение его же глазами, имеет смысл ознакомиться с портретом азартного игрока и его опьяненным восприятием времени и пространства, приведенными в «Пассажах»:

Это опьянение обусловлено странной способностью азартной игры провоцировать присутствие духа посредством того факта, что она стремительно раскрывает одно за другим сочетания, абсолютно независимые друг от друга, которые всякий раз вызывают совершенно новую, оригинальную реакцию со стороны игрока... Человек суеверный высматривает знаки, игрок реагирует на них еще до того, как они могут быть замечены (АР, О12а,2; О13,1).

Кроме того, следует помнить, что Беньямин считал себя экзистенциальным игроком, исходя при этом из осознания того, что у истины нет фундамента и цели, а существование — всего лишь «ткань без основы». Игорный стол имел для него онтологическое значение в качестве образа мировой игры.

Разумеется, Беньямин прекрасно понимал, что едва ли он может себе позволить надолго задержаться в Монако, «где последние 40 или 50 состояний мира демонстрируют себя друг другу на своих яхтах и в „роллс-ройсах“, и все, что у меня есть с ними общего, — нависшие над этим местом мрачные штормовые тучи» (ВА, 78), и он сразу же стал задумываться над тем, куда ему отправиться дальше. Будучи лишен тех скромных дополнительных доходов, которые прежде позволяли ему путешествовать, теперь Беньямин был ограничен в своих перемещениях местами, где он мог существовать на одну лишь стипендию, получаемую от института. Самым простым вариантом было бы немедленно вернуться в Париж, невзирая на его дороговизну, потому что в мае он в любом случае должен был встретиться там с институтской делегацией. Однако он колебался, в первую очередь потому, что не мог рассчитывать на доступное по цене жилье — квартиру сестры. «Квартира» Доры Беньямин на вилле «Робер Линде» по сути представляла собой одну большую комнату, куда ей по утрам приводили пятерых соседских детей, за которыми она присматривала, чтобы свести концы с концами; для Беньямина там просто не было места. Но еще он колебался, потому что в ближайшие недели очень хотел встретиться с Гретель Карплус и Адорно где-нибудь на юге Франции. Временным решением был бы переезд в Барселону, где Беньямин мог бы проводить время в обществе Альфреда Кона. Ответ Кона на вопрос Беньямина, можно ли прожить в Барселоне

на 100 швейцарских франков в месяц, проливает любопытный свет на условия, в которых были вынуждены существовать изгнанники:

На 100 швейцарских франков прожить, конечно, можно, хотя в этом случае денег не останется почти ни на что, кроме питания и жилья, если поселиться в пансионе. Пансионы здесь, конечно, есть — испанские, за 150 песет (хотя таких предложений мало), если брать комнату внутри дома, выходящую в так называемую вентиляционную шахту. Весной это еще терпимо. Думаю, для тебя будет более практично просто снять комнату, которая стоит 50 песет и при этом вполне комфортабельна. Завтрак тебе будут приносить, обедать можно в приемлемом кошере ресторане за 2 песеты, что, вероятно, будет дешевле всего и вполне сытно. Продукты для ужина, возможно, ты сможешь покупать сам, что дает следующий бюджет (100 швейцарских франков = 238 песет):

Комната	50 со стиркой
Завтрак	18
Обед	60
Ужин	60, по желанию!
Фрукты в течение дня и кофе после обеда	

188, что дает остаток в 50 песет
на прочие расходы (G B, 5:52n)

Беньямин, одолеваемый нерешительностью, в итоге никуда не поехал и еще полтора месяца пробыл в Монако, почти не работая, ведя переписку и часто выбираясь в окружающие невысокие горы. Вскоре к нему присоединился Эгон Виссинг, приехавший в Монако со своими невзгодами и вверивший свою участь в руки кузена. «И как бы невероятно это ни звучало, — писал Беньямин Гретель Карплус, — уже больше двух недель мы оба живем на мои жалкие средства, что, очевидно, удалось лишь за счет такого скромного существования, какого я никогда не вел раньше. Да, эту неделю мы будем помнить долго (и кто знает, сколько таких же недель еще ждет впереди)». Необходимость содержать второго безденежного изгнанника привела к тому, что Беньямин не мог расплатиться по счету в отеле. «Погода прекрасная. Если утром или после полудня отправиться на прогулку, то можно дойти до места, где ты какое-то мгновение ощущаешь радость от того, что все еще жив, несмотря ни на что. Однако на обратном пути тебе часто не хватает смелости, чтобы переступить порог неоплаченного отеля, где тебя приветствует физиономия хозяина, которая тем более не оплачена и, в сущности, не может быть оплаченной». Он просит Гретель возобновить ее попытки, какими бы они ни казались незна-

дежными в тот момент, обеспечить ему финансовую поддержку, поскольку «тому, кто, подобно мне, испытывает обоснованный страх перед лицом реальности, остается лишь посвятить свои силы выдвиганию смелых надежд» (ВГ, 141–142).

В число сохранившихся писем Беньямина тех лет входит и копия его письма своей латышской возлюбленной Асе Лацис, которую он не видел с 1929 г. и которая в начале года писала ему, сообщая, что ее продолжительные попытки найти ему работу в Москве ни к чему не привели. В письме Беньямина, сочиненном им вскоре после вынужденного отъезда из Сан-Ремо, звучит нотка очень своеобразной благодарности: «С учетом того жалкого состояния, в котором я пребываю, людям доставляет удовольствие пробуждать во мне дешевые надежды. Тем самым ты становишься таким же болезненно чувствительным к надежде, как человек, страдающий ревматизмом, чувствителен к воспалениям. Мне *очень приятно* иметь среди своих знакомых ту, кто в таких обстоятельствах не обещает никакой надежды — пусть даже по той причине, что ей просто лень написать письмо. Следовательно, это лицо — ты, и потому ты по-прежнему стоишь на одной из немногих возвышенностей, все еще оставшихся в моей достаточно затопленной „душе“. Поэтому то, что ты мне не писала, значит для меня почти так же много, как твой голос, если бы я снова смог его услышать после всех этих лет» (ГВ, 5:54). В конце письма Беньямин небрежно упоминает, что уже не живет со своей женой — «в конце концов это оказалось слишком тяжело» — и, сообщив Асе адрес, по которому она может писать ему в Париж, добавляет фразу, восходящую к «Московскому дневнику», сохранившему впечатления от его визита в Советский Союз: «Мне хочется увидеть тебя, прямо сейчас, в твоей оленьей шубе, и сопровождать ее по московским улицам» (ГВ, 5:55). Кроме того, он сообщает Асе, что в Москве скоро окажется Виссинг, питавший надежду на то, что ему удастся там заняться медицинской практикой. Москва и для Беньямина служила третьей вершиной в треугольнике окончательного бегства из Европы наряду с Нью-Йорком и Иерусалимом. Поэтому он мог написать Асе — лишь наполовину в шутку — что, если Виссинг за полгода не найдет ему работу в Москве, Ася больше ничего не услышит от своего Вальтера. Отправившись в Москву в июле 1935 г., Виссинг после нескольких трудных месяцев действительно сумел в октябре устроиться на работу в Центральный онкологический институт. Однако в конце года он предпочел покинуть Советский Союз. Его письмо Беньямину проливает свет на положение тех эмигрантов, которые остановили выбор на Советском Союзе,

а также на причину решения не ехать туда, принятого такой фигурой, как Бертольд Брехт: «Мне, как и всем врачам, рано или поздно не избежать принятия советского гражданства — может быть, уже в 1936 г., если верить тому, что я слышал. А вы знаете, что это означает полную потерю личной свободы, так как там никому не выдают визу для поездок за границу (имеется специальное указание о том, чтобы людям, имеющим родственников за пределами России, визу не выдавали ни при каких обстоятельствах)» (GB, 5:56–57n).

Несмотря на искушение сбежать в еще более далекие края, Париж в конечном счете давал Беньямину возможность продолжить работу над исследованием о пассажах и ставил его перед необходимостью приступить к эссе об Эдуарде Фуксе. Перспектива снова работать в библиотеке, чего Беньямин был лишен уже много месяцев, сейчас играла заметную роль не только в его дневном существовании, но и в его снах. Он сообщал, что работа в библиотеках, «когда каждую неделю под [моими] пальцами проходили тысячи и тысячи напечатанных букв», за многие годы стала для него «едва ли не физической потребностью», которая долгое время оставалась неудовлетворенной (GB, 5:70). Ему приснился тревожный сон о незнакомце, который, встав из-за стола, взял книгу из *его собственной* библиотеки. Возбуждение, испытываемое Беньямином, заставило его вновь обдумать свое положение — и еще сильнее потянуло его в Париж. И потому в начале апреля он отбыл из Монако, еще не вполне уверенный в том, что сможет себе позволить жизнь во французской столице.

По пути в Париж Беньямин сделал остановку в Ницце, где провел ночь в отеле *Petit Parc* — том самом, где три года назад он собирался покончить с собой. Из Ниццы он отправился в Париж, 10 апреля поселившись в отеле *Floridor* на площади Данфер-Рошро, где он останавливался почти ровно год назад. В апреле 1935 г., после года, за который Беньямин не смог написать почти ничего значительного, он едва ли мог предвидеть, что в течение грядущего года, когда ему наконец удастся посвятить свои усилия комплексу идей, связанных с парижскими пассажами, он сочинит ряд произведений, которым в основном будет обязан своей современной репутацией. По сути, эти месяцы стали для него таким же продуктивным периодом, как и время, когда он писал книгу о барочной драме и первые варианты «Улицы с односторонним движением», и это сходство было подмечено им самим.

Важно отметить, что эти поразительные интеллектуальные достижения грядущего года стали возможны благодаря поддержке со стороны Института социальных исследований. Бень-

ямин писал Максу Хоркхаймеру из Ниццы, подтверждая свою преданность институту: «Для меня нет ничего более актуального, чем необходимость как можно более тесно и продуктивно увязать свою работу с деятельностью института» (С, 480). Какие бы мысленные оговорки ни делал Беньямин, он отлично понимал, что институт превратился в его главную опору. Помимо того что издаваемый институтом журнал *Zeitschrift für Sozialforschung* стал важнейшим каналом для публикации его трудов, стипендия, выплачиваемая ему институтом с весны 1934 г., на протяжении 30-х гг. оставалась единственным регулярным доходом Беньямина. В апреле 1935 г. сочетание различных обстоятельств еще крепче, чем когда-либо прежде, привязало Беньямина к институту и придало необходимый импульс его изысканиям по теме пассажиров. Вскоре после прибытия Беньямина в Париж у него наконец состоялась встреча с директором института Фридрихом Поллоком, на которую он возлагал так много надежд зимой и в начале весны. Эта встреча имела два важных последствия. Во-первых, она несколько облегчила отчаянную финансовую ситуацию Беньямина, по крайней мере на какое-то время. Поллок на четыре месяца (с апреля по июль 1935 г.) вдвое увеличил его ежемесячную стипендию — с 500 до 1000 франков, а кроме того, выдал ему еще 500 франков на обустройство в Париже. Кроме того, Поллок сделал важное предложение, связанное с исследованием о пассажирах: чтобы Беньямин составил всеобъемлющий синопсис этого проекта. До того момента Беньямин говорил с Хоркхаймером и его коллегами о запланированной книге лишь в самом общем плане; теперь же систематический обзор собранных им материалов — «о которых я намекал тут и там, никогда не вдаваясь в подробности» (BS, 158) — стал необходимостью и для него, и для тех, кто его поддерживал.

Беньямин немедленно ухватился за брошенный ему интеллектуальный спасательный круг и приступил к составлению синопсиса. В этой работе ему, как ни странно, помогло то, что Национальная библиотека была в тот момент закрыта: Беньямин, лишенный возможности следовать по тем путям, на которые его увлекал найденный им материал, сидел в своем номере и писал, опираясь лишь на объемные заметки по своему проекту. Итогом этого труда, довольно быстро завершено в течение следующего месяца, стал текст *Paris, die Hauptstadt des XIX. Jahrhunderts* («Париж, столица XIX столетия»), первая из конспективных презентаций комплекса изысканий о пассажирах (вторая была написана по-французски в 1939 г.). Завершение этого синопсиса пусть временно, но вернуло Беньямину уверенность

в себе и даже волю к жизни: «В этой работе я вижу главную, если не единственную причину не терять отваги в борьбе за существование» (ВА, 90). В письме Вернеру Крафту Беньямин отмечал поразительную скорость, с которой произошла «кристаллизация» (ВА, 88) — наведение порядка — в этом разнородном собрании заметок и идей: «Глубинной причиной сатурнического темпа, в котором шла эта работа, служил процесс полной перетряски, который должна была претерпеть эта гора идей и образов. Они зародились в очень давнюю эпоху моего откровенно метафизического и даже теологического мышления, и эта перетряска была необходима, чтобы они могли стать полноценной пищей для моего нынешнего мироощущения. Этот процесс шел в безмолвии; я сам так слабо осознавал его, что был чрезвычайно изумлен, когда в результате внешнего стимула план всей работы был недавно составлен всего за несколько дней» (С, 486). Более подробно генезис его замыслов излагается в письме Адорно:

В самом начале стоит Арагон — его *Le paysan de Paris*, книга, из которой я никогда не мог прочесть больше двух-трех страниц в постели перед сном: у меня начиналось такое сильное сердцебиение, что книгу приходилось откладывать... Тем не менее мои первые наброски по «Пассажам» относятся именно к этому времени. Затем были берлинские годы, когда лучшие стороны моей дружбы с Хесселем питались бесчисленными беседами, связанными с исследованием о пассажах. Именно тогда впервые возник подзаголовок «Диалектическая феерия [*Feerie*]», сейчас уже непригодный. Этот подзаголовок указывает на рапсодический характер изложения, каким оно мне тогда виделось (ВА, 88).

Называя первый этап работы над проектом рапсодическим, Беньямин признает, что это определение восходит к «архаической форме философствования, наивно выловленной в природе». Проект в его нынешнем виде, отмечал он в письме Адорно, в первую очередь обязан контакту с Брехтом; по словам Беньямина, он тщательно проработал «апории», ставшие плодом этого контакта, то есть столкновение историко-материалистической перспективы с первоначальной сюрреалистической точкой зрения.

Синописис 1935 г., составленный в очень сжатом, почти стенографическом стиле, охватывает широкий круг тем (от стальных сооружений и фотографии до теории товарного фетишизма и тупика диалектики), ключевые исторические фигуры (от Шарля Фурье и Луи-Филиппа до Бодлера и барона Османа) и, наконец, типажи XIX в. (от коллекционера и фланера до заговорщика, проститутки и азартного игрока). Проект «Пасса-

жи» основывался на наборе сложных теоретических положений, постепенно уточнявшихся Беньямином на протяжении последних семи лет и выступавших в качестве категорий, которым подчиняется синопсис. Наконец, в качестве организующей метафоры сами пассажи, эти столичные миры в миниатюре, приобретают новый смысл: в своем конститутивно двусмысленном статусе — наполовину интерьер, наполовину общественное пространство; наполовину место для демонстрации товаров, наполовину территория городских развлечений — они служат важнейшим примером того, что Беньямин называет теперь «диалектическим образом». В 1935 г. этот диалектический образ понимался как «желание» и «видение», динамическая конфигурация коллективного сознания, в котором новое пронизано старым и в котором коллектив «пытается преодолеть или смягчить... незавершенность общественного продукта, а также недостатки общественного способа производства». Синопсис 1935 г. в этом смысле является кульминацией того «этапа социальной психологии», который был характерен для проекта Беньямина еще с конца 1920-х гг. В этом синопсисе фантастические видения свидетельствуют о способности коллектива предвидеть лучшее будущее: «В видении, в котором перед глазами каждой эпохи предстает следующая за ней, эта последующая эпоха предстает соединенной с элементами первобытного прошлого, то есть бесклассового общества. Первобытный опыт, хранящийся в бессознательном коллектива, рождает в сочетании с новым утопию, оставляющую свой след в тысяче жизненных конфигураций, от долговременных построек до мимолетной моды». В эссе 1929 г. о сюрреализме Беньямин постулировал скрытое существование «революционной энергии» в устаревшем. Более того, то же самое говорится и в первом абзаце выступления 1915 г. «Жизнь студентов». В рамках сформулированной здесь, возможно, более сложной модели следы утопии, зарождающиеся при пересечении или столкновениях нового и старого, содержат в себе скрытые аспекты современного общества. Текст «Париж, столица XIX столетия» был написан как своего рода путеводитель для такого визионерского прочтения социальных явлений. Парижские вокзалы, фаланстеры Фурье, панорама Дагера, сами баррикады — все это предстает в тексте в качестве желаний, содержащих в себе потенциально революционное знание. Беньямин показывает, что даже те структуры и пространства, в которых доминируют демонстрация товаров и их обмен — всемирные выставки, буржуазный интерьер, универсальные магазины и пассажи, — парадоксальным образом несут в себе возможность социальных изменений.

Помимо этого, текст синопсиса обещает читателю исследование о пассажах, включающее теорию новых жанров и СМИ. Демократический потенциал газет, обзорная литература с ее политически нейтрализующим воздействием, фотография, посредством массового репродуцирования расширяющая сферу товарного обмена, — все это рассматривается как составные части новой социальной современности, сложившейся в Париже к середине XIX в. наряду с новым способом смотреть на мир сразу с нескольких точек зрения. Наконец, в заключительных разделах Беньямин намекает на всеобъемлющую теорию современного опыта, представляющую собой основную тему его позднего творчества. Размышляя о личности Бодлера, Беньямин подступает к такому прочтению современной литературы, которое стало классическим: согласно его трактовке, поэзия Бодлера отражает в себе преобразующий «взгляд отчужденного человека». Беньямин изображает здесь Бодлера как типичного фланера середины XIX в., которого мы видим застывшим на пороге рынка — теория порога играет ключевую роль в «Пассажах» — в те моменты, когда его не несет по волнам городской толпы. Толпа становится «вуалью», сквозь которую знакомый город манит фланера подобно фантазмагории; гуляка то и дело встречается с призраками далеких времен и мест, неустанно населяющими явления повседневной жизни. Таким образом, меланхолический взгляд Бодлера отображает в себе свойственный фланеру аллегорический тип восприятия, когда сквозь меняющийся городской пейзаж прорывается стародавний лес символов и когда исторический объект, подобно любой модной вещи одновременно цитирующий и прошлое, и будущее, раскрывается подобно палимпсесту и загадочной картинке. Беньямин перечисляет в своем синопсисе, не анализируя их, те мотивы, которые займут ключевое место в последующей трактовке Бодлера: внезапно возникшая среди толпы женщина в трауре, потрясая поэта до глубины души, его восприятие нового и вечно неизменного, оставившего отпечаток на современном лице Парижа, и встречающиеся у него смутные указания на подземный Париж с его хтоническими отголосками мифического прошлого. Заключительный раздел, посвященный барону Осману с его «стратегическим украшательством» Парижа — смелой и безжалостной перепланировкой города, — становится ареной одной из наиболее откровенных попыток Беньямина примириться с классовым конфликтом. Синопсис заканчивается решительным заявлением, что диалектическое мышление — «орган исторического пробуждения», поскольку раскрытие «элементов фантастических видений» при пробуждении, понимаемое здесь

и как узнавание, и как использование, представляет собой парадигму подлинно исторического мышления.

После завершения работы над синопсисом Беньямин писал 20 мая Гершому Шолему: «Благодаря этому синопсису, который я обещал написать, толком не подумав, проект [«Пассажи»] вступает в новую фазу, в которой он впервые приобретает чуть больше сходства — весьма отдаленного — с книгой... В этой книге XIX в. будет показан с французской точки зрения» (С, 481–482). А в письме Адорно, содержащем копию синопсиса, Беньямин выражал надежду, что он как никогда близко подошел к созданию полноценной работы на основе этого материала. Для Адорно не было вести более желанной: он уже давно видел в пассажах «не только центр вашей философии, но и с точки зрения всего философского, что может быть сказано в наше время, решительное слово, шедевр, не знающий себе равных» (ВА, 84). И действительно реакция Адорно оказалась незамедлительной и недвусмысленной: «Думаю, что после чрезвычайно тщательного прочтения материала, — писал он 5 июня, — я могу теперь сказать, что мои прежние опасения по поводу отношения со стороны Института полностью рассеялись... Я немедленно напишу Хоркхаймеру с требованием признать этот труд во всей его полноте, что, разумеется, подразумевает и соответствующую финансовую поддержку» (ВА, 92–93).

При всей восторженной поддержке со стороны Адорно некоторые аспекты синопсиса явно вызывали у него беспокойство, и он подверг их критике в своем августовском письме, настолько требовательном и точном, что оно получило известность по месту, из которого было отправлено, как Хорнбергское письмо: Беньямин называл его «великим и незабвенным» (ВА, 116). Адорно, чье внимание было неустанно приковано к социально-психологическим теориям, помещенным Беньямином в центр его проекта, дает разгромную оценку предполагаемых последствий такого шага. Называя текущее состояние размышлений Беньямина о диалектическом образе недиалектическим, Адорно утверждает: «...обозначая диалектический образ, являющийся в сознательном состоянии, как „фантазия“, вы не только делаете эту концепцию неинтересной и банальной, но и лишаете ее объективной убедительности, которая может узаконить ее с материалистической точки зрения. Фетишистский характер товара — не факт сознания; он диалектичен в том принципиальном смысле, что порождает сознание» (SW, 3:54). Адорно указывает, что из-за этой явной психологизации диалектического образа он оказывается в подчинении у «магии буржуазной психологии». Однако самым убийственным является

утверждение Адорно о невозможности провести четкую грань между пониманием коллективного бессознательного у Беньямина и у Юнга. «Коллективное бессознательное было выдуманно только для того, чтобы отвлечь внимание от подлинной объективности и от отчужденной субъективности, представляющей собой ее коррелят. Наша задача — в том, чтобы поляризовать это „сознание“ и диалектически разделить его между обществом и индивидуумом» (SW, 3:55–56). Не менее язвительно и заявление Адорно о том, что эта психологизация по сути влечет за собой недialeктическую переориентацию самого понятия «бесклассовое общество» обратно в сторону мифа. На протяжении всего своего письма Адорно скрупулезно избегает каких-либо намеков на гностическое отрицание современной ситуации как сплошной «адской фантазмагии». В его глазах — и вскоре к этой точке зрения пришел и Беньямин — любая подобная подчеркнута утопическая концепция влекла за собой риск, что она будет усвоена, воспринята и переосмыслена господствующим классом, который неизменно превращает образ всякой обращенной против него утопии в орудие своего господства. В последующие годы Адорно не всегда оказывался самым благосклонным читателем произведений Беньямина (в противоположность последующей эпохе, когда он писал яркие эссе о своем усопшем друге), и Беньямин нередко встречал его критику в штыки. Впрочем, Хорнбергское письмо представляло собой явление иного порядка, и Беньямин признавал, что «все — или почти все — ваши рассуждения продуктивно бьют в самую точку» (ВА, 117). Так, он как будто бы соглашается с двумя главными соображениями, прозвучавшими у Адорно, — о психологизации диалектического образа и о небрежном использовании термина «бесклассовое общество». Впрочем, в отношении «вполне решающего» момента он проявляет твердость: речь идет о том, «насколько обязательными представляются мне некоторые элементы, выделяемые мной в этом сочетании [диалектических образов], а именно фантастические видения» (ВА, 119). Он утверждает, что диалектический образ нельзя оторвать от процесса «исторического пробуждения», то есть пробуждения, выводящего нас из «того сна, который мы называем прошлым», и возвращающего нас в него (АР, К1,3). Этот исторический сон следует отличать от психического сна отдельного сознания. Иными словами, концепция Беньямина является более диалектической и более объективной, чем считает Адорно. Так или иначе, письмо Адорно заставило Беньямина заново сформулировать теоретический каркас исследования о пассажах. Хорнбергское письмо и позитивная реакция, кото-

рую оно вызвало у Беньямина, ознаменовали его окончательный отказ от социальной психологии, вдохновлявшейся сюрреализмом, и обращение Беньямина к рассмотрению объектов, носившему подчеркнуто социологический характер.

Поразительное возбуждение, которым сопровождалось сочинение синопсиса «Париж, столица XIX столетия», вскоре сменилось вполне предсказуемым душевным упадком. Хотя в письмах Беньямина отсутствуют обычные для него сетования на шум, его неврастения делала его уязвимым для резких температурных перепадов парижской весны с ее ледяными ветрами и палящим солнцем, и в организме Беньямина «приступы лихорадки перемежались приступами бессонницы» (GB, 5:102). Он признавался Альфреду Кону, что уже много лет не чувствовал себя так плохо, и жаловался, что у него в жизни нет почти никаких радостей. Париж, в который он вернулся, был еще менее гостеприимен для изгнанников из Германии, чем тот, из которого он уехал. Его повседневные столкновения с французской ксенофобией, месяц от месяца как будто бы лишь усиливавшейся, усугублялись антисемитскими выходками, носившими более личный характер, и даже его попытки получить помощь от различных еврейских благотворительных организаций оставляли дурной привкус во рту: «Если бы евреи зависели исключительно от своих соплеменников и от антисемитов, то, вероятно, их бы немного осталось» (GB, 5:103). Тем не менее Беньямин понимал, что, по сути, он входит в число более везучих представителей своего окружения, оставшихся на континенте: «Лишения, вызванные этим бедственным состоянием, постепенно вступающим в союз с нашими временами, начинают сказываться даже на наиболее близких мне людях» (GB, 5:103).

В первую очередь Беньямин имел в виду своего кузена Виссинга, который после возвращения в Париж снова пристрастился к морфию. И Беньямин, и Гретель Карплус подозревали, что ответственность за этот рецидив наркомании несет их берлинский знакомый Фриц Френкель. Этот невролог, специализировавшийся на наркотической зависимости, во время германской революции 1918–1919 гг. представлял Кенигсбергский совет рабочих и солдатских депутатов при основании союза «Спартак» — предшественника Коммунистической партии Германии. В 1920-е гг. Френкель принимал участие в партийной работе по распространению привычек соблюдать гигиену среди рабочих и улучшению их медицинского обслуживания, благодаря чему и познакомился сначала с братом Беньямина Георгом, затем с его сестрой Дорой, а через них и с самим Беньямином. В написанном в 1930 г. эссе Беньямина «Вход, украшенный гир-

ляндами» описывается выставка, в которой принимали участие Френкель и Дора Беньямин. По мере того как их знакомство постепенно углублялось, и Френкель, и их общий друг невролог Эрнст Йоэль стали играть роль «медицинских консультантов» при экспериментах с наркотиками, которые Беньямин проводил в Берлине — иногда в обществе Виссинга и его первой жены Герт. Сейчас Френкель жил в Париже (в многоквартирном доме на улице Домбаль, в котором в 1938 г. поселится сам Беньямин) и часто встречался с Виссингом².

Более тревожным был холодок, ощущавшийся в переписке Беньямина с Гретель Карплус, о чем она заводит речь в конце июня, обращаясь к Беньямину с кроткой просьбой восстановить «прежнюю дружбу, которая казалась мне непоколебимой» (BG, 147). Причины этого охлаждения, вероятно, носили сложный характер, и не последнюю роль в них сыграло недопонимание обеими сторонами некоторых писем, но отношения Беньямина с Гретель в тот момент, несомненно, омрачались тем, что та наконец-то разобралась в своих недоразумениях с Адорно. Это стало ясно Беньямину, когда Гретель в своем письме едва ли не дословно повторила точку зрения Адорно на исследование о пассажах. 28 мая она писала по поводу возможности избрания Беньямином для своего исследования такой формы, которая даст возможность опубликовать его в *Zeitschrift für Sozialforschung*: «На самом деле мне это кажется очень опасным, поскольку в твоём распоряжении окажется относительно мало места и ты никогда не сможешь написать то, что твои настоящие друзья ждали от тебя годами, — великую философскую работу, которая существует исключительно ради самой себя и не идет ни на какие компромиссы и значение которой станет компенсацией за многое из того что произошло за эти несколько последних лет. Детлеф, речь идет не только о твоём спасении, но и о спасении твоих трудов» (BG, 146). Свой вклад в их натянутые отношения вносило и присутствие Эгона Виссинга как посредника. Гретель преодолела свою первоначальную антипатию и сблизилась с Виссингом во время его частых приездов в Берлин, и сейчас, когда он перемещался туда и обратно между ней и Беньямином, Виссинг, судя по всему, ради озорства настраивал их друг против друга. Давая несколько жесткий, но все же дружелюбный ответ на призыв Гретель вернуть в их отношения прежнюю сердечность, Беньямин пытается умерить «нетерпение» своей корреспондентки, ссылаясь на «усло-

2. См.: Täubert, "Unbekannt verzogen...".

вия существования», свою работу и свое «полное изнурение», но в то же время сам выражает определенное нетерпение по отношению к Виссингу: «Должен признаться, что во время этих тревожных и неприятных событий я порой опасался, что *сам* нарушу свою собственную максиму в вопросах дружбы, и это будет стоить мне В.[иссинга] и тебя. И моя уверенность отнюдь не возросла, когда я увидел, что — и каким образом — у В. случился рецидив уже в первые дни его пребывания здесь. Когда люди разделены так долго, как мы с тобой, всякий, кто перемещается между нами, неизбежно становится посланцем. А В. в данный момент кажется мне непригодным для этой роли. Значение его непригодности в моих глазах можно оценить, лишь представляя себе, как мы жили на юге, и все то, что я делал ради него. Вдобавок ко всем этим сомнениям я сейчас не знаю, на каком уровне находятся ваши с ним отношения» (BG, 148). «Максима», о которой говорит Беньямин, разумеется, сводилась к его давнему обычаю держать своих друзей в полной изоляции друг от друга, а за его вопросом по поводу «уровня», на котором находились отношения между его друзьями, скрывалось ревнивое подозрение, что Виссинг и Гретель вступили в интимную связь. К июлю в переписку между Беньямином и Гретель отчасти вернулась прежняя сердечность, но эта болезненная интерлюдия, несомненно, означала, что отныне в отношениях между ними возможна только дружба.

Примерно в то же время — и, судя по всему, в обществе Эрнста Блоха — Беньямин встретил на своем жизненном пути Эрнста Канторовича (1895–1963), немецкого еврея, которого он презирал как оппортуниста. В конце 1950-х гг. Канторович прославился в англоязычных интеллектуальных кругах, когда во время работы в Институте перспективных исследований в Принстоне издал свою книгу «Два тела короля» — исследование в сфере «средневековой политической теологии», в котором проводится различие между королем как существом из плоти и крови и королем как символическим воплощением государства. Самой известной работой Канторовича из созданных им в годы изгнания остается очень вольная, сильно пропитанная теологией биография императора Священной Римской империи Фридриха II — книга, укрепившая среди либеральных и левых интеллектуалов репутацию Канторовича как несправедливого правого радикала. После Первой мировой войны Канторович служил во фрайкоре и участвовал в подавлении Великопольского восстания и восстания «спартаковцев» в Берлине, сопровождавшемся страшным кровопролитием. Во время учебы в Гейдельберге Канторович начал возвращаться в окружении

Георге и Гундольфа и именно благодаря этим связям в итоге получил место во Франкфуртском университете. Впрочем, эти знакомства не стали для него защитой от нацистской расовой политики, и Канторович, лишившись кафедры, бежал за границу и претерпел метаморфозу, начальный этап которой Беньямин описывал такими язвительными словами: «Только пресловутые пробки всплывают на поверхность, что произошло, например, с невозможным занудой и подхалимом Канторовичем, который возвел себя из теоретиков государственной партии в назойливые коммунисты» (GB, 5:104).

Летом эти проблемы в некоторой степени уравнивались восстановлением дружеских отношений с двумя другими старыми друзьями: Блохом и Хелен Хессель. Встреча Блоха и Беньямина, двух давних соратников и соперников в области философии, состоялась вскоре после того, как Блох в конце концов прибыл в Париж в середине июля. Перед Беньямином стояла сложная задача: ему очень хотелось устранить все разногласия и восстановить сердечные отношения с Блохом, но в то же время он был твердо настроен дать почувствовать Блоху, что решительно не одобряет выборочного заимствования последним отдельных мотивов из исследования Беньямина о пассажах для своей книги «Наследие нашей эпохи» при всей ее проницательности и образности. К его удивлению и облегчению, оказалось, что Блох готов пойти на мировую: по словам Беньямина, его старый друг выказал «большую преданность». Итогом этого, как сообщал Беньямин Шолему, стало сохранение осторожной и опасливой доброжелательности: «[Хотя] наши взаимоотношения никогда не станут вполне удовлетворяющими обе стороны, я тем не менее самым определенным образом готов взять на себя ответственность за сохранение нашего союза. Я, в чьи слабости, безусловно, никогда не входили ни иллюзии, ни сентиментальность, иду на это ввиду полного осознания ограничений, присущих этим отношениям; вместе с тем из-за разбросанности моих друзей все они, включая и меня, находятся в изоляции» (BS, 170–171). В последующие недели, перед тем как Блох в конце августа отбыл на Лазурный Берег, они с Беньямином часто встречались друг с другом, и Беньямин тем самым приобрел партнера по дискуссиям, какого у него не было со времен пребывания в Сквовсбостранде. Однако, по-прежнему испытывая подозрения по отношению к склонности Блоха воровать у него идеи, Беньямин старался уводить их беседы подальше от темы пассажей (BS, 165). Кроме того, Беньямин был рад и восстановлению сердечных отношений с Хелен Хессель после их болезненного берлинского

разрыва. Теперь они вместе ходили на показы мод, а Беньямин прочитал ее маленькую книжку о модной индустрии *Vom Wesen der Mode* («О сущности моды»), найдя превосходным содержащееся в ней детальное изображение социальной и коммерческой направленности моды и сделав из нее довольно обширные выписки для своих заметок о пассажах.

В то же время в июле Беньямин сетовал на то, что со времен пребывания на Ибнице в 1933 г. не приобрел ни одного нового друга — не завел «никаких глубоких знакомств»; в Париже он чувствовал себя не менее изолированным, чем в Сквовбостранде и в Сан-Ремо. Он прилагал все усилия к тому, чтобы поддерживать связи со своими французскими знакомыми — Марселем Брионом и Жаном Поланом на юге и Адриенной Монье в Париже, но был явно не способен устанавливать новые. Монье — поэтесса, книготорговец и издатель была заметной фигурой в парижском модернизме еще с начала 1920-х гг. Ее книжный магазин *La Maison des Amis des Livres*, находившийся на улице Одеон в 6-м округе, представлял собой отчасти магазин, отчасти библиотеку с выдачей книг на дом, отчасти клуб и лекционный зал. Беньямин пользовался библиотекой Монье еще с 1930 г., когда его представил ей германист Феликс Берто:

Мадам, г-н Вальтер Беньямин, писатель и эссеист из Берлина, сказал мне вчера: «Вы не знаете автора нескольких стихотворений, опубликованных шесть лет назад в *N.R.F.* и оказавших на меня глубокое впечатление? Из всего, что я читал по-французски, это затронуло меня в сильнейшей степени». Я не счел себя вправе сообщать ему ваше имя без вашего на то разрешения; однако, если вы не видите абсолютной необходимости в том, чтобы не раскрывать свое инкогнито г-ну Беньямину (который переводил Пруста), он был бы рад получить от вас приглашение встретиться с вами... Мадам, я прошу прощения за нескромность моей просьбы, но я был так тронут преданностью этого странного читателя, что захотел по крайней мере уведомить вас об этом и вместе с тем захотел еще раз лично засвидетельствовать вам свое глубокое почтение³.

К 1936 г. отношения между Беньямином и Монье превратились во что-то очень похожее на «дружбу в немецком смысле» (ГВ, 5:230), а магазин Монье становился все более важной точкой на парижском компасе Беньямина.

Изоляцию Беньямина время от времени прерывали встречи с Кракауэром и Блохом. Контраст между судьбой обоих дру-

3. *Adrienne Monnier et La Maison des amis des livres 1915–1951*, ed. Maurice Imbert and Raphaël Sorin (Paris, 1991), 43. Цит. по: ВГ, 170.

зей Бенямина и их физическим состоянием бросался в глаза: Кракауэр обычно пребывал в унынии, все еще оплакивая неспособность найти издателя для своего романа «Георг», а его будущее было таким же неопределенным, как и у Бенямина; Блох же, как обычно, кипел энергией, чему способствовали его новые издательские успехи и недавний брак с третьей женой, Каролой. К антипатии, которую Бенямин испытывал к Кароле самой по себе, примешивался еще один осложняющий фактор: «Тут все дело в атмосфере: есть такие женщины, которые понимают, что следует в полной мере уважать роль, которую в жизни их мужей играет дружба, — и ни к кому это не относится в большей мере, чем к Эльзе фон Штрицки, — и точно так же есть другие, в чьем присутствии подобные вещи быстро теряют силу. Линда уже наполовину превратилась в одну из них, а Карола, похоже, полностью принадлежит к их числу» (ВА, 77). Линда Блох тоже находилась в Париже, пребывая в бедственном положении, и это давало Бенямину возможность проявить свою врожденную, хотя и непостоянную, щедрость: они уладили свои разногласия и он помогал ей всем, чем только мог.

Его уныние время от времени рассеивали неожиданные встречи. В конце весны он случайно встретился со своим другом Виландом Херцфельде и его старшим братом, бывшим дадаистом Джоном Хартфилдом (1891–1968). Хартфилда, чьи непревзойденные таланты в области фотомонтажа пользовались большим спросом со стороны берлинских издателей книг, журналов и плакатов, в наше время лучше всего помнят по обложкам *Arbeiter-Illustrierte Zeitung*, включая и некоторые из самых известных сатир на Гитлера. Братья прибыли в Париж, чтобы присутствовать на проходившей в апреле и мае выставке фотомонтажей Хартфилда. Тот сразу же произвел большое впечатление на Бенямина, который не раз встречался с ним во время его визита. Темой их бесед неизменно служили тяготы изгнания: по настоянию Бенямина Хартфилд поведал ему жуткую историю своего бегства из Германии. Политические фотомонтажи Хартфилда в 1933 г. сделали его очевидной мишенью нового режима, и он едва успел спастись от гитлеровских штурмовиков, вломившихся в его квартиру. Кроме того, собеседников, само собой, объединял интерес к фотографии, которая, как отмечал Бенямин, стала предметом «действительно интересно-го разговора» (С, 494).

В начале лета Бенямин провел много дней в различных отделах Национальной библиотеки, продолжая работу над своим исследованием о пассажах. По его просьбе ему был предоставлен доступ к знаменитой «Преисподней» библиотеки, как офици-

ально именовалась принадлежащая французскому государству коллекция эротики и порнографии, которую начали собирать в 1830-х гг. (часть этой коллекции впервые была показана широкой публике во время выставки 2007 г.). Сочинение синопсиса «Париж, столица XIX столетия», очевидно, вновь заразило Беньямина уверенностью в значении его проекта, и он в ходе своих исследований осваивал все более дальние уголки огромной библиотеки. Сейчас Беньямин был убежден, что «концепция [проекта], поначалу носившая столь личный характер, призвана удовлетворить ключевые исторические интересы нашего поколения» (BS, 165). Именно в это время Беньямин начал давать более полную формулировку сложных взаимосвязей конкретной прошедшей эпохи — Парижа в середине XIX в. — с текущим моментом. Он считал, что с тем, чтобы выявить контуры этих «ключевых исторических интересов» текущего момента, историк должен вскрыть и реконструировать погребенный исторический объект: Беньямин называл это «попыткой восстановить исторический образ в самые непримечательные моменты его существования, по сути, в виде мусора» (BS, 165). Заметки к исследованию в эти месяцы быстро разрастались по мере того, как Беньямин выписывал цитаты из все более разнообразных источников XIX–XX вв. и дополнял их собственными краткими комментариями и размышлениями. Объем материалов, собранных в рамках проекта, делал их нетранспортабельными, и потому по предложению Поллока и при его финансовом содействии Беньямин сделал фотокопии всех своих заметок и выписок, накопившихся к тому моменту (см.: GS, 5:1262). Кроме того, он начал «изучать» первый том «Капитала» Маркса (см.: BA, 101). С головой погружившись в исследование о пассажирах (и имея финансовую поддержку в виде временно увеличенной стипендии от института), Беньямин в 1935 г. почти ничего не писал для публикации. В июле во *Frankfurter Zeitung* вышла под псевдонимом последняя статья Беньямина из числа опубликованных при его жизни в Германии.

Во второй половине 1935 г. по мере работы над исследованием о пассажирах мысли Беньямина все чаще обращались к изобразительному искусству. Он побывал на большой выставке изображений и документов по истории Парижской коммуны, проводившейся в связи с торжествами в память об этих событиях, ежегодно проходившими в парижском пригороде Сен-Дени. Кроме того, сильное впечатление на Беньямина произвела выставка 500 величайших произведений итальянского кватроченто. В своей переписке с Карлом Тиме Беньямин предстает проницательным и глубоко заинтересованным зрителем старых

произведений искусства, и многие его идеи и наблюдения, относящиеся к искусству, оказались зафиксированными в заметках о пассажах. Хотя само по себе обсуждение ренессансной живописи почти не присутствует в статьях Беньямина, сноска о «Сикстинской мадонне» Рафаэля в эссе 1936 г. «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости» свидетельствует о влиянии, которое оказала на него эта выставка. Впрочем, в этом эссе Беньямин сильнее погружается в изучение взаимоотношений между фотографией и кино, учитывая и прочие докинематографические формы искусства XIX в.

В конце июня Беньямин присутствовал на мероприятии, которое могло бы иметь для него эпохальное значение: Международном съезде писателей в защиту культуры. Эта грандиозная конференция, на которую собралось 230 писателей, представлявших 40 стран и выступавших перед трехтысячной аудиторией, проходила с 21 по 24 июня во Дворце Мютюалите на улице Сен-Виктуар⁴. Съезд был представлен широкой общественности в качестве совещания писателей, озабоченных необходимостью защитить западную культуру от угрозы фашизма, но изначальный импульс к его проведению исходил от московского Коминтерна. Его организаторами первоначально являлись Иоганнес Р. Бехер, впоследствии ставший министром культуры в Германской Демократической Республике, и романист Анри Барбюс, редактор коммунистического журнала *Monde*; действуя в рамках Союза советских писателей — организации, в 1934 г. пришедшей на смену авангардистскому РАППу, они надеялись привлечь к проведению советской культурной политики широкий спектр западных писателей. После отставки Барбюса, вызванной его болезнью, роль организаторов постепенно взяли на себя Андре Мальро и Илья Эренбург, которые расширили задачи съезда и вывели его из-под непосредственного партийного контроля. Пересмотренное приглашение на съезд за подписью Мальро, Эренбурга, Бехера и Андре Жида (участие последнего резко повысило статус мероприятия) появилось в *Monde* в марте 1935 г.; в этом приглашении, лишенном какой-либо политической окраски, подчеркивалась роль писателя как «защитника культурного наследия человечества»⁵. Следуя этой новой ориентации, вступительное заседание включало выступления четы-

4. Документы этого съезда были полностью изданы лишь в 2005 г. См.: Teroni and Klein, *Pour la défense de la culture*. Авторитетную оценку съезда см. в: Rabinbach, "When Stalinism Was a Humanism: Writers Respond to Nazism, 1934-1936", in *Staging Anti-Fascism*.

5. Rabinbach, "When Stalinism Was a Humanism".

рех крупных авторов — Э. М. Форстера, Жюльена Бенды, Роберта Музиля и Жана Кассу, отрицавших идею единого «культурного наследия», выдвинутую советской делегацией. Тем не менее, как указывал Энсон Рабинбах, почти никто из депутатов не выражал несогласия с обобщенным определением сталинизма как гуманизма и, более того, как единственной формы гуманизма, способной успешно противостоять наступлению фашизма в Европе. Такое понимание гуманизма подразумевало несогласие с художественными практиками как революционного авангарда (в первую очередь представленного сюрреалистами, изгнанными со съезда после перепалки между Андре Бретоном и Эренбургом), так и «буржуазных» авторов, которых представляли Бенда, Хаксли, Форстер и Музиль. Их место заняла весьма рыхлая, но откровенно просоветская прогрессивная повестка дня, стремящаяся, так сказать, к золотой середине между культурным «наследием» (согласно языку съезда) и «борьбой против капиталистической деградации и фашистского варварства» (согласно словам Георгия Димитрова)⁶. Романист и критик Жан Кассу четко определил границы этого дискурса: «Наше искусство не ставит себя на службу революции, а революция не навязывает нам сферу, за которую отвечает наше искусство. Но все наше искусство в его самых ярких аспектах вместе с нашей живой концепцией культуры и традиции ведет нас к революции»⁷. Выражаясь более откровенно, съезд ставил своей целью то, что может быть названо антифашистской эстетикой: не революционный материализм и не аполитичный либерализм, а скорее культурный синтез, основанный на предпосылке, согласно которой русская революция представляла собой один из этапов, как выразился Жан Геенно, «великой, долгой и терпеливой гуманистической революции, шедшей с того момента, как началась история человечества»⁸. Фашизм представлял собой регресс, возврат к средним векам. Коммунизм же был будущим.

И Беньямин, и Брехт, имевшие возможность часто встречаться во время съезда, были глубоко разочарованы им. Брехт возражал против «громких слов» и «таких замшелых понятий, как любовь к свободе, достоинство и справедливость», и осу-

6. Wolfgang Klein, Akademie der Wissenschaften der DDR, Zentralinstitut für Literaturgeschichte, *Paris 1935: Erster Internationaler Schriftstellerkongress zur Verteidigung der Kultur: Reden und Dokumente mit Materialien der Londoner Schriftstellerkonferenz 1936* (Berlin: Akademie-Verlag, 1982), 60. Цит. по: Rabinbach, "When Stalinism Was a Humanism".

7. Klein, *Paris 1935*, 56. Цит. по: Rabinbach, "When Stalinism Was a Humanism".

8. Klein, *Paris 1935*, 61. Цит. по: Rabinbach, "When Stalinism Was a Humanism".

ждал изгнание таких терминов, как «класс» и «отношения собственности»⁹. В то время он работал над сатирическим романом о европейских интеллектуалах «Туи», благодаря чему, как отмечал Беньямин, его пребывание на съезде «полностью окупилось». Вместе с тем для Беньямина «единственным отградным» аспектом этого мероприятия стала возможность поговорить с Брехтом. Все, что он сумел из себя выдать, — адресованное Хоркхаймеру замечание о том, что постоянные бюро, созданные на съезде, «могут иногда оказаться способными на полезные дела» (GB, 5:126). Несомненно, его привело в уныние молчаливое согласие писателей с отрицанием авангардного искусства, вытекавшим из выступления партийного функционера А. Жданова на московском съезде писателей 1934 г. Жданов в своей речи заявил о гегемонии «социалистического реализма» и провозгласил запрет на авангардное искусство. Еще не опубликованная в то время речь Беньямина «Автор как производитель» с содержащимся в ней заявлением, что лишь эстетически прогрессивные формы искусства могут в то же время быть и политически прогрессивными, сейчас читается как пророческая критика массовой капитуляции перед новой советской моделью.

В середине июля, когда Беньямин почти ежедневно совершал новые восхитительные открытия для своего исследования о пассажах, изменились и его жилищные условия. Пока его сестра находилась за границей, он получил возможность поселиться в ее квартире на вилле «Робер Линде», находившейся на невзрачной улице в 15-м округе. Отношения Беньямина с сестрой улучшились после того, как оба они оказались в изгнании — несомненно, причиной этого улучшения стали их совместные затруднения и изолированное существование. В первые два года парижского изгнания Дора работала прислугой во французской семье, на что шли многие женщины, лишённые всякой возможности заниматься профессиональной деятельностью. Однако к началу 1935 г. Дора попробовала вернуться к социальной работе, которой была обучена, — она устроила в своей квартире детский сад для детей изгнанников, а кроме того, сдавала часть квартиры матери своего соседа и друга Фрица Френкеля. Но как раз тогда, когда она попыталась начать жизнь заново, у нее обнаружили первые признаки воспаления позвоночника — анкилозирующего спондилоартрита, который в итоге свел ее в могилу в 1943 г. в Швейцарии; эта болезнь сопровождалась тяжелой депрессией. В феврале 1935 г.,

9. Rabinbach, "When Stalinism Was a Humanism".

еще находясь в Сан-Ремо, Вальтер пытался помочь сестре, попросив свою бывшую жену послать ей денег, чтобы та смогла преодолеть кризис. Как ясно следует из ответа Доры на просьбу о помощи, полученную от брата в марте 1935 г., ее существование опиралось по меньшей мере на столь же непрочный фундамент, как и его собственное: «Но не думаю, что ты отдашь себе отчет в том, что значит для меня борьба за существование или что значит работать, почти каждый день испытывая жестокие боли. Если я лишусь возможности время от времени устраивать себе пару недель отдыха, то окажусь в такой ситуации, что мне останется только сразу же покончить с собой. А в настоящий момент мне этого еще не хочется»¹⁰. Весьма примечательно, что вслед за этим описанием ее отчаянного положения следует упоминание о вложенных в письмо 300 франках ее собственных денег и еще 300, которые ей была должна Дора Софи Беньямин. К лету она зарабатывала уже достаточно, чтобы отправиться за границу, причем ее брат получил разрешение во время ее отсутствия жить в ее квартире. После двух лет вынужденной жизни в отелях Беньямин наслаждался «чувством обитания в частном жилье». Хотя в октябре ему нужно было съезжать, он все же попытался обставить квартиру по своему вкусу, украсив стены несколькими гравюрами, которые подарила ему Гретель Карплус в дни их совместного времяпрепровождения в Берлине, а рядом с ними повесив драгоценные диапозитивы, приобретенные в Копенгагене у мастера по татуировкам.

Несмотря на более комфортабельное жилье, август того года выдался трудным для Беньямина. Стипендия от института сократилась до обычного уровня в 500 франков, а поскольку с весны Беньямин не занимался практически ничем, кроме исследования о пассажах, ему не приходилось рассчитывать на доходы от своей литературной деятельности. Соответственно, у него не хватало средств на покрытие даже самых элементарных жизненных потребностей. При этом Париж в августе превращался в город-призрак; тревожные времена не мешали французам в массовом порядке отправляться в отпуск. Беньямин отмечал, что даже эмигранты «доставали свои гроши и уезжали из города» — те из них, у кого они имелись. Он остался один, имея возможность путешествовать только в мечтах. «Я с нежностью думаю о Барселоне, — писал он Альфреду Кону, — из-за вас, а также из-за того, что мог бы положить там конец непривычной для меня летней оседлости. Сейчас идет нескончаемый

10. Дора Беньямин Вальтеру Беньямину, 28 марта 1935 г., Walter Benjamin Archiv 015: Dora Benjamin 1935-1937, 1935/3.

дождь, в который можно вплести перестук колес на железной дороге, не говоря уже о завесе, которую он набрасывает на образ храма Саграда-Фамилия или Тибидабо» (GB, 5:146)¹¹. Кроме того, «оседлость» Беньямина давала ему больше времени для чтения, и он дополнял свой дневной рацион французских источников по пассажам ночными погружениями в детективные романы и философию, включая новую книгу Лео Штрауса «Философия и закон». Немалая часть его чтения в это время диктовалась тревогой за судьбу близких: его брат был отправлен в концентрационный лагерь Зонненбург. Беньямин прочел книгу Вилли Бределя *Die Prüfung: Der Roman aus einem Konzentrationslager* («Испытание: лагерный роман»), отметив, что «эта книга, безусловно, заслуживает прочтения. Вопрос о том, почему автору не вполне удалось описание концентрационного лагеря, влечет за собой поучительные соображения» (GB, 5:130). Кроме того, он просил друзей прислать ему «Болотных солдат» Вольфганга Лангхоффа, хотя нам неизвестно, получил ли он в итоге эту книгу. Лангхофф, как и Бредель, был заключенным концентрационного лагеря Бергермор, от которого и получили свое название «солдаты» из заголовка книги («мор» по-немецки «болото»).

1 октября, после возвращения сестры, Беньямин съехал с ее квартиры. Перспектива новых скитаний по дешевым отелям приводила его в ужас, но ему удалось найти себе более или менее постоянное жилье. Он поселился в доме на улице Бенар, 23, где делил квартиру еще с одной немецкой эмигранткой — Урзель Буд, работавшей в Париже делопроизводителем. Буд, как и Беньямин, была берлинской еврейкой, но она родилась через 20 лет после него и происходила из менее утонченных слоев, получив коммерческое образование в профессиональном училище для девочек. Как и Беньямин, впоследствии она оказалась во французском лагере для интернированных (хотя пробыла в нем намного дольше — с октября 1939 г. по май 1941 г.) и в 1942 г. пыталась бежать из Франции через Марсель. Там ее след теряется¹². Беньямину удалось прожить в ее квартире на улице Бенар, где он снимал у нее «очень маленькую», но удобную комнату (GB, 5:198–199), целых два года, до октября 1937 г. Эти места, находившиеся в самом центре 14-го округа, были довольно мрачными, но там совсем рядом было ме-

11. Храм Саграда-Фамилия (храм Святого семейства) — недостроенная церковь в Барселоне, спроектированная Антонио Гауди; Тибидабо — одна из вершин горного кряжа Серра-де-Коллизерола, возвышающегося над Барселоной.

12. См.: GB, 5:166–167п.

тро, а главное — оттуда было всего 12 минут ходьбы до любимых кафе Беньямина, расположенных севернее, на бульваре Монпарнас. С помощью своих друзей Арнольда и Милли Леви-Гинзберг Беньямин раздобыл немного мебели, перевез на новое место свою маленькую коллекцию гравюр и диапозитивов и решил, что теперь у него есть дом. Обычные трудности переезда усугублялись, как он сообщал сотруднице Брехта Маргарете Штеффин, «мятежом окружавших меня предметов... я живу на седьмом этаже, и все началось с забастовки лифта, продолжилось повальным бегством немногих пожитков, которые мне дороги, и завершилось пропажей очень красивой авторучки, которая для меня незаменима. Все это очень меня расстроило» (С, 510–511). Впрочем, к концу месяца расстройство покинуло его, «возможно, унесенное прочь фантастическими осенними бурями, день за днем завывающими рядом с моим орлиным гнездом» (С, 511) и уютом нового жилья, радовавшего его горячей водой в ванне и телефоном и настолько превосходившего все, на что он привык рассчитывать, что это заметно облегчило даже «тяжелое бремя» его работы (ГВ, 5:198–199).

Невзирая на новую квартиру и то возбуждение, в которое Беньямина приводили изыскания о пассажах, осенью к нему вновь вернулись депрессия и отчаяние. Само собой, под их знаком проходило все изгнание Беньямина, но осень 1935 г. стала для него особенно тяжелой порой, которую он неоднократно описывал словом «безнадежность». «Ситуация вокруг меня слишком мрачная и неопределенная, — писал он Шолему, — для того, чтобы я осмеливался лишить мою работу немногих часов внутреннего равновесия... Я обеспечен самым необходимым для жизни *в лучшем случае* на две недели в месяц» (С, 511–512, 514). Хоркхаймеру он писал: «Мое положение столь же обременительно, какой только может быть финансовая позиция, не включающая долгов... Я лишь мимоходом упомяну, что должен продлить свою *carte d'identité* [удостоверение личности, требовавшееся для посещения врача и для предъявления представителям власти], но у меня нет 100 франков, которые нужны для этого» (С, 508–509). Эта жалоба не осталась неуслышанной, так как Хоркхаймер, проявив свою отзывчивость, 31 октября дополнительно перевел ему 300 франков на новое удостоверение личности и на французское журналистское удостоверение. Адорно согласился оказать «моральный нажим» на Эльзу Херцбергер в надежде на то, что она продолжит выплату вспомоществования, о котором давно забыла (см.: ГВ, 5:113п). Несмотря на эти признаки поддержки, Беньямин считал свое положение достаточно отчаянным для того, чтобы серьезно за-

думаться о переезде в Москву, где в конце концов удалось обосноваться Виссингу, работавшему там в Центральном онкологическом институте. Вечно восторженный Виссинг был уверен, что Беньямин найдет работу в Советском Союзе, и с этой целью задействовал целый ряд контактов, включая Асю Лацис и Герварта Вальдена. Вальден, галерист и издатель, который в 1910–1920-е гг. был ключевой фигурой в берлинском модернизме, теперь преподавал в Москве. Гретель Карплус выдвинула ряд очень разумных возражений против этой идеи, спрашивая Беньямина, действительно ли он хочет жить в одном городе с Асей Лацис и действительно ли он сможет адаптироваться к такому резкому изменению образа жизни, которое, разумеется, будет сопровождаться утратой институтской стипендии. Этот план вскоре тоже был забыт, и больше Беньямин к нему не возвращался. Судьба Герварта Вальдена заставляет задуматься о возможных печальных последствиях такого шага. Хотя мы имеем относительно мало сведений о пребывании Вальдена в Москве, он, очевидно, не смог справиться с искушением вступить в дискуссию с теми, кто приравнивал авангардное искусство к фашизму, — и это кончилось для него очень плохо. В 1941 г. Вальден умер в саратовской тюрьме. Трудно себе представить, чтобы Беньямин молча примирился с эстетическим режимом, который был для него столь же опасен, как и для Вальдена.

Собственные несчастья Беньямина усугублялись дурными вестями, по-прежнему приходившими от его друзей и родных. Несмотря на первые признаки успеха, попытки Альфреда Кона обустроиться в Барселоне терпели крах, и он объявил, что ему придется снова переезжать (хотя он так и не выполнил этого намерения). Беньямина приводила в отчаяние мысль о том, что Кон может выпасть из «того немногочисленного круга людей, которые для меня еще живы». Отмечая, что переживаемый эпохой моральный кризис все сильнее осложняется материальным кризисом, он писал Кону, что начал вести «список утрат» и не уверен в том, что в нем рано или поздно не окажется его собственное имя (GB, 5:183). Его постоянно одолевала тревога и за Эгона Виссинга; до него дошли слухи, что Виссинг подвергает опасности свое положение в Москве, вновь пристрастившись к морфию. Беньямин еще со времени их совместного пребывания на Ривьере ощущал едва ли не отцовскую ответственность за своего непутевого кузена. Гретель успокаивала его, сообщая, что ничего не слышала о возвращении к Виссингу прежних вредных привычек.

Но хуже всего был серьезный кризис в отношениях Беньямина с Шолемом. Тот не был для него таким же близким че-

ловеком, как его школьные друзья Кон и Шен, но он оставался самым давним партнером Беньямина по интеллектуальному диалогу. Несмотря на то что течение их жизни и их интеллектуальные склонности — в первую очередь своеобразная левизна Беньямина, лишь усилившая его оппозиционное отношение к сионизму, — не могли не разводить их в разные стороны, Беньямин все еще сохранял поразительную зависимость от своих заочных диалогов с Шолемом; он знал, что всегда получит от последнего безжалостно честный и нередко очень пронизательный ответ на все, что бы ни сказал или послал ему. Однако летом и осенью Шолем стал писать ему все реже и реже, а к декабрю и вовсе замолк. Такое небрежение глубоко задевало Беньямина. Он попросил Китти Маркс-Штайншнайдер известить Шолема и поставить его в известность относительно отчаянного положения, в котором пребывает его парижский друг, а также спросить, почему не было продлено приглашение в Палестину. «Эти поручения вызвали со стороны Шолема реакцию, — писал Беньямин Гретель, — жалкая неуклюжесть которой (чтобы не сказать — фальшь) самым печальным образом раскрыла мне не только сущность его личности, но и моральную атмосферу страны, в которой он просвещался в течение последних десяти лет. Все это не проявлялось явным образом в нашей переписке, поскольку с тех пор, как я столкнулся с возможностью поражения, он вел ее с нерасторопностью, не уступавшей его прежней энергии. Впрочем, как ты можешь себе представить, у меня самого почти отсутствует желание уведомлять его о том, что я думаю об этой неуклюжести, окруженной покровом нездорового самомнения и секретности, сопровождающими его уклонение от какого-либо активного сочувствия моему положению. Вероятно, не будет преувеличением сказать, что за моими горестями он склонен видеть карающую руку Всевышнего, которого я разозлил своими датскими знакомствами» (BG, 172–173). Беньямин мог немного отвести душу, сочиняя Гретель подобные послания, которые, помимо всего прочего, наверняка развлекали ее, в то время как он полон угрюмой решимости мириться с идеологически обусловленными изъянами своего друга и архивиста. Сложившаяся ситуация разрешилась только следующей весной.

Невзирая на все эти несчастья, осенью 1935 г. Беньямин продолжал работать. На него давили тяжелым бременем не только материальные и личные проблемы, но и все более неопределенная судьба его творчества: «Порой я размышляю о так и не состоявшихся книгах — „Берлинском детстве на рубеже веков“ и сборнике писем, после чего удивляюсь, откуда у меня

берутся силы для работы над новыми замыслами. Разумеется, в таких условиях их судьбу предсказать еще более трудно, чем то, во что выльется мое собственное будущее. В то же время книга по сути служит для меня убежищем, в котором я скрываюсь, когда погода на улице становится слишком скверной» (BS, 171). В число новых работ, на которые он ссылается здесь, в первую очередь входила статья об Эдуарде Фуксе. Беньямин спешил с предварительным сбором материалов для этого эссе, которое институт требовал от него все настойчивее и которое в августе вынудило его временно отложить изучение пассажей. Летом Беньямин не раз встречался с Фуксом, к которому испытывал личную симпатию, и сейчас надеялся, что статья не отнимет у него много времени. На самом же деле подготовка к работе над ней затянулась еще на полтора года, поскольку Беньямин непрерывно отвлекался на другие замыслы, и черновой вариант эссе о Фуксе был в итоге написан с неожиданной и отрадной легкостью лишь в январе и феврале 1937 г. Осенью Беньямин, по-видимому, не обращался к «Берлинскому детству», но все же из-под его пера вышло несколько памятных образцов художественного творчества. В ноябре в швейцарской газете *Neue Zürcher Zeitung* была опубликована маленькая блестящая сказка *Rastelli Erzählt* («История Растелли») — иносказание об инструментальности, очевидно входившее в состав «маленькой стопки рассказов», которые Беньямин сочинил той осенью «только для того, чтобы вдвое и втрое больше загрузить себя работой» (С, 513). Кроме того, он составил текст лекции об «Избирательном сродстве» Гёте, запланированной на февраль (о чем Беньямин сообщал Шолему и другим) в *Institut des Etudes Germaniques* в Сорбонне — неизвестно, была ли она в итоге прочитана. Кроме того, у Беньямина появилась возможность написать рецензию на изданную в 1934 г. книгу Дольфа Штернбергера о Хайдеггере *Der verstandene Tod* («С мыслью о смерти»). Дольф Штернбергер (1907–1989) познакомился с Беньямином несколькими годами ранее в доме Эрнста Шена; кроме того, в 1930–1933 гг. он был близок к Адорно, а впоследствии принимал участие в его семинарах. В 1934 г. Штернбергер вошел в состав редколлегии *Frankfurter Zeitung*. Беньямину были интересны соображения Штернбергера по теме «Хайдеггер и язык», но он так и не взялся рецензировать эту книгу, возможно, вследствие неприязни, которую он ощущал к самому фрайбургскому философу, чья всемирная слава навевала на него уныние и мрачные предчувствия (см.: GB, 5:156; GB, 4:332–333).

Но на первом месте у Беньямина стояла новая работа в области эстетики — программный «текст», как Беньямин называл

его в переписке с некоторыми из своих корреспондентов, отталкивавшийся от «Краткой истории фотографии» 1931 г., в которой изучалось влияние технологий репродукции на изготовление и восприятие произведений искусства, и недвусмысленно исходивший из тех же эпистемологических и историографических принципов, которые использовались в исследовании о пассажах: иными словами, он представлял собой попытку выявить «судьбу» искусства в XIX в. с точки зрения нынешнего момента. Первое зафиксированное упоминание о «Произведении искусства в эпоху его технической воспроизводимости», которое в наши дни является наиболее известным эссе Беньямина, содер­жится в письме Гретель Карплус от 9 октября:

В течение этих последних недель я начал осознавать тот скрытый структурный характер современного искусства — ситуации в современном искусстве, — который позволяет выявить в «судьбе» искусства в XIX в. аспекты, имеющие для нас решающий характер, но начинающие сказываться лишь сейчас. В этом отношении я распознал мою эпистемологическую теорию — выстроенную вокруг очень эзотерической концепции «текущей узнаваемости» (концепции, которой я, по всей видимости, еще не делился даже с тобой) — в ключевом примере. Я обнаружил тот аспект искусства XIX в., который может быть распознан только «сейчас», но не мог быть распознан никогда прежде и уже никогда не будет распознан впоследствии (GB, 5:171).

Через неделю он отправил Хоркхаймеру еще более многозначительное послание, в котором описывал свою работу как очередной шаг

в сторону материалистической теории искусства... Если темой книги [о пассажах] служит судьба искусства в XIX в., то эта судьба может что-то сказать нам лишь потому, что ее можно расслышать в тиканье часов, бой которых едва-едва достиг наших ушей. Под этим я имею в виду то, что судьбоносный час искусства пробил, и я запечатлел его печать в серии предварительных размышлений, озаглавленных «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости». Эти размышления представляют собой попытку облечь вопросы, поднятые теорией искусства, в подлинно современную форму, причем, вообще говоря, изнутри, избегая каких-либо *непосредованных* отсылок к политике (С, 509).

В частности, содержащиеся в эссе размышления о кино как о типично современном искусстве и о его сложившемся под воздействием шока восприятия, симптоматичном с точки зрения глубоких изменений в человеческой «апперцепции», для которой характерно ее повсеместное взаимопроникновение с «аппарату-

рой», были призваны осветить великие преобразования в отношениях между искусством и техникой, служившие темой исследования о пассажах.

Явно под влиянием этого потока идей Беньямин приостановил свои «исторические изыскания» в Национальной библиотеке и прислушался к «шепоту своей комнаты» (GB, 5:199), на протяжении сентября и большей части октября почти безвылазно трудясь над сочинением первого варианта эссе. Он вернулся к этому варианту в декабре, когда начал переписывать все эссе, а после беседы с Хоркхаймером (который в середине декабря побывал в Париже) добавил примечания. Этот второй немецкоязычный вариант, в котором также были учтены предложения Адорно, касающиеся его политико-философской аргументации, был завершен к началу февраля 1936 г. Из нескольких дошедших до нас вариантов эссе этот второй немецкоязычный вариант является самым полным, и к тому же в нем четче проговаривается ряд ключевых моментов; Мириам Брату Хансен окрестила его «пратекстом» (*Urtext*), и это название так за ним и закрепилось. Впрочем, вскоре Беньямин начал работу над очередным вариантом, затянувшуюся до марта или апреля 1939 г. Именно этот третий и последний вариант — сам Беньямин никогда не считал работу над эссе завершенной — в 1955 г. был положен в основу его первой немецкоязычной публикации, которая фактически и положила начало его последующему широкому распространению. Изданное впервые в мае 1936 г. в *Zeitschrift für Sozialforschung* на французском языке, это эссе остается в наши дни наиболее популярным текстом Беньямина.

В «Произведении искусства в эпоху его технической воспроизводимости» ставится вопрос о возможностях в сфере опыта человеческого существования, открывающихся в условиях современного капитализма и тесно привязанных к возможностям современной техники¹³. Отправной точкой эссе служит убеждение, пожалуй лучше всего выраженное в «Опыте и скудости», в том, что одним из фундаментальных последствий капитализма является разрушение условий, без которых невозможен полноценный опыт человеческого существования. В эссе Беньямина используется на первый взгляд противоречивое понимание техники: она объявляется и главной причиной этого обеднения опыта, и в то же время потенциальным *лекарством* от него. Как выразился Беньямин в «Эдуарде Фуксе, коллекционере и историке», опыт человеческого существования был «денату-

13. См.: Hansen, *Cinema and Experience*.

рирован нашим путаным отношением к технике» (SW, 3:266). Вследствие этого неправильного отношения, чьи истоки, восходящие к XIX в., Беньямин прослеживает в «Пассажах», современная техника притупляет человеческие органы чувств, в то же время эстетизируя жестокость, в принципе присущую условиям производства и господства. Однако эта же самая техника потенциально способна освободить опыт человеческого существования от его материальных уз. В эссе о произведении искусства этот потенциал анализируется в ходе смелого пересмотра новых режимов восприятия, свойственных кино. В рамках многогранной аргументации, имеющей тетиическую конструкцию, то есть представляющую собой монтаж отдельных тезисов, Беньямин приписывает кино два ключевых свойства: во-первых, представляя собой воспроизводимое произведение искусства, кинофильм способен пошатнуть основы культурной традиции, от которой столетиями зависело сохранение власти класса-гегемона, и, во-вторых, кино, по мнению Беньямина, обладает способностью к внесению глубоких изменений в саму структуру человеческого чувственного аппарата. Людям не обойтись без новых типов апперцепции и новых реакций, если они хотят противостоять огромному и враждебному социальному аппарату, сложившемуся к настоящему времени.

Наиболее известным новшеством, к которому Беньямин прибегает в этом эссе, является акцент, который он делает на воспроизводимости современного произведения искусства. Воспроизводимость произведения обесценивает его существование в конкретный момент времени и в конкретном месте, тем самым подрывая его уникальность и подлинность и изменяя процесс, посредством которого оно осуществляет передачу культурной традиции. «Подлинность какой-либо вещи — это совокупность всего, что она способна нести в себе с момента возникновения, от своего материального возраста до исторической ценности. Поскольку первое составляет основу второго, в репродукции, где материальный возраст становится неуловимым, поколебленной оказывается и историческая ценность. И хотя затронута только она, поколебленным оказывается и авторитет вещи» (SW, 3:103; ПИ, 21–22). Для Беньямина вопрос передаваемости находит воплощение в понятии ауры: «...ауру можно определить как уникальное ощущение дали, как бы близок при этом предмет ни был» (SW, 3:104–105; ПИ, 24). Можно сказать, что произведение искусства имеет ауру, если оно обладает уникальным, подлинным статусом, основанным не столько на качестве, пользе или ценности как таковой, сколько на буквальном расстоянии между произведением и наблюдателем.

И здесь в первую очередь имеется в виду не банальное пространство между памятником и его аудиторией, а «уникальное ощущение» психологической недоступности, атмосфера авторитета, порождаемая произведением в зависимости от его положения в рамках традиции. Феномен ауры в произведении искусства отражает в себе его одобрение — привилегию быть включенным в проверенный временем канон¹⁴. Разумеется, идея Беньямина является скандальной и провокационной: он предпринимает лобовую атаку на знаковое произведение культуры, творение великого гения, которое по самой своей природе изменяет наше понимание опыта человеческого существования. Но эта атака необходима, если мы хотим освободить искусство от заклатья культурной традиции, корни которой восходят к культуре и ритуалу. Для Беньямина выход из «переживаемого человечеством в настоящее время кризиса и обновления» — следует помнить, что этот текст был написан под знаком надвигающейся тени фашизма — может обеспечить лишь «глубокое потрясение традиционных ценностей» (SW, 3:104; ПИ, 22), отнюдь неравнозначное простому отказу от них. Включение в традицию означает интеграцию в культурные практики: «Первоначальный способ помещения произведения искусства в традиционный контекст нашел выражение в культе. Древнейшие произведения искусства возникали, как известно, чтобы служить ритуалу... Иными словами: *уникальная ценность „подлинного“ произведения искусства основывается на ритуале*» (SW, 3:105; ПИ, 26). Речь здесь идет о фетишизации произведения искусства, вызываемой не столько его созданием, сколько его передачей. Если произведение искусства остается фетишем — отдаленным и дистанцирующимся предметом, обладающим иррациональной и бесспорной властью, то оно может приобрести в рамках культуры нерушимый неприкосновенный статус. Кроме того, оно остается в руках немногих привилегированных. Произведение, обладающее аурой, заявляет претензии на власть, которые могут дополнять и укреплять претензии на политическую власть, заявляемые классом, для которого подобные предметы наиболее значимы, — правящим классом. Ключевую роль при сохранении этой власти играла и играет теоретическая защита искусства, обладающего аурой. Дело не только в том, что такое искусство

14. В другом месте Беньямин понимает ауру (от греческого *aura* — «дыхание», «дуновение воздуха») как нечто, проявляющееся во всех вещах, и ссылается в этой связи на Ван Гога: «Пожалуй, ничто не дает такого четкого представления об ауре, как поздние картины Ван Гога, на которых... аура словно бы изображена вместе с разными предметами» (ОН, 58, 163п2).

с его репрезентационными или архитектурными стратегиями, санкционированными ритуалом, не представляет угрозы для господствующего класса, но и в том, что аура подлинности, авторитета и постоянства, источаемая одобренным произведением, подкрепляет претензии правителей на власть.

Вместе с тем произведение, воспроизводимое в массовом порядке, допускает восприятие в ситуации реципиента; зритель уже не обязан воспринимать произведение в пространстве, освященном его культом, будь то музей, концертный зал или церковь. Делая первое из важных заявлений этого эссе, Беньямин утверждает, что именно эта возможность воспроизведения — особенно в случае кино — мобилизует ликвидацию «традиционной ценности в составе культурного наследия» (SW, 3:104; ПИ, 23). Это предполагает, что культурное наследие само по себе играет инструментальную роль при сохранении власти правящего класса. Как выразился Беньямин в одном из фрагментов «Пассажей», «идеология властителей по самой своей природе более изменчива, чем идеи угнетаемых. Ведь они не только должны, подобно идеям последних, всякий раз приспособляться к ситуации социального конфликта, но и вынуждены восславлять эту ситуацию как гармоничную в своей основе» (AP, J77,1). Культурное наследие представляет собой именно такое восславление того, что по сути является кровавым конфликтом, его эстетизацию как образца стабильности и гармоничности. Однако *«в тот момент, когда мерило подлинности перестает работать в процессе создания произведений искусства, преобразуется вся социальная функция искусства. Место ритуального основания занимает другая практическая деятельность: политическая»* (SW, 3:106; ПИ, 28). Таким образом, воспроизводимость в конечном счете является политическим свойством произведения искусства; его воспроизводимость подрывает его ауру и влечет за собой его иное восприятие в ином зрительском пространстве. Ликвидация ауры дает возможность выстроить — в кино — политическое тело посредством «одновременного коллективного восприятия» его объекта.

Сведя потенциальную социально-эстетическую силу кино к расщеплению и фрагментации традиции, позволяющим вывести на свет скрытые территории, Беньямин сразу же перескакивает к другому полюсу своей аргументации — историческим изменениям человеческого аппарата восприятия. Здесь он программным образом определяет сферу, ограничивающую его исследование о современных средствах коммуникации. В центре его внимания находятся два связанных друг с другом вопроса: способность произведения искусства содержать в себе инфор-

мацию об историческом периоде, к которому оно принадлежит (и одновременно с этим в потенциале раскрывать своей аудиторией иначе непостижимые аспекты ее собственной среды), и способность средств коммуникации вызывать изменения в структуре восприятия. Через все рассуждения Беньямина красной нитью проходит убеждение в том, что самые очевидные на первый взгляд вещи — кто мы есть, что представляет собой природа физического окружения, в котором мы существуем, характер нашего исторического момента — по сути скрыты от нас. Мир, в котором мы живем, в 1930-е гг. имел в глазах Беньямина характер оптического устройства — «фантасмагории». Возникнув в XVIII в. в качестве устройства для создания иллюзий, проецирующего тени от движущихся предметов на стену или на экран, фантасмагория у Беньямина соответствует миру городского товарного капитализма — окружению, столь назойливо «реальному», что мы считаем его чем-то вполне естественным, данностью, в то время как по сути оно является социоэкономическим конструктом и, согласно (брехтовскому) языку эссе о производстве искусства, «аппаратом». Таким образом, слово «фантасмагория» позволяет выявить силу иллюзии, действующую в этом окружении, — силу, подвергающую опасности не только общую вразумительность вещей, но и готовность людей приобретать привычки и принимать решения.

Беньямин указывает, что, если мы хотим преодолеть всепроникающую конкретизирующую силу социального аппарата, такие новые технологичные формы искусства, как кино, должны обеспечивать «политехническое образование», позволяющее массам «организовать и контролировать» их реакцию на окружение, в котором они живут (SW, 3:114, 117; ПИ, 44, 50). Беньямин отнюдь не случайно делает здесь упор на «образовании». Кино, согласно этой трактовке, учит «людей апперцепциям и реакциям, необходимым, чтобы противостоять огромному аппарату, чья роль в их жизни возрастает буквально с каждым днем» (SW, 3:108), и оно делает это именно посредством чрезвычайно изощренного обращения к технической аппаратуре (кинокамере, киномонтажной студии, кинопроектору). Кино доводит это обучение до завершения при помощи ряда устройств и возможностей, свойственных данной форме искусства. Во-первых, кинофильмы не просто поддаются репродуцированию: будучи порождением монтажа, они несут в себе воспроизведение процессов, происходящих перед камерой. Главное место среди них занимает игра киноактера, разворачивающаяся перед «группой специалистов — исполнительным продюсером, режиссером, оператором, звукорежиссером, художником по свету и т. д.», и все

они могут вмешаться в выступление актера. Хотя в результате монтажа оно обычно приобретает видимость непрерывности и цельности, всякая традиционная актерская игра в кино представляет собой сочетание отдельных кадров, каждый из которых был одобрен группой специалистов. Таким образом, она является пробой. «Кино дает пробам возможность быть увиденными, превращая это свойство в пробу» (SW, 3:111). Такая фрагментарная, пробная природа игры перед камерой позволяет увидеть то, что иначе осталось бы скрытым: самоотчуждение современного, технологизированного субъекта, его уязвимость для оценки и контроля. Тем самым актер делает аппаратуру орудием победы над аппаратурой, триумфа гуманизма. Размышления о пробной игре не только разрушают магию культа кинозвезд. Поскольку исполнение «может быть отделено от человека», оно становится «переносным» и подвергается иному контролю — со стороны зрителей, противостоящих ему в своей совокупности.

То, «каким человек предстает перед кинокамерой», дополняется еще одной функцией кино: тем, «каким представляет он себе с ее [кинокамеры] помощью окружающий мир» (SW, 3:117; ПИ, 51). *«На съемочной площадке кинотехника настолько глубоко вторгается в действительность, что ее чистый, освобожденный от чужеродного тела техники вид достигим как результат особой процедуры, а именно съемки с помощью специально установленной камеры и монтажа с другими съемками того же рода»* (SW, 3:115; ПИ, 47). Эта парадоксальная формулировка — «чистый вид» действительности, достижимый при помощи аппаратуры, но в то же время «освобожденный от техники», — восходит к самой сути теорий Беньямина, касающихся взаимопроникновения человечества и техники. Посредством камеры мы приходим, согласно его знаменитому выражению, к «оптически-бессознательному». Приемы, из которых складывается фильм — крупный план и увеличение, замедленное движение, проводка и панорамирование, наложение кадров и наплыв, — приносят нам новое понимание пространственных и временных «неизбежностей, управляющих нашим бытием» и тем самым раскрывают перед нами «огромное и неожиданное свободное поле деятельности» (SW, 3:117; ПИ, 53).

С этим анализом процесса создания фильма связаны тонкие соображения, касающиеся его восприятия. В глазах Беньямина просмотр фильма не может носить такой же характер, как и созерцание произведения искусства, обладающего аурой. «Тот, кто концентрируется на произведении искусства, погружается в него; он входит в это произведение, подобно художнику — герою китайской легенды, созерцающему свое законченное произведение. В свою очередь, развлекающиеся массы, напро-

тив, погружают произведение искусства в себя». «Их волны плещутся вокруг него, накатывая на него прибоем» (SW, 3:119; ПИ, 59–60)¹⁵. Как полагает Беньямин, увидеть грандиозный социальный аппарат, обеспечивающий видимость гармонии и единства, за которыми скрываются жестокие гетеронмии современной жизни, и противостоять ему можно лишь при помощи более расфокусированного восприятия, отвлеченного и распыленного охвата, избегающего созерцательного погружения в произведения, причастные к видимости гармонии. Необходимо насаждать кинематографическую пластичность перспективы. С беспрецедентными «задачами», поставленными перед современным зрителем — требованием ориентироваться в разрозненном, фрагментарном мире, — необходимо «справиться постепенно... через привыкание». Кино является «прямым инструментом» обучения типично современному навыку умелого «рассеянного восприятия» (SW, 3:120; ПИ, 61). Беньямин видит в такой прекогнитивной тренировке подготовку к насаждению тех «апперцепций и реакций», которые представляют собой единственную возможность одолеть социальный аппарат.

Таким образом, эссе о произведении искусства в значительной степени характеризуется неослабным техническим утопизмом, за который Беньямин часто подвергался осуждению. Он ясно осознает, что свойства, выявленные им в новом средстве коммуникации, являются условием необходимым, но недостаточным, так как они всегда требуют актуализации при помощи конкретных произведений и им всегда угрожает присвоение со стороны интересов крупного капитала. Настойчивую политическую риторику вступительного и заключительного разделов эссе, направленную на проведение черты между фашистской эстетизацией политики и коммунистической политизацией искусства, следует рассматривать в общем историческом контексте Европы, находившейся на грани войны.

Сообщая Хоркхаймеру об этом шедевре эссеистики, Беньямин сразу же поставил вопрос о его публикации: «Как мне представляется, *Zeitschrift* станет вполне подходящим местом для [этой работы]» (С, 509). И действительно, его эссе впервые было напечатано в журнале института в 1936 г. — в значительно сокращенном французском переводе, выполненном Пьером Клоссовски (1905–2001). Решение об издании эссе во французском переводе принял Хоркхаймер, и это условие было приемлемым для Беньямина, поскольку он теперь жил во Франции.

15. Легенду о китайском художнике ср.: «Берлинское детство на рубеже веков» (SW, 3:393).

Беньямин познакомился со своим переводчиком Клоссовски через Жоржа Батая, с которым сошелся в Национальной библиотеке. Клоссовски, обладавший многочисленными талантами, к моменту знакомства с Беньямином уже зарекомендовал себя в качестве философа и эссеиста, впоследствии он занимался живописью и писал романы. Его отец был историком искусства, а мать — художницей, учившейся вместе с Пьером Боннаром: Клоссовски и его брат Бальтус, живописец, выросли в доме, где частыми гостями были не только художники, но и такие писатели, как Жид и Рильке. Беньямин был отнюдь не единственным немецким автором, которого переводил Клоссовски: последнему также принадлежат известные переводы Витгенштейна, Хайдеггера, Гельдерлина, Кафки и Ницше. В середине 1930-х гг. решающую роль в плане интеллектуального развития Клоссовски сыграла его крепнущая дружба с Жоржем Батаем (1897–1962). В свою очередь, Батай в конце 1930-х гг. способствовал сближению Вальтера Беньямина с наиболее передовыми французскими интеллектуальными кругами.

Батай с 1922 г. работал в Национальной библиотеке, в том числе с 1930 г. в отделе печатных книг, где, судя по всему, Беньямин и познакомился с ним во время одного из своих многочисленных визитов. Им была присуща известная общность вкусов: Беньямин тоже регулярно просаживал свой заработок в казино и борделях¹⁶. Однако Беньямин лишь в ходе интенсивного диалога с Клоссовски, касавшегося эссе о произведении искусства, проник на окраины интеллектуального мира Батая. В каком-то смысле Батай пытался определить свою интеллектуальную карьеру, противостоя примеру сюрреализма. Сам он начал сближаться с бесформенными сюрреалистическими группировками еще в 1924 г., но неизменно сопротивлялся чарам, исходившим от Андре Бретона. В 1929 г. Батай основал журнал *Documents* в качестве откровенной альтернативы сюрреализму и собрал вокруг себя группу перебежчиков из лагеря Бретона. В том же году Бретон опубликовал «Второй манифест сюрреализма», в котором выступал за возвращение к изначальным принципам, что на практике означало исключение из его группы ряда его старейших союзников, включая Антонена Арто, Андре Массона, Филиппа Супо, Роже Витрака, Франсиса Пикабия и Марселя Дюшана. Однако осуждению Батая и его журнала Бретон уделил гораздо больше места — целых полторы страницы, чем инвективам в адрес кого-либо из своих более известных

16. См.: Surya, *Georges Bataille*, 146.

врагов и бывших друзей. Разрыв с Бретоном выглядел окончательным. Тем не менее в 1935 г. Батай решил, что за успех, понимаемый им в смысле интеллектуальной известности, ему следует заплатить союзом не с кем иным, как с Бретоном. На встрече в кафе *Regency* в сентябре 1935 г. они сформулировали планы по основанию нового движения и нового журнала, получившего название *Contre-Attaque*. Под первым манифестом группы, обнародованным 7 октября, поставили свои подписи 13 человек, включая Бретона, Батая, Поля Элюара, Пьера Клоссовски, Дору Маар и Мориса Айне. Это движение виделось его основателям как революционное, антинационалистическое, антикапиталистическое и свободное от буржуазной морали. Мишель Сюрья дал следующее удачное резюме его целей: «В путаной программе *Contre-Attaque* провозглашалось ни много ни мало как освобождение детей от родительского надзора и воспитания... свободное удовлетворение сексуальных потребностей... свободное выражение страстей, свободный человек как претендент на все причитающиеся ему удовольствия и т. д.»¹⁷. 21 января 1936 г. Беньямин, вероятно, присутствовал на втором собрании группы, на котором ожидалось выступление Батая и Бретона. Но Бретон не пришел ни на это, ни на все последующие собрания, и к апрелю они с Батаем снова порвали друг с другом. Вплоть до начала 1936 г. Беньямину не удавалось завязать сколько-нибудь прочных связей с французским литературным миром. Однако при посредстве Батая и Клоссовски перед ним начали открываться более прямые и более ангажированные пути к миру радикальной мысли.

Благодаря кропотливому сотрудничеству Беньямина с Клоссовски французский перевод эссе о произведении искусства был готов к концу февраля 1936 г. Определенный интерес представляет то, как сам Беньямин оценивал перевод Клоссовски, а в свете продолжительного и трудного процесса редактирования, предпринятого институтом весной, обращают на себя внимание два момента: «Во-первых, то, что этот перевод чрезвычайно точен и в целом передает смысл оригинала. Во-вторых, то, что французский вариант нередко впадает в доктринерство, которое, как мне кажется, лишь изредка встречается в немецком варианте» (GB, 5:243–244). Французским представителем института в то время был социолог Раймон Арон, профессор Высшей нормальной школы, в этом качестве взявшийся за исправление перевода Клоссовски; по словам Беньямина, Арон

17. Ibid., 221–222.

воспринимал этот текст как перевод, носивший следы авторского участия, что не всегда шло ему на пользу. Поправки Арона были лишь первыми — и наиболее приемлемыми — из многочисленных изменений, внесенных в эссе после того, как оно было предъявлено для издания. В начале марта Хоркхаймер получил гневное письмо от Беньямина, обвинявшего Ганса Клауса Бриля, генерального секретаря парижского отделения института, в том, что тот за спиной автора внес в эссе о производстве искусства серьезные изменения. Цель поправок Бриля была ясна: он во многом смягчил откровенно политизированный язык эссе. Бриль начал с того, что вычеркнул весь первый раздел эссе с его призывами к радикальной политике, вдохновлявшимися радикальной эстетикой; более удивительными были последующие поправки, включая удаление слова «социализм». Беньямин заявлял, что «политический *groundplan*» эссе необходимо сохранить для того, чтобы оно обладало хоть какой-нибудь «информативной ценностью для авангарда французских интеллектуалов» (GB, 5:252). Эти слова самым красноречивым образом свидетельствуют о полном несовпадении представлений автора эссе и его издателя о том, для какой аудитории оно предназначалось. Беньямин, стремившийся расширить свой плацдарм в лагере эстетического левого радикализма, хотел писать полемическим и ангажированным языком; его замечания демонстрируют, насколько он отдалился от литературных фигур более традиционной, преимущественно левоцентристской ориентации, таких как Жид и Мальро, к которым его тянуло первоначально. Что же касается института, то он, явно не рассчитывая на особую терпимость французского государства к зарубежной публикации радикальной направленности, предпочитал иметь в качестве своей аудитории высококультурные леволиберальные круги.

Ответ Хоркхаймера на протесты Беньямина столь же показателен. Как мы сейчас знаем из переписки Хоркхаймера, он питал сомнения в отношении некоторых аспектов эссе с того самого момента, как впервые прочел его. В письме Адорно от 22 января он объяснял эти проблемы «материальными затруднениями, в которых он [Беньямин] оказался. Я готов испробовать все, чтобы помочь ему выбраться из них. Беньямин — один из немногих людей, чья интеллектуальная мощь возлагает на нас ответственность за то, чтобы не допустить их гибели»¹⁸. Пойдя на уступки по некоторым пунктам, Хоркхаймер все же категорически заявил Беньямину, что Бриль дей-

18. Adorno, Horkheimer, *Briefwechsel*, 165.

ствовал ответственно и исходил из четких указаний, полученных от Хоркхаймера. «Как вы сами подчеркиваете, вам известно наше собственное положение. Мы должны делать все, что только в наших силах, чтобы не позволить втянуть *Zeitschrift* как научное издание в политические дискуссии, ведущиеся в печати»¹⁹. Несмотря на то что претензии Беньямина однозначно отвергались в письме Хоркхаймера, тот все же счел нужным дополнить кнут пряником, заявив, что любые дальнейшие дискуссии об изменениях приведут к задержке с изданием эссе. Беньямин немедленно уступил, 28 марта телеграфировав Хоркхаймеру: «Изменения принимаются». Беньямин быстро осознал, что его попытки опубликовать эссе в приемлемой для него форме если не подрывают, то как минимум дестабилизируют его положение в институте, который был для него не только единственным источником финансовой поддержки, но и единственным надежным издательским каналом. Поэтому 30 марта он отправил Хоркхаймеру письмо, в котором уверял директора института, что сделает все, что в его силах, «чтобы вернуть... прежнее доверие со стороны института» (GB, 5:267).

После публикации эссе Беньямин не покладая рук старался найти для него широкую аудиторию, так как осознавал его потенциальный интерес для обширных читательских кругов. Стюарт Гилберт, в 1930 г. опубликовавший первое издание своего популярного комментария к «Улиссу» Джойса, искал в Лондоне английского переводчика; по-видимому, Беньямин познакомился с Гилбертом через Адриенну Монье. Кроме того, Монье обещала сделать все возможное, чтобы привлечь к эссе внимание парижской интеллигенции. Она написала письмо, в котором представляла Беньямина и его работу широкому кругу своих покупателей и знакомых, но этот план провалился из-за отказа института предоставить 150 оттисков эссе, требовавшихся Беньямину. Доводы института, изложенные Фридрихом Поллоком, весьма показательны:

Первоначально я был склонен содействовать удовлетворению вашего запроса на более крупный тираж и как можно более широкому распространению оттисков, поскольку полагал, что одновременно мы сможем использовать вашу работу в небольшой рекламной кампании журнала во Франции. Впоследствии я убедился в том, что был неправ. Ваше исследование является слишком смелым, а в отношении некоторых вопросов и слишком неоднозначным для того, чтобы распространять его таким целенаправленным образом от имени нашего журнала (цит. по: GB, 5:292n).

19. Хоркхаймер Беньямину, 18 марта 1936 г. Цит. по: GS, 1:997.

Можно себе представить, с каким недовольством Беньямин воспринял это заявление о смелости его эссе, но по-настоящему он был раздражен стремлением института откреститься от сделанных им «неоднозначных» выводов. Он отправил экземпляр эссе в Москву, Бернхарду Райху и Асе Лацис, надеясь найти там издателя, но ответ Райха был только что не враждебным: эссе Беньямина вызвало у него чувство «резкого отвращения»²⁰. Кроме того, Беньямин просил Грете Штеффин передать эссе крупному представителю советского авангарда и переводчику Брехта Сергею Третьякову.

В итоге оказалось, что Беньямин мог не переживать за судьбу своего эссе. Оно имело моментальный и большой успех и широко обсуждалось в Париже. Беньямин сообщал, что оно стало темой публичной беседы между философом Жаном Валем и поэтом Пьером Жаном Жувом (см.: GB, 5:352). В конце июня Андре Мальро привлек внимание к этой работе, в частности к теории рассеянного восприятия, которой посвящены ее последние страницы, в своем выступлении на лондонском съезде, собравшемся с целью начать издание новой энциклопедии искусств. Хотя на встрече с Беньямином, состоявшейся вскоре после возвращения Мальро из Англии, тот призывал его с большей полнотой раскрыть ключевые идеи эссе в его следующей книге, эта идея осталась неосуществленной. Сам Беньямин выступил с речью «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости» на дискуссионном вечере в кафе *Mephisto*, организованном 22 июня парижским отделением Лиги защиты немецких авторов за рубежом (*Schutzverband deutscher Autoren im Ausland*). Неделью спустя, на втором вечере, тезисы Беньямина о материалистической теории искусства обсуждались в широком кругу писателей-эмигрантов, а его друг, романист и критик Ганс Заль выступил перед аудиторией с длинным вступительным словом, посвященным работе Беньямина. В начале июля в письме Альфреду Кону Беньямин отмечал, что для него на этом вечере самым интересным было молчание присутствовавших на нем членов коммунистической партии (см.: С, 528–529).

Из числа первых отзывов на эссе Беньямин особенно обрадовался отзыву Альфреда Кона, который был впечатлен тем, «насколько органично эта работа выросла из твоих ранних произведений» (цит. по: GB, 5:328). Беньямин в своем ответе признавал преемственность своей работы с его «прежними

20. Бернхард Райх Беньямину, 19 февраля 1936 г. См.: Walter Benjamin Archive 1502–1503.

изысканиями, несмотря на ее новую и, несомненно, зачастую неожиданную направленность»; согласно его ключевой формулировке, он усматривал основу такой тематической преемственности в том, что на протяжении многих лет он «старался прийти ко все более точной и бескомпромиссной идее о том, что является произведением искусства» (С, 528). Для Китти Маркс-Штайншнайдер Бенъямин сочинил маленькую аллерию, в которой резюмируется то, как он ощущал свое текущее положение, и его отношение к аудитории его эссе о производстве искусства:

Между тем наступила весна; впрочем, маленькое деревце жизни не обращает внимания на времена года, не желает покрываться даже самыми мелкими почками и в лучшем случае приносит лишь крохотные плоды. Немногочисленные друзья природы обращают взгляды к последнему из их числа, который, конечно же, уже был обещан вам. Он прибудет к вам примерно через месяц в обличье франкоязычного текста. Что касается друзей природы, то это — небольшая группа, собравшаяся по воле случая. В ее состав входят несколько эмигрантов, один-два французских любителя, русский, в этих обстоятельствах лишь качающий головой, и несколько разнополых и разномастных индивидов, проявляющих любопытство не столько к плоду, сколько к самому деревцу (С, 524).

Хотя мысли Бенъямина и впредь занимал третий вариант его эссе, весной 1936 г. у него появилось больше времени для того, чтобы встречаться со старыми друзьями и заводить новые знакомства. Он часто виделся с юным Максимилианом Рубелем. Рубель изучал философию и социологию в Вене, где у него проснулся особый интерес к творчеству Карла Крауса, а затем в начале 1930-х гг. приехал в Париж, чтобы изучать в Сорбонне немецкую литературу. Бенъямин, вероятно, познакомился с ним через Вернера Крафта, хотя тот несколько не разделял пристрастия Рубеля и Бенъямина к эзотерике и радикальному марксизму. В 1936 г., в первый год гражданской войны в Испании, Рубель активно поддерживал испанских анархистов, а впоследствии стал видным специалистом по Марксу и истории марксизма и главным редактором собрания сочинений Маркса, вышедшего в издательстве *Pléiade*. Кроме того, той же весной у Бенъямина завязались сердечные отношения с богатой английской писательницей Энни Уинифред Эллермен, известной под псевдонимом Брайхер. В 1920-е гг. Брайхер, нередко в обществе своей любовницы, поэтессы Х.Д. (Хильда Дулитл), вращалась в окружении Джойса и в сообществе живших за границей американских интеллектуалов, включавшем Хемингуэя,

Гертруду Стайн, Беренис Эббот и Сильвию Бич. Брайхер проявила себя в качестве щедрой меценатки и оказывала серьезную поддержку книжному магазину Сильвии Бич «Шекспир и компания». Вместе со своим вторым мужем писателем и кинематографистом Кеннетом Макферсоном она редактировала киножурнал *Close Up* («Крупный план») и основала независимую кинокомпанию *POOL Productions*. Беньямин, зная о ее причастности к кино, презентовал ей экземпляр своего эссе о производстве искусства с посвящением: “à Mme Bryher en signe de s[es] sympathies dévoués hommage de l’auteur” («Госпоже Брайхер в знак искренней симпатии и почтения от автора»). Едва ли удивительно, что Брайхер проявила живой интерес к эссе и активно искала для него английского переводчика.

Весной Беньямин заводил друзей и находил интеллектуальных партнеров по всему Парижу. В апреле у него состоялась важная встреча с Фридрихом Поллоком, на которой Поллок объявил, что начиная с мая Хоркхаймер повышает размер стипендии Беньямина до 1300 франков в месяц — верный признак того, что тот снова был в милости у руководства института. На этой же встрече Беньямин согласился написать для *Zeitschrift* серию сообщений о французской литературе: в последующие годы он написал несколько таких сообщений и отправил их Хоркхаймеру, но они так и не были опубликованы. Кроме того, Беньямин и Поллок обсудили упорные попытки Беньямина организовать издание статей Хоркхаймера во Франции. Беньямин потратил огромное количество времени, пытаясь устроить перевод и издание сборника статей Хоркхаймера в *Nouvelle Revue Française* или у Галлимара, хотя в итоге из этого так ничего и не вышло. В мае Париж посетил Карл Тиме, и у Беньямина появилась возможность продолжить с ним беседы об искусстве. Одной из обсуждавшихся ими тем вполне могло стать творчество великого французского мастера гравюры Шарля Мериона (1821–1868), которого Беньямин открыл для себя в начале весны благодаря упоминанию у Бодлера, когда работал в Национальной библиотеке. Беньямина глубоко взволновали монументальные и атмосферичные гравюры Мериона с видами Парижа; вскоре после этого Мерион займет заметное место в исследовании о пассажах. Также в мае через Париж проезжал протестантский теолог Пауль Тиллих, и Беньямину удалось поговорить с ним. Тиллих, являвшийся выдающимся представителем религиозного социализма, в 1933 г. лишился должности профессора теологии при Франкфуртском университете и принял приглашение Рейнхольда Нибура вступить в число преподавателей Федерального теологического семинара в Нью-Йорке.

Еще до отъезда из Франкфурта он был научным руководителем Адорно, когда тот работал над реабилитационной диссертацией о Кьеркегоре, и в следующие годы Адорно и Гретель поддерживали с ним тесный контакт.

Весной Бенъямину удалось улучшить отношения с Шолемом. Раздражение Бенъямина за зиму так и не утихло, но 19 апреля Шолем наконец написал ему, объясняя, что его видимое пренебрежение старой дружбой было следствием эмоциональной травмы, вызванной разводом с женой и необходимостью взять на себя ответственность за содержание двух семей. Жена Шолема Эша бросила его ради философа Гуго Бергмана (1883–1975), который до отъезда в Палестину из Праги дружил с Францем Кафкой и Максом Бродом. После этого объяснения отношения между Бенъямином и Шолемом вернулись на достаточно высокий уровень, хотя первоначально в них еще ощущалось напряжение. В своем письме от 2 мая Бенъямин не без остроумия взывает к благородному аспекту их отношений, оказавшемуся под ударом: «Даже если наша переписка в эти последние месяцы поживала не сильно лучше, чем ты, то по крайней мере ты не можешь не засвидетельствовать, что я проявлял терпение. И оно не было тщетным, если она постепенно возвращается к чему-то, напоминающему ее прежнее состояние. Именно поэтому мы оба должны надеяться на то, что духи нашего существования и нашей работы, имеющие право на участие в нашем диалоге, не останутся в вечном ожидании на пороге» (BS, 178).

Все, что он слышал от Шолема и от Китти Маркс-Штайншайндер о ситуации в Палестине, вызывало у него глубокую тревогу. Постоянные вооруженные столкновения между палестинцами и евреями на глазах у британских сил безопасности, соблюдавших нейтралитет, приводили в беспокойство даже самых оптимистически настроенных сионистов. Позиция Бенъямина по отношению к Палестине, как всегда, была неоднозначной и весьма своеобразной: «Разумеется, существуют вопросы, которые трудно сформулировать. Ибо меня всегда интересовало одно и то же: во что выливаются надежды, порождаемые Палестиной, если не считать того, что она дает скромные средства к существованию десяти тысячам — хорошо, пусть даже сотне тысяч — евреев. И еще неизвестно, не обернется ли эта ситуация при всей ее безусловной значимости новой и катастрофической угрозой в придачу ко всем прочим угрозам, нависшим над иудаизмом» (С, 526). Само собой, тревожные вести приходили не только из Палестины. В датированном 14 апреля письме Альфреду Кону, остававшемуся в Барселоне, Бенъямин совершил одну из редких измен своему принципу воздерживаться от пря-

мых комментариев по поводу текущей политики. В любом случае, в 1936 г. злободневным вопросом являлась роль Народного фронта: в начале года Народный фронт победил на выборах в Испании, что привело к формированию в стране республиканского правительства, а в мае 1936 г. Народный фронт одержал победу и на выборах во Франции, следствием чего стало создание правительства во главе с Леоном Блюмом. Даже опасная ситуация в Европе не смогла заставить Беньямина умерить свою неприязнь к этому скомпрометировавшему себя сорту социализма. Его язвительные отзывы на предвыборные плакаты французского Народного фронта выдают презрение не только к его политике, но и к эстетике его присутствия в СМИ: «На предвыборном плакате... Французской коммунистической партии изображены женщина, сияющая материнским счастьем, пышущий здоровьем паренек и мужчина — можно даже сказать, господин — с жизнерадостным и уверенным выражением лица: великолепный образ семьи, глава которой не несет в своем облике ни малейшего намека на принадлежность к пролетариату» (ГВ, 5:271). И все же самым тяжелым было известие о том, что его брат Георг снова был арестован, причем Хильде Беньямин с величайшим трудом удалось найти адвоката, который бы представлял его на суде.

Имея в своем распоряжении больше времени, Беньямин получил возможность предаваться своим старым литературным пристрастиям. Он вновь открыл для себя «свободу получать простое удовольствие от чтения, не замутненное какими-либо литературными соображениями. А поскольку важную — весьма важную — роль в простых удовольствиях всегда играют личные вкусы, рекомендации в отношении такого чтения ничуть не надежнее, чем рекомендации в кулинарной сфере» (С, 525). Тремя такими «блюдами» были новейшие детективные романы Сименона, которые Беньямин рекомендовал нескольким друзьям в качестве лучшего средства от «мрачных часов». Также он сообщал, что с большим интересом читает *Pièces sur l'art* Поля Валери и Генриха Гейне. Примечательно не то, что Беньямин читал Гейне, примечательно то, что он лишь сейчас открыл в нем нечто близкое себе, тем более что ему было прекрасно известно о своем отдаленном родстве с великим поэтом. В Гейне, одном из важнейших немецких авторов XIX в., радикальные настроения сочетались с утонченностью и скептицизмом, присущими Старому Свету. Именно он несет основную ответственность за то, что немецкий литературный язык отказался от эзотерического и высокопарного романтического слога в пользу более легкой, светской и иронической тональности. Хотя во времена

Беньямина Гейне по-прежнему был известен главным образом как поэт, Беньямин в типичной для него манере взял на заметку иные стороны его творчества. Гейне поднял колумнистику и даже газетные репортажи до уровня искусства. Уже будучи подозрительной фигурой вследствие своего еврейского происхождения, он был изгнан из Германии после того, как восторженно поддержал революцию 1830 г.; в 1831 г. он перебрался в Париж и после этого до конца своей жизни побывал в Германии всего два раза. Начиная с 1832 г. Гейне являлся парижским корреспондентом *Augsburger Allgemeine Zeitung* — в то время наиболее популярной немецкой газеты. В посылавшихся им корреспонденциях сообщения об Июльской монархии во Франции перемежаются язвительными замечаниями по поводу политических репрессий в родной стране; эти письма в том же году были изданы отдельной книгой под названием *Französische Zustände* («Ситуация во Франции»), которая тут же попала под запрет в Пруссии и Австрии. И теперь в центре внимания Беньямина оказались именно эти мудрые политические фельетоны, написанные почти 100 лет назад немецким евреем, проживавшим в изгнании в Париже.

Беньямин, по большей части вынужденный существовать на окраинах французской интеллектуальной жизни, все же мог обращаться — тактично, но с неподдельной проницательностью и не меньшей язвительностью — к творчеству своих немецких друзей и коллег. В обширном комментарии к эссе, написанном Адорно в память об Альбане Берге, Беньямин с большой похвалой отзывается о дани, продуманно воздаваемой его другом великому композитору, который был его учителем, и в то же время в комментарии Беньямина то и дело звучат отголоски его собственных работ: так, фраза «дружелюбие людоеда» взята из эссе о Карле Краусе. Также в июне Беньямин с энтузиазмом откликнулся на предложение вычитать гранки работы Адорно «О джазе». Это эссе, одно из самых противоречивых у Адорно, подвергает убийственной критике джазовую музыку как эстетическую форму, вносящую гармонию в ситуацию конфликта и способствующую сохранению структур господства. Беньямин сразу же распознал параллели между тем, как Адорно воспринимает джаз эпохи свинга, и критическими аспектами своего эссе о произведении искусства, в первую очередь параллель между принципом синкопы в джазе и эффектом шока в кино: «Удивит ли вас, если я скажу вам, в какую необычайную радость меня привело открытие такой глубокой и спонтанной внутренней связи между нашими мыслями? И вам не нужно уверять меня, что эта связь существовала еще до того, как вы ознакоми-

лись с моей работой о кино. В вашем подходе к теме заметна та мощь и оригинальность, которую обеспечивает лишь проявление абсолютной свободы в ходе творческого процесса — свободы, чье практическое выражение в обоих наших случаях лишь подтверждает глубокое соответствие между моими и вашими представлениями о мире» (ВА, 144). Существенно то, что Беньямин обходит молчанием полное несоответствие между направленностью своего эссе и эссе Адорно: в то время как Беньямин приписывает кино революционный потенциал, Адорно исключает всякую возможность найти в джазе какую-либо искупительную силу.

Еще более интересна реакция Беньямина на эссе Лео Левенталя о натурализме, опубликованное в *Zeitschrift*, поскольку она дает нам возможность заглянуть в литературную мастерскую Беньямина. Левенталь подготовил свое эссе для издания в *Zeitschrift*, но оно вызвало неоднозначные отзывы; после того как оно подверглось серьезной переделке, в дискуссию был втянут и Беньямин. Его переписка с Левенталем вскоре превратилась в литературную дискуссию, в ходе которой Беньямин выдвинул теорию, «конкурировавшую» с идеями Левенталя о натуралистическом движении. Беньямин, как и в синопсисе исследования о пассажах, подчеркивал, что каждая историческая эпоха скрывает в себе типы поведения и производственные структуры и тенденции, которые остаются неосознанными. И задача критика состоит не только в исследовании тех саморепрезентаций, которые сознательно порождает прошлое, но и в выявлении тех «угрожающих или многообещающих образов будущего», которые бессознательно обитали в прошлом, подобно снам. Согласно точке зрения Беньямина, Левенталь понимал натурализм слишком буквально, ограничиваясь теми представлениями об обществе, которые непосредственно прочитываются в его литературных произведениях. Беньямин же имеет в виду тот натурализм, чьи образцы намного превосходят теории, которые как будто бы служат им основой. Согласно обрисованной им новой истории литературы, первая волна натурализма (в которую он включает и Флобера) стремилась не столько дать критику современного общества, сколько выявить «„вечно“ разрушительные силы в действии». Беньямин утверждает, что на пике этого движения, у Ибсена, оно было нерасторжимо связано с современным ему моментом в изобразительном искусстве, то есть с югендстилом. И именно здесь, по мнению Беньямина, скрывается реальное достижение Левенталя. Не называя югендстиль по имени, Левенталь указывает ряд его характерных черт, включая концепцию жизни, несущей

в себе потенциал к омоложению и представление о «преобразенном» естественном пространстве. И натурализм, и югенд-стиль «свидетельствуют» о глубоком историческом конфликте внутри буржуазии. Этот конфликт представлен теми персонажами в поздних пьесах Ибсена, которые «выбегают на сцену (оборванные, пролетаризированные интеллектуалы)», а к концу сцены «с такой готовностью тычут пальцами в фата-моргану свободы в пустыне современного общества. Вообще говоря, те, кто тонет [*Untergehende*] — вовсе не те, кто выплывает [*Übergehende*] (какими они могли бы показаться Ницше). Однако на своем пути в ничто они проходят через ряд переживаний, которые не должны быть потеряны для человечества. Они предвидят, пусть очень смутно, участь класса, из которого они вышли... Во многих течениях натурализма человеческая природа буржуазного гражданина борется с неизбежностью, перед которой она капитулировала только в наши дни» (GB, 5:298–299). Эта типичная для Беньямина масштабная и наводящая на размышления оценка в итоге почти не сказалась на содержании эссе Левенталя, которое было опубликовано в *Zeitschrift* ближе к концу года под названием *Das Individuum in der individualistischen Gesellschaft. Bemerkungen über Ibsen* («Индивидуум в индивидуалистическом обществе. Замечания об Ибсене»).

Беньямин, возбужденный теоретическими инициативами, поднятыми в эссе о произведении искусства, сильнее, чем когда-либо прежде, стремился вернуться к исследованию о пассажах. Тем не менее он по-прежнему ощущал необходимость писать случайные и заказные тексты, которые могли быть быстро опубликованы. Но даже эта обязательность имела свои пределы. Он снова положил в самый долгий ящик эссе о Фуксе и взялся за статью, заказанную журналом Фрица Либа *Orient und Occident* — статью о русском писателе Николае Лескове. Швейцарский теолог Фриц Либ (1892–1970), написавший диссертацию о Франце фон Баадере, в 1933 г. лишился профессорской должности в Базеле. В том же году он уехал во Францию и в 1930-е гг. стал главным оппонентом Беньямина в дискуссии по проблемам христианской теологии — «одним из лучших людей из тех, с кем я здесь познакомился» (С, 525). У Либа и Беньямина был назначен *jour fixe*: по четвергам они встречались в кафе «Версаль». Появившееся в итоге на свет эссе «Рассказчик» остается одной из наиболее известных работ Беньямина, хотя сам он, по всей видимости, не предавал ей какого-либо особого значения.

Эссе «Рассказчик. Размышления о творчестве Николая Лескова», формально представляя собой работу о творчестве срав-

нительно малоизвестного современника Толстого и Достоевского, начинается с общего постулата, сопоставимого с тем, который несколькими месяцами ранее прозвучал в эссе о произведении искусства, — постулата о том, что «опыт теряет ценность... Потому что никогда еще опыт не был таким обманчивым, какими были стратегия позиционной войны, инфляция в экономике, опыт военных будней и безнравственности властителей. Поколение, которое ездило в школу еще на конке, оказалось под открытым небом, среди природы, где все, кроме облаков, переменилось, а под ними в силовом поле разрушительных потоков и взрывов крошечная хрупкая фигурка человека» (SW, 3:143–144; Озарения, 346). Однако если эссе о произведении искусства уверенно смотрит в будущее, в сторону становящегося все более технологичным медийного пейзажа, то «Рассказчик» в суровой элегической манере оглядывается в прошлое, на упадок искусства устного рассказа и все, что из этого вытекает. Беньямин утверждает, что человечество утратило искусство устной передачи опыта, о котором идет речь во вступительном разделе эссе. «Потребность обмена опытом» ослабевает. Если традиционная функция рассказчика в обществе состояла в том, чтобы давать «совет» своим слушателям, то эта функция отмирает наряду с чувством принадлежности к сообществу, поскольку «ни себе, ни другому мы не можем теперь ничего посоветовать» (SW, 3:145; Озарения, 348). Роман как литературная форма, опирающаяся на изобретение печатного станка, родился в эпоху утраты устной традиции и распада ремесленного сообщества, которому та служила; роман пишется индивидуумом, чтобы его читали наедине другие индивидуумы, и в отличие от анонимно рассказываемых народных сказок обычно касается внутренней жизни индивидуумов в конкретный момент времени и в конкретном месте.

Показав, что две наиболее типичные современные прозаические формы — роман и газета — по-разному враждебны атмосфере устного рассказа, Беньямин подходит к ключевой теме эссе — теме смерти. По мере того как современное общество выводит феномен смерти и умирания не только на окраину социального пространства, но и на окраину сознания, рассказчик теряет моральный авторитет. «Дело в том, что не знание и мудрость человека, а прежде всего прожитая им жизнь... получает смысл традиции на смертном одре» (SW, 3:151; Озарения, 353–354). Глубокий нигилизм этой идеи, свидетельствующий о силе смерти над временем, подводит нас к еще одной параллели с эссе о произведении искусства: упадок устного рассказа влечет за собой отмирание особой мнемоники. В отличие

от «лишенного всяких красок» света традиционной историографии с возложенным на нее бременем *объяснения* искусство устного рассказа с его концентрированной «всхожестью» показывает и *интерпретирует* «великое, непостижимое движение жизни», которое в прочих отношениях остается «вне каких-либо собственно исторических категорий» (SW, 3:152–153; Озарения, 355–356). Наконец, эта фиксация непостижимого «движения жизни» является одним из аспектов того, что в книге о барочной драме было впервые названо «естественной историей». На последних страницах эссе, где Беньямин приводит слова из «Наследия нашей эпохи» Блоха о волшебной сказке и легенде, он возвращается к одной из своих больших тем начала 1920-х гг. — проблеме тварности. Лесков в конечном счете стоит рядом с Кафкой как автор, способный проникать взором в мифический, изначальный тварный мир, который все время грозит снова поглотить нас. Даже в обличье современной литературы, но со своим сконцентрированным размахом, на который никогда не была способна ни одна форма информации, устный рассказ служит средством передачи стихийной мудрости и дает действительно полезное представление об иерархии тварного мира, «вершину которого составляют праведники, [и который] имеет много ступеней вниз, в неживое» (SW, 3:159; Озарения, 362). Эта способность поведать «о своей жизни», то есть донести ее до слушателя в сконцентрированной и очищенной форме, и является даром, которым обладал Лесков.

Если в прошлом эссе о произведении искусства Беньямин нередко критиковали за его необоснованный оптимизм, то «Рассказчик» создавал у всех впечатление, что Беньямин охвачен ностальгией по былому. Такое мнение не учитывает поразительной способности Беньямина ставить едва ли не любой заказ на службу собственным целям. В эссе о Лескове Беньямин поднимает тему, на первый взгляд чрезвычайно далекую от расцвета городского товарного капитализма в Париже, и увязывает ее с характерной для него проблематикой средств коммуникации и жанровых форм в их связи с вопросом человеческого опыта. Не исключено, что эссе о Лескове оказало бы более значительное влияние на современников, если бы Жан Кассу, редактор журнала *Europe*, проникся замыслом Беньямина опубликовать его во французском переводе. Беньямин взялся за перевод сам, но он так и не вышел при его жизни²¹.

21. Собственноручно выполненный Беньямином перевод его эссе *Le Narrateur*, заверченный летом 1937 г. и впервые опубликованный в 1952 г. в *Mercure de France*, см. в: GS, 2:1290–1309.

Наряду с этим текстом Беньямин написал для *Zeitschrift* несколько книжных рецензий на темы, по-прежнему вызывавшие у него интерес: барокко, массовая литература (готическая проза), романтизм и роман (Стендаль, Гофмансталь, Пруст и Джойс)²². Конец весны и начало лета принесли с собой обещание новых возможностей. В начале мая Беньямин получил от своего друга Виланда Херцфельде предложение вести регулярную колонку о французской литературе в новом журнале *Das Wort*, который предполагалось издавать в Москве. Херцфельде не входил в его редколлегию (которую составляли Брехт, журналист и романист Вилли Бредель и романист Лион Фейхтвангер), но принимал активное участие в основании журнала. На состоявшейся в июне встрече с Марией Остен (Марией Грессхенер), исполнявшей обязанности московского координатора журнала, Беньямин дал свое формальное согласие и тут же обратился к Вилли Бределю с просьбой об авансе. В итоге он написал для журнала одну колонку о французской литературе, но она осталась неопубликованной. В июне берлинский знакомый Беньямина Харальд Ландри обратился к нему с просьбой дать материал в новый журнал *Vox Critica*. В Берлине Ландри сотрудничал как литературный критик с *Berliner Zeitung* и *Vossische Zeitung*, а затем эмигрировал в Лондон, где работал на Би-би-си. Писатель Ганс Арно Иоахим, с которым Беньямин водил знакомство в Париже, порекомендовал Ландри его эссе о произведении искусства. Разумеется, Беньямин по-прежнему горел желанием увидеть свое эссе опубликованным по-немецки или по-английски, но на просьбу Ландри предоставить его сокращенный вариант ответил, что сократить эссе невозможно. В итоге этот проект, как и многие другие литературные проекты тех лет, окончился ничем. Пожалуй, самое увлекательное из новых предложений поступило от Адорно. В конце мая Адорно подал Хоркхаймеру идею о том, что на страницах *Zeitschrift* было бы очень уместно эссе о Бодлере и социальной теории неоромантизма. Кроме того, он предложил, чтобы такое эссе было заказано Беньямину, а может быть, вызвался наряду с Беньямином стать его соавтором. В ходе дискуссий о пасса-

22. В *Zeitschrift für Sozialforschung* за 1937 г. Беньямин рецензирует следующие книги: Helmut Anton, *Gesellschaftsideal und Gesellschaftsmoral im ausgehenden 17. Jahrhundert* (Breslau, 1935); Hansjörg Garte, *Kunstform Schauerroman* (Leipzig, 1935); Oskar Walzel, *Romantisches. I. Frühe Kunstschau Friedrich Schlegels. II. Adam Müllers Ästhetik* (Bonn, 1934); Alain, *Stendhal* (Paris, 1935); Hugo von Hofmannsthal, *Briefe 1890–1901* (Berlin, 1935); Hermann Blacker, *Der Aufbau der Kunstwirklichkeit bei Marcel Proust* (Berlin, 1935); Hermann Broch, *James Joyce und die Gegenwart: Rede zu Joyces 50. Geburtstag* (Vienna, 1936). Эта рецензия переиздана в: GS, 3:511–517.

жах Адорно начал осознавать ключевую роль Бодлера во всей концепции Беньямина; предполагаемое эссе, в частности, было призвано ускорить работу над его главным проектом. Письмо Адорно знаменует собой поворотный пункт в изысканиях о пассажах. После того как Беньямин восторженно откликнулся на это предложение, Хоркхаймер и Адорно начали подумывать уже не только об эссе, но и о целой книге о Бодлере в качестве частичного итога многолетних исследований о Париже XIX в.

С каналами для публикации главных работ Беньямина — и в первую очередь «Берлинского детства на рубеже веков» — дело по-прежнему обстояло неважно. Франц Глюк, брат его друга Густава, искал подходящих издателей в Вене; Беньямин написал ему, выражая свою благодарность, но в то же время подчеркивая, насколько важен для него этот автобиографический текст. «Какой бы насущной ни была стоящая передо мной задача добывать средства к существованию при помощи литературного творчества, — заявлял Беньямин, — конкретно в случае этой рукописи любые материальные соображения стоят для меня на последнем месте» (GB, 5:227).

Во время работы над эссе о произведении искусства Беньямин еще был относительно здоров и эмоционально стабилен. Хотя в феврале его донимал ревматизм, с октября 1935 г. по май 1936 г. в его письмах не встречается обычных для него сетований. Однако по мере приближения лета старые демоны вновь стали одолевать его, и его реакция была такой же, как на протяжении пятнадцати лет: он ощутил в себе отчаянное желание путешествовать. Охватившая его тяга к странствиям на этот раз была особенно сильной, тем более что практически весь 1935 г. он провел в Париже. «После того как исчезло давившее на меня столько времени бремя, вызванное моим финансовым положением, — писал он Адорно в начале июня, — я столкнулся с проблемой, отнюдь не удивительной в этих обстоятельствах: в состоянии расслабленности у меня начали сдавать нервы. У меня возникло чувство, что все мои внутренние резервы исчерпаны. Кроме того, начинает сказываться и то, в каких условиях мне пришлось целый год безвылазно прожить в Париже. Я понял, что нужно что-то предпринять ради восстановления душевного здоровья» (BA, 139). К концу июня Беньямин набрался решимости отправиться в путь, но по-прежнему не знал, что будет лучше: поехать к Кону в Барселону или к Брехту в Сквовсбоstrand. Как всегда, на его решение повлияли и финансовые, и интеллектуальные соображения. Поездка в Барселону дала бы ему возможность посетить конференцию в Понтиньи, где он мог бы принести пользу Хоркхаймеру и институту, в то время как пре-

бывание в Дании позволило бы — благодаря Брехту — укрепить отношения с *Das Wort*, выглядевшие многообещающими с издательской точки зрения. Постройки древнего аббатства Понтины на северо-западе Бургундии, купленные в 1909 г. журналистом и профессором Полем Дежарденом, были превращены им в место регулярных встреч интеллектуалов, известных как «Декады в Понтины»; они ежегодно проводились с 1910 по 1914 г., а затем с 1922 по 1939 г. Их программа предусматривала выступления писателей, профессоров и ученых — по одному в день — и последующие дискуссии; в число участников декад входили Жид, Роже Мартен дю Гар, Жак Ривьер, Генрих и Томас Манны и Т. С. Элиот. Увидев в этом мероприятии еще одну возможность держать Хоркхаймера в курсе событий во французском интеллектуальном мире, Беньямин вызвался присутствовать в Понтины в качестве представителя института и написать соответствующий отчет.

Но в итоге Беньямин все-таки предпочел отправиться в Данию к Брехтам, надеясь, что ему удастся отдохнуть в Сксовбостранде, а затем побывать и в Понтины. Он отбыл из Парижа 27 июля. Как и двумя годами ранее, на борту судна он встретил знакомого — писателя и журналиста Густава Реглера. Тот с 1928 г. был членом Германской коммунистической партии и по большей части жил в Советском Союзе, куда и направлялся в тот момент. Беньямин услышал от него довольно мрачный рассказ о съезде писателей-антифашистов, состоявшемся той весной в Лондоне. Прибыв в Сксовбостранд в начале августа, Беньямин быстро занял свое прежнее место в сложном окружении Брехта. Он снял комнату в одном из соседних домов и присвоил уголок в саду Брехта в качестве своего рабочего места, вставая из-за стола ближе к вечеру, после чего начинались его обычные беседы с Брехтом и игра в шахматы. Беньямин редко одерживал в них победу, но они превратились в символическое поле, на котором самым дружеским образом разыгрывалось их с Брехтом интеллектуальное соперничество и раскрывались их интеллектуальные разногласия. «Я купил здесь всего за 10 крон замечательный набор фигур, — хвастался Брехт Маргарете Штеффин, — таких же больших, как у Беньямина, и даже красивее, чем у него!»²³. Как указывает Эрдмут Визисла, сочиненная Брехтом короткая эпитафия «Вальтеру Беньямину, убившему себя, спасаясь от Гитлера» — одно из четырех стихотворений, которые он написал в память о Беньямине в 1941 г., с запоздани-

23. Цит. по: Wizisla, *Walter Benjamin and Bertolt Brecht*, 59; Визисла, *Беньямин и Брехт*, 123.

ем узнав о смерти своего друга, — основывается на воспоминаниях об их игре в шахматы²⁴:

Ты любил прибегать к тактике истощения,
Сидя за шахматной доской в тени груши.

Беньямин вскоре вновь приобщился к тем ритуалам, которые скрепляли маленькое общество: обменом книгами и мелкими подарками, включая и редкие марки для детей. В архиве Брехта сохранился один из таких подарков — книга Бальтазара Грасиана «Искусство мирской мудрости» (1647) в издании 1931 г., которую Беньямин вручил другу по случаю одного из его визитов. Беньямин уже давно испытывал искушение написать эссе об этой книге, сочиненной испанским иезуитом и чрезвычайно импонировавшей ему своим критическим материализмом и афористическим изяществом. Вручая книгу Брехту, Беньямин избрал в качестве дарственной надписи припев из «Песни о тщете человеческих усилий» из «Трехгрошовой оперы»: «В человеке скуден хитрости запас».

Так Беньямин снова осел в датской деревне, хотя за ее пасторальными красотами и гостеприимством его друзей скрывался злоеущий фон. «Жизнь здесь столь благотворна и полна такого дружелюбия, что ты каждый день задаешься вопросом: долго ли это будет продолжаться в этом уголке Европы?» (ГВ, 5:362). Такие мысли в немалой мере навевала гражданская война, начавшаяся в Испании. «С очень странным чувством, — писал он Альфреду Кону, — я прочел сегодня в газете, что Ибицу бомбили» (ГВ, 5:349). Несомненно, речь шла об атаке республиканских ВВС на позиции фалангистов, поскольку у мятежников еще не было своих самолетов. События на Ибике стали предвестием судьбы, ожидавшей в Испании многих эмигрантов-евреев: пока остров контролировали фалангисты, они арестовали ряд еврейских семей и выслали их в Германию. Соответственно, к тревоге за свою собственную семью и брата у Беньямина присоединилось беспокойство за Альфреда Кона с семейством, находившихся в Барселоне. Вскоре после начала испанской гражданской войны, 25 июля, Коны отправили своих детей к сестре Альфреда Юле и ее мужу Фрицу Радту, которые жили под Парижем в Булонь-сюр-Сен. Сам Кон и его жена остались в Испании, опасаясь лишиться того имущества, которое еще у них оставалось. А в августе окружение Брехта было поражено — и приведено в ужас — дошедшими из Москвы известиями о начавшихся там показательных процессах.

24. Ibid.; там же.

В Дании Беньямин воссоединился не только со своими друзьями, но и с частью своей библиотеки, которую удалось вывезти из Берлина, — к этому воссоединению он тоже часто стремился и о нем же в дальнейшем еще будет мечтать в Париже. Понукаемый дебатами с Брехтом, нередко принимавшими бурный характер, он продолжал работать над своим эссе о производстве искусства: по его позднейшим оценкам, к моменту его отъезда из Дании оно выросло в объеме едва ли не на четверть. Несмотря на разногласия с Беньямином, Брехт осознавал значение его эссе и навязывал его московским членам редколлегии *Das Wort*. Из этих попыток ничего не вышло, но в начале августа Беньямин получил волнующее и обнадеживающее известие: издательство *Vita Nova* из Люцерна заинтересовано в издании составленного им сборника 26 писем выдающихся немцев за 1783–1883 гг. вместе с написанными им вступительными заметками.

Ознакомившись с этим сборником в конце весны, Карл Тиме отозвался о нем с неподдельным энтузиазмом, назвав этот текст «совершенно поразительным» (цит. по: GB, 5:330n). Он же предложил тонкий ход: если найти издателя в Швейцарии и опубликовать книгу под псевдонимом, снабдив ее достаточно невинным названием, то она будет вполне способна проникнуть на немецкий рынок. Вскоре усилия Тиме принесли плоды. Глава издательства *Vita Nova* Рудольф Ресслер был еще одним изгнанником из Германии, входившим в различные антифашистские круги, а впоследствии работавшим на советские спецслужбы; он уже издавал Карла Левита, Пауля Ландсберга и Николая Бердяева. Некоторые из отобранных Беньямином писем и один из вариантов написанного им предисловия уже были опубликованы под псевдонимом в нескольких номерах *Frankfurter Zeitung* в 1931–1932 гг. Вскоре после этого Беньямин попытался найти издателя для антологии, включавшей уже 60 писем. Книга, изданная в *Vita Nova* под заголовком *Deutsche Menschen* («Люди Германии»), предложенным издателем, вышла в свет в ноябре — быстрее, чем какая-либо другая книжная публикация Беньямина. Сам он выбрал для этого издания псевдоним, которым чаще всего пользовался с 1933 г., — Детлеф Хольц. Ему пришлось поспешно отправить Вилли Бределю просьбу вычеркнуть его имя из готовящегося к изданию номера *Das Wort*, где под его собственным именем должно было появиться письмо Иоганна Готфрида Зойме и его предисловие, идентичные соответствующим текстам из «Людей Германии»: это привело бы к раскрытию псевдонима, что могло бы иметь катастрофические последствия.

Хотя Ресслера больше интересовали сами письма, чем сопроводительные комментарии, Беньямин убедил его снабдить книгу новым предисловием и полностью напечатать вступительные заметки к отдельным письмам, которые Ресслер хотел сократить, чтобы они содержали только биографическую информацию. После недолгого дружелюбного торга Беньямин мог с удовольствием сообщить, что его предисловия с их «особенно живым тоном», который он считал необходимым дополнением к «мужественному и решительному» в своей массе языку писем, встанут в один ряд с его прозой прежних дней (см.: GB, 5:345). При издании книги были приняты особые меры к тому, чтобы закамуфлировать какие-либо намеки на политическую нежелательность содержимого антологии; помимо арийского псевдонима, под которым скрывался составитель, и патристически звучащего названия для обложки был выбран готический шрифт. Как и предвидел Беньямин, книга хорошо раскупалась. Она получила в целом благоприятные отзывы (один из рецензентов назвал ее «произведением литературного виртуоза») и в 1937 г. вышла вторым изданием, прежде чем в следующем году была замечена цензорами и попала в список книг, запрещенных нацистским министерством пропаганды.

Ни «Люди Германии», ни серия писем, опубликованных в *Frankfurter Zeitung*, не были первой попыткой Беньямина составить антологию писем. Он еще в 1925 г. получил заказ от издательства *Bremer Presse* на составление антологии произведений Вильгельма фон Гумбольдта, которая должна была содержать ряд писем. В 1932 г. Беньямин с Вилли Хаасом опубликовал в *Frankfurter Zeitung* серию отрывков из прозаических текстов немецких авторов под названием «От гражданина мира к высшей буржуазии». Это собрание прозаических отрывков из Якоба Гримма, Иоганна Готфрида Гердера, Отто фон Бисмарка, Людвига Берне и Якоба Буркхардта, а также Канта, Гегеля, Гёте и Гейне своей формой явно предвещало «Людей Германии», хотя лишь немногие из отобранных для него текстов были письмами. Более того, составленная Беньямином «книга писем» имеет структурное родство с такими «монтажными книгами», как «Улица с односторонним движением» и «Берлинское детство на рубеже веков». В своем предисловии Беньямин утверждает, что письма, вошедшие в книгу, охватывают целое столетие — с 1783 по 1833 г.; более того, по его словам, при составлении книги он придерживался «хронологического» принципа. Ни одно из этих заявлений не подтверждается содержимым книги. Хотя письма и комментарии Беньямина в целом соответствуют обозначенному периоду и размещены более

или менее в хронологическом порядке, самое раннее письмо в подборке на самом деле датировано 1767 г., а первым в книге помещено письмо, написанное в 1832 г.; следующим идет письмо 1783 г. Некоторые из писем Беньямин не датирует, тем самым маскируя то, что они выбиваются из хронологической последовательности. Более того, маскировка представляет собой одну из отличительных черт сборника: даже то, что он выдержан в духе несомненного классицизма — по сути, в его состав включены письма большинства ключевых культур немецкого культурного канона, — в данном случае представляет собой отвлекающий маневр, маскирующий скрытую атаку на испорченность и самодовольство. Разумеется, отчасти таким камуфляжем книга была обязана Ресслеру, вследствие политических и финансовых соображений надевавшемуся на хорошие продажи. Стратегии самого Беньямина были одновременно и более тонкими, и более подрывными.

Для собранных в книге писем характерна заметная автобиографическая струя, включающая темы лишений, изгнания, кризиса и того, что Ницше называл *amor fati*. Адорно, прочитавший книгу от первой до последней строчки за одну ночь сразу же после того, как получил ее в начале ноября, отмечал, что был поражен «источаемым [ею] чувством скорби» (ВА, 159); от каждой ее страницы веет такой печалью, что «Людей Германии» можно принять за продолжение «Происхождения немецкой барочной драмы». В обоих текстах находит выражение метафизическая теория «истории в настоящем», в своих основах восходящая к таким ранним работам Беньямина, сочиненным под влиянием Ницше, как «Метафизика молодости» и «Жизнь студентов». Сборник писем был составлен в то время, когда Беньямин оттачивал идею о том, что некоторые исторические периоды связаны друг с другом объективными структурами — речь идет о существовании некоего «исторического принципа», благодаря которому эпохи, разделенные большими промежутками времени, тем не менее могут оказаться синхронными. Тема «истинного гуманизма», разумеется, всегда присутствовала в текстах Беньямина, как и соответствующий вывод о том, что современная Германия была готова заменить его антигуманизмом. «Люди Германии», изданные после берлинской Олимпиады 1936 г., напоминали о другой Германии, в которой отношения между людьми могли основываться если не на мире, то по крайней мере на учтивости, дружелюбии и возможности совместной скорби. Тем не менее подрывные стратегии Беньямина не ограничиваются противопоставлением более достойных традиций нынешней испорченности. На экземпляре «Людей Герма-

нии», отправленном Шолему, Беньямин сделал такую надпись: «Не найдешь ли ты, Герхард, для воспоминаний твоей юности каморку в этом ковчеге, который я построил, когда начался фашистский всемирный потоп?» (SF, 202; ШД, 329–330). Слово «ковчег» (*Arche*) в этом посвящении — не только судно, ставшее для Ноя спасением от потопа, но и греческое *arkhē* — «начало». Глубочайший импульс к спасению — типичное беньяминовское понятие — скрывается не столько в идеях, выраженных в этих письмах, при всем их глубочайшем гуманизме, а в языке текста, созвучном исторической эпохе. Как всегда у Беньямина, истина оказывается скрытой в слое определенных слов, существующих в определенном контексте, и он явно надеялся, что в некоторых читателях из Третьего рейха встреча с языком их давно усопших соотечественников разбудит те искры узнавания, которые ведут к сопротивлению. Впоследствии Беньямин писал Францу Глюку, что «Берлинское детство» и «Люди Германии» подобны соответственно субъективным и объективным аспектам одного и того же вопроса (GB, 5:423).

Одновременно с переговорами о том, в каком виде будут изданы «Люди Германии», и о соответствующих финансовых условиях Беньямин работал над отчетом о текущем состоянии французской литературы, заказанным редколлегией *Das Wort*. Темой отчета стали дебаты, развернувшиеся весной 1936 г. вокруг второго тома дневников Андре Жида. Они служили ценным источником сведений о литературном творчестве Жида в 1914–1927 гг., но в то же время стали известны содержащимся в них описанием его пути к коммунизму (с которого Жид вскоре сошел). В качестве объекта для анализа Беньямин выбрал ответ писателя-антикоммуниста Тьерри Молнье *Mythes socialistes* («Социалистические мифы»). Беньямин характеризовал свое собственное эссе как теорию фашистского искусства, и по сути оно читается как постскрипtum к его эссе о произведении искусства, но такой постскрипtum, в который перетек весь политический пыл, выброшенный из той работы. Оно остается одним из самых тенденциозных текстов Беньямина. Как и сборник писем, это маленькое эссе было издано с быстротой, от которой Беньямин давно отвык: он отправил его в редакцию в середине августа, а уже в ноябре оно вышло в свет (см.: GS, 3:482–495). Однако гонорар за него был выплачен далеко не столь оперативно, и Беньямин какое-то время забрасывал Бределя все более резкими письмами и телеграммами, требуя от него своих денег.

Последние дни пребывания Беньямина в Дании были омрачены еще одним диспутом с Шолемом, который в августовском письме прохладно отозвался об эссе Беньямина о произведении

искусства: «Твое эссе показалось мне очень интересным. Я впервые встречаю нечто, настолько подхлестывающее размышления философского плана о кино и фотографии. Но я слишком слабо владею специальными знаниями, чтобы иметь возможность оценить твои прогнозы» (BS, 185). Беньямин был задет этим высокомерным пренебрежением к тому, что он считал квинтэссенцией своих текущих идей, не говоря уже об отношении к кино и фотографии:

Меня... очень огорчило то принципиальное непонимание, с которым мое последнее эссе, судя по всему, встретил твой разум (и я использую здесь это слово не только в его формальном смысле). Если в нем не нашлось ничего, что бы вернуло тебя в ту страну идей, в которой мы оба чувствовали себя как дома, то мне сначала придется предположить, что все дело во французском языке, а не в том, что я нарисовал совершенно новую карту одной из провинций Франции. Смогу ли я когда-нибудь предоставить тебе немецкий вариант, остается вопросом таким же открытым, как и то, застанет ли он тебя в более восприимчивом настроении (BS, 186).

Вместо того чтобы использовать эту ситуацию как предлог для еще большего отдаления от своего старого друга, Беньямин самым энергичным образом давал понять Шолему, что если они хотят сохранить свою старую дружбу, то каждый из них должен преодолевать физическое расстояние между Европой и Палестиной, прилагая больше стараний к тому, чтобы глубже вникнуть в творчество друг друга.

Решив не утруждать Хоркхаймера своим предложением представлять институт на декаде в Понтиньи, потому что из-за этого пришлось бы уехать из Дании прежде, чем Беньямин был бы готов к этому, он покинул Сквобостранд и Брехтов 10 сентября, сделав однодневную остановку в Париже, прежде чем направиться в Сан-Ремо, куда он прибыл в конце сентября. К моменту его приезда город накрыла волна жары, приковавшая его к пансиону Доры. Как только сделалось более прохладно, он сразу же возобновил свои ежедневные прогулки в предгорья. Этот визит был коротким, но пошел ему на пользу, и в начале октября Беньямин уже снова был готов к борьбе с ежедневными проблемами проживания в Париже. Его возвращение ознаменовалось хорошей новостью: Хоркхаймер выделил Адорно деньги на поездку в Париж. Предлогом для нее послужила необходимость в совместной работе обоих коллег над подготовкой сборника эссе Хоркхаймера для французского издания. Несмотря на их прежние совместные усилия, дело с этим проектом не ладилось. Гретхейзен, занимавшийся им в издательстве *Gal-*

limard, положил его в долгий ящик, а Рене Этьямбль, которого Беньямин выбрал в качестве переводчика, просто куда-то пропал. Хоркхаймер испытывал вполне понятную досаду, а Адорно лишь подливал масла в огонь, предполагая, что за всем этим скрывается политическая интрига, в то время как Беньямин, который, конечно, был знаком с ситуацией и главными действующими лицами гораздо лучше, понимал, что замысел был просто не до конца продуман. Эти проблемы ни в коем случае не омрачили отношений Беньямина с институтом, напротив, благодаря своим усилиям он заслужил еще большее доверие со стороны Хоркхаймера. Беньямин еще во время пребывания в Дании подал Хоркхаймеру идею о том, что московские процессы, служившие темой неоднократных дискуссий в Сквовсбостранде, требуют коллективного переосмысления вопроса об интеллектуальном направлении работы института. Сейчас же Хоркхаймер вспомнил о предложении Беньямина и стал планировать конференцию с участием всех основных сотрудников института, призванную выработать коллективную позицию и программу соответствующих исследований. То, что из этих замыслов ничего не вышло, в большей степени объяснялось сложной эпохой, чем какой-либо сменой умонастроений или крахом планов. Впрочем, Беньямин все же отклонил один заказ, поступивший от института: он отказался рецензировать книгу Блоха «Наследие нашей эпохи», заявив, что эта рецензия не будет «отвечать ни его, ни моим интересам» (GB, 5:397).

Не каждый из дней, совместно проведенных Адорно и Беньямином в Париже, был посвящен работе над сборником Хоркхаймера. Визит Адорно дал им с Беньямином много времени для проработки вопросов, представлявших для них взаимный интерес; по словам Беньямина, общение с Адорно «подготовило почву для продуманного осуществления давно созревших замыслов», тем более что они с Беньямином вновь обнаружили «единство в отношении важнейших теоретических начинаний», которое в свете их долгой разлуки «порой казалось почти поразительным» (BA, 155; C, 533). Они обсуждали свои недавние работы и, разумеется, текущее состояние и дальнейшие перспективы изысканий о пассажах. Адорно, рассматривавший исследование о пассажах в его непосредственном историческом контексте, предложил Беньямину написать эссе с критикой теорий К. Г. Юнга; ему казалось, что возможность провести грань между теорией Юнга об архаическом образе и теорией Беньямина о диалектическом образе, представлявшей собой суть историографического метода Беньямина, могла бы вдохнуть свежую энергию в этот проект и прояснить его эпистемологию. Те не-

сколько дней в Париже стали прорывом в их личных отношениях. В начале 1930-х гг. Беньямин с настороженностью относился к тому, что Адорно, по его мнению, воровал у него идеи ради многообещающей научной карьеры, в которой было отказано ему самому. Затем последовали годы в целом дружественного интеллектуального диалога, сопровождавшегося подспудным соперничеством за сердце Гретель Адорно. И лишь сейчас, в 1936 г., сходство их жизненной ситуации соединилось с давним сходством их теоретических и политических интересов. После этих парижских дней они стали называть друг друга в своей переписке Тедди и Вальтером, хотя так и не преодолели барьер формального обращения на «вы» (немецкое *Sie*).

Оптимизм, внушенный Беньямину визитом Адорно, оказался недолгим. Ближе к концу месяца Беньямин узнал, что его брат Георг 14 октября 1936 г. был приговорен к шести годам заключения в тюрьме Бранденбург-Герден. В ответ на немногословное извещение, полученное от Беньямина — «говорят, что он держался с совершенно незабываемым мужеством и выдержкой», — Шолем сравнил положение Георга с положением своего брата, тоже ставшего политическим заключенным в Германии. «С тех пор как [пацифист Карл фон] Оссицкий получил [в 1935 г.] Нобелевскую премию, они с удвоенным рвением мстят за это тем политическим узникам, содержащимся в предварительном заключении, у которых сохранилось здоровье: моя мать пишет мне, что им было уготовано много новых испытаний. Но что хуже всего — так это полная непредсказуемость сроков заключения» (BS, 187, 189). И все же, какими бы тревожными ни были эти известия, куда большее беспокойство у Беньямина вызывала катастрофа, назревавшая в его собственном семействе. Дора Софи еще весной 1936 г. начала сообщать ему о проблемах со Штефаном. Он требовал от нее разрешения не ходить в местный лицей, сетуя на зубрежку, к которой сводилось обучение в этом заведении. Дора Софи признавалась Беньямину, что усматривает корень проблем в самом Штефане: в Берлине он был чрезвычайно успевающим учеником, теперь же получал посредственные оценки и реагировал на них мыслями о побеге. Альтернативой мог бы стать интернат в Швейцарии, но он был Доре не по карману. Она пыталась продать дом на Дельбрюкштрассе в Берлине, который отошел ей по соглашению о разводе, но очень боялась, что вступившие в силу «еврейские законы» сделают продажу дома невозможной²⁵.

25. Дора Софи Беньямин Вальтеру Беньямину, 19 апреля 1936 г. Walter Benjamin Archive 015, Dora Sophie Benjamin 1935–1937, 1936/4.

Известия о проблемах со Штефаном, несомненно, застали Бенямина врасплох. Его переписка с сыном велась нерегулярно, но письма, которыми они обменивались, в целом были беззаботными. Его сыну даже удалось подать в шутовском тоне сообщение о попытке записать его в «юные фашисты», членство в которых служило преддверием к вступлению в фашистскую партию. Все члены местной «авангардистской» группы в Сан-Ремо были автоматически включены в списки «юных фашистов», но Штефан даже не знал, что входит в число «авангардистов». На вопрос о знании иностранных языков он заявил чиновнику в местном отделении фашистской партии, что вскоре уедет за границу, и это дало ему временную отсрочку (см.: GB, 5:320n). Летом Штефан действительно покинул Италию, вернувшись в Вену, чтобы готовиться к вступительным экзаменам в австрийскую гимназию. Но и здесь у него ничего не вышло, и он написал своей матери, что вместо этого будет поступать в гостиничное училище, тем самым приведя в ужас своих высокообразованных родителей. К концу октября 1936 г. Штефан перестал подавать о себе вести, отказываясь отвечать как на письма и телеграммы от родителей, так и на звонки от сестры отца Доры. Дора Софи заклинала Бенямина отправиться в Вену и разыскать их сына, так как сама она не решалась туда ехать из-за страха быть арестованной. Она покинула Германию, не заплатив крупного налога, взимавшегося со всех эмигрантов, и на ее арест был выписан ордер (о чем даже упоминалось в берлинских газетах)²⁶. Соответственно, Бенямин сделал приготовления к тому, чтобы 5 ноября выехать из Парижа, и даже успел сообщить Францу Глюку о том, что его почта будет пересылаться в Вену. Но из-за продолжавшейся неопределенности — они с Дорой не знали, ни где именно находится Штефан, ни каковы его намерения, — он отправился в путь лишь в конце ноября: сначала в Сан-Ремо, а оттуда через Равенну в Венецию — Штефан в конце концов согласился встретиться там с отцом, но не с матерью. Переговоры между отцом и сыном принесли свои плоды, и Штефан согласился вернуться с отцом в Сан-Ремо.

Бенямин описывал проблему, одолевавшую его сына, как «расстройство воли» (GB, 5:428); как бы родители Штефана ни называли это, его психологическое состояние в самом деле вызывало опасения. Бенямин сразу же попытался организовать

26. Дора Софи Бенямин Вальтеру Бенямину, 10 июля, 16 августа и 16 октября 1936 г. Walter Benjamin Archive 015, Dora Sophie Benjamin 1935–1937, 1936/8 и 1936/10.

для сына визит к известному психоаналитику, своему боевому товарищу по былым дням молодежного движения Зигфриду Бернфельду. Но, пообщавшись с подростком подольше, Беньямин вынес более разумную оценку. Он писал Хоркхаймеру, что «в случае моего сына, которому сейчас 18 лет, ему пришлось покинуть страну в период полового созревания, и с тех пор он так и остается неуравновешенным» (GB, 5:431). Чем дольше Беньямин находился в обществе сына, тем лучше понимал его моральное состояние. Что на самом деле происходило со Штефаном, до конца неясно, но, по-видимому, он назло родителям пропал в венском полусвете, раздобывая деньги всеми возможными способами и так же быстро их проигрывая. Дора Софи сходила с ума от беспокойства. Ей казалось, что надо держать Штефана подальше от Вены с ее угрозой, создававшейся «доступностью всех казино», но она считала, что его нельзя оставлять в Сан-Ремо. В том, как она объясняла это решение, в полной мере отразилась ее идея о «нравственном падении» сына: если бы Штефан вернулся в Сан-Рено, то он бы «превратился здесь в нахлебника и бездельника, поскольку он по своей природе не склонен ни к какому серьезному делу. Я не могу доверять ему бухгалтерию пансиона и тем более кассу; он ничего не понимает в том, как управлять пансионом, и слишком изнежился для того, чтобы быть пригодным к физическому труду»²⁷. В тот момент, когда их с Вальтером попытки спасти сына зашли в тупик, ее тревожило, что он уже мог стать преступником. Именно тогда ей в голову пришла радикальная мысль, чтобы Штефана усыновила его берлинская няня Фриди Барт, успевшая стать швейцарской гражданкой и проживавшая в Берне. Мы можем только представлять себе реакцию отца Штефана на его проблемы с деньгами и азартными играми. Беньямин, и без того испытывавший определенную вину за разлад в отношениях с сыном, теперь, наверное, был охвачен настоящим раскаянием.

В итоге эмоциональное состояние Штефана в течение 1937 г. улучшилось. Он выдержал вступительные экзамены в австрийские университеты по естественной истории и географии и даже добился, чтобы его имя было внесено в списки членов Венского фашистского союза, надеясь получить австрийское гражданство или по крайней мере паспорт. Первые результаты психоанализа встревожили его мать; она обвиняла себя в том, что сын получал от нее слишком мало любви в первый год их бегства из Берлина. Узнав об этом, Беньямин заплатил своей знакомой, Ане

27. Дора Софи Беньямин Вальтеру Беньямину, 26 января 1937 г. Walter Benjamin Archive 015, Dora Sophie Benjamin 1935–1937.

Мендельсон, 50 франков за то, чтобы она произвела графологический анализ характера его сына (письмо Бенямина с описанием результатов анализа утрачено). Наконец, Штефан побывал и у невролога Вильгельма Хоффера, который смог сказать что-то обнадеживающее. «Общее впечатление благоприятное. Внешне Штефана можно описать как хорошо развитого молодого человека, который производит вполне мужественное впечатление... Поначалу он вел себя застенчиво и неловко, что вполне объяснимо с учетом его возраста и ситуации». По мнению Хоффера, безрассудное поведение Штефана и то, что он оказался в дурном обществе, вероятно, было временным явлением²⁸.

Кризис, переживаемый Штефаном, как и можно было ожидать, вновь пробудил недоверие в отношениях между Бенямином и Дорой: Бенямин считал, что она в одностороннем порядке принимает решения по всем принципиальным вопросам, а Дора отвечала на это новыми обвинениями в том, что Бенямин уделяет слишком мало внимания своему сыну. Впрочем, как и во многих предыдущих случаях, той весной им удалось уладить свои разногласия, и в начале лета Бенямин опять вернулся в пансион в Сан-Ремо.

Встреча Бенямина со Штефаном в Венеции обернулась одной неожиданной удачей: проезжая через Равенну, Бенямин получил возможность увидеть ее знаменитые византийские мозаики. «Я наконец удовлетворил желание, которое лелеял 20 лет: я видел мозаики Равенны. Впечатление, которое они произвели на меня, едва превосходит впечатление от угрюмых, похожих на крепости церквей, уже давно лишившихся всех перемежающихся орнаментов, украшавших их фасады. Некоторые в какой-то мере ушли в землю, и, чтобы проникнуть в них, нужно спуститься вниз по ступеням; это лишь усиливает ощущение, что ты попал в прошлое» (BS, 188). Хотя мозаики Равенны почти не оставили следов в его творчестве, следующая встреча с миром искусства, состоявшаяся несколько недель спустя в Париже, принесла намного более осязаемые плоды. Бенямин получил «исключительное удовольствие» (GB, 5:481), побывав на большой выставке работ Константена Гиса, художника XIX в., которому посвящено одно из самых важных эссе Бодлера *Le peintre de la vie moderne* («Художник современной жизни»), часто цитируемом в «Пассажах».

Во время треволнений из-за Штефана, пока его родители пытались найти выход из положения, Бенямину приходилось

28. Вильгельм Хоффер Доре Софи Бенямин, 24 мая 1937 г. Walter Benjamin Archive 018, Dora Sophie Benjamin 1937–1939, 1937/5.

ездить взад-вперед между Парижем и Сан-Ремо. Урзель Буд воспользовалась случаем немного подзаработать и сдала комнату Беньямина еще одному жильцу; поэтому в первые недели декабря Беньямин нашел себе временное пристанище в квартире на улице Лавель, 185, в 15-м округе. Время с Рождества 1936 г. по середину января 1937 г. он провел в Сан-Ремо. Вернувшись в январе в Париж в свою квартиру на улице Бенар, Беньямин немедленно принялся за эссе об Эдуарде Фуксе. В августе предыдущего года, во время визита в Данию, он снова занимался подготовительной работой к написанию этого текста, заказанного ему *Zeitschrift für Sozialforschung* в 1933 или 1934 г.; в 1935–1936 гг. он работал над этим проектом спорадически и без особого энтузиазма, но теперь почувствовал, что ему ничего не остается, кроме как завершить эту работу. Потому ему удалось, как выразился Адорно, «затравить лисицу» («фукс» по-немецки означает «лиса»), то есть приступить к написанию эссе, долго откладывавшегося в сторону. В конце января он известил Адорно и Хоркхаймера о том, что начал сочинять черновик эссе и что для его завершения ему, вероятно, потребуется еще недели три. Стремительность и напряженность, сопровождавшие сочинение эссе, вполне могли поспорить с неспешностью, с которой шла подготовка к его написанию. 1 марта Беньямин писал Адорно: «Уверен, что вам в голову не приходила иная причина моего молчания в эти дни, кроме самой правдоподобной. После того как работа над текстом о Фуксе подошла к решающему этапу, она уже не терпела никаких соперников — ни днем, ни ночью» (ВА, 168). Такой короткий срок написания эссе объясняется тем, что Беньямин активно пользовался имевшимися у него материалами: примечательная критическая историография, которой открывается эссе, а также большие разделы об искусстве и политике во Франции XIX в. позаимствованы непосредственно из «Пассажей», а соображения о связях Фукса с марксизмом и с Социал-демократической партией опирались на материалы ее журнала *Die neue Zeit*, с которыми Беньямин подробно ознакомился за два лета, проведенные в Дании.

На каждой странице эссе отражается неоднозначное отношение Беньямина к его герою. Эдуард Фукс (1870–1940) в 1886 г. вступил в Социал-демократическую партию, а в 1888–1889 гг. уже сидел в тюрьме за политическую деятельность. В наше время он больше всего известен своей *Illustrierte Sittengeschichte vom Mittelalter bis zur Gegenwart* («Иллюстрированная история нравов от средневековья до современности»), изданной в трех томах в 1909–1912 гг., и *Die Geschichte der erotischen Kunst* («История эротического искусства»), три тома которой вышли в 1922–1926 гг.

Беньямин признает в Фуксе первопроходца в сфере коллекционирования карикатуры, эротического искусства и жанровой живописи; он подчеркивает тот вызов, который произведения Фукса бросали истинам буржуазной художественной критики с ее прославлением творческого начала художника-индивидуума и излишним доверием к стародавней классицистической концепции красоты; наконец, Беньямин воздает должное ранним попыткам Фукса примириться с массовым искусством и технологиями воспроизведения. Но в то же время Беньямин указывает на ограничения, которые накладывала на Фукса и его творчество приверженность либеральным принципам социал-демократов: убеждение в том, что объектом их просветительской деятельности являлось «общество», а не конкретный класс, их веру в дарвиновский биологизм и детерминизм, их сомнительную доктрину прогресса и неоправданного оптимизма и их глубоко немецкое морализаторство.

Таким образом, эссе Беньямина примечательно не столько разбором работ Эдуарда Фукса, сколько теорией историографии культуры, которую Беньямин излагает на первых страницах. Опираясь на теоретический фундамент, заложенный в «Пассажах», Беньямин своим эссе о Фуксе в то же время задает курс на революционную историографию, которую он будет разрабатывать в конце 1930-х гг. Его эссе начинается с понимания отношений между произведением искусства и соответствующим историческим моментом — понимания, принципиального уже для самых первых критических работ Беньямина. Согласно его точке зрения, произведение искусства, не будучи изолированной, независимой вещью, представляет собой изменяющийся исторический феномен, колеблющееся «силовое поле», порожденное слиянием и интеграцией — динамическим сочетанием — пред- и постистории произведения: «Именно благодаря [его] постистории [его] предыстория распознается как одна из сторон непрерывного процесса изменений» (SW, 3:261). Здесь, как и в своей диссертации 1919 г. о немецком романтизме, Беньямин предвосхищает теории восприятия конца XX в., признающие то влияние, которое историческое восприятие произведения оказывает на его смысл. В обоснование своей идеи Беньямин снова приводит одну из своих любимых цитат, а именно принадлежащие Гёте слова: «Нельзя судить о том, что когда-то произвело на нас большое впечатление» (SW, 3:262).

Это представление о произведении как о фрагменте широких исторических процессов представляет собой основу беньяминовской концепции диалектического образа, получившей в эссе о Фуксе новую своеобразную формулировку. Уже в 1931 г.

в эссе «История литературы и литературоведение» Беньямин утверждал, что «речь идет не о том, чтобы представлять произведения литературы в связи с их временем, а о том, чтобы представлять их в том времени, в которое они возникли» (SW, 2:464; МВ, 428). То, что в 1931 г. оставалось вопросом репрезентации нашей собственной эпохи через репрезентацию тех элементов предшествовавшей эпохи, которые синхронны ей, в 1937 г. превратилось в более злободневный вопрос о том, насколько адекватен исторический опыт современности, по правде говоря всегда занимавший Беньямина. В качестве «фрагмента прошлого» произведение искусства представляет собой часть «принципиального сочетания» с «именно этим настоящим». «Ведь именно безвозвратный образ прошлого грозит исчезнуть в любом настоящем, которое не распознает себя как проглядывающее в этом образе» (SW, 3:262). Если настоящее проглядывает в образе прошлого, это означает, что «пульс» прошлого бьется во всяком настоящем. Иными словами, «историческое понимание [есть] постсуществование того, что было понято» (SW, 3:262): это утверждение было позаимствовано из «Пассажей» (папка №2,3). Из такого диалектического выражения отношений между прошлым и настоящим вытекает, согласно ключевой формулировке Беньямина, то, что «история порождает каждое настоящее» (SW, 3:262). Это двоякое представление, восходящее к сделанному Ницше в работе «О пользе и вреде истории для жизни» заявлению о том, что прошлое можно понять только с точки зрения мощнейшей энергии настоящего, так как прошлое всегда вещает подобно оракулу, этот глубокий парадокс исторического понимания влечет за собой как конструктивные, так и деструктивные последствия. «„Построение“ предполагает „разрушение“, читаем мы в «Пассажах», «ибо распад исторического подобия должен идти тем же путем, что и построение диалектического образа»²⁹. На практике это означает, что, по всей видимости, архаичные и ретроградные элементы любой эпохи должны быть переоценены историком таким образом, чтобы «сместить угол зрения (но не критерии!)», добываясь того, чтобы «все прошлое вошло в настоящее в историческом апокатастасисе» (AP, N1a,3). Беньямин прибегает здесь к ключевому понятию античной стоической, гностической и патристической мысли, *apokatastasis*, означающему космологическое чередование между гибелью исторической эпохи в очистительном огне и ее возможным последующим *restitutio in integrum*. Эта из-

29. AP, 470 (N7,6); AP, 918 (Материалы для синопсиса 1935 г.).

начально мифическо-космологическая концепция становится у Беньямина процессом, совершающимся в рамках истории.

Именно с этой точки зрения Беньямин мог критиковать понимание истории по Фуксу за то, что оно не учитывает деструктивный элемент. В принципе речь идет о несостоятельности сознания, о его капитуляции перед «ложным сознанием». Если исторический континуум не взрывается, то история культуры оказывается «отрезана» и «заморожена» в качестве объекта созерцания; конкретно вопрос сводится к «отказу от созерцательности, характерному для историцизма» (SW, 3:262)³⁰. И эту мысль увенчивает часто цитируемое и даже ставшее классическим предостережение: «Все, что исторический материалист изучает в сфере искусства или науки, обязательно имеет родословную, на которую он не может взирать без ужаса. Плоды искусства и науки обязаны своим существованием не только творчеству создавших их великих гениев, но и в той или иной степени безымянным трудам их современников. Нет такого документа культуры, который в то же время не был бы документом варварства» (SW, 3:267). Этим словам три года спустя будет отведена принципиальная роль в тетическом эссе «О понимании истории».

Достоин внимания то, что радости, которую Беньямин испытывал по завершении работы над эссе, сопутствовало «определенное чувство презрения», нараставшее в нем по мере того, как он все глубже знакомился с произведениями Фукса, и требовавшее от него принять меры к тому, чтобы оно не ощущалось в самом эссе (ВА, 169). Пожалуй, оно в наибольшей степени заметно в его предварительных заметках: «Фукс не замечает деструктивного начала не только в карикатуре, но и в проявлениях сексуальности, особенно в оргазме... Фукс не понимает исторического аспекта, присущего предвкушению в искусстве. Для него художник в лучшем случае выражает в себе исторический статус-кво, но только не грядущее» (GS, 2:1356). Это неоднозначное отношение отразилось в письме Хоркхаймеру, которым сопровождалась отправленная ему рукопись:

Вам лучше, чем кому бы то ни было, известно, сколько всего свершилось во всемирной истории и в частной истории с тех пор, как впервые родился замысел этой работы [о Фуксе]. То,

30. На типичное для Беньямина неоднозначное отношение к вопросу созерцания указывает следующее место из раздела проекта «Пассажи» под названием «Первые наброски»: «В рамках проекта „Пассажи“ следует привлечь к суду созерцание [*Kontemplation*]. Но оно обязано блестяще защищаться и добиться своего оправдания» (AP, 866 [Q^o,6]). См. также: Н2,7, о «незаинтересованном» созерцании, свойственном коллекционеру».

что этот замысел был сопряжен с определенными трудностями, нами уже обсуждалось... Я старался сказать о Фуксе все, чего он, как мне казалось, заслуживает, — порой настолько удачно, а порой настолько же неудачно, насколько было возможно. Вместе с тем я стремился к тому, чтобы моя работа заинтересовала более широкого читателя. Именно имея все это в виду, я попытался дать критический разбор методологии Фукса и прийти к положительным формулировкам по теме исторического материализма (GB, 5:463).

В конечном счете Фукс интересовал Беньямина меньше, чем представившаяся ему возможность изложить свои собственные идеи. Сравнивая эссе о Фуксе с критическими высказываниями Адорно в адрес Мангейма, Беньямин продемонстрировал, что вполне осознает ту «спорку», с которой они оба «высказывали [свои] сокровенные мысли — неизменно ненавязчиво, но не идя ни на какие уступки» (BA, 168). Хоркхаймер и его нью-йоркские коллеги были очень довольны результатом. 16 марта Хоркхаймер писал о том, что это эссе станет особенно ценным материалом для *Zeitschrift*, поскольку в нем преследуются те теоретические цели, которые ставит перед собой сам журнал; кроме того, Хоркхаймер предложил ряд мелких поправок, и Беньямин согласился с большинством из них. В апреле в текст были внесены дополнительные поправки, предложенные самим Фуксом, которому Беньямин отослал свое эссе. Однако реальный процесс редактирования повлек за собой трения. Самым неприятным для Беньямина было решение редактора выбросить из эссе первый абзац, в котором творчество Фукса помещалось в контекст марксистской теории искусства. Как в мае объяснил ситуацию Лео Левенталь, говоривший от имени Хоркхаймера, редакторы по «тактическим» соображениям не желали создавать у читателя впечатление, что они публикуют «политическую статью»³¹. Судя по всему, Беньямин так и не смирился с удалением первого абзаца, который был опубликован лишь в составе его *Gesammelte Schriften*. С изданием эссе в *Zeitschrift* пришлось ждать до октября, поскольку Хоркхаймер не хотел, чтобы оно негативно отразилось на ходе «бесконечных» переговоров с немецкими властями о вывозе коллекции Фукса из страны (см.: GB, 5:550).

Тревоги института оказались необоснованными: в отличие от эссе о произведении искусства статья «Эдуард Фукс» вызвала весьма вялую реакцию со стороны современников. Беньямину

31. Текст писем Хоркхаймера и Левенталья Беньямину (от 16 марта 1937 г. и от 8 мая 1937 г. соответственно) см. в: GS, 2:1331–1337, 1344–1345.

самому пришлось заботиться о том, чтобы получить на нее отзывы. Шолем, несмотря на разногласия между ними, оставался самым верным читателем его работ, и Бенъямин своевременно отправил ему авторский вариант эссе о Фуксе. Реакция со стороны Шолема была предсказуемой: признаваясь, что «успех марксистского подхода, сомнительная природа которого вновь и вновь ввергает читателя трудов Вальтера Бенъямина в мрачные размышления, даже вопреки желанию автора, менее заметен такому незадачливому поклоннику, как я», Шолем тем не менее считал себя обязанным оплакать тот ущерб, который Бенъямин причинял своему творчеству тем, что метал «свои замечательные идеи перед свиньями диалектики» (BS, 206).

Какими бы ни были оговорки самого Бенъямина в отношении его «замечательных идей», эссе о Фуксе выдвинуло на передний план проблему вопросов методологии в историографии культуры — проблему, близкую к сути его исследования о пассажах. Он признавал это в отправленном в конце января письме Хоркхаймеру, в котором задавался вопросом о том, какие литературные формы уместны в современной философии, — тем же самым, на который был дан столь строгий ответ в предисловии к книге о барочной драме:

Естественно, не может быть и речи об отказе от философской терминологии. Я полностью согласен с вашими словами о том, что, возможно, нельзя позволять, чтобы исторические тенденции, «запечатленные в определенных категориях, были утрачены в стиле». К вашим словам мне хотелось бы добавить еще одно соображение... Речь идет о возможности использовать философскую терминологию для симуляции несуществующей глубины. Также можно встретиться с некритическим использованием формальных терминов. Вместе с тем конкретный диалектический анализ того или иного изучаемого предмета включает критику категорий, в которых он был постигнут на более раннем уровне реальности и мысли... Несомненно, общая вразумительность не может быть критерием. Но вполне возможно, что конкретный диалектический анализ должна сопровождать определенная прозрачность частных дел. Разумеется, совершенно иное дело — общая вразумительность целого. И здесь уместен прямой взгляд на описываемый вами факт: в долгосрочном плане заметную роль в сохранении и передаче науки и искусства сыграют маленькие группы. По сути, сейчас не время выставлять в витринах то, что, как мы считаем — возможно, не вполне обосновательно, — у нас имеется; скорее, похоже, пора подумать о том, где нам спрятать это, чтобы уберечь его от бомб. Возможно, именно в этом состоит диалектика вещи: найти для истины, представляющей собой не что иное, как аккуратный конструкт, надежное место, аккуратно сконструированное наподобие сейфа (С, 537).

Это важное письмо служит свидетельством присутствовавшего в творчестве Беньямина противоречия между интересами высокообразованной, оторванной от масс элиты (для которой «общая вразумительность» не является критерием) и требованием избегать формального жаргона и осуществлять «конкретный диалектический анализ», обеспечивающий «прозрачность частностей». В письме к Хоркхаймеру Беньямин склоняется к первому; в посвященном этой же теме письме к Брехту акценты расставлены уже совсем по-иному.

Впрочем, повседневная конфронтация с вопросами методологии так и не приблизила Беньямина к ответу на злободневный вопрос, вставший после завершения долго откладывавшегося эссе о Фуксе: что писать дальше? Едва ли он был в состоянии лично принять это решение, так как любая серьезная смена направления требовала благословения со стороны Хоркхаймера. Осенние дискуссии с Адорно убедили Беньямина в том, что эпистемологическому аспекту исследования о пассажах в наибольшей степени пойдет на пользу конфронтация с «функцией психоаналитических теорий коллективной психологии при их использовании фашизмом, с одной стороны, и историческим материализмом — с другой». Полемика для этой конфронтации мог бы стать анализ концепции «архаических образов» из «Арийской психологии» Карла Густава Юнга (см.: GB, 5:463–464). Дальнейшие размышления привели Беньямина к необходимости рассмотреть также творчество Людвиг Клагеса — не столько его работы по графологии, сколько идеи, выдвинутые в его книге «О космогеническом эросе», которая уже давно вызывала интерес у Беньямина. Он увидел здесь возможность нащупать корни идеи о коллективном бессознательном и порождаемых ею «фантастических образов»: эта антропологическая задача вполне отвечала плану составленного в 1935 г. синопсиса исследования о пассажах (см.: GB, 5:489). Как Беньямин объяснял во втором письме, посвященном серьезным возражениям Хоркхаймера против акцента на работы Юнга и Клагеса, следовало вернуться к «старейшему слою в замысле книги», то есть к произведениям сюрреалистов с их психоаналитическим уклоном, из которых этот замысел вырос, чтобы прояснить ход последующих изысканий и размышлений. В то же время Беньямин предложил Хоркхаймеру вместо исследования о Юнге и Клагесе провести сопоставление «буржуазной» и материалистической историографии, которое могло бы стать введением к книге в целом. Интересно отметить, что такое сопоставление действительно было написано в 1938 г. и оно предназначалось в качестве введения — не к самим пассажам, а к книге о Бодлере, за которую Беньямин взялся

в итоге. Беньямин уже весной 1937 г. в качестве третьего варианта того, чем бы он мог заняться в ближайшее время, предложил расширить раздел о Бодлере, включенный в синопсис 1935 г. К концу апреля Хоркхаймер еще решительнее призывал его заняться Бодлером и отказаться от исследования о коллективной психологии. Оказалось, что сфера интересов Беньямина уже начала вторгаться на территорию, зарезервированную для ближайших сотрудников Хоркхаймера по институту — Эриха Фромма и Герберта Маркузе, и, соответственно, Хоркхаймер перенаправлял своего далекого коллегу на Бодлера. В ответном письме Беньямин согласился вернуться к своему синопсису 1935 г. в плане переработки раздела о Бодлере в отдельное эссе. Таким образом, он воспринял понукания со стороны Хоркхаймера вполне благосклонно. После завершения эссе о произведении искусства в их диалоге начало ощущаться взаимное интеллектуальное уважение, хотя Хоркхаймер всегда сохранял известную сдержанность, наверняка как-то связанную с нераскрытой вспомогательной ролью, сыгранной им при отклонении хабилитационной диссертации Беньямина о барочной драме в 1925 г. С точки зрения Беньямина, это растущее уважение сейчас, после окончательного одобрения его эссе о Фуксе, служило признаком укрепления его позиций в институте.

Беньямин уведомил Адорно об изменении своих рабочих планов 23 апреля, отметив: «Безусловно, ваше собственное предложение [насчет Юнга] произвело на меня впечатление наиболее осуществимого... в той мере, в какой речь идет об исследовании [о пассажах]. Вместе с тем... ключевые мотивы этой книги являются столь взаимосвязанными, что различные отдельные темы в любом случае нельзя считать серьезными альтернативами» (ВА, 178). Тем не менее Адорно по-прежнему выступал за то, чтобы Беньямин взялся за Юнга, и еще в середине сентября выражал надежду, что «вашим следующим эссе все-таки окажется работа о Юнге» (ВА, 208). Да и сам Беньямин не сразу отказался от этого замысла: в начале июля он еще мог сообщить Шолему о том, что углубился в недавно изданный сборник статей Юнга за 1930-е гг. Он был захвачен идеей Юнга о специальной терапии для «арийской души» и хотел оценить «специфические проявления клинического нигилизма в литературе — Бенн, Селин, Юнг», с тем чтобы продемонстрировать те «вспомогательные услуги», которые они оказали национал-социализму (BS, 197). Он признавался, что не имеет понятия, кто бы в итоге взялся издать его эссе, но его настойчивость показывает, какое значение это выявление ядовитых корней коллективной психологии имело для замышлявшегося им исследования о пассажах.

Понимая, что не сможет жить на одних только институтских хлебах, Беньямин той весной стал задумываться о других замыслах и издательских каналах. Первостепенное значение в его глазах по-прежнему имело распространение эссе о производстве искусства на других языках — главным образом издание его более полной, немецкоязычной версии. Вилли Бредель отказался от нее, заявив, что ее длина делает ее непригодной для *Das Wort*. Беньямин ненадолго воспрянул духом, получив от Хоркхаймера письмо с сообщением о том, что помощник куратора нового отдела кино, основанного в Нью-Йоркском музее современного искусства, Джей Лейда (друг Эйзенштейна, а впоследствии его переводчик), проявил интерес к изданию «Произведения искусства в эпоху его технической воспроизводимости» в переводе на английский. Однако Хоркхаймер советовал Беньямину не отправлять Лейде немецкий вариант эссе, о котором тот просил: он опасался, что немецкий оригинал мог содержать элементы, выброшенные из французского перевода, опубликованного в *Zeitschrift*. В итоге эта попытка, как и все прочие предпринимавшиеся при жизни Беньямина попытки издать полный или частичный англоязычный вариант его эссе, не вышла из стадии замыслов³².

Узнав, что Бредель отклонил эссе о производстве искусства, Беньямин в ответ предложил для *Das Wort* чрезвычайно амбициозный проект: политический анализ «литературных течений в странах Запада». Посредством анализа репрезентативных издательств и журналов из нескольких стран он надеялся показать реальное направление политических течений в литературном антифашизме. Кроме того, в качестве образца такого анализа он был готов взяться за обзор французской литературной культуры. Было у него и более скромное предложение — написать работу о детективах Жоржа Сименона, одного из его любимых авторов, и об *Académie Française*. Хотя предложения Беньямина не были приняты, его переписка с Бределем содержит едва ли не самый убедительный из вышедших из-под его пера эпистолярный анализ того, как трудно издаваться, живя в изгнании:

Дорогой Вилли Бредель, ваше упоминание о сложном положении ваших «тамошних» друзей более справедливо — в том, что касается меня, — чем, вероятно, вы себе представляете. Заинтересованность в том, чтобы заниматься здесь *творческой дея-*

32. Существует письмо от 17 мая 1937 г., написанное Беньямином Лейде по-английски; в этом письме Беньямин, явно игнорируя просьбу, высказанную Хоркхаймером в его письме от 30 декабря 1936 г., предлагает перевести немецкоязычный оригинал эссе о производстве искусства. См.: ГВ, 5:530, 458–459п.

тельностью, нерасторжимо переплетена с осязаемым интересом автора к *распространению* своих трудов. Путь от рукописи до печатного текста заметно удлинился, вследствие чего протяженность времени между самой работой и вознаграждением за нее становится почти невыносимой. Любой литературный труд имеет свои оптимальные сроки, не говоря уже о сотрудничестве автора с редакторами, и всякое серьезное отклонение от них может серьезно повредить работе. Разумеется, вы сами неоднократно с этим сталкивались.

Эти слова можно считать чем угодно, но только не беспристрастной оценкой ситуации. Далее Беньямин уверяет Бределя, что мог бы извлечь больше пользы из их сотрудничества, если бы его тексты издавались быстрее и если бы гонорар за них быстрее доходил до автора (GB, 5:516). Вообще говоря, Бредель в конце марта взял для журнала второе «Письмо из Парижа» о «Живописи и фотографии» (первое письмо, об Андре Жиде, было издано в 1936 г.). Но этот пронизательный критический обзор, в котором идет речь о множестве эссе, посвященных современному кризису в живописи, и предполагается, что причиной этого кризиса в первую очередь стала узурпация фотографией «функций» живописи (см.: SW, 3:236–248), так никогда и не был издан, а Беньямин так и не получил за него денег.

Кроме того, Беньямин получил предложения о публикации его работ в двух видных эмигрантских журналах: *Maß und Wert* («Мера и цена») — центристском журнале, который издавали Томас Манн и Конрад Фальке, а редактировал Фердинанд Лион, и *Die neue Weltbühne* («Новая мировая сцена») — журнале левой ориентации, посвященном «политике, искусству и экономике». *Die neue Weltbühne*, редактировавшийся сначала Куртом Тухольским, а затем героическим Карлом фон Оссиецким, был одним из самых влиятельных еженедельников в Веймарской республике: он славился своей гуманистической, толерантной, леволиберальной линией. После его запрета нацистами в 1933 г. журнал, оказавшись в изгнании, пытался найти себе новое место издания, добиться финансовой стабильности и выработать приемлемую линию. К 1937 г. эта линия была в целом определена экономическим журналистом и совладельцем журнала Германом Будзиславским. В данном случае роль посредника в отношениях между журналом и Беньямином играл Блох, опубликовавший там несколько эссе. Беньямин, несмотря на сомнения в отношении обоих предложений, в итоге воспользовался ими, в следующем году напечатав в обоих журналах ряд рецензий, а в *Maß und Wert* — несколько миниатюр из «Берлинского детства».

Вернувшись в начале нового года в Париж, Беньямин попал в эпицентр скандала, вызванного в парижских литературных кругах последней книгой Андре Жида. Хотя Жид так и не вступил в коммунистическую партию, он неоднократно выражал ей свои симпатии. Союз советских писателей пригласил его в СССР, и он принял предложение, побывав в 1936 г. в разных уголках страны. Однако, надеясь увидеть там освобожденное человечество, он нашел лишь тоталитаризм. Его книга «Возвращение из СССР», ставшая оправданием его политического отречения, произвела убийственное впечатление. Реакция Беньямина на поднятый ею шум, несомненно, была обусловлена сложившейся в Европе ситуацией. «Что касается меня, — писал он Маргарете Штеффин, — я не одобряю этой книги, даже не прочитав ее. Даже не зная, насколько она правдива — и насколько принципиально ее значение... Политическую позицию нельзя публично испытывать на прочность в любой момент, когда этого захочется. Требовать такого — чистый дилетантизм» (GB, 5:438–439). Повышенная тональность дискуссий, окружавших книгу Жида, была связана с мрачным фоном, на котором она вышла в свет: в середине января войска националистов под командованием Франко предприняли крупное наступление на Мадрид, который пал 8 февраля. Любые политические нападки на леворадикальные силы, чем бы они ни мотивировались, неизбежно воспринимались как удар по позициям республиканцев в Испании. При этом обстановка была накалена не только в Испании: Великое восстание в Палестине вышло на новый уровень насилия. 11 февраля Беньямин писал Шолему: «Хотя я не из тех людей, которые легко сдаются, бывают часы, когда я сомневаюсь, увидимся ли мы когда-нибудь снова. Такой космополитический город, как Париж, превратился в очень хрупкую вещь, и если то, что мне говорили про Палестину, верно, то там дует такой ветер, на котором даже Иерусалим может раскачиваться взад и вперед подобно тростинке» (BS, 190).

По признанию самого Беньямина, во время работы над эссе о Фуксе он полностью отдалился от друзей и знакомых. Весной он постепенно начал восстанавливать контакты с Кракауэром и Блохом, а также с некоторыми другими знакомыми. Он стал чаще видеться с писательницей и активисткой компартии Анной Зегерс (урожденная Нетти Рейлинг, 1900–1983), с которой, вероятно, впервые познакомился через ее мужа, венгерского социолога и директора *Freien Deutschen Hochschule* (Свободного немецкого института) Ласло Радваньи. Зегерс стала знаменитой уже после выхода своей первой книги «Бунт рыбаков в Санта-Барбаре» (1928). В парижском изгнании она входила в число

основателей *Schutzverband deutscher Schriftsteller im Ausland* (Лига защиты немецких писателей за рубежом). Жизнь Зегерс в конце 1930-х гг. во многом шла параллельно жизни Беньямина: ее муж был интернирован вместе с Беньямином в лагере Ле-Верне, а после того, как Зегерс добилась его освобождения, она, ее муж и двое их детей направились в Марсель, где присоединились к постоянно растущему числу немецких эмигрантов, стремившихся выбраться из вишистской Франции. На этом параллели кончаются. Зегерс с семьей сумела добраться через Мартинику в Нью-Йорк и в итоге осела в Мехико. В 1947 г. она вернулась в Германию и стала одним из самых заметных деятелей культуры в Германской Демократической Республике. Кроме того, в те месяцы у Беньямина состоялось еще одно важное знакомство — с философом Жаном Валем, преподававшим в Сорбонне. Хотя Валь начал свою карьеру в качестве ученика Анри Бергсона, к середине 1930-х гг. он приобрел репутацию ведущего гегельянца во Франции. Его учение и творчество оказали глубокое влияние на Коллеж социологии и особенно на Александра Кожева. Также в том году Беньямин познакомился с Пьером Дюбоском, специалистом по китайскому искусству — его коллекция китайской живописи выставлялась той весной в Париже. Небольшой репортаж Беньямина об этой выставке — *Peintures chinoises à la Bibliothèque Nationale* — вышел в январе 1938 г. в журнале *Europe*.

С особенным нетерпением Беньямин ожидал возвращения в Париж Штефана Лакнера (1910–2000, настоящее имя — Эрнест Густав Моргенрот), не только из-за интеллектуального общения, которому мог предаваться со своим младшим коллегой, но и потому, что Лакнер и его отец Зигмунд стали для него неинституциональным источником поддержки. Дело в том, что Беньямин переживал очередной мини-кризис. Он несколько лет откладывал покупку очков и плохо видел, заявляя Лакнеру, что едва осмеливается выходить из дома. Просьба о деньгах на покупку очков была симптомом нового финансового кризиса. Французская экономика в 1937 г. еще не оправилась от последствий Великой депрессии, которая задела Францию гораздо сильнее, чем другие страны мира. Страна страдала от массовой безработицы, а промышленное производство сократилось до уровня, на котором находилось до Первой мировой войны. Итогом этого стали рост нестабильности франка и стремительный рост цен, больно ударившие по бюджету Беньямина. Представление о его финансовом положении в те месяцы дает письмо Фридриху Поллоку, отправленное в конце марта:

Регулярные расходы:

Квартирная плата (включая мою долю в расходах на коммунальные услуги, телефон и консьержку) ¹	480— фр.
Питание	720— фр.
Уход за одеждой и стирка	120— фр.
Разное (средства гигиены, кафе, почтовые расходы и т. п.)	350— фр.
Транспорт	90— фр.
Итого	1760— фр.

Разовые расходы²:

Костюм (один в год)	50— фр.
Обувь (две пары в год)	25— фр.
Белье	25— фр.
Кино, выставки, театр	50— фр.
Медицинское обслуживание ³	

1. Я проживаю в меблированной квартире немецкой эмигрантки. Приобретя несколько предметов обстановки — шторы, половик, покрывало, я сумел придать своей комнате такой вид, который дает возможность время от времени принимать в ней французских посетителей.

2. У меня не имеется сбережений для оплаты разовых расходов. В то же время у меня нет и долгов. Мои доходы за только что миновавший год составили, помимо известной вам суммы, 1200— фр. за мою книгу *Deutsche Menschen*, 250— фр. за статью для журнала *Wort* и 150— фр. за статью для журнала *Orient und Okzident* [sic].

3. Я не в состоянии назвать вам сумму этих расходов. Приобретение двух пар новых очков в прошлом месяце было сопряжено для меня с проблемами. В то же время я был вынужден заняться лечением зубов, которое после множества отсрочек уже невозможно было откладывать (GB, 5:500–501).

Разумеется, в этом финансовом балансе не были учтены небольшие суммы, которые Беньямин время от времени по-прежнему получал от друзей; кроме того, нам неизвестно, продолжал ли он в марте 1937 г. получать квартирную плату от своего берлинского съемщика. В целом итог этих подсчетов выглядит весьма скромным и создает впечатление, что Беньямин снова с трудом изыскивал средства для удовлетворения самых элементарных потребностей. Кроме того, из этой бухгалтерии следует, что ежедневный распорядок жизни Беньямина — изыскания в Национальной библиотеке, работа в кафе — мало изменился

с момента его переезда во французскую столицу. Он сообщал Гретель Карплус, что часто «пускает корни рядом с единственной печью на террасе *Select*; от солнца, то и дело выходящего из-за облаков, тело получает то, что глазу известно как полумрак» (BG, 193).

Ни проблемы со зрением, ни продолжавшиеся финансовые затруднения не могли сократить объем чтения Беньямина в начале 1937 г. Он только что дочитал французский перевод популярного первого романа Джеймса М. Кейна «Почтальон всегда звонит дважды» и нашел его «столь же захватывающим, сколь и пронизательным» (GB, 5:479). Крутая мелодрама Кейна была лишь одной из множества разнообразных книг, которые он прочел за эти месяцы, включая «Опасные связи» Шодерло де Лакло, сборник переводных английских повестей XIX в. о привидениях, а также книгу Г. К. Честертона «Чарльз Диккенс» (тоже во французском переводе) — «поразительный труд», имевший определенное значение для проекта «Пассажи». Книга *Les abeilles d'Aristé: Essai sur le destin actuel des lettres et des arts* («Пчелы Аристея: очерк современных судеб литературы и искусства») Владимира Вейдле вызвала у Беньямина смешанную реакцию: в письме Карлу Тиме он отмечал, что в целом позиция автора ему совершенно чужда, но некоторые из содержащихся в книге наблюдений в отношении современного искусства способствуют дальнейшим размышлениям. Такой же смешанной была и его реакция на очередную (как и на все предыдущие) работу Бернарда фон Brentano *Prozeß ohne Richter* («Суд без судьбы») — «хорошо написанную, но путаную» (GB, 5:513).

Поиск темы, которая бы гарантировала скорую публикацию и в то же время вернула бы Беньямина к методологическим проблемам исследования о пассажах, был прерван в середине марта очень важным открытием: речь идет о малоизвестной работе малоизвестного автора, книге *Über die Sprache* («О языке») Карла Густава Йохманна, анонимно изданной в 1828 г. Йохманн, ливонский немец, подобно Беньямину, эмигрировал в Париж; в глазах Беньямина он был «одним из величайших немецкоязычных писателей-революционеров». В состав книги Йохманна входило 70-страничное эссе *Die Rückschritte der Poesie* («Регресс поэзии»), которое Беньямин сравнивал с «метеоритом, свалившимся в XIX в. из XX». Энтузиазм Беньямина подогревало то, что в тексте Йохманна ключевую роль играло сочетание языка с политикой. Йохманн, подобно предшествовавшей ему мадам де Сталь, усматривал главное препятствие к политическому освобождению немецких государств в представлениях немцев о первостепенном значении литературы. Отсюда и вы-

текал «невообразимо смелый тезис» Йохманна о том, что «регресс поэзии — это прогресс культуры» (GB, 5:480). Принадлежавшее Беньямину издание эссе, сокращенное и дополненное биографическими сведениями об авторе и короткими отрывками из некоторых других произведений Йохманна, 28 марта было отправлено Хоркхаймеру вместе с длинным письмом, в котором Беньямин отмечал, что сам он прочел эссе «с сильным сердцебиением» и, более того, что ему доставит немалое удовольствие его издание в *Zeitschrift* (GB, 5:492). Хоркхаймер ответил ему две недели спустя, выразив восторженное отношение к эссе Йохманна в его сокращенной форме и заказав Беньямину теоретическое введение для издания эссе в институтском журнале. Это введение было начерно написано в апреле — начале июля, а в следующем году по настоянию Хоркхаймера подверглось правке. В нем Беньямин объясняет своеобразную красоту эссе Йохманна «выверенной дозой философского напряжения» — результатом стратегически «нерешительной» процедуры, посредством которой прозаический текст, скрывающий в себе глубокий философский смысл, был сочинен без использования философской терминологии. Вместе с введением Беньямина, затрагивающим широкий круг вопросов, эссе Йохманна, подвергшееся правке, в итоге было издано в двояном номере *Zeitschrift* в начале января 1940 г.

На следующий день после отправки письма, в котором Беньямин уведомлял Хоркхаймера об «открытом» им Йохманне, он получил гневное послание от Вернера Крафта. Их отношения переживали взлеты и падения: они были разорваны в 1921 г. и восстановлены в 1933 г., после случайной встречи обоих авторов-эмигрантов в Национальной библиотеке. В следующем году Крафт уехал в Иерусалим, и с тех пор они вели дружескую и плодотворную переписку, разделяя увлечение такими современными фигурами, как Кафка, Карл Краус и Брехт. Оба они высоко ценили возможность обмениваться друг с другом идеями, а иногда и работами. Тем не менее 29 марта, в конце трехмесячного пребывания Крафта в Париже, во время которого он встречался с Беньямином, он в письменном виде заявил Беньямину о новом и окончательном разрыве их отношений. Беньямин выразил удивление этим поступком Крафта, пожелал ему всего наилучшего и вернул ему несколько одолженных у него книг (см.: GB, 5:504–505). Обстоятельства, окружавшие этот разрыв, были весьма запутанными. Впоследствии Крафт отмечал, что у него не было конкретного повода для прекращения отношений с Беньямином, «помимо... давно подавлявшегося... раздражения тем, как г-н Беньямин понимал дружбу,

превращавшуюся у него в сочетание вялого радушия, четкого дистанцирования, ущербной преданности и чистого блефа»³³. Впрочем, одной из причин для разрыва, несомненно, послужили претензии на приоритет «открытия» Йохманна. В 1937 г. Крафт не упоминал его имени; он просто разорвал отношения. Однако среди книг, которые Бенъямин вернул Крафту перед тем, как тот в апреле 1937 г. отбыл в Иерусалим, находились избранные произведения Йохманна, и это дает повод предположить, что именно Крафт мог первым указать Бенъямину на этого автора и его труды. После издания в 1940 г. статьи Бенъямина о Йохманне Крафт весьма решительно заявил о своих претензиях. Сейчас, ознакомившись с работой Бенъямина, он утверждал, что именно от него Бенъямин в 1936 г. впервые услышал об этом авторе и конкретно об эссе *Die Rückschritte der Poesie*, которое именно он, Крафт, обнаружил в библиотеке в Ганновере, где работал библиотекарем до 1933 г. Более того, он заявлял, что Бенъямин обещал ему ничего не писать об этом эссе. В 1940 г. Бенъямин возразил, что открыл для себя Йохманна независимо от Крафта, весной 1936 г. прочитав книгу Йохманна (на которую приводилась ссылка) в Национальной библиотеке, хотя о том эссе, которое стало камнем преткновения, он узнал благодаря одолженной ему Крафтом книге; далее Бенъямин отвергает претензию Крафта на приоритет в прочтении опубликованного текста, каким бы редким тот ни был, как странную причуду. В том, что касается обещания ничего не писать о неожиданном эссе Йохманна, Бенъямин заявлял, что всего лишь указывал Крафту на проблематичность такого начинания. В контексте этого нерешенного спора следует отметить, что Адорно в 1963 г. снабдил первое переиздание введения Бенъямина к эссе Йохманна примечанием о том, что этого забытого автора в начале 1930-х гг. открыл Крафт, и это открытие, по словам Адорно, повлияло на Бенъямина, когда впоследствии он писал свою статью.

Адорно одним из первых весной 1937 г. узнал о том, что Бенъямин редактирует эссе Йохманна; на несколько дней приехав в Париж в середине марта, он ознакомился с несколькими отрывками из этого эссе, прочитанными ему вслух Бенъямином, и вскоре после этого отправил восторженное письмо Хоркхаймеру. Кроме того, находясь в Париже, Адорно вместе с Бенъямином нанес визит Эдуарду Фуксу, который принял их в своей

33. Из письма Крафта Хоркхаймеру от 30 апреля 1940 г. Цит. по: GS, 2:1402. См. р. 1397–1403, где приведены другие документы, связанные со спором между Бенъямином и Крафтом о том, кто из них открыл Йохманна.

квартире. Разумеется, имелись и другие неотложные вопросы, которые Беньямин хотел обсудить с Адорно; как он выражается в письме, относящемся к тому времени, «чем чаще мы видимся друг с другом, тем более важными представляются нам эти встречи» (ВА, 173). Эти и другие вопросы включали предполагавшееся издание сборника статей различных авторов под названием *Massenkunst im Zeitalter des Monopolkapitalismus* («Массовое искусство в эпоху монополистического капитализма»), который был задуман Адорно и должен был включать эссе Беньямина о произведении искусства, а также другие его работы (возможно, о детективном романе и о кино), но вследствие возникших у института финансовых проблемы так и не вышел в свет. Кроме того, Адорно написал новое эссе — о социологе Карле Мангейме. Прочитав это эссе в начале месяца, сразу же после завершения работы над статьей о Фуксе, Беньямин был поражен глубокой

аналогией между задачами, за которые мы взялись... Во-первых, это химический анализ, которому было необходимо подвергнуть... все те тарелки с несвежими идеями, которыми по-прежнему кормится всяк и каждый. Лабораторному анализу подлежат все блюда с этой убогой кухни. И затем, во-вторых, это демонстрация цивилизованности, которую мы должны были нести самой кухарке, хозяйничающей на этой сомнительной кухне: вы занимались этим не очень часто, но мне, к сожалению, приходилось делать это сплошь и рядом... Кроме того, я вижу, что мы с одинаковой сноровкой высказывали наши сокровенные мысли — неизменно ненавязчиво, но не идя ни на какие уступки (ВА, 168).

Их разговоры в значительной степени были посвящены их общему знакомому — Альфреду Зон-Ретелю. И Беньямин, и Адорно время от времени встречались с Зон-Ретелем в конце 1920-х гг. в Берлине, хотя общение с ним уже никогда не было таким интенсивным, как в 1924 г. под Неаполем. Несмотря на свои левые наклонности, Зон-Ретель сумел найти для себя нишу в гитлеровской Германии, в 1931–1936 гг. работая научным сотрудником в *Mittleuropäischen Wirtschaftstag* (Центральноевропейском экономическом совете), ассоциации ведущих германских корпораций и банков. Лишь в 1937 г. он эмигрировал в Англию через Швейцарию и Париж. Зон-Ретель считал делом своей жизни создание материалистической теории познания, основанной на критической эпистемологии Канта и марксистской критике политической экономии. В надежде на то, что Адорно сумеет убедить институт оказать поддержку его трудам, Зон-Ретель осенью 1936 г. отправил ему объемистый синопсис своей рабо-

ты, носивший название «Социологическая теория познания». Хотя Адорно счел его не вполне убедительным, он все же попросил Зон-Ретеля составить более ясный синопсис для его передачи Хоркхаймеру. Гораздо позже Зон-Ретель выдвинул идею о том, чтобы Адорно порекомендовал Хоркхаймеру обратиться к Бенъямину с просьбой дать оценку этой работе³⁴. Бенъямин с учетом неизменно абстрактного характера трудов Зон-Ретеля был совсем не идеальным рецензентом. В середине марта, во время визита Адорно в Париж, они с Бенъямином потратили целый вечер на то, чтобы выслушать Зон-Ретеля, излагавшего свои идеи. Исходя из этой и последующих бесед, но еще до того, как прочесть работу Зон-Ретеля, Бенъямин 28 марта отправил Хоркхаймеру довольно осторожное одобрение этого проекта; в заключение Бенъямин выдвигал предложение о том, чтобы самыми многообещающими из идей Зон-Ретеля занялась своего рода рабочая группа по эпистемологии и товарному обмену, в состав которой входили бы он сам, Зон-Ретель и Адорно. На протяжении апреля Бенъямин в тесном контакте с находившимся в Париже Зон-Ретелем работал над новой редакцией его синопсиса, которая была своевременно представлена Хоркхаймеру. Этот так называемый парижский синопсис был издан в 1989 г. под названием «О критической ликвидации априоризма: материалистический анализ» в варианте, включавшем и комментарии Бенъямина. В этом совместно написанном тексте указывается, что все более абстрактный характер человеческой мысли является результатом коммодификации: чувственный труд рабочего абстрагируется по мере того, как плоды его труда вовлекаются в систему обмена. Согласно последней рекомендации Адорно, Зон-Ретель получил за свой синопсис гонорар в 1000 франков и еще 1000 франков в мае. Однако ему так и не удалось завязать постоянных отношений с институтом; Зон-Ретель уехал в Англию и получил место экономического советника в окружении Уинстона Черчилля. По иронии судьбы работа Зон-Ретеля впоследствии пользовалась влиянием среди более склонных к теоретизированию слоев германского студенческого движения конца 1960-х — тех самых слоев, которые выражали решительное презрение к творчеству Адорно.

В мае у Бенъямина сложился еще один, более напряженный треугольник с участием Адорно. Их старый друг Кракауэр издал книгу, над которой уже долго трудился, — «Орфей в Париже: Оффенбах и Париж в его эпоху». Кракауэр исполь-

34. Sohn-Rethel, *Warenform und Denkform*, 87ff.

зовал в ней биографическую форму как объектив, чтобы рассматривать через него социальную и культурную историю Парижа времен Второй империи. С учетом давнего сродства между творчеством Кракауэра и Беньямина было неудивительно, что Кракауэр обратился к физиогномике культурной эпохи: оперетты Оффенбаха называются в его книге и симптомом напыщенности и поверхностности, свойственных правлению Наполеона III, и указанием на утопическое сопротивление его режиму. Адорно дал беспощадный отзыв о книге. Называя ее «отвратительной», он утверждал, что «немногие места, в которых речь идет о музыке, абсолютно ошибочны», что «социальные наблюдения» в ней «не отличаются от сплетен старых кумушек» и что Кракауэр предлагает лишь мимолетный «мелкобуржуазный взгляд... на „общество“, то есть, собственно говоря, на полусвет». Адорно доходит даже до заявления о том, что Кракауэр, возможно, «вычеркнул себя из списка авторов, к которым следует относиться со всей серьезностью» (ВА, 184). Не удовлетворившись частными отзывами, адресованными Беньямину, Блоху и Зон-Ретелю, Адорно первым отправил, как он сам выразился, «в высшей степени принципиальное и чрезвычайно искреннее» осуждение книги самому Кракауэру, а затем в конце года напечатал разгромную рецензию в *Zeitschrift für Sozialforschung*. Беньямин, чьи отношения с Кракауэром уже стали более прохладными, не был заинтересован в том, чтобы стремиться к полному разрыву с ним, и потому высказал свое мнение лишь в письмах к Адорно. Его оценка книги была негативной, но при этом более взвешенной, хотя и не столь конкретной. Найденные им в книге изъяны он приписывал вставшей перед Кракауэром необходимости «обеспечить себе позитивный доступ к книжному рынку». Соответственно, книга Кракауэра в глазах Беньямина была популяризацией, приводящей «примеры вещей», но не говорящей ничего «существенного» о творчестве Оффенбаха, особенно в тех случаях, когда речь идет о музыке. В итоге происходит необоснованное «оправдание» оперетты (ВА, 185–186). За реакцией и Адорно, и Беньямина на книгу Кракауэра явно скрывалось ощущение, что их друг вторгся на их территорию. Адорно увидел в нем соперника в области культурного музыковедения (Эрнст Кренек назвал книгу Кракауэра «биографией музыканта без музыки»³⁵), а Беньямин нашел в его книге ряд своих собственных стратегий анализа Второй империи. С учетом характерной для Бень-

35. *Wiener Zeitung*, 18 мая 1937 г. Цит. по: Müller-Doohm, *Adorno*, 342.

ямина чувствительности к *любому* использованию его материала и его подходов его реакция была на удивление сдержанной. Более того, в дальнейшем он обильно цитировал эту книгу в «Пассажах». В то же время Адорно практически объявил вендетту Кракауэру, что, должно быть, выглядело как жестокое предательство по отношению к старому другу, который одно время даже был его наставником. Адорно чернил репутацию Кракауэра в осуждающих замечаниях, обращенных к Хоркхаймеру, зная, что они лишь укрепят его и без того уже скептическое отношение к Кракауэру. Впоследствии, в 1950 г., оглядываясь на период изгнания, Адорно создал одну из своих важнейших работ — *Minima Mora*, носящую подзаголовок «Размышления с точки зрения испорченной жизни». Сообщество немецких изгнанников раздирали трения и соперничество. Они были вызваны не только конкуренцией за очень ограниченные ресурсы — и признание, — доступные на чужбине, но и ужасающими психологическими и физиологическими крайностями, с которыми столкнулись эти люди, лишенные родного очага и пожитков. Конфликт вокруг книги Кракауэра об Оффенбахе, как и несколько других моментов в отношениях между Беньямином, Адорно и Кракауэром, обнаруживает ту степень, в какой условия жизни в изгнании — интеллектуальная бездомность, финансовые лишения и социальная нестабильность — способны деформировать жизнь и разрушить дружбу.

Конец весны принес новые развлечения: в апреле Беньямин побывал на концерте друга Адорно, скрипача и последователя Шенберга Рудольфа Колиша, а в мае присутствовал на выступлении Анны Зегерс в память о великом немецком писателе Георге Бюхнере. Беньямин с насмешкой писал Маргарете Штеффин, что это выступление снова показало, насколько лучше Зегерс говорит, чем пишет (GB, 5:521). В апреле по делам института в городе побывал Фридрих Поллок, и Беньямин провел приятный вечер в его обществе; оба они заметно сблизились, и Беньямин в письмах к Адорно начал называть Поллока Фридрихом. Разумеется, в тот вечер Поллок услышал новые просьбы о дополнительной поддержке: курс французской валюты по-прежнему испытывал резкие колебания, и Беньямин не был уверен в том, что недавно достигнутое им скромное повышение уровня жизни не окажется временным. В начале июня через Париж снова проезжал Адорно, что дало им с Беньямином шанс на укрепление их личной и философской солидарности. К услугам автора «Пассажей» было еще одно развлечение, устроенное словно специально для него: Парижская всемирная выставка (с подзаголовком «Искусство и техника в современ-

ной жизни»). Эта *Exposition Internationale des Arts et Techniques dans la Vie Moderne*, открывшаяся 25 мая, была, пожалуй, самой политизированной из всех всемирных выставок. В испанском павильоне, построенном республиканским правительством, размещалась «Герника» Пикассо. А монументальные немецкий и советский павильоны при всем их видимом соперничестве словно подражали друг другу своей холодной тоталитарной архитектурой и скульптурой. Выставка навсегда изменила пейзажи 16-го округа: поперек территории выставки была проложена авеню Единых Наций, а на берегу Сены поднялись дворцы Шайо и Токио. Однако Беньямин, в своем исследовании о пассажирах изучающий роль промышленных выставок в формировании капиталистического столичного города XIX в., в начале июля упоминал в письме Шолему, что ни разу там не был.

28 июня Беньямин отправился в Сан-Ремо и пробыл в пансионе Доры до конца августа, за это время лишь один раз покинув его, чтобы присутствовать на философской конференции, проходившей в Париже с 28 июля по 12 августа. Снова укрывшись на итальянском курорте, он вернулся к своему летнему распорядку с прогулками по окружающим предгорьям, ежедневными купаниями и частыми визитами в кафе, где он читал и работал. Он сообщал ряду друзей, что «погрузился в интенсивное и весьма плодотворное изучение Юнга» (ВА, 201). Как он описывал ситуацию в письме от 9 июля Фрицу Либу, «я планировал написать критику юнгианской психологии, чью фашистскую броню я обещал себе выставить напоказ» (С, 542). Тем не менее итоги этой двухмесячной работы были относительно скромными; следы, которые они оставили в дошедшем до нас творчестве Беньямина, сводятся к нескольким разрозненным цитатам и одному аналитическому комментарию в «Пассажах», отталкивающемуся от процитированного выше письма Шолему от 2 июля:

В трудах Юнга присутствует запоздалое и особенно решительное развитие одного из тех элементов, которые, как можно сегодня признать, впервые были выявлены на манер взрыва экспрессионизмом. Конкретно речь идет о специфическом клиническом нигилизме, подобном тому, который можно также встретить в произведениях Бенна и который нашел пошлого последователя в лице Селина. Этот нигилизм был рожден потрясением, которым стали телесные глубины для тех, кто имел с ними дело. Повышенный интерес к психической жизни возводил к экспрессионизму сам Юнг. Он пишет: «Искусство имеет возможность предвосхитить грядущие изменения в принципиальном мировоззрении человека, а экспрессионистское искусство совершило этот

субъективный поворот задолго до изменений более широкого плана». См.: *Seelenprobleme der Gegenwart* (Zurich, Leipzig, and Stuttgart, 1932), p. 415 (AP, N8a, 1).

В материалах к «Пассажам» Юнг был первоначально помещен в папку К «Город-сон и дом-сон, сны о будущем, антропологический нигилизм, Юнг». Однако вышеприведенная цитата взята из папки N «О теории познания, теории прогресса», в которой Бенъямин собрал большую часть из своих откровенно методологических размышлений. К лету 1937 г. вызванный шок феномен «клинического нигилизма» — взрывная сила выявленной телесности — был признан им существенным аспектом современного опыта существования и идеологии прогресса.

Это лето оказалось для Бенъямина непродуктивным. Он писал Фрицу Либу: «Из какого окна ни выглянешь, виден один лишь мрак». Глядя на юго-запад, он видел войну в Испании и ежедневную угрозу для жизни Альфреда Кона и его семьи в Барселоне. На северо-западе была Франция с ее политикой Народного фронта, которую Бенъямин осуждал с необычайной для него откровенностью, заявляя, что «„левое“ большинство проводит политику, способную спровоцировать правые мятежи». А далеко на северо-востоке, в Москве, продолжались показательные процессы, к которым было приковано внимание Бенъямина и его друзей. «Пагубные последствия событий в России неизбежно продолжают распространяться, — писал он Либу. — И самое плохое в этом — не дешевое негодование стойких борцов за „свободу мысли“: намного более печальным и в то же время намного более неизбежным мне представляется молчание мыслящих индивидуумов, которым, именно будучи мыслящими индивидуумами, было бы сложно выдавать себя за осведомленных индивидуумов. Так обстоит дело в моем, как, вероятно, и в вашем случае» (С, 542).

5 августа, сразу же после того, как в *Cahiers du Sud* вышел в переводе на французский один из разделов его эссе *Goethes Wahlverwandschaften* («„Избирательное сродство“ Гёте»), он писал Шолему: «Я готов взяться за новый проект, связанный с Бодлером» (BS, 203). Это скромное заявление отмечает отправную точку великого замысла, который будет занимать Бенъямина на протяжении следующих двух с половиной лет. Вернувшись в сентябре в Париж и вновь получив доступ к ресурсам Национальной библиотеки, он всерьез принялся за сбор материалов для работы о Бодлере. К моменту, когда он начал писать черновой вариант эссе «Париж Второй империи у Бодлера», на работу над которым у него ушло три месяца чрезвычайно напря-

женного труда следующим летом, это эссе уже виделось ему как центральная часть задуманной книги о Бодлере. Отнюдь не отказываясь от исследования о пассажах, Беньямин на протяжении 1938 г. стал относиться к этой книге — *Charles Baudelaire: Ein Lyriker im Zeitalter des Hochkapitalismus* («Шарль Бодлер: лирический поэт в эпоху высокого капитализма») и к лежащему в ее основе эссе как к «миниатюрной модели» «Пассажей» (С, 556).

В ответ на просьбу Адорно Беньямин в конце июля отправился из Сан-Ремо в Париж, чтобы составить ему компанию на проходившей 29–31 июля Третьей конференции Международного конгресса за единое знание и последовавшем за ней Международном философском съезде: Адорно присутствовал на обоих мероприятиях в качестве официального представителя института. При помощи Беньямина он составил отчет, в котором уведомил Хоркхаймера об итогах конференции и о дискуссиях, которые они с Беньямином вели с другими участниками. В свою очередь, Беньямин, как он сообщал Шолему, получил возможность «очень пристально» следить за «работой особой конференции, которую проводила Венская логическая школа — Карнап, Нейрат, Рейхенбах. Я чувствую себя вправе сказать: *Molière n'a rien vu. Vis comica* его дискутирующих докторов и философов бледнеет в сравнении с этими „философами-эмпириками“» (BS, 202). Другие выступления были не столь комическими. На главной конференции философов, проводившейся по случаю 300-летия выхода в свет *Discours de la méthode* («Рассуждение о методе») Декарта, Беньямин услышал не только таких сторонников нацизма, как Альфред Боймлер, но и людей, представлявших текущее состояние немецкой академической философии, таких как идеалист Артур Либерт, редактор журнала *Kant-Studien*: «Он едва успел вымолвить несколько слов, как мне уже показалось, что я вернулся на 25 лет в прошлое, в атмосферу, в которой, вообще говоря, уже можно было ощутить весь нынешний упадок» (BS, 203). Иными словами, он снова попал в мир германской науки и в аудитории, в которых ему доводилось слушать Риккерта, Ясперса, Кассирера — цвет немецкой философии того времени.

12 августа Беньямин вернулся на «Виллу Верде» в Сан-Ремо, где проводил каникулы Штефан. Физическое и душевное состояние сына Беньямина как будто бы улучшилось, хотя было неизвестно, справится ли он с грядущими школьными экзаменами. У Беньямина и Доры состоялось несколько очень трудных дискуссий о молодом человеке и с ним самим, которые, однако, не привели к какому-либо решению. Кроме того, Беньямин, находясь в безопасном убежище Сан-Ремо, размышлял

о своем собственном ближайшем будущем. Он знал, что большую часть следующего года будет привязан к Парижу, где ему предстояло проработать обширный материал о Бодлере, собранный в Национальной библиотеке. Сама мысль о продолжительном пребывании в одном месте произвела на него обычный эффект: он начал поиск возможностей сбежать. Шодем, с которым у Беньямина восстановились самые дружеские отношения, опять призывал его подумать о том, чтобы провести часть зимы в Иерусалиме. Приглашение Шодема сопровождалось подробным разбором доклада комиссии Пиля, обнародованным 8 июля и содержавшим рекомендации о разделе Палестины и создании еврейского государства. Как отмечал Шодем, для визита в Палестину едва ли можно было бы выбрать более интересный момент, и Беньямин позитивно откликнулся на его приглашение, объявив, что помешать ему сможет лишь еще не анонсированный визит в Париж одного из директоров института.

Не имея доступа к библиотеке Сан-Ремо, что мешало ему по-настоящему начать изыскания о Бодлере, Беньямин обратился к творчеству своих коллег. Он с неподдельным восторгом откликнулся на эссе Адорно об Альбане Берге: «Вы разъяснили мои сомнения в отношении того, что колоссальное впечатление, которое „Воцдек“ произвел на меня тем вечером в Берлине, вскрыло внутреннюю вовлеченность, которую я едва ли осознавал, несмотря на то, что ее можно было проследить до мельчайших подробностей» (ВА, 205). В неопубликованном письме Бергу 1925 г. Адорно описывал свою реакцию и реакцию сопровождавшего его Беньямина на исполнение его оперы «Воцдек» 22 декабря 1925 г. Особенно выделяя ключевую сцену в гостинице, «использующую в качестве конструктивного мотива фальшивое пение», эффект которого показался ему «исполненным глубокой метафизики», Адорно описывал эту сцену в терминах, позаимствованных непосредственно из эссе Беньямина об «Избирательном сродстве» Гёте: «Это цезура в гельдерлиновском смысле, которая тем самым позволяет „невыразительному“ прорваться в саму музыку» (ВА, 120п). Более сдержанной была реакция Беньямина на программное и всеохватное эссе Хоркхаймера «Традиционная и критическая теория», незадолго до того напечатанное в *Zeitschrift*, хотя Беньямин высказал свою безусловную солидарность с его основными моментами.

Беньямин вернулся в Париж в начале сентября, горя нетерпением начать серьезную работу над эссе о Бодлере. Возобновление его жительства в Париже началось с зондирования почвы в серии бесед с Хоркхаймером. Их встречи весьма способствовали укреплению между ними дружеских отношений:

Хоркхаймер, оглядываясь на поездку в Париж, мог подтвердить, что «несколько часов, проведенных с Беньямином, входили в число самых чудесных моментов. Из всех наших друзей он наиболее близок к нам, причем намного более близок. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы избавить его от финансовых затруднений»³⁶. Во время своего визита Хоркхаймер согласился обеспечить Беньямина средствами, которые бы позволили ему завести свою собственную квартиру, и создал фонд для содействия в приобретении материалов для исследования о пассажирах и работы о Бодлере. Получив такую поддержку, Беньямин немедленно отдался своему прежнему распорядку жизни в его особенно напряженном варианте, с ежедневными изысканиями в Национальной библиотеке и стремительным разрастанием папки J в рукописи о пассажирах — эта папка была посвящена Бодлеру. Мы имеем относительно мало сведений о жизни Беньямина «за пределами Бодлера» в последующие месяцы, настолько он был поглощен этой работой.

Хорошие известия от Хоркхаймера прибыли одновременно с бытовой неприятностью: когда Беньямин вернулся в Париж в начале сентября, оказалось, что ему не попасть в квартиру, в которой он снимал комнату в течение последних двух лет (см.: GB, 5:575–576). Урзель Буд в конце августа послала ему в Сан-Ремо письмо, полное недомолвок и уверток. В нем утверждалось, что комната Беньямина понадобилась ее дяде для «полуофициального» дела и что на кон поставлено ее собственное разрешение на работу. Письмо завершалось обещанием возместить все расходы, которые понесет Беньямин за то время, когда он не сможет пользоваться своей комнатой. В ходе нескольких унижительных разговоров, завершившихся предложением заплатить Беньямину 600 франков отступных (которых он так и не дождался), Беньямин узнал, что вместо него нашелся «более удобный жилец, которому... угрожает высылка из страны», и потому ему «особенно срочно требуется неофициальное место проживания». Беньямин понял, что удобная квартира на улице Бенар стала очередной перевернутой страницей в его жизни. «Едва ли для этого мог быть выбран более неподходящий момент, — писал он Адорно, — поскольку из-за всемирной выставки цены в парижских отелях и даже цены на намного менее полезное для здоровья жилье выросли не менее чем в полтора раза» (BA, 215). После недолгого пребывания в отеле «Пантеон» в 6-м округе Беньямин перебрался

36. Adorno, Horkheimer, *Briefwechsel*, 240.

в «Виллу Никколо», отель в 16-м округе на улицу Никколо, 3, где прожил до конца сентября. Там он получил от Адорно сообщение о его бракосочетании с Гретель Карплус, состоявшемся 8 сентября в Оксфорде в присутствии Хоркхаймера и экономиста Редверса Опи, игравших роль свидетелей. Это известие явно застало Бенямина врасплох, и ему не сразу удалось сочинить приличествующий ответ — супруги Адорно расценили это молчание как упрек. Адорно попытался смягчить удар, сообщив ему, что на свадьбе присутствовали только свидетели, а также жена Хоркхаймера Мейдон, родители Адорно и мать Гретель. Он утверждал, что «больше об этом никто ничего не знал, и мы не могли сообщить вам подробности, не породив совершенно неоправданных недоразумений личного характера... Заклинаю вас относиться к этому делу так, как оно того действительно заслуживает, и не обижаться, поскольку в противном случае вы будете к нам несправедливы». Извинения Адорно завершаются на странной и двусмысленной ноте: «Мы оба преданы вам и не оставили никаких сомнений в отношении этого факта и у Макса; более того, мне кажется, что теперь я могу сказать это и о нем тоже» (ВА, 208). Этот вывод предполагает, что, по мнению Адорно, Бенямин и Хоркхаймер вели друг с другом соперничество за его симпатии и что Бенямин не был приглашен на свадьбу именно по этой причине. Хотя ответ, который Бенямин в итоге дал на это письмо, утрачен, более вероятно, что если он и чувствовал себя уязвленным этими событиями, то из-за Гретель, а вовсе не из-за Хоркхаймера. Эротические увлечения Бенямина были весьма сложными, но не включали, насколько нам известно, гомоэротический аспект. Мы не можем сказать того же в отношении Адорно.

Как раз тогда, когда Бенямин уже решил, что больше не может себе позволить даже самый дешевый отель, его спасло полученное от Эльзы Херцбергер, богатой знакомой Адорно, предложение бесплатно пожить в комнате для прислуги в ее квартире на улице Шато, 1 в Булонь-сюр-Сен, пока хозяйка с горничной будут находиться в Америке (в течение примерно трех месяцев). К 25 сентября Бенямин поселился в крохотной комнатке, где, «если посмотреть дареной лошади в зубы... можно увидеть, как я сижу... проснувшись уже в шесть часов утра, и вслушиваюсь скорее в океанические, нежели во вразумительные ритмы парижского уличного движения, которое грохочет в узкой асфальтовой скважине перед моей кроватью... так как кровать стоит как раз там, где находится окно. Если открыть ставни, то вся улица будет свидетелем моих литературных трудов, а если закрыть их, то я сразу же оказываюсь во власти чудо-

вищных климатических крайностей, создаваемых (неконтролируемым) центральным отоплением (ВА, 222). Спасаясь от этих неудобств, он сбегал по утрам в Национальную библиотеку, где продолжал свои изыскания по Бодлеру.

Даже бесплатное жилье не могло в полной мере уберечь Беньямина от резкого роста цен и девальвации французского франка (произошедшей летом): его финансовая позиция значительно ухудшилась по сравнению с началом года. Более того, «сомнительный квазиполусоциализм правительства Блюма» (ВА, 222) — речь идет о правительстве Народного фронта, во главе которого в 1936–1937 гг. стоял Леон Блюм, — повлек за собой хроническую стагнацию строительной отрасли, которая, в свою очередь, вызвала нехватку жилья. Но Хоркхаймер сдержал слово. 13 ноября Беньямин узнал от Фридриха Поллока о том, что с этого самого момента институт начинает выплачивать ему повышенную стипендию, составлявшую 80 долларов в месяц, что было существенно меньше сумм, выплачиваемых постоянным авторам в Нью-Йорке, но все равно защищало от резких колебаний курса франка. Кроме того, Поллок уведомил Беньямина, что тот может ожидать отдельной выплаты в 1500 франков на поиски жилья. Адорно, который месяцами требовал от Хоркхаймера пересмотреть финансовые расчеты института с его важнейшим парижским автором, получил от Беньямина слова «искренней благодарности», а также замечание о том, что новая стипендия составляет «приблизительно три четверти того, что вы первоначально имели в виду для меня» (ВА, 222).

В октябре Беньямина навестили друзья — Фриц Либ, Марсель Брион и Брехт со своей женой Хеленой Вайгель: двое последних прибыли в Париж для того, чтобы ознакомиться с новой французской постановкой «Трехгрошовой оперы» и провести репетицию новой одноактной пьесы Брехта *Gewehre der Frau Carrar* («Винтовки Тересы Каррар») с Хеленой Вайгель в главной роли. Беньямин, сопровождавший Брехта в театр на такие постановки, как *Chevaliers de la table ronde* («Рыцари круглого стола») Жана Кокто — «зловещая мистификация, свидетельствующая о стремительном упадке его способностей» (ГВ, 5:606) — и *Voyageur sans bagage* («Путешественник без багажа») Жана Ануя, был поражен явным отдалением Брехта от авангарда и ростом значения реализма в его творчестве. В этих спектаклях Беньямин видел, возможно, несколько близоруко свидетельство общего упадка театра, что подтверждало его прогноз, высказанный в эссе о произведении искусства. К этим свиданиям прибавлялись довольно регулярные встречи с колючим Кракауэром,

позже превравшиеся (в последний раз они виделись в сентябре в присутствии Хоркхаймера), а кроме того, Беньямин поддерживал контакты с такими парижскими друзьями, как Адриенна Монье, фотограф Жермена Круль и Анна Зегерс. «Все выталкивает меня, даже в большей степени, чем обычно, — писал он в октябре, — в узкий круг немногих друзей и в более узкий или более широкий круг моих собственных трудов» (С, 547).

Несмотря на то что главным делом для него оставались подготовительные изыскания к эссе о Бодлере, Беньямин снова проявлял активность на нескольких издательских фронтах разом. Он по-прежнему писал рецензии для *Zeitschrift*. Летом одновременно с переводом «Рассказчика» на французский он сочинил рецензию на антологию произведений Шарля Фурье, а теперь работал над рецензией на *La photographie en France au dix-neuvième siècle* («Французская фотография XIX в.») — исследование, написанное его подругой Гизелой Фройнд, а также над рецензией на книгу *Die Macht des Charlatans* («Власть шарлатана») австрийской журналистки Греты де Францеско. Все три рецензии имели более или менее непосредственное отношение к исследованию о пассажах. Фурье была посвящена отдельная папка в «Пассажах» — папка W, в которой собраны поражающие своим разнообразием материалы о воображении, педагогике и социально-индустриальном контексте раннего социализма, а на исследование Фройнд (и в опубликованном, и в рукописном варианте) Беньямин ссылается в нескольких различных контекстах, имеющих отношение к промышленному применению фотографии и к связи фотографии с процессами, шедшими в жанровой живописи XIX в. и в среде культурной богемы. В собрании материалов по пассажам у Беньямина даже нашлось место для цитаты из книги де Францеско о шарлатане, принятой им с некоторыми оговорками, несмотря на личную симпатию к ее автору (см.: ВА, 206). Фигура шарлатана была связана с промышленными фантасмагориями во Франции начала XIX в. и в первую очередь с тактикой коммерческой рекламы, разрабатывавшейся в эпоху Фурье; можно сказать, что сознательным шарлатанством порой занимался и сам Фурье. Такое перекрестное опыление работы над рецензиями и изысканий о пассажах вполне соответствовало одному из однозначно неклассических методологических принципов, сформулированных в начале папки N: «для всего, о чем ты думаешь в конкретный момент времени, необходимо любой ценой найти место в существующих замыслах» (АР, N1,3).

В сентябре Хоркхаймер представил Беньямина Эмилю Опрехту, швейцарскому издателю, выпускавшему не только *Zeit-*

schrift für Sozialforschung, но и журнал *Maß und Wert*, с редакторами которого Беньямин уже налаживал контакты. Совместно с Опрехтом Беньямин начал планировать для этого нового журнала информационную статью об Институте социальных исследований. После переговоров с редактором журнала Фердинандом Лионом, который недвусмысленно требовал избегать всяких намеков на «коммунизм», Беньямину в декабре удалось начать работу над статьей *Ein deutsches Institut freier Forschung* («Немецкий институт независимых исследований»); она была издана в следующем году. В начале ноября Беньямин послал Хоркхаймеру первое из нескольких длинных писем с обзором современной французской литературы. Это первое «письмо о литературе», не предназначенное для публикации, было посвящено новой пьесе Кокто *Chevaliers de la table ronde* («Рыцари круглого стола») (которую Беньямин изничтожает) и книгам Анри Кале и Дени де Ружмона; упоминалась в нем и книга Карла Ясперса о Ницше, вызвавшая у Беньямина замечание о том, что «по большей части философская критика после выхода за рамки исторического трактата... в наши дни способна лучше всего выполнить свою задачу, приобретя полемический облик» (GB, 5:600). Наряду с этими замыслами быстро продвигались и изыскания о Бодлере в Национальной библиотеке, и в середине ноября Беньямин мог сообщить Адорно, что «сумел просмотреть более или менее всю литературу о Бодлере, какая была мне нужна» (BA, 227). Вскоре, изучая политические работы французского революционера XIX в. Луи-Огюста Бланки, он снял вторую партию фотокопий с материалов о пассажах и переслал их в Нью-Йорк Хоркхаймеру.

15 ноября Беньямин предпринял шаг, имевший для него огромное значение. После почти пяти лет изгнания он подписал договор о съеме своей собственной квартиры на улице Домбаль в 15-м округе. Хотя, как оказалось, въехать в нее можно было лишь 15 января, сам он заявлял, что доволен условиями договора. В целом квартира была тесная, но ее планировка выстраивалась вокруг довольно просторной центральной комнаты, и в ней имелась большая терраса, на которой Беньямин летом мог принимать посетителей. Эта квартира стала его последним местом жительства в Париже вплоть до бегства в 1940 г. Между тем Эльза Херцбергер в конце декабря возвращалась из Америки, и ему пришлось думать, где ему жить после того, как он освободит ее *chambre de bonne*, и перед тем, как въедет в новое жилище. Как и во многих других случаях, неизменно верная Дора по-прежнему была в состоянии предоставить ему пристанище, и Беньямин предполагал к концу года отправиться в Сан-Ремо.

Перед этой недолгой отлучкой из Парижа, где политическая ситуация накалялась день ото дня, он посетил лекцию о Гегеле, прочитанную философом русского происхождения Александром Кожевым (Кожевниковым) в Коллеже социологии³⁷. Эта группа интеллектуалов во главе с Жоржем Батаем и Роже Кайуа образовалась в марте 1937 г. на встрече в кафе *Grand Véfour* в Пале-Рояль; в июле 1937 г. о ее рождении возвестил журнал Батая *Acéphale* («Ацефал»). «Коллеж» представлял собой цикл лекций, читавшихся раз в две недели вечерами по субботам в заднем помещении книжного магазина *Galleries du Livre*, и Беньямин часто посещал их, хотя по большей части молчал. Данная группа ориентировалась на «социологию священного», призванную исследовать присутствие священного в современном мире и в ходе этого анализа выявить элементы новой общественной структуры. Беньямин явно тянулся к группе (или, как было у него в обычае, к ее краям), изучавшей проявления святости во внешне секуляризованном мире, новые разновидности человеческого сообщества и отношения между эстетикой и политикой. По мере все более тесного знакомства с группой он начал распознавать более тонкие различия между взглядами трех ее лидеров — Батая, Кайуа и Мишеля Лейриса — и более активно, хотя и не прямо, выступать против некоторых положений, выдвигавшихся каждым из этих авторов. Хоркхаймеру в ноябре 1937 г. он описывал выступление Кожева как четкое и впечатляющее — Беньямин осознавал, что влияние этого философа уже ощущается в Париже, не в последнюю очередь среди сюрреалистов, — но находил, что «идеалистическая» концепция диалектики, предложенная Кожевым, включает в себе много спорного (см.: GB, 5:621).

В начале декабря Беньямин получил известие, что чета Адорно вскоре отправляется в Америку, где Адорно получил место музыкального руководителя исследовательского проекта на радио — этот проект финансировался Принстонским университетом — и где он собирался работать в тесном сотрудничестве с Хоркхаймером в нью-йоркском отделении Института социальных исследований. Адорно обещал Беньямину по-прежнему защищать его интересы в стенах института, а также сделать все возможное, чтобы выписать Беньямина в Америку — это следовало сделать «как можно скорее», поскольку «в относительно близком будущем неизбежна война» (BA, 228). Новость о неминуемом отъезде Адорно стала для Беньямина тяжелым ударом.

37. См.: Falasca-Zamponi, *Rethinking the Political*.

Он мог утешаться лишь тем, что вскоре увидит своих друзей, так как они проводили рождественские праздники в Сан-Ремо. Соответственно, в конце декабря, в самый разгар забастовки парижских работников коммунальных услуг, он выехал в Италию, где теперь в пансионе Доры работал Штефан, решивший не возвращаться в Вену. Там Беньямин в последний раз встретил Теодора и Гретель Адорно.

Глава 10

Бодлер и улицы Парижа: Париж, Сан-Ремо и Сковсбостранд. 1938–1939

ПЕРВЫЕ дни января 1938 г. застали Бенямина в Сан-Ремо, где он проводил время в обществе своих друзей Теодора и Гретель Адорно. Эти дни были заполнены интенсивным обсуждением их работы и ее руководящих принципов. Адорно зачитывал Беньямину отрывки из черновика своей книги *Versuch über Wagner* («В поисках Вагнера»), отдельные главы которой были в 1939 г. опубликованы в *Zeitschrift* под названием *Fragmente über Wagner* («Фрагменты о Вагнере»). Все трое отмечали то значение, которое для исследования о Вагнере имел разговор, состоявшийся на террасе кафе в городе Оспедалетти, расположенном на лигурийской Ривьере в нескольких километрах к западу от Сан-Ремо. Несмотря на незнакомство с теорией музыки, Бенямин был впечатлен способностью Адорно делать музыку Вагнера «социально прозрачной». Разговор неизбежно свернул на вопросы биографии и критики. Оба друга выражали сожаления в отношении принятой Кракауэром наивной, по их мнению, интерпретации некоторых аспектов жизни Оффенбаха как указания на социальные тенденции более общего плана. Бенямин дал высокую оценку физиогномическому портрету Вагнера, нарисованному Адорно, так как этот портрет был интегрирован в социальное окружение композитора без какого-либо посредства психологии.

Для Бенямина особое значение имело обсуждение исследования о Бодлере, к тому моменту уже далеко продвинувшегося. В начале года Бенямин пришел к убеждению, что для того, чтобы его работа о Бодлере в полной мере могла опираться на итоги его изысканий по пассажам, она должна быть книгой, а не статьей. К тому моменту, когда Бенямин приступил к этой новой работе, он уже более 20 лет занимался Бодлером. Он прочел «Цветы зла» во время Первой мировой войны и написал свои первые тексты о поэте (неопубликованные отрывки, озаглавленные «Бодлер II» и «Бодлер III») в 1921–1922 гг.; в 1923 г. была издана книга его переводов из Бодлера с «Задачей пере-

водчика» в качестве предисловия. В 1938 г. Беньямин вполне осознавал все затруднения, встающие при углубленном анализе Бодлера. В предшествовавших исследованиях в центре внимания находился ранний Бодлер — его связи с романтизмом, сведенборговский мистицизм «соответствий», бегство в мечты и в идеал. Жид еще в 1902 г. отмечал, что ни об одном писателе XIX в. не говорилось столько глупостей, как о Бодлере. Беньямин, просматривая в 1938 г. собранные им обширные материалы, сделал аналогичное замечание о том, что большинство комментариев к творчеству поэта звучат так, «словно „Цветы зла“ никогда не были написаны». Но Беньямин понимал, что если он собирался открыть Бодлера заново, представив его как современную по своей сути личность — отчужденную, бездомную, угрюмую, — то ему следовало вырваться за «пределы буржуазной мысли» и определенных «буржуазных реакций». А он, безусловно, отдавал себе отчет в том, что его собственное мышление было сформировано его воспитанием в среде крупной буржуазии (см.: GB, б:10–11).

Беседы с супругами Адорно о бодлеровском проекте затрагивали самый широкий круг вопросов, связанных с точкой приложения сил, расстановкой акцентов и критической методологией. Беньямин, несомненно, обсуждал с ними и открытие, очень серьезно сказавшееся на его замыслах. Поздней осенью 1937 г., продолжая изыскания в парижской Национальной библиотеке, он наткнулся на космологические размышления Луи-Огюста Бланки *L'éternité par les astres* («Вечность через звезды»). Великий французский революционер Луи-Огюст Бланки (1805–1881) отличился тем, что участвовал во всех трех главных парижских восстаниях XIX в.: Июльской революции 1830 г., революции 1848 г. и Парижской коммуне 1870 г. После каждого из них он был арестован и сидел в тюрьме. Работа «Вечность через звезды» была написана во время его последнего заключения в форте Торо во время Парижской коммуны. Впоследствии Беньямин признавался Хоркхаймеру, что при первом прочтении этот текст показался ему банальным и безвкусным, однако, ознакомившись с книгой повнимательнее, он увидел в ней не только «безусловную капитуляцию» Бланки перед социальным строем, одержавшим над ним победу, но и «самое ужасное обвинение в адрес общества, отражающего в себе этот образ космоса как проекции самого себя на небеса» (С, 549). Беньямин находил соответствия между представленной в книге точкой зрения Бланки на жизнь — как на нечто механистическое и в то же время адское — и той ролью, которую играют астральные метафоры у Ницше и Бодлера: эти соответствия он наде-

ялся проработать в так и не дописанной третьей части книги о Бодлере.

Вернувшись 20 января в Париж, Беньямин обосновался в маленькой квартире на улице Домбаль, которую называл своим домом до самого конца своего проживания в Париже. Уже 7 февраля он мог сообщить Хоркхаймеру, что квартира удовлетворительно обставлена, и с неподдельным восторгом отзывался о террасе, откуда открывалась панорама парижских крыш. С нетерпением ожидая прибытия тех книг, которые временно хранились у Брехта в Дании, Беньямин признавался, как сильно он по ним скучает: «Лишь теперь я заметил, насколько глубоко во мне скрывалась потребность в них» (ГВ, 6:38). К концу марта на его книжных полках стало меньше места благодаря приятному сюрпризу: у одного из его друзей сохранилось «десять или двадцать» книг, оставшихся в его берлинской квартире и отправленных ему в Париж. Молодой коллекционер произведений искусства и писатель Эрнст Моргенрот, в годы изгнания издававшийся под псевдонимом Штефан Лакнер, вспоминал, что в гостиной квартиры на почетном месте висела акварель Пауля Клее *Angelus Novus*. Несмотря на неоднократные сетования на шум лифта, шахта которого располагалась рядом с квартирой, Беньямин в первые месяцы жизни на новом месте обнаружил — к большой пользе для своего бюджета, — что с огромной неохотой покидает свое жилье: такую радость ему доставляло наличие своего собственного убежища.

Все же он постепенно начал совершать вылазки с улицы Домбаль и вновь приобщаться к жизни города. В число тех вещей, которые привлекали его в первую очередь, входило искусство. В начале февраля он посетил выставку новых работ Клее в галерее «Симон» Канвейлера, отметив, что акварели Клее ему по-прежнему нравятся больше, чем картины, написанные маслом. Более непосредственное отношение к его трудам имела большая выставка работ сюрреалистов в Галерее изящных искусств на улице Фобур-Сент-Оноре:

Пол главного зала был покрыт опилками, из которых тут и там рос папоротник. С потолка свисали мешки с углем. Освещение было полностью искусственным. Ты оказывался в *chapelle ardent* (покойницкой) живописи, а в выставленных картинах имелось что-то от наград на груди усопших близких... Вход на выставку представлял собой галерею из манекенов, сделанных из папье-маше. Эрогенные (и прочие) зоны у кукол были покрыты фольгой, электрическими лампочками, клубками пряжи и прочими магическими предметами. Все это было так же похоже на сон, как магазин готового платья — на пьесу Шекспира (ГВ, 6:41).

Лакнер так описывает облик Беньямина в эту пору его жизни: «В его внешности не было ничего божественного. В те дни у него вырос небольшой, слегка выпиравший животик. Обычно он носил старый полуспортивный твидовый пиджак буржуазного покроя, темную или цветную рубашку и серые фланелевые брюки. Не помню, чтобы я когда-нибудь видел его без галстука... Порой глаза за его круглыми очками принимали свиное, глубокомысленное выражение, и тогда не сразу становилось понятно, не шутка ли то, что он только что произнес вслух»¹. Склонность к насмешливому юмору часто проявлялась в его отношениях с другими людьми. Встретив однажды на улице философа Жана Валя, Беньямин узнал от него, что Валь только что был у своего первого наставника, престарелого Анри Бергсона. Тот выражал беспокойство по поводу возможного китайского вторжения в Париж (притом что победа до тех пор оставалась за японцами) и обвинял во всех социальных проблемах железные дороги. Беньямин, слушая это, подумал: «А чем нас порадует Жан Валь, когда ему будет 81 год?» (ВГ, 219).

Жизнь Беньямина в Париже зимой 1938–1939 гг. разнообразилась частыми визитами его друзей из числа французов и немецких эмигрантов. Время от времени он встречался с Кракауэром; их интеллектуальный диалог 1920-х гг., послуживший решающим импульсом к творчеству обоих философов, сменился несколько неловкими взаимоотношениями. Они говорили о книге, посвященной кино, которую Кракауэр писал по заказу, но так и не дописал. Кроме того, Беньямин часто виделся с Ханной Арендт и ее будущим мужем Генрихом Блюхером. Беньямин познакомился с Арендт и ее первым мужем Гюнтером Штерном еще в то время, когда все они жили в Берлине; Штерн и Беньямин состояли в дальнем родстве. Ханна Арендт (1906–1975) выросла в Кенигсберге в Восточной Пруссии, в ассимилированной семье, принадлежащей к среднему классу. Она училась у многих виднейших интеллектуалов веймарской Германии: философии — у Мартина Хайдеггера, Карла Ясперса и Эдмунда Гуссерля, а теологии — у Рудольфа Бульмана и Пауля Тиллиха. Докторскую степень она получила за написанную под научным руководством Ясперса диссертацию о концепции любви у Августина. В середине 1920-х гг. Арендт состояла в любовной связи с Мартином Хайдеггером, хотя в то время об этом никто не знал; лишь в 1929 г. она познакомилась в Берлине со Штерном и вышла за него замуж. Весной 1933 г. после допро-

1. Lackner, “Von einer langen, schwierigen Irrfahrt”, 54–56.

са в полиции она бежала из Берлина сначала в Чехословакию и Швейцарию, а затем в Париж. В годы парижского изгнания Бенъямин и Арендт постепенно сблизились друг с другом. Начиная с 1936 г. вокруг них сложился небольшой кружок немецких эмигрантов. Эта группа, регулярно собиравшаяся на дискуссионные вечера в квартире Бенъямина, включала Фрица Френкеля, художника Карла Хайденрайха, юриста Эриха Кон-Бендита, Генриха Блюхера и Ханана Кленборта, коллегу Арендт по еврейской благотворительной организации². Блюхер молодым рабочим принимал участие в восстании «спартаковцев» в Берлине, а впоследствии стал активистом компартии. Почти не имея формального образования, он усердно занимался самообразованием. Бенъямин, несомненно, познакомился с Блюхером еще в Берлине — либо через своего брата Георга, либо в то время, когда Блюхер работал ассистентом в неврологической клинике Фрица Френкеля. К 1938 г. Арендт стала одним из главных собеседников Бенъямина по вопросам философии и политики. И Арендт, и Бенъямин существовали на окраинах парижской академической философии, время от времени посещая лекции и ведя дружбу с отдельными ее представителями, такими как Александр Кожев, Александр Койре и Жан Валь; Арендт с ее симпатиями к гегельянской и хайдеггеровской философии, несомненно, была ближе к этому рыхлому сообществу, чем Бенъямин.

11 февраля Бенъямин встречал в Париже Шолема, испытывая достаточно смешанные чувства. Шолем направлялся в США, где ему предстояло лекционное турне, которое он собирался сочетать с изучением собраний каббалистических рукописей. Пока Шолем находился в Париже, в беседах между ним и Бенъямином была поднята тема Мартина Бубера и перевода еврейской Библии, предпринятого им с Францем Розенцвейгом в середине 1920-х гг. (этот перевод издавался в 1925–1937 гг.). В письме теологу Карлу Тиме, критиковавшему перевод многих важнейших фраз, Бенъямин выражал свои собственные сомнения в отношении этого начинания, касавшиеся не столько его уместности вообще, сколько того *момента*, в который оно было предпринято. По мнению Бенъямина, «временной принцип» принудил переводчиков к использованию ряда немецких оборотов, характерных для той эпохи. Шолем в своем описании этой встречи с Бенъямином в Париже — тогда, в 1938 г., они видели друг друга в последний раз — подчеркивает эмоциональ-

2. Young-Bruehl, *Hannah Arendt*, 122.

но насыщенную атмосферу, в которой проходили их дискуссии (см.: SF, 205–214; ШД, 334–346). «Я не видел Беньямина одиннадцать лет. Его внешность несколько изменилась. Он стал более коренастым, держался более небрежно и носил намного более густые усы. Его волосы были обильно испещрены сединой. Мы вели активные дискуссии о его работе и об основах его мировоззрения... Впрочем, в центре этих дискуссий находилась, конечно же, его марксистская ориентация». Эти мини-портреты, нарисованные Шолемом и Штефаном Лакнером, дают представление о том, как отразились на Беньямине годы изгнания: в свои 45 лет он уже превращался в старика.

В ответ на прозвучавшую из уст Шолема критику эссе о произведении искусства — Шолем находил изложенную в нем философию кино натянутой и напал на обращение Беньямина к понятию ауры, «которое он много лет использовал в совершенно ином смысле», — Беньямин заявил, что его марксизм имеет не догматическую, а эвристическую и экспериментальную природу и отнюдь не означает отказа от его прежних идей, а, напротив, представляет собой вполне уместную и плодотворную смену метафизической и теологической точек зрения, которые он развивал в первые годы их дружбы. Слияние его теории языка с марксистским мировоззрением представляло собой задачу, на которую он возлагал величайшие надежды. Шолем напал на него за его связи с «собратьями по марксизму». Беньямин защищал такое достижение Брехта, как «абсолютно немагический язык, язык, очищенный от всякой магии», и сравнивал это достижение с тем, что удалось достичь Паулю Шеербарту — их с Шолемом любимому автору. Кроме того, он рассказывал Шолему о многочисленных непристойных стихах Брехта, включая некоторые из них в число его лучших стихотворений. В том, что касается Института социальных исследований (с верхушкой которого Шолему вскоре предстояло встретиться), Беньямин подчеркивал свое «глубокое сочувствие» его общей ориентации, но позволял себе некоторые оговорки, а в его словах порой слышалась «горечь, определенно не сочетавшаяся с примирительным тоном его писем Хоркхаймеру». Когда речь зашла об отношении института к коммунистической партии, Беньямин «стал выражаться очень уклончиво и не пожелал занимать чью-либо сторону», в этом смысле представляя собой явную противоположность некоторым своим друзьям, пылко осуждавшим московские процессы. Однажды они с Шолемом говорили о Кафке, а в другой раз — о Луи-Фердинанде Селине. По поводу новой книги последнего — «Безделицы для погрома» (*Bagatelles pour un massacre*) Беньямин заметил, что, исходя из своего собственного опыта, убежден

в широком распространении скрытого антисемитизма даже среди левой французской интеллигенции и что в принципе от него во Франции свободны лишь очень немногие неевреи — в их числе он называл Адриенну Монье и Фрица Либа. Однако Шолем отметил, что огромная симпатия его друга к Франции нисколько не уменьшилась — более того, в противоположность этому в Беньямине наблюдалась «несомненная холодность и даже антипатия по отношению к Англии и Америке».

Прожив в Париже более четырех лет, Беньямин расширил сеть своих личных контактов в такой степени, что оказался втянут — пусть даже косвенно — во французскую литературную политику. Фотограф-эмигрант Жермена Круль, с которой Беньямин познакомился в 1927 г., была более давней жительницей Парижа и к тому же временами сожительствовала с французскими интеллектуалами, но тем не менее она обратилась за помощью именно к нему, когда искала издателя для рассказа, и заклала Беньямина воспользоваться своими связями, чтобы куда-нибудь его пристроить. И это была не единственная попытка Беньямина помочь друзьям пробиться в печать; он говорил с разными людьми в Париже и писал за границу друзьям о романе «Безродный Ян» своего знакомого (и покровителя) Штефана Лакнера. В конечном счете именно эта глубокая вовлеченность Беньямина во французскую литературную политику укрепила его взаимоотношения с Институтом социальных исследований и с Хоркхаймером. Опубликованные работы Беньямина составляли лишь часть услуг, за которые он получал ежемесячную стипендию. Длинные письма Хоркхаймеру — беньяминовские «письма из Парижа» — служили настоящим текущим комментарием к основным течениям во французской мысли, покрывая весь политический спектр. В марте Беньямин принял участие в продолжительном диалоге с Хоркхаймером по поводу «Безделиц для погрома» Селина — книги, которую он только что обсудил с Шолемом. Эта диатриба Селина, сочетавшая в себе ядовитый антисемитизм с явно несопоставимым с ним пацифизмом, напомнила Беньямину об идеях, которые начали складываться у него летом 1937 г. в Сан-Ремо, — идеях о своеобразном современном «клиническом нигилизме». В письме Хоркхаймеру Беньямин проводил типичную для него неожиданную причинно-следственную связь между экспрессионизмом, Юнгом, Селином и немецким романистом и врачом Альфредом Деблином: «Интересно, нет ли такой формы нигилизма, характерной для врачей, которая творит свои собственные унылые стихи, извлекая их из опыта, получаемого врачами в анатомических театрах и операционных, перед раз-

верстыми животами и черепами. Философия уже более полутора сотен лет как оставила этот нигилизм в обществе подобного опыта (еще во времена Просвещения, пример чему — Ламетри [автор «Человека-машины»]). Беньямин полагал, что трудно переоценивать значение антисемитских выпадов Селина «в качестве симптомов»; он указывал на рецензию в *Nouvelle Revue Française*, в которой наряду с указаниями на запутанность и лживость книги Селина в итоге она все же называлась «крепко сделанной» и воздавались похвалы ее «дальновидности» (GB, 6:24, 40–41). После того как французское правительство в апреле 1939 г. издало ряд указов, направленных против антисемитизма, издатель книги Селина изъял ее из продажи. В июне Беньямин дал язвительный отзыв на опубликованную в *Le Figaro* статью Клоделя о Вагнере, назвав ее «превосходным примером великолепной проницательности и беспримерных способностей этого ужасного человека» (BA, 260).

Беньямин с его неизменной чуткостью к той роли, которую играют журналы при выработке интеллектуальными кругами своего мнения, регулярно уведомлял Хоркхаймера о новых игроках и существенных изменениях в прессе. Например, он позаботился о том, чтобы Хоркхаймер подписался на *Mesures* («Меры») — новый журнал, подспудно связанный с *Nouvelle Revue Française*. Руководителем *Mesures* был американец Генри Черч, но сам журнал тайно составлялся и редактировался Жаном Поланом, редактором *Nouvelle Revue Française*. В *Mesures* печатались более авангардные произведения, и он имел иную аудиторию, хотя, очевидно, и несколько совпадавшую с аудиторией *Nouvelle Revue Française*: он был обращен к постсюрреалистам из Коллежа социологии, к зарождавшемуся экзистенциальному движению и ко всем заинтересованным в возрождении мистической мысли³. Кроме того, Беньямин не забывал часто ссылаться на *Cahiers du Sud* — журнал, с которым его самого связывали наилучшие отношения; он настойчиво рекомендовал опубликованную там статью Жана Полана о возрождении риторики. Таким образом, Беньямин был не просто одним из авторов институтских изданий, а еще и хорошо осведомленным репортером, работавшим на группу интеллектуалов, которые в иных отношениях в целом были отрезаны от европейских интеллектуальных течений, являвшихся их жизненной основой.

Беньямин осознавал, что опасности, связанные с прямыми нападками на французские институты, были, пожалуй,

3. Paulhan, "Henry Church and the Literary Magazine 'Mesures'".

даже более велики, чем те, с которыми он столкнулся пятнадцатью годами ранее в Германии, когда впервые заявил о себе как о независимом критике. Хоркхаймеру он обещал занимать по отношению к «смертоносным институтам [*Instanzen*] нашей эпохи по возможности агрессивную позицию в своем творчестве и оборонительную, насколько это в моих силах, в жизни» (GB, б:30). Именно эта максима диктовала его отношения с ведущими французскими интеллектуалами, такими как Жан Полан, и с более молодыми знакомыми, включая Раймона Арона и Пьера Клоссовского, как и его нередкое молчание во время литературных и политических дискуссий. Лишь в своих работах, например, когда он напечатал в *Zeitschrift* рецензию на речь католического националиста Гастона Фессара о гражданской войне в Испании, он позволял себе толику критической отстраненности.

Та степень, в которой Бенъямин следовал своей собственной максиме в своих отношениях с Институтом социальных исследований, остается предметом острых дискуссий. В конце 1930-х гг., когда Бенъямин укреплял отношения с институтом, он старался подать себя в том свете, какого, по его мнению, от него ожидали: в качестве левого мыслителя, не слишком доктринера и не слишком радикала, и просвещенного критика пошедшего вразнос мира. Сообщения Шолема о его визите в Нью-Йорк, где он впервые встретился с Хоркхаймером и с супругами Адорно, свидетельствуют, что эта сознательно зауженная самоподача не была ни результативной, ни в конечном счете необходимой. В число тех, с кем первым делом встретился Шолем, входили Пауль и Ханна Тиллих, поселившиеся в Нью-Йорке, где Тиллих преподавал в Федеральном теологическом семинаре.

В том числе мы говорили и о тебе. Т. щедро расточали тебе похвалы (как самым добросовестным образом поступал и я), и в итоге у меня сложилась несколько иная картина отношений между тобой и Хоркхаймером по сравнению с той, какую ты постулировал во всевозможных предупреждениях, носивших эзотерическое обличье. Я устроил небольшое представление, чтобы разговорить Т. По его словам, Х. питает к тебе *величайшее* уважение, *но при этом совершенно убежден, что в том, что касается тебя, приходится иметь дело с мистиком*, а ведь как раз этого ты и не собирался ему внушать, если я верно тебя понял. Это выражение принадлежит мне, а не Тиллиху. Одним словом, он сказал что-то в таком роде: люди здесь не настолько простаки, чтобы не вывести тебя на чистую воду, но в то же время и не настолько тупы, чтобы после этого не желать иметь с тобой дела. Они готовы сделать ради тебя все и даже подумывают о том, чтобы выписать тебя сюда. И потому мне кажется, исходя из того, как Т. описывает отношение инсти-

туда к тебе, что твоя дипломатия, может быть, ломится в открытую дверь... Судя по всему, они уже давно осведомлены о многом из того, что ты держишь в тайне и не желаешь раскрывать, и *все равно* возлагают на тебя свои надежды (BS, 214–215).

Реакция Беньямина на это известие, которое, как явно считал Шодем, должно было стать для него шоком, весьма красноречива:

Твое описание разговора с Тиллихами вызвало у меня глубокий интерес, но было для меня намного меньшей неожиданностью, чем ты, вероятно, думал. Суть сводится именно к тому, что те вещи, которые в настоящее время пребывают в тени *de part et d'autre* (с обеих сторон), могут предстать в ложном свете, если подвергнуть их искусственному освещению. Я говорю «в настоящее время», потому что нынешняя эпоха, которая столь многое делает невозможным, совершенно определенно не препятствует этому: тому, чтобы верный свет в ходе исторически обусловленного вращения солнца падал именно на те вещи, на какие нужно. Мне хотелось бы пойти еще дальше и сказать, что наши произведения со своей стороны могут стать критерием, позволяющим в случае его правильного функционирования измерять малейшие проявления этого невообразимо медленного вращения (BS, 216–217).

Беньямин пытается здесь представить присущую ему осторожность как функцию исторического принципа, утверждая, что раскрытие себя перед миром должно быть своевременным и что преждевременная откровенность, даже перед посвященными, может оказаться пагубной. В данном случае тот покров, за которым Беньямин мыслил и действовал, похоже, был излишним, но не вредоносным, но во многих других случаях его сдержанность и даже скрытность не шли ему на пользу в те моменты, когда случайный взгляд, проникший под покров, мог принести ему новых друзей и сторонников.

Когда Шодем, никогда не довольствовавшийся полумерами, наконец встретился с Хоркхаймером, то сразу же проникся к нему антипатией, утверждая, что Хоркхаймер — «неприятный тип»; более того, он заявлял, что «ничуть бы не удивился, если бы тот в один прекрасный день оказался негодяем». Под влиянием такого отношения к Хоркхаймеру Шодем проникся впечатлением, что восхищение Хоркхаймера Беньямином было в лучшем случае непрочным. «Визенгрунд утверждает, что Хоркхаймер неустанно восхищается твоим гением. Это стало очевидно и мне после прочтения некоторых его работ, но личное впечатление от этого человека укрепило мое мнение о том, что, может быть, *именно* потому, что он ощущает необхо-

димось восхищаться тобой, отношение такого человека к тебе не может не быть непостижимым и к тому же отягощенным подлым чувством озлобленности» (С, 235–236). Следует сказать, что представления Шолема об отношениях между Хоркхаймером и Бенъямином выглядят в целом точными — и, более того, в высшей степени пронизательными. Все более щедрая поддержка, которую Хоркхаймер оказывал Бенъямину, сопровождалась стабильно сдержанным отношением к его творчеству и явным нежеланием приглашать Бенъямина в Нью-Йорк.

Разумеется, Шолем не собирался делиться своими сомнениями в отношении Хоркхаймера с другими сотрудниками института, особенно с Адорно, с которым, впрочем, у него сразу же установились откровенные и теплые отношения. Шолем был в состоянии подтвердить возникшее у Бенъямина впечатление, что Адорно делал все возможное, чтобы заставить Хоркхаймера обеспечить Бенъямину достойный уровень жизни, и что в этом Адорно помогает огромное уважение, которое питали к Бенъямину Лео Левенталь и Герберт Маркузе. Разумеется, в конечном счете супруги Адорно — и в первую очередь Гретель — надеялись на то, что удастся найти способ вывезти Бенъямина к ним в Америку. Гретель неоднократно описывала их новую родину, тщательно подбирая выражения, с тем чтобы угодить Бенъямину:

Помимо того что мне нравится здесь больше, чем в Лондоне, я вполне убеждена в том, что и ты бы почувствовал то же самое. Больше всего меня изумляет то, что тут все далеко не настолько новое и передовое, как можно было бы подумать; наоборот, здесь в любом месте встречаются резкие контрасты между самыми современными и самыми ветхими вещами. Здесь нет нужды заниматься поисками сюрреализма, поскольку натыкаешься на него на каждом шагу. небоскребы ранним вечером выглядят внушительно, но позже, когда конторы закрыты и в окнах горит не так много огней, они становятся похожи на плохо освещенные европейские конюшни. И только подумай, здесь есть звезды, горизонтальный полумесяц и великолепные закаты, подобные тем, что бывают в разгар лета (ВГ, 211).

Косвенные ссылки на эссе Бенъямина о сюрреализме с проводившейся в нем связью между самым передовым и самым отсталым, и на работу о пассажах, в которой изучались современные варианты освещения зданий, должно быть, сделали свое дело: вскоре Бенъямин повесил на стене план Нью-Йорка, чтобы отслеживать передвижения своих друзей. И все же Гретель, которая знала Бенъямина лучше, чем кто-либо другой (за исключением разве что его бывшей жены), понимала, как трудно будет,

несмотря на все ее усилия, оторвать его от европейской культуры, в которой он ощущал себя на своем месте: «Но, боюсь, ты так любишь свои пассажи, что не сможешь расстаться с их великолепной архитектурой, а после того, как ты закроешь эту дверь, вполне возможно, что тебя сможет заинтересовать новая тема» (ВГ, 211).

Чтение Беньямина в первые месяцы года было посвящено гражданской войне в Испании. Он выражал скептицизм в отношении политической поучительности нового романа своего знакомого Мальро *L'espoir* («Надежда») с его пересказом яростных дебатов, которым предавались революционные фракции во время войны. Однако Беньямину пришлось по душе книга Жоржа Бернаноса *Les grands cimetières sous la lune* («Дневник моего времени») с ее нападками на Франко, несмотря на назойливый католицизм ее автора. Но подробнее всего Беньямин отзывался об «Испанском завещании» своего соседа Артура Кестлера. После работы на Вилли Мюнценберга в качестве активного участника попыток сохранить присутствие советской точки зрения во французских интеллектуальных кругах, Кестлер совершил три поездки в Испанию, охваченную гражданской войной. Выдавая себя за корреспондента британской газеты *News Chronicle*, Кестлер пробрался на территорию фалангистов, где был опознан бывшим коллегой-журналистом из Берлина и обвинен в принадлежности к коммунистам. Кестлер был арестован и приговорен трибуналом к казни. От смерти его спасло лишь то, что его обменяли на жену одного из боевых летчиков Франко. «Испанское завещание» состоит из двух книг: в первую включены девять репортажей о войне, написанных с идеологически тенденциозной точки зрения, а во второй книге — «Диалог со смертью» Кестлер описывает свои переживания в тюрьме, где он сидел в ожидании казни. Обе части потрясли Беньямина одинаково сильно.

Кроме того, на его книжной полке стояла *Un régulier dans le siècle* («Солдат в этом веке») — вторая часть автобиографии французского националиста Жюльена Бенды; эта книга (как и ее основная тема — «измена интеллектуалов») навела Беньямина на ряд размышлений о положении интеллектуала, не совершавшего измены. А прочитав книгу *Über den Prozess der Zivilisation* («О процессе цивилизации») Норберта Элиаса, он написал уважительное письмо ее автору. Поскольку одной из тех областей, которые Беньямин освещал для *Zeitschrift* и нескольких других журналов, в которых ему еще удавалось печататься, был европейский романтизм, Беньямин также следил за соответствующими свежими публикациями на немецком и француз-

ском. Он прочел работу Марселя Бриона о раннем романтике Вильгельме Генрихе Вакенродере, авторе эпохальной книги *Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders* («Размышления отшельника, любителя изящного», 1797); статья Бриона вышла в специальном номере *Cahiers du Sud*, посвященном немецкому романтизму, вместе с отрывком из «„Избирательного сродства“ Гёте» Беньямина. Помимо этого, ссылаясь на свою собственную диссертацию о романтической художественной критике, Беньямин сделал адресованное Эгону Виссингу замечание о том, что недавняя публикация неизданных писем Августа Вильгельма Шлегеля проливает свет на обращение Фридриха Шлегеля и на его реакционную философию истории.

Обретя уверенность в надежности позиции, занимаемой им в Институте социальных исследований, при чтении работ своих коллег по институту Беньямин позволял себе выступать с более откровенной критикой. Откликаясь на программную работу Герберта Маркузе *Philosophie und kritische Theorie* («Философия и критическая теория»), напечатанную в 1937 г. в *Zeitschrift*, Беньямин в переписке с Хоркхаймером выдвинул такие соображения против беспримесного институтского рационализма:

Критическая теория не способна не видеть, насколько прочно некоторые силы опьянения связаны с разумом и с его борьбой за освобождение. Я хочу сказать, что все объяснения, которые люди когда-либо тайным образом получали при помощи наркотиков, могут быть получены и *через человека*: одни через индивидуума — мужчину или женщину; другие через группы; а третьи, о которых мы пока еще не осмеливаемся даже мечтать, возможно, могут быть получены лишь через сообщество всех живых людей. Не будут ли в конечном счете эти объяснения по причине породившей их человеческой солидарности подлинно политическими? В любом случае они наделяют силой тех борцов за свободу, которые непобедимы как «внутренний мир», но в то же время так же готовы вспыхнуть, как огонь. Я не верю, что критическая теория будет считать эти силы «нейтральными». Да, сегодня они как будто бы находятся в распоряжении фашизма. Но эта иллюзия возникает только потому, что фашизм извратил и попрапал не только те производительные силы природы, с которыми мы знакомы, но и те, которые более далеки от нас (ГВ, 6:23).

Эта частным образом высказанная критика насаждавшейся институтом идеи критической теории, безусловно, не случайно прозвучала именно в тот момент.

На протяжении 1938 г. Беньямин активизировал, пожалуй, наиболее важные — и наименее изученные — из своих поздних интеллектуальных взаимоотношений, а именно с членами Кол-

лежа социологии (в рамках которого он в прошлом году выслушал лекцию Кожева), в частности с Жоржем Батаем, Роже Кайуа и Мишелем Лейрисом. Название, выбранное Батаем для этой рыхлой ассоциации интеллектуалов, может ввести в заблуждение: «коллеж» не ставил перед собой никаких дидактических целей, а его «социология священного» была не наукой, «а чем-то вроде болезни, странной инфекции, поразившей тело общества, старческой болезни уставшего, изможденного, атомизированного общества»⁴. Устремления трех основателей «коллежа» были направлены не только на критику священного, но и на его мифическое возрождение в обществе; финальная цель заключалась в создании выборного сообщества нового типа. Из нескольких источников нам известно, что Беньямин регулярно присутствовал на лекциях, проводившихся в «коллеже» раз в две недели; Ганс Майер, еще один немецкий эмигрант, связанный с этой группой, вспоминал, что в последний раз встретил Беньямина на одной из этих лекций. Кроме того, мы знаем, что он должен был прочесть лекцию в сезон 1939–1940 гг., но этому помешала война, положившая конец «коллежу»⁵. На этом довольно скудном фоне длительный разбор деятельности «коллежа» в письме Хоркхаймеру от 28 мая 1938 г. получил, вероятно, искаженное значение при последующих оценках «коллежа». В этом письме Беньямин занимает позу его полного отрицания — «патологическая жестокость» Кайуа описывается им как «отвратительная» в ее бессознательном сближении с позицией, которую лучше было бы оставить Йозефу Геббельсу. Однако некоторые факты указывают на то, что к этой позе следует относиться с известным скептицизмом. Во-первых, это письмо адресовано Хоркхаймеру — корреспонденту, наименее склонному к проявлениям симпатии в отношении «коллежа» и проводившихся им исследований священного, насилия и опьянения; во-вторых, существуют четкие соответствия между важными аспектами творчества самого Беньямина и творчества Батая в частности — не в последнюю очередь имеется в виду их общее увлечение своего рода поздним сюрреализмом. Разумеется, Беньямин хорошо знал Батая (именно Батаю он доверил заметки и материалы, составляющие основную часть его изысканий о пассажах, когда в 1940 г. покидал Париж). Хотя его отношения с Кайуа менее изучены, несомненно, существенно то, что статьи, напечатанные Кайуа в *Nouvelle Revue Française* и *Mesures*, многократно упоминаются в «Пассажах»

4. Цит. по: Surya, *Georges Bataille*, 261.

5. См.: Bataille et al., *The College of Sociology, 1937–1939; Коллеж социологии, 1937–1939*.

в связи с Бальзаком, Бодлером и Османом, а также в различных контекстах, имеющих отношение к «современному мифу». В целом можно представить себе интерес Беньямина к целям «коллежа» — созданию сообщества нового типа путем возвращения к священному, — но в то же время и его скептицизм. У него наверняка находила отклик уверенность Батая в том, что идея сообщества остается «отрицательной» — эвристической или даже неосуществимой, в то время как выступления Кайуа в защиту ангажированного священного сообщества наверняка вызывали у Беньямина неприязнь. Что касается интеллектуальных позиций трех ведущих фигур группы, наибольшее сочувствие у Беньямина, вероятно, вызвала позиция Мишеля Лейриса, чья книга *L'age de l'homme* («Возраст мужчины») была отрецензирована им в следующем году.

Само собой, мировые события никогда надолго не покидали мысли и беседы Беньямина и его друзей, особенно теперь, когда набирала обороты аннексионистская политика Германии. 12 февраля на встрече с Гитлером в Берхтесгадене австрийский канцлер Шушниг, казалось, пришел к компромиссу, способному гарантировать суверенитет Австрии в условиях германского давления: Шушниг согласился назначить министром общественной безопасности австрийского нациста Артура Зейсс-Инкварта, который таким образом получал полный контроль над всей австрийской полицией. Понимая, что даже эта уступка ничего не дала, Шушниг 9 марта объявил плебисцит по вопросу об объединении Австрии с Германией. Но еще до того, как состоялось голосование, Гитлер предъявил Шушнигу ультиматум, угрожая вторжением, если тот не откажется от власти над страной. Не найдя поддержки со стороны Франции и Великобритании, Шушниг 11 марта подал в отставку, а утром 12 марта германские войска перешли австрийскую границу. Немцы и их австрийские сторонники постарались как можно быстрее подавить всякое сопротивление, как они уже поступили в 1933 г. В течение нескольких дней после аншлюса было арестовано более 70 тыс. противников нового режима — видных деятелей австрийского правительства, социал-демократов, коммунистов и, разумеется, евреев, причем многие из них были убиты, а еще больше людей было брошено в концентрационные лагеря. Карл Тиме отправил Беньямину пылкое письмо, выражая страх за своих австрийских друзей и родственников. «Наконец, я говорю себе, что Бог, должно быть, имеет какие-то грандиозные замыслы в отношении своего народа (его народа по крови и его народа, говорящего по-немецки), раз по Его воле тот испытывает такие непомерные страдания» (цит. по: GB, 6:51n). «Откровенно говоря,

что касается меня, — писал в ответ Беньямин, — едва ли у меня осталось представление о том, что делать с идеей об *осмысленных* страданиях и смерти. В случае Австрии — в не меньшей степени, чем в случае Испании, — меня ужасает то, что причиной людских страданий выступает не их личное дело, а мнимая компрометация, идет ли речь о драгоценной австрийской этнической культуре, скомпрометированной дискредитировавшей себя промышленностью и государственными предприятиями, или об испанской революционной мысли, скомпрометированной маккиавелизмом российского руководства и преклонением местных вождей перед Маммоной» (С, 553). Друзья Беньямина из левого лагеря по-прежнему обращали свои взоры к России с тревогой и чувством утраченной надежды. Жермена Круль отмечала по поводу нескольких публичных признаний: «Они вызывают у меня тошноту, и я не понимаю, что могло заставить этих людей говорить такие абсурдные вещи». Беньямин в типичной для себя манере не собирался доверять свои истинные мысли бумаге, но в условиях того давления, которое ощущали эмигранты, он наверняка время от времени давал выход своим чувствам в отношении российских событий.

Стремительное ухудшение политической ситуации создавало непосредственную угрозу статусу немецких изгнанников. Альфред Кон и его семья бежали из Барселоны и жили в Париже «в полной нищете» (GB, 6:86). А композитор Эрнст Кренек бежал из Австрии, направляясь в Америку. Беньямин, не видя для себя подходящего пути к бегству, попытался ускорить процесс своей натурализации. 9 марта он подал формальную просьбу о получении французского гражданства, приложив к ней поручительства от Андре Жида, Поля Валери и Жюля Ромена. Следующие месяцы были отмечены попытками выполнить различные неудовлетворенные условия, требовавшиеся для натурализации, причем практически каждое из них представляло собой по всей видимости непреодолимое препятствие. Беньямину был нужен *certificat de domicile* (справка о местожительстве), в котором бы указывалось, сколько времени он прожил в Париже, но поскольку его бывшая квартирная хозяйка Урзель Буд сдавала ему комнату, не поставив в известность домовладельца, тот отказывался подписывать требуемый сертификат. «Тут разучишься чему-либо удивляться», — отмечал Беньямин в письме Штефану (GB, 6:90). Вместо этого документа он запросил в институте *certificat de travail* (справку о работе). Он даже подумывал о том, чтобы ненадолго съездить в Америку — только для того, чтобы получить *titre de voyage* (проездной документ), который мог ускорить процесс натурализации. В конечном счете он счи-

тал, что ему повезло получить хотя бы какие-то документы; в конце весны 1938 г. их перестали выдавать беженцам. Прошение Беньямина о получении французского гражданства кочевало из одного учреждения в другое еще и два года спустя, когда германская оккупация покончила с этим делом. Однако с этого момента в письмах Беньямина звучит тревожная нота, все более заметная по мере того, как он пытался продлить свой французский вид на жительство, в то же время стараясь по возможности укрыться от пытливого взора германских властей.

Хотя весной Беньямин в основном продолжал работу над эссе о Бодлере, его внимания требовали и другие замыслы. После эссе о Фуксе Беньямин еще не напечатал ничего существенного. В начале марта он наконец смог закончить эссе об институте для *Maß und Wert*. Он — время от времени при участии Адорно — пытался сочинить текст, который бы верно освещал исследовательскую ориентацию института, но в то же время был бы приемлемым для этого журнала с его либерально-буржуазной ориентацией. Хоркхаймер советовал ему в ответ на строгое предупреждение со стороны редактора журнала Фердинанда Лиона изобразить удивление намеками на «коммунистические аспекты» деятельности института и заверить его в том, что речь идет об «академических делах в истиннейшем смысле этого слова»⁶. Рукопись объемом в 11 страниц далась Беньямину неожиданно трудно: «Сложность этой задачи состояла в необходимости противодействовать явным намерениям Лиона саботировать ее» (ГВ, 6:37). В конце концов Беньямину удалось сочинить текст, приемлемый если не для него самого, то для журнала и для Хоркхаймера.

Несмотря на весь скептицизм Беньямина и едва скрываемую враждебность по отношению к Лиону, тем не менее он был рад, что в *Maß und Wert* в начале 1938 г. был напечатан краткий отзыв о «Людах Германии». Авторские отчисления за эту книгу оставались для него одним из самых важных источников дохода, и Беньямин тщательно контролировал денежные поступления из издательства *Vita Nova*. Он даже спрашивал у Тиме, не стоит ли потребовать от Ресслера сведений о продажах книги, но удовольствовался уверениями Тиме в честности издателя. Беньямина особенно обрадовал отзыв одной из читательниц его книги, его невестки Хильды Беньямин, которая вместе с сыном Михаэлем оставалась в Берлине, чтобы находиться рядом со своим мужем Георгом, посаженным в тюрьму. Она от-

6. Adorno, Horkheimer, *Briefwechsel*, 340.

метила фрагмент из письма немецкого изгнанника Георга Форстера, включенного Беньямином в сборник: «У меня больше нет ни родины, ни отечества, ни друзей; все те, кто был близок ко мне, бросили меня ради других. И если, размышляя о прошлом, я по-прежнему чувствую себя несвободным, то им меня делают мой выбор и мои убеждения, а не внешние обстоятельства. Счастливый поворот судьбы может дать мне многое; несчастливый ничего у меня не отнимет, помимо удовольствия писать эти письма, буде я окажусь не в состоянии заплатить за их доставку»⁷. Хильда Беньямин была глубоко тронута этим письмом; что же касается ее мужа, чье положение в чем-то напоминало положение Форстера, то он в своих письмах упрямо отказывался сочувствовать этому интеллектуалу XVIII в., в отношении которого Беньямин отмечал, что его «революционная свобода» зависела от «воздержания». Георг Беньямин писал жене: «Безнадежность, которой дышат [эти слова], слишком велика; поскольку я не знаю, как он относился к современным ему событиям, личность Форстера остается для меня неясной»⁸.

По предложению Адорно Беньямин уделил некоторое время и тому, чтобы написать синопсис трех «звучащих моделей», которые он сочинял для широкой аудитории в последние годы Веймарской республики, — эти сценарии попали в руки гестапо. Работая с 1925 г. на различные радиостанции, Беньямин написал много текстов радиопередач и радиопьес и часто сам выступал у микрофона. Кроме того, начиная с 1925 г. (и по наущению Эрнста Шена, художественного руководителя Франкфуртской радиостанции) он запланировал ряд передач, замышлявшихся в качестве «звучащих моделей»: дидактических выступлений, в которых разбирались весьма своеобразные ситуации из жизни и из профессиональной сферы и цель которых состояла в том, чтобы научить аудиторию искусству слушать. Названием и концепцией этого цикла Беньямин был обязан Брехту, рассматривавшему каждую из своих пьес не как единичное произведение искусства, а как образец определенного типа вторжения в театральную практику; брехтовские дидактические пьесы были призваны реформировать не только аудиторию, но и других драматургов и вообще всю театральную традицию. Сочиненный Беньямином синопсис, как и многое из того, что он написал в свои последние годы, при его жизни остался неопубликованным.

7. Benjamin, *Georg Benjamin*, 255–256. Этот отрывок из «Людей Германии» можно найти в: SW, 3:173.

8. Benjamin, *Georg Benjamin*, 256.

Эти проекты постоянно отвлекали Беньямина от его главной темы — Шарля Бодлера. В конце весны Беньямин просмотрел свои обширные заметки по пассажам и упорядочил их в соответствии с планом книги о Париже в эпоху Бодлера. «Сейчас, после того, как я столько времени громоздил книги на книги и выписки на выписки, — писал он в середине апреля, — я готов к составлению серии соображений, которые лягут в основу абсолютно прозрачной структуры. Мне бы хотелось, чтобы в смысле диалектической строгости этот текст не уступал моей работе об „Избирательном сродстве“» (ВА, 247). Он поделился с Шолемом окончательной метафорической формулировкой своих намерений в отношении книги о Бодлере (эта формулировка в несколько измененном виде содержится в АР, папка J51a,5). «Я хочу показать Бодлера таким, каким он укоренен в XIX в.; созданный таким образом облик будет нести в себе отпечаток новизны и обладать едва поддающейся определению притягательностью, подобно тому, как если мы с большим или меньшим трудом откатим в сторону камень, десятилетиями вставший в лесную землю, нашим глазам откроется оставшееся от него углубление во всей своей поразительной четкости и целостности». О предполагавшемся социальном и историческом размахе этого проекта дают представление имена авторитетов, с которыми Беньямин консультировался по поводу деталей: экономист и юрист Отто Лейхтер (которого Беньямину рекомендовал Поллок) и выдающийся историк искусства Мейер Шапиро, ставший интеллектуальным партнером Адорно в Нью-Йорке.

То значение для современности, которое Беньямин приписывал своему труду о Бодлере, получило незабвенное выражение в адресованных Шолему замечаниях, сопровождавших формулировку выбранного метода (и цитировавшихся выше в ином контексте): «наши произведения со своей стороны могут стать критерием, позволяющим в случае его правильного функционирования измерять малейшие проявления этого невообразимо медленного [исторического вращения солнца]» (С, 217). С этой метафорой произведения как измерительного инструмента, несомненно, было связано и все чаще применявшееся Беньяминем сравнение своего творчества с фотографической эмульсией, обладающей уникальной способностью фиксировать незаметные изменения социально-исторического пейзажа. Как видно из письма Хоркхаймеру, отправленного в середине апреля, намерения Беньямина в отношении книги о Бодлере к тому времени вполне определились. Описывая предполагаемую книгу как «миниатюрную модель» пассажей, Беньямин обрисовал ее структуру с помощью ключевых тематических аспектов более

обширного проекта, реорганизованного вокруг фигуры Бодлера. Этот предварительный план весьма показателен:

Работа будет состоять из трех частей. Их предполагаемые названия таковы: «Идея и образ», «Древность и современность», «Новое и вечное». В первой части будет показано принципиальное значение аллегории в «Цветах зла». В ней раскрывается строение аллегорического восприятия у Бодлера и в то же время обнажается ключевой парадокс его учения об искусстве — противоречие между теорией естественных соответствий и отрицанием природы...

Во второй части в качестве формального элемента аллегорического восприятия развивается «наплыв», посредством которого древность проявляется в современности, а современность в древности... На это преобразование Парижа решающее влияние оказывает толпа. Она играет роль вуали перед глазами фланера, будучи новейшим опьяняющим веществом для одинокого индивидуума. Во-вторых, толпа стирает все следы индивидуума; она является новейшим убежищем для изгоя. — Наконец, толпа представляет собой новейший и самый непостижимый лабиринт в городском лабиринте. При его посредстве в городском пейзаже оказываются запечатлены доселе неизвестные хтонические черты. — Очевидная задача поэта состояла в раскрытии этих аспектов Парижа... С точки зрения Бодлера ничто в его столетии не было более близко к задаче, стоявшей перед героем древности, чем задача придания формы современности.

В третьей части рассматривается товар как воплощение аллегорического восприятия у Бодлера. Выясняется, что новое, взрывающее облик вечного, во власть которого поэта отдавал сплин, представляет собой не что иное, как ореол товара... В этом воплощении коренится распад аллегорического подобия. Уникальное значение Бодлера заключается в том, что он впервые и самым непреклонным образом постиг производительную энергию самоотчужденного человека — в двойном смысле осознания этого бытия и его усиления посредством фиксации⁹. Тем самым тот формальный анализ, который производится в различных частях этой работы, оказывается сведен к единому контексту (С, 556–557).

В апреле и мае, когда Беньямин разрабатывал этот план книги о Бодлере, он страдал от хронических мигреней. В конце концов он обратился к специалисту, который рекомендовал ему принимать лекарство от малярии; однако после визита к офтальмологу, чтобы тот выписал ему новые очки, в которых он крайне нуждался, головные боли исчезли. В эти недели работа над бодлеровским проектом почти совершенно остано-

9. Эта фраза в несколько ином виде приводится в папке J51a,6 в проекте «Пассажи».

вилась, и Бенъямин искал утешения в мыслях о предстоящем визите в Данию к Брехту, который должен был начаться в конце июня и продлиться около трех месяцев. Жизнь в изгнании оставалась чрезвычайно уязвимой — и не только из-за политики и экономики. Бенъямин зависел от своих друзей не только в финансовом отношении; его письма, написанные весной 1938 г., полны просьб и благодарностей, связанных с перепиской его произведений. На протяжении всего этого периода надежным источником поддержки оставалась Гретель Адорно, но и другие, иногда неожиданные фигуры порой тратили много часов на размножение и распространение работ этого нуждающегося интеллектуала, лишённого доступа к нормальной издательской основе. Хотя у Бенъямина нередко просили материалы для новых изданий, затевавшихся изгнанниками, сопутствующие трудности зачастую вели к сокращению и даже к искажению его текстов. В апреле Бенъямин получил от своего старого знакомого, Йоханнеса Шмидта, приглашение сотрудничать с новым журналом *Freie deutsche Forschung* («Независимые немецкие исследования»), но, несмотря на первоначальный энтузиазм Бенъямина, в итоге он напечатал там лишь одну книжную рецензию. Впрочем, еще большую досаду он испытал, получив экземпляр второй книги Дольфа Штернбергера *Panorama: Ansichten des 19. Jahrhunderts* («Панорамы XIX века»). По мере чтения этой книги Бенъямин все сильнее проникался убеждением, что Штернбергер украл ключевые мотивы из его исследования о пассажах, так же как и из работ Адорно и Блоха. Он был возмущен не только явным плагиатом, но и тем, что Штернбергер цинично воспользовался их идеями с разрешения нацистской цензуры. В черновике письма Штернбергеру, возможно так и не отправленного адресату (оно было написано примерно в апреле 1938 г.), он следующим образом выражает свое негодование: «Вы преуспели в слиянии нового мира идей, разделяемых вами с Адольфом Гитлером, со старым миром, который вы делите со мной. Вы воздали кесарю кесарево, отобрав то, что вам требовалось, у еврея изгнанника» (GB, 6:70; вычеркивания сделаны Бенъямином). В 1939 г. он написал довольно сдержанную, но все равно абсолютно негативную рецензию на книгу Штернбергера. Много лет спустя по случаю выхода нового издания его книги в 1974 г. Штернбергер дал ответ на эту рецензию (при жизни Бенъямина оставшуюся неопубликованной):

Оценка, которую В. Б. вынес, находясь в то время в парижском изгнании, в рукописи, лишь недавно обнародованной, была для меня болезненной. Я многим обязан ему, и не в последнюю очередь

умением подмечать иностранные и мертвые аспекты исторических подробностей, а также чутьем к конфигуративным поступкам, но, разумеется, в то время я еще не был знаком с его работами в данной области. Его эссе начинается сочувственно, а завершается на резкой и злой ноте. Он тоже отмечал первоначальную критическую мотивацию и дал ей точную характеристику, но не разглядел «концепции», которая позволила бы объединить разрозненное, а именно социального анализа. Он хотел осуществить такой анализ в своей великой работе о парижских пассажах; моя книга, имевшая сходную тему, ни в коем случае не могла бы его удовлетворить. Я не был способен тогда и не способен сейчас признать за классовыми понятиями и экономическими категориями способность уловить или высветить исторические концепции. Сам Беньямин в то время придерживался таких убеждений, но не мог претворить их в жизнь на практике; даже в его работе определения затмеваются образами (цит. по: BS, 241–242п).

Даже если не касаться вопроса о том, мог ли Штернбергер в 1930-е гг. иметь представление об основных контурах творчества Беньямина, при ознакомлении с этим упреком нельзя не отметить непреложного факта: Штернбергер никак не отвечает на предъявленное ему обвинение в причастности к национал-социализму.

Горечь этих событий в глазах Беньямина в какой-то мере смягчалась приятными мыслями о явно неизбежном браке между Лизелотте Карплус, сестрой его близкой подруги Гретель Карплус Адорно, и его кузеном Эгоном Виссингом. В реальности эта свадьба, первоначально намеченная на 30 мая, неоднократно откладывалась и состоялась только в 1940 г. Появление в Париже дяди и тети Беньямина, родителей Виссинга, захавших на свадьбу по пути к новой жизни в Бразилии, навело его на размышления, в равной мере отмеченные и меланхолией, и язвительностью. В письме своему сыну Штефану Беньямин отмечал, что для эмиграции в Бразилию Виссингам пришлось перейти в католическую веру. «Поговорка „этого хватит, чтобы ты стал католиком“ восходит к средним векам; к счастью, похоже, мы вновь возвращаемся туда» (GB, 6:88).

В мае и июне, перед отъездом в Данию и периодом глубокого погружения в бодлеровский проект, Беньямин посвятил много времени и энергии попыткам издания двух своих книг. Чем дольше он жил в изгнании, тем больше ему хотелось увидеть напечатанным «Берлинское детство на рубеже веков». Этот текст был отвергнут не менее чем тремя издателями, которым он, судя по всему, показался слишком сложным. В мае и июне Беньямин подверг текст полномасштабной правке, добавив к нему вступление и в то же время перетасовав и сократив весь этот

комплекс коротких созерцательных зарисовок, первоначально вышедших в *Frankfurter Zeitung* и других газетах в последние годы Веймарской республики. Он не только сделал свою прозу более четкой и менее дискурсивной, в большей мере сосредоточенной на образности, но и безжалостно выбросил из книги целых девять главок, написанных в более автобиографическом ключе, и более трети оставшегося текста, включая некоторые фрагменты редкой красоты¹⁰. Вскоре после того, как Карл Тиме получил от него просьбу оказать содействие в поисках издателя для книги в Швейцарии, Бенъямин воспользовался возможностью обострить и без того напряженные отношения с Фердинандом Лионом и *Maß und Wert*, предложив «Берлинское детство» в этот журнал. Его письмо Лиону содержит цитату из только что сочиненного вступления к книге:

Этот текст созрел за время моего изгнания; ни один год из последних пяти лет не прошел без того, чтобы я не посвятил этой работе месяца или двух... Ее замысел относится к 1932 г. Тогда, находясь в Италии, я осознал, что уже скоро мне придется надолго, а быть может, и навсегда, проститься с городом, в котором я родился. Я не раз убеждался в действительности прививок, исцеляющих душу, и вот я вновь обратился к этому методу и стал намеренно припоминать картины, от которых в изгнании более всего мучаешься тоской по дому, — картины детства. Нельзя было допустить при этом, чтобы ностальгия оказалась сильнее мысли — как и вакцина не должна превосходить силы здорового организма. Я старался подавлять чувство тоски, напоминая себе, что речь идет не о случайной — биографической, но о необходимой — социальной невозвратимости прошлого (ГВ, 6:79–80).

В итоге в номере *Maß und Wert* за июль-август вышло семь главок «Берлинского детства». Это была последняя часть этого текста, по мнению многих являющегося шедевром, изданная при жизни автора. Впрочем, его последняя задокументированная попытка напечатать «Берлинское детство» едва не завершилась успехом: он договорился с издательницей-эмигранткой Хайди Хей о том, чтобы выпустить книгу в частном издательстве. Однако в мае и эти планы расстроились после ряда неприятных встреч

10. Рукопись этого исправленного, так называемого «Окончательного варианта» (“Fassung letzter Hand”), включающего 30 главок и два дополнения, расположенных в порядке, определенном автором, была найдена в 1981 г. в Париже Джорджио Агамбеном и опубликована в 1989 г. в GS, vol. 7. Так называемый вариант Адорно-Рексрота, содержащий 41 главку, написанные в 1932–1934 гг. и имеющие расположение, определенное редакторами, был опубликован в 1972 г. в: GS, vol. 4. Первое книжное издание *Berliner Kindheit um Neunzehnhundert* вышло стараниями Адорно в 1950 г.

и телефонных переговоров с Хей, которая изображала обиду и недоумение. Беньямин добивался полного контроля за всеми аспектами издательского процесса, включая выбор гарнитуры, оформление и качество бумаги. Из единственного имеющегося у нас документа — письма Хей Беньямину следует, что она прониклась текстом книги, но при этом оставалась практически мыслящим издателем и составила план, который был «реальным», а не «фантастическим»: она обещала Беньямину напечатать небольшое число пронумерованных экземпляров книги для библиофилов и брала за себя ответственность за распространение половины тиража, предоставив заботу о распространении второй половины Беньямину. Тот предпочел отказаться от этого варианта, но не выпускать из своих рук контроля над изданием книги — этот выбор был всецело продиктован тем значением, которое для него имела эта книга, и совершенно не учитывал условий, в которых были вынуждены работать издатели в изгнании.

Несмотря на то что на протяжении этих месяцев Беньямин был полностью поглощен Бодлером, он нередко возвращался и к Францу Кафке; его идеи о французском поэте и чешско-еврейском авторе переплетались друг с другом самым захватывающим образом. «Я читаю [Кафку] лишь от случая к случаю, — писал он 14 апреля Шолему, — потому что мое внимание и время почти безраздельно принадлежат бодлеровскому проекту». Используя Шолема в качестве посредника, Беньямин надеялся заинтересовать книгой о Кафке Саломона Шокена. В середине июня он написал замечательное письмо Шолему, высказав в нем свои новые мысли о Кафке. Это письмо, сочиненное как проспект, которым можно было поделиться с Шокеном и прочими, обладало лоском и выразительностью готового эссе. Адорно еще в декабре 1934 г. отзывался на слова самого Беньямина о «недописанном» виде его только что изданного эссе «Франц Кафка». В частности, Адорно думал о его связи с принципиальными категориями исследования о пассажах: «Взаимосвязь между пражской историей и современной историей еще предстоит концептуализовать, а от этой концептуализации в конечном счете не может не зависеть успех всякой интерпретации Кафки» (ВА, 68).

Письмо о Кафке 1938 г. начинается с нападок на его недавнюю биографию, написанную Максом Бродом, а затем Беньямин делает неопровержимое утверждение: творчество Кафки — «эллипс; положение его фокусов, широко разнесенных в пространстве, определяется, с одной стороны, мистическим опытом (который в первую очередь представляет собой опыт традиции), а с другой стороны, опытом современного горожанина» (SW, 3:325). Далее Беньямин приводит длинный отрывок

из книги физика Артура Эддингтона «Природа физического мира» (1928), в котором даже такое действие, как прохождение через дверной проем, описывается как начинание, осложняемое атмосферным давлением, силой тяжести, вращением Земли, а также динамической и в конечном счете «свободной» природой физического мира — мира, лишённого «твёрдой основы». Здесь просматриваются четкие аналогии: современный мир обладает пространственной согласованностью, подобной той, которую Кафка описывает в коротком рассказе «Деревья», такими же временными характеристиками, как в «Обычной путанице», и такими же причинно-следственными связями, как в «Заботе главы семейства». В эссе 1934 г. Бенъямин подчеркивал особый талант Кафки к «этюдам», то есть к неяркой внимательности к различным аспектам забытого «прамира» — сферы изначального мифа, чьи законы определяют течение повседневного существования. Сейчас же Бенъямин показывает чуткость Кафки к социальным и экономическим детерминантам современного мира. «Что в отношении Кафки действительно и в точном смысле этого слова является *безумным* [временем], так это то, что этот новейший мир опыта является ему посредством мистической традиции... Я сказал бы, что эта реальность сейчас находится уже почти за пределами способности *индивидуума* к переживаниям и что мир Кафки, нередко безмятежный и населенный ангелами, служит точным дополнением его эпохи» (SW, 3:325–326). Иными словами, мистические способности Кафки наделяют его чуткостью к чему-то вроде взаимоотношений между современностью и праисторией, к концептуализации которых Адорно призывал в своем эссе 1934 г., к тому игровому пространству, которое скрывается за фантазмагорическими режимами товарного капитализма и в еще большей степени маскируется фрагментарным характером современного существования.

Замечательное отступление, содержащееся в другом письме Бенъямина, дает представление о том, в какой степени его мысли о современности Кафки проникли в его размышления о пассажах и о Бодлере. Бенъямин приписывает тому особому классу персонажей Кафки, из которых наиболее заметными являются «помощники», функцию, аналогичную функции фланера. Точно так же, как фланер бродит по парижским Большим бульварам, позволяя разрозненным, похожим на шок переживаниям, отголоски которых звучат в его памяти, оставлять следы на его теле, так и «помощник» бродит по вселенной Кафки в состоянии опьянения, похожего на мистический транс. Кажется, что только эти фигуры в их жизнерадостной и беспоч-

венной прозрачности способны донести до сознания отчуждающий характер исторических условий (см.: ВА, 310–311).

Впрочем, главный смысл параллели между Кафкой и Бодлером, проведенной в письме 1938 г. о Кафке, не являлся тематическим ни в каком традиционном смысле слова; анализ переживаний в обоих случаях служит предпосылкой для распознавания *форм*. В глазах Беньямина подлинно освобождающим элементом в творчестве Кафки была использовавшаяся им форма притчи. «Он отказался от истины с тем, чтобы сохранить возможность ее передачи, агадический элемент... Но [произведения Кафки] не ложатся просто так к ногам доктрины, подобно тому как агада [рассказ] ложится к ногам галахи [закона]. Пригнувшись, они внезапно бьют по доктрине тяжелой лапой» (SW, 3:326). Произведения Кафки несут в себе свидетельство «болезни традиции»; они знаменуют собой момент, в который передача знания лишается сущности, превращаясь в передачу *tout court*. В этом отношении они подобны аллегорическим элементам в поэзии Бодлера. В своих претензиях на цельность, органичность и, наконец, мудрость притчи разделяют ключевые черты с аллегорией, которая в порядке критического мимесиса разрушает фетишизированный облик товара, прорываясь сквозь мифические силы, искажающие наше осознание исторических условий. «Аллегория Бодлера несет в себе следы насилия, необходимого для того, чтобы уничтожить гармоничный фасад мира, окружавшего поэта» (AP, J55a,3). И Кафка, и Бодлер воплощали в себе уникальную способность: в их произведениях выявляется аура *в процессе ее распада*. В письме 1938 г., адресованном Шолему, показано, что разоблачительный и даже преобразующий потенциал, присущий Кафке, проявляется лишь в том случае, если, как выражается Беньямин, гладить его произведения против шерсти: «В каждом подлинном произведении искусства найдется место, в котором — для того, кто отступит туда, — веет прохладой подобно ветру на рассвете. Из этого следует, что искусство, которое нередко считалось неподатливым во всех своих отношениях с прогрессом, может дать нам его подлинное определение. Прогресс коренится не только в непрерывности протекающего времени, но и в помехах, стоящих на его пути, там, где с трезвостью рассвета вперые дает о себе знать подлинно новое» (AP, N9a,7).

Беньямин надеялся в еще большей степени завоевать расположение Шокена посредством благоприятных отзывов о биографии Кафки авторства Макса Брода, но даже ее небрежное прочтение лишило его такой возможности. «Впрочем, я говорю сейчас о Кафке, — писал он Шолему, — потому что эта биография

с ее переплетением невежества Кафки и прозорливости Брода как будто бы раскрывает ту область духовного мира, в которой белая магия и шарлатанское колдовство взаимодействуют самым назидательным образом. Я еще не имел возможности вчитаться в нее, но немедленно присвоил кафкианскую формулировку категорического императива: „Поступай так, чтобы и ангелам нашлось дело“» (BS, 216). Предполагаемая книга о Кафке оставалась темой для дискуссий между Шолемом и Беньямином еще и в 1939 г., прежде чем эти замыслы окончательно заглохли из-за безразличия со стороны Шокена. Эта неудача, пожалуй, находилась вполне в соответствии с тем, что написал Беньямин в конце своего письма Шолему о фигуре Кафки в ее «чистоте» и «своеобразной красоте»: «Это фигура неудачи. Обстоятельства этой неудачи многообразны. Пожалуй, можно сказать, что если ты уверен в конечной неудаче, то все, что случается по пути к ней, происходит как во сне» (SW, 3:327). Отсюда следует, что «неудача» Кафки неотделима от его надежды и безмятежности.

Перед тем как уехать в Данию, Беньямин послал Адорно длинное письмо, явно замышлявшееся как провокация. Он внимательно прочел ряд глав из работы Адорно о Вагнере и был полон энтузиазма по поводу ее отдельных моментов. Однако он не был согласен с той философией истории, которой вдохновлялась эта работа в целом, и особенно с тем, как Адорно использовал ключевую беньяминовскую категорию «искупления» (*Rettung*):

Мне представляется, что любое подобное искупление, осуществленное с точки зрения философии истории, несовместимо с тем, которое осуществляется с критической точки зрения, ставящей во главу угла прогресс и регресс. Или, более точно, оно совместимо лишь с теми философскими отношениями, в рамках которых мы сами иногда обсуждали вопрос «прогресса» *sub vocet*. Безусловное использование таких концепций, как прогрессивное и реакционное — я буду последним, кто стал бы отвергать обоснование этих концепций в центральных разделах вашей работы, — делает идею о попытке «искупления», предпринятой Вагнером, в высшей степени сомнительной... Искупление — циклическая форма, а полемика — прогрессивная... Ведь решающий элемент в таком искуплении — разве я не прав? — никогда не является просто чем-то прогрессивным; он способен напоминать реакционное в той же мере, в какой напоминает окончательную цель, которую Краус называет первоисточником (BA, 258–259).

Согласно поздним представлениям Беньямина о философии истории, прогрессивное и реакционное едва ли вносят вклад в поступательную диалектику, не говоря уже о положитель-

ном «искуплении» отдельных сторон социального контекста. Как он выразился в «Пассажах»:

Скромное методологическое предложение относительно культурно-исторической диалектики. Не составляет никакого труда отыскивать противоположности в соответствии с определенными точками зрения в рамках различных «областей» любой эпохи, когда на одну сторону ставится, допустим, «производительная», «дальновидная», «живая», «положительная» часть эпохи, а на другую сторону — все неудачное, ретроградное и устаревшее. Сами контуры положительного элемента отчетливо проявятся лишь в том случае, когда этот элемент выделяется на отрицательном фоне. Вместе с тем всякое отрицание обладает ценностью исключительно в качестве фона, которому противопоставляется живое, позитивное. Поэтому принципиально важно, чтобы новое членение применялось к этому изначально исключенному, отрицательному компоненту с тем, чтобы посредством смены точки зрения (но не критериев!) в нем бы проявился заново и положительный элемент — нечто, отличающееся от ранее обозначенного. И так *ad infinitum*, до тех пор, пока все прошлое не предстанет в настоящем в рамках исторического апокатастазиса (AP, 11a,3).

Понятие апокатастазиса — присущая стоицизму и патристике идея о том, что всякому возможному возрождению предшествует гибель в огне, — составляло суть становившихся все более мрачными размышлений Беньямина об истории. Так и не завершившуюся дискуссию с Адорно о роли прогресса следует читать в очень конкретном контексте: в том же письме, в котором Беньямин бросает вызов Адорно, он мимоходом упоминает о плане своего друга совместно с Хоркхаймером написать «работу о диалектике» — работу, из которой в итоге выросла «Диалектика Просвещения», посвященная памяти Беньямина.

Беньямин отбыл из Парижа 21 июня, намереваясь долго пробыть у Брехта и его семейства в Сквсбостранде. Он не только горел нетерпением сменить обстановку и поскорее получить возможность беспрепятственной работы над исследованием о Бодлере: его положительно влекло прочь из города. Германия становилась все более агрессивной, во Франции росла напряженность, и Беньямин понимал, что его статус изгнанника, в качестве которого он жил в этой стране, делал его с трудом завоеванный плацдарм все более хрупким. Прибыв в Данию, он поселился в соседнем с Брехтами доме; его хозяин служил в полиции, и это обстоятельство, как надеялся Беньямин, могло принести ему пользу в том случае, если бы из-за войны он был вынужден продлевать свою визу. Первые дни в Сквсбостранде давали надежду на почти идеальные условия для работы; как пи-

сал Беньямин (цитируя Бодлера), он предвкушал возможность жить “contemplation opiniâtre de l’oeuvre de demain”¹¹. При доме имелся большой сад, а из окна мансарды, в которой жил Беньямин, он от своего «обширного, могучего» стола мог видеть пролив в одной стороне и лес в другой. «Проплывающие мимо кораблики служат моим единственным развлечением — помимо ежедневных шахматных интерлюдий с Брехтом» (BS, 230). Рядом жили Брехты и двое их детей, Стефан и Барбара, которых Беньямин очень любил; кроме того, распорядок дня включал радиопередачи, служившие для них главным источником информации о быстро изменяющейся обстановке в мире («газеты приходят сюда так поздно, что приходится набираться храбрости только для того, чтобы развернуть их»), и ужин (С, 568–569). Впрочем, Беньямин вскоре осознал и недостатки, постоянно преследовавшие его: «Мрачная погода не то что бы манит меня выходить на прогулки, но это только к лучшему, потому что гулять здесь негде. У моего стола имеется климатическое преимущество: он находится под наклонной крышей, где немного дольше, чем в других местах, задерживается тепло, которое изредка приносят редкие лучи солнца». Светлым пятном для него стало недавно состоявшееся знакомство с творчеством Кэтрин Хэпберн: «Она великолепна» (BG, 229–230).

Дни текли весьма монотонно: восемь-девять часов бодлеровских штудий, затем обед, немного общения и одна-две шахматные партии с Брехтом, которые, как Беньямин сообщал Гретель, он обычно проигрывал, хотя у него иногда уходило по полчаса на обдумывание хода¹². В нескольких письмах Беньямина выражается намерение в середине июля вернуться в Париж, чтобы встретиться с Шолемом (который должен был в тот момент возвращаться из Нью-Йорка в Палестину), другие свидетельства указывают, что Беньямин надеялся избежать этой встречи — и то же самое ощущал сам Шолем. Соответственно, письмо от 12 июня о Кафке, представлявшее собой выжимку из более чем десятилетних размышлений Беньямина об этом писателе,

11. Эта французская фраза, означающая «упрямое созерцание завтрашних трудов», позаимствована из 6-го раздела статьи Бодлера *Conseils aux jeunes littérateurs* («Советы молодым литераторам», 1846). Это место цитируется в проекте «Пассажи» (папка J4,2).

12. В 1936 г. Брехт писал Беньямину: «Шахматная доска осиротела; каждые полчаса она содрогается, вспоминая, как ты делал на ней ходы». Цит. по: Wizisla, *Walter Benjamin and Bertolt Brecht*, 59; Вицисла, *Беньямин и Брехт*, 123. «Маленькая община изгнанников страстно предавалась настольным и карточным играм. Чаще всего играли в шахматы, но не забывали и про „Монополию“, запатентованную в 1935 г., бильярд, покер и шнопс» (p. 58; с. 121).

столь близком его сердцу, можно расценить как своего рода досрочную компенсацию за разговор лицом к лицу, который больше так ни разу и не состоялся.

Погрузившись в материалы по Бодлеру, Беньямин вскоре понял, что план, составленный в Париже сразу же после того, как его перестали мучить мигрени, необходимо переделать. Просматривая материалы по пассажам и по Бодлеру и приступив к их реорганизации, он начал рассматривать исследование о Бодлере как непосредственное продолжение своего творчества 1920-х гг. Первое указание на это содержится в записке для Шолема, в которой изыскания о Бодлере описываются как «длинная цепь рассуждений (строящихся по образцу эссе об „Избирательном средстве“)» (BS, 231). Своей сестре Беньямин сообщал, что «снова — после десятилетнего перерыва — принялся за сочинение книги». В 1928 г. Эрнст Ровольт издал книгу Беньямина о немецкой барочной драме, а также его «городскую книгу» «Улица с односторонним движением». И именно «Улицу с односторонним движением» Беньямин — пусть бессознательно — имел в виду, когда сообщал Фридриху Поллоку, что его книга о Бодлере позволит «проникнуть взглядом — по принципу перспективы — в глубины XIX столетия» (GB, 6:133): буквально теми же словами он описывает «Улицу с односторонним движением» в письме 1926 г. Шолему. К концу июля стало ясно, что он не успеет закончить работу к 15 сентября — сроку, установленному Институтом социальных исследований. Беньямин согласился на этот срок, еще находясь в Париже и полагая, что составленный там план ускорит процесс работы над книгой.

В конце июля, августе и сентябре 1938 г. Беньямин работал над исследованием о Бодлере, не снижая темпа. Согласно новому плану, книга включала три части: вступительный, сложный для понимания теоретический раздел, озаглавленный *Baudelaire als Allegoriker* («Бодлер как аллегорист») — в нем проводилась связь между Бодлером и беньяминовской трактовкой барочной аллегории, центральный раздел *Das Paris des Second Empire bei Baudelaire* («Париж времен Второй империи у Бодлера»), содержащий социальные «данные» или «антитезу» к этой теории, и заключительный раздел *Die Ware als poetischer Gegenstand* («Товар как поэтический объект»), в котором постистория бодлеровской эпохи изучалась сквозь анализ не только товарного фетишизма, но и ар-нуво и идеи вечного возвращения у Бодлера, Бланки и Ницше. В начале августа Беньямин в письме Хоркхаймеру предположил, что второй раздел будет наиболее пригодным для публикации в *Zeitschrift für Sozialforschung*. Пока Беньямин обдумывал этот раздел, который в итоге превратился в эссе «Па-

риж времен Второй империи у Бодлера», у него начала складываться формулировка ряда аналогий, связывавших Бодлера с Луи-Наполеоном и парижской богемой, а также «связи между столичной толпой и современной литературой» и сложного переплетения старины и современности в стихотворениях Бодлера (ГВ, 6:150). Как он впоследствии выразился в отношении общей концепции книги о Бодлере, «философский лук [был] натянут до предела» (BS, 252).

Работе над эссе о Бодлере сопутствовали характерные для отношений между Беньямином и Брехтом дискуссии по широкому кругу вопросов. В основном они говорили о литературе: о Вергилии, Данте, Гёте, Анне Зегерс и об эпическом театре и свежих стихотворениях самого Брехта¹³. В своем дневнике за 13 августа 1938 г. Брехт упоминает разговор о кризисе буржуазной сексуальности: «По утверждению Беньямина, Фрейд полагает, что когда-нибудь сексуальность полностью отомрет»¹⁴. Однако все больше времени они уделяли обсуждению последних событий в Советском Союзе. В письме Хоркхаймеру Беньямин пытается изложить свою точку зрения, которую он разделял с Брехтом:

До настоящего времени мы были вправе видеть в Советском Союзе державу, чья внешняя политика диктуется не империалистическими интересами — и, соответственно, считать его антиимпериалистической державой. Мы по-прежнему стоим на этом, по крайней мере в данный момент, потому что, несмотря на самые серьезные возможные оговорки, мы все еще относимся к Советскому Союзу как к защитнику наших интересов в грядущей войне, а также в попытках отсрочить ее начало; полагаю, что это соответствует и вашему видению ситуации. Брехт никогда и не думал отрицать, что этот защитник обходится нам так дорого, как только можно себе представить, — в том смысле, что нам приходится платить за его защиту жертвами, снижающими заинтересованность, которая наиболее важна для нас как для творческих людей (BG, 229).

Даже Брехт начал видеть в последних советских событиях — показательных процессах, чистках, заискивании перед Гитлером — «катастрофу по отношению ко всему, ради чего мы ра-

13. См. «Дневниковые записи за 1938 г.» в: SW, 3:335–343.

14. Далее в этой записи говорится: «Наша буржуазия полагает, будто она и есть человечество. Когда головы аристократов падали с гильотины, их члены по крайней мере продолжали стоять. Буржуазия умудрилась разрушить даже сексуальность». Цит. по: Wizisla, *Walter Benjamin and Bertolt Brecht*, 36; Вицисла, *Беньямин и Брехт*, 76. Беньямин ссылается на этот разговор в проекте «Пассажи» (папка Опа,3). См. также: GS, 7:737.

ботали в течение последних двадцати лет» (ВГ, 229). Например, они боялись, что крупный советский писатель Сергей Третьяков, друг и переводчик Брехта, был казнен после ареста, и эти страхи впоследствии подтвердились. Их оговорки в отношении советской политики едва ли ограничивались сферой процессов и казней: и Брехт, и Беньямин разрывались между надеждой на то, что Советскому Союзу все же удастся предотвратить войну, и отвращением, которое у них вызывали крайности советской литературной политики. Вышедшая в 1934 г. статья Дьердя Лукача о мнимом впадении экспрессионизма в обскурантизм по сути положила начало громкой дискуссии среди немецких марксистов, в настоящее время известной под общим названием «Дискуссия об экспрессионизме»; она проходила в таких журналах, как *Das Wort*, и касалась вопроса о том, в каком направлении должно развиваться подлинно социалистическое искусство. Брехт, используя некоторые экспрессионистские приемы в своих определенно антиобскурантистских пьесах, тем самым дал возможность выдвинуть серьезный контраргумент против утверждений Лукача.

Солидарность Беньямина как с Брехтом, так и с Адорно и Хоркхаймером заставляла его изыскивать возможности сыграть роль посредника между обоими лагерями. Он требовал от Брехта читать все номера *Zeitschrift* и старался привлекать внимание Нью-Йорка и Сквобостранда к моментам, по которым они придерживались единого мнения, таким как антипатия к доктринерскому реализму, проповедуемому Лукачем. «Он, как и мы, понимает, что теоретические позиции *Zeitschrift* с каждым днем становятся все более весомыми» (ВВ, 6:134). Тем не менее близость Беньямина к Брехту с его энергичным, ангажированным марксизмом продолжала вызывать беспокойство у коллег Беньямина по институту, где преобладало более опосредованное, можно даже сказать, отложенное на неопределенное время, понимание ангажированности. Преданность Беньямина Брехту влекла за собой издержки и более личного характера. Например, он сообщал Гретель Адорно, что читает в Дании гораздо больше литературы, соответствующей «партийной линии», чем обычно. А в письме Китти Маркс-Штайншнайдер он отмечал, что его комната начинает напоминать монашескую келью — не из-за ее обстановки, а из-за его интеллектуальной изоляции. «Несмотря на мою дружбу с Брехтом, для работы мне необходимо строгое уединение. Она сопряжена с рядом очень своеобразных вещей, которыми он не в состоянии проникнуться. Он был моим другом достаточно долго для того, чтобы понимать это, и достаточно проницателен для того, чтобы относиться к ним с уважением» (С, 569).

Даже идиллия в доме полицейского в условиях необходимости спешить с исследованием о Бодлере стала отдавать оскоминой. В конце августа Беньямин признавался супругам Адорно, что ему, возможно, придется съехать из-за шумных детей. Он подумывал о том, чтобы снять жилье у душевнобольного человека, несмотря на свою неприязнь к подобным болезням. Разрываясь между Брехтом, институтом и своими собственными еще не реализованными надеждами, связанными с Бодлером, порой он чувствовал себя загнанным в ловушку. Он писал, что философские дискуссии с его старым другом Гершомом Шолемом, очевидно, создали о нем у Шолема впечатление как «о человеке, поселившемся у крокодила в пасти, которой не дают захлопнуться установленные им железные подпорки» (С, 569). Вообще говоря, его отношения с Шолемом переживали новый глубокий кризис. Беньямин, отбывший из Парижа за несколько недель до того, как Шолем мог встретиться там с ним по пути из Нью-Йорка, сейчас уведомил своего друга, что их надежды на осеннюю встречу в Париже тоже останутся неосуществленными, поскольку он не может покинуть Данию из-за Бодлера. Они не смогут обсудить свои последние труды, а Беньямину не удастся познакомиться с новой женой Шолема. Впрочем, вскоре упорные попытки уклониться от встречи перестали вызывать у Беньямина смущение. 30 сентября он обиженно писал Шолему: «Я нахожу удивительным то, что не получаю от тебя никаких известий. Твое молчание уже начало вызывать у меня беспокойство» (BS, 231). Шолем довольно неубедительно оправдывался, что поездка в Америку вызвала у него что-то вроде апатии, из-за которой он уже почти три месяца не в силах взяться за перо, но истинной причиной, должно быть, являлось его возмущение тем, что Беньямин так старался избежать встречи с ним.

Одним из признаков того, насколько Беньямин был загружен в то время — три месяца работы над эссе о Бодлере он описывал как «чрезвычайно насыщенные», — служит относительная скудость упоминаний о его чтении. Он не без некоторого изумления сообщал, что ему попался свежий номер московского издания *Internationale Literatur*, в котором знакомый ему еще с времен молодежного движения писатель Альфред Курелла — в 1930–1931 гг. у Беньямина происходили стычки с ним в ходе редакционных дискуссий вокруг издания планировавшегося журнала *Krise und Kritik* — назвал его последователем Хайдеггера (Курелла рецензировал переводной отрывок из эссе Беньямина «„Избирательное сродство“ Гёте», опубликованный во французском журнале *Les Cahiers du Sud*). Но в прочих

отношениях замечания Беньямина касались его *планов* на чтение. Он с удовольствием согласился на издание отрывков из его письма Хоркхаймеру — того самого «письма из Парижа», в котором описывались новейшие течения во французской литературе. Он попросил лишь о том, чтобы в печать не попал содержащийся в письме весьма критический отзыв о Жорже Батае, с которым у Беньямина установились сердечные отношения и благодаря которому он наладил связи с кружком интеллектуалов, сложившимся при Коллеже социологии.

В сентябре, когда близилась к концу работа над «Парижем времен Второй империи у Бодлера», в письмах Беньямина начинает ощущаться глубокое беспокойство, в полной мере оправданное событиями, разворачивавшимися в Европе. Из-за выдвинутого Германией требования об аннексии Судетской области война в Европе казалась неизбежной. Беньямин сообщал нескольким своим корреспондентам, что предпочел бы ожидать начало войны в Скандинавии, а не во Франции, и просил у Хоркхаймера сообщить ему имена каких-нибудь скандинавских друзей на тот случай, если кончится срок действия его визы. Именно на этом фоне завершились три месяца «напряженнейшего труда» (BS, 231) над эссе о Бодлере; ближе к концу месяца Беньямин отправился из Сковсбостранда в Копенгаген с тем, чтобы надиктовать окончательный вариант «Парижа времен Второй империи у Бодлера» и отправить его за океан¹⁵. Последний этап работы над эссе совпал с тем, что Беньямин называл «временной развязкой» европейской ситуации: состоявшимся 29 сентября подписанием Мюнхенского соглашения между Гитлером, Муссолини, Невиллом Чемберленом и Эдуаром Даладьё и немедленно последовавшим за этим немецким вторжением в Судетскую область. По этой причине Беньямин увидел только ту часть его «любимого» Копенгагена, которая находилась между его номером в отеле и радиоприемником в общем зале отеля (см.: ВА, 277).

4 октября, вскоре после возвращения в Сковсбостранд, Беньямин писал Адорно, что дописывал эссе «наперегонки с войной: «Несмотря на грызущую меня тревогу, я испытал чувство триумфа в тот день, когда „фланер“, о котором я думал почти 15 лет, перед самым концом света оказался в безопасном убежище (пусть это всего лишь тонкая обложка рукописи)» (ВА, 278). В письме Хоркхаймеру, подтверждавшем отправку рукописи, Беньямин называл свое эссе знаковой работой: «ключевые фи-

15. Это эссе напечатано в SW, 4:3–92.

лософские элементы исследования „Пассажи“ [получили в ней], как я надеюсь, определенную форму». А в переписке с супругами Адорно он повторил свое убеждение, выдававшее определенное беспокойство в отношении того, как эссе будет принято в Нью-Йорке: свою уверенность, что еще не написанные, хотя и запланированные, первая и третья части «станут каркасом для всей работы: в первой ставится вопрос о характере аллегории у Бодлера, а в третьей предлагается социальное решение этой проблемы» (ВА, 273). Беньямин стремился не оставить сомнений в отношении того, что «философская основа *всей* книги» будет понятна лишь с точки зрения третьего раздела — «Товар как поэтический объект» (С, 573).

Замышляя свою книгу, которая должна была носить название «Шарль Бодлер: лирический поэт в эпоху высокого капитализма», Беньямин собирался ни много ни мало заново открыть миру великого французского поэта в качестве репрезентативного певца современного городского капитализма. В глазах Беньямина величие Бодлера состояло именно в его *репрезентативности*: в том, как его поэзия — нередко вопреки его открыто высказывавшимся намерениям — раскрывала структуру и механизмы его времени. Разумеется, Беньямин был отнюдь не единственным представителем своей эпохи, видевшим в Бодлере первого типично современного писателя. В Англии творчество Бодлера служило пробным камнем для Т. С. Элиота, переведившего его на английский, а в 1930 г. издавшего эпохальное эссе о связях Бодлера с современностью (с его отношением к жизни как к «евангелию и его, и нашего времени»), не говоря уже о том, что *Les fleurs du mal* оказали решающее влияние на великую городскую поэму самого Элиота «Бесплодная земля». В Германии главным связующим звеном между Бодлером и современной немецкой литературой служил Штефан Георге: сделанный им перевод «Цветов зла» (1889) во многих отношениях до сих пор остается непревзойденным. Тем не менее Элиот и Георге видели в Бодлере писателя, существенно отличавшегося от того, которого открыл Беньямин. Для Элиота, как и для предшествовавшего ему Суинберна, Бодлер давал ключ к адекватному духовному пониманию современности, будучи незаменимым предшественником самого Элиота в его поисках религиозных маяков, указывающих путь через современную бесплодную землю; для Георге, а до него для Ницше поэзия Бодлера раскрывала обширный и полностью эстетизированный пейзаж, служивший защитой от мерзостей утилитарного и филистерского общества. Это сравнение Беньямина с его современниками отнюдь не сводится к противопоставле-

нию левизны, с одной стороны, и консервативных — а в случае Георге и вовсе протофашистских — политических наклонностей — с другой. Если для Элиота голос Бодлера был голосом пророка в духовной структуре современности, а у Георге Бодлер — путеводная звезда всякого подлинно современного эстетического творчества, то Беньямин раскрыл Бодлера в качестве поистине загадочного персонажа — в целом аполитичного автора, чьи произведения подготовили почву для ответственной культурной политики в современную эпоху. Беньямин решительно отказывается приписывать самому Бодлеру хотя бы одну продуктивную социальную или политическую идею; достижением Беньямина в отношении Бодлера является раскрытие «Цветов зла» как уникального, убийственного, ужасающего *симптома* бодлеровской эпохи, равно как и нашей. «Париж времен Второй империи у Бодлера» самым обескураживающим образом (который останется ключевым мотивом эссе) начинается не с разговора о поэзии Бодлера и даже не с портрета самого Бодлера, а с квазиисториографического описания конкретной «интеллектуальной физиономии» — преступного лица богемы. Беньямин видел в богеме в первую очередь не художников, умирающих с голоду в мансардах подобно Родольфо и Мими из «Богемы» Пуччини, а пеструю компанию заговорщиков (как любителей, так и профессионалов), мечтавших о низвержении режима Наполеона III, самозваного французского императора. На первых страницах эссе Беньямин подспудно проводит связи между тактикой, которую применяла эта социальная прослойка, и *эстетическими* стратегиями, которым подчинялись поэзия и критика Бодлера. Если, как пишет Беньямин, «частью *raison d'état* Второй империи служили неожиданные прокламации, таинственные, внезапные вылазки и непостижимая ирония», то поэзию Бодлера точно так же отличали «загадочные аллегории» и «тайна, окружающая заговорщика». Этот социофизиогномический подход к поэту включает отсылку не к стихотворению, в котором перед читателем предстает такая зловещая физиономия — на ум приходит «Литания Сатане», где к Сатане обращены слова «Владыка изгнанный, безвинно осужденный, / Чтоб с силой новою воспрянуть, побежденный!» (перевод Элліса), — а скорее к стихотворению «Вино тряпичников», где описывается похожее на лабиринт окружение, дающее пристанище заговорщикам, — дешевые кабаки в городском предместье. Эта совокупность жестикulatoryных аспектов конкретной интеллектуальной физиономии в том пространстве, в котором она складывается, и составляет основу метода, используемого Беньямином в своей работе о Бодлере.

В фигуре тряпичника нам открывается в высшей степени насыщенная энергией последовательность: «Все, кто принадлежит к богеме — от литератора до профессионального заговорщика, — могут увидеть хоть небольшую частицу себя в тряпичнике. Каждый из них находился в более или менее притупленном состоянии бунта против общества, и каждого ждало более или менее сомнительное будущее». Эта цитата из «Парижа времен Второй империи» говорит о том, что тряпичник представлял собой узнаваемый социальный типаж. Однако у Бодлера тряпичник вместе с тем и поэт, копающийся в обломках общества и находящий применение для того, что им отвергнуто. В то же время тряпичник становится зеркальным отражением и самого Беньямина — критика и историка, выстраивающего свои критические монтажи из непримечательных в основе своей элементов, с хирургической точностью извлекаемых из корпуса улиц. Здесь, как и во всех других местах эссе Беньямина о Бодлере, мы видим продуманное отождествление автора с поэтом: с его социальной отчужденностью, с его коммерческими неудачами, с отсылками на «тайную архитектуру» в творчестве и, в частности, с бездонной меланхолией, которой пронизана каждая страница его произведений.

Беньямин заключает первый раздел эссе сравнением Беньямина с Пьером Дюпоном, признанным автором социальной поэзии, в своем творчестве стремившимся к непосредственному, более того, упрощенному и тенденциозному отклику на злободневные политические события. Противопоставляя Бодлера Дюпону, Беньямин раскрывает «глубокое двуличие», лежащее в основе поэзии Бодлера, которая, по его мнению, не столько свидетельствует о сочувствии угнетенным, сколько грубо разрушает их иллюзии. Как Беньямин писал в своих заметках к эссе, «нет никакого смысла в попытках найти для Бодлера место среди самых передовых борцов за освобождение человечества. С самого начала представляется более многообещающим исследовать его происки там, где он, несомненно, чувствовал себя как дома: во вражеском лагере... Бодлер был тайным агентом — агентом тайного недовольства его класса своей собственной властью» (SW, 4:92n).

К концу 1938 г. Бодлер проникся убеждением, что традиционная историография, основанная на своего рода повествовании, предполагающем гомогенную преемственность и неизбежность процесса исторических изменений, «призвана скрыть революционные моменты истории... Она проходит мимо тех мест, где происходит разрыв традиции, который и порождает ее пики и утесы, дающие опору для тех, кто способен пе-

решагнуть через них» (АР, №9а,5). Соответственно, эссе о Париже времен Бодлера состоит из ряда исторических образов или мотивов, «вырванных» из их первоначального контекста, роль которого нередко играют маргинальные исторические свидетельства, перемешанные с анекдотами и тайнами, и аккуратно встроенных в текст, организованный по принципу монтажа. Этот метод изложения основывается на убеждении, что подобные образы, нередко выражающие в себе на первый взгляд несущественные детали крупных исторических структур, оставались за бортом, когда господствующий класс приписывал истинность и ценность своей собственной, идеологизированной версии истории. Чтобы выявить за историографической завесой то, что Беньямин называет «подлинным историческим временем, временем истины», он предлагает «извлекать, цитировать то, что втихомолку оставалось погребенным, по сути, не заключая в себе никакой пользы для власть имущих» (№3,1; J77,1). Но как мы должны понимать *отношения* между образами в этой революционной материалистической историографии? Беньямин возлагает все свои надежды на «выразительность» своих сочетаний образов. «Экономические условия, в которых существует общество, находят выражение в надстройке, точно так же как у спящего набитый желудок находит не отражение, а выражение в содержании снов, которое с причинно-следственной точки зрения можно назвать „обусловленным“» (К2,5). Эти места из «Пассажей», как и «Париж времен Второй империи у Бодлера», во многом основанный на десятилетних изысканиях по пассажам, относятся к текстовому пространству, в котором сливаются друг с другом спекулятивное, интуитивное и аналитическое начала, к пространству, в котором возможно такое прочтение образов и связей между ними, когда *нынешний* смысл «прошедших событий» раскрывается в виде моментального озарения». Именно такую кристаллизацию истории в настоящем Беньямин и называет диалектическим образом. А «Париж времен Второй империи у Бодлера», возможно, представляет собой самый яркий и полностью реализованный пример критической практики, строящейся вокруг диалектических образов, тем самым венчая собой литературно-критическое творчество Беньямина 1930-х гг.

В центральном разделе «Парижа времен Второй империи у Бодлера», озаглавленном «Фланер», изучаются взаимоотношения между некоторыми художественными жанрами и некоторыми социетальными формами. На заполненных толпой улицах столичного города индивидуум не просто растворяется в массах; при этом фактически стираются все следы лич-

ного существования. А такие популярные литературные и художественные формы, как «физиологии» (зафиксированные на бумаге каталоги городских типажей) и «панорамы» (картины «типичных» исторических и географических видов), возникают, по мнению Беньямина, именно с тем, чтобы унять скрытую тревогу, характерную для этой ситуации. Благодаря своей «безвредности» подобные развлечения несут в себе «идеальное добродушие», не содержащее ни капли сопротивления существующему социальному строю: условие, благоприятствующее «фантазмагории парижской жизни». Как мы уже видели, у Беньямина выражение «фантазмагория» подчеркивает иллюзорный аспект современного городского окружения — аспект, пагубно сказывающийся на способности человека принимать рациональные решения и вообще понимать наш собственный мир. «Физиологии» в этом отношении являются пособниками фантазмагорий: они насаждают самодовольство, приписывая своим читателям опыт, которым те не обязательно обладают. Как Беньямин говорит в «Париже времен Второй империи», «физиологии» «внушали людям, что всякий человек, даже не обремененный какими-либо фактическими знаниями, способен определить профессию, характер, происхождение и образ жизни проходящих мимо».

«Маленькое утешение», которое давали читателям «физиологии», могло дать лишь временное избавление от тревоги, присущей жизни в современных условиях. Беньямин указывает, что в то время (в 1840-е гг.) появился еще один жанр, «связанный с беспокойными и угрожающими аспектами городской жизни». Этим жанром был детектив. Если в похожем на сон пространстве городской фантазмагии горожане сталкиваются с постоянными потрясениями, вызывающими у них дезориентацию, то детектив с его пусть эксцентричными, но воинственными умозаключениями служил очевидным лекарством, «позволяющим интеллекту выжить в этой атмосфере, заряженной эмоциями». Сам Бодлер, как полагал Беньямин, был неспособен писать детективы. «Структура его побуждений» лишала поэта таких откровенно рационалистических намерений: «Бодлер был слишком хорошим читателем маркиза де Сада, чтобы быть способным на конкуренцию с По».

Если поэзия Бодлера не обслуживала социальную ситуацию (как это делали «физиологии») и не учила, как с ней справиться (как это делал детектив), то какими же были ее отношения с парижским модерном? Беньямин защищает Бодлера именно потому, что его творчество, допускающее, чтобы его отмечали разрывы и апории современной столичной жизни, вы-

являет пустоту современного опыта существования. Таким образом, предлагаемая Беньямином интерпретация основывается на теории шока, разработанной в связи с получившей широкую известность трактовкой стихотворения *A une passante* («Прохожей»). Лирический герой среди рева уличной толпы внезапно видит женщину в трауре, величественную в своем горе, которая проходит мимо, «едва качая / Рукою пышною край платья и фестон» (перевод Эллиса). Лирический герой буквально заморожен: ошеломление, вызванное случайной встречей, даже заставляет его скорчиться. Представшая его глазам мимолетная красота потрясла его и вдохнула в него новую жизнь. Однако, указывает Беньямин, причиной спазмов, охвативших тело поэта, служит не «возбуждение человека, захваченного этим образом до последней частицы своего бытия»; их причина — в мощном, единичном потрясении, «с которым одинокого мужчину внезапно одолевает властное желание».

Эта идея поэтических способностей, вызванных потрясением, представляла собой серьезный отход от представлений о художественном творчестве, преобладавших в эпоху Беньямина и до сих пор имеющих широкое распространение. Согласно этой альтернативной точке зрения, поэт — не олимпийский гений, «поднявшийся» над своей эпохой и запечатлевший свою сущность для потомства. Для Беньямина величие Бодлера заключается в его абсолютной *восприимчивости* к худшим порождениям современной жизни; этот талантливый писатель обладал невероятно «чувствительным складом души», позволявшим ему посредством холодного созерцательного сочувствия выражать характер своей эпохи. А как подсказывали Беньямину его обширные познания, этот «характер эпохи» определялся всепроникающей коммодификацией. Бодлер не просто *знал* о процессах коммодификации, порождающих фантазмагории; он подчеркнутым образом *воплощал* в себе эти процессы.

Как бы нерешительно поэт ни выставлял свои произведения на продажу, он сам в *качестве товара* в какой-то степени поддается распаковке и обезличиванию — короче говоря, «опьянению товара, погруженного в бурный поток покупателей». Более того, роль поэта как изготовителя и поставщика духовных товаров раскрывает его для тесного и отчуждающего «сочувствия с неживыми предметами». А это, в свою очередь, «являлось одним из источников его вдохновения». Таким образом, поэзию Бодлера разрывали внешние и внутренние конфликты — предчувствие рока, окутывающее его излюбленную задачу насаждения *modernité*, и калейдоскопическое понимание истории ни много ни мало как «непрерывной катастрофы». Именно

в этом смысле злополучный Бодлер был «секретным агентом» внутреннего самониспровержения своего собственного класса.

Подходя к завершению «Парижа времен Второй империи у Бодлера» в разделе «Современность», Беньямин заступает за Бодлера как за типичного летописца современной жизни — по сути, ее героя. «Герой — истинный субъект современности. Иными словами, чтобы прожить в современном мире, требуется героический склад характера». Бодлер как современный герой — не только сверхвосприимчивый фланер, блуждающий по парижским улицам с анamnестической внимательностью, не только мим, поставляющий эстетические товары¹⁶. Он — нераскаявшийся современный индивидуум, мало-помалу расстающийся с имуществом и со спокойствием буржуазной жизни и в итоге вынужденный искать убежища на улице. Бодлер в качестве опустошенного обитателя проулков, ведущих прочь от Больших бульваров, приобретает уникальную уязвимость к потрясениям современной жизни.

Таким образом, его героизм заключается в том, что он позволяет духу эпохи оставлять следы и шрамы на своем существе. «Сопrotивление, которое современность оказывает естественным творческим порывам индивидуума, совершенно несоразмерно его силам. Поэтому можно понять изнуренного человека, ищущего отдохновения в смерти». Соответственно, героизм принимает форму скорби по неизбежным утратам, скорби как разновидности бдительности — эту бодлеровскую идею Беньямин помещает в центр своей трактовки. Пафос, пронизывающий эту часть эссе, проистекает из энергичного отождествления с положением, в котором находился Бодлер. Самые заметные аспекты биографии Бодлера — безденежье, обрекавшее поэта, так и не получившего признания, к внутреннему изгнанию, а затем, под конец жизни, и к добровольному изгнанию в Бельгию, — в значительной степени соответствовали положению самого Беньямина, одного из величайших писателей своего поколения, который был лишен места на Земле, где, как он однажды выразился, он мог бы и обеспечить себе минимальный заработок, и существовать на него. Искушение самоубийства как избавления — «современность не может не существовать под знаком самоубийства, деяния, скрепляющего героическую волю» (SW, 4:45) — никогда надолго не оставляло мыслей Беньямина в период изгнания; приписывая Бодлеру «изнурение», он в значительной степени не только описывал его, но и проецировал на него свою ситуацию.

16. О Бодлере как «миме, снявшем грим», см.: AP, папка J52,2 и далее, особенно J56,5 и J62,6.

Однако инфернальный характер современной жизни не изображается им как безусловно безнадежный. Ставя в центр своего внимания поэзию и прозу Бодлера, Беньямин в «Париже времен Второй империи у Бодлера» демонстрирует метафорическое понимание необратимой на первый взгляд истории — этой «улицы с односторонним движением» — в качестве «объекта завоевания». Несмотря на то что современному герою и породившей его эпохе «суждена роковая судьба», задним числом возникает совершенно подпольная надежда на то, что в современности могут скрываться элементы ее собственного спасения. Бодлеровский вопрос — вопрос о том, «сможет ли когда-нибудь сама [современность] стать древностью» — остается без ответа. Если Виктор Гюго видел в современном Париже так много осязаемых напоминаний о древнем мире, что мог говорить о «парижской древности», то Бодлер, по словам Беньямина, усматривал связь между современностью и прошлым в их общей *драхлости*, в «скорби об ушедшем и отсутствии надежды на грядущее». Эти аспекты современного города, приобретая при капитализме видимость «подлинно нового», очень быстро обнаружили свою замшелость. «Современность изменилась больше всего, и та древность, которая якобы в ней содержалась, в реальности представляет собой картину отсталости». В своем эссе о сюрреализме, написанном в 1929 г., Беньямин предположил, что топливом для серьезных социальных изменений может послужить «революционная энергия», скрытая в устаревшем. Ведь механизмы капиталистического процесса полностью раскрываются только в его отходах — в том, что больше не отвечает своему предназначению и потому избегает вездесущего идеологического контроля. Именно освещение процессов устаревания и проявляющихся в них махинаций капиталистического принуждения и указывает путь к политическим действиям как к средству исправить положение. Такое обещание несет в себе и бодлеровский сплин — тонко модулированные гнев и отвращение, дополняющие нежность и печаль поэта.

Несомненно, наибольший разоблачительный потенциал, присутствующий в «Париже времен Второй империи у Бодлера», касается самого поэтического языка Бодлера. Его «просодия подобна плану большого города, по которому можно незаметно перемещаться под защитой кварталов, ворот, дворов. На этом плане слова перед началом бунта получают четко обозначенные позиции». Каким образом такие тактически грамотно размещенные слова могут способствовать революции? Ответ Беньямина на этот вопрос включает переосмысление понятия аллегории, предложенного в его книге 1928 г. о барочной дра-

ме. Там он указывает, что барочные «трагические пьесы», долго пребывавшие в забвении вследствие своих откровенных и серьезных эстетических изъянов, по сути несут в себе ответственный исторический принцип своей эпохи. Согласно аллегорическому способу репрезентации, преобладавшему в *Trauerspiel*, а сейчас, как утверждает Беньямин, работающему у Бодлера, «любая персона, любая вещь, любое обстоятельство могут служить обозначением чего угодно. Эта возможность выносит профанному миру уничтожающий и все же справедливый приговор: тот характеризуется как мир, в котором детали не имеют особого значения» (ОГТ, 175; ПНД, 181). Аллегория с ее призрачной разрушительной силой, с ее способностью опустошать и делать вещи прозрачными является эстетической формой, наиболее близкой к пониманию истории как непрерывной катастрофы, а потому эта эстетическая форма в наибольшей степени несет нравственную ответственность за настоящее. Сравнение бодлеровской просодии с планом указывает на то, что революционным потенциалом обладают не столько сами слова, сколько их *расположение* в топографии текста. Этот относительный характер поэтического языка, применение в нем таких страгем, как разбивка и вытеснение, его «просчитанная дисгармония между образом и объектом» и отличают Бодлера как аллегориста. А внутри поэтических пространств, вскрытых и сформулированных подобным образом, по представлениям Беньямина, в игру мог вступить опыт полной беспочвенности современного существования — иными словами, речь идет о расчленении фантазмагии и обнажении ее сущности. Как Беньямин выразился в «Центральном парке», собрании коротких размышлений, над которым он также работал в то время, «остановить движение мира — это было главным стремлением Бодлера» (SW, 4:170; Озарения, 216).

Принципиально новым в теории аллегии, предложенной Беньямином в 1938 г., было то, что он в середине апреля описывал в письме, адресованном Хоркхаймеру — пользуясь языком кино и фотографии, — как «форму-элемент» аллегорического восприятия, то есть как «наплыв» или наложение (*Überblendung*), посредством которого древность проступает в современности, и наоборот. Бодлер был поэтом, для которого, как говорится в «Лебеде», стихотворении, структурированном по принципу исторических наплывов, все превращается в аллегию. Он подобен гравюру Мериону, которого пропагандировал при его жизни: тот создал цикл гравюр с видами Парижа, на которых среди нетронутой современности внезапно проступает древность; художник вскрывает «древнее лицо го-

рода», «не изъяв ни одного булыжника» из нового столичного Парижа. «Ведь и у Мериона, — отмечает Беньямин в своем эссе о Париже, — присутствует взаимопроникновение классической древности и современности, и у него это наложение, несомненно, принимает форму аллегории»¹⁷. И здесь теория аллегии встречается с теорией диалектического образа, в которой конкретное прошлое и настоящее проступают сквозь друг друга.

В преддверии отъезда из Дании Беньямин договорился — не без некоторых опасений — о том, чтобы его книги, исчислявшиеся сотнями, были отправлены в Париж. Он был убежден, что война неизбежна, что мюнхенские соглашения обещают что угодно, но только не «мир в нашу эпоху» и что фашистский альянс просто обратит свои алчные взоры в другую сторону. Он сильно подозревал, что сам Париж станет всего лишь очередным «перевалочным пунктом» для него и для его пожитков. «Как долго воздух Европы останется пригодным для дыхания — в физическом смысле, — я не знаю. В духовном плане им уже нельзя дышать — после событий последних недель... Со всей очевидностью выяснилось лишь одно: Россия допустила ампутацию своей европейской окраины» (ВА, 277). Беньямина немного приободрял тот факт, что его сын Штефан, которому шел уже 22-й год, поселился в относительно безопасной Англии и что его бывшая жена Дора занималась продажей своей собственности в Сан-Ремо с тем, чтобы вслед за Штефаном отправиться в Лондон. На фоне этой ситуации положение других друзей Беньямина, должно быть, казалось ему несколько сюрреалистическим: в те дни, когда Европа приближалась к войне, он получил жизнерадостное письмо от супругов Адорно, отдыхавших на острове Маунт-Дезерт в Мэне. Там их посетили Эгон Виссинг и сестра Гретель, приехавшие в новом «форде» с убирающимся верхом!

Беньямин уехал из Дании примерно 15 октября. Его общение с Брехтом на этот раз оказалось поразительно бесконфликтным, что само по себе являлось причиной для беспокойства, поскольку проявившуюся у Брехта готовность прислушиваться к другим Беньямин воспринимал как признак нарастающей изоляции своего друга. «Не то что бы я стремлюсь исключить более очевидное объяснение ситуации: что эта изоляция уменьшила удовольствие, которое ему зачастую доставляла в ходе

17. SW, 4:53–54. Ср. AP, папка M1a,1, папка S2,1 и папка M^o4 (Наложение, *Überdeckung*); SW, 2:94 (двойная экспозиция). Ср. также слова Адорно о Беньямине: «Он погружался в реальность как в палимпсест» (1955 г., “Introduction to Benjamin’s Schriften”, 8).

наших бесед провокационная тактика; однако более достоверным объяснением было бы восприятие этой растущей изоляции как следствия верности тому, что у нас с ним есть общего» (С, 278).

По возвращении в Париж Бенямина поджидали новости, превышавшие его худшие опасения. Его 37-летняя сестра Дора, вообще отличавшаяся неважным здоровьем, страдала от атеросклероза и нередко была вынуждена целыми днями не вставать с постели (спустя полтора года она пережила интернирование и в 1946 г. умерла в швейцарской больнице). Младший брат Бенямина Георг, в 1933 г. арестованный нацистами за его коммунистические убеждения, был переведен в тюрьму в Бад-Вильснаке (Бранденбург), где попал в число заключенных, которых посылали на дорожные работы. «Величайший кошмар для оказавшихся в его ситуации, как я часто слышал от людей из Германии, состоит не в том, что каждый новый день начинается за решеткой, а в угрозе попасть в концентрационный лагерь после нескольких лет тюрьмы» (BG, 247). Георг в самом деле погиб в 1942 г. в концентрационном лагере Заксенхаузен.

Кроме того, Бенямин теперь опасался и того, что его личный берлинский архив утрачен безвозвратно. Он попросил кого-то из друзей, возможно Хелен Хессель, в последний раз попытаться спасти книги и бумаги, оставшиеся в его квартире, но из этого ничего не вышло. В письме Гретель Адорно он сетовал об утрате архива братьев Фрица и Вольфа Хайнле (покойных друзей Бенямина по немецкому молодежному движению), рукописи своего собственного неопубликованного эссе о Фридрихе Гельдерлине и «невозместимого» архива материалов по леволлиберальному крылу молодежного движения, к которому он принадлежал. Вообще же он боялся последствий франко-германского сближения, ставшего итогом мюнхенского соглашения, и особенно возможных последствий для отношений между французами и немцами, жившими в Париже. Не имея никакой альтернативы, он продолжал добиваться получения французского гражданства — «осмотрительно, но не питая иллюзий. Если шансы на успех и раньше были сомнительными, то теперь проблематичной становится и польза этого шага. Крах законопорядка в Европе делает всякую легализацию бессмысленной» (BG, 247).

Вскоре он восстановил контакты со своими французскими друзьями. Первым делом он связался с Адриенной Монье, чтобы узнать ее точку зрения на текущую ситуацию. В ноябре он присутствовал на банкете для авторов *Les Cahiers du Sud* в баре *L'Alsacienne*, где видел Поля Валери, Леона-Поля Фарга,

Жюля Сюпервьеля, Жана Валя, Роллана де Реневиля и Роже Кайуа. Кроме того, развлечением для него служили более частые встречи с молодым ученым Пьером Миссаком, с которым он познакомился в 1937 г. при посредстве Батая: среди прочего они разделяли интерес к кино и архитектуре. Они часто виделись — иногда в квартире Беньямина, иногда в *Café de la Mairie* на площади Сен-Сюльпис. Из всех французских друзей Беньямина именно Миссак впоследствии сделал больше всего для увековечения его памяти во Франции, издавая его переводы и критические эссе, а потом опубликовав и книгу¹⁸. Однако французские связи Беньямина были непрочными. Например, он просил Хоркхаймера издать свой отрицательный отзыв на «Бесплодность» (*Aridité*) Кайуа под псевдонимом Ганс Фельнер, чтобы не навлечь на себя недовольство со стороны друга Кайуа Реневиля, который присматривал за прохождением поданного Беньямином прошения о гражданстве через свое министерство. В итоге рецензия вышла под псевдонимом J. E. Mabin, представлявшим собой анаграмму фамилии «Беньямин».

Тем не менее наряду с неизменно катастрофическими известиями из Германии до Беньямина доходили и более положительные сигналы. Из Дании прибыли его книги, и в ответ на просьбу Хоркхаймера и Поллока сделать какой-нибудь ответный жест Беньямин подарил одно из своих сокровищ — четырехтомную историю немецкой книготорговли — парижской библиотеке института. Он надеялся, что этот дар достигнет намеченной цели, а именно станет в будущем «важнейшим инструментом при написании материалистической истории немецкой литературы» (GB, 6:178). В Париж из Германии прибывали все новые друзья Беньямина. На тот момент последним из эмигрантов стал Франц Хессель. Он «сидел в Берлине, подобно мыши в норке, пять с половиной лет», но теперь приехал в Париж «с безупречными верительными грамотами и имея могучего покровителя»: визу для него достал Жан Жироду, в то время занимавший высокую должность во французском министерстве иностранных дел (см.: VG, 247). События 9–10 ноября — еврейский погром, известный как «Хрустальная ночь», — погасили последние проблески надежды на мир, и Беньямину снова пришлось задуматься о катастрофических последствиях для тех, кто еще оставался в Германии, таких как его брат и родители Адорно.

В середине ноября Беньямин получил, возможно, самый тяжелый удар за всю свою творческую карьеру: содержавшееся

18. Missac, *Walter Benjamin's Passages*.

в длинном критическом письме Адорно известие о том, что Институт социальных исследований отказывается издавать «Париж времен Второй империи у Бодлера» (ВА, 280–289). Эссе Бенямина было встречено не то чтобы с озадаченным раздражением, которого он в какой-то мере ожидал, но все же оно вызвало весьма основательные методологические и политические возражения. В своем письме от 10 ноября Адорно, выступавший и от имени Хоркхаймера, обвинил Бенямина в пренебрежении средствами, обеспечивающими должную взаимосвязь между отдельными элементами диалектической структуры или изложения. Он распознал сознательную фрагментарность, посредством которой Бенямин стремился выявить «тайное сродство» между общими проявлениями промышленного капитализма в жизни большого города и конкретными деталями творчества Бодлера, но расценил общий метод построения эссе как неудачу. Своеобразный «материалистический» подход Бенямина, «эта специфическая конкретность» с «ее бихевиористскими обертонами» несостоятельны в методологическом плане, поскольку в своем аскетическом отказе от интерпретаций и теоретической проработки они пытаются поместить «ярко выраженные индивидуальные черты из сферы надстройки» в «неопосредованные и даже причинно-следственные взаимоотношения с соответствующими чертами базиса». В глазах Адорно «материалистическое определение культурных характеристик возможно лишь том случае, когда оно опосредуется через *общий социальный процесс*... Воздержание от теории», с одной стороны, придает материалу «обманчивый эпический характер», а с другой стороны, «лишает явления их реальной философско-исторической значимости, поскольку они ощущаются чисто субъективно». Отказ от теоретических формулировок приводит к «изумленному изображению чистой фактичности», к взаимному наложению непроницаемых слоев материала, «поглощенного своей собственной аурой». Иными словами, следовало признать исследование Бенямина лишенным умеренности и, более того, наколдованным, находящимся «на перекрестке магии и позитивизма». Адорно, как и в своем Хорнбергском письме 1935 г., напоминал Бенямину о его собственных словах, прозвучавших во время памятных бесед в Кенигштайне в 1929 г., а именно о том, что в исследовании о пассажах всякую идею необходимо вырвать из сферы безумия, поскольку, как утверждал Адорно, есть что-то едва ли не демоническое в том, как отдельные элементы в новом эссе Бенямина восстают против возможности их собственной интерпретации.

Критика Адорно, несомненно, отчасти опиралась на подозрения о пагубном влиянии, оказанном на эссе Брехтом. Ука-

зывая на явно непосредственное сопоставление элементов экономического базиса (тряпичники) с соответствующими элементами надстройки (стихотворения Бодлера), Адорно косвенно определял эссе как упражнение в той разновидности вульгарного марксизма, которая, по мнению института, была характерна для творчества Брехта. Однако на кону стояло гораздо большее. В целом критика Адорно представляла собой не столько критический отзыв на эссе как таковое, сколько выражение его неприязни к уникальному аллегорическому материализму, положенному в его основу. Беньямин стремился разработать метод исторической инкапсуляции посредством типизации образов, входящих в состав изменяющихся сочетаний, и был убежден, что те знания, к которым дает доступ такой мотивный метод — знания о настоящем в свете прошлого и о прошлом в свете настоящего, — не даст никакого абстрактного теоретизирования. Адорно, находясь на безопасных позициях в Нью-Йорке, где он теперь принадлежал к внутреннему кругу сотрудников института, чувствовал себя вправе отвергать не только конкретное эссе, но и выражение зрелой литературной критики Беньямина во всей ее совокупности. Их взаимное положение изменилось на полностью противоположное. Еще недавно Адорно был учеником Беньямина, творчество которого оказало глубокое влияние на ряд сочиненных им эссе, а также на книгу о Кьеркегоре; лекция, прочитанная Адорно во Франкфурте по случаю своего вступления в должность, представляла собой дань уважения Беньямину, а первый семинар Адорно был посвящен книге о барочной драме. Сейчас же, понимая, что Беньямин оказался в полной зависимости от института как от почти единственного источника заработка, Адорно полагал, что может диктовать не только тематику работ Беньямина, но и их интеллектуальную тональность. И потому, утверждая, что «вас не видно в этом исследовании», он спокойно и жестко добивался от Беньямина — «эта просьба исходит от меня, не отражая решения редколлегии или ее отказа», — чтобы тот писал работы, по сути близкие к его собственным, с их нередко натянутыми взаимоотношениями с имеющимся в наличии материалом и с их поразительным (и поразительно абстрактным), систематически диалектическим построением. Впоследствии Адорно продолжал оказывать Беньямину материальную и моральную поддержку, но их интеллектуальные дискуссии после этой размолвки из-за Бодлера так и не вышли на прежний уровень.

Едва ли удивительно, что прошел почти месяц, прежде чем Беньямин дал ответ. Письмо Адорно погрузило его в глубокую, парализующую депрессию — похоже, что он неделями не выби-

рался из своей квартиры, — и окончательно душевное равновесие вернулось к нему лишь весной 1939 г. Как он впоследствии объяснял Шолему, почти полная изоляция, в которой он находился, делала его болезненно восприимчивым к реакции на его работу, и то, что она сразу же была отвергнута теми, кого он считал друзьями и союзниками, оказалось для него невыносимым. В письме от 9 декабря Беньямин пункт за пунктом ответил на критику Адорно, но его главной задачей было спасти *структуру* книги о Бодлере, какой она в данное время ему виделась, вопреки попытке Адорно заставить его вернуться к более ранней концепции исследования о пассажижах:

Если... я отказался во имя своих собственных творческих интересов развивать свои идеи в эзотерическом направлении и в стремлении к иным целям пренебречь интересами диалектического материализма и института, то я поступил так не только из-за солидарности с институтом или из-за верности диалектическому материализму, но и из-за солидарности с пережитым всеми нами за последние 15 лет. На кон поставлены и мои глубочайшие творческие интересы, не буду отрицать, что порой они могли идти вразрез с моими первоначальными интересами. Между ними существует антагонизм. Преодоление этого антагонизма представляет собой проблему данной работы, причем это проблема построения (ВА, 291).

Используемый Беньямином чрезвычайно сконцентрированный метод построения, отнюдь не являясь отрывочной и примитивно-субъективной подачей чистой фактичности, которую Адорно увидел в его эссе о Париже, нацелен на создание исторического объекта в глазах настоящего, как монады. С точки зрения общей структуры книги эссе, представленное для публикации, следовало рассматривать состоящим «в основном из филологического материала», в то время как запланированные первая и третья части должны были содержать теорию, затребованную Адорно. «Основные линии этой конструкции сливаются в нашем собственном историческом опыте. Таким образом объект предстает в качестве монады. И в этой монаде оживает все, что прежде заключалось в этом тексте в состоянии мифического окаменения».

Беньямин завершил свое письмо призывом все же изыскать возможности для публикации «этого текста, несомненно, представляющего собой продукт творческих усилий, несовместимых с теми, какие были сопряжены с какими-либо из прежних образцов моей литературной работы», хотя бы для того, чтобы ознакомить с этой дискуссией широкую аудиторию. Не до-

веря суждению своих коллег в Нью-Йорке, Беньямин упорно верил в то, что история оценит его работу по достоинству, если только ей суждено будет увидеть свет. Заранее чувствуя, что его аргументы окажутся не очень убедительными, он выражал готовность к последней, отчаянной уступке. Он предложил переделать среднюю часть «Парижа времен Второй империи у Бодлера», которая называлась «Фланер», в отдельное эссе. Этот маневр в итоге дал плоды в виде смелой теоретической инициативы «О некоторых мотивах у Бодлера», опубликованной в *Zeitschrift*. В данном случае Адорно знал, как добиться того, что было ему нужно.

5 января Беньямин узнал, что немногие ценные вещи, оставшиеся в его берлинском доме — большой секретер, ковер и, что самое главное, сундук с рукописями и полки, полные книг, — необходимо забрать, потому что его съемщик Вернер фон Шеллер съезжает с квартиры. Подруга Беньямина Кете Краусс позаботилась о продаже секретера и ковра, что позволило оплатить долг Беньямина домовладельцу; кроме того, она согласилась присмотреть за книгами и сундуком с рукописями. Ни о книгах, ни о сундуке, не говоря уже о возможном содержимом последнего, больше никто никогда не слышал. 14 февраля за этими материальными потерями последовала более горестная утрата. Гестапо, узнав о том, что Беньямин издавался в выходившем в Москве журнале *Das Wort* — там в 1936 г. под его собственным именем было опубликовано первое из его «Писем из Парижа», — инициировало процесс лишения Беньямина германского гражданства. Решение о его экспатриации было доведено до сведения германского посольства в Париже в письме от 26 мая. Отныне Беньямин был человеком без гражданства.

Возможности для публикации его работ продолжали сокращаться. Шолем сообщил, что германские власти наконец закрыли издательство *Schocken Verlag* (кроме того, от него пришло неожиданное известие о том, что несколько экземпляров диссертации Беньямина «Концепция критики в немецком романтизме» еще имеется в наличии, хотя обращаться за ними нужно к смотрителю подвалов Бернского университета). Тем не менее Беньямин еще питал надежду на то, что Шолему удастся убедить Шокена издать книгу о Кафке; соответственно, в конце февраля он отправил Шолему довольно нетерпеливое письмо, в котором спрашивал, почему тот еще не показал Шокену письмо о Кафке — с убийственным отзывом о биографии, написанной Максом Бродом, — отправленное прошлым летом. Шолем ответил, что в этом плане он отнюдь не сидел сложа руки. Выяснилось, что Шокен не читал Брода и не имел намерения де-

лать это, так же как и издавать книгу Беньямина, что положило конец еще одному замыслу. В конце января через Париж после довольно поспешного отъезда из Германии проезжал лояльный веймарский издатель Беньямина Эрнст Ровольт. В 1933 г. было запрещено и сожжено 46 из изданных им книг, но, несмотря на это, он не увольнял своих сотрудников-евреев до самой последней возможности. Собственно говоря, одним из двух главных редакторов у него до 1938 г. служил Франц Хессель. После издания книги Урбана Редля (псевдоним Бруно Адлера) «Адальберт Штифтер» германские власти запретили Ровольту издательскую деятельность, поскольку тот печатал авторов-евреев, скрывавшихся под псевдонимами. В 1937 г. Ровольт вступил в нацистскую партию, но даже этот шаг не обеспечил ему и его семье безопасности, и сейчас он направлялся через Париж в Бразилию, чтобы устроить там свою жену и детей. Из-за поддержки, оказываемой Ровольтом авторам-евреям, и его лояльности Хесселю Беньямин заявлял, что он «не сделает в моей книге ничего плохого» (BS, 242).

Ровольт был не единственным его знакомым, бежавшим из Германии с такой задержкой. В конце 1938 г. в Париж прибыл австрийский писатель и журналист Альфред Польшар, которого Беньямин знал еще в свои берлинские дни; в 1933 г. он вернулся в Вену из Берлина, а после аншлюса был вынужден искать новый дом в Париже. В бегах пребывал и старый друг Беньямина Вильгельм Шпайер; в 1933 г. он тоже эмигрировал в Австрию, а оттуда в 1938 г. — в Париж. А Карл Тиме был вынужден покинуть даже такую на первый взгляд безопасную страну, как Швейцария. Принадлежа к рядам громкой немецкой католической оппозиции, он эмигрировал в 1933 г., но сейчас опасался, что наращивание германских вооруженных сил на швейцарской границе говорит о неминуемом вторжении. В лучшие дни эти изгнанники стали бы желанным дополнением к кругу парижских знакомых Беньямина; теперь же они в первую очередь давали повод для новых напоминаний о всеобщих несчастьях. Судя по всему, в январе и феврале 1939 г. Беньямин избегал даже своих ближайших друзей; у нас нет никаких указаний на его встречи с Хелен Хессель, Ханной Арендт, Жерменой Круль, Адриенной Монье или Кракауэром. А если он и читал что-либо — хотя бы детективные романы, — то это чтение тоже не оставило никаких следов: ни в его письмах, ни в списке «Произведения, прочитанные целиком».

Несмотря на хроническую депрессию, Беньямин пытался продолжить пересмотр материалов по Бодлеру: сейчас он чувствовал «отчуждение» от этого начинания (см.: BS, 240). Однако

он едва ли мог позволить, чтобы об этом «отчуждении» узнали его коллеги из Нью-Йорка. На протяжении весны он лишь изредка позволял себе очень тонкие выпады. Одно из писем Адорно он начал с фразы «либо ты филолог, либо ты не филолог», а отчитываясь Хоркхаймеру о том, как продвигается работа по переделке эссе с тем, чтобы в нем содержалось «опосредование», требовавшееся институту, он заключил слово «опосредование» в кавычки. В феврале он отложил в сторону заметки, размышления и выдержки, входившие в состав «Центрального парка», который он начал сочинять в апреле предыдущего года одновременно с «Парижем времен Второй империи у Бодлера», и всерьез взялся за всеобъемлющий пересмотр материалов по Бодлеру, имея целью удовлетворить нью-йоркских цензоров. Он ознакомился с трудами либерального экономиста и физиократа Анн-Робера Тюрго и философа-лейбницианца XIX в. Германа Лотце (и тот и другой часто цитируются в «Пассажах»), одновременно размышляя о концепции прогресса применительно к эпистемологии. Он решил, что эта работа станет представлять собой развитие историографических идей, выдвинутых в эссе об Эдварде Фуксе. «Необходимо показать, что уничтожение идеи непрерывности культуры — уничтожение, постулируемое в эссе о Фуксе, — писал он Хоркхаймеру, — имеет эпистемологические последствия, среди которых одно из самых важных мест занимает выявление пределов, ограничивающих применение концепции прогресса в истории» (GB, 6:198). Анализируя материалистическую основу своего начинания, Беньямин обращается к *Philosophie des Geldes* («Философии денег») Георга Зиммеля. Адорно резко раскритиковал появление цитаты из этого старого учителя Беньямина в «Париже времен Второй империи у Бодлера». И сейчас Беньямин выступил в защиту Зиммеля, спрашивая, «не пора ли признать его в качестве одного из предтеч культурного большевизма», и осторожно указывая, что в его философии денег читатель может найти много интересного, «если только он готов игнорировать основную идею, положенную в ее основу» (BA, 311).

1 февраля Адорно отправил Беньямину то, что можно назвать лишь поразительно назойливым письмом, в котором давал согласие на издание исправленного варианта «Фланера» — среднего раздела «Парижа времен Второй империи у Бодлера». «Вероятно, было бы желательным, — писал он, — если бы я сделал ряд дальнейших замечаний в отношении некоторых моментов вашего текста и тем самым показал бы, какого рода исправления я имел в виду» (BA, 300). Далее он по сути диктует длинный список крупных и мелких изменений, которые следу-

ет внести в текст; его письмо, несмотря на его фамильярный тон философской дружбы, дает понять, что это не предложения, а условия, которым Беньямин обязан подчиниться, если хочет, чтобы его работа была напечатана в *Zeitschrift*. В своем ответе, датированном 23 февраля, Беньямин выражает благодарность за «полезные» замечания, но не соглашается с Адорно по некоторым моментам, включая презентацию Бодлера в рамках серии аналогичных типажей, вопрос фетишизма и концепцию фантазмагии. Адорно по-прежнему обвинял Беньямина в субъективации объективного, как считал Адорно, характера фантазмагии. Реакция Беньямина на этот счет весьма показательна:

Тождество [*Gleichheit*] есть познавательная категория; строго говоря, ей нет места при чистом, трезвом восприятии. Восприятие, являющееся чистым в самом строгом смысле слова, не сопряженное ни с какими предвзятыми мнениями, даже в самом крайнем случае может распознать лишь «похожее». Однако та предвзятость, которая, как правило, неосознанно сопровождает наше восприятие, в исключительных случаях может сыграть провокационную роль. Она способна показать, что перцепиенту отнюдь не *свойственно* трезвое восприятие. Например, именно так происходит с Дон Кихотом, когда ему в голову ударяют рыцарские романы. В какие бы ситуации он ни попал, при всем их многообразии он неизменно видит в них одно и то же, а именно приключение, которое просто поджидает странствующего рыцаря (ВА, 309).

Вместо того чтобы соглашаться с возражениями Адорно, Беньямин ставит вместо вопроса субъективности вопрос восприятия и опыта. После этого он получает возможность вернуться на твердую землю экономической теории.

Равенство предстает в совершенно ином облике у По, не говоря уже о Бодлере. Но если возможность своего рода комического экзорцизма все еще проглядывает в «Человеке толпы», то у Бодлера мы не увидим ничего подобного. Он искусственно приходит на подмогу равенству как исторической галлюцинации, явившейся нам наряду с товарной экономикой... Товарная экономика вооружает эту фантазмагию тождества, которая в то же время, будучи атрибутом опьянения, разоблачает себя в качестве центрального образа иллюзии... Цена делает товар равным и идентичным всем прочим товарам, которые можно купить за ту же цену. Товар... обнаруживает свое присутствие не только и не просто вместе с покупателем, но прежде всего вместе со своей собственной ценой. И именно в этом отношении фланер приспособливается к товару, он превращается в его полное подобие, а так как на фланера нет экономического спроса, а следовательно, у него нет и рыночной цены, то мир продаваемых предметов становится для него родным домом (ВА, 310).

Но эта стратегия была исключением. В целом Беньямин был вынужден подчиниться требованиям Адорно. Однако он обошел молчанием вопрос о методологии и структуре эссе. Все еще пребывая в уверенности, что речь идет о центральном разделе книги, он заявлял в письме Шолему, что «ключевые положения» бодлеровского проекта, не фигурирующие в центральном разделе, не были затронуты вмешательством из Нью-Йорка (BS, 241).

Помимо этого, он продолжал работу и над другими замыслами. В начале года он отправил в *Zeitschrift für Sozialforschung* обширные рецензии на три книги (Дольфа Штернбергера, Рихарда Хенигсвальда и Луи Димье). Кроме того, он написал и представил серьезную рецензию на два недавно изданных тома *Encyclopedie française*; эта рецензия не была опубликована. Как всегда, он читал и думал о Кафке. Шолему он послал краткую, но ценную серию наблюдений: в 1939 г. для Беньямина главным у Кафки был юмор, хотя того, очевидно, нельзя было назвать обычным юмористом: «Скорее он был человеком, которого судьба непрерывно сталкивала с людьми, сделавшими юмор своей профессией: с клоунами. В частности, „Америка“ [*Der Verschollene*] — это одна большая клоунада. А что касается дружбы с Бродом... Кафка, как Лорел, ощущал обременительное обязательство найти своего Харди — и им оказался Брод». Таким образом, «ключ к Кафке» окажется у того, кто сумеет «извлечь из еврейской теологии ее комическую сторону [*komischen Seiten*]» (BS, 243). Кроме того, продвигалась и работа над рядом текстов, посвященных Брехту. В их число входили краткое «Замечание о Брехте», тем не менее представлявшее собой важное эссе об этом писателе, и обширный «Комментарий к стихотворениям Брехта», которому Беньямин придавал большое значение. Он предпринял ряд попыток найти издателя для этого эссе и привлек к этому делу друзей в нескольких странах, но при его жизни оно осталось неопубликованным — и стало одним из текстов, которые Беньямин доверил на хранение Жоржу Батаю, прежде чем бежать из Парижа в июне 1940 г. Его верность Брехту оставалась непоколебимой, даже несмотря на возраставшую у Беньямина неприязнь к Советскому Союзу и руководству левых сил.

24 января он отправил Хоркхаймеру второй из своих больших отчетов о французской литературе. Эти отчеты остались неопубликованными, но их с нетерпением ждали в Нью-Йорке, причем не только в институте: Хоркхаймер сообщил Беньямину, что его письма пользуются популярностью у преподавателей Колумбийского университета. Этот второй отчет написан в необычайно критическом духе. Намекая на наследие Аполли-

нера и сюрреализма, Беньямин начинает свое письмо с замечания о том, что «нынешний процесс демонтажа французской литературы ослабил даже те семена, которые как будто бы обладали потенциалом для длительного развития» (GB, 6:201). Наиболее обширный комментарий он посвятил книге *La Conspiration* («Заговор») Поля Низана, редактора социалистической газеты *L'humanité*. В этой хорошо принятой публикой работе, представлявшей собой политический роман и в то же время роман воспитания, Низан, оглядываясь на создание и становление Народного фронта, выражал свое разочарование в социализме. Беньямин называет эту книгу «*éducation sentimentale* класса 1909 г.» (GB, 6:198). С умеренным энтузиазмом он рекомендует «Глиняных детей» (*Enfants du limon*) Раймона Кено, бывшего сюрреалиста, ставя ему в вину определенную робость при освоении наследия Аполлинера. В отзыве на специальный номер *Nouvelle Revue Française*, посвященный Коллежу социологии и содержащий статьи Батая, Кайуа и Мишеля Лейриса, Беньямин выделяет статью Кайуа *Le vent d'hiver* («Зимний ветер») за ее необычайную презрительность. Беньямин остался поразительно равнодушен к статье об антисемитизме, напечатанной его близкой подругой Адриенной Монье в *Gazette des Amis du Livre* («Вестнике друзей книги»), ему показалось, что она проявила слишком большую осторожность и слишком большую готовность к компромиссу — возможно, из-за боязни утратить расположение своей богатой клиентуры. «Ослабленной совести человечества прежде всего нужно питание, а не лечение» (GB, 6:203). Беньямин завершает свое письмо обширным резюме последней публикации Поля Клоделя — католической аллегории о драгоценных камнях, изданной в виде изящной брошюры и распространявшейся только через модные ювелирные салоны. В своем резюме, включающем цитаты и иронический комментарий, Беньямин называет ее «новым Блаженством», отмечая, что потайная тенденция этой вещи, возможно, заключается в том, чтобы «добиться подлинно мистического соответствия между социальными и теологическими регистрами» (GB, 6:208).

В начале марта убывающие у Беньямина уверенность в себе и решительность претерпели новый суровый удар. Хоркхаймер, извиняясь, сообщал ему невеселые известия о финансовом положении Института социальных исследований; он уведомлял Беньямина, что институту, по всей вероятности, в ближайшем будущем придется прекратить выплату ему стипендии. Беньямин ответил ему 13 марта, написав, что прочел это письмо «с ужасом». Разумеется, он желал всего наилучшего сотрудникам ин-

ститута, но намекнул, что Хоркхаймер, возможно, не понимает, чем отличается сокращение оклада нью-йоркским коллегам от прекращения выплаты стипендии ему, живущему в Париже: «Все мы существуем в изоляции. А в глазах изолированного индивидуума перспективы, которые с ужасающей откровенностью раскрывает ваше письмо, перевешивают все прочие планы» (GB, 6:231). Может возникнуть впечатление, что Хоркхаймер подготавливал почву к разрыву связей между институтом и Беньямином, но в то же время он обещал еще энергичнее продолжить поиски спонсора для исследования Беньямина о парижских пассажах. По просьбе Хоркхаймера Беньямин отослал ему исправленный вариант своего синопсиса этого проекта, составленного в 1935 г., в надежде на то, что он станет подспорьем Хоркхаймеру в его поисках; возможный спонсор обозначился в лице нью-йоркского банкира Франка Альтшуля. Помимо того что в синопсисе 1939 г., написанном по-французски, опущена большая часть фактического материала, в нем полностью переделан раздел о Бодлере — Беньямин привел его в соответствие с текущим этапом своей работы над переделкой эссе о Бодлере, — как и разделы о Фурье и Луи-Филиппе, а также добавлены теоретическое введение и заключение. «В целом этот черновик отличается от уже известного вам тем, что он от начала до конца выстраивается вокруг конфликта между подобием и реальностью. Последовательность фантазмагорий, рассматриваемых в отдельных разделах, в итоге приводит к великой фантазмагории вселенной у Бланки» (GB, 6:233). При этом Беньямин, хотя и осознавая тщетность этого начинания, приступил к поиску источников поддержки во Франции. Несколькими днями позже он объяснял свое положение в письме, адресованном Гретель Адорно: «Я следил здесь за происходящим достаточно долго для того, чтобы знать, что с самых первых дней эмиграции никому, занимающемуся тем же, что и я, и в таких же, как мои, условиях, не удавалось зарабатывать во Франции себе на жизнь» (BG, 251). Пропали даже те, к кому он нередко обращался за помощью в отчаянные моменты: Леви-Брюль лежал при смерти, Зигмунд Моргенрот уехал в Америку, а его письма Эльзе Херцбергер после ее возвращения в Америку оставались без ответа.

Письмо Шолему выдает его растерянность, вызванную ситуацией в Нью-Йорке, так же как и определенное недоверие к Адорно и Хоркхаймеру: «Из их письма становится ясно, что эти люди жили не на проценты, как было логично предположить в случае фонда, а на основной капитал. Говорят, что его основная часть по-прежнему цела, но заморожена, а остальное

вроде бы исчерпано почти до дна» (BS, 248). Несколькими неделями позже он дал более продуманную, хотя не менее пессимистическую, оценку своих взаимоотношений с институтом:

Те же самые условия, которые угрожают моему положению в Европе, по всей вероятности, делают невозможной и эмиграцию в США. Подобный шаг осуществим лишь на основе приглашения, а приглашение может быть мне прислано лишь по инициативе института... Я не считаю сколько-нибудь вероятным то, что институт, даже если у него будут такие возможности, захочет сейчас хлопотать о моем приглашении. Ведь нет никаких причин надеяться на то, что такое приглашение решит проблему моего заработка, а, как я подозреваю, попытка непосредственно увязать эти проблемы друг с другом вызовет у института особенное раздражение (BS, 251).

Тем не менее эмиграция в Америку или по крайней мере поездка туда с целью найти возможные долгосрочные источники поддержки сейчас представлялась ему единственной реальной надеждой. Он признавался Маргарете Штеффин, что его мысли обратились на запад, однако «на данный момент я добрался лишь до нескольких маленьких мексиканских картинок, которые выставлены здесь на симпатичной полусюрреалистической выставке» (GB, 6:244). Его чтение стало приобретать все более заметную ориентацию на Новый Свет. Он несколько раз встречался с крупным переводчиком Пьером Лейрисом, с которым познакомился через Клоссовского, и разговаривал с ним об американской литературе, особенно о Мелвилле; Беньямин упоминал, что его особенно заинтересовало, как Мелвилл изображает физиономию Нью-Йорка в своем романе «Пьер, или Двусмысленности». К середине апреля Беньямин уже более открыто нажимал на Хоркхаймера, добиваясь, чтобы тот помог ему с переездом в Нью-Йорк, и прилагал последовательные усилия к тому, чтобы заручиться содействием Зигмунда Моргенрота в этом начинании. Беньямин послал Моргенроту два документа: краткое введение в историю и задачи самого института и откровенную оценку текущего состояния своих собственных отношений с его руководством. «До сего момента я не испытывал чрезмерного стремления к переезду в Америку; было бы хорошо, если бы руководство института твердо знало, что моя позиция в этом смысле радикально изменилась. Причина этой перемены — растущая угроза войны и усиление антисемитизма» (GB, 6:258–259). Нам точно не известно, какую роль играл Адорно в размышлениях руководства института о том, как ему поступить с Беньямином. Безусловно, он продолжал выступать

за то, чтобы Беньямину выплачивали стипендию, но вполне вероятно, что желание его друга и коллеги попасть в Америку оставляло его равнодушным. С учетом различных указаний на то, что симпатия, с которой его жена относилась к Беньямину, вызывала у него ревность (одним из указаний на это служит задержка с оповещением Беньямина о бракосочетании Адорно с Гретель), совсем не очевидно, что Адорно обрадовался бы, если бы им всем троем пришлось жить в одном городе. Не исключено, что свою роль здесь сыграло нечто вроде бессознательного предательства.

Беньямин, изыскивая возможности для переезда в Америку, вместе с тем снова поставил перед Шолемом вопрос об эмиграции в Палестину, однако, как сразу же ответил ему Шолем, он ждал слишком долго. Его «катастрофа в институте» совпала с «еще одной, произошедшей здесь». Ситуация была слишком нестабильной, и слишком большим был наплыв евреев из Австрии и Чехословакии; туристические визы больше не выдавались, а кроме того, еще один писатель и интеллектуал просто не нашел бы для себя в Палестине никаких источников пропитания (см.: BS, 250). Беньямин написал Шолему, что мог бы существовать в получеловеческих условиях, если бы зарабатывал сумму, эквивалентную 2400 франкам в месяц. «Снова опускаться ниже этого уровня было бы мне трудно вынести *à la longue*. Чары окружающего меня мира слишком слабы для этого, а перспективы на награду от потомства слишком неясны» (BS, 248–249). Поистине с беньяминовским везением как раз в тот момент, когда он собирался отправлять свое письмо, пришло послание от Шолема с вестями о том, что Шокен окончательно отказался издавать книгу о Кафке. Он отмечал издание новой редакции драмы Карла Крауса *Die letzten Tage der Menschheit* («Последние дни человечества») ее публичным чтением и выступлениями Шолема и бывшего друга Беньямина Вернера Крафта. Шолем в отведенное ему время зачитал вслух несколько отрывков из эссе Беньямина «Карл Краус», тронувшего всех присутствующих, кроме Шокена, пришедшего в недоумение.

Изыскать возможности помочь своему другу пыталась и Ханна Арендт; причиной ее стараний был большой интерес, который вызвали у нее его последние идеи. В конце мая она писала Шолему: «Я в больших заботах из-за Бени. Я попыталась ему отсюда посодействовать, но потерпела полный провал. При этом я больше, чем когда-либо, убеждена в важности того, чтобы гарантировать ему будущие работы. По моему ощущению, его сочинения преобразились вплоть до стилистических деталей. Все выходит гораздо определеннее, не так мед-

лительно, как прежде. Мне часто кажется, что он только теперь вплотную подошел к своим главным вещам. Было бы отвратительно, если бы он встретил здесь помехи»¹⁹. (Следует отметить, что их уважение было взаимным: Бенъямин послал Шолему рукопись работы Арендт о Рахель Фарнхаген, сопроводив ее настойчивой рекомендацией и отмечая, что Арендт «мощными гребками плывет против течения назидательной и апологетической иудаистики» [BS, 244]). Бенъямин, неподдельно тронутый поддержкой со стороны друзей, писал Гретель Адорно о том, что «Европа — континент, в чьей атмосфере, полной слез, теперь лишь изредка зажигаются маяки утешения, извещающая об удаче». Он сухо отмечает, что «даже последние бедолаги» делают все возможное, чтобы попасть в Новый Свет (BG, 254). Или в какое-нибудь другое безопасное место. Он узнал, что Брехты в первых числах марта заперли свой дом в Сковсбостранде и переехали в Стокгольм. Это известие вызвало «меланхолические размышления»: он лишился еще одного, по-видимому, надежного пристанища, а «шахматные матчи в саду отныне стали историей» (GB, 6:267).

К концу февраля Бенъямин начал совершать довольно осторожные вылазки с улицы Домбаль. Он посетил концерт квартета Рудольфа Колиша, которого немного знал благодаря Адорно. Кроме того, он снова начал видаться с друзьями, встретившись с Жерменой Круль после ее возвращения во Францию из Англии и регулярно устраивая дискуссионные вечера с участием Арендт, ее спутника жизни Генриха Блюхера и их общего друга Фрица Френкеля. Невзирая на эти контакты, Бенъямин нередко сетовал на свою интеллектуальную изоляцию. «Сколько для меня бы значило говорить об этом с тобой, — писал он в начале апреля Гретель Адорно, — или вообще с каким-нибудь разумным существом... Моя нынешняя изоляция находится в слишком большой гармонии с текущей тенденцией, стремящейся лишить нас всего, что у нас есть. Нельзя сказать, чтобы она имела чисто интеллектуальную природу» (BG, 254). Его по-прежнему навещали друзья и знакомые, но их визиты были краткими, по пути в другие места. В Париже находились двое друзей Бенъямина из окружения Брехта — кинематографист Златан Дудов и романист Бернард фон Brentано; последний прибыл на торжества, устроенные его французским издателем Грассе по случаю издания его романа «Теодор Хиндлер» во французском переводе. Бенъямин никогда не стремился

19. Ханна Арендт Шолему, 29 мая 1939 г. Цит. по: SF, 220; ШД, 356. См. также: GB, 6:255.

сблизиться с Брентано и даже очень резко отзывался о некоторых его произведениях. Подобно многим левым интеллектуалам той эпохи — так, Вилли Мюнценберг незадолго до того опубликовал открытое письмо с заявлением о своем выходе из коммунистической партии, — Брентано был глубоко ошесточен событиями, в которых видел предательство социализма Советским Союзом. Вместе с Игнацио Зилоне Брентано основал в Цюрихе нечто вроде постдадаистского, антисоветского авангардного движения. «Мне трудно себе представить, каким образом политическая озлобленность вроде брентановской способна обеспечить пропитание столь значительному, в конце концов, автору, как Зилоне. Лейтмотивом этого цюрихского авангарда служит внушаемая нам Брентано идея о том, что в России „в десять раз хуже, чем в Германии“» (BG, 255).

Поздней весной Беньямина донимал постоянный грипп, на несколько недель уложивший его в постель. Характер его болезней уже в начале 1939 г. указывал, что тяготы и лишения жизни в изгнании начали сказываться на его здоровье. Беньямин, прикованный к постели гриппом, был уже не тот человек, который всего год назад наслаждался прогулками в горах вокруг Сан-Ремо. Выздоровев, он занялся переделкой своего эссе о Бодлере, какое бы отвращение ни вызывала у него теперь эта работа. 8 апреля он признавался Шолему: «Ты, конечно же, понимаешь, как мне трудно браться за начинания, в данный момент ориентированные на институт. Если добавить к этому тот факт, что внесение исправлений в любом случае менее привлекательно, чем новые начинания, то ты поймешь, почему полная переделка главы о фланере продвигается довольно медленно» (BS, 252). Невзирая на внешнее и внутреннее сопротивление, Беньямин начал переосмысливать проблему взаимоотношений между Бодлером и фланером в новом ключе — под рубрикой праздности. Теперь фланер должен был предстать «в контексте изучения своеобразных черт, которые принимала праздность в буржуазную эпоху, в условиях господства трудовой этики», то есть речь шла об иной праздности по сравнению с представлениями о досуге в феодальную эпоху (BG, 254). В апреле он заявил Хоркхаймеру, что Бодлер «представляет собой тройное воплощение праздности... в качестве фланера, игрока и студента» (GB, 6:264). Примерно в то же время Беньямин завел для материалов по пассажирам новую папку, носившую название «Праздность». На то, что Беньямин, переделывая эссе о Бодлере, думал о своем исследовании о пассажирах с его темой, касавшейся судьбы искусства в XIX в., указывают и другие вещи. В начале апреля Беньямин послал эк-

земляр второго, немецкоязычного варианта эссе о произведении искусства Гретель Адорно с тем, чтобы она могла перепечатать его для размножения и последующего распространения; при этом он сообщил ей, что этот вариант дополнен некоторыми свежими соображениями. Папка с мыслями, относящимися к эссе о произведении искусства, была в 1981 г. найдена в Национальной библиотеке — судя по всему, она входила в число материалов, спрятанных там Жоржем Батаем после бегства Бенямина из Парижа в 1940 г., но вариант, отправленный в апреле 1939 г. Гретель Адорно, не сохранился.

В конце апреля впервые за многие месяцы сквозь тучи, сгущавшиеся лично над Бенямином, прорвался луч света. Он узнал о том, что ему выделен грант от Фонда научных исследований (*Caisse des Recherches Scientifiques*) с тем, чтобы он мог провести несколько недель в Центре международного развития и отдыха (*Foyer International d'Etude et Repos*) — библиотечном и исследовательском центре, размещавшемся в восстановленном аббатстве Понтиньи, около города Осер на юго-востоке Франции; этим центром заведовали писатель Поль Дежарден и его жена. Бенямин надеялся воспользоваться великолепной библиотекой центра, насчитывавшей около 15 тыс. томов, в целях дальнейшей работы над Бодлером. Дополнительным плюсом была и возможность наладить новые контакты с французскими интеллектуальными кругами. Наконец, немалую роль играли и финансовые соображения: приглашение в Понтиньи включало кров и питание. Прибыв в аббатство в начале мая, Бенямин воспрянул духом при виде этого «очаровательного места» и «великолепного комплекса» старинных монастырских построек (GB, 6:276). Однако первое впечатление оказалось обманчивым. «Хотя Дежарден ходит с большим трудом, он пришел встретить меня на вокзале; с самой первой минуты он произвел на меня впечатление абсолютно сломленного человека». Дежарден десятилетиями присматривал за комплексом при помощи подруги — пожилой английской леди, в то время как его жена жила отдельно. Она вернулась туда за два года до того, как Понтиньи посетил Бенямин и, по его словам, полностью изменила местную интеллектуальную среду, «перевернув все вверх дном» (GB, 6:280). Бенямин совсем немилосердно отзывался о той роли, которую, по его мнению, сыграла жена Дежардена в упадке имения: «Бывают мгновения, когда положение мужа в этих ситуациях до невозможности напоминает мне мое собственное положение в Сан-Ремо» (BG, 259–260). Да и окружение, сначала показавшееся идиллическим, быстро превратилось в пытку. Бенямина снова дожимала его болезненная чувствительность

к шуму: его надежды на то, что удастся «совместить» работу с поправкой здоровья, были разрушены с прибытием группы шумных молодых людей из Скандинавии, днем занимавшихся в библиотеке, что сделало ее непригодной для работы. Вместо интеллектуального сообщества Беньямина ожидала лишь дальнейшая изоляция. Побывав на лекции, прочитанной еще одним гостем — Эмилем Лефранком, функционером социалистической просветительской организации, он отмечал, что ранее не осознавал, в какой степени вульгарный марксизм может служить орудием для достижения чисто контрреволюционных целей. (Сам Беньямин выступил с докладом о своих изысканиях, связанных с Бодлером, судя по всему, перед небольшой аудиторией.) Не оправдалась даже его надежда на то, что удастся наладить новые связи с французскими писателями; ему не удалось обсудить эту тему с Дежарденами, поскольку всякая беседа, продолжительность которой превышала несколько мгновений, была непосильной для престарелого *spiritus rector*.

Тем не менее, несмотря на эту атмосферу разочарования и унижений, Беньямин все же сумел извлечь из пребывания в Понтины кое-какую пользу. В здешней библиотеке он среди прочего обнаружил «Размышления» Жозефа Жубера (1754–1824), «последнего из великих французских моралистов». Цитаты из этого текста занимают ключевое место в некоторых разделах «Пассажей»; кроме того, Беньямин объявил, что в том, что касается стиля, искренний и тонкий Жубер отныне будет играть решающую роль «во всем, что я пишу» (BG, 260)²⁰. Будучи на несколько часов в день отрезанным от библиотеки, Беньямин заполнял свой досуг чтением. По поводу одной из прочитанных книг, а именно «поразительной» новеллы Генри Джеймса «Поворот винта», прочитанной им во французском переводе, он отмечал: «существенно то, что XIX в. — классическая эпоха рассказов о привидениях». В Понтины Беньямина навестила Гизела Фройнд, сделав там одну из самых известных фотографий своего друга: она сняла его стоящим в задумчивости над прудом.

В конце мая Беньямин вернулся в Париж, полнившийся слухами о войне и о скором интернировании иностранных

20. Беньямин ссылается на мнение Жубера по вопросу стилистики в AP, папка N15a,3: «О стиле, к которому следует стремиться: „Банальные слова — вот что позволяет стилю вгрызаться в читателя и проникать в него. Именно при их помощи великие мысли получают хождение и признаются в качестве истины... ибо в том, что касается слов, ничто не сравнится ясностью с теми из них, которые мы называем знакомыми; а ясность — качество, настолько характерное для истины, что их нередко путают друг с другом“».

граждан. В стране сложилась такая атмосфера, что 21 апреля французское правительство сочло необходимым издать *décret-loi* о запрете антисемитской пропаганды. Настроения, владевшие Беньямином, четко просматриваются в некоторых фрагментах из его писем. Он едва ли не с навязчивым увлечением пишет о смерти писателей Йозефа Рота и Эрнста Толлера. Толлер, с 1934 г. живший в США, повесился в своем номере нью-йоркского отеля «Мэйфлауэр». Рот, который жил в Париже почти в таких же условиях, что и Беньямин, уже давно боролся с алкоголизмом. Он умер от легочной инфекции, несомненно, усугубленной последствиями алкогольной ломки. Беньямин пересказывает некоторым своим корреспондентам мрачный анекдот: «Карл Краус все-таки умер слишком рано. Говорят, что венская газовая компания перестала снабжать газом евреев. Обеспечивая их газом, она терпела убытки, так как именно евреи были самыми крупными потребителями газа, не платившими по счетам. Они пользовались газом в основном для того, чтобы сводить счеты с жизнью» (С, 609).

Финансовая ситуация Беньямина даже после бесплатного проживания в Понтины становилась все более отчаянной. Он писал друзьям с просьбой прислать ему немного денег (и табака) и пошел на мучительный шаг, обратившись к Штефану Лакнеру с просьбой найти в Америке покупателя на свою главную ценность — акварель Пауля Клее *Angelus Novus*. В таком душевном состоянии он с особенной энергией пытался устроить свой переезд в Нью-Йорк. В начале июня он узнал, что при наличии приглашения, оформленного по всем правилам, он имеет возможность получить туристскую визу в Америку. Хоркхаймер очень позитивно отозвался на это известие и завел речь о конкретных деталях: он брал на себя оплату питания и проживания на протяжении «нескольких» недель и часть путевых расходов, а именно разницу между той суммой, которую мог собрать сам Беньямин, включая то, что удалось бы выручить за Клее, и реальной ценой билета. Летом Беньямин неоднократно обращался к своим друзьям и спонсорам — к Лакнеру и его отцу, к Виссингу и к Брайхер — в попытках собрать деньги на билет.

Политические потрясения, среди которых жил Беньямин, нисколько не сказались на размахе и глубине его чтения. Он не без удовольствия сообщал Шолему, что добыл новый материал для чтения у вдовы русского писателя Льва Шестова, жившей в своем доме в окружении неразрезанных экземпляров сочинений своего мужа; то, от чего она избавилась, расчищая место в доме, попало в библиотеку Беньямина. Кроме того,

он читал французского романиста Жана Жионо и немецкую романистку Элизабет Ланггессер, сопровождая прочитанное язвительными комментариями. Более близкими к его основным интересам были произведения двух его друзей и коллег. Карл Тиме издал хорошо встреченную читателями книгу о христианской эсхатологии. Беньямин был очарован той «непринужденностью», с которой Тиме разбирал концепцию судного дня, примиряя свои теологические интересы с политическими. Беньямин пишет, что такая непринужденность, «возможно, является лишь обратной стороной смелости», и называет эсхатологические соображения Тиме «подлинной теологией, какая уже редко встречается в наши дни» (С, 605–606). Еще больше полезного для себя он извлек из книги Карла Корша «Карл Маркс». Этот «захватывающий» труд во многих отношениях стал для Беньямина самой обстоятельной встречей с идеями самого Маркса; в «Пассажах» Корш цитируется чаще, чем сам Маркс. Значительная часть прочитанного просто помогла Беньямину оставаться на плаву в неведомом для него море французской литературы: *Piéton de Paris* («Парижский пешеход») Леона-Поля Фарга, *Souvenirs du boeuf sur le toit* Мориса Сакса, *La Marie du port* («Мария из порта») Жоржа Сименона, *Le mur* («Стена») Сартра и *Pièces sur l'art* Поля Валери. Книги дополнялись фильмами, хотя мы знаем относительно мало о визитах Беньямина в кино, кроме того, что они были частыми. Известно, что он оставил отзыв о получившем «Оскар» фильме Фрэнка Капры 1938 г. «С собой не унести». Эта лента показалась Беньямину не только нарочитой, но и реакционной по своей сути, заставив его поправить Ленина: опиум для масс — не религия, а «определенная безобидность — наркотик, важнейшими элементами которого являются „обучение сердца“ и „шутство“» (GB, б:304–305). Он увидел в этом фильме свидетельство того, что киноиндустрия вступила в сговор с фашизмом «даже там» (то есть в США).

В конце весны и начале лета душевным подспорьем для него служили частые визиты друзей, особенно его бывшего товарища по распутству Франца Хесселя и его жены Хелен, которая была одним из самых преданных союзников Беньямина в последние годы его жизни. Она без устали оказывала ему самую разную помощь, добыв для него от своих друзей немало приглашений на выходные и обеды. Кроме того, Беньямин регулярно встречался с Пьером Миссаком в одном из монпарнаских заведений, кафе «Версаль». В те все более мрачные дни его встречи с немецкими знакомыми, даже с теми, с которыми у него в прошлом были разногласия, приобрели новую тональ-

ность. Теперь Беньямин с намного большей симпатией относился к писателю Альфреду Деблину, чьи довольно смутные леволиберальные взгляды прежде становились мишенью для его негодования. 23 июня, выступая в *Cercle des Nations*, Деблин упоминал о «непостижимом» переходе многих евреев, принадлежавших к буржуазии, на сторону Гитлера. Беньямин делал оговорку только в плане отношения Деблина к Америке: «Побывав несколько минут в кабинете Рузвельта и к тому же не зная английского, [Деблин] изображает будущее Америки в самых розовых красках, в качестве апофеоза свободы. Отныне Европе предлагается с полным доверием подобострастно взирать на своего старшего брата» (ГВ, 6:305). Кроме того, в городе находился Фердинанд Лион из *Maß und Wert*; у Беньямина состоялось с ним несколько дружеских встреч, на которых они обсуждали среди прочего возможность издания книги Карла Тиме о Брехте.

Несмотря на то что погода улучшилась, а сам Беньямин несколько воспрянул духом, материал по Бодлеру с большой неохотой уступал его попыткам придать ему законченный вид. Беньямин пытался работать на балконе, перетащив туда стол, чтобы не мешал шум лифта, но столкнулся с тем, что «никчемный» художник с балкона напротив — «а видит Бог, улица здесь такая узкая» — дни напролет насвистывал себе под нос. Беньямин пытался затыкать уши «целыми вагонами» воска, парафина и даже цемента, но все было бесполезно (см.: С, 608). Как часто бывало с ним, когда поджимали сроки, он переключился на маргинальный на первый взгляд проект. В преддверии 150-летнего юбилея Французской революции Беньямин составил коллаж из писем «немцев 1789 года», выразивших свою реакцию на события во Франции. Помимо того что эта подборка *Allemands de quatre-vingt-neuf*, составленная по образцу его компиляции *Deutsche Menschen*, доставила ему немалое удовольствие, он благодаря ей открыл для себя, что во втором томе од великого немецкого поэта Фридриха Клопштока содержится множество стихотворений о революции: это обстоятельство «систематически затушевывалось» историками немецкой литературы (см.: С, 608). Во время составления этого текста Беньямин начал работать с новым переводчиком, Марселем Стора, которого всячески расхваливал. Эта подборка вышла в переводе Стора на 47-й день рождения Беньямина, 15 июля 1939 г., в специальном номере журнала *Europe*, посвященном 150-й годовщине революции.

Лишь 24 июня Беньямин получил возможность сообщить, что работа над Бодлером продвигается; он отправил Хоркхаймеру резюме нового эссе, составленное на основе заметок, кото-

рыми Беньямин руководствовался при выступлении в Понти-
 ньи. Он писал, что избрал для доклада о Бодлере очень сжатый,
 едва ли не «стенографический» стиль и с его помощью сумел
 «на мгновение гальванизировать даже сломленного Дежар-
 дена» (GB, 6:303). Это резюме позволяет нам получить пред-
 ставление о статье, которая должна была стать итогом рабо-
 ты Беньямина. Из ряда замечаний, сделанных им в тот период,
 становится ясно, что он видел в новом эссе о Бодлере что-то
 вроде пропуска для возвращения в Институт социальных ис-
 следований. Он спешил заверить своих коллег и друзей в Нью-
 Йорке, что новая редакция эссе в большей степени опирается
 на его ранее изданные работы, в частности на эссе о техниче-
 ски воспроизводимом произведении искусства и о рассказчике,
 чем на «Париж времен Второй империи у Бодлера». Подчерки-
 вая только эту преемственность между новым вариантом и сво-
 ими «приемлемыми» трудами, включая исследование о пасса-
 жах, Беньямин решительно писал Гретель Адорно: «...никогда
 доселе я не был столь уверен в том пункте, к которому сходят-
 ся все мои размышления, даже при взгляде с самых разных то-
 чек зрения (и сейчас мне кажется, что это было им свойствен-
 но всегда)» (BG, 262). На этом позднем этапе игры он не мог
 рисковать, сообщая Гретель все, что он на самом деле думает
 об этом заказе.

В конце июня Беньямин заперся на улице Домбаль, забро-
 сив не только встречи с друзьями, но и всю переписку. Его ре-
 шимость подкреплялась телеграммой Хоркхаймера от 11 июля,
 в которой тот обещал выделить ему до 50 страниц в следующем
 номере *Zeitschrift*, если Беньямин сможет закончить эссе до кон-
 ца месяца. Менее чем за шесть недель Беньямин написал свое
 второе эссе о Бодлере, теперь носившее название «О некоторых
 мотивах у Бодлера», и отослал его Хоркхаймеру 1 августа. Че-
 рез неделю после отправки эссе он сочинил для Тедди и Гре-
 тель Адорно маленькую игривую и победную аллегорическую,
 служившую обрамлением для его новой работы: «Я не даю моему
 христианину Бодлеру вознестись в рай ни на чем, кроме крыль-
 ев еврейских ангелов. Однако я уже позаботился о том, чтобы
 на последней трети вознесения, незадолго до входа во врата
 славы, они уронили его — как будто бы случайно» (C, 612).

В работе «О некоторых мотивах у Бодлера» поднимаются
 многие проблемы — и решения, — присутствующие в «Париже
 времен Второй империи у Бодлера», хотя и в ином контексте²¹.

21. Эссе «О некоторых мотивах у Бодлера» см.: SW, 4:313–355; Озарения, 168–210.

Если предыдущий текст был в целом посвящен месту Бодлера в его эпохе, то в новом эссе Беньямин анализирует творчество Бодлера с точки зрения его восприятия в XX в. «Если условия для восприятия лирической поэзии стали менее благоприятными, то напрашивается объяснение этому, состоящее в том, что контакт лирической поэзии с жизненным опытом читателя стал происходить лишь в исключительных случаях. Такое действительно могло произойти, ибо изменилась сама структура жизненного опыта читателя». Далее Беньямин размышляет о природе этого изменения; он проводит различие, прибегая к формулировке, в наше время получившей широкое распространение, между опытом и отдельными переживаниями. Опыт понимается Беньямином как корпус накопленных знаний, как прошедшая проверку временем мудрость, которая не только откладывается в человеческой памяти, но и передается от поколения к поколению; эта идея впервые играла заметную роль в «Рассказчике» с его довольно ностальгическим представлением о живой традиции, которой руководствовалось докапиталистическое ремесленное сообщество, и «наставлениях», передававшихся посредством устных историй. Вместе с тем отдельные переживания фигурируют в эссе «О некоторых мотивах у Бодлера» в виде непосредственного опыта, связанного с потрясениями, испытываемыми индивидуумами среди городских масс; отдельные переживания, отнюдь не отличающиеся ни запоминаемостью, ни передаваемостью, обычно парируются сознанием таким образом, что они оставляют следы в бессознательном. Впрочем, особый интерес для Беньямина представляли случаи, когда этот защитный механизм не срабатывает или действует с запозданием, то есть когда потрясение *не* парируется сознанием, а проникает в него и деформирует его. Подобные неотраженные удары, как полагает Беньямин, и служат основой характерных образов в поэзии Бодлера.

В средних разделах эссе «О некоторых мотивах у Бодлера» речь заходит о той социальной форме, в рамках которой горожанин наиболее часто испытывает переживания-потрясения: о толпе. Беньямин развивает здесь начатый в предыдущем варианте эссе анализ стихотворения «Прохожей» и дополняет его блестящим прочтением, противопоставляющим стихийному социальному реализму Бодлера «деформирующую фантазию» рассказа По «Человек толпы» (перевод которого выполнил Бодлер). Опираясь на теорию отчуждения, развитую в эссе о произведении искусства, Беньямин утверждает, что изоляция индивидуума — бегство буржуазии от городских масс в домашний уют и комфорт — «приближает тех, кто им пользуется,

к механизму». Хаос, царящий на улицах с их потоками машин и толкотней пешеходов, обуздывается техническими методами, с помощью таких простых устройств, как светофоры. Техника представляет собой не только протез, расширяющий возможности человеческого чувственного восприятия и допускающий создание всевозможных сложных приспособлений, но и подлинную школу органов чувств, позволяющую им функционировать в мире «уличного транспорта»²².

Беньямин приписывает поэзии Бодлера парадоксальное свойство. Ее образный ряд основывается на творческом подчинении Бодлера различным потрясениям современной жизни — такое отношение к ним одновременно наполнено и сплинном, и героизмом. Как свидетельствует название первой книги «Цветов зла» («Сплин и идеал»), присущая стихосложению энергия сплина с ее приливами и отливами вступает в противоречие с движущим ее идеалом — ее намерением запечатлеть в языке «дни воспоминаний», которые «не отмечены какими-либо событиями». Этот основополагающий конфликт служит источником трезвой жизнерадостности, воодушевляющей весь стихотворный цикл. Неугасимая восприимчивость Бодлера — к «современной красоте» с ее диссонансами и асимметрией, к отзвукам древности в новом, к аллегорической прозрачности всего сущего — воплощается, по мнению Беньямина, в двух сонетах: «Соответствия» и «Предсуществование». Героизм поэта проявляется и в этой попытке изобразить переживание, которое бы стремилось «утвердиться бескризисно». Слова Беньямина об изобильной жизни — он цитирует бодлеровское *luxe, calme et volupté* — вовсе не являются вопреки утверждениям некоторых читателей наследием донкихотской ностальгии; скорее в значительной степени это *repoussoir* — проекционное устройство, позволяющее Бодлеру, а вместе с ним и Беньямину «в полной мере оценить, что, собственно, означает та катастрофа, свидетелем которой он стал как современник».

Для того чтобы до читателя дошла вся взрывная сила бодлеровской *modernité*, ностальгический аспект, присущий беньяминовской трактовке, нужно брать в скобки. Вместо этого необходимо обратиться к принципу диалектического приближения *при* удалении. В последних разделах эссе «О некоторых мотивах у Бодлера» Беньямин предполагает, что статус Бодлера как репрезентативного поэта высокой капиталистической современности отражает в себе эту тенденцию, свой-

22. «Мы живем в эпоху социализма, женского движения, уличного транспорта и индивидуализма» (E W, 26 [1911]).

ственную его творчеству, — брать на себя уничтожение «ауратического» искусства. Понятие «аура» (буквально означающее порыв ветра или дыхание) впервые появляется у Беньямина, делающего на нем особый теоретический акцент, в эссе 1929 г. «Краткая история фотографии», но самое четкое определение «ауры» — этот термин не получает полноценного концептуального раскрытия ни в одной из его работ — содержится в его эссе о произведении искусства. Придерживаясь плана предполагаемой книги о Бодлере, в первую очередь ее третьей части «Товар как поэтический объект», Беньямин приписывает Бодлеру радикальные представления об ауре как феномене дистанцирования с его до парадоксальности осведомленным взглядом (*regards familiers*). Однако лирическая поэзия Бодлера велика не только из-за этих представлений, но и потому, что ее сопровождает «постепенный распад ауры». Если ауратическое искусство в его классической завершенности словно бы отвечает взглядом на наш взгляд, то искусство, отмеченное утратой ауры, лишено цельности и скрытно, а его взгляд рассеивается в пространстве или взрывается²³. Такое искусство возникает в технически обусловленных социальных ситуациях, когда люди, находящиеся в общественных пространствах, утрачивают привычку отвечать взглядом на чужой взгляд. «До появления в XIX в. омнибусов, железных дорог, трамваев люди были не в состоянии простаивать долгие минуты или даже часы, вынужденные разглядывать друг друга и не произнося при этом ни слова». Такой пассажир и такой поэт, как правило, «отсылает мечтательную отрешенность вдаль». Поэзия Бодлера, динамически вписывающая в жизнь современного города со свойственными ей высокими темпами «фигуру шока», прорывается сквозь жестокое и соблазнительное «волшебство дали», с которой она, однако, превосходно знакома; она подобна зрителю, подошедшему «слишком близко к декорации» и тем самым разрушающему иллюзии — не в последнюю очередь и иллюзии, основывающиеся на ауратических явлениях, а при их посредстве и на традиционных системах власти.

23. См. раздел XI в эссе «О некоторых мотивах у Бодлера», где Беньямин в связи с этой идеей цитирует высказывания Новалиса («Способность восприятия — это внимательность»), Валери («Вещи, которые [во сне] вижу я, видят меня так же, как я вижу их») и (в примечании) Карла Крауса («Чем ближе созерцается слово, тем дальше его ответный взгляд»). См.: SW, 4:338–339, 354п77; *Озарения*, 204–205. О возможном влиянии, оказанном на беньяминовскую концепцию «ауры» книгой Леона Доде 1928 г. *La melancholia* (Доде называет Бодлера «поэтом ауры», а фотографию и кино — «переносчиками ауры»), см.: Agamben, *Stanzas*, 44–45; Агамбен «Станцы», 143.

В конце 1863 г. Бодлер издал эссе «Поэт современной жизни», вышедшее тремя частями в газете *Le Figaro*. Читатель, встретившийся с беньяминовской трактовкой Бодлера, увидит, что Беньямин, называя его типичным современным поэтом, не столько открывает своей аудитории нового Бодлера, сколько привлекает внимание к забытым или неверно понятым аспектам его творчества. Когда Бодлер пишет: «Новизна составляет переходную, текучую, случайную сторону искусства; вечное и неизменное определяет другую его сторону», мы различаем лицо того поэта, о котором говорит Беньямин, разрывающееся между сплинном и идеалом. Сквозь эссе «Поэт современной жизни» по сути красной нитью проходят темы, впоследствии занимавшие ключевое место в работах Беньямина о Бодлере: фундаментальный сдвиг в мировоззрении от постоянства и целостности к мимолетности и фрагментированности; рост влияния моды во всех областях культуры; униженное состояние современного художника и нисхождение «гения» в состояние «выздоровления»; усиление роли таких на первый взгляд маргинальных, «калейдоскопических» фигур, как денди и фланер; потенциально плодотворное отчуждение индивидуума среди городских масс, где «наблюдатель — это принц, повсюду сохраняющий инкогнито», и даже злокозненная распространенность фантазмагорий. По сути, ключевая тема эссе «О некоторых мотивах у Бодлера» — возникновение поэтических образов из шока — четко сформулирована в «Поэте современной жизни»: «...я утверждаю, что вдохновение связано с приливом крови [*la congestion*] и что всякая мысль сопровождается более или менее сильным нервным разрядом, который пронизывает весь мозг»²⁴.

24. Бодлер, „Поэт современной жизни“. См. в: Бодлер, *Об искусстве*, 287–291.

Глава 11

Ангел истории: Париж, Невер, Марсель и Портбоу. 1939–1940

ЗАВЕРШИВ работу над эссе «О некоторых мотивах у Бодлера», Беньямин не успел даже перевести дыхание. 23 августа 1939 г. был подписан пакт между Гитлером и Сталиным, а 1 сентября германская армия вторглась в Польшу. Беньямин, не тратя времени, покинул Париж: в начале сентября он бежал в местечко Шоконен рядом с городком Мо к востоку от Парижа, где поселился у жены переводчика Мориса Бетца. Там в качестве гостя уже жила Хелен Хессель, добившаяся приглашения для своего друга. Больше всего Беньямин боялся призыва, распространявшегося на всех, кому было меньше 52 лет. С учетом серьезности ситуации и полной неясности в отношении ближайшего будущего Беньямин писал из Шоконена Хоркхаймеру, обратившись к нему со смиренной просьбой в течение ближайших двух месяцев дополнительно высылать 15–20 долларов.

В итоге оказалось, что вовсе не о призыве ему следовало беспокоиться. Несмотря на ощущение неизбежности войны, французские власти явно не подумали о тысячах немецких и австрийских изгнанников, находившихся в пределах страны, а вторжение в Польшу не оставило времени на то, чтобы выяснять политические симпатии изгнанников. 3 сентября по всему региону были развешаны афиши, в которых всем немецким и австрийским гражданам предписывалось явиться с одеялом на олимпийский стадион *Yves-du-Manoir* в Коломбе, северо-западном пригороде Парижа. 9 сентября или несколькими днями позже Беньямин был интернирован вместе с тысячами других немцев и австрийцев призывного возраста. Яркое и красноречивое, хотя и вынужденно фрагментарное, описание двухмесячного пребывания Беньямина в заключении оставил такой же, как он, интернированный — поэт и критик Ганс Заль. В этом ретроспективном рассказе Беньямин предстает как само воплощение высоколобой непрактичности. «Пытаясь разобраться в происходящем при помощи разума и своих историко-политических познаний, он лишь еще больше

отдалялся от реальности». На тональность слов Заля, несомненно, повлиял его антикоммунизм — начиная с середины 1930-х гг. он постепенно отходил от леворадикальных кругов, — и все же образ Беньямина как человека, обманутого собственным пронизательным интеллектом в его попытках справиться с трудной практической ситуацией, согласуется с тем, что мы знаем о его жизни в изгнании¹. Впрочем, Заль упирает вовсе не на непрактичность Беньямина. Он неоднократно описывает его как человека, настолько погруженного в себя, что окружающие начинают видеть в нем кого-то вроде провидца. И это тоже не противоречит общему ощущению, которое оставлял у людей этот человек, скрывающий глубины своей души за непроницаемым фасадом неизменной утчивости.

Стадион Коломб, как его называли интернированные, со своими лишь частично крытыми трибунами давал убежище от стихий лишь небольшой части задержанных. Их постоянно кормили бутербродами с дешевым паштетом из печени и заставляли самих соорудить себе импровизированные уборные. Заль пишет, что условия пребывания в этом месте были тяжелыми даже для молодых и здоровых; что же касается 47-летнего Беньямина, который был одним из самых пожилых из числа интернированных и здоровье которого уже и без того ухудшалось, то для него они просто могли оказаться смертельными. Спасением жизни он, несомненно, был обязан молодому человеку Максу Арону, пришедшему ему на помощь. «В первый же вечер, — позже вспоминал Арон, — я заметил немолодого человека, тихо и неподвижно сидевшего на одной из скамей. Ему в самом деле не было еще и пятидесяти?.. Лишь на следующее утро, увидев, что он по-прежнему сидит (как мне показалось) на том же самом месте, я начал беспокоиться. И в его молчании, и в его позе ощущалось что-то величавое. Он просто не вписывался в это окружение»². Залю казалось, что «в том, как этот молодой человек заботился о своем физически немощном протезе, беспомощном во всех практических делах, [ощущалось] едва ли не библейское уважение к духу в эпоху напастей и опасностей».

После 10 дней пребывания на стадионе интернированные были разделены на группы и разосланы в лагеря (называвшиеся *campes des travailleurs volontaires*) по всей Франции. Беньямин и его друзья, включая не только Арона и Заля, но и драматурга Герма-

1. См.: Sahl, "Walter Benjamin in the Internment Camp", 348.

2. Воспоминания Макса Арона, 1939 г., Еврейская национальная и университетская библиотека, Иерусалим. Цит. по: Scheurmann and Scheurmann, eds., *Für Walter Benjamin*, 115.

на Кестена, добились, чтобы их не разделяли; под вооруженной охраной их сначала доставили на автобусе на Аустерлицкий вокзал, а затем на поезде до Невера — городка примерно в 150 милях к югу от Парижа на западной окраине Бургундии. Прибыв туда к вечеру, интернированные были вынуждены совершить двухчасовой пеший переход до заброшенного замка Вернуш. Этот переход стал пыткой для Бенъямина, у которого начало отказывать сердце. Впоследствии он рассказывал Адриенне Монье, что, хотя его скудные пожитки нес Арон, в дороге он упал от изнеможения. В замке не было абсолютно никакой обстановки, и 300 интернированных были вынуждены спать на полу, пока несколькими днями позже им не привезли солому. Все эти потрясения стали для Бенъямина тяжелым бременем; по сравнению с большинством других заключенных ему требовалось больше времени, чтобы привыкнуть к лишениям, включавшим голод, холод, грязь и «непрерывный гам». Его здоровье по-прежнему ухудшалось, и были дни, когда он лежал, не имея сил даже на то, чтобы читать. При помощи Арона он устроил для себя под винтовой лестницей что-то вроде каморки; штора из мешковины в какой-то мере обеспечивала ему там приватность.

Разумеется, проблемы, сопряженные с жизнью в лагере, не сводились к одним лишь материальным лишениям. Интернированные ничего не знали о намерениях властей, и будущее было им абсолютно неизвестно. По лагерю ходили самые безумные слухи, порой намекая на скорое освобождение, порой — на окончательное лишение свободы. Кроме того, война, раздиравшая континент, почти полностью лишила интернированных всяких вестей от друзей и близких. Бенъямин по крайней мере знал, что Дора и Штефан пребывают в безопасности в Лондоне. Вместе с тем он не получил ни одного известия от сестры, и лишь несколько недель спустя до него стали доходить новости от его друзей в Париже и Швейцарии. Одним из самых примечательных аспектов последних месяцев жизни Бенъямина в Европе было укрепление его дружбы с писателем Бернардом фон Брентано, тесно сотрудничавшим с Брехтом; Брентано был одним из немногих людей, с которыми Бенъямин переписывался в то время, и последний старался держать его в курсе своего местонахождения и условий существования. Кроме того, Бенъямин опасался, что начало войны может надолго лишить его стипендии, даже если институт будет в состоянии ее выплачивать; он знал, что банковские счета интернированных по крайней мере временно заморожены. Неясно было, сумеют ли иностранцы когда-нибудь изъять свои средства из французских банков. По этой причине Бенъямин писал Жу-

лиане Фавез, парижскому администратору института, прося ее позаботиться о том, чтобы его деньги не пропали и чтобы за его квартиру своевременно вносилась оплата. Кроме того, он обратился к ней с просьбой уведомить Хоркхаймера и Поллока о его состоянии: «У меня почти не бывает спокойствия, без которого я не способен писать напрямую в Нью-Йорк» (ГВ, 6:339). Выяснилось, что устройством его дел занимались его сестра и Милли Леви-Гинзберг (жена его друга, историка искусства Арнольда Леви-Гинзберга, племянника Эльзы Херцбергер), заодно присматривавшие за его квартирой и имуществом.

Как уже не раз бывало в прошлом, потрясения, обрушившиеся на Беньямина, привели к тому, что он стал описывать свои сны. Один из них, вращавшийся вокруг мотива «чтения», оказался достаточно занятным для того, чтобы написать о нем в Нью-Йорк:

Прошлой ночью, когда я лежал в соломе, мне приснился такой красивый сон, что я не могу справиться с искушением поделиться им с вами... В этом сне рядом со мной был врач по имени [Камилл] Дос — мой друг, выхаживавший меня, когда я болел малярией [осенью 1933 г.]. Мы с Досом находились в обществе нескольких людей, которых я не запомнил. В какой-то момент мы с Досом расстались с этой группой. Потом мы были с кем-то еще, а затем оказались в яме. Почти на самом ее дне я увидел несколько странных кроватей. У них была такая же форма и длина, как у гробов, а выглядели они так, будто были сделаны из камня. Однако, опустившись около них на колени, я увидел, что лежать в них так же мягко, как в постели. Они были выстланы мхом и плющом. Я увидел, что эти кровати расставлены попарно. Уже собираясь растянуться на одной из них, рядом с кроватью, которая как будто бы была предназначена для Доса, я понял, что изголовье этой кровати уже занято кем-то. И потому мы пошли дальше. Это место напоминало лес, но в расположении стволов и ветвей деревьев чувствовалось что-то искусственное, отчего эта часть пейзажа носила смутное сходство с портовым сооружением. Пройдя вдоль каких-то балок и миновав несколько тропинок, пересекавших в лесу наш путь, мы вышли на что-то вроде дебаркадера — маленькую террасу, сделанную из деревянных досок. Там мы встретили женщин, с которыми жил Дос. Их было трое или четверо, и они казались очень красивыми. Первое, что меня поразило, — Дос не представил меня им. Но это встревожило меня не так сильно, как то, что я обнаружил, когда положил свою шляпу на большое пианино. Это была старая соломенная шляпа, «панاما», доставшаяся мне от моего отца. (Ее уже давным-давно не существует.) Сняв шляпу, я был потрясен видом большой прорехи в ее верхней части. Более того, на краях этой прорехи виднелись следы чего-то красного. Затем мне принесли стул. Несмотря на это, я взял себе другой стул, поставив его чуть поодаль от стола, за которым

все сидели. Я не стал садиться. Между тем одна из дам предавалась графологии. Я увидел, что она нашла что-то в образце моего почерка, который дал ей Дос. Меня немного встревожило это исследование: я почувствовал опасение, что она раскроет какие-нибудь тайные черты моего характера. Я приблизился к ней и увидел кусок ткани, покрытый рисунками; из графических элементов мне удалось распознать лишь верхние части буквы D, чьи заостренные линии указывали на крайнюю степень стремления к духовности. Кроме того, эта часть письма была закрыта маленьким лоскутом ткани с синей каймой: лоскут вздымался над картинкой, словно его трепал ветерок. Это было единственное, что мне удалось «прочсть», остальное представляло собой нечеткие, смутные мотивы и облака. Затем разговор свернул на эти письма. Я не запомнил, какие мнения при этом высказывались; однако я точно знаю, что в какой-то момент сказал буквально следующее: «Все дело в том, что стихи превращаются в шарф». Едва я вымолвил эти слова, как случилось нечто загадочное. Я увидел, что среди женщин есть одна, очень красивая, которая легла в постель. Слушая мое объяснение, она сделала молниеносное движение. Она приподняла маленький уголок одеяла, которое накрывало ее, лежащую в постели. Это произошло меньше чем за секунду. При этом я увидел не ее тело, а узор на одеяле, выглядевший так же, как тот, который я «написал» много лет назад в качестве подарка Досу. Я очень хорошо знал, что эта дама действительно сделала такое движение. Но я понял это как бы благодаря ясновидению, поскольку мои физические глаза были направлены куда-то еще, и я не смог разглядеть, что открылось под одеялом, мельком приподнятым передо мной (BG, 272–273; в оригинале написано по-французски).

Впрочем, больше всего Бенъямин беспокоился за судьбу своего эссе о Бодлере. Он боялся, что институт, будучи не в состоянии с ним связаться, может внести в эссе изменения и напечатать его без согласия автора. Он несколько успокоился в конце сентября, когда сестра переслала ему текст телеграммы из Нью-Йорка: «Ваша превосходная работа о Бодлере дошла до нас подобно лучу света. Мысленно остаемся с вами» (BG, 271n). Бенъямин не имел возможности прочесть гранки эссе, но оно вышло в оригинальном виде в следующем номере *Zeitschrift*.

Несмотря на эти заботы, Бенъямин, подобно большинству интернированных, утешался игрой в шахматы и «приятным духом товарищества», господствовавшим в замке (см.: BG, 270). Заль достаточно подробно описывает этот дух: «Вскоре из пустоты родилось работоспособное сообщество; хаос и беспомощность дали начало коллективу»³. Интернированные взяли в свои

3. Sahl, "Walter Benjamin in the Internment Camp", 349.

руки все аспекты лагерной жизни, начиная с наведения чистоты при помощи самодельных веников и тряпок и кончая созданием примитивной экономики, валютой в которой служили сигареты, гвозди и пуговицы. Лагерь предоставлял возможности для интеллектуальных занятий самого разного рода. Заль читал свои стихотворения (например, свою «Элегию 1939-му году»); Беньямин, в достаточной степени окрепший, выступал с лекциями (одна из них касалась концепции вины) и предлагал платные философские семинары «для продвинутых студентов». Плату за эти семинары он брал лагерной валютой⁴.

В какой-то момент группа «киношников» из числа интернированных убедила коменданта выпускать их днем из лагеря (роль пропуска играли нарукавные повязки), чтобы они могли проводить изыскания с целью съемки профранцузского документального фильма; вернувшись из Невера, они ублажали слух своих лагерных товарищей, исходивших завистью, рассказами о французском вине и пище. Беньямин, вдохновляясь надеждой на получение повязки, в третий раз в своей жизни — после неудачных попыток с *Angelus Novus* в начале 1920-х гг. и *Krisis und Kritik* в начале 1930-х гг. — вознамерился основать журнал. В качестве редактора замышлявшегося *Bulletin de Vernuche: Journal des Travailleurs du 54e Régiment* он собрал первоклассную команду писателей и редакторов из числа солагерников. Материалы для первого номера, которые хранятся в берлинской Академии художеств, включали социологические исследования лагерной жизни, критические заметки о лагерном искусстве (хоровое пение, любительские театральные постановки и т. п.) и исследование об арестантском круге чтения. Заль предложил написать для журнала анализ создания «сообщества из ничего», возможно собираясь сочинить что-то вроде хроники наподобие «Робинзона Крузо» Дефо. Этот журнал, подобно двум своим предшественникам, но по более очевидной причине, так никогда и не вышел в свет.

В своем описании лагерной жизни Заль сурово критикует французские власти. В то же время Беньямин без устали восхищался всяким французским противодействием «убийственной ярости Гитлера». 21 сентября в письме Адриенне Монье он выражал готовность поставить все свои способности на службу «нашему делу», хотя и признавал «никчемность» своих физических сил (С, 613). К середине октября, пробыв в заключении более пятидесяти дней, Беньямин сообщал Брентано, что «нрав-

4. Sahl, "Walter Benjamin in the Internment Camp", 349–350.

ственные силы» вернулись к нему в достаточной мере для того, чтобы позволить ему читать и писать (см.: GB, 6:347). Многие друзья, в первую очередь Монье, Сильвия Бич и Хелен Хессель, посылали ему шоколад, сигареты, журналы и книги. Бенъямин читал в основном лишь то, что ему присылали: «Исповедь» Руссо (которую он читал впервые в жизни) и мемуары кардинала Реца. Как показывает желание Бенъямина заполучить пропуск-повязку, его никогда не оставляли мысли о свободе. Он уже получил от Поля Валери и Жюля Ромена рекомендации, подкреплявшие его прошение о получении гражданства; теперь же он добыл рекомендации еще и от Жана Баллара и Поля Дежардена в надежде на то, что это поможет ему вернуть свободу. Адриенна Монье, преданно прилагавшая усилия ради достижения этой же цели, в итоге убедила ПЕН — международную организацию писателей и редакторов — обратиться в министерство внутренних дел с просьбой об освобождении Бенъямина и Германа Кестена, содержавшегося в другом лагере. К началу ноября интернированных начали освобождать. Решение об освобождении Бенъямина было принято межминистерской комиссией 16 ноября после вмешательства дипломата Анри Оппено, дружившего с Монье.

К 25 ноября Бенъямин вернулся в Париж. Его друзья, обеспокоенные состоянием его здоровья, отправили встречать его Гизелу Фройнд с машиной. Бенъямин сильно исхудал и был так изможден, что ему часто приходилось останавливаться на полпути, потому что он «не мог идти дальше» (С, 618–619). После возвращения он сообщил Шолему (которому не писал во время своего заключения, так как мог отправлять не больше двух писем в неделю), что чувствует себя относительно хорошо. Его мысли часто возвращались к лагерю. Будучи одним из первых интернированных, получивших свободу, причем в тот самый момент, когда осенняя погода сменялась зимней, он отлично понимал, что ему очень повезло: он переписывался с рядом своих новых знакомых, еще находившихся в Невере, и отправлял некоторым из них посылки. Одним из положительных итогов его пребывания в лагере была крепнущая дружба с Кестеном. Беседы с друзьями в Париже часто обращались к теме лагеря и причинам, по которым было интернировано столько противников Гитлера. От Гизелы Фройнд Бенъямин узнал, что ситуация в Англии была совершенно иная. Там были интернированы только сторонники нацистов. От остальных немцев и австрийцев, которых насчитывалось до 50 тыс. человек, требовалось предстать перед трибуналом; жертвы гонений со стороны не-

мецких властей, способные подтвердить это документами, оставались на свободе (см.: GB, 6:352n).

Вновь оказавшись за письменным столом в своей квартире на улице Домбаль, Беньямин обратился мыслями к новым замыслам. Он отправил в Институт социальных исследований предложение написать эссе об «Исповеди» Руссо и дневниках Жида, «что-то вроде исторической критики „искренности“». Также он послал несколько экземпляров «Рассказчика» немецкому писателю Паулю Ландсбергу, с которым иногда встречался на лекциях в Коллеже социологии. Беньямин питал надежду на то, что сохранившиеся у Ландсберга связи в кружке «Лютеция» помогут издать это эссе во французском переводе. Кружок «Лютеция» был организован в 1935 г. Вилли Мюнценбергом с целью свержения гитлеровского режима и продолжал свою деятельность до конца 1937 г. В состав этой группы входили коммунисты, социал-демократы и представители буржуазных центристских партий; членами кружка были Генрих и Клаус Манны, Лион Фейхтвангер и Эмиль Людвиг.

Беньямин все так же ощущал глубокую привязанность к Парижу, который был не только его домом на протяжении семи лет, но и темой главного труда его жизни: сначала, когда он прослеживал праисторию XIX в., какой она представляла в тусклом свете парижских пассажей, и теперь, когда из этих изысканий выросло исследование о Бодлере. Беньямин знал, что «ничто на свете не сможет заменить» ему Национальную библиотеку (С, 621). Но при этом он хорошо понимал, что его свобода — всего лишь интерлюдия и что ему вскоре придется покинуть этот город, если он хочет остаться в живых. Его французские друзья (за ярким исключением Адриенны Монье) настаивали, чтобы он уезжал, а он помнил, что в 1933 г. преодолел свое нежелание обрывать все связи с другой своей родиной — с Германией лишь по настоянию Гретель Адорно. Соответственно, он предпринял ряд новых шагов, призванных подготовить его отъезд из Франции. Он написал Гретель, что без всякого труда читает ее письма, написанные по-английски, и сочинил — возможно, с помощью кого-то из друзей — англоязычное благодарственное письмо Сесилии Разовски, работавшей в парижском отделении Национальной службы помощи беженцам. 17 ноября Разовски подала в парижское консульство США прошение о выдаче американской визы для Беньямина; к нему прилагалось финансовое поручительство от Милтона Старра из Нэшвилла (Теннесси), богатого бизнесмена и мецената. Эта неожиданная поддержка вдохнула в Беньямина новые силы. Отчасти из благодарности за готовность ПЕН заступиться за него во время за-

ключения, но, несомненно, движимый и стремлением приобрести новых союзников, Бенъямин выдвинул свою кандидатуру в отделение этой организации для немецких эмигрантов. Его кандидатуру письменно поддержали Герман Кестен и Альфред Деблин; от писателя Рудольфа Олдена, председателя этого отделения, Бенъямин в начале 1940 г. узнал, что принят в его ряды. Это дало ему право на членский билет, что было особенно важно в те дни, когда всякий документ, удостоверяющий личность, становился бесценным. Кроме того, Бенъямин в письме Хоркхаймеру добивался, чтобы тот помог ему в поисках способов с толком распорядиться ожидаемой визой. Хоркхаймер наверняка очень четко представлял себе вероятную участь немецких изгнанников, еще находившихся во Франции, но он тем не менее тянул время, указывая Бенъямину, что на институтскую стипендию тот проживет в Париже намного дольше, чем это возможно в Нью-Йорке. Несмотря на эти неоднозначные сигналы, 12 февраля 1940 г. Бенъямин подал в американское консульство формальное прошение о выдаче визы.

В конце 1939 — начале 1940 г. он дважды виделся со своей бывшей женой Дорой, которая часто ездила между Сан-Ремо и Лондоном, устраивая свои финансовые дела. В 1938 г. она вышла замуж за южноафриканского бизнесмена Гарри Морсера и собиралась открыть пансион в Лондоне. В отношении того, когда она познакомилась с Морсером, источники расходятся. Есть некоторые указания, что ее семья, Кельнеры, поддерживала в Вене дружеские отношения с семьей Генриха Мерцера; однако Дора вполне могла впервые встретиться с ним тогда, когда он жил в ее пансионе в Сан-Ремо. В начале века Мерцер стал южноафриканским гражданином и сменил свое имя, став Гарри Морсером. Согласно большинству свидетельств, включая свидетельство двух дочерей Штефана Бенъямина, Дора вышла замуж по расчету, чтобы получить возможность эмигрировать в Англию. Впрочем, Морсер по крайней мере однажды сопровождал ее, когда она проезжала через Париж, и произвел на Бенъямина благоприятное впечатление. Кроме того, Эрнст Шен сообщал из Лондона, что Дора, Штефан и «герр Морсер» порвали со всеми своими бывшими друзьями и даже скрывали свой адрес — это может указывать на то, что они жили одной семьей. Интересно, что Дора представила Морсера Бенъямину в качестве своего друга. Кроме того, она тщетно убеждала своего бывшего мужа уехать с ними в Англию. Это была последняя встреча Бенъямина с Дорой. Она прожила долгую жизнь, поочередно содержа несколько пансионатов в лондонском районе Ноттинг-Хилл, и умерла в 1964 г., за восемь лет до смерти ее

сына, скончавшегося в 53-летнем возрасте⁵. Штефан Беньямин во время войны был интернирован в Австралии, но затем вернулся в Лондон и стал торговать редкими книгами. Несмотря на явно неоднозначное отношение Штефана к отцу, у них имелась по крайней мере одна общая черта: оба они были коллекционерами.

В начале нового года Беньямин по-прежнему был занят мелочами жизни, которые приходилось восстанавливать после пребывания в лагере, такими как восстановление банковского счета, продление льгот в Национальной библиотеке и попытки поддерживать на плаву сокращающиеся возможности для публикации. Условия, в которых ему приходилось жить (шумная, холодная квартира, которая в конце января вообще не отапливалась в течение двух недель), и неважное здоровье (слабое сердце лишило его возможности совершать свои традиционные длинные прогулки) по-прежнему мешали его работе. Он сообщал Гретель Адорно, что по большей части лежит. Тем не менее его подхлестывали предчувствия. Подобно многим другим жителям Парижа, в начале года он купил противогаз, но в отличие от большинства парижан он смог увидеть во вторжении этого предмета в свой маленький мир ироническую аллегорию — наложение средневековья на современность и духовных сторон жизни на технические: «Зловещий двойник тех черепов, которыми прилежные монахи украшали свои кельи» (BG, 279). 11 января он писал Шолему: «Всякий раз, как нам удастся сегодня напечататься, каким бы неопределенным ни было будущее, которому мы вверяем свои труды, это становится победой, одержанной над силами тьмы» (BS, 262). Последними двумя такими победами для него, судя по всему, стали издание «О не-

5. Дора была раздавлена известием о смерти Вальтера Беньямина. 15 июля 1941 г. она писала Шолему по-английски: «Милый, милый Герхард! Я заплакала, увидев твой почерк и наконец-то получив от тебя первое письмо за семь лет... Милый Герхард, смерть Вальтера оставила пустоту, которая медленно, но верно поглощает все мои надежды и пожелания на будущее. Я знаю, что не переживу его надолго. Тебя это удивит, потому что я уже не составляла часть его жизни, но он составлял часть моей... Я думала и чувствовала, что мир, дающий возможность прожить существу, обладающему его достоинствами и его чуткостью, все же не может быть настолько плохим. Но похоже, что я ошибалась. Сегодня его день рождения. Что я могу еще тебе сказать?.. Он бы не умер, если бы я была рядом с ним. Не умер же он в 1917 году... Встретившись с ним в последний раз в январе 1940 г., а до этого летом 1939 г., я заклинала его поехать в Лондон, где его ждала комната». Цит. по: Garber, "Zum Briefwechsel zwischen Dora Benjamin und Gershom Scholem nach Benjamins Tod", 1843. См. также: Jay and Smith, "A Talk with Mona Jean Benjamin, Kim Yvon Benjamin, and Michael Benjamin".

которых мотивах у Бодлера» и эссе Йохмана с его вступлением в *Zeitschrift für Sozialforschung* в начале 1940 г.

Однако Беньямину было почти нечего сказать по поводу издания переделанного эссе о Бодлере; он мимоходом упоминает об этой публикации в письме Шолему, спрашивая его мнения, и пылко благодарит Хоркхаймера за поддержку, выразившуюся в одобрении этого эссе редакцией, но из-под его пера не вышло ничего, что было бы сопоставимо с его письмом Адорно от 6 августа 1939 г., в котором он заводит речь о «более точной формулировке теоретических рамок» в переделанном эссе, только что отосланном им в Нью-Йорк. С неподдельным энтузиазмом эссе было встречено самим Адорно, чья «нечистая совесть» уступила место «несколько тщеславной гордости» за то, что именно с его подачи на свет появилась эта «самая совершенная работа, написанная вами со времени книги о барочной драме и эссе о Краусе» (ВА, 319). Это длинное письмо довольно примечательно тем, что в нем Адорно описывал подмеченные им переключки между эссе Беньямина и своим собственным творчеством. Беньямин в ответном письме сформулировал типичное для него аккуратное опровержение заявления Адорно о том, что «ваша теория забвения и теория „шока“ очень тесно соприкасаются с моими музыкальными работами»:

Нет никаких причин к сокрытию от вас того факта, что корни моей «теории опыта» восходят к детским воспоминаниям. Где бы мы ни проводили летние месяцы, мои родители, само собой, ходили с нами гулять. Мы, дети, всегда держались вдвоем или втроем. Но я сейчас думаю о своем брате. После того как мы посещали ту или иную из обязательных для посещения достопримечательностей в окрестностях Фройденштадта, Венгена или Шрейберау, мой брат обычно говорил: «Теперь мы можем говорить, что были здесь». Эта фраза неизгладимо запечатлелась в моей памяти (ВА, 320, 326).

Переписка с Адорно многое говорит об умонастроениях Беньямина в начале 1940 г. Его молчание по поводу эссе «О некоторых мотивах у Бодлера» говорит о том, что он по-прежнему был разгневан отказом печатать «Париж времен Второй империи у Бодлера» и о его неоднозначном отношении ко второму варианту эссе с его вынужденным погружением в абстрактное теоретизирование. Впрочем, более примечательной является ссылка на детские воспоминания как на источник его новейшей теории опыта и замена Адорно, а соответственно, и института Георгом Беньямином. Перерабатывая в 1938 г. «Берлинское детство на рубеже веков», Беньямин не посвятил в нем ни од-

ной строки своим брату и сестре; два года спустя, когда за спиной у него остался лагерь, а впереди маячила война, его родная семья фактически сменила в его глазах институт — интеллектуальную семью, усыновившую его в середине 1930-х гг.

Впрочем, какие-либо оставшиеся возможные оговорки в отношении эссе «О некоторых мотивах у Бодлера» не сказались на его общем отношении к книге о Бодлере, дальнейшая работа над которой «импонировала [ему] в гораздо большей степени, чем какие-либо другие замыслы» (ВГ, 279). После длительного периода нездоровья и депрессии Беньямин в начале апреля вернулся к плану, составленному летом 1938 г. в Дании, — плану, из которого и вырос «Париж времен Второй империи у Бодлера». Он так до конца и не оставил надежду на то, что это первое эссе все же удастся опубликовать — либо само по себе, либо в составе книги о Бодлере. Обращаясь к Штефану Лакнеру, он выражал надежду на то, что «рано или поздно в ваши руки попадет моя первая работа» о Бодлере (ГВ, 6:441). Как Беньямин сообщал Адорно, той весной он решил отложить предложенное им эссе о Руссо и Жиде, несмотря на то, что оно было бы более приемлемо для института и имело бы более высокие шансы на публикацию в *Zeitschrift*: «[Бодлер] остается темой, упорно требующей от меня, чтобы я взялся за нее в первую очередь, и моя самая неотложная задача — в полной мере удовлетворить это требование» (ВА, 327). Но итогом этих дней стала лишь серия заметок о реорганизации имеющегося материала и об отдельных аспектах книги; ничего более серьезного Беньямином так и не было написано.

В начале 1940 г. успехи немецких армий на востоке создали впечатление о неизбежности расширения масштабов военных действий. Понятно, что в своих мыслях Беньямин все чаще обращался к текущей политической ситуации. Ему не хватало бурных политических дебатов, которые он вел с Шолемом еще с 1924 г., но в январе он заявил своему старому другу, что они лишились всякого смысла — судя по всему, из-за того, что после заключения пакта между Сталиным и Гитлером он лишился всяких симпатий к политике Советского Союза. Ощущение, что они с Шолемом вновь стали единомышленниками, несомненно, в какой-то мере было порождено новым текстом, над которым он работал в начале 1940 г. и состоявшим из «некоторого числа тезисов о концепции истории», оригинальным образом сочетавших в себе политические, исторические и теологические мотивы. Эти тезисы в итоге превратились в текст «О понимании истории» — последнее значительное произведение Беньямина. Он сообщал нескольким своим корреспондентам

там, что при его сочинении мотивировался опытом, полученным его поколением за годы, предшествовавшие развязанной Гитлером войне. Впрочем, не менее важную роль сыграла и шедшая зимой 1939/40 г. интенсивная дискуссия между Беньямином, Арендт и Блюхером по поводу работы Шолема «Основные течения в еврейском мистицизме», которую Шолем прислал Беньямину в рукописи. Как вспоминала Арендт, в основном эта дискуссия вращалась вокруг проведенного Шолемом анализа саббатанского движения XVII в. Свойственное этому движению сочетание мессианской мистической традиции с активной политической повесткой дня, несомненно, стало источником некоторых формулировок в новой работе Беньямина и особенно вновь проявившихся у него мессианских мотивов, казалось бы, забытых с начала 1920-х гг. Сами эти тезисы отчасти опирались на начало эссе об Эдуарде Фуксе, а отчасти — на размышления, связанные с «теоретическим каркасом» книги о Бодлере; разумеется, в текстуальном плане оба эти источника восходили к папкам с материалами о пассажах (см.: GB, 6:400).

«О понимании истории» начинается с одного из самых памятных образов во всем творчестве Беньямина. Он рассказывает читателю о шахматном автомате — кукле в турецкой одежде, сидевшей за столом, под которым был спрятан мастер шахматной игры, горбатый карлик, — способном побить любого противника. Философским аналогом такого автомата стала бы кукла — исторический материализм, — способная победить любого противника в том случае, если она возьмет себе на службу маленького и сморщенного скрытого уродца, а именно горбатого карлика по имени «теология» (см.: SW, 4:389; Озарения, 228). Как выясняется уже в следующей из восемнадцати коротких частей, из которых состоит этот текст, в основе того понимания теологии, к которому Беньямин пришел к 1940 г., лежит очень своеобразный тип искупления: каждому поколению дарована «некая мессианская сила, на которую претендует прошлое»⁶. Теологическое значение этих новых тезисов невозможно сформулировать с точки зрения какой-либо конкретной религиозной традиции; как и все работы Беньямина, в которых открыто используются теологические мотивы, в этой работе он вольно

6. Ранний, незаглавленный черновик этих тезисов содержит еще две части, не вошедшие в последующие рукописные варианты. См.: SW, 4:397. См. также: *Über den Begriff der Geschichte*, 30–43, где опубликован текст “Handexemplar” («авторского экземпляра») Беньямина, содержащий 19 частей, включая ту, которая в черновиках носит номер XVIIa и начинается со слов: «Выдвигнув идею бесклассового общества, Маркс по сути предложил светский вариант идеи о мессианском времени. И это был удачный ход» (SW, 4:401–402).

обращается с самыми разными иудейскими и христианскими источниками. Идея искупления в данном случае предполагает патристическую категорию апокатастазиса (как мы уже видели, фигурировавшую в папке N «Проекта „Пассажи“»). Теперь речь идет о простом варианте этого понятия, означающем всеобщее спасение: ни одной душе не будет отказано в искуплении. Это понятие встречается лишь в одном месте Библии (Деяния, 3:21), где речь идет о конце времен. Слово «апокатастазис» в данном случае означает обещанное *restitutio in integrum*, восстановление всех вещей *после* конца времен. Однако в других источниках, известных Беньямину, в первую очередь в *De Principiis* («О началах») Оригена Александрийского, а также в ряде стоических и неоплатонических текстов, апокатастазис неизменно обладает *космологическим* аспектом, включающим четкое чередование эпох космической кульминации и космического восстановления. В стоицизме этот термин означает *свертывание* Вселенной обратно в разум Зевса, из которого она вышла наружу в виде Логоса; в более узком смысле речь идет о процессе, в ходе которого Вселенная, охваченная пламенем, вернется в свое изначальное состояние — огонь. Только после этого сможет произойти возрождение всех существующих вещей.

Одним из самых тонких маневров в своем позднем творчестве Беньямин переводит эту мифологическо-теологическую идею чередования космических эпох в политическую и историографическую плоскость: «лишь спасенное человечество имеет право на свое прошлое в полной мере. Это значит, что лишь спасенное человечество может вспомнить свое прошлое в любой момент». Возможность вспомнить прошлое — условие, необходимое для существования традиции. Беньямин определяет задачу историка-материалиста, который, как и все прочие, лишен доступа к прошлому во всей его полноте, как умение «овладеть воспоминанием, вспыхнувшим в момент опасности»; эта (непроизвольная) память находит свое выражение «в образе, вспыхнувшем на миг в момент его постижения, чтобы больше никогда не появиться». Ибо «Подлинная картина прошлого проскальзывает мимо» и ее можно удержать, то есть вспомнить, исключительно в настоящем, которое узнает себя в этом образе в качестве подразумеваемого (*gemeint*). Книга о Бодлере и лежащий за ней замысел воссоздать историю Франции XIX в. понимаются как попытка кристаллизовать именно такие образы и выставить саму историю в качестве «предмета конструкции». Беньямин был убежден в том, что написание подлинной истории — рискованное, авантюрное предприятие в противоположность традиционному историцизму Ранке, стремящемуся посредством интеллектуаль-

ной эмпатии понять, «как это все было». По сути, речь при этом идет об эмпатии только с победителем. Все подобные попытки сохранения, а следовательно, материализации событий прошлого предполагают лишь тот пустой однородный континуум, который потрясают монадически сконцентрированное «сейчас» (*Jetztzeit*) диалектического образа и его «прыжок тигра», кончающийся в «зарослях прошлого». «Ибо... эти блага культуры... имеют для него [исторического материалиста] все без исключения такое происхождение, что он не может подумать о нем без ужаса. Они обязаны своим существованием не только великим гениям, их создателям, но и безымянному труду их современников. Они не существуют как документы культуры, которые бы не были одновременно документами варварства». Как полагает Беньямин, найти надежду в прошлом можно лишь в том случае, если вырвать традицию из хватки конформизма, стремящегося задушить ее, если только она открыта для мгновенных остановок и внезапного порога «мессианского» времени, лежащего за пределами причинно-следственных связей и хронологических рамок современного научного историцизма. В мессианском опыте «всеобщей и целостной актуальности»⁷ нынешний момент воспоминания служит «калиткой» искупления, шансом на революцию в ходе борьбы за угнетенное (или подавляемое) прошлое. Отсюда следует, что Судный день не будет ничем отличаться от прочих дней. «Осознать вечность исторических событий, — читаем мы в черновых записях к этим тезисам, — в реальности означает осознать их вечную мимолетность» (SW, 4:404–407). Это осознание вечной мимолетности расчищает почву для «подлинного исторического существования», когда смех и слезы сольются воедино. Но всякий, кто желает точно знать, какой облик примет это «спасенное человечество» и когда к нему придет спасение, «ставит вопросы, на которые нет ответа».

Краеугольным камнем этого эссе Беньямин на закате своей жизни сделал образ, сопровождавший его на протяжении почти двадцати лет: *Angelus Novus* Клее. Ангел Клее с открытым ртом, широко раскрытыми глазами и распростертыми крыльями становится ангелом истории:

Взор его обращен в прошлое. Там, где появляется цепь наших событий, он видит сплошную катастрофу, которая непрерывно громоздит друг на друга развалины и швыряет их к его но-

7. Эта фраза из «Паралипоменов к „О понимании истории“» восходит к эссе Беньямина 1929 г. «Сюрреализм», где она связана с концепцией «образного пространства» (SW, 2:217; MB, 282). Что касается «мессианского времени», ср. работу 1916 г. «Trauerspiel и трагедия» (EW, 242).

гам. Он хотел бы задержаться, разбудить мертвых и вновь соединить разбитое. Но из рая дует штормовой ветер, такой сильный, что попадает в крылья ангела и он не может их прижать. Этот ветер неудержимо гонит его в будущее, ангел поворачивается к нему спиной, а гора развалин перед ним вырастает до неба. То, что мы считаем прогрессом, и есть этот ветер (SW, 4:392; Озарения, 231–232).

К концу апреля или началу мая предварительный вариант «О понимании истории» был готов, и Беньямин отослал машинописный экземпляр текста Гретель Адорно в Нью-Йорк. Он хорошо понимал, что это вольное сочетание исторического материализма (включая соображения по поводу социал-демократии и классовой борьбы) со спекулятивной теологией произведет эффект взрыва. Несмотря на то значение, которое имели для него эти тезисы, он явно не собирался публиковать их, тем более в их нынешней экспериментальной форме: это привело бы лишь к «восторженному непониманию» (BG, 286–287). Текст «О понимании истории» с его глубоким пессимизмом в отношении настоящего и презрением ко всякой идее прогресса, который пройдет мимо настоящего, несет на себе явный след капитуляции России и Запада перед гитлеровской волей к власти. Наполняющая его ненависть направлена против тех, кто предал человечество: фашизма, Советского Союза и, наконец, тех историков и политиков, которые не сумели осознать повестку дня. В целом текст «О понимании истории» выступает как свод представлений Беньямина об истории — представлений, восходящих, помимо исследования о пассажах, к периоду после окончания Первой мировой войны. Как Беньямин подчеркивал в письме Гретель Адорно, сопровождавшем его «заметки», «та война и обстоятельства, которые привели к ней, вызвали у меня ряд мыслей, которые я, можно сказать, скрывал в себе или даже скрывал от себя немногим менее двадцати лет... Даже сейчас я вручаю их тебе скорее как букет шелестящих травинок, собранных во время созерцательных прогулок, нежели как собрание тезисов» (BG, 286–287). Образ горы обломков у ног ангела в первую очередь напоминает ревизованную Беньямином барочную сцену с ее беспорядочно расставленными, но субъективно заряженными историческими объектами. В глазах Вальтера Беньямина история от начала до конца была барочной драмой.

Как свидетельствует тональность этих тезисов, почти ничто уже не могло избавить Беньямина от его усиливавшейся изоляции, как и от не оставлявших его мрачных предчувствий. Густав Глюк, его близкий друг, в 1931 г. вдохновивший Беньямина

на сочинение эссе «Деструктивный характер», увез свою семью в Буэнос-Айрес. Пьер Клоссовски, друг и переводчик Беньямина, уехал из Парижа в Бордо, где занял должность в муниципалитете. Немецко-чешский журналист Эгон Эрвин Киш эмигрировал через Париж в Мексику. Некоторые недавние друзья Беньямина, включая музыканта Ганса Брука, все еще находились в лагерях для интернированных, разбросанных по всей Франции. Других друзей и знакомых, включая Поля Дежардена, *spiritus rector* центра в Понтины, уже не было в живых. Молодой иллюстратор Августус Гамбургер, с которым Беньямин познакомился в лагере в Невере, вместе со своей подругой Каролой Мушлер совершил самоубийство. С тем чтобы вырваться из лагеря, пребывание в котором стало нестерпимым, Гамбургер записался в Иностранный легион. Они с Мушлер провели пятидневный отпуск, причитающийся Гамбургеру как новобранцу легиона, в отеле «Георг V», а на пятый день покончили с собой⁸. Беньямин писал Шолему, что «изоляция, являющаяся моим естественным состоянием, в нынешних обстоятельствах только усилилась. Похоже, евреи перестали пользоваться даже теми крупницами разума, которые у них остались после всего, через что они прошли. Число тех, кто еще способен найти свои ориентиры в этом мире, сокращается все сильнее и сильнее» (BS, 263). В иные моменты все еще давало о себе знать присутствующее ему чувство иронии; те же обстоятельства приводили его к рассуждениям о том, что история осуществляет «хитроумный синтез» — гибрид «доброевропейца» Ницше и его же «последнего человека». Этот синтез «даст миру последнего европейца — существо, которым не хочется становиться никому из нас» (GB, 6:442)⁹.

По мере того как проходила весна, здоровье Беньямина продолжало ухудшаться. После возвращения в Париж его по-прежнему беспокоило сердце, проблемы с которым начались во время пребывания в лагере; в начале апреля Беньямин сообщал Хоркхаймеру, что одолевавшая его «слабость нарастает тревожными темпами», вследствие чего он редко покидает свою квартиру. Когда же ему приходилось это делать, часто бывало так, что он «обливался потом и был не в состоянии идти дальше». В итоге он обратился к специалисту; доктор Пьер Абрами диагностировал у него тахикардию, гипертонию и увеличенное сердце, и этот диагноз подтвердил Эгон Виссинг, которому

8. См.: Sahl, *Memoiren eines Moralisten*, 82–85.

9. О «доброевропейце» см.: Ницше, *Собрание сочинений*. Т. 2. С. 269. О «последнем человеке» см.: Ницше, *Собрание сочинений*. Т. 3. С. 26.

Беньямин весной послал рентгеновский снимок. Врач, рекомендуя Беньямину провести какое-то время в деревне, явно говорил всерьез. Поскольку стоимость медицинских услуг оказалась почти непосильным бременем для ничтожных финансовых ресурсов Беньямина, он снова бросил клич о помощи. Институт социальных исследований отозвался щедрой специальной субсидией в размере 1000 франков. Единственной положительной стороной этой ситуации было признание Беньямина непригодным к военной службе — так иронически откликнулись неоднократные и в итоге оказавшиеся успешными его попытки симулировать болезнь, чтобы избежать армейской службы во время Первой мировой войны.

Задолго до того, как немецкие армии 10 мая вторглись во Францию, помыслы Беньямина свелись в основном к поискам убежища в США. В начале весны он начал учить английский вместе с Ханной Арендт и Генрихом Блюхером, 16 января сочетавшимися браком. Беньямин гордо сообщал о своей первой попытке прочесть английский текст «Примеров анти-тез» Бэкона (из его книги «О достоинстве и приумножении наук»), к которому прибавилась книга, имевшая большее отношение к жизни в Америке, — роман Уильяма Фолкнера «Свет в августе» (во французском переводе). Занятия sporadически продолжались даже после того, как Блюхера отправили в лагерь для интернированных, но, как признавал сам Беньямин, его устный английский так и не стал беглым. Он прекрасно понимал, что слишком долго медлил: ему не давали покоя мысли об упущенных им возможностях эмигрировать — в Палестину, в Англию, в Скандинавию. Несколько месяцев спустя, уже находясь в бегах, он писал Гретель Адорно: «Можешь не сомневаться в том... что я сохранял единственное состояние ума, подобающее человеку, преследуемому опасностями, которые он должен был предвидеть и которые он навлек на себя пониманием (по крайней мере частичным) их причин» (BG, 289).

В конце марта Беньямина ожидал неприятный удар. Прочитав в *Zeitschrift für Sozialforschung* эссе Йохмана, к которому Беньямин написал предисловие, его бывший друг Вернер Крафт отправил в Нью-Йорк Хоркхаймеру длинное письмо, в котором обвинял Беньямина не столько в плагиате, сколько в претензии на открытие Йохмана, в то время как, по словам Крафта, он сам привлек внимание Беньямина к этому писателю XIX в. Хоркхаймер, неизменно чувствительный к положению института и его изданий в чужой стране и по-прежнему питавший рефлексивную неприязнь ко всяким следам левизны, был обеспокоен; Гретель Адорно советовала Беньямину дать немедленный и по-

дробный ответ с тем, чтобы не испытывать добрую волю Хоркхаймера именно в тот момент, когда Бенъямин в ней больше всего нуждался. Как уже отмечалось в главе 9, ответ Бенъямина представлял собой откровенное описание того, как он лично открыл Йохмана в Национальной библиотеке, и последующих разговоров с Крафтом. Тот, несомненно, познакомил Бенъямина лишь с некоторыми произведениями Йохмана, но явно не с самим этим автором.

Бенъямин, прикованный к своей квартире и неспособный в полной мере сконцентрироваться на работе, посвященной Бодлеру, предавался разнообразному и порой на первый взгляд случайному чтению. Он не только изучал Руссо и Жида в порядке подготовки к написанию задуманного эссе, но и с неподдельным интересом прочел автобиографическую книгу *L'âge d'homme* («Возраст мужчины») (1939) этнолога Мишеля Лейриса, которую рекомендовал нескольким друзьям. Из всех своих друзей и знакомых по Коллежу социологии Бенъямин чувствовал самое большое сродство именно с Лейрисом и его трудами. В письме Гретель он предложил вниманию Адорно ряд замечаний по поводу его рукописи *Fragments über Wagner*; соображения Адорно о редукции как феномене фантазмагии напомнили ему о его собственных давних комментариях к сказке Гёте «Новая Мелюзина». Он сообщал Брентано, что прочел его новый роман *Die ewigen Gefühle* («Вечные чувства») «в течение двух суток». Также он рекомендовал Карлу Тиме книгу *Saint Augustin et la fin de la culture antique* («Святой Августин и конец античной культуры») Анри-Ирене Марру, обращая особое внимание на то, как в ней освещается упадок поздней Римской империи, и на ее сходство с трудами Ригля.

23 марта Бенъямин отправил в Нью-Йорк Хоркхаймеру новый обзор современной французской литературы. Главным образом в письме рассматривались три текста: *Paris: Notes d'un Vaudois* — портрет города, ставшего для Бенъямина родным, нарисованный швейцарским автором Шарлем-Фердинандом Рамю, *L'âge d'homme* Мишеля Лейриса и серия комментариев к автору-протосюрреалисту Лотреамону, принадлежащая Гастону Башлярю — судя по всему, из его книги *Psychanalyse du feu* («Психоанализ огня»). Бенъямин воздает должное работе Рамю о Париже, своим подходом в достаточной мере отличающейся от его собственного исследования о пассажах, для того чтобы вызвать у него искреннюю симпатию. Письмо Хоркхаймеру примечательно тем, что в нем раскрывается сущность интереса Бенъямина к Лейрису: подобно тому как в своем творчестве 1920-х и 1930-х гг. Бенъямин в значительной степени исследу-

ет пути, открытые сюрреалистами, так и Лейрис и Коллеж социологии в конце 1930-х гг. разрабатывали нетрадиционные антропологические направления исследований, параллельные направлениям Беньямина, но проходившие на заметном удалении от них. Башляр тоже изучается Беньямином с точки зрения, продиктованной его самыми сокровенными стремлениями: Беньямин расхваливает предлагаемые Башляром интерпретации скрытого содержания символистской поэзии — серию «загадочных картинок», несущих в себе немалую потенциальную энергию и значимость. Кроме того, в письме содержатся краткие критические замечания по поводу *Journal d'un "révolution"* («Дневник „революции“») Жана Геенно, *Le regard* («Взгляд») Жоржа Салля — книги, которой Беньямин посвятил рецензию (ее второй вариант был напечатан в виде письма в *Gazette des Amis des Livres* Адриенны Монье) — и *Théorie de la fête* («Теория праздника») Кайуа. Еще одно эссе Кайуа о Гитлере вызвало у Беньямина ироничное замечание о том, что Кайуа проведет войну в Аргентине, куда он отправился вслед за знаменитой аргентинской писательницей Викторией Окампо.

В начале мая Беньямин послал Адорно длинное письмо в ответ на черновой вариант эссе о переписке Штефана Георге с Гуго фон Гофмансталем. Это письмо представляет собой последнее формальное высказывание Беньямина о литературе; идеи в отношении Кафки, Пруста и Бодлера сочетаются в нем с соображениями о неоромантизме Георге и Гофманстале. Хотя Беньямин приветствует смелую попытку Адорно «оправдать» Георге, заклеянного в либеральных кругах в качестве протофашиста, он не скрывает своего критического отношения к словам Адорно о Гофманстале и по сути предлагает альтернативную трактовку:

В принципе существуют два текста, которые, будучи вместе взятыми, способны раскрыть то, что мне хотелось бы сказать. Вы сами упоминаете один из них, ссылаясь на «Письмо лорда Чэндоса» Гофманстала [1902 г.]. И здесь я имею в виду следующий фрагмент: «История этого Красса с его муреной часто вспоминается мне, я вижу самого себя в этом зеркале, отделенном от меня пропастью столетий... Красс, рыдающий над своей муреной. Что, кроме пренебрежительной усмешки, может вызвать подобный человек, заседающий к тому же в вершащем мировые судьбы высоком сенате? Но есть безымянное нечто, заставляющее меня питать к нему совсем иные чувства, которые мне самому кажутся нелепыми всякий раз, как только я пытаюсь облечь их в слова». (Тот же самый мотив повторяется в «Башне» [1925 г.]: потроха убитой свиньи, на которые Принца заставили смотреть, когда он был ребенком.) Что касается остального, то второй фрагмент,

о котором я говорю, тоже содержится в «Башне»: речь идет о разговоре между Юлианом и врачом. Юлиан, у которого есть все, кроме капли воли, кроме толики жертвенности, для того, чтобы испытать наивысшее из всех возможных переживаний, — это автопортрет Гофманстала. Юлиан предает Принца: Гофмансталь поворачивается спиной к задаче, которая ставится в его «Письме лорда Чэндоса». И «утрата им дара речи» стала своего рода наказанием за это. Возможно, дар речи, утраченный Гофмансталем, был тем самым даром речи, который примерно в то же время получил Кафка. Ибо Кафка взял на себя задачу, которую Гофмансталь не сумел решить с нравственной, а соответственно, и с поэтической точки зрения. (Все следы этой неудачи несет на себе в высшей степени сомнительная и слабо обоснованная теория жертвы, на которую вы ссылаетесь.) Мне кажется, что Гофмансталь на протяжении всей своей жизни смотрел на свои таланты так, как Иисус смотрел бы на свое Царство, если бы был вынужден строить его при помощи Сатаны. Мне представляется, что его необычайная многогранность идет рука об руку с осознанием своего предательства по отношению к лучшему из того, что было ему дано (ВА, 328–329; цитата из «Письма лорда Чэндоса» приводится по: Гофмансталь. *Избранное*. С. 527–528).

Этот портрет великого австрийского писателя представляет собой трогательную дань уважения единственной крупной фигуре, признавшей и поддерживавшей талант Беньямина и в то же время не пытавшейся поставить его на службу собственным целям.

После того как в начале мая немецкие армии напали сначала на Бельгию и Нидерланды, а затем и на Францию, французские власти снова стали интернировать иностранцев. Беньямин вместе с Кракауэром, журналистом Хансом-Эрихом Камински и писателем Артуром Кестлером избежал нового интернирования благодаря вмешательству друга Адриенны Монье Анри Оппено. Но теперь уже более двух миллионов человек пустилось в бегство, спасаясь от нацистских армий. Беньямин поспешно забрал из своей квартиры все ценности и отдал на хранение основную часть своих бумаг¹⁰. Наименее важные из них он просто оставил в квартире, где они были конфискованы гестапо; часть бумаг пропала во время войны, а остальное впоследствии попало в руки Красной армии и было переправлено в Советский Союз, в итоге оказавшись в Восточном Берлине. Вторую часть Беньямин раздал нескольким друзьям. О судьбе этих бумаг во время войны мало что известно, но в 1946 г. они находились в Цюрихе у сестры Беньямина Доры, которая впоследствии отправила их

10. О судьбе *Nachlaß* (неопубликованного наследия) Беньямина см.: Tiedemann, *Dialektik im Stillstand*, 151–155.

Адорно в Нью-Йорк. Бумаги, представлявшие наибольшую ценность для Беньямина, в частности основные материалы по пассажам, вариант «Берлинского детства на рубеже веков» 1938 г., третий вариант «Произведения искусства в эпоху его технической воспроизводимости», авторский экземпляр «О понимании истории», его сонеты, машинописные рукописи «Рассказчика» и «Комментария к стихотворениям Брехта», а также несколько теоретически значимых писем от Адорно, он отдал Жоржу Батаю¹¹. Батай доверил большую часть этих материалов двум библиотекарям парижской Национальной библиотеки, где бумаги Беньямина и оставались во время войны; после войны Пьер Миссак разыскал часть спрятанных бумаг — главным образом папки с материалами по пассажам, забрал их у Батая, а впоследствии переслал со специальным курьером Адорно. Оставшиеся бумаги, в число которых входили последние черновики и заметки к частично законченной работе «Шарль Бодлер: лирический поэт в эпоху высокого капитализма», долгие годы считались утраченными. В 1981 г. итальянский издатель Беньямина философ Джорджио Агамбен обнаружил ряд материалов, написанных почерком Беньямина, в архиве Батая в Национальной библиотеке и среди бумаг, переданных ему вдовой Батая; выяснилось, что это недостающая часть рукописей, доверенных Батаю в 1940 г. Возможно, Батай после войны по ошибке отдал лишь часть собрания рукописей, переданного ему Беньямином, а может быть, эти материалы хранились в другом месте и о них забыли — так или иначе, точного ответа на этот вопрос у нас нет¹².

Беньямин и его сестра Дора, лишь несколькими днями ранее освобожденная из лагеря для интернированных в Гуре, примерно 14 июня с помощью своих французских друзей сумели сесть на поезд, уходящий из Парижа — один из последних поездов, увозивших беженцев на юг. Беньямин взял с собой кое-какие туалетные принадлежности, противогаз и единственную книгу — мемуары кардинала Реца. Поезд доставил их в пиренейский городок Лурд, где они нашли недорогое жилье. Беньямин был очень признателен местным жителям: хотя город был переполнен беженцами — в большинстве своем бельгийцами, в нем царил порядок и спокойствие. Он сразу же начал призывать

-
11. Сонеты Беньямина напечатаны в GS, 7:27–67. Они были сочинены примерно в 1913–1922 гг., хотя точное время их сочинения не известно.
 12. Сам Миссак полагает, что Батай в 1945 г. просто забыл о части этих бумаг, включавшей неизданное эссе молодого Миссака об истории кино, которое Беньямин хранил среди своих рабочих материалов: Missac, *Walter Benjamin's Passages*, 121–122.

других своих друзей, оставшихся в Париже, и в первую очередь Гизелу Фройнд, последовать за ним в эту «преlestную глубину». Фройнд промешкала в Париже так долго, что ей пришлось выбираться из города на велосипеде; она нашла пристанище в Сен-Сози в регионе Дордонь, где пробыла до тех пор, пока в 1941 г. ей не удалось бежать в Аргентину. Ханна Арендт и Генрих Блюхер оказались разделены; после освобождения из лагеря для интернированных Блюхер бежал в неоккупированную зону, а Арендт скрывалась под Монтобаном. Оба они в итоге добрались до Марселя, куда уже прибыл Кракауэр с женой. Прочие друзья Беньямина, слишком старые или слишком слабые для бегства, остались. Беньямин написал трогательную записку о «поразительной доблести» матери Фрица Френкеля, жившей рядом с ним в Париже: «Бодлер был прав — порой самый настоящий героизм проявляют именно *petites vieilles* (маленькие старушки)» (GB, 6:471).

Через три недели после прибытия в Лурд Беньямин писал Ханне Арендт, что описание кардинала Реца, оставленное Ларошфуко, представляет собой удачный портрет самого Беньямина: «Праздность долгие годы охраняла его славу во мраке неустроенной и уединенной жизни». Несмотря на поддержку со стороны горожан, жизнь на протяжении этих недель вскоре стала до крайности ненадежной. Дора, страдавшая от анкилозирующего спондилита и запущенного атеросклероза, была практически не в состоянии двигаться. К тому же обнаружилось, что причинами проблем с сердцем у самого Беньямина были не только общая ситуация и тяготы повседневного существования, но и высота над уровнем моря. Даже прожить с утра до вечера с учетом отсутствия денег и отсутствия контактов с близкими людьми становилось все более сложной задачей. «За последние несколько месяцев, — писал Беньямин Адорно, — я не раз видел, как вполне обеспеченные люди буквально в одночасье не просто тонули, а *шли на дно камнем*» (BA, 339). Во время тех недель, что Беньямин провел в Лурде, единственным утешением для него, похоже, служила литература, в частности он перечитывал роман Стендаля «Красное и черное».

Вокруг себя Беньямин ощущал «ледяное спокойствие». В его последнем письме Гретель Адорно, написанном в середине июля, говорится о том утешении, которым стало для него ее послание: «Более того, я бы сказал: радость, да только не знаю, смогу ли я испытывать это чувство в ближайшем будущем» (GB, 6:471; BG, 288). В этой обстановке Беньямин старался сохранять достоинство и невозмутимость, которые он недавно описывал Адорно, еще находясь в Париже: «Не думаю, что было бы

слишком большой смелостью утверждать, что мы наблюдаем в ком-либо „достоинство“, когда перед нами соответствующим образом проявляется одиночество, присущее индивидууму. То одиночество, которое, отнюдь не представляя собой средоточие всех духовных богатств индивидуума, вполне способно представлять собой средоточие его исторически обусловленной пустоты, его личности как печальной судьбы индивидуума» (ВА, 331).

В Лурде самой главной заботой для Беньямина стала угроза нового интернирования, которое бы привело его прямоком в немецкие застенки. «Моя жизнь уже которую неделю, — писал он Адорно, — проходит под знаком полной неопределенности в отношении того, что может принести с собой следующий день и даже следующий час. Я приговорен к тому, чтобы читать каждую газету (газеты здесь сократились до размеров простого листка), как будто это повестка, врученная лично мне, и слышать в каждой радиопередаче голос роковых известий» (ВА, 339). И потому он все более отчаянно изыскивал средства к спасению; получение визы стало для него вопросом первостепенной важности (см.: С, 635). Многие его друзья, включая Кестена и Арндт, стремились в Марсель, где скопилось множество беженцев, питавших надежду пробраться через Пиренеи в Испанию. Кроме того, до Беньямина доходили известия о том, что вновь интернирован ряд его друзей, включая мужа Ханны Арндт Генриха Блюхера. Впрочем, вскоре после прибытия Беньямина и Доры в Лурд французские власти запретили всем иностранцам перемещаться по стране без пропуска, который можно было получить, лишь предъявив действующую визу. 10 июля переговоры между французским и немецким правительствами завершились упразднением Третьей республики и созданием вишистского режима во главе с коллаборационистом маршалом Филиппом Петеном. Предшествовавшее этому договору соглашение о прекращении огня, заключенное 22 июня, уже включало положение, по которому иностранцы фактически теряли право убежища во Франции¹³. Письма Беньямина, написанные в те недели, свидетельствуют об охватывавшей его панике: «Тревожно то, что в нашем распоряжении может оказаться намного меньше времени, чем мы полагали... Надеюсь, что до сих пор мне удавалось создавать у вас впечатление, что даже в трудные моменты я сохранял выдержку. Не надо думать, что теперь это не так. Но я не могу скры-

13. См.: Ingrid Scheurmann, "Als Deutscher in Frankreich: Walter Benjamins Exil, 1933–1940", in Scheurmann and Scheurmann, eds., *Für Walter Benjamin*, 96.

вать от самого себя всю опасность ситуации. Боюсь, что лишь немногим удастся спастись»¹⁴. Уже не веря в то, что удастся бежать в Америку, Беньямин подумывал даже об эмиграции в Швейцарию, хотя эта страна, не имеющая выхода к морю, едва ли была самым надежным убежищем для немецкого еврея. Беньямин написал другу Гофмансталя Карлу Якобу Буркхардту, швейцарскому историку и дипломату, прося его о помощи в ситуации, которую «очень скоро можно будет назвать безнадёжной» (GB, 6:473). После войны Буркхардт сообщал другу Беньямина Максу Рихнеру, что при посредстве своих друзей в Испании он сделал все, что было в его силах, чтобы облегчить Беньямину проезд через эту страну, но к тому времени, как удалось принять меры, было уже слишком поздно.

Из-за отсутствия надежной связи между Лурдом и внешним миром Беньямин почти ничего не знал о попытках спасти его. Письма и открытки из Института социальных исследований прибыли в Париж уже после его отъезда; некоторые из них пропали, другие дошли до него лишь спустя несколько недель. Беньямин лишь в июле узнал, что Хоркхаймер, потеряв надежду на быстрое получение американской визы, попытался организовать для Беньямина возможность жить и работать на Карибах — сначала речь шла о Санто-Доминго, а затем, когда этот план потерпел фиаско, о том, чтобы Беньямина в качестве сотрудника института взяли профессором в университет Гаваны.

Прошло больше двух месяцев, прежде чем Беньямину удалось присоединиться к своим друзьям в Марселе. В начале августа он наконец узнал, что институт достал для него внеквотную визу, дающую ему право на въезд в США, и что консульство в Марселе было своевременно извещено об этом. Итак, эта предпосылка была выполнена, и Беньямин, получив охранное свидетельство, в середине августа отбыл в Марсель. Его сестра Дора осталась в Лурде; ей удалось найти убежище на крестьянской ферме, а в 1941 г. она переехала в Швейцарию. Когда Беньямин прибыл в Марсель, в этом городе, переполненном беженцами, царил нервная атмосфера. В консульстве ему выдали не только американскую въездную визу, но и визы для транзита через Испанию и Португалию. Чего ему не удалось получить, так это выездной французской визы. В портах и на пограничных пунктах были вывешены списки немецких евреев и противников режима; вишистская милиция рыскала по лагерям для интернированных, освобождая сторонников

14. GB, 6:475–476 (письмо от 2 августа 1940 г., адресованное Адорно).

нацизма и выдавая гестапо «врагов государства»¹⁵. Почти через месяц после получения визы, которой Беньямин так долго добивался, он отмечал в письме Альфреду Кону, что «до настоящего момента она не принесла мне какой-либо существенной пользы. Было бы излишним перечислять тебе все мои пошедшие прахом или пересмотренные планы» (ГВ, б:481). В число этих планов, возможно, входила и предпринятая вместе с Фрицем Френкелем попытка при помощи взятки проникнуть на торговое судно, переодевшись французскими моряками — несомненно, самыми пожилыми и неопытными моряками в истории торгового судоходства¹⁶. Кроме того, его имя было внесено в список беженцев, составлявшийся *Centre Américain de Secours* — организацией, основанной Варианом Фраем для помощи беженцам-антифашистам. Несмотря на все эти усилия, «пребывание» в Марселе превратилось к середине сентября в «ужасающее испытание для нервов»: Беньямина обременяла сильнейшая депрессия (см.: ГВ, б:481–482). Однако имеются указания на то, что даже это бедственное состояние дел не могло погасить ни горевшего в нем интеллектуального огня, ни его игривости. Романистка Зома Моргенштерн вспоминала, как они с Беньямином в один из тех дней обедали в Марселе и говорили за обедом о Флобере:

Не успели мы изучить меню и заказать напитки, как Вальтер Беньямин бросил на меня сквозь очки несколько настойчивых взглядов, словно ожидал от меня какой-то обязательной, но уже запоздавшей реплики... Наконец он спросил у меня в некотором возбуждении: «Вы ничего не заметили?» «Мы еще ничего не съели, — сказала я. — Что я должна была заметить?» Он вручил мне меню и застыл в ожидании. Я снова изучила список блюд, но мне ничего не бросилось в глаза. Тут он утратил всякое терпение. «Вы не обратили внимание на название ресторана?» Я взглянула на меню и увидела, что ресторатора зовут Арну, о чем и сообщила Беньямину. «И что, — продолжил он, — эта фамилия вам ни о чем не говорит?» Я почувствовала себя неловко: этот экзамен был мной явно провален. «Вы не помните, кто такая Арну? [Мадам] Арну — так звали возлюбленную Фредерика в «Воспита-

15. См.: Fabian and Coulmas, *Die deutsche Emigration in Frankreich nach 1933*, 85ff. Цит. по: Scheurmann, «Als Deutscher in Frankreich», 97.

16. См.: Fittko, «The Story of Old Benjamin», 947. Это эссе переиздано в: Lisa Fittko, *Escape through the Pyrenees*, trans. David Koblick (Evanston, IL: Northwestern University Press, 1991). Воспоминания Фиттко о переходе Беньямина через Пиренеи в сентябре 1940 г. представляют собой основной источник наших сведений о последних днях Беньямина. Недавно к этой скудной информации прибавились воспоминания Карины Бирман о ее бегстве через Пиренеи. См.: Carina Birman, *The Narrow Foothold* (London: Hearing Eye, 2006).

нии чувств!» Лишь после супа он оправился от разочарования, испытанного по моей вине, и само собой, темой нашего разговора за обедом в тот день стал Флобер¹⁷.

В конце сентября Бенъямин в сопровождении двух марсельских знакомых, уроженки Германии Хенни Гурланд и ее сына-подростка Йозефа, отправились из Марселя на поезде в сторону испанской границы. Перспективы легального выезда из Франции выглядели нулевыми, и Бенъямин отважился на попытку нелегального проникновения в Испанию; далее он надеялся добраться через Испанию до Португалии, а там сесть на корабль, идущий в США. В Пор-Вандре к ним присоединилась Лиза Фиттко, молодая (ей был 31 год) политическая активистка, ранее жившая в Вене, Берлине и Праге; ее мужа Ганса Бенъямин знал по лагерю в Вернуше. Фиттко едва ли можно было назвать профессиональным проводником, но она очень тщательно изучила все пути к бегству. При помощи описания, полученного от мэра городка Баньюльс-сюр-Мер, соседствующего с Пор-Вандром, она могла бы пробраться по тропинке, ведущей через отроги Пиренеев, в испанское приграничное местечко Портбоу. Из соседнего Сербера в Портбоу вел более прямой путь, которым воспользовались многие беженцы, чтобы выбраться из Франции, но об этом маршруте прознали вишистские *gardes mobiles* и он очень тщательно охранялся. Отныне беженцам приходилось пробираться западнее, через более высокие горы, по «тропе Листера» — так называлось узкое ущелье, по которому в 1939 г. от испанских фашистов скрылся Энрике Листер, видный военачальник республиканской армии. Этим трудным путем в Испанию сумели уйти Лион Фейхтвангер, Генрих и Голо Манны, Франц Верфель и Альма Малер-Верфель. Фиттко спросила Бенъямина, готов ли он с его слабым сердцем к этому рискованному переходу. «Остаться здесь — вот настоящий риск» — ответил он¹⁸.

Начиная с этого момента в истории последних дней Вальтера Бенъямина возникает много неясностей. По совету Аземы, мэра Баньюльса, Фиттко повела маленькую группу разведать первую часть пути через горы. Вероятно, Бенъямин покинул Баньюльс 25 сентября¹⁹. Фиттко отмечала тщательно выдержи-

17. Зона Моргенштерн Гершому Шолему, 21 декабря 1972 г.. Цит. по: Puttnies and Smith, *Benjaminiana*, 203–205.

18. Fittko, "The Story of Old Benjamin", 947.

19. Точные даты перехода Бенъямина через Пиренеи, прибытия в Портбоу и смерти не известны. Имеющиеся у нас на этот счет свидетельства — воспоминания Лизы Фиттко, Хенни Гурланд и Карины Бирман, муниципаль-

вавшийся Беньямином темп передвижения — десять минут ходьбы, минута отдыха и его нежелание отдавать кому-либо свой тяжелый черный портфель, в котором, по его словам, находилась «новая рукопись», значившая для него «больше, чем я сам»²⁰. О том, что это была за рукопись, высказываются самые разные догадки. Некоторые считают, что это мог быть законченный вариант исследования о пассажирах или книги о Бодлере; обе эти гипотезы крайне сомнительны в силу неважного здоровья Беньямина и того, что на последнем году его жизни к нему лишь иногда возвращалась работоспособность. Эта рукопись вполне могла быть окончательным вариантом текста «О понимании истории», но Беньямин мог бы придавать ему такое значение лишь в случае, если бы вариант, который он нес с собой, существенно отличался от тех, которые он отдал на хранение Ханне Арендт, Гретель Адорно и Батаю. Впрочем, это лишь первая из загадок последних дней его жизни.

Во время перехода через Пиренеи Беньямин наверняка испытывал ужасные мучения, хотя он не жаловался Лизе Фиттко, был способен шутить и даже, опираясь на свой многолетний опыт прогулок по горам, помогал своим спутникам разобраться в маленькой, нарисованной от руки карте, которая была их единственным путеводителем²¹. Когда Фиттко, Гурланды и Беньямин добрались до маленькой поляны, которая была их целью, Беньямин заявил, что проведет ночь здесь; его силы подходили к концу и он не имел желания снова проделывать какую бы то ни было часть маршрута. Его спутники, ознакомившись с первой третью пути, вернулись в Баньюльс, переночевали там в гостинице и на следующее утро вновь присоединились к Беньямину, чтобы вместе с ним преодолеть последнюю, самую сложную часть подъема, и спуститься в Портбоу. Фиттко вспоминает несоответствие между «кристально ясным умом» Беньямина, его «несгибаемой стойкостью» и его отрешенностью. Лишь на одном из самых крутых подъемов его ноги стали заплетаться, и Фиттко с Йозефом Гурландом фактически втащили его наверх через виноградник. Но даже в таких условиях Беньямина не покидала его подчеркнутая учтивость. «С вашего любезного разрешения, я хотел бы...» — так он обращался

ные и церковные документы, а также последнее письмо самого Беньямина — противоречат друг другу. Согласно Фиттко, ее группа отправилась в путь 26 сентября.

20. Fittko, "The Story of Old Benjamin," 950, 948.

21. Об этом Лиза Фиттко сообщила авторам данной книги в ходе телефонного разговора, состоявшегося незадолго до того, как она умерла в Чикаго в 2005 г.

к Фиттко с просьбой передать ему помидор во время остановки, сделанной беглецами для того, чтобы перекусить и утолить жажду. К вечеру 26 сентября, когда вдали уже показался Портбоу, Фиттко покинула маленький отряд, который немного вырос в численности после встречи с другими беглецами, включая Карину Бирман и трех ее спутников²². Когда Бирман в этот «чрезвычайно жаркий» сентябрьский день впервые увидела Беньямина, он находился на грани сердечного приступа: «...мы бросились кто куда на поиски воды, чтобы помочь больному человеку». Бирман, на которую произвели сильное впечатление его выдержка и бросающаяся в глаза интеллигентность, приняла его за профессора²³.

Поселение Портбоу еще и в 1920-е гг. оставалось маленькой рыбацкой деревней, но стратегическое положение этого местечка на железной дороге между Испанией и Францией привело к тому, что во время испанской гражданской войны оно подвергалось сильным бомбежкам. Беньямин и Гурланды вместе с группой Бирман явились на маленькую испанскую таможню, чтобы им поставили печати, требовавшиеся для проезда через Испанию. По причинам, которые, вероятно, никогда не будут выяснены, испанские власти незадолго до того закрыли границу для нелегальных беглецов из Франции; Беньямину и его спутникам заявили, что их вернут на французскую территорию, где их почти наверняка ожидали интернирование и отправка в концентрационный лагерь. Всю группу под конвоем отправили в маленькую гостиницу *Fonda de Francia*, где оставили под нестрогой охраной. Как вспоминала Бирман, она услышала «громкий стук в одном из соседних номеров»; отправившись выяснить, в чем дело, она обнаружила Беньямина, «упавшего духом и совершенно изнуренного физически. Он заявил ей, что не имеет ни малейшего желания ни возвращаться на границу, ни покидать гостиницу. Когда я возразила, что у нас нет [иного] выхода, помимо подчинения, он объявил, что у него выход есть. Он намекнул, что у него имеются пилюли с очень эффективным ядом. Он лежал полуголый на кровати, положив на маленький столик рядом с собой очень красивые большие золотые дедовские часы с открытой крышкой и не отры-

22. Впоследствии Фиттко играла роль проводника для других групп беженцев, после чего сама бежала из Франции в 1941 г. Она прожила восемь лет в Гаване, а затем обосновалась в Чикаго, где зарабатывала на жизнь себе и своему мужу в качестве переводчика, секретаря и администратора. См. ее краткую биографию, составленную ее племянницей Кэтрин Стодольски: <http://catherine.stodolsky.userweb.mwn.de>.

23. См.: Birman, *The Narrow Foothold*, 3.

вая взгляда от их стрелок»²⁴. До захода солнца и вечером к нему приходили один или два местных врача, пустившие ему кровь и делавшие уколы. В ночь на 26 сентября он сочинил записку, адресованную сопровождавшей его в бегстве Хенни Гурланд, а также Адорно. Текст этой записки был восстановлен по памяти Хенни Гурланд, которая сочла необходимым уничтожить оригинал:

В ситуации, не оставляющей выхода, мне не остается ничего иного, кроме как покончить со всем. Моя жизнь придет к завершению здесь, в маленькой пиренейской деревушке, где никто не знает меня.

Прошу вас передать мои мысли моему другу Адорно и объяснить ему, в какой ситуации я оказался. Оставшегося мне времени не хватит для того, чтобы написать все письма, которые бы мне хотелось написать (GB, 6:483).

Ближе к утру Беньямин принял большую дозу морфия; как впоследствии вспоминал Артур Кестлер, в момент отбытия из Марселя у Беньямина было достаточно морфия для того, чтобы «убить лошадь».

Начиная с того момента свидетельства о последних часах Вальтера Беньямина и о судьбе его тела становятся фактически бесполезными в качестве исторического источника. Впоследствии Хенни Гурланд вспоминала, что Беньямин срочно позвал ее к себе ранним утром 27 сентября²⁵. Она нашла Беньямина в его комнате; он попросил ее говорить всем, что его состояние является результатом его болезни, и отдал ей записку, после чего потерял сознание. Гурланд вызвала доктора, который заявил, что медицина здесь бессильна. Согласно Гурланд, смерть Беньямина наступила днем 27 сентября. Как вспоминала Бирман, известие о смерти Беньямина вызвало в городке возмущение; было сделано несколько срочных звонков — возможно, в консульство США в Барселоне, поскольку у Беньямина имелась американская въездная виза. Когда группа Бирман днем 27 сентября приступила в отеле к обеду, через столовую прошел священник во главе группы примерно из 20 монахов, которые несли свечи и пели слова мессы. «Нам сказали, что они пришли из соседнего монастыря, чтобы прочесть заупокойную молитву над телом профессора Беньямина и похоронить его»²⁶.

24. Birman, Op. cit., 5.

25. Многие дальнейшие подробности основываются на письме Хенни Гурланд, написанном в октябре 1940 г.; см.: GS, 5:1195–1196.

26. Birman, *The Narrow Foothold*, 9.

Свидетельство о смерти, выданное муниципальными властями, подтверждает лишь отдельные детали воспоминаний Гурланд и в своих ключевых моментах противоречит записи в церковной метрической книге²⁷. Покойный именуется в нем как «д-р Беньямин Вальтер», а причиной его смерти названо кровоизлияние в мозг. Не исключено, что испанский врач, осматривавший Беньямина, исполнил его последнюю волю и скрыл факт самоубийства, а может быть, его подкупили другие беженцы, стремившиеся избежать какого-либо шума, который привел бы к их возвращению во Францию. Но в то же время смерть Беньямина датируется в этом документе 26 сентября.

На следующий день граница снова была открыта.

Прежде чем покинуть Портбоу, Хенни Гурланд выполнила последние указы Беньямина и уничтожила ряд находившихся при нем писем, а вместе с ними, возможно, непреднамеренно была уничтожена и рукопись, которую он нес через Пиренеи. Кроме того, она заплатила за пятилетнюю аренду склепа для его тела на местном кладбище. В муниципальном свидетельстве о смерти значится, что погребение состоялось 27 сентября; однако, согласно записи в церковной книге, это произошло 28 сентября. Возможно, из-за того, что в свидетельстве о смерти имя Беньямина было перепутано с фамилией, его похоронили на католической части кладбища, а не на участке, отведенном для иноверцев (не говоря уже о самоубийцах). Муниципальные и церковные документы противоречат друг другу и в том, что касается номера арендованного склепа, хотя на одном из возможных мест захоронения был установлен небольшой памятник. Много лет спустя в городском архиве, также под именем «Беньямин Вальтер», был найден список вещей Беньямина. В нем упоминаются кожаный портфель (без рукописи), мужские часы, трубка, шесть фотографий и рентгеновский снимок, очки, несколько писем, газет и прочих бумаг и немного денег.

По завершении пятилетней аренды в склепе на кладбище Портбоу было погребено новое тело. Останки Беньямина, по всей вероятности, были перезахоронены в общей могиле. Сейчас на кладбище установлен памятник работы израильского художника Дани Каравана, обращенный к маленькой гавани Портбоу и расстилающемуся за ней Средиземному морю.

27. Факсимиле этого и других документов, относящихся к данным событиям, см.: Scheurmann and Scheurmann, eds., *Für Walter Benjamin*, 101ff.

Эпилог

Имя Вальтера Беньямина стало забываться европейцами задолго до того, как он в 1940 г. покончил с собой на испанской границе — иными словами, и он пал жертвой того же забвения, на которое нацистский режим обрек свободную немецкую мысль. В годы войны его репутации не давал угаснуть — пусть это был лишь тусклый огонек — небольшой круг его друзей и поклонников. Такие многозначительные жесты, как посвящение Беньямину «Философских фрагментов» Адорно и Хоркхаймера в 1944 г. (речь идет о первом варианте книги, три года спустя изданной в Амстердаме под названием «Диалектика Просвещения»), были замечены лишь крохотной аудиторией. В послевоенные годы художники и интеллектуалы по обе стороны новой границы между двумя немецкими государствами стремились отыскать преемственность между яркой культурой 1920-х гг., фактически задушенной в годы Третьего рейха, и своей собственной культурой. Двухтомный сборник произведений Беньямина, изданный в 1955 г. Теодором В. Адорно, ознаменовал собой возвращение работ его друга к читателю и стал еще одним мостом, ведущим к веймарской культуре. Хотя выход этого сборника из печати не повлек за собой широкого публичного обсуждения, он был замечен и изучен рядом писателей и критиков. Так, Уве Йонсон, которого можно назвать самым значительным немецким романистом второй половины XX в., сумел контрабандой переправить изданный Адорно двухтомник в ГДР, где Беньямин считался недостаточно ортодоксальным автором.

И лишь в середине 1960-х гг., на волне студенческого движения в ФРГ, произведения Беньямина, по крайней мере некоторые их идеи, начали служить топливом для бурных дискуссий. В июле 1967 г. писатель Хельмут Хайсенбюттель выступил в известном журнале *Merkur* с нападками на Адорно, подвергнув критике то, как он обращается с наследием Беньямина, и эти обвинения были подхвачены другими голосами. И западно-берлинский журнал *Alternative*, и Ханна Арендт при полном несходстве их политических позиций еще громче озвучили вы-

двинутое Хайсенбюттелем обвинение в том, что подход Адорно к изданию работ Беньямина фактически является продолжением той цензуры, которой их подвергал нью-йоркский Институт социальных исследований в конце 1930-х гг. То, что началось как филологическая дискуссия, превратилось в ожесточенную войну миров по поводу употребления марксистской политики на Западе — и злоупотребления ею. После 1968 г., когда в Западной Германии «восстановился порядок», стало очевидно, что этот нерешенный и неразрешимый спор, едва затронув текущую политику, в то же время пробудил интерес к творчеству Беньямина. В Германии начиная с 1974 г. у читателей появилась возможность оценить «прихотливую мозаику» беньяминовских трудов благодаря семитомному изданию *Gesammelte Schriften* (Полное собрание сочинений) под редакцией Рольфа Тидемана, ученика Адорно, назначенного им в качестве своего наследника в издательской области, и Германа Швеппенхойзера. В англоговорящем мире прошло десятилетие между появлением первых двух антологий избранных эссе Беньямина: *Illuminations* («Озарения») 1969 г. (под редакцией Ханны Арендт) и *Reflections* («Размышления») 1978 г. (под редакцией Питера Деметца). В промежутке между ними лондонское издательство *New Left Books* выпустило переводы книги Беньямина о барочной драме и больших отрывков из его труда «Шарль Бодлер: лирический поэт в эпоху высокого капитализма», а также сборник его эссе о Брехте. Начиная с этого момента различные журналы стали издавать переводы и других важнейших эссе Беньямина, делая их доступными для англоязычных исследователей. Наконец, начиная с 1996 г. в *Harvard University Press* был издан четырехтомник *Selected Writings* (Избранные произведения), который стал первым представительным, хотя далеко не полным, собранием произведений Беньямина в переводе на английский.

К началу 1980-х гг. стабильный поток популярных и научных работ, посвященных Беньямину, принял масштабы наводнения. Его биография оказалась окружена мифом, а в широких кругах утвердился напыщенный образ Вальтера Беньямина как образцового затворника и неудачника. Трудями комментаторов, набросившихся на различные аспекты его мысли, на свет появилось множество Беньяминов. Рядом с неогегельянцем Франкфуртской школы, неспособным решиться на политические действия, выросла фигура огнедышащего коммуниста; еврейский мистик мессианского толка вступил в неловкое противостояние с ассимилированным евреем — космополитом, замороженным христианской теологией; литературный деконструктивист *avant la lettre*, заблудившийся в зеркальном зале, ко-

торый мы зовем языком, сосуществовал рядом с социальным теоретиком, провозглашавшим тотальное обновление механизмов чувственного восприятия посредством реформы современных СМИ. Жизнь и творчество Вальтера Беньямина дают материал для любого из этих построений, но при этом всех их пронизывает способность этого материала сопротивляться застою и окаменению. Как отмечал Беньямин в «Улице с односторонним движением», «для великих законченные труды значат меньше, чем фрагменты, к работе над которыми они возвращаются на протяжении всей жизни. Потому что только слабый, рассеянный испытывает ни с чем не сравнимую радость от завершения и тем самым чувствует, что вернулся к жизни». Будущие поколения читателей, вне всякого сомнения, найдут и своего собственного Беньямина при встрече с тем «противоречивым и текучим целым», каким является его творчество.

Список сокращений

Следующие сокращения используются при указаниях на источники в тексте книги. Полную библиографическую информацию см. в Избранной библиографии.

AP	Benjamin, <i>The Arcades Project</i>
BA	Benjamin and Theodor W. Adorno, <i>The Complete Correspondence</i>
BC	Benjamin, <i>Berlin Childhood around 1900</i>
BG	Benjamin and Gretel Adorno, <i>Correspondence</i>
BS	Benjamin and Scholem, <i>Correspondence</i>
C	Benjamin, <i>Correspondence</i>
EW	Benjamin, <i>Early Writings</i>
GB	Benjamin, <i>Gesammelte Briefe</i>
GS	Benjamin, <i>Gesammelte Schriften</i>
LY	Scholem, <i>Lamentations of Youth</i>
MD	Benjamin, <i>Moscow Diary</i>
OH	Benjamin, <i>On Hashish</i>
SF	Scholem, <i>Walter Benjamin: The Story of a Friendship</i>
SW	Benjamin, <i>Selected Writings</i>
БД	Беньямин, <i>Берлинское детство на рубеже веков</i>
МВ	Беньямин, <i>Маски времени</i>
МД	Беньямин, <i>Московский дневник</i>
Озарения	Беньямин, <i>Озарения</i>
ПИ	Беньямин, <i>Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости</i>
ПНД	Беньямин, <i>Происхождение немецкой барочной драмы</i>
УОД	Беньямин, <i>Улица с односторонним движением</i>
УП	Беньямин, <i>Учение о подобии</i>
ФК	Беньямин, <i>Франц Кафка</i>
ШД	Шолем, <i>Вальтер Беньямин — история одной дружбы</i>

Избранная библиография

Произведения Вальтера Бенямина

- Das Adressbuch des Exils, 1933–1940*, ed. Christine Fischer-Defoy (Leipzig: Koehler & Amelang, 2006).
- The Arcades Project*, trans. Howard Eiland and Kevin McLaughlin (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999).
- Berlin Childhood around 1900*, trans. Howard Eiland (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2006).
- Walter Benjamin and Theodor W. Adorno, *The Complete Correspondence, 1928–1940*, trans. Nicholas Walker (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999).
- Walter Benjamin and Gretel Adorno, *Correspondence 1930–1940*, trans. Wieland Hoban (Cambridge: Polity Press, 2008).
- The Correspondence of Walter Benjamin*, trans. M. R. and E. M. Jacobson (Chicago: University of Chicago Press, 1994).
- Walter Benjamin and Gershom Scholem, *The Correspondence of Walter Benjamin and Gershom Scholem, 1932–1940*, trans. Gary Smith and Andre Lefevere (New York: Schocken Books, 1989).
- Early Writings, 1910–1917*, ed. Howard Eiland (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2011).
- Gesammelte Briefe*, 6 vols., ed. Christoph Gödde, Henri Lonitz (Frankfurt: Suhrkamp Verlag, 1995–2000).
- Gesammelte Schriften*, 7 vols., ed. Rolf Tiedemann, Hermann Schweppenhäuser (Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1974–1989).
- Moscow Diary*, ed. Gary Smith (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1986).
- On Hashish*, ed. Howard Eiland (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2006).
- Selected Writings*, 4 vols., Michael W. Jennings, general ed. (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1996–2003).
- Volume 1: *1913–1926*, ed. Michael W. Jennings and Marcus Bullock.
- Volume 2: *1927–1934*, ed. Michael W. Jennings, Howard Eiland, and Gary Smith.
- Volume 3: *1935–1938*, ed. Michael W. Jennings and Howard Eiland.
- Volume 4: *1938–1940*, ed. Michael W. Jennings and Howard Eiland.
- Werke und Nachlaß: Kritische Gesamtausgabe*, Christoph Gödde, Henri Lonitz, general eds. (Berlin: Suhrkamp Verlag, 2008–).
- Volume 3: *Der Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik*, ed. Uwe Steiner.
- Volume 8: *Einbahnstraße*, ed. Detlev Schöttker.
- Volume 10: *Deutsche Menschen*, ed. Momme Brodersen.
- Volume 13: *Kritiken und Rezensionen*, ed. Heinrich Kaulen.
- Volume 16: *Das Kunstwerk im Zeitalter seiner Technischen Reproduzierbarkeit*, ed. Burkhardt Lindner.
- Volume 19: *Über den Begriff der Geschichte*, ed. Gérard Raulet.
- “The Work of Art in the Age of Its Technological Reproducibility” (first version), trans. Michael W. Jennings, *Grey Room* 39 (Spring 2010).

- The Work of Art in the Age of Its Technological Reproducibility, and Other Writings on Media*, ed. Michael W. Jennings, Brigid Doherty, and Thomas Y. Levin (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2008).
- The Writer of Modern Life: Essays on Charles Baudelaire*, ed. Michael W. Jennings (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2006).
- Берлинское детство на рубеже веков* (Москва: Ad Marginem, Кабинетный ученый, 2012).
- Маски времени. Эссе о культуре и литературе* (Санкт-Петербург: Симпозиум, 2004).
- Московский дневник* (Москва: Ad Marginem, 2012).
- Озарения* (Москва: Мартис, 2000).
- Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости* (Москва: Медиум, 1996).
- Происхождение немецкой барочной драмы* (Москва: Аграф, 2002).
- Улица с односторонним движением* (Москва: Ad Marginem, 2012).
- Учение о подобии* (Москва: Российский государственный гуманитарный университет, 2012).
- Франц Кафка* (Москва: Ad Marginem, 2000).

Первичные источники

- Theodor W. Adorno, *Aesthetic Theory*, trans. Robert Hullot-Kentor (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1997).
- , *In Search of Wagner*, trans. Rodney Livingstone (London: Verso, 1981).
- , *Kierkegaard: Construction of the Aesthetic*, trans. Robert Hullot-Kentor (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1989).
- , *Minima Moralia*, trans. Edmund Jephcott (London: Verso, 1978).
- , *Night Music: Essays on Music 1928–1962*, trans. Wieland Hoban (London: Seagull, 2009).
- , *Notes to Literature*, 2 vols., trans. Shierry Weber Nicholsen (New York: Columbia University Press, 1991–1992).
- , *Prisms*, trans. Samuel and Shierry Weber (Cambridge, MA: MIT Press, 1981).
- , *Über Walter Benjamin*, rev. ed. (Frankfurt: Suhrkamp Verlag, 1990).
- Theodor W. Adorno, Max Horkheimer, *Briefwechsel*, vol. 1, 1927–1937 (Frankfurt: Suhrkamp Verlag, 2003).
- Guillaume Apollinaire, *Selected Writings*, trans. Roger Shattuck (New York: New Directions, 1972).
- Louis Aragon, *Nightwalker (Le paysan de Paris)*, trans. Frederick Brown (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1970).
- , *Une vague de rêves* (Paris: Seghers, 1990).
- Hannah Arendt, *Men in Dark Times* (New York: Harcourt, 1968).
- Hannah Arendt, Martin Heidegger, *Briefe, 1925–1975* (Frankfurt: Klostermann, 1998).
- Hugo Ball, *Die Flucht aus der Zeit* (Lucerne: Josef Stocker Verlag, 1946).
- Georges Bataille et al., *The College of Sociology, 1937–1939*, ed. Denis Hollier, trans. Betsy Wing (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1988).
- Charles Baudelaire, *Intimate Journals*, trans. Christopher Isherwood, with an introduction by T. S. Eliot (1930; rpt. Westport, CT: Hyperion, 1978).
- , *Les fleurs du mal*, trans. Richard Howard (Boston: David Godine, 1983).
- , *Oeuvres complètes*, ed. Marcel A. Ruff (Paris: Seuil, 1968).
- , *Selected Writings on Art and Literature*, trans. P. E. Charvet (London: Penguin, 1972).

- Henri Bergson, *Creative Evolution*, trans. Arthur Mitchell (Mineola, NY: Dover, 1998).
- , *Matter and Memory*, trans. N. M. Paul and W. S. Palmer (New York: Zone, 1991).
- Carina Birman, *The Narrow Foothold* (London: Hearing Eye, 2006).
- Ernst Bloch, *Heritage of Our Times*, trans. Neville Plaice and Stephen Plaice (Berkeley: University of California Press, 1990).
- , "Italien und die Porosität", in *Werkausgabe*, vol. 9, *Literarische Aufsätze* (Frankfurt: Suhrkamp Verlag, 1965).
- , *The Spirit of Utopia*, trans. Anthony Nassar (Stanford, CA: Stanford University Press, 2000).
- Bertolt Brecht, *Arbeitsjournal* (Frankfurt: Suhrkamp Verlag, 1973).
- , *Brecht on Theatre*, ed. and trans. John Willett (New York: Hill and Wang, 1964).
- , *Poems 1913–1956*, ed. John Willett and Ralph Manheim (New York: Methuen, 1979).
- André Breton, "Manifesto of Surrealism", in *Manifestoes of Surrealism*, trans. Richard Seaver and Helen R. Lane (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1969).
- , *Nadja*, trans. Richard Howard (New York: Grove, 1960).
- Max Brod, *Franz Kafka: A Biography*, trans. G. Humphreys Roberts and Richard Winston (New York: Schocken Books, 1963).
- Martin Buber, *On Judaism*, ed. Nahum Glatzer (New York: Schocken Books, 1967).
- Hermann Cohen, *Kants Theorie der Erfahrung* (Berlin: Bruno Cassirer, 1918).
- , *Religion of Reason: Out of the Sources of Judaism*, trans. S. Kaplan (New York: Frederick Ungar, 1995).
- Johann Gottlieb Fichte, *The Science of Knowledge*, trans. Peter Heath and John Lachs (1970; rpt. Cambridge: Cambridge University Press, 1982).
- Lisa Fittko, "The Story of Old Benjamin", in Walter Benjamin, *The Arcades Project*, trans. Howard Eiland and Kevin McLaughlin (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999).
- Stefan George, *Gesamt-Ausgabe der Werke*, 15 vols. (Berlin: Georg Bondi, 1927–1934).
- André Gide, *Pretexts: Reflections on Literature and Morality*, trans. Justin O'Brien (New York: Meridian, 1959).
- Johann Wolfgang von Goethe, *Conversations with Eckermann, 1823–1832*, trans. John Oxenford (San Francisco: North Point Press, 1984).
- , *Elective Affinities*, trans. R. J. Hollingdale (London: Penguin Classics, 1978).
- Moritz Goldstein, "Deutsch-Jüdischer Parnaß", in *Der Kunstwart* 25, vol. 11 (03.1912).
- Friedrich Gundolf, *Goethe* (Berlin: Georg Bondi, 1916).
- Eric Gutkind, *The Body of God: First Steps toward an Anti-Theology*, ed. Lucie B. Gutkind and Henry Le Roy Finch (New York: Horizon Press, 1969).
- Willy Haas, *Gestalten der Zeit* (Berlin: Kiepenhauer, 1930).
- Adolf von Harnack, *Lehrbuch der Dogmengeschichte*, 3 vols. (Freiburg: J. C. B. Mohr, 1888–1890).
- Martin Heidegger, *Being and Time*, trans. John Macquarrie and Edward Robinson (New York: Harper and Row, 1962).
- , *Poetry, Language, Thought*, trans. Albert Hofstadter (New York: Harper, 1971).
- Franz Hessel, "Die schwierige Kunst spazieren zu gehen", in *Ermunterung zu Genuß, Sämtliche Werke*, vol. 2 (Hamburg: Igel Verlag, 1999).
- Friedrich Hölderlin, *Essays and Letters on Theory*, trans. Thomas Pfau (Albany: State University of New York Press, 1988).
- , *Selected Poems*, trans. Christopher Middleton (Chicago: University of Chicago Press, 1972).
- Max Horkheimer, *Briefwechsel, 1927–1969* (Frankfurt: Suhrkamp Verlag, 2005).
- , *Critical Theory: Selected Essays*, trans. Matthew J. O'Connell et al. (New York: Continuum, 1995).

- Alexander von Humboldt, *Schriften zur Sprache*, Michael Böhler, "Nachwort" (Stuttgart: Reclam, 1973).
- Franz Kafka, *The Blue Octavo Notebooks*, trans. Ernst Kaiser and Eithne Wilkins (1954; rpt. Cambridge: Exact Change, 1991).
- , *The Castle*, trans. Mark Harman (New York: Schocken Books, 1998).
- , *Complete Stories*, various translators (New York: Schocken Books, 1995).
- Immanuel Kant, *Critique of Pure Reason*, trans. Norman Kemp Smith (1929; rpt. New York: St. Martin's Press, 1965).
- Ludwig Klages, *Sämtliche Werke*, vol. 3 (Bonn: Bouvier, 1974).
- Karl Korsch, *Marxism and Philosophy* (New York: Monthly Review Press, 1970).
- Siegfried Kracauer, *Schriften*, 9 vols., ed. Inka Müller-Bach et al. (Berlin: Suhrkamp Verlag, 2011).
- , "Travel and Dance", "Lad and Bull", "Photography", "Those Who Wait", and "On the Writings of Walter Benjamin", in *The Mass Ornament*, trans. Thomas Y. Levin (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1995).
- , *Werke in neun Bänden*, vol. 7, *Romane und Erzählungen*, ed. Inka Müller-Bach (Frankfurt: Suhrkamp, 2004).
- Werner Kraft, *Spiegelung der Jugend* (Frankfurt: Fischer, 1996).
- Asja Lacin, *Revolutionär im Beruf: Berichte über proletarisches Theater, über Meyerhold, Brecht, Benjamin und Piscator* (München: Rogner & Bernhard, 1971).
- Georg Lukács, *History and Class Consciousness: Studies in Marxist Dialectics*, trans. Rodney Livingstone (Cambridge, MA: MIT Press, 1971).
- , "On Walter Benjamin", *New Left Review* 110 (July–August 1978).
- , *The Theory of the Novel*, trans. Anna Bostock (Cambridge, MA: MIT Press, 1974).
- André Malraux, *Man's Fate*, trans. Haakon M. Chevalier (New York: Random House, 1969).
- Thomas Mann, "Die Entstehung des *Doktor Faustus*" (1949), in *Doktor Faustus* (Frankfurt: S. Fischer, 1967).
- Detlef Mertins and Michael W. Jennings, eds., *G: An Avant-Garde Journal of Art, Architecture, Design, and Film, 1923–1926* (Los Angeles: Getty Research Institute, 2010).
- László Moholy-Nagy, *Painting—Photography—Film* (Cambridge, MA: MIT Press, 1969).
- , "Production/Reproduction", in *Photography in the Modern Era: Europe an Documents and Critical Writings*, ed. Christopher Phillips (New York: Metropolitan Museum of Art, 1989).
- Novalis (Friedrich von Hardenberg), *Werke in Einem Band* (Berlin: Aufbau, 1983).
- Marcel Proust, *On Art and Literature*, trans. Sylvia Townsend Warner (1957; rpt. New York: Carroll and Graf, 1984).
- Florens Christian Rang, *Deutsche Bauhütte: Ein Wort an uns Deutsche über mögliche Gerechtigkeit gegen Belgien und Frankreich und zur Philosophie der Politik* (Leipzig: E. Arnold, 1924).
- , *Historische Psychologie des Karnevals [1927–1928]* (Berlin: Brinkmann und Bose, 1983).
- Gustav Regler, *The Owl of Minerva*, trans. Norman Denny (New York: Farrar, Straus and Cudahy, 1959).
- Bernhard Reich, *Im Wettlauf mit der Zeit* (Berlin: Henschel Verlag, 1970).
- Alois Riegl, *Late Roman Art Industry*, trans. Rolf Winkes (Rome: Giorgio Bretschneider, 1985).
- Franz Rosenzweig, *The Star of Redemption*, trans. W. Hallo (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1971).
- Max Rychner, "Erinnerungen", in *Über Walter Benjamin*, ed. T. W. Adorno et al. (Frankfurt: Suhrkamp Verlag, 1968).

- Hans Sahl, *Memoiren eines Moralisten: Das Exil im Exil* (München: Luchterhand, 2008).
- , “Walter Benjamin in the Internment Camp” (1966), trans. Deborah Johnson, in *On Walter Benjamin: Critical Essays and Recollections*, ed. Gary Smith (Cambridge, MA: MIT Press, 1988).
- Paul Scheerbarth, *Glass Architecture*, and Bruno Taut, *Alpine Architecture*, trans. James Palmes and Shirley Palmer (New York: Praeger, 1972).
- , *Lesabéndio: Ein asteroiden-Roman* (München: Müller, 1913).
- Friedrich Schlegel, *Friedrich Schlegel: Kritische Ausgabe seiner Werke*, 35 vols., ed. Ernst Behler, Jean-Jacques Anstett, Hans Eichner (Paderborn: Schöningh, 1958–2002).
- , *Lucinde and the Fragments*, trans. Peter Firchow (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1971).
- Carl Schmitt, *Hamlet or Hecuba*, trans. David Pan and Jennifer R. Rust (New York: Telos Press, 2009).
- , *Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty*, trans. George Schwab (Chicago: University of Chicago Press, 2006).
- Gershom Scholem, *From Berlin to Jerusalem: Memories of My Youth*, trans. Harry Zohn (New York: Schocken Books, 1980).
- , *Lamentations of Youth: The Diaries of Gershom Scholem, 1913–1919*, trans. Anthony David Skinner (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2007).
- , *Major Trends in Jewish Mysticism* (New York: Schocken Books, 1941).
- , *Tagebücher 1913–1917* (Frankfurt: Jüdischer Verlag, 1995).
- , *Walter Benjamin: The Story of a Friendship*, trans. Harry Zohn (New York: Schocken Books, 1981).
- , “Walter Benjamin and His Angel” (1972), in *On Walter Benjamin: Critical Essays and Recollections*, ed. Gary Smith (Cambridge, MA: MIT Press, 1988).
- , “Walter Benjamin und Felix Noeggerath”, *Merkur*, February 1981.
- Detlev Schöttker, Erdmut Wizisla, *Arendt und Benjamin: Texte, Briefe, Dokumente* (Frankfurt: Suhrkamp Verlag, 2006).
- Jean Selz, “Benjamin in Ibiza”, in *On Walter Benjamin: Critical Essays and Recollections*, ed. Gary Smith (Cambridge, MA: MIT Press, 1988).
- Tobias Smollett, *Travels through France and Italy* (London: John Lehmann, 1949).
- Alfred Sohn-Rethel, *Warenform und Denkform* (Frankfurt: Suhrkamp Verlag, 1978).
- Georges Sorel, *Reflections on Violence*, trans. T. E. Hulme (London: Collier-Macmillan, 1950).
- Gabrielle Tergit, *Käsebieter erobern den Kurfürstendamms* (Frankfurt: Krüger, 1977).
- Sandra Teroni, Wolfgang Klein, *Pour la défense de la culture: Les textes du Congrès international des écrivains, Paris, Juin 1935* (Dijon: Editions Universitaires de Dijon, 2005).
- Erich Unger, *Vom Expressionismus zum Mythos des Hebräertums: Schriften 1909 bis 1931*, ed. Manfred Voigts (Würzburg: Königshausen & Neumann, 1992).
- Paul Valéry, *The Art of Poetry*, trans. Denise Folliot (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1958).
- , *Leonardo, Poe, Mallarmé*, trans. Malcolm Cowley and James R. Lawler (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1972).
- Johann Jakob Volkmann, *Historisch-Kritische Nachrichten aus Italien, 1770–71*, cited in Gunter Grimm, “Bäume, Himmel, Wasser—ist das nicht alles wie gemalt? Italien, das Land deutscher Sehnsucht”, *Stuttgarter Zeitung*, 4.07.1987.
- Ernest Wichner, Herbert Wiesner, *Franz Hessel: Nur was uns anschaut, sehen wir* (Berlin: Literaturhaus Berlin, 1998).
- Charlotte Wolff, *Hindsight* (London: Quartet Books, 1980).
- Karl Wolfskehl, *Gesammelte Werke*, vol. 2 (Hamburg: Claassen, 1960).
- Gustav Wyneken, *Schule und Jugendkultur*, 3rd ed. (Jena: Eugen Diederich, 1919).
- Теодор В. Адорно, *Эстетическая теория* (Москва: Республика, 2001).

- Ханна Арендт, *Люди в темные времена* (Москва: Московская школа политических исследований, 2003).
- Ханна Арендт и Мартин Хайдеггер, *Письма 1925–1975 и другие свидетельства* (Москва: Издательство Института Гайдара, 2015).
- Анри Бергсон, *Творческая эволюция. Материя и память* (Минск: Харвест, 1999).
- Шарль Бодлер, *Мое обнаженное сердце* (Санкт-Петербург: Лимбус-Пресс, 2014).
- Шарль Бодлер, *Об искусстве* (Москва: Искусство, 1986).
- Шарль Бодлер и др., *Искусственный рай. Клуб любителей гашиша* (Москва: Аграф, 1997).
- Андре Бретон, “Манифест сюрреализма [1924]”, в *Называть вещи своими именами. Программные выступления мастеров западноевропейской литературы XX века* (Москва: Прогресс, 1986).
- Андре Бретон, “Надя”, в *Антология французского сюрреализма* (Москва: Гитис, 1994).
- Макс Брод, *О Франце Кафке* (Санкт-Петербург: Академический проект, 2000).
- Поль Валери, *Об искусстве* (Москва: Искусство, 1976).
- И. В. Гёте, *Собрание сочинений в 10 т.* (Москва: Художественная литература, 1975).
- Гуго фон Гофмансталь, *Избранное* (Москва: Искусство, 1995).
- Франц Кафка, *Собрание сочинений в 5 т.* (Москва: Азбука, Азбука-Аттикус, 2012).
- Коллеж социологии, 1937–1939* (Санкт-Петербург: Наука, 2004).
- Джеймс Джойс, *Улисс* (Москва: Иностранка, 2014).
- Иммануил Кант, *Сочинения в 4 т. на немецком и русском языках*. Том II: “Критика чистого разума” (Москва: Наука, 2006).
- Карл Корш, *Марксизм и философия* (Ленинград—Москва: Книга, 1924).
- Георг Лукач, *История и классовое сознание* (Москва: Логос-Альтера, 2003).
- Георг Лукач, “Теория романа (Опыт историко-философского исследования форм большой эпики)”, *Новое литературное обозрение*. 1994. № 9, 19–78.
- Томас Манн, “История ‘Доктора Фаустуса’. Роман одного романа”, в Томас Манн, *О себе и собственном творчестве*. Статьи (Москва: Государственное издательство художественной литературы, 1960).
- Фририх Ницше, *Собрание сочинений в 5 т.* (Санкт-Петербург: Азбука, 2011).
- Марсель Пруст, *По направлению к Свану* (Москва: Художественная литература, 1973).
- Жорж Сорель, *Размышления о насилии* (Москва: Фаланстер, 2013).
- Мартин Хайдеггер, *Бытие и время* (Москва: Ad Marginem, 1997).
- Карл Шмитт, *Политическая теология* (Москва: Канон-Пресс-И, 2000).
- Гершом Шолом, *Вальтер Беньямин — история одной дружбы* (Москва: Грюндрисс, 2014).

Вторичные источники

- Theodor W. Adorno et al., ed., *Über Walter Benjamin* (Frankfurt: Suhrkamp Verlag, 1968).
- Giorgio Agamben, *Homo Sacer: Sovereignty and Bare Life* (Stanford, CA: Stanford University Press, 1998).
- , *Infancy and History*, trans. Liz Heron (London: Verso, 1993).
- , *Potentialities*, ed. and trans. Daniel Heller-Roazen (Stanford, CA: Stanford University Press, 1999).
- , *The Signature of All Things: On Method*, trans. Luca D’Isanto with Kevin Attell (New York: Zone, 2009).

- , *Stanzas*, trans. Ronald L. Martinez (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1993).
- , *The Time that Remains: A Commentary on the Letter to the Romans*, trans. Patricia Dailey (Stanford, CA: Stanford University Press, 2005).
- Robert Alter, *Necessary Angels* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1991).
- H. W. Belmore, "Some Recollections of Walter Benjamin", *German Life and Letters* 28, no. 2 (January 1975).
- Andrew Benjamin, *Style and Time* (Evanston, IL: Northwestern University Press, 2006).
- , ed., *The Problems of Modernity: Adorno and Benjamin* (London: Routledge, 1989).
- and Peter Osborne, eds., *Walter Benjamin's Philosophy: Destruction and Experience* (Manchester: Clinamen, 2000).
- Hilde Benjamin, *Georg Benjamin*, 2nd ed. (Leipzig: S. Hirzel Verlag, 1982).
- Russell A. Berman, *Modern Culture and Critical Theory* (Madison: University of Wisconsin Press, 1989).
- Ernst Bloch, "Recollections of Walter Benjamin" (1966), trans. Michael W. Jennings, in *On Walter Benjamin: Critical Essays and Recollections*, ed. Gary Smith (Cambridge, MA: MIT Press, 1988).
- Norbert Bolz, Bernd Witte, *Passagen: Walter Benjamins Urgeschichte des XIX Jahrhunderts* (München: Wilhelm Fink, 1994).
- Momme Brodersen, *Walter Benjamin: A Biography*, trans. Malcolm R. Green and Ingrida Ligera (London: Verso, 1996).
- Susan Buck-Morss, *The Dialectics of Seeing: Walter Benjamin and the Arcades Project* (Cambridge, MA: MIT Press, 1989).
- , *The Origin of Negative Dialectics: Theodor W. Adorno, Walter Benjamin, and the Frankfurt Institute* (New York: Free Press, 1977).
- Eduardo Cadava, *Words of Light: Theses on the Photography of History* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1997).
- Roberto Calasso, *The Ruin of Kasch*, trans. William Weaver and Stephen Sartarelli (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1994).
- Stanley Cavell, "Benjamin and Wittgenstein: Signals and Affinities", *Critical Inquiry* 25, no. 2 (Winter 1999).
- Howard Caygill, "Benjamin, Heidegger and the Destruction of Tradition", in *Walter Benjamin's Philosophy: Destruction and Experience*, ed. Andrew Benjamin and Peter Osborne (Manchester: Clinamen, 2000).
- , *Walter Benjamin: The Colour of Experience* (New York: Routledge, 1998).
- T. J. Clark, "Should Benjamin Have Read Marx?" *boundary 2* (Spring 2003).
- Gordon Craig, *Germany, 1866–1945* (New York: Oxford University Press, 1980).
- Paul DeMan, "Conclusions: Walter Benjamin's 'The Task of the Translator,'" in Paul DeMan, *Resistance to Theory*, 73–105 (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1986).
- Jacques Derrida, *Acts of Religion*, various translators (New York: Routledge, 2002).
- , "Des tours de Babel," in *Difference in Translation*, ed. and trans. Joseph F. Graham (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1985).
- Michel Despagne, Michael Werner, "Vom Passagen-Projekt zum Charles Baudelaire: Neue Handschriften zum Spätwerk Walter Benjamins", *Deutsche Vierteljahresschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte* 58 (1984).
- M. Dewey, "Walter Benjamins Interview mit der Zeitung *Vecherniaia Moskva*", *Zeitschrift für Slavistik* 30, no. 5 (1985).
- Terry Eagleton, *Walter Benjamin, or Towards a Revolutionary Criticism* (London: New Left Books [Verso], 1981).
- Howard Eiland, "Reception in Distraction", in *Walter Benjamin and Art*, ed. Andrew Benjamin (London: Continuum, 2005).

- , “Superimposition in Walter Benjamin’s *Arcades Project*”, *Telos* 138 (Spring 2007).
- , “Walter Benjamin’s Jewishness”, in *Walter Benjamin and Theology*, ed. Stéphane Symons and Colby Dickinson (forthcoming).
- Richard Ellman, *James Joyce* (New York: Oxford University Press, 1959).
- Richard Faber, Christine Holste, eds., *Der Potsdamer Forte-Kreis: Eine utopische Intellektuellenassoziation zur europäischen Friedenssicherung* (Würzburg: Königshausen & Neumann, 2001).
- Ruth Fabian, Corinna Coulmas, *Die deutsche Emigration in Frankreich nach 1933* (München: K. G. Saur, 1978).
- Simonetta Falasca-Zamponi, *Rethinking the Political: The Sacred, Aesthetic Politics, and the Collège de Sociologie* (Montreal: McGill–Queen’s University Press, 2012).
- Peter Fenves, *Arresting Language: From Leibniz to Benjamin* (Stanford, CA: Stanford University Press, 2002).
- , “Benjamin’s Early Reception in the United States: A Report”, in *Benjamin-Studien* 3 (Paderborn, DE: Fink Wilhelm GmbH, 2014).
- , *The Messianic Reduction: Walter Benjamin and the Shape of Time* (Stanford, CA: Stanford University Press, 2011).
- David S. Ferris, ed., *The Cambridge Companion to Walter Benjamin* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004).
- , ed., *Walter Benjamin: Theoretical Questions* (Stanford, CA: Stanford University Press, 1996).
- Bernd Finkeldey, “Hans Richter and the Constructivist International”, in *Hans Richter: Activism, Modernism, and the Avant-Garde*, ed. Stephen C. Foster (Cambridge, MA: MIT Press, 1998).
- Eli Friedlander, *Walter Benjamin: A Philosophical Portrait* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2012).
- Paul Fry, *The Reach of Criticism* (New Haven, CT: Yale University Press, 1983).
- Werner Fuld, *Walter Benjamin: Zwischen den Stühlen* (Frankfurt: Fischer, 1981).
- Klaus Garber, “Zum Briefwechsel zwischen Dora Benjamin and Gershom Scholem nach Benjamins Tod”, in *Global Benjamin: Internationaler Walter-Benjamin-Kongress 1992*, ed. Klaus Garber, Ludger Rehm (München: Fink, 1999).
- Kurt Gassen, Michael Landmann, eds., *Buch des Dankes an Georg Simmel: Briefe, Erinnerungen, Bibliographie* (Berlin, Dunckner und Humboldt, 1958).
- J. F. Geist, *Arcades: The History of a Building Type*, trans. Jane Newman and John Smith (Cambridge, MA: MIT Press, 1983).
- Wil van Gerwen, “Angela Nova: Biografische achtergronden bij Agesilaus Santander”, *Benjamin Journal* 5 (Fall 1997).
- , “Walter Benjamin auf Ibiza: Biographische Hintergründe zu ‘Agesilaus Santander’”, in *Global Benjamin: Internationaler Walter-Benjamin-Kongress 1992*, ed. Klaus Garber, Ludger Rehm (München: Fink, 1999).
- Nicola Gess, “‘Schöpferische Innervation der Hand’: Zur Gestensprache in Benjamins ‘Probleme der Sprachsoziologie’”, in *Benjamin und die Anthropologie*, ed. Carolin Duttlinger, Ben Morgan, Anthony Phelan (Freiburg: Rombach, 2011).
- Davide Giuriato, *Mikrographien: Zu einer Poetologie des Schreibens in Walter Benjamins Kindheitserinnerungen, 1932–1939* (München: Wilhelm Fink, 2006).
- Jürgen Habermas, “Walter Benjamin: Consciousness-Raising or Rescuing Critique (1972)”, in Habermas, *Philosophical-Political Profiles*, trans. Frederick G. Lawrence (Cambridge, MA: MIT Press, 1983).
- Werner Hamacher, “Afformative, Strike”, trans. Dana Hollander, in *Walter Benjamin’s Philosophy: Destruction and Experience*, ed. Andrew Benjamin and Peter Osborne (London: Routledge, 1994).
- , *Premises: Essays on Philosophy and Literature from Kant to Celan*, trans. Peter Fenves (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1996).

- Miriam Bratu Hansen, *Cinema and Experience* (Berkeley: University of California Press, 2012).
- , “Room for Play”, *Canadian Journal of Film Studies* 13, no. 1 (Spring 2004).
- Beatrice Hanssen, *Walter Benjamin's Other History: Of Stones, Animals, Human Beings, and Angels* (Berkeley: University of California Press, 1998).
- Hiltrud Häntzschel, “Die Philologin Eva Fiesel, 1891–1937”, in *Jahrbuch der Deutschen Schillergesellschaft*, 38. Jahrgang (Stuttgart: Kröner, 1994).
- Geoffrey H. Hartman, *Criticism in the Wilderness* (New Haven, CT: Yale University Press, 1980).
- Stéphane Hessel, *Tanz mit dem Jahrhundert: Eine Autobiographie* (Zurich: Arche Verlag, 1998).
- Susan Ingram, “The Writings of Asja Lacis”, *New German Critique*, no. 86 (Spring–Summer 2002).
- Lorenz Jäger, *Messianische Kritik: Studien zu Leben und Werk von Florens Christian Rang* (Cologne: Böhlau Verlag, 1998).
- Martin Jay, *The Dialectical Imagination: A History of the Frankfurt School and the Institute of Social Research, 1923–1950* (Boston: Little, Brown, 1973).
- , “Politics of Translation: Siegfried Kracauer and Walter Benjamin on the Buber-Rosenzweig Bible”, *Publications of the Leo Baeck Institute*, Year Book 21, 1976 (London: Secker and Warburg).
- Martin Jay and Gary Smith, “A Talk with Mona Jean Benjamin, Kim Yvon Benjamin and Michael Benjamin”, in *Benjamin Studies / Studien 1* (Amsterdam: Rodopi, 2002).
- Michael W. Jennings, *Dialectical Images: Walter Benjamin's Theory of Literary Criticism* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1987).
- , “Absolute Fragmentation: Walter Benjamin and Romantic Art Criticism”, *Journal of Literary Criticism* 6, no. 1 (1993): 1–18.
- , “Benjamin as a Reader of Hölderlin: The Origin of Benjamin's Theory of Literary Criticism”, *German Quarterly* 56, no. 4 (1983): 544–562.
- , “Eine gewaltige Erschütterung des Tradierten: Walter Benjamin's Political Recuperation of Franz Kafka”, in *Fictions of Culture: Essays in Honor of Walter Sokel*, ed. Stephen Taubeneck (Las Vegas, NV: Peter Lang, 1991), 199–214.
- , “Towards Eschatology: The Development of Benjamin's Theological Politics in the Early 1920's”, in *Walter Benjamins Anthropologisches Denken*, ed. Carolin Duttinger, Ben Morgan, Anthony Phelan (Freiburg: Rombach Verlag, 2012), 41–58.
- , “Walter Benjamin and the European Avant-Garde”, in *The Cambridge Companion to Walter Benjamin*, ed. David S. Ferris 18–34 (Cambridge: Cambridge University Press, 2004).
- , “Walter Benjamin and the Theory of Art History”, in *Walter Benjamin, 1892–1940: Zum 100. Geburtstag*, ed. Uwe Steiner, 77–102 (Bern: Peter Lang, 1992).
- Chryssoula Kambas, “Ball, Bloch und Benjamin”, in *Dionysus DADA Areopagita: Hugo Ball und die Kritik der Moderne*, ed. Bernd Wacker (Paderborn: Ferdinand Schöningh, 1996).
- , *Walter Benjamin im Exil: Zum Verhältnis von Literaturpolitik und Ästhetik* (Tübingen: Niemeyer, 1983).
- Robert Kaufman, “Aura, Still”, *October* 99 (Winter 2002); rpt. in *Walter Benjamin and Art*, ed. Andrew Benjamin (London: Continuum, 2005).
- Heinrich Kaulen, “Walter Benjamin und Asja Lacis: Eine biographische Konstellation und ihre Folgen”, in *Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte*, 69. Jahrgang, 1995 (Heft 1/März).
- Frank Kermode, “Every Kind of Intelligence”, *New York Times Book Review*, July 30, 1978.
- , “The Incomparable Benjamin”, *New York Review of Books*, December 18, 1969.

- Wolfgang Klein, Akademie der Wissenschaften der DDR, Zentralinstitut für Literaturgeschichte, *Paris 1935. Erster Internationaler Schriftstellerkongress zur Verteilung der Kultur: Reden und Dokumente mit Materialien der Londoner Schriftstellerkonferenz 1936* (Berlin: Akademie-Verlag, 1982).
- Paul Kluge, "Das Institut für Sozialforschung", in *Geschichte der Soziologie*, vol. 2, ed. Wolf Lepenies (Frankfurt: Suhrkamp Verlag, 1981).
- Margarete Kohlenbach, "Religion, Experience, Politics: On Erich Unger and Walter Benjamin", in *The Early Frankfurt School and Religion*, ed. Raymond Geuss and Kohlenbach (Houndmills: Palgrave Macmillan, 2005).
- Eckhardt Köhn, *Strassenrausch: Flânerie und kleine Form—Versuch zur Literaturgeschichte des Flâneurs bis 1933* (Berlin: Das Arsenal, 1989).
- Werner Kraft, "Friedrich C. Heinle", *Akzente* 31 (1984).
- , "Über einen verschollenen Dichter", *Neue Rundschau* 78 (1967).
- Stephan Lackner, "‘Von einer langen, schwierigen Irrfahrt’: Aus unveröffentlichten Briefen Walter Benjamins", *Neue Deutsche Hefte* 26, no. 1 (1979).
- Walter Laqueur, *Young Germany: A History of the German Youth Movement*, introduction by R. H. S. Crossman (1962; rpt. New Brunswick, NJ: Transaction Books, 1984).
- Esther Leslie, *Walter Benjamin: Overpowering Conformism* (London: Pluto Press, 2000).
- , ed., *Walter Benjamin's Archive* (London: Verso, 2007).
- Burkhardt Lindner, ed., *Benjamin Handbuch: Leben-Werk-Wirkung* (Stuttgart: Metzler Verlag, 2006).
- , "Habitationsakte Benjamin: Über ein 'akademisches Trauerspiel' und über ein Vorkapitel der 'Frankfurter Schule' (Horkheimer, Adorno)," *Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik* 53/54 (1984).
- , ed., *Links hatte noch alles sich zu enträtseln...: Walter Benjamin im Kontext* (Frankfurt: Syndikat, 1978).
- Geret Luhr, ed., *Was noch begraben lag: Zu Walter Benjamins Exil—Briefe und Dokumente* (Berlin: Bostelmann und Siebenhaar, 2000).
- John McCole, *Walter Benjamin and the Antinomies of Tradition* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1993).
- Kevin McLaughlin, "Benjamin Now: Afterthoughts on *The Arcades Project*", *boundary 2* (Spring 2003).
- Jeffrey Mehlman, *Walter Benjamin for Children: An Essay on His Radio Years* (Chicago: University of Chicago Press, 1993).
- Winfried Menninghaus, *Walter Benjamins Theorie der Sprachmagie* (Frankfurt: Suhrkamp Verlag, 1980).
- , *Schwellenkunde: Walter Benjamins Passage des Mythos* (Frankfurt, Suhrkamp Verlag, 1986).
- , "Walter Benjamin's Theory of Myth", in *On Walter Benjamin: Critical Essays and Recollections*, ed. Gary Smith (Cambridge, MA: MIT Press, 1988).
- Pierre Missac, *Walter Benjamin's Passages*, trans. Shierry Weber Nicholsen (Cambridge, MA: MIT Press, 1995).
- Stefan Müller-Doohm, *Adorno* (Frankfurt: Suhrkamp Verlag, 2003).
- Arno Münster, *Ernst Bloch: Eine politische Biografie* (Berlin: Philo & Philo Fine Arts, 2004).
- Rainer Nägele, *Theater, Theory, Speculation: Walter Benjamin and the Scenes of Modernity* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1991).
- , ed., *Benjamin's Ground* (Detroit: Wayne State University Press, 1988).
- Magali Laure Nieradka, *Der Meister der leisen Töne: Biographie des Dichters Franz Hessel* (Oldenburg: Igel, 2003).
- Jane O. Newman, *Benjamin's Library: Modernity, Nation, and the Baroque* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2011).
- Robert E. Norton, *Secret Germany* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2002).

- Blair Ogden, "Benjamin, Wittgenstein, and Philosophical Anthropology: A Reevaluation of the Mimetic Faculty", in Michael Jennings and Tobias Wilke, eds., *Grey Room* 39 (Spring 2010).
- Michael Opitz, Erdmut Wizisla, eds., *Aber Ein Sturm Weht vom Paradies Her: Texte zu Walter Benjamin* (Leipzig: Reclam, 1992).
- , *Benjamins Begriffe*, 2 vols. (Frankfurt: Suhrkamp Verlag, 2000).
- Peter Osborne, *Philosophy in Cultural Theory* (New York: Routledge, 2000).
- , *The Politics of Time: Modernity and Avant-Garde* (London: Verso, 1995).
- Jean-Michel Palmier, *Walter Benjamin: Lumpensammler, Engel und bucklicht Männlein—Ästhetik und Politik bei Walter Benjamin*, trans. Horst Brühmann (Berlin: Suhrkamp Verlag, 2009).
- , *Weimar in Exile: The Antifascist Emigration in Europe and America*, trans. David Fernbach (New York: Verso, 2006).
- Claire Paulhan, "Henry Church and the Literary Magazine *Mesures*: 'The American Resource'", in *Artists, Intellectuals, and World War II: The Pontigny Encounters at Mount Holyoke College*, ed. Christopher Benfy and Karen Remmler (Amherst: University of Massachusetts Press, 2006).
- Hans Puttnies and Gary Smith, *Benjaminiana* (Giessen: Anabas, 1991).
- Anson Rabinbach, *The Crisis of Austrian Socialism: From Red Vienna to Civil War, 1927–1934* (Chicago: University of Chicago Press, 1983).
- , *In the Shadow of Catastrophe: German Intellectuals between Apocalypse and Enlightenment* (Berkeley: University of California Press, 2001).
- , *Staging Anti-Fascism in the Era of Hitler and Stalin*, forthcoming.
- Willem van Reijen, Herman van Doorn, *Aufenthalte und Passagen: Leben und Werk Walter Benjamins* (Frankfurt: Suhrkamp Verlag, 2001).
- Gerhard Richter, *Thought-Images: Frankfurt School Writers' Reflections from Damaged Life* (Stanford, CA: Stanford University Press, 2007).
- , *Walter Benjamin and the Corpus of Autobiography* (Detroit: Wayne State University Press, 2000).
- Avital Ronell, "Street Talk", in Rainer Nägele, ed., *Benjamin's Ground* (Detroit: Wayne State University Press, 1988).
- Charles Rosen, "The Ruins of Walter Benjamin", *New York Review of Books*, October 27, 1977.
- Monad Rrenban, *Wild, Unforgettable Philosophy in Early Works of Walter Benjamin* (Lanham, MA: Lexington Books, 2005).
- Ingrid Scheurmann, ed., *Neue Dokumente zum Tode Walter Benjamins* (Bonn: Arbeitskreis selbständiger Kultur-Institute und Gemeinde Port-Bou, 1992).
- Ingrid Scheurmann, Konrad Scheurmann, eds., *Für Walter Benjamin* (Frankfurt: Suhrkamp Verlag, 1992).
- Sabine Schiller-Lerg, "Ernst Schoen (1894–1960): Ein Freund überlebt—Erste biographische Einblicke in seinen Nachlaß", in *Global Benjamin: Internationaler Walter-Benjamin-Kongreß 1992*, ed. Klaus Garber, Ludger Rehm, 2:982–1013 (München: Fink, 1999).
- , *Walter Benjamin und der Rundfunk* (München: Saur Verlag, 1984).
- Eva Schöck-Quinteros, "Dora Benjamin: '...denn ich hoffe nach dem Krieg in Amerika arbeiten zu können'—Stationen einer vertriebenen Wissenschaftlerin, 1901–1946", in *Barrieren und Karrieren: Die Anfänge des Frauenstudiums in Deutschland* (Berlin: Trafo, 2000).
- Christian Schulte, *Ursprung ist das Ziel: Walter Benjamin über Karl Kraus* (Würzburg: Königshausen & Neumann, 2003).
- Gary Smith, "Das jüdische versteht sich von selbst: Walter Benjamins frühe Auseinandersetzung mit dem Judentum", *Deutsche Vierteljahresschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte* 65 (1981): 318–334.
- , ed., *On Walter Benjamin: Critical Essays and Recollections* (Cambridge, MA: MIT Press, 1988).

- Susan Sontag, "Under the Sign of Saturn", in *Under the Sign of Saturn* (New York: Farrar, Straus and Giroux, 1980).
- Uwe Steiner, *Die Geburt der Kritik aus dem Geiste der Kunst* (Würzburg: Königshausen und Neumann, 1989).
- , *Walter Benjamin: An Introduction to His Work and Thought*, trans. Michael Winkler (Chicago: University of Chicago Press, 2010).
- , "The True Politician: Walter Benjamin's Concept of the Political", *New German Critique* 83 (Spring-Summer 2000).
- , ed., *Walter Benjamin, 1892–1940: Zum 100. Geburtstag* (Bern: Peter Lang, 1992).
- Michael Surya, *Georges Bataille: An Intellectual Biography*, trans. Krzysztof Fijalkowski and Michael Richardson (New York: Verso, 2002).
- Peter Szondi, "Hoffnung im Vergangenen: Walter Benjamin und die Suche nach der verlorenen Zeit", in *Zeugnisse: Theodor W. Adorno zum sechzigsten Geburtstag*, ed. Max Horkheimer (Frankfurt: Europäische Verlagsanstalt, 1963).
- Bruno Tackels, *Walter Benjamin: Une vie dans les textes* (Arles: Actes Sud, 2009).
- Klaus Täubert, "Unbekannt verzogen...": *Der Lebensweg des Suchtmediziners, Psychologen und KPD-Gründungsmitgliedes Fritz Fränkel* (Berlin: Trafo, 2005).
- Jacob Taubes, *The Political Theology of Paul* (1987), trans. Dana Hollander (Stanford, CA: Stanford University Press, 2004).
- Rolf Tiedemann, *Dialektik im Stillstand* (Frankfurt: Suhrkamp Verlag, 1983).
- Rolf Tiedemann, Christoph Gödde, Henri Lonitz, "Walter Benjamin, 1892–1940: Eine Ausstellung des Theodor W. Adorno Archivs, Frankfurt am Main in Verbindung mit dem Deutschen Literaturarchiv Marbach am Neckar", *Marbacher Magazin* 55 (1990).
- Siegfried Unseld, ed., *Zur Aktualität Walter Benjamins: Aus Anlaß des 80. Geburtstages von Walter Benjamin* (Frankfurt: Suhrkamp Verlag, 1972).
- Vicente Valero, *Der Erzähler: Walter Benjamin auf Ibiza 1932 und 1933*, trans. Lisa Ackermann, Uwe Dehler (Berlin: Parthas, 2008).
- Manfred Voigts, *Oskar Goldberg: Der mythische Experimentalwissenschaftler* (Berlin: Agora Verlag, 1992).
- Samuel Weber, *Benjamin's -abilities* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2008).
- , "Genealogy of Modernity: History, Myth and Allegory in Benjamin's *Origin of the German Mourning Play*", *MLN* (April 1991).
- , "Taking Exception to Decision: Walter Benjamin and Carl Schmitt", *diacritics* (Fall–Winter 1992).
- Daniel Weidner, *Gershom Scholem: Politisches, esoterisches und historiographisches Schreiben* (München: Wilhelm Fink, 2003).
- Sigrid Weigel, *Entstellte Ähnlichkeiten: Walter Benjamins theoretische Schreibweise* (Frankfurt: Fischer Verlag, 1997).
- , *Body- and Image-Space: Re-reading Walter Benjamin*, trans. Georgina Paul, Rachel McNicholl, and Jeremy Gaines (New York: Routledge, 1996).
- Rolf Wiggershaus, *The Frankfurt School: Its History, Theories, and Political Significance*, trans. Michael Robertson (Cambridge, MA: MIT Press, 1994).
- Bernd Witte, *Walter Benjamin: An Intellectual Biography*, trans. J. Rolleston (Detroit: Wayne State University Press, 1991).
- , *Walter Benjamin: Der Intellektuelle als Kritiker—Untersuchungen zu seinem Frühwerk* (Stuttgart: Metzler, 1976).
- Erdmut Wizisla, *Walter Benjamin and Bertolt Brecht: The Story of a Friendship*, trans. Christine Shuttleworth (New Haven, CT: Yale University Press, 2009).
- Irving Wohlfarth, "Et cetera? Der Historiker als Lumpensammler", in *Passagen: Walter Benjamins Urgeschichte des XIX Jahrhunderts*, ed. Norbert Bolz, Bernd Witte, 70–95 (München: Wilhelm Fink, 1994).

ВАЛЬТЕР БЕНЬЯМИН: КРИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

- , “On the Messianic Structure of Walter Benjamin’s Last Reflections”, *Glyph* 3 (1978).
- , “The Politics of Youth: Walter Benjamin’s Reading of *The Idiot*”, *diacritics* (Fall–Winter 1992).
- , “Re-fusing Theology: Benjamin’s Arcades Project”, *New German Critique* 39 (Fall 1986).
- Elisabeth Young-Bruehl, *Hannah Arendt: For the Love of the World*, 2nd ed. (New Haven, CT: Yale University Press, 2004).
- Джорджо Агамбен, Homo sacer. Суверенная власть и голая жизнь (Москва: Европа, 2011).
- Джорджо Агамбен, “Станцы. Слово и фантазм в культуре Запада”, *Искусство кино*. 1998. № 11, 141–155.
- Эрдмут Вицисла, Беньямин и Брехт — история дружбы (Москва: Грюндрикссе, 2017).
- Жак Деррида, Вокруг вавилонских башен (Санкт-Петербург: Академический проект, 2002).

Научное издание

Серия «Интеллектуальная биография»

ХОВАРД АЙЛЕНД, МАЙКЛ У. ДЖЕННИНГС

ВАЛЬТЕР БЕНЬЯМИН
Критическая жизнь

Главный редактор В. В. Анашвили
Заведующая редакцией Ю. В. Бандурина
Выпускающий редактор Е. В. Попова
Редактор С. В. Кошеварова
Художник В. П. ВЕРТИНСКИЙ
Оригинал-макет С. Д. Зиновьев
Верстка Я. Д. Агеев

Подписано в печать 24.10.2017. Формат 70×100/16
Усл. печ. л. 51,6. Тираж 1000 экз. Изд. № 1306.

Издательский дом «Дело» РАНХИГС
119571, Москва, пр-т Вернадского, 82
Коммерческий центр
тел. (495) 433-25-10, (495) 433-25-02
delo@ranepa.ru
www.ranepa.ru
Интернет-магазин
www.delo.ranepa.ru

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт», 170546, Тверская область,
Промышленная зона Боровлево-1, комплекс № 3А,
www.pareto-print.ru.
Заказ № 5446/17

ISBN 978-5-7749-1291-9



ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ДЕЛО» РАНХИГС

Москва, проспект Вернадского, д. 82
Тел.: (495) 433-25-02
delo@ranepa.ru

Вышли в свет книги:

Егор Тимурович Гайдар. Собрание сочинений: в 15 т. Т. 11–15.

Владимир Александрович Мау. Государство и экономика.
Опыт экономических реформ.

Владимир Александрович Мау. Экономика и власть.
Опыт посткоммунистической трансформации.

В серии «Академический учебник»

А. Мас-Колелл, М. Д. Уинстон, Дж. Р. Грин.
Микроэкономическая теория: в 2 кн.

Жан Тироль. Теория корпоративных финансов: в 2 кн.

Фумио Хайяши. Эконометрика.

Питер Кеннеди. Путеводитель по эконометрике: в 2 кн.

Уильям Г. Грин. Эконометрический анализ: в 2 кн.

Морис Обстфельд, Кеннет Рогофф. Основы международной
макроэкономики.

Джеймс Сток, Марк Уотсон. Введение в эконометрику.

Майкл Уикенс. Макроэкономическая теория:
подход динамического общего равновесия.

Карл Уолш. Монетарная теория и монетарная политика.

Э. Колин Кэмерон, Правин К. Триведи. Микроэконометрика:
методы и их применения: в 2 кн.

О. Бланшар, С. Фишер. Лекции по макроэкономике.

В серии «Интеллектуальная биография»

Бенуа Петерс. Деррида.

Ховард Айленд, Майкл У. Дженнингс. Вальтер Беньямин: критическая жизнь.

В серии «Очень краткое введение»

Кен Бинмор. Теория игр.

Эйн-Я Гура, Майкл Машлер. Экскурс в теорию игр.
Нетипичные математические сюжеты.

Дэвид Дж. Хэнд. Статистика.

Майкл Аллингем. Теория выбора.

Авинаш Диксит. Микроэкономика.

Парта Дасгупта. Экономика.

В серии «Экономическая история в прошлом и настоящем»

Александр Изгоев. Рожденное в революционной смуте.

Алексей Головачев. История железнодорожного дела в России.

Александр Гершенкрон. Экономическая отсталость в исторической перспективе.

Александр Фурсенко. Династия Рокфеллеров.

Нефтяные войны (конец XIX — начало XX века).

В серии «Интеллектуальный бестселлер»

Ицхак Гильбоа. Как принять наилучшее решение?

Теория принятия решений на практике.

Кеннет Померанц. Великое расхождение: Китай, Европа
и создание современной мировой экономики.

Пьер Бурдьё. О государстве: курс лекций
в Коллеж де Франс (1989–1992).

Митчелл Дин. Правительственность: власть и правление
в современных обществах.

Ян де Фрис. Революция трудолюбия: потребительское поведение
и экономика домохозяйства с 1650 года до наших дней.

Джон Урри. Офшоры.

Стейн Ринген. Народ дьяволов: демократические лидеры
и проблема повиновения.

Энтони Гидденс. Непокойный и могущественный континент:
что ждет Европу в будущем?

Ричард Лахман. Что такое историческая социология?

Доминик Перлер. Теории интенциональности в Средние века.

Науки о языке и тексте в Европе XIV–XVI вв.

Малкольм Булл. Анти-Ницше.

Юрген Клаубе. Макс Вебер: жизнь на рубеже эпох.

Рюдигер Сафрански. Ницше: биография его мысли.

Георгий Старостин. К истокам языкового разнообразия.
Десять бесед о сравнительно-историческом
языкознании с Е. Я. Сатановским.

Максим Кронгауз. Слово за слово: о русском языке и не только.

Александр Мещеряков. Terra Nirponica:
среда обитания и среда воображения.

Осмысление природы в японской культуре. Сборник статей.

Нильс Лунинг Прак. Язык архитектуры.

Александр Генис. Конь в кармане: лирическая культурология.

Борис Парамонов, Иван Толстой. Бедлам как Вифлеем.
Беседы любителей русского слова.

Энтони Гидденс. Непокойный и могущественный континент:
что ждет Европу в будущем?

Ричард Лахман. Что такое историческая социология?

Стив Фуллер. Социология интеллектуальной жизни:
карьера ума внутри и вне академии.

**ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ
«ДЕЛО» РАНХИГС**

Москва, проспект Вернадского, д. 82
Тел.: (495) 433-25-02
delo@ranepa.ru

Готовятся к печати:

В серии «Академический учебник»

Стивен Д. Уильямсон. Макроэкономика.

Р. Дэвидсон, Дж. Г. Мак-Киннон. Теория и методы
эконометрики.

Дарон Асемоглу. Введение в теорию современного
экономического роста.

Стивен Ландсбург. Теория цен и ее применение.

ЖЕРАР ДЕБРЕ. Теория ценности:
аксиоматический анализ экономического равновесия.

ЧАРЛЬЗ ДЖОНС, ДИТРИХ ВОЛЛРАТ. Введение в теорию
экономического роста.

В серии «Интеллектуальная биография»

Рэй Монк. Людвиг Витгенштейн: долг гения.

Рюдигер САФРАНСКИ. Гёте. Жизнь как искусство.

В серии «Министры финансов России»

ЕГОР КАНКРИН. Мировое богатство, национальное богатство
и государственное хозяйство.

В серии «Интеллектуальный бестселлер»

ХАЙДЕГГЕР. «Черные тетради» и Россия. Сборник статей.

АЛЕКСАНДР ПАВЛОВ. Бесславные ублюдки, бешеные псы.
Вселенная Квентина Тарантино.

МАЙКЛ МАНН. Источники социальной власти: в 4 т.

КВЕНТИН СКИННЕР. Истоки политической мысли
Нового времени: в 2 т.

ДНЕВНИК Е.А. ПЕРЕТЦА, ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКРЕТАРЯ (1880–1883)

РИЧАРД ЛАХМАН. Государства и власть.

ДЖОН УРРИ. Что такое будущее?

Мы впервые получаем обстоятельное, надежное, нетенденциозное и полноценное описание жизни Беньямина и источников его творчества. «Вальтер Беньямин: критическая жизнь» — лучшая биография Беньямина из имеющихся сегодня. Представляя собой замечательное научное достижение, она будет иметь непреходящую ценность и, несомненно, станет настольной справочной книгой для всех, кого увлекают причудливые хитросплетения жизни Беньямина.

Питер Фенвес, Северо-Западный университет

Авторы осуществили тщательный синтез всех доступных источников, касающихся жизни Беньямина — писем, дневников, воспоминаний его друзей, — со всеми его главными работами, создав всеобъемлющую биографию, которой нам очень не хватало... «Вальтер Беньямин: критическая жизнь» дает прекрасное представление о том, какое глубокое влияние на жизненный путь Беньямина оказала история современной ему Европы.

Адам Курш, The New York Review of Books

Жизнь Беньямина, показанная в книге, по-видимому, со всей возможной полнотой, предстает перед нами как трагедия незавершенности.

Джон Грей, Literary Review